



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

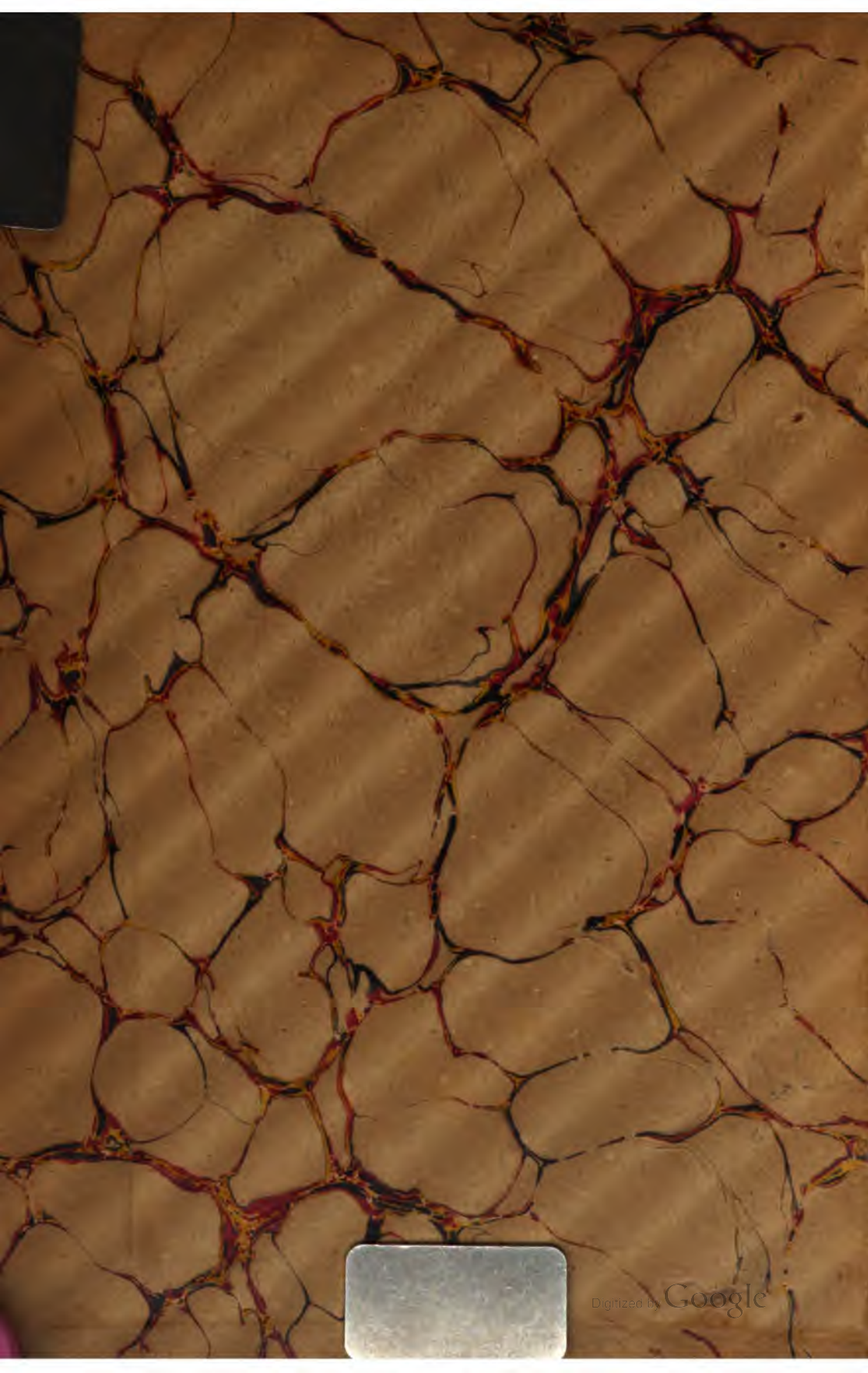
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





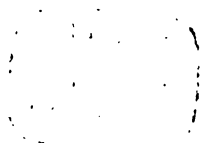
А. СТРОНИНЪ.



ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

Если посмотримъ чрезъ исторiю, какъ чрезъ
зрительныя трубы, на мимолетное вѣки, увидимъ
все худшее въ темныхъ нежеля въ свѣтлыхъ упо-
ненiяхъ временяхъ.

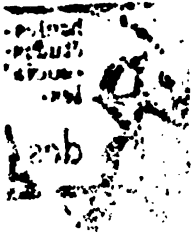
Петръ Великий (Духовн. Ретам.).



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографiя Министерства путей сообщения (А. Бенке).

1885.



KF 30790

✓



Kenner

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Задача этой книги состоитъ въ томъ, чтобы фактическую исторію общежитія обратить, по мѣрѣ возможности, въ теоретическую. Другими словами, вмѣсто одной внѣшней связи фактовъ, хотѣлось бы найти ихъ связь по существу, взаимное отношеніе всѣхъ ихъ и каждаго между собою, а также и ко всему цѣлому. А вмѣсто того, чтобы объяснять эту связь теологически или философски, желательно бы объяснить ее научно, т. е. посредствомъ естественныхъ законовъ, присущихъ общественной жизни.

Въ русской литературѣ такое притязаніе появляется впервые. А при всякомъ первичномъ появленіи его, трудно не вспомнить о такой же порѣ въ развитіи наукъ естественныхъ. Слишкомъ хорошо, на примѣръ, извѣстно, что каждый почти разъ, какъ эти науки переходили къ непривычнымъ еще для ума чисто-научнымъ объясненіямъ явленій, тотчасъ же возникала мысль, не противорѣчитъ ли такая научность вѣрѣ. Правда, современемъ первое впечатлѣніе это всегда разсѣвалось, и оба вѣдѣнія оказывались вполне совмѣстимыми. Мало того, вся та стройность, вся подзаконность явленій, какая установлена съ тѣхъ поръ въ природѣ, не только не пришла въ противорѣчіе съ божественной волей въ мірѣ, но, напротивъ, только еще пуще предположила ее въ немъ. Тѣмъ не менѣе, однакожь, одного этого едва ли достаточно для такой же полноты науки общественной, какая естествознанію принадлежитъ уже по силѣ самой давности. А потому первая сдѣлаетъ лучше, если, не ожидая тѣхъ же недоразумѣній, напередъ уже посчитается съ ними, на самыхъ же первыхъ страницахъ своихъ.

Общественная наука, еще больше чѣмъ естественная, дѣйствительно способна внушать тѣ же сомнѣнія, если не по вѣку, въ какомъ она появляется, то по тѣмъ предметамъ, которыхъ касается; такъ какъ ей приходится объяснять естественными причинами цивилизацію, а въ томъ числѣ и самую, слѣдовательно, исторію религій. При видѣ же этихъ объясненій, и чѣмъ удачнѣе они, тѣмъ больше, всегда возможно предположеніе, да не устраняють ли причины естественныя причинъ сверхъестественныхъ—предположеніе почти дѣтское, слишкомъ мало философское, но тѣмъ-то и больше способное къ популярности. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ никакая наука не только не исключаетъ, но и не въ состояніи исключать вѣру, какъ ни одна изъ нихъ не могла упразднить даже философію. Наука потому и есть наука, что она добровольно и сама по себѣ перестаетъ, наконецъ, вступаться какъ въ сверхъестественное (предметъ теологій), такъ и въ безусловное (предметъ философіи), и ограничивается однимъ лишь естественнымъ и однимъ условнымъ. И сколько бы при этомъ ни исчерпывала она всю свою область познаваемого, а непознаваемое все-таки остается и будетъ оставаться навсегда. Спрашивается, какое же возможно тутъ столкновеніе между тѣмъ и другимъ, когда одно другого не только не опровергаетъ, но даже одно другимъ предполагается. Въ самомъ дѣлѣ, если въ исторіи найдется та же правильность и та же разумность, какія открыты въ природѣ; то не будетъ ли это новымъ и вѣщимъ предубѣжденіемъ въ пользу самой причины всего: и природы, и исторіи.

Но (скажутъ, быть можетъ, другіе) тогда излишне всякое вмѣшательство этой причины въ естественное теченіе событій: излишне, напримѣръ, откровеніе въ христіанской исторіи. Совершенно наоборотъ. Коль скоро вся исторія есть не что иное, какъ непрерывное вмѣшательство, какимъ же образомъ утверждать перерывъ въ немъ, для какой бы то ни было исторіи. Коль скоро вся исторія есть нечто иное, какъ постепенное откровеніе, какъ же отрицать степени этого откровенія? А такими степенями и суть: въ началѣ—всѣ естественныя религіи, въ концѣ—откровенная.

Еще дальше, если изъ трехъ христіанскихъ церквей подвиж-

нѣе или прогрессивнѣе всѣхъ есть, очевидно, лютеранская, католическая—меньше, а всѣхъ менѣе—православная, то не сообщает ли это какого-либо преимущества первымъ двумъ надъ третьею? Но обычное отождествленіе прогрессивности съ совершенствованіемъ даетъ только чисто-словесное основаніе такому заключенію. Когда же вспомнимъ, что дѣло идетъ о храненіи послѣдней, окончательной религіозной истины; то заслугою тутъ становится, напротивъ, именно неподвижность, а никакъ не движеніе.

Наконецъ, въ своемъ изложеніи исторіи гражданственности, авторъ принужденъ былъ вдаться въ нѣкоторыя, быть можетъ, циническія подробности древней, политеистической нравственности. Но да не поставитъ ему этого въ упоръ читатель, такъ какъ безъ такихъ подробностей пришлось бы скрасть и самую заслугу христіанской нравственности, которая какъ рукой сняла всѣ такіа извращенія естества. А съ другой стороны, наоборотъ, если новая нравственность затребовала, быть можетъ, и больше отъ человѣческой природы, чѣмъ эта послѣдняя дала въ состояніи (какъ на примѣръ въ идеалахъ аскетизма); то иначе и быть не могло, ибо такова бываетъ всякая реакція противъ всякой предъидущей крайности. Во всякомъ случаѣ, высота идеала, хотя бы то и мало достижимаго, все-таки остается свидѣтельствомъ въ пользу того, кто вноситъ такой идеалъ въ міръ.

Вотъ причины, по которымъ общественная наука такъ же мало расходится съ вѣрою и съ нравственностью, какъ и естественная. Впрочемъ, самый текстъ скажетъ объ этомъ еще больше, хотя и безъ словъ, однимъ сопоставленіемъ фактовъ.

Остается замѣтить, что, для облегченія труда своего, авторъ долженъ былъ устранить изъ изслѣдованія, во-первыхъ, всю экономическую исторію, ограничиваясь одною политическою, а во-вторыхъ, исторію политическаго регресса, довольствуясь однѣми гипотезами прогресса.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| | СТРАН. |
|-------------------------------------|--------|
| Предисловіе | I |
| Исторія цивилизаціи | 1 |
| Религія | — |
| Философія | 58 |
| Наука | 97 |
| Логика цивилизаціи | 122 |
| Исторія культуры | 150 |
| Введеніе | — |
| Организація | 181 |
| Политика | 222 |
| Право | 264 |
| Патріархальное | 265 |
| Государственное | 302 |
| Международное | 477 |
| Эстетика культуры | 571 |
| Исторія гражданственности | 643 |
| Права | — |
| Обычаи | 712 |
| Преданія | 725 |
| Этика гражданственности | 733 |
| Психологія исторіи | 746 |
| Приложеніе | 769 |

ЦИВИЛИЗАЦІЯ.

Подъ именемъ цивилизаціи понимается здѣсь религія, философія и наука, т. е., собственно говоря, лишь продукты цивилизаціи. Что же касается самого органа ея, т. е. интеллигенціи, а также функций его, каковы: новаторство, пропаганда, агитація (см. Политика какъ наука); то исторія ихъ, ради выщшаго сокращенія задачи труда, здѣсь опускается.

РЕЛИГІЯ.

Фетишизмъ.—Связь фетишизма съ политеизмомъ и политеизма съ фетишизмомъ—**Политеизмъ.**—Переходъ отъ политеизма къ монотеизму и обратно.—**Монотеизмъ.**

Понятіе фетишизма, какъ предшественника политеизма, сразу отбрасываетъ насъ въ тѣ отдаленныя эпохи бытія, которыя не принято даже включать въ политическую исторію, и которыя обыкновенно исключаются изъ нея подъ именемъ „доисторическихъ“, догосударственныхъ временъ. Между тѣмъ, эти именно времена содержатъ въ себѣ всѣ самопервѣйшіе шаги развитія, безъ которыхъ вовсе немислимо никакое пониманіе и всякихъ дальнѣйшихъ. Между тѣмъ, съ другой стороны, времена эти несравненно продолжительнѣе, чѣмъ всѣ, такъ называемыя, „историческія“. Если принять въ соображеніе выводы лингвистовъ объ образованіи языковъ, выводы археологовъ о каменномъ вѣкѣ и выводы геологовъ объ ископаемыхъ остаткахъ человѣка, то эти историческія времена представятся не больше, какъ однимъ мгновеніемъ, вся же остальная исторія окажется доисторическою. Съ этихъ двухъ точекъ зрѣнія, одной—качественной и другой—количественной, доисторическія или, вѣрнѣе, первобытныя эпохи представляются, напротивъ, наиболѣе историческими.

А. СТРОНИНЪ.



ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

Если посмотримъ чрезъ исторiи, какъ чрезъ
зрительныя трубки, на мимошедшiе вѣки, увидимъ
все худшее въ темныхъ нежели въ свѣтлыхъ учо-
вищъ временахъ.

Петръ Великий (*Духовн. Ретам.*).



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографiя Министерства путей сообщенiя (А. Бенкѣ).

1885.

ненія на островахъ Дружбы, на Фиджи и во многихъ мѣстностяхъ Америки. Но и это не все. Въ Самаркандѣ, напримѣръ, предметомъ почитанія служить рѣка Согдъ. У башкировъ священно озеро Ахоть. Для аравитянъ была святою гора Араратъ. У друидовъ были священныя лѣса и рощи. Въ Перу главнымъ предметомъ почитанія одного племени было море. Наконецъ, въ числѣ фетишей перуанскихъ значилась, между прочимъ, и вся вообще земля. Но и тутъ не конецъ. Есть еще поклоненіе такимъ предметамъ, какъ горшокъ съ красною глиной, перо краснаго попугая, колья, обмотанные шерстью, и т. п., какъ это было въ африканской Гвинее еще въ прошедшемъ столѣтіи. Есть поклоненіе воткнутому въ землю мечу, какъ это было у скифовъ. А путешественникъ де-Броссъ видѣлъ въ Австраліи дикарей, которые молились на червоннаго короля, забытаго у нихъ европейцами. Такимъ образомъ, не только всѣ естественныя произведенія земли, но и самые предметы искусства, созданія рукъ человѣческихъ,—все это можетъ наполнять и дѣйствительно наполняетъ собою пантеонъ фетишизма. Не мудрено поэтому, если Ремеру случилось видѣть одного стараго негра посреди цѣлыхъ 20,000 его фетишей, о которыхъ хозяинъ и самъ не зналъ, когда и за что они поступили въ пантеонъ его, но зналъ только, что собраны они предками его, и собраны именно за услуги ихъ. А между тѣмъ, во всему этому, хотя и безсознательному, но тѣмъ не менѣе дѣйствительному, всебожію, не философскому, но за то вполне реальному, необходимо прибавить еще, быть можетъ, такое же самое число душъ тѣхъ же самыхъ фетишей. Коль скоро фетишь есть всегда живое существо, хотя бы онъ и не былъ животнымъ, то у него, также, какъ у человѣка, должна быть и своя душа. Если же души, какъ дикарь достоверно знаетъ это изъ явленій сна, могутъ отдѣляться отъ тѣла, то вотъ и еще одинъ источникъ для новаго пантеона божествъ, и притомъ, на этотъ разъ, уже духовныхъ, а не тѣлесныхъ. Такимъ образомъ происходятъ цѣлыя сонмы духовъ, которые, въ свою очередь, бываютъ то добрыми, то злыми. У австралійцевъ, таитянъ, фиджійцевъ, краснокожихъ индѣйцевъ все кишитъ духами, все полно ими: каждая роща, водопой, скала, плодъ, камень, тропинка, хижина. Таитяне полагаютъ, что деревья, плоды, камни, всѣ одарены душами, такъ что если топоръ или пила сломались, то души ихъ остаются цѣлы. Ирокезы вѣрятъ въ духовъ дубовъ, кленовъ, брусники, малины, мяты, табаку, му-

равнинных построекъ. Негры Золотого Берега называютъ ихъ вонгами и предполагаютъ обитающими на каждомъ участкѣ земли. Если все это вмѣстѣ, оба эти проявленія фетишизма, мы назовемъ фетишизмомъ *земнымъ* или теллуризмомъ, то первая стадія религиозныхъ мировоззрѣній будетъ достаточно отличена отъ всякой послѣдующей.

Говорить о хронологіи первобытныхъ эпохъ, конечно, немислимо, а потому и устанавливать на хронологическихъ данныхъ послѣдовательность этихъ эпохъ также невозможно. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, есть другія достаточныя основанія для того, чтобы заключать, что только что очерченная система фетишизма должна была быть самою древнѣйшею, что всѣ другія новѣе ея, и что въ числѣ ихъ непосредственно слѣдующею есть фетишизмъ *небесный*, или, такъ называемый, сабеизмъ, сидеризмъ. Къ такому заключенію приводитъ не только то соображеніе, что земля легче и скорѣе должна привлекать вниманіе дикаго человѣка, чѣмъ небо, подобно тому, какъ она привлекаетъ вниманіе даже многихъ животныхъ, умѣющихъ распознавать полезныя и вредныя травы ея, тогда какъ неба большинство животныхъ даже видѣть не можетъ, но также и нѣкоторые несомнѣнные факты исторіи. Такъ, напримѣръ, путешественники не встрѣчаютъ ни одного почти случая, гдѣ люди не имѣли бы еще фетишистскихъ представленій перваго порядка; но такихъ случаевъ дикаго быта, гдѣ нѣтъ еще представленій сабеистическихъ не только множество, а даже наибольшая половина. Съ другой стороны, гдѣ сабеизмъ и теллуризмъ встрѣчаются вмѣстѣ, тамъ первый всегда налегаетъ на второй, первый всегда сверху, второй всегда внизу. Такъ, въ Перу, въ Мексикѣ низшіе классы держались одного, высшіе—другаго. Сабеизмъ въ бытѣ дикарей есть явленіе вообще довольно рѣдкое, хотя и встрѣчается во всѣхъ частяхъ свѣта. Абигоны южной Америки поклоняются, напримѣръ, созвѣздію Плеяды. Сѣвероамериканское племя Пихето приносить свой табакъ въ жертву грому и молніи. У ирокезовъ предметомъ почитанія служитъ все вообще небо. Гвевры въ Азійи поклоняются огню, какъ подобію солнца. Жители Борнео и Целебеса чтятъ солнце и луну. Во-вторыхъ, сабеизмъ дольше сохраняется, труднѣе экскорпорируется и всегда переживаетъ фетишизмъ земли, такъ что отъ послѣдняго и слѣдовъ иногда уже нѣтъ, а первый все еще процвѣтаетъ. Такъ, напримѣръ, на Целебесѣ и Борнео не знаютъ

уже никакихъ другихъ предметовъ поклоненія, кромѣ солнца и луны. Изъ этого опять можно заключать, что поклоненіе это есть продуктъ сравнительно позднѣйшій. Наконецъ, сабеизмъ доживаетъ цѣликомъ даже до государственнаго быта народовъ, тогда какъ фетишизмъ первой пробы доносить сюда только обломки свои. Таковъ фактъ въ Китаѣ съ его поклоненіемъ небу, въ Японіи съ ея почитаніемъ солнца, въ Персіи съ ея обожаніемъ свѣта. Классическою же страной развитія сабеизма была Аравія. Нигдѣ онъ не развернулся съ такою полнотою, какъ здѣсь, и именно въ странѣ Саба, отъ которой получилъ и свое наименованіе. Выше всего въ этомъ культѣ стояли солнце и луна, ниже ихъ—пять планетъ, еще ниже—главныя созвѣздія, за ними болѣе яркія неподвижныя звѣзды и, наконецъ, всѣ звѣзды вообще. Молитвы къ нимъ адресовались прямо и непосредственно. Само собою разумѣется, что всѣ небесныя тѣла допускали такое же отвлеченіе духовъ ихъ, какъ и всѣ тѣла земныя; а отсюда опять возможность новаго сонма духовъ, небесныхъ, а не земныхъ. Остатокъ такого представленія донесся до государственнаго быта древней Мидіи въ видѣ Ормузда, какъ духа солнца и свѣта, и Аримана, какъ духа луны и тьмы.

Но здѣсь, при этой первой изъ всѣхъ общечеловѣческихъ метаморфозъ (отъ фетишизма къ сабеизму), на этомъ первомъ же шагѣ въ исторію всѣхъ дальнѣйшихъ эволюцій соціального прогресса, необходимо сдѣлать, во избѣжаніе недоразумѣній, оговорку о характерѣ всѣхъ вообще такихъ эволюцій. Этотъ всеобщій и безусловный характеръ ихъ всѣхъ, безъ исключенія, состоитъ въ томъ, что ни одна изъ нихъ не наступаетъ тогда, когда предшествующая совсѣмъ уже окончилась. Такой порядокъ явленій вовсе несвойственъ органическому міру, а соціальному меньше всего. Явленія этого міра вовсе не таковы, чтобы гдѣ есть одно изъ нихъ, тамъ не было бы уже никакого другаго, противоположнаго. Напротивъ того, предъидущее и послѣдующее вездѣ и всегда, въ извѣстной мѣрѣ, но неизмѣнно сосуществуютъ, и если одно изъ нихъ считается характеристичнымъ для эпохи, то единственно потому, что оно переживаетъ собою другое, а вовсе не потому, чтобы оно исключало его. Всякому настоящему въ исторіи абсолютно должны сопутствовать отчасти пережитой прошедшаго, отчасти сѣмена будущаго, безъ чего не было бы и самого настоящаго. А потому и во всякій моментъ, равно какъ и на всякой точкѣ первобытныхъ міросозерцаній,

мы всегда можем и даже должны встрѣтить, рядомъ съ фетишизмомъ земнымъ, признаки не только небеснаго, но и еще одного, о которомъ сейчасъ будетъ рѣчь. Самыя первичныя очертанія ихъ всѣхъ могутъ возникать даже вполне одновременно и, повидимому, нераздѣльно; но все дѣло только въ томъ, какое изъ нихъ раньше выживетъ между другими, и какое позже, какое прежде разовьется насчетъ всѣхъ остальныхъ и какое послѣ. Въ такомъ-то именно смыслѣ и сабеизмъ позднѣе первоначальнаго фетишизма. Начало ихъ одновременно, но разновременно развитіе ихъ.

Разнообразіемъ неба дополнивъ разнообразіе земли, умъ первобытнаго человѣка не остановился и на этомъ. Отъ внѣшней природы, обращая взоръ на внутреннюю, онъ весьма рано созидаетъ для себя и свое міросозерцаніе субъективное въ добавокъ къ объективному. А вмѣстѣ съ тѣмъ, и его фетишизмъ восходитъ на самую высшую степень своего проявленія: въ фетишизмѣ *родовомъ*, племенномъ, или демоническомъ. Возникновеніе этого послѣдняго міросозерцанія Лэбоуэ и Тайлоръ согласно объясняютъ феноменомъ сновидѣній. Сновидѣнія не могутъ представляться дикарю простымъ произвольнымъ отправленіемъ мозга. Для него, какъ и для животнаго, всякое сновидѣніе должно представляться дѣйствительностью, реальнымъ событіемъ. Но такъ какъ и для дикаря ясно, что тѣло въ этой дѣйствительности не участвуетъ, то отсюда одинъ шагъ до заключенія, что есть, значить, въ человѣкѣ что-то другое, кромѣ его тѣла, способное отдѣляться отъ тѣла. Еще одно усиліе мозга, еще одна аналогія,—и это другое окажется тѣнью человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, тѣнь имѣетъ ту же самую форму, какъ и человѣкъ, а между тѣмъ она лежитъ внѣ его, а не въ немъ самомъ; тѣнь гораздо легче тѣла и, слѣдовательно, можетъ переноситься свободно съ мѣста на мѣсто; наконецъ тѣни не видно, когда человѣкъ лежитъ и спитъ. Итакъ, тѣнь можетъ отдѣляться отъ своего тѣла, и отдѣляется именно во снѣ. Этимъ-то путемъ дикарь находится по ночамъ въ сношеніи со всѣми другими, какъ живыми, такъ и мертвыми: его тѣнь посѣщаетъ всѣхъ другихъ дикарей, а тѣни ихъ всѣхъ посѣщаютъ, въ свою очередь, его самого. Само собою разумѣется, что изъ всѣхъ тѣней симпатичнѣе для человѣка и дружественнѣе должны быть тѣни его родственниковъ; а между этими особенную таинственность и покровительственность должны пріобрѣтать тѣни предковъ, тѣни отцовъ и дѣдовъ, которыя остаются

гдѣ-то на землѣ по смерти тѣлѣ. Такимъ образомъ и оказывается выработаннымъ поклоненіе тѣнямъ предковъ, прародителей, родоначальниковъ, или фетишизмъ родовой. Переименованіе же тѣней въ души, въ призраки, въ дыханіе есть вопросъ языка: въ однихъ языкахъ это тѣни, а въ другихъ—души. Въ томъ и другомъ случаѣ появляется новый разрядъ духовъ, соотвѣтствующій новому разряду тѣлѣ. Все это вполне подтверждается наблюденными фактами. Гренландцы и до сихъ поръ вѣрятъ въ полную реальность своихъ сновидѣній. Зулусы въ Африкѣ вѣрятъ, что мертвое тѣло не бросаетъ уже отъ себя тѣни, такъ какъ она навсегда отъ него отошла. На Мадагаскарѣ сновидѣнія считаются предостереженіемъ со стороны добрыхъ духовъ или тѣней. Болѣзни у дикихъ повсюду истолковываются какъ одержаніе злымъ духомъ.* Каждую побѣду свою зулусы относятъ къ помощи предковъ, т. е. ихъ тѣней или душъ. Капитанъ Кукъ на островахъ Тихаго океана, Ландеръ въ западной Африкѣ, Колумбъ и его спутники въ Америкѣ, Миклуха-Маклай на своемъ берегу Новой Гвиней, всѣ они принимаемы были туземцами или за просвѣтленные тѣни ихъ предковъ, или вообще за существа сверхъестественныя. Поклоненіе предкамъ рано или поздно ведетъ и къ изображеніямъ ихъ по смерти. Такъ у сибирскихъ остяковъ жена, потерявшая мужа, дѣлаетъ себѣ куклу его, кладетъ ее спать съ собою, кормитъ, наряжаетъ. При смерти же самого шамана, дѣлается всеобщая кукла его и поклоненіе ей воздастъ весь родъ. То же самое наблюдено и между фетишистами Маклаева Берега. Но тутъ мы нечувствительно для самихъ себя оказываемся уже на порогѣ идолопоклонства, и потому, прежде чѣмъ перейти къ нему, остановимся на минуту, чтобы дополнить представленіе о фазисѣ предъидущемъ. Что родовой фетишизмъ могъ зародиться въ дикомъ умѣ одновременно съ небеснымъ и съ земнымъ видно уже изъ того, что дикое представленіе о сновидѣніяхъ, изъ котораго весь онъ выходитъ, не можетъ уступать въ своей древности никакому иному воззрѣнію. Но что развитіе его должно было быть позднѣйшимъ, чѣмъ развитіе двухъ предъидущихъ фетишизмовъ, также достаточно вѣроятно, потому что эти два независимы отъ появленія брака и семьи на землѣ и весьма легко могутъ предшествовать имъ; тогда какъ третій фетишизмъ въ полномъ его развитіи не мыслимъ нѣтолько прежде брака и семьи, но даже прежде родоваго быта. Если же такъ, то циклъ фети-

пизма никакъ не могъ завершиться инымъ его фазисомъ, какъ именно родовымъ.

Дополняя всѣ эти содержанія фетишизма формами его, надо замѣтить, что ни одно изъ нихъ не производитъ еще ни публичнаго богослуженія или культа, ни публичнаго класса богослужебнаго или жречества, ни публичныхъ мѣстъ богослуженія или храмовъ. Храмомъ здѣсь есть еще всякая частная хижина и, много-много, какой либо холмъ, роща, дубъ. Жрецомъ здѣсь есть еще каждый домохозяинъ и, много-много, родоначальникъ; роль же цѣлаго и особаго жреческаго класса занимаютъ здѣсь только знахари, колдуны. Культъ здѣсь есть еще простой договоръ съ фетишемъ и, много-много, просьба къ нему (будущая молитва) и подарокъ (будущая жертва): при чемъ самая лучшая жертва всегда человѣческая. Таковъ, напримѣръ, культъ тацитовскихъ германцевъ или гальскихъ друидовъ. Нужно-ли прибавлять, что нравственныхъ понятій никакой фетишизмъ въ себя еще не включаетъ, и что никакихъ представлений о будущей жизни въ немъ также еще нѣтъ. Наконецъ, всеобщимъ содержаніемъ всѣхъ этихъ формъ и всѣхъ видовъ фетишизма есть, очевидно, *природа*, обожаніе всего видимаго міра.

Если бы всѣ эти разбросанныя представленія мы пожелали видѣть соединенными гдѣ нибудь во всей чистотѣ ихъ, въ какой нибудь одинъ цѣльный и конкретный образъ, то мы не нашли бы ничего лучше Китая. Въ средѣ современнаго ему древне-восточнаго, политическаго міра Китай составляетъ то, что начинаютъ нынѣ называть „переживаніемъ“ въ исторіи. Подъ этимъ именемъ разумѣется какое либо древнее начало, пережившее себя и, вслѣдствіе того, затесавшееся въ среду совершенно иного, новаго начала. При чемъ, если оно не подвергается дѣйствію этой новой среды, если оно не испытываетъ на себѣ вліянія ея, то можно напередъ предположить, что оно какъ нибудь искусственно или естественно удалено отъ соприкосновенія съ нею, искусственно или естественно изолировано. Такимъ именно и былъ Китай въ средѣ современной ему древности и даже долго въ средѣ новыхъ временъ. Мало того, онъ и до сихъ поръ составляетъ единственный въ исторіи образецъ государственнаго общества, не выходявшаго еще изъ періода фетишизма. Всякій иной государственный бытъ непременно перешагнулъ уже эту религіозную фазу; Китай же остается при ней и по сихъ поръ. Если страна эта представляетъ собою живое до-

казательство всей древности фетишизма, всего первенства его въ ряду всѣхъ остальныхъ міросозерцаній, то фетишизмъ Китая въ свою очередь представляетъ живое ручательство за первобытный характеръ самой страны, если не въ смыслѣ хронологическомъ, то уже непремѣнно въ соціологическомъ смыслѣ. По крайней мѣрѣ, другаго государства, съ печатью такой глубокой древности, исторія вовсе не знаетъ, такъ что это есть, собственно говоря, еще не государство, а какой-то переходъ изъ до-государственного быта въ государственный, какая-то амфибія между двумя мірами, такъ называемыми, до-историческимъ и историческимъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ Китаѣ не вполне исчезли еще фетишистскія представленія даже самаго первичнаго порядка, потому что земля, Ту, столь же еще боготворится тамъ, какъ и небо, Тіэнь. Мало того: сохраняется не только это самое общее изъ представленій земнаго фетишизма, но даже такое частное, какъ, напримѣръ, благоговѣніе передъ абрикосовыми деревьями. Не менѣе явственно произносится тамъ и фетишизмъ небесный. Богдыханъ китайскій есть, какъ извѣстно, сынъ неба; имперія его есть небесная имперія; солнце есть братъ богдыхана; луна есть сестра его. Мало того: тутъ же находятъ себѣ мѣсто и фетишизмъ третьяго типа—племенной. Рядомъ съ Ту и съ Тіэнь, съ землею и небомъ, стоитъ тамъ, какъ извѣстно, съ одной стороны, особа богдыхана, который вмѣстѣ съ землею и небомъ составляетъ китайскую троицу Санъ, а съ другой—боготвореніе родоначальника Китая, предковъ его, подъ именемъ одного изъ нихъ, Конфуція. На этомъ-то послѣднемъ сосредоточивается и самая энергическая религіозная практика. Ему-то дважды въ годъ приносятъ жертвы самъ богдыханъ, сынъ неба и братъ солнца и луны. Равно также и ученіе о системѣ духовъ, о демонизмѣ, разрослось здѣсь до послѣдней своей возможности. Самъ Конфуцій говоритъ о нихъ такъ: много, много ихъ на свѣтѣ; какъ вода въ океанѣ, они повсюду надъ нами, подъ нами и вокругъ насъ. Вѣрованія эти пустили такіе глубокие корни во всю практическую жизнь, что на каждомъ шагу въ ней встрѣчаешься съ ними. Гробы, напримѣръ, съ трупами отцовъ своихъ, китайцы хранятъ у себя по цѣлымъ годамъ, ежедневно поднося имъ и пищу, и питье. Въ китайскомъ адресѣ-календарѣ, рядомъ съ провинціями и съ мандаринами, прописываются также и духи или геніи этихъ провинцій, при чемъ, въ случаѣ несчастія, они точно также бывають

липаемы мѣстъ своихъ, какъ и самые чиновники. Когда богдыханъ хочетъ оказать величайшую почесть китайцу, то онъ возводитъ не его и не потомство его, а его предковъ въ дворянство, въ духи, въ геніи. Такимъ образомъ, религія Китая есть сумма всѣхъ трехъ различаемыхъ нами фетишизмовъ, съ тою разницею, что преобладаетъ между всѣми самый позднѣйшій. Наконецъ, религія Конфуція и до сихъ поръ не знаетъ ни жрецовъ, ибо каждый отецъ семейства есть жрецъ, а жрецъ за весь народъ самъ богдыханъ; ни храмовъ, ибо каждый домъ имѣетъ свой собственный храмъ въ одной изъ своихъ комнатъ, посвященной тѣнямъ предковъ; ни публичнаго богослуженія, ибо публичный всеобщій предокъ только одинъ и ему можетъ служить только богдыханъ. Есть до сихъ поръ слѣды даже того, что въ свое время приносились въ Китаѣ и настоящія чело-вѣческія жертвы, потому что нынѣ онѣ замѣняются бумажными изображеніями ихъ. Что же касается идей нравственности, то, вмѣсто нихъ, конфуціанство содержитъ въ себѣ только правила приличій, т. е. нравственность первобытную, азбуку ежедневнаго общежитія. О будущей же жизни китаецъ и вовсе не заботится. А что касается чувства религіознаго въ Китаѣ, то Шлоссеръ замѣчаетъ, что о религіи человѣка никто тамъ не спрашивается.

Вмѣстѣ съ Китаемъ чистота и полнота фетишизма исчезаетъ съ земли. Послѣ Китая нѣтъ больше ни одного общества, которое, до-зрѣвши до государства, не перешагнуло бы и черезъ фетишизмъ. Но шагъ этотъ вовсе не такъ внезапенъ и рѣзокъ, какъ можно было бы подумать, и наблюденіемъ его-то теперь мы и займемся. Нити между фетишизмомъ и политеизмомъ тянутся съ двухъ противоположныхъ концовъ: одинъ отъ фетишизма къ политеизму, впередъ, другія отъ политеизма къ фетишизму, назадъ. Мы разсмотримъ здѣсь сначала первыя, потомъ вторыя.

Мы уже видѣли на примѣрѣ сибирскихъ оставовъ и новогвинейскихъ папуасовъ, съ какою естественностью родовой фетишизмъ, посредствомъ куколъ, стремится переходить въ антропоморфизмъ, въ идолопоклонство. Куклы эти долгое время остаются не чѣмъ больше, какъ тѣми же фетишами, которыхъ такъ же наказываютъ и такъ же выбрасываютъ, какъ и прежнихъ. Но когда появится кукла общественная, а не частная, какъ изображеніе родоначальника, и когда вдобавокъ она будетъ изображена въ большомъ видѣ, въ какомъ, напримѣръ, попадаются по всей Россіи и Сибири каменные бабы, —

такое отношеніе къ нимъ не можетъ не видоизмѣниться, и изъ подчиненія человѣку боги переходятъ, по крайней мѣрѣ, въ равенство съ нимъ, если не въ превосходство надъ нимъ. Само собою разумѣется, что процентъ такого новаго богопочитанія очень еще слабъ, и что это есть только стремленіе изъ стараго въ новое. Изъ числа государственныхъ обществъ на этомъ стремленіи *отъ фетишизма къ политеизму* остановились Японія, Мексика, Перу. Всѣ эти три государства, разсматриваемыя каждое во всей своей цѣлости, принадлежатъ еще къ типу китайскому, а вслѣдствіе того и къ фетишистскому; но есть въ нихъ уже и отклоненія, какихъ нѣтъ еще въ Китаѣ. Такъ, напримѣръ, японскій фетишизмъ, все еще также, какъ и китайскій, насчитываетъ однихъ только до-историческихъ духовъ числомъ до 800,000. Право возводить людей и героев въ духи и геніи, по конфуціанству японскому также, какъ и по китайскому, принадлежитъ правительству. Правиль нравственности въ японской религіи также нѣтъ и даже не должно быть, такъ какъ въ нихъ нуждаются только безнравственные по природѣ китайцы; японцы же, рождаясь-де нравственными и безъ того, вовсе въ нихъ не нуждаются. Наконецъ, вообще фетишистскій складъ ума такъ еще вѣро-покъ и проченъ у японцевъ, что здѣшній конфуціанизмъ еще труднѣе китайскаго поддается всѣмъ усиліямъ христіанскихъ миссіонеровъ. Тѣмъ не менѣе, однакожь, японскій фетишизмъ сильно уже поколебленъ и сдвинутъ съ своего мѣста. Послѣдователей Конфуція остается не болѣе 300,000 во всей странѣ, хотя они и составляютъ всю интеллигенцію и всю аристократію ея. Вся же остальная почва все больше и больше отвоевывается буддизмомъ, такъ что съ виду страна съ ея храмами и духовенствомъ, ея монастырями и монахами, которыхъ однихъ насчитывается до 250,000, теряетъ всякій фетишистскій характеръ. Чтò здѣсь происходитъ искусственно, посредствомъ вліянія со стороны, тò въ Мексикѣ и Перу совершалось естественно, посредствомъ собственнаго роста сознанія. Фетишизмъ Перу мы видѣли уже выше, какъ въ качествѣ земнаго, такъ и небеснаго. Мы видѣли это поклоненіе камнямъ, злакамъ, рыбамъ, ястребамъ, обезьянамъ, ламѣ, кондору, орлу, лисицѣ, наконецъ, морю и вообще землѣ. Мы видѣли также и это почитаніе солнца, этотъ сабенизмъ, къ которому надо прибавить теперь и перерожденіе его въ фетишизмъ чисто-родовой. По этому послѣднему воззрѣнію, солнце было и предкомъ, и основателемъ династіи инковъ. Инки царство-

вали тамъ не иначе, какъ именно въ качествѣ представителей солнца. Жень себѣ избирали они изъ среды такъ называемыхъ дѣвъ солнца, т. е. потомковъ той же самой династїи. По смерти своей, они возвращались въ отечество свое, т. е. на то же самое солнце. Все потомство ихъ составляло такъ называемую солнечную расу. Но не смотря на весь, столь рѣзко произнесшійся фетишизмъ, чистота его все-таки уже исчезла. Солнце мало по малу уже обратилось въ то изображеніе его (кружокъ съ признаками лица), какое употребляется теперь въ астрономїи. А что еще важнѣе, были извѣстны уже и настоящіе идолы, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ изображались даже въ человѣческой формѣ. Такимъ образомъ, путь къ антропоморфизму былъ уже открытъ. Также точно и въ Мексикѣ, гдѣ мы видѣли уже поклоненіе кипарису, совѣ, солнцу, фетишизмъ былъ, во время открытія, уже въ своемъ отцвѣтанїи. И хотя восходъ солнца все еще изъ дня въ день привѣтствовался звуками трубъ, воскуренїями и приношенїями капли крови изъ ушей; но эта капля крови была уже изъ ушей жреца; но эти воскуренїя совершались уже во храмахъ; но эти привѣтствованїя составляли уже часть общественнаго богослуженїя. Хотя самую лучшую жертвою у ацтековъ считался все еще живой плѣнникъ, при чемъ его предварительно даже отвармливали для этой цѣли; но жертва эта приносилась уже не непосредственно предметамъ природы, а только ихъ изображенїямъ и символамъ, т. е. настоящимъ кумирамъ. Идолы въ Мексикѣ стоятъ уже на каждомъ возвышенїи, въ каждой улицѣ, въ каждомъ домѣ. Словомъ, фетишизмъ вездѣ и всегда, гдѣ мы видѣли его въ полномъ развитїи всего цикла его, стремится естественно и самъ собою переродиться въ политеизмъ. Но политеизмъ является здѣсь въ состоянїи, которое, въ противоположность переживанїю, можно было бы назвать „приживанїемъ“. Фетишизмъ еще царитъ, новое же начало пробуетъ только приживаться къ нему, поддѣлывается подъ него, приспособляется къ нему.

Теперь только мы можемъ вступить въ тѣ эпохи, которыя слывутъ уже историческими, т. е. въ исторїю древнихъ государствъ, которыя служатъ, по общему признанїю, полными представителями политеизма, такъ сказать, выжившаго уже надъ фетишизмомъ. Но прежде, чѣмъ мы достигнемъ до этого дѣйствительнаго политеизма, до полнаго выживанїя его, мы хотимъ показать, что онъ вовсе не такъ легко выживаетъ и вовсе не такой чистый политеизмъ, какъ

можно было бы подумать. Напротивъ, связи его съ фетишизмомъ еще многочисленнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ тѣ, какія мы видѣли идущими отъ фетишизма къ политеизму. Нѣтъ, напримѣръ, никакого сомнѣнія, что индѣйцы, египтяне, вавилоняне, мидяне, финикійцы были политеисты. Нѣтъ также сомнѣнія, что такими же политеистами были и кареагеняне, и греки, и римляне. А между тѣмъ, что же мы видимъ не только въ началѣ всѣхъ ихъ религій, но даже гораздо послѣ того? Мы видимъ постоянное обращеніе назадъ, *изъ политеизма въ фетишизмъ*. Мы видимъ, что у индѣйцевъ, напримѣръ, ихъ богъ Вишну есть не что иное, какъ воздухъ, потомъ олицетворенный и изображенный символически во вѣѣ. Также точно богъ Рудра не что иное, какъ буря, Самудра—вода, Притгиви—земля. Трудно было бы даже вычислить всѣ предметы вселенной, которые пѣвцами ведъ умоляются, какъ божества: тутъ есть и растенія, и животныя, и холмы, и горы, и рѣки, и моря. Извѣстно, напримѣръ, какую святыню слылъ во всѣ времена Гангъ: помолиться въ текучей водѣ его стоило многихъ жертвоприношеній; умереть на берегахъ его, похоронить въ его водахъ прахъ свой, значило освободиться отъ переселеній души. Въ низшихъ классахъ индѣйскаго населенія и до сихъ поръ можно видѣть женщинъ, приносящихъ жертвы своей корзинѣ, въ которой носятъ онѣ съѣстные припасы; можно видѣть столаровъ, оказывающихъ такія же почести своимъ инструментамъ; солдатъ, обращающихся съ молитвой къ своему оружію; пахарей, возводящихъ въ священный предметъ плугъ свой. Можно видѣть самыхъ даже браминовъ, которые сперва помолятся на ту самую палочку, которою собираются писать. А что же это такое, какъ не чистый фетишизмъ? и при томъ фетишизмъ, который еще лучше раскрываетъ намъ природу свою, чѣмъ даже въ собственныхъ отечествахъ своихъ. Мало того: солнце, мѣсяцъ, звѣзды, громъ, молнія, аврора, облака, радуга—все это въ первоначальномъ отечествѣ аріевъ было даже по преимуществу предметомъ ихъ поклоненія. Самый великій богъ ведъ есть еще не кто иной, какъ Индра, т. е. небо, лазурь, свѣтъ. Первое послѣ него мѣсто въ пантеонѣ ведъ принадлежитъ богу Агни, т. е. просто огню, очагу: что Индра на небѣ, то Агни, по ведамъ, на землѣ. Священный огонь у индусовъ добывался жрецами даже при помощи особаго способа, а именно посредствомъ тренія дерева: при архаическомъ способѣ добыванія, намекающемъ на самое изобрѣтеніе огня, онъ казался чище, бже-

ственности, досточтимѣ. Также точно Тваштри была не что иное, какъ молнія, ковавшая оружіе для Индры; Варуна—сводъ небесный; Сурья—солнце. Словомъ, что же это такое, какъ не просто сабензмъ? Наконецъ, въ довершеніе фетишистскаго цикла, есть и прямое обожаніе предковъ, питри, и во главѣ ихъ всѣхъ перваго человѣка и перваго законодателя Ману. Двѣ первыя династіи индійскія также обоготворены, одна подъ именемъ солнечной, другая подъ именемъ лунной. Для душъ усопшихъ есть у индусовъ также выставленіе воды для омовеній и молока для питья. Самое переселеніе душъ, столь, повидимому, характеристическое для политеизма, въ качествѣ первыхъ очерковъ идеи безсмертія души, есть не болѣе, какъ простое приспособленіе фетишизма. Вѣра эта, населившая весь міръ духами, одушевившая всѣ предметы вселенной, развѣ не есть только заключительное, послѣднее слово фетишизма? развѣ не есть она фетишизмъ обобщенный, возведенный въ систему? Тотъ браминъ Коромандельскаго Берега, который боится вырвать растеніе съ корнемъ, чтобы не потревожить души его, и тотъ другой, который не слѣдуетъ этому правилу потому только, что считаетъ услугою для души выслать ее изъ низшаго тѣла въ слѣдующее высшее, суть тѣ же два фетишиста, которые только различнымъ образомъ примѣняютъ общую имъ обоимъ теорію. А теорія аватаровъ или воплощеній божества, при чемъ самое божество вселяется то въ кабана, то въ черепаху, то въ рыбу, развѣ это не послѣдствіе той же самой глубоко фетишистской закваски религіи? Мы не говоримъ уже о чисто-фетишистской безчисленности индійскихъ боговъ, которые отъ 33 боговъ Ригведы перешли потомъ въ 33 тысячи и, наконецъ, достигли, по индусскому представленію, до 330 милліоновъ. Нужно-ли говорить о такой же закваскѣ политеизма египетскаго? Это были уже не олицетворенія, какъ въ Индіи, а непосредственные фетиши, какъ быкъ Аписъ, крокодилъ, кошка, ибисъ, ихневмонъ, лотосъ, Ниль, тифонъ и т. п. Никакія старанія и ухищренія жрецовъ не въ состояніи были ни преобразить, ни даже поддѣлать эту народную вѣру къ политеизму. Напрасно хлопотали они о томъ, чтобы представить животныхъ то символами божества, то воплощеніями его, какъ слѣдовало бы по системѣ политеизма; вся эта учоность жрецовъ и экзегетика ихъ оставалась лишь при нихъ самихъ и въ народъ не проникала. Грубѣйшій фетишизмъ его былъ такъ глубокъ и такъ прочно инкорпорированъ въ

правы, что даже въ концѣ древне-египетской исторіи, уже при Птоломеяхъ, довольно было одному римскому солдату нечаянно убить одну священную кошку, чтобы тутъ же быть растерзану разъяреннымъ народомъ, не смотря ни на обаяніе римскаго имени, ни даже на самое заступничество царя. Эта самая низшая форма фетишизма до такой степени врѣзалась въ сознание египетское, что затмила собою обѣ другія, хотя и эти послѣднія не остались въ немъ безъ слѣда, но только лучше приспособленныя къ политеизму. Древнѣйшее названіе солнца было Ра или Фра, и стоитъ лишь прибавить это слово къ названію какого-либо божества, чтобы тѣмъ самымъ уже отнести его къ солнечному культу. Этому Ра или Фра посвященъ особо цѣлый городъ, Геліопольсѣ. По имени этого же Фра называются и цари египетскіе фараонами. Но Ра есть Ра только тогда, когда сіяетъ на меридіанѣ; въ своемъ же ночномъ существованіи онъ есть Атумъ, а въ своемъ качествѣ животворности есть Хеперъ. Но, кромѣ этихъ трехъ формъ солнечнаго божества, есть также и другія, и всегда тріадами: мужъ, жена, сынъ. Такова тріада Озириса, Изиды и Гора, при чемъ Озирисъ опять есть солнце, но только въ царствѣ мертвыхъ, а Горъ тоже солнце, но только восходящее. Такимъ образомъ насчитывалось не меньше четырехъ тріадъ, или всего 12 божествъ, которыя и представляли всю годичную жизнь солнца, со всѣми 12 знаками ея зодіака. Что касается почитанія предковъ и вообще духовъ, то осадки перваго въ государственной жизни Египта сосредоточились на личности Менеса, перваго царя и законодателя, и самымъ именемъ своимъ напоминающаго какъ индійскаго Ману, такъ и еврейскаго Моисея, и критскаго Миноса. Вѣра въ духовъ, въ геніевъ не была ниже и самой интеллигенціи египетской, такъ что одинъ египетскій астрологъ вполне серьезно предупреждалъ Антонія держаться подальше отъ Октавія, такъ какъ, говорилъ онъ, твой геній боится его генія. Для питанія же душъ усопшихъ у египтянъ выставались пироги и утки. Словомъ, самымъ вѣрнымъ символомъ этой религіи, полу-животной, полу-человѣческой, могъ служить тотъ, который былъ и всѣхъ популярнѣе: это — сфинксъ. Онъ есть превосходное изображеніе этого полу-фетишизма и полу-антропоморфизма. Слѣды фетишизма въ Вавилоніи остались на изображеніяхъ здѣшнихъ боговъ. Верховный богъ Илу, или по-ассирійски Ассуръ, представляется обыкновенно парящимъ на двухъ развернутыхъ крыльяхъ орлиныхъ и на орлиномъ хвостѣ. Богъ

Оаннесъ самъ имѣлъ орлиный хвостъ; голова же его покрыта огромною рыбою, бока которой ниспадаютъ на его плечи, а раскрытая пасть высоко поднимается надъ головой. Тіара, которою коронованъ богъ Бель, украшена рогами быка. Символомъ бога Ао или Бинъ служила змѣя. Нисрошъ или Салманъ самъ имѣетъ орлиную голову и орлиныя крылья. Словомъ, все это опять та же животное-человѣчность въ религіозныхъ представленіяхъ. Еще лучшіе слѣды оставило здѣсь мировоззрѣніе сабеистическое. Самасъ былъ богъ солнца, Синь — богиня луны, Бинъ — богъ атмосферы и тверди небесной. Ниже этой тріады шли боги пяти планетъ: Адаръ, Меродахъ, Нергалъ, Истаръ и Неббо. Еще дальше шолъ цѣлый народъ низшихъ боговъ, боги каждаго созвѣздія, каждаго знака зодіака, каждаго мѣсяца, каждой недѣли и т. п. Словомъ, это настоящій звѣздный пантеизмъ, съ которымъ можетъ соперничать только чисто-фетишистскій сабеизмъ арабовъ. Въ качествѣ же послѣдней фетишистской флексіи кипать въ Ассири-Вавилоніи многочисленныя гении. Финикійско-кареагенская религія чуть ли не болѣе другихъ запоздала съ обращеніемъ въ политеизмъ и антропоморфизмъ. По крайней мѣрѣ, въ храмахъ финикійскихъ вовсе еще нѣтъ человѣкоподобныхъ изображеній боговъ (хотя въ домашнемъ употребленіи они уже имѣются во множествѣ), а вмѣсто того въ храмахъ все еще остаются только, такъ называемые, вефилы, или просто камни, то природные, то обдѣланные. Въ святилищѣ Мелькарта въ Тирѣ это былъ громаднѣйшій изумрудъ, который считался упавшимъ съ неба и поднятымъ Астартою. Въ Патосѣ камень, изображавшій самое Астарту, имѣлъ форму коническую, такъ же, какъ и въ Гигантейѣ. Мало того: божескія почести воздавались и непосредственно такимъ предметамъ, какъ аэролиты или камень Геліогабалъ въ Сиріи, какъ деревья и источники, какъ горы Гермонъ и Казій. Финикійская же змѣя съ хвостомъ во рту, бывшая символомъ міра и бога Таута, сдѣлалась съ тѣхъ поръ у всѣхъ народовъ эмблемою вѣчности. Небесный фетишизмъ оставилъ не менѣе рѣзкіе слѣды, во-первыхъ, въ богѣ Тамузѣ, представителѣ или ваалѣ солнца, и въ его ваалеттѣ или женѣ, представительницѣ луны; во-вторыхъ, въ семи ваалимахъ или представителяхъ планетъ; и въ-третьихъ, въ Молохѣ, олицетвореніи огня. Наконецъ, въ качествѣ родового или племеннаго фетишизма фигурируетъ богъ Таотъ, законодатель финикійскій. Но всего дольше въ финикійско-кареагенскомъ политеизмѣ удержался жестокій

фетишистскій культъ, состоявшій въ жертвоприношеніи Молоху дѣтей, которыя возлагались на раскаленные руки бога и съ нихъ скатывались въ огонь. Этотъ культъ лучше всего обличаетъ тѣ міросозерцанія, съ которыхъ финиціане должны были начать свою исторію. Гораздо чище всѣхъ предъидущихъ политеизмъ зендскій или мидо-персидскій; но и онъ все-таки запечатлѣнъ печатью своего происхожденія. Такіе факты, какъ сѣченіе моря Ксерксомъ за разрушеніе моста его, или наказаніе Киромъ рѣки за потопленіе священной колесницы, приписываемые обыкновенно чудачеству деспотизма, едва ли не должны объясниться скорѣе фетишистскою логикой. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, въ маздеизмѣ гораздо явнѣе отразились преданія сабензма. Ормуздъ (или Агурамазда), бывшій богомъ добра, былъ также и богомъ свѣта, такъ что идея добра была, по всей вѣроятности, лишь распространеніемъ первоначальной идеи свѣта, тѣмъ болѣе, что и единственное изображеніе Ормузда, какое допускалъ маздеизмъ, было не что иное, какъ простой огонь. При построеніи Экбатаны и семи ея стѣнъ, стѣны эти были окрашены семью цвѣтами, въ честь семи планетъ. Во времена же Ахеменидовъ прямое, откровенное поклоненіе звѣздамъ возродилось съ такою силою, что заслонило собою самого Ормузда. Родовой фетишизмъ оставилъ свою память въ почитаніи Зороастра (или Зердушты), и еще болѣе въ почитаніи геніевъ, или добрыхъ и злыхъ духовъ, каковы у Ормузда амшаспанды, изеды и феруэры, у Аримана — дарванды и дэвы, эти бессмертные типы всѣхъ смертныхъ вещей. Люди, животные, звѣзды, — все имѣетъ своего феруэра, свой отвлеченный отъ предмета прототипъ, который надо умиловать молитвами и жертвами. Все это есть, конечно, прямой рефлексъ фетишистскихъ тѣней предковъ и душъ всѣхъ вещей. Но еще удивительнѣе, что даже съ переходомъ въ классическій міръ, въ этотъ наивысшій типъ политеизма, политеизмъ все-таки далеко еще не освобождается отъ впечатлѣній фетишизма. Какъ ни окончательно сформировался тутъ и политеизмъ, и антропоморфизмъ, но вѣрованія предшествовавшія весьма мало еще эскупорировались. Въ Греціи, этой классической странѣ челоукообразнаго многобожія, мы то и дѣло наталкиваемся, однакожъ, то на минотавра, то на цербера, химеру, ехидну, медузу, гидру лернейскую, льва немейскаго, вепря каледонскаго, птицъ стимфальскихъ, кабана эримантскаго и т. д., и т. д. Въ Аѳонахъ, въ самыя цвѣтуція времена ихъ,

все еще содержался въ храмахъ священный змѣй, служитель Аѳины, предъ которымъ однажды въ мѣсяцъ неизмѣнно полагался священный прѣнокъ, имѣвшій значеніе нашей просфоры. Въ Аргосѣ, при святилищѣ Иры, держались священные кони; въ храмахъ Артемиды—священные куры; въ Амаксатѣ на берегу Троады—священные мыши. Самое гаданіе по внутренностямъ животныхъ, по полету птицъ, по клеванію куръ, по шелесту священнаго дуба, по журчанію священнаго ручья, все это могло вести родъ свой только отъ фетишистскаго обожанія этихъ самыхъ предметовъ и быть наслѣдіемъ только фетишистскаго знахарства и кудесничества. Не мудрено было бы, еслибъ только первобытныя изображенія греческихъ боговъ не имѣли никакой претензіи на сходство съ человѣческой природою, и состояли изъ простаго столба, доски, бревна, неотесаннаго камня; но гораздо мудренѣе, что эти остатки сѣдой старины никогда, какъ утверждаетъ Гротъ, не переживали себя, и что чѣмъ изображеніе древнѣе, тѣмъ и священнѣе представлялось оно грекамъ, даже во времена Фидіевъ и Праксителей. Такимъ былъ, напримѣръ, чурбанъ на Эвбеѣ, долженствовавшій представлять собою Артемиду; такимъ былъ столбъ, имѣвшій изображать собою Палладу—Аѳину; неотесанный камень въ Гіеттѣ, обращенный въ символъ Геркулеса; камень, служившій на Беотійскихъ празднествахъ эмблемою Эроса, и пр., и пр. Еще въ четвертомъ вѣкѣ до Р. Х. Теофрастъ описываетъ такихъ грековъ, которые, проходя по улицѣ мимо умащенныхъ масломъ подобныхъ камней, набожно вынимали свою склиру, и, совершивъ изъ нея возліаніе на камень, преклоняли предъ нимъ колѣно и только потомъ уже продолжали путь свой. Въ томъ же самомъ столѣтіи полнѣйшаго разцвѣта Греція сохранялась еще въ Аѳинахъ юридическій обычай отдавать подъ судъ неодушевленные предметы за причиненное ими зло, при чемъ, въ случаѣ признанія предмета виновнымъ, напримѣръ, упавшимъ безъ участія людской воли, осужденный камень, топоръ, бревно извергались за городъ; въ противномъ же случаѣ оправдывались. И даже, спустя шесть столѣтій послѣ этого христіанинъ Арнобій, описывая свою жизнь въ язычествѣ, между прочимъ, признается, какъ онъ къ одному изъ придорожныхъ камней обращался когда-то съ просьбами и лестиными рѣчами. Все это были, очевидно, осадки изъ эпохи фетишизма, которымъ старались придать теперь политеистическій смыслъ. Сюда же относятся всѣ эти священные рѣвки, какъ Лета, Стиксъ, Ахеронъ,

священные пруды и источники, какъ у элевзинскаго храма, священныя горы, какъ Олимпъ, Пиндъ и т. п. Что же касается фетишей, успѣвшихъ олицетвориться и преобразиться въ дѣйствительныхъ идоловъ, то таковы, очевидно, по крайней мѣрѣ, слѣдующіе: Гея, которая изъ земли сдѣлалась богиней земли, Деметрою, Борей — богъ вѣтра, Нептунъ — богъ моря, Гермесъ — богъ границъ, и всѣ эти гномы, эльфы, сильфиды, нимфы, наяды, феи, дріады, фавны, сатиры, словомъ, духи водъ, воздуха, горъ, лѣсовъ и всякихъ предметовъ вселенной. Сабейзмъ, въ свою очередь, также широко сказывается въ такихъ, на примѣръ, олицетвореніяхъ, какъ Гестія, богиня огня и домашнего очага. Впрочемъ, огонь и въ собственномъ своемъ видѣ занималъ не послѣднее мѣсто въ греческомъ культѣ. При каждомъ храмѣ этого культа непремѣнно поддерживался священный огонь; а каждый домашній очагъ былъ самъ по себѣ божество, требовавшее ежедневныхъ жертвъ и возліаній. Солнечное поклоненіе превратилось въ поклоненіе Геліосу и Фаэтону. Небо вообще оказалось богомъ Ураномъ. Да и самъ первенецъ боговъ Зевесъ, который гремитъ, бросаетъ молніи, посылаетъ дождь и вѣтры, снѣгъ и градъ, держитъ въ рукахъ радугу, собираетъ и разгоняетъ облака, устанавливаетъ дни, мѣсяцы, времена года, этотъ самый Дій — громовержецъ, развѣ онъ не явно стихійное божество, неолицетворенное небо, не весь сабейзмъ, совокупленный въ одномъ образѣ! Наконецъ, родовая вѣра въ героевъ, полубоговъ, геніевъ, демоновъ завершаетъ собою весьма щедро фетишистскіе остатки греческаго политеизма. Извѣстно, что нѣтъ ни одного событія, ни одного изобрѣтенія, ни одного племени, ни одного города, которые не возводили бы себя къ какому нибудь герою, полубогу, предку. Девкаліонъ и Пирра, Іонъ, Эоль, Доръ, Ксутъ, Инахъ, Данай, Кадмъ, Кекропсъ, Тезей, Геркулесъ, Ахиллесъ, все это не что иное, какъ фетишистскія тѣни предковъ, души усопшихъ. Извѣстно также всеобщее вѣрованіе въ добраго генія, который сопровождаетъ каждого вообще человѣка отъ самаго дня рожденія до самой смерти и называется мистагогъ. Извѣстенъ, наконецъ, демонъ самого Сократа. Словомъ, все это есть еще развѣ только пестрая смѣсь политеизма съ фетишизмомъ, но, повидимому, все еще не политеизмъ. А между тѣмъ, тоже самое и въ самомъ Римѣ. Гораздо раньше тѣмъ обожать Юпитера тамъ поклонялись простому камню, который обращенъ потомъ въ Юпитера. Гораздо прежде обожанія Марса чествовалось просто

копье, которое со временем превратилось въ Марса. Существованіе богини Tellus самымъ именемъ ея обличаетъ предварительное обо-
жаніе земли непосредственно. Съ другой стороны, Вулканъ и Веста, институтъ весталокъ и великое значеніе священнаго огня обнажаютъ и другую фетишистскую складку этого политеизма и, при томъ, почти въ первобытномъ ея видѣ. И дѣйствительно, прежде культа Весты имѣлъ мѣсто прямой культъ огня. Древнѣйшее изъ римскихъ божествъ, Янусъ, есть также несомнѣнно солнечное; Діана на столько же богиня луны; сами же Юпитеръ и Юнона, имѣющіе всѣ атрибуты Зевеса и Геры, составляютъ тоже самое совокупленное олицетвореніе всѣхъ явленій небесныхъ. Наконецъ, пенаты и лары, или боги домашніе; *genius natalis* или мистагогъ греческій, и всего больше Манес, тѣни, суть законные преемники фетишей, духовъ ихъ и тѣней предковъ. Въ довершеніе всего, не чужды Риму и человѣческія жертвы. Остатками ихъ долго еще оставались жертвы Тибру, въ видѣ головокъ чесноку и въ видѣ соломеннаго чучела; сталкиваемого съ моста въ воду. Такова густая и повсемѣстная во всемъ древнемъ мірѣ примѣсь фетишизма къ политеизму, доказывающая, между прочимъ, съ несомнѣнностью, что извѣстному намъ вѣку политеизма предшествовалъ другой, неизвѣстный намъ, но, тѣмъ не менѣе, дѣйствительный и, при томъ, долговременный вѣкъ фетишизма.

Но если такъ, если смѣсь обѣихъ системъ такъ велика, то спрашивается, наконецъ, гдѣ же самый политеизмъ? гдѣ то чистое, безпримѣсное многобожіе, которое заняло мѣсто прежняго всебожія? гдѣ новое міровоззрѣніе въ такой чистотѣ своей, каковъ, напри-
мѣръ, фетишизмъ въ конфуціанствѣ? Такого момента нѣтъ и даже не могло быть въ исторіи. Такая чистота возможна только для каждаго перваго изъ историческихъ шаговъ, которому не предшествовало еще никакое другое историческое предыдущее. Но развѣ, что оно имѣло мѣсто, оно почти никогда уже не эскорпорируется изъ общества, такъ сказать, до тла своего, а тѣмъ болѣе въ фазисѣ непосредственно послѣдующемъ. Пронеднее падаетъ, покоряется настоящему, но развалины его продолжаютъ существовать еще долго и долго. Изъ нихъ, по большей части, возводится новое зданіе, но часть этихъ обломковъ остается въ своемъ дезорганизованномъ видѣ, не примкнувши ни къ чему новому, и даже заботливо охраняемая въ качествѣ именно развалинъ. Съ другой стороны, чистота историческихъ принциповъ возможна сколько-нибудь развѣ еще въ за-

ключительныхъ метаморфозахъ того или другого развитія; но всѣ метаморфозы посредствующія, уже по тому одному, что онѣ посредствуютъ между двумя другими, по необходимости, должны быть запружены элементами обѣихъ: съ одного края—элементами начала, съ другого—элементами конца. Такъ и политеизмъ, который мы видѣли загроможденный фетишизмомъ, и который скоро увидимъ, загромождаемый монотеизмомъ, по необходимости, долженъ почти на каждомъ шагѣ своемъ носить печать измѣны себѣ то въ пользу непосредственно предшествующихъ ему началъ, то въ пользу непосредственно слѣдующихъ за нимъ. И если между этими двумя крайностями возможна точка безразличія, гдѣ обѣ крайности нейтрализуются, то развѣ только воображаемая, въ родѣ математической, и, во всякомъ случаѣ, это не больше, какъ одно мгновеніе историческое. Такимъ-то мгновеніемъ въ исторіи политеизма можетъ быть признана въ средѣ всего древняго міра одна только Греція; да и то не вообще, а развѣ лишь въ срединѣ IV столѣтія и, наконецъ, лишь въ качествѣ одной интеллигенціи ея.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, надо опять обозрѣть весь пройденный нами путь, но на этотъ разъ обозрѣть съ новой точки зрѣнія. Какъ политеизмъ, какъ многобожіе, вѣра всѣхъ древнихъ народовъ должна отличаться отъ первобытныхъ вѣрованій прежде всего числомъ своихъ боговъ. Но терминъ политеизмъ, многобожіе, заключаетъ въ себѣ въ этомъ отношеніи нѣкоторую двусмысленность, которую необходимо предупредить. Можно подумать, что принципъ, что идеалъ, обозначаемый этимъ именемъ, состоитъ въ томъ, чтобы плодить боговъ, что онъ предполагаетъ увеличеніе, умноженіе числа ихъ. Между тѣмъ, эта послѣдняя задача выпала, напротивъ, какъ мы видѣли, на долю фетишизма: только тамъ число божествъ было дѣйствительно безмѣрно. Политеизмъ же, наоборотъ, представляется, по сравненію съ фетишизмомъ, лишь сокращеніемъ этого числа: вмѣсто „всѣхъ“ предметовъ міра, поставленныхъ для обожанія фетишизмомъ, политеизмъ поставляетъ для него только „многіе“. Поэтому, терминъ многобожія правильно понимается лишь тогда, когда онъ противопоставленъ термину всебожія. Въ этомъ-то послѣднемъ смыслѣ греческій политеизмъ составляетъ между всѣми другими то же, что въ статистикѣ средній человѣкъ. Онъ не допускаетъ умноженія божествъ до 20,000, какъ у негра, или до 800,000, какъ у японца и до 330 милліоновъ, какъ у индуса, но

онъ не допускаетъ и сокращенія ихъ до 12 главныхъ божествъ, какъ у римлянъ. Это, дѣйствительно, средній, типическій политеизмъ, гдѣ не слишкомъ много свойствъ политеизма, но и не слишкомъ мало ихъ. Чѣмъ боговъ въ политеизмѣ больше, какъ, напримѣръ, на всемъ древнемъ востоцѣ, тѣмъ онъ фетишистичѣе; чѣмъ ихъ въ немъ меньше, какъ, напримѣръ, въ Римѣ, тѣмъ онъ монотеистичѣе: а потому дѣйствительно политеистичнымъ есть только политеизмъ греческій. Далѣе, понимаемое и рассматриваемое какъ антропоморфизмъ, многобожіе Эллады опять болѣе всѣхъ другихъ древнихъ соотвѣтствуетъ и этому термину. Въ Индіи, въ Египтѣ, въ Вавилоніи антропоморфированіе божествъ еще крайне нерѣшительно. Тамъ то и дѣло еще оно представляетъ такіа сочетанія, какъ сочетанія человѣческаго туловища съ звѣриной головой или обратно, и такіа, какъ сочетаніе на груди нѣсколькихъ сосцовъ (Артемиды фригійская) или на плечахъ нѣсколькихъ рукъ. Къ образу человѣка примѣшиваются еще образы природы; или же образы человѣка соединяются между собою не по-человѣчески. Словомъ, это скорѣе символизмъ, чѣмъ антропоморфизмъ, изобрѣтеніе фантазій, а не дѣйствительность. Наоборотъ, Римъ впадаетъ въ противоположную крайность антропоморфизма. Хотя онъ и изображаетъ своихъ боговъ въ настоящей человѣческой формѣ, а между тѣмъ эти боги не только безсмертны, какъ въ Греціи, но, сверхъ того, они не женятся, не родятъ дѣтей, не ѣдятъ, не пьютъ, не веселятся; у нихъ такихъ похощеній, такихъ приключеній, какъ у боговъ греческихъ, нѣтъ. Словомъ, сохраняя человѣческую форму, они совсѣмъ перестаютъ быть людьми. Это скорѣе отвлеченныя понятія, чѣмъ люди. Греція же являетъ собою компромиссъ между этими двумя противоположностями. Съ одной стороны, антропоморфизмъ ея есть истинный, типичный антропоморфизмъ, потому что онъ не допускаетъ уже никакого искаженія человѣческой формы божества въ какую бы то ни было сторону: всякое осложненіе этой формы онъ считаетъ обезображеніемъ ея, и единственнымъ средствомъ усовершенствованія ея онъ почитаетъ лишь возможно большее приближеніе къ высочайшимъ образцамъ дѣйствительности. Но въ то же время онъ не допускаетъ, съ другой стороны, и уклоненія вверхъ отъ человѣческой природы, какъ не допускалъ ихъ внизъ. Единственное такое уклоненіе, безъ котораго совсѣмъ не было бы разницы между богами и людьми, есть только безсмертіе первыхъ. Во всемъ же

прочемъ греческіе боги суть тѣ же самые люди, со всѣми ихъ страстями и обычаями, со всѣми слабостями и пороками, со всею плотью и кровью. Они женятся, производятъ дѣтей, измѣняютъ, ревнуютъ, бѣгаютъ за приключеніями, завидуютъ, мстятъ, ссорятся. пьютъ, ѣдятъ, веселятся. Впрочемъ, и самому даже безсмертію боговъ угрожаетъ, въ свою очередь, Судьба, по велѣніямъ которой поколѣніе боговъ однажды уже перемѣнилось и можетъ перемѣниться вновь. Этою послѣднею чертою греческій антропоморфизмъ достигаетъ до всей своей цѣльности, до всей своей, такъ сказать, антропоморфичности. — Какъ идолопоклонство, греческая религія занимаетъ точно такое же среднее положеніе во всемъ остальномъ политеизмѣ. На востокѣ поклоняются еще самому идолу; идолъ этотъ уже челоѣкообразенъ, но ему поклоняются еще непосредственно, какъ фетишу. Это на половину фетишъ, на половину идолъ. Во всякомъ случаѣ кумиръ есть здѣсь самый богъ. Въ Греціи кумиръ отдѣляется отъ божества: онъ есть только воспроизведеніе, только напominаніе его; истуканъ остается на землѣ, тогда какъ богъ обитаетъ гдѣ-то внѣ ея, на небесахъ или, по крайней мѣрѣ, на вершинѣ Олимпа. Безъ изображенія богъ, конечно, немислимъ, но и самое изображеніе не есть, однакожъ, богъ. Въ Римѣ идеализація божества идетъ гораздо дальше. Здѣсь божество не только разъединяется съ своимъ изображеніемъ, но даже дѣлается отъ него независимымъ, такъ что можетъ вовсе не нуждаться въ немъ. Въ Римѣ получилась уже возможность такихъ божествъ, какъ *Fides*, *Libertas*, *Victoria*, *Concordia*, *Pax*, *Tranquillitas* и т. п., т. е. божествъ воображаемыхъ, но не изображаемыхъ, отвлеченій, а не конкретностей. Алтари свои тамъ имѣли даже такіа идеи, такіа представленія, какъ Голодь, Моровая язва, Лихорадка. Словомъ, это уже запросъ на какое-то новое перерожденіе вѣрованій, потому что дѣло дошло до того, что въ природѣ челоѣческой нѣкоторый перевѣсъ предоставляется уже духу надъ тѣломъ. И если въ этомъ ежедневномъ микроскопическомъ процессѣ перехода отъ матеріи къ духу есть гдѣ нибудь моментъ равновѣсія, безразличія, то искать его нельзя нигдѣ больше, какъ опять таки въ Греціи. — Какъ язычество, каждый политеизмъ востока крайне исключителенъ, крайне націоналенъ: всякій брамаизмъ исключаетъ тамъ всякій маздеизмъ, хотя оба имѣютъ одно и то же отечество; вѣра египтянъ нестерпима для послѣдователей Ормузда; египетскій кругозоръ несовмѣстимъ

съ халдейскимъ. Словомъ, каждая вѣра въ высшей степени національна; что языкъ, то и новая вѣра. Отсюда и язычность здѣшняго политеизма. Тѣсная связь міеологіи съ лингвистикой этихъ эпохъ въ послѣднее время установлена филологами на самыхъ осязательныхъ данныхъ, такъ что нераздѣльность языка и міеовъ стала несомнѣнною. Совершенную противоположность этому представляетъ Римъ, во времена полнаго развитія своей цивилизаціи. Онъ свободно и охотно принимаетъ въ свой пантеонъ всѣхъ, безъ исключенія, боговъ покоряемыхъ имъ народовъ, хотя бы для этого надо было начать съ фетишистскаго Геліогабала, внесеннаго императоромъ того же имени, и окончить монотеистическимъ Христомъ, статую котораго въ пантеонѣ поставилъ Александръ Северъ. Римлянинъ еще политеистъ и антропоморфистъ, но онъ мало уже идолопоклонникъ и еще менѣе язычникъ: вѣра его уже не ограничивается площадью его языка. Греція же и въ этомъ отношеніи не измѣняетъ своей примирительной роли. Ея политеизмъ вполнѣ еще націоналенъ, уже по одному тому, что онъ рѣшительно неподражаемъ; но въ немъ нѣтъ уже крайней нетерпимости востока. Онъ терпѣливъ, какъ римскій, къ чужимъ богамъ; но въ немъ нѣтъ еще римской способности усвоенія ихъ всѣхъ. Грекъ еще типическій идолопоклонникъ и язычникъ, также какъ политеистъ и антропоморфистъ.—Какъ міеологія, греческая вѣра представляетъ удивительный образецъ между другими: въ этой міеологіи заключается вся исторія политеизма, все то, что мы до сихъ поръ успѣли сказать о ней, и все, чего еще не сказали. Это какой-то фокусъ политеизма, въ которомъ отражаются всѣ лучи послѣдняго, какъ не отразились они нигдѣ больше. Въ самомъ дѣлѣ; чѣмъ открывается міеическая исторія греческой мысли? Извѣстно, что міеомъ о двухъ поколѣніяхъ боговъ: древнемъ и новомъ. Но кто же эти древніе боги, эти предшественники новыхъ? Достаточно назвать ихъ, чтобы видѣть, кто они. Это—Уранъ, Гея, Океанъ и Аидъ, т. е. небо, земля, море и подземелье или, еще иначе, это послѣднія изъ обобщеній фетишизма. Такимъ образомъ, міеологія эта прежде всего записала въ себѣ самую первую, доисторическую стадію вѣрованій. Главные изъ этихъ четырехъ боговъ суть Уранъ и Гея; прослѣдимъ же исторію ихъ самихъ. Дѣти этихъ древнихъ боговъ суть: Титанъ, Хроносъ, Атлантъ, Прометей, Циклопъ и Тифонъ, т. е. богатырство, время, великанство, огонь, искусство и ураганъ; другими словами,

это свойства отчасти природы, отчасти человека. И действительно, Хроносъ, вооруженный косяго и серпомъ смерти, есть все еще не что иное, какъ время, почему онъ и пожираетъ собственныхъ дѣтей своихъ, какъ время, разрушающее все, что само же производитъ. Атлантъ, поддерживающій небо и не дающій ему упасть на землю, есть не болѣе какъ гора Атласъ въ Африкѣ, на предѣлахъ известнаго древнимъ горизонта. Тифонъ, этотъ стоустый гигантъ, изрыгающій всѣми своими устами пламя, есть только олицетвореніе бури. Между тѣмъ, Титанъ, отецъ и родоначальникъ пѣлаго поколѣнія титанидовъ; Прометей, похищающій божественный огонь и сводящій его съ небесъ на землю, за что и казнится богами; Циклопъ, этотъ одноглазый кузнецъ, плотникъ и столяръ, все это суть дѣти уже человѣчества, а не природы, со всею ихъ изобрѣтательностью и всѣмъ искусствомъ. Что жъ, развѣ это смѣшанное поколѣніе не есть вѣрный образъ вѣрованій востока, на половину фетишистскихъ, на половину политейстическихъ? Но посмотримъ еще дальнѣйшую исторію этого поколѣнія гигантовъ. Въ исторіи этой мы увидимъ новую борьбу и снова за власть. Борьба эта отеривается между двумя старшими братьями, между Титаномъ и Хроносомъ. Титанъ, старшій сынъ неба и земли и вѣроятный наслѣдникъ міра, уступаетъ, однакожъ, престолъ свой меньшему брату, Хроносу, но съ тѣмъ, чтобы онъ не ростилъ дѣтей мужескаго пола, и послѣ себя передалъ бы престолъ племянникамъ своимъ, титанидамъ. Мы обходимъ здѣсь борьбу двухъ старѣйшинствъ, боковаго и нисходящаго, старѣйшинства въ родѣ и въ семьѣ, какъ не относящуюся пока къ нашему предмету, и скажемъ только, что, во исполненіе условія, Хроносъ и пожиралъ всѣхъ дѣтей своихъ мужескаго пола до тѣхъ поръ, пока жена его Рея или Цибелла не спасла отъ него Зевеса, Гефеста и Посейдона, подбросивъ отцу вмѣсто нихъ камень. Провѣдавъ объ этомъ, претенденты на престолъ, титаниды, рѣшились взять приступомъ царство боговъ, небо, и стали осаждать Хроноса въ его собственномъ жилищѣ. Тогда спасенный отъ смерти Зевесъ, первенецъ царствовавшего бога, хотя однолѣтній младенецъ еще, успѣлъ, однакожъ, отбить всѣ приступы отжившихъ боговъ, низвергъ ихъ всѣхъ въ преисподнюю и возвратилъ престолъ отцу, отъ котораго потомъ наслѣдовалъ его и самъ, открывъ тѣмъ третье, новое поколѣніе боговъ, которое и царствовало съ тѣхъ поръ безспорно въ мірѣ, во всѣ времена Греціи. Новѣйшіе

боги, хотя были родные дѣти и внуки новыхъ и древнихъ, но отличались отъ нихъ тѣмъ, что тѣ всѣ были гиганты, великаны, колоссы, богатыри; эти же ничѣмъ не отличаются отъ простыхъ смертныхъ, ни ростомъ, ни фигурой, ни душой, и равняются только тѣмъ, что одарены бессмертіемъ. Что жъ, развѣ это не исторія борьбы и побѣды политеизма надъ фетишизмомъ, антропоморфизма надъ символизмомъ? развѣ это не исторія воцаренія въ мірѣ вѣрованій политеистическихъ? Но и это не все. По греческой мѣологіи есть нѣчто высшее, которое царитъ и надъ самими богами не меньше чѣмъ надъ людьми, есть нѣчто вѣчное, не преходящее, предъ которымъ склоняются и сами боги: это—Судьба, *Moirai* 'Ανάγκη. Благодаря ей, могутъ пройти и нынѣ царствующія поколѣнія боговъ и уступить мѣсто другимъ, опять новымъ. Это уже чистое пророчество мѣологіи, предвидѣніе будущаго, которое дальнѣйшею исторіею и не было изобличено въ ошибку. Такова мѣологическая исторія политеизма, какъ она создавалась въ греческой мысли. Ничего равнаго ей мы не видимъ ни на востоцѣ, ни въ Римѣ.—Но прежде, чѣмъ покончить съ этою геніальною мѣологіею, надо отдать себѣ отчетъ еще въ ея содержаніи, въ ея сущности, въ самомъ міросозерцаніи ея. До сихъ поръ мы смотрѣли на греческій политеизмъ со стороны числа боговъ его, образа ихъ, способа изображеній, степени національности, наконецъ, генезиса, происхожденія однихъ боговъ изъ другихъ; но все это были характеристики болѣе или менѣе внѣшнія, формальныя, существо же вѣрованій, самые предметы греческаго обожанія, то, что подъ тѣми или другими формами обоготворялось въ Греціи, до сихъ поръ еще не выступало наружу. А между тѣмъ, сознаніе этого существа тѣмъ значительнѣе для насъ, что оно, по большей части, просматривается подъ впечатлѣніемъ столь многочисленныхъ и столь рельефныхъ внѣшнихъ характеристикъ. И такъ, гдѣ же предметъ этого центрально-политеистическаго обожанія? Обыкновенно отвѣчаютъ, что предметъ этотъ есть человѣкъ; что въ фетишизмѣ и отчасти въ восточномъ политеизмѣ боготворится природа, въ политеизмѣ же грековъ и римлянъ обоготворенъ человѣкъ, личность человѣческая. Но мы смѣемъ думать, что въ отвѣтъ этому за содержаніе политеизма принимается именно форма его, одинъ его антропоморфизмъ. Все, что грекъ и римлянинъ обожалъ, онъ обожалъ дѣйствительно подъ формой человѣка; но это не значитъ еще, что и самое содержаніе былъ человѣкъ. Подъ формою человѣка ин-

дусъ могъ обожать еще огонь (Индра, Агни), подъ формою человѣка египтянинъ могъ обожать солнце (Озирисъ), подъ формою человѣка зендъ могъ обоготворять свѣтъ (Ормуздъ), и вообще востокъ подъ человѣческими формами продолжалъ обожать природу, а потому форма не замѣняетъ еще влагаемаго въ нее содержанія. Можно еще сказать, что въ Римѣ въ человѣческія формы начинало уже влгаться и содержаніе человѣческое, потому что оно было, напримѣръ, вѣрность, голодъ, болѣзнь; но едва ли можно сказать это о Греціи. Для того, чтобы сознать, какое содержаніе влагалось самими греками въ ихъ антропоморфизмъ, когда онъ былъ на всей высотѣ своего развитія, достаточно пересмотрѣть эти антропоморфическіе образы и тѣ атрибуты, тѣ функціи, какія къ нимъ относились. Зевесъ, не смотря на свое фетишистское происхожденіе, окончилъ, судя по этимъ атрибутамъ и функціямъ, тѣмъ, что въ концѣ концовъ оказался только царемъ боговъ, правителемъ всего олимпійскаго населенія. Если у ногъ его лежатъ еще цари природы, какъ орелъ, если въ лѣвой рукѣ его держатся еще грома, то въ правой имѣется не что иное, какъ скипетръ. И дѣйствительно, ему принадлежитъ первенство между богами, онъ царь и правитель между ними. А если такъ, то въ человѣческомъ образѣ Зевеса представляется не человѣкъ, не личность, не индивидуальныя его и ея свойства, а свойства общественныя, т. е. явленіе столь же отличное отъ явленій индивидуума, какъ и отъ явленій природы, явленіе совсѣмъ иного порядка, чѣмъ тотъ и другой, потому что это идея царственности, монархизма, государственной власти. Здѣсь-то получаетъ свое значеніе и тотъ мифъ, который мы обошли выше и который основанъ, конечно, на томъ повсемѣстномъ явленіи родового быта, которое выражается обыкновенно распрями дядей и племянниковъ. Богъ Арей, или по-римски Марсъ, есть, какъ извѣстно, богъ войны, т. е. сама война; но это опять есть качество или отправленіе вовсе не индивидуально-человѣческое, въ отдѣльномъ человѣкѣ даже невозможное, а только общественно-человѣческое, возможное только въ обществѣ, тѣмъ болѣе, что и естественными спутниками Арейса представляются всегда Фавось, богъ ужаса, и Эрида, богиня раздора, съ ея скрежещущими зубами и съ кровавыми пятнами на вискахъ. Гермесь, съ его вадуцеемъ мира въ рукахъ и съ крыльями на ногахъ, послѣ всѣхъ преображеній своихъ, также оказался, наконецъ, не чѣмъ инымъ, какъ богомъ торговли, путешествій. Всѣ функціи и всѣ атрибуты,

восторжествовавши въ Гефестѣ, въ Вулканѣ, указываютъ на него какъ на бога горнодѣлія, горнаго искусства. Атрибуты Посейдона несомнѣнно подтверждаютъ обожаніе въ немъ мореплаванія. Колчанъ и лукъ Артемиды, при собакѣ у ногъ ея, олицетворяютъ, конечно, охоту. Деметра съ своимъ серпомъ и снопомъ въ рукахъ, съ своимъ вѣнкомъ изъ хлѣбныхъ колосьевъ на головѣ, несомнѣнно знаменуетъ собою земледѣліе, жатву. Діонисъ, или Вакхъ, весь обвитый виноградными листьями и съ тирсомъ или посохомъ съ сосновою шишкою въ рукахъ, есть не что иное, какъ представитель винодѣлія, т. е. промышленности, столь же распространенной въ Греціи, какъ и самое земледѣліе. Ѡемида, съ своими вѣсами въ рукахъ и повязкой на глазахъ, антропоморфируетъ нелицепріятность, правосудіе. Фебъ, съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, съ гитарою въ рукахъ и треножникомъ у ногъ, явно символизируетъ собою поэзію. Всѣ же 9 спутницъ его исчерпываютъ собою все вообще просвѣщеніе общества, таковы: Терпсихора—танцы, Эвтерпа—музыку, Каліопа—эпосъ, Эрато—лирику, Талія—комедію, Мельпомена—трагедію, Полигимнія—краснорѣчіе, Кліо—исторію, Уранія—астрономію. Афродита въ своей колесницѣ, запряженной голубями, сопровождаемая тремя харитами, Эротомъ и Психеею, и послѣдуемая Гименеємъ съ фавеломъ въ рукахъ, есть очевидное обожествленіе любви и всѣхъ ея радостей, завершаемыхъ общественнымъ учрежденіемъ брака. Наконецъ, божественная Паллада или Аѣина, единственная изъ небожителей, которая является на свѣтъ въ безплотномъ зачатіи, которая цѣлкомъ и во всеоружіи выходитъ уже зрѣлою изъ мозга Зевеса, имѣя у ногъ своихъ то змія, то сову, есть превосходная аллегорія науки, знанія, мудрости. Нужно прибавить, что все это суть только боги Олимпа, небесные боги, высшее сословіе боговъ, аристократія божественнаго міра; но, кромѣ ихъ, и ниже ихъ есть еще боги земли, океана и подземнаго міра. Мало того: еще ниже есть полубоги, герои, посредствомъ которыхъ божескій родъ и переходитъ въ родъ человѣческій. Надо при этомъ замѣтить также, что весь божественный родъ поставляется греческимъ сознаніемъ не внѣ природы, но въ ней самой, составляя неотъемлемую ея часть, ея существенную принадлежность. Если же мы сложимъ все это вмѣстѣ, то и окажется, что предметомъ греческаго обожанія въ моментъ наиболѣе политеистическій была не природа и не человѣкъ, а только *общество*, общество сверху до низу, вдоль и поперекъ, со всѣми его раздѣле-

ніями на классы, со всѣми его профессіями, со всею его государственною властью и политикой. Окажется, что все религіозное построение греческаго политеизма было только воспроизведеніемъ на небѣ того самаго общества, какое грекъ созерцалъ на землѣ. Общественность, общежитіе, союзъ человѣческій, очевидно, поразили въ Греціи мысль человѣческую на столько, на столько противопоставились въ ней, какъ нѣчто объективное, подобно природѣ, что не могли не отразиться и въ религіозномъ міросозерцаніи, какъ прежде отразилась въ немъ природа. Вотъ тотъ историческій моментъ, гдѣ весь древній политеизмъ, достигаетъ наивысшей своей чистоты и выразительности. Но если здѣсь, въ Греціи, идея эта произнеслась яснѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, то это не значитъ еще, что она здѣсь только и произнеслась. Напротивъ, поймавши эту нить только въ Греціи, мы можемъ уже добраться по ней и до ея начала и до ея конца. Конечно, впрочемъ, т. е. Римъ, не нуждается въ особомъ освѣщеніи, ибо здѣшній политеизмъ почти тотъ же, что и греческій, и, слѣдовательно, также общественный. Гораздо важнѣе, что мы можемъ теперь не просмотрѣть и то начало нити, которое лежитъ еще на востоцѣ, но которое засорено здѣсь до непримѣтности. Такого, на примѣръ, есть преданіе Индіи также о старомъ поколѣніи боговъ и о новомъ, также о борьбѣ между ними и о побѣдѣ послѣднихъ, при чемъ главный изъ старыхъ боговъ есть именно Индра, а главный изъ новыхъ есть именно Брами. Индра обитаетъ на сѣверовостоцѣ отъ Индіи, въ святой странѣ за Гималаями, на священной горѣ Меру, словомъ, въ первобытномъ отечествѣ аріевъ, тогда какъ Брами есть житель уже новаго отечества ихъ. Наконецъ, Индра есть не что иное, какъ твердь небесная, тогда какъ Брами есть, между прочимъ, создатель кастъ и всего устройства индійскаго, т. е. первый былъ богъ природы, второй же богъ общественности. Такимъ образомъ, исторія греческаго политеизма, міеологія греческая, оказывается всеобщею міеологіею политеизма, но только достигшею въ Греціи наибольшей отчетливости своей. Если же всѣ эти признаки политеизма, антропоморфизма, идолопоклонства, язычества, міеологіи и міросозерцанія соединимъ вмѣстѣ, то окажется, что Греція постоянно и во всѣхъ отношеніяхъ балансируетъ между противоположностями востока и Рима, что она соціологически лежитъ между востокомъ и западомъ на столько же, какъ географически и хронологически; это есть постоянно какая-то мѣра между двумя этими

крайностями, какая-то гармонія и равновѣсіе между разнообразіемъ и единствомъ, между объективнымъ и субъективнымъ, между животнымъ и человѣческимъ, между человѣческимъ и божественнымъ, между тѣломъ и духомъ, между природою и человѣкомъ. Все это производитъ такую эстетичность греческихъ религіозныхъ вѣрованій, что и самый политеизмъ этотъ не можетъ быть обозначенъ иначе, какъ *эстетическій*. Восточный, сравнительно съ нимъ, слишкомъ еще *материаленъ*, слишкомъ покрытъ плѣсенью фетишизма, какъ римскій достаточно уже *спиритуалистиченъ*, значительно уже вѣтрень въ пользу монотеизма.

Но если въ такомъ тѣсномъ смыслѣ политеизмъ зналъ для себя только одно мгновеніе въ исторіи, то есть другой, болѣе обширный смыслъ, въ какомъ политеизмъ неотъемлемъ ни отъ одного государственнаго народа древности и ни въ какую эпоху его. Мы видѣли до сихъ поръ только вершину его, теперь надо посмотрѣть его широкое основаніе. Въ этомъ смыслѣ политеизмъ становится характеристичнымъ для древности именно по своей всеобщности. Но для того, чтобы увидѣть эту всеобщность, надо обратиться отъ теорій его къ его практикѣ, отъ догмата къ культу. Разсматриваемый, какъ культъ, какъ церковь, политеизмъ есть явленіе дѣйствительно повсемѣстное въ древнихъ государствахъ, и при томъ въ каждомъ изъ нихъ далеко не на одну минуту, а почти на всю историческую жизнь. Отъ береговъ Ганга и до береговъ Тибра, при основаніи государствъ, какъ и при паденіи ихъ, вездѣ и всегда мы видимъ въ древности территоріи, засыпанныя уже храмами, начиная съ индійской пагоды и кончая римскою базиликой. Какъ только представленіе о божествѣ стало принимать человѣческій образъ, для него тотчасъ же потребовалось и жилище, въ родѣ человѣческаго. Какъ только божество выработалось въ существо, равное человѣку, вмѣсто того, чтобы быть, какъ въ фетишизмѣ, низшимъ его, тогда же и обиталище его должно было сдѣлаться грандіознѣе. Повсюду также въ этомъ храмѣ и около него является ритуаль, обрядность, процессія, доходящая иногда до полнаго драматизма и даже порождающая изъ себя драму, потому что, коль скоро боги стали болѣе или менѣе всеобщими, стало необходимымъ и публичное богослуженіе имъ. Повсюду, наконецъ, изъ среды населеній выдѣляется для этой новой функціи цѣлый классъ священнослужителей, начиная съ брамина и оканчивая авгуромъ. Колдунъ, заклинатель, знахарь

вездѣ превращаются въ жреца, въ знатока божескихъ и человѣческихъ законовъ. Осложнившаяся вѣра нуждалась и въ специализированіи служителей ея. Что касается нравственнаго ученія, то, хотя оно все еще не обозначается въ вѣрѣ, за исключеніемъ одного, быть можетъ, маздеизма; но за то человѣческая жертва божеству повсюду, за исключеніемъ почитателей Молоха, уже вполне эскорпорирована изъ религіи, и если гдѣ-нибудь возникаетъ отъ времени до времени, то не иначе, какъ въ видѣ краткосрочнаго „оживанія“ въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, какъ, на примѣръ, въ Римѣ, послѣ сраженія при Каннахъ. Впрочемъ, переставши быть человѣческою, жертва здѣсь все-таки продолжаетъ быть кровавою: кровь человѣческая замѣнена только животною. Съ другой стороны, хотя настоящая жизнь и остается еще безъ нравственнаго руководства, но за то повсемѣстно обозначается, такъ или иначе, жизнь будущая, загробная, начиная съ индійско-египетскаго переселенія душъ и оканчивая греко-римскими елисейскими полями и тартаромъ. Нельзя, однакожь, сказать, чтобы и жизнь настоящая была вполне оставлена безъ такого руководителя: нравственность была присуща всѣмъ политеистическимъ религіямъ, но только вовсе не въ томъ смыслѣ, какъ мы ее теперь понимаемъ. Тогдашняя нравственность была исключительно внѣшняя, была этикетъ, а не нравственность. Ее составляли правила не внутреннего долга, а только внѣшняго, какъ, на примѣръ, правила ѣды и питья, правила сна и омовеній, встрѣчъ и пріѣздовъ, жилищъ и одежды, главнѣе же всего,—правила исполненія религіозныхъ обрядностей. Словомъ, это нравственность по фетишистскому, по китайскому ея типу, но съ прибавленіемъ только многочисленныхъ обязанностей культа. Вообще же, подводя итогъ религіи политеизма, нельзя не признать, что поклоненіе божеству выработалось здѣсь до гораздо высшей своей степени, чѣмъ въ фетишизмѣ: тамъ оно могло еще быть поклоненіемъ свысока; здѣсь же оно есть уже поклоненіе на равной ногѣ, какъ человѣкъ покланяется человѣку, но только высшему. Политеистическій богъ самъ уже можетъ и наказывать, и прощать, тогда какъ, наоборотъ, не можетъ быть ни наказываемъ, ни прощаемъ; политеистическій богъ можетъ быть умиловливаемъ, но не упрекаемъ; политеистическій богъ можетъ быть игнорируемъ, предпочитаемъ другому, но никогда не можетъ быть по произволу упраздненъ, уничтоженъ, выброшенъ, какъ фетишъ.

Другимъ, столь же повсемѣстнымъ и повсѣвременнымъ, свойствомъ политеизма была необыкновенно обширная компетентность его. Между тѣмъ, какъ въ Китаѣ о религіи человѣка никто не спрашивается, въ политеизмѣ только объ этомъ и спрашиваютъ, и при томъ на каждомъ шагѣ. Религія стала здѣсь явленіемъ всеобъемлющимъ, захватывающимъ въ себя всякое иное мышленіе и всякую иную дѣятельность. Вмѣсто того, чтобъ быть однимъ только изъ міросозерцаній цивилизаціи, она была ими всѣми: и религіознымъ, и философскимъ, и научнымъ. Въ фетишизмѣ всѣ они еще не сложились; въ монотеизмѣ всѣ они уже распадаются; здѣсь же они составляютъ полный синтезъ. Мало этого: вмѣсто того, чтобы ограничиваться сферою одной цивилизаціи, религія опредѣляла собою и всю культуру, и всю гражданственность. Нужно-ли, напримѣръ, философское или научное объясненіе явленій міра,—оно готово уже въ религіи. Міръ былъ погруженъ во свѣтъ и мракъ, ничто не было отдѣлено въ немъ и все смѣшано; но вотъ нѣчто существующее само по себѣ и внѣшнимъ чувствамъ недоступное, Бремъ, появилось и разсѣяло мракъ, потому что оно само есть свѣтъ. Вслѣдъ затѣмъ оно сотворило воды и положило въ нихъ зерно, изъ котораго возникъ Брама. При возникновеніи его, яйцо растреснулось и одна половина его стала небомъ, другая землею. Слѣдуетъ затѣмъ созданіе Брамою всѣхъ предметовъ неба и земли, четырехъ родоначальниковъ кастъ и самого законодателя Ману. Вотъ и объяснены для индуса всѣ явленія природы, общества и человѣка, какія требовали у него объясненія. Тоже самое для халдея объясняетъ его мифъ о Белѣ. Богъ Белъ разсѣкъ богиню Омороку пополамъ и изъ двухъ ея половинокъ образовались небо и земля. Потомъ онъ самъ отрѣзалъ себѣ голову и изъ капель божественной крови его произошелъ родъ человѣческій. Люди жили первоначально въ дикомъ состояніи, пока нѣкоторое чудовище, Оанесь, не соединило ихъ въ общества и не научило ихъ людскости, общежитію. Вотъ и снова готово какъ все естествознаніе, такъ и все обществознаніе. По египетскому представленію, весь міръ наполненъ демонами. Демоны самаго низшаго разряда присущи косной и неподвижной матеріи; демоны втораго разряда образуютъ изъ элементовъ ея различныя тѣла, поддерживаютъ ихъ и сохраняютъ; третьеразрядные демоны сообщаютъ этимъ тѣламъ дѣятельныя силы; четвертые производятъ впечатлѣнія на души

героевъ; пятыя присутствуютъ при нисхожденіи душъ въ тѣла и при разрѣшеніи ихъ отъ тѣлъ; шестыя соединяютъ души людей съ богами. Такова фізіологія и психологія египтянъ. По Зендавестѣ, нѣчто, именуемое Церуане-Акерене, заключало въ себѣ первоначально полноту всего, но въ видѣ началъ, въ видѣ простѣйшихъ и чистѣйшихъ элементовъ свѣта, огня, воды, воздуха, земли и т. д. Оно создало изъ себя прежде всего Ормузда и Аримана; а они въ 365 дней создали все остальное мыслью своею. Въ средоточіи созданія поставлено солнце, потомъ создана луна, затѣмъ небо неподвижныхъ звѣздъ, еще дальше амшаспанды и изеды, а также архидэвы и дэвы, наконецъ, человѣкъ и всѣ прочія твари. Первый человѣкъ совмѣщалъ въ себѣ способности обоихъ половъ; но ему наслѣдовала чета. Чета была сначала невинна; но потомъ, по внушенію Аримана, согрѣшила и за то сдѣлалась смертною. Съ тѣхъ поръ главная обязанность человѣка бороться за Ормузда и противъ Аримана. Тутъ и астрономія и антропологія, и этика. Такая же энциклопедія знаній и въ религіи финикійской. Началомъ вещей былъ тутъ хаосъ, въ которомъ заключались всѣ элементы всѣхъ вещей, а въ томъ числѣ и духъ, подобный воздуху. Духъ этотъ оплодотворилъ собою хаосъ и породилъ слизкое вещество—моть, заключавшее въ себѣ сѣмена всѣхъ веществъ. Матерія моть произвела въ хаосѣ броженіе и тѣмъ раздѣлила его на элементы: огненные частицы устремились изъ него вверхъ и образовали небо, другія произвели воздухъ, воду, землю. Изъ смѣшенія воды и земли произошли низшія животныя, которыя сами собою перерождались въ высшія. Наконецъ, отъ вѣтра Колпія и ночи Баау родились люди. Словомъ, каждая политеистическая міеологія заключаетъ въ себѣ отвѣты на всѣ главнѣйшіе вопросы знанія, отождествляясь со всею філософіею и всею наукою. Самыя даже письмена представляются здѣсь дѣломъ религіи, и составляютъ въ ней таинство жрецовъ. Подобнымъ же образомъ въ религіи сосредоточивается тутъ и самая культура. Все искусство, какъ извѣстно, начинается съ того, что состоитъ на службѣ храмовъ и богослуженія. Всѣ правительства начали тѣмъ, что были установлены богами. Все право вышло не иначе, какъ изъ откровеній. Въ Ведахъ съ священнымъ писаніемъ совмѣщается и архитектура, и законодательство; въ Зендавестѣ первая ея часть, Вендидатъ-Саде, содержитъ теологію; вторая же, Бундегешъ, рядомъ съ астрономіею, заключаетъ

въ себѣ и земледѣліе, и право. Право, въ свою очередь, обнимаетъ здѣсь собою не только государственную и общественную жизнь, но и всю семейную, домашнюю, не исключая свѣтскихъ приличій и обычаевъ. Вслѣдствіе же всего этого и вся гражданственность политеизма насыщена до послѣдней степени духомъ религіозности. Чувство религіозное, набожность, достигли здѣсь до такого своего напряженія, какое едва-ли когда-нибудь повторялось прежде или послѣ. Если мы удивляемся религіозному чувству грека и римлянина, то надо помнить, что оно, въ свою очередь, какъ въ лицѣ Геродота, поражалось этимъ чувствомъ въ Египтѣ, какъ египтянинъ въ свой чередъ былъ бы, быть можетъ, пораженъ имъ въ Индіи. Словомъ, въ качествѣ-ли цивилизаціи, какъ идея божества, или же культуры, какъ учрежденіе, культъ, или наконецъ гражданственности, какъ религіозный нравъ,—политеизмъ, во всякомъ случаѣ, аттестуетъ себя такимъ всеобщимъ для древности феноменомъ, что онъ весьма справедливо почитается за самый характеристичный для нея признакъ изъ конца въ конецъ. Это, не смотря на всю примѣсь и все совмѣстничество фетишизма, дѣйствительный царь эпохи, вездѣ и всегда выживающій въ ней между всякими другими совмѣстниками и надъ всѣми ими, приспособляющій и поддѣлывающій къ себѣ ихъ всѣхъ, а все, что не хочетъ или не можетъ приспособиться и поддѣлаться, подавляющій и заглушающій собою.

Но что же, въ такомъ случаѣ, составляетъ на этомъ сплошномъ и густомъ политеистическомъ фонѣ такое неожиданное пятно, какъ исторія Іудей? Что это за исключеніе, что за аномалія? Не есть ли это рѣшительное опроверженіе только что сдѣланнаго нами вывода о всемъ политеистическомъ законѣ? Вопросъ этотъ переводитъ насъ къ новому изслѣдованію, о связи *политеизма съ монотеизмомъ*. Самыя первичныя нити этой связи лежатъ уже въ самомъ политеизмѣ, въ собственномъ лонѣ его. Для того, чтобы поймать эту соединительную пуповину, намъ надо еще разъ обозрѣть политеизмъ во весь ростъ его. Съ этой новой точки зрѣнія, политеизмъ весь, всецѣло, съ начала своего и до конца, есть не что иное, какъ неотразимое стремленіе изъ фетишизма въ монотеизмъ. Какъ только однажды совершился переломъ отъ всебожія къ многобожію, какъ только осуществился первый шагъ къ уменьшенію числа божествъ, движеніе это не могло уже остановиться ни на чемъ больше, какъ

только на единицы. Напряженіе политеизма въ этомъ направленіи также повсюдно, какъ любой изъ всеобщихъ признаковъ его, исчисленныхъ выше. Исторія каждаго изъ національных политеизмовъ есть яркая иллюстрація этого направленія. Такъ браманизмъ, не смотря на сотни и, можетъ быть, тысячи своихъ боговъ, мало по малу успѣлъ, однакожь, въ теченіи своей исторіи придти къ тому, что всѣхъ ихъ подчинилъ нѣсколькимъ, что надъ всѣми ними воцарилъ троицу: Брахму, Вишну и Шиву. Эта знаменитая тримурти жила, конечно, въ сознаніи только интеллигенціи страны, но все-таки жила уже, все-таки лежала зерномъ для дальнѣйшаго, болѣе популярнаго развитія. Мало этого, брамины не навсегда удовлетворялись и этою троицею своею; они достигли до помысла разрѣшить ее и въ самое единство. Плодомъ этого помысла и была ихъ идея о Бремѣ или Сваймбу, истеченіемъ котораго есть-де и сама троица. А отсюда до единобожія всего одинъ шагъ. Въ Египтѣ, если принять во вниманіе также послѣдніе результаты, до которыхъ достигло сознаніе въ частѣ жрецовъ, мы встрѣтимся, послѣ цѣлаго ряда триадъ, также съ идеей, объединенія ихъ въ одномъ божествѣ. Но идею эту, какъ слишкомъ непопулярную для народнаго сознанія, какъ кажущуюся измѣной политеизму, они тщательно хранили въ тайнѣ, въ качествѣ мистеріи, и не отрывали никому, кромѣ посвященныхъ въ эти мистеріи. Такъ случилось и съ Геродотомъ, которому жрецы египетскіе сочли возможнымъ связать о единомъ богѣ, какъ неимѣющемъ никакого иного начала и долженствующемъ не имѣть конца. Это увѣреніе отца исторіи находитъ себѣ подтвержденіе и въ новѣйшихъ источникахъ, т. е. въ раскрывшихся вслѣдствіе разгадки гіероглифовъ. Въ источникахъ этихъ не разъ говорится о богѣ, который все сотворилъ, но самъ не сотворенъ, который единственно истинный и дѣйствительно живой богъ. У вавилонянъ и ассиріянъ опять имѣется этотъ естественный исходъ многобожія, потому что имѣется верховный богъ Илу, который именуется богомъ по преимуществу, главой и владыкою всѣхъ прочихъ боговъ и котораго всѣ они составляютъ лишь истеченіе. Говорятъ, что божество это въ понятіи халдеевъ не отдѣлялось отъ міра, а, напротивъ, отождествлялось съ нимъ; но путь къ монотеизму, во всякомъ случаѣ, очищенъ. Мидо—персидскій дуализмъ, на которомъ остановилась популярная религія зендовъ, тѣмъ не менѣе въ самой уже Зендавестѣ сводится къ мо-

низму, въ такъ называемомъ тамъ Церуане-Акерене. Это есть нѣчто не созданное и безграничное, оно не имѣетъ начала и не будетъ имѣть конца. Оно творить самихъ боговъ и творить единымъ словомъ своимъ, которое есть: гоноверъ (я есмь). Такъ именно созданы и Ормуздъ и Ариманъ. Сна была они оба были богами свѣта и добра; но второй изъ нихъ, по зависти къ первому, низвергнуть въ преисподнюю и сталъ тамъ духомъ мрака и злобы. Финикійская мысль также свела подъ конецъ всѣхъ своихъ ваалимовъ въ вааловъ, а всѣхъ вааловъ въ троихъ: Вааль-Таммузъ, создатель, Вааль-Хонъ, хранитель и Вааль-Молохъ, разрушитель. Мало того: и самые три ваала соединились въ одно общее представление подъ именемъ Эль, т. е. богъ по преимуществу, или Яо, т. е. существо по преимуществу, существо абсолютное. Правда, что оба эти наименованія весьма рѣдко даже употреблялись и соединяли съ собой какой-то мистическій смыслъ; но это только естественное послѣдствіе естественной непопулярности ихъ въ самомъ разгарѣ политеизма. У грековъ и римлянъ достаточно было бы указать на совершившееся уже подчиненіе всѣхъ боговъ Зевесу и Юпитеру, чтобы дорогу къ монотеизму признать и здѣсь готовою. Но, кромѣ этой, есть возможность указать и другую, которая вела къ тому же исходу: это—представленіе о судьбѣ, царящей надъ самими богами, какъ древними, такъ и новыми, и смѣняющей ихъ по своему произволу. Словомъ, это *Μοιρα*, *Λαχνη*, *Fatum*. Съ другой стороны, содержаніемъ здѣшнихъ мистерій также нечему было быть больше, какъ таинству единобожія и безсмертія души. Цицеронъ говоритъ объ элевзинскихъ мистеріяхъ: между всѣми благами, завѣщанными намъ Аѳинами, это есть величайшее; отъ нихъ мы научились не только жить радостно, но и умирать спокойно, въ надеждѣ на лучшую будущую жизнь. Ночные обряды, при вступленіи посвящаемыхъ, удары грома, привидѣнія, дѣйствовавшія на воображеніе, составляли въ такомъ случаѣ необходимость, обуславливая возможно большую строгость тайны, которая не должна была выходить за предѣлы тѣснаго кружка посвященныхъ. И такъ, по всей галлерей политеизма, отъ его востока и до его запада, всюду заронены уже сѣмена, изъ которыхъ возможно было и естественно было развиваться монотеизму. Сѣмена эти составляютъ собою между двумя этими фазами такое же пограничное звено, какое между фетишизмомъ и политеизмомъ пред-

ставляли Японія, Мексика и Перу. Тамъ политеизмъ зарождался на лонѣ самого фетишизма; здѣсь въ лонѣ политеизма зарождается монотеизмъ.

Но чѣмъ же все-таки остается при этомъ Іудея? Звено это, повидимому, столь апомальное въ средѣ клокочущаго политеизма, вмѣсто того, чтобы быть опроверженіемъ, является, напротивъ, только вѣщимъ подтвержденіемъ того всеобщаго закона цивилизаціи, который мы излагаемъ. Мы только что видѣли, какъ самъ политеизмъ протягивалъ уже руку къ монотеизму; здѣсь же, въ Іудеѣ, мы видимъ, какъ монотеизмъ идетъ на встрѣчу политеизму и самъ подаетъ ему руку. Другими словами: мы имѣемъ здѣсь дѣло со связью *монотеизма съ политеизмомъ*. Бремъ, Свайямбу, Илу, Церуане—Акерене, Эль, Яо, Зевесъ, Юпитеръ, Моіра, Fatum—все это были нити, выходившія изъ прошедшаго и связывающія его съ будущимъ; Іегова есть нить, идущая, такъ сказать, отъ будущаго и связывающая его съ прошедшимъ; это — предвосхищеніе будущаго. Іудея на одномъ концѣ политеизма есть тоже, что Китай на другомъ: оба они на пиру политеизма суть гости иного міра, одинъ—слишкомъ запоздавшій, другой — слишкомъ поторопившійся на этотъ пиръ. Іудея—это вѣстникъ новаго міра, неожиданно-негаданно появляющійся на праздникъ стараго, чтобы, какъ тѣнь Банко, смутить веселье его. Но разница между историческими запаздываніями и опереженіями (или переживаніями и приживаніями) та, что, между тѣмъ, какъ первыя болѣе или менѣе спокойно доживаютъ вѣкъ свой, если не сочувствуемая, то хоть вполне понимаемая пережившею ихъ средою, вторымъ, какъ непонимаемымъ ею, до нихъ не дожившею, предстоитъ только борьба на жизнь и на смерть со всѣмъ ихъ окружающимъ. Народное новаторство оплачивается такъ же дорого, какъ и личное, и чѣмъ оно рѣзче и радикальнѣе, тѣмъ и самая борьба съ нимъ непримиримѣе и безпощаднѣе. Такъ случилось и съ евреями. За свое передовое посланничество въ мірѣ заплатились они не только всею своею государственною, но и всею племенною судьбою. Несовмѣстимое съ окружающимъ міромъ монотеистическое государство ихъ должно было рухнуть, а самое племя, не менѣе антипатичное для племенъ политеизма, должно было обратиться во всемірныхъ парій и разсыпаться по землѣ. Правда, идея, для которой они принесли все это въ жертву, дѣйствительно не погибла, и всемірно-историческую заслугу евреевъ

Ренанъ видитъ именно въ томъ, что они не дали заглухнуть этой идеѣ, что они смогли донести ее до тѣхъ временъ, когда она могла быть воспринята и понесена дальше. Но если не искать въ исторіи ни заслугъ, ни провинностей народныхъ, то можно возразить, что идея эта, и безъ страдальческой миссіи евреевъ, начинала уже пробиваться на свѣтъ. Еще нѣсколько столѣтій—и міровоззрѣніе, бывшее доступнымъ лишь для высшихъ умовъ, могло бы сдѣлаться достояніемъ и толпы, т. е. какъ разъ въ тому времени, когда оно и дѣйствительно стало распространяться повсюду вокругъ евреевъ, но не изъ ихъ собственного источника, а напротивъ, изъ ереси въ немъ. Такимъ образомъ, несвоевременная пропаганда ихъ въ мірѣ оставалась, значить, тщетною до тѣхъ самыхъ поръ, пока не сдѣлалась своевременною, какъ и всякое вообще новаторство. А потому есть-ли тутъ добродѣтель или порокъ—очень трудно рѣшить. Несомнѣнно здѣсь только то, что есть тутъ естественно-историческое событіе новаторства и, много-много, превосходства умственного; а были-ль они полезны или вредны, добродѣтель они или порокъ, для науки это все равно. Для насъ гораздо важнѣе вопросъ, въ какой степени дѣйствительно тутъ новаторство. У всѣхъ другихъ народовъ древности мысль о единобожii была концомъ ихъ развитія; у евреевъ же она была, повидимому, самымъ началомъ его. Конечно, мы знаемъ исторію евреевъ не раньше, какъ со временъ Моисея и, слѣдовательно, со временъ знакомства ихъ съ Египтомъ; но дѣло въ томъ, что это и есть скорѣе начало, чѣмъ конецъ ихъ исторіи. Что же касается предшествующихъ эпохъ, тѣхъ, когда, по выраженію книги Исуса Навина, предки евреевъ за рѣкой Евфратомъ вѣрили въ другихъ боговъ, то времена эти должны были быть тщательно обходимы въ письменныхъ памятникахъ мозаизма. И если мы можемъ гадать о томъ, какіе это были другіе боги, то развѣ лишь по тѣмъ аналогіямъ, какія можно отыскать въ библии. Таковы, наприкладъ, воспоминаніе о древѣ познанія добра и зла, о змѣѣ-соблазнительнѣ, объ агнцѣ пасхальномъ, о златомъ тельцѣ Аарона, о мѣдномъ змѣѣ въ пустынѣ и т. п. Таковы же представленія о радугѣ, какъ завѣтѣ съ богомъ, о появленіи Іеговы въ купинѣ неопалимой въ Аравіи, о появленіи его въ громѣ и молніи на Синаѣ. Несомнѣнно также глубокое уваженіе евреевъ къ памяти патріарховъ, или, что то же, родоначальниковъ, предковъ. Есть у нихъ также преданіе о добрыхъ и злыхъ духахъ, о борьбѣ между ними, о низверженіи по-

слѣднихъ первыми. Есть указанія на обычай кровавыхъ жертвъ, какъ установленный лишь Іеговою въ примѣрѣ Авраама и Исаака. Долго также еврейскій народъ оставался безъ храмовъ, безъ жрецовъ, безъ общественнаго богослуженія, безъ всякой идеи о безсмертіи души. Наконецъ и тѣ двѣ заповѣди, которыя поставлены первыми въ скрижаляхъ Моисея, не могли вооружаться противъ факта несуществовавшего прежде, и должны были выражать собою главное поле борьбы, предпринятой Моисеемъ. Все это вмѣстѣ способно внушать предположеніе, что и этотъ монотеизмъ не избѣгъ естественнаго своего роста и происхожденія изъ фетишизма и изъ политеизма. Но такъ какъ плѣнъ египетскій долженъ былъ внушить отвращеніе къ политеизму, а съ другой стороны, какъ тотъ же плѣнъ могъ указать и выходъ изъ этого политеизма, то гениальному вождю и законодателю, какъ Моисей, не мудрено было остановиться на идеѣ единобожія, усвоить ее всѣмъ существомъ своимъ и стараться привить ее и всему своему народу. Процессъ этого прививанія, этой инкорпорации столь передовой идеи былъ, какъ извѣстно, совсѣмъ не легокъ. Какъ ни много могло содѣйствовать планамъ Моисея отсутствіе всякой эстетичности въ душѣ еврея, отсутствіе всякихъ художествъ въ его исторіи, даже во времена Соломона, какъ ни благопріятно было для сухихъ отвлеченій исключительно разсудочное настроеніе ума еврейскаго, но, тѣмъ не менѣе, все ихъ собственное прошедшее, равно какъ и все окружающее ихъ, должны были давать себя чувствовать. И точно, уже при самомъ завоеваніи ханаанской земли, въ колѣнѣ Дановомъ было допущено изображеніе Іеговы чрезъ идола. Во время судей, судья Гедеонъ воздвигалъ кумиры Іеговы повсюду. При судѣхъ Іаирѣхъ, за поклоненіе кумирамъ сидонскимъ, моавитскимъ и аммонитскимъ народъ былъ свергнутъ въ руки враговъ своихъ. Іефтей, вопреки формальному запрещенію Моисея, принесъ не только кровавую, но даже человѣческую жертву, въ лицѣ своей собственной дочери. Со временъ царей политеизмъ тѣснится въ этотъ монотеизмъ еще смѣлѣе. Соломонъ, рядомъ съ іерусалимскимъ храмомъ Іеговы, строитъ ихъ, соблазняемый одалисками своими, и Астартѣ, и Молоху, и моавитскому богу Хамосу. Іеровоамъ, чтобы разорвать всякую связь своего израильскаго царства съ іудейскимъ и съ его храмомъ, отдается самому безусловному идолопоклонству: въ Данѣ, въ Веелѣ онъ сооружаетъ храмы, гдѣ Іегова обожается только уже подъ видомъ золотого тельца; на каждой горѣ строятся алтари и для нихъ

опредѣляются жрецы, избранные въ колѣна Левина; сами же левиты совсѣмъ покидаютъ Израиль и переселяются въ Іудею. Со времени основанія, въ качествѣ столицы израильской, города Самаріи, возвращеніе монотеизма въ политеизмъ пошло еще быстрѣе. Ахавъ, увлекаемый своею женою Іезавелью, дочерью царя финикійскаго, превзошелъ въ нечестіи, по свидѣтельству библіи, всѣхъ своихъ предшественниковъ. Напрасно гремѣлъ противъ него пророкъ Ілія: народъ не поддержалъ его и пророкъ только заслужилъ упреки, что онъ и самъ хромаетъ на обѣ ноги, не объявляя себя ни за Іегову, ни за Ваала. Царь Ахазъ опять возобновилъ кровавыя человѣческія жертвы, опять проводя чрезъ огонь Молоха собственныхъ дѣтей своихъ. Громы пророка Ісаи опять ничего не помогли, и царь кончилъ только тѣмъ, что вовсе затворилъ храмъ Іеговы. Іезекія попробовалъ—было открыть храмъ, низвергнуть статуи, уничтожилъ самого мѣднаго змія, сохранявшагося со времени Аарона, и разослалъ по всему царству гонцовъ звать вѣрныхъ Іеговъ на праздникъ пасхи; но на его зовъ откликнулись весьма немногіе, остальные же даже оскорбляли гонцовъ царя. Словомъ, Израиль кончилъ тѣмъ, что обратился въ царство самарянское и израильтяне, подъ именемъ самарянъ, для вѣрныхъ послѣдователей мозаизма стали представляться нечестивѣе всѣхъ остальныхъ идолопоклонниковъ, какъ всѣ вообще ренегаты, отступники. А такъ какъ Израиль изъ числа 12 колѣнъ народа вмѣщалъ въ себѣ цѣлыхъ 10, то и оказывается, что политеизмъ оторвалъ у монотеизма цѣлыхъ $\frac{10}{12}$ его адептовъ. Очевидно, что идеалъ Моисея былъ слишкомъ выше толпы, чтобы усвоиться ею, совершенно также, какъ въ Египтѣ идеалъ жрецовъ, а потому тамъ она отпадала въ фетишизмъ, здѣсь въ политеизмъ. Великая идея должна была спастись теперь только въ остальныхъ двухъ колѣнахъ, только въ Іудеѣ. Но и здѣсь жилось ей не слишкомъ лучше. Царь Оховія, царица Аталія, царь Іоасъ повторяютъ и здѣсь зрѣлища израильскія; а Манасія на паперти храма іерусалимскаго поставилъ еще новые алтари—звѣздамъ. Самая же внутренность храма посвящена была таинствамъ Астарты, празднуемымъ проституціею. Манасія принесъ собственное дитя свое въ жертву раскаленному Молоху. Вся оппозиція пророка Іереми была также тщетна, какъ и въ Израилѣ. Словомъ, монотеизмъ долженъ былъ и здѣсь непрестанно бороться за свое существованіе, долженъ былъ постоянно падать

въ этой борьбѣ, если не превращаясь въ политеизмъ, то приспособляясь къ нему, и если успѣвалъ уцѣлѣвать и приживаться къ политеизму, то развѣ только въ небольшой кучкѣ людей избранныхъ, чуждыхъ міра сего, въ родѣ пророковъ и левитовъ или въ родѣ посвященныхъ въ греческія и египетскія мистеріи. Такая необыкновенная исторія древняго монотеизма заставляетъ даже задуматься надъ тѣмъ, что это такое: монотеизмъ или политеизмъ? До такой степени предшествующій фазисъ вѣрованій напиралъ на этотъ послѣдующій, насилуетъ и искажаетъ его. И единственно возможный отвѣтъ на вопросъ есть тотъ, что это есть и то, и другое, что это есть смѣсь обоихъ началъ, и при томъ, не равная, что это болѣзненный переломъ отъ одного міровоззрѣнія къ другому. Никакого иного значенія древній монотеизмъ не можетъ имѣть въ исторіи. Но такъ или иначе, а онъ все-таки пробивался на свѣтъ; спрашивается поэтому, какую же именно идею вносилъ онъ въ него? Прежде всего это идея, конечно, числа, идея единства божества, вмѣсто политеистическаго множества его, вмѣсто троичности и двоицы. Это есть самое неоспоримое свойство древняго, переходнаго монотеизма и самая яркая и наглядная съ его стороны реакція господствовавшимъ до тѣхъ поръ вѣрованіямъ. Другой, столь же наглядный, признакъ его есть его страстный протестъ противъ вѣшняго изображенія божества въ формѣ идоловъ, кумировъ. Этими двумя чертами древнее единобожіе рѣшительно выдѣляетъ себя изъ сферы современныхъ ему вѣрованій и противопоставляетъ имъ себя, какъ систему радикально-новую. Но нельзя того же сказать о двухъ остальныхъ чертахъ—объ антропоморфизмѣ и язычности религіи. Если еврейскій монотеизмъ не допускалъ изображеній божества въ видѣ чловѣка, то самое представленіе о божествѣ сопровождалъ онъ не инымъ образомъ, какъ именно чловѣческимъ, ибо по этому образу и подобію созданъ и самъ чловѣкъ. И такъ, наружнаго, рельефнаго антропоморфизма нѣтъ; по внутренній, мысленный все еще остается. Еще же менѣе еврейскій монотеизмъ выдѣлялъ себя изъ политеизма въ смыслѣ язычности. Еврейскій монотеизмъ также, какъ и каждая изъ политеистическихъ религій, былъ все еще въ высшей степени націоналенъ, исключителенъ, какъ соглашается съ этимъ и Ренанъ. Іегова хоть и сотворилъ весь вообще міръ, но былъ богомъ одного еврейскаго народа, какъ, въ свою очередь, и народъ этотъ былъ единственно-избран-

нымъ народомъ божьимъ. Нетерпимость къ чужимъ богамъ даже превзошла здѣсь всякую иную языческую, потому что иновѣрцевъ надо было, по мѣрѣ возможности, истреблять поголовно. А въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, въ талмудизмѣ, нетерпимость эта стала даже прямо антисоціальною. Такимъ образомъ, это былъ монотеизмъ языческій или, пожалуй, язычество монотеистическое, чѣмъ и образовалась новая органическая спайка между двухъ системъ вѣрованій. Но когда мы обратимся къ содержанію, къ сущности новаго мировоззрѣнія, то высота его, его превосходство надъ старымъ сказывается вновь. Здѣсь уже совершенно невозможно сказать, чтобы предметомъ обожанія въ лицѣ Іеговы была природа или общество: *человѣкъ*, и ничего больше, какъ *человѣкъ*, — вотъ единственный предметъ боготворенія въ мозаизмѣ. Есть въ представленіи Іеговы нѣкоторыя и даже многія черты царя, правителя: онъ создатель, родоначальникъ, первый патріархъ и владыка народа израильскаго на столько, что народу этому иного царя и не нужно; онъ руководитъ своимъ народомъ неотступно и непосредственно на всѣхъ стезяхъ его; онъ постоянно то награждаетъ, то наказываетъ, казнить и милуетъ. Но никакихъ иныхъ общественныхъ функцій и атрибутовъ, кромѣ правленія, ему не приписывается; а съ другой стороны—не эти функціи и атрибуты составляютъ существенную характеристику Іеговы, въ сравненіи съ Зевесомъ или Юпитеромъ. Существенно здѣсь только то, что личность Іеговы не только безсмертна, но безсмертна не такъ, какъ у греческаго бога, надъ которымъ царитъ еще судьба, который имѣлъ и предшественниковъ и будетъ имѣть преемниковъ, но такъ, что ей нѣтъ ни начала, ни конца. Это сама судьба, но только въ конкретномъ, а не абстрактномъ видѣ. Существенно здѣсь то, что атрибутами этого безсмертія суть: во-первыхъ, безтѣлесность или духовность, т. е. отвлеченіе отъ человѣка самыхъ высшихъ качествъ его природы, и во-вторыхъ, всевѣдѣніе или совершенство ума, всемогущество или совершенство воли и всеблагость или совершенство сердца, т. е. возведеніе всѣхъ этихъ качествъ на столь возжелѣнную для человѣка, но столь недостижимую для него высоту. А вмѣстѣ съ тѣмъ окончательно выработалась и вся идея божества, которое отнынѣ недостижимо возвышается надъ человѣчествомъ и борьба съ которымъ для человѣка немыслима. И такъ, хотя въ качествахъ

исторіи своей, въ качествѣ антропоморфизма, въ качествѣ язычн-
сти, древній монотеизмъ остается еще на одномъ уровнѣ съ сопер-
никомъ своимъ; но какъ единобожіе, какъ отрицаніе изображеній
божества и, въ особенности, какъ обоготвореніе духа человѣческаго,
онъ оставляетъ этого соперника далеко позади себя. Подобнымъ
образомъ и въ культѣ своемъ древній монотеизмъ отчасти солида-
ренъ еще съ прошедшимъ, отчасти же принадлежитъ будущему.
По своимъ храмамъ, своему жречеству, своему богослуженію, онъ
родной братъ политеизма, не исключая даже и его кровавой жертвы;
а въ одномъ пунетѣ, въ идеѣ безсмертія души, онъ долго оставался
даже ниже его, потому что въ сектѣ саддукеевъ безсмертіе это отвер-
галось даже во времена Христа; но за то здѣсь мы впервые видимъ
союзъ религіозной системы съ системою нравственности, и нрав-
ственности уже не обрядовой, а духовно-человѣческой. Не убей, не
украдь, не прелюбодѣйствуй, не лги, не присвоивай—вотъ въ чемъ
состоялъ первый же монотеистическій завѣтъ бога съ человѣкомъ.
Внѣшняя обрядовая нравственность оставалась, какъ, напримѣръ,
воздержаніе отъ свинины, обрѣзаніе, почитаніе субботы и т. п.; но
ко всему этому присовокуплена на этотъ разъ и внутренняя, ду-
шевная. Обоготворивши человѣка, нельзя было не обоготворить
 вмѣстѣ съ тѣмъ и его нравственное достоинство. Этотъ новый дог-
матъ сдѣлался съ тѣхъ поръ неискоренимымъ ингредиентомъ всякаго
монотеизма. Наконецъ, религіозное чувство древняго монотеиста
было если не болѣе, то не менѣе глубокое, чѣмъ политеистическое.
Онъ созерцалъ весь міръ не въ иномъ свѣтѣ, какъ въ религіозномъ,
и созерцаніе это обнимало собою всю умственную и всю нравствен-
ную жизнь его общества, свидѣтельствомъ чего служить библія съ
ея теологіей, философіей, наукой, искусствомъ, законодательствомъ,
нравственностью.

Когда обоими этими шагами, разъ—внутри политеизма, дру-
гой разъ—внѣ его, путь къ монотеизму былъ проторенъ и новое
вѣрованіе, такъ или иначе, но уцѣлѣло и прижилося къ старому,
открывается эпоха выживанія его надъ нимъ, эпоха чистаго и гос-
подствующаго монотеизма. Процессъ этотъ былъ также далеко не
безбогѣвственный; напротивъ, взаимная борьба совмѣстниковъ пошла
теперь уже не о терпимости только для одного изъ нихъ, но о
самой жизни и смерти того или другого. Вопросъ, послѣ цѣлныхъ
рѣкъ крови, пролитыхъ за новаго претендента, рѣшился, какъ из-

вѣстно, въ пользу его; и вотъ онъ началъ теперь раскрываться во всемъ разнообразіи формъ своихъ. Самымъ раннимъ изъ этихъ видовъ новаго монотеизма оказывается буддизмъ; черезъ шестьсотъ лѣтъ послѣ него слѣдуетъ христіанство; еще черезъ шестьсотъ исламизмъ. По поводу перваго изъ трехъ произнесенныхъ нами терминовъ надо, однакожъ, оговориться. Историки, философы, богословы, всѣ приходятъ въ затрудненіе, когда рѣчь заходитъ о квалификаціи буддизма. Сбивчивость въ этомъ отношеніи доходитъ до того, что нѣкоторые совсѣмъ отрицаютъ въ буддизмѣ качество религіи и признаютъ его лишь философіей; другіе, не отказывая ему въ свойствахъ религіи, считаютъ, однакожъ, такую религію атеизмомъ; третьи, наконецъ, признаютъ буддизмъ простымъ идолопоклонствомъ. Такая сбивчивость происходитъ, впрочемъ, и происходила каждый разъ, когда человѣкъ встрѣчался и встрѣчается съ возрѣніемъ не только иного подвида, но и вида иного, а тѣмъ болѣе иного рода. Такъ, римляне въ свое время считали безбожниками христіанъ, потому что богъ вторыхъ былъ совсѣмъ иного рода, чѣмъ богъ первыхъ. Такъ, въ настоящее время, многіе путешественники отрицаютъ у нѣкоторыхъ дикихъ племенъ всякую религію, потому что находятъ только признаки фетишизма. Но буддизмъ, возникшій изъ просвѣщеннаго брамаизма и въ ту пору, когда послѣдній совершилъ уже весь циклъ своего развитія, достигши до понятія о Бремѣ или Сваямбу, не могъ возвратиться на собственные шаги свои и впасть снова въ идолопоклонство, а тѣмъ болѣе въ такомъ высокомъ умѣ и характерѣ, какимъ Будда былъ. Если же впослѣдствіи, въ дальнѣйшихъ своихъ адептахъ, при распространеніи своемъ на невѣжественныя массы, буддизмъ и дѣйствительно окрасился всѣми или многими свойствами политеизма, то это есть явленіе не чуждое никакому монотеизму, при тѣхъ же условіяхъ. Но рано или поздно, когда среда приходитъ въ болѣе высокій уровень съ идеалами вѣры, когда почва разрыхляется, брошенное въ нее сѣмя очищается отъ наростей на него скорлупы и начинаетъ развиваться. Такъ случилось и съ буддизмомъ. Не смотря на запрещеніе Будды выдавать себя кому бы то ни было за сверхъестественное существо или воздавать ему божескія почести, буддисты начали строить своему пророку сперва памятники, а потомъ и настоящіе храмы, стали ставить въ нихъ изваянія Будды, а потомъ и другихъ, слѣдовавшихъ за нимъ патріарховъ вѣры; и мало

по малу дѣло дошло до чистаго почти идолопоклонства, до идоловъ со скрытыми въ нихъ полостями и пружинами, приводящими ихъ въ движеніе и въ звуки. Но, во-первыхъ, тоже самое практиковалось и въ западной церкви христіанскаго монотеизма, не дѣлая, однакожь, его идолопоклонствомъ; а во-вторыхъ, все это, также какъ и тамъ, можетъ современемъ отлетѣть при реформаціи, которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, въ буддизмѣ тибетскомъ, въ ламаизмѣ, уже и пробовалась въ XIV вѣкѣ знаменитымъ реформаторомъ Тсонгъ-Ка-Па. Если цѣнить религію по ея проявленіямъ не въ высшихъ, а въ низшихъ ея представителяхъ, то что же случилось-бы и съ тѣмъ мозаизмомъ, который мы только что видѣли? Новѣе же всего въ этомъ идолопоклонствѣ то, что всѣ его идолы суть изображенія дѣйствительно существовавшихъ лицъ, а не воображаемыхъ, изображенія, которыя также мало способны покрывать собою предметы, ими изображаемые, какъ портретъ не заслоняетъ собою оригинала. Нельзя также признавать буддизмъ и атеизмомъ, нельзя отрицать обожествленіе этого пророка потому только, что онъ самъ въ принципѣ запрещаетъ всякое такое обожествленіе. Такъ или иначе, но на практикѣ онъ сдѣлался предметомъ обожанія. Да еслибы онъ и не сдѣлался имъ формально, еслибы вѣра его продолжала состоять лишь въ подражаніи ему, какъ человѣку, какъ онъ самъ того хотѣлъ, то и тогда, при отрицаніи всякаго иного божества надъ человѣкомъ, онъ все-таки остался бы единственнымъ предметомъ и центромъ религіи. Въ особенности же, такое послѣдствіе неизбѣжно при томъ основномъ догматѣ, на которомъ построена самая возможность такой религіи, какъ буддизмъ. Если, по вѣроученію христіанскаго монотеизма, божество удостоило снизойти на землю и воплотиться въ человѣческое существо, то, по коренному вѣроученію буддизма, человѣкъ самъ отъ времени до времени способенъ возвышаться до божества. Первымъ изъ такихъ возвышеній и былъ Гаутамасъ Будда. Всѣмъ же другимъ остается обращаться въ Будду и, слѣдовательно, въ божество, чѣмъ и избавляться отъ всѣхъ переселеній по смерти. Можно отрицать достоинство такого вѣрованія, въ сравненіи съ христіанскимъ, но невозможно отрицать въ немъ ни характера религіи, ни характера монотеизма, такъ какъ Будда есть единственный предметъ почитанія, и почитанія не въ иномъ отношеніи, какъ въ дѣлѣ мудрости и добродѣтели, т. е. въ чисто-духовной природѣ

его. Наконецъ, принимать буддизмъ за одну философію противорѣчить всякой очевидности и всѣмъ учрежденіямъ буддизма. А потому позволяемъ себѣ повторить, что съ неменьшимъ правомъ считаемъ его за религію единобожія и, вслѣдствіе того, принимаемъ три новыхъ монотеизма, служащихъ продолжателями древняго: одинъ—истекшій изъ Индіи или буддійскій, другой—изъ Палестины, христіанскій, и третій—изъ Аравіи, магометанскій, которые и подѣлили теперь между собою весь цивилизованный міръ, почти въ равной пропорціи, а именно: буддійскій—захватывая всѣ страны фетишизма, магометанскій—земли древне-восточнаго политеизма, а христіанскій—мѣста политеизма новаго и древняго западнаго. Общность всѣхъ этихъ трехъ религій сопровождается постоянно и свойственными каждой изъ нихъ частностями. Обще имъ всѣмъ прежде всего то, что всѣ онѣ суть обожествленіе человѣческаго духа, также точно, какъ мазанизмъ, и какъ всякій вообще возможный монотеизмъ. Коль скоро же духъ отвлекается отъ плоти вообще и противопоставляется ей, объективируется, онъ уже теряетъ возможность быть множествомъ и, по необходимости, становится единствомъ. А потому всякое обожаніе человѣческаго духа есть, по необходимости, монотеистическое. Въ этомъ главнѣйшая, существеннѣйшая, какъ мы видѣли, разница между монотеизмомъ и двумя другими фазами вѣрованій, потому что это разница самыхъ міросозерцаній, самыхъ точекъ зрѣнія. И такая именно точка зрѣнія принадлежитъ всѣмъ нашимъ тремъ монотеизмамъ. Въ Гаутамасѣ Буддѣ обожается или, пожалуй, должна служить предметомъ подражанія и почтенія не сила, не красота, не власть, не богатство, не царственность, словомъ, не физическія или соціальныя качества, а только мудрость и добродѣтель, т. е. умственные и нравственные совершенства, и еще другими словами, совершенства духа, а не плоти, наконецъ, совершенства личности, а не совершенства общности или природности. Но тоже самое обожается другимъ монотеизмомъ въ Христѣ и третьимъ въ Аллахѣ, какъ древнимъ обожалось въ Іеговѣ. Рядомъ съ этою существенною общностью всѣхъ монотеизмовъ идетъ и существенная разница между древнимъ монотеизмомъ, съ одной стороны, и тремя новыми—съ другой: та, что древній, какъ мы видѣли, совмѣщаетъ въ себѣ еще одинъ изъ атрибутовъ общности, а именно атрибутъ царственности,—послѣдствіе, конечно, политеистической среды и ея вліянія; три же новые моно-

теизма сосредоточиваются исключительно на атрибутахъ человеческой индивидуальности, каковы: разумъ и его знаніе, воля и ея могущество, чувство и его добродѣтели. Разница же новыхъ монотеизмовъ между самими собою та, какая единственно возможна при обожаніи духовной личности. Ее можно обожать или въ чисто-конкретномъ видѣ, какъ сдѣлалъ буддизмъ, въ видѣ опредѣленнаго лица, извѣстнаго человѣка; или въ чисто-абстрактномъ видѣ, какъ поступилъ исламизмъ, въ видѣ отвлеченнаго, невидимаго и неизобразимаго божества, или, наконецъ, въ конкретно-абстрактномъ видѣ, въ видѣ бого-человѣка, какъ это имѣетъ мѣсто въ христіанствѣ. Такимъ образомъ, одинъ монотеизмъ оказывается *человѣческимъ*, другой—*божественнымъ*, а третій—*богочеловѣческимъ*. Кромѣ духовности и единства божества, обще для всѣхъ трехъ монотеизмовъ также и совершающееся въ нихъ превращеніе антропоморфической идеи. Въ политеизмѣ челоѣкоподобіе было реальнымъ, со всею плотью и кровью челоѣческой; здѣсь же оно становится исключительно идеальнымъ. Но разница, въ свою очередь, происходитъ отъ степени идеализированія. Буддизмъ вовсе почти не идеализируетъ и принимаетъ за бога просто живое земное лицо; исламизмъ идеализируетъ въ высшей степени и оканчиваетъ мертвымъ отвлеченіемъ, чисто-небеснымъ существомъ, разъ навсегда предопредѣлившимъ все; христіанство же миритъ эти крайности идеальнаго антропоморфизма и разрѣшается небесно-земнымъ сочетаніемъ. Идея изобразительности, рельефированія также претерпѣваетъ перерожденіе. Въ политеизмѣ это было изображеніе скорѣе формъ, чѣмъ содержанія, скорѣе тѣла, чѣмъ духа; здѣсь совсѣмъ наоборотъ. Тамъ потребность эта удовлетворялась чувственными, чисто-пластическими искусствами, архитектурой и скульптурой; здѣсь она удовлетворяется тоническими, музыкой и пѣснью, и переходомъ отъ пластики къ тоникѣ, живописью. Разница же монотеизмовъ въ томъ, что буддійскій ниспадаетъ даже до скульптуры, хотя и предпочитая въ ней движеніе и голосъ, а не формы; магометанскій поднимается до отрицанія всякихъ изображеній, довольствуясь голымъ отвлеченіемъ или, по крайней мѣрѣ, изображеніемъ лишь словеснымъ; христіанскій же и въ этомъ отношеніи равно далекъ отъ обѣихъ крайностей, какъ пластической, такъ и тонической, держась въ сферѣ живописи и музыки. Не менѣе всеобщую и не менѣе характеристическую черту всѣхъ новыхъ монотеизмовъ составляетъ и ихъ

универсальность, въ сравненіи съ древнимъ язычествомъ и націонализмомъ религій, не исключая и мозаизма. Ни одинъ изъ новыхъ монотеизмовъ не есть и никогда не былъ національнымъ и если ни одинъ изъ нихъ не сдѣлался до сихъ поръ и общечеловѣческимъ, космополитичнымъ, то всякій изъ нихъ, по крайней мѣрѣ, къ тому стремится, и всякій и достигъ въ этомъ стремленіи, по крайней мѣрѣ, характера несомнѣнной международной, т. е. общности для нѣсколькихъ народностей. Миссіонерство, пропагандированіе, которыхъ никогда не вмѣняли себѣ въ обязанность ни многобожіе, ни даже древнее единобожіе, стали не только догмою, но даже душою каждаго изъ новыхъ трехъ монотеизмовъ, и каждый изъ нихъ соперничаетъ съ другимъ въ дѣлѣ пропагандированія себя. Но самый способъ пропаганды образуетъ тотчасъ же и разницу между ними: человѣческій не стоилъ до сихъ поръ народамъ ни одной капли крови, и распространеніе мирное, словомъ и убѣжденіемъ, возводитъ онъ даже въ принципъ; божественный не сдѣлалъ ни одного приобрѣтенія иначе, какъ войною и потоками крови, а такъ называемую священную войну, джихадъ, войну за вѣру, возводитъ онъ въ высшую изъ добродѣтелей и въ вѣрнѣйшее изъ средствъ спасенія; богочеловѣческій монотеизмъ по принципу граничить съ первымъ, по исполненію—со вторымъ, но такъ, впрочемъ, что и самое исполненіе двояко, будучи отчасти мирнымъ, отчасти воинственнымъ. Переходя къ культу, къ оказательствамъ монотеизма, мы остаемся при тѣхъ же величественныхъ храмахъ, при томъ же могущественномъ духовномъ сословіи, при той же драматической обрядности богослуженія, что и въ политеизмѣ; но то, что здѣсь ново въ сравненіи съ нимъ, есть безкровность жертвы. Не только человѣческая, но и вообще животная кровь удалена здѣсь отъ алтарей божества, и всякая жертва ограничена предметами природы, неодаренными душою. Догматъ нравственности, догматъ безсмертія души интегрированъ во всѣ монотеизмы до неотъемлемости. При этомъ нравственность, также какъ и въ древнемъ монотеизмѣ, уже не только вѣшняя, но и внутренняя. Будда рекомендуетъ не только такія правила, какъ не класть ногу на ногу, при ѣдѣ не чавкать, не дуть, не лизать и какъ вообще 120 обѣтовъ о платьѣ, о домашней утвари и т. п.; но также и такія, какъ цѣломудріе, составляющее первый изъ буддійскихъ обѣтовъ, воздержаніе отъ воровства, убійства, выдаванія себя за сверхъестественное существо и, наконецъ,

такія, какъ забота не о своемъ только личномъ спасеніи, но о пользѣ всѣхъ одушевленныхъ существъ, при чемъ пользою для всѣхъ другихъ, по этому ученію, человѣкъ доставляетъ наибольшую пользу и себѣ самому. Кто достигъ этой степени совершенства, тотъ есть уже бодисатва, откуда недалеко и до превращенія въ Будду. Въ исламѣ и въ христіанствѣ внѣшняя нравственность уцѣлѣла только въ видѣ омовеній, постовъ и другихъ религиозныхъ обрядностей. Догматъ безсмертія души въ сущности своей одинаковъ во всѣхъ монотеизмахъ. Но въ новыхъ монотеизмахъ ново то органическое сращеніе нравственности и безсмертія, какое послѣдовало въ идеѣ посмертныхъ наградъ и наказаній, идеѣ загробной справедливости, въ идеѣ ада и рая. Вѣра въ адъ и въ рай, не смотря на всю философію буддизма о нирванѣ, привилась въ этой религіи не менѣе интегрально, чѣмъ и ко всякому другому единобожію. Буддисты глубоко вѣруютъ, что въ подземномъ мірѣ находятся одинъ ниже другого 8 адовъ, съ 16-ю отдѣленіями въ каждомъ, 8-ю горячими и 8-ю холодными. Тамъ грѣшниковъ пилать, мелятъ жерновами, варятъ въ котлахъ, жарятъ на сковородахъ. Въ другихъ мѣстахъ отъ холода тѣло ихъ вздувается, какъ пузырь, растрескивается, какъ листья цвѣтовъ, и т. п. Наконецъ и тамъ, и здѣсь въ тѣла впадаютъ черви, змѣи, левіаи и т. д. Нирвана же, уничтоженіе на вѣки, оказывается удѣломъ только блаженныхъ, раемъ буддизма. Чувственный рай Магомета и спиритуалистическій рай христіанства слишкомъ извѣстны, чтобы нуждаться въ описаніяхъ. Что же касается чувства религиознаго, какъ продукта всѣхъ монотеистическихъ теорій и практикъ, то оно едва ли можетъ похвалиться такою напряженностью, какъ въ древности. Уже самый разгулъ спиритуализма, отвлеченности, философичности въ этихъ системахъ вѣрованій, не могъ не стѣснять развитія чувствъ. Внесеніе же въ вѣру принциповъ нравственности, какъ равносильнаго догмата, также не могло не уравнивать мистическую сторону религій. А потому, чѣмъ больше вѣра становилась разумнѣею и нравственною, тѣмъ меньше могла оставаться вѣрою, экзальтаціею.

Послѣ этого сравненія и различенія монотеизмовъ, естественнымъ представляется вопросъ, почему же изъ этихъ однородныхъ вѣрованій одному только соотвѣтствуютъ самые высшіе плоды цивилизаціи, культуры и гражданственности, а именно монотеизму

христіанскому, богочеловѣческому? Оставляя въ сторонѣ причину сверхъестественную, какъ не подлежащую анализу науки, мы должны отвѣтить на вопросъ лишь съ точки зрѣнія естественныхъ условій. Однимъ же изъ такихъ отвѣтовъ можетъ служить примѣръ Аравіи и Греціи. Одинакія причины произвели и одинакія послѣдствія. Христіанскій монотеизмъ служитъ такимъ же центральнымъ между двухъ другихъ, какимъ былъ политеизмъ греческій въ средѣ политеизмовъ, и фетишизмъ арабскій посреди фетишизмовъ. Въ немъ концентрировались всѣ достоинства этого рода вѣрованій и парализировались всѣ недостатки его крайностей. Эта новая мѣра, новая гармонія міросозерцанія произвела и новый гармоническій плодъ; и, между тѣмъ, какъ односторонній исламизмъ, хотя развернулся гораздо раньше христіанства, но блеснулъ и лопнулъ, какъ фейерверкъ, а такой же односторонній буддизмъ и до сихъ поръ еще не приноситъ достойнаго его плода,—всестороннее христіанство процвѣло и цвѣтеть во всемъ блескѣ, и упадокъ производительной силы его вовсе даже не предвидится. Если же такъ, если фокусъ монотеизма есть дѣйствительно религія Христа, то и въ исторіи ея должны отразиться судьбы всего подлежащаго вѣрованія, какъ отразились онѣ въ греческой исторіи. И въ самомъ дѣлѣ, исторія христіанства есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и естественная исторія монотеизма вообще. Изъ этой исторіи видно, что проповѣдникъ религіи никогда не создаетъ ее въполнѣ, а полагаетъ ей только первый, основной камень; созданіе же есть дѣло времени и тысячи новыхъ рукъ. Уже съ перваго столѣтія христіанской эры начали возникать то тѣ, то другія недоумѣнія, сомнѣнія, вопросы. Вопросы требовали отвѣтовъ, и путемъ этихъ-то отвѣтовъ и воздвигалось все дальнѣйшее зданіе. Первымъ изъ такихъ вопросовъ естественно былъ вопросъ о божествѣ религіи и о ея проповѣдникѣ. Еще въ III вѣкѣ христіанской эры еретики Ноеціи явился основателемъ секты монархіанъ, признававшихъ въ христіанскомъ Богѣ только одно лицо. Это было поводомъ къ тому, что на соборѣ эфесскомъ впервые утверждена была формально идея троичности божества. Савелій хотѣлъ было истолковать эту тройственность, какъ три свойства или образа одного и того же божества, подобно тому, какъ огонь, свѣтъ и теплота совмѣщаются въ одномъ и томъ же предметѣ; но толкованіе это отвергнуто въ пользу неслиянности ипостасей. Еще больше недоразумѣній возбуждала личность І. Христа и ея отношенія къ

*

божеству. Керинѣъ уже въ I вѣкѣ христіанской эры былъ отлученъ самими апостолами за предположеніе челоувѣчности божественнаго основателя христіанства. Эвіонъ основалъ цѣлую секту эвіонитовъ, исповѣдавшихъ тотъ же принципъ. Во II столѣтіи поддерживалъ его Феодотъ, осужденный за то на соборѣ въ Римѣ. Въ IV столѣтіи Арій снова возобновилъ тотъ же споръ, что и послужило окончательнымъ поводомъ къ тому, чтобы на первомъ вселенскомъ соборѣ, въ числѣ семи первыхъ членовъ символа вѣры, утверждена была, между прочимъ, и божественность І. Христа. И хотя аріанизмъ долго еще оставался самою распространенною изъ христіанскихъ сектъ, такъ что изъ числа новыхъ народовъ приняли христіанство въ этомъ видѣ вестъ-готы, вандалы, остъ-готы и лонгобарды; но въ VI и VII вѣкахъ всѣ они были уже обращены къ господствующему вѣрованію. То же случилось и съ ересью Македонія, возбуждавшего сомнѣніе на счетъ божественности третьяго лица св. Троицы. На второмъ вселенскомъ соборѣ добавлены остальные пять членовъ символа вѣры и, въ числѣ ихъ, подтвержденіе божественности св. Духа. Такимъ образомъ, догматъ троичности божества сложился окончательно. Понятіе объ ангелахъ и злыхъ духахъ никогда, повидимому, не возбуждало недоразумѣній и наслѣдовано въ такомъ видѣ, въ какомъ получено изъ мозаизма, съ подраздѣленіемъ ангельскаго чина на девять степеней. На такъ называемомъ пято-шестомъ вселенскомъ соборѣ, въ VII вѣкѣ, установлено почитаніе святыхъ, равно какъ и самый обрядъ причисленія къ лику святыхъ, канонизація. На томъ же соборѣ возведены въ догматъ семь церковныхъ таинствъ. Наконецъ, на седьмомъ и послѣднемъ изъ вселенскихъ соборовъ, въ VIII столѣтіи, допущено почитаніе иконъ. До сихъ поръ такое наращеніе христіанскаго монотеизма не подавало поводовъ къ грубымъ политеистическимъ искаженіямъ его. Но съ этихъ поръ культъ святыхъ и ихъ изображеній увлекъ западную церковь къ употребленію не только иконъ, но также и самыхъ статуй, и при томъ со скрытыми внутри полостями и съ механизмами, приводившими ихъ въ движеніе, какъ въ буддизмѣ. Такова, напримѣръ, была статуя самого Спасителя, поднимавшаяся, какъ-бы сама собою, въ праздникъ свѣтлаго Христова воскресенія. Отсюда мало по малу политеистическая окраска монотеизма развилась до того, что выработалась цѣлая система компетентности святыхъ, подобная разграниченію функцій и атрибутовъ между языческими богами. Такъ,

напримѣръ, выше всѣхъ другихъ поставлена святая Дѣва, за нею шелъ св. Петръ, а за нимъ всѣ остальные. Каждому городу, каждому монастырю, каждому дѣлу или занятію приписанъ былъ особый патронъ. Св. Цецилія была покровительница музыкантовъ, св. Валентинъ—патронъ влюбленныхъ, св. Себастьянъ—защитникъ охотниковъ, св. Кристина—патронесса тряпичниковъ, св. Женева—защитница Парижа, св. Патрикій—хранитель Ирландіи, св. Фіакръ—заступникъ конюховъ, св. Губертъ—исцѣлитель отъ укушеній бѣшеной собаки, св. Виттъ—цѣлитель недуга, носящаго его имя, и пр. и пр. Мало того—рядомъ съ этимъ ожили даже воспоминавія порядка фетишистскаго. У Галлама перечисляется длинный списокъ бездушныхъ предметовъ, чествуемыхъ какъ святыхъ. Таковы, напримѣръ, хранившіеся въ церквахъ обломки Ноева ковчега, борода Аарона, рогъ Моисея, перья архангела Гавріила, святое сѣно изъ яслей, гвозди, коими было прободено тѣло Христа, капли крови изъ его ранъ, слезы его надъ Лазаремъ, письмо дѣвы Маріи и т. д. Что же касается пальмъ іерусалимскихъ, воды іорданской, земли съ горы Голгофы, то эти предметы составляли отрасль особой торговли въ г. Пизѣ, при чемъ цѣлый корабль иногда нагружался одною палестинскою землею. Вѣра въ вѣдьмъ, въ колдовство, въ чернокнижниковъ едва ли была слабѣе, чѣмъ въ любую фетишистскую эпоху. Вѣра въ привидѣнія, въ возстаніе мертвыхъ изъ могилъ, въ тѣни предковъ дожила до временъ самого Шекспира. Параллельно съ такимъ осложненіемъ догматики, нравственность христіанская, напротивъ, крайне упрощалась, ограничиваясь, какъ въ политеизмѣ, исполненіемъ одной обрядности. „Добрый христіанинъ,—говоритъ Ремигій, святой VIII вѣка,—есть тотъ, кто часто ходитъ въ церковь, приносить ей посильные дары, не вкушаетъ плодовъ земныхъ, не посвятивъ части отъ нихъ Богу, кто часто, наконецъ, повторяетъ Credo и Pater noster“. Обрядность достигла такого значенія, что достаточно было введенія въ западной церкви опрѣснোকъ для того, чтобы восточная навсегда отдѣлялась отъ нея, во имя вѣрности старинѣ. Безкровная жертва одна, повидимому, продолжала свидѣтельствовать о достоинствѣ религіи; да и та съ лихвой была возмѣщаема кровавымъ преслѣдованіемъ язычниковъ и еретиковъ. Крестовые походы полагаютъ однако предѣлъ такому наращенію христіанскаго монотензма и все второе тысячелѣтіе его употреблено на совершенно обратную работу, ра-

боту очищенія, разоблаченія его. Сначала слабая и робкая, какъ въ Абеллярѣ, Арнольдѣ, Вальдѣ, протестанція мало по малу укрѣпляется, какъ въ Кола-да-Ріензи, Савонароллѣ, Виклефѣ, Гуссѣ, и, наконецъ, разражается реформаціей Лютера, Цвингли, Кальвина. Люди эти счищали, по мѣрѣ силъ, накинъ фетишизма и политеизма и въ рвеніи своемъ доходять не только до устраненія статуй, но таже иконъ и даже самаго культа святыхъ. Лютеръ удерживалъ еще таинства, но Цвингли исключаетъ и ихъ и, такимъ образомъ, все творчество вселенскихъ соборовъ упразднено. Но движеніе, разъ начавшись, не остановилось на этомъ. Социніане или унитаріи коснулись и культа ангеловъ и даже догмата самой троичности, возвращаясь такимъ образомъ въ системѣ монархіанъ. Дальнѣйшее разоблаченіе шло внѣ религіозныхъ сектъ, а именно въ философскихъ школахъ. Петръ Бейль въ XVII вѣкѣ, Вольтеръ и энциклопедисты въ XVIII, Фейербахъ, Штраусъ и Ренанъ въ XIX старались совлечь съ монотеизма и самую характеристическую изъ его чертъ—черту богочеловѣчности, возвращаясь такимъ образомъ, еще дальше назадъ, къ воззрѣнію Керинеа. Такая же обратная метаморфоза происходила и съ системой нравственности. У Лютера добродѣтель хотя и возводится въ долгъ, но рядомъ съ нею сохраняется и тезисъ объ оправданіи вѣрою, а не дѣлами: это есть еще равновѣсіе догматики и морали, благодати и свободного произвола. Но уже Цвингли поставилъ спасеніе въ зависимость отъ самаго человѣка, свободной волѣ предоставилъ перевѣсъ надъ благодатью, а слѣдовательно, и морали надъ догматомъ. Социнъ, приводя искупленіе въ зависимость единственно отъ истины и добродѣтели, отъ подражанія Христу, произнесъ и послѣднее слово этой мысли. Что же касается внѣшняго культа, то Лютеръ, вмѣстѣ съ храмами, духовенствомъ, обѣдней, удерживалъ еще и смыслъ христіанской жертвы, и хотя отвергалъ пресуществленіе, но допускалъ присутствіе І. Христа въ евхаристіи. Кальвинъ уже усомнился въ этомъ, а Цвингли сдѣлалъ изъ евхаристіи простой обрядъ воспоминанія. Социнъ, отвергнувши все внѣшнее богослуженіе, могъ видѣть жертву только въ дѣйствительномъ страданіи за истину. Съ тѣхъ поръ, въ мелкихъ сектахъ менонитовъ, гернгутеровъ, или моравскихъ братьевъ и др. храмъ смѣнился домомъ, священникъ — первымъ восшедшимъ на кафедру, обѣдня — проповѣдью и даже разсужденіемъ. Остались нетронутыми бытіе

Бога, безсмертіе души и нравственный долгъ, т. е. то, что называютъ нынче, вмѣсто монотеизма, деизмомъ. Въ такомъ своемъ видѣ единобожіе перешагнуло черезъ Атлантическій океанъ и ступило на новую почву новаго свѣта. Здѣсь протестантизмъ закипѣлъ съ новою силою и напoлъ себѣ настоящее отечество свое. Основатели Соединенныхъ Штатовъ Америки съ перваго шага въ жизнь государственную отвергли всякую идею о господствующей, о государственной церкви; богословіе перестало быть предметомъ преподаванія въ школахъ, и дѣла совѣсти предоставлены личному усмотрѣнію каждаго. Большею универсальности и толерантности никакой монотеизмъ не обнаруживалъ еще нигдѣ и никогда. Вслѣдствіе этого и самое дробленіе монотеизма стало достигать до микроскопичности. Католики, епископалы, лютеране, кальвинисты, пресвитеріане, анабаптисты, реформаты, пуритане, арминіане, методисты, конгрегационалисты, квакеры, менониты, гернгутеры, универсалисты, тринитаріи, унитаріи, теософы—все это названія только болѣе крупныхъ общинъ; мелкихъ же одиѣхъ реформатскихъ насчитываютъ до 14. Важно, при этомъ, помѣтить свойство двухъ крайнихъ полюсовъ этого разнообразія. Католичество, не смотря на самый крупный приливъ его въ страну (уже въ видѣ однихъ ирландцевъ), все больше и больше, однакожъ, теряетъ подъ собою почву и исчезаетъ. Не смотря на свою ревность къ нему въ отечествѣ своемъ и свой вѣковой антагонизмъ тамъ съ протестантствомъ, ирландецъ, по переселеніи въ новый свѣтъ, какъ будто теряетъ память обо всемъ прошедшемъ, и если не тотчасъ, то во второмъ и, много-много, въ третьемъ поколѣніи неминуемо обращается въ протестанта; такъ что католичество держится пока только приливомъ изъ стараго свѣта. До такой степени почва и атмосфера новаго свѣта протестантичны и до такой степени протестантизмъ выживаетъ на ней необоримо. Фактъ этотъ съ грустью засвидѣтельствованъ самимъ архіепископомъ ньюйоркскимъ Гюгомъ. Съ другой стороны—изъ числа протестантскихъ наиболѣе выживаетъ въ просвѣщенныхъ классахъ секта, представляющая совершенно другую крайность, а именно унитаризмъ, антитринитаріи, словомъ секта Социна. Проповѣдникъ ея, Теодоръ Паркеръ, умершій въ 1860 году, былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей вѣка и приобрѣлъ въ Америкѣ вліяніе необычайное. А, между тѣмъ, Америка едва вышла изъ своей колыбели и ей предстоитъ еще не одно, быть можетъ, тысячелѣтіе жизни и развитія. Не очевидно ли,

что такое движеніе можетъ кончиться тамъ тѣмъ, что каждая горсть людей станетъ имѣть свою собственную вѣру, что секта обратится въ школу и религія въ философію?

Такая исторія христіанства даетъ мѣсто не малому числу выводовъ, главнѣйшими изъ которыхъ суть слѣдующіе два. Какъ христіанство образуетъ собою центръ между двухъ другихъ, современныхъ ему монотеизмовъ, такъ въ немъ самомъ такимъ центромъ оказывается католицизмъ. Восточное исповѣданіе представляетъ собою идею наибольшей неподвижности религіи, во имя которой оно и отдѣлилось; протестантизмъ знаменуетъ собою, напротивъ, величайшую подвижность ея, ради которой онъ и вышелъ изъ папства; католичество же хранить мѣру между этихъ двухъ направленій, допуская въ религіи развитіе, но не слишкомъ. Восточная церковь предана, по преимуществу, обрядности, такъ что достаточно было перваго нововведенія, и, при томъ, столь здраваго и незначительнаго, какъ исправленіе богослужебныхъ книгъ, чтобы выдвинуть въ ней расколъ, во имя еще пущей неподвижности. Старообрядецъ въ простонародьи и славянофилъ въ интеллигенціи, оба *plus royalistes que les rois*, суть лучшіе представители этого полюса христіанства. Протестантизмъ, напротивъ, весь преданъ духу вѣры. Въ протестантизмѣ достаточно было первыхъ нововведеній Лютера, чтобы вслѣдъ за ними посыпался цѣлый рядъ нововведеній и реформаторовъ, еще болѣе радикальныхъ, число и оттѣнки которыхъ не перестаютъ умножаться до сихъ поръ. Здѣсь высшимъ показателемъ полюса служить такая крайность свободы, какъ соцініанство. Посреди этихъ двухъ совершенно противоположныхъ потоковъ стоитъ, колеблясь то въ ту, то въ другую сторону и заимствуя струи свои отъ обоихъ, папство. Еще въ самое послѣднее время, рядомъ со всѣми своими энцикликами противъ цивилизаціи, оно способно было, однакожь, на такую преобразовательность въ дѣлѣ вѣры, на такія существенныя въ ней обновленія, какъ догматъ непорочнаго зачатія или догматъ непогрѣшимости папской. Тутъ полнѣйшимъ представителемъ духа компромисса является хитроумное іезуитство. Таковъ первый выводъ о конструкціи нашего монотеизма. Гораздо затруднительнѣе другой, — о его центрѣ во времени, а не въ пространствѣ. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, тотъ апогей въ движеніи христіанскаго единобожія, гдѣ бы оно являлось наиболѣе монотеистичнымъ, гдѣ бы оно восходило до наибольшей своей полноты и типичности, подобно греческому политеизму въ IV вѣкѣ? Мы

видимъ только, что исторія его до сихъ поръ переламывается надвое, что въ одномъ тысячелѣтїи ея господствуетъ одно теченіе, въ другомъ—другое, обратное. Но которое же изъ нихъ наиболѣе характерично для текущаго монотеизма: первое или второе? или же ни то, ни другое, и апогей надо искать тамъ, гдѣ былъ кризисъ? или, наконецъ, онъ лежитъ въ самомъ началѣ или въ самомъ концѣ монотеизма? Всѣ эти затрудненія, не имѣющія мѣста при оцѣнѣ политеизма, какъ явленія завершившагося, возникаютъ здѣсь, конечно, именно потому, что монотеизмъ есть явленіе еще движущееся, что завершеніе его еще не наступало, а потому и опредѣленіе всѣхъ точекъ его линіи, отношеніе ихъ между собою, не можетъ еще представляться нагляднымъ. Но въ выходу изъ этого недоумѣнія должно, какъ кажется, способствовать то обстоятельство этой исторіи, что конецъ ея, по свойствамъ своимъ, вполнѣ сближается съ духомъ философіи, а не духомъ религіи. Здѣсь христіанство есть религія, такъ сказать, философская или, пожалуй, философія религіозная. А потому не здѣсь ли лежитъ и разгадка нашей задачи? Апогей монотеизма не тамъ ли, гдѣ христіанство остается все еще религіей, но не становится еще философіей? Если такъ, то моментомъ этимъ будетъ лютеранство, реформація, протестантизмъ, т. е. самое прогрессивное изъ трехъ вѣроисповѣданій, но все-таки вѣроисповѣданіе, а не школа. Что же касается всѣхъ дальнѣйшихъ сектъ, то онѣ открываютъ дорогу только уже философіи монотеистической, но никакъ не продолжаютъ дѣла религіи, и тѣмъ образуютъ между этими двумя мірами органически-переходное звено. Такая исторія христіанства есть, какъ кажется, и исторія монотеизма вообще. По крайней мѣрѣ, какъ признаки построенія его, такъ и признаки его же движенія даютъ себя чувствовать и во всѣхъ остальныхъ монотеизмахъ. Въ мозаизмѣ признакомъ этимъ служитъ въ древности противоположность фарисеевъ и саддукеевъ, а въ новое время талмудистовъ и караймовъ; въ исламизмѣ — разница шіитскаго и суннитскаго толковъ съ ихъ безчисленными градаціями, начиная съ отъявленныхъ фанатиковъ и оканчивая свободномыслящими мутазалитами; въ буддизмѣ—начинающійся переломъ отъ старообрядства къ реформаціи. Какъ бы то ни было, но, не заглядывая пока въ будущія судьбы религіи, намъ предстоитъ сперва прослѣдить, до того же пункта, другой потокъ идей, шедшій параллельно съ религіей,—потокъ философіи.

Ф И Л О С О Ф И Я.

Философія релігійозна. — Метафізическая философія. — Научная философія.

Если релігія оканчується філософією, то філософія починається релігією. Эта двойная связь всѣхъ метаморфозъ общественныхъ такъ неизбежна, будетъ ли то въ пространствѣ или во времени, что пока она неизвѣстна намъ, не можетъ считаться извѣстнымъ и самое явленіе. Она, какъ эндосмосъ и экзосмосъ біологій, заполняетъ собой всѣ соціологическіе переходы изъ мѣста въ мѣсто и изъ эпохи въ эпоху и тѣмъ вяжетъ всѣ явленія въ одно нерасторжимое цѣлое. Всѣ соціальныя феномены, сосѣдніе по мѣсту или по времени, съ одной стороны всасываютъ въ себя сосѣда, а съ другой — сами въ него всасываются. Какимъ образомъ релігія всосалась своимъ монотеизмомъ въ философію — мы видѣли; теперь надо посмотрѣть, какъ философія всасывается въ релігію.

Философія починається съ тѣхъ же поръ, какъ и релігія. Вѣрить чему-нибудь нельзя, не размышляя хоть сколько-нибудь, какъ и размышлять первоначально нельзя, не вѣря. Какъ только земля, небо и феноменъ сновидѣній обратили на себя вниманіе диваря, тотчасъ же открылась исторія и вѣры, и размышленія. Въ эти отдаленныя до непроглядности времена положены даже такіа капитальныя основанія философіи, съ какихъ она не сдвинулась и до сихъ поръ, какъ, напримѣръ, отдѣленіе въ человѣкѣ души отъ тѣла. Отдѣленіе это понесло въ себѣ потенциально всю будущую философію со всѣми остальными ея противопоставленіями. Но дѣло въ томъ, что способность размышлять самостоятельно, независимо отъ вѣры, развивается гораздо позже способности пассивно вѣрить. А потому хотя починається философія и вмѣстѣ съ релігіей, но развивается гораздо позже ея. Мало того: философія не только развивается позже, но даже поздно отдѣляется отъ релігіи; первоначально же обѣ онѣ суть одно и то же. Въ такомъ видѣ полного отождествленія съ релігіей, а именно въ видѣ міеологій, философія найдется вездѣ, даже среди всякаго фетишизма. Одинъ кафиръ, по имени Секеза, говорилъ однажды путешественнику Арбруссе: „двѣнадцать лѣтъ тому назадъ я пасъ стадо. Погода стояла туманная. Я присѣлъ на скалу и сталъ задавать себѣ печальныя вопросы; печальныя потому, что не въ силахъ

былъ отвѣтить на нихъ. Кто зажогъ звѣзды? на какихъ столбахъ онѣ покоятся? Воды также никогда не устаютъ: онѣ не знаютъ ничего другого, какъ течь; но гдѣ онѣ останавливаются? и кто ихъ двигаетъ въ путь? Тучи опять идутъ и проходятъ; но кто посылаетъ ихъ и откуда идутъ онѣ? не отъ колдуновъ же! Я не могу видѣть вѣтра, а между тѣмъ, кто-то дуетъ же и гремитъ. Какъ растеть трава и злакъ всякій? Вчера на поляхъ не было ни былинки, сегодня уже все зелено... И не зная, что отвѣтить, я закрылъ лицо руками“. Вотъ философія, готовая во всякомъ фетишизмѣ. А потому въ такомъ, какъ китайскій, она уже и формально существуетъ. И дѣйствительно, мы находимъ ее впервые въ этомъ представителѣ всѣхъ первичныхъ формъ цивилизаціи. Китаецъ и до сихъ поръ не въ состояніи отдѣлать, что въ его священныхъ книгахъ относится къ религіи и что къ философіи. Его баснословная книга И-кингъ, приписываемая не менѣе баснословному Фу-ги и относимая за 3,000 л. до Р. Х., останавливается на двухъ своихъ великихъ отвлеченіяхъ, которыя суть также и два послѣднія слова вѣры: земля и небо. Здѣсь нѣтъ еще помину даже о духахъ, о геніяхъ, о душахъ. Небо для Фу-ги есть верховное могущество, отъ котораго зависятъ всѣ явленія и которое вознаграждаетъ и наказываетъ въ этомъ мірѣ всѣ хорошія и дурныя дѣйствія. Гіероглифъ неба представляетъ собою выѣстъ съ тѣмъ начало мужское, движеніе, силу, свѣтъ, солнце, теплоту, Напротивъ, знакъ, присвоенный землѣ, изображаетъ собою также и начало женское, покой, слабость, тьму, луну, холодъ,—словомъ, все низшее, все несовершенное, все пассивное. Всѣ вещи возникаютъ и гибнутъ посредствомъ сложенія и разложенія. А самое сложеніе и разложеніе совершаютъ по законамъ чиселъ. Числа непарныя, нечетныя, которыя имѣютъ основаніемъ прямую линію (—), небо, единство, суть совершенныя; числа же парныя, четныя, которыя основаны на двойственности, на линіи разорванной (— —), эмблемѣ земли, суть несовершенныя. Изъ всавозможныхъ сочетаній ихъ происходятъ всѣ существа, всѣ свѣтила, всѣ времена года. Знаменитый комментаторъ, а быть можетъ, и возстановитель книги И-кингъ, Конфуцій, также принимаетъ верховность неба; но его вся философія направлена, при этомъ, на правила поведенія, на мораль. Природа, происхожденіе міра и человѣка, будущность того и другого мало интересуютъ Конфуція. Онъ предпочитаетъ брать вещи, какъ онѣ есть, не ища ни начала ихъ, ни конца. И если что-нибудь онъ

добавляетъ къ нимъ, то только глубокое убѣжденіе въ существованіи духовъ. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ ученіи нѣтъ никакого раздѣленія между религіею и философіею: Конфуцій также, какъ и Фу-ги, есть настолько же пророкъ, насколько мудрецъ, философъ. Прибавить сюда можно развѣ одинъ отрывокъ изъ книги Шу-кингъ, относимый то за двѣ, то за тысячу лѣтъ до Р. Х., и гдѣ говорится о пяти элементахъ (вода, огонь, дерево, металл, земля); о пяти періодическихъ явленіяхъ (годъ, солнце, луна, планеты, созвѣздія); о пяти способностяхъ (положеніе, языкъ, зрѣніе, слухъ, мысли); о пяти благополучіяхъ и шести бѣдствіяхъ; о семи способахъ повѣрки сомнительныхъ случаевъ; о восьми правилахъ правительственныхъ, и т. п. Все же это, такъ называемое, возвышенное ученіе, въ свою очередь, подраздѣляется на девять ученій. Что касается системы Лао-дзы, съ его представленіемъ о какомъ-то безличномъ Тао, откуда все выходитъ и куда все возвращается, то его считаютъ занесеннымъ извнѣ, изъ Индіи. Впрочемъ, еслибъ оно было и туземнымъ, самороднымъ, то оно не измѣняетъ общаго характера здѣшней мысли, состоящаго въ отождествленіи религіознаго и философскаго. Впервые обнаруживается раздѣленіе между тѣмъ и другимъ только въ самой Индіи, но за то, при этой первой попыткѣ раздѣленія, соединеніе все еще сказывается, и сказывается тѣмъ родомъ мудрствованія, который не можетъ быть названъ иначе, какъ въ точномъ смыслѣ слова философіею религіозною.

Многи религіи, будучи образнымъ выраженіемъ мысли, рано или поздно дѣлаютъ языкъ свой затемненнымъ, сбивчивымъ, неяснымъ. Благочестивое желаніе уяснить этотъ языкъ, понять его, возстановить, производить мышленіе, которое и есть не что иное, какъ зародышъ философіи. На языкѣ религіи Уранъ, напримѣръ, есть не что иное, какъ мужъ Ген и больше ничего; въ переводѣ же на языкъ философскій онъ будетъ небомъ, которое оплодотворяетъ землю. Вотъ и новый порядокъ мышленія. Это есть все еще мышленіе религіозное, потому что оно имѣетъ ту же цѣль, что и религія; но это мышленіе есть уже философія, а не религія, потому что средства у него другія: религія говорила образами, философія говоритъ мыслями; та была конкретною, эта становится абстрактною. Такова именно вся или почти вся философія Индіи. Она уже выдѣляется изъ религіи, потому что религія одна, а философій, а способовъ истолкованія религіи—нѣсколько; религія, кромѣ того, обязательна, а

та или иная система комментирования ея—факультативна. Она уже философія потому, что языкъ ея есть слово, а не образъ, есть разсужденіе, а не мнѣ. Но она все еще философія религіозная, потому что и цѣль, и предметъ ея суть еще тѣ же, что у религіи. Таковы всѣ шесть философскихъ системъ Индіи. Всѣ онѣ стремятся къ тому, во-первыхъ, чтобы разрѣшить проблему происхожденія, а съ другой стороны, къ тому, чтобы путемъ этимъ достигнуть вѣчнаго блаженства, добиться освобожденія отъ этихъ переселеній души, отъ этой горечи пребыванія въ тѣлѣ. Непосредственнѣе всего считаютъ своею цѣлью раскрыть смыслъ откровенія двѣ системы: Миманса и Веданта. Веданта даже и значить въ переводѣ не что иное, какъ конецъ Ведъ. Миманса приписывается мудрецу Джаймини, Веданта—Віасѣ. Первая разсматриваетъ все, что въ ведахъ относится къ человѣку и къ его обязанностямъ, вторая—что относится къ верховному бытію. Обѣ имѣютъ въ виду ни на шагъ не отступать отъ священныхъ книгъ. Отсюда первое изъ двѣнадцати ученій Мимансы посвящено доказательству божественности самыхъ ведъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и божественности долга человѣческаго, изъ нихъ истекающаго. Затѣмъ слѣдуютъ дѣленія и подраздѣленія этого долга, его части и степени, порядоки и условія исполненія. Забавливается трактатъ вопросами исключеній, столкновеній долга, случайныхъ послѣдствій его и т. п. Словомъ, это ортодоксальная мораль, развившаяся въ казуистику; это скорѣе нравственное богословіе, чѣмъ философія. Веданта же имѣетъ быть дѣйствительною теодицеею ведъ. Если въ систему она сложилась, быть можетъ, и позднѣе всѣхъ другихъ философій, то содержаніемъ своимъ она несомнѣнно древнѣе ихъ всѣхъ. Главнѣйшимъ тезисомъ веданты есть тотъ, что божество, въ своемъ высочайшемъ выраженіи Брами, есть всевѣдущая и всемогущая причина бытія, связности и разрѣшенія всѣхъ вещей. Брама есть единственно дѣйствительное существо, онъ есть душа міра. Индивидуальныя души не что иное, какъ частицы этой души; онѣ исходятъ изъ нея, какъ искры изъ пламени, и въ нее же опять возвращаются. Душа человѣческая заключена въ тѣлѣ, какъ въ оболочкѣ своей, при чемъ оболочекъ этихъ четыре: одна—разумѣніе, другая—пять чувствъ, третья—органы этихъ чувствъ и четвертая—наиболѣе матеріальное тѣло. Смерть есть отдѣленіе души отъ тѣла. Отдѣлившись, душа уходитъ на луну, откуда въ видѣ дождевыхъ капель падаетъ на землю, поглощается растительностью и, путемъ

питанія, обращается въ зародышъ всего животнаго царства. По совершеніи же числа переселеній, соотвѣтственнаго заслугамъ ея, она получаетъ окончательное освобожденіе и возвращается въ отечество свое, въ Брахму. Веданта распространяется также о вопросѣ свободной воли, о благодати, о дѣйствительности или недѣйствительности дѣлъ вѣры, и т. п. Въ концѣ концовъ это есть та философія, которой присвоено названіе пантеизма. Двѣ возможныя отмѣны этого религіозно-философскаго воззрѣнія также заключаются въ ведантѣ: по одной изъ нихъ, все существующее существуетъ не иначе, какъ въ богѣ и чрезъ бога; по другой—не существуетъ вовсе ничего, кромѣ бога, а что представляется существующимъ, то имѣетъ мѣсто лишь въ мысли человѣка и производится лишь впечатлѣніями на душу, внушаемыми божествомъ. Этотъ послѣдній максимумъ пантеистическаго воззрѣнія, наиболѣе популярный въ древней Индіи, сохраняется и въ современной Индіи, преимущественно предъ его minimum'омъ. Совсѣмъ иной видъ религіозныхъ умозрѣній представляютъ системы: Іога, что значитъ соединеніе, и Вайсешика, что значитъ раздѣленіе, различеніе. Авторомъ первой считается Патанджали, авторомъ второй—Канада. Обѣ опять имѣютъ цѣлью вѣрнѣйшее достиженіе вѣчнаго блаженства, а слѣдовательно, обѣ же составляютъ философію дѣйствительно религіозную; но при этомъ вайсешика опирается на одно мѣсто въ ведахъ, развитіемъ котораго она претендуетъ быть; іога же думаетъ вести къ спасенію единственно путемъ знанія, или точнѣе, путемъ мышленія. Это послѣднее притязаніе весьма замѣчательно: оно обнаруживаетъ уже порывъ къ независимости философіи отъ религіи, къ равному достоинству той и другой. И дѣйствительно, іога и по содержанію своему, по своему способу разрѣшенія религіозныхъ вопросовъ, значительно уже уклоняется отъ господствовавшихъ вѣрованій и умозрѣній. Такъ, по ея мнѣнію, кромѣ индивидуальныхъ душъ, есть душа, совершенно отъ нихъ отличная, не тождественная съ ними, душа, не подверженная бѣдствіямъ тѣхъ, неучаствующая ни добру, ни злу, всевѣдущая и безконечная, какъ во времени, такъ и въ пространствѣ. Это есть божество, отдѣльное отъ міра и управляющее имъ. Цѣль индивидуальныхъ душъ есть соединеніе съ этою верховною душою. А достигается оно посредствомъ освобожденія отъ узъ плоти, узъ матеріи, которое, въ свою очередь, можетъ быть достигнуто лишь путемъ непрестаннаго созерцанія. Все время

свое іогистъ долженъ проводить въ упражненіяхъ набожности и въ созерцаніяхъ. Во время размышленій своихъ онъ, для вѣщаго достиженія цѣли, долженъ задерживать, по возможности, дыханіе свое, закрывать всѣ отверстія тѣла, умерщвлять свои чувства, принимать трудное и стѣснительное положеніе тѣла, какъ, напримѣръ, сидѣніе на корточкахъ, или же съ одной ногой подогнутою, а другой вытянутою, и т. п. Такою практикою, возобновляемою часто и по-долгу, вѣрный приобретаетъ познаніе прошедшаго и будущаго, вещей скрытыхъ и отдаленныхъ, онъ разгадываетъ мысли другихъ, онъ исполняется силою слона, мужествомъ льва, быстротою вѣтра, онъ летаетъ по воздуху, плаваетъ по водамъ, проникаетъ въ землю, онъ созерцаетъ однимъ взглядомъ весь міръ и приобретаетъ могущество, почти незнающее предѣловъ. Словомъ, начавши съ порыва независимости отъ религіи, іогизмъ оканчивается тѣмъ, что впадаетъ въ мистицизмъ, въ новую религіозность и даже въ фанатическую: такъ-то вѣрѣнки связи философіи съ религіей и такъ-то трудно порывать ихъ. Тѣмъ не менѣе, это все-таки фазисъ новый въ религіозной философіи, и именно тотъ, который именуется теизмомъ. Вайсешика, различіе, занимается не высокимъ вопросомъ единства, а мелкими вопросами множественности. Все разнообразіе вещей она приводитъ къ шести категоріямъ; категоріи эти суть: сущность, качество, дѣйствіе, классъ, свойство и отношеніе. Къ числу сущностей относятся: пять стихій, пространство, время, душа и внутреннее чувство. Качествъ полагается двадцать четыре. Дѣйствіе или движеніе бываетъ пяти видовъ и т. п. Весь этотъ преходящій міръ есть послѣдствіе сложенія и разложенія пяти не преходящихъ стихій. Но вопросъ о томъ, какая сила толкаетъ стихіи къ сложенію, есть ли она естественное свойство ихъ самихъ или же сверхъестественное дѣйствіе божества, такой вопросъ оставляется въ вайсешикѣ открытымъ. Что въ вайсешикѣ остается открытымъ или сомнительнымъ, то прямо и положительно восполняетъ система Капила, Санкіа. Съ этой системою мы вступаемъ опять въ новый фазисъ. Цѣль и тутъ остается все та же, религіозная—достигнуть спасенія, вѣчнаго блаженства. Средствомъ къ тому и тутъ, какъ въ іогѣ, полагается единственно созерцаніе, мышленіе, знаніе. Но санкіа не возвращается уже въ религію, какъ возвратилась іога. По категорическому утвержденію санкіа, нѣтъ ни матеріальнаго, ни духовнаго

верховнаго существа, по волѣ котораго возникла бы вселенная. Миръ, природа—суть, сами по себѣ, бытіе вѣчное, не производное. Форму этого бытія сангіа, подобно И-кингу, объясняетъ теорією чиселъ, матерію же—слѣдующимъ образомъ. Происхожденіе и пре-
 хожденіе вещей есть свойство, присущее самой природѣ, которая и
 есть первый изъ числа двадцати пяти и верховный принципъ всего
 существующаго. Другой, производимый природою, есть разумѣніе. За
 нимъ слѣдуютъ пять тонкихъ частицъ, составляющихъ сущность
 пяти стихій. Далѣе идутъ одиннадцать органовъ внѣшнихъ чувствъ
 и чувство внутреннее. Еще далѣе сами пять стихій: огонь, воздухъ,
 вода, земля и эфиръ. Наконецъ, слѣдуютъ индивидуальныя души,
 какъ бытіе множественное, но на этотъ разъ не произведенное
 природою и само ничего не производящее. Какъ природѣ свой-
 ственно творить, такъ душѣ свойственно изучать твореніе. Но оба
 эти процесса хотя и совпадаютъ другъ съ другомъ, однакожь одинъ
 отъ другого независимы и оба равно вѣчны. Всякая душа, при
 рожденіи человѣка, соединяется съ тѣломъ, съ органами чувствъ;
 органы эти сообщаютъ ей впечатлѣнія внѣшней природы; умъ, су-
 ществующій независимо отъ души, совокупляетъ и сравниваетъ эти
 впечатлѣнія; разумъ, столь же отъ души независимый, дѣлаетъ изъ
 нихъ выводы и такимъ образомъ достигаетъ до познанія того, что
 недоступно чувствамъ. Душа же присутствуетъ при этомъ, какъ
 посторонняя зрительница, какъ зеркало, которое, принимая всѣ
 изображенія, само не перемѣняется ни въ чемъ. Когда душа доста-
 точно созерцала и достаточно поняла природу, ея дѣло сдѣлано:
 она освобождена, и связь ея съ природою разрушена. Природа, по
 выраженію Капиллы, подобна танцовщицѣ, которая удаляется, когда
 достаточно была видѣна зрителемъ. Подобное міровоззрѣніе, даже
 въ буквальный его смыслъ, есть уже совершенная новость для
 міра. Но она окажется еще рѣшительнѣе, если прибавить, что по-
 добная школа должна была тщательно прикрывать, по мѣрѣ воз-
 можности, всю степень своего уклоненія отъ всѣхъ предшествовав-
 шихъ міровоззрѣній. По крайней мѣрѣ, такъ именно объясняютъ
 специалисты всѣ тѣ непоследовательности, которыя допустила въ
 себѣ эта школа. Душа ея, которая не тождественна ни съ разу-
 момъ, ни съ разсудкомъ, ни съ чувствами, которая отъ знаній и
 впечатлѣній ни выигрываетъ, ни проигрываетъ, какъ зеркало, есть
 очевидное излишество въ системѣ. Душа, которая не имѣетъ ничего

общаго съ разумѣніемъ, созданнымъ природою, душа, которая одна только въ числѣ двадцати пяти принциповъ не произведена всепроизводящею природою; такая душа дѣйствительно можетъ быть истолкована только политикою школы, опасавшейся приходить въ слишкомъ крайнія противорѣчія со всѣми господствующими міросозерцаніями не только религіи, но и самой философіи религіозной. Въ сущности же система ведетъ въ полному отрицанію множественности душъ, и при томъ на столько же, на сколько въ ней отрицается и единство ихъ, ихъ верховная душа. Какъ бы то ни было, впрочемъ, но мы присутствуемъ здѣсь при первичномъ возникновеніи того, что съ тѣхъ поръ извѣстно въ философіи подъ именемъ атеизма, подъ какимъ именемъ разсматривалъ эту школу и самъ ортодоксальный брамаизмъ Индіи. Такимъ образомъ, возникши изъ задачъ подкрѣпленія вѣрованій мышленіемъ, философско-религіозная мысль Индіи окончила полнымъ разрывомъ съ этими вѣрованіями. Изъ первоначальнаго союзника воспитался впоследствии врагъ и противникъ. Есть, впрочемъ, въ индійской цивилизаціи и еще одна философская школа, Ньяя, школа Готама; но она потому только теологическая, что у нея все та же религіозная цѣль всей индійской философіи, т. е. освобожденіе отъ этой невыносимой перспективы переселеній души. Вопросы же о божествѣ Ньяя вовсе не касается и ограничивается частнымъ вопросомъ, а именно—вопросомъ самого мышленія, логики, теоріи доказательствъ или, по крайней мѣрѣ, теоріи разсужденія, познанія. По этой логикѣ есть четыре познавательныя способности: воспріятіе, обобщеніе, сравненіе и свидѣтельство. Утверждая или отрицая что-нибудь, умъ пробѣгаетъ различныя средства провѣрки своихъ утвержденій и отрицаній. Такихъ средствъ или категорій провѣрки есть шестнадцать: опытъ, предметъ опыта, сомнѣніе, побужденіе, примѣръ, увѣреніе, дополнительное разсужденіе, заключеніе, возраженіе, опроверженіе, придирка, софизмы, обманъ, празднословіе, приведеніе въ абсурду. Наконецъ, Готама есть первый авторъ теоріи силлогизма, который онъ строитъ изъ пяти частей: 1) эта гора горитъ, 2) потому что она дымится, 3) все дымящееся горитъ, 4) а какъ гора дымится, 5) слѣдовательно, она горитъ. Этою школою исчерпывается философія Индіи. Характеристика всей этой философіи изъ предыдущаго очевидна. Во-первыхъ, это философія постоянно религіозная; во-вторыхъ, эта религіозная философія воспроизводитъ въ себѣ всѣ три

возможные вида ея, три единственно-возможныя рѣшенія ея вопроса; въ-третьихъ, первымъ воспроизведеннымъ и наиболѣе господствовавшимъ въ Индіи изъ всѣхъ этихъ видовъ былъ, да и есть, какъ извѣстно, *пантеизмъ*. Пантеизмъ былъ настолько популярнѣе всѣхъ иныхъ религіозно-философскихъ міровоззрѣній, что онъ почти отождествилъ себя со всѣмъ индусскимъ разумѣніемъ. Продолжая слѣдить религіозную философію по инымъ вѣкамъ и народамъ древности, увидимъ, что на всемъ остальномъ востокѣ или вовсе не было философіи, или, если была она, то совершенно сливающаяся съ религіей и вовсе еще отъ нея не отдѣлявшаяся, какъ это мы и видѣли, говоря о компетентности политеизма. А тамъ, гдѣ философія, отдѣльная отъ религіи, имѣла несомнѣнное мѣсто, какъ въ Греціи, тамъ религіозной философіи мы уже не знаемъ. Здѣсь извѣстна поэзія религіозная, какова, напримѣръ, она у Гезіода, но не философія. Ни одинъ изъ греческихъ философовъ не задавался даже мимоходомъ идеей оправданія своей религіи посредствомъ философіи. Такъ что вся религіозная философія политеизма сосредоточилась исключительно въ Индіи. Другое дѣло религіозная философія монотеизма: она имѣла свою особую эпоху, своихъ особыхъ представителей и свое особое имя; это—средневѣковая схоластика, и при томъ схоластика не только христіанская, но также и арабская, и еврейская, словомъ, схоластика всего монотеизма. Арабская философія была въ полномъ смыслѣ слова религіозная. Единственное существо философа Ал-Фараби, первый двигатель Авиценны, всеобщій разумъ, единство матеріи и формы Ибн-Гебиры, все это не что иное, какъ философскій переводъ религіозной идеи божества. Возвращеніе къ всеобщему единству Ибн-Баджи, сліяніе съ божествомъ Тофаила не что иное, какъ философскіе термины безсмертія души. Вообще же, этотъ Тофайлъ даже специально занятъ именно тѣмъ, чтобы согласить исламъ съ разумомъ. Религія и философія суть для него одно и то же. А съ другой стороны, для всѣхъ для нихъ философія есть не что иное, какъ деизмъ. Это до такой степени безусловно, что даже величайшій изъ арабскихъ философовъ Аверроэсъ, отрицая и твореніе міра, и безсмертіе души, и свободный произволъ, и предопредѣленіе, все-таки умѣетъ согласить съ этимъ своего перваго двигателя, свой интеллектъ всеобщій, активный, вѣчный и свое воззрѣніе на философію, какъ на тождество религіи. Замѣчательно его воззрѣніе на вопросъ, столь много вол-

новавшій средневѣковое мышленіе, вопросъ о свободѣ воли и о предопредѣленіи. Всѣ дѣйствія человѣческія зависятъ, по его мнѣнію, частію отъ воли, частію отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Но самая эта воля, въ свою очередь, опредѣляется отчасти предметомъ желанія, отчасти окружающею средою, которые, въ свою очередь, зависятъ отъ неизмѣнныхъ законовъ природы. А все такое сцѣпленіе этихъ отношеній остается для человѣка тайною, тогда какъ оно не есть тайна для божественнаго предвѣдѣнія. Отсюда понятія о свободѣ и о предопредѣленіи. Не выступаетъ изъ деистическаго круга и философія еврейская въ лицѣ представителя ея Маймонида. Его прямая цѣль есть опять не что иное, какъ соглашеніе мозаизма съ разумомъ. Онъ, также какъ и Аверроэсъ, далеко опережаетъ современниковъ своими смѣлыми воззрѣніями и, также какъ и тотъ, нуждается во всей своей ортодоксіи, чтобы не поддаться послѣднимъ ихъ выводамъ. Этимъ-же путемъ старается онъ согласить и свободную волю съ провидѣніемъ. Переходя къ собственно такъ называемой схоластикѣ, т. е. христіанской, трудно сказать, съ какого времени надобно считать ея начало. Еще св. Августинъ положилъ начало одному изъ самыхъ животрепетавшихъ ея вопросовъ, утверждая сначала безусловность свободы воли, а впослѣдствіи склонившись къ теоріи благодати. Но такъ какъ это есть вопросъ все-таки частный, то обыкновенно считаютъ основаніе схоластики съ Алкуина и Іоанна Скотта Эригена. Съ этихъ только поръ поставлена была, и теперь уже на долго, общая задача о соглашеніи вѣры съ разумомъ, задача, сдѣлавшая изъ философіи, по освященному тогда выраженію, *ancillam theologiae*, т. е. философію чисто-религіозную. Всѣ усилія этой философіи были употреблены не только на доказательства разумомъ такихъ предметовъ, какъ единобожіе, тринность и вообще всѣ догматы и таинства христіанства, но даже и такихъ, какъ, напримѣръ, вопросы: почему Ева извлечена была изъ ребра, а не изъ какой либо другой части тѣла Адама? если мышь съѣдаетъ часть гостіи, съѣдаетъ-ли она и то, что пресуществлено въ ней? и т. п. Въ числѣ наиболѣе приобрѣвшихъ знаменитость на этомъ поприщѣ стоитъ прежде всего Ансельмъ Аостскій, стяжавшій славу своимъ доказательствомъ бытія божія, которое, подъ названіемъ онтологическаго, долго съ этихъ поръ не переставало удивлять схоластиковъ, и такъ удовлетворяло самого Декарта, что съ него онъ начинаетъ и всю свою философію. Это

доказательство есть слѣдующее: Богъ существуетъ уже по одному тому, что человѣкъ мыслить его. Лейбницъ перефразировалъ вполнѣ слѣдствіи этотъ силлогизмъ такъ: Богъ существуетъ уже потому, что онъ возможенъ, и что ничто не противорѣчитъ дѣйствительности его. Другой вопросъ, долго волновавшій средневѣковый міръ, былъ вопросъ номинализма и реализма. Если существованіе нашихъ идей есть только номинальное, а не реальное, то въ приложеніи къ религіи это ведетъ къ самымъ гетеродоксальнымъ выводамъ, къ какимъ пришолъ Росцелинъ, сводившій триничность божества къ одному имени, и за то осужденный на соассонскомъ соборѣ. Гораздо ортодоксальнѣе поэтому представлялся реализмъ, который, въ лицѣ противника Росцелина—Вильгельма де-Шампо, утверждалъ, что наши общіе терминны не суть только простыя собирательныя названія, даваемые нами извѣстнымъ классамъ явленій, но собственныя имена самой сущности этихъ классовъ и этихъ явленій, независимой ни отъ ума, ни отъ явленій, но предшествующей и тому и другому. Споры на эту тему продолжались нѣсколько столѣтій. И напрасно такіе умы, какъ Пьерръ Абеляръ, старались примирить ихъ, не становясь ни на ту, ни на другую сторону, и приписывая идеямъ реальность, но только въ самомъ умѣ, а не внѣ его: всякое примиреніе склывалось или на ту, или на другую сторону, какъ почувствовалъ это на себѣ и Абеляръ, сведенный на того же Росцелина и постигнутый тою же участью. Еще разъ возобновилась та же полемика между томистами и скоттистами, осложняясь на этотъ разъ вопросомъ о свободной волѣ и благодати; еще разъ попытка примиренія, предпринятая Вильгельмомъ д'Окамъ, оказалась также безплодною, какъ и попытка Абеляра; и мы стоимъ на порогѣ новаго времени, гдѣ вопросъ о свободѣ и благодати переходитъ въ руки Эразма и Лютера, изъ философіи переходитъ въ жизнь. Въ новой исторіи философія хотя и продолжается, но уже не религіозна. Правда, есть здѣсь признаки и религіозной, какъ напримѣръ, въ пантеизмѣ Джіордано Бруно или Кампанеллы; но ни тотъ, ни другой не даютъ тона всей философіи, и тотъ, и другой остаются на второмъ планѣ. Если же всю вообще религіозную философію новыхъ народовъ сравнить съ такою же индусскою, то первая окажется, конечно, насыщенною *теизмомъ*. Теизмъ не только прежде всякой иной системы воспроизведенъ здѣсь, но и дольше всѣхъ держится, а всѣ другія проникаетъ собою до того,

что оказывается формально признаваемымъ даже въ такой философіи, какъ Аверроэса. Въ наши же времена это есть самое ходячее изъ вѣрованій. Революція французская, не смотря на весь свой радикализмъ, должна была, однакожь, объявить дѣйствительнымъ бытіе Бога и безсмертіе души. Масонскій орденъ, не смотря на всю свою толерантность и весь космополитизмъ, не допускаетъ, однакожь, въ себя людей, не признающихъ этихъ двухъ положеній религіозной философіи. Вообще теизмъ или, пожалуй, деизмъ отождествился съ европейскимъ міровоззрѣніемъ на столько же, какъ пантеизмъ съ азіатскимъ.—Остается вопросъ о религіозной философіи будущаго. Возможна она или невозможна? и если возможна, то какая?.. Но съ рѣшеніемъ этого вопроса подождемъ, впредь до окончанія фактической исторіи цивилизаціи.

Каково бы ни было направленіе религіозной философіи, но значеніе ея вездѣ и всегда состоитъ въ томъ, что она каждый разъ успѣваетъ перенести сознаніе изъ чисто-религіозной складки въ чисто-философскую, въ такъ называемую метафизику. Метафизика есть философія по преимуществу, есть философія, такъ сказать, философская. Такъ было съ индійской схоластикой, которая предварила греческую метафизику; такъ было и со схоластикой средневѣковой, приготовившею новую метафизику. Какъ метафизика политеизма, такъ и метафизика монотеизма равно были бы невозможны безъ соотвѣтственной схоластики. Этотъ второй фазисъ философіи отличается отъ перваго на столько же, на сколько первый отличенъ отъ положительной религіи. Чѣмъ въ схоластикѣ является божество, тѣмъ въ метафизикѣ сущность вещей. Тамъ центромъ всего мышленія остается начало сверхъестественное, здѣсь имъ дѣлается начало естественное. Метаморфоза эта глубоко коренится уже въ предыдущей, и исходитъ изъ нея съ такою нечувствительностью и неуловимостью, что часто невозможно рѣшить, что такое передъ нами: схоластика или метафизика. Первѣйшіе признаки метафизичности современны еще самой тождественности философіи и религіи, современны фетишизму. Уже въ Китаѣ, какъ мы видѣли, такую метафизическую сущность представлялись, съ одной стороны, земля и небо, а съ другой—число, то парное, то не парное. Изъ первыхъ производилось все существующее какъ матерія, изъ вторыхъ—какъ форма. Религіозная философія Индіи еще чаще и еще больше переходитъ въ метафизическую. Она переходитъ сюда каж-

дый разъ, какъ только отъ божества спускается въ міръ или отъ міра восходитъ къ божеству. На этой дорогѣ она сама уже безпрестанно созидаетъ сущности, но только относительныя, а не безусловныя, производныя, а не производящія. Такими являются, на примѣръ, число, какъ источникъ формы всѣхъ вещей, душа и ея оболочки, душа индивидуальная въ сравненіи со всеобщей, шесть категорій, двадцать пять принциповъ и т. п. Словомъ, всѣ отвлеченія человѣческой мысли, всѣ обобщенія наблюдательности возводятся въ новыя существа, и при томъ такія, которыя составляютъ самую сущность дѣйствительно существующихъ, высшую будто бы, чѣмъ они и предшествующую имъ. А отсюда остается, конечно, не болѣе, какъ одинъ шагъ до того, чтобы и на самое первое мѣсто поставить также какую либо наиболѣе всеобъемлющую сущность, въ условнымъ прибавить безусловную, и такимъ образомъ конкретное божество вѣры и религіозной философіи смѣнить абстрактнымъ божествомъ метафизики. Такимъ же образомъ творились подчиненныя сущности и въ средневѣковой схоластикѣ, гдѣ не только имена, какъ существительныя, такъ и прилагательныя, не только глаголы возводились въ объективныя бытія, но даже мѣстоименія и самыя нарѣчія, какъ на примѣръ, у Дунса Скотта *quidditas*, *haecceitas*, *ubitas*. Благодаря всему этому, между схоластикою всѣхъ временъ и метафизикою тѣхъ же временъ нѣтъ ни малѣйшаго скачка, никакой пропасти, которую бы надо было перешагнуть. Все дѣло и здѣсь, какъ вездѣ, только въ относительномъ развитіи той или другой, только въ преимущественномъ развитіи одной на счетъ другой. Такое-то преимущественно-метафизическое, и совсѣмъ уже независимое отъ религіи, развитіе и встрѣчается впервые въ философіи Греціи. Но и при этомъ Греція, въ одномъ отношеніи, служить лишь окончательнымъ завершеніемъ предыдущаго, а не началомъ послѣдующаго, а именно въ отношеніи философіи числъ. Греческій Пифагоръ есть только полнѣйшій завершитель тѣхъ математическихъ умозрѣній, которыя начались еще въ религіи—вопросомъ о числѣ божествъ, продолжались въ религіозной философіи, какъ въ И-кингъ и въ Санкיא, а въ пифагорійской метафизикѣ разъ на всегда только закончились, такъ что съ тѣхъ поръ и не повторялись болѣе нигдѣ. Въ этомъ полномъ своемъ развитіи философія числа представилась въ слѣдующемъ видѣ. Началомъ всѣхъ вещей, и при томъ не по формѣ, а, напротивъ, по содержанію, есть не божество какое нибудь,

не что нибудь конкретное или сверхъестественное, а только известная всеобщая сущность, нѣчто абстрактное и вполне естественное, а именно—число. Весь міръ, всѣ вещи происходят не изъ чего другого, какъ изъ числа. Всякое возникновеніе и всякое исчезновеніе объясняются лишь комбинаціями чиселъ, пропорціями, мѣрою, отношеніями. Числа тождественны, съ одной стороны, съ законами вселенной, а съ другой—съ разумѣніемъ человѣческимъ; а потому они и суть душа міра. Ничто другое не можетъ объяснить пропасть между единствомъ и множественностью вещей; одно только число вполне ее восполняетъ, потому что оно само въ одно и тоже время и единственно, и множественно, при чемъ множественность весьма естественно происходитъ изъ единицы, безпрестанно возвращающейся на самое себя. Такимъ образомъ, если число есть начало вещей, то началомъ самого числа есть единица. Есть числа совершенныя и несовершенныя: таковы всѣ нечетныя и всѣ четныя; совершеннѣе всѣхъ единица, но полнѣе всѣхъ декада. Все благо, вся красота, вся справедливость происходятъ отъ гармоніи чиселъ; все зло, все дурное, все неправое—отъ дисгармоніи ихъ. Какъ вся матерія истолковывается посредствомъ числа, такъ всякая форма—посредствомъ фигуры. Земля въ этомъ смыслѣ есть кубъ, огонь—тетраэдръ, воздухъ—октаэдръ, вода—икосаэдръ, а вся вселенная есть непременно шаръ, потому что только эта фигура вмѣщаетъ въ себѣ всѣ многогранники. Къ понятію о землѣ, какъ болѣе или менѣе округленномъ тѣлѣ, пифагорейцы присовокупляли понятіе о движеніи земли, которое, чтобы быть совершеннымъ, не можетъ быть инымъ, какъ круговое. Это круговое движеніе совершается вокругъ какого-то огня, помѣщенного въ центрѣ всего міра; но движеніе это есть не годовичное, а лишь суточное, и огонь этотъ есть не солнце, а какой-то невидимый для насъ, потому что наше полушаріе всегда отвернуто отъ него во внѣшнюю сторону орбиты. Самое же солнце, луна и пять планетъ обращаются или вокругъ земли или вокругъ того же центрального огня, вмѣстѣ съ землею, и проч. т. п. Все такое направленіе умозрѣній чѣмъ дальше, тѣмъ больше утрачивается даже въ самой Греціи; а въ метафизикѣ монотеистической оно и совсѣмъ уже не возобновляется. Такимъ образомъ, наиранише отжившею изъ всѣхъ метафизикъ была математическая.—Гораздо продолжительнѣе было властвованіе метафизики физической, отъ которой эта философія получила и названіе свое: физики было мало для

философін, надо было мета-физику. Въ физической метафизикѣ въ абсолютныя сущности міра возводится уже не сущность пространства и времени, какъ выше, а сущности другихъ порядковъ, какъ напримѣръ: покоя и движенія, матеріи и силы, бытія и жизни. Началось, какъ извѣстно, съ сущностей матеріи, покоя, бытія, которыми объяснялись и всѣ явленія силы, движенія, жизни. Греческая метафизика поочередно возвела въ такіе абсолюты всѣ тѣ вещества, какія представлялись ей первичными, элементарными, стихійными. Θαเลสъ возвелъ въ безусловную сущность воду. При томъ состояніи наблюденій надъ природою, какое было ему доступно, весьма было не мудро притти къ заключенію, что всѣ вещи образуются изъ воды. Онъ видѣлъ, что вещи бываютъ или твердыя, или жидкія, или газообразныя. Стоило, слѣдовательно, взять только среднее состояніе, чтобы объяснить оба крайнія. И онъ дѣйствительно объяснилъ происхожденіе всѣхъ вещей то разжиженіемъ воды, то сгущеніемъ и уплотненіемъ ея. Анаксимандръ увидѣлъ такое же первоначало въ хаосѣ, въ смѣшеніи всѣхъ стихій. А происхожденіе изъ него вещей онъ объяснялъ разложеніемъ этого хаоса. Самое же разложеніе считалъ онъ послѣдствіемъ присущаго всякой матеріи движенія. Для Анаксимена абсолютною матеріальностью сдѣлался воздухъ, а способомъ возникновенія и прехожденія вещей—сгущеніе и разрѣженіе этой стихіи. По Гераклиту безусловною сущностью міра есть огонь. Міръ, всегда самовозжигающійся и самопотухающій, всегда былъ, есть и будетъ, не сотворимый ни богами, ни людьми. Возникновеніе и изчезаніе вещей есть естественное послѣдствіе этого самовозжиганія и самоугасанія. Не достаетъ, такимъ образомъ, одной только стихіи,—земли, какъ основанія новой философской школы; но такая утрата нѣкоторыхъ звеньевъ цѣпи есть обычное явленіе всѣхъ міровыхъ эволюцій, какъ показываетъ это общая біологія. Въ данномъ случаѣ такой недочетъ могъ произойти или просто отъ забвенія того философа, который остановился на этой точкѣ зрѣнія, или же и отъ того, что ни одинъ изъ нихъ на ней не останавливался по той, быть можетъ, причинѣ, что такое объясненіе преподаваемо было уже религіею, въ образѣ Геи, и потому не приличествовало свободной философії. Какъ бы то ни было, но Эмпедоклъ призналъ всѣ вообще четыре стихіи равно первичными, а всѣ вещи не чѣмъ инымъ, какъ соединеніемъ и раздѣленіемъ стихій. Нѣтъ ни рожденія, ни смерти, а есть только

соединеніе и раздѣленіе элементовъ. Приводить же ихъ въ соединеніе любовь, дружба, притяженіе, какъ, наоборотъ, въ раздѣленіе приводитъ ненависть, вражда, отталкиваніе. Демокриту и самыя стихіи, какъ всѣ вообще, такъ и каждая въ частности, показались неизмѣнными характера первичности, и потому онъ предположилъ нѣчто еще болѣе простое и болѣе тонкое, изъ чего слагаются и самыя стихіи, а именно такъ названные имъ атомы, недѣлимости, крайніе предѣлы дѣленія. Эти безчисленные и микроскопическіе первоэлементы, невѣсомые и безкачественные, образуютъ изъ себя всѣ вещи, и образуютъ ихъ единственно посредствомъ разнообразныхъ сочетаній своихъ, своего положенія, своей конфигураціи. Побужденіе же къ этимъ самосочетаніямъ отыскивается Демокритомъ въ необходимости, въ судьбѣ, другими словами, въ свойствахъ, присущихъ самимъ атомамъ. У Анаксгора атомы замѣнены гомойомеріями, т. е. не всеобщими, безкачественными или всекачественными недѣлимостями, а частными, особыми для каждаго предмета и разряда предметовъ. Соединеніе ихъ, посредствомъ притяженія, есть образованіе предметовъ, движеніе, жизнь; раздѣленіе ихъ, посредствомъ отталкиванія, есть исчезновеніе, покой, смерть. Но самое побужденіе къ притяженію и отталкиванію есть не случай, не судьба, не необходимость, но нѣчто совершенно иное, а именно *νοῦς*, т. е. умъ, и умъ опять не частный, подобный человѣческому, а всеобщій, превосходящій ихъ всѣ. Съ этихъ поръ метафизика греческая начинаетъ переходить совсѣмъ въ иные абсолюты, въ иное, совершенно противоположное направленіе мысленія. До сихъ поръ во всѣхъ противоположностяхъ покоя и движенія, матеріи и силы, бытія и жизни она давала предпочтеніе началамъ матеріи, покоя, бытія, что и составляетъ такъ называемый матеріализмъ въ метафизикѣ; отнынѣ она начинаетъ предоставлять преимущество идеямъ силы, движенія, жизни, что и образуетъ собою метафизическій спиритуализмъ. Открываетъ это новое зрѣлище ученикъ Анаксгора, Сократъ. Правда, еще и раньше оно шевелилось въ умахъ, какъ напримѣръ въ умѣ Ксенофана, Парменида, Эвклида мегарскаго, подъ именемъ то шарообразнаго, то единого, то благого; но полное выраженіе свое направленіе это нашло только въ Сократѣ. Сократъ изъ Анаксгоровскаго *νοῦς*, который стоялъ еще въ равновѣсіи съ гомойомеріями, сдѣлалъ нѣчто перевѣшивающее матерію, возвелъ его въ верховную сущность міра, и тѣмъ открылъ

поприше спиритуализму. Умъ управляетъ міромъ, какъ душа тѣломъ. Вещество, тѣло—суть начала подчиненныя, а началомъ верховнымъ можетъ быть только сила, душа. Коль скоро такой принципъ восторжествовалъ въ источникахъ міра, въ началѣ его; то онъ же долженъ былъ восторжествовать и въ концѣ его: отсюда безсмертіе души, какъ частицы божества, и возвращеніе ея къ своему источнику. Вотъ причина колоссальной репутаціи Сократа между будущими монотенстами. Едва Сократъ поставилъ метафизику на эту новую ногу, какъ ученикъ его Платонъ поспѣшилъ углубиться въ эту новую почву: отсюда отмѣна его метафизики отъ Сократовской. Та брала лишь противоположность между объективною природою и субъективною, подчиняя первую послѣдней; эта приняла на видъ противоположности самой субъективной природы, противоположность между опытомъ и умозрѣніемъ, между чувствомъ и разумомъ, между впечатлѣніями вещей и идеями, и всѣ первыя изъ нихъ подчинила всѣмъ вторымъ. Такимъ образомъ въ средѣ самаго спиритуализма развернулись новыя почвы въ видѣ спекулятивизма, рационализма и идеализма, которые представились теперь гораздо болѣе абсолютными, чѣмъ эмпиризмъ, сенсуализмъ и реализмъ. Все это выразилось въ слѣдующихъ положеніяхъ Платона. Абсолютное бытіе принадлежитъ лишь идеямъ о вещахъ, а не самимъ вещамъ, и вверху ихъ всѣхъ идеѣй идей, верховной идеѣ послѣднему изъ всѣхъ обобщеній. Ею, этою идеею идей, созданы и всѣ частныя идеи, въ томъ числѣ и идея души. А по нимъ, по этимъ прототипамъ вещей, созданы и самыя вещи, въ числѣ коихъ и дѣйствительная, индивидуальная душа. Такимъ образомъ душа человѣческая не только безсмертна или безконечна, но также и безначальна, ибо идея, предшествующая ей, вѣчна. Потому-то душа и способна къ такимъ познаніямъ, какія не могли быть внушены ей никакимъ опытомъ: познаніе это есть воспоминаніе о прежнемъ существованіи своемъ, это—идеи прирожденные. По смерти тѣла, душа, если была рабыней его, т. е. рабыней чувственности, ниспадаетъ ниже, а именно сперва въ женщину, потомъ въ животное и т. д. до тѣхъ поръ, пока не очистится. И только тогда, когда начнетъ возвышаться надъ страстями, начинается и обратное восхожденіе ея до тѣхъ поръ, пока она не достигнетъ туда, откуда пришла—въ надзвѣздный міръ. Платономъ, собственно говоря, оканчиваются оба метафизическія направленія, потому что оба изчер-

пываются воплѣ. Другія школы, каковы, съ одной стороны, софисты, а съ другой киренайская и киническая, эпикурейская и стоическая, ограничиваются только одною изъ сторонъ субъективной природы, умственной или нравственной, и только прилагаютъ къ этой излюбленной ими сторонѣ то или другое изъ двухъ первыхъ направленій, не созидая никакого третьяго, новаго. Одни предоставляютъ перевѣсъ чувству, опыту, впечатлѣніямъ, другія—идеѣ, разуму, умозрѣнію, и, смотря потому, созидаютъ такую или иную логическую и этическую метафизику.—Если же есть дѣйствительно третье направленіе ея, то его можно искать только въ Аристотелѣ. Но это направленіе таково, что оно становится посредникѣ между обоими первыми, почему и называется оно дуализмомъ. До сихъ поръ метафизика жила духомъ монизма: какое бы то ни было начало, матеріальное или спиритуальное, но ей необходимо было одно, единственное; теперь же философія начинаетъ признавать ихъ два, признавать оба, и тѣмъ приближаетъ умъ къ тому новому углу зрѣнія, который впослѣдствіи назовется научнымъ. Такова именно есть философія Аристотеля. Не находя причинъ предоставлять абсолютный перевѣсъ ни матеріализму со всею его свитою, ни спиритуализму съ такимъ же corteжемъ, онъ попробовалъ допустить ихъ оба и тѣмъ, по мѣрѣ возможности, помирить ихъ. У Аристотеля, собственно говоря, четыре первыхъ причины, четыре причины причинъ; но такъ какъ всѣ онѣ легко сводятся, въ свою очередь, къ двумъ, то метафизика его и считается дуалистическою. Для насъ же достаточно того, что она, во всякомъ случаѣ, не гонится уже за единствомъ, не есть монизмъ. Все, что не есть монизмъ, есть уже, по крайней мѣрѣ, дуализмъ. Эти первоначала Аристотеля суть: матерія, форма, причина и цѣль. Т. е. если число этихъ абсолютностей не есть чисто-метафизическое, то за то чисто-метафизичны свойства ихъ: извѣстныя апостеріорическія обобщенія человѣческой мысли возведены здѣсь въ независимыя отъ міра, апріорическія бытія. Первая изъ четырехъ верховныхъ сущностей вещей—матерія, не сотворена и существуетъ отъ вѣка; равно также вѣчна и также никѣмъ не создана и форма. Безъ матеріи самое даже существованіе формы немыслимо; а безъ формы была бы только возможность матеріи, а не самая матерія. Обѣ онѣ такъ неотдѣлимы другъ отъ друга, какъ впечатлѣніе отъ воска и воскъ отъ впечатлѣнія. Матерія дѣлается вещью, только получивши

форму; форма становится бытіемъ, только напечатлѣвшимся въ матеріи. Остается теперь найти импульсъ, вслѣдствіе котораго форма напечатлѣвается матеріи, а матерія воспринимаетъ форму. Импульсомъ этимъ есть, конечно, движеніе; но кто же именно движетъ, и что движется? Движимое есть сама матерія, а движущее есть сама форма, которая и становится такимъ образомъ причиною движенія, этимъ знаменитымъ неподвижнымъ двигателемъ или первымъ двигателемъ. Но такъ какъ та же форма составляетъ собою и духовный образъ предмета, носить въ себѣ все то, чѣмъ предметъ долженъ быть, долженъ сдѣлаться, то она же составляетъ собою и конечную цѣль его. Такимъ образомъ, форма, не переставая быть формой, и даже потому именно, что она форма, дѣлается, вмѣстѣ съ тѣмъ, и начальною причиною, и конечною цѣлью движенія. Это—энтелехія матеріи. Все это Аристотель объясняетъ на примѣрѣ художника. Мраморъ, пока къ нему не прикоснулись, есть безобразная матерія, не имѣющая никакого значенія безъ формы; одна только форма можетъ сообщить ему жизнь, сдѣлать его статуей. Форма же, зародившись въ душѣ художника, есть, съ одной стороны, причина слѣдующаго движенія, работы, превращенія матеріи въ образъ, а съ другой стороны есть и конечная цѣль, къ осуществленію которой стремится движеніе. Въ концѣ концовъ, значить, все сводится къ причинѣ матерьяльной и къ причинѣ формальной, при чемъ формальная причина разлагается на двое: на причину начальную и причину конечную, на причину движенія и причину цѣлесообразности. Вотъ то примиреніе матеріи и силы, вещества и духа, матеріализма и спиритуализма, какое находимъ у Аристотеля. Матеріализмъ можетъ извлекать изъ него свои послѣдствія, а спиритуализмъ свои, какъ это и дѣлали всѣ монотеисты во времена своей схоластики. Дуализмомъ всякая метафизичность произноситъ себѣ смертный приговоръ, потому что ведетъ къ триничности, къ четверичности, и вообще ко множественности началъ; а это составляетъ уже совсѣмъ иной, новый, не метафизичный складъ знанія и мышленія. И дѣйствительно, греческая, древняя метафизика отнынѣ исчерпана вся, и если возобновляется съ новой энергіей и надеждой, то только въ новыя времена. А если подвести итогъ всей древней метафизичности, если отдать отчетъ въ преобладавшемъ въ ней направленіи, то окажется, что такимъ выживавшимъ надъ другими міросозерцаніемъ былъ, конечно, ма-

теріалізмъ, со всіми своими спутниками, каковы: *емпіризмъ*, *сенсуализмъ*, *реализмъ*. Противоположное направлєніе удовлетворилось, собственно говоря, однимъ Платономъ. Но какъ Аристотель не дѣлаетъ всю греческую философію дуалистическою, такъ Платонъ не дѣлаетъ ее идеальною. Вся же остальная и вмѣстѣ популярнѣйшая философія была и матеріалистическою, и эмпирическою, и сенсуалистическою, и реалистическою. Исторія новой метафизики представляетъ, повидимому, повтореніе древней: направлєнія опять тѣ же, и даже въ той же постепенности: опять тотъ же матеріализмъ, тотъ же спиритуализмъ и тотъ же дуализмъ; но разница въ томъ, что взаимныя пропорціи ихъ иныя. Матеріализмъ новой метафизики выпалъ на долю лишь наименѣ философскихъ народовъ Европы, а именно Англіи и Франціи. Если этотъ матеріализмъ чѣмъ нибудь отличается отъ древняго, то развѣ тѣмъ, что сосредоточивается въ особенности не на объективной природѣ, какъ тотъ, а на субъективной, на сущностяхъ познанія въ различныхъ его фазахъ. Тотъ былъ увлекаемъ весь противоположностями покоя и движенія, вещества и духа, бытія и жизни; этотъ весь поглощается противоположностями опыта и умозрѣнія, чувства и разума, впечатлѣній и идей. Первымъ въ ряду такихъ квалицированныхъ матеріалистовъ стоитъ Френсисъ Бэконъ. Онъ возводитъ въ абсолютъ принципъ опыта, а этимъ полагаетъ основаніе новому эмпиризму. Однажды же поставивъ метафизику на такую точку зрѣнія, онъ извлекаетъ изъ нея уже всѣ ея послѣдствія. Главнѣйшимъ изъ такихъ послѣдствій есть предпочтеніе опытнаго метода выводному, индуктивнаго дедуктивному, и абсолютизація перваго на счетъ послѣдняго. Отсюда спеціальнѣйшій разборъ всего процесса индукціи, составляющій до сихъ поръ неотъемлемую славу Бэкона. Отсюда и раздѣленіе наукъ, какъ продукта метода, по тремъ способностямъ ума, производящимъ ихъ: памяти, воображенію и разсудку. Отсюда же и проскрипція всей предыдущей метафизики, всего выводного мышленія, всякаго умозрѣнія, какъ ничтожнаго и ни къ чему не ведущаго, какъ неспособнаго приводить ни къ какому дѣйствительному, положительному знанію. Другимъ такимъ же метафизикомъ былъ Гоббсезъ. Бэконъ имѣлъ въ виду только самые процессы познавательные и выбиралъ только между ними; вопросъ же объ абсолютной способности познанія, о безусловномъ источникѣ знаній, остался у него открытымъ. Выборъ его, конечно, не могъ бы быть сомнительнымъ, еслибъ

онъ его сдѣлалъ; но лично онъ такого выбора вовсе не предпринималъ, и его сдѣлалъ за него Гоббесъ. Выборъ Гоббеса палъ на чувство, на способность воспріятія, на источникъ впечатлѣній. Чувство, а не разумъ, есть абсолютно познавательная способность; всѣ прочія силы души строятся уже на этой; а потому-то она и есть первичная, независимѣйшая, безусловнѣйшая. Словомъ, это такъ называемый сенсуализмъ. Послѣдствія этой точки зрѣнія ясны сами собою. Ощущеніе предмета, переданное мозгу, производитъ въ немъ извѣстный образъ, извѣстное впечатлѣніе; накопленіе этихъ образовъ и впечатлѣній производитъ память, воображеніе; память и воображеніе, сравнивая свои образы, даютъ въ результатъ разсудокъ; а разсудкомъ и ограничиваются всѣ наши способности познанія. Съ другой стороны, ощущеніе производитъ въ насъ или удовольствіе или страданіе; то и другое, отосланное мозгомъ въ сердце (по выраженію Гоббеса), даетъ тамъ мѣсто собственно такъ называемымъ чувствамъ, т. е. страстямъ, со всѣмъ ихъ кортежемъ идей нравственныхъ. Когда же одновременно испытываются чувства противоположныя, удовольствіе и страданіе, желаніе и отвращеніе, тогда представляется вопросъ, такъ называемаго, свободного нравственного выбора. И когда одно изъ борющихся чувствъ побѣдитъ, то это называется волею. И если, вслѣдъ за образованіемъ воли, имѣется возможность исполненія, т. е. не имѣется внѣшнихъ препятствій къ тому,—воля представляется намъ свободною. Такова логика, эстетика и этика Гоббеса. Само собою разумѣется, что съ такой точки зрѣнія, если бы она перенеслась на объективный міръ и была послѣдовательна, какъ это и случилось у Гоббеса, получился бы въ заключеніе и общій матеріализмъ. И дѣйствительно, по Гоббесу не существуетъ ничего, кромѣ тѣлъ и ихъ превращеній. Пространство и время суть только наши способы представлять себѣ предметы, мыслить ихъ: одно—способъ мыслить ихъ въ сосуществованіи, другое—способъ мыслить въ послѣдовательности. Оба суть представленія чисто-субъективныя и вполнѣ относительныя. Вся вообще внѣшняя природа есть не что иное, какъ рядъ движеній, отраженныхъ въ насъ и переведенныхъ ощущеніемъ на языкъ образовъ и впечатлѣній. Третій типъ субъективно-матеріалистической метафизики представляется въ Локкѣ. Послѣ способовъ и источниковъ познанія оставалось взвѣсить самые продукты его; оставалась противоположность ощущеній и идей или, что то же, идей

приобрѣтенныхъ и врожденныхъ, частныхъ и всеобщихъ, посредственныхъ и непосредственныхъ, факультативныхъ и необходимыхъ. Локкѣ возвышаетъ въ абсолютность каждый первый принципъ, а не каждый второй, чѣмъ и провозглашаетъ реализмъ, а не идеализмъ. По этой метафизикѣ, врожденныхъ идей нѣтъ и есть только приобретенныя. Всѣ наши идеи, безъ исключенія, суть послѣдствие отвлеченій отъ предметовъ. У дитяти, у дикаря, у идіота, гдѣ нѣтъ способности отвлеченій, нѣтъ и никакихъ идей. Душа ихъ всѣхъ есть *tabula rasa*, гдѣ только опытъ, впечатлѣніе и способность отвлеченій могутъ начать вписывать идеи. Самыя аксіомы математическія не врождены, а лишь подсказаны очевиднымъ опытомъ. Идеа безпредѣльности также не прирожденная; но, получивши, посредствомъ наблюденія, представленіе объ извѣстной величинѣ, напри- мѣръ, величинѣ яблока, ноги, локтя, мы наращаемъ эту величину на самое себя до тѣхъ поръ, пока не получимъ идею величины, ускользающей отъ счета и измѣренія, которая и есть наша идея безпредѣльнаго, безграничнаго. Тоже самое и съ идеей вѣчности, безконечности, которая также основана на представленіяхъ времени, какъ та—на представленіи пространства. Безконечно малыя и безконечно великія числа математики суть такія же нарощенія идей опредѣленнаго числа. Сверхъ всего этого нельзя разсматривать идеи въ отдѣльности отъ словъ, ихъ изображающихъ, отъ языка. Безъ словъ, безъ языка, всѣ идеи погибли бы; безъ нихъ, безъ него, никакая память не въ состояніи была бы удержать все разнообразіе впечатлѣній и держать ихъ всегда въ готовности предъ анализирующимъ ихъ разсудкомъ. Словомъ, безъ этого разумѣніе не могло бы выбиться изъ той зачаточной степени своей, на которой оно останавливается у животныхъ, лишенныхъ слова. А что такое есть слово, какъ не простой условный знакъ той или другой идеи и, при томъ, не всегда удачный? Слова, какъ и сами идеи, вовсе не проникаютъ въ сущность называемыхъ ими вещей, а довольствуются какимъ-либо однимъ качествомъ ея, да и то не всегда наиболѣе существеннымъ. Названія наилучше извѣстныхъ намъ тѣлъ суть не болѣе, какъ какая-нибудь единственная черточка изъ числа присущихъ этимъ тѣламъ. И вотъ только при помощи этого матеріала, который опять никому не прирожденъ и всѣми приобретається не легко, возможны и всѣ операціи съ идеями. Нѣмой есть тотъ же дикарь, то же дитя, тотъ же идіотъ. Съ другой стороны, цѣлая половина идей и словъ,

а именно всѣ бывшія послѣдствіемъ нашихъ обобщеній, вовсе даже не означаютъ собою какихъ-либо дѣйствительно существующихъ предметовъ, а обозначаютъ только наше распредѣленіе предметовъ, по признакамъ ихъ. Таковы всѣ наши виды, всѣ роды, всѣ категоріи; всѣ они никакого дѣйствительнаго существованія въ природѣ не имѣютъ. Здѣсь не мѣсто вдаваться въ тѣ непослѣдовательности и противорѣчія, какія случаются въ каждой индивидуальности, и которыя у Локка, при перенесеніи его точки зрѣнія на внѣшній міръ, произвели теизмъ, такъ или иначе, но пристраиваемый имъ къ своей системѣ. Мы имѣемъ дѣло только съ системами, а не съ лицами; система же эта есть именно то, что называется реализмомъ, хотя бы самъ авторъ ея и не остался вѣренъ всѣмъ естественнымъ ея спутникамъ. Что касается Франціи, то ея эмпиризмъ, сенсуализмъ и реализмъ были только переводомъ англійскихъ на французскій языкъ; и Кондильякъ, Вольтеръ, Дидро, Гольбахъ были лишь отличными пропагандистами англійскаго матеріализма на европейскомъ континентѣ.—Вся другая половина монотеистической метафизики, спиритуальная, спекулятивная, раціональная, идеальная, словомъ—весь платонизмъ достался на долю германскаго племени. И если германскій спиритуализмъ отличился чѣмъ-либо отъ греческаго, то развѣ лишь тѣмъ, что прилагался онъ не столько къ субъективной природѣ, какъ тотъ, сколько къ объективной. Декартомъ этотъ спиритуализмъ нельзя начинать. Поставляя во главѣ своей метафизики не ту либо другую абстрактную сущность, а конкретное божество, онъ есть скорѣе послѣдній схоластикъ, чѣмъ первый метафизикъ, по крайней мѣрѣ, въ философіи объекта. Въ этой философіи онъ, съ одной стороны, религіозный, съ другой—научный философъ, но не метафизикъ. Первымъ дѣйствительнымъ метафизикомъ этого рода былъ голландскій еврей Варухъ Спиноза. Этотъ блестящій и чисто-метафизическій умъ создалъ систему, которая долго казалась *pes plus ultra* философской изобрѣтательности и остроумія. Точкою отправленія, абсолютомъ въ этой системѣ есть, такъ названная Спинозою, субстанція. Она одна есть дѣйствительно существующее; все же, кажущееся существующимъ, составляетъ собою лишь или атрибуты, или же модусы субстанціи. Атрибутъ, по отношенію къ субстанціи, есть то, что, напримѣръ, жидкость или прозрачность—по отношенію къ водѣ. Модусъ же или аффектъ субстанціи есть то, что по отношенію къ водѣ—волны. Такихъ ат-

трибутовъ у абсолютной субстанціи, доступныхъ человѣческому уму, два: мышленіе и протяженность. Что касается отдѣльныхъ чувственныхъ предметовъ, то все это только модусы, аффекты субстанціи. Мышленіе и протяженіе, не смотря на различное и противоположное выраженіе ими своей субстанціи, въ сущности суть однакожь одно и то же. Кругъ мыслимый и кругъ протяженный все кругъ, и если они различаются, то лишь по точкѣ зрѣнія, съ которой ихъ рассматриваютъ. Протяженіе есть видимое мышленіе; а мышленіе—невидимая протяженность. Тоже и съ чувственными предметами. Всѣ они существуютъ вдвойнѣ: разъ—какъ протяженные, другой разъ—какъ воображенные. Такъ и тѣ модусы, которые представляются тѣломъ и душою, суть одно и то же; но однажды рассматриваемое подъ атрибутомъ протяженія, а другой разъ подъ атрибутомъ мышленія. Будучи преходящей волною субстанціи, они также и исчезаютъ, какъ волны. Все исчезаетъ, все мѣняется; остается вѣчнымъ и неизмѣннымъ одна субстанція, самая натура которой состоитъ въ необходимости развиваться въ безконечное множество атрибутовъ, безконечно видоизмѣняемыхъ модусами. Каждому модусу протяженія всегда соотвѣтствуетъ извѣстный модусъ мышленія. По этому—нѣтъ тѣлъ безъ души; все оживлено. Но модусамъ простѣйшимъ и грубѣйшимъ одного рода соотвѣтствуютъ такіе же другого рода. Повсюду въ этомъ существуетъ полнѣйшая необходимость, непререкаемый законъ. Самъ свободный произволъ человѣка представляется такимъ потому только, что остается неизвѣстною вся цѣль причинъ его. Система эта на цѣлое столѣтіе завязала уста спиритуальной метафизикѣ. Казалось, что невозможно было сказать ничего больше, нельзя было найти никакого иного рѣшенія по вопросу о примиреніи мировыхъ противоположностей въ одной изъ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ субстанція не совмѣщаетъ въ себѣ и протяженность, и мышленіе, и матеріализмъ, и спиритуализмъ? Одни находили, что система матеріалистична, другіе—что она спиритуалистична; одни упрекали ее въ томъ, что она ведетъ къ пантеизму, другіе—въ томъ, что она ведетъ, напротивъ, къ атеизму. Но самыя эти упреки показываютъ, до какой степени она представлялась всестороннею, всеобъединяющею и всеразрѣшающею. И все это произошло только потому что, вмѣсто того, чтобы ставить во главѣ метафизики ту или иную сущность, явно матеріальную или явно спиритуальную, какъ было до-нынѣ, Спиноза

поставилъ самое названіе той и другой, самое слово сущность—субстанція, тѣмъ и замаскировалъ какъ для себя, такъ и для другихъ отъявленный спиритуализмъ свой. Упрекали философа въ томъ еще, что онъ не объясняетъ способа происхожденія модусовъ изъ субстанціи; но въ самой точкѣ отправления не упрекали. Желая, однакожъ, снять съ системы и этотъ послѣдній упрекъ, необъяснимость происхожденія, Лейбницъ поставилъ себѣ задачей додѣлать систему. Какъ протяженность, такъ и мышленіе, т. е. оба атрибута субстанціи, наполнилъ онъ монадами. Монады суть единицы не только недѣлимыя, но даже непротяженныя, незанимающія никакого пространства, совершенно какъ математическія точки, которыя тѣмъ не менѣе опредѣляютъ безчисленное множество отношеній. Отъ гомойомерій Анаксагора монады отличаются своей простотой (тѣ были сложны); отъ атомовъ Демокрита—своей разнородностью (тѣ были однородны). Вотъ изъ этихъ-то монадъ мышленія и протяженія и образуются всѣ вещи посредствомъ соединенія; равнымъ образомъ на монады же и распадается всякое бытіе, посредствомъ раздѣленія. А толчокъ къ соединенію и раздѣленію монадъ Лейбницъ отыскиваетъ въ актѣ божественной воли. Въ такомъ видѣ, т. е. въ видѣ общаго спиритуализма, метафизика и оставалась до самого Канта. Кантъ, вмѣсто субстанціи вообще, субстанціи неквалифицированной, возвышаетъ въ абсолютъ субстанцію разума, называемую у него чистымъ или трансцендентальнымъ разумомъ, и тѣмъ открываетъ школу раціонализма. Подъ вліяніемъ современной англійской философіи, которая произвела на него глубокое впечатлѣніе и, какъ онъ выражается, пробудила его отъ догматическаго сна, Кантъ соглашается, что все, что превосходитъ предѣлы опыта, превосходитъ и предѣлы познанія: человекъ, который оставляетъ твердую почву опыта, чтобы вращаться въ океанѣ однихъ идей, похожъ на голубя, который изъ воздуха, дающаго точку опоры для его крыльевъ, ринулся бы въ пустоту, въ безвоздушное пространство. Но къ утвержденію этому Кантъ приходитъ своимъ собственнымъ раціоналистическимъ путемъ. Опытъ, во всякомъ случаѣ, даетъ уму только сырой матеріалъ; сообщать же форму этому матеріалу самъ онъ не въ состояніи: это есть дѣло, конечно, разума, безъ котораго и всякій эмпиризмъ остался бы бесплоднымъ. Такихъ апіорическихъ формъ или необходимыхъ категорій у разума четыре: количество, качество, отношеніе, способъ; каждая изъ нихъ подраз-

дѣлается еще на три, такъ что всѣхъ формъ или категорій двѣнадцать. Въ количествѣ—всецѣлость, множественность и единичность; въ качествѣ—утвержденіе, отрицаніе и ограниченіе; въ отношеніи—сущность, причинность и общность; въ способѣ—возможность, дѣйствительность, необходимость. Изъ этихъ формъ своихъ, соединяя тѣ или другія изъ нихъ, чистый разумъ выводитъ и три верховныя идеи свои: идею о своемъ я, идею о мірѣ, идею о богѣ, на которыхъ и основываются три философскія доктрины: трансцендентальная психологія, космологія и теологія. Но такъ какъ всѣ эти данныя даны не опытомъ, а самимъ разумомъ, то и дѣйствительность имѣютъ онѣ только въ немъ самомъ, а не внѣ его; реальность ихъ только идеальная. Доказывая это въ подробностяхъ, Кантъ опровергаетъ, между прочимъ, и всѣ возможные доказательства существованія божьяго, а въ томъ числѣ и то, какое до сихъ поръ сохраняло кредитъ, начиная съ Ансельма Аостскаго. Равнымъ образомъ понятія пространства и времени также не имѣютъ никакой реальной дѣйствительности, и имѣютъ только субъективную, какъ наши способы разсматривать вещи въ отношеніяхъ совмѣстности или послѣдовательности. Самыя, наконецъ, категоріи суть явленія разума, а не міра. Поэтому, сколько бы разумъ ни разрѣшалъ такія свои антиноміи, какъ напримѣръ: есть ли предѣлъ міра или нѣтъ? существуетъ ли только сложное или только простое? есть ли свободная причинность или же только невольная необходимость? есть ли нѣтъ бытіе абсолютно необходимое? и т. п.—всѣ эти рѣшенія не будутъ имѣть никакой достовѣрности внѣ самого разума. Во всѣхъ этихъ случаяхъ опытъ не можетъ ни подтвердить, ни опровергнуть ни тѣхъ, ни другихъ рѣшеній; а разумъ, напротивъ, можетъ поддерживать съ равною силою, какъ тѣ, такъ и другія, какъ тезу, такъ и антитезу. Во всѣхъ этихъ случаяхъ приходится впадать въ одну изъ двухъ ошибокъ: или феноменъ принимать за нуменъ, за вещь саму по себѣ, или же нумену приписывать бытіе объективное, котораго онъ не имѣетъ. Словомъ, весь спиритуализмъ и весь раціонализмъ, повидимому, рухнули у Канта, и при томъ подъ напоромъ самихъ себя, отъ собственныхъ рукъ своихъ. Какое было бы это торжество для матеріализма! Но они вновь возстановляются слѣдующимъ порядкомъ. Спекулятивный или теоретическій разумъ не весь еще разумъ. Кромѣ него, есть еще другой, практическій. Что первый есть въ отношеніи къ сознанію, то второй въ отношеніи къ

воли. Воля, какъ и вся та дѣятельность, которою она управляетъ, имѣетъ свои условія, свои законы. Условія эти апіоричны, независимы, всеобщы. Воля есть нѣчто неразложимое, самопроизвольное, безпричинное; это явленіе совсѣмъ особое въ мірѣ причинъ, то, что именно выдѣляется изъ окружающей роковой необходимости. А между тѣмъ, въ то же время, это есть явленіе, существующее не внутри только насъ, но и внѣ насъ; оно имѣетъ бытіе и идеальное, и реальное; оно имѣетъ реальность и субъективную, и объективную. Основаніе же воли, категорическій императивъ ея, есть идея долга, добродѣтели, самопожертвованія. Законъ нравственный самъ по себѣ уже включаетъ въ себѣ идею свободы, какъ свобода, въ свою очередь, доказываетъ существованіе закона нравственного. Одно есть постулатъ другого, и взаимно другъ друга доказываютъ. Если есть какой-нибудь долгъ, то есть и свобода выбора, если есть свобода, то долженъ быть и долгъ. Отсюда стремленіе къ совершенству нравственному, не имѣя возможности осуществиться въ текущей жизни, необходимо предполагаетъ будущую, безсмертіе души, какъ и наоборотъ: безсмертіе предполагаетъ самое стремленіе. Отсюда потребность въ верховномъ благѣ влечетъ за собою необходимость существа, способнаго удовлетворить потребность; и опять обратно. Отсюда запросъ на осуществленіе, по мѣрѣ возможности, добра нуждается въ средѣ, во внѣшнемъ мірѣ; и также vice versa. Словомъ, трансцендентальная психологія, теологія и космологія возсозданы. Согласно съ такою метафизикою, Кантъ, этотъ современникъ французской революціи, повелъ и всю остальную свою философію, повсюду провозглашая верховность разума и свободы. Дополнителемъ Канта служитъ Фихте, какъ Лейбницъ для Спинозы. Увлекаясь верховностью разума и воли, Фихте пришолъ къ заключенію, что собственно они одни только и существуютъ. Дѣйствительное существованіе принадлежитъ только нашему я, субъекту; все же остальное, все не—я, міръ, объектъ, не имѣетъ никакой реальности, какъ вещь сама по себѣ, какъ нуменъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ сознаніе наше знаетъ что-нибудь иное, кромѣ своихъ собственныхъ измѣненій? И такъ оно можетъ утверждать, можетъ убѣждаться только въ своемъ собственномъ существованіи, въ своей собственной жизни и судьбѣ, а не въ жизни и судьбѣ міра. Если міръ и существуетъ, то онъ существуетъ только, какъ объективное я; причемъ въ абсолютномъ своемъ видѣ это будетъ божество, а въ условномъ это бу-

детъ собственно такъ называемый міръ. Третья пара системъ образуется Шеллингомъ и Гегелемъ, пара идеалистическая, но съ тою разницею, что здѣсь дополнитель и ученикъ далеко оставилъ за собою дополняемаго имъ учителя. Что для Спинозы и Лейбница субстанція, что для Канта разумъ и воля, а для Фихте я, то для Шеллинга—тождество. Абсолютное есть тождество субъекта и объекта, я и не—я, духа и матеріи, идеальнаго и реальнаго, словомъ всего спиритуализма и всего матеріализма. Тождество это состоитъ въ безразличіи обѣихъ крайностей; въ немъ и міръ, въ немъ и человѣкъ: міръ—какъ твореніе абсолюта безсознательное, человѣкъ—какъ его твореніе сознательное. Какъ въ магнитѣ одинъ и тотъ же принципъ распадается на свой сѣверный и свой южный полюсы, центръ которыхъ есть безразличная точка, такъ абсолютъ есть центръ, есть безразличіе идеальнаго и реальнаго, спиритуальнаго и матеріальнаго, субъекта и объекта. Поэтому, чтобы изучить міръ, человѣку достаточно прислушиваться къ мысли своей: въ ней онъ найдетъ и его; въ субъектѣ найдетъ и объектъ. Словомъ, вмѣсто того, чтобы сдѣлать выборъ какой-нибудь опредѣленной абсолютности, Шеллингъ поставилъ самое понятіе о ней во главѣ своей философіи, подобно тому, какъ Спиноза, вмѣсто той или другой сущности, ставилъ самое понятіе о сущности. Отправляясь отъ той же самой исходной точки, Гегель, однакожь, снова специализируетъ ее, какъ Кантъ специализировалъ исходную точку Спинозы. Абсолютное вообще дѣлается у него идеей въ частности. Для Гегеля безусловною сущностью всѣхъ вещей есть идея. Но идея проходитъ въ своемъ міровомъ развитіи три различныя стадіи, три эволюціи. Во-первыхъ, есть идея сама въ себѣ; она предшествуетъ какъ бытію, такъ и небытію; это есть потенціальность всякаго возможнаго развитія, но не развитіе еще. Во-вторыхъ, есть идея, вышедшая изъ самой себя, осуществившаяся во виѣ, реализовавшаяся; это идея для себя; она производитъ собою природу. Природа есть не что иное, какъ та же идея, но въ инобытіи своемъ. Наконецъ есть идея, возвращающаяся изъ инобытія назадъ, къ самой себѣ, въ самое себя: это человѣческій духъ. Процессъ этотъ даетъ мѣсто тремъ знаніямъ: логикѣ, философіи природы и философіи духа. Логика, въ свою очередь, подраздѣляется на теорію бытія, по которой дѣлается превращается въ бытъ; теорію сущности, гдѣ разсматриваются основы существованія, бытія; и теорію понятія, которое, осуществившись, и становится наконецъ объектомъ,

вещью. Философія природы даетъ мѣсто механикѣ, физикѣ, физиологін. Философія духа обнимаетъ собою духъ субъективный, объективный и абсолютный. Субъективный духъ выражается душою, сознаниемъ, умомъ; объективный—правами, нравственностью, правомъ: въ семействѣ, въ обществѣ, въ государствахъ; абсолютный сказывается въ искусствѣ, въ религіи, въ философіи. Исторія философіи есть самое высшее знаніе, потому что въ ней обнаруживается все раскрытіе абсолютной идеи. Послѣ Гегеля не оставалось ничего больше, какъ вознести въ абсолютность другія двѣ частности человѣка, волю и чувство, что и сдѣлали Шоппенгауэръ — для воли и Гартманъ — для чувства. Первый абсолютизируетъ волю, какъ всеобщую сущность, которая дремлетъ въ скалѣ, просыпается въ растеніи и бодрствуетъ въ человѣкѣ. Второй абсолютизировалъ бессознательное, инстинктъ, какъ сущность и сознанія, и воли, какъ нѣчто простертое по всему міру, какъ нѣчто сверхъ-сознательное. Имъ объясняется и образованіе міровъ, и тяготѣніе, и жизнь растительная и животная, и организмъ, и рефлексивныя движенія, и чувство, и мысль, и всѣ вообще приспособленія всѣхъ средствъ ко всѣмъ цѣлямъ; все, кромѣ самого бессознательнаго. Но упадокъ умозрительности чувствуется уже и въ самомъ упадкѣ оригинальности, равно какъ и въ сравнительномъ упадкѣ философскихъ силъ ума. И дѣйствительно, въ то самое время, когда метафизическій монизмъ и самъ собою уже ослабѣвалъ въ Германіи,—во Франціи О. Контъ провозгласилъ его вовсе невозможнымъ, призналъ метафизическую проблему недоступною для человѣческаго ума, непознаваемою. Изъ сравненія обоихъ метафизическихъ направленій новаго времени, нельзя не вывести заключенія, что на этотъ разъ была выживающею нѣмецкая философія, а не англійская, т. е. выживалъ *стиригуализмъ* (а не противоположное направленіе, какъ въ древности) и съ нимъ, конечно, спекулятивизмъ, раціонализмъ и идеализмъ.— А изъ такого теченія двухъ метафизикъ, прошедшей и настоящей, трудно не предположить, куда должна склониться будущая, если только ей суждено когда-нибудь повториться. Но вопросъ этотъ будетъ рассмотрѣнъ въ своемъ особомъ мѣстѣ.

Метафизическою философіею не исчерпывается еще вся вообще философія. Если религіозной философіи принадлежитъ честь перенесенія человѣческой мысли изъ религіознаго кругозора въ философскій, то метафизикѣ принадлежитъ еще большая честь переноса

силь ее постоянно изъ философскаго въ научный. И такъ, надо прослѣдить этотъ третій потокъ философскихъ идей, всегда параллельный двумъ первымъ, прослѣдить философію научную. Подъ этимъ нѣсколько двусмысленнымъ названіемъ мы разумѣемъ не философію наукъ, а напротивъ философію, предшествоующую наукамъ, но лишь третирующую тѣ же самые вопросы, какіе усвоиваетъ себѣ потомъ наука. Какъ бы ни была велика метафизичность той или иной системы, но всякая изъ нихъ, рано или поздно, отъ своего метафизическаго центра переходитъ, однакомъ, и въ своей периферіи, къ явленіямъ. Гоняясь по преимуществу за началомъ и концомъ вещей, философія не можетъ, однакомъ, миновать и середины ихъ, этого теченія отъ начала къ концу. А это текущее состояніе вещей и явленій и становится потомъ достояніемъ науки. Безъ предварительныхъ пробъ метафизики надъ разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ, умъ человѣческій никогда не могъ бы получить и вкуса къ нимъ, а тѣмъ меньше могъ бы перейти къ рѣшеніямъ ихъ чисто-научнымъ. Безъ предварительной философской вѣры въ существованіе законовъ явленій невозможно было бы и приступать къ построенію точныхъ наукъ, вся душа которыхъ состоитъ въ идеѣ закона. И такъ, философія научная есть прямая посредница между метафизикою и наукою. Въ такомъ своемъ смыслѣ эта философія есть такая же древность, какъ и философія вообще. Научный матеріалъ есть въ ней не только по отдѣленіи философіи отъ религіи, но и прежде того, при синтезѣ ихъ. Такъ уже на востокѣ, а именно въ Китаѣ и въ Индіи, мы видимъ, напримѣръ, философію *числа*, т. е. такую, которая, не смотря ни на какую метафизичность свою, не можетъ не сопровождаться хотя бы то нѣкоторыми положительными знаніями о свойствахъ чиселъ. Что же касается самой поздней философіи этого рода, пифагорейзма, то она уже въ лицѣ самого основателя переходила изъ философіи въ науку числа и фигуры, какъ, напримѣръ, въ пифагоровой теоремѣ или въ музыкальной гаммѣ. А то, что въ собственномъ смыслѣ слова должно быть названо научною философіею числа, лучше всего высказалось въ слѣдующемъ воззрѣніи пифагорейца Филолая. Число присутствуетъ во всемъ, что намъ извѣстно. Безъ него невозможно ничего мыслить, ничего познавать. Безъ него невозможно объяснять ни самыя вещи, ни ихъ отношенія между собою. Во всѣхъ дѣйствіяхъ, во всѣхъ словахъ человѣка, во всѣхъ искус-

ствахъ, особенно же въ музыкѣ, обнаруживается всемогущество числа. Но, какъ выше уже замѣчено, пифагорейская школа была послѣднимъ опытомъ математической философіи, который съ тѣхъ поръ не повторялся болѣе. Математическое содержаніе очень скоро замѣнилось физическимъ, которое и стало исключительнымъ. Мы могли бы прослѣдить въ каждой, безъ исключенія, школѣ эту философію *природы*. Въ Фалесѣ мы могли бы указать на предсказаніе имъ солнечнаго затмѣнія, т. е. зачатки астрономіи. Также точно въ сложеніи и разложеніи, въ притяженіи и оттапливаніи Эмпедокла, не трудно было бы узнать первые очерки химіи и физики. Но, желая ограничиться только самыми яркими проявленіями научно-физической философіи, мы остановимся только на Аристотелѣ и Эпикурѣ. Создавши своего неподвижнаго двигателя, т. е. свою идею движенія въ своей метафизикѣ, Аристотель, въ своей научной философіи, продолжаетъ такъ. Необходимыми условіями всякаго движенія суть прежде всего пространство и время. Пространство мыслимо только тамъ, гдѣ есть движеніе, и есть только то, что во время этого движенія находится въ покоѣ. Время также немислимо безъ движенія, ибо само оно есть не что иное, какъ мѣра движенія по отношенію къ прежде и послѣ. На отношеніяхъ пространства и времени, выражаемыхъ числомъ, основанъ весь міровой порядокъ. (Вотъ философія, очевидно, математическая). Движеніе въ пространствѣ и времени бываетъ двоякое: одно—совершенное, никогда не прекращающееся и всегда возвращающееся на самого себя, словомъ круговое; другое—несовершенное, вверхъ и внизъ, вправо и влево. (Это философія механическая). Первое, круговое движеніе принадлежитъ міру, который шарообразенъ, и въ которомъ движеніе это происходитъ на периферіи; второе свойственно явленіямъ земнымъ, гдѣ все стремится или вверхъ—къ эфиру, или внизъ—къ центру земли. (Философія астрономическая). Первому изъ этихъ движеній соответствуетъ огонь, второму—земля. Посредствующіе элементы между этими двумя крайними суть воздухъ и вода; первый ближе къ огню, вторая ближе къ землѣ. (Философія химическая). Земля постоянно испаряется, а всѣ водяные метеоры происходятъ вслѣдствіе испареній отъ солнечной теплоты. Вслѣдствіе этого, атмосфера наполняется водяными парами, влажностью, которая, сгущаясь, производитъ на землѣ туманы, а на небѣ облака и тучи, изливающаяся на землю, въ видѣ дождя. Замерзаніе облаковъ въ атмосферѣ

производитъ снѣгъ; испаренія, недостигшія высшихъ слоевъ атмосферы, падаютъ ночью въ видѣ росы; охлажденная роса образуетъ собою иней. Явленіе града Аристотель признаетъ необъяснимымъ, какимъ остается оно, впрочемъ, и до сихъ поръ. Всѣ элементы, при соединеніяхъ и раздѣленіяхъ своихъ, управляются двумя движущими силами: тяжестью и легкостью. Тяжесть и легкость производятъ два прямо-линейныя движенія: центростремительное и центробѣжное. Вообще, движеніе есть причина всякаго происхожденія, всякаго измѣненія и всякаго прехожденія. Оно-то безпрестанно смѣняетъ все мертвое всѣмъ живымъ, ничего не прибавляя, ничего не убавляя изъ того, что было. (Философія физическая). Разнообразное смѣшеніе элементовъ (огня, воды, воздуха, земли), и ихъ качествъ (теплоты, холода, сухости, влажности) производитъ самыя низшіе продукты природы, неорганическіе, каковы минералы и металлы. Жизненность ихъ ограничивается лишь однимъ механическимъ движеніемъ. Гораздо высшее соединеніе представляютъ тѣла органическія, движущее начало которыхъ—душа. Но и они различаются между собой по свойствамъ этого движущаго ихъ начала. Растеніямъ принадлежитъ только питательная душа, животнымъ—питательная и ощущающая, человѣку—питательная, чувствовательная и мыслительная. (Философія біологическая). Въ мыслительной душѣ ощущеніе есть начало всякаго познанія, такъ что безъ перваго не было бы никакого втораго. Но кромѣ ума пассивнаго, питающагося исключительно опытомъ, есть умъ активный, независимый отъ опыта. Отъ этого послѣдняго зависитъ вся доказательность. При доказательствахъ онъ пользуется категоріями, которыхъ десять, и силлогизмомъ, который состоитъ изъ большой посылки, малой посылки и заключенія. Источникомъ нравственности служатъ, въ свою очередь, ощущенія пріятныя и непріятныя. Верховное же благо человѣка есть употребленіе имъ всѣхъ своихъ способностей, равновѣсіе развитія ихъ. (Философія психологическая). Все это не есть развѣ цѣлый курсъ естествознанія, курсъ приблизительно вѣрный, и при томъ очерченный за двѣ тысячи лѣтъ до соотвѣтственныхъ точныхъ наукъ? А вмѣстѣ съ тѣмъ, развѣ все это не можетъ служить доказательствомъ и производительности того матеріализма, который мы выше приписывали древней метафизикѣ? Онъ произвелъ все, что могъ произвести, т. е. всю инициативу науки матеріа, науки природы. А если такъ, то достоинство философіи спасено, и всѣ

предыдущія фазы ея находятъ здѣсь свое оправданіе. Не меньшее оправданіе доставляетъ имъ и Эпикуръ, гипотезы котораго въ сферѣ естествознанія еще поразительнѣе, хотя имя его и дважды извращено въ потомствѣ, разъ—какъ будто бы исключительнаго моралиста, другой разъ—какъ будто бы моралиста разнузданнаго. Въ научной философіи Аристотеля, Эпикуръ добавляетъ, между прочимъ, слѣдующее. Міръ нашъ начался хаосомъ изъ всѣхъ элементовъ. Онъ начался, онъ и кончится. Но онъ не одинъ. Безчисленные вихри, зерна другихъ міровъ, не перестаютъ возникать, соподчиняться, расторгаться по волѣ вѣчнаго движенія, безстрастнаго и роковаго. Но вселенная, какъ сумма всѣхъ міровъ, непреходима; ничто не въ состояніи ни войти въ нее вновь, ни выйти изъ нея прочь. Атомы, изъ которыхъ вся она слагается, комбинируются вслѣдствіе склоненія ихъ однихъ къ другимъ; изъ склоненій этихъ образуются молекулы, а изъ нихъ уже стихіи, какъ огонь, воздухъ, вода, земля. Вѣтеръ есть движеніе воздуха. Радуга есть разложеніе свѣтовыхъ волнъ (sic!), отраженныхъ водяными молекулами облаковъ. Молнія есть воспламененіе воздуха отъ тренія облаковъ; громъ—явленіе того же порядка и всегда одновременное съ молніею, но слышится позднеѣ потому только, что звукъ бѣжитъ медленнѣе, чѣмъ свѣтъ (sic!). Изверженіе вулкановъ есть послѣдствіе воздуха и огня, заключенныхъ въ подземныхъ пустотахъ, соединяющихся обыкновенно съ моремъ. Формы или очертанія земной поверхности, горы и долины означаютъ этажи спаданія тѣхъ водъ, которыя покрывали землю, при образованіи ея (sic!). Организмы растительные и животные возникли тамъ, гдѣ встрѣтились условія, необходимыя для ихъ существованія. Но природа не сразу установила живыя формы и виды ихъ; напротивъ, она шла путемъ безчисленныхъ пробъ и оцупью, при чемъ множество формъ погибло, а выживали только нѣкоторыя. Выживать должны были тѣ, которыя оказывались лучше одаренными для борьбы за существованіе (sic!). Передача этихъ свойствъ по наслѣдству (sic!) должна была укрѣпить еще больше извѣстные типы породъ и такимъ образомъ сложились существующія нынѣ формы. Человѣкъ былъ изъ нихъ послѣднею. Разумъ человѣка зависитъ отъ его виѣшнихъ чувствъ, которыя всѣ, въ свою очередь, сводятся къ осязанію. Виѣстѣ съ виѣшними чувствами исчезаютъ и всѣ ихъ послѣдствія, такъ что послѣ смерти человѣкъ становится тѣмъ же, чѣмъ былъ

до рожденія. Елисейскія поля суть здѣсь, на землѣ—въ споконіи мудреца; тартаръ, адъ—въ сердцѣ, въ угрызенияхъ совѣсти. Нравственный законъ человѣка состоитъ въ умѣренномъ удовольствіи всѣхъ его потребностей и всѣхъ способностей. Изъ этого очерка видно, что истины, еще только вчера завоеванныя нами научно, были уже предвидѣны Эпикуромъ философски, т. е. прежде достаточнаго опыта, прежде всякаго скальпеля, микроскопа и телескопа. Все это, повидимому, дѣйствительно спасаетъ имя философіи отъ слишкомъ неумѣренныхъ нареканій. Это спасеніе и это оправданіе философіи заключается именно въ томъ, что она, какъ оказывается, вовсе не даромъ билась въ своей метафизической клѣткѣ; что, бившись тамъ, повидимому, такъ бесплодно, она вынашивала, однакожъ, подъ сердцемъ у себя всю точную науку и что, выносивъ прежде всего математику, она дала жизнь потомъ и всей наукѣ природы. Съ переходомъ въ научную философію монотеизма, мы убѣдимся въ достоинствѣ философіи еще больше. Если политеистическая философія снабдила могущественнымъ импульсомъ всю науку природы, заготовивъ для нея такое депо гипотезъ, столько руководящихъ указаній, то монотеистическая сдѣлала то же самое для науки общества. Характеристическимъ продуктомъ этой философіи въ новое время есть именно тотъ горизонтъ ея, который извѣстенъ подъ названіемъ философіи исторіи. Древность совсѣмъ не знала такой задачи и не ставила ее себѣ; да едва ли и могла ее поставить. Жизнь человѣчества была тогда слишкомъ еще коротка; прошедшее, оставленное ею позади себя, было еще слишкомъ мало извѣстно; а извѣстное представляло слишкомъ мало тѣхъ рѣшительныхъ измѣненій, которыя могли бы остановить надъ собою непривычный глазъ. Поэтому, если Платонъ и Аристотель не вовсе миновали вопросы объ обществѣ, то они задѣли ихъ лишь мимоходомъ: пропорція ихъ философіи общества къ философіи природы такова, что не даетъ усомниться на счетъ того, что изъ двухъ преобладало. При томъ же, всѣ ихъ умозрѣнія объ обществѣ были исключительно статическаго свойства, тогда какъ въ жизни общества характернѣе всего ея динамизмъ, а не статизмъ. Объ этомъ же древность и вовсе даже не задумывалась, за исключеніемъ развѣ того же Эпикура, обронившаго идею о преемственности каменнаго вѣка, бронзоваго и желѣзнаго. Между тѣмъ, въ новой философіи, напротивъ, на сколько философія природы жи-

мается, на столько же философія общества расширяется и, при томъ, именно въ сторону динамизма. Динамизмъ не только становится здѣсь прямо задачею умозрѣній, но умозрѣній не отрывочныхъ и случайныхъ, а систематическихъ, обнимающихъ всю жизнь человѣчества, и на столько самостоятельныхъ, что попытки этого рода составляютъ иногда отдѣльную отъ метафизики, самостоятельную систему, какъ на примѣръ у Вико. Не останавливаясь на опытахъ Боссюэта, Лейбница и Фр. Шлегеля, какъ истолковывающихъ исторію съ точки зрѣнія теологической, мы начнемъ прямо съ Вико, какъ признаннаго отца философіи исторіи. Какъ ни много онъ заслонилъ содержаніе свое предметами міеологіи, филологіи и психологіи, но цѣль свою онъ сознаетъ и опредѣляетъ ясно и точно. Это—идеальная, вѣчная исторія народовъ, т. е. такая, которая вѣрна для каждаго народа, какъ прошедшаго, такъ и будущаго, которая изображаетъ общую природу народовъ. Природа эта состоитъ въ томъ, что каждый народъ рождается, возвышается и падаетъ, уступая мѣсто другимъ народамъ, которые, родившись, возвысившись и упавши, уступятъ, въ свою очередь, другимъ и такъ далѣе въ безконечность. При этомъ каждый народъ, въ теченіи своей исторической жизни, проходитъ три фазы: эпоху боговъ, эпоху героевъ и человѣческую эпоху, послѣ которыхъ снова впадаетъ въ такое же варварство, изъ какого вышелъ. Отсюда три рода правовъ, три рода права, три рода гражданскихъ порядковъ. Въ божескую эпоху возвышаются въ народахъ полифемы, въ героическую—Ахиллесы, въ человѣческую—Аристиды, Сципіоны, Цезари, Августы; послѣ чего въ эпоху варварства разсуждающаго—такіе же Тиверіи, Каллигулы и Нероны, какъ и въ эпоху естественнаго варварства. Божеской эпохѣ соотвѣтствуютъ правленія царскія, героической—аристократическія, человѣческой—народныя; послѣ чего начинается анархія и, вслѣдствіе оной, тиранія, какъ и въ первоначальномъ варварствѣ. Государства слѣдуютъ, значить, закону цифръ: исходя изъ единицы, единицей и оканчиваются; а именно сперва одинъ, потомъ немногіе, далѣе многіе и, даже, всѣ и, наконецъ, опять одинъ. Какъ въ варварствѣ первобытномъ, такъ и въ варварствѣ заключительномъ, люди суть или становятся дикими звѣрями, ни о чемъ не думаютъ, какъ о пользѣ и о желудѣхъ, пребываютъ въ отупѣніи и безчувствіи, почему и вызываютъ надъ собою тиранію. Въ аристократіяхъ—общества управляются людьми, лучшими по породѣ. Въ народныхъ республикахъ ве-

дутъ въ власти преимущества нравственныя. Словомъ, правятъ въ мірѣ всегда тѣ, кто лучше; и всегда, кто не умѣетъ управлять собою самъ—управляется другимъ. Европа, также какъ и древность, повторила всѣ эти стадіи—и во время Вико она прошла уже и божескую эпоху царскихъ правленій, и героическую правленій аристократическихъ, и человѣческую народныхъ, такъ что находится на верху своей человѣчности и предъ переходомъ въ варварство, почему и сложилась въ великія монархіи. Исключеніе составляютъ пова Англія и Польша, которыя управляются еще аристократически. Московское же царство, также какъ и Европа, находится на верху человѣчности и предъ переходомъ въ варварство, потому что управляется монархіей. Вико былъ первый и послѣдній авторъ теоріи круговращенія и единственный также авторъ философіи народа. Всѣ другіе философы исторіи держатся теоріи прогресса; а вмѣстѣ съ тѣмъ прилагаютъ ее не къ отдѣльнымъ народамъ, а къ человѣчеству, какъ цѣлому. Бэконъ видитъ прогрессъ въ томъ, что въ борьбѣ человѣка съ природою, первый все болѣе и болѣе покоряетъ вторую, и покоряетъ именно, познавая ее. Познаваніе же природы ведетъ къ изобрѣтеніямъ, къ искусствамъ, въ числѣ которыхъ стоитъ и изобрѣтеніе искусства правительственнаго. Словомъ, это идея прогресса въ наукѣ, который ведетъ и къ прогрессу въ жизни. Знать—это мочь. Гердеръ, давшій философіи исторіи самое имя, связываетъ прогрессъ общества съ прогрессомъ природы. Вся дѣятельность природы уже сама по себѣ представляетъ безконечную цѣпь прогресса, въ которой каждое послѣдующее звено раскрываетъ то, что въ каждомъ предыдущемъ заключалось скрытно. Камень живетъ и разлагается въ почву, чтобы дать содержаніе растенію; растеніе сѣлится быть животнымъ; животное, растеніе и минералъ служатъ пищею человѣку, и въ этомъ послѣднемъ произведеніи своемъ природа достигаетъ сознанія. Исторія природы есть исторія пространства, ибо это исторія покоя; исторія же человѣка есть исторія времени, ибо исторія движенія. Но первая изъ двухъ исторій напередъ уже опредѣляетъ собою вторую. Она опредѣляетъ ее своими климатами, берегами, морями, рѣками, горами, произведеніями почвы. опредѣляетъ, наконецъ, даннымъ напередъ организмомъ человѣческимъ. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, человѣкъ былъ бы осужденъ на вѣчный застой, еслибъ Богъ не открылъ ему тайнъ языка и тайнъ религій, силою которыхъ и произведены самыя первыя революціи

въ состояніи обществъ. Мало того, каждый разъ, когда человѣкъ вновь изнемогалъ подъ бременемъ природы, отерovenіе давалось ему снова. Такимъ образомъ, всю исторію составляетъ постоянный протестъ человѣка противъ матеріи и постоянное мало по малу освобожденіе отъ нея. Исторія можетъ окончиться только тогда, когда человѣкъ не найдетъ въ себѣ больше силъ въ такому протесту и такому освобожденію. Трижды уже въ этой борьбѣ падало и трижды подымалось человѣчество. Послѣ перваго своего пробужденія на древнемъ востокѣ, оно, совершивъ богатую образованность, заснуло въ лонѣ вѣры. Тогда историческая жизнь перенеслась на берега Средиземнаго моря и, породивъ цивилизацію грековъ и римлянъ, снова впала въ апатію. Германцы еще разъ пробудили міръ отъ сна и цивилизація ихъ есть пова послѣдняя, долженствующая служить связью съ послѣдующими. Но что же потомъ, когда совершатся и эти? Въ силу закона, указаннаго выше, и по которому все, что таилось въ предыдущемъ звенѣ, развивается въ слѣдующемъ, человѣкъ долженъ будетъ уступить мѣсто существамъ высшаго порядка, а самъ низойдетъ на степень звена, связующаго все предыдущее съ этимъ послѣдующимъ. Для Фихте, если міръ есть не что иное, какъ объективированіе нашего я, то каждая эпоха исторіи есть не что иное, какъ объективированіе какой-либо идеи этого я. Такъ первая эпоха есть преобладаніе инстинкта надъ разумомъ; вторая состоитъ въ томъ, что общій инстинктъ уступаетъ частному, инстинкту власти; третья есть пребываніе власти въ борьбѣ съ разумомъ; въ четвертой разумъ приходитъ къ сознанію своей силы; въ пятой и послѣдней разумъ побѣждаетъ, при чемъ полная свобода каждаго совмѣщается со свободой всѣхъ. Наконецъ, у Гегеля исторія человѣчества есть не что иное, какъ тотъ процессъ, въ которомъ абсолютная идея изъ ея инобытія въ природѣ возвращается къ самой себѣ. Періоды исторіи суть періоды освобожденія этой идеи отъ инобытія. На востокѣ идея не знаетъ еще свободы; индивидуальности здѣсь еще нѣтъ; преобладаетъ надъ нею субстанціальность; права людей неизвѣстны; извѣстна только свобода одного. Это—младенчество міра. Въ Греціи идея начинаетъ сознать свою свободу; индивидуальность преобладаетъ надъ субстанціальностью; но достигается только свобода нѣкоторыхъ. Это—юность міра. Въ Римѣ то и другое, универсальность и индивидуальность, стоятъ рядомъ, но онѣ еще не соединились. Это—мужество міра. Наконецъ,

тевтонскіе народы представляют соединеніе обѣихъ противоположностей; представляют идею, самопознающую себя; представляют свободу всѣхъ. Это—старость міра. Первая степень сознанія произвела деспотизмъ; вторая—аристократію и демократію; третья—монархію. Деспотизмъ есть первая попытка парализировать всеобщій произволъ произволомъ одного, при чемъ въ Китаѣ и это еще не вполне достигается, ибо воля богдыхана и сама скована на каждомъ шагу тираніею преданій, такъ что абсолютный духъ находится еще въ глубокомъ снѣ. Въ Индіи этотъ сонъ сопровождается бредомъ, который и выводитъ ее изъ китайскаго безразличія—въ разнообразіе кастъ; но при кастахъ есть только субъективность четырехъ массъ, но нѣтъ субъективности лицъ. Въ Персіи понятіе о свѣтѣ и тмѣ, о борьбѣ ихъ, о возможности выбора—впервые зароняет идею субъективности и свободы: отсюда сословія, опредѣляемые индивидуальнымъ трудомъ, а не рожденіемъ. Египетская образованность не была новымъ шагомъ въ дѣтствѣ абсолютнаго духа; этотъ новый шагъ дѣлается только въ Греціи, но это уже шагъ юности, а не дѣтства міра. Сила индивидуальности проявляется здѣсь въ значительной степени; свидѣтели тому—религія и демократія. Войны персидскія были побѣдою этого индивидуализма надъ восточной обобщенностью. Въ Римѣ абсолютный духъ достигаетъ зрѣлости. Субъективизмъ нашолъ здѣсь переходъ отъ внутренняго я грековъ къ внѣшнему я: это—завоеваніе міра. Германскій міръ есть послѣдній возрастъ исторіи и послѣдняя ступень освобожденія абсолютнаго духа. Это періодъ примиренія всѣхъ противоположностей, соединеніе всѣхъ раздѣленій. Мѣсто этого примиренія по преимуществу Германія, а въ ней еще преимущественнѣе Пруссія. Что касается славянскаго міра, то вся эта масса была лишь средствомъ защиты міра германо-романскаго отъ азіатскаго востока, и никакого момента въ развитіи мірового разума не представляет. Рядомъ съ этимъ цѣльнымъ воззрѣніемъ Гегеля на исторію нельзя не упомянуть о его пресловутыхъ, по своей общеизвѣстности, афоризмахъ философо-историческихъ. Одинъ изъ нихъ относится къ статикѣ исторіи, другой къ ея динамикѣ. По первому изъ нихъ, все дѣйствительное необходимо; а какъ все необходимое разумно, то, слѣдовательно, разумно и все дѣйствительное. По второму, развитіе человѣчества совершается по спиральной линіи и, какъ всякое развитіе, основано на противоположно-

стяхъ и на тождествѣ ихъ, т. е. состоятъ изъ трехъ моментовъ: тезисъ, антитезисъ, синтезисъ. Въ годъ смерти Гегеля существовалъ уже первый томъ капитальнаго сочиненія О. Конта. А когда они вышли всѣ, переходъ изъ философіи исторіи въ науку исторіи былъ уже готовъ. Въ Контѣ философія исторіи достигаетъ такой же высоты, какъ философія природы въ Аристотелѣ и Эпикурѣ. Но излагать ее здѣсь было бы излишне, потому что изложеніемъ ея служить вся наша исторія цивилизаціи. Культуру же и гражданственность Контъ оставилъ въ сторонѣ. Предшествующаго обзора, во всякомъ случаѣ, достаточно для того, чтобы показать, какое именно броженіе играло въ научной философіи новыхъ народовъ и чѣмъ именно могло оно выбродиться. Это—очевидное ферментированіе науки общественной, соціологіи. Но философія исторіи, эта всеобщая философія общества, еще не все. Рядомъ съ нею пошло цѣлое племя специальныхъ философій того же рода. Право, напри- мѣръ, нашло свою философію въ цѣломъ рядѣ системъ, начиная съ Пуффендорфа. Богатство подверглось философскому наблюденію со временъ Адама Смита. Государство стало предметомъ философіи съ Монтескье. Наконецъ самая даже война, и та не избѣжала попытокъ обращенія ея въ вѣчную и неизмѣнную систему, первый опытъ чего былъ данъ Генрихомъ Ллойдомъ. Всѣ эти частныя общественныя философіи, въ свою очередь, достаточно убѣждаютъ, чѣмъ, какимъ содержаніемъ насыщена научно-философская мысль новаго времени. Ясно, что это содержаніе у нея чисто-соціальное, точно также, какъ у древней оно было натуральное. И такъ, научная философія идетъ своимъ твердымъ, опредѣленнымъ и яснымъ шагомъ. Въ пифагорейзмѣ она довела сознаніе человѣческое до истинъ математики; въ матеріализмѣ Греціи она остановилась на самомъ порогѣ естествознанія; спиритуализмомъ же новыхъ временъ она громко поступалась въ дверь обществознанія. Несомнѣннымъ же представляется и тотъ характеръ этой поступательности, по которому каждый разъ, какъ та или иная научная философія сдѣлала свое дѣло, т. е. выносила въ себѣ соотвѣтственную науку, сама она тотчасъ же устраняется, подобно тѣмъ живымъ организмамъ, которые, вслѣдъ за воспроизведеніемъ потомка, сами умираютъ. Такъ, математическая философія, философія числа, послѣ Пифагора и Филолая не повторяется больше и въ самой Греціи, не только въ новой исторіи, потому что точная математика успѣла воспитаться еще въ древности.

Такъ, натуральная философія, или философія природы, получившая такое богатое развитіе въ Греціи, стала устранять себя въ новомъ мірѣ, и именно по мѣрѣ развитія здѣсь соотвѣтственной точной науки. Такъ вступившая на мѣсто ея социальная философія, философія общества, могла или можетъ держаться опять только до тѣхъ поръ, пока не станетъ на ноги точная наука общественности. Не потому ли необходимо было и то топтаніе на мѣстѣ, какое представляла собою исторія метафизики? Не потому ли метафизика и повторяется такъ неустанно, что она не исчерпала еще всю свою способность къ воспроизведенію, все свое потомство? А если такъ, то не повторится ли метафизика и еще однажды, ради какой либо новой научной философіи и новой науки? Но прежде, чѣмъ получить какое либо право заключать обо всѣхъ этихъ вопросахъ будущаго, намъ необходимо довести до настоящаго еще одинъ элементъ цивилизаціи, третій и послѣдній, науку.

НАУКА.

Многочисленность метаморфозъ.—Связь философіи съ наукою.—Связь науки съ философіею.—Наука природы.—Наука общества.—Огюсть Контъ.

Едва-ли есть какой либо другой изъ социальныхъ элементовъ, будетъ-ли это въ цивилизаціи, въ культурѣ или въ гражданственности, который бы переживалъ столь многочисленныя и столь разнообразныя перемѣны, какъ наука. Наука современна, быть можетъ, самой религіи, потому что жизнь, даже жизнь первѣйшаго дикаря, не ждетъ и требуетъ немедленнаго удовлетворенія ея потребностей. Ему необходимо ѣсть, необходимо пить; и прежде чѣмъ онъ не приобрѣлъ нѣсколько свѣдѣній о травахъ и о животныхъ, онъ долженъ былъ сто разъ отравиться, чтобы ихъ приобрѣсть. Само собою разумѣется, что эта горькая наука есть, собственно говоря, не наука въ какой бы то ни было формѣ, но тѣмъ не менѣе все-таки знаніе или хотъ такъ называемое умѣнье: умѣнье распознавать полезное отъ вреднаго, умѣнье, передаваемое потомъ по наслѣдству и обращающееся въ инстинктъ. Это наука на той же степени, на которой она находится и у животныхъ. Ариметика на этой степени есть та пятерня пальцевъ или тѣ двѣ пя-

терни, которыя дикарь показываетъ другому, чтобы сказать пять или десять, словъ для чего у него нѣтъ. Система счисления здѣсь состоитъ изъ двухъ рукъ и двухъ ногъ, повторяемыхъ столько разъ, сколько надо повторить число двадцать. Тѣмъ не менѣе брезгать этой системой, игнорировать ее, невозможно, такъ какъ она послужила единственнымъ и исключительнымъ родоначальникомъ нашей неудобной десятичной системы. Дюжинная система и система восьмеричная были бы, по признанію математиковъ, гораздо удобнѣе, такъ какъ обѣ допускаютъ большее число дѣлителей. Но теперь ошибка эта уже неисправима, и именно вслѣдствіе науки дикарей. Въ такомъ же смыслѣ, смыслѣ умѣнья, искусства, существуютъ всегда и всѣ вообще науки. Гораздо раньше не только всякой геометріи, но и всякой философіи математической, люди уже мѣряли землю ступнями и шагами, откуда въ наслѣдство намъ и остался футъ, нога. Гораздо раньше всякой механики, и ничего не понимая въ теоріи наклонной плоскости, дикарь уже разсѣкалъ дерево посредствомъ клина. Несравненно раньше всякихъ гипотезъ астрономіи, онъ измѣрялъ время днями и ночами. Не дожидаясь никакихъ представленій о теплородѣ, человѣкъ закрывался отъ холода дурными проводниками теплоты, шкурами убитыхъ звѣрей. За долго до какихъ бы то ни было притязаній химіи, онъ умѣлъ составлять краски и татуировать себя. Прежде всякой естественной исторіи, онъ добывалъ камень, бронзу, желѣзо, и дѣлалъ изъ нихъ оружіе. Безъ всякой физиологіи, знахари и заклинатели нападали на нѣкоторыя цѣлебныя травы, и лечили ими больныхъ. До сихъ поръ еще, не имѣя никакого представленія о социологіи, правительства постоянно, однакожъ, управляютъ народами и весьма нерѣдко управляютъ впопадъ. Все это показываетъ, что умѣнье предшествуетъ знанію, эмпирическое искусство предшествуетъ наукѣ, и что въ такомъ видѣ своемъ наука могла быть древнѣе самой религіи. Это тотъ первобытнѣйшій инстинктъ, изъ котораго выходитъ потомъ и религія, и философія, и наука. Но и понимаемая уже въ смыслѣ знанія, въ смыслѣ такого или иного отчета о предметахъ, наука все еще претерпѣваетъ самый длинный рядъ превращеній. Первый изъ ея фазисовъ, какъ знанія, есть тождественность ея съ религіей, какъ это и видѣли мы въ исторіи религіи. Всѣ безъ исключенія знанія суть первоначально вѣрованія, а не знанія, таинства религіи, а не наука; всѣ отправляются слу-

жителями религіи; всё составляютъ предметъ священныхъ книгъ, также какъ и догматы вѣры. Медицина, напримѣръ, въ индійской атарваведѣ есть не что иное какъ искусство побѣждать, посредствомъ заклинаній, злыхъ духовъ, вселившихся въ тѣло больного. У халдеевъ всякая болѣзнь была также не что иное какъ одержаніе бѣсомъ, и главнымъ лекарствомъ было также заклинаніе. Сохранился амулетъ съ однимъ изъ такихъ заклинаній, которое въ средніе вѣка повторялось даже безъ пониманія его, а именно: гилька, гилька, беша, беша! т. е. прочь, прочь, лукавый, лукавый! Второй фазисъ нашихъ знаній есть отождествленіе ихъ съ философіею, какъ это тоже мы видѣли на исторіи философіи, и именно на томъ, что называли научною философіею. Мы видѣли, что даже такая наука, какъ математика, и та не могла миновать этого рода кристаллизацію свою. Число, прежде чѣмъ сдѣлаться извѣстной условностью времени и пространства, должно было сначала побывать безусловностью, метафизическимъ абсолютомъ. А таковъ же второй фазисъ и всякой науки. Третій—есть отдѣленіе науки, какъ отъ религіи, такъ и отъ философіи, есть самостоятельное воздѣлываніе науки въ видѣ особой, ученой спеціальности. Но не надо думать, что это уже конецъ, что это послѣдній фазисъ. Или же, если считать его послѣднимъ, то теперь начинаются его подфазисы. Въ первомъ изъ этихъ подфазисовъ наука опять запечатлѣна духомъ религіи, религіознымъ типомъ. Математика здѣсь бываетъ кабалистикою. Механика здѣсь задается такими проблемами, какъ *regretium mobile*. Астрономія носитъ характеръ астрологіи. Физика является въ качествѣ магіи. Химія имѣетъ направленіе алхиміи. Физиологія увлекается задачами жизненнаго элексира, универсальнаго лекарства, панацеи. Соціологія ограничивается утопіями, икаріями. Въ другомъ подфазисѣ сверхъестественныя, чудесныя притязанія науки смѣняются естественными, но гипотетичными; другими словами, наука запечатлѣвается вторичнымъ философскимъ изгибомъ. Въ астрономіи появляются вихри, въ физикѣ—невѣсомыя жидкости, въ химіи—флогистоны, въ физиологіи—анимизмъ, витализмъ, жизненная сила, болѣзненное начало, *vis medicatrix naturae*, въ соціологіи—идеи эпохъ, геніи народовъ, духъ человѣчества, и т. п. И только въ третьемъ подфазисѣ получается наука научная или позитивная. Но и это опять не сразу. Чисто научный подфазисъ, въ свою очередь, переживаетъ три различныхъ типа: описательный, теоретическій и

прикладной. Сначала въ этомъ подфазисѣ господствуетъ одно лишь собираніе фактовъ, накопленіе матеріала, безъ всякой задней мысли, безъ всякой идеи о выводахъ и претензій на законы: это наука для науки, фактъ для факта, изъ простаго органическаго любопытства и пристрастія къ нимъ. Другой типъ есть наблюденіе накопленнаго матеріала, обращеніе къ выводамъ, къ обобщеніямъ, къ идеѣ закона: это наука для истины, теорія. И наконецъ слѣдуетъ послѣдняя эволюція,—примѣненіе добытыхъ теорій къ практикѣ, изобрѣтеніе, предсказаніе, прикладное искусство: это — наука для жизни. Вышедши изъ искусства, наука и оканчивается искусствомъ; но то было слѣпымъ, эмпирическимъ, безсознательнымъ,—это является зрячимъ, раціональнымъ, самосознающимъ себя. Начало — эмпирическое искусство, конецъ—раціональное. А между тѣмъ и другимъ цѣлымъ девять фазисовъ или типовъ.

Въ неспеціальной исторіи, какъ настоящая, нѣтъ, конечно, ни надобности, ни возможности слѣдить каждую науку по всѣмъ этимъ многочисленнымъ возрастамъ ея. Совершенно достаточно здѣсь прослѣдить послѣдовательность появленія ихъ въ ихъ окончательномъ видѣ. Но тутъ возникаетъ вопросъ, съ какаго именно типа считать этотъ окончательной видъ каждой. Возникновеніе прикладнаго типа, равно какъ и зарожденіе фактическаго, неуволими: ихъ невозможно помѣчать ни мѣстомъ, ни временемъ. А потому единственно возможнымъ остается средній типъ: науки-теоріи. Первый, положительно установленный, общепризнанный въ той или другой наукѣ, и оставшійся въ ней навсегда законъ почти всегда можно опредѣлить болѣе или менѣе точно, не только по мѣсту и времени, но даже по автору. Всегда можно опредѣлить пору, съ которой та или другая наука вступая въ періодъ своего чисто-теоретическаго разцвѣта, въ эту пору своего полнаго выживанія между другими и совмѣстничества съ ними. Въ сочиненіи же, подобномъ настоящему, только такіе именно моменты и нужны. Но выживанія науки нѣтъ, пока въ ней нѣтъ такой характеристической для нея складки, какъ открытіе законовъ явленій. А потому только съ появленіемъ въ наукѣ законовъ она и должна существовать для насъ; тѣмъ болѣе, что философія научная останавливается какъ разъ на проектѣ такихъ законовъ. И такъ, мѣркой нашей въ вопросѣ преемственности наукъ будетъ только теоретическій ихъ фазисъ, какъ симптомъ полнаго выживанія науки.

Но прежде, чѣмъ отъ частныхъ гипотезъ философіи перейти къ такимъ же частнымъ законамъ науки, необходимо связать всеобщую гипотезу этой философіи съ такимъ же всеобщимъ закономъ всѣхъ вообще наукъ, т. е. съ общимъ планомъ ихъ, съ *классификаціею* ихъ всѣхъ. Если наука подраздѣлилась извѣстнымъ образомъ, то это произошло не отъ какаго-либо предварительнаго и нарочитаго соглашенія между учеными, а совершенно нечаянно и безъ всякаго вѣдома ихъ, единственно вслѣдствіе носившихся въ нравственной атмосферѣ готовыхъ привычекъ ума. Но кѣмъ же привычки эти привиты, если не философіею? Въ своихъ поискахъ за своимъ абсолютомъ, философія принуждена была перебирать всѣ возможные категории явленій и этимъ путемъ ей пришлось сдѣлать такое или иное разсортированіе ихъ всѣхъ. Пересматривая всѣ тѣ противоположности міра, которыя ей такъ хотѣлось помирить, свести въ единство, философія останавливалась между прочимъ и надъ такими, какъ время и пространство, покой и движеніе, матерія и сила, бытіе и жизнь, солидарность и прогрессъ. А всѣ эти категории, въ такомъ именно видѣ, разобраны потомъ и науками. Категорію пространства и времени взяла себѣ математика. Противоположность движенія и покоя усвоена механикою и астрономіею. Дуализмъ матеріи и силы далъ содержаніе химіи и физикѣ. Бытіе и жизнь опредѣлили собою науку неорганическую и органическую. Солидарность и прогрессивность жизни достались на долю соціологіи и исторіи. Правда, разборъ этотъ сдѣланъ науками не всегда по одному и тому же принципу; но все таки сдѣланъ. Такъ, алгебра и геометрія распредѣлили между собой число и фигуру или, что тоже, время и пространство такъ, что одна взяла одно, а другая—другое. Такъ же точно поступили физика и химія съ силою и веществомъ, а соціологія и исторія съ солидарностью и прогрессомъ. Но двѣ другія пары размежевались по иному. Такъ, механика и астрономія обѣ равно заняты какъ покоемъ, такъ и движеніемъ, а именно: механика занята въ статикѣ первымъ, въ динамикѣ—вторымъ; астрономія изучаетъ условія покоя въ центрахъ, условія движенія—на периферіяхъ. Но дѣло въ томъ, что одна изъ нихъ, механика, изучаетъ и то, и другое абстрактно, въ отвлеченіи, а другая, астрономія,—конкретно, въ дѣйствительности. Подобно тому и біологія съ естественной исторіей распредѣлились между собою не такъ, чтобы одна взяла бытіе, а другая жизнь, но такъ, что каждая беретъ и

то и другое, но каждая съ своей особой точки зрѣнія. А именно: біологія разсматриваетъ и бытіе, и жизнь абстрактно, а естественная исторія—конкретно. И такъ, во всякомъ случаѣ, одна изъ самыхъ всеобщихъ гипотезъ философіи, а именно о категоріяхъ явленій, удалась ей вполне, удалась такъ, что на ней, и только на ней, уцѣлѣло все грандіозное зданіе наукъ. Въ этомъ и состоитъ та живая и всеобщая связь, какая идетъ отъ философіи къ наукъ. Мало того, и самая религія проходитъ для науки также не безслѣдно. Напротивъ, взявши изъ философіи ея категоріи явленій, въ самомъ отношеніи къ нимъ наука сумѣла соединить философскій взглядъ съ религіознымъ, т. е. чисто-абстрактный съ чисто-конкретнымъ. Соединила она то и другое двоякимъ способомъ. Во первыхъ, каждой абстрактной наукъ противопоставила она соотвѣтственную конкретную, чѣмъ и образовала пары ихъ, такъ что получилось два ряда: одинъ абстрактный (алгебра, механика, физика, біологія, соціологія), а другой конкретный (геометрія, астрономія, химія, естественная исторія, исторія соціальная). Во вторыхъ, въ самыхъ возрастахъ науки конкретному фазису каждой изъ нихъ, или описательному, фактическому, противопоставленъ каждый разъ абстрактный, теоретическій. Благодаря этому двойному изученію, наука и избѣгаетъ односторонности какъ религіи, такъ и философіи.

Какъ ни много уже видѣли мы тѣхъ переходныхъ ступеней, какими сознаніе наше такъ естественно и такъ нечувствительно пресуществляется изъ религіознаго въ философское и изъ философскаго въ научное; но органичность и постепенность соціальныхъ метаморфозъ такъ велика, что есть и еще одно посредствующее звено между философіей вообще и вообще наукою, на этотъ разъ простирающееся, такъ сказать, отъ науки въ философію. Звено это *математика*. Математика не есть, собственно говоря, ни философія, ни наука; или пожалуй, она есть и философія, и наука. Она не есть уже философія потому, что живетъ не гипотезами, не вѣроятностями и правдоподобіями, а представляетъ совершенно точное знаніе. Но она не есть еще и наука, ибо методъ ея остается чисто и исключительно философскимъ. Она есть еще философія не только по методу, но и по той степени абстрактности, какая принадлежитъ ей. Но она есть уже и наука не только по образцовой точности ея познаній, но также и по высокой ея тео-

речивости, по способности къ предсказаніямъ, по достоинству рациональнаго искусства. Короче, это въ тѣсномъ смыслѣ слова философская наука или, наоборотъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова точная философія; это есть рѣшительное заключеніе философіи и вступленіе въ науку, выходя изъ первой и входъ во вторую. Такое качество введенія въ науку принадлежитъ ей не только генетически, но также и хронологически, потому что математика несомнѣнно древнѣе всѣхъ безъ изыятія наукъ, и только не древнѣе математической философіи. Она-то и составляетъ ту вторую органическую связку, какая существуетъ между философіей и наукой.

Переходя теперь отъ научнаго цѣлаго къ научнымъ частностямъ, мы должны остановиться прежде всего, конечно, на *арифметикѣ*. Древность арифметики такъ глубока, что ни географически, ни хронологически невозможно опредѣлить ея начала: оно теряется во временахъ баснословныхъ. Всѣ почти древніе народы приписываютъ себѣ честь основанія этой науки: таковы китайцы, египтяне, евреи, финикіяне. И весьма можетъ быть, что всѣ они и правы. Если даже теперь случаются въ наукахъ одновременныя открытія въ двухъ разныхъ мѣстахъ, то, при разобщенности древнихъ народовъ, это должно было случаться еще чаще, особенно когда дѣло идетъ о такихъ простыхъ и такихъ повсюду неотложныхъ истинахъ, какъ истины арифметики. Неотложность эта чувствуется не только народами, сложившимися въ какое нибудь общество, но даже стадными диварями. И не только повсюду чувствуется эта потребность, но повсюду одинаково даже удовлетворяется, а именно посредствомъ десятичной системы. Вездѣ и всегда счисленіе начинается не иначе, какъ по пальцамъ, какъ это и до сихъ поръ практикуется у дѣтей и простолюдиновъ. Племена Нижняго Муррая, въ Океаніи, въ Торресовомъ проливѣ, не имѣющія еще словъ для пяти и десяти, вмѣсто перваго изъ нихъ говорятъ: рука, и вмѣсто втораго—двѣ руки. На Лабрадорѣ введены въ дѣло и ноги, такъ что терминъ двадцать переводится терминомъ: руки и ноги. Индійскія племена Замука и Муйска говорятъ: рука кончена (5), одинъ отъ другой руки (6), двѣ руки кончены (10), ноги кончены (20) или весь человѣкъ (20). У Яруровъ и многихъ американскихъ народцевъ вмѣсто 40 говорятъ: два человѣка. А что тотъ же способъ общъ и для государственныхъ народовъ, доказательствомъ тому служатъ остатки его у нихъ. По персидски пентжа значить пять, а пентша—рука. У римлянъ ихъ V

есть не что иное, какъ символъ растопыренной руки, а X означаетъ два этихъ символа, насаженныхъ одинъ на другой. Такой же слѣдъ остался во французскомъ словѣ quatre-vingts, въ русскомъ пять и пятерня, и т. п. Отсюда вытекаетъ естественная, обусловленная самой организаціей человѣка, всемірность десятичной системы. При этомъ отступленіе отъ нея, исправленіе ея такъ не лѣгко, что представляетъ единственный примѣръ въ мірѣ,—у китайцевъ, гдѣ принята нынче двѣнадцатичная система, превосходящая по достоинству всѣ другія возможныя. Какъ повсюду исторія застаётъ десятичную систему, такъ повсюду же у государственныхъ народовъ имѣются уже и знаки для изображенія ея, а именно первоначально не цифры, а тѣ же буквы алфавита. При изображеніи многозначныхъ чиселъ употреблялись два способа. По одному изъ нихъ, каждая буквенная цифра имѣла, кромѣ абсолютнаго своего значенія, еще относительное, по мѣсту, ея занимаемому: такой способъ употреблялся только у индійцевъ. По другому, каждая буква имѣла одно и то же значеніе, гдѣ бы она ни стояла: это—способъ всѣхъ древнихъ, не исключая ни грековъ, ни римлянъ, хотя и менѣе совершенный. Первый въ средніе вѣка перешолъ отъ индійцевъ къ арабамъ, а отъ нихъ, подъ названіемъ арабскаго, и къ намъ. Ассиріянамъ извѣстна была та же таблица умноженія, которая для грековъ изобрѣтена была Пифагоромъ. Извѣстна была имъ и арифметика дробныхъ чиселъ. Въ британскомъ музеѣ имѣется глиняная ассирійская таблица со спискомъ квадратовъ всѣхъ дробей отъ $\frac{1}{60}$ до $\frac{60}{60}$, разсчитанныхъ съ совершенной точностью. Греки уже издревле раздѣляли арифметику на практическое искусство счисленія, логику, и чистую арифметику, т. е. теорію чиселъ. Но Пифагоръ былъ, во всякомъ случаѣ, первый изъ грековъ, которому принадлежитъ знаніе пропорцій и прогрессій. Онъ отличалъ три рода прогрессій: арифметическую, геометрическую и гармоническую. Ему извѣстна также теорема, что сумма членовъ ряда нечетныхъ чиселъ, начинающагося единицею, равна квадрату числа этихъ членовъ. Т. е. философъ, уже въ собственномъ лицѣ своемъ, отъ метафизики и научной философіи числа успѣлъ дойти и до положительной науки числа. И такъ, арифметика несомнѣнно была уже на полномъ ходу своего развитія тогда, какъ никакой другой науки еще не существовало; а именно: на всемъ древнемъ востокѣ, который и до сихъ поръ ничего не знаетъ, кромѣ арифметики, и въ Греціи временъ Пифагора, т. е. когда начина-

лась только философія, а не наука. Эта древность ариметики имѣла своимъ послѣдствіемъ, что въ той же Греціи, хотя и подъ конецъ ея развитія, состоялось уже и то усовершенствованіе этой науки, какое извѣстно подъ именемъ *алгебры*. На этотъ разъ извѣстно и время, и мѣсто этого успѣха ума человѣческаго, и даже самое имя автора. Это великое, хотя и не довольно популярное, имя — Діофантъ, мѣсто—Александрія, время—царствованіе Юліана. Ни у кого изъ предшественниковъ Діофанта не имѣется и слѣда того рѣшенія ариметическихъ задачъ алгебраическимъ путемъ, какое представляютъ его собственныя сочиненія. А между тѣмъ, Діофантъ знаетъ уже опредѣленные и неопредѣленные уравненія, уравненія первой степени и второй, рѣшеніе полныхъ квадратныхъ уравненій. Рѣшеніе неопредѣленныхъ уравненій и теперь называется діофантовымъ. Наконецъ, онъ сдѣлалъ и первый шагъ въ примѣненіи алгебры къ геометріи, который могъ быть поддержанъ послѣ него уже только Декартомъ. Отъ грековъ алгебра перешла къ индіямъ, отъ нихъ къ арабамъ, а отъ арабовъ, подъ ихъ же названіемъ, и къ намъ.—Происхожденіе *геометріи*, хотя также теряется во мракѣ вѣковъ, какъ и ариметики, но по всему видно, что она моложе той. Греческіе писатели приписываютъ изобрѣтеніе этой науки египтянамъ, отъ которыхъ будто-бы заняли ее и сами Өалесъ и Пифагоръ. До сихъ поръ, однакожь, мнѣніе это подтверждается только тѣмъ египетскимъ папирусомъ британскаго музея, который содержитъ въ себѣ 12 геометрическихъ задачъ. Но такъ какъ всѣ эти задачи суть чисто-практическія (опредѣленіе участковъ земли и объемовъ тѣлъ, разложеніе и дѣленіе фигуръ, и т. п.), а нѣтъ и слѣда теоремъ и доказательствъ, основанныхъ на аксіомахъ; то папирусъ доказываетъ только существованіе эмпирическаго искусства геометрическаго, но не геометріи, хотя она и могла бы изъ него возникнуть. Тоже можно сказать и обо всемъ вообще востокѣ, гдѣ можно говорить о геометрическомъ искусствѣ, но не наукѣ. Вслѣдствіе этого полагають, что если греки и позаимствовали изъ Египта, то только искусство, а никакъ не науку. Между тѣмъ здѣсь, въ Греціи, Өалесу уже извѣстны такія теоремы, какъ доказательство равенства противоположныхъ угловъ, равенство угловъ при основаніи равнобедреннаго треугольника, дѣленіе круга діаметромъ пополамъ, и нѣкоторыя другія. Въ свою очередь, Пифагору принадлежитъ уже ученіе о подобіи фигуръ, нахожденіе средней про-

порціональною въ даннымъ двумъ прямымъ, знаменитая въ древности теорема, что сумма квадратовъ катетовъ равна квадрату гипотенузы, теорема, дошедшая и до насъ подъ именемъ пифагоровой, и нѣкоторыя другія. Все же это вмѣстѣ составляетъ такіе признаки, послѣ которыхъ отрицать существованіе геометріи, какъ науки, уже невозможно. И дѣйствительно, ученикъ Платона Менехмъ открываетъ уже коническія сѣченія, а александрійцы: Эвклидъ, Архимедъ и Аполлоній Пергейскій доводятъ лонгиметрію, планиметрію и стереометрію до той степени совершенства, на которой онѣ находятся и теперь. Аполлоній Пергейскій исчерпываетъ въ своихъ сочиненіяхъ всю область ученія о коническихъ сѣченіяхъ, утвердивъ уже и самыя термины параболы, гиперболы, эллипса. И такъ, если арифметика и геометрія древнѣе всѣхъ остальныхъ наукъ, то между ними, въ свою очередь, первая древнѣе второй.

Съ переходомъ изъ математики въ собственно такъ называемую науку, а въ ней прежде всего въ естествознаніе, хотя хронологія и становится точнѣе, тѣмъ не менѣе безспорность и очевидность, напротивъ, пропадаютъ, и контовская іерархія наукъ подвергается со стороны многихъ ученыхъ нареканіямъ. Однакожъ, наибольшая часть этой спорности объясняется, какъ кажется, тѣмъ, что сказано выше о многочисленности фазисовъ научныхъ. При такой многочисленности ихъ, всякій можетъ подразумѣвать, говоря о наукѣ, вовсе не тотъ ея возрастъ, какой имѣетъ въ виду другой. Мало того: одно и то же лицо можетъ разумѣть, и не рѣдко дѣйствительно разумѣть, говоря объ одной наукѣ, совсѣмъ не то, что говоря о другой. Вообще понятіе о томъ, съ какихъ поръ знаніе становится настоящей наукой, остается у спорящихъ вовсе неустановленнымъ. Но если отдать себѣ въ этомъ отчетъ, какъ старались мы сдѣлать выше, и если держаться его одинаково, разъ навсегда, то іерархія Конта, по крайней мѣрѣ въ цѣломъ своемъ, вполне выдерживаетъ критику. Такъ или иначе, но, при нашей точкѣ зрѣнія, механика и астрономія несомнѣнно новѣе математики и слѣдуютъ непосредственно вслѣдъ за нею. Во взаимномъ же отношеніи другъ къ другу первый членъ пары, механика, древнѣе второго, — астрономія. Что касается *механики*, то основаніе ея не можетъ быть приписано никому ни раньше, ни позже Архимеда (родившагося за 287 л. до Р. Х.). Установленная имъ теорія рычага или ученіе о равновѣсіи тѣлъ, и не только теорія, но даже способъ доказательствъ ея, при-

нятый Архимедомъ, повторяются съ тѣхъ поръ и до нынѣ въ каждомъ учебникѣ механики, составляя такимъ образомъ ея незыблемый краеугольный камень. А между тѣмъ, къ этой статикѣ твердыхъ тѣлъ надо прибавить также и гидростатику, которой Архимедъ положилъ также нерушимое основаніе въ удѣльномъ вѣсѣ тѣлъ, въ этомъ знаменитомъ своемъ *ѳориса*. Правда, что, будучи первымъ механикомъ-теоретикомъ, механикомъ чисто-научнымъ, Архимедъ былъ въ Греціи и послѣднимъ, и что вся древность до самого Галилея ни на шагъ послѣ того не подвинулась и динамики не коснулась ни однимъ словомъ; но совершенно достаточно было и одной статикѣ, чтобы теоретическая наука была основана. А такъ какъ это произошло цѣлыми тремя столѣтіями позже основанія геометріи, то преобладаніе этихъ наукъ между собою и не можетъ возбуждать никакого вопроса. Гораздо спорнѣе вопросъ объ *астрономіи*, которую самъ Уэвелль считаетъ древнѣе механики и современною самой математикѣ, если еще не древнѣе даже ея. Но здѣсь дѣйствуетъ то именно недоразумѣніе, о которомъ сказано выше. Видя не только въ Греціи, но и на востокѣ, и притомъ въ самыя отдаленныя времена, занятія и наблюденія, носящія характеръ астрономическихъ, естественно склоняются къ мысли, что была, слѣдовательно, и наука, называемая астрономіей. Въ самомъ дѣлѣ, уже китайцы, не только египтяне или халдеи, приписываютъ себѣ основаніе этой науки. И точно, у всѣхъ у нихъ дѣлались уже тщательныя наблюденія надъ теченіемъ небесныхъ свѣтилъ, повсюду эти наблюденія записывались, записи эти длились по цѣлымъ тысячелѣтіямъ. На основаніи всѣхъ этихъ наблюденій устанавливалось и исправлялось лѣтосчисленіе, опредѣлялся годъ, мѣсяцы, недѣли, и, наконецъ, чего же лучше, дѣлались предсказанія о солнечныхъ и лунныхъ затмѣніяхъ. А способность къ предсказаніямъ есть высшая способность науки, и всегда означаетъ полную ея зрѣлость: Между тѣмъ, способность эта была на востокѣ на столько признана за астрономію, что китайскій астрономъ, не предсказавшій какого-либо затмѣнія, обрекался на смертную казнь. Въ Греціи дѣло пошло еще дальше. Фалесъ, напримѣръ, вычислялъ уже поперечникъ солнца, хотя при этомъ и ошибся. Аристархъ исчислялъ разстояніе луны отъ земли; и хотя исчислилъ его невѣрно, но путь, указанный имъ къ тому, былъ вѣренъ. Кромѣ того, востокъ не строилъ еще никакихъ гипотезъ о причинахъ наблюдаемыхъ имъ

явленій; Греція же, если также все еще не знала этихъ причинъ, то она кишѣла, по крайней мѣрѣ, гипотезами о нихъ. Если Фалесъ ставилъ еще землю средоточіемъ вселенной, то пифагорейцы уже отнимали у нея эту честь. Если пифагорейцы не дѣлали еще центромъ самое солнце, то они сдѣлали имъ какой-то иной центральный огонь. Если Филолай Кротонскій и Архитъ Тарентскій держались еще гипотезы центрального огня, то Аристархъ Самосскій, вмѣсто этого огня, прямо поставялъ уже солнце, и притомъ придавая и ему самому вращеніе вокругъ себя. Наконецъ, развѣ Гиппархъ и Птоломей не создали окончательную систему, и до сихъ поръносящую ихъ имя, съ ея эксцентрическими кругами и ихъ эпициклами, и съ помощью которой дѣйствительно можно было объяснить нѣкоторыя явленія, до тѣхъ поръ необъяснимыя. И такъ, заключаютъ, развѣ все это не астрономія? и развѣ она не древнѣе, слѣдовательно, всякой механики? Конечно, не астрономія, и, конечно, не древнѣе. Здѣсь нѣтъ еще ни одного астрономическаго закона, ни одной теоріи, которая осталась бы въ наукѣ навсегда и тѣмъ послужила бы ей дѣйствительнымъ основаніемъ. Это фактическій періодъ науки, періодъ собиранія данныхъ; это астрономія для астрономіи (не говоря уже объ астрологіи); это, наконецъ, обращеніе къ выводамъ, проба гипотезъ, но постоянно еще неудачная. Что же касается предсказаній, то эти предсказанія принадлежатъ еще искусству эмпирическому, а не рациональному, искусству предшествующему научности, а не послѣдующему за нею. Что за ночью послѣдуетъ день, а за днемъ ночь, могъ предсказать еще и дикарь; но это не была научность астрономіи. Былъ у грековъ шагъ, который поставилъ было ихъ на самомъ порогѣ научности: это—гипотеза Аристарха Самосскаго; но до времени Коперника она осталась на степени философской догадки, а не научной теоріи. Научность же сообщилъ ей только Коперникъ; а потому только съ Коперника и должна начинаться исторія астрономіи, какъ науки. Только съ этого же времени посыпались и другія астрономическія истины, какъ Кеплерова, Ньютонова; только съ этого же времени сдѣлались возможны и рациональныя предсказанія, какъ на примѣръ открытіе, по предсказанію, планеты Леверрье. Словомъ, въ древности было все уже, чтобы положить первый камень; но положенъ онъ все-таки не былъ, и того, что совершила древность въ механикѣ, въ астрономіи совершенно не было. Но за то въ новое время первую, основанную имъ наукою, была дѣйствительно астрономія:

сочиненіе Коперника вышло въ 1543 году, т. е. раньше всякаго иного научнаго открытія новыхъ временъ. И такъ механика и астрономія дѣйствительно позднѣе ариѳметики и геометріи; а между ними самими астрономія позднѣе механики.

Хронологическое мѣсто *физики* въ іерархіи наукъ едва-ли можно отыскать раньше механики. Правда, начало акустики относятъ еще къ Пифагору; но, во-первыхъ, преданія эти имѣютъ еще характеръ баснословный, а во-вторыхъ, хоть бы они были и точными, въ нихъ дѣло идетъ скорѣе о гармоніи, чѣмъ объ акустикѣ, т. е. объ искусствѣ, а не наукѣ, потому что о законахъ музыкальной скалы, объ отношеніяхъ тоновъ къ натягивающей силѣ, и т. п. Что же касается акустики чисто-физической, т. е. вопросовъ происхожденія, распространенія и отраженія звука, то они въ древности вовсе и не представлялись. Въ этомъ смыслѣ древнѣе всѣхъ физическихъ теорій только оптика, основаніе которой дѣйствительно нельзя отодвигать ни назадъ, ни впередъ отъ Эвклида. Эвклиду впервые принадлежитъ понятіе, и при томъ вполне точное, о прямолинейности лучей и о законѣ отраженія ихъ, по которому уголъ паденія равенъ углу отраженія. А потому хотя въ вопросѣ происхожденія лучей онъ и грубо заблуждался, изводя ихъ изъ глаза, а не изъ свѣтящагося тѣла, но распространеніе и отраженіе свѣта никогда уже послѣ него не нуждалось въ лучшей теоріи. А какъ Эвклидъ былъ современникъ Архимеда, т. е. отца механики, то физика если не позднѣе этой науки, то, по крайней мѣрѣ, современна ей, и, во всякомъ случаѣ, не древнѣе ея. Что касается *химіи*, то она, подобно астрономіи, дочь уже новаго времени. Хотя предварительное движеніе въ ней также почти долговременно, какъ и въ астрономіи, и хотя, также какъ и тамъ, способно заслонять собою истину; но истина все-таки въ томъ, что позитивно-теоретическій фазисъ этой науки есть дѣло только новыхъ народовъ. То ученіе о четырехъ стихіяхъ, какое ходило по рукамъ въ древности, всегда оставалось тамъ на степени только философій научной, и никогда не повело грековъ ни къ одной попыткѣ разложить какое-нибудь тѣло на эти четыре начала. Химическій анализъ грековъ былъ разложеніемъ тѣлъ на ихъ качества, а не на ихъ элементы. Преимущество въ этомъ отношеніи принадлежитъ даже средневѣковой алхиміи, потому что она приступила уже къ дѣйствительному сложению и разложенію тѣлъ, вводя въ дѣло огонь, реторту и тигель.

Но такимъ образомъ получилось только искусство химическое, т. е. то эмпирическое искусство, которое всегда предшествуетъ наукѣ. Да оно такъ и называлось въ средніе вѣка, а именно—спагирическимъ искусствомъ, т. е. разложеніемъ и соединеніемъ частей. Если же къ искусству этому примыкала въ это время и теорія, то извѣстно, что это были теоріи чисто-философскія, если не религіозныя, и тѣмъ знаменовали, что позитивныя еще впереди. И дѣйствительно, проба этихъ послѣднихъ хотя и состоялась въ средніе вѣка, но разрѣшилась только тѣмъ, что на мѣстѣ прежнихъ четырехъ стихій поставлены три: соль, сѣра и ртуть, изъ которыхъ будто бы слагаются всѣ остальные вещества. Наконецъ, все напряженіе эпохи возрожденія если и было для химіи поворотомъ къ позитивизму, то развѣ лишь въ смыслѣ описательной науки. Первою же чисто-научною теоріею химіи можно счесть только ученіе о противоположности веществъ и нейтрализаціи ихъ другъ другомъ. А такое ученіе принадлежитъ уже XVII вѣку, а именно Франциску Боэ Сильвію (род. 1614 г.). По этому ученію, кислоты и щелочи, соединяясь другъ съ другомъ, взаимно себя нейтрализуютъ и производятъ среднее вещество, нейтральную соль. Таковъ былъ самый первый обликъ будущей теоріи химическаго сродства, основанной потомъ Этьенномъ Франсуа Жоффруа, подъ именемъ сродства избирательнаго, по которому тѣла имѣютъ стремленіе соединяться предпочтительно съ тѣми или другими изъ нихъ. Съ тѣхъ поръ теоретическое движеніе уже несомнѣнно, и до сихъ поръ не прекращалось, какъ несомнѣнно и возвышающееся съ каждымъ днемъ раціональное искусство химіи. Позитивный фазисъ науки налицо, и, при томъ, не только послѣ таковаго же фазиса механики и астрономіи, но также и своего антитеза—физики.

Переходя къ слѣдующей парѣ, предстоитъ напередъ условиться въ пониманіи самого термина *біологіи*, который до сихъ поръ остается расплывчатымъ и неопредѣленнымъ. По большей части, подъ нимъ разумѣютъ всѣ вообще познанія о бытіи и жизни, не исключая отсюда и познаній естественной исторіи. И такъ, при противоположеніи этихъ двухъ терминовъ, и слѣдовательно при уточненіи обоихъ, къ нему надо будетъ относить только какую-то половину познаній о бытіи и жизни. А какъ естественная исторія избираетъ себѣ, очевидно, генезисъ бытія и жизни, то біологія остается только организація и функція ихъ. Содержаніе естестве-

ной исторіи есть систематика и морфологія всей органичности и неорганичности; содержаніе біологіи—строеніе и отправленіе той и другой. А потому и отдѣлами біологіи могутъ быть только слѣдующіе три: кристаллографія, какъ ученіе о структурѣ неорганическаго бытія, анатомія, какъ ученіе о структурѣ органическаго бытія, и фізіологія, какъ наука объ отправленіяхъ органической жизни. Въ этихъ именно границахъ мы и будемъ слѣдить исторію біологіи. Въ исторіи этой замѣчается та поразительная особенность, что жизнь изучается раньше, чѣмъ бытіе, и органичность раньше, чѣмъ неорганичность. А въ жизни, въ свою очередь, животная дается пониманію прежде, чѣмъ растительная. Такъ, анатомио-фізіологическія теоріи животной жизни существовали уже и въ древности, тогда какъ анатомія и фізіологія растений есть продуктъ цивилизаціи весьма недавней. По крайней мѣрѣ, даже пропуская всѣхъ эмпириковъ въ родѣ Гиппократъ и Асклепіада, нельзя въ этомъ отношеніи не остановиться на знаніяхъ Галена (умершаго въ 203 г. по Р. Х.). Хотя и Галенъ считаетъ еще источникомъ вѣтъ печень, а началомъ артерій—сердце, но его понятіе о мускулѣ уже правильно. Онъ уже перерѣзываетъ мускулы, чтобы наглядно показать, въ чемъ состоитъ ихъ дѣйствіе. Скелетъ имѣетъ для него то же значеніе, какъ подпорка для палатки. Вообще понятіе о мышечной системѣ, какъ собраніи связокъ, вслѣдствіе которыхъ тѣло поддерживается и движется, для Галена не подлежитъ уже сомнѣнію. Что же касается нервовъ, которые еще Герофілъ, жившій при Птоломѣ I, характеризовалъ какъ органы воли, а Руфъ, современникъ Траяна, даже подраздѣлялъ на двигательные и чувствительные, то Галенъ вполнѣ уже обладаетъ этой теоріей. Признано, говоритъ онъ, какъ философами, такъ и врачами, что тамъ, гдѣ начинаются нервы, должно находиться сѣдалище души; а мѣсто это, добавляетъ онъ, есть головной мозгъ, а не сердце (какъ думали до него). И такъ общая конструкція животнаго организма и механизмъ произвольнаго движенія отнынѣ уже не новость, уже на всегда достояніе науки. А потому хотя вся остальная древность и ничего къ этому не добавила; хотя другая изъ животныхъ функцій, кровообращеніе, не легко досталась и въ новыя времена; но нѣтъ уже возможности утверждать, что біологія въ теоретическій фазисъ свой вступила не въ древности. Между тѣмъ строеніе и отправленія растительныя, не смотря на всю ученость Плинія,

дѣйствительно должны были дожидаться новыхъ народовъ. У Плинія есть напряженіе описательнаго фазиса науки, но нѣтъ напряженія теоретическаго. И если оно обнаруживается впервые, то только въ XVII и XVIII вѣкѣ, а именно: по анатоміи растений—не раньше Мальпигія и Грю въ XVII столѣтіи, а по физиологіи—не раньше Жоффруа, Вальяна, Ла-Гира, и, въ особенности, де-Галъ въ XVIII столѣтіи. Наконецъ кристаллографія также не можетъ быть возводима дальше какъ въ XVII вѣкѣ, т. е. къ Николаю Стено, впервые возвѣстившему законъ неизмѣнности кристаллическихъ угловъ при всей измѣнчивости реберъ,—законъ, окончательно подтвержденный потомъ Доминикомъ Гульемини, въ 1707 году. Подраздѣленія *естественной исторіи* суть слѣдующія четыре: минералогія, ботаника, зоологія и геологія. Первые три составляютъ естественную исторію въ пространствѣ; послѣдняя одна—естественную исторію во времени. Пространственная естественная исторія, послѣ своего описательнаго направленія, обнаружила свое напряженіе теоретическое прежде всего порывомъ къ классификаціи, къ систематикѣ. Вся новая исторія затрачена ею на попытки именно этого рода, такъ что зоологія, ботаника и минералогія даже прослыли подъ именемъ классификаторскихъ наукъ. Животныхъ, растения и минералы дѣлили и подраздѣляли по всевозможнымъ ихъ признакамъ. И въ попыткахъ этого дѣленія и подраздѣленія перещеголяла всѣхъ опять таки зоологія, а отстала наибольше опять таки минералогія. Тогда какъ Кювье добился того, что по одному ископаемому остатку животнаго въ состояніи былъ возстановлять всю структуру его,—минералогіи и до сихъ поръ никакъ не могутъ достигнуть, чтобы всѣ ихъ классификаціи по признакамъ геометрическимъ, физическимъ и химическимъ совпали между собою. А между тѣмъ окончательная классификація требуетъ, чтобы вся естественная исторія въ пространствѣ совпала еще со всею во времени, т. е. съ признаками геологическими. Естественный генезисъ бытія и жизни, свидѣтельствуемый систематичностью его, долженъ быть, сверхъ того, засвидѣтельствованъ еще и хронологичностью его. Всего же этого придется ждать очень долго, такъ что если теоретическій фазисъ этихъ наукъ отождествлять съ этимъ успѣхомъ ихъ, то пришлось бы ждать самаго конца ихъ исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, истинная класификація можетъ быть только вѣнцомъ естественно-историческаго знанія; до тѣхъ же поръ она, по необходимости,

должна будетъ поминутно совершенствоваться съ каждымъ новымъ расширеніемъ знаній, но поминутно также оставаться и недостаточною при всякомъ пробѣлѣ въ знаніяхъ. Классификація есть скорѣе показатель, градусникъ этого знанія, подводящій ему итогъ въ каждую минуту, чѣмъ самое знаніе. А потому по ней судить о началѣ теоретическаго фазиса нѣтъ никакой возможности: она была всегда вѣрнымъ итогомъ знанія, даже и въ его описательномъ періодѣ, когда растенія, напримѣръ, раздѣлялись на деревья, кустарники и травы. Нынѣ же принятая классификація, зоологическая—Кювье, ботаническая—Линнея и минералогическая—Берцелиуса или Наумана, приняты не потому что онѣ совершенны, а потому что менѣе несовершенны, чѣмъ всякая другая. И всякій новый видъ, всякое новое открытіе въ наукѣ неминуемо будетъ перетасовывать ихъ заново. И такъ, чтобы опредѣлить искомый нами возрастъ науки, надо обратиться скорѣе къ тѣмъ ея истинамъ, которыя не такъ подвижны, какъ истина классификаціи. А такія лежатъ только въ области морфологіи. Въ морфологіи же нѣтъ никакой, болѣе ранней теоріи изъ числа позитивныхъ, какъ гетевская теорія метаморфозъ. Для растительной морфологіи Гете установилъ ее въ 1790 году, для животной—въ 1795. Онъ впервые указалъ, что прицвѣтники, чашелистики, лепестки, тычинки, пыльники, завязи, столбики, рыльца, плодъ, сѣмя—суть не что иное, какъ послѣдовательныя метаморфозы одного и того же листка. Онъ первый же, вслѣдъ за тѣмъ, открылъ, что и черепъ животного сводится на простые позвонки и, вообще, что есть общій остеологическій типъ, къ которому можно свести всѣ скелеты. Оба эти открытія не были уже такими переходящими, какъ та или другая классификація, и обѣ остались въ наукѣ на-всегда. Оба они дали такой толчокъ къ новымъ теоріямъ, что въ настоящее время наука достигла уже до сознанія и такихъ метаморфозъ, какъ установленныя Дарвиномъ. Но если такъ, то естественная исторія, очевидно, новѣе, чѣмъ предшественница ея—химія и чѣмъ совмѣстница ея—біологія.—Наконецъ, первый ясный и точный законъ въ геологіи установленъ не ранѣе Вернера, т. е. не ранѣе 1787 года. Идея первичной, вторичной и третичной формаціи сновала и до него, но онъ впервые далъ ей вполне научное основаніе, установивъ послѣдовательность тавихъ породъ, какъ гранитъ, слюдяной сланецъ и глинистый сланецъ. Кювье къ этому минералогическому признаку

формацій привнесъ еще органическіе,—и геологія окончательно основана, какъ наука.

До какой степени объ эти науки естественно и нечувствительно ведутъ къ слѣдующей парѣ, къ біологіи и соціальной исторіи, видно изъ слѣдующихъ, напимѣрь, результатовъ естествовѣдѣнія. Біологія своими идеями организаціи, органовъ, функций сдѣлалась настоящей азбукой соціальныхъ наукъ, безъ которой онѣ были бы вовсе невозможны. Естественная исторія своими понятіями происхожденія, метаморфозы, прехожденія положила другое такое же элементарное основаніе обществовѣдѣнію. Мало того, получилось и множество болѣе частныхъ обобщеній, которыя могутъ служить новыми кирпичами для будущаго знанія. Таковы, напимѣрь, законъ наслѣдственности, законъ борьбы за существованіе, подбора родичей, приспособленія къ окружающей средѣ и т. п. Съ другой стороны, разившись до геологіи, естественная исторія доросла до такой исторіи естества, которая совсѣмъ оставляетъ всю, до сихъ поръ единственную, сцену науки,—пространственную, и переходитъ на другую, совсѣмъ новую,—сцену времени. Исторія же естества во времени естественно подготавливаетъ и всякую другую исторію, основанную на хронологіи еще болѣе точной, чѣмъ геологическая. По мѣрѣ же этого сближенія и самыя обобщенія прежней науки начинаютъ быть почти общими какъ ей, такъ и будущей, новой исторіи. Такъ, напимѣрь, Александръ фонъ-Гумбольдтъ, отправляясь съ чисто-геологической точки зрѣнія, устанавливаетъ, однакожь, такой принципъ, который ровно на столько же есть и соціологическій. А именно: всѣ геологическіе переходы отъ формаціи къ формаціи совершаются главнымъ образомъ не внезапно и не рѣзко, а постепенно и почти незамѣтно. Это не катастрофы, не потоппы, не землетрясенія и изверженія, а просто ежедневный, но многовѣчный процессъ просачиваній, вывѣтриваній, размываній, осажденій, отложеній, напластованій. Другое подобное же обобщеніе геологіи состоитъ въ томъ, что чѣмъ дальше опускаемся въ глубь земли, тѣмъ органическая жизнь все больше и больше исчезаетъ и, при томъ, въ извѣстной постепенности родовъ и видовъ. Въ третичной формаціи имѣются еще всѣ виды и роды животныхъ, какіе существуютъ теперь. Во вторичной, и именно въ самыхъ верхнихъ слояхъ ея, въ мѣловыхъ пластахъ и краснаго песчаника, нѣтъ уже млекопитающихъ; въ каменно-угольномъ и девонскомъ пластвѣ нѣтъ и пресмыкающихся; а въ нижней части

силурийскихъ камней нѣтъ даже рыбъ, и есть одни моллюски, чешуекожыя и зоофиты. Читая все это, можно подумать, что геологія имѣла въ виду и всю исторію цивилизаціи, съ ея неизмѣнностью переходовъ изъ одного состоянія въ другое, съ ея преемственностью системъ вѣрованія, философствованія, изученія, съ тѣмъ большимъ богатствомъ интеллектуальной жизни, чѣмъ ближе къ нашимъ эпохамъ, и тѣмъ большей бѣдностью ея, чѣмъ дальше отъ нихъ. Словомъ, естествознаніе въ концѣ концовъ дозрѣло до того, что волей-неволей вынашиваетъ въ себѣ эмбрионъ новаго знанія и, при томъ, въ обѣихъ его формахъ: статической и динамической. Но гдѣ же это новое знаніе и, при томъ, въ обѣихъ его видахъ? гдѣ эта наука общества, которая къ тому же развѣтвлялась бы, съ одной стороны, въ науку сосуществованія, а съ другой—въ науку преемственности? есть ли уже такая наука, или она еще одно великое чаяніе? Нельзя сказать, чтобы ея вовсе не было. Огромное большинство частей или сторонъ ея остается, конечно, только въ возможности; но нѣкоторыя, хотя и очень немногія, имѣются, одна-кожъ, на лицо. Онѣ не настолько еще популярны, чтобы, при одномъ намекѣ на нихъ, читатель уже угадалъ ихъ имена; но тѣмъ не менѣе это суть: статистика и географія. Въ учебникахъ нашихъ, въ школьномъ своемъ состояніи, онѣ остаются пока еще съ характеромъ чисто описательныхъ, номенклатурныхъ наукъ; но въ трудахъ Кетле и Риттера онѣ пробуютъ стать позитивно-теоретическими. Равнымъ образомъ въ учебникахъ племенъ и языковъ также нѣтъ еще ничего, кромѣ собственныхъ именъ этихъ предметовъ; но въ такихъ работахъ, какъ Брокá и Макса Мюллера, слышится уже близость и другихъ двухъ наукъ, антропологіи и лингвистики. И такъ, та половина науки, которая можетъ быть названа статикою, и которая должна соответствовать идеямъ сосуществованія, солидарности, находится, по крайней мѣрѣ, въ горнилѣ. У нея есть уже и имя: это—*соціологія*.—Но та, которая имѣетъ быть соціальною динамикою, которая должна отвѣчать идеямъ послѣдовательности, преемственности, прогресса, еще и не пробуетъ почти выбиваться изъ своего чисто-фактическаго періода. *Исторія*, будетъ ли то исторія религіи, философіи, науки, или исторія искусства, экономіи, политики, права, или исторія нравовъ, обычаевъ, преданій, каждый разъ не избѣгаетъ двухъ крайностей: или простаго собиранія сырого матеріала (періодъ описательный), или же если

вдается въ обработку его, въ обобщеніе, то непремѣнно всеобъемлющее, расплывающееся (философскій періодъ). Таковъ, напри-
мѣръ, Бунзенъ съ его идеею сознанія божества въ исторіи, Ло-
ранъ—съ его провиденціализмомъ, Рюккертъ—съ его игрою сво-
боды и необходимости, Лацарусъ—съ его осуществленіемъ идеи че-
ловѣчества, Лазо—съ его возрастами человѣчества и т. п. Другіе
же, которые сознавъ этотъ недостатокъ, и сами третируя совре-
менную исторію или какъ философію, или какъ „простыя картинки“,
задаются „механикою общества, народною фізіологіею, психоло-
гіею общественною“ и т. д., оканчиваютъ, однакоже, тѣмъ, что въ
свою очередь разрѣшаются или однѣми картинками, или одною фи-
лософіею, какъ случилось это съ Лоще, Лебелемъ, Генне-ам-Ринъ
и др. Въ какомъ-то плохо скрытомъ отчаяніи, они сами заклю-
чаютъ, что исторія есть скорѣе искусство, чѣмъ наука, что это
есть какое-то „божественное стихотвореніе“ и если, при этомъ, за-
трудняются, то лишь сомнѣніемъ: „драма ли оно, эпосъ или лира“. На-
конецъ, третій сортъ современныхъ историковъ, хотя не доволь-
ствуется уже одной фактичностью, и хотя убѣгаетъ также абсо-
лютныхъ обобщеній, и тѣмъ какъ бы становится посрединѣ между
двумя первыми, все-таки не приближается къ научности по другой
причинѣ. Причина эта—субъективность. Факты здѣсь нанизываются
на ту или другую политическую идею, то либеральную, то консер-
вативную, и этимъ путемъ производятъ памфлетъ, публицистику, но
не науку. Единственное исключеніе изъ всѣхъ этихъ трехъ хоровъ
составляютъ до сихъ поръ только Контъ, Бокль, Литтре и Спен-
серъ. Но за то же и встрѣча, какая сдѣлана имъ міромъ, и въ осо-
бенности отечествомъ учености—Германіею, вовсе не изъ тѣхъ,
какія ободряли бы къ подражанію имъ. Разные Дройзены, Юрге-
ны-Бона-Мейеры, Лораны только выходятъ изъ себя при именахъ
этихъ писателей, только истощаются въ колкостяхъ противъ нихъ,
и прямо причисляютъ ихъ къ „обитателямъ желтыхъ домовъ“, а
творенія ихъ—къ „выпотѣніямъ больного мозга“. Вотъ положеніе
динамической части науки въ текущую минуту. И такъ остается,
во всякомъ случаѣ, несомнѣннымъ, что начатки какъ соціологіи, такъ
и исторіи никакъ не древнѣе XIX столѣтія и что между ними, въ
свою очередь, соціологія, очевидно, старше чѣмъ исторія.

Изъ всего этого сопоставленія хронологическихъ данныхъ по
исторіи положительнаго знанія обнаруживается, въ какомъ именно

смыслѣ вѣрна іерархіа Конта. Если разсматривать цѣлыя пары наукъ, то между ними нѣтъ строгой преемственности и послѣдовательности: по крайней мѣрѣ, тутъ есть исключенія. Но когда станемъ слѣдить одинъ абстрактный рядъ наукъ или одинъ конкретный, то правильность этой послѣдовательности удостовѣряется точными хронологическими данными. Кромѣ того, въ каждой отдѣльной парѣ абстрактный членъ ея оказывается непремѣнно древнѣе своего конкретного, непремѣнно предшествуетъ ему.

Читатель видитъ, что все до сихъ поръ изложенное въ этой книгѣ, что вся эта исторія цивилизаціи есть не что иное, какъ примѣненіе и развитіе теорій Конта о цивилизаціи (въ 52-й, 53-й и 54-й лекціяхъ его курса). Но такъ какъ мы хотѣли, при этомъ, освободить ихъ отъ тѣхъ упрековъ, которые и сами считаемъ справедливыми, то отсюда и возникли всѣ тѣ отступленія отъ этихъ теорій, какія въ нашемъ изложеніи допущены. Существеннѣйшими изъ этихъ упрековъ были слѣдующіе. Всю силу Конта составляютъ три его гипотезы: тройное состояніе ума (теологическое, метафизическое, позитивное), іерархіа наукъ (т. е. генетическая классификація ихъ), и его методологія. Противъ первой изъ этихъ гипотезъ возражали, что три способа объясненія міровыхъ явленій во все не такъ абсолютны въ исторіи, какъ утверждаетъ Контъ, и что всѣ они часто смѣшиваются и сливаются. Контъ очень хорошо зналъ это и самъ, и самъ говорилъ объ этомъ; но такъ какъ онъ не указалъ случаевъ и мѣръ этого смѣшенія, то тѣмъ и не предотвратилъ упрековъ. Только что исполненное нами изложеніе его закона старалось предупредить эти упреки тѣмъ, что повсюду указывало тѣ переходные моменты, гдѣ предыдущее еще не исчезло, а послѣдующее не вполне еще наступило. Такимъ образомъ, мѣрѣ сліяній и отождествленій отведено подобающее мѣсто, но съ тѣмъ, чтобы показать, что они нисколько не препятствуютъ особности трехъ состояній и, слѣдовательно, правильности закона. Если же кто-нибудь пожелалъ бы такой особенности явленій въ исторіи, какую онъ видитъ въ геометріи, или въ химіи, или въ минералогіи, гдѣ на мѣстѣ одного предмета никакъ не можетъ стоять въ то же время другой, то такой отдѣльности въ нашей наукѣ онъ никогда не дождется, какъ и во всей вообще органиче-

свой, гдѣ никакою точною линією біологъ не сможетъ отдѣлить младенчество отъ дѣтства, ботаникъ—растеніе отъ минерала, геологъ—палеозойскую формацію отъ оолитовой. Въ исторіи, больше тѣмъ въ какой бы то ни было наукѣ органическихъ явленій, всѣ періоды еще глубже входятъ одинъ въ другой, еще плотнѣе одинъ другимъ взаимно проникаются, такъ что на каждомъ почти мѣстѣ, рядомъ со всякимъ послѣдующимъ періодомъ, можно отыскать слѣды и всѣхъ предыдущихъ. Вся задача здѣсь состоитъ только въ правильной оцѣнкѣ господствующихъ, выживающихъ теченій и движеній, сравнительно съ отживающими и отжившими. Требовать большаго значило бы требовать невозможнаго и неумѣстнаго. Упрекъ другому закону, классификаціи, состоящій въ несоотвѣтствіи его будто бы съ фактами, мы старались устранивъ, отчасти точными данными хронологіи, отчасти же извѣстнымъ способомъ пониманія самой идеи науки. Что касается методологическаго закона, то ему еще не было мѣста въ нашемъ изложеніи, а потому объ немъ и говорить мы здѣсь не будемъ. А что касается четвертаго и самаго капитальнаго возраженія, относящагося до всей вообще теоріи Конта во всей ея цѣлости, то это есть единственное, которое заслуживаетъ подробнаго обсужденія. Говорятъ, и говорятъ совершенно основательно, что историческая теорія Конта такова, что у нея не остается никакого мѣста для будущаго, что это есть теорія только прошедшаго, какъ будто бы жизнь человѣчества оканчивалась современнымъ мыслителю поколѣніемъ. И дѣйствительно, Контъ провелъ человѣчество уже по всѣмъ тѣмъ состояніямъ, какія теорія его предполагаетъ, а именно: по фетишизму, политеизму, монотеизму, метафизичности и позитивизму. Монотеизмъ окончился у него вмѣстѣ съ XV вѣкомъ нашей эры; метафизичность продолжалась съ XV по XVIII вѣкъ; теперь же, въ XIX вѣкѣ, настало царство позитивизма. При Контѣ, родъ человѣческій достигъ уже этой послѣдней стадіи, вѣнца своего развитія, такъ что дальше идти ему некуда: остается только развѣ закрѣплять свой позитивизмъ, и это именно созданіемъ соціальной науки, которая, по Конту, и есть послѣдняя, есть высшее проявленіе позитивизма. Впрочемъ, такъ какъ и самая эта наука уже создана Контомъ и весь циклъ наукъ, слѣдовательно, завершился, то остается собственно только всю науку обратить въ позитивную философію. А такъ какъ и это успѣлъ сдѣлать уже самъ Контъ, и какъ на популяризацію этой философіи пойдетъ не больше 30 лѣтъ,

т. е. жизни одного поколѣнія; то для другаго слѣдуетъ приготовить уже позитивную религію и тѣмъ завершить исторію прогресса, чѣмъ, подѣ конецъ жизни своей и своего здоровья, великій мыслитель и занялся снова самъ. Такимъ образомъ, тотъ самый человѣкъ, который все достоинство науки видитъ въ ея способности къ предсказанію, свою собственную науку оставилъ не только безъ всякой такой возможности, но даже безъ всякихъ претензій на эту способность. Рациональнаго искусства, служащаго вѣнцомъ всякой дѣйствительной научности, у его науки нѣтъ и быть не можетъ. Все это составляетъ, конечно, положительную и весьма существенную ошибку. Всякая теорія прошедшаго совершенно ничтожна, если изъ нея не вытекаетъ никакой теоріи будущаго. При такой незаконченности, нѣтъ никакой возможности ни провѣрить, ни оцѣнить и самую теорію прошедшаго. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, упрекъ, относимый къ этой ошибкѣ, превосходитъ самую ошибку. Полагаютъ, что она равбиваетъ всю теорію Конта, что она ниспровергаетъ все зданіе, съ такимъ трудомъ возведенное имъ. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, она обличаетъ не теорію Конта, а только то примѣненіе ея къ фактамъ, какое сдѣлано самимъ авторомъ ея; при иномъ же примѣненіи теорія не только уцѣлѣваетъ, но не теряетъ изъ себя ни одной іоты. Есть и фетишизмъ, и политеизмъ, и монотеизмъ; есть вѣкъ метафизики; есть вѣкъ позитивизма; есть и неоспоримая послѣдовательность между ними во всемірной исторіи: но все это надо только иначе приложить къ ней. Контъ и прилагаетъ въ началѣ совершенно правильно; но только подѣ конецъ этого приложенія сбивается. Фетишизму у него отводятся, какъ и слѣдуетъ, времена доисторическія; политеизму—вся древняя исторія всего государственнаго человѣчества съ его востокомъ и западомъ; начиная же съ монотеизма, о человѣчествѣ Контъ забываетъ, а помнитъ только о западной Европѣ, и всѣ частныя эволюціи этой послѣдней принимаетъ за всеобщую эволюцію перваго; относительные фазисы одной принимаетъ за абсолютныя другого. Западная Европа, католическая, дѣйствительно пережила свой монотеизмъ, и пережила его въ XV вѣкѣ; она дѣйствительно пережила и свою метафизику въ концѣ прошедшаго и началѣ настоящаго столѣтія; она дѣйствительно вступила и въ свой вѣкъ позитивизма или, точнѣе, научности, при чемъ этотъ періодъ научности ея дѣйствительно заявилъ себя

громче всего во Франціи, и именно въ лицѣ самого Конта, какъ основателя положительной соціальной науки. Мало того: въ собственной личности Конта соціальная наука дѣйствительно уже повела и къ философіи позитивной, и даже къ самой религіи позитивной. Но ни личность Конта, ни его отечество, Франція, ни даже весь вообще западъ Европы не тождественны еще съ человѣчествомъ, какъ не тождественъ съ нимъ ни древній міръ, ни доисторическій. Каждый изъ нихъ есть только часть, но не цѣлое. Между тѣмъ, Контъ, по мѣрѣ того какъ приближался къ своему времени, терялъ сознаніе перспективы исторической; предметы, по мѣрѣ приближенія къ глазу, выросали предъ нимъ больше и больше, увеличивались въ объемѣ своемъ, такъ что онъ и кончилъ тѣмъ, что часть принялъ за все цѣлое, и весь міръ божій увидѣлъ въ одномъ своемъ околоткѣ. Вслѣдствіе этого, у него и вышла крайняя непропорціональность, несоразмѣрность его періодовъ во всевозможныхъ отношеніяхъ. Такъ, въ хронологическомъ отношеніи, многотысячелѣтнему періоду его фетишизма и такому же періоду политеизма соответствуетъ у него періодъ монотеизма всего въ 1000 лѣтъ, періодъ метафизичности всего въ 300 лѣтъ, а періодъ позитивизма даже въ 33 года. Такъ, въ соціологическомъ отношеніи, его фазисъ фетишизма разыгрывается безчисленнымъ множествомъ доисторическихъ племенъ; фазисъ политеизма осуществляется многочисленною группою государственныхъ народовъ отъ индійцевъ до римлянъ. Что же касается монотеистическаго періода, то онъ весь воплощается уже въ одной западной Европѣ, съ прибавленіемъ развѣ только арабовъ; метафизическій ограничивается тою же западною Европою, безъ всякаго прибавленія; позитивный, т. е., вѣриѣ, соціально-научный, стѣсняется въ одной Франціи и, наконецъ, собственно позитивный, съ его точною философіею и точною религіею, отбывается въ одной собственной особѣ Конта. Конденсируя свое человѣчество все пуще и пуще, Контъ ованчиваетъ тѣмъ, что сосредоточиваетъ его въ собственной своей личности и періоды собственного развитія и творчества принимаетъ за періоды и за творчество всего человѣчества. Такъ, наконецъ, въ историческомъ отношеніи, при началѣ своихъ примѣненій, философъ весьма справедливо выжидаетъ, пока весь предыдущій умственный режимъ истощится

со всѣми его родами и видами и пока послѣдующій режимъ цивилизации, напротивъ, начнетъ выживать во всемъ изобиліи своихъ родовъ и видовъ. Такъ, онъ обозначаетъ смѣну фетишизма политеизмомъ и политеизма монотеизмомъ. Но когда доходитъ очередь до смѣны монотеизма метафизичностью и метафизичности позитивизмомъ, онъ знать не хочетъ ни о какихъ другихъ родахъ и видахъ ихъ, кромѣ католическаго, западно-европейскаго, французскаго, своего личнаго. Ни Америка, ни славянскій міръ для него не существуютъ, хотя они и не сказали до сихъ поръ не только своего послѣдняго, но даже своего перваго слова, и не только въ метафизикѣ или позитивизмѣ, но даже въ монотеизмѣ. А какія-нибудь будущія общества существуютъ для Конта еще меньше. Онъ знаетъ только l'Occident européen, la grande république occidentale, l'élite de l'humanité. Какъ Гегель оканчивалъ всю исторію человѣчества германцами, такъ Контъ ограничиваетъ ее романцами, если еще не одними французами. Словомъ, какъ ни высоко научное безпристрастіе флософа, но волей-неволей въ абстрактномъ мыслителѣ все-таки сказался конкретный и католикъ, и романецъ, и французъ. За эту-то романскую гордость свою Контъ и наказанъ величайшею изъ своихъ ошибокъ. Всякій русскій историкъ-соціологъ долженъ увидѣть въ этомъ себѣ предостереженіе. Онъ долженъ извлечь изъ него, по крайней мѣрѣ, ту выгоду, чтобы оставить себѣ только свои собственные ошибки, не повторяя, по крайней мѣрѣ, чужихъ. Онъ долженъ напередъ уже помириться съ мыслью, что и его собственное отечество далеко еще не послѣднее звено въ цѣпи человѣчества, что оно пройдетъ также, какъ прошли уже столько чужихъ, и что на его прахѣ заживутъ еще многія новыя жизни. Но, повторяемъ, ошибка Конта состоитъ только въ примѣненіи, а никакъ не въ самой теоріи, и всецѣло исправляется также однимъ лишь примѣненіемъ, а не передѣлкою самой теоріи. Достаточно только раздвинуть періоды Конта на цѣлыя тысячелѣтія, на новыя терригоріи, на новыя массы грядущихъ народовъ, достаточно распределить по всей будущей исторіи все, что Контъ сдвинулъ и стѣснилъ въ одномъ и томъ жѣ фокусѣ (какъ мы и старались сдѣлать это), и ошибка примѣненія будетъ, по нашему мнѣнію, исправлена, а истинность теоріи возвратитъ себѣ и всю способность къ предсказанію (какъ мы и постараемся показать сейчасъ). Что же касается самой теоріи, то здѣсь если и нужна какая-либо поправка, то развѣ

лишь относительно фазиса позитивной философии и фазиса позитивной религии, что и будет сделано нами в нижеследующей логике цивилизации.

Логика цивилизации.

Во всякой другой науке достаточно одного правильного обобщения наблюдаемых фактов для того, чтобы истина могла считаться уже достигнутою. Если угол падения во всех наблюдаемых случаях бывает равен углу отражения, то ничего больше и не нужно для доказательства этого закона. Лишь бы не было исключений, или они объяснялись бы другим таким же правилом,—и все дело сделано. Не таково положение социальной науки, а в том числе и политической истории. Здесь одно обобщение совершившихся до сих пор фактов ничего еще не значит, ибо если оно не опровергается до сих пор ни одним исключением в прошедшем, то кто же поручится, что оно не опровергнется тысячами исключений в будущем. Так наблюдатель, помещенный на точку зрения Аристотеля и не видевший фактов христианской цивилизации, имел полное право, в силу одних обобщений его прошедшего и его настоящего, заключать, что рабство есть учреждение вечное, неотделимое от общезжития,—и ни одно исключение не могло еще тогда опровергнуть его. Между тем, теперь эта истина Аристотеля оказалась ложью. В чем же состоит разница в обоих случаях обобщений, и в чем средство против ошибок во втором из них? Разница здесь та, что в первом случае, физическом, никаких иных причин, кроме физических же, одинаковых на всяком месте и во всякое время, не существует. Ни предыдущее состояние лучей, ни тем более воля или сознание их, не имеют здесь никакого места и не могут отклонять направление их падения или отражения ни в каком случае. Во всяком же общественном примере, таких причин всякого обобщенного факта бывает множество, и именно: во первых, непременно какая-либо из причин природы, причин естественных, обусловивших такое или иное построение и отправление общественных организмов, как это и старался обнаруживать Бокль; во вторых, какие-нибудь причины общественные, т. е. какие-нибудь свойства предшествовавшего или текущего построения и отправления обществ, как это и старался, например, обнаруживать Гизо; и,

наконецъ, въ третьихъ, та или другая изъ причинъ психологическихъ, т. е. участіе тѣхъ или иныхъ интересовъ, чувствъ, страстей, вождѣлнй, способностей ума. Нѣтъ въ общежитіи ни одного факта, который бы не былъ результатомъ причинъ этого троякаго рода, такъ что если не достаеъ какой-нибудь одной изъ нихъ, то и самый фактъ воспослѣдовать не можетъ. Такъ, на примѣръ, если имѣются на лицо необходимыя причины естественныя для того, чтобы воспослѣдовало богатство, если имѣются и общественныя причины для той же цѣли, но нѣтъ причинъ психологическихъ, нѣтъ предпринимателей, нѣтъ умѣнья взяться за дѣло,—то и самый фактъ богатства не воспослѣдуетъ. Или, наоборотъ, есть на лицо и психологическія условія, и общественныя, но нѣтъ природныхъ, нѣтъ берега, удобной почвы, и т. п., не будетъ и богатства. Есть, наконецъ, и необходимая природа, и необходимыя личныя условія, но нѣтъ общественнаго—свободы труда;—богатства опять нѣтъ какъ нѣтъ. А потому и всякое соціологическое обобщеніе фактовъ, для того, чтобы сдѣлаться непреложнымъ, должно сопровождаться такимъ же обобщеніемъ причинъ его и всей измѣнчивости ихъ и, при томъ, непременно всѣхъ трехъ сортовъ. Недостатокъ хоть одного изъ трехъ родовъ причинъ дѣлаеъ и самое обобщеніе фактовъ не вполне доказаннымъ и оставляетъ его на степени только вѣроятности, правдоподобности. Вовсе же не сопровождать обобщеніе фактовъ обобщеніемъ причинъ ихъ значило бы еще больше подвергаться опасности обманчивыхъ наведеній, какъ это и случилось съ Аристотелемъ. Еслибъ великій философъ могъ дать себѣ отчетъ въ троякихъ причинахъ наблюдаемаго имъ всеобщаго факта рабства, то онъ и не впалъ бы въ свою ошибку. Онъ увидѣлъ бы, что ни одна изъ этихъ причинъ не имѣетъ характера непреходимости, что каждая изъ нихъ можетъ со временемъ измѣниться и что, слѣдовательно, если исчезнутъ всѣ, то исчезнетъ и самое рабство, какъ ихъ послѣдствіе. Мало того, онъ могъ бы тогда увидѣть, какія новыя причины имѣютъ наибольше шансовъ настѣдовать прежнимъ, и отсюда могъ бы заключать, и какое новое явленіе имѣетъ стать на мѣстѣ рабства. Словомъ, на каждомъ шагѣ соціальной науки предстоитъ доказывать не только, что такъ было, но что такъ именно и должно было быть и что иначе быть не могло. Какова бы ни была обширность и тщательность историческихъ наведеній, но она удовлетворитъ только первой цѣли, второй же можетъ удовлетворить лишь разысканіе при-

чинъ. А такъ какъ всѣ три возможныя причины могутъ быть сведены въ двѣ категоріи: независящихъ отъ ума и воли (каковы природа и прежнія общественныя условія) и зависящихъ отъ нихъ (каковы: текущіе идеалы и вождѣнія челоуѣчества); то въ концѣ концовъ и предстоитъ каждый разъ доказать, съ одной стороны, необходимость явленія, съ другой, его разумность. На этой-то истинѣ основано и великое изреченіе Гегеля, непонятое до сихъ поръ и до сихъ поръ возбуждающее лишь сарказмы. Между тѣмъ, если всякое дѣйствительное явленіе могло произойти лишь тогда, когда сошлись всѣ для него причины; то развѣ не правда, что все дѣйствительное въ исторіи было вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимо (конечно, лишь временно и мѣстно)? И съ другой стороны, если ни одинъ фактъ общезитія не можетъ истекать изъ однихъ причинъ естественныхъ и соціальныхъ, безъ всякаго участія психическихъ, личныхъ; то не очевидно ли, что все необходимое, вмѣстѣ съ тѣмъ, и разумно? Но политическія партіи, не понявъ истины, обратили это въ вину Гегелю. Предполагалось, что если всякая дѣйствительность и необходима, и разумна, то всякій протестъ противъ нея и не нуженъ, и не разуменъ (какъ будто протестъ не есть уже дѣйствительность, а слѣдовательно та же необходимость и та же разумность!). Какъ бы то ни было, но всю нашу группировку фактовъ предстояло бы теперь оправдать такою же группировкою причинъ ихъ, т. е. доказать, съ одной стороны, природную и общественную необходимость ихъ, а съ другой—ихъ психологическую разумность. И, при томъ, такимъ тройнымъ забраломъ предстояло бы снабдить нашу исторію цивилизаціи дважды: разъ—по отношенію къ явленіямъ прогресса, динамичности, повременности, другой разъ—по отношенію къ явленіямъ солидарности, статичности, современности...

Но двѣнадцать лѣтъ, затраченныхъ на этотъ трудъ, потребовали бы новыхъ двѣнадцати, если бы надо было собирать данныя всѣхъ этихъ трехъ сортовъ и, при томъ, въ двухъ различныхъ направленіяхъ. А потому: опасности вовсе не окончить трудъ пришлось предпочесть лучше неполноту его. Пришлось еще разъ укоротить рамки труда и отказаться отъ изученія причинъ естественныхъ и общественныхъ и провѣрки ими произведенныхъ наблюденій, тѣмъ больше, что пути для такихъ провѣрокъ уже указаны отчасти Боклемъ и даже еще Монтескье, отчасти Контомъ и даже Гизо. При-

шлося ограничиться только сводомъ, да и то лишь поверхностнымъ, причинъ психологическихъ, оправдывающихъ удержанныя нами наведенія, и, въ данномъ случаѣ, причинъ логическихъ, какъ ближе всего относящихся къ цивилизаціи, и которыя по этому и названы здѣсь логикою ея.

Нѣтъ ли, однакожъ, внутренняго противорѣчія въ этой попыткѣ объяснять общественные факты психологическими причинами, тогда какъ сами же мы признали, что психологіи, какъ науки, еще нѣтъ. Но если нѣтъ ея какъ науки, то есть она какъ искусство, какъ умѣнье, о которомъ говорено у насъ въ своемъ мѣстѣ. Безъ этого искусства невозможны были бы никакія сношенія между людьми и какое-нибудь взаимодѣйствіе ихъ другъ на друга. А потому на эту-то психологію разсчитываемъ мы и въ предстоящей логикѣ. Подсказать, что логично и что не логично, и даже почему то и почему другое, можетъ она и безъ науки. А потому есть возможность и логики соціальной. Мы подраздѣлимъ ее здѣсь на динамическую и статическую или: 1) логику прогресса, 2) логику солидарности.

1.

Почему прогрессія цивилизаціи начинается религіей, продолжаетъ философіей и оканчивается наукой? почему не какъ-нибудь иначе, не наоборотъ напимѣръ? Казалось бы, что гораздо проще было бы начать съ познаваемаго, чѣмъ съ непознаваемаго, скорѣе съ естественнаго, чѣмъ сверхъестественнаго, словомъ, съ науки, а не съ религіи!

Не затрогивая ни причинъ природы, развивавшихъ у дикаго человѣка воображеніе преимущественно предъ иными способностями, ни причинъ общественныхъ, производившихъ крайнюю беспомощность человѣка передъ природою, и ограничивая нашъ отвѣтъ на вопросъ исключительно психологическою точкою зрѣнія, мы должны прежде всего отдать себѣ отчетъ въ томъ, что такое религія съ этой точки зрѣнія. Съ естественной точки зрѣнія, она есть За-вѣтъ, союзъ человѣчества съ божественностью, естественнаго съ сверхъестественнымъ; съ общественной—она извѣстное учрежденіе общежитія, Церковь; съ логической же, это ни больше, ни меньше, какъ извѣстная система Знанія, точно также, какъ и философія, и наука. Разница только въ томъ, что это типъ знанія первичный, самый непосредственный. Это—способъ мышленія образами, а не отвлеченіями, не мыслями; тогда какъ философія

мыслить исключительно отвлеченіями; а наука — и тѣмъ, и другимъ способомъ. Религія есть система знаній конкретная, философія—абстрактная, а наука—конкретно-абстрактная. Въ такой разницѣ въ дѣятельности ума, въ отправленіяхъ его, присовокупляется и соотвѣтственная разница въ продуктахъ этихъ отправлений: религія производитъ систему Божествъ, философія — систему Сущностей, наука—систему Законовъ. Божество есть истина чисто-конкретная, сущность—чисто-абстрактная, законъ—абстрактно-конкретная. И такъ съ каковаго же изъ этихъ мышленій и продуктовъ ума естественнѣе всего было начать человѣку? По современной логикѣ выходитъ, что съ послѣдняго; по первобытной же логикѣ вышло, что съ перваго. Въ самомъ дѣлѣ, намъ не всегда возможно теперь сразу сѣзумѣть стать на точку зрѣнія первобытнаго человѣка; мы скоро забываемъ точки зрѣнія даже нашего собственнаго, личнаго дѣтства и предполагаемъ у дѣтей ту же логику, что у взрослыхъ, отчего и впадаемъ безпрестанно въ педагогическія ошибки. Логика же дикарей осталась позади насъ еще дальше и потому возстановлять ее еще труднѣе. И только благодаря множеству современныхъ наблюденій надъ дикарями, ученые могли придти къ заключенію, что для первобытнаго ума нѣтъ иного средства соединить представленіе о нѣсколькихъ особахъ въ одно общее, видовое представленіе, какъ отнести ихъ всѣ въ одному родоначальнику, въ отцу: нѣтъ для него ничего болѣе естественнаго, какъ именно сверхъестественное. Индивидуумы суть для него дѣти; видъ есть отецъ; родъ—дѣдъ; классъ, порядокъ, отдѣлъ, отрядъ, царство и, вообще, всякая высшая категорія есть прадѣдъ, прапрадѣдъ, пращуръ и, вообще, высшая степень родоначалія. Выше мы видѣли, что дикарь не можетъ понять ничего низшаго себя, не можетъ стать, такъ сказать, на точку зрѣнія бездушныхъ предметовъ, какъ мы теперь не можемъ становиться на его собственную точку зрѣнія. Мы видѣли, что если на него упалъ камень и придавилъ его, то онъ предполагаетъ, что это случилось по желанію, по волѣ, по злобѣ камня, какъ это случается съ самимъ дикаремъ,—и потому тотчасъ же старается задобрить враждебный предметъ, и дѣлаетъ его фетишемъ. Затѣмъ, въ добавленіе къ этому, мы видимъ, что и самую связь между вещами, ихъ связь по сходству и по различію, онъ совершенно послѣдовательно усматриваетъ также не въ чемъ иномъ, какъ въ ихъ родствѣ между собой, въ ихъ происхож-

деніи отъ общихъ отцовъ и дѣдовъ, въ воспроизведеніи дѣдами и отцами дѣтей и внуковъ. Однажды же, что нами поймана такая точка отправленія, мы можемъ уже добраться по ней, какъ по ниткѣ, до всѣхъ ея послѣдствій. Мы можемъ уже легко понять, что все первобытное познаніе міра должно было созидаться не въ иной формѣ, какъ формѣ генеалогіи, космогоніи, родословія міра. А эта форма и есть не что иное, какъ религія. Здѣсь долженъ быть конкретный родоначальникъ міра, будетъ ли то земля и небо, или царь боговъ, или творецъ вселенной; должны быть подъ нимъ полубоги, герои, патріархи, праотцы; должна быть исторія ихъ взаимныхъ отношеній и происхожденія другъ отъ друга; словомъ, должны быть миѳы и миѳологія, но никакъ не философія и не наука.

Но почему въ исторіи этого миѳическаго міровоззрѣнія первое мѣсто занимаетъ фетишизмъ, а не политеизмъ или монотеизмъ? Оставаясь на нашей исключительно логической точкѣ зрѣнія и продолжая разсматривать религію, какъ систему познанаія, надо предварительно уяснить, что такое есть фетишизмъ, въ качествѣ знанія. Это есть, очевидно, то положеніе человѣческаго ума, гдѣ онъ, по библейскому выраженію, впервые нарицаетъ Имена всей твари. Это эпоха созданія языковъ, какъ первѣйшей ступени ко всякому дальнѣйшему знанію. Какъ новорожденный, куда ни обратиться диваръ взоры свои,—все для него ново, все поразительно, все привлекаетъ вниманіе. Каждый камень, каждое растеніе, каждого звѣря, гору, лѣсъ и т. д., все это предстояло впервые пересмотрѣть, все замѣтить, все обозначить именемъ. И мы видѣли, что фетишизмъ это и дѣлалъ, и что такой пересмотръ природы доводилъ онъ до 20.000 предметовъ, какъ у негра, до 800.000, какъ у японца, до 330.000.000, какъ у индуса, и до безчисленнаго множества, какъ у китайца. Но связь языка съ миѳомъ, какъ однажды уже замѣчено, нерасторжима, такъ что, творя языкъ свой, человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ творитъ и миѳы свои. Всякое слово было у него богомъ и всякій богъ былъ слово. Всякое новое имя было тутъ и великимъ религіознымъ таинствомъ, и высокимъ актомъ мышленія, и блестящимъ научнымъ открытіемъ. А потому первая изъ всѣхъ системъ знанія и не могла быть иною, какъ фетишистскою. Она должна была быть изумленіемъ предъ новостью міра: отсюда богопочтеніе къ нему.

Перечетъ отдѣльныхъ предметовъ не можетъ, однакожъ, продолжаться безъ конца въ качествѣ одного пассивнаго перечета. Напротивъ, по свойствамъ человѣческаго ума, чѣмъ дольше продолжается такой перечень, тѣмъ чаще должны бросаться въ глаза сходства и разницы пересматриваемыхъ предметовъ. Другими словами, отъ наблюденія индивидуальностей умъ неминуемо переходитъ къ образованію Видовъ, родовъ и всѣхъ дальнѣйшихъ категорій предметовъ. А если онъ продолжаетъ, при этомъ, мыслить по прежнему конкретно, то вотъ и причина для образованія меньшаго числа божествъ, но гораздо высшихъ, чѣмъ прежнія, т. е. причина для перехода отъ фетишизма къ многобожію.

Однажды же вступивши, въ творчествѣ языка и міа, на путь Обобщеній, понятно, куда надо придти и каковъ долженъ быть послѣдній шагъ на этой дорогѣ. Очевидно, что это есть сведеніе всѣхъ видовъ въ роды, всѣхъ родовъ въ еще высшія категоріи, а этихъ послѣднихъ въ одну общую и всеобъемлющую. И если она продолжаетъ представляться все-таки лично, конкретно, то вотъ и естественное логическое побужденіе къ монотеизму. Такимъ образомъ, и по логикѣ всѣ три религіозныя метаморфозы также естественно порождаются одна изъ другой, и въ томъ же самомъ порядкѣ, какъ и по исторіи.

Одной вѣры въ истину, однакожъ, недостаточно. Какъ бы ни была глубока и искренна она, но рано или поздно, а уму захочется убѣдиться въ ней, доказать ее себѣ. Эта потребность, такъ сказать, Аргументаціи религіи и есть источникъ всей новой системы знанія, всей философіи, а именно философіи прежде всего религіозной, схоластики. Но попытка мотивировать вѣру, оправдать ее разумомъ, есть оружіе обоюдоострое. На этомъ пути всегда можетъ случиться, что разумъ то совпадетъ, то разойдется съ вѣрою. И вообще, коль скоро религіозное мышленіе пошло уже въ ходъ, оно можетъ разрѣшаться весьма различно. Радикальнѣйшими изъ этихъ различій а ргіогі могутъ быть три: или божественность распространится на весь міръ и совпадетъ съ нимъ (пантеизмъ), или же она совсѣмъ обособится отъ міра и противопоставится ему (теизмъ), или, наконецъ, она будетъ отвергнута и тамъ, и тутъ, и въ мірѣ, и внѣ міра (атеизмъ). Внѣ этихъ трехъ отвѣтовъ невозможенъ никакой четвертый, существенно новый, и всякій изъ претендующихъ на то будетъ клониться только въ сторону одного изъ

трехъ. А потому и не удивительно, если тѣ же три отвѣта даны и исторіею, какъ они напередъ даются логикою.

Удивительно развѣ только то, почему первымъ изъ такихъ отвѣтовъ исторія даетъ не иную философію, какъ пантеистическую. Но разгадку этого вопроса даетъ предыдущая система міровоззрѣній. Что такое философскій пантеизмъ, какъ не тотъ же фетишизмъ, но только упорядоченный и Интегрированный? Что тамъ было обожествленіемъ частныхъ вещей, вещей въ раздробь, то здѣсь становится обожествленіемъ ихъ оптомъ, во всей совокупности ихъ. А какъ фетишизмъ есть самое раннее изъ человѣческихъ міросозерцаній, то онъ раньше всѣхъ успѣваетъ и обработаться философски. Онъ прежде всѣхъ вызрѣваетъ до философіи, какъ прежде всѣхъ подсказанный ей религіею.

Далѣе, что такое философскій теизмъ, какъ не тотъ же политеизмъ, но только Систематизированный и законченный? Только нефилософствующій умъ, вставши на дорогу обобщеній, можетъ удовлетворяться ими пятью, шестью, десятью, двѣнадцатью; всякій же философскій непремѣнно долженъ дойти до трехъ, до двухъ и наконецъ до одного. А потому политеизмъ религіи и не можетъ иначе разрѣшаться въ философіи, какъ теизмомъ. Съ другой стороны, политеизмъ противопоставлялъ себя фетишизму, какъ религія общества религіи природы. Но развѣ теизмъ дѣлаетъ не то же, когда внѣшней и матеріальной божественности пантеизма онъ противопоставляетъ свою внутреннюю и идеальную? Пантеизмъ возводитъ въ божество всю объективность, теизмъ—всю субъективность. Бросаться изъ одной крайности въ другую прежде, чѣмъ съумѣть согласить и помирить ихъ обѣ,—это есть вѣчное и повсюдное свойство человѣческаго ума, дѣйствуетъ ли онъ въ религіи или въ философіи или даже въ наукѣ. А потому и за пантеизмомъ не могла слѣдовать никакая другая философія, какъ только теистическая.

Любопытнѣе всего логика атеизма. По видимому, онъ стоитъ въ полной оппозиціи съ религіознымъ монотеизмомъ и никакъ не можетъ образовать ему параллели. На дѣлѣ же онъ есть только своеобразное воспроизведеніе того. Монотеизмъ есть религія человѣка; но развѣ не къ человѣку же возвращается и атеизмъ, когда отказывается отъ всякой божественности, какъ пантеистической, такъ и теистической, и ограничивается только человѣчностью. Атеизмъ, отыскивая источникъ божествъ только въ умѣ человѣка, есть такая

же явная апотеоза человека, какъ и самъ монотеизмъ. Это тотъ же монотеизмъ, но только Субъективированный. А потому онъ также поздно и наступаетъ въ философіи, какъ тотъ въ религіи. Съ другой стороны, какая другая возможность примиренія остается философіи послѣ пантеизма и теизма, какъ не эта? Примиреніе положительное, которое усвоивало бы оба контраста, которое признавало бы бога и въ мірѣ, и внѣ міра, невозможно, потому что оно само себя разбивало бы; и такъ, остается принять только отрицательное, которое не признаетъ его ни тутъ, ни тамъ. Вотъ новая логическая причина, почему схоластическая философія можетъ и должна завершаться только атеизмомъ. И такъ, если естественна и логична была исторія религіи, то также естественна и также логична и исторія религіозной философіи, потому что послѣдняя идетъ по пятамъ первой.

Начавшись съ попытки подтвердить вѣру, первый фазисъ философіи оканчивается, такимъ образомъ, полнымъ, напротивъ, отрицаніемъ ея. Но если одной вѣрой умъ не въ состояніи былъ удовлетвориться, то онъ еще менѣе способенъ удовлетвориться однимъ отрицаніемъ ея. Отрицаніе есть отсутствіе знанія, а не дѣйствительное знаніе; оно могила творчества, а не колыбель его. Имъ можно успокоить себя на минуту, но никогда на долго. Отсюда неотклонимая потребность, когда вся прежняя система знаній стерта, обращена въ *tabula rasa*, потребность вписать на ней какое бы то ни было знаніе, но только положительное, а не отрицательное. А между тѣмъ, атеизмомъ своимъ философія въ то же время окончательно высвобождаетъ себя и изъ подъ ферулы религіи, приобретаетъ духъ независимости и тѣмъ получаетъ возможность сдѣлаться дѣйствительною философіею, основать дѣйствительно новый способъ міровоззрѣній, радикально новую систему познанія. Такимъ образомъ и вызывается на свѣтъ метафизика. Впрочемъ, какъ ни нова и оригинальна новая система мышленія, но она вовсе не такъ оторвана отъ прежней, какъ можно было бы ожидать. Напротивъ, она цѣликомъ усвоиваетъ послѣдній выводъ религіи о Единствѣ причины, и сама, подобно религіи, продолжаетъ искать ее и, при томъ, съ самаго своего начала. Разница только въ томъ, что, подобно религіозной философіи, она ищетъ ее въ абстрактномъ, а не въ конкретномъ видѣ. Кромѣ того, тѣ оба искали причины сверхъестественной; а эта (и въ томъ величайшая заслуга ея) начинаетъ искать естественной. вмѣсто конкретного и сверхъестественнаго божества, появ-

ляется здѣсь абстрактная и естественная сущность вещей, начало вещей, начало началъ, первоначало, причина причинъ, субстанція, всеобщая сущность, безусловность, словомъ, какой-нибудь абсолютъ. И все дѣло новаго мышленія состоитъ только въ томъ, чтобы перебирать одинъ за другимъ всѣ эти абсолюты до тѣхъ поръ, пока найдется самый подлинный изъ нихъ. Въ этомъ вся исторія метафизики и вся логическая причина всего разнообразія школъ ея.

Если же во всѣхъ этихъ поискахъ своихъ метафизика разражается прежде всего матеріальными абсолютами, то причина тутъ та же, какая и у матеріальной религіи (фетишизмъ) или у матеріальной схоластики (пантеизмъ): человѣкъ глядитъ всегда прежде во внѣ себя, и только потомъ уже можетъ заглядывать внутрь себя. Весь материализмъ метафизики есть снова не что иное, какъ воспроизведеніе и пантеизма, и фетишизма, но только опять на новый ладъ. Тамъ весь объективный міръ воспроизводился, какъ матеріальная природа: то во всей своей раздробленности, то во всей цѣльности своей; здѣсь же онъ воспроизводится, какъ самая Идея матеріи и матеріальности.

Въ свою очередь, и весь метафизическій спиритуализмъ есть только переповтореніе политеизма и теизма. Тамъ весь субъективный міръ возсозидался, то подъ видомъ духовной природы (общества), то подъ видомъ духовнаго существа (бога); здѣсь же онъ возсозидается подъ видомъ самой Идеи духа и духовности.

Точно также и дуализмъ метафизики есть не больше, какъ своеобразное отраженіе монотеизма и атеизма. Дуализмъ, также какъ и тѣ, испытанный всевозможными неудачами обѣихъ предшествующихъ противоположностей, не находитъ иного выхода изъ этихъ блужданій, какъ возвратиться къ самому источнику противоположностей, къ Уму человѣческому, къ его двоякой точкѣ зрѣнія, которая одна только и производитъ разрывъ бытія. Слѣдовательно, дуализмъ такая же апотеоза человѣка, какъ и атеизмъ, и монотеизмъ. Атеизмъ помирилъ свои противоположности, отрицая ихъ обѣ; дуализмъ миритъ свои, обѣ ихъ утверждая. Выигрышъ, повидимому, не великъ, но онъ, во всякомъ случаѣ, есть.

Тѣмъ не менѣе, однакожь, дуализмомъ своимъ метафизика сама себя убиваетъ, какъ схоластика убила себя атеизмомъ. Признавъ оба начала, между которыми шель такой ожесточенный споръ, она тѣмъ самымъ ниспровергаетъ искомую ею абсолютность и того, и

другого. Если каждая предыдущая из интронизированных ею абстракцій каждою послѣдующею низводилась и развѣнчивалась, то тѣмъ самымъ онѣ взаимно развѣнчивали другъ друга всѣ и каждая. Если все успѣло побывать на философскомъ тронѣ, но ничто не успѣло тамъ удержаться; то остается единственный исходъ—оставить этотъ тронъ вакантнымъ, отречься отъ всякихъ на него претендентовъ. А это и значить убить метафизику. Если, вышедши на поиски за единствомъ, и погонявшись за нимъ такъ безплодно, она принуждена окончить Двойственностью, то это уже не она, а что-то другое, или же она, но существенно измѣнившая себя. И дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ она и превращается въ философію научную. Такимъ образомъ, и все вторичное знаніе стерто опять, и опять приходится начинать съизнова. Но теперь это уже въ послѣдній разъ.

Научная философія, эти пропилеи положительной науки, отрывается какъ отъ божества, такъ и отъ абсолюта, а вмѣсто того и другого ограничивается исканіемъ причинъ подчиненныхъ, вторичныхъ, какова бы ни была ихъ первичная причина. Такимъ образомъ, она выдвигаетъ на сцену идею закона въ мірѣ. Выдвинувъ же ее, она поступаетъ впередъ все тѣми же обычными шагами всякаго знанія и всякой новой точки зрѣнія въ немъ. Своею философіею природы она идетъ по стопамъ и матеріализма, и пантеизма, и фетишизма, потому что изучаетъ ту же самую задачу, но только подъ новымъ угломъ зрѣнія. Не единство и даже не двойственность матеріи, природы, привлекаетъ ее теперь, а, напротивъ, только Множественность, которую она и пытается разгадать, какъ можно поспѣшнѣе. Отсюда цѣлая выюга гипотезъ, всегда смѣлыхъ, часто геніальныхъ, еще чаще поверхностныхъ и неудачныхъ. Своею философіею общества она по своему утилизируетъ спиритуализмъ, теизмъ и политеизмъ, разрѣшаясь такой же вереницей дотождествленій, предвосхищеній и ошибокъ, на счетъ всевозможныхъ причинъ общественныхъ. Наконецъ, философіею человѣка она прибавляетъ свою долю къ дуализму, къ атеизму и къ монотеизму, взбивая за собою пыль всевозможныхъ психологическихъ гаданій. Чувствуется, однако-жъ, что атмосфера становится чище, воздухъ свѣжѣетъ, туманъ проясняется, и что мы вступаемъ въ тотъ заповѣднй храмъ, котораго такъ долго, съ такимъ трудомъ и такъ тщетно до сихъ

порѣ искала мысль человѣческая. Это атмосфера науки, это храмъ положительнаго знанія.

Но если легко объяснимъ переходъ отъ научной философіи къ наукѣ, то эволюція самой науки представляетъ величайшія затрудненія, почему и возбуждаетъ столько разногласій даже и послѣ геніальной попытки Конта. Неколебимымъ остается только одно: что наука направлялась до сихъ порѣ по тѣмъ же самымъ террасамъ, какъ и всѣ предыдущія системы познания. Естествознаніе было въ наукѣ тѣмъ же, чѣмъ философія природы въ философіи, материализмъ въ метафизикѣ, пантеизмъ въ схоластикѣ и фетишизмъ въ религіи, т. е. первымъ фазисомъ. Обществознаніе обѣщаетъ отвѣчать философіи общества, спиритуализму, теизму и политеизму, т. е. быть вторымъ, послѣдующимъ фазисомъ. А человѣковѣдніе, если бы оно сложилось когда-нибудь въ новый фазисъ положительной науки, было бы отраженіемъ философіи человѣка, дуализма, атеизма и монотеизма и, слѣдовательно, третью и послѣднею метаморфозою цивилизаціи. Вотъ и все, что представляется пока безспорнымъ въ величественной эволюціи наукъ. Все же остальное въ ней есть настоящимъ яблокомъ раздора. Тѣмъ не менѣе, однакожь, вся эта спорность едва ли присуща самому предмету изслѣдованія. Скорѣе, кажется, зависитъ она отъ способовъ изслѣдованія и именно отъ того, что научная эволюція постоянно разсматривается изолированно, безъ всякой связи съ другими, параллельными ей и смежными съ нею эволюціями философіи и религіи, словомъ, безъ связи съ исторіею цивилизаціи. Ничая часть не можетъ быть хорошо понята, если не имѣется въ виду то цѣлое, къ какому она принадлежитъ. А потому и правильная іерархія наукъ не можетъ быть построена безъ соображенія съ такими же іерархіями философіи и религіи. Съ этой точки зрѣнія въ наукѣ характерно, прежде всего, то, что она, также какъ и научная философія, отказывается напередъ отъ всякихъ притязаній на единство знанія, и всю точку отправленія своего сосредоточиваетъ въ двойственности. Она отрывается отъ всякаго монизма, отъ всякой безусловности знанія, отъ всякаго сведенія двухъ повсюднхъ противоположностей въ какую-либо одну изъ нихъ или во что-нибудь третье, и рада ограничиться одними условностями, одними относительностями, лишь бы только хоть въ нихъ добиться точнаго, положительнаго знанія и на этомъ, наконецъ, успокоиться. Вслѣдствіе этого, она беретъ міровыя противо-

положности такъ, какъ онѣ представлялись и религіи, и философіи, и какъ онѣ представляются и ей самой, и въ этомъ совпадении всѣхъ трехъ міровоззрѣній находить свой единственно вѣрный исходный пунктъ. Но этого мало; такъ исходила и научная философія, но къ достовѣрному знанію все-таки не приводила. А потому должно быть у науки что нибудь еще больше характеристическое, чѣмъ признаніе дуализма. И этой характеристикой есть въ ней то же, что и во всякомъ третьемъ моментѣ, наступающемъ послѣ двухъ противоположныхъ, а именно примиреніе религіознаго мышленія съ философскимъ. Совершается же это примиреніе посредствомъ совмѣщенія въ наукѣ Конкретнаго съ Абстрактнымъ. Вотъ самая существенная особенность момента научнаго. Если же такъ, если въ наукѣ характерны дѣйствительно эти два свойства, то только на нихъ, какъ характерныхъ, можетъ основываться и самая классификація наукъ. А таково именно и есть построеніе предпосланной выше классификаціи. Основаніемъ у нея служатъ, во-первыхъ, парность всякой науки, во-вторыхъ, параллельность конкретнаго изученія съ абстрактнымъ. Но и это еще не послѣдній вопросъ научной эволюціи: остается еще послѣдовательность самыхъ паръ, а въ нихъ послѣдовательность самыхъ звеньевъ, абстрактнаго и конкретнаго. На этотъ разъ мы объясняемъ ее, вслѣдъ за Контомъ, самой сущностью тѣхъ міровыхъ противоположностей, которыя несводимы въ одно, и ихъ взаимнымъ отношеніемъ между собой. Рядъ этихъ дуализмовъ есть слѣдующій: Время и Пространство, Покой и Движеніе, Сила и Матерія, Бытіе и Жизнь, Солидарность и Прогрессъ. Каждая изъ этихъ категорій обозначаетъ собою не какія нибудь новыя явленія, а только новую точку зрѣнія на нихъ. Каждая наука изучаетъ весь міръ, всѣ безъ исключенія явленія его, но только съ своей особой точки зрѣнія. А потому и послѣдовательность наукъ зависитъ вовсе не отъ послѣдовательности явленій, которыя всѣ современны между собою, а только отъ послѣдовательности точекъ зрѣнія на нихъ. Точки же зрѣнія на нихъ слѣдуютъ и могутъ слѣдовать другъ за другомъ только въ порядкѣ ихъ относительной простоты и сложности. Чѣмъ элементарнѣе точка зрѣнія, тѣмъ она и предварительнѣе, чѣмъ составнѣе—тѣмъ послѣдовательнѣе. Элементарнѣе всѣхъ есть точка зрѣнія пространства и времени: она мыслима сама по себѣ, безъ всякихъ другихъ. Точка зрѣнія покоя и движенія включаетъ въ

себѣ точку зрѣнія времени и пространства (безъ гдѣ-то и когда-то нельзя представить никакого движенія); но, сверхъ того, здѣсь со-держится и еще нѣчто, приводящее къ ней. Точка зрѣнія силы и вещества состоитъ изъ обѣихъ предыдущихъ, съ прибавкою новаго излишка. Бытіе и жизнь подразумѣваютъ всѣ предыдущія условія, но сверхъ оныхъ и еще одно. Солидарность и прогрессъ, сосуществованіе и преемственность есть совокупность всѣхъ предыдущихъ точекъ зрѣнія, съ наращеньемъ на нихъ еще одной новой. Между тѣмъ, нельзя сказать наоборотъ; нельзя утверждать, чтобы точка зрѣнія пространства и времени предполагала въ себѣ какую нибудь другую: это элементарная точка, первообразная, непронизываемая ни отъ какой и независимая ни отъ одной. Съ этой точки зрѣнія можно изучать всевозможныя явленія, не заботясь ни о какихъ другихъ изученіяхъ ихъ. Также точно изученіе покоя и движенія независимо отъ изученія силы и вещества, бытія и жизни, общественности и прогресса: сила и вещество могутъ быть изучаемы безъ предварительнаго изученія бытія и жизни, общественности и прогресса. А бытіе и жизнь способны изучаться помимо изученія общественности и прогресса. Математическія понятія: два, три, треугольникъ, квадратъ, равно хорошо примѣняются не только къ пространству и времени, но также къ покою и движенію, къ силѣ и веществу, къ бытію и жизни, къ общественности и прогрессу. Между тѣмъ, социологическія понятія: цивилизація, культура, гражданственность не примѣнимы ни къ чему, кромѣ общественности и прогресса. Всѣмъ этимъ и обуславливается та постепенность положительнаго знанія, какая въ текстѣ устанавливалась на однихъ основаніяхъ хронологическихъ. Въ свою очередь, степень простоты и сложности, элементарности и составности, обуславливаетъ собою такія же степени абстрактности и конкретности. Чѣмъ проще точка зрѣнія, тѣмъ она и абстрактнѣе, чѣмъ сложнѣе, тѣмъ и конкретнѣе. Наконецъ, послѣднимъ психологическимъ стимуломъ такого родословія науки есть степень потребности того или другого знанія для общежитія. Чѣмъ неотложнѣе, чѣмъ необходимѣе изученіе, тѣмъ оно раньше и предпринимается; чѣмъ обходимѣе, чѣмъ менѣе настоятельно, тѣмъ дольше и выжидается. Безъ счета и мѣры нѣтъ возможности ступить ни одного шагу въ общежитіи; а потому ими прежде всего умъ человѣческій и заинтересованъ. Безъ понятій же солидарности и прогресса можно жить

цѣлыя тысячелѣтія, и ничто о нихъ не напомнить. Также точно клинъ и рычагъ, разница дней и ночей навязываются уму гораздо настойчивѣе и раньше, чѣмъ разница между органической и неорганической жизнью. Такими и подобными психологическими обстоятельствами разсматриваемая іерархія наукъ обусловливается съ такой необходимостью, что, казалось бы, ее можно было предсказывать а priori.

Такую длинную, извилистую и безпрестанно возвращавшуюся на себя дорогу должна была пройти мысль человѣческая, чтобы достигнуть въ обѣтованный край положительнаго знанія. Обозрѣвая всю эту дорогу отъ фетишизма до соціологіи однимъ взглядомъ, нельзя не замѣтить, что вся тайна цивилизаціи состояла въ томъ, чтобы по каждому вопросу знанія употребить всѣ способы его изслѣдованія: и религіозный, и философскій, и научный. Будетъ ли это природа, общество или человѣкъ, но каждый изъ этихъ предметовъ нуждался постоянно въ тройномъ изученіи: религіозномъ, философскомъ и научномъ. Первый способъ великъ, какъ первый, какъ тотъ, которымъ открывается все поле знанія, который составляетъ всю и единственную инициативу цивилизаціи. Послѣдній способъ великъ, какъ окончательный, какъ тотъ, гдѣ достигаются самыя цѣли знанія, и которымъ удовлетворяются хоть на половину широкіе запросы души человѣческой. Средине же этого пути, философія, и, еще центральнѣе, метафизика, велика какъ рововой кризисъ изъ одной закваски познаванія въ другую. Тутъ, какъ въ водоворотѣ, какъ въ столкновеніи двухъ теченій, мышленіе человѣческое бурлитъ и клокочетъ, по видимому, въ одномъ и томъ же мѣстѣ и совершенно безцѣльно и бесплодно; но тутъ же успѣваетъ оно и перекипѣть изъ религіознаго въ научное, безъ чего никогда не было бы послѣдняго. А потому, хотя разсматриваемая сама по себѣ, изолированно отъ остальной цивилизаціи, метафизика и представляется однимъ гарцованіемъ мысли, празднымъ и суетнымъ; но разсматриваемая въ связи съ своимъ цѣлымъ, она возстановляетъ все свое достоинство и всю свою заслугу предъ цивилизаціей. Еслибъ въ метафизикѣ и не было даже движенія поступательнаго (которое, однакожь, есть въ ней), то одно уже колоссальное вращательное (которое очевидно для всякаго) спасаетъ ея репутацію, такъ смѣло нынѣ колеблемую. Пусть она стоитъ на мѣстѣ, пусть вращается лишь вокругъ самой себя; но таково вѣдь

вращеніе и всякаго иного центра, а въ томъ числѣ и центра цивилизаціи. Это такое же топтаніе на мѣстѣ, какъ то, которое приписывается солнцу въ моментъ образованія солнечной системы. Оно то и дѣло отбрасываетъ отъ себя въ пространство осколки и кольца, изъ которыхъ одни (схоластическіе) отлетаютъ въ регресъ и въ небытіе, другіе же (научно-философскіе) — въ бытіе и прогрессъ, и образуютъ собою новые міры — положительные науки. Такимъ образомъ, всѣ великія метаморфозы цивилизаціи, чѣмъ бы ни казались онѣ мѣстно и временно, находятъ свое оправданіе въ исторіи и равное со всѣми другими достоинство.

Что логика цивилизаціи такова не только въ ея абсолютномъ смыслѣ, но и во всѣхъ относительныхъ, — доказательства тому суть слѣдующія. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ Индіи, напри- мѣръ, религія безусловно древнѣе философіи, такъ же точно, какъ философія древнѣе алгебры. Совершенно также и Греція начинала не чѣмъ инымъ, во времена героическія и даже времена Гезіода, какъ цивилизаціею религіозною; продолжала, въ VI, V и IV вѣкѣхъ, философскою; а заканчивала, въ александрійскомъ періодѣ, наукою. Западная Европа, въ средніе вѣка, опять открываетъ исторію своей цивилизаціи не иначе, какъ религіею, продолжаетъ ее въ новыя времена философіею, а въ настоящее время завершаетъ наукою. Мало того, въ одно и то же время сословія одного и того же общества отражаютъ на себѣ такую же самую послѣдовательность цивилизацій. Низшіе классы обществъ даже и теперь еще живутъ исключительно вѣрою. Они и до сихъ поръ, не смотря на всю близость къ нимъ высшихъ цивилизацій, кипятъ повѣрьями о привидѣніяхъ, оборотняхъ, вѣдьмахъ, русалкахъ, домовыхъ, лѣшихъ и т. п. Средніе же умы, полуобразованные классы отличаются именно тѣмъ, что такъ или иначе начинаютъ вдумываться въ вѣру, откуда и порождается ересь, расколъ, вольнодумство, словомъ, религіозная философія. И только высшая интеллигенція переживаетъ и самую философію, и ввѣряется знанію научному. Даже всѣ отмѣны религіозныя находятъ себѣ мѣсто посословно. Такъ, высшіе классы даже въ древности были склонны къ монотеизму, что и засвидѣтельствовали своими египетскими и греческими мистеріями, гдѣ они скрывали отъ толпы свои опасныя нововведенія. Наоборотъ, низшія сословія даже посреди самого монотеизма неодолимо наклонны къ извращеніямъ его въ духѣ фетишизма, какъ, напри- мѣръ, посред-

ствомъ вѣры въ амулеты, ладони, талисманы, животворящіе источники, чудодѣйственныя растенія, цѣлебныя масла, священныя воды и т. п. Но и это не все еще. Даже въ одномъ и томъ же индивидуумѣ, хотя бы то и самаго интеллигентнаго класса, цивилизаціи чередуются точно такъ же. Дѣтство вездѣ и всегда не можетъ начать свое развитіе иначе, какъ съ безусловнаго довѣрія, съ подчиненія авторитетамъ, съ пониманія чисто-конкретнаго, на чемъ основываются и самыя приемы педагогики. Полуобразованная юность есть всегда и вездѣ сосудъ полнаго разгула философіи и ея идеаловъ. И только мужество и зрѣлость доводятъ одного болѣе, другого меньше до критическаго отношенія къ этой философіи и до приемовъ научныхъ. Словомъ, логика человѣческая одна и та же повсюду, гдѣ только появляется человѣкъ. И если всѣ эти логики чѣмъ нибудь отличаются другъ отъ друга, то развѣ только именно степенью своей относительности или безусловности, степенью частности своей или общности. Чѣмъ частнѣе логика, тѣмъ меньше въ ней и свойствъ логичности, а чѣмъ общнѣе и безотносительнѣе, тѣмъ выше и самая логичность. Отсюда логика всего человѣчества должна быть безусловнѣе всѣхъ другихъ.

Мы достигли теперь до того мѣста нашей логики, гдѣ начинается исторія будущаго. Какъ ни опасны эти вопросы, какъ ни велико такое испытаніе теорій, но всѣ отвѣты на нихъ уже даны, коль скоро дана самая теорія. Изъ каждой изъ нихъ возможенъ одинъ только выводъ, а не два и не три различныхъ. И такъ, остается сдѣлать эти выводы и изъ нашей.

Имѣя въ виду, что всякій предметъ вѣдѣнія изучается трояко, или, что то же, каждый способъ изученія поочередно переходитъ ко всѣмъ тремъ предметамъ вѣдѣнія, мы должны рѣшить, съ этой точки зрѣнія, прежде всего будущность религіи. Религія прошла уже всѣ эти три содержанія: природу, общество, человѣка; первое—въ фетишизмѣ, второе—въ политеизмѣ, третье—въ монотеизмѣ. И такъ всѣ логически-возможныя формулы исчерпаны, и для будущаго не остается никакой новой. Эволюція эта совершена окончательно.

Въ религіозной философіи, гдѣ въ древности выживалъ пантеизмъ, а въ средніе вѣка—теизмъ, остается для будущаго возможность выживанія одного атеизма. Но здѣсь необходимо отдѣлить понятіе ближайшаго и отдаленнаго будущаго: ближайшее примы-

касть къ той системѣ, которая имѣетъ уже свое настоящее и свое прошедшее; отдаленное же предполагаетъ особую систему, у которой нѣтъ еще ни настоящаго, ни близкаго прошедшаго, и которая вся еще въ будущемъ. Поэтому и наступленіе атеизма возможно двоякое: разъ — относительное, другой разъ — абсолютное. Относительнымъ было бы то, которое завершало бы только систему текущую, которое было бы лишь концомъ средневѣковаго теизма и слѣдовавшаго за нимъ пантеизма временъ возрожденія. Признаки такого конца и можно уже усматривать во всѣхъ религіозныхъ философіяхъ настоящаго столѣтія, каковы, на примѣръ, системы Штрауса, Фейербаха, Бруно Бауэра и другія подобныя имъ. Но это далеко не есть выживаніе атеизма, а тѣмъ болѣе не абсолютное. Нынѣшній атеизмъ есть ничто въ сравненіи съ обоими своими предшественниками, въ особенности же съ теизмомъ. Каково бы ни было его развитіе, но оно никогда не въ состояніи заслонить собою господство теистическихъ воззрѣній, которыя одни только и могутъ быть признаны выживающими въ религіозной философіи христіанскихъ народовъ. Если же эта возможность заслонить ихъ наступитъ когда-нибудь для атеизма, то развѣ лишь въ совершенно новомъ циклѣ религіозной философіи съ ея новымъ пантеизмомъ, теизмомъ и атеизмомъ, между которыми безусловное выживаніе выпало бы на долю послѣдняго. И дѣйствительно, пока площадь знанія остается еще на цѣлую половину нетронутою наукой, пока цѣлая половина этой площади доступна для вѣры, — никакой прочный, выживающій атеизмъ немыслимъ. Онъ можетъ явиться во всеоружіи и торжествующимъ развѣ только тогда, когда вся территория знанія перестанетъ быть дѣвственною, когда положительное изученіе не оставитъ никакой лазейки для гадательнаго, для вѣрованій, когда вслѣдствіе этого ни теизмъ, ни пантеизмъ не въ состояніи будутъ конкурировать съ атеизмомъ. Только такая эпоха можетъ соотвѣтствовать тому, что должно понимать подъ именемъ абсолютнаго, а не относительнаго, выживанія *атеизма*.

Въ исторіи метафизической философіи прошли или проходятъ также два цикла: одинъ — древній, матеріалистическій, другой — новый, идеалистическій. Такимъ образомъ, для полноты этой эволюціи и здѣсь не достаётъ только цикла дуалистическаго. Относительный дуализмъ и на этотъ разъ не есть уже тайна. Ближайшее будущее метафизики (той метафизики, прошедшее которой въ Англіи и

Франціи, а настоящее въ Германіи) можетъ принадлежать только дуализму, провозвѣстницей котораго и есть уже такъ называемая позитивная философія. Но этотъ дуализмъ, подобно современному ему атеизму, способенъ имѣть только сравнительное значеніе, только по отношенію къ непосредственно предшествовавшимъ ему матеріализму и идеализму. Безусловнаго же значенія, т. е. сравнительно со всѣмъ историческимъ прошедшимъ и всѣмъ будущимъ, можетъ онъ достигнуть только тогда, когда наука отниметъ пищу у всякаго матеріализма и всякаго спиритуализма. И такъ, абсолютный *дуализмъ* есть символъ не ближайшаго, а весьма отдаленнаго будущего.

Серія научной философіи исчерпывается до сихъ поръ также двумя фазами: древнимъ и новымъ, философіею природы и философіею общества. Что касается третьяго, философіи личности, то, какъ относительная, она возможна, конечно, и въ близкомъ будущемъ, непосредственно предстоящемъ. Но какъ абсолютная, какъ вытѣсняющая соперничество всякой иной философіи, философія *личности* опять мыслима только на ряду съ атеизмомъ и съ дуализмомъ, т. е. только въ будущемъ отдаленномъ, только въ совершенно новомъ и оригинальномъ циклѣ философіи.

Переходя къ исторіи науки, предсказаніе можетъ держать себя смѣлѣе и самоувѣреннѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было: до такой степени велики очевидности и явны необходимости прогрессіи научной. Если религія совершила уже всю свою задачу, такъ что ей не остается никакой больше; если философія отдѣлалась только отъ двухъ, и ей предстоитъ еще одна; то наука проходитъ до сихъ поръ только одинъ изъ своихъ цикловъ, и ждетъ еще цѣлыхъ двухъ; такъ что вся будущая дорога цивилизаціи почти равняется всей пройденной. Два упомянутые цикла науки предполагаютъ и двѣ различныя будущности. Что ближайшая будущность науки имѣетъ состоять въ разработкѣ соціологіи и соціальной исторіи, это явно не только изъ логики, не только изъ нашей теоріи, но также и изъ всей окружающей насъ дѣйствительности. Она вся переполнена признаками такого напряженія. Все движеніе современнаго ума направлено именно въ эту сторону, и всѣ эти потуги его не могутъ разрѣшиться иначе, какъ появленіемъ на свѣтъ науки *общества*. Подобное предсказаніе перестаетъ быть рискованнымъ. Нѣсколько опаснѣе можетъ показаться другое, объ отдаленномъ будущемъ, о

третьемъ и послѣднемъ фазисѣ науки; а потому здѣсь-то и должна сосредоточиться вся аргументація, всѣ усилія нашей логики. И такъ, что же это за фазисъ? Если онъ долженъ быть изученіемъ личности, человѣка, индивидуализма, субъективности, то въ чемъ же могло бы состоять это изученіе? Если оно должно состоять въ томъ, что называется психологіею, то она давно уже была какъ содержаніемъ философіи, такъ и содержаніемъ науки. Въ настоящее же время она уже составила предметъ даже точной науки,— нервной фізіологіи. И какъ бы она могла изучаться еще иначе, и при томъ разъ въ философіи, другой разъ въ наукѣ, представляется съ перваго взгляда совсѣмъ непонятнымъ. Затрудненіе увеличивается тѣмъ, что и самъ Кантъ всякую опытную психологію отождествлялъ съ нервной фізіологіею, и никакого другого возможнаго изученія человѣка не допускалъ и не предвидѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы возможность эта открылась, нужна прежде необходимость въ такомъ изученіи; а чтобы была необходимость, нуженъ какой-нибудь недочетъ, пробѣлъ, который бы оставался послѣ изученія человѣка всѣми предшествующими науками. Мало того, такой недочетъ въ знаніи, чтобы быть достаточнымъ основаніемъ для радикально новой науки, для основной, долженъ бы покоиться на какой-либо новой, дѣйствительно существующей въ мірѣ, но совершенно незатронутой ни одною наукою, міровой противоположности. Но въ чемъ же этотъ недочетъ? и гдѣ же эта противоположность, которая къ тому же требовала бы уже не одной только основной науки, а цѣлой пары ихъ, какъ и прежнія? Очевидно, что это никакъ не противоположность тѣла и души, для изученія которыхъ совершенно достаточно, съ одной стороны, физики и химіи, а съ другой—естественной исторіи и біологіи. Недоумѣніе увеличится еще больше, если мы вспомнимъ, что одна изъ предполагаемыхъ двухъ наукъ этого рода должна бы быть конкретною, а другая абстрактною. Еще дальше вся эта искомая парность или противоположность должна бы быть сложнѣе, специальнѣе и труднѣе всѣхъ предыдущихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, въ цѣломъ своемъ, и конкретнѣе ихъ всѣхъ. Наконецъ, начатки подобнаго изученія должны бы таиться уже и теперь, должны даже испоконъ вѣка тлѣть если не въ видѣ науки, то въ видѣ философіи или, по крайней мѣрѣ, религіи, или, наконецъ, хотя бы то простого эмпирическаго искусства... Но гдѣ же всѣ эти многочисленныя условія, которыя одни только и

были бы способны оправдать предсказаніе нашей исторіи цивилизаціи? Какъ ни трудны всѣ эти вопросы, но есть на нихъ отвѣтъ, если и не слишкомъ очевидный, то, во всякомъ случаѣ, отчетливый. Недочетъ въ психологическомъ изученіи дѣйствительно существуетъ, и существуетъ такой, что ни физика и химія, ни естественная исторія и біологія справиться съ нимъ не въ состояніи. Всѣ онѣ могутъ дать намъ лишь нервную фізіологію, но никакъ не психологію, или, пожалуй, могутъ дать психологію, такъ сказать, *естественную*, натуралистическую, но ничего больше. Такая психологія можетъ изучить въ человѣкѣ, и дѣйствительно изучаетъ, лишь тѣ качества, которыя общи всѣмъ людямъ, которыя общи имъ даже съ нѣкоторыми животными. Эта психологія изучаетъ, и можетъ изучать, человѣка только какъ члена природы, какъ зоологическій типъ, какъ разумно-нравственное существо. Она изучаетъ человѣка какъ видъ, а не какъ особь, не какъ индивидуумъ. Но гдѣ же, спрашивается, тутъ мѣсто изученію его, во первыхъ, какъ гражданина, какъ члена общества, а не природы? II, во-вторыхъ, гдѣ и какая наука изучаетъ его, какъ особое и самостоятельное цѣлое, какъ цѣлый микровосмъ, словомъ, какъ личность?... Естественная или фізіологическая психологія, единственная, какая до сихъ поръ понималась какъ въ наукѣ, такъ и въ самой філософіи, способна познать взаимодѣйствіе между человѣкомъ и природой, т. е. вліяніе природы на человѣка и обратную реакцію человѣка на природу; но никогда она не въ состояніи разъяснить взаимодѣйствіе между обществомъ и гражданиномъ, т. е. дѣйствіе общества на человѣка и обратное воздѣйствіе человѣка на общество. Никакое изученіе мускуловъ и нервовъ, какъ бы далеко оно ни подвинулось, такого познанія намъ не дастъ. Его нельзя вычитать въ нервныхъ узлахъ, и можно разыскать только въ исторіи, которая совсѣмъ не дѣло фізіологіи. Фізіологическая психологія можетъ создать намъ и логику, и эстетику, и этику и, при томъ, лучше, чѣмъ созидала ихъ філософія; но откуда она возьметъ тѣ, на примѣръ, особенности этихъ наукъ, какія успѣли выступить наружу даже въ излагаемой теперь логикѣ цивилизаціи? Мы сейчасъ только видѣли, что логика, на примѣръ, дикаря совсѣмъ не то, что логика цивилизованнаго человѣка. Мы замѣтили также, что логика ребенка не такова, какъ у взрослого. Мы указали случай, гдѣ и логика сословій различна. Мы имѣемъ право предположить, что она имѣетъ свои особенності и у половъ. Словомъ,

логическихъ отнѣнъ можетъ быть столько же, сколько различныхъ положеній общественныхъ. А гдѣ же у физиологіи средства изучить все это по мускуламъ и по нервамъ? Правда, все это доказываетъ пока только то, что, кромѣ естественной психологіи, потребна лишь *соціальная*, которая, впрочемъ, въ соціальныхъ наукахъ и можетъ быть доизучена, но которая не требуетъ-де никакой новой науки, сверхъ соціальныхъ. Но дѣло въ томъ, что и послѣ такого доизученія все таки остается еще нетронутый остатокъ: это именно внутренний міръ каждой личности, взаимодействіе силъ въ ней самой, въ ея собственной исторіи. Соціальныя науки могутъ рассказать, какъ раскрывается личность въ обществѣ и въ общественной исторіи, но онѣ ничего не скажутъ о томъ, какъ она раскрывается въ лицѣ, въ личной исторіи, въ каждой біографіи. Вотъ этой-то третьей, такъ сказать, индивидуальной или *біографической психологии* и не можетъ намъ обѣщать ни одна изъ всѣхъ предыдущихъ наукъ, ни самая социологія и исторія. А ужъ это ли знаніе излишнее? Безъ него ли мыслимо самопознаніе, этотъ вѣнецъ и цѣль всего предыдущаго знанія? Индивидуальная психологія одна только можетъ доставить каждому лицу возможность составить свою научную автобіографію, которая могла бы предсказать ему, по крайней мѣрѣ, возможности и невозможности его будущаго. Такая автобіографія одна только способна завершить все прикладное знаніе, увѣнчать все искусство раціональное. Дѣйствительное существованіе въ мірѣ принадлежитъ не человѣку вообще, и не обществу людей, а только Петру, Александру, Ивану; а потому и самосознаніе человѣчества дѣйствительно лишь тогда, когда оно осуществимо для каждой отдѣльной въ немъ личности. И такъ, для теперешней психологіи не достаетъ еще многого и многого, не достаетъ цѣлыхъ двухъ психологій: соціальной и индивидуальной. Первая ни въ какой новой наукѣ, кромѣ соціальныхъ, дѣйствительно не нуждается, вторая же—непремѣнно. Разсмотримъ, поэтому, всѣ остальные запросы отъ подобной науки. И прежде всего: какова та противоположность, къ которой біографическая или чистая психологія могла бы применить? Какой остается новый, нетронутый еще ни одною наукою, дуализмъ міробытія? Но такой дуализмъ подсказывается уже тою разницею психологическихъ изученій, какая предположена выше. Если человѣкъ долженъ быть изученъ не съ одной точки зрѣнія, какъ онъ изучается до сихъ поръ, а съ цѣлыхъ трехъ: натуральной, социаль-

ной и индивидуальной, то это потому, что и жизнь его есть тройная: родовая, видовая и личная. Разъ онъ живетъ какъ животное, т. е. общею жизнью рода; другой разъ—какъ общительное животное, т. е. общею жизнью вида; третій разъ—какъ особь, т. е. частною жизнью недѣлимаго. А потому вотъ и та радикальная противоположность, которая ни въ одной наукѣ еще не фигурировала и на которой можетъ и должна основаться новая пара наукъ. Эта искомая противоположность есть противоположность отвлеченій и конкретности, противоположность категорій и дѣйствительнаго бытія, словомъ, это дуализмъ Вида и Особи. Дуализмъ этотъ дѣйствительно имѣетъ обширную распространенность по міру. Общность и специальность, цѣльность и частность, дѣлимость и недѣлимость, абстрактность и конкретность, родъ и видъ, видъ и подвидъ, подвидъ и особь, все это представляетъ дуализмъ, встрѣчающійся въ вещахъ повсюду и на каждомъ шагѣ. И въ тоже время дуализмъ этотъ никакою изъ предыдущихъ наукъ специально не изучается. Ни одна наука не изучаетъ разницы между существованіемъ необходимымъ и свободнымъ, между видовымъ и индивидуальнымъ, между мысленнымъ и бытійнымъ, между бытіемъ въ умѣ и бытіемъ въ пространствѣ и времени, между жизнью идеальной и реальной и т. д. Наоборотъ, нигдѣ такое изученіе не становится болѣе доступнымъ, какъ на человѣкѣ, потому что самое явленіе высказывается здѣсь рѣзче, чѣмъ гдѣ-нибудь. И такъ, есть возможность допустить, что индивидуальная психологія можетъ основаться пменно на этой противоположности міровыхъ свойствъ. Однажды же основавшись на ней, она уже легко распадается на двѣ части, и образуетъ новую пару наукъ. На долю одной изъ этихъ наукъ выпадаетъ въ такомъ случаѣ изученіе видового, идеальнаго, абстрактнаго, необходимаго существованія, на долю другой—изученіе индивидуальнаго, реальнаго, конкретнаго, свободнаго. Первая соберетъ въ себѣ всѣ данныя о способахъ существованія всѣхъ вообще возможныхъ категорій; вторая станетъ собирать данныя о способѣ существованія индивидуальномъ, недѣлимомъ, личномъ. Или же, быть можетъ, онъ раздѣлять предметъ свой по способу переходныхъ наукъ, каковы: механика и астрономія, біологія и естественная исторія, т. е. трактуя оба предмета, но каждая по своему. Во всякомъ случаѣ, одна изъ этихъ наукъ, имѣя уже для себя аксіомы въ предыдущихъ наукахъ,

можетъ быть чисто выводною, дедуктивною, абстрактною; другая же должна будетъ отправляться отъ сырыхъ фактовъ личной жизни, собирать и наблюдать ихъ въ біографіяхъ, возводить ихъ въ новыя обобщенія,—словомъ, быть наводною, индуктивною, конкретною. Что касается отношенія новой пары ко всей вообще іерархіи наукъ, то она, помѣщаясь въ концѣ этой іерархіи, останется вѣрна всѣмъ принципамъ ея: по степени простоты или сложности, она будетъ сложнѣе всѣхъ; по степени абстрактности или конкретности, она будетъ всѣхъ конкретнѣе; по степени очевидности или сбивчивости ея явленій, она будетъ поддаваться изученію всѣхъ труднѣе; по степени потребности въ ней, она окажется менѣе всѣхъ настоятельною. Равно и во взаимномъ своемъ отношеніи одна изъ наукъ, выводная, будетъ сравнительно абстрактнѣе другой, наводной, а эта послѣдняя сравнительно конкретнѣе первой. Безусловно же, т. е. по сравненію со всею іерархіею, психологія вида будетъ наименѣе абстрактною изъ числа абстрактныхъ, а психологія индивидуума—наиболѣе конкретною изъ конкретныхъ. Конкретность здѣсь дойдетъ до того предѣла, дальше котораго она и простирается не можетъ, потому что дойдетъ до явленій, имѣющихъ наибольшее дѣйствительное существованіе. Наконецъ, сѣмена для подобной положительной науки разсѣяны во множествѣ не только въ настоящемъ, но и въ давно минувшемъ прошедшемъ. Только разсѣяны они не въ философіи, которая до сихъ поръ еще такъ же мало задѣвала этотъ вопросъ, какъ и наука, а въ религіи и въ искусствѣ. Въ религіи сѣмена эти лежатъ, конечно, съ сверхъестественною окраскою: въ мифахъ о богахъ, полубогахъ, герояхъ, въ легендахъ о святыхъ, въ жизнеописаніяхъ подвижниковъ и во всѣхъ вообще сказаніяхъ о чудотворной власти личности надъ собою и надъ другими. Заклинанія, заговоры, насыланіе болѣзней у дикихъ, колдовство, замираніе индійскихъ фавировъ, пребываніе въ одно время въ двухъ мѣстахъ, какъ въ легендѣ о Пифагорѣ, подъемъ тѣла на воздухъ, какъ у Ямблиха, и наконецъ хиромантія, гороскопы, оракулы, всѣ эти безсильные порывы ума и сердца суть данныя именно той категоріи, которая подлежитъ будущей психологіи. Но есть и всегда были для нея точки отправленія и другого рода: это—искусство, и при томъ не только практическое искусство общежитія, заносившееся отъ времени до времени въ біографіи, какъ, напримѣръ, у Плутарха; но также, и еще больше,

искусство эстетическое, поэзія, накопившая уже и теперь цѣлый музей изученія личности, какъ у Гомера, Софокла, Аристофана, Шекспира. Такимъ образомъ, всѣ условія возможности предположенной науки, повидимому, дѣйствительно существуютъ. Конечно, возможность не есть еще необходимость; но и претендовать на полную доказательность подобныхъ предсказаній слишкомъ еще рано. Достаточно, если найдена, по крайней мѣрѣ, самая возможность осуществленія ихъ, потому что и въ этомъ весьма не трудно еще усомниться. Наконецъ, само собою разумѣется, что если допустить такую возможность для науки, то надо допустить ее, и при томъ еще раньше, для философіи. Надо предположить, что и философіи можетъ предстоять въ будущемъ новый кипятокъ метафизики, сопровождаемый новою религіозною философіею (атеизмъ), новою метафизическою (дуализмъ) и новою научною, но на этотъ разъ уже не философіею природы или общества, а философіею *человѣка*, субъекта, и при томъ не въ смыслѣ вида и рода, а въ смыслѣ индивидуальности, личности, особи.

Вотъ первое изъ предсказаній нашей теоріи, которое можетъ быть провѣряемо съ каждымъ днемъ все больше и больше, а вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ провѣрять и всю теорію. Другое такое же, по отношенію къ цивилизаціи, касается позитивной философіи и позитивной религіи. Контъ считаетъ ихъ двумя послѣдними фазисами прогресса; мы почитаемъ ихъ метаморфозами чистѣйшаго регресса, почему въ нашу исторію онѣ и не входятъ. Регрессъ цивилизаціи, по смыслу нашей Политики, долженъ состоять въ обратномъ шествіи отъ науки къ философіи и отъ философіи къ религіи. Вотъ эти-то философія и религія, и только эти, и имѣютъ всю возможность оказаться дѣйствительно позитивными. Когда всѣ точныя науки готовы, тогда, конечно, не остается ничего больше, какъ сводить ихъ въ одно, объединять въ одну общую науку. А такая наука и будетъ позитивною философіею. Тенденція такая уже и теперь замѣтна въ наукахъ, и тѣмъ больше, чѣмъ наука совершеннѣе, чѣмъ больше достигла она до своихъ *axiomata superiora*. Физика, наприимѣръ, уже и нынѣ начинаетъ обращаться въ философскую, когда всѣ свои частности сводитъ въ одну общность движенія. Пусть только до подобнаго состоянія достигнутъ другія науки,—и точная философія готова. Въ свою очередь, подобная философія, путемъ еще дальнѣйшихъ обобщеній и путемъ долгаго

господства ихъ, непременно должна, рано или поздно, обратиться въ систему немногихъ аксіомъ, не требующихъ ни для кого доказательствъ, и изъ которыхъ возможны всѣ частные выводы прежнихъ наукъ. Но такая система аксіомъ есть не что иное, какъ сводъ догматовъ, не что иное какъ точная или позитивная религія. Такимъ образомъ, фазисъ этотъ мы отодвигаемъ на самый конецъ всей исторіи всего человѣчества. Прецедентъ же подобнаго исхода исторіи цивилизаціи можно видѣть въ миниатюрѣ на каждомъ отдѣльномъ обществѣ, на примѣръ римскомъ. Тамъ регрессъ цивилизаціи также состоялъ въ томъ, что наука стала обращаться въ рецидивную философію, въ ново-платонизмъ; а этотъ послѣдній перешелъ въ свое время въ рецидивную религію, въ христіанство*).

2.

Логика солидарности всѣхъ явленій цивилизаціи противопоставляется первой, какъ синхронистичность противоположна періодичности, какъ связь по сторонамъ противопоставляется связи назадъ и напередъ. Здѣсь надо показать, что и почему, съ логической точки зрѣнія, сосуществуетъ въ цивилизаціи.

Точкою отправленія всѣхъ трехъ элементовъ цивилизаціи было какъ мы видѣли, каждый разъ представленіе о числѣ. Какъ только завязываются первые фетишистскіе узелки религіи, представленіе о числѣ уже фигурируетъ предъ ними: сколько фетишей у того или другого племени или человѣка—это вопросъ, присущій религіи съ самаго начала. Фетишизмъ скоро переходитъ въ полную религію природы, природы всей вообще; но эта вступительная, числовая характеристика его остается при немъ навсегда, всегда выражаясь, какъ мы видѣли у негра, японца, китайца, въ счетѣ боговъ. Мало того: религія перейдетъ и въ религію общества, и въ религію человѣка, а вопросъ о числѣ все-таки останется при ней неотвязно, проявляясь то въ видѣ многобожія, то въ видѣ единобожія; такъ что по числу боговъ общества можно смѣло заключать о степени прогрессивности его цивилизаціи. Также точно и въ философіи. Философія числа есть самая древнѣйшая; она имѣется уже и въ

*) Кромѣ регресса наша политическая теорія предполагаетъ еще вырожденіе и перерожденіе. Вырожденіе, по отношенію къ цивилизаціи, есть невозможность никакого дальнѣйшаго творчества, ни прямого, ни обратнаго, есть истощеніе и обезсиленіе ума человѣческаго. Перерожденіе есть смерть этого ума и, быть можетъ, возрожденіе какого нибудь другого, новаго.

Китаѣ, и въ Индіи; а въ Греціи она только завершается. Что изъ наукъ древнѣе всѣхъ наука числа, надъ этимъ нечего и останавливаться. Словомъ, число, количество есть идея—мать всякаго знанія, будетъ ли то религіозное, философское, научное. Казалось бы, что, при такомъ условіи, всѣ три знанія числа должны были быть или могли быть современны; между тѣмъ оказывается, что всѣ они разновременны. Во времена до-государственныя, у людей дикихъ, идея числа снуетъ уже (въ ихъ фетишизмѣ), религія числа уже имѣется; между тѣмъ, какъ философіи нѣтъ еще никакой. Въ Китаѣ, въ Индіи, уже за двѣ тысячи лѣтъ до нашей эры, имѣется философія числа; но едва ли съ тѣхъ же поръ имѣется арифметика. Въ Греціи время Пифагора, философія числа во всемъ уже блескъ; но наука числа только еще въ зародышѣ. Короче, религіозный способъ познанія каждаго предмета опережаетъ собою философскій способъ познанія о томъ же предметѣ, а философскій идетъ также впереди научнаго. На этомъ общемъ законѣ основана и вся современность фазисовъ каждаго изъ нихъ. Первый фазисъ религіи, т. е. природный, не имѣетъ современниковъ себѣ ни въ философіи, ни въ наукѣ. Второй, религіозный фазисъ, общественный, совмѣщается съ первымъ философскимъ, съ философіею природы, при отсутствіи всякаго научнаго. Третій фазъ религіи, человѣческій, совмѣстенъ со вторымъ философіи и первымъ науки, т. е. съ философіею общества и съ наукою природы. А когда религія истощаетъ все свое развитіе, тогда предстоящій третій фазъ философіи обѣщаетъ найти себѣ совмѣстника и современника во второмъ фазѣ науки. Судя по этому, когда истощится и все развитіе философское, наступитъ чередъ третьему фазису науки. Другими словами, религія природы не имѣетъ себѣ сверстницъ ни въ философіи, ни въ религіи, ни въ наукѣ, какъ это и было у всѣхъ дикарей. Религія общества, какъ въ древнемъ мірѣ, находитъ совмѣстницу въ философіи природы. Религія человѣка, какъ это имѣло мѣсто въ новыхъ обществахъ, солидарна съ философіею общества и съ наукою природы. Философія человѣка, если она восплѣдуетъ, должна быть синхронистична только съ наукою общества. Наука же человѣка должна оказаться также одинокою, какъ была когда-то одинока религія природы.

Нужно ли говорить о логической причинѣ такой солидарности? Она очевидна изъ всего предыдущаго; она та же, что и причина

преемственности. Сѣтка цивилизаціи повсюду соткана одинаково; какими кольцами связана она вверхъ и внизъ, такими же вправо и влѣво. Кольца эти суть: мышленіе конкретное, абстрактное и обоюдное. Каждый предметъ, чтобы выдержать изученіе, долженъ подвергнуться всѣмъ этимъ тремъ родамъ познания. При этомъ, пока вещь не изслѣдована первымъ способомъ, невозможенъ ни второй, ни третій. Когда она изучена только однимъ первымъ способомъ, дѣлается возможнымъ только непосредственно слѣдующій, второй. А когда исполнены и первый, и второй, тогда только становится доступнымъ третій. Религія есть піонеръ цивилизаціи: это — первая развѣдчица всякаго новаго поля знанія; она производитъ предварительную рекогносцировку его, чертитъ самое грубое кроки мѣстности. Философія есть авангардъ: это — застрѣльщица, впервые вступающая въ бой, и свободно также ретирующаяся назадъ, къ главнымъ силамъ. Наука — боевая армія, окончательно рѣшающая судьбы битвъ. Всѣ онѣ идутъ вмѣстѣ и одновременно, но такъ что тамъ, гдѣ не была еще нога предыдущей, не можетъ ступить шагу и никакая послѣдующая. А потому первые шаги каждой послѣдующей и могутъ совпадать только съ послѣдними шагами каждой предыдущей. Вотъ и вся причина такой, а не иной, современности тѣхъ или иныхъ цивилизацій. Поэтому же и въ предстоящемъ имъ будущемъ философскій шагъ въ изученіи личности долженъ совпасть съ научнымъ изученіемъ общества; научное же изученіе личности можетъ совпадать только съ минусомъ всякой философіи.

КУЛЬТУРА.

Подъ именемъ культуры разумѣется здѣсь всякое воспроизведеніе идей цивилизаціи, т. е. всякое искусство, будетъ ли оно теоретическое, эстетическое или практическое. Въ первомъ случаѣ она представляетъ собою творчество системъ, теорій, или искусство логическое, словомъ методъ; во второмъ—творчество образовъ, идеаловъ, или искусство изящное, короче—художество; въ третьемъ—творчество формъ жизни, учреждений, т. е. искусство общежитія, экономическое и политическое искусство. Это послѣднее, политическое искусство, составляетъ собою культуру въ самомъ тѣсномъ смыслѣ, и въ этомъ-то тѣсномъ смыслѣ она и предполагается въ разсмотрѣнію въ этой книгѣ. За то мы предполагаемъ разсмотрѣть ее съ большею подробностью, чѣмъ цивилизацію. И такъ какъ въ политическихъ учрежденіяхъ можно различать ихъ организацію, ихъ политику и ихъ право, то все это и составитъ предметъ предстоящаго трактата. Другими словами: въ цивилизаціи мы имѣли дѣло только съ продуктами ея; здѣсь же будетъ рѣчь и объ органахъ культуры (организація), и объ ея функціи (политика), и объ ея продуктѣ (право). Но такъ какъ безъ очерка первыхъ двухъ искусствъ (теоретическаго и эстетическаго) была бы порвана органическая связь всей вообще культуры со всею вообще цивилизаціею, то мы стараемся сохранить эту связь подлежащимъ введеніемъ въ исторію культуры.

Введеніе.

Культура теоретическая или методъ.—Культура эстетическая или художество.—Культура практическая или общежитіе: экономическое, политическое.

Собственно говоря, методъ принадлежитъ, повидимому, скорѣе къ цивилизаціи, чѣмъ къ культурѣ, потому что онъ почти неотдѣ-

лимъ отъ знанія, какъ отъ научнаго, такъ и отъ философскаго, и отъ религіознаго. Но такъ какъ въ знаніи онъ составляетъ все-таки не матеріалъ его, а только форму, составляетъ лишь искусство знанія, искусство мышленія; то тѣмъ самымъ онъ и открываетъ новый горизонтъ творчества, и именно культурный.

Исторія метода не нуждается въ новомъ сборникѣ фактовъ; она можетъ довольствоваться тѣмъ, какой предпосланъ уже въ исторіи цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, уже изъ исторіи цивилизаціи явно, какой изъ двухъ методовъ древнѣе. Хотя оба они прирождены человѣку, хотя оба всегда и вездѣ дѣйствовали совмѣстно, какъ продолжаютъ дѣйствовать и теперь, но гораздо раньше развилась и раньше оставила по себѣ великіе историческіе слѣды не дедукція, а только *индукція*. Въ тѣ непроглядно отдаленныя времена, которыя третируются какъ внѣ-историческія и отъ которыхъ не осталось намъ ни малѣйшаго слѣда усилій дедукціи, индукція уже имѣетъ исторію, и уже завѣщаетъ намъ такіе грандіозные два памятника, какъ фетишизмъ и языкъ. Что такое фетишизмъ, мы уже видѣли; остается добавить, что такое языкъ. Не нужно долго останавливаться надъ вопросомъ, чтобы убѣдиться, что языкъ есть продуктъ первобытной индукціи, а не дедукціи. Названія собирательныя, какъ лѣсъ, табунъ, стадо; названія видовыя, какъ камень, дерево, звѣрь; названія родовыя, какъ земля, растеніе, животное, и всѣ вообще общія имена предметовъ, всѣ названія всѣхъ категорій были и могли быть только результатомъ мышленія индуктивнаго, только безпрестаннымъ наведеніемъ и обобщеніемъ недѣлимыхъ предметовъ. Безъ индукціи немислимо созданіе языковъ; а если такъ, то немислимо безъ нея и все начало человѣческаго вѣдѣнія. А потому, какъ точкою отправленія цивилизаціи долженъ быть признанъ фетишизмъ, такъ исходнымъ пунктомъ всей культуры необходимо признать индуктизмъ. Конечно, это не та развитая, сознательная индукція, какою она является теперь; никакихъ видовъ въ ней еще не выдѣляется, и она есть методъ только еще родовой, но все-таки методъ, и все-таки индуктивный. Словомъ, это есть, во-первыхъ, только „наблюденіе“, а не опытъ, а во-вторыхъ, и наблюденіе-то лишь чисто интуитивное, безсознательное, per enumerationem simplicem. Эта непосредственная, сама собою напросившаяся индукція, или „интуитика“, продолжается потомъ, послѣ фетишизма, политеизмомъ, пока въ монотеизмѣ не достигаетъ до предѣла своихъ инту-

итивныхъ обобщеній, до послѣдняго, единого и всеобщаго обобщенія, такъ что это есть методъ существенно религіозный. Разница только въ томъ, что въ фетишизмѣ индукція обобщаетъ, по преимуществу, предметы внѣшней природы, какъ небо и земля; въ политеизмѣ—предметы общества, какъ земледѣліе, жатва, винодѣліе, охота, металлургія, торговля, поэзія, искусство; а въ монотеизмѣ—предметы человѣческой души, какъ разумъ, чувство, воля, которые доводитъ она до всеобщаго разума, до всевышняго чувства, до всемірной воли. Что такое фетишизмъ, въ его качествѣ безчисленности боговъ, какъ не такъ называемыя у Бэкона *axiomata minora*? политеизмъ—какъ не *axiomata media*? и монотеизмъ—какъ не *axiomata superiorem*? Дѣйствительный основатель индукціи не Бэконъ, не Аристотель, не какой бы то ни было философъ, а развѣ только первый фетишистъ. Равнымъ образомъ и усовершенствователями метода были не тѣ или другіе теоретики, а развѣ только весь политеизмъ и весь монотеизмъ. Конечно, и изъ ихъ рукъ методъ этотъ вышелъ еще съ характеромъ полной непосредственности; но, тѣмъ не менѣе, и въ этомъ своемъ видѣ онъ могъ уже оставить по себѣ такое капитальное наслѣдіе, какъ геометрическія аксіомы, этотъ плодъ индукціи чисто непосредственной, но вооруженной уже не только наблюденіемъ, но также и ежедневнымъ „опытомъ“ и составляющей по этому индуктивную „синтетику“,—видъ, который древнѣе не только науки, но и всякой философіи.—Между тѣмъ, отъ *dedукціи* мы не имѣемъ никакихъ замѣтныхъ продуктовъ раньше, чѣмъ въ государственномъ періодѣ исторіи. Только на древнемъ востокѣ и въ древней Греціи впервые воздвигаются явныя дедуктивныя сооруженія, потому что это суть философія и математика. Но дѣло въ томъ, что хотя дедукція выступаетъ позднѣе на сцену исторіи, но за то она выступаетъ сразу во всеоружіи, совершенно готовая и не нуждающаяся въ дальнѣйшемъ развитіи. Какъ примитивная, такъ и нынѣшняя дедукція не отличаются по существу ничѣмъ; здѣсь нѣтъ различія между интуитивностью метода и раціональностью его. Дедукція удачна съ самаго своего начала. Если она не оказывается такою въ философіи, т. е. какъ „діалектика“; то единственно вслѣдствіе погрѣшности тѣхъ индуктивныхъ аксіомъ, отъ которыхъ она тамъ отправляется, но никакъ не вслѣдствіе собственного своего несовершенства. Въ математикѣ же, гдѣ эти индуктивныя точки отправленія, т. е. аксіомы, оказались безъ порока, тутъ и самая

дедукція ея, т. е. „аналитика“, сразу оказывается чудомъ совершенства. Хотя она и подлежитъ, конечно, дальнѣйшему развитію, но не столько въ приѣмахъ своихъ, сколько въ степени накопленія надежныхъ точекъ опоры. И если нынѣшняя способность выводовъ чѣмъ нибудь лучше древней, то только именно этимъ; между тѣмъ, какъ нынѣшняя способность наведеній далеко отлична отъ такой же способности древнихъ, и отлична именно самими приѣмами своими. И такъ, основателемъ или совершенствователемъ метода не былъ снова ни Аристотель, ни Готама, ни какой бы то ни было философъ или математикъ, а былъ имъ только тотъ, кто первый добылъ какую нибудь большую послышку: заключеніе изъ нея сдѣлалось уже само собою и сразу, и сдѣлалось совершенно безупречно, если только мозгъ не былъ боленъ. Во всякомъ случаѣ методъ этотъ, какъ всегда былъ, такъ и останется всегда, существенно философскимъ, не только потому, что онъ свойственъ по преимуществу философіи, но и потому также, что имъ живетъ и вся наиболѣе философская изъ наукъ.—Третьею метаморфозою въ исторіи методовъ есть та, которая произведена современными намъ народами или, точнѣе, собственно такъ называемою наукою и, еще точнѣе, естествознаніемъ. На этотъ разъ метаморфоза состоитъ, во-первыхъ, въ сочлененіи обоихъ родовыхъ методовъ и, во-вторыхъ, въ расчлененіи каждаго изъ нихъ на видовые. По крайней мѣрѣ, такъ случилось съ выработаннымъ пока методомъ естествознанія, гдѣ нашли себѣ мѣсто оба приѣма, и религіозный, и философскій: религіозный—въ безчисленныхъ „наведеніяхъ“ естествознанія, философскій — въ многочисленныхъ „гипотезахъ“ его. Но первый нашелъ здѣсь гораздо большее для себя поле, чѣмъ второй, такъ что только первый успѣлъ и разработаться здѣсь, и расчлениваться. Онъ разработался не только наведеніями изъ наблюденія, какъ въ астрономіи, но также и изъ опыта, какъ въ физикѣ и въ химіи. Въ астрономіи индукція испытала самое первое изъ своихъ усовершенствованій. А именно, начавши съ чисто-религіознаго типа, т. е. съ наблюденія вовсе произвольнаго, безыскусственнаго—въ сабизмѣ, она обратилась въ произвольное и искусственное—въ астрологіи. Какъ трудно давался этотъ первый методологическій шагъ,—мы видѣли на всей исторіи астрономіи, гдѣ только послѣ многотысячелѣтнихъ наблюденій удалось придти въ первому вѣрному обобщенію изъ нихъ. Но за то, какъ только дался этотъ

первый и труднѣйшій успѣхъ, другіе пошли уже и легко, и скоро. Въ физикѣ и въ химіи мы видимъ уже не только произвольную наблюдательность, но видимъ и опытъ, т. е. наблюдение выдѣленное, обособленное и, слѣдовательно, еще болѣе произвольное и искусственное. А въ такъ называемомъ изолированіи при опытѣ видимъ и самый предѣлъ этого выдѣленія и обособленія, этой произвольности и искусственности. Кромѣ того, какъ наблюдательная индукція, такъ и опытная, усвоили, каждая, по нѣскольку еще болѣе спеціальныхъ приѣмовъ, каковы, напримѣръ, по Миллю: методъ согласованія, методъ разностей, методъ степеней въ этихъ согласованіяхъ и этихъ разницахъ, методъ сопутствующихъ измѣненій и и т. п. Словомъ, индукція переродилась, выросла, остепенилась. Существенная разница нынѣшней индукціи отъ древней состоитъ въ томъ, что прежняя была бессознательною, эта же становится нарочитою; та была случайна, наблюдала лишь то, что само подпадало наблюденію, была поспѣшна, нетерпѣлива, безконтрольна.— эта же сама избираетъ свои предметы наблюденія, терпѣливо повторяетъ ихъ, поминутно провѣряетъ свои наведенія то однимъ способомъ, то другимъ, то третьимъ. Короче, то было, говоря словами Бэкона, угадываніе истины, а это есть испытываніе ея. Тамъ о правилахъ и законахъ индуктивности не думали и не гадали; здѣсь появились цѣлыя теоріи и системы такого мышленія. Тѣмъ не менѣе, однакожь, повторяемъ: оно было не единственнымъ, какъ въ религіи; въ наукѣ, съ самаго начала ея, оно непремѣнно сопровождается и другимъ, противоположнымъ, дедуктивнымъ. Различна мѣра этой взаимности, но самая взаимность несомнѣнна. Такъ во всемъ естествознаніи философскій приѣмъ мышленія присутствуетъ постоянно въ видѣ гипотетизма. Никакого расчлененія, никакого богатства развитія гипотетизмъ не обнаружилъ; но за то и самыя великія завоеванія естествознанія ни разу не обошлись безъ него. Такимъ образомъ, вмѣсто прежней исключительности того или другого метода, на сцену явилось лишь *преобладаніе индукціи* надъ дедукціей.—Иного сорта научное сочлененіе и расчлененіе методовъ предстоитъ, по всей необходимости, въ обществоиспытаніи. Въ индукціи здѣшней, слѣдуя Конту, надо предвидѣть большое развитіе, съ одной стороны, метода „классификаціи“, уже намѣченнаго естественною исторіею, съ другой стороны—„сравнительнаго“ метода, который есть необходимое послѣдствіе и дополненіе всякой классификаціи.

физивности. Само собою разумѣется, что всѣ прежніе индуктивные виды и подвиды остаются въ полномъ распоряженіи обществознаія, на сколько они примѣнны тутъ. Что же касается дедукціи здѣшней, то въ ней, сверхъ выработанныхъ раньше подвидовъ, всего вѣроятнѣе развитіе „аналогіки“, т. е. распространенной и систематизированной гипотезы, и къ тому же основанной на аналогіяхъ физическаго міра съ нравственнымъ. Изъ прежнихъ же видовъ дедуктивности равно примѣнны въ социології какъ діалектической или философской, такъ и аналитической или математической. Если аналогіка способнѣе всего только возбуждать социальную индукцію, то діалектика и аналитика однѣ только въ силахъ провѣрять ее разнообразными способами, а именно: причинами естественными, причинами социальными и причинами психологическими. Если первая можетъ оставаться въ изслѣдованіяхъ скрытною, то вторая по необходимости должна быть явною, ибо безъ нея нѣтъ и достаточной доказательности. Если одна предшествуетъ здѣсь социальной индукціи, то другая послѣдуетъ за нею. Вслѣдствіе всего этого, взаимное отношеніе обоихъ родовыхъ методовъ, пропорція ихъ, должна здѣсь значительно измѣниться въ сравненіи съ естествоиспытаніемъ. Тамъ индукція и ея виды положительно господствовали надъ родомъ и видами дедукціи; здѣсь же обѣ онѣ приходятъ въ *равновѣсіе*, такъ что всякая первая половина всякаго изслѣдованія принадлежитъ одной изъ нихъ, а всякая вторая — другой. Милль полагаетъ даже, что со временемъ выводной методъ долженъ возобладать здѣсь надъ наводнымъ, и что социальныя науки имѣютъ быть по преимуществу выводными. На выясненіе этого вопроса и уйдетъ, конечно, ближайшее будущее интеллектуальной жизни человѣчества. — Что же касается будущности отдаленной, т. е. методовъ человѣковѣдѣнія, то о нихъ трудно еще и гадать въ такихъ частностяхъ. Говоря вообще, надо предполагать, что это будетъ знаніе, наиболѣе вооруженное всѣми предшествующими приѣмами, хотя и мудрено предвидѣть его приѣмы спеціальныя. Одно только несомнительно: что индивидуальное самопознаніе немислимо безъ индивидуальнаго же „самонаблюденія“, но самонаблюденія, конечно, усовершенствованнаго, въ сравненіи съ теперешнимъ безхитростнымъ. Это такой видъ индукціи, которому негдѣ больше и развиться, какъ здѣсь. Съ другой стороны, трудно также сомнѣ-

ваться и въ самомъ широкомъ участіи здѣсь выводныхъ приѣмовъ, въ положительномъ *преобладаніи дедукціи* надъ индукціею, ибо въ тому времени должно накопиться такое изобиліе аксіомъ естественныхъ и социальныхъ, что случаи для выводовъ изъ нихъ должны представляться на каждомъ шагу. Еще же дальше, въ возвратной философіи и религіи, на вершинѣ позитивной цивилизаціи, нельзя не предвидѣть полную исключительность дедукціи. И такъ, вся исторія научнаго сочлененія методовъ состоитъ въ томъ, что сперва, въ естествознаніи, сочленяются они оба подъ верховенствомъ индуктивности; потомъ, въ обществознаніи, приходятъ въ равновсіе; и наконецъ, въ человѣкознаніи, въ біографической психологіи, начинаетъ властвовать дедуктивность. Другими словами: исторія метода слѣдуетъ неотступно по пятамъ исторіи цивилизаціи. Тамъ религія, философія и потомъ наука;—здѣсь индукція, дедукція и потомъ сочлененіе обѣихъ. Тамъ сперва естествознаніе, потомъ обществознаніе и, наконецъ, человѣковѣдѣніе;—здѣсь сперва перевѣсъ индукціи, потомъ равновсіе ея съ дедукціею и, наконецъ, преобладаніе дедукціи. Тамъ началомъ всей цивилизаціи есть религія индуктивная, а концомъ—дедуктивная, позитивная; здѣсь начало всей культуры исключительная индуктивность, а конецъ—исключительная дедуктивность.

Другой культурный элементъ представляется изящнымъ искусствомъ. Если искусство метода кажется принадлежащимъ гораздо болѣе цивилизаціи, чѣмъ культурѣ, то искусство эстетическое, художество, представляется раздѣлимымъ между ними какъ разъ пополамъ. На половину оно есть еще цивилизація, потому что оно, какъ и она, продолжаетъ изучать міръ (природу, общество и человѣка); но на другую половину оно есть уже культура, потому что оно продолжаетъ это изученіе міра совсѣмъ по новому, по своему, а именно—воспроизводя этотъ міръ, подражая ему. Методъ, правда, тоже воспроизводилъ его, но, по крайней мѣрѣ, отвлеченно, въ видѣ идей, системъ, теорій; художество же воспроизводитъ его въ видѣ самыхъ образовъ, идеаловъ; и тѣмъ все больше удаляется отъ цивилизаціи и приближается къ культурѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Послѣ этой оговорки, обращаемся прямо въ исторіи художества. Здѣсь мы должны еще разъ, и послѣдній, измѣнить Контю; но измѣнить опять во имя его же собственныхъ основныхъ принциповъ. Контювская іерархія искусствъ

совершенно извращаетъ дѣйствительную послѣдовательность ихъ въ исторіи, ставя въ началѣ всѣхъ поэзію, продолжая музыкою, живописью и скульптурою, а заканчивая архитектурою. Контъ увлекся въ этомъ случаѣ своимъ принципомъ развитія отъ общаго къ спеціальному, и забылъ о другомъ своемъ же принципѣ развитія отъ простаго къ сложному. Если бы онъ провѣрилъ свою серію искусствъ обоими этими принципами, ему не пришлось бы насиловать и извращать исторію во имя одного изъ нихъ. Наибольшая простота искусства непременно оказалась бы на сторонѣ архитектуры, а наибольшая сложность его — только на сторонѣ поэзіи. Впрочемъ, и одинъ принятый имъ признакъ не ввелъ бы его въ заблужденіе, еслибъ онъ не истолковалъ его на этотъ разъ дурно. Подъ именемъ „болѣе общаго“ онъ понялъ въ настоящемъ случаѣ „способность къ большей полнотѣ и большему разнообразію выраженія“, почему и счелъ наиболѣе общимъ искусствомъ поэзію. Между тѣмъ, большая полнота и большее разнообразіе составляетъ удѣлъ именно большей спеціализаціи, а не генерализаціи, такъ что поэзія и по этому признаку оказывается не наиболѣе общимъ изъ числа изящныхъ искусствъ, а, какъ разъ напротивъ, наиболѣе спеціальнымъ и, слѣдовательно, долженствующимъ заключать серію, а не вчинять ее. Еще же лучшую повѣрку составляетъ, конечно, дѣйствительная хронологическая послѣдовательность эстетическаго развитія человѣчества. Она же представляетъ серію какъ разъ обратную: это — архитектура на востокѣ, скульптура въ классическомъ мірѣ, живопись и музыка въ современномъ, поэзія въ будущемъ. Но, не зная предъ собою будущаго, теорія Конта тѣмъ болѣе принуждена была втискивать всякій полный циклъ развитія въ предѣлы одной совершившейся до сихъ поръ исторіи, не оставляя будущему ничего. Словомъ, ошибка опять въ примѣненіи теоріи, но не въ самой теоріи.

Такого мѣста и такого времени, когда бы не существовало какихъ бы то ни было зачатковъ какого бы то ни было художества, мы, конечно, не найдемъ. Въ самыя первобытныя времена, среди самыхъ дикихъ населеній, встрѣчается уже и пѣсня, и бубень, и хороводъ, и татуированіе, и рельефы на оружіи и утвари, и, наконецъ, если не шалаши, то хоть дупла. А въ этихъ шалашахъ и дуплахъ заложены уже первообразы и всѣхъ стилей архитектурныхъ, потому что эти шалаши и дупла представляли уже и конусъ,

и цилиндръ, и кубъ, и сводъ, и даже конусъ, насаженный на цилиндръ, какъ, напримѣръ, у папуасовъ въ Новой Гвинее. Больше же этого никогда и ничего не выдумала и вся послѣдующая архитектура. Но мы знаемъ уже, какъ надобно понимать то, что называется историческимъ развитіемъ. Это есть только выживание одного изъ явленій между другими совмѣстными. А въ такомъ смыслѣ единственнымъ выживающимъ у дикихъ искусствомъ можетъ быть признано развѣ лишь то, которое нынче даже не относится къ изящнымъ искусствамъ въ строгомъ смыслѣ, а именно *пляска*. Пляска съ пѣсню или хоть съ крикомъ и съ музыкою, хотя бы то отъ ударовъ въ выдолбленную тѣлу, есть родина всѣхъ искусствъ. Дикарь заплясывается до упаду. Каждая побѣда, каждая удача въ охотѣ, каждый пиръ, словомъ, всякая домашняя радость сопровождается у него непременно пляскою, въ которой и мужчины, и женщины доходятъ иногда до иступленія. Пляскою объявляется война, съ пляскою приближаются другъ къ другу вѣстники мира, пляска прописывается больному, какъ лекарство, при чемъ если онъ не можетъ, то за него пляшетъ самъ колдунъ. Но всего популярнѣе любовные танцы. Характеръ этой послѣдней пляски, конечно, канканъ, какъ, напримѣръ, въ гулагула, танцъ сандвичей.—Чисто же изящное искусство начинаетъ выживать только съ древняго востока, при чемъ первымъ по времени есть несомнѣнно *архитектура*. Когда скульптура и живопись даже не отдѣлялись еще отъ стѣнъ храма, когда пѣніе не отдѣлялось еще отъ богослуженія въ этихъ храмахъ, архитектура жила уже своею собственною, независимою жизнью, и жила такъ богато и роскошно, какъ, напримѣръ, въ Индіи и Египтѣ. Уже самое это подчиненіе всѣхъ искусствъ (не исключая и пляски) архитектурѣ, самое это пребываніе ихъ всѣхъ на службѣ у нея, достаточно знаменуетъ, какое изъ нихъ выживало между другими, и какія только приживались къ нему. Всѣ они не иначе и выросли, и окрѣпли, не иначе получили и возможность отдѣлиться, зажить самобытно, какъ подъ покровительствомъ храма. Зодчество есть дѣйствительный прародитель всей эстетической семьи; а отечество этого прародителя есть весь древній востокъ. Такъ, здѣсь имѣется архитектура, еще не отдѣлившаяся отъ самой природы, а именно отъ горы, какова архитектура индійская. Какъ первый искусственный шалашъ былъ воспроизведеніемъ древесныхъ вѣтвей,

дупла, пещеры, такъ первые храмы были возсозданіемъ священной горы. На островѣ Сальсеттѣ, близъ Элефантины, есть гора, имѣющая форму подковы. Вся эта гора выдолблена внутри, на подобіе амфитеатра. Главный храмъ его, высѣченный въ порфировой массѣ, при поразительной высотѣ, простирается на сто шаговъ въ длину и на сорокъ въ ширину. Въ немъ множество колоннадъ, залъ, лѣстницъ, водоемовъ. Стѣны покрыты надписями и скульптурными украшеніями. Еще поразительнѣе исполинскія работы близъ Элмورى. На пространствѣ цѣлой мили изгибается амфитеатромъ гора, вся сверху до низу выдолбленная внутри и превращенная въ безчисленное множество храмовъ. Это истинный пантеонъ инду-совъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ихъ палладій. Одному Сивѣ посвящено здѣсь до 20 храмовъ. Описаніе этихъ колоссальныхъ, углубляющихся въ землю версты на четыре, гротовъ, висящихъ одни надъ другими въ нѣсколько ярусовъ, съ ихъ лѣстницами, галереями, придѣлами, мостами изъ цѣльной скалы, перекинутыми чрезъ прорѣзанные въ скалахъ же каналы, по признанію путешественниковъ, совершенно невысказуемо. Очевидцы, подавляемые зрѣлищемъ, отзываются отъ всякой возможности передать его. Если же въ этомъ пещерномъ храмѣ, уже самомъ по себѣ мрачномъ и таинственномъ, представить еще изображеніе Сивы, опоясаннаго змѣями, съ человѣческимъ черепомъ въ рукѣ, съ ожерельемъ изъ мертвыхъ костей и съ тремя глазами во лбу; если припомнить, при этомъ, чисто дѣтскую живость воображенія, которое изъ хронологіи и географіи сдѣлало совершенную сказку, которое грамматику и ариметику излагало въ стихахъ, то можно вообразить себѣ тотъ священный ужасъ, который охватывалъ душу индуса въ его храмѣ, и можно легко повѣрить свидѣтельству древнихъ объ индусахъ, какъ о религіознѣйшемъ народѣ среди самой древности. Индійскій храмъ на поверхности земли, пагода, есть уже переходъ во второму типу зодчества, отдѣляющагося отъ природы, отъ горы. Но за то онъ долго еще сохраняетъ внѣшнюю форму горы, а именно волкана или кургана. Впрочемъ, вполне новый типъ вырабатывается только въ Ассиріи и Вавилоніи: это—архитектура деревянная и кирпичная. Типъ священнаго зданія Ассиро-Вавилоніи есть многоэтажная пирамида изъ кирпича (и, при томъ, совсѣмъ иногда мягкаго). Такимъ образомъ гора обратилась здѣсь въ простую геометрическую схему ея. Зданія свѣтскія, напротивъ, одноэтажны, стѣны ихъ громадной тол-

пины, залы низкія и узкія, крыша плоская и земляная; оконъ нѣтъ; а вмѣсто нихъ отверстія въ потолокъ, затянутыя прозрачною кожей, полъ каменный; колонны на дворѣ, образующія собою портики, всегда тонкія и всегда въ видѣ пальмъ и другихъ деревьевъ,—воспроизведеніе предшествовавшей деревянной архитектуры. Въ дворцахъ три зданія: сераль или мужской дворецъ, гаремъ, т. е. дворецъ женскій, и ханъ, дворецъ придворныхъ. Симметріи и параллельности, какъ и въ Индіи, еще нѣтъ. Третій типъ есть архитектура каменная, египетская. Катакомба здѣсь еще слегка повторяетъ пещерный храмъ; пирамида воспроизводитъ еще пагоду и ассиро-вавилонскую башню; но симметрическій и правильный храмъ, но обелискъ египетскій, изъ цѣльнаго монолита, вносятъ уже въ рабское подражаніе природѣ гораздо большую долю человѣческаго творчества. Колоссальные же сфинксы, необходимые привратники храмовъ, составляютъ даже переходъ изъ вѣка зодчества въ вѣкъ ваянія. Все это вмѣстѣ не оставляетъ сомнѣнія о томъ, какимъ изъ изящныхъ искусствъ открылась вся эстетическая эволюція человѣческой культуры. Скульпторъ и живописецъ въ Египтѣ работали еще подъ розгой надсмотрщика, какъ они и изображаются на памятникахъ, потому что они были простые рабы; между тѣмъ, званіе архитектора было почетное званіе, и архитекторомъ могъ быть только жрецъ. Если же мы припомнимъ еще, сколько силъ общественныхъ уходило въ это творчество, если припомнимъ, что цѣлыя поволенія ложились костью, что затрачивались цѣлыя столѣтія, и что вся казна царская истощалась на то, чтобы воздвигнуть какое-либо чудо зодчества; если мы сообразимъ, что пирамиды египетскія дошли къ намъ чуть ли не вѣковѣчнѣе, чѣмъ онѣ были при самомъ началѣ, а пробуравленныя горы Индіи способны пережить самое человѣчество; то никакое сомнѣніе о дѣйствительномъ выживаніи этого искусства еще на востокъ не покажется болѣе возможнымъ. Люди, испытанные зрѣлищемъ всѣхъ послѣдующихъ стилей: греческаго, византійскаго, романскаго, мавританскаго, готическаго, возрожденія, постоянно останавливались передъ этимъ въ какомъ-то нѣмомъ изумленіи, начиная отъ Геродота и кончая Лепсіусомъ, Амперомъ, Шампольономъ.—Такою же точно безспорностью для эпохи классическаго міра представляетъ собою выживаніе *скульптуры*. Если архитектурѣ доступно было подражаніе и воспроизведеніе только внѣшней природы, то предъ ваяніемъ, и еще больше предъ живо-

писью, раскрывается нѣкоторый доступъ и въ міръ общественности и человѣчности, какъ это и дѣйствительно случилось уже въ Греціи. Архитектура отходитъ здѣсь на второй планъ, а на первый выступаетъ только ваяніе. Конечно, оно выступаетъ здѣсь не какъ Минерва изъ головы Юпитера, не какъ *deus ex machina*; зачатки его лежатъ далеко позади, на томъ же востокѣ. Египетская и, еще больше, ассирійская скульптура проложили уже достаточную тропу для всякой другой. Если первая, египетская, имѣла въ виду, при изваяніяхъ своихъ, еще только ихъ цѣлое, то вторая, ассирійская, обратила вниманіе и на части: на мускулы, локоны, складки одеждъ. Пропорціональности еще нѣтъ: рыбы на ассирійскихъ барельефахъ еще равняются кораблямъ, птицы—охотникамъ; и все это раскрашено и, при томъ, весьма ярко; за то въ изображеніи, напримѣръ, животныхъ ассирійцы не превзойдены и самими греками. Но тѣмъ не менѣе дѣйствительное отечество для скульптуры нашлось все-таки только въ Греціи. Только здѣсь она окончательно отдѣлилась не только отъ стѣнъ, но и отъ самаго храма; только здѣсь она уже не пиластръ, не барельефъ, не горельефъ, не колонна, не сфинксъ, а исключительно статуя, которая и самую колонну обращаетъ себѣ въ пьедесталъ. Съ другой стороны, и самая статуя здѣсь есть не символъ, какъ на востокѣ, какъ изображеніе Шивы, какъ сфинксъ, а чистое подражаніе дѣйствительности. Дѣйствительность же, которой ваяніе подражаетъ, есть уже не мертвая, неорганическая природа, а природа живая, органическая, которую греческое ваяніе и перепробовало всю, начиная отъ лошади Каламиса и коровы Мирона и оканчивая Ніобеей и Лаокоономъ. Мало того, кромѣ природы вообще, становится доступнымъ для скульптуры отчасти и самое общество. По крайней мѣрѣ, греческая скульптура перебрала и всѣ общественныя положенія, какія она только способна воспроизводить, какъ-то: метаніе диска, борьбу, скаканье, ристаніе въ колесницахъ, кулачный бой, бѣганье въ запуски, натираніе тѣла масломъ, жатву, сборъ винограда и проч. и проч. Мало того, отъ рабскаго подражанія дѣйствительности посредствомъ окрашиванія фигуръ, она достигаетъ уже до подражанія свободнаго, творческаго. Самымъ матеріаломъ скульптуры является у грековъ не кирпичъ и не гранитъ, а паросскій мраморъ, слоновая кость, бронза, металлъ. Всѣ творческія силы общественныя, всѣ эстетическія усилія правительствъ сосредоточены здѣсь не на возведеніи того или другого зданія, но на

возсозданіи Зевеса олимпійскаго, Аѳины пареенонской, Афродиты книдской. А созвѣздіе Фидіаса, Поликлета, Скопаса, Правсителя, Лизиппа указываетъ на такую напряженность генія, какая никогда больше повторена не была въ исторіи. Ни одинъ обломокъ, уцѣлѣвшій до насъ отъ этихъ великихъ мастеровъ, никогда и нигдѣмъ потомъ превзойденъ не былъ; и всѣ ваятели послѣдующихъ временъ были только болѣе или менѣе счастливыми учениками классиковъ. Нужно ли говорить еще о распространенности этого искусства по классическому міру, о популярности его въ душахъ классиковъ, о той неповторимой болѣе почвѣ, изъ которой это распространеніе и эта популярность возникали. Такого культурнаго значенія, какъ здѣсь, ваяніе никогда больше не знало и не можетъ знать въ исторіи. Впрочемъ, на этотъ счетъ не существуетъ, повидимому, разногласій, и потому мы поспѣшимъ перейти къ слѣдующему фазису исторической эстетики.—Живопись, эта новая ступень на лѣстницѣ искусства, способна воспроизводить не только неорганическую природу (ландшафтъ, пейзажъ, маринисты, *nature morte*), не только органическую (портретная живопись), но даже и самое общество (живопись историческая). Искусство это не есть, конечно, всецѣлое созданіе среднихъ вѣковъ или, точнѣе, вѣковъ возрожденія; оно знакомо не только классическому міру, но и востоку, гдѣ оно служило къ раскрашиванію храмовыхъ стѣнъ и изображеній боговъ. Въ Греціи же живопись даже отдѣлилась отъ остальной пластики въ самостоятельное цѣлое, и могла уже произвести такихъ мастеровъ, какъ Полигнотъ, Аполлодоръ, Зевксисъ, Парразій, Апеллесъ. Но Полигнотъ пишетъ еще безъ тѣней, безъ плановъ, безъ перспективы; Аполлодоръ только щее вводитъ болѣе сильное моделированіе съ соблюденіемъ свѣта и тѣни; Парразій только вводитъ еще правила пропорцій; такъ что одинъ Апеллесъ могъ все это соединить и всѣмъ воспользоваться. Тѣмъ не менѣе говорить о живописи, какъ объ искусствѣ выживающемъ, пока нѣтъ изобрѣтенія масляныхъ красокъ все-таки невозможно. Технические условія, уже одни и сами по себѣ, всегда способны положить непреодолимый предѣлъ всякому художеству. Не овладѣвъ всѣми своими средствами, никакое искусство не въ состояніи подвигаться по существу. А потому и о культурно-историческомъ значеніи живописи въ мірѣ можно говорить только со временъ Чимабуэ или временъ Ванъ-Эйковъ, т. е. со времени изобрѣтенія и усовершен-

ствованія такого орудія живописи, какъ масляная краска, которая одна даетъ этому искусству, съ одной стороны, всѣ средства для его выраженія, съ другой — возможность преданія, возможность преемственности во времени. И дѣйствительно, скоро вслѣдъ за этимъ раскрывается такое напряженіе живописнаго творчества, что оно, ни до, ни послѣ, не знаетъ ничего подобнаго себѣ въ мірѣ. Одно перечисленіе шквалъ: тосканской, сіенской, миланской, венеціанской, падуанской, неаполитанской, фландрской, швабской, франконской, саксонской, дюссельдорфской, севильской и т. д., одно оно показываетъ, до какой жизненной полноты и разнообразія достигло искусство. Перечисленіе же именъ мастеровъ, такихъ какъ Перуджино, Леонардо да Винчи, Микель Анджело, Рафаэль, Тиціанъ, Корреджіо, Веронезе, Гвидо Рени, или какъ Дюреръ, Кранахъ, Гольбейнъ, Рубенсъ, Рембрандтъ, Мурильо, и т. д., и все это на протяженіи не больше какъ двухъ столѣтій, достаточно свидѣтельствуетъ, что это такая же, если не лучшая, пора для живописи, какъ вѣкъ Перикла для скульптуры. А между тѣмъ, въ этому скопленію гениальностей присовокупляются также царственные почести, воздаваемые художникамъ, присоединяется баснословная экономическая цѣнность ихъ произведеній, присоединяется недосыгаемая высота образцовъ, такъ что все это вмѣстѣ съ неопровержимостью обнаруживаетъ, какому изъ искусствъ отдава была пальма первенства этимъ періодомъ исторической жизни человѣчества. Но тутъ же и завершила свою великую эволюцію вся вообще пластика; отнынѣ наступилъ чередъ тоникъ. — Какъ пластика есть поэтическое изображеніе природы и общества, такъ тоника достигаетъ уже до воспроизведенія человѣчности, потому что владѣетъ и звукомъ, и словомъ. Не липонная возможности воспроизводить природу (въ звукоподражаніяхъ), музыка гораздо больше, однакожъ, способна къ мотивамъ общественнымъ (въ военной, церковной, бальной, застольной музыкѣ), а также и психологическимъ (въ оперной). Своею гармоніей она еще примыкаетъ къ пластикѣ, къ статическимъ искусствамъ; но мелодіей своей она прямо уже приурочиваетъ себя къ поэзіи, къ тоникѣ, къ динамическому искусству. Какъ архитектура всегда рождаетъ изъ себя скульптуру и живопись, такъ пѣніе всегда рождаетъ музыку и поэзію. Оно рождало ихъ на востокѣ, и въ классическомъ мірѣ, и въ вѣкѣ возрожденія; но ни оно, ни какое либо изъ двухъ его порожденій никогда до настоящей, современной намъ, эпохи не достигало до

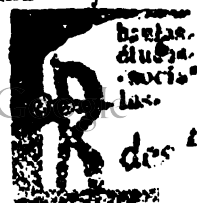
степени такого выживанія надъ всѣми другими изящными искусствами. Въ Римѣ, напримѣръ, музыка даже была предоставлена исключительно рабамъ и вольноотпущенникамъ. Рапсоды, трубадуры, труверы, барды, скалды, минезингеры, мейстерзингеры, гуслари, лирники, бояны, были, конечно, во всѣ времена и на всѣхъ мѣстахъ; они современны всякой архитектурѣ, скульптурѣ и живописи; но искать ихъ специальной эпохи, искать вѣкъ господства ихъ въ культурѣ, прежде изобрѣтенія нотъ, все таки немислимо. Возможно было выживаніе музыки относительное, т. е. въ той или иной мѣстности, въ то или иное время, но не абсолютное, не для всѣхъ мѣстъ и временъ. Какъ архитектура безъ камня, скульптура безъ мрамора, живопись безъ масляныхъ красокъ, такъ пѣніе и музыка безъ нотъ—не знаютъ самой возможности полного развитія, потому что не имѣютъ условій преемственности, историческаго накопленія послѣдующаго на предыдущее, а слѣдовательно, и самыхъ элементарныхъ условій совершенствованія. Безъ нотъ музыка то же, что цивилизація безъ грамоты, безъ письменъ: это однодневный цвѣтокъ, который цвѣтетъ и благоухаетъ, пока пѣвецъ поетъ, а слушатель слушаетъ; но кончили они—кончилась и исторія тоникки; такъ что ее нужно безпрестанно начинать съизнова, какъ работу съ камнемъ Сизифа. Память, по мѣрѣ возможности, спасаетъ прошедшее отъ гибели; но извѣстно, какой это союзникъ непрочный и не-надежный. Буквы алфавита, которыми греки старались задержать пропѣтые звуки, были средствомъ весьма несовершеннымъ для восполненія памяти. А потому-то только со времени бенедиктинца Гвидо Ареццо, со времени его знаменитой діатонической лѣстницы или гаммы, открывается впервые существеннаго преуспѣянія этого искусства и его конкуренціи съ другими, съ прежними. И дѣйствительно, какъ только живопись истощила свои усилія и свои чудеса, музыка уже начинаетъ вступать въ права ея. Инструментальная музыка, какъ искусственное подражаніе естественной, вокальной, и до сихъ поръ еще составляетъ только аккомпаниментъ этой послѣдней, какъ нѣкогда скульптура была лишь аккомпаниментомъ архитектуры. Самая наша опера, это столь характеристическое, оригинальное и небывалое созданіе нашихъ временъ, есть все-таки не что иное, какъ пѣніе, сопровождаемое музыкою. Но послѣдняя съ каждымъ днемъ все больше и больше крѣпнеть подъ эгидой голоса, такъ что недалеко уже, быть можетъ, то время,

когда она будетъ въ состояніи бросить перчатку своей старой покровительницѣ и, вызвавъ ее на смертный бой, даже побѣдить ее. Какъ бы то ни было, но нѣтъ въ наше время искусства, болѣе распространеннаго, болѣе популярнаго въ культурныхъ обществахъ, болѣе цѣнимаго экономически, болѣе привлекающаго къ себѣ дарованій, какъ вообще музыка. Имена: Палестрины, Себастьяна Баха, Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Керубини, Россини, Беллини, Вебера, Каталани, Паганини, Мейербера, Шопена, Мендельсона, Шумана, Вагнера, и всѣхъ современныхъ намъ пѣвцовъ, пѣвицъ и музыкантовъ, равно какъ и судьба ихъ всѣхъ, и, наконецъ, значеніе музыкальнаго искусства въ ежедневной жизни современныхъ обществъ, все это достаточно ручается за то, что у музыки нѣтъ нынѣ соперницъ изъ числа художествъ.—Но гдѣ же, въ такомъ случаѣ, мѣсто *поэзіи*? этого вѣнца искусствъ, способнаго къ воспроизводству и природы, и общественности, и человѣчности, но пуще всего, конечно, послѣдней? Мысль, что поэзія есть искусство будущаго, можетъ и должна съ перваго взгляда показаться парадоксомъ. Какъ! послѣ Гомера и Шекспира неужели намъ надо еще ожидать какого-то иного вѣка поэзіи? Но чѣмъ же было все ея прошедшее, если вѣкъ этотъ еще впереди? И какія же дарованія могли бы превзойти гений Гомера или Шекспира?.. Но дѣло здѣсь не только въ степени гениальности художниковъ, а также и въ степени популяризаціи искусства между людьми. Поэзія не только не превосходила до сихъ поръ въ популярности какое бы то ни было изъ искусствъ, но даже и не могла еще превосходить ихъ. Для того, чтобы цѣнить и понимать пластику, довольно почти одного зрѣнія, такъ что и самое не просвѣщенное зрѣніе способно заглядываться на храмы и дворцы, на статуи и картины. Для того, чтобы оцѣнить и понять пѣніе и музыку, достаточно одного почти слуха, такъ что и самый невоспитанный слухъ способенъ, одна-кожъ, заслушиваться пѣснью и игрою. Но для того, чтобы наслаждаться поэзіею, необходимо нѣчто большее, чѣмъ одни ви́шнія чувства, и чѣмъ поэзія выше, тѣмъ это вѣрнѣе. Для восхищенія народною сказкою всегда и вездѣ, конечно, найдутся знатоки; но для того, чтобы понять Шекспира, надо было даже для культурныхъ умовъ спустить цѣлыхъ три столѣтія послѣ поэта, такъ что для самого Вольтера это былъ еще не больше, чѣмъ поэтъ-дикарь. Да и въ настоящую даже минуту велики ли тѣ сферы публики, гдѣ популярнѣ

Шекспиръ? и не предпочитаютъ ли ему на каждомъ шагѣ романы Дюма, Сю и имъ подобныхъ? Какъ въ прочихъ искусствахъ есть условія техническія, безъ которыхъ напряженное движеніе ихъ невозможно, такъ для поэзіи такимъ условіемъ есть социальное, — извѣстный уровень развитія общества, извѣстное расширение культурныхъ слоевъ въ нихъ. Потому-то до сихъ поръ мы не видѣли и не могли видѣть нигдѣ въ исторіи ни такихъ поэтическихъ плеядъ, такого скопленія школъ и талантовъ, ни такой популяризаціи ихъ въ публикѣ, ни такой экономической оцѣнки ихъ, какія извѣстны уже въ другихъ искусствахъ, и какія для поэзіи сдѣлаются возможными только съ инымъ, чѣмъ нынѣшній, разливомъ цивилизаціи въ обществахъ. До тѣхъ же поръ никакая поэзія и никакая гениальность произведеній ея не въ состояніи будутъ ни акклиматизироваться, ни овладѣть социальною почвою, ни осилить на ней какую-бы то ни было другую эстетическую флору. Впрочемъ, уточненіе этого заключенія отложимъ до нижеслѣдующаго изслѣдованія. — Здѣсь же замѣтимъ только, что во всякомъ случаѣ исторія художества шла, значить, тѣмъ же путемъ, какъ и исторія цивилизаціи. Сперва воспроизводила она *природу* — въ архитектурѣ и скульптурѣ: въ первой — неорганическую, во второй — органическую. Потомъ воспроизводитъ она *общество* — въ живописи. Наконецъ имѣетъ она возсозидать *личность* — въ музыкѣ и въ поэзіи. Въ свою очередь поэзія наиболѣе богата средствами для этой цѣли. Такъ въ эпосѣ своемъ она возсозидаетъ личность объективно, въ видѣ событія; въ лирѣ — субъективно, въ видѣ извѣстнаго состоянія души; а въ драмѣ — въ видѣ дѣйствія, т. е. соединенія обоихъ элементовъ и тѣмъ завершенія всего искусства. Архитектура и скульптура суть, слѣдовательно, предвозвѣстницы естествознанія, подобно тому, какъ и философія природы: и въ самомъ дѣлѣ, онѣ предвосхищаютъ у науки, одна, законы механики, т. е. неорганической науки, другая — законы анатоміи, т. е. науки органической. Живопись и музыка, подобно философіи общества, предвосхищаютъ тайны обществознанія: живопись — его статику, музыка — его динамику. Поэзія, какъ и психологическая философія, прообразуетъ все человѣковѣдѣніе: лирика — естественную психологію, эпопея — социальную, драма — біографическую.

Къ этой преемственности искусствъ между собою присовокупляется еще другая: преемственность внутри каждаго изъ нихъ, ко-

торая на этотъ разъ одинакова для нихъ всѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, всякое искусство начинается непременно въ религіи, непременно бываетъ сначала *религіознымъ*, не исключая даже пляски. Такова была архитектура въ Индіи и вообще на востокѣ, скульптура въ Греціи и Римѣ, живопись и музыка въ средніе вѣка: одна—въ византійскомъ и романскомъ стилѣ, другая—въ органной музыкѣ. Архитектура эта была храмовою, скульптура эта—вумирною, эта живопись и музыка—церковною. Самая поэзія увидѣла свѣтъ не иначе, какъ во храмѣ и, при томъ, во всѣхъ своихъ родахъ, если не видахъ. Первоначально она была не что иное какъ мнѣ, молитва, ритуаль: мнѣ, какъ священная легенда о богахъ и герояхъ; молитва, какъ ведическій гимнъ или еврейскій псаломъ; ритуаль, какъ обрядъ богослуженія, какъ культъ. Изъ мнѣологии повсюду происходила поэзія эпическая, изъ гимна и псалма—лирическая, изъ ритуала—драматическая. Такъ было и въ Индіи, и въ Иудеѣ, и въ Греціи, и въ средневѣковой Европѣ. Магабхарата и Рамайяна были продолженіемъ ведъ; Гомеръ и Гезіодъ—продолжателями мнѣологии; Дантъ, Мильтонъ и Клопштокъ—комментаторы священнаго писанія. Индійская риг-веда, еврейскій псалтирь, греческій пеанъ, христіанская ода, всѣ они не больше, какъ дѣти молитвъ. Индійская драма, греческая трагедія, средневѣковая мистерія были каждый разъ выдѣленіемъ церковнаго обряда. Въ этомъ религіозномъ возрастѣ своемъ искусство есть не прихоть и не капризъ, но положительная потребность души, рѣшительная необходимость для общества. Обойтись тутъ безъ него значило бы обойтись безъ удовлетворенія одного изъ заветнѣйшихъ запросовъ человѣка, обойтись безъ образнаго выраженія всей религіозной истины. Соціальное значеніе искусства здѣсь неизмѣримо и достигаетъ того своего *maximum'a*, который не повторяется потомъ никогда. Но за то совершенно ничтожно его значеніе эстетическое. Возведеніе храма есть здѣсь задача поколѣній; но храмъ поражаетъ развѣ только своими размѣрами, трудностью сооруженія, да развѣ еще таинственностью, мистичностью, но никакъ не симметріею, не пропорціональностью. Возсозданіе статуи есть здѣсь священнодѣйствіе; но статуя эта можетъ быть деревянною, окрашенною различными красками, обмываемою какъ кукла, но не стройною, не изящною. Живопись есть здѣсь иконопись, которая блистаетъ своею мозаикою, своимъ золотымъ фономъ, но не живостью мертвенныхъ фигуръ своихъ. Му-



зыка этихъ эпохъ, пѣніе ихъ, есть главнымъ образомъ молитва,—молитва полная искренности и вѣры, но вовсе не думающая о выраженіи, о формахъ своихъ. Псаломъ и гусли въ храмъ Давида, месса и органъ въ средневѣковомъ храмѣ суть средства, а не цѣль, и имѣють въ виду содержаніе, а не форму. Поэзія этихъ временъ есть непремѣнно мифологическая. Эпосъ ея есть священное сказаніе, лира—священная пѣснь, драма—священный обрядъ, такъ что драматическія представленія постоянно и приурочиваются въ великимъ празднествамъ и торжествамъ народнымъ. Съ теченіемъ времени, однакожъ, все это мало по малу измѣняется. Рано или поздно, но всякое искусство ускользаетъ изъ-подъ ферылы религіи и заживаетъ, какъ это говорится, своей собственной, независимой жизнью, почему и называется тогда искусствомъ для искусства. Въ сущности, однакожъ, оно только попадаетъ изъ одного патроната въ другой: это вѣкъ искусства *философскаго*, вдохновляемаго идеалами господствующей философіи, а не религіи, воплощающаго въ свои образы идеи первой, а не второй. Впрочемъ, такъ какъ главною изъ этихъ идей есть для него идея абсолютной красоты, то и не будетъ неправильно говорить, что въ этой порѣ своей искусство дѣйствительно само себѣ служить цѣлью, что оно дѣйствительно не подчиняется здѣсь никакимъ постороннимъ интересамъ, и что единственный его интересъ тутъ есть эстетичность. До сихъ поръ содержаніе рѣшительно преобладало надъ формой, теперь же содержаніе и форма приходятъ въ полнѣйшее равновѣсіе. До сихъ поръ цѣлью искусства была религія, а само оно—только средствомъ ея; теперь же цѣлью становится художество, а религія, если и остается при немъ, то лишь въ качествѣ сподручнаго средства. Но если въ этомъ есть выигрышъ, то не безъ проигрыша. вмѣстѣ съ приобритеніемъ самостоятельности, искусство утрачиваетъ въ своемъ социальномъ значеніи: изъ предмета первой необходимости общественной, оно становится здѣсь только предметомъ роскоши, удовольствія, развлеченія. Кромѣ того, велика здѣсь бываетъ интенсивность художественности, но совершенно ничтожна экстенсивность художества. Въ этомъ чисто-эстетическомъ состояніи своемъ архитектура, на примѣръ, удаляется отъ храмовъ и бѣжитъ въ портики, въ пропилеи, въ амфитеатры, въ одеоны; а если и остается при храмахъ, то подчиняя ихъ идею своей, и внося въ нихъ симметрію и вообще идеалы изящества. Скульптура въ этомъ періодѣ или оставляетъ

въ сторонѣ изображенія боговъ, полубоговъ и героевъ, ради воспроизведенія простой человѣческой красоты, или же ставитъ въ нихъ выше всего пропорціональность и вообще условія прекраснаго, какъ напримѣръ Поликлеть въ своей статуѣ—канонѣ. Сюда же относятся всѣ другія имена, перечисленныя вмѣстѣ съ этимъ выше. Живопись, при такомъ возрастѣ, или вовсе перестаетъ черпать свое содержаніе изъ священныхъ книгъ, или же, продолжая черпать его, ищетъ въ немъ не религіозной, а эстетической канвы, и вообще интересуется не столько сюжетами, темами, сколько рисункомъ и колоритомъ. Такова-то именно и есть живопись временъ возрожденія. Библейскія темы все еще служатъ канвою; но главный интересъ уже не въ нихъ, а въ силѣ выраженія. Да при томъ же и самымъ темамъ этимъ искусство все больше и больше измѣняетъ. Истиннымъ фокусомъ всего этого настроенія искусства служить, среди поименованной выше плеяды художниковъ, Рафаэль, который, благодаря универсальности своей, сосредоточиваетъ въ себѣ и прошедшее, и настоящее, и будущее искусства. Начиная съ міра мадоннъ и запрестольныхъ образовъ, онъ не чуждается также и міра философіи—въ своихъ станцахъ (ватиканскихъ картинахъ), исторіи (Аттила, Карлъ-Великій), міеологіи (Галатея, Психея), и наконецъ не брезгаетъ ни батальной живописью, ни портретной, ни даже картонами для ковровъ. Музыка съ храмовыхъ хоръ опускается на театральныя подмостки и изъ церковной дѣлается свѣтскою, оперною, гдѣ законъ уже не та или иная тема, а одна гармонія и мелодія. У Палестрины, у Аллегри, у Баха, у Генделя еще продолжаютъ гремѣть *Stabatmater*, *Miserere*, Страсти, Мессія; но съ Глюкомъ уже начинаются Ифигенія въ Авлидѣ, съ Гайдномъ—Времена года, а Моцартъ, который такой же царь звуковъ, какъ Рафаэль—красокъ, захватываетъ, подобно ему, все пространство звуковъ отъ *Requiem* до Свадьбы Фигаро, гдѣ, въ свою очередь, универсальнымъ центромъ служить Донъ-Жуанъ. Поэзія, какъ самое выразительное изъ искусствъ, какъ самое способное отражать всякій духъ времени, отражаетъ и этотъ во всѣхъ своихъ родахъ. Эпосъ ея изъ миѣческаго, какимъ былъ въ Индіи, становится въ Греціи героическимъ. Лирика изъ богослужебной, какъ у Давида, у сыновъ Кореєвыхъ, дѣлается свѣтскою, какъ у Анакреона. Драма изъ мистической, какова она у Эсхила и Софокла, превращается въ естественную, какова шекспировская. Но все такое состояніе художе-

ственного творчества, какъ оно ни несомнѣнно, бываетъ, однакожь, самымъ кратковременнымъ. Какъ на всякомъ апогеѣ движенія, такъ и на этомъ держаться долго нельзя: два-три поколѣнія — вотъ и вся скоротечная жизнь его; тогда какъ фазисы предыдущій и послѣдующій длятся по цѣлымъ столѣтіямъ, если не тысячелѣтіямъ. Не таковъ третій періодъ искусства, *научный*. Въ этомъ искусствѣ снова привносится задняя мысль, цѣль посторонняя, а эстетика снова отходитъ на задній планъ. Но эта мысль и цѣль есть, на этотъ разъ, не истина и не красота, а благо. Содержаніе снова осиливаетъ форму и перевѣшиваетъ ее, такъ что искусство опять становится только средствомъ, а не цѣлью. Польза — вотъ что становится идеаломъ и критеріемъ этого искусства. Художественность, эстетичность глубоко здѣсь упадаетъ, и охотно промѣнивается на цѣлесообразность. Этотъ утилитарный и, такъ сказать, прозаическій пошибъ искусствъ наступаетъ для всякаго изъ нихъ неминуемо вслѣдъ за поэтическимъ. Архитектура въ этомъ прозаизмѣ обращается вся на служеніе ежедневнымъ нуждамъ жизни, каковы: термы, влоаки, акведуки, цистерны, дворцы, мосты, дороги, выставки, театры, музеи, биржи, библіотеки, университеты, вокзалы и даже цейхгаузы, какъ Неринговъ въ Берлинѣ. Прозаическая скульптура рада-радехонька, если она требуется на мавзолеи, монументы, триумфальныя арки, фонтаны и, наконецъ, на бюсты живыхъ и изображенія мертвыхъ, при чемъ во всѣхъ этихъ случаяхъ гораздо важнѣе сходство, мысль, удобство, нежели форма, красота. Живопись, прошедши съвозъ фламандскую шлоу съ ея будничными и мѣщанскими идеалами, доживаетъ вѣкъ свой, какъ карриатура у Гогарта, какъ иронія у Каульбаха, и вообще какъ простая иллюстрація Шекспира, Гете и др. Мало того, гравюра, ксилографія, литографія, хромографія, фотографія, гелиографія, альбертотипія, олеографія и т. п., всѣ эти механическіе субстраты художества тѣсняются въ него все болѣе и болѣе, все больше и больше замѣняя его. Короче, искусство падаетъ въ ремесло. Въ музыкѣ нельзя еще говорить объ абсолютномъ вѣкѣ утилитарности, потому что онъ, повидимому, еще не наступалъ. Но что полезное употребленіе дѣйствія музыки возможно, въ этомъ не сомнѣваются уже и теперь, какъ, напримѣръ, въ педагогіи. Поэзія еще менѣе, чѣмъ музыка, завершила свою карьеру; а потому здѣсь еще меньше, чѣмъ тамъ, можно говорить объ утилитаризмѣ, по крайней мѣрѣ во всѣхъ, безъ исключенія, родахъ ея. Но если не-

извѣстенъ ей утилитарный вѣкъ абсолютный, то извѣстны нѣкоторые относительные, какъ, на примѣръ, греческій, римскій. Въ этой относительной своей научности, поэзія старается поддержать свое достоинство тремя различными способами. Она или смотритъ на окружающую дѣйствительность съ отвращеніемъ, съ негодованіемъ, съ сарказмомъ,—и тогда получается Гораций, Ювеналъ, Лукіанъ, словомъ—сатира; или же она совсѣмъ отвращается отъ окружающей культуры и бѣжитъ въ безкультурность,—тогда оказываются Теокритъ, Виргилій, георгики, т. е. идиллія, буколическая поэзія; или, наконецъ, она подслуживается текущимъ упадкамъ вкуса, и тогда наступаетъ Овидій, поэзія эротическая, чувственная. Въ первомъ случаѣ поэзія бичуетъ пороки, исправляетъ нравы; во второмъ она поучаетъ, просвѣщаетъ умъ свѣдѣніями, утѣшаетъ его контрастами; въ третьемъ она рабски льститъ страстямъ, потакаетъ порокамъ, и только тѣмъ поддерживаетъ спросъ на себя. Лира избираетъ по большей части первый изъ этихъ трехъ способовъ. Эпосъ этихъ эпохъ, кромѣ идилліи, бросается въ простое нравоописаніе, въ этнографію и даже въ дидактику, гдѣ поэмы пишутся о травахъ, о птицахъ, о земледѣліи, какъ у александрійцевъ. Драма, наконецъ, чаще всего служить порчѣ вкуса, превращаясь въ сладострастную пантомиму, въ какомъ видѣ театръ и доживаетъ вѣкъ свой. Вся же вообще поэзія изъ стихотворной обращается теперь въ прозаическую въ собственномъ смыслѣ слова и изъ безцѣльной въ нарочито тенденціозную.

Спрашивается теперь, какія же изъ этихъ художественныхъ эпохъ пережиты не тѣмъ или другимъ изъ отдѣльныхъ человѣческихъ обществъ, а всѣмъ человѣчествомъ вообще? Общій отвѣтъ на этотъ вопросъ едва ли возможенъ: каждое искусство или, по крайней мѣрѣ, каждый родъ его нуждается въ особомъ отвѣтѣ. Вся пластика, на примѣръ, въ качествѣ зодчества и ваянія, по видимому, отжила и религиозный, и эстетическій возрастъ свой еще въ древности; а въ качествѣ живописи она прошла ихъ оба въ новой исторіи; такъ что отнынѣ всѣмъ имъ тремъ предстоитъ, по видимому, навсегда одинъ только вѣкъ научный. Весь гевій пластики можетъ отнынѣ находить убѣжище себѣ развѣ лишь въ желѣзномъ и хрустальномъ зодествѣ промышленныхъ выставокъ, въ грандіозныхъ тоннеляхъ и колоссальныхъ мостахъ желѣзныхъ дорогъ, въ громадныхъ фортификаціонныхъ работахъ, въ прорытіи каналовъ между

частями свѣта, въ монументальномъ ваяніи и въ служебной живописи. Инженеръ, по видимому, навсегда убилъ архитектора, надгробный мастеръ—скульптора, граверъ и фотографъ—живописца. Между тѣмъ, музыка, проживши также безвозвратно, и въ древней, и въ новой исторіи, всѣ свои церковные стили, не пережила, однакожъ, еще эстетическаго; напротивъ, въ настоящую минуту исторической жизни, она вся въ этомъ періодѣ, и вѣкъ прозаическій для нея еще не наступалъ. Ея лирика—арія, ея эпосъ—ораторія, ея драма—опера теперь на полномъ ходу, такъ что всѣми этими путями она почти догоняетъ самую поэзію. У нея также нѣтъ теперь никакой посторонней цѣли, ни во имя истины, ни во имя блага; она все еще сама себѣ есть цѣлью, все еще служить одной красотѣ. Мало того, въ ней теперь цѣлью есть даже вовсе не содержаніе эстетическое, а только эстетическая форма, техника, такъ что новое содержаніе еще только впереди, когда будетъ выработана вся техничность искусства. Особенность эту ей ставятъ даже въ упрекъ, потому что, ради блеска формы, она забываетъ о глубинѣ впечатлѣнія, и вся истощается въ эффектахъ, въ изысканно утонченной инструментовкѣ, въ широкихъ аккордахъ, въ необыкновенной аппликатурѣ, въ чрезвычайныхъ треляхъ и вообще, какъ выражается Любке, въ бездушномъ щекотаніи ушей. Но все это—тѣмъ больше общается только, что содержаніе еще впереди, когда искусство овладѣетъ всѣми тайнствами формъ своихъ. Во всякомъ случаѣ утилитаризмъ еще и не думалъ касаться музыки, и если овладѣетъ ею когда нибудь, то развѣ только въ будущемъ. Что же сказать о поэзіи? Оцѣнка здѣсь въ особенности затруднительна. Она трудна уже по одному богатству видовъ искусства, изъ которыхъ каждый живетъ, какъ кажется, также своею особою жизнью, отъ другихъ не зависящею; а съ другой стороны, трудность увеличивается и той сбивчивостью, которая происходитъ отъ смѣшенія относительныхъ эволюцій съ абсолютными. Такъ, прежде всего, въ чемъ состоитъ исторія эпоса? Гдѣ его стиль религиозный, и гдѣ эстетическій? и при томъ въ абсолютномъ смыслѣ, а не въ относительномъ? Думаемъ, что первый въ Индіи, гдѣ Магабарата и Рамайяна, и вообще на востокѣ, гдѣ религиозность его рѣшительно безусловна; второй же тамъ, гдѣ Илиада, т. е. въ Греціи, которая и до сихъ поръ превзойдена не была въ эстетичности. А вмѣстѣ съ этимъ эпизмъ, эпическій духъ распространяется въ Греціи и на всѣ другіе роды и

виды поэзіи, не исключая ни лиры, ни драмы. Древне-греческій гимнъ есть не что иное, какъ повѣствованіе о прошедшемъ событіи, іонійская элегія—такое же повѣствованіе о событіи современномъ, самый гимнъ Пиндара есть только пѣснь побѣдителя на играхъ и, при томъ, переполненная сказаніями мифологіи; такъ что одинъ только Анакреонъ есть лирикъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. О драмѣ же древней нечего и говорить: она есть настоящее повѣствованіе, но только въ лицахъ, а никакъ не дѣйствіе. Тамъ все вертится на самой фабулѣ, на роковомъ сцѣпленіи обстоятельствъ, а никакъ не на развитіи характеровъ. А если такъ, то всѣмъ этимъ только подтверждается дѣйствительное выживаніе эпизма въ греческой поэзіи. Но куда же зачислить въ такомъ случаѣ всѣхъ нашихъ европейскихъ эпиковъ? неужели въ утилитарный стиль? и что же господствуетъ въ нашей поэзіи: неужели лира? Какъ ни странно это, но другой оригинальности, другой новизны въ европейскомъ періодѣ поэзіи нѣтъ. Есть, правда, и въ немъ свой религіозный и свой эстетическій укладъ эпоса; но оба они таковы только относительно другъ друга, а не въ абсолютномъ смыслѣ. Религіозный, на примѣръ, прожить имъ въ Дантѣ (эпосъ религіознаго будущаго), въ Мильтонѣ (эпосъ религіознаго прошедшаго), въ Тассѣ и Клопштокѣ (эпосъ религіознаго настоящаго). Сравнительный эстетическій имѣлъ мѣсто въ Сервантесѣ, въ Боккачіо (эстетическое настоящее), въ Вальтеръ-Скоттѣ (эстетическое прошедшее), въ Томасѣ Мурѣ, въ Кампанеллѣ (эстетическое будущее). Если же открывается чтонибудь дѣйствительно новаго, небывалаго, и въ чемъ древніе не могли бы спорить съ нами; то это единственно только эпика научная, утилитарная, прозаическая. Ни романъ вообще, ни тенденціозный въ особенности, не имѣютъ, по развитію своему, ничего подобнаго себѣ въ древности, ни въ видѣ Милетскихъ сказокъ, ни въ видѣ Киропедіи Ксенонофонта. Между тѣмъ, теперь этотъ родъ кишитъ вокругъ насъ и заполняетъ собою всѣ другіе. Что такое всѣ наши Самаровы, Эберсы, Францозы, если не фотографы научнаго прошедшаго? всѣ Диккенсы, Теккереи, Флоберы, Гонкуры, Золя, если не анатомы настоящаго? всѣ С. Симоны, Кабэ, Фурье, Рошфоры, Жоржъ-Занды, если не пѣвцы будущаго? Что они всѣ, какъ не представители утилитарнаго, тенденціознаго эпоса, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, и единственно оригинальный какъ въ нашей собственной культурѣ, такъ и во всей вообще исторіи эпоса. Коль скоро дѣло дошло до того,

что эпопеи пишутся по источникамъ, требуютъ по десяти лѣтъ кропотливаго труда и, въ концѣ концовъ, ничѣмъ не отличаются, однѣ, отъ исторіи, другія—отъ этнографіи, третьи—отъ умозрѣнія; то что же это, какъ не научность эпоса, еще не имѣвшая себѣ примѣра? Въ довершеніе всей картины, мы не можемъ сказать, чтобы ей не доставало и идилліи. Напротивъ, Эрманъ-Шатріанъ во Франціи, Ауэрбахъ въ Германіи, Марко Коломби въ Піемонтѣ, Фучини въ Тосканѣ, Джузеппе Верга въ Сициліи, Манцони въ Италіи, всѣ они создаютъ не что иное, какъ сельскій романъ, гдѣ городской деморализаціи противопоставляется сельская буколика. Недостаетъ развѣ только настоящей еще — дидактики. Между тѣмъ, совсѣмъ не такова роль нашей лирики. Она, подобно нашей же музыкѣ, знаетъ передъ собою только религіозную лиру древности, только ведическій гимнъ и еврейскій псаломъ; или же, если и знаетъ эстетическую, то еще переполненную духомъ эпизма, за исключеніемъ одной лишь поэзіи анакреонтической. Но что же такое тамошній Анакреонъ въ сравненіи съ нашими великанами лиризма! Послѣ относительной и далеко не блестящей религіозной лиры среднихъ вѣковъ, завершившейся Савонароллою, выступаетъ вполнѣ блестящая эстетическая, философская, начиная съ такъ называемаго божественнаго Петрарки. Съ тѣхъ поръ плеяды лириковъ не переводятся, и лирическое содержаніе овладѣваетъ всѣми формами поэзіи, и эпической, и драматическою, какъ на примѣръ, въ Вольтерѣ. Подъ конецъ же все это разражается такимъ созвѣздіемъ, какъ Гете, Шиллеръ, Байронъ, Гюго, Пушкинъ, Мицкевичъ. Демонизмъ библейскій Данта и Мильтона смѣняется здѣсь чисто-философскимъ, и, вмѣсто Люцифера и Вельзевула, выводитъ на сцену Фауста, Карла Мора, Каина, Манфреда, Чайльд-Гарольда, Квазимодо, Онѣгина, Валенрода. Хотя многія изъ произведеній этой плеяды изложены въ формѣ драмъ и поэмъ; но кто же подъ этой формой просмотритъ лирику, не признаетъ явнаго субъективизма. Всѣ такіа драмы и эпопеи на столько же лиричны, на сколько древняя драма и лира были эпическими. Мало того, сама шекспировская драма проникнута духомъ лиризма, потому что вся основана на внутренней, а не вѣшной, судьбѣ героя. Сверхъ того, лирическая печать лежитъ на ней и формально, въ видѣ господства монологовъ. А если такъ, то и это скопленіе лирическихъ геніальностей, и эта эстетичность образовъ, и эта философичность идеаловъ, все это даетъ основаніе пред-

положить, что таковой относительный фазисъ европейской лиры есть, въ то же время, абсолютнымъ или всечеловѣческимъ. Правда, что таковой строй нашей поэзіи былъ однимъ мгновеніемъ и что изъ него мы успѣли уже перейти въ Барбье, въ Гейне, въ Некрасова, словомъ, въ сатиру, а въ итальянскихъ поэтахъ, какъ, напримѣръ, Джузеппе Джустини, даже въ простую публицистику; но это нисколько еще не отрицаетъ, что высшаго лирическаго развитія, чѣмъ въ наши времена, поэзія никогда прежде не знавала. Но коль скоро такъ, то это и есть ея вѣкъ философскій, послѣ котораго можно ожидать одного только научнаго. Остается самый поздній и самый трудный родъ, драма. Если посмотрѣть только съ европейской точки зрѣнія, то и драма совершила весь или почти весь курсъ своего развитія. Послѣ своего религіознаго раскрытія въ средневѣковыхъ мистеріяхъ, она блеснула ослѣпительнымъ свѣтомъ въ англійскомъ драматургѣ и, вслѣдъ затѣмъ, не нашедши ему ни соперниковъ, ни даже подражателей, она успѣла уже уступить мѣсто комедіи, которая, съ Мольера и до сихъ поръ, одна заполняетъ всѣ сцены европейскихъ театровъ. Мало этого, нельзя сказать и того, чтобъ сама комедія не принуждаема была время отъ времени склоняться уже предъ балетомъ и, въ особенности, предъ скабрзною опереткою. Но совсѣмъ другіе выводы даетъ всемірная точка зрѣнія, гдѣ приходится вытянуть въ одинъ рядъ только такія величины, какъ индійскаго Калидаса, греческихъ Эсхила, Софокла, Эврипида и британскаго Шекспира. Хотя Калидаса есть только самый поздній представитель отечественной его драматургіи; но и по немъ достаточно замѣтно, чѣмъ должна была быть ранняя. Антиномія воли и неволи, противоположность свободы и необходимости, борьба личности и рока, этотъ всемірно-историческій сфинксъ драмы, постоянно ею разгадываемый и постоянно остающійся неразгаданнымъ, въ Индіи разрѣшается тѣмъ, что человѣкъ весь состоитъ въ волѣ боговъ, святыхъ людей и раджей. Греческое представленіе ищетъ и находитъ ту же необходимость въ судьбѣ, равно царящей и надъ людьми, и надъ богами. Англійское міровоззрѣніе разрѣшаетъ проблему собственными страстями человѣка, его пороками и слабостями, и въ нихъ видитъ судьбу его. Герои Шекспира гибнутъ всегда отъ своихъ собственныхъ ошибокъ, а не потому, что такъ велѣли боги, или что такъ предназначено судьбой. Съ другой стороны, по представленію индійскаго драматурга, воля человѣческая совершенно

бессильна, страдательна, такъ что отрицаетъ всякую возможность борьбы. По идеаламъ греческимъ, она вовсе не лишена активности, способна къ противодѣйствию и къ борьбѣ; но борьба эта далеко не равна, и человѣкъ все-таки обреченъ въ ней на гибель. По европейскому воззрѣнію англійскаго драматурга, личность человѣческая исполнена величайшей энергіи, она способна къ самой активной борьбѣ съ препятствіями, и если гибнетъ, то всегда лишь по своей собственной винѣ. И такъ, оба древніе трагизма, хотя и рознятся въ частностяхъ, но сходятся въ томъ, что оба возвращаются на необходимости, и оба на внѣшней и сверхъестественной, какова бы она ни была. Напротивъ, новый трагизмъ весь основанъ на волѣ, на свободѣ, на личности, которая если и созидаетъ судьбу, необходимость, то свою внутреннюю и естественную, зависящую отъ самыхъ свойствъ человѣка. Другими словами, древняя разгадка вѣковой проблемы склоняется въ пользу внѣшнихъ силъ; новая—въ пользу внутреннихъ; та—въ пользу необходимости, предопредѣленія, рока, эта—въ пользу свободы, силы воли, личности. Есть, правда, и у самого Шекспира, или, точнѣе, попадаетъ у него легкій оттѣнокъ роковыхъ неизбѣжностей, какъ напримѣръ въ Макбетѣ; но это у него лишь изрѣдка и всегда лишь въ видѣ двусмысленности. Какъ бы то ни было, но оба эти трагизма, въ свою очередь, имѣютъ общаго между собою то, что оба они только еще религіозны. Древній трагизмъ есть отраженіе политеизма, какъ религіи общества; новый—отраженіе монотеизма, какъ религіи человѣка. А потому ему могутъ оставаться впереди еще цѣлыхъ двѣ метаморфозы, т. е. и философская, и научная. А вмѣстѣ съ тѣмъ, остается впереди и то господство драматизма, которое должно протѣкнуть и въ будущую лиру, и въ будущій эпосъ. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что драматургія далеко еще не исчерпала всѣхъ возможныхъ отвѣтовъ своихъ на всеобщій вопросъ ея. Ей остаются еще всѣ отвѣты примиренія обѣихъ антагоничныхъ силъ, остаются всѣ способы сочетанія внѣшней необходимости и внутренней свободы. Вотъ этому-то драматургическому развитію и должна, по видимому, принадлежать вся та популярность поэзіи въ будущемъ, какой она не могла найти ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ.

И такъ, подводя итогъ всей исторіи искусства, приходится сказать, что каждое изъ нихъ идетъ своей особой поступью. Пластика прошла уже на-всегда свои два первые періода и отнынѣ живетъ.

и можетъ жить напередъ, лишь въ третьемъ. Музыка отыграла только свой фазисъ религіозный, а живетъ теперь въ философскомъ, и можетъ жить еще въ научномъ. Изъ числа же поэтическихъ искусствъ эпическое идетъ вслѣдъ за пластикою, т. е. имѣетъ будущность только въ смыслѣ научнаго. Лирика движется параллельно съ музыкой, такъ что философскіе фазисы ихъ совпали въ настоящемъ, а научные должны совпасть въ будущемъ. Драматургія же отстала отъ всѣхъ искусствъ, и до сихъ поръ пережила развѣ лишь одну религіозную свою метаморфозу (если только пережила); двѣ же другія остаются ей еще впереди.

Теперь намъ слѣдовало бы обратиться къ третьему изъ искусствъ культуры, къ творчеству социальному, и въ немъ прежде всего къ культурѣ экономической, еслибъ планъ этой книги не исключалъ ее. А потому, опуская всю экономическую организацію, всю политику экономическую и все экономическое право, мы остановимся только на творествѣ политическомъ, нравственномъ. Съ искусствомъ этого рода мы окончательно переносимся изъ цивилизаціи въ культуру. Хотя свойства цивилизаціи не совсѣмъ еще исчезаютъ и въ этомъ искусствѣ; но культурныя слишкомъ уже пересиливаютъ ихъ. Хотя и оно продолжаетъ еще отчасти изучать міръ, и продолжаетъ даже тѣмъ же способомъ, какъ и прежнія, а именно воспроизводя его (если не въ системахъ и не въ образахъ, какъ тѣ, то въ самыхъ формахъ общежитія); но, вслѣдствіе этой послѣдней особенности, реальность начинаетъ здѣсь рѣшительно перевѣшивать прежнюю идеальность, и тѣмъ отводитъ это искусство отъ цивилизаціи и подводитъ его къ самой гражданственности, къ правамъ, къ фактамъ общежитія. Тѣмъ не менѣе, правительственное искусство все-таки остается искусствомъ, потому что остается подражаніемъ. А именно оно подражаетъ и внѣшней природѣ, и обществу, и человѣку. Подобно внѣшней природѣ, оно творитъ свои безчисленныя социальныя организаціи, налагаетъ на каждую изъ нихъ свои законы, берется карать за всякое нарушеніе этихъ законовъ. Еще прямѣе подражаетъ оно обществу, ибо во всякомъ позднѣйшемъ изъ нихъ болѣе или менѣе копируетъ всякое предыдущее. Наконецъ, оно постоянно воспроизводитъ и образъ человѣка, а именно воспроизводитъ его въ своемъ гражданинѣ. Такимъ образомъ, оно есть несомнѣнное искусство, но искусство въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова. Эти-то двѣ стороны орга-

низаторскаго искусства и дѣлаютъ изъ него культуру по преимуществу, культуру въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Къ этой-то культурѣ и предстояло бы теперь намъ обратиться непосредственно, еслибъ мы не опасались, что читатель можетъ растеряться въ массѣ разнообразныхъ подробностей ея, при постепенномъ ихъ изложеніи, коль скоро не будетъ впередъ уже имѣть въ виду все ея цѣлое, въ качествѣ руководящей нити.

И такъ, необходимо предпослать ему сразу и во всей ея совокупности ту гипотезу, на которой обоснована вся подлежащая исторія культуры, и которую вся эта исторія развиваетъ только въ подробностяхъ, и только старается доказать фактически. По этой гипотезѣ, смѣна обществъ обществами, государствъ государствами, образовъ правленія образами правленія, учреждений учрежденіями, политикъ политиками, правъ правами, нравовъ нравами и т. д. во все не представляетъ той беспорядочности, какая кажется въ исторіи, при всякомъ первомъ взглядѣ на нее. Напротивъ, здѣсь есть, во всякомъ случаѣ, не меньшая правильность, чѣмъ какая наблюдается, напримѣръ, геологами въ корѣ земной. По нашей гипотезѣ, вся минувшая исторія, всѣ разнообразныя эпохи культуры составляютъ собою именно нѣчто въ родѣ тѣхъ наслоеній, лежащихъ другъ надъ другомъ, изъ коихъ слагается кора земли. Политическая ила культурная кора ея состоитъ также изъ нѣсколькихъ формаций совершенно различнаго состава, а каждая формация, въ свою очередь, заключаетъ въ себѣ также по нѣскольку различныхъ напластованій. Такихъ формаций культуры гипотеза наша усматриваетъ три: патріархальную (какъ самую нижнюю и самую древнюю), государственную (какъ текущую), и международную (какъ предстоящую впереди). Изъ нихъ патріархальная, въ свою очередь, слагается изъ трехъ напластованій: естественно-зоологическаго, семейно-родового, народно-племеннаго. Первое не знаетъ никакихъ поселеній, ни постоянныхъ, ни даже временныхъ; второе знаетъ только передвижную ставку; третье же основываетъ село, деревню. Всѣ эти три пласта пройдены человѣчествомъ въ такъ называемыя до-историческія, до-государственные времена. Равнымъ образомъ и формация государственная содержитъ въ себѣ три наслоенія: одно—государство городское, муниципальное, куда относится весь древній государственный міръ; другое—областное, національное, которое состоитъ изъ всѣхъ современныхъ государствъ Европы и Америки; и

третье—расовое, континентальное, которое есть только ожидаемое, только имѣющее еще образоваться поверхъ современнаго міра и на его развалинахъ, а также и рядомъ съ ними, на новыхъ территорияхъ, въ новыхъ тысячелѣтія и изъ новыхъ расъ. Въ городскомъ государствѣ одинъ какой нибудь городъ властвуетъ надъ всѣми другими, надъ всею своею областью, какъ Аѣины въ Аттікѣ, Карѣагенъ въ Ливіи, Римъ въ Лаціумѣ, въ Италіи и, наконецъ, во всемъ древнемъ мірѣ. Въ государствѣ національномъ такую же власть надъ другими пріобрѣтаетъ какая нибудь одна область или національность, господствующая, какъ въ Великобританіи—ангლოსаксонская, въ Австріи—нѣмецкая, въ Россіи—славянская и т. д. Въ континентальномъ государствѣ надо предположить такое же преобладаніе какихъ-нибудь расъ надъ цѣлыми континентами. И такъ, эти три пласта на половину пройдены исторіей, на половину ожидаютъ впереди. Что же касается формаций международныхъ, долженствующихъ упразднить всякую государственность и соединить міръ сперва въ нѣсколько, а потомъ, быть можетъ, и въ единственную, общечеловѣческую космополитію; то такое состояніе человечества составляетъ собою еще болѣе отдаленное и, во всякомъ случаѣ, послѣднее изъ возможныхъ политическихъ чаяній. Какъ бы то ни было, но каждый изъ этихъ продольныхъ историческихъ пластовъ культуры постоянно раздвояется поперекъ: на иноуправленія и самоуправленія. Въ патріархальномъ пластѣ иноуправленіе является въ формѣ семействъ и родовъ, управляемыхъ отцами и родоначальниками, а самоуправленіе—въ формѣ сельскихъ общинъ, управляемыхъ міромъ. Въ муниципальной формации иноуправленіе сказывается монархіями, и именно на всемъ востокѣ древняго міра; самоуправленіе же выразилось тамъ всѣмъ западомъ, и въ немъ республиками: греческими, карѣагенскою, римскою. Национальная или современная полоса опять раздвоена и опять по тому же плану: вся Европа есть по преимуществу монархическая, вся Америка по преимуществу республиканская. Отсюда предположеніе, что и расовое или континентальное поколѣніе государствъ должно будетъ представить собою двѣ подобныя же отмѣны. Но если такъ, то не избѣжать того же и формаций международныхъ, космополитическихъ. Впрочемъ, какъ ни подобны эти отмѣны, а онѣ имѣютъ и существенную разницу по формациямъ. Иноуправленіе, напримѣръ, совсѣмъ не таково въ патріархальной,

каково оно въ муниципальной формации, и въ этой послѣдней опять не то, что въ національной. Въ первомъ случаѣ оно представляется патріархатами и патріархами, домовладыками; во второмъ деспотіями и деспотами; въ третьемъ конституціями и конституціонными монархами. Отсюда возникаетъ возможность предсказанія, что континентальное иноуправленіе должно быть опять отлично отъ всѣхъ предыдущихъ и можетъ принять форму, на примѣръ, диктатуръ и диктаторовъ. Также точно неодинаковы и всѣ самоуправленія. При своей патріархальной складкѣ, они бываютъ преимущественно мірскими, гдѣ селеніемъ управляетъ весь міръ. При муниципальной, они становятся старѣйшинскими, гдѣ городомъ управляютъ выборные старѣйшины. Остатокъ этого старѣйшинства, этого коллегіальнаго управленія городомъ, уцѣлѣлъ навсегда въ древнихъ республикахъ, гдѣ управленіе всегда принадлежало если не девятерымъ, какъ въ Афинахъ, то, по крайней мѣрѣ, двумъ старѣйшинамъ, какъ въ Карфагенѣ и Римѣ. Преданіе это достигло было и до послѣдующей формации, въ видѣ пяти директоровъ и трехъ консуловъ первой французской республики, пока не было оставлено послѣ этого опыта почти вездѣ и, вѣроятно, навсегда. При національномъ самоуправленіи, республиканская власть вѣдряется, наконецъ, одному лицу, становится единоличною, какъ въ лицѣ посадника, дожа, подесты, штатгальтера, лорда-протектора, перваго консула, президента, диктатора. Коллегіальное управленіе уцѣлѣваетъ чуть ли не въ одной швейцарской республикѣ, но и тамъ постоянно чувствуется движеніе къ сосредоточенію его. Самоуправленіе расовое или континентальное, при такомъ постоянномъ стремленіи къ средоточію, должно окончиться не только единоличностью, но, быть можетъ, даже пожизненностью республиканской власти, т. е. характеромъ княжескимъ, характеромъ тираніи. Кромѣ этого перваго поперечнаго дѣленія каждаго историческаго пласта есть еще и другое такое же. Каждое иноуправленіе и каждое самоуправленіе, въ свою очередь, подраздѣляются на двѣ власти: духовную и свѣтскую, между которыми идетъ непремѣнно борьба. Въ патріархальныхъ ино—и самоуправленіяхъ это есть власть, на примѣръ, друидовъ и власть бренновъ. Въ муниципальных ино—и самоуправленіяхъ это сила жрецовъ и сила воиновъ. Въ національных—сила интеллигенціи и сила буржуазіи. Оттуда предположеніе, что и въ расовыхъ, или континентальныхъ, не обойдется безъ чего-либо подобнаго и что тамъ духовною силою будутъ какіе-

нибудь новые теоретикѣ, свѣтскою—какіе-нибудь новые практики. Наконецъ, согласно всѣмъ такимъ организаціямъ обществъ, распределяется, по нашей гипотезѣ, и самая политика ихъ, и самое ихъ право, во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Эта политика и это право каждый разъ строго слѣдуютъ той организаціи, изъ какой они истекаютъ, точно также какъ и физиологическое отправление и его продуктъ всегда находятся въ соотвѣтствіи съ производящимъ ихъ органомъ. Вотъ та тема, которая разыгрывается въ варьяціяхъ по всей подлежащей исторіи культуры.

На этотъ разъ мы прослѣдимъ, какъ обѣщано, всѣ три фактора ея: сперва—форму обществъ, какъ органовъ культуры; потомъ политику ихъ, какъ отправление этихъ органовъ; а наконецъ, и въ особенности, право, какъ продуктъ этихъ отправленій и, слѣдовательно, весь культурный продуктъ.

ОРГАНИЗАЦІЯ.

Внѣшняя организація обществъ: патріархальная, государственная, международная.—Внутренняя организація: общественная и правительственная.—Общественная: аристократія, тимократія, демократія.—Правительственная: монархія, конституція, республика.—Свѣтская и духовная власть.

Хотя человѣчество никогда не было организовано подобно государству, народу, области, сословію, городу, деревнѣ, и остается неорганизованнымъ въ такомъ смыслѣ и до сихъ поръ; хотя оно никогда не имѣло и не имѣетъ до сихъ поръ никакого для себя центрального органа, никакого представительства, никакой главы, словомъ—правительства: но тѣмъ не менѣе, какъ видно это уже изъ предыдущей исторіи цивилизации, въ немъ есть, и всегда было, какое-то единство, какая-то цѣльность. Не было единства и цѣльности внѣшнихъ, но были внутреннія. Всегда въ немъ была, между прочимъ, способность творить въ себѣ такія или иныя организаціи, и, при томъ, въ извѣстномъ порядкѣ ихъ постепенности. Въ этомъ только смыслѣ и можно пока говорить объ органичности нашего вида. Понимаемая въ такомъ смыслѣ, органичность человѣческаго рода представляетъ, съ точки зрѣнія предпосланной гипотезы, цѣлую исторію послѣдовательныхъ организацій.

Обыкновенно политическую исторію начинаютъ съ образованія государствъ, т. е. за три или за четыре тысячи лѣтъ до Р. Х. Но,

по нашей гипотезѣ, предѣлъ этотъ надо отодвинуть далеко назадъ и, по крайней мѣрѣ, на столько же, сколько длится самый періодъ государственности. Гораздо глубже ея должна лежать та формація, которую мы обозначали именемъ патріархальной. И, при томъ, подъ этимъ именемъ надо разумѣть вовсе не патріархальную эпоху однихъ лишь египтянъ, индійцевъ, евреевъ и вообще всѣхъ древнихъ государственныхъ народовъ: коль скоро всѣ они доросли до формъ государственнаго быта, они тѣмъ самымъ отнесли себя уже къ этой послѣдней формаціи, а не къ предыдущей. Но здѣсь надо разумѣть, и даже въ особенности, также и всѣ тѣ населенія, всѣ тѣ первѣйшія попытки общезжитія, которыя никогда не доразвились до государства, которыя дальше патріархальности никогда и не пошли, и для которыхъ эта первичная организація была, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самымъ высшимъ проявленіемъ ихъ организаторской способности. Словомъ, это періодъ патріархальности не относительной, но абсолютной. Относительная патріархальность имѣется въ жизни каждаго народа; абсолютная—только въ жизни всего человѣчества, какъ одного цѣлаго. При этомъ такой періодъ, съ научной точки зрѣнія, заслуживаетъ даже преимущественнаго предъ послѣдующими изученія, потому что всѣ историческія нити, проходящія сквозь всѣ дальнѣйшіе слои и достигающія до нашего, выходятъ именно оттуда, коренятся всѣ безъ изъятія тамъ, такъ что безъ изученія ихъ въ этомъ источникѣ ихъ, онѣ никогда не могутъ быть справедливо оцѣнены и на всемъ дальнѣйшемъ ихъ протяженіи. Примѣръ Конта весьма поучителенъ въ этомъ отношеніи. Историческая послѣдовательность политеизма и монотеизма была очевидна и до него; но изъ нея не возникало никакого научнаго обобщенія, пока Контъ не присоединилъ сюда третій, древнѣйшій терминъ, обыкновенно выпускавшійся изъ виду, въ качествѣ доисторическаго,—терминъ фетишизма. Только тогда образовался полный логическій рядъ религіозныхъ превращеній, серія развитія оказалась цѣльною и дала возможность заключенія о ея законѣ. Что Контъ сдѣлалъ въ исторіи цивилизаціи—обязательно съ тѣхъ поръ и для всякой исторіи культуры, а потому доисторическая культура будетъ въ нашихъ глазахъ даже наиболѣе историческою. Въ этихъ ясляхъ, говоритъ другой историкъ, родилось все человѣческое. Это, прибавимъ мы отъ себя, завязка исторіи, безъ чего немислима и вся повѣсть ея. Начинать исторію только съ государствъ, все равно, что писать поэму съ тѣхъ

поръ, какъ дѣйствіе ея находится уже въ полномъ ходу. Что же касается источниковъ для исторіи этихъ навсегда исчезнувшихъ культуръ и не оставившихъ по себѣ никакихъ слѣдовъ, то они тѣ же, что и для исторіи фетишизма, индуктизма, пляски, т. е. современные намъ культуры того же порядка, той же формаціи, равно какъ и относительные періоды патріархальности, попадающіеся повсей исторіи.

Всякая организація могла начаться только въ дезорганизаціи. А потому самое древнее изъ наслоеній патріархальной формаціи должно быть еще менѣе органичнымъ, чѣмъ собственно такъ называемая патріархальность. И дѣйствительно, это есть то наслоеніе, гдѣ нѣтъ еще никакого искусства, нѣтъ ни малѣйшихъ признаковъ учрежденій: нѣтъ ни отдѣленія людскихъ группъ между собою, ни какой-либо классификаціи въ каждой группѣ, ни тѣмъ болѣе власти и какого-либо порядка передачи ея. Это такое наслоеніе, гдѣ нѣтъ и той первоначальной завязи общежитія, которая имѣется даже у многихъ животныхъ,—брака. Словомъ, это тотъ пластъ формаціи, который принадлежитъ еще исторіи естественной, а не соціальной. Въ такомъ состояніи находятся и по нынѣ, на примѣръ, бушмены, которые цѣликомъ относятъ насъ въ эпохи, предшествовавшія всякой идеѣ культуры. Лобъ, носъ, щеки и подбородокъ этихъ дикарей, по свидѣтельству путешественниковъ, намазываются чернымъ саломъ, такъ что остается чистою только полоса вокругъ глазъ, въ какомъ видѣ они живо напоминаютъ обезьянъ. Поразительное сходство довершается крайней подвижностью глазъ и бровей, которые въ ходу у нихъ, при каждомъ движеніи. Углы рта, ноздри и даже уши находятся также въ постоянномъ подергиваніи и сопровождаютъ всякій малѣйшій переходъ отъ одного впечатлѣнія въ другому. Самые же переходы эти, въ свою очередь, чрезвычайно быстры, внезапны и часты. Когда одному бушмену подали кусокъ мяса, онъ сперва недовѣрчиво выдвинулъ руку, и потомъ, торопливо схвативъ его, быстро сунулъ въ огонь, постоянно при этомъ озираясь во всѣ стороны, какъ бы изъ боязни, чтобъ кто-нибудь не выхватилъ добычу. Все это дѣлалось съ такими ужимками и ухватками, какъ будто бы онъ нарочно копировалъ ихъ съ обезьяны. Затѣмъ, онъ снялъ мясо съ угольевъ, проворно оскребъ его руками и принялся отрывать отъ него зубами куски, которые глоталъ цѣликомъ, не пережевывая. Таковы же дикіе люди острова Борнео. Случайныя скопища этихъ людей, т. е. стада ихъ, живутъ

исключительно въ лѣсахъ, не устроивая тамъ никакихъ иныхъ жилищъ; спать подъ вѣтвями какого-нибудь большаго дерева, вокругъ котораго развели огонь противъ дикихъ звѣрей и змѣй; дѣтей подвѣшиваютъ къ вѣткамъ того же дерева; и ихъ, и себя прикрываютъ древесной корою. Истощивъ живность, какъ пищу, въ одномъ мѣстѣ, перебѣгаютъ они случайными толпами на другое, гдѣ остаются опять, пока не истребится питательный матеріалъ. Поны сходятся у нихъ гдѣ-нибудь въ камышахъ; дѣти не знаютъ никого, кромѣ матери; и какъ только подросли на столько, чтобы мочь самимъ добывать себѣ пищу, всякая связь между ними и матерью утрачивается, и всѣ снова становятся другъ другу чужими, совершенно какъ у собакъ. Дикарей этихъ даже сами дайяки, сосѣди ихъ, считаютъ еще за звѣрей. На Цейлонѣ дикая часть веддаховъ живетъ по лѣсамъ или въ пещерахъ или въ дуплахъ деревьевъ и весьма рѣдко въ шалашахъ изъ древесной коры, при чемъ словомъ, обозначающимъ жилье, остается все-таки дупло. Они ловятъ птицъ и рыбъ, при чемъ для ловли рыбъ умѣютъ отравлять воду. Добываютъ также дикій медъ тѣми же способами, какъ и медвѣди. Для ловли птицъ и звѣрей и для защиты отъ послѣднихъ употребляютъ уже лукъ, стрѣлу и собаку, которая составляетъ самое цѣнное у нихъ достояніе. Орудія и оружіе всегда или каменные или костяные. Подобную же характеристику сообщаютъ и изъ третьей части свѣта, а именно объ огнеземельцахъ и калифорнскихъ индѣйцахъ. Миссіонеръ, прожившій около послѣднихъ 17 лѣтъ, свидѣтельствуетъ, что всѣ они совершенно равны между собою, что всякій дѣлаетъ, что ему вздумается, не спрашивая сосѣда и не заботясь о немъ, что всякое злодѣяніе оставляется безъ послѣдствій, если потерпѣвшаго нѣтъ больше на свѣтѣ, что мститъ за него некому, и нѣтъ ни у кого основаній къ тому. Различныя кучи этихъ индѣйцевъ представляются отнюдь не общинами, не племенами, которыя повиновались бы какому бы то ни было старшему, по случайными скопленіями, похожими на стада кабановъ, перебѣгающихъ по лугамъ съ мѣста на мѣсто, куда вздумается: сегодня вмѣстѣ и въ одномъ составѣ, завтра—врозь или въ составѣ совсѣмъ иномъ, пока вновь не столкнутся когда-нибудь въ будущемъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, скопленія особей крайне также малочисленны: десятокъ, дюжина, два десятка и весьма рѣдко сотня или полсотни, вотъ и все общество. Во всѣхъ поименованныхъ случаяхъ никакого также за-

родыша власти, никакого признака разсортирования людей. Есть даже случаи, гдѣ нѣтъ еще самыхъ раннихъ человѣческихъ обычаевъ: у альфуровъ на Буру мужчины и женщины сочетаются на глазахъ у всѣхъ, не обращая этимъ ничего вниманія; нѣкоторые австралійцы такъ же публично отправляютъ и всѣ другія естественныя потребности; мужчины въ племени сгубу на Суматрѣ вступаютъ въ половыя отношенія съ завѣдомыми матерями и дочерьми; на Маркизскихъ островахъ каждый мужчина есть мужъ каждой женщины. То же повторяется у чипшевейцевъ, кадьяковъ, кареновъ, сандвичей, малагезцевъ и др. Въ подтвержденіе того, что у всѣхъ подобныхъ табуновъ людскихъ нѣтъ никакихъ постоянныхъ половыхъ связей, приводятъ и тотъ фактъ, что въ языкахъ ихъ нѣтъ никакихъ словъ, а въ обычаяхъ—никакихъ обрядовъ, которые бы заключали въ себѣ малѣйшій намекъ на такую связь. У калифорнскихъ индѣйцевъ нѣтъ слова бракъ; у алгонкиновъ Сѣверной Америки нѣтъ слова любить; у бушменовъ нѣтъ выраженій для различія замужней женщины отъ незамужней; у сандвичей нѣтъ словъ для понятій мужа, жены, сына, дочери, и все это замѣняется словами: кайкее—дѣтя и вахсеена—женщина. Дѣти у нихъ не принадлежать никому и относятся ко всему стойбищу, подобно приплоду въ любомъ стадѣ. Впрочемъ, о цивилизаціи такихъ культуръ еще лучше говорятъ слѣдующіе случаи языка: у тасманійцевъ есть названія для всякаго сорта дерева, но общаго имени дерева нѣтъ; у нихъ есть также наименованія извѣстныхъ имъ звѣрей и птицъ, но общаго названія животныхъ еще не имѣется; то же самое утверждаютъ и о короадахъ въ Бразиліи; наконецъ, у малайцевъ есть названія бѣлый, синій, красный и т. д., но общаго названія цвѣтъ или краска нѣтъ. Вотъ то состояніе, о которомъ достаточно получить свѣдѣніе, чтобы тотчасъ же признать его первобытнѣйшимъ изъ самыхъ первобытныхъ, съ тою разницею, что здѣсь есть уже знакомство и съ огнемъ, и съ лукомъ, тогда какъ абсолютная первобытность не допускаетъ еще и этихъ изобрѣтеній. Лука, напримѣръ, не знали новокаледонцы, при открытіи ихъ; огня не знали дикари Маріанскихъ острововъ; а папуасы Новой Гвиней хотя и употребляли огонь, но до прибытія г. Миклухо-Маклая не умѣли добывать его. Состояніе это, гдѣ каждый мужчина мужъ и каждая женщина жена, называютъ обыкновенно то коммунальнымъ бракомъ, то племеннымъ бракомъ, то гетеризмомъ; но гораздо проще, кажется, и правдивѣе назвать его прямо агаміей

и въ то же время анархіей, т. е. и безбрачіемъ, и безвластіемъ вмѣстѣ. Здѣсь можно отъ времени до времени знать свою мать, но нельзя знать отца своего; возможна здѣсь идея единоутробія, но невозможна мысль о единокровіи. Это не есть даже патріархальность, а есть только *матріархальность*. Здѣсь можно знать также сильнѣйшаго себя, но невозможно знать никого старшаго. А какъ сегоднѣшній силачъ можетъ завтра стать слабымъ и обратно, то и этого рода власть или вліяніе не имѣетъ никакой устойчивости и постоянно переливается съ мѣста на мѣсто. Единственнымъ здѣсь обществомъ, единственною организаціею есть развѣ только тотъ ихъ типъ, какой общъ человѣку съ нѣкоторыми животными, т. е. стадность, табунность, стайность, съ общимъ при нихъ приплодомъ. Единственною классификаціею такого общества есть та, какую провела уже сама природа, т. е. половая и возрастная классификація. Единственною властью среди такого обществѣ есть также не кто иной, какъ сильнѣйшій, подобно тому, какъ это есть и у звѣрей, гдѣ власть эта признается также безусловно. Единственнымъ способомъ перехода такой власти изъ рукъ въ руки есть побѣда и пораженіе въ дракѣ. На этотъ послѣдній принципъ, какъ на душу агамическаго и анархическаго періода, указываютъ единогласно всѣ путешественники. У индѣйцевъ Гудзонова залива за женщину обыкновенно дерутся и она всегда достается тому, кто одолѣетъ другихъ. Слабый человѣкъ, плохой охотникъ, обыкновенно не смѣетъ у нихъ и подумать о женщинѣ, которую уже намѣтили себѣ болѣе сильный и ловкѣй охотникъ. Обычай этотъ распространенъ во всѣхъ индѣйскихъ племенахъ и служитъ источникомъ сильной конкуренціи между молодежью, старающейся наперерывъ другъ передъ другомъ упражнять свою силу и ловкость. По отзыву Франклина, женщина у краснокожихъ индѣйцевъ есть такая вещь, которую всякій сильнѣйшій всегда можетъ отнять у всякаго слабѣйшаго. Ричардсонъ самъ не разъ видѣлъ, какъ крѣпкій дикарь, безъ всякихъ околичностей, т. е. даже безъ предварительной драки, бралъ къ себѣ женщину своего слабого земляка. Во всѣхъ этихъ случаяхъ сами женщины остаются совершенно равнодушны, какъ бы признавая такой порядокъ исполнѣ естественнымъ и единственно возможнымъ. Таковы черты періода, въ которомъ одномъ только можно искать точекъ отправленія для всѣхъ нитей всей послѣдующей культуры нашей. Нужно ли добавлять, что на этотъ естественно-исто-

рический периодъ нашего вида, на эту зоологию человечества должно было уйти больше времени, чѣмъ сколько въ состояніи насчитывать его вся послѣдующая исторія политическая, откуда бы мы ее ни начинали. Какъ трудно было выбиться изъ этого положенія, доказательство тому нынѣшняя Африка. Населенная уже и въ древнія времена, она и до сихъ поръ, т. е. въ теченіи нѣсколькихъ уже тысячелѣтій, или остается при самыхъ первичныхъ попыткахъ общестственности или же не достигаетъ даже и до нихъ.

Таковыми первичными попытками, такимъ выходомъ изъ естественной исторіи въ политическую, справедливо почитается уже одно учрежденіе брака. Въ безформенной до тѣхъ поръ, въ аморфной человѣческой средѣ, рано или поздно, но показываются современнымъ тѣ микроскопическія завязи, которыя называются брачными узами. Въ политической исторіи это совершенно такой же моментъ, какимъ въ естественной было образованіе монеры. И не нужно думать, что, когда пришла пора, то шагъ этотъ наступилъ вдругъ, повсемѣстно и одновременно. Напротивъ, нѣтъ шаговъ труднѣе, чѣмъ всякій первый, а это былъ самый первый шагъ въ культуру. Глубокое инкорпорированіе его въ нашу современную общестственность совершенно заслонило отъ насъ всю трудность, равно какъ и всю всемірно-историческую грандіозность этого политическаго изобрѣтенія, превосходящаго, по своему значенію для міра, всѣ послѣдующіе перевороты и революціи. Но мы не лишены возможности возстановить понятіе объ этой трудности, судя уже и по тому, что видимъ до сихъ поръ передъ глазами. На Цейлонѣ и до сихъ поръ есть, напримѣръ, браки, которые нельзя назвать иначе, какъ пробными. Мужчина и женщина сходятся только на двѣ недѣли, по окончаніи которыхъ или вовсе расходятся, или остаются въ союзѣ на опредѣленное, болѣе продолжительное время. На островахъ андаманскихъ половая пара пребываетъ въ сожитіи до тѣхъ поръ, пока не родился отъ нея ребенокъ и не отнять отъ груди; но какъ только это случилось, союзъ тотчасъ же прекращается и каждый изъ контрагентовъ ищетъ себѣ новой пары. Надо прибавить, что при этой формѣ, хотя и временной, но сознается уже чувство права и чувство обязанности, такъ что женщина, нарушившая эту монополию одного изъ мужчинъ въ пользу прежняго обычая, въ пользу всѣхъ, подвергается у андамановъ жестокимъ истязаніямъ. Кромѣ времени, пары часто различаются также по мѣсту ихъ осуществле-

нія. Такъ, на Цейлонѣ одновременно существуютъ два обычая: въ однихъ случаяхъ женщина переходитъ въ жилище мужа, въ другихъ мужъ въ жилище жены. Есть различіе паръ и по степени полноты ихъ союза, хотя бы и временнаго. Такъ, кромѣ безусловныхъ, всецѣлыхъ сожитій, бываютъ условныя, частныя: у арабовъ, напримѣръ, въ Хассанѣ, женщина обязана быть женою лишь каждыя три дня изъ четырехъ; въ остальной же, въ четвертый день, она вполне свободна для всѣхъ другихъ мужчинъ. У эскимосовъ лучшимъ и благороднѣйшимъ почитается тотъ, кто не жалѣетъ жены своей для другихъ. Бываютъ браки даже вовсе фиктивныя, какъ у редди въ южной Индіи: тамъ молодая женщина выходитъ за-мужъ за мальчика лѣтъ пяти-шести, при чемъ сожительствовать должна она съ другимъ, взрослымъ мужчиною, не рѣдко отцомъ мальчика. Выросши, этотъ послѣдній начинаетъ жить съ женою новаго мальчика и т. д. Дѣти же, въ каждомъ такомъ случаѣ, относятся на счетъ фиктивнаго, а не дѣйствительнаго отца. По степени разрывности и неразрывности паръ, разнообразіе не менѣе велико. На островахъ Таити, по свидѣтельству Кука, жены вѣрны своимъ мужьямъ не меньше, чѣмъ въ Европѣ. На Цейлонѣ, у дикихъ веддасовъ, супружеская вѣрность рисуется, какъ образцовая. Между тѣмъ, въ большинствѣ случаевъ, пары расходятся также легко, какъ и сходятся. А на Суматрѣ есть и средняя форма, договорная. При парованіи заключается формальное условіе о взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ, о собственности, о случаяхъ развода, о дѣлѣжѣ при этомъ имущества и т. п.; словомъ, ничѣмъ не хуже, чѣмъ гражданскій бракъ повѣйшей культуры. По способамъ пріобрѣтенія женъ, въ однихъ случаяхъ практикуется просто грабежъ и кража, именуемые плѣномъ и умычкой или уводомъ, въ другихъ же покупка и продажа или, вмѣсто того, заработокъ. Караибы Южной Америки вели изъ-за женъ постоянныя войны. Въ Австраліи, чтобы пріобрѣсти жену, необходимо завоевать ее и это завоеваніе сопровождается такими же опасностями, какъ и всякая другая война или драка на жизнь и на смерть. Когда же попадется въ руки женщина беззащитная, то, оглушивъ ее ударомъ довака, кія, австралійцы волочатъ ее по землѣ до ближайшей чащи, гдѣ, давши ей нѣсколько опомниться и придти въ себя, они заставляютъ ее идти за собою, чему она и подчиняется съ совершенно тупою покорностью. Въ Сиднеѣ и на островѣ Балѣ, между Явой и Новой Гвинеей, также

мало щадять украденную, волоча ее за волосы и за руки и не обращая ни малѣйшаго вниманія на вывихи, до самаго становища, гдѣ начинается тогда общая радость и общій триумфъ, возмутительность котораго не допускаетъ описанія. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, если откроются потерпѣвшіе, начинается кровавая месть, или месть тою же самою монетою, или наконецъ откупъ посредствомъ равнозначительныхъ цѣнностей. Отсюда мало по малу и нарождается обычай покупки женъ. Но и этотъ способъ далеко не единообразенъ. На одной и той же Суматрѣ, на примѣръ, то мужъ покупаетъ жену, то жена мужа. Въ свою очередь, неспособность къ покупкѣ ведетъ къ заработку, какъ видимъ это въ библии на примѣрѣ Іакова и Рахили. Еще иную форму, а именно примѣръ обмѣна жениховъ и невѣстъ, представляютъ самоѣды. Наконецъ, есть случаи найма женъ на срокъ, какъ у негровъ. Гораздо болѣе общеизвѣстны обычаи такъ называемой экзогаміи и эндогаміи, т. е. различія по племенамъ женъ. По первому обычаю—браки допускаются только въ чужомъ стадѣ, по второму, напротивъ, только въ своемъ. Всего же болѣе извѣстны различія по количеству супруговъ того и другаго пола, т. е. моногамія и полигамія, единобрачіе и многобрачіе; при чемъ послѣдняя форма опять допускаетъ различіе, состоящее въ многомужствѣ и многоженствѣ, полиандріи и полигиніи. Если у веддасовъ Цейлона, рядомъ съ неразрывностью брака, господствуетъ и единобрачіе, словно они были бы христіане; то еще больше распространено между дикими многобрачіе, чаще въ видѣ многоженства, рѣже—въ видѣ многомужства. У тодасовъ дѣвушка, вышедшая замужъ, мало по малу, а именно по мѣрѣ возростанія братьевъ мужа, дѣлается послѣдовательно женою и cadaго новаго взрослого брата: это такъ называемая общесемейная жена, самый примитивный видъ полиандріи. Но за то и наоборотъ: каждая сестра жены, по мѣрѣ подростанія, дѣлается женою того же мужа, такъ что это есть общесемейная форма и для многоженства. То и другое повторяется въ Тибетѣ, у авановъ Южной Америки, по рѣкѣ Ореново, въ Новой Зеландіи, на Цейлонѣ. Но при общесемейномъ многоженствѣ и многомужствѣ практикуется также и индивидуальное. Индивидуальная или чистая полиандрія извѣстна отчасти въ тѣхъ же странахъ, отчасти на алеутскихъ островахъ, на островахъ Тихаго океана и повсюду, гдѣ женщинъ мало. Королева Конго держитъ значительное число мужей, мѣняя ихъ, увеличивая и

уменьшая, конечно, по произволу. Но всего чаще у нынешних народов повторяется индивидуальная полигамія. Повсюду, гдѣ только, будетъ ли то по силѣ, или по власти, или же по богатству, мужчина получаетъ возможность завести нѣсколько женъ, онъ никогда этой возможности не пропускаетъ, даже и при недостаткѣ женщинъ. Число женъ обозначаетъ здѣсь собою обыкновенно и самое положеніе лица въ обществѣ, подобно числу скота, рабовъ и вообще имущества. Такъ, у короля ашантиевъ многоженство достигло размѣровъ, которыхъ не знали и всѣ деспоты государственнаго востока: число его женъ нормируется цифрою 3333.

Изъ этого обзора достаточно ясно, что въ началѣ всей человѣческой культуры не могло существовать не только одной исключительной, но даже какой-либо преимущественной формы брака. Напротивъ, въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ прочихъ, все человѣческое нигдѣ и никогда не чуждо человѣку, все имѣло всѣ свои зародыши уже и въ эти непроглядныя по своей древности эпохи, составляя тѣмъ совершенный хаосъ. И весь вопросъ и здѣсь, какъ вездѣ, состоялъ только въ томъ, какая изъ этихъ безчисленныхъ формъ всего этого хаоса прежде всѣхъ выживетъ надъ всѣми другими. На-лицо имѣлись безчисленные пробы и опыты, имѣлись всевозможные типы брачныхъ связей, начиная отъ такого многоженства, какъ у короля ашантиевъ, и кончая такимъ единобрачіемъ, какъ у веддасовъ Цейлона, отъ столь насильственного сожитія, какъ у австралійцевъ, и до такого свободного контрактнаго брака, какъ на Суматрѣ. Можно же представить себѣ, сколько нужно было новыхъ вѣковъ и, быть можетъ, тысячелѣтій для того, чтобы сперва образовать этотъ хаосъ, произвести всѣ эти пробы, всегда ощупью и всегда въ разбродѣ, и чтобы потомъ изъ всѣхъ этихъ опытовъ началъ все больше и больше выдѣляться какой-нибудь одинъ, сталъ заглушать собою другіе, завоевывать ихъ почву и, наконецъ, далъ одну прочно-установившуюся форму. Сколько, напримѣръ, надо было времени хотя бы для того, чтобы экзогамическіе браки выжили надъ эндогамическими и совершенно вытѣснили ихъ собою. Самый лучшій примѣръ всей трудности установленія брака и семьи есть нынѣшнее состояніе Сандвичевыхъ острововъ, гдѣ есть уже, по примѣру Европы, не только христіанство, но даже конституція, а брака все еще нѣтъ, иначе какъ только по имени. Столѣтія прошли уже со времени открытія этихъ острововъ Кукомъ; англійскіе

и американскіе миссіонеры успѣли съ тѣхъ поръ обратить жителей якобы въ христіанство; съ христіанствомъ внесены многія формы европейскаго общественнаго быта; а прочной семьи все нѣтъ какъ нѣтъ. Специально съ цѣлью укрѣпленія брака и семьи предписаны евовые законы за дѣтоубійство, а съ другой стороны—другіе сулятъ различныя льготы за многочадіе, какъ, напримѣръ, свободу отъ податей; но матери все-таки стараются отдѣлываться отъ своихъ произрожденій сперва путемъ выкидыша, а потомъ и посредствомъ заморенія, такъ что самое племя отъ этого на полномъ ходу въ вымиранію. Какъ бы то ни было, но этотъ долгій и трудный процессъ брачнаго напряженія обанчивается все-таки тѣмъ, что всѣ временныя формы, рано или поздно, уступаютъ постояннымъ; переходъ мужа въ домъ жены повсюду заглушается переходомъ жены въ домъ мужа; браки ограниченные, условные уступаютъ мѣсто неограниченнымъ, безусловнымъ, фидетивные — дѣйствительнымъ, насильственные — покупнымъ, эндогамическіе — экзогамическимъ, полиандрическіе — полигиническимъ, общіе—индивидуальнымъ. А что доисторическій процессъ окончился именно такъ, о томъ свидѣтельствуеетъ тотъ конецъ его, который достигаетъ до временъ государственной формаціи и здѣсь можетъ быть услѣженъ уже по документамъ, а не по однѣмъ догадкамъ. Вездѣ въ этой формаціи въ самой основѣ ея лежатъ уже прочно сложившіяся преданія полигамическія, индивидуальныя. Мало того, остаются въ этой формаціи слѣды и всего того, что предшествовало такому концу. Такъ, общность женъ оставила свой слѣдъ у вавилонянъ, въ видѣ обычая, по которому каждая невѣста должна была предварительно посвятить себя богинѣ Милиттѣ, отдавая въ ея храмъ дѣвство свое первому вошедшему. То же самое упоминается въ Арменіи, въ Индіи, на островѣ Кипрѣ, у лядянъ, въ Кароагенѣ и даже въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Греціи. У пареянъ—если человѣкъ уже имѣлъ двухъ-трехъ дѣтей, онъ долженъ былъ предоставлять жену свою другому. На Балеарскихъ островахъ еще Діодоръ сицилійскій засталъ обычай, по которому всякая невѣста считалась на первую ночь собственностью гостей, а потомъ уже мужа. Спартанскій обычай позволялъ уступать жену свою другому, чѣмъ Алкивіадъ и воспользовался. Въ самой Италиі, въ Римѣ, попадаетъ еще обычай отдавать женъ въ займы: самъ строгій Катонъ не усомнился дать въ займы свою Марцію своему другу Гортензію. Наконецъ, противъ остатковъ этого

обычай долженъ былъ проповѣдывать даже св. Августинъ. Такъ слѣды насильственнаго брака, уведомъ, сохранились почти у всѣхъ государственныхъ народовъ, хотя и въ видѣ простого символическаго обряда. Такъ, наконецъ, индійскій и еврейскій ливерать, возстановленіе братомъ сѣмени брата, есть, вѣроятно, слѣдъ общесемейныхъ браковъ. Словомъ, трудно не поддаться убѣжденію, что быть только что описанныхъ дикарей воспроизводить передъ нами дѣйствительную картину той отдаленной эпохи, которая непосредственно слѣдовала за повсюдной эпохою агаміи и анархіи. Но коль скоро бракъ, такъ или иначе, въ такой или другой формѣ, установился, — роковой переворотъ готовъ, и семейство остается вопросомъ лишь двухъ-трехъ поколѣній. Два поколѣнія, связанные непосредственно, образуютъ семью, а три, четыре и т. д. производятъ уже то, что называется родомъ и что составляетъ первичную основу всякаго дальнѣйшаго, какъ естественнаго, такъ и искусственнаго, наращенія обществъ. Отсюда и характеристическое имя этого великаго періода — брачный, семейно-родовой или въ тѣсномъ смыслѣ слова *патріархальный*. Онъ приноситъ съ собою и первое общество — семью, родъ, и первую классификацію этого общества — на старшихъ и младшихъ (родителей и дѣтей, мужей и женъ, господъ и рабовъ), и первую власть въ обществѣ — отеческую, мужнюю, господскую. Такимъ образомъ, семейно-родовой періодъ приноситъ къ агамическому все то, что составляетъ потомъ всѣ элементы всей и всякой политической культуры, т. е. первую организацію общества и первую организацію правительства. Съ этихъ поръ онѣ только видоизмѣняются, преобразуются, развиваются; но не создается больше ни одной новой.

Третьимъ наслоеніемъ патріархальной формации будутъ только послѣдствія, только естественное развитіе рода какъ вдоль, такъ и по сторонамъ, въ нисходящее потомство и въ боковыя линіи. Но опять да не подумаютъ, что отнынѣ общество наращается уже и легко, и скоро, что роды такъ естественно и такъ неотвратимо соединяются въ племена, племена въ народы и т. д. Ничуть не бывало; все это суть представленія, свойственные только современнымъ воззрѣніямъ. На самомъ же дѣлѣ, въ исторіи такихъ эпохъ, легко и естественно образуется и держится вмѣстѣ развѣ только родъ, да и то до тѣхъ только поръ, пока живъ и силенъ его родоначальникъ: дѣдъ, прадедъ. Но коль скоро его не стало, — цѣлыми

опять остаются только тѣ поколѣнія, естественный корень которыхъ остается на глазахъ и въ полной своей силѣ; для всѣхъ же прочихъ открывается обширный просторъ недоразумѣній, споровъ, отпаденій. Такимъ-то образомъ и происходитъ, что едва завязавшееся общество, вмѣсто того, чтобы постоянно наращаться и политически на столько же, на сколько оно наращается естественно, напротивъ политически только безпрестанно развязывается, посредствомъ постоянного отпаденія однихъ родовъ отъ другихъ, и обращенія въ свои первоначальныя составныя части, т. е. роды и даже семьи. Цѣлыя столѣтія проходятъ въ томъ, что роды не только живутъ особнякомъ другъ отъ друга, но еще и въ остервенѣлой враждѣ между собой. Такъ, у жителей острова Танна, близъ Новой Каледоніи, каждый родъ составляетъ совершенно особую политическую единицу. У патагонцевъ роды также изолированы, и живутъ каждый подъ властью своего родоначальника и даже въ постоянной враждѣ между собою. Тотемъ краснокожихъ Сѣверной Америки заключаетъ въ себѣ не болѣе, какъ отъ трехъ до четырнадцати непосредственныхъ семействъ, и составляетъ собою совершенно независимое цѣлое. То же почти у эскимосовъ и карайбовъ, гдѣ только на время войны происходитъ соединеніе родовъ, подъ властью одного общаго вождя. У негрскаго племени кру главы родовъ также вполне независимы другъ отъ друга, и если когда-нибудь соединяются, то единственно ради защиты. У бурятъ такіе независимые родоначальники суть тайши, которые, соединяясь для внѣшнихъ предпріятій въ одно, образуютъ орду. У киргизовъ и до сихъ поръ каждая ихъ кибитка есть не что иное, какъ государство-домъ. Жены, дѣти, рабы и вообще домочадцы суть здѣсь подданные; отецъ, дѣдъ есть домовладыка, манашъ: судъ, управленіе, законъ, все истекаетъ отъ него одного. За то и передъ всякою другою кибиткою отвѣтственное лицо за всѣхъ своихъ домочадцевъ есть только онъ же одинъ, только домовладыка. Семейный, родовой принципъ до того здѣсь всепоглощающъ, что даже всякій гость, всякій инородецъ, принятый подъ кровъ той или иной кибитки, пользуется приѣмомъ и покровительствомъ не иначе, какъ въ видѣ временнаго усыновленія этой кибиткой, для видимости чего домовладыка и предлагаетъ ему или свою дочь, или свою жену, породняясь съ нимъ такимъ образомъ кровно. У каффровъ всякій новый сынъ пристраиваетъ свою хижину къ отцовской подъ одну и ту же крышу. Въ Индіи всѣ деревни, по большей части, состоятъ

также изъ родственниковъ и построены также подъ одну крышу. Единственнымъ связывающимъ началомъ въ такомъ общежитіи есть, по общему признанію и этнографовъ, и юристовъ, только единокрое, только родство; никакой другой возможной связи человѣкъ въ этомъ бытѣ не понимаетъ и понять не можетъ, а всякую, которая такъ или иначе навязывается ему вновь, онъ сплѣшить облечь въ форму родства же, хотя бы то и искусственного, хотя бы то лишь посредствомъ фикціи. Человѣкъ внѣ родства есть въ эти времена то же, что дикій звѣрь: его можно и ограбить, и убить безнаказанно. Собака своего рода гораздо ему ближе и роднѣе, чѣмъ чужеродецъ. Отсюда и постоянная вражда между родами, при чемъ самымъ обыкновеннымъ яблокомъ раздора суть пастбища и плѣнники. Киргизы, напримѣръ, ссорятся по преимуществу изъ-за первыхъ, туркмены—изъ-за вторыхъ; при чемъ, послѣдніе промышляютъ плѣнниками не только изъ числа персіянъ и русскихъ, но также и изъ турменъ чужеродцевъ. Но какъ бы ни долго продолжалась эта исключительно родовая форма жизни, а рано или поздно и она наращается въ нѣсколько болѣе крупныя единицы. Путемъ къ этимъ новымъ соединеніямъ и новымъ организаціямъ, какъ видно уже изъ предыдущихъ примѣровъ, бываетъ, по большей части, общая потребность родовъ въ защитѣ или въ нападеніи. Сперва эти соединенія образуются только на время, и, по минованіи надобности, вновь разсыпаются на свои составныя части; но мало по малу, вслѣдствіе ли продолжающейся опасности, или частаго повторенія ея, или привычки, или, что еще чаще, насилія со стороны одного рода надъ другими, временныя союзы укрѣпляются, упрочиваются, и въ концѣ концовъ становятся новыми политическими цѣлыми. Такія соединенія родовъ съ родами и образуютъ собою племена. На такой степени организаціи застаемъ мы нынѣ, напримѣръ, прокезовъ, оседжей, гуриновъ, гдѣ племя состоитъ иногда изъ 50 родовъ. Если родъ всегда есть естественное и не можетъ быть инымъ, какъ естественнымъ накопленіемъ его членовъ, то племя всегда уже допускаетъ, и даже непременно предполагаетъ, большую или меньшую долю искусственности. Составъ прирожденных членовъ племени всегда разбавляется извѣстнымъ процентомъ пришлыхъ, то въ видѣ усыновленныхъ, то въ видѣ плѣнныхъ и купленныхъ, то въ видѣ пользующихся гостепріимствомъ, убѣжищемъ. Но и племя есть еще не послѣдній предѣлъ естественнаго разро-

стванія обществъ: дѣйствительный, хотя и крайне рѣдко организующійся самъ собой въ одно цѣлое, предѣлъ есть тотъ, который называется народомъ, т. е. воссоединеніе самихъ племенъ между собою. Таковой предѣлъ исторія показываетъ намъ только въ одномъ израильскомъ народѣ. Всѣ же остальные извѣстные не обошлись при воссоединеніи племенъ безъ большей или меньшей насильственности. Такими были всѣ эти патріархальные народы, пронесшіеся по исторіи подъ именами гиксовъ, скифовъ, галловъ, кимбровъ, теионовъ, гунновъ, монголовъ и имъ подобныхъ. Въ наши времена такими народами особенно богаты равнины средней Азіи. Калмыки, киргизъ-кайсаки, монголы, всѣ они ведутъ свои родословныя не хуже грековъ и израильтянъ. Такъ, напримѣръ, праотецъ абакъ-киреевъ есть Сары-Юсунъ, у него сынъ Кара-бій, у этого Абакъ, у того Кирей, а у Кирея 12 сыновей, которые и суть родоначальники двѣнадцати племенъ народа абакъ-киреевъ. А что подобное состояніе предшествовало всѣмъ фазамъ быта государственнаго, доказательствомъ тому служатъ остатки перваго во всякомъ второмъ. Что такое, напримѣръ, афинскія фратріи и филы, фратріархи и филобазилейсы, что такое римскія курии и трибы, съ ихъ куріонами и трибунами, съ ихъ особыми божествами и культами, ихъ праздниками и могилами, ихъ круговою порукою и общими трапезами, какъ не остатки отъ быта патріархальнаго? Что такое ихъ Іоны и Доры, ихъ Тиціи, Рамны и Луцеры? что такое у нихъ поклоненіе фиталидовъ Фиталу, вутадовъ Вуту, клавдіевъ Клавзу, кальпурніевъ Кальпу, и проч. и проч. т. п., какъ не воспоминаніе о родовомъ и племенномъ бытѣ, о бытѣ патріархальномъ? Дѣло только въ томъ, что все это составляетъ уже патріархальность лишь относительную, патріархальность, перешедшую потомъ въ государственность, да и при самомъ возникновеніи своемъ окруженную уже государственною атмосферою, отъ которой и не могла она не испытывать пертурбацій. И мы дѣйствительно знаемъ, что она очень рано начала уже перетерпѣвать ихъ со стороны то Египта, то Финикіи, то Малой Азіи, какъ доказываютъ это преданія объ Инахѣ, Кадмѣ, Пелопсѣ и всѣхъ вообще чужестранныхъ вселенныхъ. Безусловною же патріархальностью можетъ быть признана лишь та, которая стояла на самой зарѣ исторіи, которая предшествовала всякому появленію государственности и, слѣдовательно, не могла заимствоваться отъ нея ничѣмъ, и гдѣ самое даже насиліе, при соеди-

неніи нѣсколькихъ группъ въ одну, не могло подбирать для себя иныхъ формъ, какъ чисто-патріархальныя. А такого состоянія исторіи можно искать только въ такихъ мѣстностяхъ и временахъ, какъ, напримѣръ, тѣ, о коихъ говорятъ намъ преданія францевъ и индусовъ, какъ о ихъ собственномъ отечествѣ, изъ котораго они вышли. Только эти обитатели земли аріевъ, этой знаменитой Эріене Веджо, и только всѣ подобныя имъ могутъ быть почитаемы дѣйствительными и чистыми представителями того склада культуры, который до сихъ поръ занимаетъ насъ и который весь основанъ на отношеніяхъ если не исключительно, то преимущественно генетическихъ, будучи сначала до-брачнымъ, потомъ брачнымъ и, наконецъ, послѣ-брачнымъ. Этотъ послѣдній, по господству въ немъ боковыхъ линій, потомствъ братьевъ, умѣстно назвать *фратріархальнымъ*. Если предыдущій періодъ былъ семейно-родовымъ, то этотъ есть народно-племенной, потому что точно отграничить племя отъ народа такъ же мало возможно, какъ и семью отъ рода. Сущность только въ томъ, что социальную единицу здѣсь составляетъ или племя, или народъ, что старшинство и младшинство является здѣсь не только между лицами и семьями, но также между родами и племенами; что власть отеческая, домовладческая, родоначальническая превращается въ княжескую.

Если бы всю эту раздробленную картину послѣдовательности трехъ періодовъ патріархальности мы пожелали воспроизвести, по мѣрѣ возможности, во всей ея цѣлости и конкретности, и при томъ съ наибольшей достовѣрностью, то лучший для того примѣръ едва ли нашелся бы, какъ тацитовская Германія. Это будетъ, конечно, патріархальность лишь относительная, но она можетъ дать понятіе и о томъ, чѣмъ должна была быть безусловная. Что же мы видимъ тутъ? Не смотря на всю эту относительность, тутъ все-таки остаются слѣды даже самаго первобытнаго изъ патріархальныхъ состояній, состоянія матриархальности. Слѣды эти суть обычаи наслѣдства, по которымъ имущество переходитъ къ сыну сестры, къ племянникамъ, а не къ сыновьямъ. Тутъ есть также семейства, которыя явно еще хранятъ связь свою съ родомъ, и между которыми родъ ежегодно раздѣляетъ земли свои. Тутъ видимъ мы также и родовыя общины, инкорпорируемыя въ общины сельскія, въ гау. Здѣсь есть и соединенія нѣсколькихъ гау въ кинъ, въ племя, каковы, напри-мѣръ, племена фризевъ, бруктеровъ, сикамбровъ, марсовъ, седу-

зиевъ, тенетеровъ, тулинговъ, венноновъ и проч. и проч. А наконецъ, мало по малу все это входитъ въ составъ народовъ, и образуются то франки, то бургунды, то аллеманы, англо-саксы, готы, свевы, герулы и т. д. Память объ этой жизни народами, а не государствами, долго длится еще потомъ и въ государственной жизни, такъ что до самой капетингской династiи не существовало, напримѣръ, короля Франціи, а былъ только король франковъ. За тѣмъ, еслибъ мы пожелали видѣть ту же патріархальность въ ея, такъ сказать, поперечномъ разрѣзѣ, а не продольномъ, то лучшаго примѣра въ документальной исторiи не нашли бы, какъ еврейскій. Больше чистоты патріархальнаго принципа въ государственной средѣ трудно и ожидать. Вслѣдъ за тѣми патріархами библейскими, которые сообщили и свое имя всѣмъ подобнымъ эпохамъ, является у народа израильскаго вождь по выбору, Моисей. Весь народъ при немъ раздѣленъ не иначе, какъ по числу сыновей Израиля, т. е. на 12 колѣнъ (плементъ). Во главѣ каждого колѣна стоятъ, также по выбору уже, князья колѣнъ. Каждое колѣно, въ свою очередь подраздѣляется на нѣсколько поколѣній (родовъ), во главѣ каждого изъ которыхъ также выборный вождь, если нѣтъ больше въ живыхъ естественнаго. Наконецъ, каждое поколѣніе считаетъ въ себѣ по нѣскольку семействъ съ ихъ, на этотъ разъ, естественными главами. Двѣнадцать представителей колѣнъ, или князей, составляютъ собою ближайшій къ Моисею кругъ его совѣтниковъ, совѣтъ старѣйшинъ народа. Представители же 12-ти колѣнъ, вмѣстѣ съ представителями 58 поколѣній, составляютъ совѣтъ 70, болѣе отдаленный отъ Моисея и рѣже созываемый имъ, а именно только для важныхъ дѣлъ. Наконецъ, представители всѣхъ семействъ составляютъ то, что называется въ библіи всѣмъ обществомъ, народомъ израильскимъ, выражающимъ себя посредствомъ восклицаній то одобренія, то порицанія. Каждое колѣно и даже поколѣніе во внутреннихъ своихъ дѣлахъ совершенно независимо, такъ что иное колѣно даже воюетъ иногда на свой собственный рискъ и страхъ. Вотъ положеніе дѣлъ въ патріархальности, по возможности, чистой. Послѣ двухъ такихъ моделей ея, одной—динамической и другой—статической, очевидно, что всякое дальнѣйшее социальное наращеніе, напримѣръ, соединеніе израильскаго народа съ филистимлянскимъ, или франковъ съ галлами, или эллиновъ съ пеласгами, собственно говоря, выходитъ уже изъ всякой возможности естественныхъ, самопроизвольныхъ на-

ращеній, и можетъ быть только послѣдствіемъ насилія, побѣды, а вмѣстѣ съ тѣмъ должно терять и возможность патріархальной организаціи. Расплемененіе до степени народа, т. е. общества, хотя и потерявшаго уже степени родства своего, но хранящаго преданія о единствѣ своего происхожденія и имѣющаго доказательство тому въ единствѣ языка, есть послѣднее, какое выноситъ патріархальную организацію. Населенія разноязычныя, непонимающія другъ друга, рѣдко представляютъ возможность воссоединеній патріархальныхъ, и, по большей части, бывають продуктомъ только государственности.

Культурныя прогрессіи представляютъ собою не меньшую постепенность и незамѣтность, какъ и всѣ прогрессіи цивилизаціи. Нѣтъ поэтому никакой рѣзкости перехода и между патріархатомъ, съ одной стороны, и государствомъ, съ другой. Тѣмъ не менѣе, однакожь, въ концѣ концовъ государство получаетъ фязіономію, весьма различную отъ патріархальной, такъ что и образуетъ собою дѣйствительно новую формацію. Характеристикой этой новой формаціи могутъ служить слѣдующіе признаки. Во первыхъ, это есть различный способъ наращенія въ обѣихъ формаціяхъ. Въ предыдущей общество бываетъ обыкновенно продуктомъ самооплодотворенія, продуктомъ естественнаго размноженія семей до родовъ, родовъ до племенъ, племенъ до народовъ; въ государственной же оно есть обыкновенно плодомъ искусственнаго соединенія селъ и городовъ, соединенія ихъ между собою со всѣми ихъ родами, племенами, народами. Искусственность же эта бываетъ двоякою: или военною, завоеваніемъ, или мирною, соглашеніемъ. А вслѣдствіе такого различія естественнаго и искусственнаго способа наращеній получается и второй признакъ отличія: корпоральность и территориальность. Въ патріархальныхъ общежитіяхъ фигурируетъ, главнымъ образомъ, личный составъ населеній; въ государственныхъ же эту роль пріобрѣтаетъ территория. Въ третьихъ, господствующею классификаціе населеній въ первомъ случаѣ есть продольная: по родамъ, по племенамъ, по колѣнамъ; во второмъ же—поперечная, по кастамъ, по сословіямъ, по профессіямъ. Въ четвертыхъ, характеръ поселеній патріархальныхъ есть исключительно сельскій; поселенія же государственныя немислимы безъ городовъ. Въ селахъ жители всегда болѣе или менѣе родственники; въ городахъ жители всегда смѣсь изъ различныхъ окрестныхъ селъ. Въ пятыхъ, верховная власть въ одномъ случаѣ основана на дѣйствительномъ или

хоть фиктивномъ родствѣ ея съ подвластными; въ другомъ—на дѣйствительномъ или фиктивномъ признаніи ея ими. Наконецъ, въ самой этой власти разъ имѣется элементъ только административный и, много-много, судебный; въ другой же разъ въ нимъ непременно приобщается также и законодательный. Вотъ наиболѣе общія черты той формаци, которой мы должны опредѣлить теперь частнѣйшія напластованія, какія имѣли уже или могутъ еще имѣть мѣсто въ исторіи.

Но прежде, чѣмъ сдѣлать это, надо показать, до какой степени нечувствителенъ самый переходъ изъ патріархальности въ государственность. А показать это невозможно лучше, какъ на примѣрѣ Китая. Китай есть такая же амфибія въ культурѣ, какою онъ былъ и въ цивилизаціи. Тамъ онъ былъ завершеніемъ фетишизма и преддверіемъ политеизма; здѣсь онъ есть конецъ патріархата и начало государства. Это совершенный Янусъ, одно лицо котораго обращено назадъ, а другое напередъ. Это *народъ-государство* или *государство - народъ*. Онъ еще народъ, потому что онъ есть лишь естественное расплемененіе семьи, какъ указываютъ на это многочисленные признаки и изслѣдованія; но онъ уже и государство, какъ доказывается это обширнымъ совокупленіемъ селъ и городовъ, и обширными наращеніями мирными и военными. И наоборотъ онъ уже, очевидно, государство; но государство это до сихъ поръ продолжаетъ считать себя потомствомъ лишь ста семей, продолжаетъ не знать больше, чѣмъ сто фамильныхъ именъ, продолжаетъ даже запрещать браки между этими фамиліями, какъ будто между близкими родственниками, чѣмъ полагается величайшее препятствіе для заключенія брачныхъ союзовъ. Общество это есть величайшее изъ всѣхъ территоріальныхъ соединеній, какія знаетъ до сихъ поръ исторія; а, между тѣмъ, оно сохраняетъ характеръ чисто-корпоральный, представляя собою только апогей организаторской способности самооплодотворенія. Классификація населенія въ этомъ обществѣ давно перестала быть родословною, но она не замѣнилась до сихъ поръ и вполнѣ сословною, кастическою. Въ организаціи правительства давнымъ-давно образовалась сложная и многочисленная бюрократія, а, между тѣмъ, она продолжаетъ играть роль родоначальниковъ и патріарховъ, потому что каждый старшій мандаринъ есть отецъ cadaго младшаго, а каждый младшій—сынъ старшаго. Въ особѣ богдыхана давнымъ-давно создана власть деспотическая, власть

основанная лишь на признаніи ея; а между тѣмъ, она и до сихъ поръ квалифицируется не иначе, какъ власть отца и матери своего народа. Словомъ, всѣ дѣйствительныя свойства патріархальности потеряли всякое мѣсто; но всѣ они тщательно поддерживаются въ видѣ живыхъ и энергически дѣйствующихъ фивцій. Какъ ни близки къ такому же типу Японія, Перу, Мексика, но и онѣ опередили Китай, и онѣ больше государства, чѣмъ онъ. Такимъ образомъ, каково бы ни было хронологическое отношеніе Китая къ остальнымъ изъ числа древнихъ государствъ; но его культурная древность, въ сравненіи съ ними, не подлежитъ никакому спору. Это несомнѣнный и запоздалый между ними остатокъ изъ той культурной формации, о которой говорено выше и отъ которой остался въ исторіи этотъ единственный мумифицированный слѣдъ. Всѣ же остальные древнія общества, всѣ прочіе современники его, принадлежатъ уже къ той формации, къ исторіи которой намъ слѣдуетъ приступить теперь. Всѣ они могли имѣть, и дѣйствительно имѣли, свой частный, свой относительный вѣкъ патріархальности; но всѣ они также, рано или поздно, переросли его, и вступали въ формы чистой государственности. Наконецъ, нечувствительность перехода изъ патріархата въ государство обусловливается и свойствомъ всѣхъ вообще органическихъ переходовъ. Въ одномъ отношеніи организмъ представляется новымъ уже, въ другомъ же можетъ онъ представляться еще старымъ, такъ что здѣсь никогда не имѣетъ мѣста всеобщность признаковъ, а только всегда большинство ихъ.

Какъ для патріархата первую ступенью его лѣстницы служатъ агамія, анархія, матриархальность, такъ первую государственною формою есть не что иное, какъ верховный городъ. Село непременно предполагается уже прежде государства; но верховный надъ нѣсколькими селами, а тѣмъ больше надъ нѣсколькими городами, городъ есть уже понятіе тождественное съ государствомъ. Это до такой степени вѣрно, что первоначальное названіе города и государства есть одно и то же, какъ, напримѣръ, у грековъ πόλις. Городъ представляетъ большую степень социальности, чѣмъ село, потому что соединяетъ болѣе чуждые элементы, чѣмъ тамъ, а потому не города подчиняются селами, а села городами. Но еще замѣчательнѣе то обстоятельство, что во всемъ древнемъ мірѣ государство никогда не могло и удалиться слишкомъ далеко отъ этого городского своего типа. Начиная съ Индіи на востокъ и до Рима на

западѣ, всѣ они, въ теченіе всей жизни своей, такъ или иначе, но оставались вѣрными своему городскому происхожденію. Индія, на-
примѣръ, всегда оставалась въ древности лишь однимъ географи-
ческимъ терминомъ; въ политическомъ же смыслѣ представляла
всегда цѣлую массу независимыхъ другъ отъ друга, drobныхъ и
мелкихъ, городскихъ государствъ. Много-много, если два или три
подобныя государства сливались иногда въ одно, и владѣтель ихъ
изъ раджи дѣлался магараджей. Но и эти сліянія рѣдко бывали
прочными и долговѣчными. Египетъ успѣлъ произвести это сліяніе
всѣхъ двѣнадцати своихъ государствъ только къ концу своей исто-
ріи; въ теченіе же всей предыдущей, государства эти были не что
иное, какъ городскія главенства. Иранъ и Сирія были сценою по-
минутно возникавшихъ и поминутно же исчезающихъ городовъ-го-
сударствъ. Въ одной южной Сиріи, наприимѣръ, насчитывалось ихъ
до 70. Въ одной изъ клинообразныхъ надписей говорится о 23 ца-
ряхъ Сиріи, представшихъ предъ побѣдителемъ Салманассаромъ.
Понятно, каковы должны были быть эти царства по объему. Малая
Азія также вся состояла изъ такихъ же миниатюрныхъ государствъ.
Каждый изъ городовъ Финикіи былъ снова особымъ царствомъ.
Греція представляла собою цѣлый муравейникъ государствъ. Госу-
дарства въ Лаціумѣ, въ Этруріи, въ Самніумѣ были тѣ же города,
не больше. Если же тамъ или здѣсь состоялось когда-либо соеди-
неніе нѣсколькихъ или многихъ такихъ государствъ въ одно, всѣ
они были, во первыхъ, недолговременны, какъ ассирійско-вавилонское,
мидійское или персидское, а во вторыхъ, что еще важнѣе, они
всегда образовывали собою владѣніе-какого нибудь одного города. Та-
кимъ государствомъ была и сама Римская имперія. Не смотря на свои
120.000.000 населенія, управленіе ими всегда принадлежало одному
Риму и все это обширное государство всегда отождествлялось съ
одною его столицею. Слово Римъ равно означало и городъ Римъ, и все
римское государство. До какой степени городъ сохраняетъ въ древ-
ности характеръ государства, видно и изъ того, что тогда не было
ни одного города, который бы не сохранялъ стѣнъ своихъ, своихъ
укрѣпленій: знакъ, что раньше или позже, но онъ велъ государ-
ственную жизнь. Съ другой стороны, каждое государство, сколько
бы оно ни разрасталось, всегда сохраняло себѣ названіе по имени
того города, который произвелъ такое разрастаніе. Финикійскаго го-
сударства, греческаго государства никогда не было; а были госу-

дарства тирское, сидонское, афинское, спартанское, коринфское и т. п. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, эта первоначальная неспособность къ крупнымъ государственнымъ организаціямъ идетъ, убывая, съ востока на западъ. Если персидское воссоединеніе государствъ успѣло просуществовать не болѣе двухъ столѣтій; если македонское не превзошло жизни одного поколѣнія; то римское, въ наибольшемъ своемъ объемѣ, продолжалось цѣлыхъ 500 лѣтъ, хотя оно было и громаднѣе всѣхъ предыдущихъ. И такъ, въ концѣ древняго міра государственно-организаторская способность человѣчества значительно возросла въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ она была въ началѣ того же міра. Она возросла на столько, что могла дать первое изъ государственныхъ соединеній, сколько-нибудь подобное высшему изъ патріархальныхъ, — китайскому. Какъ Китай былъ сводомъ и итогомъ множества первичныхъ патріархатовъ, такъ Римъ былъ суммою множества первичныхъ государствъ, хотя бы то и меньшею. Но за то онъ былъ соединеніемъ гораздо болѣе труднымъ, потому что соединеніемъ совсѣмъ по иному принципу, а именно не естественнымъ, а вполне искусственнымъ, не своихъ, а самыхъ разнородныхъ чужихъ. Въ концѣ концовъ не будетъ неправильно заключить, что древнее государство, по вѣтшней организаціи своей, никогда не измѣняло своему первоначальному происхожденію и всегда оставалось существенно городскимъ, *муниципальнымъ*. Вторичною государственною формаціею есть та, среди которой живемъ мы сами. Здѣсь не можетъ быть, конечно, рѣчи о тѣхъ государствахъ, которыя занесены сюда изъ прежней или даже изъ прежнихъ формацій, какъ Китай—изъ патріархальной, Индія, Японія, Персія—изъ муниципальной, и т. п.; ни о тѣхъ также, которыя хотя и образовались въ нашей формаціи, но пребываютъ еще въ возрастѣ предыдущей, какъ, напримѣръ, Турція. Но подъ именемъ вторичнаго поколѣнія государствъ должны быть понимаемы только тѣ, которыя пережили уже первичную государственную форму и вступили во вторичную, въ новую. А такими суть только два послѣдовательныя наслоенія, извѣстныя подъ именемъ европейскаго и американскаго, изъ коихъ первое старѣе и восточнѣе, а второе—новѣе и западнѣе. Оставляя въ сторонѣ во всѣхъ этихъ государствахъ не только ихъ періоды патріархальные (до начала среднихъ вѣковъ), но и ихъ муниципальные періоды (средніе вѣка), мы будемъ останавливаться только надъ тѣмъ, что представляется въ этой формаціи суще-

ственно новымъ, по сравненію съ предыдущею. Новообразованія эти начинаются вслѣдъ за концомъ среднихъ вѣковъ и началомъ новыхъ. Всѣ эти государства тѣмъ существенно отличны отъ древнихъ, что здѣсь уже не города властвуютъ одни надъ другими, а цѣлыя національности. Каждое изъ новыхъ государствъ есть не что иное, какъ подчиненіе одной національности, господствующей, всѣхъ другихъ, населяющихъ его. Въ средніе вѣка муниципальный типъ далъ себя знать и въ Европѣ, въ особенности же въ Италіи, Германіи, Нидерландахъ; но къ концу этихъ вѣковъ повсюду уже образуется какая-нибудь центральная область, какая-нибудь сплошная господствующая національность, такъ что и характеристику господству даетъ уже она, а не какой бы то ни было городъ. Ни одно изъ новыхъ государствъ не называется по имени столицы: нѣтъ государства парижскаго, лондонскаго, вѣнскаго, а есть и издавна было государство франкское, англо-саксонское, австрійское, и т. д. Укрѣпленные города также составляютъ собою здѣсь весьма рѣдкое исключеніе, а не всеобщее правило. Вслѣдствіе же всего этого, новое государство всегда превосходитъ древнее и по объему. Что въ древности было постоянно и постоянно неудававшеюся попыткою,—соединеніе многихъ городовъ,—то нынѣ составляетъ самое естественное явленіе. Римскій типъ государства, бывшій для древности новизною и великимъ *chef-d'oeuvre* политическаго искусства, въ наше время становится обычнымъ и нормальнымъ, какъ показываютъ это примѣры англійскаго владычества, русскаго, сѣвероамериканскаго. А между тѣмъ, движеніе это далеко еще не завершилось. Напротивъ, нынѣшнія, и безъ того уже многомилліонныя, государства все еще стремятся къ новымъ и дальнѣйшимъ наращеніямъ, свидѣтели чему паниберизмъ, панитальянизмъ, панскандинавизмъ, пангерманизмъ, панславизмъ. И во всѣхъ этихъ случаяхъ идеаломъ остается совокупленіе не тѣхъ или другихъ разноплеменныхъ городовъ, а той или другой разрозненной пока національности. Малому государству въ наше время трудно даже существовать; а если они держатся пока, то лишь благодаря разнообразной игрѣ притяженія ихъ большими, благодаря соперничеству этихъ послѣднихъ между собою. Словомъ, новое государство, сравнительно съ древнимъ, съ городскимъ, есть несомнѣнно областное, *національное*. Націонализмъ есть, какъ извѣстно, весь духъ современнаго государства; равно какъ и вся жизненная борьба въ немъ есть не-

измѣнно борьба національностей. Если же такъ, то организаторская способность въ этой формациі далеко возросла въ сравненіи съ предшествующею, не исключая и римской, и, при томъ, какъ количественно, такъ и качественно. Количественно, потому что наша формациа способна дать въ концѣ концовъ такую государственную аггломерациу, которая будетъ равна, по объему, китайской. Качественно, потому что такая аггломерациа будетъ основана на высшемъ принципѣ и съ большей степенью политическаго искусства, чѣмъ прежнія, а именно на идеѣ цѣлой области правительственной, а не одного города, на идеѣ всей національности, творческой въ политическомъ смыслѣ. Но при такихъ усиліяхъ всей предыдущей исторіи, грядущая государственная формациа не можетъ разрѣшиться никакимъ инымъ явленіемъ, какъ господство уже не національностей, а развѣ только цѣлыхъ расъ, и не надъ нѣсколькими другими областями, а развѣ лишь надъ цѣлыми континентами или частями свѣта. А потому предсказаніе въ этомъ направленіи и выражается понятіемъ *расоваго* или *континентальнаго* государства. Здѣсь предвидимо господство болѣе культурныхъ расъ, подобныхъ нынѣшнимъ европейскимъ, надъ менѣе культурными, въ родѣ нынѣшнихъ азіатскихъ.

Въ свою очередь, естественный конецъ и этого конца есть, очевидно, одинъ только: соединеніе общечеловѣческое, всемірное въ полномъ смыслѣ слова, космополитическое. Попытки же къ достиженію такого конца, исторію этого достиженія, мы обозначаемъ терминомъ *международнаго общежитія*, гдѣ расовыя государства, будучи независимы другъ отъ друга, будутъ, однакожъ, находиться въ такомъ тѣсномъ общеніи между собой, что отъ него недалеко и до полнаго единства, до всеобщаго обобщенія. Не только національная, но и расовая особность должна тогда перестать имѣть значеніе, а получить его должна лишь человѣческая общность. Такова послѣдняя и наивысшая изъ культурныхъ формаций. Она, вѣроятно, также будетъ имѣть свои степени и слои; но предусматривать ихъ уже теперь было бы слишкомъ рискованнымъ. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, общая характеристика всей этой формациі во всей ея цѣлости, помимо частнѣйшихъ отиѣнъ въ ней, не вовсе представляется недоступною. Она была бы недоступна совсѣмъ лишь тогда, еслибъ у нея не было никакого прошедшаго. Но прошедшему неизвѣстна только абсолютная международность, исключаящая всякую государ-

ственность; что же касается относительной, то у нея не только есть исторія, но и очень длинная, такая же, какъ и во всѣхъ прочихъ случаяхъ. По этой-то исторіи мы и позволимъ себѣ заключать объ ея будущемъ, хотя бы то въ самыхъ общихъ очертаніяхъ. Международная организація вовсе не есть одно лишь великое чаяніе, одинъ отдаленный идеалъ. Она современна не только государству, но и всякому патріархату. Довольно припомнить всѣ патріархальныя фазисы, чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ необходимостью допустить, что уже и тамъ должны были существовать отношенія семейныя, междуродовыя, междуплеменные и международныя, прежде чѣмъ получилось то, что было бы точнѣе назвать междугосударственностью. Междубщественность не есть что-либо самостоятельное, требующее для себя особаго мѣста и особаго времени; она есть повсюду, гдѣ только появились какія бы то ни было людскія группы. Она не можетъ не существовать между ними даже во времена матриархальности, агаміи, анархіи. Пусть это будутъ однѣ драки между людскими скопами, но онѣ уже суть содержаніе исторіи междусоціальной. Что же касается другихъ двухъ эпохъ патріархальности, то здѣсь замѣчаются уже положительные признаки правильныхъ междубщественныхъ отношеній. Какъ ни разобщены обыкновенно роды и племена, какъ ни враждебны бываютъ они другъ другу, при чемъ собака рода роднѣе, чѣмъ чужеродецъ; тѣмъ не менѣе, однакожъ, и между ними попадаютъ отъ времени такіе, которыхъ связываетъ, напримѣръ, общее вѣрованіе, общая святыня. Вотъ тотъ единственный путь, которымъ люди могутъ тогда сходиться мирно, и то единственное нейтральное пространство, на которомъ могутъ они сближаться безъ драки. Такимъ религіознымъ средоточіемъ, напримѣръ, для арабскихъ племенъ издревле былъ камень кааба, куда вѣрующіе сосѣди стекались на поклоненіе. У друидовъ такими священными центрами были заповѣдныя дубы и рощи. У индійцевъ подобнымъ пунктомъ сходбищъ были издревле Бенаресъ и Эллора; у греческихъ городовъ—амфиктіоніи, у итальянскихъ—священныя игры и т. д. Извѣстно также, что около такихъ святилищъ, какъ центровъ наибольшаго скучиванія населеній, завязывались всѣ мирныя торговыя сношенія, обращавшіяся современнымъ въ постоянныя періодическія ярмарки. Такимъ образомъ, съ одной стороны, святилище, съ другой ярмарка,—вотъ пунктъ отпавленія всей исторіи междубщественности. Этотъ первоначаль-

ный фазисъ ея, свойственный всей патріархальной культурѣ, назовемъ международностью *амфиктіонскою*. Характеристика этой международной въ томъ, что международныя сближенія крайне рѣдки и эфемерны, такъ что каждое изъ такихъ соединеній вслѣдъ за тѣмъ и разсыпается. Но за то онѣ суть сближенія самопроизвольныя и мирныя, что очень важно для насъ держать въ памяти. Между государствами, какой бы формациі они ни были, международная связь принимаетъ уже другой отпечатокъ. Въ древнемъ государствѣ, и чѣмъ дальше на востокъ, тѣмъ вѣрнѣе, международныя отношенія почти вовсе не существуютъ, какъ у китайцевъ и индійцевъ. Между государствами передней Азіи мирныя отношенія хотя и рѣдки, но за то многочисленны военныя, при чемъ въ результатъ ихъ постоянно возникаетъ то одно, то другое международное преобладаніе, какъ, напримѣръ, египетское при Сезортесѣ или Сезострисѣ, ассирійско-вавилонское при многихъ царяхъ, персидское при Кирѣ. Еще дальше на западъ международное треніе еще оживленнѣе. Но характеръ его остается все тотъ же: духъ преобладанія, который у грековъ получилъ имя гегемонизма. Македонская гегемонія впервые успѣла связать, хотя бы то на время, даже такіе международныя антитезы, какъ Азія и Европа. Наконецъ, Римъ, сдѣлавшійся центромъ всей древней международной системы, сдѣлался имъ не иначе, какъ въ силу своей гегемоніи. Въ новыхъ государствахъ, если международная идея чѣмъ нибудь поддерживалась, то опять тѣми же преобладаніями одного государства надъ другими; тѣми же гегемоніями Карла Великаго, Иннокентія III, Карла V, Наполеона I и всѣми вообще, исходившими прежде всего изъ романской расы. Въ настоящую минуту таково же значеніе гегемоніи, испедевшей изъ германскаго племени. Таково же будетъ, вѣроятно, значеніе и всякой иной, будущей гегемоніи. Современные государства слишкомъ еще проникнуты духомъ національной исключительности, чтобы поступаться ею въ пользу универсальности и устранять соперничество между собою. Духъ гегемонизма остается поэтому единственнымъ пока средствомъ поддерживать идею международной цѣлости и единства среди національных обособленностей и раздробленія. Пока отдѣльныя государства существуютъ, до тѣхъ поръ, не смотря ни на какой идеалъ политическаго равновѣсія, факты преобладанія неминуемы, какъ неминуемъ духъ соперничества. А потому и будущее государство, хотя бы оно было расовымъ или

континентальнымъ, не въ силахъ уклониться отъ этого естественнаго послѣдствія всякой государственности и всякой конкуренціи въ ея средѣ. Все, чего можно ожидать отъ государственности расовой, есть развѣ только то, что гегемоніи политическія будутъ все меньше и меньше злоупотреблять своимъ преобладаніемъ; но самый фактъ гегемоній неустрашимъ. А потому и весь этотъ государственный фазисъ международности можно квалифицировать, какъ *гегемоническій*. Въ немъ характеристично то, что онъ производитъ международность принудительную, военную, чего не было въ международной патріархальной. Если же въ ней есть, въ свою очередь, какія-либо отгѣны по формаціямъ, то развѣ только слѣдующія. Древняя гегемонія всегда была исключительною, т. е. всякая гегемонствовавшая страна, вслѣдствіе отсутствія системы союзовъ и коалицій, не знала уже себѣ соперниковъ, а потому не знала и никакого удержу. Это былъ, такъ сказать, международный монархизмъ, гегемонія деспотическая. Новая организація международной, благодаря своему идеалу политическаго равновѣсія, своимъ систематическимъ союзамъ и коалиціямъ, направляемымъ противъ всякой гегемоніи, достигаетъ дѣйствительно нѣкотораго ограниченія этой послѣдней, нѣкотораго сдерживанія всякой международной власти и вліянія. Это, можно сказать, гегемонія ограниченная, конституціонная; при чемъ роль ограничивающихъ державъ играютъ остальные члены европейской пентархіи великихъ державъ. Если тотъ же самый процессъ достигнетъ до формаціи расовой, континентальной, то самую правдоподобною отгѣною будетъ здѣсь только ограниченіе всякой гегемоніи общими и дружными силами не только всѣхъ великихъ, но всѣхъ среднихъ и малыхъ державъ, т. е. гегемонія словно республиканская. Всѣмъ этимъ исчерпывается исторія относительной международной, и начинается исторія безъотносительной, т. е. та, которая не наступала еще и которая можетъ быть предметомъ только догадокъ. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, нельзя отчаяваться начертить, по крайней мѣрѣ, общій ея силуэтъ. Для этого можетъ служить исторія одной изъ относительныхъ международныхъ, а именно греческой. Уже изъ предыдущаго видно, что всемірная исторія повторяетъ тотъ же процессъ, какой пережить въ миниатюрѣ греческою жизнью. Тамъ амфиетіоніи смѣнились гегемоніями, а гегемоніи симмахіями, т. е. снова добровольными и снова мирными международными ассоціаціями, каковы были, напримѣръ,

симмахія ахейская и этолійская. Если всемірной исторіей повторится и этотъ третій шагъ, какъ повторены уже два первые, то абсолютная международность окажется *симмахійскою*, или, что тоже, федеративною. Вотъ и все, что можно имѣть смѣлость предсказывать изъ только что очерченной исторіи для столь отдаленнаго будущаго. Если же можно что-нибудь въ этому добавить, то развѣ о моментѣ перехода изъ государственности въ международность. Трудно устоять противъ мысли, что переходъ этотъ долженъ быть столь же неувидимымъ, какъ и кризисъ между патриархатомъ и государствомъ. На рубежѣ между двумя новыми формаціями также неминуемо предположить что-нибудь аналогическое китайской культурѣ, гдѣ столько же было бы государственности, сколько и международной. Другими словами, на этомъ новомъ порогѣ надо предположить государства-космополитіи, прежде чѣмъ исполнится великое чаяніе о единомъ стадѣ и единомъ пастырѣ.

Отъ внѣшнихъ организацій обращаясь къ внутреннимъ, мы поражаемся еще болѣе радикальными отиѣнами ихъ по формаціямъ. На этотъ разъ представляется замѣчательная игра исторіи одними и тѣми же признаками, при чемъ она повторяетъ ихъ только въ обратномъ порядкѣ. Аристократизмъ, тимократизмъ, демократизмъ, — вотъ неизмѣнное содержаніе этой исторіи по всѣмъ формаціямъ; но съ тою разницею, что въ такомъ порядкѣ слѣдуютъ они другъ за другомъ лишь въ трехъ формаціяхъ государственныхъ, въ патриархальныхъ же трехъ они идутъ въ порядкѣ совершенно обратномъ, т. е. демократизмъ, тимократизмъ, аристократизмъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если мы возвратимся въ построенію общежитія матриархальнаго и станемъ наблюдать его внутри, а не извнѣ, то увидимъ, что въ немъ царитъ безусловнѣйшій *демократизмъ*, хотя и своего особеннаго рода. Выше приведено весьма компетентное свидѣтельство о калифорнійскихъ индѣйцахъ, незнающихъ еще никакого старшинства, которое нарушило бы ихъ всеобщее равенство, не дѣлающихъ ничего, въ чему не вынуждались бы сами собой, не имѣющихъ основанія даже ожидать мести за убійство другого. Такое состояніе общества представляетъ, очевидно, почти царственную автономичность каждой отдѣльной особи, почти идеаль историческій. Конечно, это демократизмъ простого животнаго, демократизмъ естественный, а не искусственный, но только такимъ онъ и могъ быть въ то время. Конечно,

это лишь равенство невѣжества, нищеты, безнравственности, но тѣмъ не менѣе равенство; это свобода беззаконія, безправія, безсовѣстности, но все-таки свобода. И все дѣло только въ томъ, что прогрессъ этого демократизма состоитъ здѣсь не въ прибываніи его, а въ убываніи. Когда наступаетъ періодъ семейно-родовой или чисто-патріархальный, то это равенство и эта свобода начинаютъ теряться во всѣхъ отношеніяхъ. Противоположеніе мужей и женъ, отцовъ и дѣтей, господъ и слугъ поражаетъ прежнее равенство и безразличіе навсегда; установленіе родовой мести впервые поражаетъ дикую свободу. А гораздо прежде, чѣмъ могутъ выдѣлиться изъ числа другихъ нѣкоторые роды по своему происхожденію или по своей привычкѣ въ власти, они выдѣляются по богатству. Родовой бытъ не помогаетъ никакому иному различію, какъ только этому, которому онъ помогаетъ количествомъ своихъ женъ, своихъ домочадцевъ, рабовъ, стадъ. И такъ, чисто-патріархальный періодъ есть, по внутренней своей организаціи, прямой *тимократизмъ*. Еще одинъ шагъ впередъ,—и исторія стоитъ на порогѣ аристократизма. Уже и предыдущій періодъ сѣетъ сѣмена будущихъ аристократій, т. е. различій между людьми по породѣ: съ одной стороны, нѣкоторые роды выдѣляются изъ другихъ, какъ сказано, по богатству, съ другой—выдѣляются со временемъ также и по старшинству происхожденія, а вслѣдствіе той и другой причины выдѣляются и по власти. Въ періодъ же фратріархальномъ это явленіе расширяется, углубляется, созрѣваетъ, такъ что оказывается уже явнымъ и могущественно вліяющимъ на жизнь. У ирокезовъ первенство между всѣми родами имѣютъ два изъ нихъ: Онондага—во время мира, Могауэ—во время войны. У киргизовъ существуетъ уже раздѣленіе на бѣлую и черную кость. У эскимосовъ также есть привилегированный классъ, который одинъ только имѣетъ право владѣть рабами и торговать ими. Подобный же разрядъ людей замѣчается у колошей. Даже въ Микронезіи находятся уже признаки генетическихъ привилегій, при чемъ одни классы находятся въ связи съ богами, а другіе оказываются неимѣющими собственной души. На Маріанскихъ же островахъ различаются даже три классификаціи населенія: матуасы—благородные, ачаоты—полублагородные и мангачанги—простолюдины. Послѣднимъ запрещаются благородныя занятія, какъ рыболовство и судоходство; имъ не позволяются также браки съ первыми двумя классами, а каждое нарушеніе этого за-

прета грозить смертю. Матуасы запрещали миссіонерамъ даже самую проповѣдь христіанства между мангачангами. И такъ, развѣ все это не явный *аристократизмъ*? не различіе по породѣ, по крови, по знатности? и, при томъ, гораздо раньше государственной формаціи?..

Въ государственной формаціи идетъ та же самая серія развитія, но только въ порядкѣ обратномъ. Первая изъ этихъ формацій, т. е. вся древняя, есть чисто и сплошь *аристократическая*. Правда, возрѣніе это съ перваго разу можетъ показаться весьма парадоксальнымъ; противъ него готово ходячее мнѣніе о демократизмѣ грековъ и римлянъ, равно какъ и ихъ собственное мнѣніе о самихъ себѣ. Но все это очень слабыя препятствія къ признанію истины. Для этого довольно вспомнить о необходимомъ понятіи относительности и абсолютности историческихъ явленій. Какъ есть патріархальность абсолютная и относительная, также точно есть относительный и абсолютный аристократизмъ и все прочее. Относительно, т. е. сравнительно съ своими сверстниками, съ другими аристократіями, греческія и римскія организаціи были, пожалуй, дѣйствиительно демократичными, и не могли въ свое время не казаться такими. Но безотносительно, въ сравненіи съ патріархатами и съ новыми государствами, т. е. со всѣмъ вообще прошедшимъ и всѣмъ будущимъ, это были чистѣйшія аристократіи. Уже и по современнымъ намъ возрѣніямъ, и не заглядывая ни въ какія грядущія, невозможно примириться съ мыслью, чтобы греческій строй жизни, въ какую бы то ни было пору его развитія, могъ похвастаться за безотносительно демократическій. Можно ли допустить, чтобы устройство общества, гдѣ полноправныхъ гражданъ всего 90.000 человекъ, какъ въ Афинахъ, полуправныхъ 40.000, а безправныхъ 400.000, чтобы такое устройство могло прослѣть хоть на минуту за демократическое. И еще болѣе, можно ли квалифицировать, какъ демократическую, такую структуру, гдѣ на 120.000.000 жителей политическими правами среди нихъ пользовался бы только одинъ изъ всѣхъ этихъ миллионовъ, каковъ былъ городъ Римъ. Не очевидно ли, что примѣнять сюда такой терминъ можно только въ смыслѣ временномъ и мѣстномъ, но никакъ не въ исторически-научномъ. Демократизмъ здѣшній есть демократизмъ аристократизма, т. е. наименьшая степень этого послѣдняго, ослабленная, въ сравненіи со всѣми другими, древними аристократіями, каковы, напримѣръ, индійская, египетская и т. д. Демократизмъ здѣшній есть также

демократизмъ въ сравненіи съ собственнымъ прошедшимъ и грековъ и римлянъ, когда аристократизмъ ихъ построения былъ еще строже, еще аристократичнѣе, когда и изъ числа самыхъ гражданъ были полноправными только эвпатриды и патриціи, а не теты и не плебеи. Но въ научномъ смыслѣ здѣсь нѣтъ никакого мѣста подобному термину. Демократія съ рабами, демократія, гдѣ огромная масса населенія совершенно безправна, демократія, гдѣ весь *dēmos*, весь *populus* состоитъ изъ одного высшаго, привилегированнаго класса, а все остальное не считается даже народомъ,—такая демократія есть очевидный абсурдъ. Но выдерживаютъ ли характеристику аристократизма такія обществія, какъ Финікія, Кареагень? При тирскомъ царѣ былъ постоянный совѣтъ депутатовъ отъ всѣхъ прочихъ городовъ; а каждый изъ этихъ послѣднихъ при своемъ царѣ имѣлъ также совѣтъ изъ жрецовъ и богатыхъ гражданъ. Нерѣдко происходила и борьба за верховную власть, при чемъ она оканчивалась то самодержавіемъ, то республикою и шоффетимами, какъ Кареагень и началъ. И такъ, на условномъ языкѣ они организованы скорѣе тимократически, чѣмъ аристократически. И дѣйствительно, по отношенію, съ одной стороны, къ древнему востоку, съ другой—къ древнему же западу, общества эти и въ самомъ дѣлѣ не могутъ не показаться тимократическими. Но это такой же тимократизмъ, какъ демократизмъ грековъ и римлянъ, т. е. условный, относительный, тимократизмъ по отношенію къ тогдашнему востоку и тогдашнему западу. Безусловно же рассматриваемая организація, гдѣ судьбою государства заправляютъ постоянно нѣсколько семействъ, какъ Барки, какъ Магоны, какъ Ганноны, или хотя бы то жрецы и граждане, есть, безъ сомнѣнія, полная аристократія. А потому не составляютъ исключенія и семитическія государства. Если же доказано это, то остальное незачѣмъ и доказывать. Левиты, маги, халдеи, жрецы египетскіе, брамины снимаютъ всякую потребность въ доказательствахъ по отношенію ко всѣмъ государствамъ древняго востока. Все, что можно сказать о нихъ, въ отличіе отъ ихъ сверстниковъ, есть развѣ лишь то, что все это суть дважды аристократіи, аристократіи изъ аристократій, аристократіи въ квадратѣ. И точно, все это были не только свѣтскія, но и духовныя аристократіи, все это были теократіи, т. е. самыя безусловныя аристократическія организаціи, не раздѣлявшія еще даже души отъ тѣла, нужды небесныхъ отъ земныхъ, и гос-

подствовавшия безразлично и надъ тѣми, и надъ другими. И такъ, аристократическую организацію всей древности будемъ считать бесспорною, и спросимъ только, чѣмъ же отличается она отъ аристократизма, предшествовавшаго ей, патріархальнаго?.. Весьма многимъ и весьма существенно. Тотъ аристократизмъ былъ естественный, этотъ искусственный. То былъ мирный аристократизмъ, возникшій изъ родства, это—военный, возникшій изъ побѣды. Тамъ аристократіи только приживались, здѣсь онѣ выживаютъ и отживаютъ. Наконецъ, патріархальный аристократизмъ есть конецъ, исходъ патріархальнаго развитія; аристократизмъ же государственный есть выходъ, есть начало государственнаго развитія: тотъ превращается въ этотъ, этотъ же превращается только въ тимократизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, если древняя исторія была аристократическою, то новая есть, очевидно, *тимократическая*. Если новыя, современные намъ государственныя общества чѣмъ-либо отличаются отъ древнихъ, по внутренней организаціи своей, то существенно всего тѣмъ именно, что они выводятъ на сцену исторіи новый, небывалый на ней, классъ своихъ населеній, а именно средній. Они дѣлаютъ, слѣдовательно, то, о чемъ древность не смѣла и помышлять; а если начинала помышлять и пробовать, то вслѣдъ за тѣмъ гибла предъ непосильностью задачи, знаменуя тѣмъ полную свою несостоятельность къ столь капитальному культурному перерожденію. Между тѣмъ, въ новыхъ обществахъ та же самая проблема разрѣшилась и легко, и съ самаго почти начала ихъ. Мы разумѣемъ знаменитую въ новыхъ государствахъ исторію горожанъ, разумѣемъ пресловутую буржуазію, разумѣемъ это роковое tiers-état, словомъ—средній классъ, тимократію. Сперва, подъ покровительствомъ королевской власти, только робко жавшаяся къ аристократіи, она, въ XVII столѣтіи въ Англіи, въ XVIII во Франціи, а въ XIX во всей остальной Европѣ, съ шумомъ и трескомъ заявила свои притязанія стать наравнѣ съ этою традиціонною властительницею судебъ общественныхъ. Мало того, однажды поравнявшись съ отживающею силою, однажды почувавши ея слабость, она не перестаетъ напирать на соперницу пуще и пуще, и чѣмъ кончится этотъ напоръ,—послѣднее слово о томъ далеко еще не произнесено. Въ Европѣ остатокъ древняго государственнаго режима кое-какъ влачитъ еще дни свои, хотя и въ качествѣ отживанія; въ Америкѣ же онъ окончательно стертъ съ лица земли. Тамъ есть высшая буржуазія, есть высшій

классъ въ смыслѣ тимократическомъ; но нѣтъ аристократіи, нѣтъ высшаго класса по породѣ. По поводу этой квалифікаціи американскаго режима нужна, однакожъ, такая же оговорка, какъ и по поводу греко-римскаго. Въ обыденномъ языкѣ къ порядкамъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и даже къ порядкамъ Франціи охотно прилагается терминъ демократизма, а не тимократизма. Но не нужно долго задумываться, чтобы убѣдиться, что это есть опять лишь новое смѣшеніе относительнаго въ исторіи съ безусловнымъ въ ней. Соединенные Штаты и Франція демократичны только въ томъ же условномъ смыслѣ, какъ и Греція или Римъ. Это есть только демократизмъ тимократизма, только наименьшая степень этого послѣдняго режима. Одной всеобщей подачи голосовъ, одной наружности и маски демократизма достаточно только для наложенія демократическаго колорита на тимократію; но этого слишкомъ мало еще для осуществленія чистой демократіи. Для этой послѣдней цѣли необходимо было бы такое же положеніе низшихъ классовъ, какимъ пользовался въ древности высшій классъ и какимъ пользуется теперь средній. Необходимо было бы, чтобы эти низшіе классы обладали не только правами, но также и собственностью, не только собственностью, но также и знаніями, не только знаніями, но также и властью. Необходимо было бы, чтобы они обладали правами своими не *de jure* только, но также *de facto*, какъ все это было и съ аристократіей, и съ тимократіей, и безъ чего не было бы ни той, ни другой. До тѣхъ же поръ научно-историческаго демократизма нѣтъ и быть не можетъ. И такъ, ни Соединенные Штаты, ни Франція не производятъ исключенія и, подобно всѣмъ остальнымъ государствамъ вторичной государственной формаціи, суть чистѣйшія тимократіи. Впрочемъ, довольно съ насъ и этого одного шага, чтобы видѣть, что государственное организаторство возшло у насъ на новую ступень, и что ступень эта опредѣлилась точно и ясно. Если же современныя общества, даже на высшихъ своихъ проявленіяхъ, способны къ демократизму лишь относительному; то безотносительный можетъ быть удѣломъ только грядущихъ обществъ, только третичной государственной формаціи. А потому чисто *демократическая* культура есть, по нашей теоріи, лишь чаяніе отдаленнаго будущаго. Всѣ же, до сихъ поръ имѣвшіе мѣсто въ исторіи, демократизмы были несомнѣнно лишь относительными, а именно: или патріархальнымъ, какъ въ Китаѣ, или аристократическимъ, какъ въ Аѳинахъ,

или тимократическимъ, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Каждый изъ нихъ, не исключая китайскаго, былъ чѣмъ-нибудь выше другого. Нигдѣ, наприимѣръ, интеллигенція и трудъ не имѣли такого положенія въ обществѣ, какъ ученые и земледѣльцы въ Китаѣ. Нигдѣ правители общества не могли избираться по жребію, какъ въ Аѳинахъ. Нигдѣ села и города не имѣли такого самоуправленія, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Но для полнаго демократизма мало не только всего этого въ отдѣльности, а и всего вмѣстѣ, потому что здѣсь нѣтъ еще ни уравнинія знаній, ни уравнинія собственности, ни уравнинія правъ и власти.

Но когда чаяніе это будетъ достигнуто нѣсколькими передовыми организаціями общественными, то въ формации международной представляется возможнымъ лишь одно распространеніе этого апогея культурности на всѣ культуры отсталыя, всѣхъ степеней. Говорить же о самыхъ напластованіяхъ этой формации, какъ бы ни подкупался къ тому умъ всею предыдущею эволюціею, слишкомъ еще преждевременно.

Исторія правительственныхъ организацій также не лишена своего рода правильной послѣдовательности ихъ между собою. Но разница въ томъ, что правительственныя учрежденія не представляются сплошными по каждой формации, какъ общественныя, а напротивъ дwoятся въ каждой изъ нихъ, почему и не могутъ быть столь характеристичными для каждой. Каковъ бы ни былъ слой культуры, а въ немъ непременно отыщется какъ тотъ, такъ и другой правительственный режимъ, какъ иноуправленіе, такъ и самоуправленіе. Прототипы ихъ имѣются еще въ зоологіи, а именно въ видѣ монархическаго роя пчелъ и республиканскаго муравейника; а потому тѣмъ меньше могутъ обойтись безъ этихъ способовъ управленія какія бы то ни было коопераціи людскія. И дѣйствительно, на какой бы ступени патріархальной или государственной ни застали мы человѣчество, на каждой изъ нихъ найдутся опыты и того, и другого рода управленія. Самую первую изъ этихъ ступеней составляютъ: съ одной стороны, полное отсутствіе всякой власти, всякаго правительства, съ другой — самые первые зачатки его. Явленіе перваго рода видимъ у эскимосовъ, огнеземельцевъ, бушменовъ, австралійцевъ. На Маклаевомъ берегу Новой Гвиней, въ каждомъ изъ 70 его поселеній, такъ же нѣтъ никакого подобія постоянной власти; но каждое изъ этихъ поселеній обсуждаетъ и рѣшаетъ дѣла всѣмъ міромъ, а исполненіе рѣ-

шенія поручаетъ каждый разъ кому нибудь такъ же по общему приговору. А потому если здѣсь и бываетъ первый между другими, то безпрестанно мѣняющійся отъ одного предпріятія къ другому. Вотъ, можно сказать, самый безусловный республиканизмъ, какой только знавала когда-либо исторія. Противоположность этому явленію составляетъ какая бы то ни была, но болѣе или менѣе признанная власть. Такою является она, напримѣръ, въ Лоанго и на Бѣломъ Нилѣ. Вождь тутъ уже выбирается; но держится онъ благополучно лишь до тѣхъ поръ, пока все ему удастся: какъ только же долго нѣтъ дождя,—его убиваютъ или, во всякомъ случаѣ, смѣняютъ другимъ. У пуэблосовъ вождь также считается необходимою и всегда выбирается. А что касается условій этого выбора, то они во всѣхъ подобныхъ случаяхъ состоятъ то въ большомъ ростѣ или большой силѣ, то въ ловкости метать копье и уклоняться отъ него, то въ наибольшей свирѣпости и неукротимости нрава. У карайбовъ есть даже нѣчто въ родѣ экзамена на достоинство вождя: испытываютъ, кто можетъ поднять и понести наибольшую тяжесть или кто легче можетъ вытерпѣть наибольшую боль. Впрочемъ, случается, что выборъ вождя падаетъ иногда и на болѣе стараго, т. е. опытнаго человѣка, какъ это бываетъ, напримѣръ, у чукчей. Вотъ все то, что можно назвать самымъ условнымъ изъ всѣхъ будущихъ иноуправленій. Если эта степень правительства соотвѣтствуетъ матриархальной организаціи обществъ, то патриархальной отвѣчаетъ другая такая же противоположность. Въ одномъ родѣ, какъ напримѣръ, въ томъ, гдѣ дѣйствительнаго родоначальника нѣтъ болѣе въ живыхъ, а мѣсто его занято кѣмъ либо другимъ по выбору младшихъ родственниковъ, этотъ искусственный представитель рода имѣетъ, конечно, весьма мало шансовъ на безусловную покорность. Въ другомъ же, гдѣ, напримѣръ, естественный родоначальникъ налицо, онъ, очевидно, весьма мало имѣетъ нужды совѣщаться съ своими сыновьями, внуками, правнуками, и если соображается, то только съ обычаями. Въ первомъ случаѣ возникаетъ больше самоуправленіе, во второмъ иноуправленіе. Подобный же контрастъ получается и на степени фратріархальности, въ племенахъ и народахъ. Въ однихъ племенныхъ общинахъ все дѣлается не иначе, какъ по совѣту старѣйшинъ, хотя признанный вождь и имѣется; въ другихъ же этотъ вождь все меньше и меньше нуждается въ старѣйшинахъ, а обходится и безъ нихъ. Образчикъ

перваго случая представляют ирокезы, оседжи, гуроны. Въ лицѣ своихъ родоначальниковъ, числомъ иногда до 50 человекъ, они передъ всякимъ своимъ предпріятіемъ, непременно собираются на совѣщаніе, и что тамъ постановлено, то объявляется потомъ родамъ къ исполненію. У мандинговъ вождь также не можетъ предпринять ничего, не посоветовавшись съ старѣйшинами. У древнихъ литовцевъ вайделоты избирали своего верховнаго жреца криве-кривейто на всю жизнь; но, тѣмъ не менѣе, всѣ дѣла онъ рѣшалъ не иначе, какъ въ народномъ собраніи. Наоборотъ, примѣръ преобладающаго на этой степени иноуправленія находимъ у каффровъ, гдѣ, хотя и есть родоначальники (индуна), но начальники племенъ (иньози) уже презираютъ обычай и не совѣщаются съ ними. То же самое представляютъ у австралійцевъ ихъ магалаки, у натчезовъ—братья солнца, у зулусовъ—создатели вселенной. Таковъ же происшедшій еще на нашихъ глазахъ, въ XIX столѣтіи, случай подчиненія родоначальниковъ Мадагаскара одному изъ нихъ, Гавъ-Радамъ, который и сдѣлался съ тѣхъ поръ наслѣдственнымъ и неограниченнымъ. Таковы вообще всѣ эти „похитители женщинъ“, „пожиратели мозга“, „отцы рѣзни“ (у фиджійцевъ), „тигры лѣсовъ“, „орлы - притѣснители“, „могучіе змѣи“ (у гватемальскихъ племенъ), „львы и змѣи“ (у апантіевъ) и т. п. Таковы, наконецъ, гораздо больше извѣстные въ исторіи предводители скиновъ, галловъ, гунновъ, монголовъ и др. На порогѣ между патріархатомъ и государствомъ снова та же полярность. Въ Америкѣ, при открытіи монархій, какъ Мексика и Перу, рядомъ съ ними открыты были также и республики, какъ Тласкала, Холула, Гуэтховинго и др. Въ аристократической полосѣ государствъ опять такое же раздвоеніе ихъ: весь древній востокъ исключительно монархиченъ; весь древній западъ почти исключительно республиканскій. Наконецъ, тимократическая формація государствъ представляетъ все ту же правительственную двойственность. Вся европейская тимократія по преимуществу монархична; вся американская—по преимуществу республиканична. Отсюда предположеніе, что подобная же двойственность должна довестись и въ будущее, въ демократическое государство. И такъ, фактъ раздвоенія каждой исторической формаціи и каждаго слоя въ ней не подлежитъ сомнѣнію. Но этого мало. Правильность идетъ дальше, и наблюдается, во первыхъ, въ постепенномъ измѣненіи пропорціональности двухъ этихъ формъ между собою, а во

вторыхъ, въ постепенномъ измѣненіи каждой изъ нихъ и по самому существу. По пропорціямъ, въ самомъ началѣ всей прогрессіи, въ матриархатахъ, преобладаетъ, очевидно, самоуправленіе надъ иноуправленіемъ. Въ патриархатахъ наблюдается равновѣсіе обѣихъ формъ. Въ фратріархатахъ же несомнѣнно начинается осиливать духъ иноуправленія. То же явленіе продолжается еще и при переходѣ изъ первичной формации во вторичную: среди патриархальныхъ государствъ Америки первенствуютъ, очевидно, монархіи, а не республики, и первенствуютъ какъ количественно, такъ и качественно, потому что представляютъ собою самую высшую культуру минуты и мѣстности. Но съ переломомъ прогрессіи изъ патриархальной въ государственную формацию, серія членовъ ея также переламывается. Въ городскомъ, въ аристократическомъ пластѣ государствъ—иноуправленіе неизмѣримо выживаетъ надъ самоуправленіемъ. Китай, Японія, государства Индо-Китаи и Индіи, Египеть, Мероэ, Вавилонія, Ассирія, Мидо-Персія, всѣ государства Сиріи и Малой Азіи, всѣ они, и при томъ съ начала до конца ихъ исторической жизни, т. е. въ теченіи иногда нѣсколькихъ тысячелѣтій, постоянно и неизмѣнно пребываютъ въ формѣ монархіи, не измѣняя ей ни на минуту. Между тѣмъ, другой образъ правленія, республиканскій, хотя и получаетъ современемъ мѣсто, но, во первыхъ, сравнительно тѣсное, а во вторыхъ—еще менѣе долговѣчное и независимое. Извѣстно, что всѣ древнія республики, съ одной стороны, возникли изъ монархій, а съ другой, въ монархіи же и канули, чтобы въ нихъ и умереть. Извѣстно также, что самое долгое изъ этихъ республиканскихъ существованій не могло продержаться болѣе 500 лѣтъ, а весьма многія были и того мимолетнѣе. И такъ, устойчивость древнихъ самоуправленій не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ устойчивостью иноуправленій. Но за то, какъ ни былъ эфемернымъ этотъ опытъ государственнаго самоначалія, но о немъ нельзя уже говорить того, что сказано было о древнемъ демократизмѣ. Республианизмъ древній былъ не условнымъ, не относительнымъ, но онъ останется имъ навсегда и при всевозможныхъ точкахъ зрѣнія. Совсѣмъ другое отношеніе обоихъ образовъ правленія представляетъ формация національная, тимократическая. Тутъ принципъ монархическій и принципъ республиканскій подѣлили между собою весь культурный міръ по-ровну, какъ разъ на половину, такъ что получилась пропорція равенства. Одинъ взялъ себѣ почти всю Европу,

другой—почти всю Америку. При томъ и самая степень устойчивости обѣихъ формъ имѣетъ всѣ шансы сравняться. Если жизнь великихъ современныхъ республикъ не дастъ еще намъ возможности заключать о ихъ продолжительности а *posteriori*; то достаточный залогъ для того подаетъ собою республика швейцарская. Будучи меньше многихъ изъ нихъ, она стоитъ уже, однакожъ, больше, чѣмъ сколько выстояла римская, и съ тою разницею, что въ концѣ такого періода она не только не носитъ въ себѣ признаковъ близкаго паденія, но находится еще въ полномъ цвѣтѣ силъ. А если такъ, то такой республикѣ, какъ сѣверо-американская, обѣщается этимъ жизнь, быть можетъ, не меньшая любой монархической. Наконецъ, самый обмѣнъ между обѣими формами правительствъ сталъ теперь возможнымъ, чѣмъ нѣкогда. Всѣ восточныя деспотіи древности никогда не дозрѣвали до республиканизма, ни на одну минуту; такъ что и всѣ уцѣлѣвшія изъ нихъ до нынѣ остаются при своей вѣковой монархической метаморфозѣ. Между тѣмъ, изъ новыхъ монархій не одна уже и не разъ пробовала перестроиваться въ республику: Англія при Кромвелѣ, Франція—нѣсколько разъ, Испанія—въ 1873 году, а многія другія имѣютъ въ себѣ значительныя республиканскія партіи. Вообще же, между восточной деспотіей и афинской республикой лежитъ цѣлая бездна; тогда какъ между организаціями Англіи и Соединенныхъ Штатовъ разстояніе весьма не далеко. Продолжая же такой ходъ въ будущихъ государствахъ, разсматриваемая пропорція должна окончательно склониться въ пользу самоуправленій и на счетъ иноуправленій. А съ другой стороны—обѣ эти формы должны на столько сблизиться между собою, что разница сдѣлается почти нечувствительною. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ монархія, въ теченіе всей своей исторіи, все больше и больше республиканизируется, а республика—монархизируется, стремясь какъ бы къ одной и той же совершеннѣйшей формѣ правленія. И такъ, въ концѣ концовъ движеніе патріархальное и движеніе государственное и на этотъ разъ оказываются такъ же обратными, какъ оказывались въ отношеніи организаціи общественной. Таковую же обратность приходится подозрѣвать и въ измѣненіяхъ правительственной организаціи по существу. Тотъ первый, тотъ матриархальный монархизмъ, какой открываетъ собою всю исторію всѣхъ иноуправленій, былъ, какъ мы видѣли, монархизмъ выборный, монархизмъ срочный, монархизмъ отвѣтственный, словомъ такой, что его

нельзя иначе квалифицировать, какъ *диктатурный*. Тотъ другой, родоначалнический, патриархальный, который естественно руководится обычаемъ, нельзя иначе назвать на теперешнемъ языкѣ, какъ *конституціоннымъ*, тѣмъ болѣе что обычай также хорошо ограничивается, какъ и законъ. Наконецъ фратріархальный, княжескій монархизмъ становится выше закона, и потому естественно восходить на степень *деспотическаго*. Но та же самая серія развитія примѣняется и къ государственному монархизму, съ тою только разницею,

здѣсь она начинается съ конца. Монархизмъ восточнаго государства есть собственно такъ называемая *деспотія*; но только это деспотія уже искусственная, а не естественная, какъ прежде. Монархизмъ государства нынѣшняго есть въ тѣсномъ смыслѣ слова *конституція*, но конституція опять искусственная, а не такая примитивная, какъ въ патриархатахъ. Единственный же монархизмъ, какой остается, при этихъ условіяхъ, будущему, есть только *диктатура*, но, само собою разумѣется, предполагающая наивысшую степень правительственного искусства, какъ естественная предполагала наинизшую. Такимъ образомъ сначала, въ стадіяхъ патриархальныхъ, монархизмъ то и дѣло прибываетъ; а потомъ, въ государственныхъ наслоеніяхъ, онъ то и дѣло убываетъ. Исторія республиканскаго принципа совершенно противоположна. Этотъ, въ теченіе всѣхъ патриархальныхъ періодовъ, только убываетъ, а прибываетъ, напротивъ, въ теченіе всѣхъ государственныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли вообразить большую степень самоуправленія, какъ на Махлаевомъ берегу Новой Гвиней у папуасовъ! Это есть самоуправленіе, такъ сказать, безусловное, поголовное, или, говоря нынѣшними терминами, *мірское*. Родовое самоуправленіе, уже по самымъ свойствамъ рода, никакъ не можетъ быть поголовнымъ и, въ самомъ лучшемъ случаѣ, есть только самоуправленіе *младшихъ* родственниковъ. Самоуправленіе же племенное еще больше стѣсняется и, какъ изъ предыдущаго видно, ограничивается совѣтами однихъ *старѣйшинъ*. Въ народныхъ организаціяхъ сохраняются иногда слѣды всей этой пройденной лѣстницы, но не всѣ въ одинаковой силѣ. Такъ, напримеръ, въ приведенной выше еврейской организаціи слѣдъ мірской республики остался въ томъ, что называлось все общество, но что имѣло самое ничтожное значеніе, выражая себя только шумомъ, да и для того призываемое слишкомъ рѣдко. Чаше созывается и нѣсколько больше имѣетъ значенія отголосокъ младшихъ родствен-

никовъ, совѣтъ 70-ти. Всего же постоянно дѣйствуетъ и пользуется наибольшимъ вліяніемъ только совѣтъ 12 старѣйшинъ, т. е. самыхъ старшихъ родственниковъ или представителей волѣнъ. Другими словами, самоуправленіе, въ теченіи всѣхъ перипетій патріархальной эволюціи, постоянно все больше и больше сосредоточивается, такъ что почти сближается съ иноуправленіемъ; а съ другой стороны оно все больше и больше подымается съ низу въ верхъ, все больше и больше оставляя управляемыхъ внѣ управленія, и тѣмъ снова приближаясь къ иноуправленію. Государственная эволюція повторяетъ ту же самую лѣстницу, но проходя ее на выворотъ, и каждой естественной ступени противопоставляя свою искусственную. Изъ тѣхъ трехъ объемовъ самоуправленій, какіе только что очерчены, въ первичныхъ государствахъ дѣйствуетъ главнымъ образомъ послѣдній, т. е. самый тѣсный. Въ самомъ дѣлѣ, въ каждой республикѣ древней есть и совѣтъ старѣйшинъ (герусія, буле, ареопагъ, совѣтъ 100, сенатъ), есть и совѣтъ младшихъ родственниковъ (эклесія, народное собраніе, комиціи), есть, наконецъ, и все общество (Лаконія, Атика, Ливія, Італія). Но дѣло въ томъ, что все общество здѣсь окончательно безмолвствуетъ. Народныя собранія говорятъ; но лишь тогда, когда ихъ спрашиваютъ. Вся же инициатива и все направленіе дѣлъ зависитъ исключительно отъ совѣтовъ *старѣйшинъ*, точно также, какъ и въ періодѣ фратріархальномъ. Въ свою очередь, вторичное государство повторяетъ характеръ самоуправленія *младшихъ* родственниковъ. Здѣсь опять имѣются отпечатки всѣхъ трехъ возможныхъ объемовъ самоуправленія. Отпечатокъ одного составляютъ верхнія палаты; другого—палаты нижнія; третьяго—сами избиратели. Избиратели призываются къ выраженію себя, хотя и молчаливому, рѣже всего. Верхнія палаты дѣйствуютъ лишь до тѣхъ поръ, пока самоуправленія имѣютъ больше аристократическій, чѣмъ тимократическій характеръ. Съ наступленіемъ же этого послѣдняго—центръ тяжести всякаго самоуправления непременно переселяется въ нижнія палаты, чѣмъ вторичное государство существенно и отличается отъ первичнаго. Тамъ средоточіемъ всѣхъ самоуправленій были постоянно верхнія учрежденія самоуправления; здѣсь такимъ средоточіемъ становятся нижнія. При такомъ ходѣ вещей, есть ли какая-либо возможность отрицать, что еще одинъ шагъ государства долженъ повторить собою еще одинъ шагъ патріархатовъ, а именно тотъ,

гдѣ центръ тяжести самоуправленія предоставляется самимъ избирателямъ, самому *міру*, самимъ городскимъ и сельскимъ общинамъ! Если же трудно это отрицать, то государственная эволюція самоуправленія дѣйствительно, значить, повторяетъ собою эволюцію патріархальную, но лишь въ противоположномъ порядкѣ, и что тамъ было естественнымъ, безхитростнымъ, здѣсь становится осложненнымъ, искусственнымъ.

Нельзя окончить съ организаціею правительствъ, не сказавши нѣсколько словъ о духовной и свѣтской власти этихъ правительствъ. Какъ правительство дѣлится на монархическое и республиканское, такъ, въ свою очередь, республика и монархія бываютъ то духовными, то свѣтскими. Двойственность эта простирается опять сплошь по всѣмъ формаціямъ, и опять такъ же въ каждой изъ нихъ принимаетъ новый видъ, оставаясь въ сущности одною и тою же. Самымъ раннимъ изъ патріархальныхъ подраздѣленій такого рода есть различіе между *богатырями*, силачами, великанами, съ одной стороны, и *колдунами*, знахарями, вудесниками, вѣдунами, заклинателями, съ другой. То и другое иногда совмѣщается, какъ мы видѣли на вождяхъ Лоанго; но противоположность того и другого все-таки остается. Одни составляютъ собою власть естественную, другіе—сверхъестественную; одни—силу физическую и матеріальную, другіе—умственную и нравственную. И эта антиномія, столь присущая человѣческой природѣ, тянется съ тѣхъ поръ, да и не можетъ не тянуться, по всей исторіи. Мѣняется понятіе, мѣняется по эпохамъ консистенція духовной и свѣтской организаціи, но самая наличность и противоположность ихъ не теряется. Слѣдующимъ, напримѣръ, патріархальнымъ приращеніемъ въ ней бываетъ различіе между *новѣйшими*, по большей части, военными должностными лицами и *древнѣйшими*, по большей части, мирными. Последніе приобрѣтаютъ, въ сравненіи съ первыми, характеръ священ-ныхъ и неприкосновенныхъ. Такъ это есть на Каролинскихъ островахъ, въ Дарфурѣ, Бамбаррѣ, Понгосѣ; также точно было въ Японіи съ тайкуномъ и микадо, въ Багдадѣ—съ калифомъ и эмиръ-аль-омрагомъ, у франковъ—съ королемъ и палатнымъ мѣромъ. Еще же дальше, подъ самый конецъ патріархальнаго общежитія, обрисовывается обыкновенно противоположность бренновъ и друидовъ или, что тоже, *воиновъ* и *жрецовъ*. Въ государствѣ, а именно городскомъ, аристократическомъ, самая аристократія его распадается на *духовную* и *свѣтскую*,

откуда пошло и самое наименованіе этихъ двухъ властей. Такое же расчлененіе повторяется и во вторичной государственной формациі. Но такъ какъ она есть національная, тимократическая формациа, то явленіе это относится здѣсь также и къ тимократіи, гдѣ и проявляется распаденіемъ оной на *интеллигенцію* и *буржуазію*. Въ расовомъ, демократическомъ государствѣ такое раздвоеніе исчезнуть не можетъ; но какъ оно будетъ осуществлено тамъ,—вопросъ не легкій. Предположивъ, что абсолютная демократія имѣетъ быть сплошною интеллигенціею, надо думать, что единственную духовную властью возможны тамъ *теоретики*, единственною свѣтскою—*практики*. Международное же состояніе обѣихъ противоположностей, или же, напротивъ, быть можетъ, сліяніе и примиреніе ихъ, перестаетъ быть доступнымъ всякому умозрѣнію.

ПОЛИТИКА.

Патріархальная: территоріальная и корпоральная.—Государственная: экономическая и политическая.—Международная: мирная и военная.

Теперь предстоитъ показать, выдерживаетъ ли нашу гипотезу исторія самой жизни и дѣятельности предпосланныхъ выше организацій. Организациа предрѣшаетъ собою жизнь и дѣятельность. А потому если первая наблюдена правильно, то вторая непременно должна совпасть съ нею. Отъ степени этого совпаденія или несовпаденія выигрываетъ или теряетъ и вся гипотеза.

Но, приступая къ исторіи политики, мы будемъ разумѣть подъ этою послѣднею не только политику сознательную, т. е. не только правительственную, но также и общественную: будемъ разумѣть всѣ вообще функціи организацій, всю вообще жизнедѣятельность ихъ.

На этотъ разъ политикѣ патріархальной посчастливилось если не у историковъ, то у археологовъ, такъ что фазисы ея давно намѣчены. Что же касается государственной политики, то о ней Контъ обронилъ нѣсколько свѣтлыхъ словъ, которыя совершенно достаточны для руководства въ дальнѣйшихъ обобщеніяхъ.

Политика патріархальныхъ организацій давно приведена въ систему и значится во всѣхъ учебникахъ исторіи и, притомъ, съ двухъ существенно важныхъ точекъ зрѣнія: вещественной и личной, территоріальной и корпоральной. Такъ—въ первомъ отношеніи общепризнано, что самую древнюю изъ патріархальныхъ политикъ, по-

литичею той эпохи, которая названа у насъ агамическою или матриархальною, есть исключительно и безусловно *охота*, т. е. звѣроловство, птицеловство и рыболовство. Преданіе о Нимвродѣ, какъ великомъ ловцѣ предъ Господомъ, есть достаточная иллюстрація къ этому общепринятому обобщенію, которое подтверждается, впрочемъ, и всѣми, безъ исключенія, путешественниками. Меланезійцы, тасманійцы, австралійцы, все это охотники. Охота же ведетъ, съ одной стороны, по выраженію Конта, къ расчищенію будущей сцены исторіи, а съ другой—къ одомашненію животныхъ, первымъ изъ которыхъ есть чуть ли не собака, какъ охотничье животное. Сверхъ того, археологія успѣла добавить характеристику этой политики и еще одною чертою, а именно съ точки зрѣнія орудій производства этихъ эпохъ. Въ этомъ смыслѣ древнѣйшая изъ человѣческихъ политикъ характеризуется, какъ *вѣкъ каменный* и *костяной*, т. е. гдѣ всѣ орудія труда изготовляются изъ камня и изъ кости. Оба эти признака рѣшительно повсемѣстны, какъ на материкахъ, такъ и на островахъ, и если встрѣчаются какія либо изъятія, то они всегда объяснимы какими нибудь частными причинами, нисколько не опровергающими всеобщихъ. Всѣ дикари Америки, при открытіи ея, найдены въ каменномъ вѣкѣ. Океанія, при открытіи ея, также находилась въ немъ исключительно. Г. Милухо-Маклай засталъ своихъ папуасовъ въ этомъ вѣкѣ даже въ наши времена. Весь Китай, вся Индія, Египетъ, Палестина, Малая Азія, всѣ они доставляютъ свои доказательства тому, что повсюду въ этихъ мѣстахъ позднѣйшимъ ихъ культурамъ предшествовала культура каменная и костяная. Другой, слѣдующій непосредственно за этимъ, фазисъ характеризуется, во-первыхъ, какъ *скотоводческій*, пастушескій, во вторыхъ, какъ *бронзовый*. Скотоводческій знаменуется накопленіемъ стадъ у дикарей и исканіемъ для нихъ пастбищъ, чѣмъ гораздо лучше обеспечивается пропитаніе, нежели охотою. Бронзовый замѣняетъ камень и кость бронзою, гораздо лучше служащую своей цѣли, чѣмъ тѣ. На сколько совпаденіе этихъ двухъ признаковъ неизмѣнно, труднѣе сказать, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ. Но, по крайней мѣрѣ, неизмѣнна послѣдовательность каждаго изъ нихъ за каждымъ изъ соотвѣтствующихъ имъ предыдущихъ: скотоводство всегда слѣдуетъ за охотою, а не наоборотъ; бронзовый вѣкъ всегда за каменнымъ и костянымъ, а не обратно. Библія хоть и знаетъ о желѣзѣ, но цѣни Самсона были еще мѣдныя. Илліада Гомера есть эпопея

бронзового вѣка. Мексика и Перу найдены при открытіи также въ вѣкѣ бронзы. Тамъ умѣли добывать и золото, и серебро, и свинецъ, и олово, но все-таки не умѣли дѣлать желѣза, хотя и очень изобильнаго въ странѣ. До-римская Галлія также вся бронзовая. Впрочемъ, этотъ фазисъ политики гораздо болѣе свойственъ материкамъ, чѣмъ островамъ, гдѣ нѣтъ для него достаточнаго простора. Нѣкоторые писатели полагаютъ даже, что эту политику можно перепрыгивать, можно обходить вовсе, переходя прямо отъ охотничьей и каменной въ земледѣльческую и желѣзную. Основаніемъ для этого служить примѣръ африканскаго материка, гдѣ, за исключеніемъ пастуховъ-готтентотовъ, номадовъ-арабовъ и туареговъ Сахары, всѣ уже племена суть земледѣльческія и гдѣ не отыскивается никакихъ слѣдовъ бронзового вѣка, такъ что Африка испоконъ вѣковъ помнится въ желѣзномъ вѣкѣ. Но такое перепрыгиваніе трудно допустить уже потому, что земледѣліе безъ скота не совсѣмъ возможно. А чтобъ явилось это условіе, нельзя обойтись безъ скотоводческой культуры. Поэтому весьма можетъ случиться, что періодъ этотъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ проходитъ незамѣтнымъ, не приобрѣтаетъ такого важнаго значенія, какъ въ другихъ мѣстахъ; но едва ли надо думать, что онъ вовсе исчезаетъ иногда изъ серіи развитія. Тѣмъ не менѣе совершенно справедливо, что просторъ для него открываютъ только большія плоскости, только великія равнины. Въ особенности же обширная Азія, благодаря этимъ условіямъ своимъ, всегда была, какъ остается и до сихъ поръ, настоящей житницей для пастушескихъ народовъ. Послѣднею метаморфозою патріархальной политики есть, какъ извѣстно, съ одной стороны, *земледѣліе*, съ другой—*желѣзный вѣкъ*. Эту политику на столько же трудно отдѣлить отъ перваго фазиса государственной, на сколько въ организаціяхъ трудно отдѣлять народъ отъ первичнаго государства. Азія, за исключеніемъ эскимосовъ, почти вся въ желѣзномъ вѣкѣ, какъ и Африка.

Корпоральная политика патріархатовъ обозначаетъ себя также тремя ступенями, болѣе или менѣе плотно совпадающими съ такими же градаціями предыдущей политики. Первою изъ этихъ ступеней есть дикій, *бродячій* бытъ. Бродячій тѣмъ отличается отъ кочеваго, что онъ никогда не возвращается назадъ, на прежнее пепелище, развѣ случайно, а тянется, куда глаза глядятъ и гдѣ представляется возможность поживы. Эта политика совпадаетъ съ охотни-

ческою. Дикарь и охотникъ суть понятія тождественныя. Бродяжество и каменный вѣкъ почти синонимы. Вторая ступень есть *кочевая* политика. Кочевой бытъ тѣмъ отличается отъ бродячаго, что тамъ броженіе беспорядочно, здѣсь же оно упорядочивается, становится регулярнѣе. Такъ, напримѣръ, кочевые народцы нынѣшней Монголіи правильно мѣняютъ мѣста своего пребыванія по временамъ года. У нихъ есть такъ называемыя ими зимовки и есть лѣтówki, при чемъ и самыя мѣстности тѣхъ и другихъ бываютъ или тѣ же самыя или, по крайней мѣрѣ, тѣхъ же самыхъ свойствъ. Эта ступень плотно совпадаетъ съ пастушескою политикою, и обѣ онѣ другъ друга взаимно питаютъ. Раздольемъ кочевой политики была та же самая историческая сцена, что и для пастушеской: равнины средней Азіи. Онѣ были всегда настоящимъ горниломъ кочевья, изрыгавшимъ отсюда цѣлыя потоки номадовъ на Европу. Отъ него-то осѣдлые защищались по-очередно то китайскою стѣною, то траяновымъ валомъ (въ Дакии), то сассанидовыми стѣнами (въ Гирканіи). Политика эта не разъ получала въ исторіи всемірное значеніе, и передѣлывала судьбы не только патріархатовъ, но самыхъ государствъ. Этимъ кочевникамъ и скотоводамъ обязаны своимъ заселеніемъ и своею культурою чуть ли не всѣ государства, какъ древнія такъ и новыя. Но тѣмъ же азіатскимъ номадамъ, въ видѣ гиксовъ, галловъ, скивовъ, гунновъ, монголовъ, какъ древность, такъ и новое время одолжены и самыми печальными изъ своихъ разрушеній. Причина же какъ того, такъ и другого явленія лежитъ исключительно въ необходимостяхъ политики скотоводства, пастушества. Недостатокъ пастбищъ, споры за пастбища, исканіе новыхъ пастбищъ,—вотъ единственные мотивы, которые движутъ подобными населеніями, и часто гонять ихъ отъ одного конца полушарія до другого. Такъ саки, накинувшіеся на Согдіану и овладѣвшіе тамъ грекобактрійскимъ царствомъ, были вынуждены къ тому напоромъ на нихъ другихъ кочевниковъ, гетовъ. На этихъ, въ свою очередь, насаждали и угонали ихъ съ мѣстъ усуні. Сами же усуні потѣснены были гуннами. А нѣсколько позднѣе и сами гунны, разбитые у границъ Китая манджурами, въ свою очередь, метнулись на западъ, и тѣмъ погнали передъ собою угровъ, и, пробѣжавъ всю Азію, нагнали ихъ на аланъ въ Европѣ. Аланы, кинувшись впередъ, исполосили всю Европу, достигли до геркулесовыхъ столбовъ, и перешагнули въ самую Африку. Между тѣмъ, преслѣдую-

щіе ихъ гунны топчуть сперва славянъ, потомъ германцевъ и, наконецъ, сами разбиваются о римлянъ. Такимъ образомъ, кочевниковъ міръ знаетъ и помнитъ гораздо лучше, чѣмъ охотниковъ. Что же касается продолжительности этой политики, то она уступаетъ послѣдующей крайне туго, какъ видно это изъ того, что средняя Азія остается и до сихъ поръ при той же политикѣ, съ какой знали ее и средніе вѣка, и вся древность. Но когда уступаетъ она, наконецъ, то, вмѣсто нея, устанавливается *осѣдность*. Осѣдность параллельна съ земледѣіемъ и съ желѣзнымъ вѣкомъ, потому что они другъ друга обусловливаютъ съ необходимостью. Но когда осѣдность наступила, патріархальность близится къ концу, а государственность къ началу.

Всѣ эти три фазиса каждой изъ двухъ политикъ совпадаютъ съ тремя фазисами организацій; но, какъ ни часто мы уже напоминали о свойствахъ органичности, а приходится повторить о нихъ и по этому поводу. Есть случаи, гдѣ организація остается еще на степени агамичности, а между тѣмъ, рядомъ съ этимъ, видимъ уже обработку земли, осѣдность, какъ на примѣръ у каффровъ. Есть случаи, гдѣ организація уже очевидно родовая; а между тѣмъ, она живетъ еще охотою, а не скотоводствомъ, какъ у краснокожихъ индѣйцевъ. Есть случаи, гдѣ организація достигла до степени племенной и даже народной, и гдѣ она сдружилась уже съ земледѣіемъ, но гдѣ нѣтъ еще или гдѣ, по крайней мѣрѣ, не упрочилась еще осѣдность, и продолжается кочевье. Такъ цезаревскіе германцы уже ежегодно получаютъ земли въ надѣлъ отъ своихъ вождей; и такъ, казалось бы, необходима тутъ и осѣдность, безъ которой воздѣлываніе земли немыслимо. Но ничуть не бывало: тотъ же Цезарь прибавляетъ, что земли эти не имѣютъ ни границъ, ни хозяевъ, потому что самыя мѣста поселенія ежегодно мѣняются. И такъ, это быть еще кочевой, а не осѣдлой. Но всѣ эти комбинаціи противоположныхъ принциповъ, въ особенности же при кризисахъ отъ одного къ другому, суть неизбѣжное свойство всякой органичности, и нисколько не отрицаютъ ни противоположности, ни преемственности самыхъ принциповъ. Если бы мы стали искать въ исторіи болѣе точныхъ разграниченій, гдѣ по одну сторону линіи нѣтъ уже ничего такого, что есть по другую, то мы бы никогда ничего подобнаго не нашли, и должны бы были отказаться отъ всякихъ претензій на научность въ исторіи. То же надо сказать и

о тѣхъ, еще болѣе рѣзкихъ амальгамахъ, гдѣ встрѣчаются между собою не сосѣдніе, а самыя крайніе режимы, какъ въ настоящемъ примѣрѣ дикій бытъ и земледѣліе. Всѣ такіе случаи спорадичны въ дикой жизни, и никогда въ ней не выживають на столько, чтобы стать характеристичными для всей этой жизни вообще. Всѣ они бывають послѣдствіемъ какой-нибудь мѣстной и временной причины; всеобщія же и вѣчныя условія дикой жизни нисколько чрезъ то не теряють характера ни своей всеобщности, ни своей вѣчности. Съ другой стороны могутъ, и даже должны болѣе или менѣе, совмѣщаться между собою и всѣ политики: охотничья, пастушеская, земледѣльческая, какъ это и случилось у древнихъ германцевъ. Но, въ такомъ случаѣ, одна изъ этихъ политикъ, охотничья, будетъ отживающею, будетъ скорѣе забавою, чѣмъ средствомъ пропитанія; другая, пастушеская, будетъ выживающею, а третья, земледѣльческая, только приживающею. Все это необходимо будетъ имѣть въ виду и при нижеслѣдующихъ оцѣнкахъ политики государственной. Все человѣческое найдется и тамъ на всякомъ мѣстѣ и во всякое время; но не все въ одно и то же время выживаетъ на одномъ и томъ же мѣстѣ: такое универсальное и равномѣрное развитіе не имѣетъ, напротивъ, даже примѣра себѣ. Свойства эти крайне затрудняютъ, конечно, всякое такое взвѣшиваніе развитій по временамъ и мѣстамъ, и легко увлекають къ ошибкамъ; но все-таки они не дѣлають это взвѣшиваніе, эту оцѣнку пропорцій неуволнимыми и невозможными.

Государственная политика вообще довольно рѣзко, однакожъ, отграничивается отъ вообще патріархальной. Та можетъ быть и бродячею, и кочевою, и осѣдлою; эта всегда и исключительно осѣдлая. Та бываетъ то охотничьею, то пастушескою, то земледѣльческою; эта всегда и вездѣ только земледѣльческая. Та возможна и при каменномъ вѣкѣ, и при бронзовомъ, и при желѣзномъ; эта безусловно только при желѣзномъ. Ни одно государство никогда еще не сдвигалось съ мѣста своего поселенія вслѣдъ своимъ тѣломъ. Каждое изъ нихъ до такой степени сростается съ своей территоріей, что обѣ эти стороны становятся неразлучны. Патріархальный народъ, даже послѣ долговременной своей осѣдлости, все-таки способенъ сняться съ мѣста весь, и снова начать искать себѣ мѣста; государство же всегда уже нашло его и всегда окончательно. Послѣ такого раз-

граниченія двухъ политикъ, мы станемъ слѣдить государственную съ двухъ точекъ зрѣнія: сперва—съ экономической, потомъ—съ политической.

Хотя вся экономическая культура исключена изъ этой книги, хотя мы не трогаемъ организацій экономическихъ, какъ не тронемъ и экономического права; но обойти всякій намекъ на экономическую политику значило бы исключить изъ нашей исторіи даже такіе предметы ея, какъ охота, скотоводство, земледѣліе, или какъ вѣкъ каменный, бронзовый, желѣзный. Поэтому мы дѣлаемъ и дальнѣйшую такую же уступку изъ своей программы. Послѣдовательность же экономической политики нельзя отыскивать ни въ чемъ болѣе, какъ въ преемственномъ развитіи и покровительствѣ той или иной промышленной дѣятельности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и того или иного промышленнаго класса обществъ и, наконецъ, тѣхъ или иныхъ богатствъ, продуктовъ производства. Съ этой точки зрѣнія всю политику муниципальных аристократическихъ государствъ невозможно начинать нигдѣ болѣе, какъ тамъ, гдѣ оканчивается патріархальная, и поэтому невозможно ее характеризовать иначе, какъ земледѣльческою, хотя въ этихъ государствахъ была уже, конечно, и мануфактура, и торговля, и вся вообще экономическая жизнь, неизбѣжная вездѣ и всегда во всей своей цѣлости. Тѣмъ не менѣе, если сравнить, какой изъ составныхъ элементовъ этого цѣлаго слабѣе и какой сильнѣе, то едва ли можно усомниться, что въ древнемъ государствѣ всего сильнѣе та промышленность, которая непосредственно унаслѣдована имъ отъ патріархальности, т. е. земледѣліе. Само собою разумѣется, что здѣшнее земледѣліе далеко уже не то, что патріархальное. Тамъ подъ земледѣліемъ надо было разумѣть одно добываніе хлѣбныхъ зеренъ; здѣсь же не только земледѣліе въ тѣсномъ смыслѣ, но также и винодѣліе, и шелководство, и луговоеводство, и садоводство, и горновдѣліе, и т. п. Въ этомъ широкомъ смыслѣ добывающая промышленность была дѣйствительнымъ предметомъ поклоненія древняго общества. Богдыханъ китайскій въ извѣстный день всякаго года самъ выходилъ на поле, и рукой своей касался земледѣльческаго плуга, чтобы этимъ подать примѣръ своимъ подданнымъ. У египтянъ Нилъ, орошавшій поля ихъ и созидавшій ихъ жатву, возведенъ въ божество. По понятію зенда-весты, самымъ лучшимъ способомъ для борьбы со тьмою и самымъ благочестивымъ служеніемъ Ормузду есть воз-

дѣлываніе земли. Въ числѣ трехъ опоръ маздеизма, рядомъ съ жрецомъ и воиномъ, всегда поставляется и земледѣлецъ. Это, говоритъ Ормуздъ, святой человѣкъ: блаженъ, кто построилъ себѣ на землѣ жилище, въ которомъ держитъ огонь, жену, дѣтей и стада, кто заставляеть землю приносить плодъ, кто воздѣлываетъ произведенія полей,—онъ воздѣлываетъ чистоту, и такъ исполняетъ законъ, какъ еслибы онъ принесъ сто жертвъ. Цари персидскіе въ каждый восьмой день мѣсяца отказывались отъ всей своей пышности для того, чтобы вкусить хлѣбъ съ земледѣльцами. Моисей старается внушить евреямъ уваженіе какъ къ земледѣлію, такъ и къ осѣдлой жизни, почему и строго преслѣдуетъ несоблюденіе субботы, какъ возвращеніе къ осужденному вочевью. Въѣстъ съ этимъ, общественное положеніе земледѣльцевъ ставится повсюду на востокѣ несравненно выше положенія торговцевъ и ремесленниковъ: каста первыхъ вездѣ выше вторыхъ. А въ заключеніе всего этого и самые успѣхи земледѣлія на востокѣ были дѣйствительно необыкновенны для того времени. Вавилоняны и ассиріяны, дальше которыхъ не ушелъ на этомъ пути ни одинъ народъ древности, едва ли опередили даже современные народы, принужденные во многомъ вторично открывать то, что было извѣстно въ Халдеѣ, какъ, на примѣръ, въ дѣлѣ удобренія и орошенія полей. Эта послѣдняя система была распространена у Халдеевъ, вслѣдствіе полного отсутствія дождей въ этихъ широтахъ, на всю безъ исключенія территорію, такъ что урожай въ Халдеѣ переставалъ быть дѣломъ случая. Относительно-тимократическій отбѣнокъ древнихъ обществъ не измѣняетъ въ этомъ отношеніи положенія дѣла. Какъ ни были неблагоприятны условія финикіянъ для того, чтобы тягаться въ этой культурѣ съ другими народами, но и здѣсь не оставалось ни одного клочка земли, способнаго къ воздѣлыванію, который не былъ бы культивированъ превосходно. Ливанское вино, на примѣръ, сохраняетъ славу свою и до нашихъ дней. Аристократіи же, достигшія самоуправленія, также не отставали въ этомъ отношеніи ни отъ одной изъ предыдущихъ. Кароагенты, на примѣръ, не уступали въ земледѣліи никому. У кароагента страсть къ земледѣлію была ничуть не меньше, чѣмъ къ торговлѣ. Самые богатые люди съ удовольствіемъ отдавались этому занятію въ своихъ имѣніяхъ, и даже возводили его, по мѣрѣ силъ, въ теорію, если не въ науку. Кароагентскіе виноградники, маслинныя плантаціи, фруктовыя деревья были

доведены до совершенства. Луга и стада, система орошенія, каналы были также обширны. Литература карфагенская слишкомъ не богата, а между тѣмъ въ ней нашлось мѣсто, и при томъ самое почетное, для литературы агрономической. Нужно было высокое значеніе этого производства, если Магонъ имѣлъ охоту и былъ въ состояніи написать образцовый агрономическій трактатъ, высоко цѣнившійся всею древностью и переведенный на греческій и на латинскій языкъ. У грековъ полевой трудъ пользовался почетомъ, между прочимъ, и потому, что онъ есть отличное, по ихъ взгляду, упражненіе тѣла и укрѣпленіе здоровья. Лучшие писатели ихъ также не брезгали этимъ предметомъ, какъ, напримѣръ, Ксенофонтъ, написавшій свою экономику. Кромѣ того, есть цѣлая литература предмета въ сочиненіяхъ Амфилоха, Аристандра, Херея, Эвфранія и др. По мнѣнію же Аристотеля, наилучшій народъ есть прямо тотъ, который отдается земледѣлію. Еще извѣстнѣе римское пристрастіе къ сельскимъ занятіямъ, гдѣ сами диктаторы отъ побѣды возвращались прямо къ плугу, водимому собственноручно. И этотъ взглядъ, начавшійся у временъ Цинцината, продолжается въ эпоху Катона, и не упадаетъ при самомъ Цицеронѣ. Земледѣліе, говоритъ Катонъ, производитъ сильныхъ людей и мужественныхъ солдатъ; оно даетъ прибыль и прочную, и честную. Цицеронъ признаетъ непосредственное обработываніе полей такимъ трудомъ, который вполне достоинъ свободнаго человѣка. Конечно, съ умноженіемъ рабовъ прекратилась надобность въ примѣненіи рукъ гражданина къ этому труду, и владѣльцы латифундій лично не занимались даже и управленіемъ своихъ имѣній; но дѣло въ томъ, что, даже и при этихъ условіяхъ, при всемъ соблазнѣ къ физической лѣни, сельскія занятія въ своей собственной виллѣ все еще оставались и пріятнымъ для римлянина, и вполне приличнымъ для всякаго гражданина развлеченіемъ, такъ что его могла съ энтузіазмомъ воспѣвать сама поэзія, въ лицѣ Горация. Наконецъ, самый именитый поэтъ Рима и самую лучшую поему свою, Георгіки, могъ посвятить обыкновеннымъ сельскимъ работамъ, воспѣвая въ нихъ жатву, деревья, стада, пчелъ. Все это для нашего современнаго вкуса къ земледѣлію было бы уже анахронизмомъ. Но, можетъ быть, древніе смотрѣли въ другихъ случаяхъ съ такимъ же почтеніемъ и на другія экономическія занятія? А потому, чтобы лучше отгнать предметъ, необходимо воснудиться ихъ воззрѣніи и на торговлю,

и на промыслы. Греки въ занятіяхъ ремесломъ видѣли прямое униженіе для гражданина. Въ Спартѣ формально запрещено гражданамъ заниматься какимъ нибудь ремесломъ; въ Афинахъ никто не могъ быть допущенъ къ государственной должности, если въ послѣднія десять лѣтъ былъ хоть однажды ремесленникомъ. Самое занятіе художествомъ, какъ только цѣлью его было приобрѣтеніе средствъ жизни, не было изъято изъ этого отлученія. Владѣть ремесленнымъ заведеніемъ еще не было въ Афинахъ постыдно; но совершенно постыднымъ было прилагать руки свои къ ремеслу. Ремесленниками были постоянно или рабы, или же изъ свободныхъ одни метойки, иностранцы, положеніе которыхъ было таково, какъ положеніе евреевъ въ средніе вѣка, и таково, что Солонъ долженъ былъ издать законъ для защиты ихъ отъ оскорбленій. Въ сферѣ торговли только крупная не вполне считалась постыдною для свободныхъ людей, такъ что и самъ Солонъ поправлялъ свое состояніе торговлею масла въ Египтѣ, хотя и въ качествѣ печальной необходимости; мелкая же положительно фигурировала въ ряду неприличныхъ ремеслъ. Тотъ же Ксенофонъ, который написалъ экономіку, говорить въ ней, что искусства механическія обезславлены, что государства справедливо презираютъ ихъ, и что во многихъ городахъ формально запрещается гражданамъ отдаваться какому-нибудь ремеслу. У Аристотеля презрѣніе къ ремесленному труду такъ велико, что, раздѣляя людей на рожденныхъ повелѣвать и рожденныхъ повиноваться, т. е. свободныхъ и рабовъ, онъ къ числу послѣднихъ прямо относитъ и всѣхъ ремесленниковъ, какъ будто *eo ipso* естественныхъ рабовъ. Другой политикъ, Фанеасъ халкидскій, предлагалъ ограничить отправленіе ремеслъ исключительно рабами, что и приведено въ исполненіе въ Эпидамнѣ. И только во время такъ называемой демократизаціи Афинъ, гражданинъ-ремесленникъ получилъ доступъ къ государственнымъ должностямъ, если не *de facto*, то, по крайней мѣрѣ, *de jure*. У римлянъ Катонъ въ своемъ *De re rustica* говорить, что торговля была бы хороша для обогащенія, если бы она не была такъ рискованна, а отдача въ ростъ капиталовъ была бы хороша, еслибы не была воспрещена. Цицеронъ выражается о ремеслахъ, какъ о видоизмѣненномъ рабствѣ и естественномъ обманѣ; только оптовую торговлю онъ не совѣтъ презираетъ; о мелкой же онъ увѣренъ, что благородная мысль не можетъ зародиться за прилавкомъ. И дѣйствительно, сенаторамъ

формально была запрещена всякая торговля, даже оптовая и иностранная. По Діонисию галикарнасскому, тотъ уже не принадлежитъ къ гражданамъ, кто позволилъ себѣ заняться ремесломъ. По воззрѣнію Сенеки, самая живопись и ваяніе изъ бронзы, практикуемыя какъ ремесла, также мало принадлежать къ изящнымъ искусствамъ, какъ поварство или парикмахерство. Римское право, даже при Константинѣ, все еще ставитъ какъ актера, такъ и женщину, торгующую въ лавѣ, на ряду съ содержательницами домовъ терпимости и съ гладіаторами. Параллельно всему этому шло и самое состояніе мануфактуръ и торговли. Конечно, вымереть совсѣмъ онѣ не могли; напротивъ, земледѣліе и само по себѣ, въ силу своего собственнаго развитія, волей-неволей зарождаетъ промышленность въ собственныхъ нѣдрахъ своихъ: на извѣстномъ возрастѣ своемъ оно, по необходимости, чреватое ею. Съ одной стороны, орудія производства земледѣльческаго, какъ металлическія, такъ и деревянныя, вызываютъ надобность въ обработкѣ металловъ и дерева, такъ что обработка эта, ради надобностей самого земледѣлія, все больше и больше отдѣляется и специализируется. Съ другой стороны, продукты земледѣлія, каковы: хлѣбныя растенія, оливковыя деревья, виноградныя лозы, лекарственные злаки, и т. п., чтобъ быть употребленными съ пользою, сами вызываютъ къ дальнѣйшей переработкѣ ихъ и тѣмъ порождаютъ то ручной жерновъ, то водяную мельницу, то маслобойню, то выжиманіе винограднаго сока и т. д. Словомъ, мануфактура есть неизбѣжное дитя самой агрикультуры, и она тѣмъ неизбѣжнѣе, чѣмъ послѣдняя развитѣе; но дѣло въ томъ, что она влчила въ древности, свое существованіе лишь на столько, на сколько оно возможно вопреки всѣмъ неблагоприятнымъ условіямъ, и на сколько она умѣла приспособиться къ нимъ. Правда, Вавилонія и, въ особенности, Финикія и Карфагенъ, славились по всей древности своею мануфактурою и торговлею; но дѣло въ томъ, что самые производители ихъ въ древности пренебрегались. Финикія и Карфагенъ дѣйствительно представляютъ собою переломъ въ древней земледѣльческой политикѣ, также точно, какъ они составляли его и въ древней аристократической организаціи; но переломъ этотъ могъ произвести лишь крайне относительную индустріальность, лишь по сравненію съ востокомъ и съ классическимъ міромъ, но никакъ не безусловную. А во вторыхъ, вся эта мануфактура и торговля, подслуживаясь аристокра-

тіямъ, истощались исключительно на производство и обращеніе предметовъ роскоши. Вавилонскія тѣани съ ручнымъ шитьемъ по нимъ, мебель изъ драгоцѣнныхъ деревьевъ и слоновой кости, бронзовые троны, серебряные и золотые сосуды, серебряный и золотой паркетъ, финикійскій пурпуръ, рѣзьба на слоновой кости, ювелирное мастерство, финифтяныя и эмалевыя работы, мозаичные и мраморные полы, вотъ единственные продукты, которыми промышленность подкупала себѣ терпимость, заискивала расположеніе деспотовъ и аристократій. Что же касается такихъ благотворныхъ изобрѣтеній, какъ стекло, какъ полотно, то всѣ подобныя должны были оставаться праздными, пропадать за даромъ, не находя себѣ ни примѣненія, ни сбыта, потому что самъ, напримѣръ, императоръ Августъ не имѣлъ ни стекла въ окнѣ своего дворца, ни полотняной рубашки на своемъ тѣлѣ. Путемъ торговли приобрѣтались только предметы роскоши; всѣ же насущныя ежедневныя потребности удовлетворялись порядкомъ домашнимъ, а не публичнымъ. Отсюда—домашній, вустарный характеръ мануфактуры. У гражданина все, потребное для его домашнего обихода, изготовлялось на дому, его же рабами, и ни въ чьихъ постороннихъ услугахъ не нуждалось. Фабрикъ, кромѣ казенныхъ, съ казенными же рабами, не существовало вовсе. Пища и питье—съ собственныхъ земель; одежда и утварь—домашней фабрикаціи: вотъ девизъ этой политики. Отсюда же и то, что въ ремеслахъ снуютъ только рабы, отпущенники, иностранцы, да изрѣдка захудалые граждане. А вслѣдствіе всего этого мануфактурная промышленность, такъ сказать, изглаживалась съ лица общества, притаившись вся въ гинееяхъ. Торговля, въ свою очередь, шла за промышленностью. Морская, отчасти вслѣдствіе отвращеніе къ морю, отчасти вслѣдствіе опасности отъ пиратства, сосредоточилась почти исключительно въ Финикіи, да въ Карфагенѣ. Сухопутная же была крайне робка, не увѣрена, рискованна. Она отправлялась по преимуществу караванами, т. е. цѣлыми группами торговцевъ, соединявшихся ради взаимной самозащиты. Но опасность странствованій, рѣдкость капиталовъ, отсутствіе всякаго кредита и недостатокъ путей сообщенія держали ее постоянно въ черномъ тѣлѣ и съжившись, такъ что если она все-таки пробивалась на свѣтъ, то только вопреки окружающей средѣ и ея условіямъ, а не благодаря имъ. Это вѣкъ только приживанія промышленности къ земледѣлію, вѣкъ приспособ-

собленія ея къ окружающей средѣ. Такое отношеніе мануфактуры и торговли къ земледѣлію и производило то, что богатство у древнихъ понималось исключительно только въ видѣ земель, въ видѣ недвижимостей, но не капиталовъ и движимости. Объ умноженіи и сохраненіи капиталовъ не заботились тамъ ни частныя лица, ни правительства; о торговомъ балансѣ ни тѣ, ни другія ничего не знали, а объ искусственныхъ мѣрахъ въ пользу его тѣмъ меньше; бумажныя деньги оставались вовсе неизвѣстными. Пошлины существовали, но онѣ предназначались единственно для удовлетворенія нуждъ правительствъ, а не для такого или иного воздѣйствія на производительность страны. До какой степени велика эта разница аристократическаго государства съ буржуазнымъ, видно изъ того, что тогда могли быть государства, которыя совсѣмъ обходились безъ казны, какъ, напримѣръ, Спарта, гдѣ вся государственная служба отправлялась на собственный счетъ гражданъ. Другія же, какъ Персія, хотя и вознаграждали ее, но исключительно натурою. Отсюда-то и та малая цѣна, какую древніе придавали наложенію податей: свобода у нихъ понималась гораздо больше, какъ право контроля надъ властью, чѣмъ какъ право самообложенія налогами. Результатомъ всего такого отношенія добывающей промышленности къ обрабатывающей и обмѣнивающей не могло быть ни что больше, какъ преобладаніе такъ называемаго натурального хозяйства, политика *физиократическая*, т. е. покровительство всей добывающей промышленности. Политика эта получила въ исторіи обширнѣйшее приложеніе свое гораздо раньше, чѣмъ она названа по имени. Обратимся же теперь къ новымъ государствамъ, къ національнымъ, къ тимократическимъ, и сравнимъ здѣшнюю экономическую политику съ тою.—Эти государства, быстро пробѣжавъ свой относительный вѣкъ той же политики въ феодализмѣ, очень рано уже очутились въ какой-то новой экономической атмосферѣ. Атмосфера эта создана была новымъ отношеніемъ селъ къ городамъ, новымъ положеніемъ городскихъ общинъ. Оказавшись въ современной имъ социальной тяжбѣ третьимъ лицомъ, котораго заискивали то короли противъ феодаловъ, то феодалы противъ королей, города рано исполнились совсѣмъ новымъ въ исторіи духомъ. Городская дѣятельность и городской классъ, благодаря такимъ благоприятнымъ обстоятельствамъ, могли воспрянуть изъ своего античнаго униженія, могли почувствовать свою силу, значеніе и достоинство. Отсюда,

съ одной стороны, промышленность и торговля, равноправныя съ земледѣліемъ, и капиталъ, равноправный съ почвою; а съ другой — новый обширный, промышленный классъ, среднее сословіе, скоро также имѣвшее претендовать на равноправность съ высшимъ. Открытіе Америки и приливъ драгоцѣнныхъ металловъ подслужились, какъ нельзя болѣе встать, этому новому вѣянію въ политикѣ, такъ что исторія трехъ послѣднихъ столѣтій открывается уже рѣшительнымъ переломомъ въ пользу новой, неизвѣстной древнимъ, системы государственнаго хозяйства, а именно системы денежной, а вмѣстѣ тѣмъ и политики *меркантильной*, т. е. протекціонизма мануфактуры, промышленности обрабатывающей. У этой политики и цѣль, и средства ея оказались совсѣмъ новыми. Цѣлью ея стало удовлетвореніе не однѣхъ потребностей роскоши, меньшинства, аристократіи, но также, и еще больше, потребностей пользы и необходимости, потребностей большинства буржуазіи. Такою задачею обусловливались и новыя средства достиженія ея. Древняя прочность, массивность и капиталность промышленныхъ издѣлій были теперь не у мѣста, и должны были уступить, хотя бы то хрупкой и ломкой, но во что бы то ни стало дешевизнѣ, этому огниву верховному закону сбыта. Съ другой стороны, упадокъ античныхъ цѣнъ долженъ былъ съ избыткомъ возмѣщаться обширностью спроса, рынковъ и сбыта, быстротою обращенія цѣнностей. Отсюда весь текущій характеръ обрабатывающей промышленности нашей. Вмѣсто чистаго и литога золота и серебра въ издѣліяхъ, какъ водилось въ Вавилонѣ и Финикіи, или въ средніе вѣка, пошли теперь въ ходъ дутое золото, накладки серебра, мельхиоръ, позолота. Мѣсто цѣльныхъ и сплошныхъ драгоцѣнныхъ деревьевъ, какъ красное дерево, эбеновое, кедръ, кипарисъ Вавилоніи, заняла теперь легкая накладка тонкихъ пластинокъ тѣхъ же деревъ. Слоновая кость и паросскій мраморъ греческихъ изваяній стали вытѣсняться простымъ гипсомъ, бронзою, чугуномъ. Живописная картина легко и охотно замѣняется гравюрою, олеографіею. Стразы смѣло устремились на соперничество съ брилліантами; бургиньоны вытѣсняютъ жемчугъ даже у людей богатыхъ; роль бирюзы отправляетъ подкрашенный фарфоръ, превосходящій по цѣнѣ самую бирюзу. Вмѣсто бархата появился полубархатъ, т. е. бархатъ на бумажной основѣ. Чистый шелкъ сталъ вытѣсняться шелкомъ, смѣшаннымъ съ шерстью; появился полу-атласъ, шелкъ мальтрассе и т. д. и т. д. Но если и шерсть

еще дорога, то подъ нее отлично поддѣлывается бумага, которую трудно различить съ шерстью, хотя ее тамъ всего только $\frac{1}{10}$. Сукно также сѣмѣло сдѣлаться на $\frac{2}{3}$ бумажнымъ. Самое полотно не избѣгло поддѣлки, соперничества полуполотна, какъ нансукъ, кембрикъ, полубатистъ, шертингъ и проч. и проч. Дѣло дошло даже до предметовъ бѣлья изъ простой писчей бумаги, бѣлья, которое можетъ быть выбрасываемо вслѣдъ за употребленіемъ. Жилища и ихъ матеріалы испытали такое же превращеніе. Въ древнихъ государствахъ, какъ и въ аристократическія столѣтія новыхъ, строительное искусство всегда рассчитывало на вѣка, на тысячелѣтія. Гранитъ, огромныя каменные плиты, цѣльные камни, навороченные одинъ на другой по циклопическому типу,—вотъ матеріалъ древности, аристократизма. Саженыя стѣны, массивные своды, глубочайшіе фундаменты,—вотъ ихъ способъ постройки. Въ результатъ этого—памятники, пережившіе самую древность, и которые переживутъ и насъ. Нынѣшніе же большіе города ограничиваются исключительно кирпичемъ, выводимымъ въ тонкія стѣны, да и то еще нерѣдко заполненные мусоромъ, такъ что онѣ не только не переживутъ своего народа, но и потомковъ собственнаго ихъ владѣльда. Архитектура стала, такъ сказать, пожизненною, вмѣсто наследственной, также какъ и домашняя утварь. Словомъ, идея удешевленія и этимъ путемъ распространенія комфорта охватила всѣ мануфактурныя производства эпохи. Въ результатъ же такого движенія промышленности—всѣ издѣлія ея оказались, такъ сказать, фальсифицированными, но за то доступными большинству и удовлетворяющими его на его вѣкъ. Продукты производства окончательно потеряли свой наследственный, аристократическій характеръ, потеряли способность переходить изъ поколѣнія въ поколѣніе, изъ рода въ родъ; но за то, сдѣлавшись пожизненными, краткосрочными, тѣмъ лучше подладились къ потребностямъ господствующаго и спрашивающаго класса, также подвижнаго и ломкаго, какъ и самыя эти издѣлія. Дальнѣйшимъ средствомъ для той же повелительной цѣли послужила замѣна кустарнаго производства фабричнымъ, домашней ремесленности—публичною. Возраставшая обширность спроса вызвала такую же обширность производства и не могла больше довольствоваться разсѣянными, изолированными производителями; отсюда необходимость совокупленія ихъ въ фабрики и заводы, а этихъ послѣднихъ, въ свою очередь, въ обширные промыш-

ленные центры. Словно какимъ-то ураганомъ населеніе сель непрестанно гонится въ города. Въ Англіи, этомъ главномъ котлѣ тимократической мануфактуры и политики, городское населеніе растетъ не по днямъ, а по часамъ: въ Лондонѣ судьба загоняетъ по 50.000 человекъ ежегодно, тогда какъ сельскій классъ скудѣетъ до того, что деревни совсѣмъ пустѣютъ и спѣшатъ замѣнять бѣжавшихъ людей машинами. Условіе это снова преобразило весь видъ промышленности, сравнительно съ древнимъ ея видомъ. Вмѣсто того, чтобъ изглаживаться съ лица общества и прятаться по дворамъ, мануфактура выступила на самую авансцену и совсѣмъ затмила собою земледѣліе, какъ нѣкогда затемняло оно ее. Наконецъ, въ качествѣ третьяго и, быть можетъ, еще могущественнѣйшаго средства, подошла къ промышленности машина, этотъ способъ удесатерять производство и низводить до minimum цѣнность его. Древность завѣщала намъ едва ли не одну только машину собственнаго изобрѣтенія, водяную мельницу; да и то въ качествѣ вѣнца всей ея культуры. Во времена Моисея и Гомера, для толченія зерна, имѣлись только ступки и ручные жернова, нижній изъ которыхъ былъ укрѣпленъ неподвижно, а верхній приводился въ движеніе руками рабовъ. Позже вошли въ употребленіе мельницы, дѣйствовавшія посредствомъ конскихъ приводовъ. И только со временъ Цицерона появились водяныя мельницы (вѣтряныя суть изобрѣтенія новыхъ народовъ). За то этотъ первый примѣръ процесса, гдѣ человекъ передаетъ свою работу животнымъ, а отъ нихъ сдается она мертвымъ силамъ природы, не пропала даромъ для новой промышленности. Долго довольствовалась она только первою половиною процесса, пока наука не научила ее овладѣть и второю. Съ тѣхъ поръ—сдача работы живыхъ силъ силамъ мертвымъ, воздуху, водѣ, вѣтру, пару, электричеству, газу, пошла съ поразительной быстротою; и въ результатѣ новая промышленность получила такіе рычаги, какъ тѣлѣй станокъ Аркрайта, паровая машина Уатта, паровой молотъ Уайтхеда, эти палладиі современной экономической дѣятельности. Слово мануфактура перестаетъ быть истиною, потому что перестаетъ быть руководимъ, ручнымъ трудомъ и становится машиннымъ. Параллельно съ этимъ колоссальнымъ полетомъ производства поднялся въ глазахъ общества и самъ производящій классъ. Какъ въ древности своихъ ораторовъ и поэтовъ имѣло только земледѣліе, такъ теперь получаетъ ихъ только промышленность. Кто не помнитъ знаменитаго отвѣта

на вопросъ: что такое среднее сословіе? даннаго Съездомъ: это нація! По идеѣ Сентъ-Симона, промышленный классъ общества есть первый его классъ, а потому ему только подобаетъ и быть правительствомъ общества, — голосъ совершенно немислимый въ древности. Вообще же, сен-симонизмъ былъ не что иное, какъ настоящая апофеоза, религія индустріи, съ ея увѣнчаніемъ капитала и движимой собственности. Въ исторіи экономической политики С.-Симонъ то же, что Съездъ въ политической. Сюда же надо отнести и поэзію самого О. Конта объ идеальной іерархіи обществъ съ банкирами во главѣ ихъ. Наконецъ, вся наша политическая экономія есть опять не что иное, какъ возведеніе текущаго промышленнаго строя въ вѣчный идеалъ и въ науку. Словомъ, индустрія пробовала уже дѣлаться и религіей, и философіей, и наукой современности. Наконецъ, создавшійся и завоевавшій почтеніе классъ не оставался и замкнутымъ, но постоянно раздвигался: сперва онъ появился лишь въ видѣ такъ называемыхъ *ennoblis*, потомъ применила сюда *la haute bourgeoisie* и, наконецъ, дѣло дошло до *la petite bourgeoisie*, т. е. до послѣднихъ предѣловъ идеи промышленности и идеи богатства. Но что же при этомъ современное земледѣліе и современная торговля? и точно ли политика фیزیократизма такъ безусловно уже ступевалась передъ индустріальной политикой? Земледѣліе продолжаетъ жить, какъ будетъ, конечно, жить и во вѣки; но руководящая роль его отлетѣла, повидимому, навсегда. Это переживаніе не перестало пользоваться даже древнимъ почетомъ, но оно перестало приносить такія почетныя выгоды, какъ нѣкогда. Мало того, оно не перестаетъ даже совершенствоваться, приобрѣтаетъ новыя силы; но въ этомъ случаѣ крайне характеристично, что силы эти оно заимствуетъ не въ себѣ самомъ, а внѣ себя, и именно все изъ той же промышленности. Какъ нѣкогда эта послѣдняя должна была поддѣлываться къ земледѣлію, такъ теперь оно само принуждено приспособляться къ этой младшей, но переросшей его сестрѣ, и лишь на столько и жить, на сколько успѣетъ приспособиться. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ всѣ преимущества нынѣшняго воздѣлыванія полей, сравнительно съ древнимъ, какъ не единственно въ примѣненіи машиннаго производства? Копальная машина, эксципаторъ, скарификаторъ, почвоуглубитель, рѣзецъ, окучникъ, полольникъ, желѣзный плугъ, борона, запашникъ, полевой катокъ, вѣялка, сѣялка, молотилка, косилка, жатвенная машина, сортировка, зернодробилка, му-

костѣйка, конныя грабли, сѣноворотилка, соломорѣзка, элеваторъ, корнерѣзка, все это, конечно, высокія преимущества современной агрикультуры; но все это субсидіи, полученныя ею со стороны индустріи, и благодаря только успѣхамъ этой послѣдней. Такимъ образомъ властвующая мануфактура наложила свою печать и на агрономію. То же самое и съ торговлею. Торговлю обыкновенно даже смѣшиваютъ нынѣ съ промышленностью, не отдѣляютъ одну отъ другой, отождествляютъ обѣ; предполагается, что роли ихъ тѣсно связаны, что обѣ онѣ проходятъ одну и ту же судьбу, и что нынѣшній промышленный фазисъ всемірной исторіи есть, вмѣстѣ съ тѣмъ и фазисъ ея торговый. Предполагаютъ даже, что торговля первенствуетъ надъ промышленностью, что она сообщаетъ ей все движеніе, руководитъ ею, почему во главѣ всей этой системы и ставятъ банкировъ, какъ представителей торговли, а вмѣстѣ съ тѣмъ, будто бы, и всей вообще промышленности. По нашему мнѣнію, это ошибка. Не промышленники, но, наоборотъ, банкиры суть паразиты промышленности; безъ нея не было бы и ихъ; они только присасываются къ ней, и только живутъ ея соками, но нисколько не направляютъ ихъ, и не питаютъ ее. Торговля, также какъ и земледѣліе, дѣйствительно опередила свою древность; но достаточно отдать себѣ отчетъ, чѣмъ она опередила ее, чтобы тотчасъ обнаружилось и ея настоящее отношеніе къ мануфактурѣ. Она превзошла древнюю торговлю, во первыхъ, своимъ компасомъ, обратившимъ береговую торговлю въ морскую, и мѣстную—во всемірную; но это находка промышленности, а не торговли, заимствованіе извнѣ, а не саморазвитіе. Она превзошла свое древнее состояніе обширностью своихъ рынковъ, всесвѣтностью операцій; но и это есть качество, совершенно отъ нея независимое, и зависящее только отъ обширности спроса и предложенія, обширности производства, т. е. отъ условій, созданныхъ опять таки промышленностью. Она далеко позади себя оставила древность своими небывалыми до сихъ поръ въ мірѣ путями сообщенія, средствами передвиженія, каковы пароходъ и паровозъ; но надо ли говорить, чьи это успѣхи, и что торговля пользуется здѣсь только послѣдствіями ихъ. Она выиграла и отъ усовершенствованія средствъ сношеній между людьми, какъ типографскій станокъ, телеграфъ и телефонъ; но творчество ихъ снова нисколько не принадлежитъ ей, и ея собственная, специфическая творческая способность заключается или можетъ заключаться

вовсе не въ томъ. Она сумѣла воспользоваться и плодами всемірныхъ выставокъ, этой популяризаціи товаровъ между народами; но это также дѣло не ея рукъ. Словомъ, наша торговля, какъ и наше земледѣліе, всѣми своими успѣхами обязана только успѣхамъ чужимъ, и есть только ихъ косвенное послѣдствіе. Въмѣсто того чтобы быть причиною и стимуломъ промышленности, торговля есть только необходимый постулатъ ея. Въмѣсто того, чтобы направлять и оживлять ту, она сама только состоитъ подъ всецѣлымъ ея вліяніемъ; и если крѣпнеть и зрѣть, то лишь благодаря покровительству той. Самое отождествленіе ея съ промышленностью, это прикомандированіе ея къ послѣдней, есть только явное отрицаніе у нея самобытной фizioноміи, своеобразнаго творчества. Царицей живетъ теперь, и по полному праву, только мануфактура, протянувъ свои благосклонныя руки, одну—надъ земледѣліемъ, другую—надъ торговлею. Царствованіе это до такой степени неоспоримо, такъ безконтрольно и безъ соперниковъ; что власть эта все больше и больше забывается, впадаетъ въ злоупотребленія, и тѣмъ, какъ обыкновенно бываетъ, обнажаетъ, подлѣ своей силы, свою всегда роковую слабость. Слабость эта успѣла уже насторожить противъ себя уши и заставить забыть всѣ тѣ чудеса, какимъ такъ охотно до сихъ поръ удивлялись. Враги еще слабы, власть еще сильна и могущественна, борьба предстоитъ долгая и упорная; но зенитъ блестящаго пути, повидимому, пройденъ, и весь остальной путь есть, быть можетъ, одно склоненіе. Во всякомъ случаѣ, содержаніемъ этимъ способна наполниться вся остальная исторія тимократической культуры. Но усвоить содержаніе новое едва ли суждено ей.—Этотъ очеркъ совершившейся исторіи предстоитъ теперь дополнить гипотезою той, какая имѣетъ совершиться въ ближайшемъ будущемъ, т. е. въ политикѣ расовыхъ государствъ, въ политикѣ абсолютныхъ демократій. Гипотеза эта есть опять необходимое послѣдствіе всего предыдущаго. Если сколько нибудь правдоподобно, что аристократическое государство дѣйствительно отождествляется съ земледѣліемъ, а буржуазное съ мануфактурой; то демократическому не остается развивать ничего больше, кромѣ торговли. Торговля, конечно, также вѣчна, какъ и земледѣліе, и промышленность; она также естественно порождается промышленностью, какъ эта земледѣліемъ: но сравнительное развитіе ея вовсе не одновременно съ тѣми и не вѣчно. Одно и само по себѣ, земледѣліе даже не въ силахъ вызывать къ жизни торговлю: пред-

метъ обмѣна составляютъ съ самаго начала вовсе не земли, и даже не земледѣльческіе продукты, а именно только произведенія рукъ человѣческихъ, только произведенія ремеслъ. А потому, по мѣрѣ усиленія этихъ послѣднихъ, усиливается потребность и въ самомъ обмѣнѣ ихъ. Отсюда вѣкъ мануфактуры и не могъ не призвать къ жизни вяло плывшую до тѣхъ поръ торговлю, которая и принята теперь за ровестницу и даже покровительницу той, но которая годится ей развѣ только въ наслѣдницы. То-же и съ соотвѣтственной политикою. Если и физоократическая, и меркантильная политика исчерпаны, то далеко неисчерпанною остается одна *кредитная*. Коль скоро же такое прошедшее и такое настоящее въ самомъ дѣлѣ представляются ясными, то угадать соотвѣтственное будущее не составляетъ труда. Во всякомъ случаѣ, трудъ этотъ облегчается тѣмъ, что никакое будущее не можетъ возникнуть внезапно, какъ *deus ex machina*, что оно коренится задолго въ своемъ предыдущемъ и что, слѣдовательно, и всѣ залоговъ грядущихъ политикъ лежатъ уже гдѣ нибудь у насъ передъ глазами. Стоитъ только не проглядѣть ихъ, не смѣшать ихъ съ другими. А въ этомъ послѣднемъ случаѣ можетъ предохранять отъ ошибки то соображеніе что такіе залоговъ непременно должны находиться въ состояніи приживающихся къ господствующему режиму, должны находиться, пока въ союзѣ съ нимъ, а не во враждѣ, безъ чего никогда не могли бы и воспитаться для власти, созрѣть и окрѣпнуть, словомъ, должны также пользоваться крохами отъ стола его, какъ нѣкогда промышленность у земледѣлія. Но въ такомъ положеніи относительно властительной нынѣ мануфактуры находится теперь именно торговля, и даже прежде всего торговля. А потому предсказаніе волей-неволей падаетъ вновь на нее. Гдѣ же, въ такомъ случаѣ, ея собственные задатки для этой роли наслѣдницы? Задаткомъ этимъ мы считаемъ то вполнѣ оригинальное творчество новой торговли, которое извѣстно подъ именемъ кредитной системы. Первичныя, самыя слабыя попытки этого рода можно отереть еще далеко позади, въ классическомъ и восточномъ мірѣ. Исключительность мѣновой торговли принадлежитъ только формациямъ патріархальнымъ. Государственныя же рано уже изобрѣтаютъ тотъ мѣновой знакъ, который называется монетою. Но, по изобрѣтеніи его, онъ не тотчасъ завоевываетъ себѣ почву; а потому въ аристократическомъ государствѣ мѣновая торговля продолжаетъ доминировать надъ де-

нёжною, хотя послѣдняя понемногу и втирается въ первую, готовясь на смѣну ей. Окончательно же произошла эта смѣна не въ древнемъ, а только уже въ новомъ государствѣ; да и тутъ не сразу, а только съ наводненіемъ Европы американскимъ металломъ. Но едва это случилось, и едва меркантилизмъ достигъ въ XVI, XVII вѣвѣ апогея своего, какъ, вслѣдъ за тѣмъ, въ XVIII столѣтіи, уже зарождаются первые опыты опять новой, радикально - противоположной системы, — кредитной. Искать раньше эмбрионъ этой системы было бы натяжкою. Элементы его, конечно, можно найти гораздо раньше. Индусы, на примѣръ, знаютъ уже и ростовщичество и процентъ; но можно ли сказать, что это уже видовая система того рода, два другіе вида котораго суть мѣна и деньги! Греки и римляне знаютъ даже больше; имъ извѣстно гораздо большее подобіе банкиру, чѣмъ ростовщикъ или мѣняло: это — трапезиты Греціи и *argentarii* или *nummularii* Рима. Они принимаютъ отъ частныхъ лицъ на храненіе капиталы или вовсе безъ процента, или за весьма небольшой процентъ, и дѣлаютъ расчеты отъ имени вкладчика, по его назначенію. Мало того, имъ извѣстна и противоположная операція, ссуда подъ залогъ. Но ни то, ни другое не имѣетъ ни малѣйшихъ притязаній на какую-либо замѣну собою денежныхъ знаковъ въ обществѣ, не говоря уже о томъ, что занятія эти смѣшивались въ глазахъ публики съ ростовщическими и раздѣляли съ ними степень ихъ пренебреженія. Не создало кредитной системы и средне-вѣковое изобрѣтеніе векселей. Его можно вмѣнять новой торговлѣ, какъ ея первое, свойственное ей самой, творчество, но не какъ творчество новаго типа обмѣнивающей промышленности. И только тогда, когда на мѣсто монетнаго посредничества, предложило се я посредничество бумажное, когда, вмѣсто серебряныхъ и золотыхъ денегъ, вызвались быть совершенно тѣмъ же самымъ органомъ бумажныя деньги, — съ тѣхъ только поръ дѣйствительно является конкурентъ для двухъ прежнихъ системъ, претендующій на равное съ ними достоинство, и дѣйствительно способный потягаться съ ними. Конечно, сначала онъ и не думаетъ бороться; напротивъ, онъ дружитъ съ меркантилизмомъ, идетъ на службу къ нему, въ какой состоитъ и нынѣ; но эта-то дружба и служба всегда и бываетъ коварною, потому что она длится всегда лишь до поры до времени, пока молодой другъ не оперится. Опереніе это есть всегда пѣснь длинная; а потому пока и новый претендентъ на престолъ

торгового міра орієнтується на столько, чтобы поднять забрало и подумать о сверженіи прежняго,—воды много утечетъ, утечетъ, быть можетъ, вся тимократическая исторія. Переосновываться, т. е. сдвигаться цѣликомъ со всѣхъ своихъ прежнихъ основаній и подводить подъ себя совсѣмъ новыя,—не дано никакой организаціи, ни естественной, ни соціальной. Самое большее, къ чему всѣ онѣ способны, есть только видоизмѣнять, по мѣрѣ возможности, старые, однажды принятые ими устои, а никакъ не подмѣнять ихъ. Для всякаго же совсѣмъ новаго вина, нужны опять-таки мѣхи новые. Но такіе мѣхи найдутся только съ пришествіемъ демократій, а потому тогда же только найдется и полное мѣсто для вина кредита. И вотъ, только тогда банкиръ можетъ сдѣлаться тѣмъ, къ чему прочилъ его Контъ уже сегодня; такъ что теорія его и въ этомъ отношеніи, по нашему взгляду, вѣрна, но только опять невѣрно приложена, потороплена въ приложеніи. Онъ такъ ясно представлялъ себѣ далекое будущее, что ему показалось, будто оно стоитъ у него уже предъ глазами. Только вмѣстѣ съ демократіями также можетъ раскрыть всѣ свои творческія силы и самая торговля. Вопросы производства и воспроизводства были спеціальнымъ дѣломъ аристократій и буржуазій; для демократій же нѣтъ задачи болѣе близкой ихъ сердцу, какъ задача распредѣленія благъ, обращенія ихъ. А органъ этого распредѣленія и обращенія, выработывавшійся въ теченіе всей предшествовавшей исторіи, органъ общественный, а не правительственный, и есть именно торговля.

Примѣчаніе. Вопросъ распредѣленія также не новость въ исторіи. Онъ, какъ и всѣ общественные вопросы, имѣетъ исторію также древнюю какъ и само общество. Полное равенство людей принадлежало только эпохѣ агаміи и анархіи, да и то, если исключить неравенство физической силы, неравенство естественно-историческое, и держаться одного лишь соціального. Это соціальное равенство было, какъ сказано, равенствомъ безправія, безродности, бѣдности и невѣжества, но все-таки единственнымъ, до сихъ поръ, всеобщимъ равенствомъ. Какъ только же завелся брачный, семейный, родовой бытъ,—одно изъ этихъ равенствъ тотчасъ уже исчезаетъ, а именно равенство правъ и равенство рода, потому что являются отцы и дѣти, старшіе и младшіе родственники. Остаются два другія, равная бѣдность и равное невѣжество. Но одному изъ этихъ равенствъ скоро также наносится ударъ: чего не могъ сдѣлать охотничій бытъ, то дѣлаетъ скотоводческій; онъ производитъ разницу въ богатствѣ стадъ, рабовъ и женъ. Отсюда новое, второе неравенство, экономическое. Съ расширеніемъ жизни въ племенную и народную, необходимость и практика постоянныхъ совѣщаній скоро выдадутъ наружу и третье неравенство, интеллектуальное, неравенство въ оныѣ и въ

совѣтъ. Отсюда ограниченіе всякихъ совѣщаній совѣтами старѣйшинъ. Такимъ образомъ, уже въ патриархальной формациі разverzается вся та бездна, которой суждено быть потомъ содержаніемъ всей всемірной исторіи. Неравенство распредѣленія коснулось уже всѣхъ тѣхъ трехъ социальныхъ силъ, въ которыхъ нѣтъ никакой четвертой, и каждая изъ которыхъ есть равно существенное основаніе общезитія. Замѣчательно, что, при первыхъ же опытахъ перехода отъ патриархата въ государство, результатъ этотъ уже замѣчается тогдашними политиками и тогда уже, къ великой ихъ чести, трактуется, какъ величайшее изъ общественныхъ бѣдствій, противъ котораго должны быть приняты всевозможныя мѣры предупрежденія. Народы-государства, всѣ безъ исключенія, оставили по себѣ слѣды этой политической мудрости и этого политическаго доброжелательства. Свѣжіе, малоопытные, неизвѣрившіеся еще въ предѣлы силъ и способностей правительственныхъ, и тѣмъ меньше еще подовѣрившіе существованіе какихъ бы то ни было законовъ общезитности, сильнѣйшихъ, чѣмъ всякая власть правительственная, эти народы-государства, при самомъ же ихъ вступленіи въ жизнь, уже поднимаютъ великій вопросъ всѣхъ временъ и народовъ, уже поставляютъ предъ собою великій идеалъ равенства и, при томъ, энергичнѣе и добросовѣстнѣе, чѣмъ когда бы то ни было впослѣдствіи. Смѣло и довѣрчиво возлагаютъ они бремя распредѣленія благъ на правительства свои, а эти послѣднія, съ рѣшительностью и съ любовью, неповторенными потомъ въ исторіи, обѣими руками принимаютъ на себя эту непосильную для нихъ обузу. Китай, Перу, Мексика, всѣ они вооружаются противъ зла, и каждый борется съ нимъ по своему. Но всѣ они сходятся въ томъ, что сразу же задаются проблемой распредѣленія по мѣрѣ нужды каждаго, по надобностямъ потребленія. Китай вступалъ въ эту борьбу, какъ кажется, даже дважды: до временъ своего феодализма и послѣ нихъ. До феодализма вся территорія Китая принадлежала богдыхану и никому больше, а онъ раздавалъ ее всѣмъ, безъ изыятія, въ пользованіе, и получалъ за то десятину. Когда опытъ этотъ не удался, какъ видно это изъ самаго факта наступленія феодализма, поземельной аристократіи, онъ предпринять былъ и въ другой разъ, около Р. Х. Доступъ къ поземельной собственности былъ открытъ снова для всѣхъ; послѣдовалъ всеобщій и, при томъ, равный, раздѣлъ всѣхъ земель, съ обязательствомъ къ тому же, чтобы каждый надѣленный воздѣлывалъ свой участокъ собственными руками. А въ предупрежденіе вторичной неудачи опыта постановлено, что земли не допускаются ни въ продажу, ни въ закладъ. Но время сдѣлало свое и кончило тѣмъ, что къ концу осьмого вѣка по Р. Х., въ 780 году, весь народъ могъ уже быть раздѣленъ на цѣлыхъ девять классовъ, по цензу имущественному. И теперь Китай представляетъ такую же бездну между богатствомъ и нищетой, какъ и всѣ другія человѣческія общества, извѣстныя исторіи до сихъ поръ. Также точно, въ предупрежденіе разницы между знаніемъ и невѣжествомъ, Китай испоконъ вѣковъ кишитъ школами всѣхъ степеней по всѣмъ городамъ и деревнямъ: каждая деревня имѣетъ не только по одной, но иногда по нѣсколькимъ школь; а, между тѣмъ, просвѣщеніе и невѣжество также существуютъ тамъ, какъ и вездѣ, и если они представляютъ меньшую разницу, чѣмъ гдѣ-либо, то лишь потому, что са-

мое просвѣщеніе китайское есть невѣжество. Такимъ образомъ изъ всѣхъ равенствъ удержалось только одно юридическое, по которому всякій китаецъ имѣетъ право быть мандариномъ, если его состояніе и его знанія допустятъ до этого. Еще лучше извѣстны подробности перуанской системы распредѣленія благъ. Вся земля тамъ была раздѣлена на три трети. Одна треть принадлежала солнцу, т. е. культу, другая—инкѣ и его династии, третья же раздѣлялась по-ровну между всѣми подданными. А чтобы перемены въ семейномъ положеніи не могли вновь возрождать неравенства, установленъ ежегодный передѣлъ земель, смотря именно по семейному положенію cadaго. Обработка земли производилась сообща и, чтобы полезное соединить съ пріятнымъ, трудъ этотъ производился подъ звуки музыки. Кромѣ своихъ собственныхъ земель, земледѣльцы такимъ же образомъ обрабатывали и чужія. Воздѣлывая эти послѣднія, они и кормились, и одѣвались, и лечились, и были снабжаемы земледѣльческими орудіями на счетъ той же самой земли, такъ что не имѣли никакой надобности расходовать изъ собственности. Уроки работы строго соразмѣрялись съ силами cadaго; а если кто сработалъ лишнее, то оно засчитывалось ему на слѣдующій урокъ. Въ добавленіе ко всему этому, такая подать обязательна была для cadaго только отъ 25 до 50 лѣтъ. Кромѣ этой основной мѣры противъ богатства и бѣдности, предпринято множество частныхъ. Такъ, нѣкоторые продукты производства разъ навсегда признаны были общими, какъ, напримѣръ, соль, рыба, конопля, хлопчатая бумага. А три раза въ каждый мѣсяцъ полагался общественный столъ и общественныя увеселенія. Такъ былъ предпринятъ цѣлый рядъ законовъ противъ роскоши. Золото и драгоценныя каменья запрещены вовсе для употребленія, иначе какъ въ храмахъ и во дворцѣ. Запрещены всякія излишества въ столѣ, въ одеждѣ, въ жилищахъ, для чего установлены особые инспекторы, имѣвшіе право входить въ дома во время обѣда и награждать за умеренности или наказывать за роскошь въ чемъ-нибудь. Наконецъ, если и все это не спасало нѣкоторыхъ подданныхъ отъ бѣдности, то на этотъ разъ имѣлся цѣлый рядъ благотворительныхъ учреждений, гдѣ призрѣвались старики, больные, чужеземцы, сироты, и для чего, на счетъ царя, содержались обширныя магазины различныхъ припасовъ. Словомъ, какъ говорить законъ, царь желалъ, чтобы никто изъ подданныхъ не былъ несчастливъ. Но, не смотря на все это, во время открытія Перу, тамъ застали уже и личное землевладѣніе, или точнѣе землепользованіе, и крупную поземельную собственность, т. е. крупныя участки пользованія, и богатый землевладѣльческій или узуфрукторскій классъ кураковъ, такъ что дверь къ крайностямъ богатства и бѣдности была уже распахнута настезъ. Въ Мексикѣ опять тоже самое. Къ каждой общинѣ или уѣзду приписано также извѣстное пространство земли, пропорціональное населенію; та же обработка этихъ земель сообща; тотъ же складъ всего сбора въ общіе магазины; та же раздача продуктовъ изъ этихъ магазиновъ, пропорціонально нуждамъ cadaго, и т. д. Но рядомъ со всѣмъ этимъ, и тѣ же послѣдствія: образованіе личной поземельной собственности, образованіе крупной собственности, словомъ, образованіе богатства и бѣдности. Это непрестанное впаденіе равенства въ неравенство не скоро, однакожъ, охладило порывы первобытныхъ законодателей. Въ формаци

чисто-государственной мы опять встречаемся съ ними, хотя и рѣже. Такъ, въ первой, аристократической полосѣ государствъ, первую такую встрѣчу производить законодательство Моисея. Трудно, казалось бы, придумать что-нибудь болѣе разумное для предупрежденія нищеты, для поддержанія постоянного равенства въ распредѣленіи богатствъ. Моисей, раздѣливъ всю территорію обѣтованной земли по колѣнамъ, поколѣніямъ и семействамъ, учредилъ удивительную, повидимому, систему для достиженія своей цѣли: это — его субботніе и юбилейные годы. Проживши долго въ образованной странѣ, насмотрѣвшись на ея бѣдствія, богатый чужимъ опытомъ и своимъ гениемъ, онъ имѣлъ всѣ шансы для того, чтобы изобрѣсти все, что допускаетъ человѣческая мудрость. Онъ имѣлъ полное основаніе думать, что если земля будетъ отдыхать въ каждый седьмой годъ, то она труднѣе истощится; что если каждый ушедшій изъ первоначальныхъ рукъ участокъ ея въ каждый 49 годъ возвращенъ будетъ назадъ, что если каждый долгъ въ этотъ годъ будетъ прощенъ, каждый рабъ отпущенъ на свободу, то ни бѣдность, ни рабство, ни, вмѣстѣ съ ними, невѣжество, никогда не успѣютъ, по крайней мѣрѣ, заматерѣть, глубоко пустить корни, увѣковѣчиться. И дѣйствительно, это такъ бы и было, если бы законодательства были всегда исполняемы. Но великій законодатель забылъ или, лучше, не зналъ, что самое исполненіе или неисполненіе законодательствъ имѣетъ свои законы и, при томъ, отъ законодателя уже вовсе независимы. Онъ не зналъ, что черезъ нѣсколько поколѣній послѣ него они уже могутъ придти въ полное забвеніе, какъ и дѣйствительно пришли при царяхъ и что, когда царь Седекія, нуждаясь въ войнахъ, вспомнить объ этомъ законѣ и возвратитъ свободу всѣмъ рабамъ, то самъ потомъ будетъ не радъ этому своему *coup d'état*. Во всякомъ случаѣ, мозаизмъ не помѣшалъ въ Палестинѣ тому же теченію исторіи, какое она принимала повсюду, не смотря ни на какія законодательства. Самый позднѣйшій опытъ того же рода былъ Ликурговъ въ Спартѣ. Тутъ опять тоже раздѣленіе земель поровну, хотя бы то и между одними только гражданами; тоже запрещеніе отчужденія ихъ изъ рукъ въ руки; тѣ же общественные столы; та же борьба съ роскошью и, въ концѣ концовъ, та же побѣда и богатства, и роскоши надъ бѣдностью и умѣренностью. Изъ 9.000 ликурговыхъ гражданъ и землевладѣльцевъ, при Агисѣ — гражданъ оказалось уже только 700, а изъ нихъ землевладѣльцевъ еще меньше, всего 100 человѣкъ. И когда онъ, а потомъ Клеоменъ, задумали довести число ихъ до 4.500 и вторично возстановить всѣ тѣ законы Ликурга, которыхъ законы исторія не снесла, то они только сами погибли подъ этой идеальной попыткой своей. И такъ повсюду патріархальная политика, какъ абсолютная, такъ и относительная, была на этотъ счетъ одинакова: вездѣ законодательственныя попытки по распредѣленію богатствъ, вездѣ искренность попытки распределить ихъ какъ можно ровнѣе, по надобностямъ потребленія, и вездѣ же полная неудача этихъ опытовъ, вездѣ разрѣшеніе ихъ бездной между богатствомъ и бѣдностью. Эту систему распредѣленія, по регулирующей ее силѣ, мы назовемъ системою *потребленія*, или, что тоже, системою регламентаціи, искусственною системою. — Политика государственная получаетъ совсѣмъ иной отпечатокъ. Побившись долго и бесплодно надъ засыпаніемъ пропасти, которая также безпрестанно и развѣрзалась, за-

конодатели здѣсь, какъ бы махнувши рукой, предоставляютъ дѣлу идти его собственнымъ теченіемъ. А между тѣмъ, предоставленное самому себѣ, оно пошло отнынѣ къ цѣли лучше, хотя и не такимъ прямымъ и короткимъ путемъ, какъ предполагалось прежде, а напротивъ—окольнымъ, длиннымъ и медленнымъ: не путемъ заповѣдей, завѣтовъ, предписаній, запрещеній, а путемъ естественнаго развитія то той, то другой производительной силы по-одиночкѣ и путемъ раздѣленія плодовъ каждой между тѣми только, кто ее развивалъ. Началось съ того, что муниципальное, аристократическое государство, не задаваясь такимъ широкимъ идеаломъ, какъ патріархаты, успѣло осуществить, по крайней мѣрѣ, узкій идеалъ распредѣленія аристократическаго. Идеалъ этотъ достигнутъ не въ силу того или другого законодательства, а въ силу обще-культурныхъ и цивилизаціонныхъ условій времени. Первымъ изъ нихъ, культурнымъ, было обособленіе самаго главнаго и въ тоже время единственнаго тогда источника производства,—почвы, специальная культура природы. Вмѣсто того, чтобы быть принадлежностью всего населенія, какъ въ патріархатахъ, территории государствъ оказываются теперь собственностью лишь ихъ аристократій. Основанныя завоеваніемъ, древнія государства не могли уже относиться къ населеніямъ патріархально, или, вѣрнѣе, могли патріархально относиться только къ населенію побѣдительному, которое одно только и могло считаться за населеніе. Отсюда обращеніе всякой завоеванной территории въ пользу однихъ побѣдителей. Эта, такъ сказать, спецификація почвы и эта разница между побѣдителемъ и побѣжденнымъ, присовокупляясь ко всѣмъ прежнимъ патріархальнымъ неравенствамъ, доводила патріархальную пропасть распредѣленія богатствъ до ея максимальнаго размѣра; но за то она же полагала и начало уравненію этихъ богатствъ, хотя уравненію въ тѣсномъ и замкнутомъ кругу аристократій. И дѣйствительно, мы видимъ, что вся исторія ихъ въ томъ и состоитъ, какъ бы низшимъ рядамъ этихъ аристократій поровнятися съ высшими, а съ другой—какъ бы изъ среды остальнаго населенія протѣсниться и проникнуть въ заповѣдный аристократическій кругъ. Путемъ браковъ, путемъ покупокъ, путемъ службъ—все тутъ тѣснится къ овладѣнію частицей той производительной силы, которая одна была источникомъ богатства и одна распредѣляла и всѣ другія блага жизни. Другое средство для той же цѣли было цивилизаціонное, а не культурное. Однажды добившись клочка земли, можно было возвысить его, усилить его экономическое значеніе, а слѣдовательно выиграть и новую, болѣе выгодную, пропорцію въ распредѣленіи, посредствомъ способовъ воздѣлыванія его. А какъ, за недостаткомъ науки, для этого служило эмпирическое искусство, (геометрическое и механическое) то вотъ и новое оружіе для борьбы за распредѣленіе. Такимъ именно средствомъ и прославились ассиріяне и египтяне. Оба эти пути, культурный и цивилизаціонный, и послужили дѣлу распредѣленія лучше, чѣмъ прежній, чѣмъ правовой, испробованный патріархальностью. Тотъ безпрестанно падавшее зданіе равенства поддерживалъ только извнѣ, законодательными подпорами; этимъ же оно стало поддерживаться изнутри, само собою. Тотъ, хотя задавался гораздо лучшею, болѣе широкою задачею, плохо достигалъ ее; этотъ же, хотя задался меньшею, но лучше достигъ ея, обезпечивши радикально, по крайней мѣрѣ, аристократическое меньшинство населе-

ній. Что же касается торговли, этой спеціалістскій распредѣленія, распредѣленія естественнаго (а не насильственнаго, какое свойственно законодательствамъ), то вся она притекала туда же, гдѣ было уже скопленіе богатствъ поземельныхъ: всю свою подвижность она приносила къ недвижимостямъ, въ которыхъ не было ни спроса, ни сбыта, и тѣмъ только еще больше усиливала ихъ. Но земля есть источникъ богатства точно ограниченный. Если онъ и допускаетъ нѣкоторую растяжимость производительной ея силы путемъ агрономическаго искусства, то очень небольшую. И разъ, что предѣлъ этой растяжимости найденъ, аристократическое или земледѣльческое общество безсильно уже превзойти его, потому что это значило бы превзойти самого себя, свою собственную натуру. Оно способно расширять до послѣдней возможности предѣлы аристократизма, какъ это и было на самомъ дѣлѣ, но выступить изъ нихъ совсѣмъ, при тѣхъ же условіяхъ, рѣшительно не въ состояніи. Изживши усилія своего генія на свой первый идеалъ, общество это оказалось безсильнымъ, очутившись въ виду идеала вторичнаго. А потому, когда запросъ этотъ сказался въ древнихъ обществахъ, какъ неизбежное условіе ихъ дальнѣйшей жизненности, они могли скорѣе пасть, чѣмъ удовлетворить его. Весь вопль, поднятый отъ одного конца древняго міра до другого, весь протестъ противъ кастъ, противъ сильныхъ міра сего, противъ оптиматства, гладиаторства, рабства; всѣ идеалы Будды, Граковъ, Христа, Сенеки, все это было только тѣмъ самоотрицаніемъ, какое аристократическая культура нашла въ самой же себѣ, но котораго удовлетворить уже не могла, не переставая быть собою. Всѣ эти призывы къ вознагражденію оказались голосами, вопіющими въ пустынѣ, и изжитая культура, не будучи въ силахъ послѣдовать за ними, отвернулась отъ нихъ и даже накинута на нихъ, какъ на измѣнниковъ себѣ и отцеубійцъ. Все, что она въ силахъ была сдѣлать въ такомъ направленіи, не произнося себѣ смертнаго приговора, она и сдѣлала: она распространила дутое право гражданства далеко въ аристократіи, на всѣхъ свободныхъ людей; но дальше этого она и не могла ничего сдѣлать. Для того нужны были новыя культурныя и новыя цивилизаціонныя, а не новыя только законодательныя усилія. А такія оказались только въ новыхъ обществахъ. — Вторая формація государствъ, тимократическая, если сдѣлала другой исполнскій шагъ въ распредѣленіи, то опять не иначе, какъ по тому же культурному и цивилизаціонному методу, а никакъ не по законодательному. Въѣхъ относительной патріархальности сказался и въ этихъ обществахъ такимъ же образомъ, какъ въ человѣчествѣ въѣхъ патріархальности абсолютной: преданія ея долго еще въ средніе вѣка плодили законы противъ роскоши, надзоръ за промышленностями, за частной жизнью и т. п. Но не это помогло тимократіямъ совершить свой великій шагъ. Еще большую долю въ жизни новыхъ народовъ имѣла ихъ политика относительно аристократическая, съ ея завоеваніемъ и распредѣленіемъ аристократическимъ. Но она могла только повторить систему распредѣленія уже не новую въ исторіи. Дѣйствительную же новостъ составляетъ здѣсь лишь новая спецификація, новое обособленіе новой производительной силы, и именно силы *капитала*. Только культура этой производительной силы, только развитіе капитала могло вывести богатства за тѣсныя

предѣлы аристократіи, во внѣ этого заколдованнаго круга, и распредѣлить ихъ на цѣлый новый классъ обществъ, на средній. Только путемъ капитала къ прежней состоятельности и полноправности поземельной могла пристроиться состоятельность и полноправность финансовая, въ видѣ сперва *les ennoblis*, потомъ *la haute bourgeoisie* и, наконецъ, *la petite bourgeoisie*, этого новаго предѣла новаго режима. Предѣлы капитала не такъ точно опредѣлены, какъ предѣлы почвы, и болѣе растяжимы, чѣмъ тѣ; а потому и новый классъ, на который распредѣлились въ тимократическомъ государствѣ богатства, оказался гораздо обширнѣе прежняго. Создано же было такое положеніе вещей опять не законодательствомъ, опять не по патріархальному методу, а единственно по государственному. Капиталъ былъ плодомъ не такой или иной законодательной мѣры и регламентаціи, а единственно тимократической промышленности, мануфактуры, которая сама, въ свою очередь, была дитятемъ не юридическихъ, а только вообще культурныхъ и цивилизаціонныхъ условий новаго общежитія. Однажды же, что какой бы то ни было капиталецъ прокладываетъ путь въ средніе классы, на помощь ему спѣшитъ теперь уже не простое эмпирическое искусство, а настоящая наука, и именно наука естественная, съ ея искусствомъ раціональнымъ, съ ея изобрѣтеніями и всѣми прикладными знаніями. Безъ успѣховъ механики, физики, химіи немислимы ни машинное производство, ни паровые, газовые, электрическіе двигатели, ни всѣ производства технологическія, словомъ, немислимъ весь тотъ полетъ мануфактуры, который и создалъ все могущество средняго класса и всю роль капиталовъ. Этими двумя путями и воздвигнута новая система распредѣленія, которая опять не нуждается въ поддержкѣ извнѣ, потому что опять можетъ поддерживать себя сама собою, всею окружающею культурою и всею цивилизаціею. Торговля же новыхъ временъ, эта охотная прислужница всякой господствующей экономической силы, будетъ ли то земля или капиталъ, все теченіе свое направляетъ теперь сюда, къ капиталу, и всѣ свои грузы разноситъ не только по мѣрѣ распредѣленія земли, а и по мѣрѣ распредѣленія капитала, который одинъ теперь управляетъ спросомъ и сбытомъ, что еще болѣе возвышаетъ царство его. Но такъ какъ и растяжимости капитала есть все-таки свои предѣлы, то и новое, тимократическое распредѣленіе богатствъ должно было также гдѣ нибудь остановиться, и остановилось оно именно на *la petite bourgeoisie*, т. е. на представительницѣ самаго дробнаго распредѣленія капиталовъ, не будучи, однакожъ, въ состояніи перейти къ рабочимъ, какъ вовсе не владѣющимъ никакимъ остаткомъ отъ потребленія, никакимъ сбереженіемъ. И такъ, предѣлъ растяжимости капиталистическаго распредѣленія, въ свою очередь, найденъ. Вотъ тутъ-то и начинается вся завязка нашего будущаго. Уже слышится громкій и грозный вопль; новые буддисты, Гракхи, христіане, Сенеки уже подняли тотъ роковой ропотъ, какой культура наша нашла противъ себя въ самой себѣ. Они провозгласили уже свое отрицаніе всѣхъ тѣхъ основъ, на которыхъ построилось все современное общество, и отрицаніе это орошаютъ уже собственной кровью своею. Но что же, будутъ ли они счастливѣе древнихъ, и сможетъ ли новое общество удовлетворить ихъ лучше, чѣмъ древнѣе? Найдеть ли оно въ себѣ силы, истративъ лучшую и свѣжую пору свою на свой первичный идеалъ, не отступить

и передъ этимъ вторичнымъ, отрицающимъ не тѣ или ниня частности этого общества, а всю его структуру и всю политику? Найдется ли у него возможность сдвинуться съ собственнаго своего фундамента, перестроиться, перестроиться сверху до низу и, такимъ образомъ, прожить двѣ жизни вмѣсто одной? Или же, подобно древнему, оно принуждено будетъ отдѣлаться чѣмъ-нибудь въ родѣ того, чтобъ объявить всѣхъ несвободныхъ гражданами и чтобъ распределить между ними, какъ Каракалла, лишь равенство юридическое, всегда готовое къ услугамъ законодателя?.. Думаемъ, что приходится усвоить второй отвѣтъ, а не первый. Исторія прошедшаго, лишь бы не ошибались въ ея законѣ, есть неумолимый, непререкаемый урокъ для будущаго. А она учитъ, какъ полагаемъ, что тутъ мало одного ропота, мало и цѣлыхъ гекатомбъ священныхъ человѣческихъ жертвъ, мало даже всей доброй воли законодателей, если бы они и склонили къ тому слухъ свой. Здѣсь нужно было-бы нѣчто совсѣмъ иное. Нужна здѣсь не патріархальная регламентація, не аристократическое надѣленіе землями, не тимократическое одареніе капиталами, а лишь демократическая инвентурація совсѣмъ новой производительной силы, силы *труда*. Сила эта, хотя также непоголовна, но она несравненно растяжимѣе обоихъ предыдущихъ источниковъ богатства и, если прекращается, если находитъ себѣ предѣлъ, то лишь на столько, на сколько полагають его старость, болѣзнь, увѣче, возрастъ, полъ, т. е. только исключительныя несовпаденія урны изобилія съ числомъ населенія. А потому абсолютно демократическое распределеніе богатствъ не можетъ основаться ни на чемъ больше, какъ на апотеозѣ труда. Но гдѣ же хотя бы то малѣйшіе признаки этого порядка вещей или хотя самой возможности его въ современныхъ обществахъ! гдѣ это обще-культурное условіе новой жизни и новой организаціи!.. Для этого нужно было бы, чтобъ такая культура труда была споспѣшествуема всею силою соотвѣтственной науки, способной возвышать его естественную производительность, т. е. экономической въ частности и соціальной вообще. Безъ точной экономической науки и ея раціональнаго искусства вовсе немислима ни организація кредита, ни тѣмъ меньше еще вытѣсненіе ею всей денежной системы, съ которою господство труда не совмѣстимо. А точная экономическая наука невозможна безъ соціальной науки вообще и, при томъ, развившейся, по крайней мѣрѣ, до такой степени, на какой стоятъ теперь науки естественныя, окрыляющія капиталъ. Но гдѣ же признаки осуществленія этого условія цивилизаціи если не сейчасъ, то хоть въ недалекомъ будущемъ? и не способна ли уйти на это предварительное осуществленіе вся остальная жизнь текущихъ тимократій? Нужна была бы, наконецъ, торговля, которая направляла бы всѣ свои соки не только по мѣрѣ почвы и капитала, но и по мѣрѣ труда, не въ обмѣнъ лишь движимаго или недвижимаго имущества, но и подъ квитанцію работы; торговля, которая была бы распределительницею благъ поровну не во имя идеи, а во имя собственной своей выгоды. Но гдѣ же, гдѣ какая бы то ни было заря подобнаго переворота въ строеніи и отправленіяхъ общества!.. Всякое же правительственное разыгрываніе той же роли, всякое распределеніе во имя идеи, было бы лишь подпираниемъ паденія извнѣ, было бы распределеніемъ искусственнымъ, а не естественнымъ, и которое исторією осуждено уже дважды. Элементы

всякой новой организаціи должны уже за долго до нея бродить въ общежитіи прежде, чѣмъ всякій изъ нихъ найдетъ себѣ мѣсто въ немъ, успѣеть устояться, придти въ связь и солидарность со всѣми другими, и пока этимъ способомъ осуществится новое расположеніе частей, новое социальное тѣло, и воплотить въ себѣ новые, свойственные ему идеалы. Но мы вокругъ себя не видимъ даже и этихъ элементовъ, или же видимъ ихъ, слишкомъ еще разрозненные, слишкомъ неустоявшіеся, чтобы ожидать отъ нихъ готовой, радикально новой организаціи, и при томъ завтра, на-дняхъ. Это, какъ постоянно видимъ въ исторіи, есть дѣло цѣлыхъ тысячелѣтій, а не годовъ и даже не вѣковъ; это есть дѣло новыхъ социальныхъ формацій. Такая-то формація необходима и для осуществленія новой системы распределенія, новой организаціи труда, новаго устройства кредита, новаго полета науки, новаго подтема торговли. Словомъ, необходимы новыя территоріи, новыя общества, новыя эпохи. Но разъ, что они наступаютъ, жить имъ больше дѣйствительно не чѣмъ, какъ этимъ. Тогда-то и банкиры взойдутъ на ту высоту положенія, къ какой Контъ готовилъ ихъ уже сегодня. Мысль же, будто бы поставленный въ самомъ началѣ исторіи идеалъ неосуществимъ для нея никогда; теорія Мальтуса, что урна изобилія навсегда несоизмѣрима съ числомъ ртовъ; система Прудона, по которой мыслимо равенство лишь евангельской бѣдности, все это суть положительныя ошибки. Ошибки эти обязаны, во первыхъ, наблюденію фактовъ на слишкомъ тѣсныхъ пространствахъ мѣстъ и времени. Если бы мыслители эти приняли на видъ, что во времена агаміи человѣчество населяло землю несравненно рѣже и питалось несравненно хуже, чѣмъ теперь, а что теперь, когда оно стало неизмѣримо гуще, оно живетъ, однакожъ, неизмѣримо привольнѣе; то они, конечно, остановились бы на самомъ порогѣ своихъ изысканій, и въ ошибки свои не впади бы. Ошибки эти обязаны, во вторыхъ, наблюденію исключительно съ точки зрѣнія почвы и капитала, съ точки зрѣнія эмпирическаго искусства и естественной науки, съ точки зрѣнія распределенія законодательнаго или лже-торговаго, словомъ, съ точки зрѣнія прошедшихъ и текущихъ условій общежитія. Но еслибъ они допустили мысль, что возможны и даже необходимы въ будущемъ совсѣмъ новыя основы этого общежитія, то всеобщій и равный достатокъ, если не богатство, не показались бы имъ ничѣмъ утопическимъ. Все это не отрицаетъ, конечно, возможности и даже необходимости для нашихъ обществъ вѣка относительно демократическаго, гдѣ должны истощаться всѣ палліативныя средства въ духѣ будущаго идеала, какъ и римскіе императоры не переставали облегчать участь рабовъ, никогда, однакожъ, не смѣя и подумать о самомъ освобожденіи ихъ. Но демократизмъ абсолютный не по плечамъ абсолютнымъ тимократіямъ. Возможна, на примѣръ, цѣлая сѣть такихъ предпріятій, какъ податныя реформы, дешевые банки, благотворительныя пріюты, фабричныя законодательства, эмеритальныя кассы, страхованія отъ увѣчій и т. п.; но все это будутъ только разсѣянные элементы будущей организаціи, пристроенныя къ прежней, а никакъ не новая и основная организація. Демократическія заплаты на прорѣхахъ тимократіи не произведутъ еще демократической конструкціи общества. — Наконецъ, заглядывая въ распределеніе еще болѣе отдаленное, въ распределеніе международной, космополитической конструкціи человѣчества, можно догады-

ваться, судя по предыдущему, только объ одной чертѣ. Если предыдущая исторія перепробовала и систему потребленія, и всѣ системы производительныхъ силъ (почвы, капитала, труда); то для международнаго обществѣ остается лишь система *обращенія*, циркуляціи богатствъ. Геній производительности долженъ къ тому времени изсякнуть; остаются только пассивныя экономическія функціи. Съ другой стороны, послѣдній вопросъ распределенія есть вопросъ не существа его, а формы, вопросъ быстроты его, легкости, удобства; отсюда опять интересъ и потребность по преимуществу обращенія. Такова, по нашему, исторія распределенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и вся исторія экономической политики.

Говорить о политикѣ политической, о творчествахъ идеальныхъ, а не матеріальныхъ, говорить о творчествахъ, а не о производствахъ, значить слѣдить, какое изъ нихъ дѣйствовало съ особеннымъ напряженіемъ въ ту или другую эпоху. Но аристократическая государственность въ этомъ отношеніи почти не допускаетъ ошибки: до такой степени родъ ея творчества явенъ. Довольно спросить, гдѣ помѣстилась лабораторія всѣхъ религій міра, чтобы идеальная политика древности выступила наружу, со всею очевидностью. Наслѣдовавъ отъ патріархата только фетишизмъ, т. е. самый первый только зародышъ религіозныхъ системъ, аристократическое государство отдалось этому творчеству съ такой интенсивностью, что истощило его до конца, не оставивъ продолжателямъ своимъ ни малѣйшаго мѣста на этомъ поприщѣ. Брамаизмъ, маздеизмъ, мованизмъ, классическій паганизмъ, буддизмъ, христіанство, самый даже исламизмъ, и тотъ созданъ на самомъ рубежѣ арабскаго патріархата и арабскаго государства, такъ что даже послужилъ первымъ основаніемъ этого послѣдняго. Всѣ роды и виды какъ политеизма, такъ и монотеизма ведутъ, значить, начало свое изъ государственныхъ организацій аристократическихъ, и ни одинъ родъ или видъ не ведетъ его отъ тимократической структуры. Согласно съ этимъ и всѣ законодатели, какъ древняго востока, такъ и древняго запада, были каждый разъ никто иной, какъ пророки, основатели религій, учредители культовъ, и иногда даже сами боги, какъ богъ или царь Таотъ въ Египтѣ, Ману и Будда въ Индіи, Зердушта въ Мидіи и Персіи, Моисей въ Палестинѣ, Миносъ на Критѣ, Ликургъ въ Спартѣ, Солонъ въ Аѣнахъ, Нума Помпилій въ Римѣ, Магометъ въ Аравіи, всѣ дѣйствовавшіе болѣе или менѣе боговдохновенно, или, по крайней мѣрѣ, чрезъ оракула дельфійскаго или нимфу Эгерію. Согласно съ этимъ

и всѣ законодательства такихъ законодателей были гораздо болѣе духовныя, чѣмъ свѣтскія, болѣе вѣроученія, чѣмъ законодательства, потому что всѣ они заключали въ себѣ прежде всего догматы вѣрованій, описаніе священныхъ обрядовъ, правила жертвоприношеній, очищеній, омовеній, а равно также священные пѣсни, гимны, молитвы. И только мимоходомъ прибавляются, при этомъ, нѣкоторые свѣтскія распоряженія. А согласно со всѣмъ этимъ и всѣ правительства аристократическія, не смотря на то, были ли они духовныя (теократіи) или же свѣтскія, поставляютъ себѣ въ неизмѣнный долгъ прежде всего протекціонизмъ религіозный. Какъ ни яро уже изъ этого выступаетъ характеристика аристократической политики, но сравненіе съ другими элементами можетъ сдѣлать ее еще явственнѣе. Если съ религіознымъ творчествомъ всей древней государственной полосы сравнить ея же творчество философское и потомъ научное, то философское окажется и запоздалымъ, и мѣстнымъ, и не популярнымъ, научное же—и вовсе почти несуществующимъ, развѣ подъ конецъ древняго міра, въ Александрію, т. е. скорѣе, какъ залогъ будущаго, чѣмъ символъ прошедшаго. Съ другой стороны, если всему цивилизаціонному творчеству древности противопоставить все культурное, въ особенности правовое, то опять окажется, что между ними нѣтъ никакой параллели. Идеи, не только религіи, но даже древней философіи и самой науки древней, живы и до сихъ поръ; что же касается обращенія этого сырого матеріала въ обработанный, въ идеалы общежитія, въ право, въ законъ, то, какъ извѣстно, преданія наши о томъ не восходятъ дальше римскаго права. Вся же предшествовавшая Риму древность не оставила намъ почти ничего въ этомъ отношеніи въ наслѣдство, такъ что, не будь Рима, мы принуждены были бы начинать дѣло культуры почти съизнова. Словомъ, это вѣкъ только приживанія еще права къ религіи, когда оно и не думало еще жить иначе, какъ подъ ферулой вѣры. И такъ, можно, кажется, смѣло утверждать, что аристократическая формація характеризуется, по преимуществу, политикою цивилизаціи, но не культуры, а въ цивилизаціи въ особенности политикою *вѣры*. Совсѣмъ другая картина рисуется въ политикѣ тимократій. На этотъ разъ религіозная складка почти вовсе пропадаетъ изъ законодательствъ, даже во время относительнаго аристократизма ихъ. Самые древніе кодексы романскіе,

германскіе, славянскіе, какъ салійскій и рипуарскій законъ, какъ зеркало швабское или саксонское, какъ капитуляріи Карла или Русская Правда, не носятъ на себѣ ни малѣйшаго слѣда теократичности, и всѣ оказываются чисто свѣтскими. Теократичность отдѣлилась здѣсь, правда, въ особый каноническій законъ; но самая теократичность его уже не та, что древняя—она ограничивается церковностью, опускаетъ всю теологичность. Нужно ли добавлять, что новыхъ религій она и не думала производить. Если цивилизація чѣмъ-либо обязана тимократіямъ, то, конечно, скорѣе философскимъ, скорѣе научнымъ, но никакъ не религіознымъ творчествомъ. Къ этой отрицательной чертѣ различія прибавляется болѣе существенная, положительная. Искать ее надо не въ философіи, не въ наукѣ, и вообще не столько въ цивилизаціи, сколько въ культурѣ. Римъ, какъ сказано, подалъ намъ въ этомъ отношеніи только точку отправления, совершенно также, какъ патріархатъ подалъ ее аристократическому государству въ своемъ фетишизмѣ. А мы, совершенно также, какъ древнее государство, развили поданную намъ нить во всѣхъ направленіяхъ. Не смотря на все скромное благоговѣніе нашихъ юристовъ предъ римскимъ правомъ, можно осмѣлиться утверждать, что сами они сдѣлали несравненно больше, чѣмъ получили, сдѣлали столько же, какъ всѣ остальные религіи въ отношеніи къ фетишизму. Въ самомъ дѣлѣ, Римъ заимствовалъ имъ изъ всѣхъ возможныхъ правъ только одно первоначальное, т. е. частное право или, еще точнѣе, гражданское. Сами же они уже и до сихъ поръ успѣли прибавить къ нему, во-первыхъ, уголовное, во-вторыхъ государственное и въ третьихъ международное, не говоря уже о неслыханномъ до того развитіи философіи права и о сборахъ къ переходу въ самую науку права. Мало того, они похозяйничали даже въ самомъ частномъ правѣ, этомъ удѣлѣ Рима, и похозяйничали на столько, что внесли въ него цѣликомъ новое частное право, торговое. И ни изъ чего не видно, чтобы развитіе это не имѣло еще и длиннаго будущаго. И такъ, тимократіею основаны и развиты всѣ роды и виды права, какіе только возможны въ культурѣ. Какъ древнее государство создало всѣ культы, кромѣ фетишизма, такъ новое—всѣ кодексы, кромѣ одной половины гражданского. Тимократія соединяетъ въ себѣ, слѣдовательно, такой же узелъ, такой же пучекъ всѣхъ правъ, какъ аристократія—пучекъ всѣхъ вѣрованій. Кромѣ того, тимократическое право живетъ уже

своей собственной жизнью, независимо ни отъ чего другого. Святость закона тимократическаго не нуждается болѣе ни въ какой посторонней санкціи; она достаточно сильна и сама по себѣ, не приурочиваемая къ вѣрѣ; она не нуждается болѣе въ эгидѣ религіозной, въ святости, заимствованной отъ сосѣдства съ догмою. Короче, и количественное, и качественное развитіе вполнѣ знаменуютъ собою вѣтъ рѣшительнаго выживанія права, вмѣсто древняго лишь приживанія его къ вѣрѣ; такъ что священный ужасъ современнаго юриста предъ этимъ приживаніемъ похожъ на дѣйствія того жреца, который, давно умѣя извлекать огонь мгновенно и разными способами, предпочитаетъ, однакожъ, добывать его посредствомъ тренія дерева о дерево. Такое выживающее состояніе права даетъ чувствовать себя и всѣми другими путями. Такъ, по замѣчанію еще Конта, легисты наши, начиная даже съ среднихъ вѣковъ, возвысились уже на самую поверхность созидавашагося тогда средняго класса, гдѣ и составляли они большинство всѣхъ *ennoblis*, а именно *noblesse de robe*. Они всегда давали и продолжаютъ давать до сихъ поръ лучшихъ государственныхъ людей Европы. Адвокатская и судейская профессія ведутъ лучше всѣхъ другихъ къ политической карьерѣ. Юристы необходимы промышленникамъ, какъ правая рука; отсюда новое ихъ значеніе и новое право на богатство въ тимократической средѣ. Чѣмъ былъ въ древности жрецъ, знатокъ законовъ божескихъ, тѣмъ есть теперь юристъ, специалистъ законовъ человѣческихъ. Съ другой стороны, въ обществѣ, гдѣ единственное дѣйствительно достигнутое равенство есть равенство политическое, равенство правъ, равенство *de jure*, такъ называемое равенство передъ закономъ, не только промышленникъ, но и всякій гражданинъ, рѣже или чаще, но непремѣнно нуждается въ юристѣ, и непремѣнно хватается за эту единственную для него вѣтку спасенія. Отсюда гораздо большее распространеніе знакомства съ правомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, гораздо большее чувство законности и незаконности. Идея закона, духъ законности есть своего рода знамя тимократіи, подъ которымъ шествуетъ въ наши времена всякая рать прогресса противъ твердынь беззаконія и произвола. Всѣ междоусобія послѣднихъ временъ, всѣ революціи, всѣ конституціонныя движенія, все это суть боренія во имя законности и беззаконій. Самыя войны предпринимаются нынче не во имя боговъ, а во имя нарушеннаго права, во имя справедливости; такъ что

право, справедливость сдѣлались такимъ же двигателемъ массъ, какъ во времена оны была вѣра. Самый Римъ зналъ и почиталъ законность только въ частномъ правѣ; но онъ ставилъ ее ни во что въ государственномъ и тѣмъ болѣе въ международномъ. Изъ всего этого слѣдуетъ, что едва ли можно вѣрнѣе характеризовать политику тимократіи, какъ по преимуществу культурною, и, еще точнѣе, правовую, политикою *права*. Чтобы выслѣдить въ современномъ строѣ будущую наслѣдницу ей, надо искать явленіе, наиболѣе удачно приживающееся къ господствующему. А чтобы отыскать это явленіе, надо спросить, гдѣ наше право находить, хотя отъ времени до времени, соперника себѣ, хотя бы слабого, не оперившагося и даже приспособляющагося къ нему, но иногда и опаснаго уже? Конечно, не въ религіи, не въ союзной съ правомъ философіи, и не въ отсутствующей наукѣ права; еще менѣе въ методѣ, въ искусствѣ или въ самомъ же правѣ. Философія и наука, также какъ методъ и искусство, никогда не могутъ приобрѣтать той популярности надъ умами, какая необходима для пружины, способной двигать массами. Такими пружинами не только были, но и могли быть до сихъ поръ, только вѣра и справедливость. Единственнымъ же возможнымъ въ будущемъ соперникомъ праву остается развѣ лишь назрѣвающее, подъ его же собственною эгидою, общественное мнѣніе, общественная совѣсть. Это есть единственная, хотя младенческая, но уже сила, передъ которою дѣйствительно принужденъ иногда уступать и самый законъ, самое право. Такъ, Пруссія, въ виду общественного мнѣнія Европы, отступила передъ войною съ Невшателемъ, хотя въ другой разъ и не отступила передъ войною съ Даніей. Такъ, Викторъ-Эммануиль, въ виду общественной совѣсти Италіи, отступился отъ вполнѣ законнаго уголовнаго приговора надъ Гарибальди. Такъ, судъ Линча въ Америкѣ есть постоянно терпимое попираніе закона, во имя непосредственной общей совѣсти. Вообще, общественное мнѣніе и органъ его, пресса, уже и теперь начинаютъ слыть то четвертою государственною властью, то шестою изъ великихъ державъ. Съ другой стороны, природа самого права въ томъ именно и состоитъ, чтобы обращаться со временемъ въ нравы, инкорпорироваться въ простые инстинкты. Такъ, всякій законъ противъ людоедства, противъ человѣческихъ жертвъ былъ бы совершенно празднымъ, когда онъ давно уже обратился въ привычку. Такъ, въ высшемъ изъ своихъ проявленій, въ правѣ между-

народномъ, законъ и всегда отождествляется съ правомъ или, лучше сказать, всегда на столько лишь законъ, на сколько онъ освящается и гарантируется существующими правами. А потому, когда творчество правъ станетъ приходить въ концу, когда большинство ихъ успѣетъ уже обратиться въ нравы, весьма естественно, что къ нимъ же должно переходить и руководство политикою. И такъ, новая политика, единственно свойственная демократическому строю общежитія, есть, по всей вѣроятности, только политика гражданственности, политика *нравовъ*. Общественная совѣсть совершенно также способна смѣнить собою весь законъ цѣликомъ, какъ самый законъ могъ собою замѣстить весь завѣтъ, и также управлять дѣйствіями, какъ тѣ управляли идеями и чувствами. Нравы, будучи осадкомъ всѣхъ инкорпорированныхъ раньше цивилизацій и культуръ, могутъ стекаться и нейтрализоваться всѣ только въ демократіяхъ, какъ въ аристократіяхъ стекались и нейтрализовались всѣ культы, а въ тимократіяхъ всѣ кодексы. Здѣсь оставляютъ свой слѣдъ и нравы аристократическіе, и нравы тимократическіе, не только собственно демократическіе; здѣсь воплощается и система совѣсти божественной, и система человеческой писанной, и наконецъ, система живой, неписанной совѣсти.

Международная политика, или внѣшняя, въ противоположность внутренней, есть двоякая: мирная и военная. Прежде изложенія, однакожъ, той или другой изъ нихъ, важно сознать самое отношеніе между ними по исторіи, ихъ взаимную пропорціональность на каждомъ мѣстѣ и въ каждое время. Внѣшняя политика беретъ начало свое въ самыхъ патріархатахъ, гдѣ она имѣетъ, количественно, даже самое обширное мѣсто для примѣненія, т. е. самую обширную площадь примѣненія. Дѣйствительно, пока не существуетъ ничего, кромѣ родовыхъ общинъ,—промежутковъ между ними, а слѣдовательно, и мѣстъ примѣненія для внѣшней политики такое множество, что она дѣлается такою же ежечасною, ежеминутною, какъ и политика внутренняя. Но съ наступленіемъ племенныхъ союзовъ, т. е. съ исчезновеніемъ родовыхъ промежутковъ, тысячи площадей примѣненія отходятъ изъ внѣшней политики во внутреннюю, и первая на столько же сокращается. Съ водвореніемъ новыхъ соединеній, народныхъ и государственныхъ, кругъ внѣшнихъ отношеній суживается еще болѣе, они дѣлаются еще рѣже. И такъ продол-

жается, и будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока государства не перестанутъ увеличиваться въ объемъ. Но, сокращаясь количественно, внѣшняя политика постоянно разрастается качественно. Съ каждымъ новымъ шагомъ въ организаціи, внѣшнія соприкосновенія этихъ организацій, возникая не такъ часто, становятся за то, такъ сказать, гуще, сочинѣе, разнообразнѣе, интенсивнѣе. Вотъ это-то разнообразіе и составляетъ все содержаніе исторіи этой политики. Амфиктіонскій характеръ внѣшней политики состоитъ въ *хроничности войны*. Періодъ этотъ знаменуется тѣмъ, что мирной внѣшней политики совсѣмъ почти нѣтъ, а есть только одна военная, гдѣ дерутся за каждый кусокъ пищи, за каждое дупло, за каждую женщину; такъ что амфиктіонизмъ о томъ только и хлопочетъ, чтобы прервать хоть на минуту ежедневное состояніе войны. Амфиктіонская политика есть политика рѣдкихъ и краткихъ перемирій въ хроническомъ военномъ бытіи. Отсюда всегда провозглашеніе перемирія, при всѣхъ такихъ внѣшнихъ степеніяхъ, какъ праздники въ Бенаресѣ или Элморѣ, какъ олимпійскія игры въ Греціи, какъ средневѣковой миръ божій, *treuga Dei*, какъ дни богослуженій и какъ королевскій миръ Людовика святого на сорокъ дней послѣ причиненной обиды. Эти дни мира были въ то же время и единственными днями торговли, ярмарокъ, въ патріархальной политикѣ. Гегемоническая политика различается, по тремъ государственнымъ организаціямъ, слѣдующимъ образомъ. При деспотической организаціи гегемонизма, политика его состоитъ въ *преобладаніи войны* надъ миромъ. Состояніе войны было въ древнемъ государствѣ такимъ преобладающимъ фактомъ, что самую исторію народовъ тамъ понимали лишь какъ военную исторію. Величайшіе историки древности суть историки войнъ. Храмъ Януса въ Римѣ, въ теченіи 500 лѣтъ республики, имѣлъ случай закрываться всего два или три раза. Дѣло сложилось такъ, что чѣмъ больше кто воевалъ и побѣждалъ, тѣмъ больше обезпечивался миръ. И это потому, что государство, приобрѣтавшее деспотическую гегемонію, одно только могло сдерживать военные порывы всѣхъ прочихъ, могло обуздывать ихъ однимъ тяготѣніемъ своимъ, однимъ вѣскимъ словомъ или посредничествомъ, и тѣмъ увеличивать минуты перемирій. Такъ дѣйствовали персы между греческими государствами до персидскихъ войнъ, аэиняне или спартанцы между союзниками своими, македоняне между греками, римляне между всѣми народами. А по мѣрѣ уве-

личенія такихъ минутъ, увеличиваются и безопасныя мирныя сношенія между народами, въ видѣ по преимуществу торговыхъ; причемъ господствующее государство иногда и прямо тому способствуетъ, какъ, напримѣръ, Римъ въ своей пиратской войнѣ, освободившей моря отъ грабителей. Если древній міръ достигъ когда-нибудь преобладанія мира надъ войною, то лишь тогда, когда онъ весь почти завоеванъ былъ Римомъ. Въ тимократической формациі хотя гегемонизмъ не прекращается, но, становясь конституционнымъ, ограниченнымъ великими державами, онъ влечетъ за собою и существенное видоизмѣненіе международной политики. Весьма характерны въ этомъ отношеніи идея политическаго равновѣсія и идея нейтральныхъ государствъ. Это, такъ сказать, равновѣсіе мира и войны. Пять или шесть наиболѣе крупныхъ и наиболѣе равносильныхъ державъ, во первыхъ, сдерживаютъ вліяніемъ своимъ всѣ малыя, такъ что война Даніи, Голландіи, Бельгіи, Швейцаріи, Сербіи, Румыніи, Болгаріи между собою въ наше время почти немыслима. Возникли такимъ образомъ, такъ называемыя, вѣчно нейтральныя государства, постоянныя площади мира,—явленіе, въ древности небывалое. Во вторыхъ же, и сами большія государства держатъ постоянно настороженные уши противъ каждаго изъ собственной своей среды, постоянно имѣютъ въ виду не давать слишкомъ усиливаться ни одному изъ нихъ, группируются для этой цѣли въ безпрестанные союзы, союзы не военные, а мирные, съ цѣлью предотвращенія войны и между ними самими. Конечно, первенствующее изъ числа ихъ имѣетъ всѣ шансы въ тому, чтобы найти себѣ союзниковъ болѣе и скорѣе, чѣмъ кто бы то ни было; но такая свита гегемонствующаго государства тѣмъ несомнѣннѣе толкаетъ къ союзу всѣхъ невошедшихъ въ нее, тѣмъ постояннѣе вызываетъ оппозицію противъ себя, которая, во всякомъ случаѣ, не можетъ не сдерживать силу отъ злоупотребленій. Древность знала союзы случайные и, при томъ, исключительно для войны; но она не понимала союзовъ систематическихъ, союзовъ мирныхъ, союзовъ единственно для противовѣса, этихъ заговоровъ противъ международнаго преобладанія. Для теперешняго государства изолированіе его среди народовъ разсматривается какъ бѣда, какъ неудачная политика; въ древности же оно было нормальнымъ состояніемъ государства. Этой постоянной игрой соперничества, игрой союзничества, игрой въ равновѣсіе и дѣйствительно достигаются такіе результаты, какимъ былъ, напримѣръ,

всеобщій европейській миръ въ теченіи цѣлыхъ сорока лѣтъ, съ 1815 по 1853 годъ (явленіе также въ древности безпримѣрное), или какимъ есть' состояніе мира въ Новомъ Свѣтѣ. Въ особенности текущая минута представляетъ едва ли не идеальную кульминаціонную точку такого равновѣсія между миромъ и войною, потому что девизъ ея: *si vis pacem, para bellum*. А чѣмъ больше такого мира, хотя бы и ежеминутно готоваго къ войнѣ, тѣмъ больше растутъ, конечно, и международныя торговля, промышленныя, правовыя, интеллектуальныя, нравственныя и всякія инныя сношенія. Это политика перемирія, политика нейтралитетовъ, политика *вооруженнаго мира*. Что же надо ждать, при такомъ направленіи событій, отъ политики демократическихъ организацій, гдѣ предположены нами еще болѣе крупныя организаціи соціальныя, чѣмъ теперь, и гдѣ гегемонизмъ предполагается лишь диктаторскій и демократическій? Само собою просится въ мысль *преобладаніе мира* надъ войною. Такая политика дважды и даже трижды есть послѣдствіе предположенныхъ организацій. Во первыхъ, большія государства предполагаютъ и большія площади мира, такъ же точно, какъ мало, напротивъ, площадей для войны. Во вторыхъ, голосъ среднихъ и малыхъ государствъ посреди большихъ непремѣнно склоняется въ пользу мира, и если онъ сумѣетъ пріобрѣсти вѣсъ, то однимъ шансомъ за миръ еще больше. Да и вообще, чѣмъ больше токовъ международного вліянія, тѣмъ вѣрнѣе и чаще нейтрализуютъ они другъ друга. Но отчего же, въ третьихъ, не предположить, при такихъ условіяхъ, полного постоянного мира?.. Оттого, что, какъ бы ни былъ высокій строй передовыхъ организацій человѣчества, но рядомъ съ ними всегда могутъ и всегда должны оставаться отсталыя. При государствахъ демократическихъ могутъ коченѣть тимократическія, какъ теперь, при нашихъ тимократіяхъ, живутъ цѣлыя матеріи аристократій и даже патріархатовъ. А потому если бы даже и допустить, что война между абсолютными демократіями немислима, то она все-таки останется возможною и не рѣдко необходимою между ними и всѣми другими культурами. Иначе надо было бы подумать, что какому-нибудь новому Аттилѣ или Чингисхану со временемъ предоставлено будетъ свободно разрушать всякую высшую цивилизацію, культуру и гражданственность, и что эти послѣднія, ради самой высоты своей, не позволяютъ себѣ защищаться. Коль скоро же это недопустимо, то и самыя высшія изъ соціальныхъ организацій

должны будут держаться всегда на-готовѣ и никогда не терять всѣхъ, выработанныхъ исторіею, средствъ самосохраненія и защиты. Впрочемъ, и помимо этого, крупныя и высокія организаціи, до тѣхъ поръ пока ихъ нѣсколько, а не одна, исключаютъ только частую и легкомысленную войну, но не исключаютъ самой возможности войны между ними. Всегда, при всякомъ положеніи ума и сердца человѣческаго, найдутся интересы, слишкомъ священные для того, чтобы махнуть на нихъ рукою во имя чего бы то ни было. И наоборотъ, никогда не можетъ найтись такого международнаго судьи или суда, который былъ бы сильнѣе всякихъ международныхъ подсудимыхъ. И такъ, полный миръ, *хроничность мира*, эта золотая мечта человечества, съ тѣхъ поръ какъ мечтать оно начало, можетъ осуществиться не иначе, какъ при единствѣ человѣческой организаціи, т. е. въ концѣ всей исторіи, когда будетъ вочеловѣчено все человечество. Тогда только мирная политика, начавшись нулемъ, окончится цѣлымъ числомъ; а военная, начавшись цѣлымъ, окончитъ нулемъ. — Переходя теперь, въ частности, въ исторіи мирной политики, надо замѣтить, что, по существу своему, это всегда политика пропаганды. Международность, какъ бытіе неорганическое, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ и долго еще напередъ, производить, творить ничего не можетъ. Она можетъ только разносить, только популяризировать то, что произведено органическими социальными тѣлами, т. е. семьями, родами, племенами, народами, государствами, аристократіями, тимократіями, демократіями. Отсюда мирная внѣшняя политика есть только пропаганда всякой внутренней, т. е., съ одной стороны, пропаганда ея производства, съ другой—пропаганда ея творчества. Какъ пропаганда производства, внѣшняя политика амфиціонской международности или, что тоже, между-патріархальной есть обыкновенно *армарочная*, т. е. та, гдѣ покупатель ищетъ продавца, а продавецъ покупателя, и гдѣ они находятъ другъ друга только въ извѣстное время и только въ извѣстномъ мѣстѣ. Въ гегемонической международности, т. е. въ междугосударственной, армарочная политика смѣняется *транзитною*, гдѣ продавецъ самъ придвигаетъ свой товаръ къ потребителю. Разница же этой политики по всѣмъ тремъ формаціямъ государствъ состоитъ, и можетъ состоять, лишь въ различной степени этого придвиганія. Аристократическая формація допускала лишь ту степень транзитности, какая доступна для сухопутныхъ сообщеній и для прибрежныхъ: это—политика *караванная* и

каботажная. Тимократическая формація допустила ту, которая не останавливается ни предъ однимъ океаномъ: это—*морская* политика. Демократическая же должна не только обеспечить высшую степень и той, и другой, и сухопутной, и морской, но, быть можетъ, овладѣть даже еще одною, новою стихіей, какъ средствомъ еще болѣе безпрепятственныхъ сообщеній,—воздухомъ: такъ что это была бы, въ такомъ случаѣ, политика *воздухоплавательная*. Наконецъ въ федерализмѣ, въ симмахизмѣ, необходимо предположить повсемѣстно и всегда готовое предложеніе, т. е. политику *складочную*. — Пропаганда творчества есть распространеніе своихъ идей. Македонская, напримѣръ, была эллинизацией, римская—романизацией, французская—франкизацией, германская есть германизация. И если, при этомъ, есть между всѣми такими политиками разница, то это, очевидно, разница соотвѣтственныхъ имъ творчествъ, разница того, что произведено ими внутри, что выработано дома. Такимъ образомъ, патріархальный міръ на всѣхъ ступеняхъ своихъ могъ пропагандировать не что иное, какъ идеалы родства; это политика *генетизма*. Государственно-аристократическій пропагандировалъ своей внѣшней политикой свою вѣру, боговъ своихъ,—политика *прозелитизма*. Тимократическій пропагандируетъ теперь свое право, свои учрежденія,—политика *легитимизма*. Демократическій же можетъ пропагандировать только свои нравы, свое общественное мнѣніе,—свой *гуманизмъ*. Всякая изъ этихъ политикъ не вымираетъ, конечно, при всякой послѣдующей, но всякая постороняется предъ нею и, такъ сказать, мѣняетъ фронтъ, а именно: изъ официальной она дѣлается партикулярною, изъ правительственной общественною. Генетизмъ, при прозелитизмѣ, изъ заповѣдей переходитъ въ нравы; прозелитизмъ, при легитимизмѣ, изъ воинственнаго обращается въ миссіонерскій; легитимизмъ, при гуманизмѣ, изъ дипломатическаго долженъ перерождаться въ домашній. Короче, явленіе культуры обращается потомъ въ явленіе гражданственности.—Какъ мирная внѣшняя политика всегда стремится обратить свое въ чужое, такъ военная—чужое въ свое. Цѣль этой послѣдней политики всегда усилить себя на счетъ другихъ не только нравственно, но и матеріально. Разница же при этомъ выходитъ только та, что каждая формація государствъ старается усилить себя тѣмъ, что въ ней считается главнымъ источникомъ богатства. А потому древняя война ведется исключительно изъ-за приобрѣтенія новыхъ территорій, *завоеванія земель*. Это есть единственное средство какъ

уравненія богатствъ въ средѣ аристократій, такъ и самого расширенія круга ихъ. Чѣмъ больше земли, тѣмъ больше можетъ быть и землевладѣльцевъ, и тѣмъ лучше всѣ они могутъ быть надѣлены. Тимократическая война нѣсколько видоизмѣняетъ свой идеалъ. Не отказываясь, при случаѣ, и отъ земель (особенно въ относительно аристократическихъ фазисахъ), чистая тимократія привноситъ къ нимъ, и даже часто предпочитаетъ имъ, открытіе новыхъ рынковъ, мѣстъ новаго сбыта или новаго предложенія, заведеніе колоній и факторій, заключеніе торговыхъ договоровъ и даже просто полученіе контрибуцій, словомъ—*завоеваніе капиталовъ*. Все это одно только способно удовлетворить тотъ классъ, который властвуетъ въ тимократіяхъ. Отсюда военная политика демократической формации должна еще нѣсколько измѣнить направленіе войны, а именно въ пользу спроса на трудъ, разширенія кредита, возвышенія заработной платы, эмиграціи излишковъ населенія и т. п., короче—*завоеванія работъ*.— Не менѣе характеристична для военной политики исторія средствъ ея. Въ патріархальныхъ организаціяхъ лучшимъ и даже единственнымъ такимъ средствомъ бываетъ величина воюющей массы, количество воиновъ, *число*. Всѣ памятные движенія кочевыхъ полчищъ основаны были именно на ихъ скопленіи, на массивности. Среди аристократій совершеннѣйшимъ изъ такихъ средствъ почитается не количество, а качество воиновъ, ихъ тѣлесная *сила* и *ловкость*. Это явно, во первыхъ, изъ той роли, какую древніе придаютъ охотѣ, гимнастикѣ, атлетическимъ играмъ, какъ способу военного воспитанія государствъ. А во вторыхъ, это явствуетъ и изъ организаціи войска. Въ патріархатахъ войскомъ бывалъ весь народъ, все племя; въ аристократіяхъ же войско выдѣляется изъ народа въ особый органъ, въ военную касту или сословіе, такъ что функція войны выдѣляется и специализируется между всѣми другими функціями. Но гдѣ же она выдѣляется и специализируется? не въ низшемъ или среднемъ ряду населеній, а только въ высшемъ, т. е. въ томъ, который имѣетъ задатки наилучшаго физическаго развитія, и томъ, который одинъ только имѣетъ досугъ для гимнастическаго воспитанія. Этими именно способами Греція создала войну какъ искусство, а Римъ сдѣлался величайшимъ въ древности специалистомъ этого искусства. У тимократовъ сила и ловкость отживаетъ свой вѣкъ, и начинаетъ выживать *вооруженіе*. Физическія свойства воиновъ перестаютъ имѣть первенствующее значеніе, когда чуть не ежедневно слѣдуютъ другъ за другомъ такія изобрѣтенія,

какъ порохъ, огнестрѣльное оружіе, усовершенствованіе метательныхъ механизмовъ, умноженіе взрывчатыхъ веществъ и т. п., словомъ, вся система наступательнаго и оборонительнаго оружія. При такомъ развитіи этой системы, природныя свойства война отходятъ на задній планъ, а на передній выступаетъ вооруженіе его. Чѣмъ лучше вооружена армія, или, что выходитъ на то же, чѣмъ лучше за спиной у нея промышленность, тѣмъ нынче она и компетентнѣе для своего дѣла. По этому и наборъ воиновъ въ той или иной средѣ населеній теряетъ отнынѣ свое значеніе, и войско становится снова общенароднымъ. Величайшимъ же специалистомъ демократической войны обѣщаетъ сказаться не Франція и даже не Германія, а только Россія, гдѣ храмъ Януса закрывается также рѣдко, какъ и въ Римѣ, и гдѣ, по выраженію одного изъ ея воиновъ, всегда въ какомъ-нибудь углу дерутся, если не en gros, то, по крайней мѣрѣ, въ раздробъ, по мелочамъ. Отсюда сама собою обрисовывается судьба будущихъ демократій. Если землевладѣльческое общество воюетъ изъ-за физической природы (мертвой) и физической же природою (живою); если капиталистическое воюетъ изъ-за промышленныхъ интересовъ и промышленными же средствами: то организаціи трудовыя, воюющія за интересы труда же, могутъ и воевать только средствами того же труда, и прежде всего интеллектуальными. Отсюда наибольшее выживаніе самого *искусства* военнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, того, что нынче называется *одиночнымъ развитіемъ* солдата. Наконецъ, абсолютный космополитизмъ не допускаетъ ни цѣлей, ни средствъ военныхъ: отсюда забвеніе и самаго искусства войны.

Такова исторія политики. А на сколько совпадаетъ она съ исторіей организацій, и естественно ли совпадаетъ, — пусть рѣшаетъ читатель.

П Р А В О.

Исторію организацій и исторію политики, собственно говоря, исчерпывается та исторія, которая слыветъ подъ именемъ политической. Но дѣло въ томъ, что есть еще область, изъ которой, и при томъ гораздо обильнѣе чѣмъ до сихъ поръ, могутъ быть черпаемы какъ подтвержденія, такъ и опроверженія всякой гипотезы, подобной нашей: это—исторія права, юридическая исторія. Съ дру-

гой стороны, право есть самый продукт соответственной организации и политики, такъ что безъ него нѣтъ дѣйствительной исторіи и тѣхъ. Въ качествѣ этого органическаго продукта культуры, право самымъ скрупулезнымъ образомъ отражаетъ въ себѣ и всякую социальную организацію, и всякую социальную политику. А потому совпаденіе или несовпаденіе исторіи права съ обѣими предыдущими несетъ въ себѣ даже самый рѣшительный приговоръ въ пользу или во вредъ гипотезы. И такъ, отъ собственно политической исторіи предстоитъ теперь перейти въ юридическую, и въ ней рассмотреть право патріархальное, государственное и международное.

ПАТРИАРХАЛЬНОЕ.

Право сильного и домашнее право.—Семейное и наслѣдственное.—Гражданское, уголовное и судебное.

Можно ли говорить о правѣ въ матриархальной эпохѣ, въ бытѣ агаміи и анархіи? Несомнѣнно, да. Если же тогдашнія проявленія права не вполне подойдутъ подъ нынѣшнія опредѣленія его, то это будетъ вина опредѣленій, а не проявленій. Но гдѣ есть совокупность нѣсколькихъ человѣкъ, тамъ есть и такая или иная дѣятельность ихъ и борьба, а слѣдовательно и необходимый продуктъ этой борьбы—право, какъ бы оно ни выражалось. Всякое право въ мірѣ, говоритъ Игерингъ, есть послѣдствіе борьбы. А всякое послѣдствіе борьбы, можно было бы перефразировать, есть право. Каждая статья въ каждомъ законодательствѣ есть своего рода трофей, символъ такой или иной культурной побѣды. А потому и въ бытѣ анархическомъ, матриархальномъ право должно уже существовать. Утверждать противное значило бы доказывать, что гдѣ-нибудь и когда-нибудь могутъ не существовать, напримѣръ, нравы, тогда какъ они присущи даже животнымъ. Уже пчела защищаетъ свой сотъ и свой улей, ласточка—свое гнѣздо и яйца, медвѣдь—свое логовище. А потому и во всякомъ сбродѣ людскомъ, каковъ бы онъ ни былъ, неотъемлемы, по крайней мѣрѣ, общеживотныя свойства, а слѣдовательно и проявленіе права. Нѣтъ здѣсь, конечно, такихъ правъ, которыя бы обезпечивались систематическимъ принужденіемъ, и все здѣсь зависитъ именно отъ того, найдется ли, за отсутствіемъ общей власти, такая принудительная сила на каждый случай или нѣтъ: если найдется—поведеніе окажется правомъ, не найдется—оно останется простымъ правомъ.

Но все-таки и то, и другое есть всегда и вездѣ. Мало того, патриархальное, доисторическое право, согласно плану всей нашей книги, заслуживаетъ даже преимущественнаго изученія, такъ какъ только изъ этого права должна отрываться единственно вѣрная точка зрѣнія на всю послѣдующую перспективу правъ. Излагая его, мы будемъ руководствоваться, въ особенности, превосходными сочиненіями Мэна по древнему праву, говоря очень часто даже его собственными словами. Хотя трудно, даже и при такомъ руководствѣ, указать точныя ступени въ развитіи патриархальнаго права; но нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, чтобы намѣтить въ немъ такіе моменты, которые болѣе или менѣе совпадали бы съ обозначенными выше фазисами организацій и политикъ. Еще же возможно указать съ несомнѣнностью, по крайней мѣрѣ, внутреннюю послѣдовательность въ развитіи этого права, т. е. убѣдиться, какія изъ его формъ предшествуютъ другимъ, и какія за другими слѣдуютъ. Нѣтъ, наприимѣръ, никакого сомнѣнія, что всякому иному правовому развитію безусловно предшествуетъ чисто животное право сильного. Оно-то, а не какое-либо иное, и есть правомъ въ матриархальномъ бытѣ. Единственное раздѣленіе людей, какое здѣсь существуетъ, есть только раздѣленіе природное, а не общественное, а именно: по поламъ, по возрастамъ и, наконецъ, по комплекціямъ. Женщина слабѣе уже потому, что она женщина, дитя—уже потому, что дитя; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ право силы и слабости опредѣляется состояніемъ мускуловъ и зубовъ. У австралийцевъ, гдѣ принято не искать никакого понятія о правдѣ, о справедливости, есть, однакожъ, по прямому свидѣтельству Эйра (у Лэбока), своего рода право: это—обладаніе физическою силою на столько, чтобы не бояться мести другого. Слова: хорошо и дурно—относятся тамъ только къ явленіямъ физическаго вкуса, да къ матеріальнымъ выгодамъ, но никогда не къ нравственнымъ дѣйствіямъ; а между тѣмъ и право, и нравственность своего рода все-таки существуютъ. Также точно и въ восточной Африкѣ совѣсть, по нашимъ понятіямъ, хотя и не существуетъ, а раскаяніемъ часто бываетъ лишь сожалѣніе о пропущенномъ случаѣ убійства или грабежа; но право и нравственность все-таки неразлучны съ человѣкомъ, потому что удачный разбой и грабѣжъ приносятъ тамъ почетъ и уваженіе, и чѣмъ они кровожаднѣе и жесточе, тѣмъ почтеннѣе и героичнѣе. Воровство, грабѣжъ и убійство суть добродѣтели также и у сѣверо-американскихъ сіу. Въ

пѣсняхъ этого сброда людей убійства воспѣваются, какъ высшія заслуги; живѣйшее стремленіе здѣшнихъ юношей есть получить, за лишнее убійство, лишнее перо на головной уборъ, и чѣмъ этихъ перьевъ больше, тѣмъ выше и слава. Число перьевъ каваду составляетъ формулярный списокъ и для папуаса на берегу Маклая: сколько перьевъ на головѣ, столько же убійствъ на вѣку. Но почему же такіе подвиги составляютъ здѣсь добродѣтель и героизмъ? Очевидно, потому же, почему и у животныхъ, потому что все это есть побѣда, есть превосходство въ физической силѣ: только въ этомъ качествѣ подобныя дѣянія способны фигурировать, какъ добродѣтель и героизмъ. И дѣйствительно, принципъ этотъ распространяется и на отношенія мира. Вся тенденція мирной системы австралійцевъ есть предоставить все сильному (и иногда старому), въ ущербъ всего слабому (и молодого). Лучшая пища, лучшіе куски мяса, лучшія животныя запрещены тамъ женщинамъ и дѣтямъ, и предоставляются исключительно мужчинамъ и старикамъ. Женщины считаются собственностью также сильнѣйшихъ и старѣйшихъ изъ мужчинъ, такъ что эти послѣдніе пользуются иногда двумя и тремя женщинами, тогда какъ на молодыхъ не хватаетъ ихъ и по одной. Посягательство на охоту тамъ, гдѣ охотится кто-нибудь сильнѣйшій, есть въ Австраліи опять правонарушеніе и, при томъ, такое, за которое расплачиваются иногда жизнью; тогда какъ, на оборотъ, убійство проходитъ иногда даромъ, если нѣтъ мстителя, или же оплачивается простымъ выкупомъ, если мститель на то согласенъ. У индѣйцевъ Гудсонова залива за обладаніе женщиной всегда дерутся, какъ у львовъ, и она, также какъ львица, всегда достается сильнѣйшему. То же видѣли мы и въ Австраліи. И такъ есть нѣчто, чему подчиняются всѣ дикари и въ состояніи мира; и это нѣчто есть именно законъ превосходства въ силѣ, право сильнѣйшаго. Сила, во всѣ эти времена до учрежденія бравы, есть единственная власть, единственное право, единственный режимъ всякаго порядка. Порядокъ этотъ есть еще чисто-натуральный, а не соціальный, но онъ все-таки порядокъ, и все-таки тотъ именно, изъ котораго возникаютъ потомъ и всевозможные чисто-соціальныя порядки. Право силы есть такое коренное и такое плодovitое изъ всѣхъ правъ, что всѣ остальные возникаютъ единственно изъ него и возникаютъ единственно путемъ перерожденій этого, какъ сейчасъ и увидимъ.

Одновременно съ правомъ сильного существуетъ повсюду и другое,

второе современный юристъ легче уже признаеть за дѣйствительное, хотя оно также ведеть начало свое изъ общеживотныхъ инстинктовъ. Спенсеръ остроумно замѣчаетъ, что маленькая собака, при встрѣчѣ съ большою, падаетъ навзничъ, какъ бы желая тѣмъ показать признание силы, вслѣдствіе которой она напередъ уже считаеть себя побѣжденною, въ знакъ чего и принимаетъ самое положеніе побѣжденной. Извѣстно, что такой маневръ болонки и дѣйствительно умилоствляетъ бульдога, вызывая въ немъ чувство пошады и снисходительности. Такое же точно движеніе души существуетъ и у дикихъ людей, гдѣ оно производитъ и результаты тождественныя. Самоанецъ выражаетъ ту же готовность подчиниться врагу, также падая предъ нимъ ницъ и держа въ рукахъ ножъ и охапку листьевъ, чѣмъ какъ бы говорить: зарѣжь меня, изжарь и съѣшь. И нѣтъ сомнѣнія, что этимъ онъ и дѣйствительно умилоствляетъ сильнаго врага и спасаетъ себѣ жизнь. У племени батока подобный обрядъ утвердился въ качествѣ привычнаго привѣтствія: бросаются на земь спиною и перекатываются съ боку на бокъ. Въ Тонга-Табу падаютъ предъ старшимъ ницъ, а ногу его ставятъ себѣ на шею. У малагазовъ на встрѣчу мужьямъ жены ихъ ползутъ на колѣняхъ и потомъ лижутъ имъ ноги. Всѣ эти и подобныя имъ обрядности возникли, конечно, какъ выраженія правъ силы и обязанностей слабости; но время и привычка укрѣпили ихъ и развили въ качествѣ цѣлаго кодекса сношеній между людьми. Повсюду у дикарей оказывается уже опредѣленнымъ, кого и какъ надо привѣтствовать, кому и что можно ѣсть, и какъ ѣсть, и гдѣ; кому и какъ слѣдуетъ татуироваться или носить перья на головѣ; кто долженъ разводить огонь и готовить пищу, а кто охотиться; съ кѣмъ можно шутить и смѣяться и съ кѣмъ нельзя; что можно дѣлать при людяхъ, и чего не слѣдуетъ, и проч. и проч. Такихъ людей, которые, какъ нѣкоторые австралійцы, по свидѣтельству г. Миклухо-Маклая, или какъ альфуры на Буру, отправляли бы самыя секретныя изъ своихъ физическихъ нуждъ на виду у всѣхъ, не возбуждая тѣмъ ничьего вниманія, такихъ даже между дикарями очень уже мало. Монголы же, на примѣръ, считають долгомъ даже произвестъ каждый разъ очищеніе, если кто-нибудь помочился въ юртѣ. Словомъ, другимъ самымъ древнимъ правомъ надо считать эти кодексы приличій, этотъ этикетъ сношеній, это домашнее право. Оно тѣмъ болѣе древне, что оно есть тоже самое право сильнаго, составляя лишь внѣшнюю оболочку его: сила есть лишь общее содер-

жаніе этого права, а всѣ частныя формы его суть право домашнее. Оно тѣмъ болѣе право, что нарушеніе его вовсе и далеко не безнаказанно. Въ горахъ Лимай, на малайскомъ полуостровѣ, всякій негритосъ, передъ началомъ ѣды, долженъ прокричать приглашеніе къ оружающимъ раздѣлить съ нимъ его трапезу; и если онъ вздумаетъ сманкировать, то рискуетъ жизнью, чему бывали и примѣры. На островѣ Тонга, если кто-нибудь не исполнитъ подобныхъ правилъ общежитія, его ожидаетъ, по общему убѣжденію, какое-нибудь великое несчастіе. На Сандвичевыхъ островахъ, если кто произведетъ шумъ въ день табу, непременно предается смерти. Сами австралійцы, по отзыву Ланга (у Лэбока), не только имѣютъ уже выработанную систему подобныхъ обычаевъ, но и находятся подъ такимъ ся гнетомъ, что онъ составляетъ жесточайшую изъ видѣнныхъ когда-нибудь на землѣ деспотій. А между тѣмъ развитіе этой церемональности доходитъ до того, что затверженные распросы, привѣтствія, поздравленія, соболѣзнованія требуютъ иногда, какъ напримѣръ у арауанцевъ, отъ 10 до 15 минутъ. Нужно ли добавлять, что такого именно рода правила заносятся потомъ, и при томъ первыми, во всѣ писанные патріархальные кодексы? Извѣстно, что въ Китаѣ несоблюденіе правилъ обращенія равнозначительно мятежу и отрицанію властей. Законы мексиканскаго Монтезумы I касались также главнымъ образомъ правилъ свѣтскости, правилъ частной домашней жизни. Вотъ то частное право, которое предшествуетъ всякому иному частному, которое есть, такъ сказать, частнѣйшее изъ всѣхъ частныхъ. Оно на столько же древнѣе всего остального права, на сколько отношенія людскія древнѣе учрежденія брака. Оно есть право, выживающее среди самого безправія. Мало того, оно не только происходитъ здѣсь, но здѣсь же только имѣетъ и всепоглощающее культурное значеніе. Оно остается, какъ извѣстно, на вѣки въ общежитіи; но никогда уже не сосредоточиваетъ въ себѣ всей культурности, какъ сосредоточивало ее здѣсь. Съ другой стороны, нѣтъ никакого другого права, которое бы, также какъ это и какъ право силы, было совмѣстимо съ эпохой анархіи, агаміи, матриархальности, которое не нуждалось бы ни въ какомъ предварительномъ явленіи общежитія. Всякое иное, напримѣръ семейное, наслѣдственное, предполагаетъ уже какую-либо предшествующую стадію развитія, напримѣръ, семью, наслѣдство; нуждается въ какой-либо предыдущей организаціи и политикѣ; но только сила и домашнее право довольствуются совершенно нетро-

ную общественною почвой. Словомъ, это точный коэффициентъ эпохи матриархальности, агаміи, анархіи.

Такимъ же коэффициентомъ семейно-родовой организаціи и политики есть право семейное и наслѣдственное. Семейный бытъ естественно производить первое, родовой—второе. Оба права суть только два вѣяма одной и той же медали: семейное—статика періода, наслѣдственное — динамика его. Оба эти права опять остаются въ исторіи на-всегда; но опять никогда уже не могутъ сосредоточивать въ себѣ весь прогрессъ общежитія, какъ здѣсь: оба они ранжируются въ послѣдствіи о бокъ другихъ, высшихъ по развитію, и даже подъ другими; теперь же они не знаютъ ничего выше себя, ничего надъ собою. Здѣсь они не только частное право, но и публичное; здѣсь имъ принадлежитъ вся роль будущаго государственнаго. Оба эти права происходятъ изъ одного и того же источника, изъ права брачнаго. Брачное право лежитъ въ зародышѣ уже въ тѣхъ порядкахъ, какіе только что описаны, потому что тамъ есть уже право на женщину. Но пока къ нему не присоединяется право на дѣтей, на семью, оно и не производитъ учрежденія. Матриархатъ же никогда не въ состояніи упрочить это право (на дѣтей и на семью) уже потому, что женщина никогда не въ силахъ упрочить власть свою надъ ними. Наоборотъ, какъ только она упрочена мужчиной, отцомъ,—семья тотчасъ же заведена. А какъ только завелась семья,—въ ней право силы раскрывается въ трехъ совершенно новыхъ формахъ, а именно: въ правѣ мужа на жену, правѣ отца на дѣтей и правѣ господина на раба. Въ этомъ тройномъ правомъ отпрыскъ силы лежитъ новый, неисчерпаемый родникъ всякаго дальнѣйшаго правового порядка, какъ бы онъ ни казался далеко отошедшимъ отъ этого и видоизмѣнившимся. Изъ этой тройной, а именно мужней, отцовской и господской, власти исходятъ потомъ всѣ дальнѣйшія права и власти, какъ сама она изошла изъ права домашняго, изъ права силы. Посмотримъ же, какъ они слагаются въ теченіи семейно-родового или чисто-патріархальнаго періода. Какъ ни трудно выдѣлить этотъ періодъ отъ предшествующаго (матріархальнаго) и послѣдующаго (фратріархальнаго), въ которые онъ глубоко заходитъ въ оба, и которые сами настолько же входятъ въ него; но, по крайней мѣрѣ, возможно указать, какое изъ его явленій непременно есть предшествующее, и какое бываетъ всегда послѣдующимъ. Разсмотримъ въ этомъ

отношеніи сперва *мужною* властью. Уже въ Австраліи на женъ или женщинъ возложены всѣ домашнія работы: онѣ заготавливаютъ здѣсь пищу, питье, огонь, и даже употребляются какъ выючныя животныя. Пользуясь только худшею и меньшею пищею, чѣмъ мужчины, онѣ, сверхъ того, не смѣютъ еще и ѣсть ее въ присутствіи мужчинъ, а должны дѣлать это особо и тайкомъ. Мандингось никогда не позволяетъ себѣ ни пошутить съ женщиною, ни засмѣяться при ней, и рѣдкая изъ нихъ остается безъ шрамовъ на головѣ и ранъ на тѣлѣ. У негровъ женщинами обмѣниваются, какъ и другими предметами хозяйства, а также отдаютъ ихъ въ наемъ и продаютъ. Наконецъ, право жизни и смерти довершаетъ эти правовыя отношенія половъ. Но какъ ни смѣшиваются они въ одно всѣ патріархальные періоды, отъ агамическаго до племеннаго, а все-таки есть въ бракѣ нѣкоторые обычаи, явно древнѣйшіе, и другіе, явно позднѣйшіе. Таковы: первый—завоеваніе женъ, второй—похищеніе или умычка ихъ, и третій—выкупъ или покупка. Примѣръ перваго изъ нихъ и самаго древнѣйшаго мы видѣли уже не однажды выше въ различныхъ мѣстахъ. Слѣдующій за этимъ обычай похищенія практикуется на островахъ Фиджи, въ Новой Зеландіи, на Огненной землѣ, у индѣйцевъ южной Америки, у краснокожихъ Амазонской долины, у эскимосовъ Гренландіи, на Корей, у самоѣдовъ, камчадаловъ, тунгусовъ. Похищеніе женщинъ ведетъ за собою или месть со стороны потерпѣвшихъ, или уплату пени вмѣсто мести. Этимъ-то послѣднимъ путемъ обычай и перерождается вновь, а именно въ право выкупа или покупки, которое въ племенныхъ или народныхъ періодахъ обыкновенно и бываетъ уже вполне сложившимся. Такимъ образомъ, родовому періоду больше всего соотвѣтствуетъ, по видимому, умычка женъ. Также точно обычаи эндогамическіе, въ свою очередь, гораздо старѣе экзогамическихъ. Первые, напримѣръ, хотя и практикуются еще въ наши времена, какъ, напримѣръ, на островѣ Явѣ, на Сандвичевыхъ островахъ, въ Новой Зеландіи; но далеко не такъ распространены, какъ вторые. Даже въ Австраліи, во многихъ мѣстностяхъ, нельзя уже брать въ жены женщину, носящую одно имя съ мужчиною, хоть бы никакихъ слѣдовъ родства между ними и не было. Въ восточной и западной Африкѣ также никто не возьметъ жены себѣ изъ своего собственнаго племени. Въ Азіи такой же нравъ существуетъ у калмыковъ, гдѣ подобный бракъ грозитъ даже смертною казнью; таковъ же порядокъ у самоѣдовъ,

оставовъ, якутовъ и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кавказа. У множества краснокожихъ въ обѣихъ Америкахъ бракъ въ своемъ томѣ составляетъ предметъ посмѣшища. Такимъ же образомъ и обычай многоженства выживаетъ, повидимому, какъ разъ по мѣрѣ переходовъ патріархальности изъ періода въ періодъ: въ агами онъ рѣже всего, въ родовомъ бытѣ уже практикуется по мѣрѣ возможности, а въ племенномъ онъ составляетъ прочно сложившееся учрежденіе. Нужно ли говорить о правѣ развода? Ирокезецъ просто заводитъ свою состарѣвшуюся жену въ лѣсъ, и тамъ оставляетъ ее на съѣденіе звѣрямъ: вотъ и разводъ его. Съ другой стороны, зачѣмъ какія бы то ни было формы развода и тамъ, гдѣ отъ жены можно отдѣлаться посредствомъ простой продажи ея въ рабство. Не только родовой, но даже племенной и народный бытъ едва ли нуждается въ разводѣ: у первобытныхъ германцевъ мужу принадлежитъ опека надъ женою, такъ называемое *mundium*, *Munt*, по которому мужъ, какъ мундуальдъ своей жены, имѣетъ право наказывать ее, прогонять, продавать и убивать. Такимъ образомъ, роль развода играетъ простое прогнаніе жены мужемъ. Само собою разумѣется, что оно не можетъ переходить обратно, въ прогнаніе мужа женою. Впрочемъ, женщина германская пребываетъ въ опекѣ всю свою жизнь, ибо если у нея нѣтъ ни отца, ни мужа, то мундуальдомъ ея становится сынъ ея, братъ мужа и вообще ближайшій изъ родственникововъ, способныхъ носить оружіе. Наконецъ, апогеозъ рабства женъ мужьямъ воздвигается въ подчиненіи ихъ имъ и послѣ смерти. Подчиненіе это выражается, съ одной стороны, непристойностью второбрачія для вдовы, а съ другой, и еще болѣе, принесеніемъ себя въ жертву на могилахъ мужей—высшій подвигъ, какой ожидается отъ патріархальной женщины и жены. Ни первый, ни второй періодъ патріархальности почти не знаютъ этого обычая; онъ слагается обыкновенно въ послѣднемъ. Такъ, Брингильда, по скандинавскимъ мифамъ, слѣдуетъ на костеръ за Сигурдомъ; у славянскихъ вендовъ женщины также рѣдко переживали мужей своихъ. Въ Японіи обычай этотъ долго уцѣлѣвалъ даже по переходѣ въ жизнь государственную, а въ Индіи онъ прошелъ съвозъ всю ея исторію, до самаго владычества англичанъ.—Относительно патріархальной *отцовской* власти, нельзя ожидать ничего иного, кромѣ того же режима слабости и силы. Это до такой степени вѣрно, что отцы первоначально до тѣхъ только поръ отцы, власть,

пока они сильны и здоровы. Больные же и слабые старики не рѣдко убиваются или выбрасываются, пока семейные обычаи не утвердились. Поэтому, въ отношеніяхъ между дѣтьми и родителями или, точнѣе, дѣтьми и отцомъ, дѣти слѣдуютъ режиму женъ, а отцы—режиму мужей. У австралійцевъ молодежь также точно, какъ и женщины, имѣютъ право только на худшую и меньшую пищу, чѣмъ взрослые. Еще хуже положеніе дѣвочекъ между дѣтьми. Дѣвочка есть своего рода бремя въ этомъ бытѣ: она не охотится, не воюетъ, а между тѣмъ потребляетъ, служитъ лишнимъ ртомъ; выросши, она дѣлается приманкою для сосѣдей, поводомъ для дракъ, и потому гораздо лучше избавляться отъ этого ничего не общающаго прироста населенія. И дѣйствительно, поголовное избіеніе дѣвочекъ есть явленіе столь всеобщее на всѣхъ ступеняхъ патріархальности, что производитъ здѣсь обычный недостатокъ женскаго пола и тѣмъ большія еще войны изъ за него, или же большую необходимость покражъ, умыканій, которыя поэтому и входятъ во всеобщій обычай. Впрочемъ, и участь мальчиковъ немногимъ лучше. Право найма ихъ, продажи въ рабство и самой казни надъ ними также естественно здѣсь, какъ и по отношенію къ женщинамъ. „Какъ, сказалъ съ удивленіемъ одинъ негръ одному европейцу, неужели мнѣ умирать съ голоду, когда у сестры есть дѣти, которыхъ можно продать!“ Стоя въ началѣ патріархальной эпохи, взглядъ этотъ доживаетъ и до конца ея, достигаетъ даже до народовъ государственныхъ. У арабовъ еще Магометъ долженъ былъ запрещать избіеніе дѣвочекъ. У германцевъ и франковъ всякій мундуальдъ несовершеннолѣтняго имѣлъ полное право на его трудъ и достояніе, на полученіе платы за выдачу за-мужъ, на продажу ихъ и на самую смертную казнь надъ ними. Наконецъ, довольно вспомнить объ Авраамѣ, приносящемъ въ жертву Исаака, объ Агамемнонѣ, закаляющемъ дочь свою, объ Идоменеѣ, обрекающемъ сына богамъ, объ Эдипѣ, выброшенномъ отцомъ въ лѣсъ, о спартанцахъ, выбрасывающихъ слабыхъ дѣтей, о финикіянахъ и кареагенянахъ, приносящихъ дѣтей въ жертву Молоху, о Ромулѣ и Ремѣ, подобранныхъ въ лѣсу волчицею и т. п., чтобы убѣдиться, какъ повсемѣстенъ этотъ обычай и какъ долго переживаетъ онъ абсолютную патріархальность. Но за то институтъ дѣтства весьма рано начинаетъ пополняться, кромѣ естественнаго пути, искусственнымъ,—усыновленіемъ. При этомъ вырабатывается и символическій обрядъ учрежденія, состоя-

щій, въ однихъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, на Кавказѣ, въ кормленіи усыновляемаго грудью будущей матери, въ другихъ—въ символѣ этого символа, сосаніи пальца будущаго отца, какъ дѣлается въ Абиссиніи, а въ третьихъ—въ еще болѣе полной аллегоріи вторичнаго рожденія, какъ это сохранялось нѣкоторое время у грековъ и римлянъ.—Третій изъ коренныхъ институтовъ социальности, власть *господская*, есть такой же прямой продуктъ физической силы, какъ и мужняя, и отцовская. Если жена и дѣти суть естественное послѣдствіе первой социальной организаціи, брака, то рабство—такое же естественное послѣдствіе первой социальной политики, охоты. Политика борьбы со звѣрями и войны съ людьми знаменуются первоначально: одна—убійствомъ животныхъ, сдираніемъ съ нихъ шкуръ для одежды или для украшенія и употребленіемъ ихъ мяса въ пищу, другая—убійствомъ людей, сдираніемъ съ нихъ кожъ для трофеевъ, и пожиранія ихъ мяса, также въ качествѣ пищи. При открытіи Америки, карайбы антильскихъ острововъ найдены еще въ порѣ систематическаго пожиранія своихъ плѣнниковъ, такъ что тогдашнее имя этихъ карайбовъ, каннибалы, сдѣлалось для насъ даже синонимомъ людоедства. Въ настоящее время людоедство процвѣтаетъ у нѣкоторыхъ краснокожихъ Сѣверной Америки, въ центральной Африкѣ, въ особенности у ягуасовъ, въ Азіи на зондскихъ островахъ и особенно на Суматрѣ, у баттасовъ; сверхъ того въ Австраліи, Новой Зеландіи и Полинезій. А что не лучше было и состояніе, непосредственно предшествовавшее такъ называемымъ историческимъ культурамъ, доказываютъ преданія грековъ о пиршествахъ Тантала, Ливаона и Тіеста, о Полиемѣ и Лестригонахъ, пожравшихъ спутниковъ Улисса; преданія объ андрофагахъ, о скиахъ, объ эеіоплянахъ, кельтахъ, германцахъ. До формъ государственной жизни людоедство донеслось въ Мексикѣ и въ Перу. Прогрессомъ въ этой политикѣ, какъ по отношенію къ звѣрямъ, такъ и къ людямъ, было, съ одной стороны, одомашненіе животныхъ, съ другой—одомашненіе непріятелей. Въмѣсто сдиранія кожъ съ плѣнниковъ и пожиранія ихъ, сдирается только какая-нибудь часть кожи, напримѣръ, скальпъ, самый же человекъ, если выживетъ послѣ этого, употребляется не на пищу, а на работу. Еще дальше, символы побѣды становятся еще мягче: напримѣръ, простое обриваніе головы или прокалываніе уха; а совершенно здоровое тѣло обращается на самыя трудныя работы. Такимъ образомъ институтъ рабства и ока-

зывается созданнымъ. Какому именно періоду патриархальности свойственно это созданіе—трудно опредѣлить; но можно съ увѣренностью сказать, что никогда оно не предшествуетъ каннибальству, но, наоборотъ, всегда слѣдуетъ за нимъ, въ качествѣ преобразованія его. Весьма нерѣдко учрежденіе рабства древнѣе учрежденія самой семьи. Такъ, на всемъ побережьи отъ Калифорніи до Берингова пролива, рабство уже есть и въ самой ужасной формѣ; между тѣмъ семьи еще нѣтъ, кромѣ, конечно, матриархальной. Рабство также древне, какъ и самое людоедство, такъ что послѣднее иногда именно первымъ и питается. Вообще, это есть одинъ изъ краеугольных камней всего общежитія, одинъ изъ древнѣйшихъ социальныхъ институтовъ. Первый источникъ его есть право сильного, побѣда, плѣнъ и голодъ побѣдителя; второй источникъ—желаніе приберечь плѣнника для тяжелыхъ работъ. Такое происхожденіе рабства единогласно свидѣтельствуется преданіями и вѣрою всѣхъ патриархальныхъ эпохъ всѣхъ народовъ. Римляне прямо выводили свое рабство изъ побѣдъ надъ врагами: побѣжденный получалъ жизнь и право плодиться, а побѣдитель обращалъ его за то въ собственность себѣ, отчего обѣ стороны явно выигрывали. Самое слово *servus* производилось отъ *servare*, *conservare*, сохранять. У германцевъ рабство возникало также по преимуществу изъ побѣды, но пополнялось, кромѣ того, путемъ несостоятельности въ платежу долга, путемъ продажи дѣтей и женъ и путемъ проигрыша свободы въ игрѣ въ кости. Нужно ли говорить о пространствѣ господской власти? Какъ ни безусловно, впрочемъ, право господина и безправіе раба, но никакой бездны между положеніемъ рабовъ, съ одной стороны, и женъ и дѣтей, съ другой, первоначально вовсе нѣтъ. Дальше права жизни и смерти нельзя идти ни въ томъ, ни въ другомъ, ни въ третьемъ отношеніи. А потому всѣ эти три социальные категоріи первоначально совершенно равны между собою; жены и дѣти суть на столько же рабы, какъ и рабъ, а рабъ на столько же домочадецъ, какъ жена и дѣти, и всѣ трое одинаково цѣнны для домовладыки. Равенство это не исчезало и въ самомъ апогеѣ тогдашней системы подчиненія, т. е. на могилѣ домовладыки. Если за нимъ слѣдовала туда вѣрная жена, то слѣдовалъ также и вѣрнѣйшій рабъ. Галлы, напримѣръ, сжигали на могилѣ умершаго любимѣйшихъ животныхъ покойника, кліентовъ его и рабовъ. Скиѣмъ дѣлали то же самое, принося въ жертву покойнику оружіе, лоша-

дей и рабовъ. Въ скандинавскихъ мифахъ Бальдеръ сожигается вмѣстѣ съ лошадыю своею, сѣдломъ и пажемъ. Въ Японіи еще до XVII столѣтія христіанской эры слуги убивали себя при смерти господина. Словомъ, институтъ рабства есть такой же краеугольный камень социальности, культуры, права, какъ бракъ и семья, власть мужа и власть отца. Безъ господскаго права ни мужнее, ни отцовское не могли бы послужить родникомъ всей послѣдующей культуры и всего послѣдующаго права. Было бы подчиненіе половъ, было бы подчиненіе возрастовъ, но не было бы подчиненія сословнаго, т. е. были бы различія натуральныя, произведенныя природою, но не было бы социальнаго, производимаго обществомъ, и, слѣдовательно, наиболѣе историческаго, потому что оно есть первое изъ всевозможныхъ различій чисто-социальнаго превосходства. Рабство есть такой интентивный элементъ семьи, что безъ него нѣтъ и самаго семейнаго права; даже у римлянъ еще подъ именемъ семейства неизбѣнно и безразлично разумѣются всѣ домочадцы вмѣстѣ подъ управленіемъ главы своего, своего домовладыки. Всѣ же три вмѣстѣ составляютъ такой полный эмбрионъ социальности, что изъ него выводится и къ нему сводится все остальное разнообразіе правъ.

Таково семейное право въ его развитіи статическомъ, съ своею знаменитою троицею, которая впослѣдствіи назовется: *patria potestas*, *manus mariti*, *dominica potestas*. Но первый же шагъ развитія динамическаго порождаетъ въ немъ уже новое преображеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и новое право. Въ самомъ дѣлѣ, когда домовладыка умеръ, возникаетъ вопросъ: кто же теперь займетъ его мѣсто? Наслѣдственность отъ отца къ сыну вовсе не такой неизбѣжный отвѣтъ, какимъ кажется онъ теперь. Напротивъ, первоначально вопросъ этотъ долго остается безъ такого отвѣта. Не только агамическому, но даже семейному быту свойственны самыя оригинальныя отвѣты этого рода. По смерти гренландца, напримѣръ, всякій тащить себѣ, что можетъ, изъ владѣнія покойника, не обращая никакого вниманія на то, есть ли нѣтъ у него жена и дѣти. У нѣкоторыхъ негритянскихъ сбродовъ, по смерти вождя ихъ, начинается всеобщій грабежъ и безначаліе: сосѣдъ обрадываетъ и грабитъ сосѣда, такъ что все обращается въ хаосъ, пока кто-нибудь одинъ опять не всплыветъ на верхъ, не займетъ мѣсто вождя и не восстановитъ новый порядокъ. Съ другой стороны, если и

устанавливается порядокъ передачи правъ и власти, то онъ не непосредственно наследственный отъ отца къ сыну. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Африки собственность переходитъ не къ родственникамъ умершаго, но къ рабамъ его: слѣдъ неозможности распознаванія дѣтей, принадлежность которыхъ къ дому сомнительна, тогда какъ принадлежность раба всегда несомѣнна. Еще распространеннѣе въ такихъ обществахъ исчисленіе родства исключительно по *женской* линіи. Мать всегда извѣстна и тамъ, гдѣ никогда неизвѣстенъ отецъ; отсюда возникаетъ обычай передавать права свои дѣтямъ сестры своей. Такъ это дѣлается въ Гвинее, у нубійцевъ, въ центральной Африкѣ, у берберовъ, на Малабарскомъ берегу, на островѣ Суматрѣ, у малайцевъ, на архипелагѣ Тонга, на островѣ Гаити, у Гудзонова залива, въ Мексикѣ. На этрусскихъ могилахъ родословіе всегда ведется по женской линіи. Въ Индіи многія племена также держались и держатся до сихъ поръ системы женскаго родословія. Во всѣхъ этихъ случаяхъ наследниками бываютъ не сыновья, а племянники, какъ единственно достовѣрные родственники. Иногда мужское родство уже и установилось, оно уже извѣстно и несомнѣнно, но старый матриархальный обычай все еще продолжаетъ существовать, какъ освященное временемъ преданіе. Такъ, у германцевъ Тацита бракъ давно уже окрѣпъ, отцы давно уже извѣстны; но тѣмъ не менѣе родство съ дядями по матери все еще считается старше родства съ отцомъ. Мало того, наследуютъ уже дѣти, а не племянники; но древній порядокъ все-таки даетъ чувствовать себя въ понятіяхъ и нравахъ. И такъ, наследованіе отъ отца къ сыну вовсе не такой вѣчный принципъ, какимъ оно можетъ казаться. Но за то и наоборотъ, какъ только бракъ установился, какъ только въ потомствѣ его смѣнилось нѣсколько поколѣній, т. е. какъ только образовался родъ,—можно сказать съ увѣренностью, что родство мужское все больше и больше всплываетъ наружу, что оно вступаетъ въ антагонизмъ съ женскимъ, и что рано или поздно непремѣнно побѣждаетъ его. Тогда устанавливается и наследованіе сперва отчасти, а потомъ и исключительно по *мужской* линіи. Такимъ образомъ, если агамическій періодъ сопровождается исключительно женскимъ родствомъ, семейно-родовой—борьбою обоихъ, то племенной всегда и непремѣнно характеризуется уже родствомъ мужскимъ. Впрочемъ, и тутъ не все еще кончено, и выживающій институтъ созданъ еще не вполне, потому что и въ

мужской линіи наслѣдственность пробуетъ сперва пойти не по прямой, не по нисходящей линіи, а только по *боковой*. А именно, всякому умершему наслѣдуетъ сперва не сынъ его, а только его старшій братъ, т. е. старшій не въ семьѣ, а старшій во всемъ родѣ. Сынъ часто остается послѣ отца малолѣтнимъ, тогда какъ дядя его, братъ отца, по большей части, бываетъ уже тогда возмужалымъ: отсюда сильное побужденіе къ тому, чтобы дядю предпочесть племяннику, не говоря уже объ удобствѣ конкуренціи для перваго въ виду соперника-ребенка. Это и есть то, что называется сеньйоратъ, столь хорошо извѣстный, начиная съ Индіи. Престолъ Гелы, напримѣръ, былъ унаслѣдованъ, по нумидійскому обычаю, не сыномъ его Массиниссоу, а его братомъ Дельзадомъ. У арабовъ наслѣдникомъ шейка бываетъ также не его сынъ, а его братъ или другой старшій по возрасту родственникъ. У древнихъ германцевъ естественнымъ представителемъ рода былъ также тотъ, кто старше всѣхъ по родству въ этомъ родѣ, кто ближе всѣхъ къ родоначальнику. У кельтовъ, въ шотландскихъ и ирландскихъ кланахъ, сеньйоратъ былъ постоянною господствующею формою, и сохранялся до самыхъ послѣднихъ временъ. У русскихъ славянъ тоже самое явленіе извѣстно было подъ именемъ старѣйшинства въ родѣ. Въ нѣкоторыхъ династіяхъ китайскихъ соблюдался тотъ же порядокъ наслѣдованія. И только наконецъ, т. е. позднѣе всего въ патриархальномъ правѣ, начинаетъ выживать обычай наслѣдованія въ прямой *нисходящей* линіи, да и тутъ не сразу одинаково и тутъ не безъ разнообразія. У однихъ наслѣдуетъ старшій сынъ: это—майоратъ; у другихъ, напротивъ, младшій: это—миноратъ; а у третьихъ—всѣ братья вмѣстѣ, фратріатъ. Само собою разумѣется, что дочери ни въ какомъ случаѣ не могутъ ни замѣнить сыновей, ни идти рядомъ съ ними: женщина есть, во всякомъ случаѣ, челоувѣкъ чужаго рода, она или изъ него пришла или въ него отойдетъ; скорѣе рабъ способенъ быть наслѣдникомъ, чѣмъ дочь—онъ всегда челоувѣкъ одного и того же рода. Потому-то Авраамъ и жалуется Богу, что придется рабу быть его наслѣдникомъ. У бизутовъ, у галла, наслѣдникомъ бываетъ только старшій сынъ; у татаръ же наслѣдуетъ отцу только одинъ младшій. Тутъ старшіе сыновья, по мѣрѣ прихожденія въ возрастъ, отдѣляются отъ отца и заводятъ себѣ новыя пастушескія становища; младшій же, оставаясь при отцѣ до самой смерти его, естественно вступаетъ и въ права его по смерти. Подобный же обычай существовалъ въ древнемъ правѣ саксовъ, въ нѣкоторыхъ округахъ Англіи и въ Саксенъ-Альтен-

бургъ, а во французской Бретани онъ удѣлявалъ до XVIII столѣтія, подъ именемъ *juveigneur*. Участіе же въ наслѣдствѣ всѣхъ, безъ исключенія, братьевъ, съ двойною долею для первороднаго изъ нихъ, представляетъ патріархальное право индусское, еврейское и германское. У индусовъ всякій сынъ, съ самаго дня рожденія своего, признавался имѣющимъ право на удѣлъ въ отцовскомъ наслѣдствѣ и, по приходѣ въ возрастъ, имѣлъ право потребовать выдѣла себѣ наслѣдства, даже при жизни и помимо воли отца, хотя въ дѣйствительности это не практиковалось даже по смерти отца, и всякая семья, разрастаясь, стремилась обратиться только въ сельскую общину, съ общиннымъ хозяйствомъ. У евреевъ право первородства состояло не столько въ преимуществѣ старшаго брата предъ младшими, сколько въ необходимости вознаградить его за трудъ раздѣла,—трудъ, который вознаграждался такъ же точно и тогда, когда дѣлили самъ отецъ или же меньшій братъ. У германскихъ варваровъ аллоды ихъ наслѣдовались совершенно по индійскому типу. Такимъ образомъ, къ концу патріархальнаго періода, послѣ множества разнообразныхъ пробъ и опытовъ, вырабатывается обыкновенно тотъ, обусловленный развитіемъ семьи во времени, институтъ, который извѣстенъ потомъ подъ именемъ наслѣдственнаго права, и который возникаетъ, по естественной необходимости, прямо и непосредственно изъ права семейнаго. Институтъ этотъ обыкновенно причисляютъ то къ вещному, то къ договорному праву, то совсѣмъ никуда не причисляютъ, образуя изъ него совсѣмъ особое право; но мы предпочитаемъ излагать его здѣсь, при правѣ семейномъ, какъ ближайшее изъ всѣхъ непосредственныхъ послѣдствій его. При томъ же, къ вещному праву можно приурочить его только съ нынѣшней точки зрѣнія на этотъ институтъ, какъ на наслѣдство исключительно въ правѣ собственности. Между тѣмъ, наслѣдованіе патріархальное, т. е. наслѣдственное право въ своемъ полнѣйшемъ выживаніи, какъ эквивалентъ всей современной ему культуры, относилось не только къ собственности, но также, и еще больше, къ передачѣ семейнаго культа, къ передачѣ правъ жречества, къ передачѣ общественной власти, правъ жизни и смерти, къ передачѣ правъ и обязанностей родовой мести, гостепріимства, усыновленія и т. п. Оно относилось тутъ во всей цѣлости правъ, къ *universitas juris*, и при томъ *universitas* абсолютной, т. е. во всей системѣ общественныхъ правъ и властей того автономнаго и самодержавнаго общества, которое именовалось семьей, родомъ, и надъ

которым не могло быть никаких иных прав, никакой иной власти. Здѣсь наследственность есть преемственность во всѣхъ безъ исключенія социальныхъ учрежденіяхъ, а не въ одномъ вещномъ. Короче, это наследственность не только въ *dominium*, но также въ *imperium*, наследственность съ характеромъ не частнаго только права, но также и публичнаго, съ характеромъ верховной власти. А потому наследственное право и не можетъ быть приурочиваемо ни къ какому другому, кромѣ семейственнаго, къ которому приурочила его сама исторія, само родословіе права.—Что же сказать о томъ развитіи самого наследственнаго права, которое въ позднѣйшей исторіи будетъ извѣстно подъ именемъ права завѣщательнаго? И нужно ли добавлять, что патриархальное наследованіе есть исключительно наследованіе по закону или, точнѣе, по обычаю, а никакъ не по чьему бы то ни было распоряженію на этотъ счетъ. Правда, попадаются патриархальные ростки даже и этого установленія, и при томъ въ такихъ несвойственныхъ ему средахъ, какъ напримѣръ Австралія или Таити; но за то тамъ же они и глхнутъ, не только не распространяясь шире, но не имѣя никакой прочности даже на мѣстахъ своего преждевременнаго возникновенія. И дѣйствительно, завѣщаніе не имѣетъ общезвѣстности не только въ патриархальной культурѣ, напримѣръ у тевтоновъ, въ народныхъ правдахъ германцевъ, гдѣ о немъ нѣтъ и помину, какъ о предметѣ немыслимомъ, но даже во всей исторіи индусовъ, евреевъ и всего вообще востока, такъ что долго остается оно невѣдомымъ даже для Греціи и Рима. Въ патриархальномъ же обычномъ правѣ оно вполне возмѣщается обычаемъ *усыновленія*, при которомъ, если хотѣли сдѣлать кого наследникомъ, то не было надобности завѣщать, а стоило лишь усыновить. Дальше этого семейственное право не идетъ ни въ какомъ періодѣ патриархальности.

Спрашивается теперь, есть ли въ патриархальномъ правѣ признаки такъ называемыхъ гражданскаго и уголовнаго права и, если есть, то какъ могли возникнуть они изъ семейнаго или изъ наследственнаго? Пусть наследственное право дѣйствительно было только динамическою стороною того же учрежденія, статическую сторону котораго составляло семейное; но какую же сторону этихъ послѣднихъ правъ могли бы быть обычаи гражданскіе и уголовные? Зародыши обоихъ этихъ правъ не только присущи семейному, но даже совершенно неотъемлемы отъ него. Возможенъ споръ о томъ,

когда и какъ отдѣляются они отъ него, но не о томъ, живутъ ли они въ немъ. Съ самымъ появленіемъ на свѣтъ семейной конституціи, ей свойственны уже двѣ особенности: одна, состоящая въ правѣ мужа на жену, отца на дѣтей, господина на рабовъ, какъ на предметы собственности (*dominium*); и другая, состоящая въ томъ же самомъ правѣ мужа, отца, господина—на женъ, дѣтей, рабовъ, какъ на предметы власти (*imperium*). Какъ вещи,—рабъ, сынъ и жена даютъ право гражданское; какъ лица,—они же производятъ уголовное право. Право найма и продажи ихъ есть естественное зерно всего будущаго гражданского права; право жизни и смерти надъ ними—естественное сѣмя всего уголовного. Какъ семейное и наследственное право описываютъ организацію (статическую и динамическую), такъ гражданское и уголовное изображаютъ функціи этой организаціи, политику ея (вещную и личную). Всѣ такимъ образомъ и современны, и совмѣстны, и весь вопросъ только въ томъ, какое и когда выдѣляется изъ этого общаго синтеза. Нашъ отвѣтъ на этотъ вопросъ состоитъ въ томъ, что если гражданское и уголовное права и начинаютъ когда-либо выдѣляться уже въ патріархатахъ, то развѣ только подъ самый конецъ ихъ, т. е. въ періодахъ фратріархальныхъ, но нивакъ не родовыхъ. Отдѣленіе же гражданского и уголовного другъ отъ друга и совсѣмъ выходитъ изъ предѣловъ патріархальности. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, готовые клѣточки того и другого лежатъ въ нѣдрахъ семейно-наследственнаго права въ слѣдующемъ видѣ.

Гражданское право можетъ быть разсматриваемо, разъ, какъ отношеніе субъектовъ права къ объектамъ его, т. е. какъ вещное, другой разъ—какъ отношеніе между самими субъектами, т. е. какъ договорное. Патріархаты знаютъ только первый видъ этого права, но не второй. Въ этой первой, вещной части гражданского права, въ свою очередь, могутъ быть различаемы: во первыхъ, субъектъ собственности, во вторыхъ, такой или иной составъ права собственности и, въ третьихъ, объектъ этого права. Патріархатамъ не безъизвѣстны зачатки и того, и другого, и третьяго рода. Что касается патріархальныхъ субъектовъ права, то въ настоящее время уже всѣми признано, что общинное право собственности не есть какая-либо особенность того или другого общества, но что оно вездѣ и всегда предшествуетъ личному праву и составляетъ явленіе всякой патріархальности. Субъектомъ, будетъ ли то собственности или же

только пользованіи, во всякомъ случаѣ, является здѣсь исключительно лишь лицо юридическое и никогда физическое. Семья, родъ, племя, народъ—вотъ единственные субъекты вещнаго права по праву патриархальному; другихъ единицъ оно не знаетъ и знать не можетъ. Кажущееся личное право домовладыкъ, родоначальниковъ, князей есть въ этомъ отношеніи лишь представительное, а не непосредственное. Явленіе это простирается по всѣмъ ступенямъ патриархатовъ. Ни на одной изъ нихъ личное право не въ состояніи еще конкурировать съ общиннымъ. Въ матриархальномъ бытѣ извѣстно общинное право пользованія даже женами и дѣтьми. Въ патриархальномъ жены и дѣти хотя и начинаютъ составлять личную собственность домовладыки, но лишь пожизненную; по смерти же его и они такая же принадлежность рода и наследника, какъ рабы и стада. Въ фратриархальномъ, если жены и дѣти и выдѣляются иногда окончательно въ личную собственность, то все остальное имущество продолжаетъ слѣдовать все-таки общинному режиму. У негритянскаго сброда кру, у гуаранъ Южной Америки, у киргизовъ Азии—земля, лѣсъ, рѣка, гдѣ пасутся, охотятся, ловятъ рыбу, есть общее достояніе всего даннаго стойбища. Краснокожіе индѣйцы защищаютъ сообща территорію, на которой охотятся. У еврейскихъ патриарховъ ихъ стада, табуны и рабы принадлежали не столько самому патриарху, сколько всему потомству его. У кочевыхъ арабовъ и до сихъ поръ вся собственность, какая у нихъ водится, состоитъ въ распоряженіи шейка, но въ пользованіи всего племени. У древнихъ германцевъ такую же роль играли шульцы и войты, которые распредѣляли между народомъ какъ землю, такъ и лѣсъ, и право рыбной ловли, и право охоты, и право пастбищъ, при чемъ каждый такой участокъ назывался *huba* или *Hof*. У славянъ такіе же надѣлы именовались ланами. У кельтъ-иберовъ они также имѣли мѣсто. Въ Мексикѣ и Перу было не только общинное пользованіе, но и общинная обработка земли. У кроатовъ, далматовъ, иллирійцевъ и понинѣ сохраняется не только поземельная община, но общая пища, общее жилище, общая обработка земли. Русскіе буряты до сихъ поръ сохранили воспоминаніе о томъ времени, когда даже скотъ и одежда были еще общими, такъ что человѣкъ, не имѣвшій лошади или тулуна, бралъ ихъ у другихъ и не отвѣчалъ за порчу ихъ. У инородцевъ же Алтая такіе порядки, а не только воспоминанія, живутъ и до нынѣ. Но что всего удиви-

тельнѣе, въ послѣднее время отысканы переживанія этого рода даже въ такихъ странахъ, гдѣ меньше всего можно было подозрѣвать ихъ. Не говоря уже о Шотландіи съ ея кланами, гдѣ коллективное владѣніе тянулось съ незапамятныхъ временъ до послѣднихъ дней исторіи, слѣды его открыты въ Ирландіи и даже въ самой Англіи и Франціи. Во Франціи общины вилановъ попадались среди земель феодаловъ, при чемъ послѣдніе сами иногда содѣйствовали ихъ образованію. Въ Англіи, у ея лордовъ арендаторы имѣлись не только личные, но и собирательные и, при томъ, не срочные и не пожизненные, а вѣчные и потомственные, потому что община не умираетъ. И во всѣхъ этихъ случаяхъ каждая такая ассоціація была не товариществомъ, а непременно родственнымъ союзомъ. Думали было, что явленіе это ограничивается арійскою расою, но признавъ его открыты и въ семитическихъ племенахъ Сѣверной Африки, и на островѣ Явъ, и на Сандвичевыхъ островахъ. Во французской, напримѣръ, Алжиріи земли принадлежатъ всему поселенію, и только распредѣляются между нимъ кайдомъ. Такимъ образомъ явленіе это есть нигдѣ ни у кого незаимствованное, общечеловѣческое для всей патріархальной культуры. Это есть явленіе, неодолимо подавляющее всѣ иныя того же порядка, выживающее и расцвѣтающее въ этой культурѣ на счетъ всѣхъ остальныхъ. Всякое иное отношеніе къ имуществу, хотя бы оно, какъ все человѣческое, отъ времени до времени и попадалось, становится здѣсь скоро забытымъ и перестаетъ быть даже понятнымъ. Всегда же и повсюду остается понятнымъ только коллективный субъектъ права, только такая или иная *кровная община*. Не должно, однакожъ, думать, что патріархальная культура исчерпывается этимъ вся до дна. Нѣтъ, какъ ни безспорно это выживаніе, но оно само по себѣ и даже само въ себѣ носить задатки своего преемника. Выживаніе одного явленія непременно предполагаетъ приживаніе къ нему другого. И такимъ приживаніемъ къ общинному владѣнію есть движеніе возвратное; т. е. по тѣмъ же самымъ ступенямъ, по какимъ субъектъ права расширялся, по тѣмъ же самымъ начинаетъ онъ и суживаться. Не только на степени народа собственность начинаетъ раздѣляться по племенамъ; но даже на степени племени она возвращается въ роды, и такимъ образомъ, вмѣсто народнаго и племеннаго субъекта ея, вновь появляется родовой. При этомъ порядкѣ, владѣніе не выходитъ уже изъ рукъ рода, и только въ немъ са-

момъ оказывался общимъ. Еще дальше роды дѣлять иногда всѣ свои владѣнія, хотя не навсегда, а лишь временно, между семьями. Такимъ образомъ возрождается и еще болѣе древній субъектъ права, семейный. Такое положеніе дѣла встрѣчается у тацитовскихъ и даже цезаревскихъ германцевъ. Тамъ даже у самихъ общинниковъ нѣкоторые объекты владѣнія выдѣлялись изъ общаго пользованія, и субъектами ихъ являлись отдѣльные семейства: таковы, примѣръ, были домъ и огородъ, т. е. усадьба. Она составляла частную собственность каждой семьи, и она-то одна могла переходить въ наслѣдство къ сыновьямъ. А еще важнѣе тотъ фактъ, что и среди самыхъ полей, принадлежащихъ родамъ и владѣемыхъ на общинномъ правѣ, хотя изрѣдка, но попадались уже участки частные и покрупнѣе, принадлежащіе такъ называемымъ Grundherren. Эти земли воздѣлывались уже не самимъ землевладѣльцемъ, а сосѣдними вольными общинниками или даже и крѣпостными людьми. Такія земли не принадлежатъ уже никакому роду, а принадлежатъ семьѣ въ точномъ смыслѣ, т. е. не главѣ ея, не одному представителю, а всѣмъ членамъ семьи. Подобныя земли могли быть, при согласіи всей семьи, и по исполненіи извѣстныхъ обрядовъ, даже отчуждаемы продажей въ другое семейство. Аллодь есть владѣніе именно такого рода, т. е. принадлежащее какъ отцу, такъ и дѣтямъ (сыновьямъ, конечно). Къ такому же порядку направляются въ Мексикѣ и Перу тѣ участки, которые предоставлялись тамъ въ пользованіе куракамъ и грандамъ. А въ Китаѣ подобный процессъ привелъ даже къ появленію полного феодализма. И такъ зародышъ новаго порядка вещей дѣйствительно лежитъ уже въ старомъ, хотя и не даетъ еще чувствовать себя здѣсь замѣтно. Оба эти порядка представляютъ собою какія-то два послѣдовательныя теченія, изъ которыхъ первое есть прямое, а второе—обратное. Съ одной стороны, въ теченіе всей патріархальной эпохи, имущество, смотря по переходу отъ организаціи къ организаціи, все болѣе и болѣе обобщается, дѣлаясь то общесемейнымъ, то общеродовымъ, то общеплеменнымъ и общенароднымъ; съ другой же стороны, при каждомъ такомъ восхожденіи вверхъ, оно какъ бы ниспадаетъ внизъ и течетъ обратно, становясь то частнымъ племеннымъ, то частнымъ родовымъ, то частнымъ семейнымъ. Кажущееся противорѣчіе это распутывается тѣмъ, что подъ первымъ теченіемъ надо понимать право распоряженія, а подъ вторымъ—право пользованія. Распорядителемъ становится каж-

дый разъ каждая высшая категорія; пользователемъ же остается каждая низшая. Вотъ положеніе, на которомъ вещное патріархальное право завершаетъ процессъ своего развитія: это—процессъ постоянного возвращенія отъ все болѣе и болѣе коллективныхъ субъектовъ права ко все менѣе и менѣе коллективнымъ.—Изъ числа объектовъ, по общему мнѣнію юристовъ, движимая собственность есть первая по появленію, хотя и послѣдняя по развитію. И дѣйствительно, понятія о движимой собственности свойственны, какъ мы видѣли, даже животнымъ, не только анархическому и агамическому быту людей. Лукъ и стрѣла могли принадлежать человѣку и тогда, когда ничто больше не принадлежало ему. Но это дѣйствительно не значить еще, чтобы такой объектъ собственности тутъ же и выжилъ. Развитіе этого института, а вмѣстѣ съ тѣмъ и юридическое самоопредѣленіе его, не имѣли, напротивъ, никакого мѣста не только въ патріархальной политикѣ, но долго, какъ извѣстно, и въ государственной. Что касается собственности недвижимой, поземельной, то она также не могла развиваться во времена ни охотничьи, ни кочевыя, и не можетъ вести никакого родословія раньше, чѣмъ развѣсъ вѣковъ первой, по крайней мѣрѣ, осѣдлости, слѣдовательно только съ конца патріархальности, съ послѣдняго подфазиса ея. А начавшись только здѣсь, едва ли она могла тутъ же и выжить. И такъ не было здѣсь, повидимому, никакого еще такого предмета собственности, который бы не только совершилъ здѣсь свое абсолютное развитіе, но даже сколько нибудь выдѣлился бы надъ другими. Но такое заключеніе было бы крайне ошибочно. Была въ эти времена не только собственность, но даже такая, которая не повторилась цѣликомъ никогда послѣ, отъ которой остались впослѣдствіи только слѣды, и которая весь свой цвѣтъ и весь плодъ свой принесла только именно здѣсь. Такою собственностью почитаемъ мы ту, которая въ наши времена почти вся ужъ отпала отъ самаго понятія о собственности, а именно право собственности надъ женою, сыномъ, работою и домашнимъ животнымъ, право собственности надъ предметами одушевленными, словомъ, право собственности на то, что впослѣдствіи будетъ названо *res sese moventes*. Ни движимая, ни недвижимая собственность не есть печать этой эпохи; печатью ея есть только одна собственность *самодвижущаяся*. Вотъ тотъ институтъ вещнаго права, созданіемъ котораго юриспруденція обязана единственно и исключительно патріархальной организаціи и политикѣ,

и больше всего народно-племенной. Приживался онъ уже и въ родовомъ періодѣ; но то грандіозное выживание его, какое не было потомъ никогда превзойдено въ исторіи, принадлежитъ, конечно, лишь фратріархальному быту. Только здѣсь мѣсто формальной торговли женами, дѣтьми и рабами, и это потому уже, что только здѣсь впервые возможно значительное накопленіе этихъ объектовъ собственности. Правда, у римлянъ подъ именемъ *res sese moventes* надо было разумѣть только рабовъ и скотъ и никого больше, т. е. рабовъ искусственныхъ, но не естественныхъ, рабовъ социальныхъ, а не натуральныхъ. Но здѣсь съ древними терминами намъ предстоитъ дѣлать то же, что мы дѣлали въ исторіи организаціи и политики, т. е. мѣстное и временное значеніе ихъ противопоставлять вѣчному, понятіямъ относительнымъ противопоставлять смыслъ абсолютнымъ. Для позднѣйшихъ римлянъ вещами *sese moventibus* остались только рабы; но для отдаленныхъ прѣдковъ ихъ не могли не быть тѣмъ же и жены, и дѣти. Не можемъ же мы въ патріархальныхъ представленіяхъ отыскивать тѣ тонкія отличія, какія стало находить лишь позднѣйшее римское воззрѣніе, и не можемъ тутъ дифференцировать право надъ рабомъ отъ права надъ сыномъ, право надъ животнымъ отъ права надъ женою: если всѣхъ ихъ одинаково можно было и нанимать, и обмѣнивать, и продавать, то съ научной точки зрѣнія это не можетъ означать ничего другого, какъ то, что всѣ они были чистыми объектами собственности и ничѣмъ больше. Привнесеніе въ ту или иную категорію этой собственности понятій нравственныхъ было бы только распространеніемъ нашихъ собственныхъ взглядовъ на всѣ вѣка и народы, какъ это и сдѣлали римляне, стѣснивъ смыслъ своихъ *res sese moventes*. Мало того, такъ какъ система этой собственности, какъ видно и изъ судьбы ея термина, никогда въ послѣдствіи не достигала такой полноты и цѣлостности развитія, какъ въ правѣ патріархальномъ, то она и составляетъ для него лучшую и вѣрнѣйшую характеристику. Самое богатство патріархальнаго человѣка мѣрялось, какъ мы видѣли, не чѣмъ инымъ, какъ богатствомъ женъ, дѣтей, рабовъ, стадъ и табуновъ, т. е. единственно и исключительно самодвижущейся собственностью. Вотъ тотъ способъ, какимъ семейное право само собою превращалось въ вещное: это одна переменная точки зрѣнія на предметъ, не больше. Впрочемъ, и у самихъ римлянъ оставался еще слѣдъ первоначальной тождественности обоихъ этихъ правъ.

слѣдъ смѣшенія всѣхъ категорій рабовъ въ одну: онъ оставался въ ихъ понятіи о лицахъ *alieni juris*, о *servilis conditio*, гдѣ смѣшивались безразлично всѣ виды рабства, были ли они подъ *patria potestas*, подъ *manus mariti* или же подъ *dominica potestas*. А люди чужеправные, люди не своеправные, суть, по нынѣшнимъ, болѣе объективнымъ, понятіямъ не что иное, какъ тѣ же рабы. Какъ бы то ни было, но исторія собственности начинается выживаніемъ между всѣми ними не иной, какъ именно самодвижущейся. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, рядомъ съ этой выживающей собственностью, должна быть здѣсь и та, которая въ это время только приживалась къ ней. Какая же это изъ двухъ остальныхъ? Движимость существовала, конечно, и при томъ, какъ замѣчено выше, даже не позже самодвижимости; но ей не было простора для развитія, почвы для питанія. Всякій гренландецъ носить уже въ себѣ признаніе этого права. Такъ, если тюлень ускользнулъ у нихъ съ чѣмъ-нибудь копьемъ въ себѣ, то онъ уже принадлежитъ хозяину копья, а не тому, кто поймалъ бы мертвого тюленя. Равно, если олень на общей охотѣ пронзенъ нѣсколькими стрѣлами, то онъ отдается тому, чья стрѣла ближе къ сердцу. Нашедшему сухое дерево, которое дорого у нихъ цѣнится, стоитъ только наложить на него камень,—и ни одинъ гренландецъ не посмѣетъ уже тронуть его. Но патріархальное богатство такого рода предметами не могло идти ни въ какое сравненіе съ богатствомъ самодвижимостями, а потому не могло не только состязаться со вторымъ, развиваться на его счетъ, но даже кое-какъ приживаться къ нему, а вслѣдствіе всего этого не могло и самоопредѣляться въ правѣ. И точно, всѣ кодексы варваровъ наполнены законами о рабахъ, о стадахъ, но никакъ не о движимости. Кочевая жизнь не выносила такой собственности, которая не могла переходить сама собою съ мѣста на мѣсто. Почти тоже надо сказать и о недвижимостяхъ въ первыхъ двухъ фазахъ патріархальности. Хотя примѣры владѣнія землею встрѣчаются не только въ кочевой политикѣ, а даже въ охотничьей; но это означаетъ только ту многократно повтораемую истину, что вездѣ и всегда не чуждо ни что человѣческое, что совершенно новаго въ немъ нѣтъ никогда ничего, и что всю новостъ тутъ составляютъ только однѣ комбинаціи и выдѣленія, однѣ пропорціи и отношенія, однѣ переразвитія и недоразвитія. Въ такомъ состояніи недоразвитія всегда могла существовать и поземельная собственность, какъ существовала, напримѣръ,

отъ времени до времени моногаміа среди агамическаго быта. Поземельное владѣніе попадаетъ, напримѣръ, даже въ Полинезіи, на островахъ Таити, гдѣ каждый клочекъ земли имѣеть, говорятъ, своего хозяина, гдѣ имѣеть его даже будто бы каждое дерево, такъ что часто почва принадлежитъ одному, а дерево на ней другому. Попадаетъ земля, какъ предметъ собственности, и въ Австраліи, гдѣ посягательство на чужую площадь охоты стоять иногда жизни посягателю. Но, во первыхъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ крайне сомнительно, идетъ ли рѣчь о правѣ собственности или же только о правѣ пользованія. А во вторыхъ, если бы и шла, то все это объяснялось бы условіями крайне исключительными, а не общими причинами организацій и политикъ. Такъ, напримѣръ, дикари австралійскіе живутъ не дичью, какъ большинство другихъ, а опоссунами, пресмыкающимися, насекомыми и корнями; отсюда и обладать нѣкоторыми пространствами земли на мѣстѣ и во время становища становится для нихъ необходимою питанія. Но общая политика дикихъ организацій есть охота, а такъ какъ она не обусловливается непремѣннымъ владѣніемъ земли, то явленіе это и не можетъ никогда сдѣлаться общимъ и нормальнымъ для этого быта. То же самое и въ организаціяхъ родовыхъ, при политикѣ кочевой. Монголы исполнѣ понимаютъ право собственности, когда вопросъ касается стада; но онъ ничего тутъ не понялъ бы, еслибъ рѣчь зашла о землѣ, какъ объектѣ собственности. Совсѣмъ другое дѣло въ организаціяхъ племенныхъ, въ политикѣ осѣдлой, земледѣльческой. Тутъ земля становится *conditio sine qua* поп организаціи и политики; а потому съ этихъ же только поръ начинается и возможность приживанія этого новаго права собственности къ прежнему, къ господствовавшему и процвѣтавшему до сихъ поръ. Но дальше этого приживанія недвижимая собственность все-таки никогда не шла не только въ абсолютной, но и во всѣхъ относительныхъ патріархальностяхъ.—Составъ права собственности также различается, смотря по тому, къ какому объекту онъ относится: въ выживающемъ правѣ онъ одинъ, въ приживающемся—другой. Относительно *res sese moventes*, право это есть полное и неограниченное: съ одной стороны, оно включаетъ въ себѣ и владѣніе, и пользованіе, и распоряженіе съ правомъ отчужденія; съ другой—оно есть и вѣчное, и потомственное. Самыя жены отца поступаютъ тутъ въ наслѣдство сыну. И такъ, здѣсь выработано уже понятіе о томъ, что впослѣдствіи на-

зовется правомъ полной *собственности*, хотя и по отношенію лишь къ нѣкоторымъ объектамъ его. По отношенію же къ недвижимости такое право вырабатывается крайне туго и медленно. Хотя, при осѣдлой жизни, это есть единственный источникъ богатства, который могъ бы поспорить съ самодвижущимся, и хотя понятіе о правѣ полной собственности уже выработано на этомъ послѣднемъ; но оно все-таки переходитъ на новый объектъ собственности вовсе не сразу и далеко не вполнѣ. Напротивъ, первоначально это есть не право распоряженія, отчужденія, владѣнія, какъ тамъ, а единственно и исключительно лишь право *пользованія*. Первоначально это есть также не вѣчное и потомственное право, а только временное и даже крайне срочное. Такая кажущаяся аномалія объясняется, вѣроятно, силою преданія, достигшаго отъ вѣковъ агамическихъ и родовыхъ, вліяніемъ антецедента. Въ тѣхъ и другихъ вѣкахъ, каждый разъ, когда опыты поземельнаго владѣнія представлялись, они представлялись не иначе, какъ въ качествѣ временныхъ и ограниченныхъ однимъ пользованіемъ, употребленіемъ, узупфруктомъ. Дикарь ли и охотникъ занималъ почву или же пастырь и кочевникъ, для обоихъ земля сохраняла цѣнность лишь до тѣхъ поръ, пока не оскудѣвала въ питаніи ихъ и ихъ стадъ. А потому не могло возникать и мысли о безусловномъ владѣніи землею. Такія привычки пониманія естественно перенеслись и въ эпоху патріархальной осѣдлости. Конечно, появленіе земледѣлія должно было перемѣнить взгляды на этотъ предметъ, и со временемъ оно дѣйствительно перемѣнило ихъ; но все-таки никакъ не въ предѣлахъ патріархальнаго права. Это послѣднее навсегда остановилось на владѣніи землею лишь въ качествѣ узупфрукта. Привзошла уже къ этой собственности и идея наследственности, какъ въ собственности самодвижущейся, и идея вѣчности и потомственности; но идея полного распоряженія съ правомъ отчужденія никогда сюда не приходила. Такъ, у тацитовскихъ германцевъ земля ежегодно подвергалась передѣлу; слѣдовательно, владѣнію подлежала, собственно говоря, жатва, а не самая земля; хотя въ то же время она оставалась вѣчно въ одномъ и томъ же племени, пока, конечно, оно само оставалось осѣдлымъ и не перемѣняло мѣста. То же самое достаточно засвидѣтельствовано у всѣхъ славянскихъ народовъ, у многихъ изъ которыхъ порядокъ этотъ держится и до сихъ поръ. Камеамеа I, князь семи Сандвичевыхъ острововъ, былъ до 1848 года единственнымъ обладателемъ

всей поземельной собственности этих острововъ, такъ что все населеніе получало ее только въ пользованіе. Въ народахъ-государствахъ или государствахъ патріархальныхъ составъ права собственности на землю все еще остается тотъ же. Здѣсь, какъ въ Китаѣ, Мексикѣ, Перу, Іудеѣ, земля считается принадлежащею на правѣ собственности лишь богдыхану, инкѣ, ацтеку, Іеговѣ; всѣмъ же прочимъ, не исключая мандариновъ, кураковъ, грандовъ, левитовъ, раздается она лишь въ кормленіе, при чемъ всякій оказавшійся у кого-либо излишекъ для этой цѣли отходить назадъ въ казну. Впрочемъ, такое положеніе дѣла долго продолжается и въ организаціяхъ чисто-государственныхъ, при политикѣ вполне уже земледѣльской; а потому тѣмъ меньше могло быть иначе и на какой бы то ни было ступени патріархата. И такъ, въ самодвижущихся объектахъ—собственность, *proprietas*, въ недвижимыхъ—пользованіе, *ususfructus*,—вотъ содержаніе и составъ вещнаго права патріархальнаго. Движимость наклонна идти, конечно, по первому пути; но дѣло въ томъ, что она вовсе еще не составляетъ въ эти времена достаточнаго предмета гражданскаго оборота, чтобы нуждаться въ ясныхъ правовыхъ опредѣленіяхъ.—Коль скоро имѣются на лицо такіе или иные субъекты права, необходимо должны, казалось бы, имѣться и какія-нибудь отношенія между ними. И дѣйствительно, въ семейномъ правѣ есть уже потенціальность и права обязательственнаго, права договорнаго. Это опять только новая точка зрѣнія на одинъ и тотъ же предметъ. Если трудно представить себѣ договорныя отношенія въ правѣ сильнаго, въ домашнемъ правѣ, то въ семейно-родовомъ, хоть крайне изрѣдка и хотя крайне элементарно, они уже дѣлаются возможными. Выкупъ похищенныхъ невѣстъ есть уже своего рода гражданская сдѣлка; продажа женъ, дѣтей и рабовъ—другая; наконецъ, торговля скотомъ—и третья. Купля и продажа, или точнѣе мѣна, есть, конечно, самый древнѣйшій изъ видовъ договорнаго права: онъ знакомъ уже жителямъ острововъ Фиджи. Обмѣнъ китова уса совершается ими обыкновенно на границѣ двухъ становищъ и въ полномъ присутствіи ихъ обоихъ. Та и другая сторона полагаетъ свои товары, обмѣниваемые на чужіе, на землю; а взаимное соглашеніе или несоглашеніе на обмѣнъ выражается или хлопаньемъ въ ладоши, или молчаніемъ. Такой же порядокъ живъ до сихъ поръ у абиссинцевъ. Но, во первыхъ, все это составляетъ крайне рѣдкое явленіе, а во вторыхъ,

виѣ мѣны положительно уже трудно искать какихъ бы то ни было другихъ договорныхъ сдѣлокъ въ патріархальномъ правѣ. Заемъ и закладъ, хотя и въ качествѣ чрезвычайнаго явленія, но еще попадаетъ; всѣ же прочія договорныя отношенія остаются только въ перспективѣ будущаго. Глубоко древняя процедура займа застана, напимѣръ, англичанами въ Индіи: кусочекъ дерева съ зарубками на немъ расщеплялся по-поламъ, и одна половинка принималась кредиторомъ, а другая должникомъ. По уплатѣ долга, кредиторъ возвращалъ свой деревянный документъ должнику. Въ Индіи, во времена самой глубокой ея древности, извѣстенъ также и закладъ, въ обезпеченіе долга. Впрочемъ, какихъ бы видовъ договора ни открывались тутъ признаки, но дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ нихъ не имѣлъ въ патріархальномъ правѣ никакихъ шансовъ на развитіе, никакой почвы для произрастанія; если зерна эти лежали въ ней, то лишь въ видѣ прозябанія, ждущаго своей поры, своихъ условій раскрытія. Въ самомъ дѣлѣ, внутри семействъ и родовъ никакое свободное соглашеніе между его членами немислимо: оно замѣняется здѣсь волею домовладыки. Соглашеніе же между собою двухъ разныхъ родовъ, при той отчужденности между ними, какую мы констатировали, есть собственно явленіе тогдашняго междуна-роднаго права, требующее весьма рѣдко попадающихся благоприятныхъ условій. Общинное владѣніе и рабскій трудъ, съ своей стороны, устраняютъ самую потребность договоровъ; а отсутствіе взаимнаго довѣрія, отсутствіе всякихъ средствъ поддержать и обезпечить его, устраняютъ не только потребность, но и самую возможность договорнаго права. Ловкое плутовство Одиссея всегда въ эти времена представится такою же добродѣтелью, какъ и хитрость Нестора или храбрость Ахиллеса. По всѣмъ этимъ причинамъ, договорное право есть то, которое изъ всѣхъ гражданскихъ наименѣе пристало къ лицу патріархальной культурѣ, и которое невозможно здѣсь не только въ состояніи выживанія, но даже малѣйшаго при-живанія къ какому-либо другому праву, и жизнь котораго здѣсь дѣйствительно одно лишь прозябаніе.

Но какимъ же образомъ способно истекать изъ семейнаго права или въ немъ гнѣздиться и само уголовное? Столь же естественнымъ, какъ истекало изъ него все гражданское. Уголовное право, какъ однажды уже замѣчено, есть то же самое семейное, но только еще съ одной новой точки зрѣнія, а именно не съ имущественной, а

съ личной. Коль скоро домовладыкѣ принадлежитъ право жизни и смерти надъ всѣми домоладцами, трудно искать происхожденія уголовного права гдѣ-нибудь по сторонамъ, внѣ семейнаго. Впрочемъ, такъ какъ и отцовская власть возникаетъ ни откуда больше, какъ изъ права сильнаго, и въ районѣ семьи своей замѣщаетъ прежнее право мести; то можно сказать, что родословіе уголовного права еще древнѣе, что оно предшествуетъ самой семьѣ и восходить до самыхъ первыхъ зачатковъ общегитія. Отсюда уголовное право простирается, параллельно съ гражданскимъ, по всѣмъ безъ исключенія градаціямъ патріархата, т. е. не исключая и первой изъ нихъ, гдѣ оно обитаетъ въ формѣ личной, а не родовой мести. Параллельность эта такъ велика и такъ близка, что самое различіе этихъ двухъ правъ долго неощутимо. Мы видѣли, напримѣръ, что у австралійцевъ нарушеніе права охоты влечетъ за собой иногда смерть нарушителю, т. е. правонарушеніе чисто-гражданское облагается наказаніемъ чисто-уголовнымъ. Наоборотъ, мы видѣли также, что похищеніе женщины, т. е. уголовное правонарушеніе, возстановляется простымъ выкупомъ, т. е. чисто-гражданскимъ удовлетвореніемъ. Такимъ образомъ, по составу своему, оба правонарушенія вовсе еще не различаются, такъ что преступленіе тождественно здѣсь съ убыткомъ, а наказаніе—съ вознагражденіемъ.—Въ частности, беря отдѣльно идею преступленія, опять не увидимъ въ ней различія отъ идеи простого правонарушенія гражданского. По субъекту и объекту правонарушеній оба права совершенно тождественны. Кто считается субъектомъ собственности и пользованія, тотъ, и только тотъ, есть также и субъектъ или объектъ обиды. Въ правѣ силы—это каждая отдѣльная личность; въ правѣ семейномъ или родовомъ—семейство или родъ; въ правѣ племенномъ—племя. Всѣ кажущіяся аномаліи въ этой градаціи объясняются теоріею приживаній и переживаній. Если въ семейно-родовомъ бытѣ возможна еще отъ времени до времени взаимная месть между братьями въ одной и той же семьѣ, то это остатокъ миновавшаго права силы, времени личной мести; если въ бытѣ племенномъ продолжается обычай междуродовой мести, то это есть наслѣдіе жизни родами. Во всякомъ случаѣ, чувство и потребность мести не исчезаетъ ни съ одной ступени патріархата, оставаясь на нихъ то въ видѣ приживанія, то въ видѣ выживанія, то, наконецъ, какъ переживаніе, и постоянно живя здѣсь, какъ единственный регуляторъ порядка и права. У карибовъ, напримѣръ, и патиамбу обиженный

раздѣляется съ обидчикомъ самъ и раздѣляется, съ одной стороны, по мѣрѣ гнѣва своего, съ другой—по мѣрѣ своей силы. Никто другой въ дѣло это не вмѣшивается; но если обиженный переноситъ обиду и не мститъ; то, въ силу счастливаго и чреватаго послѣдствіями инстинкта, всѣ отъ него отворачиваются съ презрѣніемъ. Это первый типъ мести по субъекту и объекту ея. Другимъ представляется обычай сѣверо-американскихъ индѣйцевъ. Тамъ убійцѣ мститъ семейство убитаго и никто больше: вождь, если онъ имѣется, совсѣмъ не вмѣшивается въ это частное дѣло. Но за то мечь часто прекращается не раньше, какъ истребленъ послѣдній членъ семьи оскорбителя, при чемъ мстители не только убиваютъ врага, но сдираютъ съ него кожу и сжѣдаютъ его. Третьимъ типомъ мести есть тотъ, гдѣ какъ мстителемъ или потерпѣвшимъ, такъ и преступникомъ считается всегда весь родъ, все племя, какъ это было у грековъ временъ Гомера. Тутъ вмѣстѣ съ виновнымъ, а иногда и вмѣсто виновнаго, терпятъ всѣ его родственники, общинники, односельчане, равно какъ всѣ же считаются мстителями и потерпѣвшими. На Новой Зеландіи есть обычай, называемый муру, по которому все населеніе, гдѣ живетъ преступникъ, отдается на всеобщее разграбленіе, хотя бы преступленіе было даже нечаянное. Вся деревня преступника отвѣчала за него также у франковъ, англовъ, норманновъ и руссовъ. Мало того, мечь разлагается иногда на весь родъ преступника не только статически, но и динамически, т. е. изъ поколѣнія въ поколѣніе. Остаткомъ такой мести было у грековъ, даже во времена государственныя, такъ называемое наслѣдственное проклятіе, тяготѣвшее надъ виновнымъ изъ рода въ родъ, впредь до очищенія. Потомки преступника считались какъ бы сохраняющими естественную склонность къ преступленію и въ этомъ смыслѣ проклятыми. Таковы были въ Аѳинахъ Алмеониды, оскорбившіе сватыню алтарей неуваженіемъ къ ихъ праву убѣжища. Нуженъ былъ цѣлый рядъ священнодѣйствій, совершенныхъ нарочито призваннымъ для того знаменитымъ прорицателемъ Эпименидомъ, чтобы проклятіе это могло быть снято. И такъ, для патріархальныхъ періодовъ характеристично то, что субъектъ преступленія перерабатывается въ нихъ изъ личнаго въ общинный и въ потомственный, то въ семьѣ, то въ родѣ, то въ племени. Съ другой стороны, объектъ преступленія всегда бываетъ здѣсь лишь частнымъ, конкретнымъ, и никогда публичнымъ, абстрактнымъ. Ни грѣха, т. е. преступленія противъ

боговъ, ни бунта, т. е. преступленія противъ власти и общества, здѣсь еще нѣтъ; а есть исключительно только преступленія противъ частныхъ, противъ конкретныхъ лицъ. Переходя за симъ къ разсмотрѣнію идеи наказанія въ эти времена, мы различимъ въ немъ, съ одной стороны, мѣру его, съ другой—цѣль. Хотя уголовное право гораздо проще гражданскаго, и не знаетъ того богатства родовъ и видовъ, какъ это; но за то самое удовлетвореніе такой господствующей потребности, такой души тогдашняго порядка, бываетъ крайне разнообразно. Разнообразіе это достигаетъ до такихъ крайностей проявленія, какія въ наши времена совсѣмъ даже вышли уже изъ самаго понятія мести, и квалифицируются совершенно иначе. Такъ, напримѣръ, есть въ эти эпохи чувство мести, распространяющееся не только на людей, но и на животныхъ. У кузисовъ Южной Африки, если тигръ разрываетъ кого-нибудь изъ людей, семейство послѣдняго продолжаетъ считаться отверженнымъ до тѣхъ поръ, пока не успѣетъ ноймать этого или другого тигра и не съѣстъ его. Другое еще обширѣйшее распространеніе чувства мести простирается даже на предметы неодушевленные. Тѣ же кузисы, напримѣръ, мстятъ также и дереву, придавившему человѣка: они съ острвенѣніемъ раздробляютъ его въ щепки. Въ Кохинхинѣ такой виновный предметъ выставляется къ позорному столбу. Этотъ пошибъ уголовного права, какъ онъ ни страненъ, не такъ, однакожь, рѣдокъ, и исчезаетъ вовсе не такъ легко, какъ это можно было бы предположить. Довольно вспомнить бичеваніе Ксересомъ Геллеспонта и закованіе его въ кандалы, или суды въ самой пританѣ афинской, отбываемые надъ преступными топорами и камнями. По рипуарскому закону, если кто былъ убитъ неодушевленнымъ предметомъ или скотиною, то эти послѣдніе, вмѣстѣ съ вирою, поступали въ распоряженіе потерпѣвшаго. Но еще любопытнѣе то переживаніе этой уголовной крайности, какое удерживалось въ самой Англіи и, при томъ, до послѣдняго царствованія, и по которой виновное животное или вещь отдавались въ такихъ случаяхъ Богу. И такъ, что касается мѣры наказанія въ эти эпохи, то оно характеризуется чуть ли не именно безмѣрностью своею. Выше мы видѣли его простирающимся изъ рода въ родъ, потомственнымъ; теперь же видимъ его простирающимся отъ человѣка къ животному, отъ животнаго къ дереву, отъ дерева къ камню, и такимъ образомъ распространяющимся на всю природу. Эта безмѣрность какъ въ длину, такъ

въ широту, есть лучший истолкователь здѣшней идеи наказанія. А что касается цѣли такого наказанія, то она лучше всего выступаетъ въ одной изъ самыхъ оригинальныхъ формъ мести, въ той, гдѣ потерпѣвшій обращаетъ наказаніе на самого себя, и за убійство кого-нибудь изъ своихъ, или вообще за оскорбленіе, платитъ не убійствомъ же, а самоубійствомъ. Такъ практиковалось въ древней Индіи и практикуется до сихъ поръ въ Японіи. Въ томъ и въ другомъ случаѣ предполагается, что духъ оскорбленнаго будетъ мучить оскорбителя, сдѣлается злымъ демономъ его, и не дастъ ему никогда покоя. Отсюда цѣль мщенія заставить страдать своего врага, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, а этимъ и удовлетворить себя за собственное свое страданіе. Сводя же обѣ эти черты патріархальнаго наказанія, нельзя не признать, что оно есть не что иное, какъ самая обширная и несдержанная месть, т. е. воздаяніе возможно *большимъ* зломъ за меньшее, при чемъ цѣль этого воздаянія есть не что иное, какъ *самоудовлетвореніе*, въ эти времена не только не скрываемое, но даже выставляемое на показъ и составляющее предметъ гордости. Что же касается того неожиданнаго, съ нынѣшней точки зрѣнія, прогресса, какой доступенъ этому состоянію уголовного права; то такимъ отъ времени до времени представлялось бы низведеніе кроваваго мщенія въ денежную пеню, въ виру, если бы это не было простымъ обращеніемъ изъ личной мести въ имущественную и простымъ смѣшеніемъ правонарушеній уголовныхъ съ гражданскими. Впрочемъ, это такой моментъ исторіи, который однимъ концомъ лежитъ въ патріархатахъ, другимъ—въ государствахъ, который столько же принадлежитъ концу первыхъ, какъ и началу вторыхъ.

Этимъ заканчивается все творчество матеріальнаго патріархальнаго права. Оно состоитъ въ такъ называемомъ частномъ правѣ, корнемъ котораго есть домашнее, стволотъ—семейственное и наслѣдственное, а двумя вѣтвями—гражданское и уголовное. Такая исторія разъясняетъ, какъ кажется, и нѣкоторые изъ тѣхъ вопросовъ системы права, которые остаются до сихъ поръ открытыми. Специалисты нерѣдко, напримѣръ, спрашиваютъ: отчего гражданское право приурочивается обыкновенно въ семейственному, тогда какъ они столь существенно различны? Но не оттого ли, что они существенно различны лишь въ настоящемъ своемъ видѣ; не оттого ли, что этотъ видъ не всегдашній ихъ видъ и что, прежде чѣмъ различиться, они совершенно отождествлялись; ибо семейное право было вещнымъ, а

вещное было семейнымъ. По рутинѣ, это отождествленіе достигло и до насъ; но если смыслъ рутинѣ для насъ потерялся, то единственно потому, что утратилась память о происхожденіи правъ, утратилось родословіе ихъ, такъ что мы не знаемъ болѣе, гдѣ тутъ дѣти, гдѣ отцы. Еще болѣе страннымъ показалось бы прикомандированіе къ гражданскому праву права домашняго, еслибъ оно не исчезло уже изъ нашихъ кодексовъ; но тѣмъ не менѣе исторически и генетически ему также нѣтъ иного мѣста, какъ во главѣ не только гражданскаго, но даже и самого семейственнаго. Оба они суть пропилен, суть крыльцо во всякое право вообще, а всего особеннѣе въ гражданское. Оба могли бы и излагаться особо, какъ преддверіе всѣхъ правъ, еслибы составляли достаточный для того матеріалъ; въ противномъ же случаѣ, имъ нѣтъ лучшаго мѣста—какъ во главѣ или уголовного, или гражданскаго кодекса. Но какъ наслѣдственность вяжетъ ихъ неразрывнѣе съ этимъ послѣднимъ, то они и не могли оторваться отсюда. Съ другой стороны, если уголовное право причисляется теперь больше къ государственному, чѣмъ къ частному, то единственнымъ тому объясненіемъ можетъ служить опять лишь тоже самое забвеніе. Еслибы не это забвеніе, то кто же сталъ бы утверждать, что есть такое государственное право, которое древнѣе самого государства! Частными оба эти элементарныя права суть потому, что оба и возникли изъ частныхъ отношеній, и сложились для разрѣшенія тѣхъ же частныхъ отношеній. Если же послѣдующая судьба ихъ и внесла въ нихъ какія-нибудь новыя черты, то это одно не властно еще пресуществить самую природу ихъ. По природѣ же своей они оба суть дѣти частнаго, семейнаго, домашняго быта. И если одно изъ нихъ, уголовное, нѣсколько отдалилось отъ него; то не на столько, чтобъ не узнать его, и чтобъ оно потеряло всякое фамиліное сходство свое. Впрочемъ, самымъ авторитетнымъ отвѣтомъ на всѣ эти недоразумѣнія могутъ послужить скрижали Моисея. Это — великій актъ жизни, положительно патріархальной; и между тѣмъ онъ уже вмѣщаетъ въ себѣ полный сводъ всѣхъ частныхъ законовъ: домашнихъ, семейственныхъ, гражданскихъ и уголовныхъ. Исключивъ первыя двѣ заповѣди, какъ законъ божественный, и обращаясь къ послѣднимъ восьми, какъ закону человѣческому, находимъ здѣсь: во первыхъ, право домашнее—не кланись и праздную субботу; во вторыхъ, право семейственное—чти отца твоего и мать; въ третьихъ, вещное — не поже-

лай, едина суть ближняго твоего, при чемъ вычисляется вся само-
движущаяся собственность (жена, рабъ, волъ, осель); и въ четвер-
тыхъ, уголовное—не убей, не украдь, не прелюбодѣйствуй, не лже-
свидѣтельствуй. При этомъ уголовный законъ развитъ еще больше,
чѣмъ гражданскій, какъ повторяется это и во всѣхъ другихъ па-
тріархальныхъ кодексахъ, напримѣръ, въ германскихъ и славянскихъ.

Наконецъ, фратріархальный періодъ организаціи и земледѣль-
ческій періодъ политикъ отзывается въ правѣ созданіемъ частнаго
права формальнаго, т. е. судебного права. Или, если бы было много
сказать: созданіемъ, то во всякомъ случаѣ вѣрно сказать: выдѣле-
ніемъ. Характеристику перваго періода въ этомъ отношеніи состав-
ляетъ самосудъ, т. е. такое состояніе общества, гдѣ каждый самъ
себѣ судья или, вѣриѣе, *частный мститель*. У негрскаго племени
мандинго всякій, чье гражданское право нарушено, захватываетъ
первую попавшую ему подъ руку вещь не нарушителя, а чью бы
то ни было; тотъ, въ свою очередь, самоуправствуетъ надъ другимъ,
другой надъ третьимъ и т. д., пока не произойдетъ полная анар-
хія, вслѣдствіе которой вооружится все скопище и возстановитъ
порядокъ. То же право захвата примѣняется и къ женщинамъ: въ
случаѣ побѣга своей женщины, мандинго беретъ себѣ первую чу-
жую, предоставляя ея мужчинѣ вѣдаться или съ похитителемъ бѣ-
жавшей или съ ея родственниками. Самосудъ уголовный еще по-
нятнѣе. У малайцевъ, не знающихъ еще замѣны кровавой мести
пеню, виновный, увѣренный въ неизбежности смерти, впадаетъ въ
какое-то бѣшенство и, чтобъ дороже продать жизнь свою, бросается
на всякаго встрѣчнаго, пока не найдетъ тѣмъ больше мстителей
и не будетъ изрубленъ въ клочки. Съ укрѣпленіемъ семейнаго права,
самосудъ если не прекращается, то перемѣщается. Въ семьяхъ и
родахъ есть уже между обидчикомъ и обиженнымъ третье лицо для
примѣненія мести: это — домовладыка, родоначальникъ, *мститель
семейный*, хотя и не отдѣленный еще отъ прочихъ властей и не
оформленный; но самосудъ остается для отношеній между разными
семьями и родами. У китайцевъ и до сихъ поръ нѣтъ для дѣтей
иного судьи, какъ отецъ. Тоже самое долго продолжалось и въ
Римѣ. И только подъ конецъ патріархатовъ, только на самой зарѣ
государственности, появляется иногда отдѣльная должность судьи,
посредника, или, точнѣе, *публичнаго мстителя*, вмѣсто частнаго; а
вмѣстѣ съ тѣмъ появляются и нѣкоторыя опредѣленные формы суда.

Формы эти суть всегда въ такомъ случаѣ мистическія: за трудностью и неумѣніемъ отыскать человѣческія средства для распознаванія правды отъ неправды, прибѣгаютъ здѣсь къ средствамъ сверхъестественнымъ, къ вмѣшательству боговъ, къ надеждѣ на чудотвореніе въ пользу праваго. Отсюда такъ называемый *судъ божій*, ордалин. Какъ приживаніе, такой судъ имѣется даже у нѣкоторыхъ негровъ, гдѣ извѣстенъ такъ называемый у нихъ судъ ящерицы. На наковальнѣ кладутъ ящерицу, и намѣреваются ударить по ней молотомъ; виновный спѣшитъ сдѣлать признаніе, опасаясь въ противномъ случаѣ величайшихъ для себя бѣдствій. Въ другихъ болѣе извѣстныхъ случаяхъ обвиняемаго заставляютъ лизнуть раскаленное желѣзо, погрузить руку въ кипящее масло, или же бросаютъ его связаннѣмъ въ воду, даютъ пить ядовитыя вещества, и т. п. Однимъ изъ видовъ суда божія бываетъ также поединокъ. И пусть не думаютъ, что онъ есть горделивое изобрѣтеніе лишь новой Европы, или что онъ принадлежитъ только такимъ относительнымъ патріархальностямъ, какъ средневѣковая. Напротивъ, г. Милухо-Маклай былъ свидѣтелемъ поединка даже у папуасовъ на Новой Гвинее, застигнутыхъ имъ еще въ каменномъ вѣкѣ. Поединокъ былъ послѣдствіемъ ревности; при чемъ оскорбленный старикъ, которому принадлежало право первому употребить оружіе, былъ такъ взволнованъ, что, пустивъ копьѣ, промахнулся, а молодой оскорбитель былъ такъ великодушенъ, что свое копьѣ бросилъ на землю. Вотъ самая первая изъ теорій судебныхъ доказательствъ и, при томъ, въ такомъ абсолютномъ ея развитіи и примѣненіи, въ какомъ она никогда больше не повторится въ мірѣ. Судъ божій есть вѣнецъ патріархальнаго творчества въ правѣ, и имъ замыкается вся исторія этого права. Вмѣстѣ съ этимъ сама собою очерчивается и вся система частнаго права: домашнее есть предисловіе къ нему; семейственное и наслѣдственное — введеніе; а гражданское, уголовное и судебное — самый текстъ частнаго права. Основаніе всей исторіи дѣлается основаніемъ и всей системы.

Если бы всю эту раздробленную картину патріархальнаго или частнаго права мы пожелали найти гдѣ нибудь, по мѣрѣ возможности, въ совокупленномъ и цѣльномъ видѣ, то намъ пришлось бы обратиться за этимъ опять нигуда больше, какъ въ Китай. Это единственный и удивительный образчикъ обширнаго государства подъ полнымъ господствомъ частнаго права. Не всѣ, конечно, безъ исклю-

ченія черты этого права уцѣлѣли здѣсь, но во всякомъ случаѣ наибольшая ихъ часть. Какъ въ цивилизаціи Китай былъ для насъ живымъ памятникомъ фетишизма, такъ въ культурѣ онъ стоитъ поразительнымъ монументомъ патріархальности, господства частнаго права, начиная не только съ семейнаго, но даже съ домашняго. Извѣстно, до какой степени вся частная, вся домашняя жизнь и до сихъ поръ подчинена тамъ самымъ обильнымъ, самымъ точнымъ предписаніямъ законодательства, слывающимъ подъ именемъ 10,000 церемоній. Точно и подробно опредѣлены тамъ всѣ правила встрѣчъ съ высшими, равными, низшими, правила пріема гостей, правила провожанія ихъ и т. п. Для каждаго положенія общественнаго опредѣлены разъ навсегда: одежда, постройка и размѣръ жилища, родъ экипажа, способы угощенія, размѣръ приданнаго, цвѣтъ и величина савана, число лакированныхъ гроба, окружность и высота могилы, срокъ и степени траура и пр. и пр. т. п. За домашнимъ правомъ идетъ въ немъ столь же примитивное семейное. Мужъ и жена въ Китаѣ суть ни больше ни меньше, какъ представители неба и земли; они такое же основаніе общества, какъ тѣ—природы. Но жена, какъ земля, находится подъ опекою мужа, какъ неба; впрочемъ, она и всю жизнь свою проводитъ подъ опекой то отца, то мужа, то сына. Супруги живутъ отдѣльно; они не могутъ имѣть даже общей вѣшалки, общаго сундука и, безъ крайней надобности, не должны входить другъ къ другу. Мужчина не можетъ ничего передать женщинѣ непосредственно изъ рукъ въ руки: онъ долженъ положить или поставить вещь возлѣ. На улицѣ женщины идутъ по одну сторону, мужчины по другую. Жена носитъ по мужѣ трауръ три года, мужъ вовсе не носитъ траура по женѣ. Высшаго своего значенія женщина достигаетъ тогда, когда, вмѣстѣ съ мужемъ, приносить жертвы предкамъ, а во вторыхъ, когда рождаетъ ему сына, который будетъ приносить жертвы ему самому. Высшаго подвига для нея нѣтъ, какъ самоубійство на могилѣ мужа; и памятники такимъ героинямъ семейнаго долга разсыпаны по всему Китаю. Что же касается вѣчнаго вдовства по смерти перваго мужа, то этого требуетъ уже самое простое приличіе. Главная жена у китайца всегда одна, побочныхъ же сколько угодно. Богдыханъ, кромѣ главной жены, богдыханши, имѣетъ еще трехъ царицъ, девять супругъ, восемьдесятъ одну жену и произвольное число наложницъ, покупаемыхъ съ торговъ и оберегаемыхъ въ гаремахъ

евнухами. Рожденіе сына есть благословеніе, рожденіе дѣвочки есть несчастіе, есть одинъ изъ тѣхъ фактовъ, о которыхъ приличіе требуетъ умалчивать. Дѣвочки часто даже совсѣмъ выбрасываются. Но отъ какой бы жены или наложницы дѣти ни были рождены, они всѣ законны и всѣ наслѣдники отца, кромѣ, конечно, женскаго пола. Почтеніе дѣтей къ родителямъ есть основаніе всѣхъ возможныхъ добродѣтелей. Если у чиновника, находящагося на службѣ, умираетъ отецъ, чиновникъ не только можетъ, но долженъ, обязанъ взять отпускъ для траура, чтобы могъ свободно сокрушаться и печаловаться. Власть отца надъ дѣтьми безгранична: ему принадлежитъ честь за всѣ достоинства дѣтей, но за то на него же падаетъ и безчестіе за всѣ ихъ пороки и самая отвѣтственность за ихъ преступленія. Самъ богдыханъ не изъять отъ этой логики, послѣдовательно проведенной къ нему отъ отцовъ семействъ чрезъ градоначальниковъ и начальниковъ провинцій. Каждый изъ нихъ отвѣтственъ за всѣхъ своихъ подчиненныхъ, а въ томъ числѣ и самъ богдыханъ отвѣтственъ за весь свой народъ. Къ нему относятся всѣ народныя доблести; но ему же вѣняются и всѣ бѣдствія народныя; голодъ, моръ, землетрясеніе, все это онъ и самъ приписываетъ не чему иному, какъ грѣхамъ своимъ, и все это долженъ онъ искупать молитвами, постомъ, покаяніемъ, жертвами. Жена, сынъ, дочь, также точно, какъ лица подчиненныя по службѣ и подданные, суть рабы отца, мандарина, богдыхана. Какъ рабы, ни сынъ, ни жена не могутъ имѣть собственности и все, что они пріобрѣтаютъ, пріобрѣтаютъ для отца или мужа. Какъ рабы же, дѣти и жены могутъ быть и продаваемы. Наоборотъ, собственно такъ называемые рабы суть тѣ же домохадцы, какъ жены и дѣти, и занимаютъ въ домѣ положеніе младшихъ родственниковъ. Возникли они здѣсь не изъ плѣна, ибо Китай всегда былъ миролюбивъ, а именно изъ продажи дѣтей родителями. Наслѣдуютъ родителямъ прежде всего нисходящіе ихъ до четвертой степени; потомъ, т. е. когда нѣтъ нисходящихъ до самыхъ праправнуковъ, наслѣдуютъ восходящіе, т. е. собственно отецъ и его братья, дѣдъ и его братья и т. д.; а послѣ восходящихъ идутъ боковые родственники. Во всѣхъ этихъ случаяхъ женщины не считаются. Наслѣдство всегда открывается и иначе, какъ по закону, хотя и есть уже одинъ случай, открывающій двери институту завѣщательному. Когда нѣтъ ни нисходящихъ, ни восходящихъ, ни боковыхъ родственниковъ, предвидѣн-

ныхъ закономъ, тогда только наследодателю предоставляется самому назначить себѣ преемника, но все таки не иначе, какъ изъ самыхъ отдаленныхъ родственниковъ. Всѣ родственники имѣютъ одно общее мѣсто, одну залу, которая служить для нихъ храмомъ предковъ, и гдѣ всѣ они собираются для поклоненія имъ. Земли считаются также принадлежностью всего рода и законъ рекомендуетъ, чтобы всѣ члены семьи пребывали въ нераздѣльномъ владѣніи землею, такъ что раздѣлъ ея допускается лишь въ крайнихъ случаяхъ. Земля можетъ быть отдаваема въ залогъ и даже съ предоставленіемъ кредитору права пользованія ею, въ видѣ процентовъ на долгъ. При отсутствіи такого залога, допускаются по займамъ прямые проценты, а именно по 3% въ мѣсяцъ, или по 36% въ годъ. А на сколько жена состоитъ еще въ положеніи *ges sese mowens*, видно изъ того, что земледѣлецъ китайскій запрягаетъ въ телѣгу осла и жену вмѣстѣ. Изъ числа преступленій самыя важныя суть семейныя, а въ томъ числѣ и преступленія противъ отца и матери всего народа. Къ сущности преступленія не относится, чтобы оно совершено было съ намѣреніемъ: достаточно, если самый фактъ совершился. Въ числѣ наказаній есть удушеніе, отсѣченіе головы и разсѣканіе тѣла на 10000 частей, т. е. просто искрошеніе его. Но отъ наказаній, какъ нѣкогда отъ мести, можно и до сихъ поръ откупаться. Отъ тѣлесныхъ наказаній можетъ откупиться всякій безъ изыятія, отъ прочихъ же только тотъ, кто совершилъ преступленіе ненамѣренно, и всякая вообще женщина. Если преступники суть члены одного и того же семейства, то наказывается только домовладыка, а не они сами. Смягчающія обстоятельства есть, и всѣ почти семейныя: неимѣніе дѣтей, обязанность поддерживать родителей и т. п. Наличие смягчающихъ обстоятельствъ дозволяетъ откупаться отъ наказанія и тамъ, гдѣ, по общимъ законамъ, это не допускается. Возрастъ же, а именно несовершеннолѣтіе до 15 лѣтъ и старость съ 80 лѣтъ, уполномочиваетъ на откупъ отъ всѣхъ наказаній, за исключеніемъ смертной казни. Сынъ, виновный противъ отца въ одномъ даже ослушаніи, всегда подлежитъ смертной казни. Если же онъ оказывается виновнымъ въ оскорбленіи отца, въ поднятіи руки на него, или, чего добраго, въ отцеубійствѣ, то все государство приводится въ движеніе: о событіи докладывается богдыхану, всѣ мѣстные чиновники отрѣшаются отъ должностей, сосѣднимъ жителямъ также опредѣляются наказанія, а самъ виновный

разбѣкается на 10.000 частей и потомъ сожигается, поля его опустошаются, домъ разрушается до основанія и сравнивается съ землею. Трудно провести далѣе семейный идеалъ въ государствѣ. Все здѣсь распределѣно такъ, что всѣ права находятся на сторонѣ отца, начальника, богдыхана, словомъ—всякаго старшаго, а всѣ обязанности на сторонѣ сына, подчиненнаго, подданнаго, т. е. всякаго младшаго. Самосудъ въ Китаѣ, конечно, давно миновалъ, и давно учредился судъ; но онъ и до сихъ поръ не успѣлъ раздѣлиться на гражданскій и уголовный. Правонарушенія того и другого рода смѣшиваются до сихъ поръ и простой должникъ часто наказывается уголовнымъ порядкомъ и, при томъ, гораздо строже, чѣмъ иной воръ или поддѣлыватель фальшивой монеты; все зависитъ отъ количества причиненнаго ущерба. А потому, если воровство и поддѣлка простираются на меньшую сумму, чѣмъ долгъ, то за нихъ отсчитывается и меньшее число ударовъ бамбуковыми палками. Приговоръ къ смертной казни всегда требуетъ утвержденія богдыхана, который предъ этимъ утвержденіемъ обыкновенно постится нѣсколько дней. Теорія доказательствъ составляетъ шагъ впередъ противъ той, какую мы видѣли: она вся основана на собственномъ признаніи обвиняемаго или отвѣтчика; но чтобы добыть это доказательство во что бы то ни стало, употребляется пытка: предполагается, что у невиннаго никогда нельзя вымучить признаніе, виновный же всегда рано или поздно дастъ его. Производство въ судѣ всегда изустное, публичное и даровое. Приговоры и рѣшенія постановляются единоличнымъ судьей. Вотъ то громадное историческое переживаніе, которое дѣлаетъ для насъ эпоху патріархальнаго права наглядною и живою до сихъ поръ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ.

Частное право въ государственной культурѣ.—Взаимодѣйствіе между частнымъ и государственнымъ правомъ.—Государственное право: законодательное, верховное, должностное, сословное, подданическое, податное и повинностное, административное.—Вышняя исторія законодательства.—Кризисы этой исторіи.

Государственный періодъ права характеризуется такъ потому, что въ немъ къ прежнему праву, созданному патріархальною организаціею и политикою, привходитъ другое, продуктъ организацій и политикъ государственныхъ. Прежнее, при противоположеніи съ

новымъ, пріобрѣтаетъ съ этихъ поръ характеръ частнаго права, а второе—характеръ публичнаго. Первое всегда было обычнымъ и хранилось единственно въ памяти людей; второе бываетъ обыкновенно писаннымъ, и содержится въ извѣстныхъ сборникахъ или кодексахъ. Но прежде, чѣмъ обратиться къ этому вполне новому и чистому продукту государственности, необходимо дослѣдить въ этой послѣдней судьбу стараго, частнаго права.

Въ Индіи, въ Египтѣ, въ Халдеѣ, въ Персіи, въ Іудеѣ, продолжается, въ этомъ отношеніи, царить весь тотъ типъ частнаго права, который только что описанъ нами, т. е. типъ чисто-патріархальный, чисто-китайскій, съ тою только разницею, что здѣсь онъ не распространяетъ себя на право государственное и ограничивается собственной своей сферою; но въ этой сферѣ онъ дѣйствуетъ не только въ началѣ государственной исторіи этихъ странъ и народовъ, но и въ продолженіи всей государственной жизни ихъ до самаго конца ея. Повсюду и, при томъ, на первомъ планѣ, возводится въ законъ, что ѣсть, что пить, какъ и кому одѣваться, какъ строить домъ, какія привѣтствія употреблять при встрѣчахъ, какъ держать себя съ людьми разныхъ состояній, какъ проводить тѣ или другіе дни, сколько и когда совершать возліаній, когда ложиться спать и когда вставать, когда имѣть сношенія съ женами и когда не имѣть, и проч. и проч. т. п. Сюда же относятся и всѣ правила первобытной гігіены, каковы: обрѣзанія, омовенія, бритье головы, воздержаніе отъ свинины, отъ вина, отъ мяса и т. д. Отдѣлъ этотъ имѣетъ въ восточныхъ кодексахъ такое же значеніе, какъ въ нынѣшнихъ коренные или основные законы. Семейные законы опять тѣже патріархальные. Повсюду полигамія, повсюду отцовское право жизни и смерти, повсюду господская власть. Весь древній государственный востокъ унаслѣдовалъ все это, какъ преданіе, какъ вполне уже готовое и сложившееся учрежденіе и, если что нибудь прибавилъ къ нему, то развѣ только то, что всѣ обычаи этого рода возвелъ въ освященное богами законодательство и изустный законъ возвелъ въ писанный. Въ самой Греціи и Римѣ семейное право началось не иначе, какъ и на востокѣ; разница только въ томъ, что кончилось иначе. Во времена царей греческихъ и римскихъ царить вмѣстѣ съ ними тотъ же грозный семейный духъ, что и въ Китаѣ, какъ мы видѣли изъ своемъ мѣстѣ на Эдипѣ, Агамемнонѣ, Идоменеѣ, Ромулѣ и Ремѣ. Мало того, гораздо позднѣе этого, въ Спартѣ,

замѣняетъ палача-отца только совѣтъ старѣйшинъ, въ руки котораго переходитъ вопросъ о жизни и смерти всякаго новорожденнаго дитяти, безъ исключенія. Самъ Римъ начинается свою государственность тамъ же, гдѣ начали ее и всѣ древніе сверстники его, а именно съ *ergo status familiae*. Довольно вспомнить объ этихъ знаменитыхъ *patria potestas*, *potestas mariti* и *domica potestas*, объ этомъ *jus vitae necisque*—по отношенію къ домочадцамъ, объ этомъ самодержавномъ *paterfamilias* по отношенію ко всей его *familia*, чтобы убѣдиться, что классическій геній сначала не такъ далеко ушелъ отъ китайскаго, какъ можно было бы подумать, судя по однимъ концамъ того и другого. Даже по XII таблицамъ мужъ могъ еще казнить жену за то, что она унесла ключи отъ его погреба; отецъ могъ дать сыну жену, дочери—мужа, могъ развести ихъ по своей волѣ, перевести въ чужую семью, устранить изъ своей и, наконецъ, просто нанять, заложить, продать. Право признанія и непризнанія дѣтей, имѣвшее мѣсто въ Индіи на 12-й день послѣ рожденія, въ Греціи имѣло это мѣсто на 10, а въ Римѣ на 9. Вообще же отецъ у грековъ и римлянъ есть не только родитель, *γεννητής*, *genitor*, но онъ еще преемникъ предковъ, онъ жрецъ домашнихъ боговъ, хранитель священныхъ обрядовъ, *sacra*, и домашнего очага, онъ судья и царь своему дому, словомъ, онъ *οἰκοδεσπότης*, *paterfamilias*, домовладыка. А именемъ *paterfamilias* назывался не только отецъ семейства, но и холостой человѣкъ, если его надо было особенно почитать, какъ, напримѣръ, патрономъ для кліента, господиномъ для раба. Жена, сынъ, дочь, рабъ не могли быть ни истцами, ни отвѣтчиками, ни даже свидѣтелями на судѣ: всѣхъ ихъ замѣнялъ тамъ мужъ, отецъ, господинъ. Всѣ права домочадцевъ сосредоточивались на одномъ *paterfamilias*; на него же падали и всѣ ихъ правонарушенія, совершенно какъ въ Китаѣ. Когда сенатъ римскій рѣшилъ истребить въ Римѣ вакханаліи и обрекъ участниковъ ихъ на смертную казнь, то это относилось къ однимъ только домовладыкамъ; что же касается домочадцевъ, то примѣненіе къ нимъ закона оставлялось на произволъ домовладыкъ. До такой степени государство не смѣло еще вторгаться въ домашній бытъ, и до такой степени онъ былъ еще *status in statu*. Новая организація общества уже давно существовала, но старая была для нея еще священною и неприкосновенною. Согласно со всѣми этими частностями и общій духъ молодого государства былъ еще семейный. Безбрачіе все еще считалось преступле-

ніемъ какъ прежде передъ родомъ, такъ теперь передъ государствомъ; и потому въ Аѳинахъ были особыя должностныя лица для побужденія гражданъ къ браку, а въ Римѣ обязанность эта лежала на цензорахъ. Безплодіе все еще считалось государственнымъ бѣдствіемъ, какъ прежде оно было бѣдствіемъ семейнымъ, а потому разводъ въ такомъ случаѣ не только позволялся, но былъ обязателенъ. Корвилій Руга очень любилъ свою жену, но принужденъ былъ развестись съ нею за безплодіе. Отсюда же и порученіе другимъ возстановлять сѣмя мужа не только у индусовъ и евреевъ, но также у грековъ и римлянъ. Отсюда также и широкая практика обычая усыновленій повсюду. Наконецъ, многочадіе по прежнему все еще оставалось видимымъ благословеніемъ боговъ. У римлянъ было даже особое *jus liberorum*, дававшее льготы по мѣрѣ многочадія, такъ что было *jus trium, quatuor, quinque liberorum*. Короче, семейное право все еще продолжало играть роль права политическаго, публичнаго, какимъ оно было при отсутствіи всякихъ другихъ организацій, кромѣ семейной, а не частнаго, какимъ ему суждено дѣлаться по мѣрѣ укрѣпленія этихъ новыхъ организацій. Есть, однакожъ, и одно важное различіе греко-римскаго права, даже въ самомъ началѣ его, отъ восточнаго: это — отсутствіе въ классическихъ кодексахъ домашняго права. Эти основныя условія общежитія, вѣроятно, слишкомъ уже инкорпорировались тогда въ нравы, чтобы имъ фигурировать еще въ правѣ; они слишкомъ достаточно уже охранялись общественнымъ мнѣніемъ, чтобы охранять ихъ еще судомъ. Отсюда исчезновеніе у грековъ и римлянъ домашняго права какъ права, или, такъ сказать, *экс-домашнее* право. Но, за этимъ исключеніемъ, точка исхода всѣхъ древнихъ законодательствъ одна и та же. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, оканчивается аристократическое государство далеко не такъ, какъ начинается, и на крайнемъ своемъ западѣ, къ концу своему, разрѣшается совсѣмъ не тою картиною, какъ на крайнемъ востокѣ, или какъ въ началѣ своемъ. Гдѣ же моментъ перелома между обоими полюсами? Обыкновенно ищутъ его въ Римѣ, и только съ Рима начинаютъ исторію реставраціи въ правѣ. Но Римъ былъ скорѣе однимъ изъ полюсовъ, чѣмъ точкою кризиса между ними. Самаго же кризиса надо искать тамъ, гдѣ онъ былъ и для организацій, и для политикъ, — въ племени семитическомъ. Впервые въ государствѣ традиціонный типъ права дрогнулъ и заколебался не въ Римѣ и не въ Греціи, а только въ

Палестинѣ, у евреевъ. Организацию и политику востока впервые реставрировали симиты-финиціане; право же восточное впервые потрясено симитами-евреями. Тутъ-то встрѣчаемся мы съ самымъ первымъ государственнымъ пересмотромъ частнаго права и самыми первыми государственнымъ поправками въ немъ. Одною изъ такихъ поправокъ есть и маленькая реформа въ отцовской власти. Прежде чѣмъ казнить сына, отецъ долженъ былъ, по этому законодательству, устроить подобіе суда надъ нимъ, привлечь посредниковъ между нимъ и собою. Нѣтъ нужды, что на практикѣ ему легко было добиться осужденія и при этомъ условіи, добиться его даже за самое простое ослушаніе; важно то, что такой неслыханный принципъ, какъ вмѣшательство между отцомъ и сыномъ, былъ провозглашенъ громко и во всеуслышаніе. Въ мірѣ пронеслась новая нота, которая, если и не сразу, то со временемъ, сложилась и въ цѣлую пѣсню новую. Другой столь же новый тонъ прозвучалъ въ отношеніяхъ мужа и жены. И не бѣда опять, что многоженство осталось пока въ силѣ; для этой поры довольно было уже и того, что, по крайней мѣрѣ, идеаломъ брака провозглашено было единоженство, и что первосвященнику народа оно вмѣнено даже и въ обязанность. Мало этого, новая тема послышалась и въ правѣ развода. Если для мужа оно оставалось, по прежнему, безусловнымъ, за то оно впервые въ исторіи допущено для жены. Хотя въ немногихъ и въ точно опредѣленныхъ случаяхъ (проказа, физическіе недостатки и грязныя занятія мужа); но жена получала все-таки право, какого она не знала еще никогда. Третья и самая поразительная поправка коснулась и самого господскаго права. Аще кто ударить раба своего или рабыню жезломъ, и умереть отъ руки его,—судомъ да отмстится: вотъ первая новость въ этомъ отношеніи. Другая еще поразительнѣе. Юбилейные годы, въ которые рабъ могъ перестать быть рабомъ, есть новость неслыханная, реформа революціонная. И какъ бы ни скоро на практикѣ забыто было это законодательство, но оно оставалось неизгладимымъ въ священныхъ книгахъ народа, и всякій пророкъ всегда могъ апеллировать къ нему. Вопросы этого не разрѣшилъ ни Римъ, ни весь древній міръ; но честь постановки его все-таки неотъемлема у законодательства еврейскаго. Наконецъ, это же законодательство впервые оставляетъ на произволъ почти всю виѣшнюю нравственность. Оно удерживаетъ еще нѣкоторыя гигиеническія правила, какъ обрѣзаніе или

воздержаніе отъ свинины; но оно оставляетъ въ сторонѣ этикетъ общезнатія, за весьма немногими исключеніями. Въ Греціи пересмотръ семейнаго права идетъ еще рѣшительнѣе, хотя въ качествѣ лишь обычнаго, а не писаннаго. Здѣсь, съ совершеннолѣтіемъ сына, власть надъ нимъ отца на практикѣ почти вовсе прекращается. Дочь могла быть продана въ рабство только въ единственномъ случаѣ—блудодѣянія или прелюбодѣянія. Бракъ если не преобразился еще въ моногамію, то обратился, по крайней мѣрѣ, въ бигамію, т. е. провелъ рѣзкую черту между женою, которая всегда одна, и наложницами, которыхъ можетъ быть нѣсколько. Законными суть дѣти только отъ жены, но не отъ наложницы. Вопросъ развода достигъ до того, что, при обоюдномъ согласіи, допускался безъ всякихъ ограниченій. Власть господская въ Греціи или, по крайней мѣрѣ, въ Аѳинахъ, подверглась ограниченіямъ, неизвѣстнымъ и въ мозаизмѣ: убійство или изувѣченіе раба наказывалось такъ же, какъ подобное преступленіе надъ свободнымъ; казнить раба господинъ не могъ иначе, какъ по судебному приговору; при жестокомъ обращеніи рабъ могъ бѣжать, въ храмъ Тезея и къ другимъ алтарямъ и тамъ просить о перепродажѣ его; наконецъ, въ случаѣ предложенія извѣстнаго выкупа, господинъ обязанъ былъ отпускать раба на свободу. Такимъ образомъ, если Риму принадлежитъ, такъ сказать, окончательное преобразование частнаго права, да и то не во всѣхъ безъ исключенія направленіяхъ, то вся инициатива этого преобразования, и при томъ гораздо болѣе широкая чѣмъ римское исполненіе, принадлежитъ евреямъ и грекамъ. Такое заключеніе тѣмъ менѣе рисковано, что римское триумвиры не даромъ же ѣздили въ Аѳины учиться, и что, по возвращеніи ихъ оттуда, децемвирамъ содѣйствовалъ въ составленіи таблицъ аѳинскій законвѣдъ Гермодоръ. Впрочемъ, самъ Цицеронъ свидѣтельствуетъ, что десятая таблица почти просто списана съ греческихъ оригиналовъ. Но какъ бы то ни было, а Риму принадлежитъ безспорная разработка всего, что онъ позаимствовалъ, разработка самостоятельная и вмѣстѣ подробная и обширная, до которой никогда не достигали сами инициаторы. Право жизни и смерти надъ дѣтьми, сперва ограниченное совѣтомъ родственниковъ, какъ у евреевъ, потомъ, а именно при республикѣ, стало выходить изъ употребленія у римлянъ, а во время имперіи и вовсе уничтожено; право продажи ихъ впало въ забвеніе также при императорахъ. Римскій сынъ, который сначала, какъ и вездѣ, не могъ быть собствен-

никогдѣ, уже въ концѣ республики получилъ возможность имѣть свое отдѣльное имущество въ видѣ *peculium castrense*, добытаго имъ лично на войнѣ, и перваго, какое изъято изъ подъ *patria potestas*. Еще нѣсколькими вѣками позже такое же право распространено и на собственность, приобрѣтенную всякой иной службою сына, *quasi castrense peculium*. Наконецъ, римскій сынъ могъ и вовсе освободиться отъ *patria potestas* и, при томъ, не по нравамъ, а по формальному закону, посредствомъ такъ называемой эманципаціи, или *venditio imaginaria*, воображаемой продажи. Бигамія римская еще строже, чѣмъ греческая, различила жену, ихог, отъ наложницы, *concubina*, положивши между ними цѣлую бездну. Кромѣ того, жена могла поступать и не поступать *in manus mariti*, и въ послѣднемъ случаѣ сохраняла особые отъ мужа имущественныя права. Въ концѣ же концовъ *manus* и совсѣмъ исчезло изъ обычая. Право развода, начиная съ Домиціана, стало принадлежать также и женѣ. Меньше всего римляне пошли по дорогѣ, указанной евреями и греками, въ отношеніи рабства; но и здѣсь исторія ихъ прошла не безплодно. Въ императорскомъ періодѣ господская власть значительно ограничена, такъ что за убійство раба господинъ иногда наказуемъ. Убѣжище у алтарей, по греческому примѣру, получило развитіе также по прямымъ требованіямъ императоровъ. Жестокое обращеніе съ рабами стало иногда вести къ отпуску ихъ на волю, по суду. Но самый институтъ рабства во всей его цѣлости остался для древняго государства навсегда священнымъ и неприкосновеннымъ, и въ такомъ видѣ переданъ имъ и новому. Чѣмъ же завершилось или завершается движеніе семейнаго права у этихъ новыхъ, тимократическихкихъ народовъ? Средневѣковое развитіе ихъ, какъ выраженіе того же аристократизма, но только относительнаго, мы, по плану этой книги, должны пропустить. Оно важно для частной исторіи Европы, но во всемірной имѣть мѣста не можетъ. Тутъ важно не повтореніе задовъ народами, а тотъ моментъ, когда они уже повторены, когда все прежнее уже и усвоено, и пережито, и когда, вдобавокъ къ нему, начинается самобытное и дальнѣйшее творчество. А такимъ временемъ у нашихъ тимократій есть, по большей части, только новѣйшая, а не средневѣковая исторія. И такъ, что же создано ею въ семейномъ правѣ? Размахъ успѣха здѣсь колоссальный и который сразу же даетъ основаніе этимъ народамъ смѣло потягаться съ римлянами въ юридической культурѣ. Жизнь этихъ народовъ далеко еще не завершилась; что же касается самоуправляющихся тимократій,

то для нихъ она только что начинается: а между тѣмъ и то, что до сихъ поръ уже сдѣлано ими, не можетъ не поражать, по сравненію съ тугимъ прогрессомъ древности. Во первыхъ, есть у нихъ шагъ, совершенный ими даже во времена ихъ относительной патриархальности, но въ которому такъ тщетно стремились евреи, греки и римляне: это—великій шагъ окончательной моногаміи, поставленный въ условіе новой культуры самой ея религіею. Второй такой же шагъ, если не больше, то никакъ не меньше перваго. Это—обращеніе въ развалины и всей *patria potestas*, и всего *manus mariti*, и всей *dominica potestas*. Въ странахъ, издавна поработанныхъ римскому праву, еще держатся кое-гдѣ, въ видѣ переживанія, доживающаго впрочемъ вѣкъ свой, остатки одной изъ этихъ трехъ семейныхъ властей,—*manus mariti*; но въ обществахъ, независимыхъ отъ римскаго права, не осталось слѣда и этой. Остальныя же двѣ власти рухнули повсюду и безусловно. Все, что осталось отъ *patria potestas* есть развѣ право родителей, да и то призрачное, разрѣшать бракосочетаніе дѣтей; но *dominica potestas*, преобразенная сперва въ крѣпостное право, истреблена потомъ вся безъ остатка и въ этомъ послѣднемъ своемъ видѣ. Наконецъ, самый аеть брака, на которомъ основалась вся исторія культуры, изъ религіознаго таинства, какимъ онъ былъ до сихъ поръ, обращается нынче въ предметъ простого гражданскаго договора. Такимъ образомъ цѣлый и, послѣ домашняго права, самый основной изъ юридическихъ институтовъ, которымъ жили двѣ великія эпохи человѣчества, и который въ одной изъ нихъ все росъ и росъ, а въ другой все больше и больше сокращался и ограничивался,—въ наши времена сократился и ограничился чуть не до нуля, а вмѣстѣ съ тѣмъ и исчезъ изъ области права, весь переселяясь въ область одной нравственности. Право опять инкорпорировалось въ нравы, и потому стало опять излишнимъ, какъ въ классическомъ мірѣ—правила благопристойности, домашнее право. Аристократическое государство произвело эманципацію отъ домашняго права, тимократическое производитъ ее отъ семейнаго, производитъ *экс-семейное* право. Если же въ кодексахъ нашихъ семейное право продолжаетъ еще фигурировать, то скорѣе по рутинѣ, чѣмъ по надобности, да, при томъ, и тамъ скорѣе съ характеромъ нравственности, чѣмъ права. А то, что тамъ дѣйствительно остается еще правомъ, принадлежитъ больше праву государственному, чѣмъ частному. Такъ что въ недалекомъ будущемъ не остается мѣста ни для

какой правовой исторіи семьи, а остается оно только для нравственной.

Наслѣдственное право зависитъ отъ системы родства. Исключительное родство по женской линіи отжило весь свой вѣкъ въ предѣлахъ одной и той же патріархальности: тутъ оно выросло, тутъ же и отцвѣло, уступая повсюду подъ конецъ такому же исключительному родству мужскому. Въ монархическихъ аристократіяхъ система родства началась такъ, какъ кончилась въ патріархатахъ, т. е. полною и исключительною побѣдою мужского родства надъ женскимъ. Какъ нѣкогда безусловно превосходило женское, такъ теперь повсюду превосходило мужское, и счетъ родства велся только по мужской линіи; а вмѣстѣ съ этимъ само собою разумѣлось и предпочтеніе, въ порядкѣ наслѣдованія, всякаго наслѣдника всякой наслѣдницѣ. Такъ въ Китаѣ, въ Индіи, у зендовъ, у евреевъ, у грековъ наслѣдовали всѣ вмѣстѣ братья, съ нѣкоторымъ предпочтеніемъ первороднаго изъ нихъ; сестры же, при братьяхъ, никогда не наслѣдницы, и если могутъ наслѣдовать, то лишь при отсутствіи братьевъ. Первая брешь въ этой твердынѣ пробита опять не раньше, но и не позже, какъ мозаизмомъ. Этой брешью былъ принципъ заступленія, идущій въ нисходящей линіи до безконечности и безъ всякаго различія пола: гдѣ не дождался своей очереди непосредственный наслѣдникъ, тамъ въ права его вступаетъ его собственный наслѣдникъ, такъ что никакая смерть не разрушаетъ системы наслѣдованія и не переимчивается въ ней картъ, и такъ что система эта не перескакиваетъ и чрезъ женщинъ. Этимъ косвеннымъ и окольнымъ путемъ впервые открылась дорога для примиренія между собою обѣихъ системъ родства. Что же касается системы завѣщаній въ наслѣдствѣ, то о ней не было помину не только у индусовъ и вообще въ монархической аристократіи, но даже и у евреевъ. Повсюду здѣсь замѣнялась она системою усыновленія. Ни слуху, ни духу о ней нѣтъ и въ Греціи до временъ самого Солона. Солонъ, насколько извѣстно, первый въ мірѣ произнесъ это столь новое и столь оригинальное слово въ правѣ. Онъ первый изъ законодателей допустилъ эту форму наслѣдованія и, при томъ, не иначе, какъ для людей бездѣтныхъ. Спарта впервые услышала объ этой новости только въ пелопонезскую войну. Римляне, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи, начали точно также, какъ и какіе-нибудь индусы. А именно, въ первомъ изъ этихъ двухъ отношеній, начали они съ

безусловнаго господства мужскаго родства, *agnatio*, которое даже нигдѣ не казалось такимъ полнымъ и прочнымъ, какъ здѣсь. Родство женское, *cognatio*, ставилось здѣсь ни во что, вовсе не приобщало къ семьѣ. Два человѣка, какъ бы ни было велико число поколѣній и линій, раздѣляющихъ ихъ, но если только въ ряду предковъ ихъ былъ одинъ и тотъ же мужчина, были уже агнаты между собою, т. е. единственно признанные родные. Напротивъ, два родные брата, единоутробные, но не единоверные, суть уже только когнаты, а не родственники. Человѣкъ даже совсѣмъ чужой по крови, но только усыновленный семьею, есть уже въ ней полный агнатъ; а родной сынъ, получившій эманципацію, перестаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ быть и агнatomъ. Самый кліентъ ближе къ своему патрону, чѣмъ когнатъ къ агнату; ибо первый участвуетъ въ культѣ патрона, второй же непричастенъ къ культу агната. Кліенту патронъ обязанъ помогать въ таинствахъ судопроизводства; агнатъ же не имѣетъ никакихъ обязанностей къ когнату. Вслѣдствіе всего этого, самый даже рабъ можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, сдѣлаться наслѣдникомъ семьи, но когнатъ никогда. И если велось счисленіе о когнатствѣ, то единственно лишь для того, чтобы знать, что оно препятствуетъ браку. Все это имѣло и основанія, повидимому, неизбѣжныя. Родъ-де можетъ продолжаться только мужчиною, а не женщиною; ибо только онъ, а не она, можетъ приносить жертвы богамъ. Женщина, по самому рожденію своему, есть прозелитъ совсѣмъ иныхъ домашнихъ боговъ, чѣмъ боги рода, въ который она вошла по замужеству; отрекшись отъ тѣхъ въ пользу этихъ, она собственно не принадлежать ни тѣмъ, ни другимъ. И, по принципу обратному, самое родство, въ свою очередь, познается по приношенію жертвъ однимъ и тѣмъ же богамъ; но у когната не можетъ быть общаго мужскаго предка съ агнatomъ, а потому никогда невозможно и совмѣстное приношеніе жертвъ ими. Но тѣмъ-то и замѣчательнѣе, что, поставивши общую мысль древности такъ круто, римляне, въ теченіе одной своей жизни, успѣли отойти отъ нея гораздо дальше, чѣмъ ушла когда-нибудь какая бы то ни была часть этой древности, не исключая ни евреевъ, ни грековъ. Борьба между двумя родствами тянется, правда, чрезъ всю исторію какъ Греціи, такъ и Рима, идетъ туго, неподатливо; но оканчивается все-таки побѣдою того начала, которое человѣчнѣе, чѣмъ прежнее, и оканчивается этой полной побѣдой только въ Римѣ. Началось съ того, что преторъ, при совершен-

номъ недостатокъ агнатовъ, позволялъ себѣ признавать родственниками и когнатовъ. Продолжалось тѣмъ, что онъ признавалъ ихъ такими иногда и при агнатахъ, но только послѣ нихъ. А кончилось тѣмъ, что онъ сталъ признавать оба *родства*, т. е. сталъ признавать ихъ равными, а иногда даже когнатство ближайшимъ, чѣмъ агнатство. Сперва также все это относилось то къ одному колѣну когнатства, то къ другому, то къ третьему; а кончилось признаніемъ когнатскаго родства даже въ 6 и 7 колѣнѣ. При Юстиніанѣ же процессъ завершается тѣмъ, что всякое различіе между однимъ и другимъ родствомъ вовсе исчезаетъ. Согласно съ порядкомъ родства шли различные порядки и въ системѣ наслѣдованія. Подъ наслѣдствомъ у римлянъ понималось опять, и на этотъ разъ уже навсегда, до конца ихъ исторіи, то же, что мы видѣли въ патріархальномъ правѣ, т. е. наслѣдованіе не только вещное, въ имуществѣ, но также и социальное, во всѣхъ домашнихъ властяхъ, *potestates*, и религиозное, въ *сасга*. вмѣстѣ съ собственностью, и даже прежде нея, а иногда и вовсе безъ нея, передавался главнымъ образомъ культъ домашнихъ боговъ. На наслѣдникѣ прежде всего лежала обязанность поминовеній по усопшемъ, жертвъ за него, успокоеніе его тѣни. Отсюда-то и исключеніе женщинъ, какъ неспособныхъ приносить жертвы; отсюда же и популярность усыновленій, какъ средства восстановленія мужскихъ наслѣдниковъ. Короче, римское наслѣдованіе было преемствомъ опять въ той же, такъ называемой, *universitas juris, in universum jus quod defunctus habuit*. Конечно, патріархальное самодержавіе, верховная власть домовладыки, должны были въ государствѣ значительно испариться; но на сколько государство не смѣло еще касаться семьи, на столько же простиралось и понятіе объ *universitas juris*. Оно стало гораздо уже, чѣмъ въ патріархатахъ, но все еще оставалось несравненно шире, чѣмъ у насъ. Въ этомъ-то всеобщемъ семейномъ правѣ и были сначала наслѣдниками только одни агнаты. А когда преторъ сталъ допускать сюда и когнатство, то онъ рѣшился сдѣлать это подъ видомъ не наслѣдованія, *successio*, а только въ видѣ *possessio bonorum*, простого владѣнія, впредь, де-сказать, до обнаруженія болѣе законныхъ наслѣдниковъ. Въ случаяхъ выморочности имущества, это было почти необходимо, потому что ни государство, ни вообще корпорація долго еще не смѣли притязаній своихъ на участіе въ частномъ правѣ гражданъ. Кончился же и этотъ процессъ тѣмъ,

что *possessio bonorum* превратилось въ полное *successio in universum jus*. Если же и въ такомъ обширномъ смыслѣ наслѣдника не было, тогда только, и только со временъ имперіи, начинается притязать на качество наслѣдника само государство: это—въ такъ называемыхъ *bona vacantia*, выморочныхъ имуществахъ. Такимъ образомъ самое раннее воздѣйствіе государства на частное право обнаружилось двояко: во первыхъ, государство отняло у семьи ея верховную власть, сократило ея *universitas juris*; а затѣмъ, во вторыхъ, пробралось оно и само въ частное семейное право, втершись въ число наслѣдниковъ частнаго лица. Но и этимъ не ограничилось римское творчество въ наслѣдственномъ правѣ: ему принадлежитъ еще большая честь если не изобрѣтенія, то, по крайней мѣрѣ, развитія и усовершенствованія такого учрежденія, которому юристы приписываютъ, наравнѣ съ институтомъ договора, величайшее вліяніе на преображеніе человѣческихъ обществъ. Мы говоримъ о *завѣщаніяхъ*. До XII таблицъ Римъ, также и какъ и весь міръ внѣ Аѳинъ, ничего не знаетъ объ этомъ. Но слово, обрonnenное Солономъ, подхвачено децемвирами, внесено ими въ свои таблицы, и отсюда должно было произвести цѣлый переворотъ въ наслѣдственномъ правѣ. До сихъ поръ мыслимо было только наслѣдство по закону; теперь же стало возможнымъ какое-то новое. До какой степени оно было ново и диво для самихъ римлянъ, видно изъ той боязливой осторожности, какою обставлено было это нововведеніе, ниспровергавшее прежній порядокъ. Во первыхъ, оно допущено было на первый разъ только въ тѣхъ именно размѣрахъ, какъ и у самого Солона, т. е. единственно и исключительно для людей бездѣтныхъ. Во вторыхъ, всякое завѣщаніе, или, точнѣе, всякій проектъ его долженъ былъ вноситься на утвержденіе въ куриатскія комиціи, словно какой-нибудь новый государственный законъ, и только по утвержденіи здѣсь оно получало свою силу. Въ третьихъ, однажды получивъ эту силу, оно, какъ законъ же, никогда не могло потерять ее, и было для завѣщателя распоряженіемъ безвозвратнымъ. Въ четвертыхъ, оно, опять также какъ и всякій законъ, получало силу со времени самаго изданія и, слѣдовательно, еще при жизни завѣщателя, а не по смерти его. Наконецъ, какъ изъ всего предыдущаго слѣдуетъ, оно было явнымъ и гласнымъ, а не тайнымъ. И нуженъ былъ длинный путь постепенныхъ и многочисленныхъ компромисовъ, поправокъ, приспособленій, нуженъ былъ весь путь римской исторіи для того, чтобы

изъ такого учрежденія выработалось то, которое мы получили изъ рукъ римлянъ. Такъ, напримѣръ, всѣ вышеисчисленныя условія отъ-
сились къ завѣщаніямъ только патриціанскимъ; а какъ быть съ
плебейскими—законъ вовсе умалчивалъ. Но тутъ-то и открылось
широкое поле практикѣ, толкованію, судѣ, претору. И точно, пре-
торъ не замедлилъ восполнить пробѣлъ. Завѣщать плебей не могъ,
но никто не мѣшалъ ему подарить или продать собственность; и
такъ стояло только обратить завѣщаніе въ куплю-продажу, въ *man-
cipatio*,—и цѣль достигнута. И вотъ завѣщатель является въ каче-
ствѣ продавца своего семейнаго права, *familiae venditor*; а наслѣд-
никъ—въ качествѣ покупателя, *familiae emptor*; и такимъ образомъ
готовъ новый видъ завѣщанія, *testamentum per aes et libram*. Это,
однакожь, не производило ни тайны завѣщанія, ни отмѣняемости
его, ни посмертности. Но дѣло въ томъ, что со временемъ наличное
присутствіе покупателя, или, что тоже, наслѣдника, перестало быть
необходимымъ при продажѣ; достаточно стало односторонняго заяв-
ленія продавца, или наслѣдодателя; а такимъ образомъ сама собою
получилась и возможность завѣщательной тайны. Дѣло также въ
томъ, что когда завѣщаніе раздѣлилось на объявленіе воли, *man-
cipatio*, и передачу, *traditio*,—получилась возможность и отмѣны завѣ-
щаній, пока не состоялась дѣйствительная по нимъ передача. Дѣло
въ томъ, наконецъ, что когда завѣщанія стали писаться, то къ этимъ
tabulae testamenti довольно было приложить свои печати *familiae
emptor*'у, *libripens*'у и пяти свидѣтелямъ, которые могли даже не знать
о содержаніи, чтобы завѣщаніе получило свою силу. А этимъ пу-
темъ и снова поддерживалась возможность завѣщательной тайны, и
обнаруженія ея только послѣ смерти. А такъ какъ, вслѣдствіе общаго
смишенія правъ плебеевъ и патриціевъ, тому же порядку завѣща-
ній стали слѣдовать всѣ безъ различія, то древнія формы завѣщанія
исчезли совсѣмъ, а новыя стали единственными. Дальнѣйшею при-
стройкою и къ этимъ новымъ формамъ было подназначеніе наслѣд-
никовъ, *substitutio*. Субституція состояла въ томъ, что завѣщатель,
сверхъ указаннаго имъ перваго своего наслѣдника, подназначалъ,
на случай невступленія его почему-либо въ наслѣдство, другого, а
на случай невступленія этого—третьяго и т. д. Это такъ называе-
мая *substitutio vulgaris*. Другой видъ того же рода, *substitutio pupillaris*,
распространилъ еще дальше посмертныя права завѣщателя. По этой
послѣдней субституціи, онъ назначалъ наслѣдниковъ не только себѣ,

но и наслѣдниковъ своимъ наслѣдникамъ. Дѣло дошло до того, что такихъ подставныхъ одного другому наслѣдниковъ оказывался иногда цѣлый рядъ, такъ что чуть ли не все потомство лишалось воли своей въ распоряженіи имуществомъ, въ пользу воли одного изъ его предковъ. Такое злоупотребленіе свободой одного поколѣнія на счетъ свободы всѣхъ другихъ всегда возбуждало ропотъ, но тѣмъ не менѣе существовать продолжало. Но и этимъ не исчерпываются всѣ метаморфозы завѣщательнаго права. До сихъ поръ, мы говорили только о *per universitatem successio*; но, кромѣ него, вошли въ употребленіе и частныя завѣщательныя распоряженія въ видѣ отказовъ, *legata*, и въ видѣ порученій или рекомендацій наслѣднику, *fideicommissa*. Первые были обязательныя для наслѣдника выдачи, вторыя—предоставленныя на его добрую волю, на совѣсть, *fides*. Если прибавить къ этому, что воля завѣщателя сдѣлалась вовсе неограниченною по отношенію къ своимъ родственникамъ, такъ что онъ могъ назначать наслѣдниками дальнѣйшихъ родственниковъ помимо самыхъ ближайшихъ и даже вовсе не стѣснялся родствомъ, то мы и получимъ тотъ крайній предѣлъ, тотъ апогей, до котораго законодательство римское довело личную волю собственника. По мѣрѣ того, какъ *patria potestas* теряла въ прочихъ своихъ властяхъ и правахъ, она какъ будто старалась за то вознаграждать себя въ правахъ собственности. А между тѣмъ до какой степени институтъ этотъ успѣлъ пустить корни, окрѣпнуть на той самой почвѣ, гдѣ взросъ, видно изъ того, какую силу естественности получила эта искусственная связь двухъ лицъ посредствомъ завѣщанія. Завѣщаніе стало для римлянина столь же логичнымъ средствомъ продлить семью, какъ и усыновленіе; оно стало для него такимъ естественнымъ, что наслѣдованіе другъ другу первыхъ римскихъ императоровъ представлялось для него въ высшей степени правильнымъ и законнымъ. Самая претензія Θεодосія или Юстиніана именоваться Августомъ и Цесаремъ не имѣла въ себѣ для римскаго взгляда ничего нелѣпаго. Съ другой стороны, римскій умъ такъ сжился съ этимъ продуктомъ своего генія, что для него не было худшаго зла и худшаго пожеланія, какъ умереть безъ завѣщанія. Наслѣдство по закону стало случаемъ исключительнымъ; господствующимъ же сдѣлалось наслѣдство по завѣщанію. Но здѣсь намъ представляется опять замѣчательное явленіе всецѣлаго отождествленія института съ эпохой. Какъ исключительность женскаго

родства отождествилась съ патриархальностью, такъ завѣщательная исключительность вся совпала съ жизнью одного Рима, составляя тѣмъ, слѣдовательно, одну изъ самыхъ лучшихъ, отличительныхъ для него характеристикъ. Тутъ завѣщаніе впервые приживалось къ закону, тутъ оно выжило до высоты, никогда больше неслыханной, и тутъ же начало оно и отживать. Прижившись къ законному наслѣдованію только съ эпохи XII таблицъ, выживши надъ нимъ въ субституціяхъ и неограниченномъ выборѣ наслѣдниковъ, завѣщательное право скоро за тѣмъ начинаетъ отцвѣтать. Отчасти общее смягченіе отеческой власти, отчасти законъ, отчасти судебная практика стали полагать предѣлы этому самозабвенному произволу собственника. Самымъ первымъ изъ такихъ ограниченій была обязанность, по крайней мѣрѣ, прямо и положительно упоминать въ завѣщаніяхъ объ экстереедаціи прямыхъ и ближайшихъ наслѣдниковъ; молчаливое же лишеніе ихъ наслѣдства воспрещалось подъ страхомъ недѣйствительности всего завѣщанія. Слѣдующее ограниченіе было еще рѣшительнѣе: для прямыхъ наслѣдниковъ установлено было неотмѣнное право участія въ наслѣдствѣ, такъ называемая, *legitima portio*, указанная доля. Наконецъ, по третьему ограниченію, эта указанная доля должна была быть назначаемая не въ видѣ легата, а въ видѣ назначенія прямымъ наслѣдникомъ. Что же касается злоупотребленія субституціями, то ихъ Юстиніанъ ограничилъ, по крайней мѣрѣ, четырьмя поколѣніями. Въ такомъ-то окончательномъ и, повидимому, отживающемъ видѣ завѣщаніе и поступило изъ аристократической культуры въ тимократическую. Само собою разумѣется, что все сказанное выше относится главнымъ образомъ къ завѣщаніямъ въ недвижимостяхъ, какъ главной статьѣ гражданскаго оборота въ древности. — Средневѣковую эпоху тимократіи, равно какъ и всю эпоху усвоенія ею римскаго права, мы опять пропускаемъ, и спрашиваемъ только, что же новаго сдѣлано абсолютно тимократіею. Западные юристы склонны, кажется, гордиться своею вѣрностью римскому праву, т. е. тѣмъ, что они будто бы измѣнили ему какъ можно меньше. Но едва ли это самообвиненіе справедливо. Въ системѣ родства, послѣ уравниванія обѣихъ его линій, дѣйствительно и дѣлать было больше нечего. Возможны мелкія варьяціи въ частностяхъ системъ, но невозможна никакая радикальная реформація въ цѣломъ. А потому и не мудрено, если здѣсь право Рима ничѣмъ не обогнано. Но нельзя того

же сказать о наслѣдствѣ по закону и, еще болѣе, о наслѣдствѣ по завѣщанію. Что касается перваго, то на первый взглядъ мы какъ будто даже отстали отъ Рима, не только что не опередили его; отстали даже отъ монархическихъ аристократій востока, гдѣ право наслѣдованія признавалось за всѣми братьями, хотя бы то и съ нѣкоторою привилегіею для первородства. По крайней мѣрѣ, среди тимократическихъ обществъ нашихъ есть одно, гдѣ право первородства, уцѣлѣвшее въ немъ отъ феодализма и до сихъ поръ, достигаетъ такой исключительности, какой не знало оно и на восто-кѣ, а знало развѣ въ одной только Спартѣ. Это—Англія съ ея майоратнымъ правомъ. Римляне, путемъ своихъ субституцій, очень близко подходили къ этому порядку наслѣдованія, но все-таки не подошли. И такъ, Англія представляетъ, повидимому, поразительную отсталость въ этомъ отношеніи, отсталость всемірную. Это уже не простое переживаніе предшествовавшего начала, а скорѣе какое то оживаніе давно забытаго, давно отжившаго, какой-то атавизмъ. Въ довершеніе этой аномаліи, она сопровождается еще болѣе неслыханными привилегіями майоратнаго права, какъ напри-мѣръ тою, по которой недвижимая собственность майоратнаго владѣльца не отвѣчаетъ за долги, какъ это было въ Англіи даже до 1833 года. Наконецъ майоратъ сопровождается еще иногда и безусловною неотчуждаемостью, вслѣдствіе чего Испанія, вся усѣян-ная майоратами, прослыла классической страной права не пла-тить долги. Но, во первыхъ, все это составляетъ совершенный и вполне исключительный архаизмъ двухъ угловъ Европы, не повто-ряющийся въ ней нигдѣ больше. Во Франціи, напри-мѣръ, это готиче-ское учрежденіе снесено еще революціею, и съ тѣхъ поръ не повто-рялось. Кодексъ Наполеона закрѣпилъ собою равное право дѣтей, безъ различія ни возраста, ни пола. Реставрація въ 1826 году пробовала было возстановить этотъ архаизмъ подъ формою *droit d'aînesse*; но попытка провалилась въ палатѣ, при рукоплесканіяхъ всей страны. Въ остальныхъ же странахъ майоратъ появляется только какъ рѣдкое исключеніе и не иначе, какъ дѣйстви-ель-нымъ разъ верховной власти, такъ что вся континентальная Европа и вся Америка затмѣваютъ собою англійскій анахронизмъ, и спа-саютъ достоинство тимократіи. Во вторыхъ же, что еще болѣе важно, во всѣхъ этихъ обществахъ, не исключая и Англіи, есть нѣчто и больше, чѣмъ одна только неотсталость отъ Рима. Это—

сокращеніе *universitatis juris* до ея *minimum*, до сферы одного права собственности, съ одними только ей свойственными правами и обязанностями. Конечно, это есть простое отраженіе на наследственномъ правѣ паденія трехъ семейныхъ властей; но оно здѣсь въ пользу тимократической наследственности, которая вся такимъ образомъ ограничилась лишь міромъ собственности, и тѣмъ рѣзко отличила себя не только отъ патріархальнаго, но и отъ аристократическаго понятія о наследственности. Патріархальная *universitas* была *политическою*; древняя, и въ томъ числѣ римская, стала *уголовно-гражданскою*; наша же сдѣлалась единственно и исключительно *вещною*, такъ что и приурочивать себя стала только къ вещному праву. Въ первомъ случаѣ она была и всѣмъ частнымъ, и всѣмъ публичнымъ правомъ; во второмъ она оказалась лишь всѣмъ частнымъ; въ третьемъ оказывается лишь однимъ изъ учреждений частнаго права. И такъ, не измѣнивъ ничего въ направленіи, въ теченіи наследственности, тимократія сильно измѣнила ее въ руслѣ ея, сдѣлавъ его изъ широкаго и всеобщаго крайне узкимъ и специальнымъ. *Universitas* есть поэтому, съ одной стороны, отличная мѣрка борьбы государственнаго права съ частнымъ, вліянія перваго изъ нихъ на второе; а съ другой, она такое же хорошее мѣрило и для участія тимократіи въ развитіи наследственнаго права. Послѣ этого нисколько не было бы странно, если бы со временемъ наследственность сгузилась когда нибудь даже до одного фамильнаго имени, и *universitas juris* сдѣлалась лишь *номинальною*. Вкладъ тимократіи въ завѣщательное право не менѣе существенъ, чѣмъ этотъ. Римское регрессивное движеніе этого права продолжается. Оно продолжается такими крупными отмѣнами, какъ полное искорененіе субституцій и полная отмѣна завѣщаній въ родовыхъ имѣніяхъ, т. е. римскій идеалъ личной собственности какъ будто бы окончательно уступилъ предъ идеаломъ семейной. А между тѣмъ, на ряду съ этимъ теченіемъ въ одну сторону, существуетъ среди тимократій движеніе въ совершенно противоположную. Мы говоримъ о завѣщаніяхъ, во первыхъ, въ благопріобрѣтенномъ недвижимомъ имуществѣ, и, во вторыхъ, во всякомъ движимомъ. Римскій законодатель имѣлъ въ виду главнымъ образомъ собственность недвижимую и при томъ родовую; и въ этомъ отношеніи новые законодатели послѣдовали за нимъ по его собственной регрессивной дорогѣ. Современный же законодатель имѣетъ въ виду главнымъ

образомъ движимую собственность, а изъ недвижной—также и благопріобрѣтенную; и вотъ на этомъ-то пути онъ слѣдуетъ первоначальному римскому примѣру, и творить заново. Творчество это состоитъ именно въ различіи завѣщательнаго объекта собственности. Въ одномъ случаѣ, въ отношеніи родовыхъ недвижимостей, личная собственность совсѣмъ не существуетъ, а есть только семейная; въ другомъ же, въ завѣщаніи движимостей и благопріобрѣтеній, не допускается и самая мысль о семейномъ правѣ, и дѣйствуетъ только право личное, съ безусловнымъ завѣщательнымъ произволеніемъ (за исключеніемъ только субституцій, которыя ограничивали бы такое же личное право другихъ поколѣній). Въ самой Англіи движимая собственность подлежитъ свободнымъ завѣщательнымъ распоряженіямъ, и изъ нея-то обыкновенно и надѣляются младшіе сыновья. А въ Соединенныхъ Штатахъ завѣщанія движимости допускаются даже словесныя, подтверждаемыя свидѣтельскими показаніями. Обширное же распространеніе движимой и вообще благопріобрѣтенной собственности въ новыхъ обществахъ возводитъ это тимократическое новаторство въ завѣщательномъ правѣ на высокую степень культурнаго значенія. Оно возводитъ его потому, что завѣщаніе, по мѣрѣ подавленія недвижной собственности движимою и родовой благопріобрѣтенною, опять грозитъ истребить всякую наслѣдственность по закону или, по крайней мѣрѣ, довести ее до крайняго *minimum*. Такимъ образомъ, если собрать въ одно всѣ фазисы завѣщательнаго права, то окажется, что оно постоянно переноситъ завѣщательный произволъ личности съ одной собственности на другую: патриархальный фазисъ (усыновленіе) простираетъ его на *самодвижущуюся* собственность; аристократическій — на *недвижимую*; тимократическій — на *движимую*. Въ будущемъ онъ можетъ, слѣдовательно, простереться еще на какую-нибудь новую, если такая найдется. Но если такъ, то вѣчна ли, въ свою очередь, и самая завѣщательная наслѣдственность? Судя по всему, что представляла намъ до сихъ поръ исторія, исторія въ томъ и состоитъ, что не допускаетъ ни одну изъ своихъ формъ застаиваться слишкомъ долго на мѣстѣ. Она не знаетъ ничего вѣчнаго и неизмѣннаго; не вѣчна, по всей вѣроятности, и завѣщательная форма, сколько бы разъ она ни возрождалась въ жизни. По крайней мѣрѣ, если допустить возможность сокращенія наслѣдственности до одного имени, до одной номинальной *universitas*; то необходимо предполо-

жить и ограниченіе завѣщательнаго произволенія завѣщаніемъ одного же фамильнаго имени. А это почти тождественно съ *экс-завѣщаніемъ*. Съ другой стороны, какъ обычный, такъ и завѣщательный порядокъ наслѣдованія могутъ быть довѣрены правамъ, безъ всякаго вмѣшательства права; а это опять выходитъ на то же: на *экс-наслѣдство*, на *экс-завѣщаніе*. Наконецъ, что касается наслѣдственныхъ правъ государства, то въ тимократіи они находятъ для себя еще лучшее основаніе, чѣмъ въ Римѣ, такъ что не нуждались и въ римскомъ преданіи. Основанія эти лежатъ еще въ отношеніяхъ вассала къ сюзерену, по которымъ всякій безнаслѣдный ленъ естественно возвращался къ послѣднему, какъ отъ него же изшедшій. Кромѣ того, новое государство знаетъ и другой такой же источникъ—въ средне-вѣковыхъ притязаніяхъ церкви на *main morte*. А потому, что въ Римѣ было только первымъ и робкимъ шагомъ государственности, здѣсь обращается въ исконный, въ прирожденный ея принципъ. Мало того, по новому праву можетъ наслѣдовать не только государство, но и коллегія или корпорація вообще, чего древнее право совсѣмъ не допускало. Тамъ наслѣдникомъ бывало лишь физическое лицо, а изъ юридическихъ одно государство; здѣсь же и физическое, и всякое изъ юридическихъ.

Вещное право государственной эпохи могло наслѣдовать отъ эпохи патріархальной лишь одинъ изъ числа возможныхъ объектовъ собственности. Когда сложились первыя государства, они нашли уже готовую самодвижущуюся собственность, но вовсе еще не нашли такую поземельную, недвижимую. Первая дошла до нихъ, какъ освященное временемъ преданіе, и сопровождаемая уже понятіемъ полной собственности; вторая же дошла только, какъ слабая попытка, и только въ видѣ неопредѣленнаго пользованія. Первая процвѣтала на всѣхъ ступеняхъ патріархальной лѣстницы; смутная же идея второй могла зарониться только съ послѣдней ступени, осѣдой и земледѣльческой. Такимъ образомъ, аристократическому государству востока и запада выпала на долю двойная задача: понятіе о самодвижущихся вещахъ стало здѣсь раздѣливаться, какъ количественно, такъ и качественно; а понятіе о недвижимостяхъ стало воздѣлываться, упрочиваться и расширяться. Ослабленіе первой собственности началось выдѣленіемъ или хотъ полувыдѣленіемъ изъ нея женъ и дѣтей и оставленіемъ въ ней только рабовъ. Уже на востокѣ мужскіе члены семьи, хотя семейно и остаются рабами, но государ-

ственно, политически дѣлаются полноправными и свободными, по крайней мѣрѣ на столько же, какъ и сами отцы семействъ, потому что они имѣютъ право на государственныя должности и прежде смерти отцовъ, при жизни ихъ. Женщины меньше испытываютъ перемѣну, но все-таки испытываютъ ее. Остаются вполнѣ на прежнемъ положеніи только рабы. Въ такомъ же полурабскомъ, полусвободномъ состояніи дѣти остаются и до самаго конца аристократическаго государства, потому что и въ самомъ Римѣ состояніе это тянется до самаго императора Діоклеціана, который впервые только запретилъ торговлю дѣтьми. Только съ этихъ поръ они могутъ считаться вышедшими изъ понятія вещей, объектовъ собственности. Такимъ образомъ, количественно *res sese moventes* сократились. А то, что ими осталось, около того же времени ослабѣло качественно. Мы говоримъ о той перемѣнѣ въ состояніи рабовъ, которой положилъ основаніе колонатъ, *glebae adscriptio*. Что было выгодно для римскихъ *latifundia*, т. е. обработка почвы при посредствѣ рабовъ, то не всегда оказывалось такимъ для городовъ, муниципій, вслѣдствіе частой перемѣны распорядителя въ этихъ послѣднихъ. Отсюда обычай городовъ отдавать свой *agri vestigalia* въ откупъ или въ аренду на вѣчныя времена людямъ свободнымъ и на извѣстныхъ съ ними условіяхъ. Примѣру городовъ послѣдовали и нѣкоторые частныя лица, потребовавшія отъ своихъ рабовъ только извѣстнаго годового сбора. Такъ и возникло мало по малу то, что политически есть колонатъ, а юридически—эмпитевзисъ. Этому же способу, убѣдившись въ его преимуществахъ, послѣдовало современемъ и само государство, когда на своихъ *agri limitrophii*, по Дунаю и по Рейну, оно селило своихъ ветерановъ, надѣляя ихъ землею, за которую они должны были платить натуральною повинностью,—пограничною службою. Перенятые пришедшими на Дунай и на Рейнъ варварами, порядки эти оказались у нихъ тѣмъ, что называется *glebae adscriptio*, прикрѣпленіе къ землѣ. А такимъ образомъ перерожденіе рабства въ крѣпостное право и состоялось: состоялось перерожденіе рабства изъ самодвижущейся собственности въ недвижимую, въ неотдѣлимую отъ земли. Раздѣлявая, такимъ образомъ, *res sese moventes*, аристократическое государство всѣ свои силы сосредоточило на воздѣлываніи другой—*res immobiles*. Вся древняя исторія есть не что иное, какъ единодушный апофеозъ *недвижимой* собственности, поземельнаго владѣнія. Никогда ни прежде, ни послѣ

оно не сосредоточивало въ себѣ всей текущей культурности, какъ сосредоточило ее въ древности. И на востокѣ ея, и на западѣ, и по самой серединѣ, вездѣ поземельная собственность есть экономическій двигатель, на которомъ вертится и вся древняя политика, и все древнее право. Движимую собственность законодатели почти игнорируютъ; самодвижущуюся они то стѣсняютъ, то причисляютъ къ недвижимой; центромъ же тяготѣнія всѣхъ остается только эта послѣдняя. Только она составляетъ *res mancipi*, только она достойна всѣхъ формъ гражданского оборота; все же остальное есть *res nec mancipi*, все остальное не заслуживаетъ вниманія юриста. — Со-всѣмъ другой взглядъ проводится въ тимократическомъ правѣ. Какъ ни коротка еще чисто-тимократическая исторія, но въ систему объектовъ собственности она внесла уже такое обновленіе, которое опять можетъ состязаться съ римскимъ творчествомъ того же рода. *Res sese moventes* тутъ отжили весь свой вѣкъ, отжили его даже въ видѣ *glebae adscriptio*, отжили такъ, что вышли даже изъ самой идеи собственности, какъ нѣкогда жены и дѣти. *Res immobiles* находятся въ состояніи стараго авторитета, хотя и колеблемаго новымъ претендентомъ, но все еще живучаго. И все, что тимократія внесла новаго въ это право, есть развѣ содѣйствіе отживанію его. Въ этомъ смыслѣ тимократія совершила то, что и въ голову не приходило ни греческому, ни римскому законодателю: она совершила опять вторженіе государства въ частное право, и опять вторженіе крайне знаменательное:—это право отчужденій частнаго имущества для общественныхъ надобностей; это такъ называемое право экспроприаціи. Принципъ этотъ, въ нынѣшнемъ его примѣненіи, весьма, конечно, скромнѣе, прилагается въ случаяхъ рѣдкихъ и исключительныхъ, и не имѣетъ ничего въ себѣ угрожающаго для священности и непривосновенности частнаго вещнаго права. Но стоитъ лишь въ будущемъ истолковать общественныя надобности нѣсколько шире, изъ случайныхъ сдѣлать ихъ систематическими,—и онъ въ состояніи перевернуть вверхъ дномъ всѣ римскія понятія объ этомъ предметѣ. Уже и теперь исторія знаетъ два-три примѣра не частнаго, а всеобщаго, и при томъ колоссальнаго, примѣненія этого вещнаго права государствъ, а именно въ русской и въ сѣверо-американской экспроприаціи правъ собственности. Гракховская теорія, такъ неудавшаяся въ римской ея попыткѣ, и поразившая самую жизненность отвергнувшаго ее государства, на этотъ

разъ удалась исполнѣ и блистательно, и, что не менѣе важно, образовала собою великій историческій прецедентъ. Въ союзѣ же съ наслѣдственнымъ правомъ государства въ выморочныхъ имуществахъ, начало это способно рѣшительно измѣнить всю систему поземельной собственности. Выморочная наслѣдственность потому лишь не довольно ощутительна въ жизни государствъ, что они недостаточно ревниво оберегаютъ это свое право. Въ дѣйствительности же это еще лучший историческій резервуаръ, чѣмъ первый. Довольно только представить, что нѣтъ поколѣнія въ государственной жизни, гдѣ бы ни вымирало нѣсколько владѣльческихъ родовъ, чтобы оцѣнить, насколько серьезенъ этотъ, игнорируемый пока, занасъ всякой исторической будущности, не говоря уже о его не прекращающейся періодичности и объ отсутствіи здѣсь всякой принудительности. Такимъ образомъ, съ двухъ противоположныхъ концовъ провозглашено, что частное право уступаетъ предъ государственнымъ; а провозгласить это значило опять перетасовать всѣ карты римскихъ юристовъ. Наконецъ, недвижимая собственность не только признана отвѣтчицей за долги, но, чтобы она не могла накоплять ихъ больше, чѣмъ способна вынести, заведены для нея формулярные списки, подъ именемъ ипотечныхъ книгъ. Но самыхъ грандіозныхъ усилій генія тимократіи надо искать все-таки не здѣсь, не въ процессѣ отживающаго права, а въ параллельномъ ему выживаніи. Нашъ институтъ недвижимой собственности, не смотря на всю разрушительную въ немъ работу времени, римляне и легко, и скоро все-таки признали бы за свой собственный. Но имъ не легко было бы ориентироваться въ другой созидательной работѣ тимократіи, въ нашемъ институтѣ *движимой* собственности. Какъ въ богатствѣ, такъ и въ законодательствѣ древнихъ государствъ этотъ объектъ собственности занималъ, какъ мы сказали, самое незамѣтное мѣсто, и считался, такъ сказать, недостойнымъ церемоніальнаго гражданского оборота. Но въ этомъ презрѣніи времянь движимость нѣчто и выигрывала, потому что, необремененная преданіями, неопутанная всѣмъ формализмомъ традиціонной юриспруденціи, она легче поддавалась новымъ юридическимъ взглядамъ, была свободнѣе во всѣхъ своихъ движеніяхъ и, вслѣдствіе этого, могла сдѣлаться истиннымъ дитятею новаго времени, такъ что оно могло создать, рядомъ съ древнимъ римскимъ, совершенно новое гражданское право, о которомъ римляне и мечтать не могли, — право торговое и

право морское. Римлянамъ принадлежитъ лишь созданіе частнаго гражданскаго права; честь же основанія публичнаго гражданскаго права неотъемлема у новыхъ народовъ. *Jus publicum* римлянъ было тоже частное гражданское право, но только государства, а не лица; что же касается гражданскаго права торговли, мореплаванія, средняго класса, то о немъ у римлянъ не было и помину. Институтъ этотъ до того новъ, что и сами творцы его не посмѣли приурочить его къ гражданскому праву, и создаютъ изъ него особый, будто бы совсѣмъ не гражданскій, кодексъ.—Уже одной этой самобытности было бы достаточно, чтобы отстоять предъ римлянами честь правоваго творчества тимократій въ сферѣ вещнаго права; но есть у нихъ нѣчто и еще болѣе новое, еще болѣе оригинальное, самобытное, чего римскій юристъ совсѣмъ уже понять бы не могъ, и что способно преобразить въ будущемъ всю вообще систему вещнаго права. Мы имѣемъ въ виду тотъ совершенно новый объектъ права собственности, который началъ зарождаться лишь съ прошлаго столѣтія, вся будущность котораго только еще впереди, и который слыветъ подъ именемъ литературной, музыкальной, художественной, артистической, изобрѣтательской и вообще „авторской“ собственности. Вытѣснивши одинъ изъ объектовъ собственности, *res sese moventes*, изъ самого понятія объ этомъ правѣ, тимократія, съ другой стороны, втѣсняетъ въ него другой объектъ, для котораго нѣтъ пока даже имени на юридическомъ языкѣ нашемъ и который на немъ пришлось бы назвать *res moventes*, *движущей* собственностью. Если наши юристы продолжаютъ приурочивать этотъ новый объектъ къ *res mobiles*, то это можетъ происходить единственно вслѣдствіе непривычки ихъ къ историческому, къ сравнительному изученію, и вслѣдствіе навлонности считать всякую текущую систему законченною. Въ сущности же такая аналогія слишкомъ груба, чтобы ей удержаться надолго. Въ сущности движимостью могутъ быть только примѣненія, только экземпляры авторской собственности, какъ машина, картина, ноты, книга; при чемъ право на машину, на книгу, на ноты и на картину, какъ на движимость, есть право читателя, право зрителя, право покупателя, но никакъ не авторское право. Это послѣднее есть нѣчто такое, чего авторъ никакъ не можетъ раздѣлить съ читателемъ и покупателемъ, еслибъ даже хотѣлъ, нѣчто такое, чего онъ не въ состояніи ни уступить, ни продать, ни отчудить отъ себя кому бы

то ни было. Онъ отчудить право воспроизведенія, но не право творца. Это такой майоратъ, который остается неотчуждаемымъ на вѣчныя времена, и для котораго ничего не значитъ не только угасаніе всего авторскаго рода, но даже и самаго народа автора. Аристотель сохраняетъ это право неотчуждаемымъ уже въ теченіи нѣсколькихъ тысячелѣтій. Наконецъ, эта, новая собственность такъ мало связана съ матеріей, какъ только это возможно для дѣла рукъ человѣческихъ; тогда какъ книга или машина суть объекты чисто матеріальныя. Понятно поэтому, что, вдвигая въ культуру такой своеобразный элементъ ея, нельзя было сдѣлать это иначе, какъ съ нѣкоторой робостью и нерѣшительностью, подобно тому, какъ было при вдвиганіи Солономъ завѣщаній или при учрежденіи личной собственности. Отсюда, во первыхъ, срочность и даже краткосрочность этого молодого права, а именно отъ 50 до 5 лѣтъ, причемъ тахішимъ выпалъ на долю только самыхъ молодыхъ народовъ, какъ Россія и Соединенные Штаты. Отсюда же, во вторыхъ, и всѣ сопровождающія это право, оговорки, эти уступки заискиванія предъ тѣмъ господствующимъ правомъ, къ которому оно приживается, какъ, напримѣръ, оговорка, что, обращаясь и потребляясь безъ уменьшенія, авторская собственность не можетъ и претендовать на права всякой другой. Наконецъ, отсюда же и держаніе этой новой твари въ черномъ тѣлѣ, оставленіе ея внѣ покровительства закона: авторская собственность цѣнится ни во что, и никакая другая не нарушается и правительствами, и частными лицами такъ легко, какъ эта. Денегъ, цѣнныхъ бумагъ никто не бываетъ лишаемъ безъ суда; но лишеніе сочиненія, изданія, словомъ авторской собственности не нуждается ни въ какихъ церемоніяхъ. Наполеонъ I, истощивъ всѣ инныя мѣры обузданія противъ *Journal de l'Empire* (нынѣшній — *des Débats*), декретомъ отъ 18 января 1811 года объявилъ эту газету собственностью государства и роздалъ пай ея чиновникамъ. И такова будетъ еще надолго исторія этого младенческаго права. Всемирно-историческія учрежденія зрѣютъ весьма не скоро; и для каждой новой міровой организаціи обществъ обыкновенно бываетъ достаточно какой-нибудь одной радикальной реформы, какъ въ политикѣ, такъ и въ правѣ. А потому трудно ожидать, чтобы и когда-нибудь впереди—нынѣшняя тимократическая организація способна была вынести въ себѣ столь двоякую функцію и принести столь двоякій продуктъ, какъ *res mobiles* и *res moventes*. Если она способна

была произвести на свѣтъ такой плодъ, какъ право движимое; то одно это уже ручается за некомпетентность ея къ тому, чтобы дать полную жизнь и столь радикально новому продукту, какъ право движущей собственности. Последнее можетъ здѣсь назрѣвать лишь въ качествѣ приживанія, вживанія въ старую жизнь, подобно тому, какъ личное право недвижимой собственности допѣтаетъ здѣсь лишь въ видѣ доживанія, отживанія. Полный же расцвѣтъ всякой движущей собственности возможенъ, вѣроятно, только для организацій абсолютно демократическихъ. Тутъ-то, быть можетъ, остается мѣсто и для новаго возрожденія завѣщательнаго права, совершенно уже на этотъ разъ независимаго отъ всякой идеи наслѣдственности, или же зависимаго лишь отъ наслѣдственности духовной, а не плотской. — Исторія субъектовъ собственности не менѣе полна событіями. Когда понятіе собственника или хотъ пользователя переходило съ семьи на родъ, съ рода на племя, съ племени на народъ, или, что то же, на представителей ихъ, родоначальниковъ, князей; то, съ каждою изъ этихъ перемѣнъ, оно расширялось такъ, что самая практика такого широкаго понятія становилась все больше и больше невозможною иначе, какъ въ смыслѣ распорядителя собственности, который къ тому же и дѣйствительно всегда выдѣлялъ ее въ племена, въ роды, въ семейства. Въ государствѣ такое право, само собою разумѣется, сосредоточилось въ правѣ богдыхана, инки, раджи, фараона. Первыми въ исторіи личными собственниками, хотя бы то въ смыслѣ *pudā proprietas*, были, значить, цари древнихъ государствъ, т. е. тѣ, кто общеою собственностью распоряжался. Всѣ же остальные лица въ обществѣ были, и могли быть, только общинными владѣльцами земли. Извѣстно, что самые даже рабы на востокѣ, т. е. рабскія касты, были общественною, а не частною собственностью. Но потребности государственной службы положили первое начало выходу изъ общинной собственности и общиннаго пользованія. Обычай вознаграждать службу натурою, пожалованіемъ земель въ пользованіе, рано уже породилъ сѣмя соперника прежнему патріархальному порядку. Параллельно съ этимъ послѣднимъ порядкомъ, продолжавшимъ дѣйствовать на днѣ обществъ, — на верху ихъ, вблизи царской власти, ферментировался другой, который, хотя представлялъ собою лишь временное и случайное отклоненіе, но представлялъ въ то же время владѣніе землею личное и вмѣстѣ съ тѣмъ крупное. Эта временность и случай-

ность оставалась такою до тѣхъ поръ, пока оставались цари, и пока вмѣстѣ съ ними жива была и теорія о ихъ единственномъ правѣ собственности на землю. Т. е. такъ продолжалось на востоцѣ, и при царяхъ въ Греціи и Римѣ. Но какъ только царей здѣсь не стало, долгій обычай владѣнія личнаго и крупнаго не могъ не обратиться изъ временнаго въ вѣчный: личное пользованіе должно было обратиться въ *личную* же собственность. Республиканскія аристократіи не могли не воспользоваться тѣмъ счастливымъ для нихъ обстоятельствомъ, что прежняго авторитетнаго претендента на исключительное право собственности надъ государственною территоріей теперь не стало. Раздѣливши всѣ другія ризы павшаго авторитета, онѣ не могли не раздѣлить между собою и этой. Такимъ образомъ, безконтрольная и безусловная поземельная собственность могла появиться въ мірѣ только съ первымъ примѣромъ государственныхъ самоуправленій и только вслѣдствіе этихъ самоуправленій. А если такъ, то и начало личной собственности положено въ мірѣ не Римомъ, а Греціей, какъ раньше достигшею до государственнаго самоуправленія. Потокъ, который пробивался на востоцѣ, какъ слабый ручей на встрѣчу сильному теченію совсѣмъ иного свойства, здѣсь вышелъ изъ береговъ и поворотилъ вспять прежній. Какъ прежде всякое едва возникавшее личное владѣніе тонуло, какъ мы видѣли на Индіи, въ общинномъ, такъ теперь, наоборотъ, всякое уцѣлѣвшее общинное начинаетъ потопляться личнымъ. Правда, ни изъ Греціи, ни изъ Рима не достигло до насъ положительныхъ указаній на то, чтобы личному землевладѣнію тамъ предшествовало общинное. Но, во первыхъ, не достигло также и никакого противоположнаго удостовѣренія; а во вторыхъ, самые слѣды общинности всегда тамъ оставались. Родъ, gens, и въ Римѣ всегда почитался происшедшимъ отъ одного предка; наслѣдство, въ случаѣ отсутствія ближайшихъ родственниковъ, и здѣсь переходило къ gentiles; согласіе на вкупъ въ gentes и тутъ представлялось согласіемъ куріатскихъ комицій. Какъ бы то ни было, впрочемъ, но фактически частное владѣніе впервые встрѣчается только въ Греціи, а не на востоцѣ, а потомъ, какъ всѣ прочіе греческіе примѣры права, въ Римѣ развито и систематизировано. На сколько это было ново для самихъ грековъ и римлянъ, и на сколько нуждалось въ какой-либо высшей санкціи, кромѣ исчезновенія царей, видно изъ той обстановки, какою классики старались окружить новый юридическій

институтъ. Какъ въ Греціи, такъ и въ Римѣ на рубежахъ частныхъ полей, а именно въ узкой нейтральной полосѣ между сосѣдними дачами, вырывалась прежде всего яма; въ нее полагалась жертва, на нее совершались возліянія, и все это засыпалось землею и заваливалось камнемъ, который и былъ богъ границъ, Термъ. Термъ самъ собою напоминаетъ каждому о святинѣ границы: богъ, задѣтый сохою или заступомъ, самъ закричитъ: „Стой! это мое, а не твое“. Этрурскій законъ также гласилъ: „кто тронетъ или перемѣститъ терма, тотъ будетъ осужденъ богами, домъ его исчезнетъ и земля угаснетъ“. А римскій законъ добавляетъ: „человѣкъ и волы, коснувшіеся терма, сами да будутъ принесены въ жертву“. Вотъ та религиозная санкція, которая потребовалась для новаго принципа, поставленнаго съ этихъ поръ круто и рѣшительно; а вмѣстѣ съ тѣмъ вотъ и источникъ нашихъ современныхъ межевыхъ знаковъ, столь же священныхъ и неприкосновенныхъ. И точно, эта священность и неприкосновенность частной собственности была такъ поставлена въ классическихъ аристократіяхъ, что само государство не смѣло на нее посягать, не смотря ни на какія свои потребности, хотя бы то самыя вопіющія. Кромѣ того, не только собственность, но всякій переходъ права собственности долженъ былъ также сопровождаться религиозной санкціей: продать землю нельзя было иначе, какъ въ присутствіи жреца, *libripens'a*, и при помощи священной церемоніи, *mancipatio*. При такихъ-то условіяхъ водворился въ культурѣ новый институтъ гражданскаго права, институтъ частнаго, личнаго, крупнаго землевладѣнія, наперекоръ прежнему общинному и мелкому; институтъ, который въ томъ же самомъ Римѣ, а именно въ его завѣщательномъ произволѣ, достигъ такого своего *pes plus ultra*, что тамъ же, въ томъ же Римѣ, стала необходимою и точка поворота въ развитіи этого учрежденія. Впрочемъ, такая исторія субъектовъ права подтверждается и судьбою всякаго иного аристократическаго государства, все равно, древнее оно или новое, абсолютное или относительное. Выше уже мы видѣли, какъ родовыя владѣнія германцевъ переходили въ семейныя, въ земли такъ называемыхъ *грудгерровъ*. Въ государствахъ же, основанныхъ тѣми же германцами, и родовыя, и семейныя собственности скоро переходятъ въ личныя. Первый ударъ патріархальной родовой общинѣ германцевъ нанесенъ былъ переселеніемъ народовъ; но и послѣ него, при Карлѣ Великомъ, свидѣтельствомъ о ней служила еще

круговая порука односельцевъ другъ за друга. Другой же и послѣдній ударъ былъ совершенъ феодализмомъ, который вытравилъ до тла прежній режимъ. Лены были, какъ извѣстно, лишь тѣмъ же пожалованіемъ земель и лишь съ тѣмъ же условіемъ службы за нихъ, какъ и на самомъ востокѣ. Но съ упадкомъ монархической власти и съ усиленіемъ на ея счетъ аристократій, какъ должности и званія, такъ и самыя земли дѣлаются, вмѣсто временныхъ, наслѣдственными, т. е. совершенно также, какъ въ Греціи и Римѣ. Подъ вліяніемъ этого примѣра личной собственности, и всѣ землиgrundherrovъ изъ владѣнія семей переходятъ во владѣніе распорядителей ихъ. Эти послѣдніе, въ свою очередь, обнаруживаютъ тяготѣніе на уцѣлѣвшее вокругъ нихъ общинное и мелкое землевладѣніе. Всѣми этими путями мелкая и общинная собственность совершенно затеривается посреди влоочущаго напора личной и крупной, превращаясь въ простую наслѣдственную аренду у сосѣднихъ крупныхъ собственниковъ, въ эмфитевзисъ, по которому крупный владѣлецъ не могъ согнать мелкаго лишь до тѣхъ поръ, пока этотъ исправно отбываетъ повинности. И вотъ то, что было когда-то исключеніемъ, сдѣлалось теперь правиломъ, подъ именемъ имѣній дворянскихъ; а что было правиломъ, стало исключеніемъ, въ видѣ ротюрьерскихъ владѣній. Однажды же начавшись, движеніе не остановилось и на этомъ. Вмѣстѣ съ распространеніемъ римскихъ понятій о безусловной собственности, началъ исчезать и самый эмфитевзисъ, такъ что въ настоящее время онъ уцѣлѣлъ только въ Тосканѣ да въ славянскихъ земляхъ, бывшихъ подъ польскою властью. Владѣльцы земель стали предпочитать не наслѣдственную и даже не пожизненную аренду, а временную и даже краткосрочную, присвоили себѣ право не возобновлять ее, сгонять арендаторовъ даже до срока, и такимъ образомъ пришли совершенно къ тому же результату, что и древне-аристократическое государство. Въ Англіи результатъ этотъ оказался столь же рельефнымъ между новыми государствами, какъ въ Римѣ между древними. Глухая борьба мелкаго и крупнаго землевладѣнія окончилась тамъ тѣмъ, что изъ 160.000 землевладѣльцевъ 1688 года, въ 1861 году уцѣлѣло ихъ только 30.766 человекъ. А latifundia англійскія достигли до такихъ, какъ 340.000 акровъ герцога Ричмонда, или какъ владѣнія герцога Сoderланда, перерѣзывающія всю Шотландію отъ моря до моря. Въ Шотландіи дольше всего держалось общинное владѣ-

нiе; но и тутъ всѣ земли клановъ перешли въ полную собствен-
ность главъ этихъ клановъ. Наоборотъ, тамъ, куда не проникали
ни завоеванiе, ни феодализмъ, ни римское право, или, другими сло-
вами, гдѣ не было болѣе или менѣе самоуправляющихся аристо-
кратiй, тамъ только и уцѣлѣли общинные порядки, какъ въ Сер-
бiи, Кроацiи, Славонiи и Россiи. И такъ, аристократическое государ-
ство вездѣ и всегда производитъ одни и тѣ же послѣдствiя. Дру-
гое такое же послѣдствiе государства есть причисленiе въ преж-
нимъ субъектамъ собственности новаго—самого государства. От-
сюда—*ager publicus* и вообще все римское *jus publicum*, т. е. все
имущественное, все гражданское право государства. Отсюда же и
коронныя или государственныя земли въ новыхъ государствахъ.—
Если аристократизмъ произвелъ личнаго собственника, то тимокра-
тизмъ порождаетъ такое же дѣтище въ лицѣ собственника коллек-
тивнаго, но на этотъ разъ совсѣмъ иного порядка, чѣмъ нѣкогда
въ патрiархатахъ. вмѣстѣ съ крупными предпрiятiями промышлен-
ности и торговли, какъ превышающими самыя крупныя единолич-
ныя силы, получаетъ здѣсь огромное примѣненiе *societas*, въ видѣ
акціонерныхъ компанiй; а вмѣстѣ съ ними получаютъ и коллек-
тивные субъекты собственности. Къ отживающей собственности на-
чало это прививается туго, да и то развѣ въ одной лишь Аме-
ригѣ. Въ Европѣ же снуютъ въ этомъ отношенiи однѣ лишь
теорiи, одни идеалы, которые вездѣ и во всѣ времена одинаковы;
а для исторiи культуры нужны факты, не теорiи; она только по
нимъ, а не по тѣмъ, можетъ судить о дѣйствительныхъ теченiяхъ
и направленiяхъ въ культурѣ. За то въ собственности выживаю-
щей, въ имуществахъ движимыхъ, новый типъ субъектовъ права и
самъ на столько уже выжилъ, что онъ составляетъ собою одинъ
изъ палладiевъ эпохи. Это тоже крупный, но на этотъ разъ не
личный собственникъ, а между тѣмъ подавляющiй собою и всякое
крупное, и всякое личное владѣнiе. Словомъ, это собственникъ ак-
ціонерный, компанiя, анонимное общество. Это вповь коллективизмъ,
но уже не родовой, не общинный, а товарищескiй. Это не кров-
ная, не подневольная и неподвижная община, а крайне подвиж-
ная, произвольная, *договорная община*. Такой субъектъ права вы-
жилъ въ тимократiяхъ на столько, что мы имѣли случай видѣть
его даже на престолѣ обширной имперiи, въ лицѣ англiйской остъ-
индской компанiи. Въ наши же дни такими субъектами выигнѣ

вся промышленность, а въ ней въ особенности желѣзнодорожная. И сколько бы этотъ новый собственникъ ни подавлялъ собою всѣхъ прежнихъ, но самой силою своей онъ успѣлъ уже выдать и свою тайну. Слабость догадалась отнынѣ, что и ей самой нѣтъ иного спасенія отъ этой конкуренціи, какъ борьба съ нею тѣмъ же оружіемъ, тѣмъ же коллективизмомъ. Отсюда производительныя и потребительныя ассоціаціи и самихъ рабочихъ. Какъ ни микроскопично еще и слабо это движеніе, но оно вовсе не выходитъ изъ компетентности ни организацій, ни политикъ, ни правъ, выполнѣ свойственныхъ тимократизму, и потому имѣетъ въ немъ всѣ шансы на будущность. А при такомъ условіи новая, договорная община должна плодиться и множиться до того, что она въ состояніи будетъ окончательно перемѣститъ центръ тяжести субъектовъ права отъ личности къ товариществу, отъ лица физическаго къ юридическому, но совершенно иного закала. Во всякомъ случаѣ, это одинъ изъ самыхъ животрепещущихъ вопросовъ будущаго и при томъ не отдаленнаго, не демократическаго, а очевидно ближайшаго, тимократическаго; это вопросъ, который способенъ наполнить собою все то, что имѣетъ составить относительно демократическій періодъ тимократій. Законодатели же, какъ видно это изъ цѣлыхъ системъ фабричнаго законодательства, уже и въ наше время предрасположены не слишкомъ упираться на этой дорогѣ. — Такимъ образомъ, вопросомъ отдаленнаго будущаго, будущаго демократій, остается не субъектъ движимой собственности, а развѣ только субъектъ движущей, авторской. Будетъ ли онъ также личнымъ, какъ въ аристократическомъ общежитіи, или же коллективнымъ, какъ въ патріархальномъ и тимократическомъ, и въ каждомъ изъ этихъ случаевъ по какому типу будетъ онъ или личнымъ, или коллективнымъ, — все это одинъ изъ труднѣйшихъ вопросовъ нашей прогностики. Повидимому, нигдѣ субъектъ собственности не бываетъ на столько личнымъ и такъ естественно личнымъ, какъ въ собственности авторской, и нигдѣ такъ не трудна, не неумѣстна производительность коллективная, какъ здѣсь. А потому казалось бы, что въ демократіяхъ личный субъектъ собственности долженъ будетъ опять перетянуть всѣ другіе и при томъ въ самомъ тѣсномъ, т. е. безпотомственномъ смыслѣ, въ смыслѣ не только личности, но даже *единоличности*. — Остается сказать о составѣ различныхъ вещныхъ правъ. Монархическая аристократія воздѣлывала только систему пользованія землею, какъ и па-

тріархатъ; республиканская же создала полную систему *собственности* въ ней. Монархично-аристократическій востокъ зналъ только одного собственника земли: бога или царя. У евреевъ случилось первое, въ Персіи, какъ и въ Китаѣ,—второе. Что же касается Индіи, Египта, то тутъ, какъ въ Мексикѣ и Перу, образовался компромиссъ между обоими началами, и земля, такъ сказать, раздѣлилась между богами и царями, при чемъ боговъ представляли, конечно, жрецы. Но, при такомъ взглядѣ на землю, она могла быть у частныхъ лицъ только предметомъ пользованія, эксплуатаціи, но никакъ не владѣнія на правѣ собственности. И дѣйствительно, за государственную службу цари должны же были вознаграждать чѣмъ-нибудь своихъ слугъ: денегъ не было, оставалось вознаграждать ихъ натурою, землею. Но какъ возникало, такъ и прекращалось такое владѣніе, т. е. вмѣстѣ со службою. Равнымъ образомъ цари раздавали земли также и сельскимъ общинамъ, и также за извѣстную съ ихъ стороны натуральную повинность, а именно: за извѣстную часть сбора съ обрабатываемыхъ полей; но, само собою разумѣется, что и въ этомъ случаѣ земля была предметомъ узупрукта, но никакъ не собственности. Вслѣдствіе всего этого, продажа земли на востокѣ еще немыслима. Если въ Индіи говорится иногда о такой продажѣ, то она означаетъ тамъ нѣчто совсѣмъ другое. Тамъ всякій общинникъ имѣлъ право на выдѣлъ своей части, и даже вопреки согласія всѣхъ остальныхъ; этотъ же выдѣлъ онъ имѣлъ право и продать. Но не говоря уже о томъ, что такая теорія, живая въ умахъ, не осуществлялась на практикѣ,—въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда она осуществлялась, продажа, во первыхъ, не могла состояться безъ согласія всей общины, а во вторыхъ, при согласіи общины, она опять-таки была скорѣе теоретическою, чѣмъ дѣйствительною. Покупатель долженъ былъ непременно вступить въ общину, изъ которой выступалъ продавецъ, и вступить со всѣми его правами и обязанностями по отношенію къ общинѣ, т. е., какъ имущественно, такъ и семейно; такъ что это былъ скорѣе закупъ въ общину, чѣмъ продажа земли; это была купля-продажа правъ общинника, а никакъ не самой земли; это была переуступка права пользованія, но никакъ не права собственности. Поземельная собственность даже и на республиканско-аристократическомъ западѣ была сначала неотчуждаемою. Въ Спартѣ продажа ея была положительно запрещена законами. Такое же запрещеніе засвидѣтель-

ствовано въ Локрахъ, Коринѣхъ, Оивахъ, Левкадіи. Аристотель до-
бавляетъ, что и во многихъ городахъ нельзя продавать землю; слѣ-
довательно, даже и въ его время. И если можно искать перваго
импульса къ перевороту въ этомъ отношеніи, то опять лишь въ
однихъ Аѣинахъ. Солонъ, новаторъ въ наслѣдственномъ правѣ,
былъ имъ и въ вещномъ. Онъ былъ первымъ законодателемъ, который,
хотя и не охотно, но допустилъ продажу земли, поражая за то
продавца суровымъ послѣдствіемъ, а именно: лишеніемъ правъ граж-
данства. Безъ поземельной собственности гражданство казалось уже
недѣйствительнымъ. Есть, какъ говорятъ, основаніе думать, что и
въ самомъ Римѣ, до XII таблицъ, соблюдался тотъ же самый обы-
чай строгой неотчуждаемости почвы, слѣдъ-де чего сохранился и
послѣ таблицъ въ неотчуждаемости могильной земли. Извѣстно
также, что всякая вновь пріобрѣтаемая государствомъ земля долго
оставалась собственностью государственною, *ager publicus*; и если
отдѣльныя лица получали въ ней участіи, то сперва не иначе,
какъ въ видѣ лишь *possessio*. Мало того, не только продажа,
самый залогъ земли представлялся для всей древности недо-
боисполнимымъ, и долго былъ неизвѣстенъ ни въ Греціи, ни
въ Римѣ. Наконецъ, даже за долги недвижимая собственность
долго не отвѣчала: легче казалось схватиться за лицо должника,
чѣмъ за его землю; легче лишить его свободы, чѣмъ такого естествен-
наго, казалось, права, какъ право на землю. Съ такимъ-то трудомъ
слагалось понятіе о всецѣлыхъ и исключительныхъ правахъ на такой
объектъ собственности, какъ земля: оно далось свѣжему уму труднѣе,
чѣмъ понятіе объ обладаніи человѣческими личностями. И только
въ Римѣ процессъ этого слаганія довершился окончательно, и возведенъ
въ строгую и освященную съ тѣхъ поръ систему. А вмѣстѣ съ тѣмъ
и самый составъ вещныхъ правъ раскрылся здѣсь во всемъ богатствѣ
всѣхъ своихъ родовъ и видовъ, такъ что получилась обширная
и разнообразная система этихъ правъ, со всѣми ея *jus ad rem* и
jus in re, *jus utendi et fruendi*, *usus*, *ususfructus* и *quasi-usus fructus*,
jus disponendi, *jus possidendi*, *naturalis possessio*, *quasi-possessio*,
dominium, *proprietas*, со всѣми ея *occupatio*, *accessio*, *usucapio*, со
всѣми ея *servitus*, *emphyteusis*, *superficies*, *perceptio*, *fructuum se-*
paratio и проч. и проч. Въ этомъ смыслѣ римская работа оказалась
дѣйствительно почти исчерпывающею, такъ что дѣйствительно ничего
не оставила труда потомства, какъ и ожидать надлежало отъ аристо-

кратической работы надъ правомъ.—И все, что, по отношенію къ составу вещныхъ правъ, внесено тимократами, ограничивается развѣсѣдующимъ. Это, во первыхъ, ограниченіе доживающей собственности, и во вторыхъ, строгое сдерживаніе вживающей: то и другое—въ пользу выживающей. Первое состоитъ въ обусловленіи частной недвижимой собственности, бывшей до тѣхъ поръ безусловною, и обусловленіи ея именно интересами государства, общества. Второе состоитъ въ еще большемъ обуздываніи нарождающейся, движущей собственности и обузданіи ея именно срочностью. Такъ что вся полнота права собственности остается неприкосновенною только по отношенію ко всѣмъ видамъ движимостей. Для нихъ недѣйствительно даже и самое право экспроприаціи.

Какъ нынѣ авторское право, эта апотеоза тимократіи, такъ нѣкогда представлялось чѣмъ-то чрезвычайнымъ для признанія право договорное, эта апотеоза римскаго генія. Человѣкъ рано и легко сроднялся съ жизнью подъ властью отца, властью обычая, властью закона; но подчинять себя не всеобщимъ опредѣленіямъ извнѣ, а какимъ-то частнымъ самоопредѣленіямъ изнутри, не тому, что тяготѣло свыше и было освящено какъ потокомъ времени, такъ и святостью религій, а какимъ-то произвольнымъ и ежедневно возобновляемымъ соглашеніямъ, не имѣющимъ никакой иной санкціи, кромѣ ненадежнаго довѣрія другъ къ другу,—все это для архаическихъ обществъ было задачею, весьма мало мыслимою. Оттого-то самыя древнія свѣдѣнія о договорѣ представляютъ его скорѣе чисто-религіознымъ ритуаломъ, чѣмъ юридическимъ актомъ. Ужъ если допустить подобное отношеніе субъектовъ права между собою, думалось этимъ временамъ, то развѣ не иначе, какъ окруживъ его всею видимостью культа и вмѣшательства боговъ. Вслѣдствіе того и законъ, если ограждалъ какъ-нибудь договоры, то не въ качествѣ обѣщанія одного субъекта предъ другимъ, а лишь въ качествѣ священнаго обряда. Отсюда никакое обѣщаніе само по себѣ недѣйствительно, если въ обрядъ его выпущена хоть одна іота, или если поставлена не на своемъ мѣстѣ. Таково все договорное право на древнемъ востокѣ; а раньше того искать его невозможно въ видѣ сколько-нибудь юридическаго учрежденія. Это самый поздній, самый молодой институтъ гражданскаго права. Что касается существа и подробностей восточнаго договора, то объ этомъ немного извѣстно. Кажется только, что древнѣйшимъ изъ нихъ (послѣ договора, конечно, мѣны) былъ

договоръ займа. У египтянъ самымъ вѣрнымъ обезпеченіемъ заемнаго обязательства, или залогомъ, была мумія отца: пока долгъ не былъ уплаченъ, нельзя было ни хоронить умершаго, ни приносить за него жертвы. У зендовъ нарушеніе долга считалось преступленіемъ и наказывалось, какъ таковое. Въ Индіи несостоятельный должникъ приравнивался къ отребью общества, къ чандала. Но, въ то же время, уплаты долга позволялось требовать только отъ лицъ низшей касты, чѣмъ кредиторъ: понятно, какимъ это было стимуломъ кредита и популяризаціи договора. Единственнымъ, значить, обезпеченнымъ кредиторомъ были жрецы да церковныя учрежденія. Для взысканія ихъ долга, браминъ приходилъ къ должнику съ кинжаломъ и ядомъ, и грозилъ умертвить себя; или же онъ садился на порогъ жилища должника, такъ что этому оставалось или сидѣть подъ арестомъ, или же переступить черезъ брамина и, слѣдовательно, тяжко оскорбить его. Проценты во всѣхъ случаяхъ были ужасающіе. Съ брамина, который меньше всѣхъ могъ нуждаться и брать въ займы, полагалось 24%, съ кшатріи 36%, съ вайси 48%, съ судры 60%. Этотъ же принципъ безпощаднаго ростовщичества богатыхъ надъ бѣдными, выразившійся, кромѣ того, сложными процентами, *anatocismus*, царилъ и въ Греціи, гдѣ онъ и произвелъ ту всеобщую задолжалость бѣдныхъ богатымъ, которую съ такимъ трудомъ пришлось потомъ распутывать Солону. Въ Греціи договорное право развито ужъ больше, чѣмъ гдѣ-нибудь на востокѣ, какъ это видно изъ римскихъ позаймствованій у Греціи, которыя, въ свою очередь, видны изъ самыхъ терминовъ, какъ напр. *anatoci chirographa*, *hyperocha*, *emphyteusis*, *hypotheca* и др. Кромѣ *smus*, того отъ грековъ же позаймствованъ письменный договоръ и самое упрощеніе всѣхъ договорныхъ формъ. Но само собою разумѣется, что нѣтъ лучшаго средства узнать генетическій процессъ договорнаго права, какъ прослѣдивъ его въ Римѣ. Однимъ концомъ своимъ, стариною, оно связывается тамъ въ самую архаическую натуру договора; другимъ же, новизною, оно вполне родственно съ тѣмъ, что ежедневно воспроизводится предъ нашими собственными глазами. Самымъ древнимъ именемъ договора у римлянъ было слово *пехум*, *узель*. Это, вѣроятно, воспоминаніе изъ тѣхъ еще временъ, когда римляне, какъ китайцы, и какъ нынѣшніе сѣверо-американскіе индѣйцы, вели свои счета на биркахъ, посредствомъ зарубокъ, или на шнуркахъ, посредствомъ узловъ на нихъ. Въ этомъ *пехум*, для дѣйствительности его, должны были быть двѣ существенныя части: одна *растум*, т. е. самое условіе сторонъ, и

другая—*obligatio*, т. е. обязательство исполнить это условіе, такъ что настоящій договоръ, *contractus*, есть только тотъ, который есть *pactum* плюсъ *obligatio*. *Pactum* же безъ *obligatio* есть только *pudum pactum*, и въ этомъ смыслѣ недѣйствительно. Само собою разумѣется, что весь актъ долженъ былъ сопровождаться длиннымъ и точно опредѣленнымъ церемоніаломъ, какъ и на всемъ востоѣ, а именно *stipulatio*. Ясно также само собою, что подобные договоры могли быть только словесные, *contractus verbales*, почему тѣмъ и нужнѣе была какъ можно болѣе напечатлительная церемоніальность. Вотъ та тема, съ которой началъ римскій законодатель, и которую пришлось ему потомъ раздѣлывать въ теченіе всей его исторической жизни. Началось это раздѣлываніе съ того, что когда письменность стала распространяться, а вмѣстѣ съ нею распространился и обычай вести прихода-расходныя таблицы, *tabulae*, то стали входить въ употребленіе и *contractus litterales*. Такая запись договора заняла мѣсто прежней стипуляціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и согласіе, *pactum*, становилось обязательствомъ, *obligatio*, вслѣдъ за тѣмъ, какъ долгъ или договоръ занесенъ въ таблицу. Первое и самое трудное перерожденіе состоялось. Еще позже выступило на сцену, какъ въ письменномъ, такъ и въ устномъ договорѣ, значеніе самой *res*, составлявшей предметъ его, такъ что, если врученіе этой *res* одною стороною другой было несомнѣнно, то оно уже покрывало собою и самый недостатокъ въ формальностяхъ договора. Такимъ образомъ, *res* мало по малу замѣнила собою и прежнюю *stipulatio*, и прежнія *tabulae*, а вмѣстѣ съ тѣмъ получилось и новое перерожденіе договора, получились *contractus reales*, или, точнѣе, реальное толкованіе контрактовъ. Наконецъ, дѣло дошло до того, что для поддержанія дѣйствительности договора стало достаточно и одного *consensus*, т. е. даже и безъ наличности вещи, безъ передачи ея. Если соглашеніе оказывалось достовѣрнымъ, то не требовалось больше никакихъ тонкостей, ни даже врученія вещи. Въ этомъ *consensus* слились какъ прежнее *pactum*, такъ и прежнее *obligatio*. Это и суть такъ названые *contractus consensuales*, т. е. самый высшій способъ толкованія договоровъ, какого добился Римъ. Но и тутъ постепенность органическаго процесса еще не вся. Дѣло въ томъ, что когда консенсуальная интерпретація стала возможною, она стала ею не для всѣхъ вообще, а только для нѣкоторыхъ сдѣлокъ, а именно: для тѣхъ, которыя наичаще повторялись въ обществѣ, и сложность

или формализмъ которыхъ наиболѣе затрудняли гражданскій оборотъ. Такими сдѣлками были признаны: купля-продажа, наемъ, доверенность и товарищество. Но свобода или простота этихъ четырехъ договоровъ далеко не сразу распространилась на всѣ остальные. Сперва преторъ предоставлялъ это распространеніе только на волю самихъ договаривающихся сторонъ, и если онѣ были согласны, то и всякую сдѣлку свою, кромѣ означенныхъ четырехъ, могли толковать въ смыслѣ консенсуальной. Въ другихъ случаяхъ преторъ позволялъ только отвѣтчику защищаться такимъ не вполне законнымъ толкованіемъ договоровъ, не позволяя, однакожъ, истцу предъявлять самый искъ на подобномъ же основаніи. И только тогда, когда одинъ изъ преторовъ объявилъ, что будетъ допускать и самые иски по всякимъ консенсуальнымъ договорамъ, каковъ бы ни былъ предметъ ихъ сдѣлки, только тогда весь процессъ естественнаго перерожденія формъ довершился окончательно. Техника, внѣшность, форма, стоявшія на первомъ планѣ, исчезли, а выступили на первый планъ ингрѣденты внутренніе, сущность сдѣлки, намѣреніе сторонъ. И въ этомъ-то своемъ возрожденномъ видѣ договоръ и достался въ наслѣдство новой юриспруденціи. Въ этихъ четырехъ словахъ: устность, письменность, фактичность и намѣренность, сосредоточивается дѣйствительно вся исторія всякаго договора, на всякомъ мѣстѣ и во всякое время. До изобрѣтенія письменъ нѣтъ возможности иного договора, какъ вербальный, а вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ возможности и договора безъ самой большей осложненности формъ, какъ единственно способной замѣнять письмена и напечатлѣвать соглашеніе въ памяти. Съ изобрѣтеніемъ письменности всѣ эти формы удобно замѣняются одною—письмомъ. Отсюда литературный контрактъ, тиранія буквы. Но и при немъ, рано или поздно, становится понятнымъ, что это все-таки формальность, хотя и болѣе простая, и что сущность дѣла въ самой сдѣлкѣ, а не въ описаніи оной. Такимъ образомъ получаетъ силу не столько буква, сколько самый фактъ. Это есть реальное пониманіе договора. Но и въ самомъ фактѣ сущность состоитъ не въ наличности вещи, а въ наличности намѣренія;—а потому вотъ и послѣдняя стадія развитія, дальше которой идти некуда: консенсуальный контрактъ. Договоръ оскребѣнъ отъ всего излишняго, несущественнаго, вылущенъ до послѣдней возможности, и является во всей чистотѣ своей, какъ триплъ-экстрактъ сдѣлки. Такова исторія формъ договорныхъ въ

Римѣ. Что же касается самаго объекта договоровъ, то имъ были, главнымъ образомъ, *res mancipi*, *недвижимости*.—Новая юриспруденція не сразу, однакожъ, овладѣла всѣмъ этимъ даровымъ достояніемъ предковъ. Пока длился относительно аристократическій ея періодъ и незнакомство съ римскимъ правомъ, она, по естественному ходу вещей, продолжала повторять зады, и, перешедши отъ устнаго договора къ письменному, твердить: *quod non est in actis, non est in mundo*. Долго господство формы было такъ велико, что вызвало спеціальныя учрежденія знатковъ этихъ формъ, какъ при Карлѣ Великомъ *judices chartularii*, а съ XIII в. *notarii*. Да и спознавшись съ римскимъ правомъ, Европа не вдругъ отстала отъ всосавшихся въ плоть и кровь ея привычекъ. Но, рано или поздно, пора эта должна была наступить, и она наступила съ прошлаго вѣка и съ кодекса Наполеона. Современный законодатель начинаетъ уже уравнивать букву и смыслъ въ договорѣ, форму и духъ его; а потому только съ этихъ поръ онъ можетъ мечтать и о томъ преобладаніи духа надъ формой, до какаго дошло дѣло у римлянъ. Въ ожиданіи же этой существеннѣйшей изъ формальныхъ метаморфозъ договорнаго права, тимократическое право-творчество не было празднымъ и до сихъ поръ; по крайней мѣрѣ, по отношенію къ родамъ и видамъ этого права, къ содержанію его, если не къ формѣ. Такъ въ древній институтъ этого рода тимократическимъ творчествомъ уже и до сихъ поръ внесены: вексельное право, бумаги на предъявителя, договоры кредитные, передача обязательствъ по надписямъ, договоръ страхованія, бодмерейный договоръ, варранты и т. п., словомъ, все разнообразіе договоровъ о *движимомъ* имуществѣ. Но еще больше новое государство замѣчательно своею пропагандою договорныхъ отношеній въ обществѣ. Въ древности, какъ ни много Римъ сдѣлалъ для договора, но онъ не могъ сдѣлать всего, не могъ сдѣлать изъ него соперника закону. И наибольшая часть гражданскихъ отношеній опредѣлялась тогда все-таки *закономъ*, а не договоромъ. Крайнее развитіе вещнаго права уже само по себѣ дѣлало излишнимъ множество договорныхъ опредѣленій. Между тѣмъ, въ наши времена законъ вовсе выпускаетъ изъ своихъ рукъ множество житейскихъ отношеній. Такъ, напр., одно упраздненіе крѣпостнаго труда вдругъ и съ одного разу перенесло наибольшую часть всей суммы правовыхъ отношеній съ одной юридической почвы на другую; а эта другая и была именно договорною. По-

нятно, какой колоссальный размах получила практика договорного права, а вмѣстѣ съ тѣмъ понятно и значеніе самого института для такой эпохи. Обширное же развитіе промышленности и торговли, нуждаясь въ свободномъ трудѣ не меньше, чѣмъ земледѣліе, другимъ путемъ расширяетъ сферу, и безъ того уже небывалую, договорного права. Отношеніе договора къ закону дошло до того, что нѣкоторыя новыя права и обязанности возникаютъ совсѣмъ помимо законодательства. Такъ, напр., железнодорожное право новыхъ народовъ есть на цѣлую половину свою договорное. Этотъ напоръ договорныхъ отношеній, заполонившихъ почти весь гражданскій оборотъ, созидаетъ, помимо всѣхъ законодателей и всѣхъ легистовъ, совершенно новое отношеніе, новую пропорцію и между самыми закономъ и договоромъ. Гдѣ прежде, говоритъ Мэнъ, положеніе человѣка опредѣлялось при самомъ его рожденіи, и разъ навсегда, новый строй жизни предоставляет ему самому опредѣлять это положеніе, и опредѣлять его чуть не ежедневно. Законодательства же, въ виду такого положенія дѣлъ, почти признали уже свою несостоятельность для того, чтобы поспѣвать за этимъ круговоротомъ людскихъ отношеній, за потокомъ открытій и изобрѣтеній. По крайней мѣрѣ, даже въ наименѣе прогрессивныхъ государствахъ, законъ все больше и больше становится лишь наружною оболочкою, подъ которою кроется цѣлый рой договорныхъ правилъ, и которая лишь старается направлять эти правила къ нѣкоторымъ основнымъ и единообразнымъ принципамъ. Короче, наступило соизмѣреніе или состязаніе договора съ закономъ, гдѣ *договоръ=закону*. Вотъ тѣ лепты тимократіи, которыя уже и нынѣ вложены ею въ сокровищницу наслѣдованнаго ею договорного института древности.—Можно ли по такой исторіи его предвидѣть его ближайшую и его отдаленную будущность? Если можно, то исторія эта не даетъ намъ правъ ни на какое иное заключеніе, кромѣ двухъ нижеслѣдующихъ. Представить себѣ дальнѣйшія усовершенствованія въ самой формѣ договора, послѣ консенсуальной, невозможно. Не качественное, поэтому, а только количественное развитіе договорного права остается ему въ будущемъ и, при томъ, въ двухъ направленіяхъ: во первыхъ, разнообразія договора, и во вторыхъ, распространенія его на наибольшую часть человѣческихъ отношеній или, по прекрасному техническому выраженію Мэна, движеніе отъ *status* къ *contractus* и замѣна перваго

*

послѣднимъ. Первое изъ этихъ двухъ движеній, въ верху разнообразія, доступно и для тимократій, но еще больше, конечно, для демократій, гдѣ уже одно развитіе *авторскаго* права предполагаетъ значительную новизну и въ договорномъ. Второе же, въ верху распространенія, едва ли возможно раньше демократизма, и при томъ, быть можетъ, даже самоуправляющагося. Какъ статически договоръ есть вѣнецъ всей системы гражданскаго права, которая вся въ него разрѣшается, такъ динамически онъ обобщаетъ быть вѣнцомъ всего гражданскаго оборота, всей юриспруденціи, всѣхъ правовыхъ отношеній: и частныхъ, и публичныхъ. Всякое гражданское право стремится перейти въ исключительно *договорное*: брачное изъ насильственнаго стремится въ произвольное и изъ тайнства въ контрактъ; семейное, родовое — въ товарищество; наследственное — въ завіщательный договоръ; вещное — въ договоръ владѣнія, пользованія и распоряженія, и т. п. Мало того, даже публичное право, какъ въ своемъ мѣстѣ увидимъ, стремится туда же: доказательство — договоръ верховной власти съ народомъ, извѣстный подъ именемъ конституцій.

Другая сторона частнаго права, уголовная, очутившись въ атмосферѣ государственной культуры, также не могла не испытать здѣсь преобразеній и также не иныхъ, какъ въ духѣ новой почвы, на которую она переступила. Будучи сравнительно проще, а вромѣ того, гораздо настоятельнѣе для жизни, сторона эта и нормировалась въ государствахъ повсюду легче и раньше, чѣмъ гражданская. Мы видѣли это уже и на заповѣдяхъ Моисея, гдѣ на двѣ домашнихъ, на одну семейную и одну вещную приходилось цѣлыхъ четыре уголовныхъ; но то же самое явленіе повторяется и на кодексѣ Ману, и у Ликурга, и у Дракона, и у Солона, и въ XII таблицахъ, и въ германскихъ зеркалахъ и правдахъ, и въ Русской Правдѣ. Первая переменна, какую уголовное право испытываетъ на государственной почвѣ, если не испытало ее на патріархальной, есть обыкновенно замѣна кровавой расплаты денежною пеней. Такъ въ XII таблицахъ, и при томъ въ главѣ о правонарушеніяхъ гражданскихъ, фигурируетъ и воровство, и насильственный захватъ, и самый грабежъ, при чемъ всѣ они вознаграждаются денежною пеней и даже простымъ порожденіемъ долговаго обязательства. Если же убійство или обращеніе въ рабство удерживаются, какъ наказанія, то все-таки не для иныхъ преступленій, какъ то же воровство, но только

явное, *furtum manifestum*, т. е. застигнутое на мѣстѣ преступленія, или съ поличнымъ въ рукахъ. Мысль законодателя тутъ очевидна: составъ преступленія въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же; но не одно и то же личное состояніе потерпѣвшаго. А потому наказаніе преступнику соразмѣряется все еще съ чувствомъ гнѣва и мести въ два различные момента: въ минуту самаго совершенія преступленія и нѣкоторое время спустя послѣ того. Тѣ же самыя тенденціи проведены и въ германскихъ кодексахъ, и при томъ, исключительно, чѣмъ гдѣ-нибудь. Во первыхъ, всѣ, безъ исключенія, преступленія, отъ убійства до обиды словомъ, измѣряются единственно на вѣсъ золота и съ крайней математической точностью (это обнажить женщину голову—платить пять сольдовъ, ногу до колѣна—шесть сольдовъ, ногу выше колѣна—двѣнадцать сольдовъ); во вторыхъ, явный воръ все-таки вѣшается или обезглавливается, тогда какъ убійство потаеннаго вора само грозитъ смертной казнью. Замѣтимъ также, что, какъ въ этомъ римскомъ, такъ и въ этихъ германскихъ кодексахъ, уголовное право все еще остается на степени безусловно частнаго: все еще не извѣстенъ въ немъ ни грѣхъ, т. е. преступленіе противъ боговъ, ни бунтъ, т. е. преступленіе противъ общества. Первый толчекъ къ тому даютъ частныя преступленія противъ главъ народовъ и государствъ. Когда открытъ былъ заговоръ гарема и евнуховъ противъ Рамзеса III, то фараонъ нашелъ приговоръ верховнаго суда слишкомъ мягкимъ, и приказалъ казнить не только всѣхъ подсудимыхъ, но и всѣхъ судей ихъ. Съ подобныхъ моментовъ начинается крутой поворотъ въ системѣ уголовныхъ законовъ. Та система патріархальной мести, которая разрѣшилась было низведеніемъ всѣхъ видовъ мщенія до денежнаго штрафа, теперь снова возрождается во всей своей грозности и наготѣ. Благодаря новому понятію преступленій общественныхъ, уголовное право ясно теперь отдѣляется отъ гражданскаго, и наказаніе перестаетъ уже смѣшиваться съ вознагражденіемъ. Та гармонія наказанія со степенью гнѣва и мести въ потерпѣвшемъ, которая казалась было пережитою, теперь восстанавливается во всей своей силѣ, подъ видомъ гармоніи съ преступленіемъ. Преступленіемъ же противъ царя считается мало по малу и всякое нарушеніе его повелѣній, въ качествѣ ослушанія царской власти. Такъ напр., въ Японіи опредѣлялось наказаніе за всѣ публичныя преступленія, какъ за ослушаніе микадо, при чемъ каждый разъ такимъ наказа-

ніємъ была смертная казнь. А какъ микадо былъ владѣльцемъ и всѣхъ имуществъ, то и самыя правонарушенія гражданскія попадали иногда въ категорію того же ослушанія, и преслѣдовались уголовнымъ порядкомъ. Такъ, запрещенная закономъ игра на деньги была ослушаніемъ законодателя и грозила смертною казнью. Этимъ путемъ патріархальныя убійства и изувѣченія возобновляются для значительной части угодовныхъ правонарушеній (римскіе *crimina publica*); а патріархальная денежная пеня уцѣлѣваетъ лишь для маловажныхъ преступленій (по римски *delicta privata*). Кровавая месть возстановлена снова, но на этотъ разъ подъ именемъ правосудія. Но между старой местию и новымъ правосудіемъ есть и большая разнища: она состоитъ въ томъ, что цѣлью правосудія становится не самоудовлетвореніе, а лишь возмездіе, *jus talionis*, т. е. вмѣсто воздаянія большимъ за меньшее, лишь воздаяніе *равнымъ* за равное. Отсюда для египтянъ казалось дѣломъ величайшей мудрости—отмѣрить преступнику его же мѣрою: если онъ выдалъ тайну, то надо было вырвать у него языкъ; если сдѣлалъ подлогъ, — отсѣчь ему руку; изнасиловалъ—оскопить; обмѣрилъ и обвѣсилъ — усѣчь пальцы и т. п. Больше всего этотъ принципъ извѣстенъ въ его еврейской формулѣ: душу за душу, око за око, зубъ за зубъ. Но если этимъ охотно удовлетворялась практическая юстиція тѣхъ временъ, то не могла остановиться на этомъ теоретическая. Пока правосудіе являлось въ видѣ мести, вопросъ о цѣли ея былъ празднымъ, ибо онъ вызывалъ бы простой и отероженный отвѣтъ, что цѣль эта есть самоудовлетвореніе. Но когда месть превратилась въ юстицію, а мѣра мести превратилась въ наказаніе; тогда законодатели не могли долго уклоняться отъ вопроса о цѣли и пользѣ наказанія. И вотъ, отыскивая эту цѣль и пользу, стараются они найти ее въ *устрашеніи*, т. е. въ воспитательномъ примѣрѣ для другихъ. Правда, у Платона цѣль эта стоитъ только между прочими такими же: рядомъ съ нею онъ признаетъ и исправленіе, и предупрежденіе, и даже просто самооборону общества, все, лишь бы только не отищеніе; но на практикѣ устрашеніе рѣшительно преобладало. Однажды же, что такая теорія приобрѣла популярность, она получаетъ уже возможность воздѣйствовать и на самое *jus talionis*. И вотъ здѣсь-то надо отыскивать источники тѣхъ изысканностей и утонченностей въ придумываніи казней, какія выходили уже далеко изъ задачи равнаго возмездія, и которыми госу-

дарственное правосудіе готово было возвратиться чуть не вновь къ временамъ патріархальности и голой мстительности. Такія увлеченія этой теоріи хорошо извѣстны какъ монархическимъ, такъ и республиканскимъ аристократіямъ. Въ Египтѣ подобными изобрѣтеніями были: вверганіе въ раскаленную печь или въ ровъ со львами; въ Іудеѣ—распиливаніе пополамъ, побиваніе камнями; въ Индіи и у зендовъ—зарываніе живыхъ въ землю, сдираніе съ живыхъ кожи, сажаніе на колъ, распятіе на крестѣ, растаптываніе слонами, обливаніе тѣла медомъ и выставленіе его насѣкомымъ, за- травливаніе собаками, жареніе на раскаленной кровати и т. п. Въ Аѳинахъ формами смертной казни суть: побиваніе камнями, вѣшаніе на крестѣ, сожиганіе живьемъ, засѣваніе кнутомъ до смерти и т. д. Все это имѣло мѣсто даже въ законахъ Солона и при томъ, даже за воровство, если оно было manifestum. Въ Римѣ осужденныхъ раздавливали подъ колесницами, низвергали съ тарпейской скалы въ пропасть, бросали запитыхъ въ мѣшки, вмѣстѣ съ гадами, въ море, отдавали звѣрямъ на растерзаніе, засѣкали розгами, выводили на битву съ другими преступниками и съ гладіаторами и проч. Словомъ, придаточная теорія устрашенія окончила тѣмъ, что осилила основную теорію возмездія: чтобы устрашать, приходилось утончать изысканность казней, и, слѣдовательно, обходить равенство возмездія. Впрочемъ, всю эту картину необходимо отгѣнить однимъ крайне замѣчательнымъ изыятіемъ. Въ Индіи—брамины, въ Аѳинахъ, въ лучшія времена ихъ, граждане, а въ Римѣ — граждане со временъ Порціева закона, были изыаты отъ всѣхъ тѣлесныхъ наказаній, а отъ смертной казни всегда могли избавить себя посредствомъ добровольнаго изгнанія. Брамины же и вовсе не могли быть осуждаемы на смерть. Вотъ апогей того развитія, до какаго достигло въ древности матеріальное уголовное право.—Новое государство также не вдругъ пошло дальше. Пока продолжался его относительный аристократизмъ, продолжалась и вся вышеописанная практика возмездія и устрашенія: здѣсь кипать четвертованія, колесованія, сажанія на колъ, сожиганія на кострахъ, привязыванія къ хвосту дикой лошади, погруженія въ кипящее масло, обливанія растопленнымъ свинцомъ, рваніе мяса валеными щипцами, раздавливаніе въ тискахъ и проч. и проч. Но дѣйствительное наступленіе тимократизма положило конецъ этимъ оргіямъ устрашенія, и при томъ не своей философіею права и даже не своею революціею,

а простымъ смягченіемъ нравовъ. Выразителемъ же этого смягченія въ 1764 году явился не юристъ, и не философъ, а простой свѣтскій человѣкъ, маркизъ Беккарія. Горячій протестъ его противъ злоупотребленій современной юстиціи, не смотря на поднятый имъ вопль со стороны юристовъ, облетѣлъ всю Европу и вызвалъ въ ней цѣлую фалангу публицистовъ, помѣстившихся подъ новое знамя. Вольтеръ, Дидро, Даламберъ, Юмъ поспѣшили примкнуть къ благородному маркизу, пока криминалисты клеймили его именемъ невѣжды, разбойника, злодѣя. И хотя они успѣли отравить ему жизнь на столько, что онъ зарекся писать, но дѣло его было сдѣлано и помимо ихъ, вопреки имъ. Изысканность казней и предварительныя пытки, не смотря на всю ихъ недавнюю репутацію, теперь какъ рукой сняло. На практикѣ осталась только одна голая смертная казнь. Мало того, XIX вѣкъ пошелъ и еще дальше. Изгнрившись въ дѣйствительность устрашенія, онъ, вмѣсто того, чтобы выставлать эту казнь на всеобщее зрѣлище, старается, напротивъ, прятать ее отъ глазъ въ стѣнахъ тюремъ. То самое, что усвоено было во имя морализаціи обществъ, теперь отвергается, какъ деморализація ихъ. Однакожъ, и это еще не все: нѣкоторые законодательства, какъ, напр., голландское, бельгійское, половина швейцарскаго, португальское, тосканское, румынское, уже въ настоящую минуту цѣлкомъ вычеркнули смертную казнь изъ своихъ кодексовъ. Такое же раздѣленіе, какъ между державами, послѣдовало также и между юристами: всѣ мелкіе изъ нихъ стоятъ за новаторство, большинство же крупныхъ и авторитетныхъ—за рутину. Впрочемъ, и въ самую эту рутину постоянно врывается такое множество и такихъ нововведеній, что они образуютъ собою напоръ неудержимый. Такъ, напр., удерживая въ своихъ кодексахъ самое тяжкое изъ наказаній, тимократическія законодательства въ то же время вычеркиваютъ изъ нихъ самыя тяжкія изъ преступленій. Для грека, для римлянина, даже въ самыя кульминаціонныя эпохи ихъ прогрессивности, не было ничего ужаснѣе и непростительнѣе, какъ *sacrilegium*, поруганіе святыни, или *laesa majestas*, оскорбленіе величества, при чемъ всякая попытка измѣненія государственнаго устройства трактовалась, какъ оскорбленіе величества. Преступникъ такого рода не только наказывался смертю, но дѣлался *sacreg*, проклятымъ; домъ его срывался до основанія, и самая память о немъ осуждалась, какъ новое преступленіе,—*damnatio memoriae*.

Между тѣмъ, нынѣ самыя культурныя изъ державъ допускають у себя открытое и публичное оспариваніе какъ бытія Бога, такъ и всевозможныхъ формъ общежитія. Такимъ образомъ, то, что было нѣкогда тягчайшимъ изъ преступленій, теперь выступило прочь изъ самаго понятія о преступленіи. Наконецъ, къ одной и той же цѣли ведутъ и множество мелкихъ особенностей христіанскаго криминализма, какъ, напримѣръ, широкая практика права помилованія, оптовья амністіи, возрастающее число смягчающихъ обстоятельствъ, учащеніе случаевъ невмѣненія, толкованіе сомнѣній въ пользу подсудимаго, улучшеніе мѣстъ заключенія, сокращеніе наказаній послѣ суда, за поведеніе, призрѣніе отбывшихъ наказаніе, и т. п. Все это вмѣстѣ весьма достаточно обрисовываетъ тенденціи новой уголовной юстиціи, показывая съ очевидностью, что вѣкъ возмездія миновалъ, и что отнынѣ провозглашенъ великій принципъ милосердія, т. е. воздаянія лишь *меньшимъ* за большее, и притомъ провозглашенъ не для однихъ гражданъ и браминовъ, а для всѣхъ и каждаго, безъ изыятія. Только такая юстиція, не смотря на всѣ ея внутреннія противорѣчія, соотвѣтствуетъ текущему состоянію тимократическихъ нравовъ. Только она же совпадаетъ, наконецъ, и съ религіей тимократизма, искони не перестававшей подсказывать, что милость да похвалится на судѣ. Но что бы ни говорила теорія инстинктивная, а сопутствующая ей сознательная теорія продолжаетъ все-таки свою особую пѣсню. Въ своихъ новыхъ поискахъ за цѣлью и за пользою наказанія, новый уголовный теоретизмъ пришелъ къ заключенію, что эта цѣль и эта польза состоятъ не въ чемъ иномъ, какъ въ *исправленіи* преступника. Свидѣтель тому—вся наша пенитенціарная система. Аристократизмъ старался своимъ наказаніемъ исправлять другихъ, все общество; тимократизмъ старается исправить имъ, по крайней мѣрѣ, самого преступника. Правда, философы наши рѣшительно растерялись въ поискахъ за цѣлью наказанія, растерялись еще больше, чѣмъ древніе. Одни, какъ Бентамъ или Фейербахъ, видятъ ее въ самооборонѣ общества, въ предупрежденіи преступленій; другіе, какъ Фихте, Жуссе, Мюллеръ де-Вугланъ, Шарль Люкасъ,—въ исправленіи преступника; третьи, какъ Гроцій, Сельденъ, Лейбницъ, Кантъ,—въ искупленіи наказанія, въ навазаніи для навазанія, чѣмъ и доводятъ оное до наивысшей идеализаціи. Но, не смотря на это, практика, законодательства все-таки болѣе всего усваиваютъ себѣ теорію исправленія. Отсюда

стремленіе привить исправительный характеръ ко всякому наказанію, которое сколько-нибудь его выносить. Но какъ ни смертная казнь, ни денежный штрафъ вовсе не допускаютъ этой идеи, то всю систему исправленія пришлось ограничить однимъ лишеніемъ свободы и примѣнять ее только здѣсь. Получивши же эту возможность проникать въ практику, новая теорія, также какъ и древняя предмѣстница ея, не преминула испортить и эту практику, на сколько могла; и своимъ одиночнымъ заключеніемъ, доводящимъ иногда до лишенія разсудка, очевидно, выступила изъ всякихъ границъ инстинктивной теоріи милосердія. Такова минута, на которой обрывается дѣйствительная исторія. Но если уроки ея дѣйствительно таковы, какъ они изображены выше, то изъ нихъ возникаютъ слѣдующія поученія для будущаго. Если сознательныя стремленія криминализма дѣйствительно всегда портили бессознательныя инстинкты его, то та же борьба двухъ теорій предстоитъ и нашему тимократическому будущему. Со времени Беккарія едва успѣло пройти одно столѣтіе, такъ что развитію тимократическихъ принциповъ остается еще, по всей вѣроятности, не одно столѣтіе. А потому и борьба милосердія съ исправленіемъ остается еще не мало времени. Съ другой стороны, успѣхъ всякой уголовной теоріи зависитъ, насколько видно изъ предыдущаго, единственно отъ состоянія нравовъ, отъ состоянія непосредственныхъ чувствъ общества, которыя выносятъ одно и не выносятъ другаго. Единственный тутъ рѣшитель—тѣ нравы, до которыхъ дожилъ тотъ или другой юристъ, то или другое поколѣніе, та или другая общественная среда. А потому и пока тимократическіе нравы имѣютъ совершенствоваться, а не падать, есть вѣроятность успѣховъ милосердія, не смотря ни на что. И наоборотъ, когда тимократическія общества станутъ деморализироваться, всѣ шансы успѣха склонятся въ пользу теорій исправленія и, подъ видомъ ея, самая теорія милосердія можетъ сблизиться съ системою возмездія.—Что же касается еще болѣе отдаленнаго, т. е. демократическаго будущаго, то ему, при такой исторіи, не останется другого естественнаго исхода, по крайней мѣрѣ въ лучшія времена его, какъ приведеніе и преступленія, и наказанія къ нулю, и, во всякомъ случаѣ, къ ихъ минимуму, какъ, на примѣръ, арестъ или денежный штрафъ, а слѣдовательно, и къ теоріи невмѣненія, воздаянія *ничѣмъ*, сопровождаемой развѣ лишь теоріей *предупрежденія*. Невмѣненіе, въ лучшія времена этихъ

обществѣ, можетъ сдѣлаться полнымъ, точно также, какъ въ худшія времена предупрежденіе, въ видѣ предваренія рецидивъ, можетъ стоить любого вмѣшенія, и репрессія предупредительная можетъ съ избыткомъ возмѣстить собою недостатокъ карательной.

Если такъ, то исторія обоихъ частныхъ правъ направляется въ отношеніи, совершенно обратномъ. Право гражданское, съ теченіемъ вѣковъ, все больше и больше, такъ связать, разводится въ общежитіи; уголовное же, напротивъ, все больше и больше изводится въ немъ. Первое въ своемъ высшемъ развитіи (договорное право) стремится раскинуться на всю вообще культуру, покрыть собою всевозможныя правоотношенія; второе же, въ наивысшемъ проявленіи своемъ (репрессія предупредительная), обѣщаетъ, напротивъ, развѣ только упразднить себя.—За изложеніемъ теперь всего частнаго права матеріальнаго, остается сказать нѣсколько словъ о формальномъ или, что то же, судебномъ правѣ. Судебное право есть не что другое, какъ право и власть примѣненія матеріальнаго частнаго права; это есть власть вкочлачивать его въ жизнь, инкорпорировать, на сколько для него возможно, въ нравы. Но кто, обозрѣвая сравнительную исторію этого права, захочетъ дать себѣ отчетъ о какомъ-либо движеніи, совершающемся въ немъ, тотъ будетъ, какъ полагаемъ, не мало затрудненъ своей задачей. Все, что мы привыкли считать нынѣ палладіумомъ правосудія, какъ устность, гласность, состязательность процесса, адвокатура, судъ присяжныхъ, все это найдется и далеко позади насъ и при томъ въ формахъ, нисколько не худшихъ, чѣмъ наши. Блестящая греческая и римская адвокатура очень хорошо извѣстна всѣмъ. Судъ гелиастовъ въ Греціи и *judices jurati* въ Римѣ суть то же жури новыхъ народовъ. Больше того, въ дѣлахъ гражданскихъ греки знали судъ діететовъ, которыхъ было по 44 въ каждой филѣ, римляне знали *judices privati* и *judicium centumvirale*, тогда какъ въ наши времена гражданскій судъ присяжныхъ есть величайшая рѣдкость. Классики знали въ гражданскомъ процессѣ даже то раздѣленіе вопросовъ права отъ вопросовъ факта, какое понятно для насъ только въ процессѣ уголовномъ, и смѣло отдавали фактъ своимъ присяжнымъ, оставляя претору только вопросы права. Да и самъ преторскій судъ, хотя и опутанный формами и обрядами, на столько, однакожъ, не былъ лишонъ свободы двигаться подъ ними, что ему принадлежитъ даже вся инициатива всѣхъ преобразованій какъ по матеріальному, такъ

и по формальному праву. Каждый преторъ, при вступленіи въ должность, долженъ былъ даже напередъ объявлять свою собственную программу суда, такъ что это былъ столько же судъ справедливости, сколько закона. При всемъ этомъ, такая свобода живой совѣсти не только не повела къ судебной анархіи, но ей-то именно и обязанъ міръ всѣмъ предметомъ своего удивленія, какой достался ему въ римскомъ правѣ. Право это создано не законодателемъ римскимъ, не римскими юрисконсультами и юристами, а единственно практикой римскаго суда. Что же касается устности, гласности, публичности судопроизводства, то онѣ знакомы не только Греціи и Риму, но даже востоку, а именно: евреямъ, индусамъ и самимъ даже китайцамъ. Наконецъ, онѣ извѣстны даже патріархатамъ, въ которыхъ о письменности не можетъ быть и помину. И такъ, гдѣ же послѣ этого искать таковой нити, которая обнаружила бы хоть какую-нибудь градацію судебного права по столь крупнымъ историческимъ эпохамъ, какъ патріархальная, аристократическая и тимократическая? Съ своей стороны, мы усматриваемъ въ исторіи три такихъ нити: во первыхъ, и больше всего прочаго, самую организацію суда по мѣстамъ и временамъ; во вторыхъ, исторію доказательствъ судебныхъ и въ третьихъ, исторію судебного вмѣненія. Всѣ переиѣны въ судебной организаціи представляютъ собою не что иное, какъ непрестанную делегацію и ределегацію гнѣва и мести. Въ точѣ отправленія, въ патріархатахъ, делегаціи этой вовсе еще нѣтъ; тамъ гнѣвъ и месть прилагаются, какъ мы видѣли, болѣе или менѣе непосредственно, самимъ обиженнымъ; потерпѣвшій есть самъ же и мститель. Если возникаетъ зародышъ посредника и здѣсь, какъ, напри- мѣръ, въ отцѣ, въ родоначальникѣ, то между разными семьями и родами такого естественнаго посредника уже нѣтъ, а искусственный еще не найденъ. Если же, наконецъ, находится и онъ, то развѣ лишь подъ конецъ патріархатовъ, такъ что ихъ характеристика есть таковой или иной, но *мститель*, а не судья. Судья же выживаетъ въ прочный институтъ только въ первой государственной формаціи. Только тутъ, вмѣсто частнаго мстителя, повсюду является уже публичный; мститель превращается въ *судью*; личный гнѣвъ преобразуется въ общественный; месть принимаетъ видъ правосудія, юстиціи. Въ чемъ же состоитъ преобразование? Очевидно, ни въ чемъ больше, какъ въ делегаціи мести и гнѣва, делегаціи отъ заинтересованныхъ лицъ къ незаинтересованному, отъ сторонъ

къ третьему лицу. Одна эта передача, уже сама по себѣ предѣшаетъ весь духъ и весь характеръ грядущей юстиціи. Отнынѣ страстность, пылкость воздаянія перестаетъ находить себѣ почву, и получается возможность найти ее въ хладнокровіи и спокойной обдуманности. Она идетъ, конечно, по слѣдамъ того же гнѣва, руководится тѣмъ же идеаломъ мести; но это уже гнѣвъ общественный, а не личный; это уже месть публичная, а не частная. Этотъ типъ суда и простирается по всей аристократической формации государствъ, выживая здѣсь надъ всѣми другими. Подъ конецъ всей формации, а именно въ Греціи и Римѣ, онъ началъ отживать; показалась на время, а именно въ періодъ республикъ, новая форма делегаціи въ видѣ гелиаствоу и діететовъ, *judices iugati* и *privati*; но полное выживаніе этой формы досталось на долю только тимократической культуры. Съ другой стороны, хотя общественныя преступленія были уже извѣстны, хотя извѣстенъ уже мститель публичный; но публичнаго обвинителя и публичнаго слѣдователя все-таки нѣтъ. Т. е. хотя уголовная юстиція и становится отчасти государственною; но патріархальный, но частный характеръ все-таки при ней остается. Что въ древности было явленіемъ мѣстнымъ (выборные судьи), въ нашей культурѣ стало повсемѣстнымъ; что тамъ доступно было лишь для самоуправленій, и съ наступленіемъ монархій и имперій тотчасъ же падало, здѣсь равно выносимо и для монархій, и для республикъ. Въ чемъ же сущность этой новой реорганизаціи? Опять не въ чемъ иномъ, какъ въ ределегаціи, на этотъ разъ, даже общественнаго гнѣва и мести. На этотъ разъ, отъ судьи короннаго этотъ гнѣвъ и эта месть поступаютъ въ руки общественнаго, отъ постоянного къ временному, отъ судьи къ *присяжному*. Вся сущность перемены здѣсь въ томъ, что совѣсть судьи случайнаго, какъ непривычная и всегда свѣжая, дѣвственная, несравненно чувствительнѣе, щекотливѣе, деликатнѣе, чѣмъ у судьи цеховаго, закалившагося въ борьбѣ съ преступленіемъ и въ отрицаніи наказаній. Это одно и само по себѣ опять напередъ уже предѣшаетъ весь духъ предстоящаго правосудія. Организація снова сама собой уже предустанавливаетъ функцію. Степень посредственности этой функціи претерпѣваетъ еще одно новое переищеніе: изъ менѣе посредственныхъ рукъ въ болѣе посредственныя. Этотъ-то типъ суда и становится теперь такой популярностью, которая завоевываетъ всю тимократическую формацию отъ края до

края, и полное выживание которой здѣсь становится неоспоримымъ. А съ другой стороны преступленіе, за весьма немногими исключеніями, становится по большей части общественнымъ, по большей части государственнымъ, такъ что потребовало для себя и особый государственный органъ, публичнаго обвинителя и публичнаго слѣдователя. Все это вмѣстѣ и произвело то, что самое право уголовное стало считаться не частнымъ, а государственнымъ. Послѣ всего этого остается еще одинъ культурный шагъ въ томъ же направленіи,—и вся судебная функція можетъ перейти отъ многихъ ко всѣмъ, отъ представительной общественной совѣсти къ непосредственному общественному мнѣнію, зародышами котораго и суть нынѣшнее одобреніе и порицаніе со стороны публики судебной и, еще болѣе, судъ Линча въ Америкѣ. Но такой радикальной редеlegaціи можно ждать лишь отъ послѣдней культурной ступени,—отъ демократій.—Другую такую же нить видимъ мы въ исторіи судебныхъ доказательствъ на каждой изъ этихъ градацій суда. Начинается эта исторія, какъ мы видѣли, съ доказательствъ мистическихъ, сакраментальныхъ, каковы: *судъ божій*, ордалин, испытаніе огнемъ и желѣзомъ, судебный поединокъ, присяга. Продолжается эта исторія преобразованіемъ всѣхъ такихъ доказательствъ въ *пытку* и *правду*, какъ средства вымучить собственное признаніе, которое хотя и есть доказательство человѣческое, естественное, начинаетъ, однакожъ, считаться лучше божественныхъ и сверхъестественныхъ. Еще далѣе исторія переходитъ отъ доказательства признаніемъ къ доказательствамъ уликами, свидѣтельствами, документами, строго и напередъ опредѣляемыми для судьи закономъ, или такъ называемыми *формальными доказательствами*. Здѣсь законъ предуснаавливаетъ, какаго рода должны быть доказательства, сколько ихъ должно быть и на сколько каждое изъ нихъ и при какихъ условіяхъ судья долженъ считать достовѣрнымъ. И только наконецъ исторія пытается переходить, да и то не довольно рѣшительно, въ довѣріе къ живой совѣсти, къ *убѣжденію* судьи, и ему самому предоставлять изысканіе и оцѣнку доказательствъ, равно какъ и самое вмѣненіе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Другими словами, это есть, повидимому, движеніе отъ божественной совѣсти къ человѣческой, а въ этой послѣдней—отъ мертвой совѣсти къ живой. Въ первомъ случаѣ судить, такъ сказать, само божество; во второмъ судить людей законодатель, и лишь по самымъ несомнѣннымъ доказательствамъ; въ

третьемъ судъ доврѣяется судѣй, но только опутанному цѣлой системой того, какъ ему слѣдуетъ убѣждаться; и только въ концѣ концовъ судъ становится удѣломъ болѣе или менѣе живой и непосредственной совѣсти. Если бы такое или подобное обобщеніе могло вынести критику, то оно распредѣлилось бы по нашимъ четыремъ эпохамъ, конечно, слѣдующимъ образомъ. Сакраментальный судъ принадлежалъ бы, безъ сомнѣнія, лишь патріархальному праву, хотя оно и не исключаетъ зародышей послѣдующей формы. Государство аристократическое характеризовалось бы пыткой и праведомъ, но опять какъ формою не единственною, а единственно лишь выживающею между двумя другими, между формою прошедшаго и формою будущаго. Первая доживаетъ здѣсь не только въ видѣ присяги, но и просто въ видѣ божьяго суда, какъ это было въ индуизмѣ, зендизмѣ и еврейскомъ правѣ. Вторая вживается сюда въ видѣ процессуальныхъ обрядностей, въ видѣ этой предустановленной теоріи вѣщностей процесса. Государство тимократическое знаменовалось бы своей автоматомеханическою теоріею, которая, сколько бы ни ослаблялась со времени французской революціи, все еще достаточно сильна, чтобы выживать надъ всѣми прочими, столпившимися здѣсь въ полномъ своемъ комплектѣ, хотя и въ различныхъ процентахъ. Сакраментальная система отживаетъ здѣсь вѣкъ свой, въ качествѣ одной, уцѣлѣвшей въ судахъ, присяги и одной, уцѣлѣвшей въ нравахъ, дуэли. Система пытки и праведжа доживаетъ свои дни въ видѣ ареста за долги и предварительнаго уголовного ареста, иногда болѣе строгаго, чѣмъ самое наказаніе. Система же суда совѣсти, суда справедливости, только что пробивается на свѣтъ, такъ что въ этомъ отношеніи, прежде чѣмъ повести культуру впередъ, намъ предстоитъ сперва хоть догнать греческіе и римскіе зады. Въ уголовномъ судѣ мы хоть стоимъ на этой дорогѣ; въ гражданскомъ же еще и не всходили на нее. Возвести на эту дорогу могло бы развѣ лишь примѣненіе къ гражданскому процессу института присяжныхъ. Но дѣло въ томъ, что примѣненія этого нѣтъ даже и въ самомъ идеалѣ нашихъ юристовъ, и что тамъ, гдѣ оно пробуетъ, какъ въ Португаліи, оно оказывается безсильнымъ удержаться. Въ Англіи, раньше чѣмъ гдѣ-нибудь въ Европѣ, усвоенъ былъ этотъ великій шагъ древнихъ самоуправленій, въ видѣ суда справедливости, of equity; но засасывающее господство предустановленныхъ доказательствъ такъ могущественно,

что подъ дыханіемъ его этотъ судъ совсѣмъ омертвѣлъ. Нуженъ каждый разъ случай, дѣйствительно новый и совсѣмъ небывалый, для того, чтобы форсировать дверь этого суда и чтобы совѣсть судьи дѣйствительно имѣла поводъ заговорить. Каждый же разъ, какъ она произнесла это слово когда-нибудь прежде, случай перестаетъ быть новымъ, начинается направляться въ суды общаго права, и тамъ рѣшается по модели этого прецедента неукоснительно. Хуже того, Европа изобрѣла особое и весьма популярное въ ней учрежденіе именно съ той цѣлью, чтобы не давать двигаться судейской совѣсти: это—кассационная инстанція суда, вся задача которой въ томъ и состоитъ, чтобы уединообразить живую совѣсть, омертвить ее, сдѣлать недоступною ни для какихъ разнообразій временъ, мѣстъ и лицъ. Со всякаго живаго факта здѣсь тщательно совлекается вся его жизненная обстановка, вся плоть и кровь его, и весь онъ превращается въ голый и мертвый юридическій остовъ. Идеаломъ въ этомъ случаѣ признается не текучая справедливость, не безпрестанно переливающаяся вмѣстѣ съ обстоятельствами времени, мѣста, лица, обстановки, а напротивъ, чисто метафизическая, абсолютная, единая вездѣ и всегда.—Третьею мѣркою человѣческихъ судилищъ, которую можно, казалось бы, провести по всѣмъ ступенямъ нашей исторической лѣстницы, есть положеніе на судѣ обвиняемаго и отвѣтчика, или, что одно и то же, система вѣнненія и система отвѣтственности. Начинаются онѣ всегда беспощаднымъ отношеніемъ правосудія къ личности. Въ Китаѣ, напримѣръ, уголовный судъ заботится объ одномъ только: о наличности преступнаго событія. Никакія другія обстоятельства, ни облегчающія, ни отягчающія виновность, не входятъ въ его анализъ. Это есть голое *физиологическое* вѣнненіе, не знающее и не хотящее знать никакихъ психическихъ мотивовъ преступления. На судѣ арійскихъ народовъ уже принимается въ расчетъ добровольное признаніе и раскаяніе, какъ это было у зендовъ и индусовъ. У классиковъ выходитъ наружу даже намѣреніе, злая воля, *dolus malus*. Въ томъ и другомъ случаѣ выступаютъ, значить, па сцену мало по малу и признаются мотивы *психологическіе*. Въ новыхъ обществахъ есть напередъ установленныя условія отягченія и смягченія виновности, и притомъ не одни только психологическія, но и нѣкоторыя соціологическія, какъ напримѣръ бѣдность. А съ тѣхъ поръ, какъ вводится гдѣ-либо судъ присяжныхъ, получаютъ значеніе и многія другія подобныя

же условія, такъ что всякое дальнѣйшее умноженіе ихъ зависитъ единственно отъ просвѣщенія совѣстей, отъ текущаго состоянія нравовъ и отъ обстановки каждаго даннаго случая. Если же и въ современномъ уже законодателѣ совѣсть просвѣщена на столько, что нищету признаетъ она довольно всѣмъ мотивомъ преступленій противъ собственности; то понятно, какое широкое поле должно открываться ей съ каждымъ новымъ успѣхомъ въ пониманіи природы общежитія, съ каждымъ малѣйшимъ успѣхомъ социологіи. Во всякомъ случаѣ, какъ бы ни былъ робокъ законодательный шагъ, но онъ уже сдѣланъ, и сдѣланъ именно по направленію къ мотивамъ *соціологическимъ*. А мотивы этого рода способны, какъ извѣстно, повести, въ какомъ бы то ни было отдаленномъ будущемъ, и къ самому отрицанію вѣщенія вообще. Подобныя же перипетіи представляетъ и историческая судьба отвѣтчика. Первоначально она ничѣмъ не лучше судьбы преступника. Въ патріархальномъ воззрѣніи разницы между должникомъ и злодѣемъ нѣтъ, и потому какъ вора, такъ и должника можно убить на мѣстѣ. Это есть, слѣдовательно, время безпредѣльной *личной* отвѣтственности за долги и при томъ съ исключеніемъ всякой имущественной. Другою перипетіею, государственною, является, съ одной стороны, ограниченіе личной отвѣтственности свободою, но не жизнью; а съ другой—привнесеніе и отвѣтственности имущественной. Въ Индіи несостоятельный должникъ дѣлается отверженцемъ общества, поставленнымъ внѣ закона. Производить взысканіе можно тамъ не только хитростью, на примѣръ, захвативъ у должника сына, жену, скотину, но даже прямымъ насиліемъ, какъ, на примѣръ, побоями и другими подобными принужденіями. Это — правезъ. Въ Греціи должнику грозитъ вѣчное рабство. Въ Римѣ взысканіе производилось послѣ суда частными средствами, посредствомъ *manus injectio*. Взыскатель уводилъ должника къ себѣ и заключалъ въ оковы, могъ бить и пытать его, потомъ трижды выводилъ на рынокъ, и если никто не давалъ за него цѣны долга, могъ продать его въ рабство за предѣлы Италіи и даже просто, какъ во времена патріархальныя, предать смертной казни. Когда кредиторовъ нѣсколько, они могли, по выраженію древняго закона, *secare in partes*, разсѣчь на куски своего должника. Что же касается отвѣтственности имущественной, то на востокѣ древняго міра, т. е. при системѣ общинной собственности и только пользованія личнаго, этотъ способъ

гражданскаго вѣнненія не могъ получить распространенности. Вмѣстѣ же съ принципомъ частной собственности дѣйствительно появляется и принципъ имущественной отвѣтственности должника; но такъ, что, при недостаткѣ имущества, личная отвѣтственность все-таки восстанавливается вновь. Это періодъ *обоюдной* отвѣтственности. Онъ тянулся черезъ всю римскую исторію до самого Юстиніана, который впервые запретилъ истязанія надъ должниками. Впрочемъ, и раньше Юстиніана, хотя лишь для нѣкоторыхъ, крайне исключительныхъ случаевъ, но былъ поданъ замѣчательный примѣръ снисхожденія къ отвѣтчику. Нѣкоторымъ должникамъ, а именно стоявшимъ въ особыхъ отношеніяхъ къ кредитору, какъ родственники, кліенты, товарищи, предоставлялось такъ называемое *beneficium competentiae*, по которому они могли исполнить по обязательству лишь то, что въ состояніи были исполнить, если полное исполненіе лишило бы ихъ средствъ къ жизни. Но такое братское отношеніе къ должнику ограничивалось только сказанными случаями. Въ средневѣковыхъ обществахъ долговое рабство замѣнилось опять истязаніями, а истязанія замѣнились потомъ заключеніемъ въ тюрьму. И только на нашихъ уже глазахъ арестъ за долги упраздняется, и гражданская отвѣтственность дѣлается исключительно *имущественною*. Такимъ образомъ, обратная пропорціональность обоихъ правъ, гражданскаго и уголовнаго, остается дѣйствительною и въ этомъ отношеніи. То есть, уголовный характеръ гражданской юстиціи постоянно уступалъ и уступаетъ предъ чисто гражданскимъ; а гражданскій характеръ въ юстиціи уголовной безпрестанно, напротивъ, наступалъ и наступаетъ на уголовный. Но достигнуть-ли этотъ процессъ когда нибудь и въ гражданскомъ правѣ до того, къ чему онъ такъ явно идетъ въ уголовномъ, достигнуть-ли онъ до отвѣтственности лишь компетентной, до этого всеобщаго *beneficium competentiae*,—это если и можетъ быть вопросомъ, то развѣ лишь среди демократій, но никакъ не тимократій. Вопросомъ этимъ и завершается вся наша исторія частнаго права въ государственной атмосферѣ и на государственной почвѣ.

Обозрѣвая ее всю однимъ общимъ взглядомъ, нельзя не замѣтить, что новая обстановка могущественно повліяла на старое право. Не говоря уже о внутренней его переработкѣ, она воздѣйствовала на него даже внѣшнимъ образомъ, и при томъ двоякимъ: и отрицательно, и положительно. Въ первомъ смыслѣ она постоянно изводила нѣкоторыя

права, какъ права, а именно всѣ древнѣйшія, наиболѣе отживавшія. Такъ извелось прежде всего право домашнее; во вторыхъ, изводится семейное право; въ наследственномъ правѣ изведена до конца исключительность какъ женской, такъ и мужской линіи; въ завѣщательномъ изводятся субституты; въ вещномъ правѣ совсѣмъ извелась самодвижущаяся собственность, такъ что остатокъ ея, домашній скотъ, относился древними къ недвижимой собственности, а нами отнесенъ къ движимой; только въ договорномъ правѣ все цѣло и ничто не изведено, не исключая даже и самый архаическій изъ договоровъ, договоръ мѣны. Положительнымъ же образомъ новая среда дала себя чувствовать частному праву всѣмъ тѣмъ, что, напротивъ, привилось къ нему извнѣ. Такъ, къ наследственному праву привилось выморочное; къ завѣщательному—завѣщанія въ пользу учреждений; къ вещному—право экспроприаціи и право имущества государственныхъ; къ договорному—право торговое, морское, концессионное. Подобно тому и въ уголовномъ правѣ отпала мѣсть, отпалъ судъ божій, отпала пытка; привилось же столько институтовъ государственныхъ, что изъ-за нихъ забывается иногда самая природа этого права, какъ частнаго.

Чтобы перейти къ новому продукту всемірной культуры, къ чисто государственному праву, надо прежде ориентироваться въ вопросѣ возникновенія этого права и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ процессѣ взаимодѣйствія обоихъ правъ между собою. Терминъ „государственное право“ есть не вполне точный терминъ. Онъ предполагаетъ, что такое право существуетъ только въ государствѣ и нигдѣ болѣе. Между тѣмъ, развѣ въ патріархатахъ нѣтъ уже никакихъ отношеній между властью и подвластными, между старшими и младшими, между лучшими и худшими?.. Очевидно, значитъ, что государственное право существуетъ уже и въ патріархальной средѣ; а если существуетъ тамъ, то оно не есть уже исключительно государственное. По этому слѣдовало бы предпочесть другой, болѣе вѣрный синонимъ его „публичное право“, хотя и тутъ остается нѣкоторая двусмысленность, такъ какъ и публичныхъ правъ два разъ—внутреннее, другой разъ—внѣшнее. И такъ хорошаго термина, собственно говоря, нѣтъ вовсе. А потому, продолжая употреблять по неволѣ имя государственнаго права, остается только разумѣть его не иначе, какъ въ смыслѣ внутренняго публичнаго.

Внутреннее публичное право равно примѣнимо какъ къ государству, такъ и ко всякой патріархіи, потому что и тамъ, и здѣсь есть отношенія публичныя, противоположныя отношеніямъ частнымъ. Конечно, развивается публичное право гораздо позже частнаго, но возникаютъ они одновременно, точно такъ же, какъ и самое междуобщественное право. Разница только въ томъ, что въ патріархатахъ частнымъ правомъ покрывается всякое иное: и внутреннее публичное, и внѣшнее, или, что то-же, и общественное, и междуобщественное; въ государствахъ же частное право само покрывается публичнымъ; какъ, въ свою очередь, это послѣднее имѣетъ покрыться, въ восмополитіяхъ, международнымъ. И такъ, публичное или государственное право не могло и возникнуть ни откуда больше, какъ изъ частнаго. Оно поминутно пробуетъ возникать изъ него среди всей патріархальной культуры. Домовладыка, патріархъ, постоянно пытаются преобразиться въ князя, въ царя; а князь и царь суть та-же отцовская власть, возвышенная въ безвѣчную степень, а именно изъ человѣческой и естественной въ сверхъестественную и божественную. Одинъ каффрскій родоначальникъ Хака, подчинивъ себѣ другія такія же племена или роды, тотчасъ же принимаетъ титулъ создателя вселенной. Австралійскій деспотъ, тамоль, въ отличіе отъ своихъ подчиненныхъ, носить бороду, пальмовый вѣнокъ и татуируется не такъ, какъ другіе. При выслушиваніи просьбъ и жалобъ, онъ становится на возвышенное мѣсто, а проситель приближается не иначе, какъ согнувшись. На Мадагаскарѣ соединителю племенъ Радамѣ приписывается сверхъестественная сила: отъ него считается зависящимъ все плодородіе земли. Наслѣдственные понятія также переносятся на власть государственную въ томъ самомъ видѣ, какъ существуютъ они въ родовомъ бытѣ и въ частномъ правѣ. По частному праву таитянь, какъ только у землевладѣльца рождается сынъ, отецъ тотчасъ же отказывается отъ земли, и если продолжаетъ хозяйничать, то только отъ имени сына. Тотъ же самый порядокъ наблюдается и относительно власти вождя, который, вслѣдъ за рожденіемъ у него сына, начинаетъ управлять отъ его имени, а не отъ своего. Гдѣ наслѣдованіе имущественное переходитъ не къ сыну, а къ племяннику, тамъ также переходитъ и наслѣдованіе во власти. У салійскихъ франковъ не могли, по частному праву, наслѣдовать дочери,—и то же самое видимъ и въ наслѣдствѣ престола. Напротивъ, у визиготовъ испанскихъ дочери участво-

вали въ наслѣдствѣ имуществъ,—и вотъ онѣ участвуютъ и въ наслѣдованіи престола. У германцевъ всѣ сыновья дѣлили частное имущество по-ровну,—и то же самое повторяется въ исторіи престола чрезъ всю меровингскую и каролингскую династію. По славянскимъ обычаямъ, въ имуществѣ наслѣдовалъ старшій въ родѣ, а потому тотъ же порядокъ наблюдается долго и въ наслѣдованіи власти. Въ свою очередь, понятія вещнаго права прямо распространяются на право территоріальное, на отношенія князя или царя къ территоріи: она его полная собственность, которую онъ распредѣляетъ между подданными, по его усмотрѣнію. Наконецъ, и самое договорное право не чуждо образованію государствъ, хотя и въ видѣ безмолвнаго договора: раздача земель въ кормленіе не безусловна, а условна, ибо сопровождается взаимнымъ обязательствомъ службы или иныхъ повинностей, такъ что если прекращаются онѣ, то долженъ прекратиться и самый узупруеть. Словомъ, все гражданское право поочередно перерождается въ государственное. Равнымъ образомъ, и наоборотъ: государственное право, какъ мы видѣли недавно, взаимно проникаетъ въ гражданское. Государство дѣлается то наслѣдникомъ въ частныхъ имуществвахъ (выморочное право), чѣмъ оно сдѣлалось еще въ древности; то насильственнымъ пріобрѣтателемъ ихъ (право экспроприаціи), чѣмъ оно сдѣлало себя въ новыя времена; то владѣльцемъ государственныхъ имуществъ, чѣмъ оно грозитъ въ будущемъ сдѣлаться исключительно. Короче, между гражданскимъ и государственнымъ правомъ существуетъ опять нѣчто въ родѣ эндосмоса и экзосмоса органическихъ тканей, существуетъ взаимообмѣнъ, по которому каждая сосѣдняя матерія проникаетъ въ другую, сквозъ раздѣляющую ихъ стѣну, и сама въ то же время проникается другою. При этомъ, матерія гражданского права не перестаетъ быть частною, а матерія государственнаго—публичною. Такое же взаимопрониканіе дѣйствуетъ между правами уголовнымъ и государственнымъ. Что государственное право также родится изъ уголовного, какъ и изъ гражданского, доказательство тому есть преобразование частной мести въ публичную, или мести въ правосудіе. Въ государствѣ частный мститель только преобразуется въ общественнаго, въ судью; частная битва превращается въ судебное состязаніе; частная мстительная мѣра претворяется въ публичную,—въ наказаніе. Мало того, частное уголовное право, попавъ въ сфе-

ру государственнаго, даже возрождается въ своемъ наиболѣе первобытномъ видѣ и изъ системы пеней, виръ, композицій, до какой оно достигло-было въ патріархальной культурѣ, снова возвращается въ систему убійствъ и изувѣченій, подъ именемъ смертной казни и пытки. Во всѣхъ этихъ случаяхъ уголовное право, очевидно, послужило базисомъ и колыбелью—государственному. Въ другихъ случаяхъ государственное проникаетъ обратно въ уголовное. Таковы всѣ тѣ случаи, гдѣ къ прежнимъ, частнымъ преступленіямъ присоединяются новыя, публичныя, какъ преступленія противъ боговъ, противъ государственной власти, противъ общества. И такъ какъ современемъ виды и роды этихъ послѣднихъ преступленій начинаютъ превышать число видовъ и родовъ частныхъ; то юристы и полагаютъ, что и все вообще уголовное право перестало быть частнымъ и сдѣлалось публичнымъ. Государственное право стало разрабатываться, если не научно, то хоть теоретически, только въ новыя времена. Одно изъ характеристическихъ отличій древней и новой культуры въ томъ, между прочимъ, и состоитъ, что первая выработала только систему частнаго права; публичное же оставалось тамъ нетронутымъ, безъ всякой отдѣлки. Всѣ римскія *jus gentium*, *jus naturale*, *jus publicum* были тѣмъ же *jus civile*, но только разсматриваемымъ съ той или другой точки зрѣнія: разъ какъ гражданское право иностранческое, другой разъ, какъ всеобщее, какъ естественное гражданское право, третій разъ, какъ имущественное право государства. Впрочемъ, и новая отдѣлка этого права подвинута не на столько, чтобы дать намъ, по крайней мѣрѣ, готовую классификацію его. И, что еще страннѣе, отдѣлка эта распредѣлена до сихъ поръ между двумя совершенно различными отраслями науки и, при томъ, одна о другой не заботящимися. Юриспруденція, наука права, занята исключительно только положительнымъ государственнымъ правомъ, дѣйствующимъ тамъ или здѣсь. Что же касается исторіи его, то она выпускается изъ рукъ юристами и усваивается обыкновенно лишь политическими историками. Отъ такого раздвоенія между двумя опекунами она могла, конечно, только проигрывать. А, между тѣмъ, для гипотезы нашей какая бы то ни была система этого права еще неотложнѣе, чѣмъ система частнаго. Послѣднее, очутившись въ чуждой ему государственной средѣ, могло только развѣ косвенно поддерживать или опровергать всякую гипотезу о государственности; государственное же должно произ-

носиться о ней прямо и категорически. Поэтому мы принуждены обойтись въ настоящемъ случаѣ нашими собственными средствами, и, возвращаясь опять въ исторію политическую, не забывать, однакожь, о юридической. Въ виду этой необходимости, мы будемъ считать, что природа государственнаго права и природа частнаго существенно различаются между собою по субъектамъ своимъ. Частное право потому и есть частнымъ, что его субъектъ всегда частный; государственное же право потому и публично, что субъектъ въ немъ всегда публичный. Въ первомъ случаѣ субъектомъ правъ есть частное лицо, физическое или юридическое, но непременно лицо, при чемъ въ уголовномъ даже исключительно физическое. Во второмъ случаѣ субъектъ и правъ, и обязанностей, есть, напротивъ, только извѣстная категорія лицъ, извѣстная публика. Тамъ субъектъ права или обязанности всегда недѣлимый, индивидуальный, здѣсь онъ всегда собирательный, коллективный. Тамъ вопросъ постоянно идетъ о правовыхъ отношеніяхъ отдѣльныхъ лицъ, здѣсь о правовыхъ отношеніяхъ массъ, корпорацій между собою. Такъ понимаемое государственное право должно, конечно, и подраздѣляться съ этой же точки зрѣнія (исключая, конечно, всеобщаго правоваго подраздѣленія: на матеріальное и формальное). А такъ какъ главнѣйшее изъ противоположеній, какія существуютъ въ государствѣ, есть противоположеніе массы управляющей массѣ управляемой, то и первые два вида государственнаго права суть: право правительственное и право общественное. Терминъ правительство понимается въ различныхъ смыслахъ. Разъ, въ самомъ узкомъ смыслѣ, это есть только верховная инстанція правительства, т. е. кабинетъ правителя или даже одинъ только правитель: въ этомъ смыслѣ правительство равнозначительно образу правленія. Другой разъ подъ правительствомъ разумѣются всѣ вообще лица государственной службы, весь служебный персоналъ. Наконецъ, кромѣ этихъ двухъ смысловъ, есть въ словѣ и еще одинъ, самый обширнѣйшій: это та среда общества, изъ которой личный составъ правительства почерпается. Понятно, что необходимо уточнить всѣ эти термины, чтобы избѣжать постоянной сбивчивости. А потому послѣдній, самый обширный смыслъ слова, мы вовсе вынесемъ изъ понятія правительственности и отнесемъ его въ понятіе общественности, а именно подъ названіемъ сословнаго права. Въ правительственномъ же правѣ оставимъ только узкій его смыслъ,

подъ именемъ верховнаго права, и средній, подъ именемъ права должностнаго или служебнаго. Верховнымъ правомъ будетъ у насъ только верховный контроль надъ всѣми государственными властями; устройство же всѣхъ высшихъ, среднихъ и низшихъ степеней власти будетъ должностнымъ или служебнымъ правомъ. Въ свою очередь, общественное право распадется тогда также на двѣ категоріи: политическую и экономическую. Въ политической будетъ различаться вышеуказанное сословное право, (какъ отношеніе политическихъ массъ между собою) и подданическое право (какъ отношеніе тѣхъ же массъ къ власти). Въ экономическихъ правахъ и обязанностяхъ массъ, какъ между собою, такъ и къ власти, будетъ мѣсто дѣленію общества на привилегированное и податное, на эксплуатирующее и эксплуатируемое. А самыя права и обязанности этого рода будутъ отличаться, какъ имущественныя или финансовыя (подати), отъ личныхъ или натуральныхъ (повинности). Этимъ мы и ограничимъ нашу классификацію матеріальнаго права. Но замѣчательно въ государственномъ правѣ то, что и его формальная сторона также двойственна. Кромѣ формальнаго права послѣдовательнаго, состоящаго въ примѣненіи матеріальнаго, есть на этотъ разъ предварительное формальное право, состоящее въ формулированіи матеріальнаго. Первымъ, т. е. примѣняющимъ правомъ, есть здѣсь административное; вторымъ, формулирующимъ, есть законодательное. А потому, если государственное право, подобно двумъ другимъ, оканчивается формальнымъ-административнымъ, то, въ отличіе отъ двухъ другихъ, начинается оно формальнымъ-законодательнымъ. Съ него же начнутся и наши характеристики.

Законодательное право само по себѣ есть своего рода символъ государственности. Ни до нея, ни послѣ нея законодательная власть неизвѣстна въ исторіи. Въ патріархальномъ строѣ извѣстна власть судебная, но неизвѣстна законодательная, такъ что первая несомнѣнно древнѣе второй. Гомеръ, напримѣръ, знаетъ уже дѣйствіа, приговоры, но не знаетъ еще волю законовъ. Равно и наоборотъ, международный строй знаетъ, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, трактаты, договоры, но не знаетъ законодательства международнаго. Между тѣмъ, государство и законодательство суть понятія, всегда совпадающія между собою. Немного раньше, немного позже момента основанія государствъ, но они непремѣнно сходятся, такъ что во главѣ каждой исторіи государства стоитъ непремѣнно и

законодательство его. Законодатель этотъ творить, конечно, не заново; но онъ подводитъ только итогъ всѣмъ предшествовавшимъ судебнымъ рѣшеніямъ, всѣмъ обычаямъ патріархальности, обобщаетъ ихъ, и такимъ образомъ впервые формулируетъ какъ частное, такъ и государственное матеріальное право. Таковы были всѣ труды всѣхъ Конфуціевъ, Ману, Таотовъ, Зердуштъ, Моисеевъ, Миносовъ, Ликурговъ, Драконовъ, Нумъ Помпилиевъ, Теодориховъ, Альфредовъ, Оттоновъ, Ярославовъ и проч. и проч. Также точно и всѣ дальнѣйшіе законодатели, хотя ничего обыкновенно не производятъ, но непремѣнно воспроизводятъ все. Всѣ, совершившіяся въ умахъ и въ людскихъ отношеніяхъ, перемѣны они стараются уловить въ формулы, привести къ сознанію, возвести въ догматъ, и чѣмъ лучше успѣваютъ они въ этомъ, тѣмъ они и выше. Какъ отстать отъ назрѣвшихъ естественныхъ метаморфозъ, такъ и упредить назрѣвающія, составляетъ всегда для законодателя ошибку. Опоздываніе грозитъ ему насильственнымъ взрывомъ запоздалыхъ перемѣнъ; упрежденіе грозитъ безсиліемъ преждевременныхъ. Величайшими образцами этой своевременности и этой умѣстности служатъ въ исторіи такіе титаническіе законодатели, какъ Цезарь, Карлъ Великій, Петръ Великій, Александръ II, Линкольнъ; величайшими образцами несвоевременности и неумѣстности могутъ служить Граеки, Людовикъ XV, Кромвель, Робеспьеръ, Іосифъ II. Творенія всѣхъ послѣднихъ погибли вмѣстѣ съ ними; творчество всѣхъ первыхъ осталось въ исторіи на вѣки. Такимъ образомъ, законодательство составляетъ какой-то процессъ самосознанія общества и, при томъ, самосознанія подъ страхомъ возмездія за каждую ошибку въ немъ. Отсюда государство, въ сравненіи съ патріархатомъ, является обществомъ, стремящимся къ самосознанію себя, и въ этомъ-то новое превосходство этой формации общежитія надъ предыдущею. А органъ этого самосознанія и этого превосходства и есть законодательная власть. Понятно, что подобный органъ можетъ быть устроенъ то лучше, то хуже для своей цѣли, и потому можетъ то больше, то меньше отражать въ себѣ общество и производить самосознаніе его. А потому и вся исторія его состоитъ, главнымъ образомъ, въ исторіи его организаціи по эпохамъ. Съ этой точки зрѣнія достаточно очевидно, что устройство этого чисто-государственного органа власти существенно варьируется какъ разъ по тѣмъ четыремъ ступенямъ государственности, какія легли въ самое основаніе нашей гипотезы, т. е. древній

востокъ и древній западъ, новый востокъ и новый западъ. На древнемъ востокѣ все законодательное производство достается на долю жрецовъ: браминовъ, маговъ, халдеевъ, левитовъ; на древнемъ западѣ она выпадаетъ въ удѣлъ свѣтскому, военному классу, гражданамъ. На древнемъ востокѣ законодательный классъ дѣйствуетъ подъ внѣшнимъ авторитетомъ, какимъ есть богдыханъ, раджа, фараонъ, царь, и отъ его имени; на древнемъ западѣ онъ производитъ самостоятельно, своимъ собственнымъ авторитетомъ и отъ своего собственного имени. Другими словами, въ обоихъ случаяхъ законодательствуетъ аристократія; но въ одномъ случаѣ—духовная, въ другомъ—свѣтская; въ одномъ—монархическая, въ другомъ—республиканская. На новомъ востокѣ и западѣ подобныя же отмѣны. На европейскомъ материкѣ законодательство принадлежитъ на половину аристократіи (лорды, перы, господа, гранды, магнаты), на половину тимократіи (представители городовъ, общинъ, корпорацій); на американскомъ континентѣ оно все цѣликомъ направляется тимократіею. Въ первомъ случаѣ аристо-тимократія дѣйствуетъ подъ фѣрулой монархическаго авторитета и во имя его; во второмъ чистая тимократія творитъ непосредственно и независимо. Т. е. снова въ обоихъ случаяхъ право формируется тимократіею, но разъ аристо-тимократическою, а другой—чисто-тимократическою, разъ монархическою, другой разъ—республиканскою. И такъ, законодательное право до того плотно совпадаетъ со всей вообще государственностью, что классификаціи его суть тѣ же самыя, что и классификаціи организацій и политикъ. Если это продолжится и впередъ, то мы должны ждать и въ будущемъ, во первыхъ, законодателя тимо-демократическаго и чисто-демократическаго, а во вторыхъ, однажды монархическаго, а другой разъ республиканскаго. До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, продуетъ постоянно отождествлялся какъ со своей функціей, такъ и со своимъ органомъ. Поэтому-то и можно утверждать, что это формальное право чуть-ли не характеристичнѣе для государства, чѣмъ даже нѣкоторыя изъ матеріальныхъ.—Кромѣ этой внутренней характеристики его, есть еще одна внѣшняя. Древняя законодательная власть, все равно монархическая или республиканская, была непосредственною. Всѣ, кто принималъ въ ней участіе, будетъ ли то коллегія жрецовъ или сословіе гражданъ, принимали его прямо и самолично. Никакая делегация этой власти и уполномочіе не были мыслимы. Это законода-

тельный органъ *конкретный*. Въ новой законодательной власти, какъ монархической такъ и республиканской, характерна напротивъ, именно эта передача, эта посредственность участія, словомъ—*представительство*. Древній браминъ долженъ былъ попасть ко двору, древній гражданинъ долженъ былъ прибыть въ городъ, лично явиться на самую площадь, чтобы воспользоваться своею возможностью подавать голосъ въ вопросахъ законодательства; нынѣшній подданный или гражданинъ можетъ изъявлять свою волю, сидя дома, посредствомъ своего представителя, чрезъ депутата. Такое построение законодательной власти изъ избирателей и избираемыхъ, удачно названное готическимъ, дѣйствительно на столько же отличается отъ древняго, на сколько двухъ-этажная кровля новой архитектуры отлична отъ плоской восточной и классической. Но есть возможность и еще одного построения, когда представительство обажется приборомъ слишкомъ громоздкимъ: это въ абсолютныхъ демократіяхъ. Тамъ возможно опять прямое и непосредственное выраженіе мысли и, при томъ, всѣхъ и каждого; но на этотъ разъ уже не устно, а или путемъ печати, или путемъ политической статистики, и вообще путемъ такъ или иначе констатируемаго общественнаго мнѣнія. Такой законодательный органъ былъ бы, по сравненію съ предъидущими, *абстрактный*.

Верховное право или власть верховная есть существо двухъ міровъ. Съ одной стороны, это есть право формальное, ибо оно служить точкой пересѣченія всѣхъ трехъ формальныхъ правъ: судебного, законодательнаго, административнаго. Это ихъ общій фокусъ, общая вершина. Но въ то же время оно есть и матеріальное право, ибо служить вершиною и всѣхъ другихъ матеріальныхъ правъ: должностнаго, сословнаго, подданическаго. Въ первомъ смыслѣ величество живетъ, такъ сказать, внѣ самаго себя, а именно по скольку оно формулируетъ и примѣняетъ всѣ другія права; во второмъ смыслѣ оно живетъ въ самомъ себѣ и именно на столько, на сколько оно примѣняетъ и формулируетъ самого себя. Въ первомъ случаѣ оно есть опредѣляющее и исполняющее; во второмъ опредѣляемое и исполняемое. Вотъ въ этомъ-то послѣднемъ смыслѣ верховная власть и можетъ составлять предметъ права матеріальнаго. И такъ, надо ее обозрѣть и въ томъ, и въ другомъ отношеніи. Въ смыслѣ формальной, верховная власть представляетъ то замѣчательное явленіе, которое въ наши времена извѣстно подъ именемъ раз-

дѣленія властей. Дѣло въ томъ, что верховная власть древности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всякая вообще власть въ ней, представляла собою самый полный и самый безразличный *синтезъ* всѣхъ трехъ формальныхъ властей. Не только деспотъ или сатрапъ древняго востока не имѣлъ никакого представленія объ этомъ разнообразіи находящейся въ его рукахъ власти; но очень смутное о томъ понятіе имѣли и сами греки и римляне. Въ ихъ народныхъ собраніяхъ, въ ихъ экклесіяхъ и комиціяхъ, этихъ, по-видимому; законодательныхъ учрежденій, на столько же отправлялись и функціи суда, и функціи администраціи. Здѣсь, напримѣръ, возбуждались уголовныя обвиненія, какъ въ собраніи афинскомъ; здѣсь судились чиновники за преступленія должностей; здѣсь рѣшались вопросы объ ostracismъ и здѣсь же принимались и выслушивались отчоты должностныхъ лицъ; здѣсь выбирались эти лица; здѣсь повѣрялись и утверждались казенные счета; здѣсь разсуждалось объ устройствѣ празднествъ и жертвоприношеній; здѣсь совершался пріемъ посланниковъ. Равно и въ Ареопагѣ, учрежденіи, съ виду, административномъ, не только сосредоточивалась цензура нравовъ, надзоръ за воспитаніемъ, преслѣдованіе роскоши, поощреніе труда; но также и судъ за оскорбленіе святыни, за убійство, отравленіе, измѣну, и даже иногда пересмотръ самыхъ законовъ, а также приговоровъ и распоряженій. Также точно и въ администраціи архонты были отчасти правителями, а отчасти судьями. Что же касается раздѣленія администраціи самой въ себѣ, то не было даже первичнаго шага, какъ отдѣленіе военнаго отъ гражданскаго, и духовнаго отъ свѣтскаго. Всякій былъ и воинъ, и гражданинъ вмѣстѣ, и генералъ, и юристъ, и правитель, и жрецъ. Не иначе и въ Римѣ. Сенатъ здѣшній, будучи учрежденіемъ какъ будто правительственнымъ, рѣшалъ, однакожъ, и вопросы гражданскаго права, такъ что *senatus consulta* составляютъ даже одинъ изъ источниковъ этого права. Мало того, долго принадлежала ему какъ инициатива, такъ и утвержденіе самыхъ законовъ, а именно все время, пока они истекали отъ куриатскихъ и центуриатскихъ комицій. Правительственная власть также не была отдѣляема отъ судебной, и всякій правитель, какъ консулъ, преторъ, цензоръ, эдилъ, былъ отчасти и судьей. Самыя комиціи измѣняли своему законодательному характеру на столько же, какъ и афинскія, вѣдая иногда и судъ, и управление. Въ новыхъ же обществахъ замѣчается рѣ-

пительное направлєніе къ анализированію власти, и первымъ признакомъ того есть такъ названное *раздѣленіе властей*. До сихъ поръ цѣльная, безразличная въ себѣ власть теперь распадается въ самой себѣ, раскрываетъ свои, по крайней мѣрѣ, первые три составные элемента: судебный, законодательный, исполнительный; при чемъ каждый изъ нихъ стремится зажить самостоятельно, по мѣрѣ возможности, независимо отъ другого. Первый опытъ такого раздѣленія власти на ея главнѣйшія, родовыя стихіи сдѣланъ былъ Англією, откуда принципъ этотъ, воспѣтый Франціей, и пересаженъ ею на весь континентъ Европы, а изъ Европы перелетѣлъ и въ Америку, гдѣ и принесъ свои, зрѣлѣйшіе до сихъ поръ плоды. Однажды же, что историческое теченіе обозначилось такъ явственно, мы не имѣемъ никакого права предполагать, что оно измѣнитъ себѣ. Если власть должна была выдѣлить сперва свои родовые элементы, то въ будущемъ это ведетъ къ такому же выдѣленію видовыхъ, подвидовыхъ и т. д. Словомъ, отъ будущаго мы имѣемъ право ожидать полного *анализа* власти до тѣхъ поръ, пока она не раскроетъ все богатство своего содержанія.

Обращаясь къ верховной власти, какъ праву матеріальному, какъ къ власти примѣняемой, а не примѣняющей, какъ формулируемой, а не формулирующей, встрѣчаемся съ явленіями совсѣмъ другого порядка. Посмотримъ ихъ сперва въ жизни монархій. Верховная власть въ Китаѣ, хотя и двулична, какъ весь этотъ народъ-государство; но, по этому самому, имѣя въ себѣ черты патріархальныя, не чужда она и государственныхъ. Богдыханъ, будучи, по освященному вѣками офіціальному выраженію, отцомъ и матерью своего народа, есть, однакожъ, въ то же время сынъ Неба и Земли, вмѣстѣ съ которыми и составляетъ китайскую тройцу. А это совершенно приурочиваетъ его къ государственному типу власти. И точно, индійскій раджа уже вовсе не отецъ и не мать, а прямо и положительно божество, подъ формою человѣка. Такъ опредѣляетъ его самъ законъ Ману. Образованный изъ частицъ самой эссенціи восьми великихъ боговъ, раджа превосходитъ собою все смертное. Подобно солнцу, сожигаетъ онъ глаза и сердца; никакое человѣческое твореніе не въ силахъ взирать на него. Раджа есть огонь и воздухъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ солнце и мѣсяцъ. Раджа есть божественный источникъ и геній обилія, обладатель волнъ, повелитель тверди. Египетскій фараонъ, не менѣе раджи, есть ре-

альное, дѣйствительное божество. Восходя на престолъ, каждый фараонъ, въ знакъ совершеннаго своего перерожденія изъ смертныхъ, принимаетъ таинственное символическое имя, къ которому обязательно присоединяется титулъ бога солнца, фѣра, откуда и общее названіе фараоновъ. Въ теченіе царствованія, его титулуютъ кратко, то добрымъ богомъ, то великимъ богомъ. По смерти его, египетскій пантеонъ увеличивается однимъ новымъ божествомъ, при чемъ реальность этого обожанія достигаетъ до воздвиганія умершимъ царямъ храмовъ, алтарей, статуй и до назначенія имъ особыхъ жрецовъ. Нѣкоторые памятники изображаютъ царей, приносящихъ жертвы собственному своему изображенію. Зендскій царь есть также несомнѣнный представитель Ормузда, при чемъ маги поддерживали обычаи и церемоніи, въ которыхъ представительство это выражалось наглядно. Когда царь, напримѣръ, сидѣлъ на золотомъ тронѣ, держа въ рукѣ золотой скипетръ, то вокругъ него стояли семь начальниковъ зендскихъ племенъ, какъ семь амшаспандовъ вокругъ престола Ормузда. Дворецъ царскій назывался небомъ. Приближаться къ царю безъ даровъ также немислимо, какъ безъ жертвы къ богу. Халдейскій царь былъ викаріемъ боговъ на землѣ; онъ имѣлъ и самодержецъ, и первосвященникъ; власть его абсолютна не только надъ тѣлами, но и надъ душами. Персидскій царь есть царь царей, великій царь, союзникъ звѣздъ, братъ солнца и луны. Даже самые цари Гомера суть потомки боговъ, или, по крайней мѣрѣ, полубоговъ и героевъ, точно также какъ и Ромулъ и Ремъ. А что еще характернѣе для древняго склада ума, такъ это то, что даже въ рецидивныхъ монархіяхъ Греціи и Рима, т. е. въ наступившихъ тамъ послѣ республикъ, типъ верховной власти воскрешается со всѣми своими первичными атрибутами. Дмитріи Полиоркеты и Августы обожествляются снова, для чего есть даже особая процессія обожествленія, — апотеозъ; имъ снова воздвигаются алтари и храмы; имъ опять опредѣляются служители-жрецы. Словомъ, это явно *божественный* типъ монархической верховной власти. Типъ этотъ отрицаетъ всякую возможность участія общества въ правахъ величества: это было бы смѣшеніе чловѣка съ божествомъ. Тутъ имѣется центръ, но не имѣется окружности величества. Верховная власть новыхъ народовъ, сравниваемая въ тѣхъ же монархическихкихъ формахъ, значительно разнится съ древнею. Поворотный моментъ произошелъ тамъ же, гдѣ мы видѣли его и въ частномъ

правѣ, т. е. въ семитическомъ племени. Если не Финикія, то Іудея, если не Іудея, то Финикія всегда отыгрываютъ эту роль. Такъ было и здѣсь, во всемъ государственномъ правѣ, съ тою разницею, что на этотъ разъ участвуютъ въ кризисѣ и Іудея, и Финикія. Еще съ первымъ появленіемъ монотеизма въ Іудеѣ, онъ тотчасъ же отразился на представленіи о верховной монархической власти. Царемъ, по этому представленію, есть только самъ Іегова; Саулъ же есть не болѣе, какъ избранникъ, помазанникъ божій. Съ этихъ поръ и у всѣхъ христіанскихъ народовъ слѣдомъ божественнаго участія въ избраніи монарха оставалось одно только помазаніе его на царство. Равнымъ образомъ и освященное употребленіемъ официальное выраженіе *rex Dei gratia*, имѣетъ означать собой тоже самое. Такъ что вообще это есть типъ *богопомазанной* монархіи. А вмѣстѣ съ тѣмъ, Іудея же представляетъ и одно изъ первыхъ формальныхъ ограниченій царской власти, и именно — оппозицію пророковъ. Эта самозванная, но, тѣмъ не менѣе, привившаяся къ правамъ оппозиція во имя царя царствующихъ и господа господствующихъ, была весьма естественна, какъ только царь перестаетъ быть богомъ и дѣлается только помазанникомъ его. Финикія добавила къ этому ограниченіе не только во имя религіи, но и во имя закона. Такимъ образомъ, параллельно съ богопомазанностью власти шло и ослабленіе авторитета ея, начиная еще съ древности. Этотъ типъ допускаетъ уже нѣкоторое сближеніе подданнаго съ монархомъ, нѣкоторое участіе перваго въ величествѣ втораго. Периферія вокругъ центра возникаетъ, и при томъ не теряясь въ сіяніи его. Но и эта форма монархической верховности не есть послѣдняя и крайняя, до какой доработалась исторія. Есть, и давно была, еще третья такая же форма, хотя и появлявшаяся до сихъ поръ только спорадически, и никогда не выживавшая, какъ выживали двѣ первыя. Это есть въ древности типъ тираній и диктатуръ, а также царей въ Римѣ, а въ новое время — типъ папской власти, власти средневѣковаго императора германскаго, власти короля польской республики и всякой власти *par la grâce de Dieu et volonté du peuple*, т. е. избирательной, а не наслѣдственной, и пожизненной, а не потомственной монархіи. Если такому типу предстоитъ когда нибудь выживаніе, то не раньше, конечно, какъ въ демократической стадіи исторіи. Это типъ, очевидно, наиболѣе *человѣчскій*. При этомъ типѣ, периферія верховности обозначается рѣзче, чѣмъ

центръ, такъ что послѣдній едва не исчезаетъ въ ней. Спрашивается, чѣмъ же существенно отличаются между собою всѣ эти три типа монархической власти? Обыкновенно полагаютъ, что степенью ограниченности или неограниченности власти. Но это суть выраженія крайне тагучія, ничего не говорящія. Неограниченности власти, собственно говоря, вовсе нѣтъ, да и быть ея не можетъ. У всякой изъ нихъ есть свой, и вовсе не шуточный предѣлъ. Такъ, если бы китайскій богдыханъ, въ день затмѣнія солнца, не попопстился и не покаялся публично въ грѣхахъ своего правленія; то на слѣдующій же день сто тысячъ памфлетовъ поспѣшили бы напомнить ему объ этомъ предѣлѣ. Такъ индійскій раджа, хотя бы онъ умиралъ съ голоду, былъ бы не въ состояніи наложить подать на брамина. И такъ, предѣлъ есть всегда и вездѣ; но вопросъ только въ томъ, какой это предѣлъ. И вотъ, отвѣчая на этотъ вопросъ, вѣдется, что единственнымъ предѣломъ божественной монархіи есть *религія*. На востокѣ власть не стѣсняется ничѣмъ, кромѣ религіи, и вся неограниченность ея состоитъ именно въ ограниченіи религіозномъ. Предѣломъ богопомазанной монархіи есть религія и законъ. Этотъ предѣлъ намѣченъ еще въ древности, начиная съ Іудей, гдѣ цари были сдерживаемы оппозиціею пророковъ во имя Бога и его закона, продолжая Финикіей, гдѣ цари были ограничены городскими совѣтами, и оканчивая Греціей и Римомъ, гдѣ ограниченіе отбывалось эвпатридами и патриціями. Но полного своего развитія ограниченіе закономъ, точное и формальное, достигнуто лишь въ новыхъ монархіяхъ. Предѣлы монархизма человѣческаго суть: религія, законъ и *общественное мнѣніе*. Это послѣднее начинаетъ уже дѣйствовать и въ нѣкоторыхъ современныхъ намъ монархіяхъ, напр., въ англійской; а тѣмъ вѣроятнѣе такой предѣлъ въ монархіяхъ будущаго. Наконецъ, всѣ эти фазы монархіи достаточно опредѣляются, каждая, и однимъ словомъ, когда говорится: деспотія, конституція, диктатура. Первая составляетъ высшую и чистѣйшую степенъ монархіи, монархіею въ тѣсномъ смыслѣ; вторая—среднюю степень; а третья—самую низшую, граничащую съ республикой. Но еще большее, вполне радикальное перерожденіе представляетъ верховная власть республиканская. Радикальность эта состоитъ въ томъ, что республика начинается съ того, къ чему монархія только ведетъ, и чѣмъ она стремится только окончить, а именно: съ человѣчности власти

и съ ограниченіи ея и религіею, и закономъ, и общественнымъ мнѣніемъ. Вся же дальнѣйшая исторія республики есть только развитіе этой человѣчности и этой общенности величества. Первый шагъ государственной исторіи на этомъ радикальномъ пути состоялъ въ томъ, что верховная власть, до тѣхъ поръ, по мѣрѣ возможности, сосредоточенная, теперь, по мѣрѣ возможности, разсредоточилась, хотя и въ самомъ небольшомъ районѣ. Но эту централизацію и эту децентрализацію не надо смѣшивать съ синтетичностью и аналитичностью властей, о которыхъ рѣчь шла выше. Синтезъ и анализъ суть цѣльность и раздробленность качественная; а централизація и децентрализація суть соединеніе или раздѣленіе количественное. Восточный деспотизмъ представляетъ собою вмѣстѣ и синтезъ, и централизацію. Восточный деспотъ совмѣщаетъ въ себѣ не только всѣ элементы власти, всѣ роды и виды ея, но также и всѣ ея степени. Предъ нимъ нѣтъ никакой другой власти, которая была бы самостоятельна и независима. Всѣ сатрапы, какъ они ни полновластны внизъ, но вверхъ они въ полной власти деспота. Всѣ провинціи, какъ онѣ ни отличны отъ господствующаго центра, но поглощаются въ немъ, какъ въ водоворотѣ. Напрасно Монтескье утверждаетъ, будто бы монархія гибнетъ, когда все государство привлекается къ столицѣ, вся столица ко двору, а весь дворъ къ особѣ монарха. Напротивъ, въ этомъ вся натура монархій; а гибнетъ монархія, напротивъ, только тогда, когда начинается разсредоточеніе ея, ибо тогда начинается или конституція, или диктатура, или просто республика. И первый опытъ, первос доказательство того—Греція и Римъ: когда эвпатриды и патриціи стали усиливаться, цари стали падать. А какъ только царская династія совсѣмъ устранена, власть царя окончательно раздробляется, и раздробляется именно на части, другъ отъ друга болѣе или менѣе независимыя. Вмѣсто одного царя является девять архонтовъ, каждый изъ которыхъ равенъ другому. Вмѣсто одного царя является два шофетима, два консула, изъ коихъ каждый независимъ отъ другого. Мало того, отъ консульской власти отдѣляется по немного то преторская, то цензорская, то эдильская, то трибунская; и такимъ образомъ, компактная прежде, власть рассыпается на осколки. Мало того, прежніе царскіе совѣты обращаются въ самостоятельныя народныя собранія. Дальше и дальше, по мѣрѣ демократизаціи аристократизма, народное собраніе наполняется все

больше и больше, такъ что верховность разсыпается, наконецъ, на весь правительственный классъ общества, на всю аристократію. Всякій членъ этого класса носить въ себѣ частицу бывшаго царственного величества. То, что было прежде одною точкою, теперь дѣлается цѣлою периферіею; прежде вся периферія верховной власти совпадала съ самымъ центромъ ея, теперь она больше или меньше отдалается отъ центра и окружаетъ его. То же происходитъ и при обратномъ процессѣ. Когда республиканская власть обращается въ монархическую, то происходитъ не что иное, какъ собраніе разсыпавшихся властей снова въ одинъ фокусъ, стягиваніе периферіи въ центръ. Такъ, народныя собранія перестаютъ имѣть значеніе, и вся ихъ власть переходитъ къ должностнымъ лицамъ. А среди этихъ послѣднихъ продолжается тотъ же процессъ. Такъ вмѣсто ежегодно переизбираемыхъ консуловъ, появляется тогда избраніе одного и того же консула семь разъ сряду (Марій). Такъ, вмѣсто шестимѣсячнаго диктатора, онъ избирается на неопредѣленный срокъ (Сулла). Такъ являются два послѣдовательные триумвирата, сосредоточивающіе всю власть въ трехъ лицахъ. Такъ, наконецъ, Августъ вбираетъ въ себя одного поочередно: то диктатуру, то консульство, то цензорство, то трибунство, то первосвященничество и т. д., и такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, воспроизводитъ компактное состояніе власти, централизацію. Та же картина повторяется при переходѣ первой французской республики въ монархію: сперва конвентъ превращается въ комитетъ спасенія изъ десяти лицъ; потомъ слѣдуетъ директорія, т. е. пять правителей; потомъ консульство, т. е. три, и, наконецъ, имперія, т. е. одинъ. Словомъ, республика въ противоположеніи ея съ монархіей, есть не что иное, какъ именно децентрализація власти, въ противоположность съ централизаціею ея. Два только что произнесенные термина употребляются и будутъ употребляться въ этой книгѣ въ весьма различныхъ смыслахъ. А потому желательно съ самаго же начала не допустить сбивчивости и точно опредѣлить ту централизацію и децентрализацію, какія отождествили мы съ монархіей и республикой. Это суть сосредоточеніе и разсредоточеніе не чего иного, какъ именно одной лишь верховной власти. Въ іерархическомъ смыслѣ дѣло тутъ идетъ объ одной вершинѣ власти; въ территоріальномъ—объ одномъ центрѣ ея. Эту централизацію и децентрализацію мы будемъ называть, для отличія отъ всякихъ про-

чихъ, правительственной, или общегосударственной, такъ какъ здѣсь разумѣется сосредоточеніе правительства вообще, а не администраціи на примѣръ въ частности, разумѣется централизація или децентрализація всего государства. Тоже надо сказать и о двухъ другихъ терминахъ. Монархія есть иноуправленіе, а республика самоуправленіе. Но эти ино — и самоуправленія надо также отличать отъ другихъ: здѣсь они суть опять правительственныя, опять государственныя; тогда какъ въ другомъ случаѣ могутъ быть лишь областныя, мѣстныя, административныя и т. п. Послѣ этой оговорки, возвращаясь къ исторіи республиканской верховной власти, мы не можемъ не видѣть, что самый первый опытъ децентрализаціи этой власти былъ, однакожъ, самымъ скромнымъ и самымъ умѣреннымъ. При самомъ широкомъ толкованіи, т. е. разумѣя вмѣстилищемъ верховной власти народныя собранія древнихъ республикъ, мы будемъ принуждены признать децентрализацію этой власти лишь на всю аристократію. При болѣе же точномъ опредѣленіи можно утверждать, что гораздо скорѣе чѣмъ въ народныхъ собраніяхъ верховная власть этихъ республикъ помѣщалась въ ихъ высшихъ совѣтахъ, герусіяхъ, буле, ареопагахъ, сенатахъ. А въ такомъ случаѣ нельзя лучше обозначить этотъ родъ верховной власти, какъ именемъ *олигархической*. Въ новыхъ республикахъ, при тѣхъ же двухъ толкованіяхъ, верховную власть придется отыскивать или въ избирателяхъ или же въ нижнихъ палатахъ. Но какъ это послѣднее опять будетъ точнѣе, то опять можно сказать, что эта верховная власть есть *плутократическая*. Наконецъ, необходимымъ предположеніемъ становится и такая верховная власть будущихъ республикъ, которая окажется не иною какъ *охлакратическою*, если всѣ эти термины употреблять не въ ихъ древне-греческомъ, условномъ смыслѣ, а въ безусловномъ. Такимъ образомъ олигархія, плутократія и охлакратія составляютъ такую же исторію республиканской верховной власти, какъ деспотія, конституція и диктатура въ монархической. Тамъ вопросъ шолъ объ очеловѣченіи божественной власти; здѣсь вопросъ постоянно идетъ о демократизаціи и самой человеческой власти.

Должностное право, т. е. право быть органомъ верховной власти, право участія въ отправленіяхъ законодательства, суда, администраціи, словомъ, право поступленія въ составъ правительства обуславливается, очевидно, господствомъ того или другого обще-

ственного класса. Въ древности наборъ правительства производится, какъ въ деспотіяхъ, такъ и въ олигархіяхъ, конечно, изъ среды аристократій. Въ наши времена, какъ въ конституціяхъ такъ и въ плутократіяхъ, средѣ этого набора представляютъ собою средніе классы, или, по крайней мѣрѣ, средніе плюсъ высшіе. Наконецъ, исторія будущаго, т. е. диктатуръ и охлократій, неминуемо ведетъ къ безразличію этой среды. Но все это, послѣ всего предыдущаго, на столько разумѣется само собою, что исторію служилаго или должностнаго права нельзя и отыскивать здѣсь; ее надобно искать гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, въ другихъ признакахъ должностей. А изъ этихъ другихъ всего специфичнѣе для служилаго права есть, по нашему мнѣнію, самый способъ правительственнаго подбора изъ какой бы то ни было среды. Всѣ же подобные способы вращаются около шести элементарныхъ: наслѣдственности или покупки должностей, назначенія или избранія, и очереди или жребія. *Наслѣдственность* должностей коренится въ наслѣдственности вообще профессій, а потому самая лучшая почва для этого способа подбора правительства тамъ, гдѣ царитъ кастичность. Отсюда своего максимумъ наслѣдственность достигаетъ въ Индіи. Въ Сіамѣ и до сихъ поръ большая часть государственныхъ должностей остаются наслѣдственными. А въ древней Индіи даже сами судры, раздѣленные на многіе цехи, во главѣ каждого изъ нихъ имѣли наслѣдственнаго старосту. Но до такого развитія наслѣдственность едва ли достигла гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Повсюду она была тѣмъ больше, чѣмъ должность крупнѣе и выше въ іерархіи, и тѣмъ меньше, чѣмъ должность мельче и ниже. Въ Египтѣ должности, кромѣ требовавшихъ учености, занимались, по большей части, наслѣдственно. Въ Вавилоніи и Ассиріи наслѣдственны халдеи, въ Персіи маги, въ Іудеѣ левиты. Дальше другихъ повсюду удерживаютъ за собою наслѣдственность жреческія должности, какъ это было не только у браминовъ, халдеевъ, маговъ, левитовъ, но даже у греческихъ жрецовъ, гдѣ нѣкоторые жреческія должности переходили изъ рода въ родъ до позднѣйшихъ временъ, какъ напримѣръ, въ фамиліяхъ Эвмолпидовъ, Бранхидовъ, Ямидовъ, Фиталидовъ, Этеобутадовъ и др. Но всего больше сохраняетъ за собою эту античность верховная должность монархій, царская, королевская, императорская власть. Она повнѣе и труднѣе всѣхъ другихъ перестаетъ быть наслѣдственною. Т. е. правительственная правоспо-

собность тѣмъ больше считается прирожденною, чѣмъ самое право больше. Эквивалентомъ наслѣдственности является, хотя и въ рѣдкихъ случаяхъ, *купля-продажа* должностей. Наслѣдственность обращаетъ въ этихъ случаяхъ такое право въ частное, государственныя должности низводитъ на степень собственности; а потому естественнымъ послѣдствіемъ такого положенія дѣла и является торговля должностями. Средневѣковой феодализмъ обратилъ, какъ извѣстно, многія должности въ продажныя, остатки чего держатся и до сихъ поръ въ Англіи, въ военной службѣ. Гораздо новѣе и наслѣдственности, и продажности способъ назначенія и способъ избранія. *Назначеніе* становится впервые безусловнымъ въ Персіи, гдѣ однѣ только духовныя и жреческія должности остаются наслѣдственными, всѣ же свѣтскія замѣщаются по назначенію. Персидскій деспотизмъ имѣетъ ту заслугу, что онъ успѣлъ сравнять предъ собою большую часть наслѣдственныхъ привилегій. Онъ бралъ себѣ слугъ повсюду, гдѣ бы ихъ ни находилъ. Съ тѣхъ поръ этотъ типъ должностнаго права сроднился не только съ монархическимъ, но отчасти и съ республиканскимъ правомъ. Въ монархіяхъ всѣ, а въ республикахъ всѣ низшія должности постоянно замѣщались и замѣщаются посредствомъ назначенія. Что касается *избранія*, этого назначенія снизу, то оно еще новѣе въ исторіи, чѣмъ самое назначеніе, чѣмъ избраніе сверху. Впервые оно появляется, и сравнительно въ самомъ слабомъ размѣрѣ, только въ античныхъ республикахъ и только относительно самыхъ высшихъ должностей, какъ, на примѣръ, архонты, шоффетимы, консулы. Затѣмъ, съ теченіемъ времени, прибавилось къ тому еще нѣсколько изъ числа высшихъ должностей; каковы, на примѣръ, стратеги, начальники еерикона, казначеи, преторы, цензоры, квесторы, эдилы, трибуны и нѣкоторыя другія. Но наибольшаго напряженія достигъ этотъ принципъ въ нашихъ, въ тимократическихъ обществахъ. Готичность здѣшней законодательной власти, во первыхъ, ввела этотъ принципъ не только въ администрацію или въ судъ, какъ въ древности, но также и въ законодательство; а во вторыхъ она же дала ему въ этомъ послѣднемъ и самое обширное примѣненіе. Выборная или избирательная агитація нашихъ временъ есть явленіе, которое, приводя въ движеніе все общество, и приводя его періодически, не можетъ не быть весьма отличительнымъ для этихъ обществъ, по сравненію съ древними, качествомъ. Оно отличительно тѣмъ, что

пробралось и туда, гдѣ наслѣдственность держится наиболѣе цѣпко, — въ должности духовныя. Католическая церковь не только допустила въ себя это новое начало, но даже и предварила имъ всѣ свѣтскія учрежденія своего времени, а именно: своимъ избирательнымъ первосвященникомъ. Она не только отеклась отъ принципа наслѣдственности, но своимъ догматомъ безбрачія положила предѣлъ и самой возможности его возрожденія. Оба новые принципа, избирательность и назначаемость, составляютъ между другими двумя способами такую же середину и по продолжительности должностей. Тогда какъ наслѣдственность вѣчна, а очередной и жеребьевой порядокъ эфемерны, избраніе и назначеніе осуществляютъ всѣ степени переходности отъ вѣчности къ эфемерности, т. е. и долгосрочность, и краткосрочность. Такъ раньше всего извѣстны избранія пожизненныя. Эти послѣднія вполетаются иногда даже въ самую наслѣдственность. Египетскіе фараоны, напримѣръ, были, по крайней мѣрѣ, иногда избираемы жрецами, хотя и не иначе, какъ въ средѣ династіи, т. е. точно также, какъ было это въ династіи Кодра, а еще позднѣе въ меровингской и каролингской династіяхъ. Примѣръ свободнаго пожизненнаго избранія составляютъ кароагенскіе шоффетимы или суффеты. Архонты аѳинскіе избирались первоначально также пожизненно, а потомъ на десять лѣтъ. Но вмѣстѣ съ усиленіемъ децентрализаціи усиливается и краткосрочность должностей, такъ что при полномъ развитіи классическихъ республикъ она вполнѣ уже торжествуетъ. Цензоры римскіе, избиравшіеся сперва на пять лѣтъ, стали потомъ избираться только на полтора года; консулы, преторы, трибуны народные, эдилы, квесторы, трибуны военные, — всѣ выбираются только на одинъ годъ; а диктаторы даже на шесть только мѣсяцевъ. Система назначеній уподобляется системѣ выборовъ и въ этомъ отношеніи, потому что она способна воспроизводить всѣ тѣ же сроки отъ пожизненности до краткосрочности, хотя и не преднамѣренно. Правило этой системы повсюду одно и то же: *quam di bene se gesserint*, пока хорошо себя ведутъ. А такое правило совмѣщаетъ въ себѣ возможность всѣхъ сроковъ. Но всѣхъ моложе и всѣхъ рѣже въ государственной исторіи очередной и жеребьевой порядокъ должностей. Онъ примѣнялся до сихъ поръ только однажды къ высшей государственной службѣ, это въ Аѳинахъ, и только въ пору величайшаго подъема ихъ относительнаго демократизма. Жребій появляется здѣсь только со вре-

мень Клизеена, и держится не больше одного столѣтія. Но, пока держится, онъ примѣняется не только къ членамъ буле и къ геліастамъ, по и къ самимъ архонтамъ. Вообще, большая часть должностей сдѣлалась на это историческое мгновеніе жеребьевыми, κληρωτάι ἀρχαί. Избирательными остались только стратеги, начальники теорикова и казначейники. Впрочемъ, и тутъ до Аристиды жеребьевая система примѣнялась только къ гражданамъ первыхъ трехъ классовъ, а относительно архонтской должности даже только къ одному первому классу, пока, при Аристидѣ, не пали и эти ограниченія, и жребій не сталъ примѣняться ко всѣмъ гражданамъ и всѣмъ почти должностямъ. Выѣстъ съ этимъ и самая краткосрочность ихъ достигла до своего тахішм. Были должности, которыя длились всего однѣ сутки, какова, напр., должность эпистата въ пританей, такъ что каждый гражданинъ республики имѣлъ возможность поддержать въ рукахъ своихъ влючи Акрополя въ теченіи 24 часовъ, или должность архистратига на войнѣ, гдѣ каждый изъ стратеговъ дѣлался первымъ между ними также на однѣ сутки. Сродство этой системы съ демократизмомъ такъ велико, что въ нахъ тимократическихъ обществахъ, какъ не дожившихъ еще даже до относительнаго своего демократизма, система эта остается почти вполнѣ неизвѣстною. Она примѣняется здѣсь, въ видѣ жеребья, только къ судебному жюри, а въ видѣ очереди только къ низшимъ военнымъ должностямъ. Только совѣсть и способность къ военной службѣ считаются болѣе или менѣе равными у всѣхъ. Замѣчательно, что не существуетъ даже и самыхъ притязаній на этотъ порядокъ, не существуетъ самаго идеала, хотя бы то даже въ теоріи: до такой степени принципъ этотъ далекъ отъ насъ и до такой степени не вмѣщается онъ въ міросозерцаніе тимократическое. Но если можно оставаться при вѣрѣ, что онъ совмѣстимъ съ будущимъ абсолютнымъ демократизмомъ, то какая же возникаетъ отсюда послѣдовательность должностнаго права въ исторіи? Т. е. можно ли съ полнымъ основаніемъ заключать, что наслѣдственность дѣйствительно предшествуетъ всякой избирательности, и характеризуетъ собою государство аристократическое; что избирательность, сверху или снизу, дѣйствительно всегда слѣдуетъ за нею и характеристична для тимократій; и что жребіемъ въ такой или иной формѣ его завершается всякое возможное развитіе такого учрежденія?... Нельзя этого заключить только тогда, если мы будемъ ра-

зумѣть исключительность каждаго изъ трехъ принциповъ, недопускающую никакой совмѣстности съ нимъ каждаго изъ двухъ остальныхъ. Въ смыслѣ же поочереднаго выживанія каждаго изъ нихъ надъ двумя другими, эволюція эта не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Должностнымъ и верховнымъ правомъ исчерпывается все правительственное; а переходя къ общественному, слѣдуетъ рассмотреть сперва правоотношенія управляемыхъ и управляющихъ, а потомъ отношенія управляемыхъ между собою. Отношенія между властью и подвластными названы у насъ подданинческимъ правомъ. Это право первоначально весьма близко граничитъ съ правомъ собственности, и возникаетъ ни откуда больше, какъ изъ него, а именно изъ *res sese moventes*. Изъ этого послѣдняго права уже и въ патріархальности достаточно вырабатываются и достаточно инкорпорируются въ нравы тѣ привычки повиновенія, то дисциплинированіе дикихъ инстинктовъ, безъ котораго нѣтъ гражданскаго общества, а тѣмъ болѣе государства. Вся же государственная исторія есть только, напротивъ, уже раздѣлываніе слишкомъ глубоко инкорпорированнаго вещнаго самосознанія въ человѣкѣ. И первымъ актомъ такой раздѣлки бываетъ, если не на практикѣ, то, по крайней мѣрѣ, въ теоріи, въ правѣ, исключеніе нѣкоторыхъ классовъ населенія изъ состоянія вещности, и перечисленіе ихъ въ состояніе *холопства*. На востокѣ такой актъ государственности распространяется обыкновенно только на духовную и на военную касты, тогда какъ всѣ остальные остаются въ состояніи настоящаго вещнаго рабства. Но какъ туго шло это дрессированіе людей въ свободу, видно изъ состоянія подданничества на востокѣ. Когда богдыханъ китайскій проѣзжаетъ по улицѣ, то всѣ завидѣвшіе его, хотя бы то первостепенные мандарины, должны прятаться по домамъ; если же не успѣли этого сдѣлать, должны пасть ницъ на землю, подъ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ, умереть скоростижною смертью. Самый высшій мандаринъ имперіи не изыять также отъ собственноручныхъ побоевъ богдыхана бамбуковою палкою, при чемъ вслѣдъ затѣмъ оба, и наказавшій, и наказанный, не рѣдко остаются въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Всякій подданный фараона повиновеніе ему считалъ дѣломъ благочестія, актомъ религіозности и набожности, и чѣмъ выше былъ онъ по сану, тѣмъ больше. Малѣйшій знакъ благоволенія и даже просто вниманія царскаго каждаму изъ нихъ записыва-

вался, какъ событіе, и тщательно помѣчался на могилѣ, въ видѣ эпитафіи. Надъ однимъ изъ такихъ вельможъ тамъ значилось, что онъ былъ удостоенъ касаться колѣнъ фараоновыхъ; надъ другимъ— не простираться предъ нимъ по землѣ; надъ третьимъ— не снимать во дворцѣ сандалій. По смерти своей, всякій египтянинъ, чтобъ удостоиться блаженства, долженъ былъ доказать на судѣ Озириса, что никогда не ослушался царя, никогда не отозвался, не подумалъ о немъ дурно. Въ присутствіи персидскаго царя, необходимо было задерживать дыханіе. За улыбку, за плеваніе въ этомъ присутствіи еще Деякомъ назначена была, ни больше, ни меньше, какъ смертная казнь. Говоря съ царемъ, надо было прикрывать ротъ рукою, такъ чтобъ дыханіе какъ-нибудь не достигло до самого повелителя. Вообще, придворному церемониалу надобно было учиться съ молодыхъ лѣтъ, и только чрезъ такихъ обученныхъ, такъ называемыхъ, очей и ушей государевыхъ, могла и достигать до царя всякая рѣчь и всякая просьба подданнаго. Въ Византіи одинъ законъ повелѣвалъ судить, какъ святотатство и кощунство, всякое сужденіе о дѣятельности императора, всякое сомнѣніе въ достоинствѣ назначаемыхъ имъ должностныхъ лицъ. Вообще все, что уходило изъ кодексовъ, въ качествѣ домашняго права, теперь возрождалось въ нихъ, въ качествѣ подданическаго, гдѣ и достигало своего апогея, въ видѣ придворнаго этикета. Нужно ли договаривать, что жизнь и собственность подданнаго были цѣликомъ въ рукахъ деспота. Впрочемъ, на сколько подданничество не далеко ушло на востокѣ отъ состоянія собственности, можно видѣть изъ того, что уже въ XIX вѣкѣ, въ совѣмъ иной международной средѣ, одинъ изъ новыхъ восточныхъ монарховъ, а именно шахъ персидскій, былъ не шута удивленъ, когда Наполеонъ I отказалъ ему въ подаркѣ отряда трубачей, составлявшаго не болѣе двухъ дюжинъ головъ. Деспотъ, аристократическій монархъ, никогда еще не умѣлъ провести прочной границы между правомъ власти и правомъ собственности. А потому этотъ видъ подданства и нельзя называть иначе, какъ холопствомъ, которое отъ рабства отличается только тѣмъ, что то было рабство частнаго права, а это есть. рабство въ смыслѣ права публичнаго, государственнаго; то было безусловно, а это, такъ сказать, свободное рабство, или, наоборотъ, рабская свобода. Тамъ рабство подъ *dominium*, здѣсь— подъ *imperium*. Въ этой суровой школѣ дисциплинированія народовъ есть, однакожъ, и обратная сторона. Какъ ни необходима была

ступень политическаго рабства для воспитанія человѣка въ свободѣ, но она не могла не зарываться, не превосходить надобность, какъ зарывается всякая господствующая форма. И потому издревле уже исторія помнитъ, не смотря ни на какое состояніе власти, феноменъ протеста противъ нея со стороны подданничества. Послѣдній богдыханъ первой же изъ китайскихъ династій былъ изгнанъ; а послѣдній богдыханъ второй династіи даже казненъ. И вообще обыкновенный, усвоившійся Китаю, способъ подданническаго протеста есть именно *перемѣна династіи*. Въ другихъ восточныхъ государствахъ этотъ способъ протеста есть гаремный, серальный и вообще дворцовый заговоръ, при чемъ, вмѣсто простаго низверженія деспота, практикуется обыкновенно убійство его, съ возведеніемъ на престолъ кого-либо изъ его ближайшихъ родственниковъ. Исторія Персіи, Македоніи, римской имперіи, Византіи полна хроникой этого рода, постоянно напоминающею тотъ предѣлъ, о которомъ говорятъ, будто бы его нѣтъ для той или иной власти. Напротивъ, монархъ тимократическій, король, относится къ своему населенію уже совершенно иначе. Сѣмена этихъ отношеній залегли глубоко въ тимократической почвѣ. Еще гораздо раньше полнаго выявленія тимократизма, испанскіе гранды считали себя равными своему королю, который былъ для нихъ только *primus inter pares*. Во Франціи подданничество было отношеніемъ вассала къ сюзерену, т. е. отношеніемъ не только извѣстныхъ обязанностей, но также и извѣстныхъ правъ, отношеніемъ преданности, возводимымъ въ *point d'honneur* для обѣихъ сторонъ. Англійскій лордъ, никогда не переставая преклонять колѣно предъ своимъ королемъ, всегда, однакожь, считалъ себя въ правѣ идти въ оппозицію противъ него и даже въ междоусобную войну. Символомъ этихъ отношеній и до сихъ поръ осталось слово *пэръ*: пэръ Франціи или Англии. Со времени же окончательнаго внѣдренія конституціоннаго начала, гдѣ подданный получилъ право участія въ верховной власти своего короля, и притомъ не по произволу послѣдняго, не по назначенію отъ него, а по присущему себѣ самому праву, или же по волѣ самого населенія, гдѣ обязанности предъ королемъ уравнились обязанностями предъ закономъ,—съ этого времени невозможно уже говорить о холопствѣ, о государственномъ рабствѣ, а можно говорить только о дѣйствительномъ *подданничествѣ*. Но какъ ни велика бездна между монархическимъ холопствомъ и монархическимъ подданствомъ,

тѣмъ не менѣе, однакожь, и у этого послѣдняго есть своя темная сторона, которая, въ свою очередь, постоянно приводила къ реакціи. Какъ ни смягчилась, сравнительно съ древнею, дисциплинирующая власть, но и она оказывалась не разъ превзошедшею свою новую мѣру, слѣдствіемъ чего и были революціи швейцарская, нидерландская, англійская, французская. Мало того, даже послѣ окончательнаго сформированія верховной власти въ тимократическую, въ конституціонную, возможность междоусобной борьбы обоихъ правъ не исчезла, хотя она и стремится все болѣе и болѣе дѣлаться мирною и безкровною. Конституціонныя революціи Франціи, Испаніи, Италиі, Германіи, Австріи наполняли все наше столѣтіе, такъ что только въ одной Англии это междоусобіе разрядилось, обратившись въ правильное, постоянное, періодическое, но за то всегда безоружное. Никакой третьей метаморфозы въ подданическомъ правѣ реальная исторія еще не знаетъ, какъ не знаетъ и выживанія диктатурныхъ, избирательныхъ, демократическихъ монархій. Но исторія идеальная не можетъ не допускать въ развитіи подданическаго права того же исхода, какой она допустила уже въ развитіи верховной власти, т. е. сближенія монархическаго подданства съ республиканскимъ. А если такъ, то этою третьею метаморфозою имѣетъ быть такъ называемое *гражданство*. Холопство было если не исключительнымъ, то преимущественнымъ состояніемъ обязанностей предъ государями; гражданство есть по преимуществу состояніе правъ предъ ними; подданство же есть компромиссъ, равновѣсіе между этими обязанностями и этими правами. Не нужно думать, однакожь, что республика, уже съ самаго перваго появленія своего въ мірѣ, начинается какъ разъ съ того же, чѣмъ имѣетъ, повидимому, завершиться монархія. Нѣтъ, это только первый и очень слабый намекъ на то. Республика дѣйствительно начинается тѣмъ, что впервые отрицаетъ и холопство, и подданство, и впервые провозглашаетъ гражданство. Но мы сейчасъ увидимъ, до какой степени провозглашеніе это условно, и до какой степени оно совмѣстимо и съ подданствомъ, и даже съ холопствомъ. Несомнѣнно, что Кароагенъ, что всѣ греческія государства, что Римъ показали міру первый опытъ такого уклада, гдѣ человѣкъ могъ перестать быть и холопомъ, и подданнымъ, гдѣ подвластность могла совпадать съ самою властью, обязанность могла совмѣститься съ правомъ, и гдѣ, слѣдовательно, каждый изъ та-

кихъ счастлицевъ могъ чувствовать себя частицей прежняго монарха. Но вопросъ въ томъ, много ли было такихъ счастлицевъ въ каждой изъ древнихъ республикъ, и въ томъ также, чѣмъ оставались всѣ остальные? А это и приводитъ насъ къ тому отвѣту, что первый опытъ гражданства былъ крайне ограниченный, миниатюрный, скорѣе модель для будущаго зданія, чѣмъ самое зданіе; и что, рядомъ съ этимъ опытомъ, продолжалъ дѣйствовать старый, монархическій укладъ, въ видѣ положительнаго подданническаго права. Это было гражданство не общегосударственное, а исключительно городское, *муниципальное*. Такъ, въ Аѳинахъ, во время предсѣдательства ихъ въ делосскомъ союзѣ, въ положеніи подданныхъ республики оставалось все то населеніе, которое не имѣло правъ гражданства аѳинскаго. А въ Римѣ въ томъ же положеніи были не только такъ называемые *dedititii*, но вообще всѣ, кто не былъ римскимъ гражданиномъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ подданство и холопство превосходили собою гражданство то въ десять, то во сто разъ. Но, можетъ быть, это подчиненіе было совсѣмъ не то, какимъ было монархическое? Къ удивленію, между ними едва ли была какая-либо разница. „Недавно,—говоритъ Кай Гракхъ въ одной изъ своихъ рѣчей,—консулъ пріѣхалъ въ Теанумъ, городъ сидициновъ; его жена изъявила намѣреніе идти въ баню, назначенную для мужчинъ; и сидицинскому квестору приказано было очистить эту баню отъ публики. Но исполненіе немного замедлилось, и сверхъ того баня оказалась не довольно опрятною. А потому на площади тотчасъ же поднялся позорный столбъ,—и самый знатный гражданинъ города М. Марій былъ раздѣтъ, привязанъ къ столбу и высѣченъ розгами. Чтобы избѣжать подобныхъ случайностей, жители другаго города, Калеса, особымъ эдиктомъ воспретили горожанамъ посѣщеніе бань своихъ во время каждаго пріѣзда въ городъ кого-нибудь изъ римскихъ сановниковъ“. Другой очевидецъ римской жизни, Катонъ, рассказываетъ о К. Пирмѣ, что когда децемвиры не довольно позаботились о провизіи для него, онъ также приказалъ ихъ раздѣтъ и высѣчь на этотъ разъ кнутомъ, что и было исполнено на площади, въ виду всей публики. Никогда, заключаетъ Катонъ, цари не осмѣливались дѣлать ничего подобнаго. Если бы Катонъ и сдѣлалъ въ этомъ случаѣ ошибку, естественную для всякаго современника, сравнивающаго живоощущаемое имъ настоящее съ давно забытымъ прошедшимъ; то, во всякомъ случаѣ, не будетъ ошибкой

признать, что все, что произволь въ аристократической республикѣ терялъ въ своей интенсивности, онъ, навѣрно, выигрывалъ въ экстенсивности своей, ибо вмѣсто одного крупнаго деспота созидалъ ихъ тысячи мелкихъ, вмѣсто деспота созидалъ олигарховъ. Если таково было положеніе итальянскихъ подданныхъ республики, то каково же должно было быть положеніе провинціаловъ! Изъ числа римскихъ гражданъ, какъ оффиціальныя, такъ и частныя лица очень часто являются кредиторами не только городовъ, но и цѣлыхъ государствъ. Т. Пиннію должна 800.000 сестерцій Никея, Филотинію долженъ 580.000 сестерцій Херсонесъ; Помпею царь Каппадоціи Аріабарзанъ платитъ однихъ процентовъ 33 аттическихъ таланта ежегодно. Но частный интересъ гражданъ есть, при этомъ устройствѣ, государственный интересъ, или, по крайней мѣрѣ, всегда можетъ быть отождествленъ съ нимъ,—и вотъ, если для удовлетворенія этихъ долговъ оказываются недостаточными средства частнаго права, то прибѣгаютъ къ средствамъ государственнаго. Послѣ того, какъ ни продажа имущества, ни продажа сыновей и дочерей въ рабство, ни продажа статуй боговъ и другихъ священныхъ предметовъ, ни выставка должниковъ на зной или стужу, ни пытка и тюрьма, ни наконецъ присужденіе по суду цѣлыхъ городовъ кредитору въ неволю, не помогли, ему предоставляется какая нибудь государственная должность въ несостоятельной мѣстности. Такъ Сканцію дана была префектура въ Саламинѣ, состоявшемъ у него въ неоплатномъ долгу. Тогда онъ окружилъ однажды конницей сенатъ саламинскій и держалъ его въ осадѣ до тѣхъ поръ, пока шестеро изъ числа сенаторовъ не умерли съ голоду. Чувства Митридата къ Риму и избіеніе имъ въ одинъ день 80.000 римлянъ становятся послѣ этого понятными. И такъ, состояніе республиканскаго подданничества въ Римѣ едва ли было лучше монархическаго на востоцѣ. Вся разница только въ томъ, что на этомъ темномъ фонѣ политическаго рабства есть, однакожъ, оазисъ, называемый гражданствомъ. То-есть, разница та, что рабство здѣсь не сплошное, и что на немъ занимается уже заря новаго порядка вещей, хотя бы то для немногихъ только избранныхъ. Но чѣмъ параллельнѣе была противоположность обоихъ порядковъ, тѣмъ еще меньше предупреждала она бури отъ ошибокъ между ними. Напротивъ, тайные дворцовые заговоры востока, здѣсь впервые переродились въ открытые бунты и возстанія. Возстаніе

илотовъ въ Спартѣ было чуть ли не первымъ изъ такихъ явныхъ и обширныхъ движеній противъ власти. А затѣмъ вся греческая и вся римская исторія составляютъ уже почти непрерывную ихъ повѣсть. Въ особенности Римъ подымалъ противъ себя одно за другимъ всѣ подданныческія и холопскія положенія, какія онъ созидалъ о-богъ гражданства. Сперва борьба Рамнесъ противъ Титіевъ и Луцересъ; потомъ борьба плебеевъ противъ патриціевъ; далѣе борьба союзниковъ противъ Рима; затѣмъ возстаніе провинцій противъ Италіи, все это открыло эру протеста въ новыхъ его формахъ, такъ что та-же первичная республика, которая впервые научила меньшинство свободѣ, впервые же научила большинство открытой и энергической оппозиціи. Вторичное поколѣніе республикъ, американское, произвело гражданство совсѣмъ иного рода. Здѣсь невозможны уже явленія, подобныя вышеприведеннымъ, и вообще право гражданства раскинулось здѣсь почти на все населеніе республики; тѣмъ не менѣе, однакожъ, только почти, потому что и здѣсь все-таки оказался ему предѣлъ: этотъ предѣлъ—черное племя. Не говоря уже о его состояніи въ качествѣ частнаго рабства, и имѣя его въ виду только послѣ эманципаціи, все-таки невозможно сказать, чтобъ это было положеніе полноправнаго гражданства. Негры суть полуграждане, полуподданные. То же надо сказать о колоніяхъ французской республики, по отношенію къ ихъ метрополи. Наконецъ, во всѣхъ вообще республикахъ исключены изъ числа гражданъ иностранцы, которыхъ положеніе въ Боливіи, напримѣръ, самое беззащитное. Словомъ, новый республиканскій гражданинъ есть исключительно *національный*. Это большой шагъ въ сравненіи съ муниципальнымъ гражданствомъ: онъ раздвигаетъ рамки гражданства несравненно шире, но онъ все-таки не отождествляетъ его со всѣмъ населеніемъ страны. Слѣдующій же шагъ едва ли вынесетъ тимократія, такъ что развѣ только демократіямъ уже предстоитъ выработать абсолютное, *обще-человѣческое* право гражданства.

Но вся эта количественная квалифікація фазъ гражданства не такъ еще важна, какъ качественная, потому что эта послѣдняя касается того, что называется столь дорогимъ у человѣка именемъ свободы. Главнѣйшее содержаніе всякихъ отношеній между подвластными и властью есть не что иное, какъ мѣра свободы. Если въ монархическомъ подданныческомъ правѣ тяжба идетъ между пра-

вами и обязанностями человѣка, то въ республиканскомъ она продолжается между одними правами и другими. Холопство и муниципальное гражданство, какъ они ни далеки между собою видимостямъ, имѣютъ, однакожъ, и свои точки соприкосновенія. Не говоря уже о томъ, что оба они аристократичны, они оба совершенно одинаково понимаютъ и свободу. Въ восточной монархіи вся свобода состоитъ единственно въ правѣ участія въ верховной власти, въ правѣ быть или не быть членомъ правительства; но тотъ же идеалъ свободы остается и предъ глазами классическихъ республикъ. Вся разница идеала только въ томъ, что въ первомъ случаѣ это участіе во власти направляется и распределяется извнѣ, а во второмъ—изнутри свободного класса. Въ первомъ случаѣ идеалъ практикуется при условіяхъ иноуправленія, во второмъ при условіяхъ самоуправленія. Самый порывъ изъ иноуправленія въ самоуправленіе знаменуетъ собою не что иное, какъ единственно стараніе подняться какъ можно больше изъ положенія управляемыхъ въ положеніе управляющихъ. Для грека и для римлянина самымъ дорогимъ удѣломъ представляется именно только право на верховную власть въ государствѣ, и въ особенности право назначать и контролировать эту власть, принимать и обсуждать отчеты о ея дѣятельности. Это ихъ *jus civitatis cum suffragio et jure honorum*. Ни грекъ, ни римлянинъ не вздыхалъ ни о какой иной свободѣ, совершенно также, какъ и аристократъ востока. Свобода, напри- мѣръ, совѣсти представилась бы и тому, и другому только свободой преступленія, свободой измѣны отцамъ своимъ, богамъ своимъ, а не какимъ либо возжелѣннымъ идеаломъ общежитія. Единственный тамъ идеалъ есть свобода въ учрежденіяхъ, въ политикѣ, въ правѣ. Другими словами, древняя свобода понималась только *культурно*. Между тѣмъ подданничество и національное гражданство понимаютъ свободу гораздо шире. Имъ мало уже одного участія во власти, одного права контроля надъ нею: они интересуются чѣмъ-то и внѣ политики. Новый человѣкъ, какъ въ монархіи такъ и въ республикѣ, развернулъ знамя совершенно иного цвѣта, подъ которымъ и совершилъ уже столько походовъ и за которое пролилъ столько крови. Это—знамя свободы совѣсти или вѣры и свободы мысли или слова. Религія, философія, наука — вотъ гдѣ новый человѣкъ заключилъ новую твердыню свободы. А потому такое понятіе свободы разумѣть ее не только политически, не только

культурно, но также и *цивилизационно*. Эта особенность резко отграничивает древнюю свободу от новой. Первая рвалась только изъ монархій въ республики, вторая же рванулась и къ такому освобожденію, о которомъ въ древности не смѣлъ мечтать не только холопъ, но даже ни одинъ деспотъ или олигархъ. Тамъ дѣло свободы и начиналось, и оканчивалось революціей противъ той или иной свѣтской власти, даже когда борьба шла противъ власти жрецовъ; здѣсь же оно постоянно состояло изъ двойного ряда революцій: одного—противъ свѣтской власти, и другого—противъ духовной, какъ духовной, какъ церкви, какъ папства. Возможно ли еще какое либо усовершенствованіе въ самомъ понятіи и объемѣ свободы? Судя по существующимъ чаяніямъ, т. е. по тѣмъ, которыя болѣе или менѣе популяризировались, не предстоитъ никакого дальнѣйшаго развитія въ этой идеѣ. Но судя по тому, что исторія государственнаго права далеко еще не окончена, что ей предстоитъ еще много будущаго, нельзя и помыслить, чтобы прогрессъ свободы истощился весь. Съ другой стороны, судя по возжелѣніямъ нѣкоторыхъ передовыхъ умовъ времени, а также и по прошедшей исторіи свободы, прогрессъ этотъ не только возможенъ, но даже возможенъ гаданія о его направленіи. Д. С. Милль, напримѣръ, уже жалуется на то, на что публика вообще еще не жалуется: на тиранію обычая, на деспотизмъ господствующаго мнѣнія, на происходящую отсюда стертость характеровъ и нравовъ, грозящихъ Европѣ новымъ китаизмомъ. Подобнаго запроса, повторяемъ, не существуетъ еще въ сознаніи и въ потребностяхъ большинства; но если онъ когда нибудь возникнетъ и распространится, если толпа когда нибудь до него доростетъ; то это не можетъ разрѣшиться ничѣмъ болѣе, какъ новымъ типомъ свободы, и именно расширеннымъ *гражданственно*, въ смыслѣ свободы нравовъ, обычаевъ и преданій. Конечно, это перспектива весьма отдаленная и, по всей очевидности, вовсе не тимократическая; но для демократій отрицать ее невозможно.

Мы достигли теперь до того изъ двухъ общественныхъ правъ, отъ котораго болѣе всего зависитъ быть или не быть нашей культурной теоріи,—до права сословнаго. Если вся наша гипотеза преимущественности аристократизма, тимократизма и демократизма можетъ находить опору себѣ по преимуществу въ исторіи права, а изъ этой послѣдней въ особенности въ правѣ государственномъ; то изъ

числа государственныхъ, въ свою очередь, всѣ ея надежды и всѣ опасенія лежатъ въ области междусловнаго права. А потому надо остановиться надъ нимъ съ большею подробностью, чѣмъ надъ какимъ бы то ни было другимъ. Когда люди XIX вѣка говорятъ объ *аристократизмѣ*, они впадаютъ обыкновенно въ ошибку Катона, въ ошибку всякаго современника, обыкновенно преувеличивающаго современное ему зло и приуменьшающаго современное благо. Сдѣлать дѣйствительную оцѣнку текущаго или истекающаго аристократизма, опредѣлить его точный удѣльный вѣсъ, можно не иначе, какъ послѣ сравненія его съ другимъ, давно минувшимъ для насъ. Съ этой точки зрѣнія мы увидимъ, что невозможно получить ни малѣйшаго представленія объ этомъ политическомъ учрежденіи, судя о немъ только по теперешнимъ его остаткамъ въ общежитіи. Мало для этого возвратиться даже къ грекамъ и римлянамъ. Надо углубиться на древній востокъ, а здѣсь по преимуществу въ культуру индійскую. Ни прежде того, ни послѣ того міръ не видалъ и, конечно, никогда уже не увидитъ того, что онъ пережилъ тамъ. Что аристократизмъ достигъ до той роскоши бытія своего, какою Дарвинъ знаменуетъ господство видовъ, только въ древности,—доказательства тому разсыпаны повсюду: и въ организаціи его, и въ его политикѣ, и въ его правѣ. Начнемъ съ организаціи его, съ этого разнообразія формъ, т. е. родовъ и видовъ аристократіи. Во первыхъ, весь востокъ представляетъ собою аристократизмъ иноуправляемый, тогда какъ весь западъ цвѣтетъ аристократизмомъ самоуправляющимся. И такъ есть организація аристократизма монархическая, и есть республиканская. Во вторыхъ, есть разнообразіе организаціи и съ другой точки зрѣнія: это именно дифференцированіе аристократіи духовной, жречества, отъ аристократіи свѣтской, воинства, при чемъ каждая изъ двухъ то отдѣляется отъ другой, то соединяется съ нею; а отдѣляясь и соединяясь, каждая дѣйствуетъ опять то однимъ способомъ, то совсѣмъ другимъ; такъ что безпрестанно возрождаются все новые и новые типы. Далѣе есть аристократія божественнаго происхожденія, какъ въ Индіи и даже въ самой Греціи, гдѣ всѣ знатные роды ведутъ свое начало отъ боговъ, полубоговъ и героевъ; но есть и аристократія человѣческая, какъ въ Персіи и въ Римѣ, гдѣ вмѣсто боговъ служатъ только *patres conscripti*, и гдѣ патриціи дальше такого источника знатности не простираютъ своихъ притязаній. Есть аристократія наслѣдственная,

какъ вся почти аристократія древности; но есть также, хотя только въ видѣ самой слабой завязи, и аристократизмъ жалованный, какъ въ Персіи, Греціи, Римѣ, въ видѣ возведенія въ достоинство гражданина. Наконецъ до какой степени этотъ продуктъ эпохи способенъ приспособляться ко всѣмъ средамъ и всѣмъ обстоятельствамъ ея, принимать на себя всѣ лица, усвоивать всѣ запросы, удовлетворять всѣмъ потребностямъ, видно изъ того хамелеонскаго превращенія, какое эта аристократія испытываетъ по мѣстамъ и временамъ. Будучи чистѣйшею и, такъ сказать, аристократическою аристократіею въ Индіи и въ Египтѣ, она умѣетъ однакожъ обратиться и въ тимократическую, какъ въ Финикіи или въ Карфагенѣ, и въ демократическую, какъ въ Греціи или Римѣ. Другое доказательство полнѣйшаго и исключительнаго выживанія въ древности однихъ аристократій есть вся политика этихъ сословій. Въ чемъ состоитъ вся борьба, куда направлена вся жизнедѣятельность этихъ обществъ, кто герой этого историческаго дня, если не аристократія. Куда бы мы ни взглянули вокругъ нея, отовсюду она представляется центромъ, средоточіемъ всей жизни. Будетъ ли это вверхъ, надъ собою,—тамъ аристократія ведетъ тяжбу съ своимъ монархизмомъ, и вся заслуга ея историческая тѣмъ и мѣрится, насколько сдумѣла она выиграть въ этой тяжбѣ или насколько проиграла въ ней. Браминны тяжутся съ раджами, жрецы съ фараонами; эвпатриды и патриціи съ царями. Будетъ ли это внутри, въ средѣ самой аристократіи,—тутъ вся политика поглощается конкуренціей свѣтскихъ аристократій съ духовными, аристократій съ теократіями; причемъ весь исходъ этой борьбы составляютъ разнообразныя пропорціи того или иного начала по временамъ и мѣстностямъ. Такъ на востокѣ повсюду осиливаютъ духовныя аристократіи, при чемъ военная или вовсе безмолвствуетъ, какъ въ Индіи, или же протестуетъ бесплодно, какъ въ Египтѣ. Будетъ ли это внизъ, подъ собою,—герой битвъ опять обличается тѣмъ, что война идетъ только между высшими разрядами аристократій и низшими, между крупною аристократіею и мелкою. Эвпатриды, напримѣръ, борются за права съ тетами, патриціи съ плебеями (которые, встати сказать, суть та же аристократія, но только побѣжденная). Никогда, ни въ одномъ древнемъ обществѣ, не доходило дѣло до борьбы съ средними и низшими классами; а если однажды и дошло, какъ въ Римѣ, въ войнѣ съ союзниками, то никогда не доходило до побѣды. Средніе классы древніе навсегда оставались

внѣ современной имъ культуры и причастны ей не были. Такимъ образомъ, какъ внутренняя, домашняя политика сословія, такъ и обѣ внѣшнія, вверхъ и внизъ, суть все безъ исключенія аристократическія. Вся жизнь вертится тутъ вокругъ аристократій и въ нихъ самихъ. Еще больше тому доказательствъ находится въ правѣ древнихъ народовъ. Но тутъ, чтобы не растеряться въ богатствѣ фактовъ, гораздо лучше сосредоточиться на какой-нибудь одной наиболѣе типической аристократіи; но за то разсмотрѣть ее по всеѣмъ государственнымъ правамъ, а не по одному сословному, и даже по всеѣмъ частнымъ, а не по однимъ государственнымъ. Для такого разсмотрѣнія мы избираемъ индѣйскую, какъ самую идеальную изъ всеѣхъ предыдущихъ ей, современныхъ и послѣдующихъ. Начиная, однакожъ, прежде всего съ сословнаго права Индіи, довольно произнести слово каста, чтобы сразу обрисовалась та пропасть, которая лежитъ между этимъ и всякимъ инымъ аристократизмомъ. По индѣйски каста называлась варною, цвѣтомъ, что указываетъ прежде всего на самыя расовыя различія этихъ наслоеній. А если даже теперь цвѣтъ расы есть самое трудно побѣдимое изъ различій между людьми, то что же долженъ быть значить онъ тогда. Между тѣмъ, въ Индіи цвѣтовыхъ различій было даже нѣсколько. Чѣмъ каста выше, тѣмъ цвѣтъ ея былъ бѣлѣе, и наоборотъ, чѣмъ ниже, тѣмъ чернѣе. И точно, принципъ кастичности, не повторившійся нигдѣ и никогда послѣ востока, на самомъ востокѣ нигдѣ и никогда не былъ проведенъ съ такой неумолимой послѣдовательностью и рѣшительностью, какъ у индусовъ. Что въ Египтѣ, Вавилоніи, Мидіи, Іудеѣ было только идеаломъ, то здѣсь достигло всей своей реализаціи. Кастичность здѣсь, во первыхъ, простирается по всему обществу, сверху до низу, не ограничиваясь однимъ, верхнимъ слоемъ, какъ слой халдеевъ, или маговъ, или левитовъ; а во вторыхъ, достигаетъ такой непоколебимости, что никакія исключенія не были мыслимы. Каждая каста есть такой заколдованный кругъ, что ни выйти изъ него иначе, какъ путемъ смерти, ни войти въ него иначе, какъ путемъ рожденія, невозможно. Самъ раджа безсиленъ не только возвести кого-либо въ брамины, но даже вайсію сдѣлать кшатріемъ, или судру вайсіей. Но что еще замѣчательнѣе, индѣйская аристократія сумѣла оградить себя непроницаемою стѣною не только снизу, но также и сверху: самъ раджа и магараджа такъ же мало въ состояніи проникнуть за эту стѣну, какъ и любой судра.

Государь обреченъ здѣсь всегда оставаться воинномъ, и никогда не былъ въ состояніи подняться въ браминство. Онъ главнокомандующій въ своей собственной кастѣ, но ничто въ кастѣ браминовъ; онъ не первосвященникъ. Это первый примѣръ явнаго противоположенія аристократіи царю. Хотя вышею послѣ браминовъ кастою суть вшатріи, но каждый воинъ, хотя бы онъ былъ столѣтній старецъ, обязанъ относиться ко всякому брамину, хотя бы то десятилѣтнему ребенку, какъ сынъ относится къ отцу. Раджа опять не составляетъ исключенія, такъ что ничтожнѣйшій изъ браминовъ все-таки выше царя, который не болѣе, какъ вшатрія. Наоборотъ, браминъ, если пожелаетъ, можетъ и носить оружіе, какъ воинъ, и заняться земледѣліемъ, промышленностью, торговлею, какъ вайсія, такъ что ему запрещено нисходить только въ состояніе судры. Таковы отношенія ихъ междусословныя. Въ смыслъ же подданическаго права, брамины поставили себя единственною въ восточномъ мірѣ корпораціею, предъ которою верховная власть умолкала въ своихъ правахъ. Браминъ не только не могъ быть подвергнутъ царемъ смертной казни, но не могъ быть обложенъ податью. Если бы царь нашелъ кладъ, половину его онъ долженъ отдать на браминовъ; напротивъ, если кладъ найденъ браминомъ, онъ съ царемъ не дѣлится. Браминъ долженъ, конечно, почитать царя, какъ защитника государства, и внушать почтеніе къ нему и всѣмъ другимъ; но царь, въ свою очередь, долженъ почитать браминовъ, и при томъ, какъ представителей боговъ, какъ учителей своихъ, и ничего безъ совѣта съ ними не предпринимать. На сколько мыслимо государственное самоуправленіе аристократіи при существованіи монархической власти, на столько брамины достигли его прежде грековъ и римлянъ. Отъ такой монархіи до аристократической республики оставался одинъ шагъ. По должностному своему праву, брамины были всеправны, какъ прочія касты безправны. Браминовъ часто представляютъ исключительно жрецами; но это совершенно неправильно. Во времена Ману ни жречество, ни публичное богослуженіе еще даже не существовали, какъ и во всякомъ фетишизмѣ; а между тѣмъ браминство есть уже и тогда. Въ эти времена все богослуженіе состоитъ еще въ возліяніи масла на огонь и въ приношеніи тѣнямъ предковъ воды, риса и плодовъ, что все отправлялось каждымъ главою семьи на его домашнемъ очагѣ. Когда же завелось общественное богослуженіе и храмы, тогда жречество, какъ

одна изъ самыхъ высшихъ общественныхъ должностей, выпало дѣйствительно на долю браминовъ, но въ качествѣ лишь одной изъ этихъ должностей, а никакъ не исключительной. Всякій браминъ, и только одинъ браминъ, могъ быть, конечно, и жрецомъ. Напротивъ, огромное большинство браминовъ избирало, какъ продолжаетъ избирать и до сихъ поръ, самыя многоразличныя обязанности и профессіи, лишь бы только онѣ были совмѣстны съ чистотою касты. Что же касается всѣхъ вообще государственныхъ должностей, то онѣ были исключительно ихъ удѣломъ, за исключеніемъ должностей военныхъ. Воины, если и допускались къ сбору налоговъ, къ управленію и даже къ суду, то не иначе, какъ подъ надзоромъ и руководствомъ браминовъ, т. е. въ самыхъ низшихъ должностяхъ. Всѣ же среднія и тѣмъ больше высшія должности, каковы должности министровъ, посланниковъ, правителей областей, судей, не могли принадлежать никому, кромѣ браминовъ. Словомъ, это было вовсе не духовенство Индіи и даже вовсе не теократія, а было какое-то духовное дворянство, дворянство-духовенство. Это была аристократія, которая оказывалась вмѣстѣ и духовною, и свѣтскою. Какъ въ другихъ мѣстахъ монархъ былъ и свѣтскимъ, и духовнымъ вмѣстѣ, такъ здѣсь явился такимъ обоюднымъ весь высшій классъ общества: это было, слѣдовательно, нѣчто невиданное даже и въ древнемъ мірѣ. Какъ въ другихъ мѣстахъ обоюдность верховной власти доводила монархизмъ до его *plus ultra*, такъ здѣсь до того же былъ доведенъ аристократизмъ посредствомъ такой же двусторонности его. Онъ властвовалъ здѣсь надъ обществомъ дважды: разъ надъ его тѣлами, другой разъ — надъ душами; однажды надъ настоящей жизнью, другой разъ — надъ будущею. По верховному индусскому праву, оно не могло быть раздѣляемо ни съ кѣмъ, кромѣ браминовъ. Каждый раджа самъ, правда, избиралъ себѣ духовника, но избиралъ его, конечно, изъ среды браминства. И этотъ избранный, *eo ipso*, былъ уже предсѣдателемъ верховнаго государственнаго совѣта, состоявшаго изъ восьми другихъ такихъ же браминовъ. Да и вообще священныя книги постоянно внушаютъ царямъ, какъ можно чаще совѣтоваться съ этими божественными мужами, которымъ открыта воля боговъ. Тотъ же самый законъ Ману, который именуетъ царя великимъ божествомъ, обязываетъ, однакожъ, это божество сообщать браминамъ всѣ свои дѣла и всѣ мысли, осыпать ихъ богатствами и наслажденіями и даже всю личную, домаш-

нюю жизнь свою устроить не иначе, какъ по ихъ указаніямъ. Вслѣдствіе этого и вышло, что между тѣмъ, какъ повсюду кругомъ власть царская представлялась въ ужасающемъ видѣ,—власть радъ не оставила по себѣ никакихъ подобныхъ преданій. Напротивъ, есть положительные свидѣтельства, что индійская царская власть весьма мало походила на всякую другую восточную, и что здѣшніе цари отличались предъ всѣми другими совсѣмъ несвойственною имъ времени, имъ мѣсту кротостью и доступностью. Эта кротость и доступность были естественнымъ послѣдствіемъ слабости власти. А слабость эта обязана своей возможностью, конечно, только положенію браминовъ въ государствѣ. Вотъ, между прочимъ, яркій примѣръ, что неограниченной власти не существуетъ, и что всякая деспотическая изъ нихъ всегда больше или меньше ограничена, и именно прежде всего религіею. Въ Индіи же это ограниченіе оказалось не хуже, чѣмъ иное ограниченіе закономъ, конституціей. Что касается законодательнаго права, то, само собою разумѣется, что оно не могло быть практикуемо никѣмъ, кромѣ браминовъ, какъ естественныхъ и ближайшихъ совѣтниковъ царя. Хотя восточныя законодательства и были болѣе или менѣе неподвижны, такъ что, данныя разъ, они потомъ существенно не перерабатывались; но за то это первоначальное законодательство, слывшее въ Индіи подъ именемъ Ману, было несомнѣнно и исключительно произведеніемъ браминской мудрости. Разсматривая браминизмъ въ порядкѣ частнаго права, опять нельзя не встрѣчаться съ привилегіей на каждомъ шагѣ. По семейному закону, который обязывалъ всякаго брать жену себѣ изъ своей касты, одинъ браминъ только могъ набирать ихъ во всѣхъ четырехъ кастахъ, не исключая даже и судръ. Только первая его жена обязательно должна быть браминка. Въ вещномъ правѣ Индіи мы встрѣчаемся съ поразительнымъ предвареніемъ великаго греко-римскаго нововведенія,—личной собственности. По индійскому закону, одни брамины только были полными собственниками тѣхъ земель, какими владѣли, тогда какъ вшатрин и вайсиі получали свои только отъ царя, и владѣли ими только на правѣ пользованія и только съ обязательствомъ за то службы, (у воиновъ), и повинностей, (у вайсievъ). Такимъ образомъ, первый въ исторіи примѣръ личной и полной собственности, хотя и не вшедшій себѣ подражанія на остальномъ востокѣ, былъ поданъ, однакожъ, на этомъ самомъ востокѣ, и поданъ именно тамъ, гдѣ ари-

стократія дальше всѣхъ довела дѣло эманципаціи своей отъ царской власти. Этимъ же объясняется и кажущаяся двойственность, кажущіяся противорѣчія индусскаго вещнаго права, тогда какъ противорѣчіе снимается тѣмъ, что оба эти права существуютъ для различныхъ случаевъ. Въ самомъ даже договорномъ правѣ не обошлось безъ привилегій для контрагента, если онъ браминъ. Долгъ по всякому обязательству могъ требоваться только кредиторомъ высшей касты, только съ должника низшей. Поэтому ни судра, ни вайсія, ни вшатрія не въ правѣ требовать долгъ свой съ брамина, пока онъ самъ на то не соизволитъ. Съ другой стороны, проценты, безпримѣрно тогда высокіе, какъ во всякую эпоху рѣдкости и отсутствія капиталовъ, падали однакожъ, до крайности, когда дѣло касалось брамина: судра платилъ 60%, вайсія 48%, вшатрія 36%, а браминъ только 24%. И наоборотъ, не было кредиторскаго права лучше обезпеченнаго, чѣмъ право брамина; ему предоставлены, какъ въ своемъ мѣстѣ однажды уже отмѣчено, самые дѣйствительные способы взысканія, потому что соединенные съ давленіемъ отчасти религіознымъ, отчасти уголовнымъ. Наконецъ, все уголовное право опять основано на этомъ неравенствѣ, на этихъ привилегіяхъ одной касты надъ другою, а слѣдовательно, и въ пользу браминской предъ всѣми прочими. Всякое преступленіе брамина, какъ можно больше, по этому праву, смягчается, и наказывается, какъ можно легче; что же касается высшихъ или поворныхъ каръ, какъ смертная казнь или тѣлесное наказаніе, то онѣ и вовсе непримѣнимы къ брамину. И такъ, и въ этомъ отношеніи, не только Греція и Римъ, но и все индоевропейское племя предварено своимъ историческимъ первенцомъ на берегахъ Ганга. Наоборотъ, малѣйшее преступленіе противъ брамина грозитъ страшнѣйшими карами: одно дерзкое противъ него слово стоитъ судрѣ раскаленнаго кинжала, вонзаемаго ему въ горло. Если бы судра осмѣлился даже только подать совѣтъ брамину, сдѣлать полезное для него указаніе, то и тутъ глоту ему зальютъ кипящимъ масломъ. Вайсіямъ и вшатріямъ такое же преступленіе обходится дешевле, но и они должны поплатиться за него штрафомъ. Человѣкъ же, ниспавшій до убійства брамина, не только подвергается, конечно, самымъ изощреннѣйшимъ казнямъ и истязаніямъ, но и по смерти своей, послѣ многихъ лѣтъ адскихъ страданій, оканчивается тѣмъ, что душа его переселяется въ осла или въ собаку. Напротивъ того, самое преступленіе, если

оно совершенно въ пользу брамина, перестаетъ быть преступленіемъ: такъ лжеприсяга, лжесвидѣтельство на пользу брамина не есть уже смертный грѣхъ, какимъ бываютъ они во всѣхъ прочихъ случаяхъ. Таковы всѣ по очереди культурныя отношенія браминизма. Не было ни одного жизненнаго пути, на которомъ глубина неравенства изменила бы себѣ хотя однажды, хотя случайно, во вредъ браминизму. Но не хуже положеніе его и въ системѣ цивилизаціи. Когда исторія рассказываетъ намъ о подвигахъ индійской мысли въ религіи, въ философіи, въ наукѣ, она пишетъ повѣсть не судръ, не вайсіевъ и не кшатріевъ, а исключительно только браминовъ. Они, какъ оказывается, вовсе не даромъ присвоили себѣ такое количество льготъ и привилегій, и рассчитались за него съ человѣчествомъ вовсе не скупю. Браминство дало изъ себя не только жрецовъ и государственныхъ людей, но также ученыхъ, философовъ, архитекторовъ, поэтовъ, врачей, такъ что образовало собою не только аристократію, но и всю интеллигенцію страны. Если страна эта знала уже солнечный годъ во всей его точности, если эмпирическія свѣдѣнія ея въ медицинѣ, хирургіи, химіи, фармакологіи были поразительны, если филологія индійская, не смотря на ограниченіе ея однимъ собственнымъ языкомъ, привела къ выводамъ, опередившимъ труды нашихъ Бопповъ, Гумбольдтовъ, Бюрнуфовъ, Гриммовъ, то все это было послѣдствіемъ тѣхъ привилегій браминства, которыя представляются столь чрезмѣрными. Ни одна другая аристократія востока не въ состояніи не только состязаться, но даже сближаться съ этою въ дѣлѣ цивилизаціи и интеллигенціи. Философія увидѣла свой первый религіозный фазисъ, только также благодаря генію браминства, и всѣ творцы ея, которыхъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, были брамины. Религія, нечего и говорить, была вся созданіемъ браминизма, и хотя онъ отводилъ себѣ и тамъ такое же исключительное мѣсто, какъ и въ свѣтской жизни; но и это притязаніе находило, какъ оказывается, на столько тучную почву въ умахъ и сердцахъ, что ее не могли вывѣтрить ни тысячелѣтія, ни завоеванія, ни революціи. Была минута, когда, казалось, пробилъ часъ браминизма: это минута, когда раздалась проповѣдь представителя кшатріевъ, Будды, когда пронеслась вѣсть, будто браминизмъ созданъ не изъ эфира, будто брамины приходятъ въ свѣтъ также, какъ и послѣдній чандала, будто ореолъ ихъ въ обществѣ несправедливъ и не заслуженъ; но никто въ Индіи тому не повѣрилъ: по

крайней мѣрѣ, все, что повѣрило, изгнано за предѣлы страны. И нынѣшній индѣецъ, также какъ и предокъ его за двѣ тысячи лѣтъ, глубоко продолжаетъ вѣрить, что для смертнаго нѣтъ лучшей загробной доли, какъ превратиться, рано или поздно, хотя бы то послѣ тысячелѣтнихъ переселеній души, въ то, во что нельзя было обратиться при жизни,—въ брамина, въ это чистѣйшее послѣ Браны существо, въ этого хранителя мудрости, знанія, добродѣтели, чистоты, святости. Но и тѣмъ не исчерпываются всѣ средства обаянія браминизма. Гражданственность его замѣчательна не меньше его цивилизаціи. Если тамъ фигурируетъ онъ какъ интеллегенція, то здѣсь,—какъ нравственный героизмъ. Вся практическая жизнь брамина имѣла своимъ идеаломъ непрерывное подвижничество. Еще онъ не родился, какъ законъ занять уже его судьбою. Едва совершилось зачатіе его, необходимы уже жертвоприношенія для очищенія зародыша. Какъ только ребенокъ увидѣлъ свѣтъ, прежде даже чѣмъ перерѣзана нить, связывающая его съ матерью, надо спѣшить напоить его медомъ и масломъ. Такія же и подобныя условія есть для нареченія ему имени, для выноса на воздухъ, для отнятія отъ груди и т. п. Между первымъ и третьимъ годомъ онъ получаетъ тонсуру, постриженіе въ касту. Отъ 5 до 8 лѣтъ на него можетъ быть воздѣта священная лента, символъ касты. Какъ относительно ленты, такъ и пояса, и посоха строго опредѣлено, какой они должны быть величины, изъ какого матеріала, какъ, когда и гдѣ надѣваемы. Въ 16 лѣтъ мальчикъ поступаетъ въ руки своего воспитателя, гуру. Гуру воспитываетъ безвозмездно, единственно изъ чувства долга; но послѣ 15 или 20 лѣтняго курса онъ можетъ принять отъ своего духовнаго сына въ подарокъ какуюнибудь бездѣлицу, единственно въ качествѣ сувенира. Главный предметъ обученія суть, конечно, священныя веды; но юношу приучаютъ также укрощать свои чувства, овладѣвать своей молодостью. Во все это время молодой человекъ есть еще не браминъ, а только браматри. По окончаніи ученія онъ дѣлается григаста, и вступаетъ въ бракъ. Никогда въ теченіе жизни онъ не долженъ нисходить ни до какого унижающаго труда, ни даже до земледѣлія, хотя онъ и имѣетъ право на всѣ, если бы соизволилъ. Постоянное чтеніе ведъ, созерцаніе, жертвоприношенія, обряды и очищенія,—вотъ, что должно наполнять жизнь григасты. Когда же онъ произвелъ и воспиталъ семейство, тутъ начинается для него періодъ настоя-

щаго подвижничества. Теперь онъ можетъ удалиться отъ міра и думать только о самомъ себѣ, о спасеніи своемъ. Удаляясь въ пустыню, онъ становится ванапрастою, который еще не совсѣмъ разрываетъ связь свою съ міромъ, и можетъ удерживать при себѣ жену, священный огонь, домашнюю утварь. Но и теперь уже онъ отпускаетъ себѣ волосы, бороду, ногти, покрывается кожей, питается кореньями и дикими плодами, собранными имъ самимъ, спитъ на землѣ и хранитъ цѣломудріе. Но вотъ наступаетъ послѣдній подвижническій періодъ, періодъ саньяси. Отшельникъ долженъ остаться совершенно одинъ, безъ всякаго спутника или товарища, теперь онъ не долженъ знать ни огня, ни крови, ни жилища. Онъ не собираетъ больше даже пищи и долженъ жить тѣмъ, что ему случайно подадутъ въ качествѣ милостыни. Онъ долженъ очищать каждый шагъ свой, не ступая ни на что нечистое; очищать воду, чтобы не проглотить въ ней животныхъ, уста же очищать безусловной истиной. Вообще же единственной мыслью его отнынѣ должно быть соединеніе съ Брамой. По этому каждый принимаетъ тотъ или другой обѣтъ въ видахъ изможденія тѣла для этой цѣли, въ видахъ высшаго освобожденія души. Одинъ избираетъ обѣтъ молчанія, другой—наготы, третій столпничества и т. п. Иные идутъ еще дальше, вырѣзываютъ себѣ вѣйки и такъ остаются глядѣть на солнце, прокалываютъ себѣ бокъ и вѣшаютъ себя за ребро на крючѣ, и т. п. И такъ-то оканчиваетъ путь свой каждый браминъ, каждый членъ касты. Можно представить себѣ, какимъ благоговѣйнымъ ужасомъ все это должно было обдавать душу индійца! и могъ ли онъ не повергаться въ прахъ добровольно и съ любовью предъ тѣми, въ комъ волей—неволей долженъ былъ видѣть сонмъ настоящихъ святыхъ, видѣть людей, обожеествившихъ себя еще за-живо? Не меньше чѣмъ нравы браминства, вели къ тому же и обычаи. Поясъ, лента, посохъ, одежда, способъ держать себя, все отличало брамина отъ другихъ людей и наружно, какъ онъ отличенъ былъ отъ нихъ внутренно. Трость вайсіи достигаетъ только до его носа, кшатріи до лба, у брамина же она превышаетъ голову. Очищался браминъ также инымъ образомъ, чѣмъ всякій другой смертный: если вайсіа долженъ былъ для этого прикоснуться къ яруму, кшатріа, въ томъ числѣ и царь,—къ лошади, то браминъ очищается лишь прикосновеніемъ чистѣйшей воды. Наконецъ, цѣлый рядъ легендъ

и сказаній о знаменитыхъ отшельникахъ, о ванапрастахъ, муні, саньяси, о ихъ изумительныхъ подвижничествахъ, о чудотворной силѣ ихъ, наполняли всѣ преданія индуса, переходили изъ устъ въ уста, изъ поколѣнія въ поколѣніе, воспитывали умъ и сердце съ самаго дѣтства, и тѣмъ покорность и благоговѣніе дѣлали свободными и даже энтузіастическими, а не принудительными. Вотъ то, что можетъ и должно быть названо безусловною, абсолютною аристократіею, аристократіею міровою или общенсторическою, и въ сравненіи съ чѣмъ всякая иная можетъ быть только относительною, только мѣстною и временною. Абсолютная аристократія есть преимущество не только по породѣ, по предкамъ, но и во всѣхъ безъ исключенія соціальныхъ отношеніяхъ. Это, во первыхъ, сосредоточеніе въ ней богатствъ, преимущество экономическое; это, во вторыхъ сосредоточеніе тамъ всѣхъ правъ и всей власти, преобладаніе политическое; это, въ третьихъ, сосредоточеніе тамъ всѣхъ знаній, всей интеллигенціи, превосходство умственное; это, наконецъ, сосредоточеніе здѣсь всѣхъ характеровъ, всей добродѣтели, всего героизма, превосходство нравственное. Словомъ, это аристократія вполнѣ естественная, совершенно законная, такая, что если ея культурныя злоупотребленія способны возмущать противъ нея, то ея цивилизація и гражданственность способны вполнѣ примирять съ нею. А такова, большіе или меньше, была и вся вообще древняя аристократія, не только индійская. Всякая изъ нихъ создала изъ себя впервые ту великую общественную силу, которая одна только и могла пока, то больше, то меньше, конкурировать съ деспотизмомъ. Если патріархаты, создавшіе этотъ самый деспотизмъ, открыли тѣмъ великое орудіе для дисциплинированія подвластныхъ; то государства, создавшія аристократію, изобрѣли тѣмъ средство дисциплинированія въ свою очередь и самой этой власти. Всякая изъ этихъ аристократій, также какъ и индійская, отождествляла съ собою всю цивилизацію, всю культуру, всю гражданственность своей страны и своего общества. Вотъ тотъ смыслъ, въ какомъ теорія наша признаетъ аристократичною только древнюю эпоху государствъ, и не признаетъ такою новую. Но можно возразить, что и самая древность не представляетъ повторенія всего того, что видѣли мы на Индіи, и что поэтому и вся она не можетъ быть признана аристократичною въ такой же степени. Дѣйствительно такъ; но потому-то мы и полагаемъ, что вся остальная древность представляетъ лишь или раз-

цвѣтаніе или отцвѣтаніе, но все того же абсолютнаго аристократизма; тогда, какъ индійскій аристократизмъ есть, по этой теоріи, кульминаціонная точка разцвѣта, примѣръ безпримѣрнаго процвѣтанія. Подъ разцвѣтаніемъ разумѣмъ мы весь остальной востокъ, подъ отцвѣтаніемъ—весь западъ древности.

На крайнемъ востокѣ, въ Китаѣ, лежитъ самая чахлая изъ аристократій древности и все-таки самая тучная въ сравненіи съ текущей европейскою. Жизненность китайскаго аристократизма выразилась своимъ совѣмъ особымъ образомъ, — своими перерожденіями, своей способностью приспособляться ко всѣмъ обстоятельствамъ. До Р. Хр. онъ былъ феодальнымъ, т. е. основаннымъ на принципѣ происхожденія, и граничилъ даже съ династизмомъ. Въ средніе вѣка онъ получилъ оттѣнокъ тимократическій, коренясь, главнымъ образомъ, въ богатствѣ, въ имущественномъ цензѣ, раздѣлившемъ въ 780 г. все населеніе на 9 классовъ. Въ настоящее время на мѣсто ценза и родового, и имущественнаго поставленъ лишь образовательный, т. е. аристократія получила характеръ демократическій. Такая приспособленность къ жизни одна уже и сама по себѣ указываетъ на величайшую живучесть сословія. А, между тѣмъ, оно всегда было единственно и исключительно *сѣтскимъ*, также точно, какъ въ Мексикѣ и въ Перу, а нынче въ Аннамѣ, Сіамѣ, Бирмѣ. Другую складку восточнаго аристократизма, уже больше приближающуюся къ индійскому, представляютъ Японія и Египетъ. Въ обоихъ случаяхъ аристократія двойственна; но въ одномъ случаѣ—раздѣляясь на двѣ, въ другомъ — воссоединяясь въ одну и ту же. Въ одномъ случаѣ есть и дворянство, есть и духовенство; въ другомъ случаѣ есть дворянство духовное или духовенство дворянское. Въ одномъ случаѣ и глава у каждой половины особый, у дворянства — сіогунъ или тайкунъ, у духовенства — микадо; въ другомъ случаѣ глава одинъ, фараонъ, но такой же двойственный, какъ и само сословіе, т. е. духовный, и свѣтскій. Японскіе дайміосы и до сихъ поръ держатъ себя въ значительной независимости отъ своего сіогуна или тайгуна. Каждый изъ нихъ, и до сихъ поръ, содержитъ свой собственный дворъ, свою военную силу, свою казну, на счетъ податей своего населенія. Покорность ихъ центральной власти и до сихъ поръ обеспечивается лишь заложниками да ихъ взаимною конкуренціею между собою. Ничего важнаго тайкунъ предпринять не можетъ безъ своего придворнаго

совѣта, а совѣтъ этотъ состоитъ изъ феодаловъ. Такимъ образомъ, аристократія уже и здѣсь налагаетъ на монархизмъ значительныя пути. Но больше всего приближается къ индусскому идеалу аристократія египетская. Она была также не духовенствомъ, а только духовнымъ дворянствомъ. Жрецъ тамошній, подобно брамину, бывалъ также и судьей, и правителемъ провинціи, и даже военачальникомъ. Онъ также, подобно брамину, былъ свободенъ отъ податей, былъ членомъ богатѣйшей касты, имѣлъ преимущество предъ всѣми другими, не исключая и воиновъ, такъ что, при избраніи царя, голосъ самаго меньшаго изъ жрецовъ равнялся 10 голосамъ воиновъ, голосъ средняго жреца—20 голосамъ, а самаго высшаго—100 военнымъ голосамъ. Жрецы также были здѣсь совѣтниками фараоновъ; они также регулировали ихъ частную жизнь, количество и качество пищи ихъ, время трудовъ и время покоя, часы сна и бодрствованія, часы прогулокъ и увеселеній, ваннъ и даже самыхъ секретныхъ отправокъ. Наконецъ жрецы же составляли и всю интеллигенцію Египта. Но тѣмъ не менѣе, обстоятельства здѣсь все-таки не благопріятствовали тому колоссальному развитію этой касты, какое удалось въ Индіи. Съ одной стороны, мѣшали этому фараоны, съ другой—воины. Фараонъ былъ, какъ сказано, не воинъ только, подобно раджѣ, но также и жрецъ, т. е. онъ былъ и самъ власть обоюдная, духовно-свѣтская. Во вторыхъ же, фараоны, начиная уже съ Хеопса (1070 до Р. Х.) постоянно стремились принижать равно и жрецовъ, и воиновъ, и вообще подрывать кастовый принципъ. Хеопсъ могъ возымѣть смѣлость даже закрыть всѣ храмы, превратить повсюду богослуженіе, и такимъ образомъ формально разорвать союзъ съ жрецами. Воины съ своей стороны постоянно завидовали жрецамъ и конкурировали съ ними; и хотя сами не успѣли достигнуть торжества въ этомъ соперничествѣ, но за то помѣшали также и торжеству жрецовъ. Если же гдѣ нибудь индійскій примѣръ повторился, то развѣ только въ Эѳіопіи, гдѣ жрецы не только избирали царя, но и сводили съ престола, приказывая ему лишиться себя жизни. Во всякомъ случаѣ, однакожъ, всѣ эти четыре аристократіи: японская, индійская, египетская и эѳіопская, были аристократіями, такъ сказать, удвоенными, возвышенными въ квадратъ, потому что были *духовно-свѣтскими*. Въ Мидіи и Персіи власть монарховъ и вліяніе воиновъ были уже гораздо сильнѣе, чѣмъ въ Японіи, въ Египтѣ; а потому

и здѣсь индійскій аристократизмъ не удался. Касты здѣсь тѣ же, что и у индусовъ, и даже подъ тѣми почти названіями: маги, вшатра, вастрія и чатравать; но результатъ далеко не тотъ. У евреевъ левитская каста, хотя также боролась со свѣтскою властью, но также никогда не могла подчинить ее. Тѣмъ не менѣе, однакожь, обѣ эти аристократіи, маги и левиты, навсегда оставались исключительно *духовными* аристократіями. Но почему же надо было бы классическую аристократію отчислять въ эпоху отцвѣтанія аристократизма въ мірѣ, тогда какъ здѣсь онъ, напротивъ, дозрѣлъ до той вершины своей, на которой онъ сталъ аристократизмомъ царственнымъ, самоуправляющимся? Именно потому, что это вершина, и что если у вершины всегда оканчивается подъемъ, то всегда также начинается тамъ и склонъ. Древне-западная, классическая аристократія дѣйствительно совершила тотъ великій и послѣдній шагъ, котораго одного только не доставало индусской; она успѣла совсѣмъ стряхнуть съ своихъ плечей то, что индійская умѣла только потрясти на своихъ. Но взошедши здѣсь на вершину человѣческаго аристократизма, она тутъ же начала и сходить съ нея. Путь этого нисхожденія былъ слѣдующій. То, что на востокѣ только тлѣло подъ пепломъ, — реакція свѣтской, военной аристократіи противъ духовной, жреческой, — здѣсь, на западѣ, развилось пожаромъ. Ни въ Индіи буддійскій протестъ, ни въ Египтѣ постоянная протестація касты воиновъ не имѣли успѣха, такъ что буддисты повсюду изгнаны, и египетская каста воиновъ сама принуждена была удалиться изъ отечества. Въ Вавилоніи и Мидо-Персіи, какъ ни энергиченъ былъ тамъ военный духъ, но духовная аристократія также уцѣлѣла до конца, образуя собою даже единственно дѣйствительную тамъ касту. Левитизмъ еврейскій, хотя чуждъ былъ свѣтской власти, но навсегда сохранялъ духовную, и въ этомъ качествѣ своемъ былъ единственнымъ мѣстнымъ аристократизмомъ. Въ Греціи же и Римѣ, хотя дѣло началось также преобладаніемъ жречества, но оно очень рано уступило предъ аристократіей военной, которая одна только съ тѣхъ поръ и вела здѣсь всю исторію. Здѣсь не жрецъ бывалъ и воиномъ, и гражданиномъ, а воинъ и гражданинъ бывалъ жрецомъ: не первое достоинство поглощало въ себя всѣ другія, а второе. Но такое видоизмѣненіе аристократіи изъ духовно-свѣтской и просто духовной въ *свѣтскую* вынуждало изъ рувъ своихъ одно изъ могущественнѣйшихъ средствъ

обаяніа надъ умами, потому что выпускало обладаніе человѣческими совѣстами. Основываясь не на этомъ обладаніи, а на владѣніи земнымъ оружіемъ, аристократія изъ божественной обращалась въ человѣческую, изъ теократіи въ аристократію. Такая аристократія оказывалась половинчатою и, при томъ, не изъ сильнѣйшей половины. Наконецъ она возвращала себя къ тому типу развитія, изъ котораго вышла, къ типу китайскому, анамскому, сіамскому, бирманскому, мексиканскому, перуанскому. Другимъ признакомъ отцвѣтанія былъ другой ея анаморфизмъ. Хотя западная исторія древности началась такой же кастичностью, какъ и восточная, но также очень рано уже каста переродилась здѣсь въ сословіе. Недоступный, замѣнутый кругъ аристократизма, хотя и туго и по немногу, но раскрывался. Какъ ни необыкновеннымъ казалось для спартамца, во время персидскихъ войнъ, раскрыть завѣтный конъ гражданства даже предъ такимъ претендентомъ какъ прорицатель, Тисамень изъ Элиды, которому оракулъ предсказалъ пять побѣдъ; но онъ все-таки раскрылся передъ нимъ. Въ Аѳинахъ эта случайность сдѣлалась еще чаще. А въ Римѣ она стала уже оптовою, когда въ гражданство впускались то всѣ плебеи, то значительная доля союзниковъ, то, наконецъ, всѣ вообще *libertini*, отпущенники. Непроходимость кастичныхъ стѣнъ пала, а изъ развалинъ ихъ сложилась сословность. Въ кастичности единственно извѣстный цензъ былъ цензъ генеалогическій, родословный; въ сословность же началъ проникать и другой, имущественный. Почетъ и вліяніе стали распредѣляться не только по породѣ, но также и по богатству, и на мѣсто Цинцината-патриція началъ становиться публиканъ-всадникъ. Этими двумя путями, своей свѣтскостью и своей сословностью, всемірно-историческій аристократизмъ скользнулъ внизъ по наклонной плоскости, и отселѣ неудержимо пошелъ къ упадку. И вотъ, если аристократія не чужда и новому государству, то не чужда ему лишь въ качествѣ отживающей свое время, почти также, какъ не чужда она была и патріархатамъ, въ видѣ приживающейся. Это аристократизмъ относительный, но не абсолютный. Вся же исторія выживанія, исторія аристократіи абсолютной, со всѣми ея стадіями разцвѣтанія, процвѣтанія и отцвѣтанія, совершилась въ древности, и больше повториться не можетъ. Исторія отживанія шла и идетъ слѣдующей дорогой. Новые народы знали и отчасти знаютъ до сихъ поръ свою собственную,

относительную аристократію; но, спрашивается, что она внесла новаго въ культуру міра? такого, что не было бы внесено древнею? Какой новый родъ или видъ аристократизма воспроизвела она собою? Чему она научила человѣчество такому, чего безъ нея оно знать бы не могло? Было ли это раздѣленіе свѣтской и духовной аристократіи, или такъ называемое у насъ отдѣленіе церкви отъ государства, которымъ такъ полна исторія папства и королевской власти? Но это феноменъ, извѣстный еще со временъ Японіи и Іудей. Это простое и точное возстановленіе режима японскаго, какъ съ его свѣтскимъ феодализмомъ, такъ и съ его духовнымъ государемъ. Феодалы—тѣ же дайміосы Японіи; короли—тѣ же сіогуны и тайкуны; папа—тотъ же микадо. Была ли это побѣда свѣтской аристократіи надъ духовною, которою такъ горда наша новѣйшая культура? Но это завоеваніе усвоено ей греками и римлянами. Было ли это ограниченіе свѣтской власти духовенствомъ, на которое такъ налагають историки-клерикалы? Но въ Индіи оно было проведено дальше, чѣмъ у какаго бы то ни было Инновентія III. Было ли это водруженіе въ Европѣ знамени самоуправленія аристократическаго? Но до этого европейская аристократія, одна и сама по себѣ, никогда не достигала, а если бы и достигла даже, то и въ этомъ была упреждена древне-классическою аристократіею. Во всѣхъ этихъ случаяхъ европейская аристократія повторяла только задъ древней, но собственнаго творчества не вносила никакого. А между тѣмъ, если сфера сословнаго права обличала въ ней до сихъ поръ лишь недостатокъ положительныхъ актовъ творчества, то всѣ другія системы права указываютъ на данныя, даже прямо отрицательныя. Въ порядкѣ, напримѣръ, должностнаго права, эта аристократія еще была живою силою, пока оставалась феодализмомъ, съ его марсовыми и майскими полями, съ его сеньйорскими судами, съ его рыцарскою кавалеріею. Но когда изъ династовъ ленные владѣльцы стали обращаться въ дѣйствительное сословіе, въ монархическое дворянство, когда они заперлись въ замкахъ своихъ, фрондируя съ королями, и когда, вслѣдствіе того, систематически стали отдалять себя отъ государственныхъ должностей,—они не только продолжали задъ, но даже и отъ нихъ отстали. Чѣмъ больше выпускали они изъ своихъ рукъ управленіе, тѣмъ чаще вакансіи ихъ замѣщались выскочками изъ низшихъ сословій, рагвенус, такъ что въ концѣ концовъ за дворянствомъ осталась почти одна только военная служ-

ба. Но и тутъ имъ счастливилось не долго. Пока не было пороха, огнестрѣльнаго оружія, регулярной пѣхоты, — роль ихъ въ обществѣ все-таки находила себѣ оправданіе. Но съ тѣхъ поръ, какъ конное и закованное въ желѣзо рыцарство разбито было фламандскими горожанами при Куртрэ и англійскими пѣхотинцами при Креси, съ тѣхъ поръ, какъ оно принуждено было сходить съ лошадей и сражаться пѣшимъ, — свершилось и съ этой послѣдней существенной потребностью въ дворянствѣ. Съ этихъ поръ, если за нимъ оставалось еще какое либо исключительное должностное право, то развѣ одно придворное. Система подданничества дворянскаго могла, впрочемъ, внести и въ эту службу тотъ или другой отпечатокъ ея и такую или иную активность дворянства. Но дѣло въ томъ, что и здѣсь не оказалось у него выдержки. Какъ прежде оно систематически чуждалось двора, такъ скоро вслѣдъ за тѣмъ и столь же систематически, оно сюда нахлынуло, и всю дѣятельность свою и свою славу стало искать въ однѣхъ дворцовыхъ переднихъ. Сюда, въ искательство королевской милости, стала уходить вся его энергія, вся борьба, все честолюбіе. Такимъ образомъ и въ дѣлѣ подданническаго права, по странному противорѣчію, аристократія рвалась впередъ всѣхъ, и, охотно выпуская изъ своихъ рукъ все государство, страстно цѣплялась лишь за свою парадную службу, гдѣ скоро и сдѣлалась искуснѣйшимъ и тончайшимъ льстецомъ власти, оставляя по себѣ на память только отлично выработанный типъ придворнаго. А между тѣмъ, подъ этотъ дѣланный шумъ, совершалась въ тиши революція и въ самомъ правѣ сословномъ. Еще Филиппъ III Смѣлый впервые сталъ жаловать дворянское достоинство: въ 1271 году пожалована дворянская грамота золотыхъ дѣлъ мастеру Раулю. Генрихъ II возвелъ въ потомственное дворянство директоровъ фабрики фландрскихъ ковровъ. А въ 1702 году пожаловано дворянство двумъ лицамъ просто за взносъ ими по три тысячи ливровъ. Съ тѣхъ поръ и до революціи такихъ жалованныхъ дворянскихъ родовъ, какъ за государственную службу, такъ и успѣхи промышленности, оказалось не больше и не меньше, какъ около 40.000: процентъ, слишкомъ достаточный для того, чтобы разбавить старое дворянство и окрасить его новымъ колоритомъ. Эти *lettres de noblesse*, это *annoblissement* произвело цѣлыя новыя категоріи дворянства, рядомъ съ прежнимъ *noblesse de race ou de rang*. Таковы были *noblesse des lettres*, приобрѣтавшаяся путемъ

королевской грамоты, noblesse d'office, чаще называемая noblesse de robe, (въ противоположность старой noblesse d'épée), бывшая послѣдствіемъ судебныхъ должностей, noblesse de cloche, протекавшая изъ занятія должностей мера, эшевена, noblesse de coutume, считавшаяся по одной матери, noblesse bâtarde, т. е. не смотря на незаконнорожденность, и чуть ли не нѣкоторыя еще другія. Дѣло дошло до того, что, не говоря ужъ о приобрѣтеніи дворянства путемъ покупки должностей, самыя lettres de noblesse продавались и покупались прямо и непосредственно, откуда и происходила такъ называемая noblesse de finance. Въ Германіи, подлѣ высшаго дворянства, скоро также народилось низшее. Еще въ хроникахъ XIII в. цитируются постоянно: *nobiles*, *milites* и *ministeriales*, какъ классы различные; но уже въ концѣ этого вѣка всѣ они начинаютъ слѣть благородными, *Edelleute*. Между тѣмъ происхождение *milites*, или рыцарей, и *ministeriales*, или служилыхъ людей,—изъ простаго свободнаго званія въ средніе вѣка было еще свѣжо въ памяти. Да и позже того германское *Ritterschaft* вовсе не брезгало браками съ мѣщанами и крестьянами, и избѣгало только браковъ съ несвободными. Вообще, извѣстный размѣръ поземельной собственности, одинъ и самъ по себѣ, сообщалъ уже владѣльцу ея дворянское достоинство. Въ Англіи Эдуардъ II даже обязалъ возводиться въ рыцарство всякаго поземельнаго собственника съ 20 ф. с. ренты. Дошло, такимъ образомъ, до того, что съ потерей дворянской собственности терялось и самое дворянство, какъ съ приобрѣтеніемъ ея приобрѣталось и оно. Дворянство, вслѣдствіе того, не только разбавлялось, но такъ сказать, матеріализировалось, отождествлялось съ состоятельностью, размѣнивалось на деньги, на богатство. А между тѣмъ, параллельно съ этимъ постояннымъ и обильнымъ приливомъ шелъ и такой же систематическій отливъ. Подъ дѣйствіемъ закона о наслѣдованіи по праву первородства, значительное большинство древняго дворянства, а именно, въ количествѣ всѣхъ младшихъ сыновей его, систематически выводилось изъ сословія, распускалось въ массу народную, въ средній классъ. Средство, предпринимаемое, конечно, въ интересахъ дворянства, повернулось противъ него самого и обрушилось на его собственную голову. Одна изъ немногихъ оригинальностей европейской аристократіи, по сравненію съ классическими, пошла, такимъ образомъ, не въ пользу, а прямо во вредъ ей. Понятно, какой неожиданный переворотъ долженъ былъ

совершаться подъ вліяніемъ двухъ такихъ урагановъ, изъ которыхъ одинъ гналъ среднее сословіе въ ряды опустѣлаго дворянства, а другой остатки этого послѣдняго угонялъ въ среднее сословіе. Очевидно, что не только каста, но самое сословіе исчезало и превращалось въ простой классъ: каста совсѣмъ не допускаетъ обмѣна слоевъ населенія; въ сословіи это одна возможность; въ классѣ же положительная необходимость. Очевидно также, что насколько аристократія ниспадала до средняго класса, на столько же этотъ послѣдній возвышался до аристократіи. Другими словами, древній, тысячелѣтній институтъ подтачивался въ самомъ корнѣ своемъ. И если въ настоящее время онъ еще гдѣ-нибудь удерживается съ признаками жизненности, какъ въ Англіи, то именно только благодаря этой систематической измѣнѣ себя въ пользу среднихъ сословій, этой системѣ періодическаго приспособленія себя къ нимъ, этому освѣженію себя безпрестаннымъ притокомъ новой и чужой крови. Но за то жъ и въ языкѣ этой аристократіи не осталось болѣе словъ, равнозначительныхъ ни *ragueni*, ни *mésaillance*; за то словомъ *gentry*, дворянство (противоположаемымъ, впрочемъ, знатности, *pobility*) обнимается классъ всѣхъ людей съ положеніемъ независимымъ; за то титулъ благороднаго, *esquire*, *gentleman*, сдѣлался достояніемъ всякаго, кто пользуется какою-либо самостоятельностью; за то, наконецъ, и большинство самой *pobility*, большинство всей палаты лордовъ, принадлежитъ перамъ лишь XVIII и даже XIX столѣтія, а къ XII—XV могутъ возвести себя не болѣе четырнадцати фамилій. Къ такой акультурности новаго аристократизма присоединилась такая же анти-цивилизационность его. Здѣсь, быть можетъ, больше даже, чѣмъ гдѣ-нибудь, обнаруживается вся атрофія, все безсиліе новой аристократіи. Въ теченіе всей своей, какъ феодальной, такъ и собственно дворянской карьеры, европейская аристократія постоянно относилась къ умственному труду съ нескрываемымъ презрѣніемъ, добровольно и охотно уступая его, подобно барщинѣ, въ руки *roturiers* и *villains*. Безграмотность была обыкновеннымъ явленіемъ не только феодализма, но и дворянства; а поверхностность образованія слыла привилегією аристократизма до самыхъ позднѣйшихъ временъ (за исключеніемъ опять одной Англіи, умѣвшей и въ этомъ случаѣ приспособиться къ среднему сословію). Такой могущественный, такой активный нервъ жизни выпущенъ этой аристократіей изъ рукъ съ

какимъ-то ослѣпленнымъ самодовольствомъ, и древнее тождество аристократіи и интеллигенціи порвалось. Интеллигенція отступилась отъ своего прежняго обычнаго сѣдалища въ высшемъ классѣ, и нашла себѣ новое помѣщеніе. Обратимся ли мы, наконецъ, къ гражданственности этого класса, картина опять та же, хотя и съ замѣчательнымъ варьянтомъ. Было время, когда варьянтъ этотъ могъ бы обмануть наблюдателя, подавая ему мысль о превосходствѣ этой гражданственности надъ всякою браминскою и классическою. Было время, когда духовная аристократія Европы не меньше отличалась подвижничествомъ своимъ, какъ и браминская, а свѣтская не меньше славна была своимъ свѣтскимъ героизмомъ, и когда, сверхъ того, къ героизму этому привходилъ такой новый типъ его, какого не знала никакая древность. Это была эпоха рыцарства и всѣхъ его идеаловъ. Рыцарство дѣйствительно внесло великую новизну въ гражданственность міра, создавши и завѣщавши ей нравы, основанные на чувствѣ чести, на идеѣ личнаго человѣческаго достоинства. Это такое новаторство, которое стоило всякаго иного подвижничества и нравственнаго героизма, потому что оно поднимало въ аристократѣ не идею жреца уже, не воина и не гражданина, а просто идею человѣка, идею нравственнаго, а не соціальнаго достоинства его. Вѣрность данному слову, отождествленіе чести съ жизнью, великодушіе къ женщинѣ и во всему слабому,—это была такая вспышка гражданскойственности, которая могла помѣряться со всѣми предыдущими. Это было другое самобытное творчество европейскаго аристократизма. Но удивительна судьба всего обреченнаго исторіей на гибель: самые лучшіе акты самосохраненія, самые высокіе продукты издыхающаго творчества обращаются тогда въ ту соломенку, за которую хватается утопающій. Въ самомъ дѣлѣ, однажды, что провозглашавъ подобный идеалъ, онъ, самъ того не зная, отрицаетъ самое основаніе всякаго благородства крови и всякой привилегіи, на немъ основанной. Душа сословности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и благородства, есть происхожденіе человѣка, а не нравственное его достоинство, есть родъ, кровь, тѣло, а не сердце, характеръ, душа, словомъ, цензъ родословный. Это хорошо знали и знаютъ всѣ аристократіи, когда называютъ себя одна, какъ индійская, дважды-рожденною; другая, тибетская—возрожденною; третья, греческая—хорошо рожденною, эвпатридскою; четвертая, римская—предковскою, патриціанскою; пятая, нѣмецкая—очень хорошо рожденною,

hochwohlgeboren; шестая, французская—просто рожденною, il n'est pas né. А потому коль скоро этотъ принципъ пробуетъ войти въ соединеніе съ другимъ, съ благородствомъ духа, а не тѣла, онъ рискуетъ самъ растопиться въ немъ и исчезнуть. Это одно изъ тѣхъ отчаянныхъ усилій самосохраненія, которыя скорѣе губятъ, чѣмъ спасаютъ. И точно, оно погубило рыцарскую аристократію двумя различными оружіями: во первыхъ, тѣмъ, что очень скоро выродилось въ ней въ нѣчто безобразное, а во вторыхъ, и тѣмъ, что, подхваченное вѣя, преобразовано въ оружіе противъ нея. Чувство чести выродилось въ аристократіи, какъ извѣстно, въ болѣзненную раздражительность, великодушіе къ женщинѣ—въ сентиментальность и распущенность, вѣрность данному слову—въ односторонній, узкій формализмъ, а все вообще рыцарство—въ донкихотство, весь вообще аристократизмъ—въ высокомеріе и наглость. Отъ великаго до смѣшного оказался одинъ шагъ. Съ другой стороны, инныя болѣе живыя общественныя силы подхватили этотъ лозунгъ, и чѣмъ болѣе онъ извращался и опошлялся въ смыслѣ аристократическомъ, тѣмъ больше онѣ влагали въ него собственный смыслъ. То, что было нѣкогда во Франціи gentilhomme, стерлось изъ гражданственности, и уступило мѣсто тому, что названо въ Англіи gentleman. Рыцарскій идеалъ, эксплуатированный чужими руками, превратился въ буржуазный. И такъ, что же осталось еще отъ этого мірового учрежденія, съ его тысячелѣтней исторіей?.. Осталось, въ частномъ правѣ богатства, земли, а въ публичномъ, въ экономическомъ—свобода отъ податей, за которую дворянство особенно ревниво держалось. Привыкнуши думать и говорить, что для него есть одинъ только достойный налогъ, налогъ крови, дворянство продолжало твердить это и тогда, когда подобный налогъ былъ уже раздѣленъ съ нимъ всѣми сословіями, также какъ и самыя подвиги военной гражданственности, которыхъ греческій и римскій гражданинъ не дѣлилъ ни съ кѣмъ. Остались, слѣдовательно, одни права, одни льготы и привилегіи, тогда какъ всѣ обязанности улетучились. А между тѣмъ, эта гордость титулами, это уничиженіе вверхъ и высокомеріе внизъ, это третированіе всего остальнаго общества, какъ сапайлы, не уступали никакимъ изъ восточныхъ или классическихкихъ, какъ будто они все еще несли за собой заслуги и мандарина, и брамина, и эвпатрида, и патриція. Вотъ причины, по которымъ такая эпоха аристократизма не можетъ быть квалифицируема иначе, какъ періодъ отживанія и вырожденія. Уже герцогъ

С. Симонъ говорилъ объ этой аристократіи, что безсильная и бесполезная, она доживала вѣкъ свой въ праздности, безъ вкуса къ образованію и безъ способности употребить его на что-нибудь, если бы даже оно и имѣлось. То же самое повторяетъ объ итальянской аристократіи Мавіавелли, о нѣмецкой Гуттенъ, объ англійской Милль. Мудрено ли, что при первой же революціонной бурѣ такое отжившее, непроизводительное существованіе оказалось первымъ изъ всѣхъ, какія были снесены, и замѣнено новымъ, давно готовымъ на его мѣсто. Но, быть можетъ, по крайней мѣрѣ, духовная аристократія новыхъ государствъ, хотя въ концѣ концовъ и подчиненная первой, сумѣла сохранить свою жизненность и донести ее до нашихъ временъ. Увы! отвѣтъ слишкомъ хорошо извѣстенъ. Эта аристократія, если и успѣла свергнуть на время такимъ же блескомъ въ монашескихъ орденахъ, какъ та въ рыцарствѣ, то выродилась она еще раньше той, почему реформація и предшествовала революціи. Пока эта аристократія была единственной интеллигенціей и хранительницей цивилизациі, пока она была единственной областью подвижничества и представительницей гражданственности, до тѣхъ поръ и культурное значеніе ея было дѣйствительно высоко. Но все это было моментомъ очень мимолетнымъ и продолжалось лишь до тѣхъ поръ, пока города не вырвали у монастырей и знамя цивилизациі, и знамя гражданственности, а реформація не сломила и ихъ культурное знамя. Съ реформаціи же духовенство больше не оживало, и теперь влачить только послѣдніе дни свои.

Грандіозная эпопея аристократій была бы, однакожъ, слишкомъ не полна, если бы мы ограничили ее одной лицевой ея стороною. Есть у нея не столь блестящая, но столько же естественно-историческая изнанка, которая вмѣстѣ съ нею и растетъ, и врѣзъ, и падаетъ. А потому пройденный путь надо пройти еще однажды, съ этой противоположной точки зрѣнія. Такою тѣневою подкладкою аристократіи есть соответствующее ей *рабство*. Аристократія немислима безъ рабства, какъ и само рабство невозможно безъ аристократіи. Это два полюса одного и того же сословнаго права: одинъ положительный, другой отрицательный. Уже въ патріархатахъ мы видѣли залегшимъ краеугольный камень этой противоположности въ побѣдителя и побѣжденномъ, въ господинѣ и рабѣ, хотя рабъ былъ тамъ еще однимъ изъ домочадцевъ. Въ первичной же формациі государствъ учрежденіе это и созрѣло, и разрослось до ужасающихъ

размѣровъ, и впитало въ себя начала разложенія. Однажды уже видѣли мы этотъ ростъ его въ качествѣ частнаго права. Теперь надо прослѣдить его въ смыслѣ публичнаго. Тамъ важны для насъ были индивидуальныя отношенія между работою и господиномъ, здѣсь—всеобщія отношенія между рабствомъ и аристократіею. Восточная государственность застигаетъ предшествовавшую ей патріархальность на системѣ общиннаго владѣнія землею. Поэтому то, что тамъ было родовымъ, племеннымъ владѣніемъ, здѣсь продолжается государственнымъ. Отсюда рабство, прикрѣпленное тамъ къ роду, къ племени, къ народу, здѣсь оказывается прикрѣпленнымъ къ *государству*. Рабы здѣсь принадлежать не тому или иному господину, а всей вообще аристократіи, и владѣніе ими составляетъ для нея не право собственности, а только право пользованія. Такимъ является это учрежденіе и въ Египтѣ, и въ Ассири-Вавилоніи, и въ Мидо-Персіи, и въ Іудеѣ. Но апогея своего она достигаетъ тамъ же, гдѣ и восточная аристократія, въ Индіи. Вездѣ, гдѣ рабство было государственнымъ, оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, было и кастичнымъ. Рабство здѣсь всегда безвозвратно, нескончаемо. Какъ ни былъ низокъ *минимумъ* человѣческихъ правъ и какъ ни былъ высокъ *максимумъ* человѣческихъ обязанностей при этихъ двухъ условіяхъ рабства; но всякое кастичное и государственное рабство еще и въ самомъ себѣ подраздѣлялось на категоріи. Въ Вавилоніи, гдѣ нѣкоторые историки признаютъ больше кастъ, чѣмъ одну халдейскую, кромѣ низшей изъ четырехъ кастъ, былъ еще разрядъ людей, до того презираемыхъ, что они не входили и въ счетъ этой послѣдней касты: таковы рыболовы (по всей вѣроятности, дикари, питавшіеся рыбною ловлею). У персовъ такое же положеніе занимали номады. У египтянъ оно принадлежало свинопасамъ, которые не смѣли входить въ храмы и съ которыми избѣгали всякихъ сношеній, какъ съ нечистыми. Въ Японіи и до сихъ поръ таково же положеніе нищихъ и такъ называемыхъ кристанъ, т. е. потомковъ христіанъ. Но высшимъ воплощеніемъ этого строя останется навсегда все-таки Индія. Индійское рабство, главнымъ образомъ, представляется кастою судръ. Судра, по закону, могъ надѣяться измѣненія въ своемъ положеніи между людьми, могъ попасть, напримѣръ, въ вайсіи, только по смерти своей, да и то тогда лишь, если при жизни онъ достаточно религіозно несъ свое бремя. Замѣчательно, что какъ бы ни была повелительна эта горькая историческая необходимость, но съ самаго

начала своего, она, повидимому, не переставала тревожить человеческое сердце и смущала совѣсть даже тѣхъ, кто ее устанавливалъ, освящалъ, поддерживалъ и пользовался ею. Ману, наприимѣръ, уже предписываетъ царямъ тщательно сдерживать судръ въ установленныхъ для нихъ предѣлахъ: иначе-де они могутъ перевернуть весь міръ. Всякое участіе судръ въ молитвахъ, въ богослуженіи, въ слушаніи ведъ есть по-этому просто уголовное преступленіе. Впрочемъ, не смотря на все это, судра есть все таки человѣкъ, хотя и происшедшій отъ особой пары, созданной изъ ногъ Браммы. Между тѣмъ есть существа, недостойныя и самой касты судръ: это—паріи. Они суть меньше чѣмъ человѣкъ, меньше даже чѣмъ нѣкоторые животныя, которыхъ законъ повелѣваетъ падить. Одно прикосновеніе этого нечистаго существа уже оскверняетъ всякое чистое. А прикосновеніемъ въ этомъ случаѣ есть не только буквальное, но всякое метафорическое, какъ наприимѣръ, взглядъ или тѣнь паріи, упавшіе на кого либо изъ дважды рожденныхъ. Всякій изъ этихъ послѣднихъ можетъ убить на мѣстѣ, какъ собаку, всякаго такого оскорбителя и, сверхъ того, долженъ потомъ совершить обрядъ очищенія отъ этого оскверненія. Для жительства же имъ, какъ прокаженнымъ, отводятся въ городахъ и селеніяхъ особые кварталы. Но и это не всѣ степени униженія. Есть люди и еще презрѣннѣе парій: таковы чандала. Они вовсе не могутъ жить между людьми ни въ городахъ, ни въ селахъ, мѣсто имъ только въ норахъ и тущобахъ; пища ихъ только падалъ. Единственныя общепользныя занятія, къ которымъ они допускаются, суть только: сдираніе кожъ съ павшихъ животныхъ, рытье могилъ для людей безъ родства и, много-много, должность палачей, при исполненіи смертныхъ приговоровъ. Дальше этого рабское состояніе не шло ни гдѣ и никогда, также точно какъ и соотвѣтствующій ему аристократизмъ. А между тѣмъ, не смотря на все это, въ Индіи ни одного возстанія, ни одного протеста со стороны какихъ бы то ни было поработенныхъ: такъ велика была естественность этого порядка вещей. Точкой поворота въ немъ, какъ и въ столь многихъ другихъ случаяхъ, было семитическое племя, а именно, на этотъ разъ, еврейское. Моисей не переставалъ помнить и напоминать соотечественникамъ, что и сами они были рабами въ Египтѣ, а потому не переставалъ проповѣдывать участіе къ рабству. Онъ установилъ для него, какъ мы видѣли, даже періодическіе сроки поголов-

наго освобожденія, и если они скоро пришли въ забвеніе и перестали практиковаться, то самый вопросъ, во всякомъ случаѣ, поставленъ и поставленъ фактически. Но широко развился возвыщенный Моисеевъ принципъ только въ западной половинѣ древней государственности. Въ Греціи, хотя дѣло началось такъ же, какъ и на востоцѣ, и дошло, напримѣръ, до спартанской криптейи; но за то здѣсь же впервые слышится и протестъ со стороны того самаго рабства, которое подвергалось этой охотѣ на него облавами и которое до сихъ поръ молчало. Илотскія возстанія суть первыя изъ рабскихъ реакцій противъ существующаго порядка, и они-то и поставили вопросъ ребромъ еще лучше, чѣмъ благодушное, но преждевременное законодательство Моисея. Въ Аѣинахъ начало было также не лучше, чѣмъ на востоцѣ. Рабство имѣло здѣсь, какъ и въ Индіи, даже своихъ паріевъ или чандала; это—невольники. Рабами у аѣинянъ были только люди, взятые въ плѣнъ и потомки ихъ; тѣ же, что пріобрѣтены мирно, куплены какъ товаръ, и что происходили по большей части изъ варваровъ, относились къ невольникамъ, а не рабамъ. Личность раба кое-какъ была еще ограждаема; но невольники могли быть не только продаваемы, но и убиваемы, какъ скотъ. Такъ что только мягкость характера аѣинянъ спасла ихъ отъ рабскихъ революцій. Какъ въ Спартѣ, такъ и въ Аѣинахъ, рабство долго было кастою, при чемъ въ Спартѣ оно было даже коллективнымъ, государственнымъ, точь-въ-точь какъ въ самой Индіи. Отпуска на волю, какъ тамъ, такъ и здѣсь, долго были вовсе немислимы, а въ Спартѣ даже формально воспрещены. Но тѣмъ не менѣе, все-таки только начиная съ Греціи, отпуска на волю, сперва единичные, а потомъ и оптовые, начинаютъ практиковаться постоянно, періодически, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Необходимость войны, для которой часто не хватало малочисленнаго сословія гражданъ, повели къ единственному возможному подспорью, къ набору, въ крайнихъ случаяхъ, воиновъ изъ числа не только періэковъ, метойковъ, но и рабовъ. Храбрость же, заслуги на войнѣ приносили этимъ новымъ воинамъ и освобожденіе ихъ отъ рабства; при чемъ, однакожъ, сначала это не переводило такихъ свободныхъ людей даже въ сословіе періэковъ въ Спартѣ, и только въ Аѣинахъ обращало ихъ въ метойки, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы прежній господинъ оставался по отношенію къ нимъ простатомъ. Разъ открытая дорога не могла, однакожъ, не расши-

ряться, хотя и мало по малу. Блестящій военный подвигъ не могъ рано или поздно не проложить путь для раба не только въ періэки, но и въ самые граждане. И дѣйствительно, къ концу греческой исторіи, не только въ Аѣинахъ, но и въ самой Спартѣ, дверь эта раскрывается настѣжь. Когда узаконенное число спартіатовъ съ 9 тысячъ упало до 4, то въ числѣ этихъ послѣднихъ оказалось изъ древнихъ гражданскихъ фамилій не болѣе 40; большинство же всѣхъ остальныхъ произошло именно изъ потомковъ отпущенниковъ. Равно и въ Аѣинахъ чрезвычайные случаи, и при томъ не только военные, но и мирные, вызывали оптовья перечисленія низшихъ слоевъ населенія въ самый высшій. Такъ Клисеень, въ видахъ усиленія демократіи, приписалъ къ гражданству цѣлыя толпы какъ метойвовъ, такъ и отпущенниковъ. Правда, жалованные граждане все еще не вполне сравнивались съ природными; они не допускались, напримѣръ, ни къ архонтству, ни къ жречеству; но въ исторіи важны только кризисы, все же остальное есть уже обыкновенно вопросъ только времени. И такъ, кастическое кольцо раскрылось,—и рабство, также какъ и сама аристократія, и тамъ же гдѣ она, и тогда же какъ она, превратилось въ сословіе. Таковъ первый переворотъ въ исторіи этого вѣковѣчнаго государственнаго института. Но онъ не послѣдній. Если спартанское рабство до конца исторіи своей оставалось при своемъ восточномъ коллективномъ типѣ; то въ Аѣинахъ оно съ незапамятныхъ временъ представляется уже индивидуальнымъ, личнымъ: по всей вѣроятности, съ тѣхъ же поръ, какъ и поземельная собственность, т. е. съ упраздненія царской власти. Нѣкоторая часть рабовъ всегда, правда, оставалась и въ Аѣинахъ на положеніи государственныхъ, казенныхъ; изъ нихъ набирались, напримѣръ, глашатаи, матросы, гребцы, рудокопы, тюремщики, палачи. Были также рабы церковные, храмовые, гіеродулы. Но большинство всего рабскаго населенія состояло изъ личныхъ, господскихъ рабовъ. Всѣ они занимались, во первыхъ, сельскими работами на земляхъ своихъ господъ (земледѣіемъ, скотоводствомъ, винодѣліемъ, управленіемъ работъ); во вторыхъ, занимались они городскими работами на господъ своихъ (ремеслами, мелочнымъ торгомъ отъ имени господъ, содержаніемъ кабаковъ и харчевень); въ третьихъ, домашнею службою въ домѣ и дворѣ господина (каковы привратники, дворники, садовники, лакеи, виночерпии, повара, конюхи, экононы, дворецкіе; а въ томъ числѣ также

гувернеры или педагоги, домашніе секретари, лекторы, танцовщицы, пѣвицы, музыканты и т. п.). Сверхъ того, были рабы, высылаемые на рынокъ для поденнаго найма въ пользу господъ или нанимаемые на срокъ другому господину, или, наконецъ, работавшіе на самихъ себя за извѣстный оброкъ хозяину. Очевидно, что многія изъ этихъ отношеній таковы, что они способны порождать между господиномъ и рабомъ большую или меньшую нравственную связь, порождать связи привязанности, благодарности, уваженія,—связи, совершенно невозможныя между коллективнымъ рабствомъ и коллективной аристократіей. Такія связи, не говоря уже о томъ, что онѣ неминуемо вели къ частымъ отдѣльнымъ отпускамъ на волю, должны были вести, что не менѣе важно, къ общему ослабленію прежняго положенія рабовъ. И дѣйствительно, только въ Аѳинахъ видимъ мы впервые такія права у рабства, какъ напримѣръ: невозможность казнить раба иначе, какъ по суду, допущеніе идеи обиды по отношенію къ рабу (по крайней мѣрѣ, отъ чужаго господина), право раба просить судъ о перепродажѣ его другому господину (при жестокомъ обращеніи своего), участіе въ домашнемъ и въ общественномъ богослуженіи гражданъ, и т. п. Словомъ, рабу запрещалось только умственное образованіе и гимнастика, какъ достойныя только свободнаго человѣка. А потому принадлежность раба *личу*, а не государству, прикрѣпленіе къ господину, а не господамъ, необходимо зачесть какъ другой симптомъ совершающагося въ этомъ учрежденіи постепеннаго перерожденія. Онъ долженъ быть зачтенъ, какъ такой, тѣмъ больше, что на немъ же основано и все римское рабство. Здѣшнее рабство, такъ же словесное, а не кастичное, и также личное, а не коллективное, подобно, однакожъ, скорѣе спартанскому, чѣмъ аѳинскому, не смотря на то, что римляне гораздо охотнѣе, чѣмъ аѳиняне, допускали умственное развитіе рабовъ. Здѣсь были рабы, не только образованные, но ученые, а вмѣстѣ съ тѣмъ пользовавшіеся и блестящимъ матеріальнымъ положеніемъ, какъ, напримѣръ, большинство переписчиковъ рукописей изъ числа *servi publici*. Подобные *servi honestiores* могли даже держать своихъ собственныхъ рабовъ, такъ-называемыхъ *vicarios*. Тѣмъ не менѣе, отчасти жесткій характеръ римлянъ, отчасти же, и еще больше, самая многочисленность рабскаго населенія и крайняя непропорціональность его съ свободнымъ, а всего, быть можетъ, больше цѣлый рядъ возстаній рабскихъ, при-

вели римлянъ къ жестокостямъ, превосходившимъ и самый темпераментъ римскій, и объяснимымъ единственно развѣ только представленіями крайней необходимости. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, рабство составляло весь фондъ общества, во множество кратъ превосходившій свободное населеніе, такъ что умѣя оно организоваться и опровернуться на послѣднее, оно могло бы снести съ лица земли все государство римское. Безъ раба не могло обходиться ни одно римское семейство; владѣльцы же латифундій держали ихъ по десять и даже по двадцать тысячъ человѣкъ. Случайно сохранились цифры рабовъ, добытыхъ только въ теченіи трехъ войнъ; но и тѣ достаточны, чтобы можно было составить представленіе о томъ, какое государство въ государствахъ образовали они. Послѣ Аннибаловыхъ побѣдъ, весь народъ бруктеровъ обращенъ въ рабство. Сципіонъ Эмилианъ прислалъ изъ Карфагена 50.000 рабовъ. Павелъ Эмилий обратилъ въ рабство 150.000 эпиротовъ. Съ другой стороны бунтъ за бунтомъ, возстаніе за возстаніемъ, и никогда не прекращавшіяся періодическія отдѣльныя убійства господъ наводили на римлянъ ужасъ и всеобщее смятеніе, внушая, вмѣстѣ съ тѣмъ, мысль о безвыходности этого положенія иначе, какъ посредствомъ террора. Они постоянно чувствовали себя, какъ бы среди непріятельскаго стана, а потому и стали дѣйствовать, какъ будто осажденные. Сенатусконсультомъ Силланиа опредѣлялось, напримѣръ, что въ случаѣ убійства господина, всѣ рабы, бывшіе подъ одною съ нимъ кровлею, или въ такомъ разстояніи, въ какомъ можно слышать голосъ человѣческій, должны были быть предаваемы смертной казни. Если гражданинъ былъ убитъ на дорогѣ, въ путешествіи, должна быть казнена вся сопровождавшая его свита. Всѣ, давшіе въ этихъ случаяхъ убѣжище рабу, также подлежать смертной казни. И что такіе законы были не мертвою буквою, доказательство разсказъ Тацита, по которому за смерть одного гражданина предано казни 4.000 его рабовъ: гекатомба, какой не знали ни Спарта, ни Индія, при убійствахъ спартіатовъ и браминовъ. Торговля рабами не считалась постыдною для гражданина, и потому самъ цензоръ Катонъ занимался, напримѣръ, тѣмъ, что, скупая по дешевой цѣнѣ худыхъ дѣтей, откармливалъ ихъ, какъ рыбу или птицу, и черезъ годъ, черезъ два сбывалъ ихъ съ огромными барышами. Другой такой же коммерсантъ, Аттікъ, предпочиталъ давать рабамъ высокое образованіе, съ тѣмъ что бы продавать ихъ

потомъ по сту, по двѣсти тысячъ сестерцій за штуку. Но тѣмъ-то и замѣчательнѣе, что не смотря на все это, историческій процессъ, разъ начавшись, все-таки продолжалъ свое дѣло. Отпущеніи на волю были въ Римѣ чаще и многочисленнѣе чѣмъ, гдѣ бы то ни было прежде; однажды же отпущенный, *libertinus*, скоро потомъ имѣлъ возможность попадать и въ граждане. Рѣдкое завѣщаніе обходилось безъ того, что бы въ немъ не значилось нѣсколько новыхъ отпущенниковъ. При жизни гражданъ, отпущеніи на волю были также многочисленны, въ особенности за услуги господскимъ порокамъ. Были, наконецъ, освобожденія цѣлыми массами, какъ напр., послѣ пораженія при Каннахъ, когда вооружены были 8.000 рабовъ, и всѣ потомъ освобождены за храбрость. Освобожденные же если не въ томъ же самомъ, то въ послѣдующемъ поколѣніи дѣлались непременно гражданами. Такимъ образомъ сыновья отпущенниковъ скоро стали составлять большинство всѣхъ гражданъ, всего *populus romanus*. Во времена Гракховъ они почти одни уже наполняли форумъ, съ котораго старинные граждане исчезали все болѣе и болѣе по мѣрѣ войнъ. Въ 57 году по Р. Х. въ сенатѣ было предложено, чтобы отпущенникъ, изобличенный въ неблагодарности, былъ возвращаемъ къ прежнему господину въ рабство. Тогда одинъ ораторъ указалъ на трибы, на армію, на сословіе всадниковъ, на коллегію жрецовъ, какъ на переполненные отпущенниками, указалъ на самый этотъ сенатъ, гдѣ сидѣлъ-де не одинъ изъ тѣхъ же отпущенниковъ, и заключилъ тѣмъ, что если захотятъ обойтись безъ отпущенниковъ, то придется обойтись и безъ гражданъ. Вотъ положеніе вещей, до котораго дошла республика римская въ дѣлѣ объѣма между рабствомъ и гражданствомъ. Имперія же, въ свою очередь въ значительной степени облегчила и положеніе тѣхъ, которые оставались въ рабствѣ, посредствомъ множества благоприятныхъ для нихъ законовъ. Такъ въ 61 году, по *lex Petronia*, запрещено господамъ отдавать рабовъ на бой со звѣрями. Гадріанъ запретилъ казнить рабовъ безъ суда. Антонинъ Пій предписалъ наказывать за убійство своего раба, какъ за убійство чужаго, и вообще принималъ мѣры противъ жестокаго обращенія съ ними. Константинъ убійство раба сравнилъ даже съ убійствомъ свободнаго, и дозволилъ жалобы на господъ и т. п. Хотя римлянамъ не входила, да и не могла входить, въ голову мысль объ упраздненіи рабства, и величайшій мудрецъ древности считалъ его дѣломъ самой природы вещей; но, къ чести рим-

лянъ, надо сказать, что Цицеронъ и Сенека впервые усомнились въ этомъ, и находили, что общество возможно и безъ рабства. Отъ первой идеи объ этомъ далеко, конечно, до исполненія. Цѣлые пять вѣковъ христіанства прошли съ тѣхъ поръ по римской исторіи, а учрежденіе осталось столь же прочнымъ, какъ было и до нихъ. Правда, подъ конецъ римской государственной жизни неслышно и безшумно началъ зарождаться тотъ червь, которому въ теченіе новыхъ тысячелѣтій суждено было подточить этотъ неподвижный институтъ древности: это—колонатъ. Но полное свое развитіе принципъ этотъ принесъ уже среди иныхъ народовъ. Въ христіанскихъ обществахъ рабскій институтъ, съ самаго начала ихъ, является именно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ окончательно вышелъ изъ рукъ Рима: въ видѣ *glebae adscriptio*, прикрѣпленія къ землѣ, крѣпостнаго права. Эта принадлежность раба не государству, не лицу, а *землѣ*, составляетъ собою третью стадію въ исторіи вѣковѣчнаго учрежденія. Какъ ни незначительна, повидимому, эта переимѣна непосредственной принадлежности въ посредственную, какъ ни мало помѣчена она и законодателями, и историками; но тѣмъ не менѣе она составляетъ роковой, критическій шагъ въ исторіи учрежденія. Шагъ этотъ уже съ самаго своего начала знаменуется тѣмъ, что онъ впервые предоставляетъ рабу первыя, самыя элементарныя условія дѣйствительнаго человѣческаго существованія, каковы: право брака и соединенные съ нимъ семья, домъ, домашній очагъ, и во вторыхъ, право собственности и соединенная съ нимъ возможность сбереженія, запаса, достатка. Все это условія, которыхъ ни рабъ-домочадецъ, ни рабъ государственный, ни рабъ личный никогда не знали или знали далеко не вполнѣ. Правда, что слѣдующаго окончательнаго шага пришлось ждать въ теченіи цѣлаго тысячелѣтія; но историческая сказка всегда сказывается очень не скоро. Мы не станемъ упоминать о сопровождавшихъ это тысячелѣтіе мелкихъ и частныхъ успѣхахъ развязыванія крѣпостныхъ отношеній; мы не будемъ говорить о благосклонныхъ, но безсильныхъ вѣшательствахъ со стороны папъ и духовенства въ вопросъ этого гордіева узла; мы не упомянемъ даже о болѣе дѣйствительномъ содѣйствіи городовъ тому же дѣлу, посредствомъ ихъ права убѣжища, въ силу котораго довольно было пребыванія годъ и одинъ день въ городскихъ стѣнахъ, чтобы навсегда отдѣлаться отъ крѣпостной зависимости. Все это есть только повтореніе приемовъ прежней стадіи, и ничего

новаго въ исторію не вносить. Но мы не должны пропустить того нежданнаго дѣателя, который явился въ видѣ простаго экономическаго расчета, который дѣйствовалъ совершенно непримѣтно и во все неуловимо для наблюдателя, но тѣмъ повсемѣстнѣе и ежедневнѣе, и въ результатѣ котораго оказались послѣдствія, которыя опять никакимъ законодателемъ не узаконялись и никакимъ историкомъ не записывались, а между тѣмъ переворачивали великій историческій институтъ вверхъ дномъ. Мы говоримъ о повсемѣстномъ превращеніи исподоволь крѣпостныхъ отношеній въ фермерскія. Какъ всѣ глубокія и дѣйствительно великія историческія перемѣны, такъ и эта совершилась безъ всякаго участія и вѣдома властей и правительствъ, одною силою естественнаго, непредназначеннаго и безсознательнаго измѣненія житейскихъ отношеній. Только въ послѣдствіи уже и законодатель, и лѣтописецъ могли спохватиться, что въ Англіи, напримѣръ, уже къ концу XIII столѣтія крѣпостное право, неизвѣстно какъ и когда, но положительно вымерло, и на мѣстѣ его повсюду оказалось одно право фермерское. Оказалось также, что тоже самое случилось въ Италіи и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ какъ Франціи, такъ и Германіи. Когда же дубъ подсѣченъ такимъ образомъ въ самомъ корнѣ, тогда окончательный и на этотъ разъ шумный ударъ, совершаемый законодательствомъ, и оглашаемый исторіей, нанести уже ему не мудрено. Такимъ-то ударомъ и былъ тотъ, какой съ такимъ трескомъ и помпой раздался въ ночь съ 4 на 5 августа 1789 года. Въ эту ночь порвалась та желѣзная цѣпь, которая такъ долго и такъ крѣпко приковывала рабство къ аристократіи и аристократію къ рабству. Вмѣстѣ родившись, вмѣстѣ проживши жизнь, вмѣстѣ же отошли онѣ и въ вѣчность. Возникшія изъ однихъ и тѣхъ же условій, вскормленныя однимъ и тѣмъ же молокомъ, эти молочныя сестры проходили вмѣстѣ и эпоху своей общей кастичности, и эпоху сословности своей, пока не достигли до атмосферы простыхъ классовъ, простыхъ профессій, въ которой дышать имъ было уже нечѣмъ, и гдѣ обѣ онѣ задохлись. Аристократъ безъ раба и рабъ безъ аристократа равно немислимы; а потому и смерть ихъ была одновременна и во взаимныхъ объятіяхъ. Остальное затѣмъ столѣтіе было только грохотомъ отъ этого паденія, пронесившимся изъ страны въ страну по всему свѣту; и достигшимъ подъ конецъ до русскаго крестьянина и до американскаго невольника. Пошолъ совсѣмъ новый міръ, согсѣмъ новая исторія,—

исторія средняго сословія. Замѣчательно при этомъ, до какой степени институтъ рабства солидаренъ съ институтомъ аристократіи, и какъ паденіе перваго есть необходимо паденіемъ и втораго. Раньше всего крѣпостничество исчезло въ Англіи и въ Италіи,—и тутъ же прежде всего появились и новые, тимократическіе идеалы, чаянія новаго завѣта. Въ Англіи Томасъ Муръ въ своей утопіи уже третируетъ государства, какъ заговоры богатыхъ противъ бѣдныхъ. Въ Италіи Кампанелла, въ своемъ *Civitas solis*, уже предлагаетъ не болѣе 4 часовъ въ день работы, да и то разнообразимой удовольствіями. Во Франціи и Германіи рабство пало позднѣе, — и позднѣе идеалъ бабувистовъ и социалистовъ. Въ Россіи и Америкѣ эманципація еще свѣжѣе,—и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣжѣе всѣхъ и ихъ социализмъ. Такъ неизмѣнно ветхій завѣтъ общества падаетъ вслѣдъ за рабствомъ и за аристократіей.

Будучи совсѣмъ новымъ, этотъ новый завѣтъ исторіи, какъ все человѣчески-новое, глубоко, однакожъ, и давно уже коренился въ старомъ, безъ чего онъ не могъ бы и проявиться во всемъ своемъ величіи. Что такое въ самомъ дѣлѣ это среднее сословіе, это третье сословіе, эта буржуазія, эта *тимократія*? И развѣ въ самомъ дѣлѣ не было ихъ въ классическомъ или даже въ восточномъ мірѣ? Но гдѣ были крайности, тамъ не могло не быть и середины. И дѣйствительно, между браминомъ и кшатріею съ одной стороны, а судрою съ другой, былъ еще вайсія. Между спартіатомъ и илотомъ былъ лаконецъ, періекъ; между гражданиномъ и рабомъ аѳинскими былъ метойкъ; между гражданиномъ и рабомъ въ Римѣ были *reggini*, *libertini*. Повсюду между сословными полюсами имѣлись также и точки безразличія, какъ бы онѣ ни были ничтожны и незамѣтны въ смыслѣ соціальной величины. Да и основной фондъ этой сословной категоріи повсюду одинъ и тотъ же: это всегда промышленность городская, а не сельская, всегда мануфактура, торговля, ремесла. Но въ чемъ же тогда разница? и почему же древнія среднія сословія не производили тимократіи, а дѣлали все-таки лишь аристократію? Вся разница только въ пропорціяхъ бытія и развитія, только въ качествахъ и количествахъ. Вся разница въ томъ, что третье сословіе древности было также, какъ и четвертое, только экономическимъ, а не политическимъ; что оно, также какъ и рабы, предано было только механическимъ профессіямъ, и что профессіи эти, недостаточно уважаемыя въ древности, не

могли приносить ни богатства, ни почета, равныхъ богатству и почетности высшихъ сословій. А, вслѣдствіе всего этого, среднія сословія древнихъ не могли быть ни интеллигенціею въ цивилизаціи, ни героизмомъ въ гражданственности, ни, наконецъ, властью въ культурѣ. Возьмемъ, на примѣръ, аѳинскаго метойка. Это былъ классъ людей, сравнительно съ рабами, довольно счастливый. Метойки были свободны и, вмѣсто господина, нуждались только въ простатѣ. Имъ принадлежала, и при томъ вполне безраздѣльно, вся промышленность и вся торговля страны. Не воспрещены были имъ и занятія умственные, профессіи научныя и художественныя; хотя они и не могли въ этомъ отношеніи угнаться за гражданами. Но этимъ и исчерпывались всѣ ихъ права и выгоды положенія. Все остальное, какъ государственное, такъ и частное, право было для нихъ неприступнымъ. Такъ, на примѣръ, если бы метойкъ осмѣлился появиться въ народномъ собраніи, то ему грозила бы смертная казнь. Въ церковныхъ процессіяхъ, если и могли они вмѣшиваться въ толпу, то не иначе, какъ въ качествѣ прислужниковъ, неся, на примѣръ, священные сосуды, зонтики и т. п. То же и въ частномъ правѣ. Если бы метойкъ позволилъ себѣ жениться на гражданкѣ, то ему предстояло обращеніе въ рабство. Право владѣнія недвижимою собственностью также было недоступно для метойка. Наконецъ, самое приближеніе къ суду было для него возможно не иначе, какъ при посредствѣ простата. Очевидно, что это было состояніе полу-свободное, полу-рабское, т. е. какъ разъ середина между аристократіей и рабствомъ. Самое даже численное отношеніе этого класса къ двумъ крайнимъ было ничтожно. Когда Кассандръ въ 317 году до Р. Х. произвелъ перепись въ аѳинской республикѣ, то гражданъ въ ней оказалось 21.000, рабовъ 400.000, а метойковъ всего только 10.000 человѣкъ. Совершенно таково же было положеніе и римскаго перегринна, которому отводились даже особые кварталы для жительства, и воспрещалось употребленіе нѣкоторыхъ одеждъ, на примѣръ, тоги, такъ что онъ долженъ былъ ограничиваться только палліумомъ. Само собою разумѣется, что случаи изъятій были возможны, также какъ возможны они были и въ самомъ рабствѣ; но почти единственнымъ поводомъ для этихъ изъятій были военныя заслуги. Въ тѣхъ крайнихъ случаяхъ необходимости, когда не брезгали для спасенія отечества даже рабами, набирали въ военную службу также и метойковъ. И если рабовъ

награждали потомъ за это свободою, то метойкамъ предоставляли или судиться безъ простата, или приобрѣтать недвижимую собственность, или быть равными гражданамъ, *ισοτελεῖς*, или наконецъ и окончательно возводили ихъ въ граждане, въ такъ называемые *δημοποῖτοι*, т. е. жалованные граждане. Это единственный путь, какимъ человѣкъ средняго сословія могъ попадать изъ экономическаго класса въ политическій. Но весь вообще его классъ никогда не могъ обратиться въ политическій. Въ этомъ качествѣ чисто-экономической категоріи людей, средняя ихъ категорія пережила и свое состояніе касты, на востокѣ, и состояніе сословія, въ классическомъ и средневѣковомъ обществѣ, пока въ новой исторіи не преобразилась она въ классъ политическій, въ классъ правительственный, въ одинъ изъ высшихъ и активныхъ классовъ новаго соціального порядка. Метаморфоза эта оперировалась слѣдующимъ образомъ. Уже выше, въ исторіи новаго дворянства и духовенства, мы видѣли, какъ не надолго хватило въ нихъ живой воды, и какъ легко и скоро отказались они отъ качества интеллигенціи въ своей цивилизаціи, отъ качества правительства въ своей культурѣ и отъ свойствъ героизма и нравственного достоинства въ своей гражданственности. Тамъ же мы видѣли, какъ всѣ эти пробѣлы восполнялись поочередно жалованнымъ дворянствомъ, имѣвшимъ и волю, и разумъ принять на себя всѣ эти роли. А откуда же набиралась, и могла набираться, эта новоявленная аристократія, какъ не изъ среды третьяго сословія? Въ подобныхъ обстоятельствахъ къ нему обращались и Римъ, и Аѣины, и Спарта; но тамъ приходилось обращаться лишь за восполненіемъ военныхъ пробѣловъ арміи, — здѣсь же пришлось обратиться за восполненіемъ всѣхъ пробѣловъ гражданскихъ, пробѣловъ въ цѣломъ строѣ соціальномъ. Вотъ откуда возникла для средняго сословія возможность новаго и небывалаго историческаго ореола. При первомъ восходѣ своемъ надъ горизонтомъ, оно выступаетъ еще въ старой маскѣ, выступаетъ подъ видомъ облагороженнаго выскочки, а именно въ качествѣ новаго дворянства; но скоро и эта маска сбрасывается, и новая сила появляется въ своемъ собственномъ образѣ. Перваго рода дебютомъ средняго класса былъ дебютъ такъ называемыхъ легистовъ, т. е. людей, изучавшихъ римское право. Они дважды приходились по сердцу своей эпохѣ и ея королевской власти. Съ одной стороны они образовали собою обильный контингентъ для замѣщенія госу-

дарственныхъ должностей, при чемъ, начавши съ низшихъ, они скоро просочились и въ высшія, какъ судебныя, такъ и административныя, положенія. Въ XVI и XVII столѣтіяхъ видимъ ихъ уже въ министерскихъ должностяхъ и въ государственныхъ совѣтахъ, куда Сюлли такъ тщетно привлекалъ аристократію; въ особенности видимъ ихъ въ судебныхъ парламентахъ, которые почти исключительно питались отъ средняго сословія, и которые созидали то, что было вторичною аристократіею, т. е. такъ называемую *haute bourgeoisie*. Съ другой стороны легисты были дороги для королевской власти общностью взаимнаго врага,—аристократіи и духовенства. Пропитанные духомъ римскаго права, легисты легко нашли въ немъ оружіе противъ этого врага, противопоставляя это новое право какъ феодальному, такъ и каноническому. Обоиими этими путями скрѣпляя свой союзъ съ верховной властью, съ правительствомъ, легизмъ въ то же время ронялъ аристократію и прочищалъ дорогу себѣ. Другого рода дебютомъ, отъ своего собственнаго имени, было появленіе третьяго сословія въ учрежденіяхъ законодательныхъ. Майскія и марсовы поля были собраніями только дворянства и духовенства. Обратившись съ теченіемъ времени въ *états généraux* и въ *états provinciaux*, они оставались сначала при томъ же прежнемъ составѣ. Но когда, съ освобожденіемъ городовъ, оказалось новое и при томъ значительное свободное сословіе, кутюмы требовали, а власть не препятствовала, чтобъ и оно допущено было въ эти собранія свободныхъ сословій. Такимъ образомъ, въ залахъ *états généraux* показалось то, что и названо съ этихъ поръ *tiers état*, т. е. среднее сословіе, подъ собственнымъ видомъ и именемъ. Если оно засѣдало еще отдѣльно отъ первыхъ двухъ, и если эти два, по большей части, численно преобладали надъ нимъ, то и то, и другое не всегда. Въ Лангедокѣ, на примѣръ, всѣ три сословія отбывали засѣданія вмѣстѣ, и, на 23 барона и 23 епископа, *tiers état* посылало сюда своихъ представителей ровно 46. Правда, что на этотъ разъ короли скоро повернулись спиной къ прежнимъ друзьямъ своимъ, а лицомъ обратились къ ихъ прежнимъ противникамъ; но теперь было уже поздно, и маневръ не помогъ. Новая социальная сила успѣла уже достаточно опереться, для того, чтобы не слишкомъ нуждаться въ поддержкѣ, тѣмъ болѣе, что на всякомъ другомъ пути монархизмъ все таки не могъ безъ нея обходиться. А потому, хотя генеральные штаты и

были раздавлены королями; но духъ буржуазіи, у котораго отнято было одно вмѣстилище, чрезъ то устремился только въ другое,— въ литературу, и здѣсь продолжалъ дѣлать социальное, чего не могъ продолжать политически. Проигрывая здѣсь въ непосредственности своего вліянія, онъ сталъ выигрывать за то въ сущности его. Доковавши прежде, вмѣстѣ съ королями, аристократію, онъ, со всей силой страсти, накинулся теперь на новаго своего врага, недавняго союзника,—королевскую власть и вступилъ съ нею въ бой въ одиночку. Аристократія же, хотя и подала руку монархизму, но она была теперь такой же безсильный союзникъ, какъ и врагъ. Въ этой ожесточенной борьбѣ всѣхъ трехъ силъ и засталъ ихъ 1789 годъ. Теперь-то выслужившійся выскочка, увѣренный уже въ силахъ своихъ, не задумался, устами Съейза, провозгласить, что онъ-то и есть сама нація:—изреченіе, приходившее на уста всякой политической силы, чувствовавшей, что съ нею отождествляется все общество, какъ монархической, восклицавшей: *l'état c'est moi*, такъ и патриціанской, именовавшей себя *populus romanus*. Дальнѣйшая затѣмъ работа буржуазіи была только развитіемъ и примѣненіемъ этого краткаго девиза тимократіи: *qu'est ce que c'est le tiers état? C'est la nation!* Все, при чемъ мы съ тѣхъ поръ присутствуемъ, есть только водруженіе и вкорененіе этого новаго всемірно историческаго знамени. А чтобъ доказать это, надо разсмотрѣть отношенія средняго класса къ современной ему цивилизаціи, культурѣ и гражданственности. Для этого полезно было бы выбрать опять такую страну, гдѣ бы тимократизмъ на столько же воплотился, какъ аристократизмъ въ Индіи. Но такъ какъ жизнь тимократій далеко еще не завершена, и потому подобный выборъ между ними былъ бы рискованъ; то остается ограничиться тимократіей вообще, т. е. ея всеобщими чертами. Начнемъ съ ея отношеній къ цивилизаціи новыхъ обществъ. Самое пророчество въ религіяхъ, начиная отъ Лютера и оканчивая новѣйшими американскими ересархами, требовавшее въ древности не только жречества и благородства, но и самой царственности и боговдохновенности, сдѣлалось нынѣ достояніемъ простыхъ профессоровъ, и даже портныхъ и ткачей. Философія и наука современная, за исключеніемъ весьма немногихъ аристократическихъ именъ, обязана всѣмъ своимъ цвѣтомъ единственно людямъ среднихъ классовъ. Сверхъ того, нѣкогда вполнѣ безмездныя и тѣмъ болѣе аристократичныя, профессіи эти стали платными и

тѣмъ болѣе буржуазными. Такимъ образомъ, всю цивилизацію тимократизмъ оттагалъ у аристократизма и окрасилъ своимъ цвѣтомъ. Вся эта цивилизація обязана не кому иному, какъ интеллигентной буржуазіи или, пожалуй, буржуазной интеллигенціи. Не меньше справедливо это и для культуры. Изящное искусство больше всего сродни аристократизму, и здѣсь онъ, и въ самомъ дѣлѣ, наибольше участвовалъ даже и теперь, какъ говорятъ имена Байрона и Гете. Но, тѣмъ не менѣе, вся масса поэтовъ и художниковъ есть, безъ сомнѣнія, среднесословная, начная отъ актера Шекспира и кончая евреемъ Гейне. Архитектуриство же, ваятелиство, живописаніе, музыкантство, да еще изъ-за хлѣба, положительно считается новою аристократіею непристойными для нея, и потому цѣликомъ сданы въ руки буржуазіи. Мало того, вѣкогда также гнушавшіяся гоно-раромъ, теперь эти профессіи не только не брезгають имъ, но основываютъ на немъ благосостояніе свое, увлекая за собою туда же и своихъ случайныхъ товарищей-аристократовъ. Въ искусствѣ политическомъ вся организація общества, вся политика ихъ, все право направляются въ ту или другую сторону не иначе, какъ по мановеніямъ тимократіи, не иначе, какъ съ ея собственныхъ точекъ зрѣнія и въ ея собственныхъ видахъ. Организація общества, вся складывавшаяся до сихъ поръ въ пользу благородности, теперь складывается только въ пользу благопріобрѣтенности, и если терпитъ первую, то лишь въ качествѣ второй. Броженія въ прежнихъ соціальныхъ организмахъ порождались излишествомъ или недостаткомъ благородства; теперь они производятся только излишкомъ или недостаткомъ богатства. Эта всеобщая тема производитъ самыя разнообразнѣйшія варіаціи, — новый признакъ, что тема въ большемъ ходу, что она сильно выживаетъ въ мірѣ. Разнообразіе это состоитъ въ томъ, что наша абсолютная тимократія, какъ всякій дозрѣвшій плодъ, расчленяется на такія же многообразныя формы, какъ нѣкогда аристократія. Такъ, прежде всего, есть у насъ тимократія монархическая, форма, которая наилучшую для себя почву нашла въ нашемъ старомъ свѣтѣ. Но въ то же самое время, какъ она начинала сознать это, на другомъ полушаріи, на дѣвственной почвѣ новаго свѣта, созидалось могущественное государство, которое, какъ сказочный богатырь, еще въ пеленкахъ своихъ сѣмѣло уже стряхнуть вѣковое иго своей метрополіи. А вслѣдъ за этимъ первенцемъ новаго свѣта

и новаго режима, и весь новый материкъ сталъ покрываться неизмѣнно тимократіями и неизмѣнно республиканскими. Другое, также достаточно обнаружившееся, расчлененіе и другой признакъ господствующаго сословія есть противоположеніе тимократіи свѣтской и тимократіи духовной, или буржуазіи и интеллигенціи. Одна есть тимократія промышленная, дѣятельная, другая — умственная, созерцательная. Если промышленникъ въ новомъ соціальномъ строѣ есть прямой наслѣдникъ древняго воина, то юристъ есть единственный преемникъ жреца. Третьяго рода контрастъ и разнообразіе образуется отгѣнками и въ собственно такъ называемомъ тимократизмѣ. Есть, наприимѣръ, тимократіи съ колоритомъ густо-аристократическимъ, какъ Франція, гдѣ такъ жадно усваиваются какъ буржуазіей, такъ и интеллигенціей всѣ преданія аристократизма, всѣ доспѣхи рыцарства. Есть другія чисто-тимократическія, гдѣ, какъ въ Германіи, самыя аристократіи, напротивъ, легко усваиваютъ нравы бюргерства. Есть тимократіи демократическія, гдѣ, какъ въ большей части славянскихъ земель, трудно и проводить черту между буржуазіей и простонародьемъ. Это, однакожь, не все. Есть отгѣнки посредствующіе и между этими; есть переливы тѣней еще болѣе тонкіе и деликатные, какъ англійскій между аристократизмомъ и тимократизмомъ, или скандинавскій между тимократизмомъ и демократизмомъ. А сколько же подобныхъ разнообразій организаціи должна еще представить со временемъ Америка, тимократія самоуправляющаяся! Политика современная обличаетъ героя своего также не въ высшихъ, а въ среднихъ классахъ. Весь круговоротъ событій, вся горячка исторіи разыгрывается уже не вокругъ верхнихъ слоевъ общества, а только вокругъ срединныхъ: то надъ ними, то въ нихъ самихъ, то подъ ними, такъ что они постоянно остаются центромъ всякаго совершающагося движенія. Вверхъ эта политика состояла, и состоитъ во многихъ мѣстахъ до сихъ поръ, въ борьбѣ третьяго сословія съ двумя прежними, при чемъ побѣда повсюду склоняется въ пользу средняго. Эта побѣда надъ аристократіей есть парламентаризмъ, и въ немъ пизанная палата съ ея львиной долей добычи. Эта побѣда надъ монархіей есть опутаніе ея той тимократической сѣтью, которая называется конституціонализмомъ. Америка же пошла еще дальше въ побѣдѣ, похѣривъ совсѣмъ и аристократію, и монархію. Внутренняя, домашняя политика тимократій достаточно уже обозначается

антагонизмомъ въ ней свѣтской и духовной тимократіи. До сихъ поръ, правда, духовная по большей части лишь подобострастно жметъ въ свѣтской, какъ всякая приживающаяся организація, особенно же въ лицѣ своихъ инженеровъ, механиковъ, техниковъ, агрономовъ, архитекторовъ, адвокатовъ, публицистовъ и всей тому подобной прикладной интеллигенціи, за что и награждается крупнѣйшими крохами на пиру владычицы. Но этому приживанію и этому союзу придетъ рано или поздно конецъ, и придетъ именно тогда, когда приживалка почувствуетъ въ себѣ силы къ тому. Впрочемъ, и теперь уже интеллигенція, не состоящая на непосредственной службѣ у буржуазіи, какъ ересеархи, философы, ученые, поэты и вообще вся болѣе или менѣе теоретическая интеллигенція, уже и теперь она поглядываетъ на буржуазію косо и изподлобья. Третья политика времени есть политика внизъ отъ средняго класса, но гдѣ онъ все-таки опять остается на первомъ планѣ и опять въ бою. Тамъ, воюя вверхъ, онъ самъ наступалъ; здѣсь, воюя внизъ, онъ перемѣнилъ фронтъ и обороняется; но оборона его такова покуда, что на блескъ ея сосредоточено все вниманіе зрителя. Словомъ, куда бы мы ни оглянулись, третье сословіе повсюду боецъ и повсюду побѣдитель. Но нигдѣ не найдемъ мы лучшаго подтвержденія этой истины, какъ въ мелкихъ изгибахъ частнаго и публичнаго права современныхъ обществъ. Если исторія въ самомъ дѣлѣ переломилась, если въ ней точно совершился крутой переломъ; то въ правѣ это должно дать себя чувствовать яснѣе чѣмъ гдѣ-нибудь, и на каждомъ шагу. И это такъ и есть. Въ семейномъ правѣ, прежнимъ тремъ властямъ, этому принципу аристократическому, она противопоставила свой—фиктивное равенство; легальности противоположила нравственность. Въ завѣщательномъ она пробуетъ дѣлать безграничною свою волю именно лишь по отношенію къ благопріобрѣтенности, къ движимости, къ собственности тимократической. Въ вещномъ она лелѣетъ только движимость, которой сама такъ обязана, не покровительствуя особенно ни поземельной, ни тѣмъ еще менѣе авторской собственности, и держа послѣднюю даже въ загонѣ: ни прошедшее, ни будущее не интересуется тимократію; ей любо одно настоящее. Въ субъектахъ этого права ей дороже всѣхъ тотъ, который всѣхъ больше ей на руку,—компанія. Въ договорномъ правѣ она сосредоточила всю свою изобрѣтательность также

на договорахъ о движимости, т. е. о своей, а не аристократической собственности. Въ уголовномъ правѣ ей ненавистнѣе всего идея религіознаго и политическаго преступленія, при которой нельзя было бы жить ни ея излюбленнымъ сектантамъ, философамъ, ученымъ, ни ея редакторамъ, публицистамъ, правовѣдамъ. Въ судебномъ правѣ она охотно провозгласила равенство всѣхъ и каждаго предъ судомъ, потому что такое равенство, оставаясь безъ богатства голымъ, все склоняется въ ея собственную пользу. Законодательное право устроила она такъ, что самое теплое мѣсто въ немъ принадлежитъ ей; тогда какъ представителямъ прошедшаго отведено едва замѣтное, а представителямъ будущаго и вовсе не отведено никакого. Королевскую власть свою она опутала по рукамъ и по ногамъ своей паутиной, такъ что та пошевелинуться въ ней свободно не можетъ. Должностное право она распредѣлила между собой все, благодаря выборамъ; а остаткамъ прошедшаго предоставила лишь парадныя должности, какъ придворныя, дипломатическія и нѣкоторыя военныя, не предоставляя пока почти ничего зачаткамъ будущаго. Подданическое ея право прославилось своимъ равенствомъ предъ закономъ, такимъ же голымъ для большинства населеній, какъ и равенство предъ судомъ. Свобода ея есть также единственно та, которая ей одной любя-дорога, какъ свобода говорить и разсуждать, ненужная ни клерикалу, ни работнику. Что же касается самаго близкаго ея сердцу междусловнаго права, то оно сложилось по слѣдующему плану. По составу своему, тимократія приняла въ свое основаніе то, что получила какъ наслѣдство отъ древности,—промышленность и торговлю. На этомъ подножіи воспитывался средній классъ, на немъ же онъ развернулъ и свою удаль-силу. Но развертываясь, онъ втягивалъ въ себя и множество другихъ элементовъ изъ окружающаго, какъ сверху себя, такъ и снизу. На египетскихъ памятникахъ, на примѣръ, надъ всякимъ живописцемъ или скульпторомъ всегда стоитъ надсмотрщикъ съ розгою въ рукахъ, — знакъ, что художники этого рода принадлежали къ подонкамъ общества; тогда, какъ на примѣръ, архитекторы были только изъ числа жрецовъ. Въ Индіи танцовщицами были только баядерки, храмовыя проститутки; тогда какъ поэтами были цари и принцы. Въ греческомъ и римскомъ складѣ жизни къ рабскимъ занятіямъ принадлежали специальности агрономовъ, педагоговъ, чтецовъ, переписчиковъ, секретарей, акте-

ровъ, музыкантовъ, пѣвцовъ и пѣвицъ, танцоровъ и танцовщицъ; тогда какъ ораторы были первые люди на свѣтѣ. Самая, впрочемъ, адвокатура переставала быть почетнымъ занятіемъ, если она обращалась въ ремесло, въ оплачиваемое занятіе. Самые подарки адвокатамъ были въ Римѣ то ограничиваемы, то вовсе запрещаемы. Гонораръ для писателей также не существовалъ, кромѣ какъ въ видѣ меценатства. Софисты, учившіе за деньги, были въ Греціи пренебрегаемы: Сократъ, Платонъ, Аристотель потому и почтенны, что не причастны этому униженію. Словомъ, личныя достоинства, личныя знанія, личный трудъ и талантъ не могли сами собою, помимо гражданства и собственности, приносить человѣку какую бы то ни было экономическую независимость, и какой бы то ни было нравственный почетъ. Личными занятіями хотя бы то и умственными, неприлично было, съ аристократической точки зрѣнія, наживать деньги. Между тѣмъ нынѣшняя абсолютная тимократія наша все это, всѣ эти зачумленные профессіи, вобрала въ себя смѣло и охотно, и вобрала безусловно, безъ запрета имъ быть средствомъ жизни. Съ другой же стороны, отъ прежнихъ высшихъ классовъ она оттянула къ себѣ всѣхъ архитекторовъ, всѣхъ ораторовъ, всѣхъ поэтовъ, все древнее земледѣріе, врачеваніе, астрономію, познаніе божескихъ и человѣческихъ законовъ, эту когда-то даже тайну и духовнаго, и свѣтскаго аристократизма, и все это снова воплотила въ себя, и обратила почти исключительно въ кость отъ костей своихъ. Произшла, такимъ образомъ, перетасовка, подобная подъятію и осѣданію геологическихъ породъ и пластовъ подъ дѣйствіемъ подземныхъ силъ: что было внизу, поднято; что было вверху, опущено. Всякое ремесло, мало мальски способное возвышаться до искусства, поднялось въ средній классъ снизу; а всякая малѣйшая интеллигентность, способная нисходить къ труду, спустилась сюда сверху. Такимъ образомъ, въ тимократіи остались, съ одной стороны, только чисто-ручной, мускульный и болѣе или менѣе черный трудъ; а съ другой стороны, осталась въ ея сытая праздность и апатическая неспособность къ труду. Мудрено ли, что, при такомъ положеніи дѣла, тимократія увлеклась и воскликнула о себѣ, что она-то и есть нація. Восклицаніе это было, конечно, фикціей, потому что только абсолютныя демократіи могутъ такъ говорить о себѣ съ полнымъ правомъ; но тѣмъ не менѣе эта фикція была уже гораздо большей истиной, чѣмъ подобная же ложь, предшествовав-

шая ей. Во всякомъ случаѣ политическія фікціи дѣйствуютъ еще неотразимѣе, чѣмъ юридическія, — и государство дѣйствительно отождествилось съ тѣхъ поръ съ тимократіей. Такой составъ ея сопровождается и другими существенными признаками, одинъ изъ которыхъ количественный, а другой качественный. Въ первомъ смыслѣ всякая аристократія есть положительное и очень узкое меньшинство общества, а древніе средніе классы составляли и еще меньшій процентъ населеній. Нынѣшніе же средніе классы несравненно обширнѣе всякой аристократіи, и составляютъ чуть ли не цѣлую половину своихъ обществъ. Наконецъ, что такое есть тимократія качественно? Очевидно, что это не только не каста, но даже и не сословіе. Въ Европѣ она можетъ быть еще разсматриваема, по крайней мѣрѣ, какъ сословіе, и именно среднее, потому что въ Европѣ есть нѣчто не только подъ нею, но пока еще и надъ нею. Въ Америкѣ же, гдѣ надъ нею нѣтъ уже совсѣмъ ничего иного высшаго, тимократія не можетъ быть третируема ни какъ средній классъ, ни даже вообще, какъ классъ. Тамъ это уже не средній, а столько же высшій, какъ и средній классъ, потому что тамъ возможна одна только классификація: на богатыхъ, достаточныхъ и бѣдныхъ. Это единственные тамъ высшій классъ, средній и низшій. Съ другой стороны, тамъ возможны развѣ еще почетныя профессіи, какъ, на примѣръ, законодательская, правительская, посланническая, судейская, адвокатская, редакторская, но не почетность положеній прирожденныхъ. А потому, если монархическая тимократія пресуществовала сословія въ классы, то республиканская начинаетъ претворять и эти послѣдніе въ классификацію по однѣмъ профессіямъ. Наконецъ параллельно съ такой культурой шла и такая же гражданственность. Героизмъ духовный, подвижничество, апахоретство знала и гражданственность браминская; героизмъ свѣтскій, военную храбрость знала и гражданственность греко-римская; тимократія же раскрыла богатство той добродѣтели, какой тамъ не было еще мѣста, — гражданскаго мужества, храбрости мирной. Одна борьба за свободу совѣсти, тянувшаяся столько вѣковъ, и повлекшая за собою такой длинный мартирологъ страдальцевъ отъ Абеяра до Гусса, способна была бы засвидѣтельствовать новое, неизвѣстное древнему міру, достоинство нравственное. А между тѣмъ, рядомъ съ этимъ, шла и другая такая же тяжба, за право мысли и слова, за право знанія, опять мало извѣстная древнимъ; и опять вела за собой цѣ-

люю вереницу подвижниковъ отъ Рожера Бэкона до Галилея и отъ Галилея до Фейербаха, Штрауса, Ренана и *tutti quanti*. Наконецъ, непрекращавшіяся въ новой исторіи внутреннія войны, революціи, междоусобія, борьба партій, все это усѣвало путь свой новыми подвигами гражданскаго мужества, начиная отъ Джона Гемпдена и кончая Копутами, Мадзини, Гарибальди и другими, имъ же имя легіонъ. Страданіе за истину, за убѣжденіе, за знаніе, этотъ принципъ, возведенный въ догматъ новой религіи и примѣненный первыми же христіанами, не переставалъ находить себѣ достойныхъ послѣдователей и по всей дальнѣйшей христіанской исторіи, и находилъ ихъ по преимуществу лишь въ среднемъ сословіи. Для аристократіи христіанской истина, знаніе, убѣжденіе не были дороги. Но и это не все: рядомъ съ героизмомъ политическимъ шлоъ экономическій, героизмъ находчивости и изобрѣтательности. Флавіо Джіойо, Васко-де-Гама, Колумбъ, Бартольдъ Шварцъ, Фаустъ и Гуттенбергъ, Аркрайтъ, Монгольфьеръ, Дагерръ, Уаттъ, Стефенсонъ, и проч. и проч., развѣ все это не чудеса предприимчивости, терпѣнія, настойчивости, не героизмъ гражданственности? и развѣ все это бароны, а не горожане, не купцы, не буржуа, не разночинцы?.. Все это въ концѣ концовъ показываетъ, что дѣйствующая нынѣ въ исторіи армія есть дѣйствительно и безусловно тимократія, а не аристократія и не демократія. Все это показываетъ, что она есть дѣйствительно та вторая общественная сила, которая создана исторіей послѣ первой такой же, и которая успѣла обуздать не только правительственную, но и предшествовавшую ей общественную силу. Все это показываетъ, наконецъ, что тимократія есть дѣйствительно тотъ общественный классъ, который воплощаетъ теперь въ себѣ всю цивилизацію, всю культуру, всю гражданственность эпохи, который отождествляетъ ихъ съ собою и себя съ ними. Въ этомъ-то смыслѣ она и есть тимократія абсолютная, и въ этомъ качествѣ своемъ она и стоитъ предъ судомъ исторіи. Оставалось бы теперь описать и самые подфазисы этого въ высшей степени вѣроятнаго отнынѣ выживанія, т. е. его разцвѣтаніе, процвѣтаніе и отцвѣтаніе, какъ сдѣлано это было въ очеркѣ аристократіи. Но передъ этимъ мы должны отступить въ виду того, что за жизни тимократіи очень трудно рѣшить, разцвѣтаетъ ли она, процвѣтаетъ или отцвѣтаетъ. Все, что можно въ этомъ смыслѣ допустить въ настоящую минуту, ограничивается только признаніемъ необходимости всѣхъ этихъ пе-

рипетій въ исторіи тимократизма, какъ были онѣ необходимы и въ развитіи аристократизма. Допуская же эту неизбѣжность, можно, по аналогіи съ аристократією, предположить: что разцвѣтаніе тимократіи имѣетъ быть равнозначительно съ развитіемъ свѣтскихъ организацій этого рода, т. е. буржуазій; что процвѣтаніе ея есть фазисъ тимократій духовно-свѣтскихъ, или, что то же, буржуазно-интеллигентныхъ, и что отцвѣтаніе отождествляется съ организова-ніемъ интеллигенцій или духовныхъ тимократій. Что же касается возвратнаго появленія буржуазій, то таковое, если случится, будетъ уже порогомъ между выживаніемъ и отживаніемъ. Гдѣ и въ какое время можно ожидать примѣненія всѣхъ этихъ подфазисовъ, рѣшать также слишкомъ еще преждевременно; но это не мѣшаетъ наблюдать предрасположеніе того или другого общества къ той или другой изъ этихъ складокъ. Франція, напримѣръ, оказывается, быть можетъ, предрасположеніе къ складкѣ свѣтско-буржуазной; Германія — къ буржуазно-интеллигентной; большинство славянскихъ странъ — къ чистой интеллигенціи. Мѣсто же возвратной, анаморфической буржуазіи будетъ тогда въ новомъ свѣтѣ, какъ преддверіи абсолютныхъ демократій. Но едва мы предположимъ такіа разновидности тимократизма въ организаціи его, какъ мы должны уже допустить и соотвѣтствующую имъ разновидность въ политикѣ. Общая фикція класса, что онъ есть вся нація, должна будетъ распасться на двѣ частныя, по одной изъ которыхъ вся нація въ буржуазіи, а по другой — въ интеллигенціи. Отсюда неминуемая борьба двухъ цензовъ: имущественнаго и образовательнаго; а въ этой борьбѣ и вся исторія политики. Сообразно же съ такой организацію и такою политикою, неизбежно должна направляться и исторія тимократическаго права во всѣхъ своихъ углахъ и закоулкахъ. Такимъ образомъ возникаетъ противоположность правъ богатства и правъ знанія и все разнообразіе комбинацій того и другого рода правъ между собою. Вотъ вся та исторія, всѣ тѣ борьбы и побѣды, какія, по свойствамъ тимократической организаціи, политики и права, открыты впереди для живущихъ и дѣйствующихъ въ наше время обществъ.

Но и эта блестящая лѣтопись не обошлась безъ своего скорбнаго листа. Чѣмъ для аристократій было рабство, тѣмъ для тимократіи сталъ *пролетаріатъ*. Пролетаріатъ, подобно всѣмъ другимъ явленіямъ общезжитія, гораздо древнѣе тѣхъ эпохъ, когда онъ даетъ себя слишкомъ чувствовать. Бѣдность современна самому на-

чалу исторіи. Самый страшный пролетаріатъ, повсемѣстный и поголовный, представляется бытомъ дикихъ людей, гдѣ ни одна человѣческая жизнь не обезпечена навѣрное отъ голодной смерти, и гдѣ необходимости такого положенія приводятъ къ людоедству и самоубиству. Въ государствѣ вопросъ этого обезпеченія уже разрѣшонъ и разрѣшонъ больше всего институтомъ рабства. Большинство населенія въ аристократическихъ государствахъ на этотъ счетъ вполне обезпечено: оно обезпечено самымъ рабствомъ своимъ, своей принадлежностью кому либо другому, въ чьихъ собственныхъ интересахъ состоитъ поддерживать рабскую жизнь и здоровье. Это примитивный, но вѣрный способъ обезпеченія. Но съ тѣхъ поръ, какъ господина и раба не стало, какъ вмѣсто нихъ оказались только богатый и бѣдный, изъ которыхъ каждый ничѣмъ въ отношеніи другого не обязанъ и не заинтересованъ; съ этихъ поръ вопросъ пропитанія, который со временъ дикости, казался навсегда сданнымъ въ архивъ исторіи, восстанавливается снова во всей своей ужасающей наготѣ. Но какъ же могло это произойти, при такой несомнѣнной исторической прогрессивности тимократіи, въ сравненіи съ аристократіей? Какъ это могло случиться при столькихъ побѣдахъ ея и трофеяхъ въ культурѣ?.. Слѣдующимъ образомъ: тимократія дѣйствительно перевернула вверхъ дномъ всѣ соціальныя отношенія; но перевернула ихъ тѣмъ, что всѣ основала на собственности, а не на породѣ. А для того, чтобы собственность была доступнѣе, чѣмъ при аристократизмѣ, подоспѣлъ новый видъ ея, движимость. Но тѣмъ не менѣе, чтобы ощутить этотъ переворотъ, надо прежде приобрести эту собственность, надо сдѣлаться изъ пролетарія бюргеромъ. Она выдвинула даже великое знамя авторской собственности, и снова для всѣхъ желающихъ; но чтобы воспользоваться этимъ новымъ путемъ самообезпеченія, надо прежде не только запастись хлѣбомъ и досугомъ, но и воспользоваться ими, чтобы запастись знаніемъ. Всѣ ежедневныя житейскія отношенія она подчинила господству только свободнаго и непринужденнаго договора; но договоръ не принужденъ и свободенъ только между равно богатыми или бѣдными,—во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ онъ тоже принужденіе и таже неволя, но только нравственная, а не физическая. Тимократія умѣла возвести свой договоръ даже въ конкуренцію съ самымъ закономъ; но того договора, которымъ живетъ все четвертое, безграмотное сословіе,—договора словеснаго, она не хочетъ

признать даже и за договоръ. Тимократическое наказаніе равно для всѣхъ и каждаго; но тимократическое помилованіе, снисхожденіе далеко не равно. Судебное право снова равно и для всѣхъ одинаково; но судья, но адвокатъ, но прокуроръ, но присяжный, но пресса, все это сама тимократія, тогда какъ пролетаріатъ представленъ въ судѣ только на скамьѣ подсудимыхъ. Все вообще писанное частное право есть исключительно тимократическое, такъ что право пролетаріатское, обычное, имъ совершенно игнорируется. Живя постоянно по одному изъ нихъ, вся масса населенія принуждена судиться совсѣмъ по другому, которое она также мало понимаетъ, какъ судья понимаетъ ея собственное. Грандіозный конституціонализмъ, величественная представительность правленія, хитроумное раздѣленіе и балансированіе властей, все это для большинства населеній пустыя слова, которыя при случаѣ оно и продаетъ охотно за мѣдный грошъ. Великія подданническія права на свободу мысли и совѣсти, свободу слова и сходокъ, суть для него роскошь, до которой у него никогда не доходитъ очередь; и если буржуазія умѣла иногда увлечь его въ борьбу за эти свои блага, то сама никогда не была увлечена въ его собственные боръбы, каковы, напримѣръ, стачки. Наконецъ, свободное междусословное право предоставляетъ пролетарію зависѣть уже не отъ аристократа, какъ нѣкогда, а отъ его молодаго наслѣдника, буржуа, который станетъ эксплуатировать его не по праву барщины, а по добровольному обоюдному соглашенію, и который, въ случаѣ бѣды или болѣзни, не станетъ уже кормить и лечить его, какъ нѣкогда раба, а выброситъ на улицу, какъ равнаго и свободнаго гражданина. Спеціальный изслѣдователь этого вопроса Токвиль говоритъ по этому поводу: территоріальная аристократія была обязана, или закономъ или обычаемъ, спѣшить на помощь своимъ слугамъ и облегчать ихъ бѣдствія. Но мануфактурная аристократія нашихъ дней, обѣднивши и оскотивши людей, которые ей служатъ, вручаетъ ихъ, во времена кризисовъ, одной лишь общественной благотворительности. Такимъ-то образомъ и возникло то темное и зловѣщее пятно на порфирѣ тимократіи, которое смѣнило собою пятно аристократическое. Рабство, унижительное политически, выгодно было экономически; пролетаріатъ же, политически возвышающій челоуѣка надъ работою, экономически опять унижаетъ его до раба. Перемѣнились карты въ рукахъ, но игра осталась та же. Такимъ-то образомъ возникъ

вмѣстѣ съ этимъ и тотъ грозный вопросъ, который, какъ тѣнь Банко, сталъ на пиру у тимократіи и смутилъ веселость ея, вопросъ, развязка котораго захватываетъ весь духъ у современнаго человѣка. Гдѣ же исторія можетъ найти, гдѣ ищетъ она эту развязку? Найти можетъ она лишь въ томъ, что называемъ мы относительнымъ демократизмомъ тимократіи, а ищетъ она слѣдующей порою. Когда тимократія занимала упраздняемое мѣсто аристократіи, то вмѣстѣ съ тѣмъ она заняла, какъ мы видѣли, и вакансію интеллигенціи. Но, размѣщая въ себѣ эту послѣднюю, она отвела ей мѣсто не въ крупной буржуазіи и даже не въ средней, а въ мелкой, еле-еле достаточной для того, чтобы дать человѣку досугъ выучиться. Но этимъ путемъ въ интеллигенціи оказалось гораздо больше природы труда, чѣмъ природы капитала; а потому этимъ же путемъ буржуазія и разъединила съ собою интеллигенцію, и толкнула ее въ объятія работника, въ дружбу съ четвертымъ сословіемъ, въ союзъ съ пролетаріатомъ. У труда, у рабочаго, нѣтъ нынче болѣе вѣрнаго друга и союзника, какъ интеллигенція. И тотъ, и другая суть одного и того же поля ягоды, но лишь на двухъ разныхъ его оковечностяхъ, мускульной и нервной. Ихъ гонораръ и заработная плата суть родные братъ и сестра, такъ что кто захочетъ добра одному, непременно долженъ хлопотать и о другомъ. Ихъ неизмѣнно также дружить и то, что у нихъ обоихъ одинъ и тотъ же врагъ, — буржуазія. Словомъ, какъ интеллигенція, такъ и рабочіе могутъ выѣхать въ люди только другъ на другѣ. Первая, если не сознательно, то хоть инстинктивно, уже, повидимому, и чувствуетъ это положеніе дѣла; вторые же весьма еще далеки не только отъ такого сознанія, но даже отъ такого ощущенія. Интеллигенція пока еще воображаетъ, что она великодушничаетъ, что ругаетъ за другихъ, а не за себя самое; пролетаріатъ же пока еще думаетъ, что она такой же ему противникъ, какъ и буржуазія. Но рано или поздно оба осмотрятся, положеніе выяснится, и тогда-то возможенъ станетъ демократическій поворотъ въ тимократической исторіи. Когда и гдѣ это случится, тамъ и тогда дрогнетъ и скипетръ въ рукахъ буржуазіи. Съ этихъ только поръ можетъ открыться серьезная борьба за реорганизацію тимократіи, насколько она для этого организма доступна, за политику ея и за ея право. Боролась и древность съ илотами и рабами; но тамъ она и знала, что это борьба частная, мимолетная, скоропреходящая, не такая, какъ борьба съ

низшими разрядами аристократій. Предстоящая же нынѣ борьба съ пролетаріатомъ имѣетъ всѣ видимости борьбы систематической, отчаянной, на жизнь и на смерть. И длится она будетъ до тѣхъ поръ, пока продлится союзъ интеллигенціи и пролетаріата, съ одной стороны, и союзъ буржуазіи, аристократіи и монархизма съ другой. А союзы эти будутъ продолжаться, пока продолжится взаимность интересовъ у союзниковъ. Исходъ этой борьбы долженъ быть весьма различенъ, смотря по обществамъ, гдѣ будетъ она имѣть мѣсто. Въ однихъ изъ нихъ она вовсе можетъ не удался, можетъ даже быть совсѣмъ не допущена, какъ граховская въ Римѣ. Это перспектива тѣхъ въ особенности обществъ, которыя слишкомъ много уже израсходовали энергіи на другія, прежнія боренія. Въ такихъ обществахъ и жизненность ихъ скорѣе пойдетъ назадъ, регрессъ ихъ поторопится. Но чѣмъ больше непочатыхъ силъ, чѣмъ новѣе для нихъ эта очередная борьба, тѣмъ, очевидно, вѣрнѣе и успѣхъ въ ней, вѣрнѣе и реорганизація, политика и право въ видахъ интеллигенціи и пролетаріата. Однажды же, что новый боецъ одолѣетъ стараго, оба союза распались. Интеллигенція, выявивши всѣ свои сходства съ пролетаріатомъ, станетъ теперь проявлять всѣ свои разницы съ нимъ, обнаруживать всю свою противоположность съ прежнимъ другомъ. Отсюда, вступивши на мѣсто буржуазіи, она станетъ теперь также эксплуатировать для себя ручной трудъ, какъ буржуазія эксплуатировала когда-то ея собственный, нервный. И вотъ, прежніе антагонисты интеллигенціи станутъ теперь ей подслуживаться, а прежніе союзники ея ошечинятся противъ нея. Но этимъ открывается дверь въ совсѣмъ новый горизонтъ.

Если все, что до сихъ поръ изложено по исторіи культуры, способно увѣрнить то предположеніе, по которому аристократизмъ и тимократизмъ такъ же преемственны во всеобщей исторіи, какъ и въ каждой частной, и по которому двѣ эти великія государственныя формаціи дѣйствительно суть уже совершившійся фактъ; то трудно устоять и предъ заключеніемъ о такой же преемственности формаций тимократической и *демократической*. А воль скоро такъ, то радикально-демократическіе идеалы отдаляются отъ насъ на неизмѣримое разстояніе. Конечно, возможны и въ продолженіе тимократическаго режима извѣстныя перемѣны и улучшенія въ направленіи демократическомъ; но всѣ они не могутъ имѣть характера существенныхъ, радикальныхъ, всѣ должны быть болѣе или менѣе

частными и паллиативными, всё могут слагать собою только то, что мы называемъ демократизмомъ относительнымъ, демократизмомъ тимократіи. Всеобщая же и основная переменна, которая относительную демократію претворила бы въ абсолютную, нуждается въ перестройкѣ обществъ, съ самаго ихъ основанія, то-есть съ ихъ территорій и ихъ населеній, нуждается въ новой, въ третичной формациіи государствъ. Подобный переломъ исторіи не менѣе крутъ, чѣмъ и кризисъ отъ аристократическаго поколѣнія государствъ къ тимократическому; а потому и для совершенія его нужны, по крайней мѣрѣ, тѣ же условія, какія нужны были тамъ. Для самой же исторіи этой новой формациіи необходимо, чтобы источники достатка для низшихъ слоевъ населенія были открыты во что бы то ни стало; и при томъ источники или средства естественные, а не искусственные, такіа средства, которыя не нуждались бы въ насильственной поддержкѣ извнѣ, со стороны законодательствъ; словомъ, такіа же, какія средній классъ нашолъ для себя въ движимости, въ промышленности, въ легизмѣ, въ естествознаніи, а аристократія — въ недвижимости, въ земледѣліи, въ войнѣ, въ математикѣ. Необходимо, чтобы эти обеспеченные наконецъ пролетаріи съумѣли и успѣли усвоить себѣ равныя съ высшими классами знанія и даже превзойти ихъ въ нихъ. Необходимо, чтобы они овладѣли не только всею цивилизаціей, но и всею гражданственностью эпохи. Необходимо, чтобы эти обогащенные и просвѣщенные подонки обществъ подъемомъ своимъ прорвали кору двухъ высшихъ, лежащихъ надъ ними наслоеній и, пришедши въ одинъ съ ними уровень, сперва раздѣлили съ ними власть и культуру, а потомъ и овладѣли бы ею болѣе или менѣе исключительно, какъ законное большинство. Нужно, чтобы вся организація обществъ основалась тогда не на богатствѣ, которое больше не различалось бы, какъ нынче перестала различаться порода, а единственно на трудѣ, во главѣ котораго естественно стать на первый разъ труду умственному. Надо, чтобы единственнымъ ценомъ такихъ обществъ сдѣлался цензъ образовательный и воспитательный, и единственною общественною классификаціей раздѣленіе на просвѣщенныхъ, образованныхъ и грамотныхъ; при чемъ и вся политика состояла бы въ борьбѣ за просвѣщеніе и за воспитаніе. Необходимо, чтобы всѣ общественныя профессіи всѣхъ родовъ и видовъ сдѣлались равно почетными; а для того необходимо, чтобы механическія, мускульныя занятія обѣлились и были распредѣлены

между всѣми параллельно съ интеллектуальными, безъ чего ремесла, ручныя занятія никогда не могли бы достигнуть почтенности всѣхъ прочихъ. Надо было бы, чтобы вся игра права сосредоточилась на правахъ знаній и правахъ нравственности. Нужно было бы постепенное раскрытіе обширнаго разнообразія подобныхъ организацій, коль скоро имъ приходится быть господствующими, какъ на примѣръ. разнообразіе демократій монархическихъ и республиканскихъ. Нужно было бы расчлененіе господствующей интеллигенціи на свѣтскую или практическую и духовную или теоретическую, другими словами на цивилизующую и на гражданствующую, пока обѣ, послѣ новой взаимной борьбы, не сольются въ одно и не сравняются. Нужны были бы основанные на всѣхъ предъидущихъ признакахъ оттънки демократій аристократическихъ, тимократическихъ и чисто-демократическихъ. Нужно было бы, чтобы цивилизующая интеллигенція, въ союзѣ съ цивилизуемой массой, вооружилась противъ преобладающей гражданской, и стерла бы ея привилегіи въ общежитіи. Нужно, наконецъ, чтобы и послѣдняя изъ политическихъ фикцій, фикція интеллигенціи вообще, по которой она-то и есть суть общества, исчезла предъ равнымъ, наконецъ, распредѣленіемъ знаній и нравственности по всему обществу. Но такъ какъ все это немислимо для такихъ обществъ, какъ современные намъ, съ такою закваскою, съ такимъ прошедшимъ, съ такимъ историческимъ воспитаніемъ, какія до сихъ поръ излагались, то и приходится заключить, что все это должно быть относимо далеко напередъ въ будущее, туда, гдѣ мѣсто третьему поколѣнію государствъ, специально демократическому.—Мало того и здѣсь придется укрощать не одну изъ розовыхъ надеждъ нашей фантазіи, и здѣсь трудно ожидать какого бы то ни было рая. Наоборотъ, трудно и здѣсь не ожидать той же борьбы, тѣхъ же страстей, той же противоположности интересовъ, а вслѣдствіе всего этого и той же мрачной стороны абсолютнаго демократизма, какая свойственна всему человѣчески прекрасному и великому. Одною изъ такихъ язвъ этой формации вѣрнѣе всего можетъ быть личная неспособность, проистекающее отсюда сравнительное невѣжество и недостойнство, которое станетъ бороться противъ фальшивости демократической фикціи и во имя той окончательной истины, по которой государство есть само общество и все общество. Вопросъ экономическій здѣсь ступовывается и на его мѣсто выступаетъ вопросъ интеллектуальный и моральный. Задачи

культурности тутъ уже не интересны, да по большей части и разрѣшены всѣ; весь же интересъ поглощаютъ и рѣшеній требуютъ только проблемы цивилизаціи и гражданственности, т. е. уравниеніе знаній и нравовъ, уравниеніе умственного и нравственного достоинства людей. Съ этимъ-то послѣднимъ затрудненіемъ, съ невѣжествомъ, съ грубостью, съ *вульгарностью*, скорѣе всего и придется считаться демократизму, какъ предмѣстникамъ его пришлось сводить счеты съ рабствомъ и пролетариатомъ.

Какъ ни долго останавливаемся мы надъ междусословнымъ правомъ, но невозможно разстаться съ нимъ, не сказавъ ничего о томъ, что называется равенствомъ. Какъ общимъ результатомъ и содержаніемъ подданныческаго права есть такая или иная мѣра свободы, такъ суммированіемъ всего междусословнаго права бываетъ обыкновенно мѣра равенства. Но отдать себѣ отчетъ въ историческомъ теченіи этого блага теперь уже легко. Идеальное всеобщаго равенства современенъ самому началу исторіи; но только не всегда одинаково понимается. Изъ всѣхъ вышеизложенныхъ частныхъ очевидно, что первому поколѣнію государствъ принадлежитъ только самое отвлеченное изъ всѣхъ возможныхъ понятій этого рода. Браминская культура допускала, на примѣръ, равенство лишь въ загробной жизни. Только тамъ судра, да и то лишь послѣ множества переселеній и испытаній, могъ возвыситься до браминства; при жизни же никогда и никакъ. У грековъ и римлянъ такое же равенство наступаетъ немедленно послѣ смерти; но все-таки только по смерти, только въ будущей жизни. Тамъ, будетъ-ли то въ тартарѣ или въ елисейскихъ поляхъ, всѣ тѣни равно безличны и равно безразличны. Словомъ, всеобщее равенство древности есть равенство чисто *идеальное*. Равенство нашего времени далеко еще отъ реальнаго, но не меньше далеко и отъ этого, слишкомъ уже идеальнаго. Оно состоитъ, какъ мы видѣли, въ равенствѣ всѣхъ предъ закономъ, въ равенствѣ предъ судомъ, и въ равенствѣ предъ администраціей, короче въ правовомъ равенствѣ. Во всякомъ случаѣ, оно есть уже земное, а не небесное, и тѣмъ далеко превосходитъ древнее. Но тѣмъ не менѣе это есть пока лишь равноправность стремленія, но не достиженія; это есть равенство *потенціальное*, но безъ возможности осуществленія. Мы видѣли, что въ частностяхъ своихъ все тимократическое право обманчиво, *лицемѣрно*, такъ что и все создаваемое имъ равенство нельзя оттѣнить иначе какъ *фиктивное*. Борьба за эту фикцію и составляетъ весь

интересъ текущей исторической минуты. Единственно возможный исходъ этой борьбы есть большая или меньшая реализація такой до сихъ поръ чисто-юридической фивціи, такъ что только въ будущемъ общее равенство можетъ сдѣлаться, наконецъ, *реальнымъ*.

Въ матеріальному государственному праву принадлежитъ еще экономическое, т. е. податное и повинностное. Но входить въ такія частности экономической исторіи здѣсь вовсе не мѣсто. Если даже организацію и политику экономическую мы упоминали лишь мимоходомъ, то тѣмъ больше такъ надо поступить съ правомъ, указавъ для него только мѣсто въ общей системѣ. А потому мы пользуемся этимъ случаемъ только для того, чтобы вновь повторить, что позитивной экономіи не будетъ до тѣхъ поръ, пока она не будетъ основана на исторіи экономической. Столѣтнее топтаніе ея на одномъ и томъ же мѣстѣ есть лучший тому свидѣтель. Во все это время возможна была экономія философская, экономія поэтическая, но никакъ не научная. Мало того, и самая исторія экономическая немыслима прежде общей, политической исторіи такъ же точно, какъ нельзя изучать часть помимо всякаго представленія о ея цѣломъ. И такъ, не останавливаясь на правѣ экономическомъ, мы гораздо больше сдѣлаемъ для него, если прямо перейдемъ къ дальнѣйшему политическому, а именно къ формальному государственному праву. А какъ одно изъ такихъ правъ, предварительное, предпослано уже этому обзору, то остается другое, послѣдующее.

Послѣдовательнымъ формальнымъ правомъ называемъ мы то, которое состоитъ въ примѣненіи матеріальнаго права къ жизни, т. е. исполнительное или административное. Какъ на стражѣ частнаго права стоитъ судъ, такъ на стражѣ государственнаго—администрація. Если тамъ стороны всякаго процесса суть отдѣльныя лица, то въ процессѣ административномъ сторонами всегда суть государство и общество, правительство и народъ, власть и подвластные. Притязанія государства къ обществу и общества къ государству суть тѣ тяжбы, которыя ежедневно разрѣшаются администраціею. А какъ при этомъ невозможно обходиться безъ представителей той или другой стороны, то отсюда возникаютъ и двѣ администраціи. Если смотрѣть съ точки зрѣнія населенія, то эти двѣ администраціи суть: одна—государственная, правительственная, бюрократія; другая—общественная, народная, земство. Если же

смотреть съ точки зрѣнія территоріи, то администраціи эти суть одна—центральная, столичная; другая — мѣстная, провинціальная. Обѣ онѣ существуютъ во всѣхъ мѣстахъ и во всякое время; но разница ихъ по мѣстамъ и временамъ только во взаимномъ ихъ отношеніи, въ пропорціяхъ между ними. Бюрократическая, центральная администрація обыкновенно спускается съ вершины общественной пирамиды, распространяясь, по мѣрѣ возможности, до самаго ея основанія. Земская, мѣстная, обыкновенно, напротивъ, поднимается вверхъ съ этого дна, стремясь, по возможности, распространиться до самой вершины. Точка, въ которой онѣ встрѣчаются въ данное время и въ данной мѣстности, предѣль, до котораго каждая достигаетъ по мѣстамъ и временамъ, составляютъ, въ свою очередь, одно изъ отличныхъ мѣрилъ культурности. Это настоящій градусникъ степеней государственной культуры. А потому отношенія эти, этотъ балансъ обѣихъ властей, обѣихъ системъ, и составляютъ собой все существенное содержаніе административной исторіи. Вмѣстѣ съ этимъ получается и новый родъ централизаціи и децентрализаціи. Выше, въ верховномъ правѣ, мы видѣли одинъ такой родъ: обще-государственный, правительственный вообще. Теперь мы видимъ возможность централизаціи и децентрализаціи административной, гдѣ все управление можетъ быть или сосредоточено въ одной правительственной администраціи, или же, напротивъ, разсредоточено по всей земской. Этотъ новый родъ сгущенія или разрѣженія власти можетъ, въ свою очередь, объявляться опять двумя видами, смотря по тому, относится ли онъ къ личному составу или къ территоріи. Въ первомъ случаѣ каждая такая централизація будетъ корпораальною, іерархическою; во второмъ — территориальною, областною. Отсюда весь административный процессъ исторіи можно еще квалифицировать какъ историческую борьбу между іерархическою и областною централизаціею, съ одной стороны, и такою же децентрализаціею, съ другой. Наконецъ, нужно ли добавлять, что вмѣстѣ со всякой централизаціею или децентрализаціею растетъ и соотвѣтственное иноуправленіе или самоуправленіе. Въ верховномъ правѣ это были иноуправленіе и самоуправленіе опять обще-государственныя, правительственныя; здѣсь же это есть иноуправленіе и самоуправленіе только административное. А ихъ борьба между собою есть опять все содержаніе, весь процессъ административной исторіи. Мы станемъ слѣдить этотъ разносторонній процессъ отдѣльно въ монархіяхъ и отдѣльно въ республикахъ.

Начинается лѣтопись государствъ полнымъ преобладаніемъ правительственной администраціи надъ общественною, образцами котораго могутъ служить Китай, Мексика, Перу. Въ Китаѣ, до сихъ поръ даже, правительственная администрація пронизываетъ сверху внизъ всю пирамиду, и достигаетъ до самыхъ селъ, гдѣ администрація эта руководить населеніемъ даже въ его полевыхъ работахъ. Есть, напримѣръ, чиновникъ, завѣдывающій межами, цзанъ-жинъ, межевникъ; есть другой, вѣдающій удобреніе полей, цзо-жинъ, навозный; есть руководящій посѣвами, суй-жинъ, бороздной. Въ Мексикѣ и Перу полевые работы производились также по казеннымъ нарядамъ и подъ казеннымъ присмотромъ. Здѣсь были казенные чиновники и для наблюденія за частной жизнью жителей, ихъ столомъ, одеждою, помѣщеніемъ, чистотою. Пока самыя элементарныя привычки общежитія составляютъ еще новостъ, онѣ повсюду вгоняются клиномъ. Правительства такихъ общежитій ни въ чемъ не полагаются на самое общество, и все принимаютъ на самихъ себя. Въ чистыхъ государствахъ это менѣе истинно чѣмъ въ патріархальныхъ, но все-таки не дѣлается ложью. Египетская администрація представляла доведенный до высшей степени полицейскій надзоръ надъ обществомъ. Вся жизнь частныхъ лицъ была здѣсь опредѣлена до малѣйшихъ подробностей и находилась подъ непрестаннымъ контролемъ: каждый египтянинъ долженъ былъ отдавать отчетъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ, т. е. въ занятіяхъ, доходахъ, имуществѣ, семейномъ положеніи. Такова или почти такова бюрократія и на всемъ остальномъ монархическомъ востоцѣ. Повсюду здѣсь правительственная администрація, бюрократія, достигаетъ до самыхъ основаній общества, не оставляя почти никакого мѣста администраціи общественной, земству; а если и оставляетъ его, то лишь при полномъ подавленіи этой нижней администраціи верхнею, что и производить, во всякомъ случаѣ, крайнюю централизацію іерархическую. Она тѣмъ крайнѣе, что въ этой выживающей верхней администраціи въ такомъ же точно отношеніи находятся и собственныя ея инстанціи. Каждому подчиненному вѣряется здѣсь какъ можно меньшая доля самостоятельной власти, а каждому начальнику—какъ можно большая въ отношеніи подчиненнаго. Власть каждой низшей ступени іерархической лѣстницы сдвигается къ каждой верхней, откуда и происходитъ то, что все общество сжато въ одно правительство, а все правительство въ

одного монарха. Параллельно съ этой конденсаціею іерархическою идетъ и территориальная. Каковы бы ни были области государства, хотя бы это цѣлыя бывшія царства, всѣ они управляются непосредственно изъ столицы, какъ всѣ номы Египта. А все это вмѣстѣ, обѣ эти централизаціи, и производятъ собою картину административнаго иноуправленія, или безусловнаго господства администраціи правительственной надъ общественною. Гораздо менѣе общепринято думать, чтобы и въ эти эпохи имѣла уже какое-либо мѣсто администрація общественная, земство, а вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовательно, и какая-нибудь децентрализація административная, будетъ ли то іерархическая или областная, какое нибудь административное самоуправленіе. Между тѣмъ и тамъ, гдѣ нѣтъ, повидимому, ни малѣйшихъ ихъ признаковъ, они все-таки существуютъ въ зародышѣ. Правда, такой мінімумъ самоуправленія ограничивается тамъ только самоуправленіемъ семьи, одной этой элементарнѣйшей монады общежитія; но все-таки онъ имѣетъ свой корень, и имѣетъ его тамъ, откуда идутъ всѣ общественныя учрежденія. Такимъ самоуправленіемъ, по видимому, и ограничивалась общественная администрація въ Китаѣ, Мексикѣ, Перу и можетъ быть, даже въ Египтѣ. Но въ Индіи самоуправленіе идетъ уже нѣсколько дальше. Община, городская, такъ если не сельская, древнѣе, какъ извѣстно, всякаго государства, подобно тому, какъ семья древнѣе самой общины и, при основаніи каждаго изъ нихъ, давно уже еѣмъ нибудь и какъ нибудь управлялась. Вотъ это-то управленіе обыкновенно и оставляется общинамъ, а въ особенности сельскимъ, даже послѣ основанія государства; и оно-то служитъ обыкновенно другимъ скромнымъ убѣжищемъ децентрализаціи, самоуправленія, земства въ аристократическихъ монархіяхъ или деспотіяхъ. Уже одна трудность, одна невозможность для бюрократической администраціи проникнуть сюда заставляеть ее останавливаться на этомъ порогѣ и оставлять тамъ управленіе на произволъ мѣстныхъ властей. А эта случайность и сохраняетъ для будущаго зерно совѣмъ иного плода. Явные признаки существованія такой мѣстной администраціи видны, какъ сказано, еще въ Индіи, гдѣ каждая сельская община управляется болѣе или менѣе сама собою, и тѣмъ образуетъ новый, хотя и малозамѣтный ярусъ самоуправления. Первый—семья, второй—община. Еще болѣе болѣе районъ самоуправления и еще высшій ярусъ его видимъ въ Ассиріи и Персіи. Ассирія совѣмъ еще не знаетъ

инкорпорированія провинцій, и всѣ завоеванія свои всегда представляеть самимъ себѣ, откуда и бунты. Въ Персіи покореннымъ провинціямъ также оставался обыкновенно ихъ собственный законъ и собственные начальники, за исключеніемъ одного сатрапана-мѣстника. Въ сатрапіи іонійской, напримѣръ, Карія сохраняла своего царя; греческіе города въ Персіи имѣли своихъ тирановъ; Лидія составляла наслѣдственное владѣніе Гарпага; Каппадокія сохраняла также всѣ мѣстныя учрежденія. Также точно въ сирійской сатрапіи Іерусалимъ управлялся своимъ первосвященникомъ, Самарія—своимъ князькомъ, финикійскіе города сберегли, каждый, свое собственное управление. Нѣкоторые же изъ персидскихъ сатрапій оставлены даже вовсе безъ царскаго сатрапа и роль его отправляли мѣстные правители, какъ, напримѣръ, Тигранъ I въ Арменіи, или цари изъ рода ахеменидовъ въ Понтѣ. Конечно, это мало похоже на то, что называется мѣстнымъ самоуправленіемъ нынче; но не факты надобно сжимать или растягивать по терминамъ, а термины по фактамъ; и коль скоро выше исчисленные факты имѣли мѣсто, то ихъ нельзя подвести никуда больше, какъ подъ понятіе мѣстнаго и именно провинціального самоуправления, свойственнаго азіатской деспотіи. Должностныя желица этого самоуправления, какъ видно изъ предъидущихъ примѣровъ, опредѣляются здѣсь, согласно общему должностному праву, или наслѣдственностью или назначеніемъ. Правда, все это мѣстное управление состояло каждую минуту подъ угрозою центрального. Такъ сатрапъ Оронть нисколько не задумался, и даже безъ вѣдома царя, казнить самосскаго тирана Поликрата; такъ въ Египтѣ свирѣпый произволъ сатрапа Аріанда вызвалъ неудовольствіе самого царя и казнь этого сатрапа. Да и вообще каждый сатрапъ могъ парализовать мѣстныя права на каждомъ шагѣ, такъ что административное самоуправленіе могло быть ежеминутно останавливаемо административнымъ иноуправленіемъ. Но все это должно быть зачисляемо только на счетъ крайняго тяготѣнія центрального иноуправленія надъ мѣстнымъ самоуправленіемъ; но послѣдняго, на сколько оно мыслимо при такихъ централизаціяхъ, все-таки не отрицаетъ. При томъ же въ Мидіи, въ Халдеѣ, въ Египтѣ, въ Киликіи, въ Бактріи иноуправленіе, вслѣдствіе частыхъ бунтовъ или пограничной важности, намѣренно и сознательно поставлено было выше всякаго самоуправления. Наконецъ, само собою разумѣется, что всякая

административная власть древняго востока совершенно также синтетична, какъ и власть верховная. Всякій сатрапъ въ своей сатрапiи есть такой же для нея и судья, и законодатель, и правитель, какъ царь для царства. Административное иноуправленіе тимократическихъ монархiй, или конституцій, равно какъ и административное самоуправленіе ихъ, совсѣмъ уже иныя. Разница поваго административнаго права съ древнимъ одинаково значительна, какъ по отношенію въ немъ анализа въ синтезу, такъ и по отношенію между его централизаціей и децентрализаціей. Въ первомъ смыслѣ ново-монархическая бюрократія, отдѣлившись, какъ уже извѣстно, отъ двухъ другихъ государственныхъ властей, судебной и законодательной, кромѣ того, подраздѣлилась еще и сама въ себѣ. Расчлененіе это состоитъ въ томъ, что конституціонная администрація выдѣляетъ, на одной своей сторонѣ, такъ называемую, административную юстицію, на другомъ—полицію, а въ центрѣ ихъ оставляетъ собственно такъ называемую бюрократію. Этимъ путемъ администрація воспроизводитъ въ себѣ раздѣленіе родовыхъ государственныхъ властей: административною юстиціею она подражаетъ государственному суду, полиціею уподобляетъ себя исполнительной власти, а бюрократіею приравниваетъ себя къ законодательству. Административная юстиція заимствуетъ, по возможности, и самыя формы свои отъ суда, какъ органа строгой законности; полиція заимствуетъ ихъ отъ войска, какъ органа насилія; а бюрократія беретъ ихъ отъ законодательства, какъ органа правоопредѣленій, органа сознанія текущей минуты. Но тогда, какъ законодательство выражается правоопредѣленіемъ обдуманнѣмъ и мотивированнымъ, въ бюрократіи оно является внезапнымъ и дискреціоннымъ или такъ называемымъ административнымъ тактомъ, усмотрѣніемъ. Въ частности, по отдѣльнымъ странамъ, всѣ эти три вида администраціи значительно варьируются. Административная юстиція, наприкладъ во Франціи, представлена двумя инстанціями: совѣтомъ префектуры и государственнымъ совѣтомъ, которыя обѣ суть чисто-бюрократическія, исключительно чиновничьи. Въ Пруссiи изъ трехъ ея инстанцій двѣ первыя: Kreis-Ausschuss и Bezirksrath, суть отчасти или вполне земскія и только высшая инстанція, верховный трибуналъ, состоящій изъ юристовъ и администраторовъ, назначаемыхъ королемъ пожизненно, есть чисто бюрократическая. Въ Англіи же первую изъ двухъ ея инстанцій есть также земская, съѣзды судей

мира; второю же есть чисто судебная, суды общаго права. Наконецъ, въ Италіи органъ административной юстиціи и совсѣмъ отпадаетъ, сливаясь цѣликомъ съ чистою юстиціею, въ инстанціяхъ судебныхъ. То же и съ полиціею. Вся континентальная полиція, за исключеніемъ развѣ итальянской, живетъ не столько законодательствомъ, сколько предписаніемъ, инструкціей, усмотрѣніемъ бюрократіи, т. е. живетъ правоопредѣленіями не законодательными, а бюрократическими. Въ Англіи же полицейское предписаніе исчезаетъ почти цѣликомъ и роль его беретъ на себя самъ законъ. Въ этой странѣ полицейское законодательство такъ мелочно, такъ скрупулезно, что французы даже удивляются этому несвойственному, по ихъ мнѣнію, занятію законодателя. Изданіе дополнительныхъ полицейскихъ регламентовъ иногда еще предоставляется въ Англіи то муниципальнымъ совѣтамъ городовъ, то самоуправленіямъ графствъ; но министерство никогда почти не вдается уже въ эту компетенцію. Избавленная отъ его инструкцій, полиція здѣсь почти избавляется и отъ самаго надзора его надъ нею. Надзоръ бюрократіи замѣненъ тутъ контролемъ закона, суда и каждаго гражданина, въ видѣ права частныхъ жалобъ въ судъ. Въ результатѣ же всего этого оказываются соотвѣтственныя варьяціи и съ самымъ центромъ администраціи, съ бюрократіею. Въ однихъ случаяхъ, напримѣръ въ континентальныхъ монархіяхъ Европы, бюрократическія правоопредѣленія и болѣе или менѣе многочисленны, и болѣе или менѣе расходятся съ правоопредѣленіями законодательными; въ другихъ случаяхъ, какъ въ Англіи, они совсѣмъ почти исчезаютъ, или, что выходитъ тѣмъ же, совпадаютъ и отождествляются съ законодательными. Всѣ эти варьяціи сводятся, значить, къ тому, что административные подъ-органы, смотря по странѣ, такъ сказать, передвигаются, перемѣщаются одинъ на мѣсто другаго въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ. А именно они движутся или отъ военно-полицейскаго типа къ судебному, или, напротивъ, отъ судебного къ военно-полицейскому. Въ первомъ случаѣ административная юстиція исчезаетъ въ судъ; бюрократія становится на ея мѣстѣ, т. е. усваиваетъ формы законности; а полиція передвигается на мѣсто бюрократіи, т. е. одна представляетъ собою принципъ усмотрѣнія, такта. Во второмъ же случаѣ, наоборотъ, административная юстиція усваиваетъ нравы бюрократіи, ея духъ усмотрѣнія; бюрократія приобретаетъ свойства полиціи, преобладаніе предписа-

нія надъ закономъ; а полиція почти обращается въ войско, въ органъ насилія. Т. е. государственное формальное право движется или по направленію къ таковому же частному праву (судебному), или же по направленію къ международному (военному), приближается то къ натурѣ одного, то къ натурѣ другого. По этимъ же направленіямъ распредѣляется и устройство администраціи, разъ какъ единоличное, другой разъ—какъ коллегіальное. Въ административной юстиціи оно всегда коллегіально, какъ и въ судѣ; въ полиціи оно всегда единолично, какъ и въ войскѣ; бюрократія же образуетъ помѣсь, склоняющуюся то въ ту, то въ другую сторону. Въ Англіи, напримѣръ, самая высшая администрація коллегіальна,—совѣтъ министровъ, министерство, кабинетъ; въ Пруссіи же она единолична, сосредоточена въ лицѣ перваго министра. Другую, еще болѣе существенную разницу ново-монархической и древне-монархической администраціи составляетъ различіе ихъ общественныхъ администрацій, ихъ земствъ, ихъ мѣстныхъ самоуправленій. Въ Индіи это было самоуправленіе единственно по наслѣдству. Въ Персіи это было самоуправленіе, какъ мы видѣли, или по наслѣдству, или по назначенію, смотря по устройству покоренной страны. Въ нынѣшней монархіи оно, по большей части, избирательное. Наслѣдственнымъ здѣсь оно остается только въ семьѣ; въ сельской же и городской общинѣ, а также въ провинціи, оно, согласно общему должностному праву, почти повсемѣстно избирательное. Только въ рѣдкихъ, въ исключительныхъ случаяхъ оно является избирательнымъ въ древности или назначаемымъ въ наши времена: единственный, быть можетъ, примѣръ перваго—управленіе колѣнъ въ Іудеѣ, единственный примѣръ втораго—управленіе графствъ въ Англіи. Кромѣ избирательности, общюю характеристикою европейскаго самоуправления можетъ служить и организація его. Правительственная администрація бываетъ исключительна здѣсь повсюду только въ центрѣ, только на вершинѣ; начиная же съ самыхъ большихъ территоріальныхъ подраздѣленій, съ департамента во Франціи, провинцій въ Пруссіи, губерній въ Австріи, графствъ въ Англіи, она уже смѣшивается въ различныхъ пропорціяхъ съ общественною. Съ своей стороны эта общественная, начинаясь съ семействъ, съ сельскихъ и городскихъ общинъ, восходитъ до кантоновъ или приходовъ, потомъ до уѣздовъ или округовъ и, наконецъ, достигаетъ до департаментовъ, провинцій, губерній, графствъ. Въ городскихъ общинахъ само-

управленіе выражается, обыкновенно, муниципальными совѣтами, какъ въ Англіи и Франціи, или магистратами, какъ въ Пруссіи и Австріи. Въ кантонахъ и приходахъ Франціи и Англіи въ администраціи участвуютъ *conseils municipaux* и *vestries*. Въ уѣздахъ и округахъ совѣты, собранія, сеймы уѣздные или окружные. Въ департаментахъ, губерніяхъ, графствахъ такія же собранія губернскія. Въ провинціяхъ собранія или сеймы обще-провинціальныя. Компетентность всѣхъ этихъ избирательныхъ собраній ограничивается, говоря вообще, экономическими интересами мѣстностей, каковы: собраніе и раскладка податей и повинностей, надзоръ за дорогами и мостами, за мѣрами и вѣсами, за торговлею и промышленностью, осушеніе болотъ и ирригація полей, народное продовольствіе, страхованіе, санитарная часть, а также тюрьмы и первоначальное образованіе. Что же касается функцій политическихъ, то земствамъ предоставляется только ходатайствовать о мѣстныхъ нуждахъ и обсуждать проекты законовъ, касающихся этихъ нуждъ, когда они будутъ предложены на обсужденіе. Не надо, однакожъ, думать, что въ своей экономической компетенціи мѣстная земская администрація полновластна. Напротивъ, на каждой своей инстанціи, она, какъ и въ деспотіяхъ, стѣснена администраціею центральною, правительственною. Въ городахъ—бургомистры, синдикы, мэры, въ кантонахъ—мэры, въ уѣздахъ—подпрефекты, ландраты, въ губерніяхъ и департаментахъ—префекты, президенты, въ провинціяхъ—оберъ-президенты, штатгальтеры,—все это суть ревнивые представители бюрократіи, охраняющіе права ея при всякой возможной инстанціи самоуправленія и снабженные для того слишкомъ достаточными полномочіями. Отъ нихъ зависитъ утвержденіе или неутвержденіе самыхъ важныхъ изъ числа рѣшеній, принимаемыхъ собраніями; они могутъ остановить даже самое разсужденіе, выходящее, по ихъ мнѣнію, изъ компетентности собраній; по ихъ представленіямъ, всякое собраніе можетъ быть распущено во всякое время; наконецъ, они имѣютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, во Франціи, даже право входа въ самыя собранія и право быть выслушанными тамъ. Такимъ образомъ львиная доля власти въ этомъ самоуправленіи принадлежитъ иноуправленію. Въ частности же, отъ страны къ странѣ, эта общая характеристика болѣе или менѣе варьируется. Такъ меньше всѣхъ оказывается способною къ мѣстному самоуправленію Франція и скопировавшія ее Италія и Испа-

нія; болѣе ихъ предрасположены въ тому государства германскія и австрійскія; но палладіумъ земскаго самоуправленія въ Европѣ есть, не смотря на отсутствіе избирательнаго начала, одно только англійское: Англія—классическая страна мѣстныхъ свободъ. Во Франціи, при реставраціи, существовала даже такая аномалія, какъ назначеніе членовъ въ генеральныя совѣты королемъ, или назначеніе муниципальных совѣтниковъ въ городахъ префектомъ. Іюльская же монархія была уже и чистой тимократіей, но какъ городскихъ, такъ и сельскихъ мэровъ назначала отъ короны. При второй имперіи, самое назначеніе должностныхъ лицъ сельской общины принадлежало не ея мэру, а префекту, и при томъ, не исключая даже полевыхъ сторожей, не обязанныхъ умѣть ни писать, ни читать. Это напоминаетъ китайскихъ суй-жинъ. Впрочемъ, даже и теперь, при республикѣ, мэры въ главныхъ городахъ департаментовъ, округовъ и кантоновъ все-таки не избирательныя, и назначаются самимъ президентомъ республики, хотя и изъ числа избранныхъ муниципальных совѣтниковъ. А городу Парижу предоставить имѣть избирательнаго мэра и до сихъ поръ считается невозможнымъ. Мало того, даже казначей или кассиръ во всякой мало-мальски крупной общинѣ назначается или префектомъ или даже президентомъ республики,—притязаніе, не имѣющее мѣста даже въ Россіи. А между тѣмъ во Франціи всѣ увѣрены, что закономъ 1871 года достигнутъ крайній предѣлъ полномочій, доступныхъ для земскихъ, для мѣстныхъ, для избирательно-административныхъ учреждений. Истинное самоуправленіе такъ мало понятно французскому генію, что онъ не имѣетъ для него соотвѣтствующаго слова въ языкѣ своемъ, и англійское *selfgovernment* онъ переводитъ *le gouvernement par soi même*. А нѣкоторымъ французамъ, какъ Морису Блоку, и самое понятіе это представляется какимъ-то абсурдомъ, какимъ-то отрицаніемъ всякой администраціи и ея благодѣяній, которое онъ клеймитъ прозвищемъ ненавистнаго для французовъ федерализма. Словомъ, употребляя выраженіе одного француза же, Батби, идеалъ самоуправления вовсе не проникъ еще въ умы ихъ; да едва ли, прибавимъ мы отъ себя, когда-нибудь уже и проникнетъ. Условія для того крайне неблагопріятны во Франціи: федералистами являются тамъ или легитимисты или коммунары, такъ что идеалъ этотъ служитъ тамъ только симптомомъ или революціонера или реакціонера, т. е. и въ томъ, и другомъ случаѣ равно несимпа-

тичнымъ для большинства. Если Франція есть *minimum*, то Англія *maximum* тимократично-монархическаго самоуправленія; и это, повторяемъ, тѣмъ замѣчательнѣе, что избирательность совсѣмъ почти не находятъ въ немъ мѣста. Хотя французы стараются доказывать, что собственно самоуправленія нѣтъ и въ Англіи, ибо и тамъ есть опека надъ общинами, въ видѣ сѣзда судей мира и (!) закона; но это только вновь подтверждаетъ, до какой степени понятіе это чуждо для французскаго ума. Дѣйствительно, Англія стоитъ въ этомъ отношеніи одиноко въ Европѣ, а съ виду стоитъ даже ниже ея, потому что даже высшія инстанціи мѣстнаго самоуправленія не включаютъ въ себѣ ни одного выборнаго представителя мѣстности (кромя коронера). И, однакожъ, самоуправленія, автономіи, самостоятельности частей въ виду цѣлаго, независимости низшихъ инстанцій отъ высшихъ, здѣсь больше чѣмъ гдѣ-бы то ни было на континентѣ. Лордъ-намѣстникъ графства, этотъ военный глава его, шерифъ (глава гражданскій), судья мира числомъ не менѣе 100 въ каждомъ графствѣ, т. е., весь высшій персоналъ мѣстнаго управленія, весь этотъ *local government board*, вмѣсто того чтобы избираться населеніемъ, назначается исключительно королемъ. Кажалось бы, что здѣсь похожаго на какое бы то ни было самоуправленіе мѣстности, кромѣ развѣ персидскаго; а между тѣмъ оно есть дѣйствительное самоуправленіе и гораздо больше, чѣмъ всѣ избирательныя учрежденія Европы для той же цѣли. Такими, повидимому, неожиданными своими послѣдствіями оно обязано слѣдующимъ условіямъ, болѣе существеннымъ, какъ оказывается, чѣмъ самая избирательность. Во первыхъ, всѣ эти назначаемыя лица назначаются на всю жизнь, безсмынно; во вторыхъ, всѣ они назначаются исключительно изъ мѣстныхъ жителей, и именно собственниковъ; въ третьихъ, всѣ они несутъ службу свою безвозмездно; и въ четвертыхъ, что важнѣе всего предъидушаго, не знаютъ надъ собою никакой иной власти, никакого министерства, ничего и ничего, кромѣ суда и закона. Все это вмѣстѣ образуетъ такую независимость и такое достоинство мѣстныхъ правительствъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, такую простоту и дешевизну ихъ, что ни одинъ англичанинъ не жалуется на то, что онъ не избираетъ этого правительства. Само собою разумѣется, что здѣсь нѣтъ мѣста ни центральному утвержденію мѣстныхъ рѣшеній, ни распусканію этой мѣстной администраціи, ни праву вмѣшательства въ ея разсужденія, ни назначенію должностныхъ лицъ, ей подчиненныхъ

и т. п. Нѣкоторая аналогія съ континентомъ начинается только съ управленія приходовъ или сельскихъ общинъ. Правда, нѣтъ здѣсь ни мэровъ или бургомистровъ, ни муниципальных при нихъ совѣтовъ, ни хитроумнаго балансированія однихъ изъ нихъ другими; а вмѣсто всего этого есть только поголовное собраніе всѣхъ плательщиковъ подати для бѣдныхъ, *vestry*, подъ предсѣдательствомъ церковнаго старосты, и есть выбранныя этимъ собраніемъ должностныя лица, не исключая и сельскаго констебля, т. е. агента полиціи. Но каждое изъ этихъ лицъ отправляетъ свою должность не иначе, какъ подъ контролемъ отчасти приходскаго собранія, *vestry*, отчасти сѣздовъ мировыхъ судей отчасти, наконецъ, министра внутреннихъ дѣлъ. Только управленіе городовъ сходно въ Англіи съ континентальнымъ; но и тутъ съ тою разницею, что избранные городами мэры никѣмъ больше не утверждаются, какъ утверждаются они въ Пруссіи и Австріи. Такимъ образомъ мѣстныя власти Англіи состоятъ, такъ сказать, изъ двухъ маленькихъ палатъ: верхней и нижней. Верхняя—это сѣзды судей мира; нижняя—это *vestry* и города. Средняя между ними инстанція, *district*, хотя и существуетъ, но не имѣетъ никакого административнаго значенія. И такъ, мѣстная администрація въ тимократической монархіи отличается отъ такой же администраціи аристократическихъ монархій не столько своей избирательностью, сколько чѣмъ-то другимъ. При одной избирательности, новое земство могло бы отличаться еще очень мало отъ древняго, какъ это и случилось во Франціи; если же оно совсѣмъ перестаетъ быть похожимъ на него, какъ въ Англіи, то лишь благодаря не избирательной системѣ, а системѣ территоріальной и корпоральной децентрализаціи. Само собою разумѣется, что еще лучше могло бы быть, если бы децентрализація эта могла совмѣститься съ условіемъ избирательности; но до сихъ поръ Европа не представляетъ еще ни одного такого примѣра. Въ ней, напротивъ, постоянно случалось тоже, что, по свидѣтельству Токвиля, имѣло мѣсто во Франціи: всѣ партіи, когда-нибудь входившія во власть, ни въ чемъ не были такъ послѣдовательны другъ другу, какъ въ этомъ поочередномъ затягиваніи узла всякой централизаціи: и правительственной, и административной, и бюрократической, и земской, и территоріальной, и корпоральной, и іерархической и областной. Идея децентрализаціи сдѣлалась отъ того на столько смутною, что Наполеонъ III могъ легко обмануть французовъ, когда на требованіе ими какой-то

децентрализаціи, удовлетворилъ ихъ тѣмъ, что нѣсколько передви-
нулъ бюрократическую власть отъ министровъ къ префектамъ. Т. е.
простая іерархическая децентрализація въ средѣ самой бюрократіи
принята была за децентрализацію административную. Если же идеалъ
этотъ дается тимократической монархіи такъ трудно, то нѣтъ ни-
чего невѣроятнаго, что она проведетъ и весь вѣкъ свой, гоняясь
за нимъ. И слава еще Богу, если она хоть на всей высотѣ своего
развитія угонится за тѣмъ, что видится теперь въ одной Англіи,
т. е. за равенствомъ обѣихъ администрацій. Но спрашивается, что
же остается, въ такомъ случаѣ, для третьей монархической форма-
ціи государствъ? Судя по предъидущему, остается возможнымъ еще
одно новое сочетаніе въ сферѣ административнаго права: это, во
первыхъ, сочетаніе общественной администраціи съ новою системою
должностнаго права, съ системою очереди или жребія. А во вто-
рыхъ, остается возможнымъ перевѣсъ общественной администраціи
надъ правительственною, нижней надъ верхнею, земства надъ бю-
рократіею, децентрализація надъ централизаціею, самоуправленія
надъ иноуправленіемъ; и все это, какъ іерархически, такъ и терри-
торіально.

Хотя республика не разъ уже начинается тѣмъ, къ чему монар-
хія только стремится, но это не означаетъ еще непремѣннаго пре-
имущества первой надъ второю. Напротивъ того, нигдѣ, какъ въ
административномъ правѣ, не становится такъ очевиднымъ, что раз-
личіе это далеко не всегда существенно. Республика, эта децентра-
лизація государственная, правительственная, децентрализація вер-
ховной власти, это государственное самоуправленіе можетъ, одна-
кожь, не знать и тѣни самоуправления мѣстнаго, децентрализація
административной, администраціи общественной, а слѣдовательно,
можетъ жить тѣломъ свободы, безъ души ея. Такою именно и была
всякая древняя республика. Ни Карфагенъ, ни всѣ греческія ре-
спублики, ни Римъ никогда не имѣли и въ представленіи, что та-
кое мѣстныя свободы, иначе, какъ развѣ въ персидскомъ смыслѣ.
Были и у нихъ города и цѣлыя страны, которымъ, по завоеваніи,
представлялось управляться по прежнему, своими собственными вла-
стями и законами; но это на столько же можетъ быть названо
мѣстнымъ самоуправленіемъ, на сколько и въ любой персидской
сатрапіи, оставленной въ подобномъ положеніи. Что тамъ значилъ
сатрапъ, то здѣсь — преторъ, префектъ, прокураторъ, проконсулъ,

пропреторъ, которые висѣли какъ Дамокловъ мечъ надъ каждымъ такимъ самоуправленіемъ. Уже выше, въ исторіи подданныческаго права, мы видѣли, какъ самые почтенные представители мѣстной власти, эти децемвиры, эти сенаторы, то засѣкаются розгами и кнутомъ, то доводятся до голодной смерти. А потому нѣтъ надобности въ дальнѣйшихъ иллюстраціяхъ, чтобы убѣдиться, что древнее самоуправленіе ограничивалось только самоуправленіемъ господствующаго города и сословія, и что древняя децентрализація ограничивалась только іерархическою децентрализаціею одной бюрократіи, какъ при Наполеонѣ III во Франціи. За то же, что касается единственнаго разсредоточенія, которое дѣйствительно свойственно аристократической республикѣ, то оно было доводимо здѣсь до его *pes plus ultra*. Не говоря уже о двухъ суффетахъ, двухъ консулахъ, двухъ царяхъ, девяти архонтахъ и т. п., не говоря также, что каждый консулъ управлялъ по-очередно по одному мѣсяцу въ году, при чемъ принадлежало другому лишь право *veto*, даже военная администрація, которая наименьше выносить всякое разъединеніе, допускала здѣсь раздѣленія поразительныя. Такъ въ Аѳинахъ временъ наивысшаго ихъ развитія десять стратеговъ, въ одной и той же войнѣ, въ одномъ и томъ же походѣ, начальствовали каждый, по-очередно, по одному дню: децентрализація, которая, при нашихъ понятіяхъ, кажется отрицаніемъ всякой возможности управленія. Равнымъ образомъ и инстанціи такой бюрократіи были совершенно независимы одна отъ другой, и если зависѣли, то единственно отъ суда и закона, какъ нынѣ въ Англіи. По крайней мѣрѣ, ни цензоры, ни квесторы, ни эдилы, ни правители провинцій, ни всякіе другіе магистраты не представляются подчиненными верховному магистрату, консуламъ; но всѣ они обязаны отчетомъ, наравнѣ съ консулами, только предъ комиціями:—децентрализація, которой въ наши времена не знаетъ, напротивъ, даже самая Англія. Наконецъ, вся правительственная администрація была избирательною. Словомъ, здѣсь мы видимъ крайнюю децентрализацію бюрократическую, какъ въ іерархическомъ, такъ и въ территоріальномъ смыслѣ, но при полнѣйшей централизаціи административной и въ томъ, и въ другомъ смыслѣ; видимъ крайнее самоуправленіе государственное, но уживающееся съ чисто-восточнымъ иноуправленіемъ мѣстнымъ, общественнымъ, провинціальнымъ. Правительственная администрація здѣсь все, общественная, земская—ничто, какъ и на востокѣ. Ти-

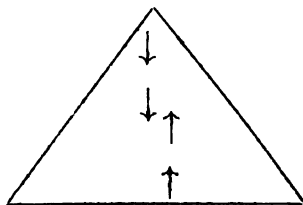
мократическія республики представляютъ обратное зрѣлище: бюрократія здѣсь сравнительно централизуется; но вся вообще администрація стремится явно къ децентрализаціи. Обширный музей для этого наблюденія представляютъ республики Сѣверной и Южной Америки. Тамъ, подобно тому, какъ и въ монархіяхъ Европы, мы можемъ наблюдать всѣ роды и степени движенія отъ централизацій къ децентрализаціямъ, за исключеніемъ только одной бюрократіи, которая нигдѣ не похожа на древнюю, и повсюду, напротивъ, болѣе или менѣе централизуется. Степени эти размѣщаются между Парагваемъ, съ одной стороны, и Соединенными Штатами съ другой, которые въ новомъ свѣтѣ тоже, что въ старомъ Франція и Англія. Мексика же и Перу представляютъ самый лихорадочный пунктъ колебаній между обѣими системами, централизаторскою и федеральною, гдѣ за каждою конституціею по одной системѣ непременно слѣдуетъ другая по другой, и гдѣ этотъ пароксизмъ повторялся уже по нѣскольку разъ. Напротивъ, Боливія и Аргентинская республика гораздо рѣшительнѣе склоняются, одна, въ сторону централизаторской системы, другая—въ сторону федеративной, причемъ и образца ищутъ, первая—во Франціи, а вторая—въ Соединенныхъ Штатахъ. Но настоящій *minimum* и *maximum* административнаго права новаго свѣта находятся, повторяемъ, въ Парагваѣ и въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ первомъ изъ нихъ мы видимъ сперва пожизненную диктатуру, въ лицѣ доктора Франсіа, а потомъ почти наслѣдственное консульство, въ домѣ Лопеца; чему подражаетъ и Боливія, во первыхъ, своимъ пожизненнымъ президентствомъ, а во вторыхъ, своими префектами и подпрефектами, списанными прямо съ Франціи. Во второй, въ Соединенныхъ Штатахъ, находимъ, напротивъ, палладій современнаго административнаго права республикъ, чему подражаетъ и Аргентинская республика. Касаясь, во первыхъ, децентрализаціи, надо замѣтить, что правительственная или центральная, верхняя администрація сдаетъ здѣсь общественной или мѣстной, нижней, такую долю власти, примѣръ какой еще не представлялся въ исторіи, не исключая самой Англіи. А именно: государство сдаетъ здѣсь своимъ высшимъ административнымъ подраздѣленіямъ, штатамъ, не только всю мѣстную ихъ экономію, какъ въ Европѣ, но также и всю мѣстную политику. За собою бюрократія оставляетъ цѣликомъ только войну, международныя сношенія и финансы, все же остальное отдаетъ

земству, или, по крайней мѣрѣ, дѣлать съ нимъ, дѣлая его, такимъ образомъ, не только земствомъ экономическимъ, но и чисто политическимъ. Отсюда въ каждомъ штатѣ свое законодательство, свой судъ, свое управленіе. Съ другой стороны, въ этомъ земствѣ такое же осажденіе власти происходитъ и по его собственнымъ инстанціямъ и мѣстностямъ. Штатъ дѣлится на графства; и вотъ этимъ-то вторымъ подраздѣленіямъ передаетъ онъ то, что въ Европѣ ввѣряется только первымъ, т. е. всю экономію графства; при чемъ графство ведетъ ее уже на свой собственный рискъ и страхъ, не отдавая о ней никакого отчета штату. Только судебный и полицейскій персоналъ даются графствамъ отъ штатовъ. Впрочемъ, и само графство удерживаетъ изъ этой экономіи только крайне необходимую ея долю, т. е. дѣйствительно общую интересамъ всего графства, какъ заведываніе дорогами, зданіями, тюрьмами, общественнымъ призрѣніемъ; все же остальное снова сбывается съ рукъ и осаждаетъ въ самыя общины, какъ городскія, такъ и сельскія. И ничто, быть можетъ, такъ не характерно здѣсь, какъ самоуправленіе этихъ общинъ. Городскія управляются еще аналогично съ европейскими: тотъ же мэръ, тѣ же альдермены, тѣ же муниципальные совѣты, но только безъ всякаго, конечно, съ чьей бы то ни было стороны утвержденія какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ рѣшеній, т. е. такъ же, какъ въ Англіи. Но оригинальнѣе всего самоуправленіе сельскихъ общинъ. Есть двѣ его системы: одна южная, *countysystem*, и другая сѣверная, *townsystem*. Въ первой удерживаются еще преданія Англіи съ ихъ центромъ тяжести въ графствѣ; во второй американскій геній нашелъ свое чистое воплощеніе. Никакого ни мэра, ни шульца, ни даже *vestry* здѣсь больше нѣтъ; нѣтъ даже никакого первенствующаго лица, въ родѣ церковнаго старосты; а есть только поголовное собраніе всѣхъ избирателей, сельскій митингъ, *townmeeting*, созываемый отъ времени до времени, хотя и не рѣдко. Въ промежуткахъ же между его засѣданіями заправляютъ дѣлами избранные имъ выборные люди, *select men*, числомъ около 17. Таковы, напр., раскладчикъ податей, сборщикъ ихъ, хранитель, протоколистъ, надсмотрщикъ бѣдныхъ, смотритель школъ, надзиратель дорогъ, церковный староста, пожарный и т. п. И, что всего замѣчательнѣе, ни одинъ изъ нихъ не имѣетъ надъ собою никого старшаго, кромѣ закона и суда. Если кто недоволенъ школою, дорогою, то идетъ въ судъ, и никакой другой инстанціи

для жалобы и контроля нѣтъ. Самый даже митингъ не въ правѣ удалить безъ суда однажды избраннаго имъ *select man*'а. Словомъ, приходъ, селеніе на столько же оторвано іерархически и территориально отъ графства, на сколько графство отъ штата, а штатъ отъ союза. И въ довершеніе всего, такая независимость инстанцій совмѣщена съ избирательностью каждой изъ нихъ,—идеаль, который не достигнуть и въ Англіи. Другими словами, децентрализація административная, администрація общественная, самоуправленіе мѣстное, доведены до степени, неизвѣстной до сихъ поръ въ исторіи, и за которою начинается, повидимому, тимократическое *pop rossimus*. Но и здѣсь, до самыхъ послѣднихъ дней исторіи, зѣлъ своего рода пробѣлъ: это—отсутствіе всякой іерархической независимости, всякой децентрализаціи въ бюрократіи, въ правительственной администраціи. Только въ нѣкоторыхъ германскихъ государствахъ административный чиновникъ не всегда находился въ полной власти своего начальника, такъ что только тамъ возможны были примѣры чиновника, находящагося въ оппозиціи. Вездѣ же въ Европѣ, кромѣ нѣкоторыхъ учебныхъ, а именно профессорскихъ должностей во Франціи и въ Англіи, несмѣняемость обезпечена только судьями и законодателями. Къ удивленію, она долго признавалась несовмѣстимою съ назначеніемъ бюрократіи и въ Америкѣ. Хуже того, бюрократія періодически подлежала тамъ до 1883 года почти повальнымъ смѣнамъ, а именно вмѣстѣ со смѣною всякаго президента; такъ что всякій чиновникъ долженъ былъ спѣшить насладиться своей должностью, какъ добычей побѣдителя на выборахъ, по освященному языкомъ выраженію. Оттого и въ Америкѣ даже не было того достоинства государственной службы, какое есть въ Германіи, и которое впервые дало себя понять во франко-прусской войнѣ. Но на самыхъ послѣднихъ дняхъ текущей эпохи сила общественного мнѣнія вынудила и конгрессъ, и президента Соединенныхъ Штатовъ принять въ высшей степени популярный въ публикѣ билль о реорганизаціи гражданской службы, о несмѣняемости чиновниковъ. Этимъ путемъ и правительственная администрація Соединенныхъ Штатовъ доведена до своего тимократическаго *pes plus ultra*. Весь же этотъ обзоръ республиканскаго административнаго права показываетъ, что на этотъ разъ между исторіею монархій и исторіею республикъ разницы нѣтъ, а есть, напротивъ, почти полное тождество. Разница развѣ только въ томъ, что въ республикѣ ра-

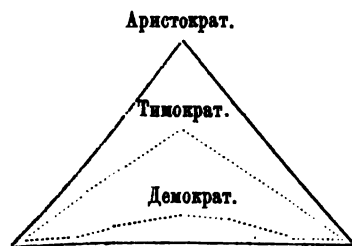
венство обѣихъ администрацій достигаетъ большей полноты, ибо здѣсь оно дѣлается не только количественнымъ, но и качественнымъ дѣла по поламъ не только экономію, но и политику. Что же касается обѣихъ преобладаній то той, то другой администраціи, какъ прошедшаго такъ и вѣроятно предстоящаго, то онѣ и въ монархіяхъ, и въ республикахъ вполне тождественны какъ количественно, такъ и качественно. А изъ этого слѣдуетъ, до какой степени административное право существенно въ жизни общества, коль скоро оно не зависитъ даже отъ такихъ важныхъ формъ, какъ образы правленія.

Изъ всего предъидущаго, какъ монархическаго, такъ и республиканскаго, административнаго права, можно, какъ кажется, придти къ убѣжденію, что оно дѣйствительно представляетъ собою непрерывную тяжбу между правительственнымъ и земскимъ, между центральнымъ и мѣстнымъ, между столичнымъ и областнымъ, между политическимъ и экономическимъ, словомъ, между централизаціями всякаго рода и децентрализаціями, между иноуправленіемъ и самоуправленіемъ. Можно убѣдиться, что склоняется эта тяжба, по мѣрѣ развитія исторіи, постоянно въ одну и ту же сторону, все болѣе и болѣе. А чтобы склоненіе это представить, какъ можно явственнѣе и нагляднѣе, позволимъ себѣ обратиться къ уподобленію общества конусу, круглой пирамидѣ. Основаніемъ общественной пирамиды служатъ низшіе и многочисленнѣйшіе слои населенія, при чемъ географическимъ центромъ ихъ служитъ столица. Вершиною общественной пирамиды, центромъ политическимъ, есть правительство. Между этими двумя оконечностями размѣщаются по пирамидѣ всѣ прочіе слои населенія, равно какъ и всѣ прочіе представители власти, какъ правительственной, такъ и общественной, какъ бюрократіи, такъ и земства. И вотъ исторія производитъ въ этой пирамидѣ два тока, обозначенные на фигурѣ стрѣлками. Одинъ, бюрократическій, постоянно стремится внизъ, ко дну общества, чего и достигаетъ въ древности (въ аристократіяхъ); другой, земскій, постоянно несется вверхъ, причемъ въ настоящее время, въ тимократіяхъ, достигъ уже до половины пирамиды, и тутъ остановилъ своего соперника, не пуская его дальше внизъ. Будущему, демократіямъ, принадлежитъ послѣднее слово въ этомъ постоянномъ выигрышѣ одной власти и постоянномъ проигрышѣ



другой. Другими словами, въ древности, какъ въ монархіяхъ, такъ и республикахъ, видится несомнѣнное преобладаніе *централизаций*, иноуправленій, бюрократій. Въ одномъ случаѣ, какъ въ Китаѣ, правительственное начало заполняетъ собою всю общественную пирамиду, едва оставляя зародыши самоуправленія на днѣ ея. Во всѣхъ же другихъ случаяхъ они поднимаются съ этого дна едва замѣтно и подъ самымъ тяжкимъ давленіемъ верхняго иноуправленія. Въ настоящее время начинаетъ водворяться, въ однихъ мѣстахъ меньше, въ другихъ больше, но видимое *уравновѣшиваніе* обѣихъ системъ администраціи. На материкѣ Европы общественная администрація достигаетъ уже до половины высоты пирамиды, но сторожимая еще на каждой ступени своей правительственною и, вслѣдствіе того, на всѣхъ на нихъ переплетаясь съ нею. На англо-саксонскомъ островѣ Европы государство совсѣмъ удаляется въ верхнюю половину пирамиды, совсѣмъ опрастываетъ отъ себя всю нижнюю, вѣдряя ее одному обществу, хотя пока только экономически, но не политически; причемъ это общество и само начинаетъ лишь съ подражанія прежнему, т. е. съ недовѣрія къ своимъ собственнымъ нижнимъ инстанціямъ. Наконецъ, на американскомъ континентѣ государство отпускаетъ въ нижнюю половину и всю мѣстную политику; а общество, въ свою очередь, удерживая эту послѣднюю политику при верхнихъ своихъ инстанціяхъ, всю экономію мѣстную осаждастъ къ своимъ низшимъ инстанціямъ. Такое неуклонное и періодическое осажденіе центра тяжести административнаго права сверху внизъ, не дѣлаетъ слишкомъ рискованнымъ предположеніе, что такова же должна быть судьба его и въ будущемъ, т. е. что она должна быть стремленіемъ къ преобладанію *децентрализаций*, самоуправленій, земствъ. Царственная автономичность городскихъ и сельскихъ общинъ, съ самой слабой центральной связью между ними, — вотъ тотъ крайній идеалъ, какой внушается всею предъидущею исторіею этой тысячелѣтней тяжбы въ административномъ правѣ. Для всякаго иного и внезапнаго поворота это будущее не нашло бы ни въ настоящемъ, ни въ прошедшемъ никакой точки опоры, никакого стимула для перемѣны движенія. А потому можно не безъ надежды догадываться, съ одной стороны, что демократическая конструкція обществъ должна довести это административное движеніе до его *pes plus ultra*, а съ другой — что такое направленіе движенія, въ свою очередь, обусловливаетъ и

самую демократическую исторію общества, которая безъ него рѣшительно не мыслима. Съ другой точки зрѣнія, продолжая нашъ условный графическій языкъ можно сказать, что вершина и основаніе пирамиды, съ теченіемъ исторіи, поминутно сближаются между собою. При централизаціи, при иноуправленіи, а тѣмъ болѣе при аристократическихъ, разстояніе между вершиной и основаніемъ есть цѣлая бездна. Между деспотомъ и послѣднимъ изъ его подданныхъ нѣтъ никакой параллели. Наоборотъ, при самоуправленіи, децентрализаціи, а тѣмъ болѣе при демократическихъ, власть и населеніе до того сближаются между собою, что оба центра пирамиды, вертикальный и горизонтальный, почти совпадаютъ между собою. Такимъ образомъ, исторія административнаго права есть прогрессивное приглушеніе и пониженіе общественной пирамиды. Другими словами, пирамидальность общественнаго построенія мало по малу исчезаетъ, а остается одно строеніе круговое.



Мы покончили теперь какъ съ матеріальнымъ, такъ и съ формальнымъ государственнымъ правомъ, и если остается что нибудь добавить, то развѣ лишь о томъ, что у юристовъ слыветъ подъ именемъ внѣшней исторіи права, исторіи самыхъ памятниковъ законодательства, или что, по нашему собственному воззрѣнію, составляетъ исторію законодательства во всей его цѣлости, а не по частямъ, какъ мы вели ее до сихъ поръ. Въ этомъ смыслѣ развитіе права должно быть прослѣжено, съ одной стороны, въ своихъ всеобщихъ чертахъ, равно свойственныхъ какъ частному, такъ и государственному, и самому даже международному, насколько всѣ онѣ присущи государственной эпохѣ; а съ другой стороны, развитіе это должно быть наблюдено со всѣхъ остальныхъ точекъ зрѣнія на право, т. е. не только съ культурной, какъ до сихъ поръ, но также и съ точекъ зрѣнія цивилизаціи и гражданственности, на сколько онѣ присущи этому продукту культуры. А онѣ не могутъ не быть прису-

щими ему. Право, въ своемъ качествѣ элемента культуры, есть центральный факторъ общежитія, есть узелъ, гдѣ связываются оба конца его: и цивилизація, и гражданственность. А потому оно и не можетъ не отражать въ себѣ и той, и другой. По своему же положенію въ самой культурѣ, оно не можетъ не заимствоваться отъ элементовъ, еще ближайшихъ къ нему и такихъ же культурныхъ, какъ оно само, каковы: методъ и художество. Отсюда возможно разсмотрѣніе его со всѣхъ этихъ сторонъ, которое и составитъ нашу внѣшнюю, постороннюю исторію права, т. е. исторію его не внутри, а по сторонамъ, не въ самомъ себѣ, а въ отношеніи его къ другимъ социальнымъ элементамъ. И такъ, начиная съ элементовъ цивилизаціи, насколько могутъ они проявляться въ правѣ, надо прежде всего сказать объ отпечаткѣ на немъ или религіозности, или философичности, или научности. Если подъ этимъ угломъ зрѣнія сравнить все право двухъ состоявшихся до сихъ поръ государственныхъ формацій, то едва ли можно остаться безъ достаточно явнаго обобщенія. Впрочемъ, обобщеніе это не разъ уже и привлекало на себя вниманіе юристовъ. Не одинъ изъ нихъ обращалъ уже вниманіе на то, что всѣ древнія писанныя законодательства аристократической формаціи отличаются отъ всѣхъ новыхъ, тимократическихъ, тѣмъ, что они суть постоянно божественныя откровенія, тогда какъ всѣ новыя суть обыкновенно законодательства свѣтскія, человѣческія. Въ Перу и въ Мексикѣ первые ихъ законы принесены сошедшими съ неба основателями тамошнихъ династій. Въ Египтѣ это даръ бога Таота. Въ Индіи законъ есть откровеніе Браммы. Зороастръ не болѣе, какъ пророкъ Агурамазды. Моисей принималъ заповѣди отъ самого Іеговы, на горѣ Синаѣ. Критскій Минось есть глашатай Юпитера. Даже въ Греціи и Римѣ иллюзія эта еще необходима: Ликургъ пишетъ по внушеніямъ Аполлона; Солонъ не приступаетъ къ дѣлу, не посоветовавшись напередъ съ дельфійскимъ оракуломъ; самъ Нума Помпилій вдохновленъ нимфой Эгеріей. Наконецъ, Магометъ есть только вѣстникъ Аллаха, вдохновляющаго его чрезъ посредство архангела Гавріила. Естественнымъ послѣдствіемъ такого типа права должна была быть, и бывала обыкновенно, неподвижность его. Пока правомъ былъ только обычай, какъ въ патріархальныхъ эпохахъ, онъ могъ еще мѣняться, хотя бы то отъ того, что не было возможности услѣдить за этими нечаянными видоизмѣненіями въ потокѣ временъ и при устной пере-

даѣ. Но, однажды, что обычай закрѣпленъ священными письмами, онъ долженъ уже оставаться на вѣки нерушимымъ; иначе страдала бы репутація божественнаго происхожденія его, репутація непреложности. Единственнымъ, при этомъ типѣ права, убѣждающимъ вновь нарождающихся потребностей жизни бываетъ, рядомъ съ священнымъ писаніемъ, священное преданіе. Путемъ преданія-то и проскальзываютъ въ священное право болѣе или менѣе важныя видоизмѣненія его. Но даже и тогда, когда они проскальзываютъ, старый законъ, ни въ какомъ случаѣ, не отмѣняется: это было бы нарушеніемъ святыни. Когда въ Аѣинахъ вводилось Солоново законодательство, Драконово не отмѣнено ни однимъ словомъ. Никогда также не были отмѣнены законы XII таблицъ въ Римѣ. Оттого-то и случается, что когда и самое преданіе закрѣпится новыми священными письмами, въ законодательствѣ этого рода оказывается часто безсвязность и противорѣчія. Этой-то причинѣ и приписываются нѣкоторыми такія случайности, какъ, напримѣръ, помѣщеніе въ законодательствѣ Ману двухъ противоположныхъ правилъ о наследованіи: по праву первородства и по праву равенства всѣхъ дѣтей. Наоборотъ, у нынѣшнихъ народовъ, и при томъ съ самыхъ первыхъ временъ ихъ исторіи, законъ постоянно выступалъ безъ всякой санкціи свыше. Ни салійская и рипуарская правда, ни законъ бургундскій, ни швабскія и саксонскія зерцала, ни вестготскій законъ, ни тѣмъ болѣе капитуляріи Карла и всѣ позднѣйшіе кодексы Европы никогда не выводились отъ божества. И если какой нибудь элементъ цивилизаціи втерся когда-нибудь въ новое право на столько же, какъ религіозный въ древнее; то кто же не знаетъ, что этотъ элементъ есть только философія, а не религія. Философичность нашего права не нуждается въ обильныхъ доказательствахъ, потому что только наше право и создало впервые философію свою, которая съ тѣхъ поръ и сдѣлалась такимъ же твориломъ въ современномъ правѣ, каковымъ вѣра была въ древнемъ. Духъ же философскій естественно обусловилъ и большую подвижность въ развитіи права, и большую связность частей его, тѣмъ болѣе, что мѣсто преданія захватила здѣсь практика права, толкованіе его. Въ древности всякое однажды записанное право было концомъ его развитія; теперь же такая запись сдѣлалась только началомъ этого развитія, такъ что она свободно измѣняется, отмѣняется, исправляется, дополняется, старается избѣгать противорѣчій. Но если древнее право *религіозно*,

а новое *философично*, то отъ права будущихъ государствъ можно ли не ожидать характера *научности*? Если самый ранній способъ сообщать правилу возможно большій авторитетъ въ людскихъ главахъ былъ способъ освященія его вѣрою; если дальнѣйшимъ средствомъ сообщать ему эту священность было возведеніе его къ какому либо логическому абсолюту; то само собою разумѣется, что для эпохъ, болѣе просвѣщенныхъ, чѣмъ эти обѣ, единственно такою санкціею права можетъ оставаться только научное его оправданіе. А вмѣстѣ съ этимъ научному праву должна принадлежать и наибольшая подвижность въ развитіи и наибольшая связность развитія. — Переходя къ культурной характеристикѣ, въ обширномъ смыслѣ этого слова, встрѣчаемся прежде всего съ вопросомъ метода. Во всѣхъ законодательныхъ памятникахъ первой формациі отъ ведъ до XII таблицъ, способъ изложенія ихъ есть всегда *догматическій*, безотчетный. Тамъ обыкновенно привязывается, и именно въ повелительномъ наклоненіи, самый общезвѣстный типъ чего представляютъ заповѣди Моисея. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ способъ изложенія есть также непремѣнно афористическій: изрекаются постоянно самостоятельныя, отрывочныя и независимыя одна отъ другой правовыя истины. Само собою разумѣется, что чѣмъ священный кодексъ сложнѣе, тѣмъ онъ и казуистичнѣе. Общихъ началъ тутъ нѣтъ и не можетъ быть никакихъ; все тутъ слагается по поводу частныхъ случаевъ. Методъ же философскаго права отличенъ отъ этого по всѣмъ направленіямъ. Во первыхъ, онъ требуетъ всегда истины *мотивированной*, а не безотчетной. Поэтому, если мотивъ не всегда сохраненъ въ самыхъ кодексахъ, то онъ всегда найдется въ ихъ источникахъ, куда за этимъ обыкновенно и обращаются, а тѣмъ болѣе въ разнообразныхъ теоріяхъ права, которыя и сами по себѣ суть не что иное, какъ всевозможныя мотивировки дѣйствующихъ системъ права. Если же мотивъ скупъ на слова и иногда ограничивается выраженіемъ „пріема за благо“, то онъ всетаки остается мотивомъ, а не догмою. Параллельно съ мотивировкою идутъ въ этомъ методѣ сводность, систематизированіе и принципиальность. Повсюду имѣется стремленіе къ большей или меньшей кодификаціи права; повсюду вносится въ него лучшая или худшая система; повсюду отыщется въ ней большее или меньшее число основныхъ руководящихъ правилъ. Что же касается школьнаго, а не положительнаго права; то идеаломъ его еще такъ недавно было отыскать даже всеобщій и единый принципъ, изъ

котораго бы всё другіе можно было вытянуть какъ по ниткѣ. Очевидно, что такое движеніе метода должно разрѣшиться рано или поздно настоящей *доказательностью*, какъ въ тезисахъ чисто-научныхъ, а вмѣстѣ съ нею и всеми ея послѣдствіями, т. е. точностью теорій, ихъ послѣдовательностью и обобщенностью. На какой почвѣ найдутъ онѣ себѣ мѣсто: на статической, какъ хотѣла того философія, или на динамической, какъ сулитъ это исторія,—вопросъ неподлежащій здѣсь обсужденію.—Отъ логическаго искусства тѣхъ и другихъ законодателей, обращаясь въ ихъ эстетическому искусству въ ихъ построеніяхъ, опять находимъ положительную разницу обѣихъ формаций права. Первая изъ нихъ вполне еще *синтетична*; художественный рѣзецъ еще не прошолъ по ней и не выдѣлилъ права не только изъ остальной культуры, но даже отъ цивилизаціи и гражданственности. Всякое откровенное, догматическое законодательство пребываетъ еще въ полномъ синтезѣ и съ вѣрою, и съ знаніемъ, и съ искусствомъ, и съ политикою, и съ нравоученіемъ. Не только Ману, но даже Солонъ въ законахъ своихъ считаетъ долгомъ устанавливать и порядокъ жертвоприношеній, и цѣну жертвенныхъ животныхъ, и свадебные обряды, и поклоненіе предкамъ. и т. д. Не меньше смѣшенія понятій и въ *jus Papirianum* и даже въ XII таблицъ. Такой синтезъ права обусловливалъ и самое смѣшеніе его съ сосѣдями, въ особенности же, въ одну сторону, съ нравственностью, а въ другую—съ культомъ, т. е. разъ съ гражданственностью, а другой разъ съ цивилизаціею. Отъ смѣшенія перваго рода произошла идеализація права. Напрасно было бы представлять все древнее право въ качествѣ непременно обязательнаго, подъ угрозой наказанія. Это значило бы переносить нынѣшнія понятія на совсѣмъ иные факты. По восточному законодательству можно узнавать только то, чего оно желаетъ, а не то, къ чему оно обязываетъ. Таковы, на примѣръ, въ еврейскомъ правѣ всѣ, ничѣмъ необезпеченныя, распоряженія о юбилейныхъ годахъ, о возвращеніи земель и свободы, о прощеніи долговъ. Кодексъ Ману, по мнѣнію ориенталистовъ, также вовсе не представляетъ свода такихъ законовъ, которыми бы дѣйствительно управлялся Индостанъ. Говорятъ, что онъ даже въ большей своей части есть именно только идеалъ, только утопія, а не положительное законодательство. Этимъ же путемъ объясняются и нѣкоторые египетскіе и персидскіе законы, поражавшіе своею гуманностью, не свойствен-

ною ни мѣсту, ни времени. Короче, все это были скорѣе системы государственной нравственности, чѣмъ системы права, скорѣе рекомендуемое право, чѣмъ навязываемое. Другое сосѣдство и другое отождествленіе, съ культомъ, произвело окончательную поэтичность права. Уже и самая идеализація и утопизмъ вели къ этому; вела также стихотворная форма законовъ, приравнивавшая ихъ къ гимнамъ и псалмамъ; но больше всего привела къ тому позанимствованная правомъ у культа образность. Духъ обрядности, духъ символизма совсѣмъ заполонилъ собою древнее право, и произвелъ въ немъ то же, что производитъ онъ и въ художествѣ, т. е. полное господство формы надъ содержаніемъ. Отсюда во первыхъ, въ собственномъ смыслѣ формализмъ, сдѣлавшій право церемоніей, а судъ мимикой. Во вторыхъ, отсюда же буквальность, т. е. формализмъ языка, тяготѣніе слова надъ мыслью, выраженій закона надъ разумомъ его, *littera legis* надъ *ratio legis*. Для того, чтобы возвратить чужое бревно, еврейскіе цоферимы не задумывались требовать сломки всего дома, въ который оно употреблено. Въ Ассиріи и въ Египтѣ всякій гражданскій процессъ сопровождается множествомъ церемоній не только юридическихъ, но и прямо религиозныхъ. Формы права однѣ только рѣшали всякій правовой вопросъ, и всякій недостатокъ, всякая малѣйшая погрѣшность въ формахъ стоили потери самаго права. Также точно и въ словахъ: довольно было перемѣстить букву, переставить слово, измѣнить размѣръ стиха, чтобы заглушить этимъ всякую матеріальную правду. Извѣстно, что не только толкованіе, но даже и самое чтеніе или слушаніе священныхъ книгъ, какъ, напримѣръ, ведъ, было воспрещаемо населеніямъ, подобно тому, какъ въ средніе вѣка запрещалось чтеніе библіи мірянамъ. Въ новѣйшемъ правѣ нельзя не почувствовать перемѣны во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, хотя и далеко не столь рѣшительной, какъ можно было бы ожидать, судя по двухтысячелѣтнему разстоянію между обѣими формаціями права. Самымъ рѣзкимъ изъ отличій нашего права есть его *аналитичность*, его рѣшительное отдѣленіе какъ отъ области цивилизаціи, такъ и отъ области гражданственности и ограниченіе одною сферою культуры; а здѣсь опять обособленіе его не только отъ метода, но и отъ искусства. Мало этого, выдѣлившіи такимъ образомъ свое цѣлое право, какъ мы знаемъ, не перестаетъ обособлять и въ самомъ себѣ свои разнообразныя части, подъ-элементы свои, т. е. дифферен-

пируется. Одновременно съ этимъ оно лучше выяснилось и качественно, рѣзче опредѣливши свой собственный характеръ—обязательность, принудительность. А вмѣстѣ со всѣмъ этимъ оно сдѣлалось реальнѣе, утратило утопичность, идеализмъ. Само собою разумѣется, что въ будущемъ все это ведетъ къ полной *специализации* правъ, подобной специализаціи нынѣшнихъ естественныхъ наукъ. За то же, что касается формализма и буквальности, современное право не только не переступало еще изъ прежней крайности въ новую, но едва лишь пробуетъ какъ нибудь-примирять ихъ обѣ. Оно чувствуетъ себя твердымъ и самодовольнымъ каждый разъ только тогда, когда форма и содержаніе, когда буква и духъ счастливо совпали. Но каждый разъ, какъ оно присутствуетъ при распаденіи ихъ, оно мечется изъ угла въ уголъ и не знаетъ, что предпринять. Имъ достаточно уже осуждено древнее злоупотребленіе формой и буквой; но имъ недостаточно еще признано самое превосходство матеріальной и рациональной правды, и въ особенности недостаточно найдены средства и пути для вѣрнаго торжества ея. Отсюда все новое право есть только большій или меньшій, смотря по странѣ, компромиссъ между осужденнымъ прошедшимъ и тщетно призываемымъ будущимъ. Правда, что вслѣдъ за разрѣшеніемъ чтенія и толкованія библіи въ реформацію, революція разрѣшила и толкованіе свѣтскаго закона. Правда, что всѣ почти современные кодексы включили въ себя, по слѣдамъ кодекса Наполеонова, право интерпретаціи законодательства судомъ и администраціей, а именно на основаніи духа законовъ и аналогіи случаевъ; при чемъ отказъ въ этомъ толкованіи возведенъ даже въ отказъ въ правосудіи. Но дѣло въ томъ, что нравы сильнѣе правъ, и что практика не только административная, но и судебная, подъ давленіемъ глубоко залегшей древней закваски, и до сихъ поръ боится пользоваться этимъ новымъ правомъ своимъ или предоставлять пользоваться имъ другимъ. Отсюда всѣ возможные разницы судебныхъ рѣшеній, всѣ возможныя разногласія инстанцій, всѣ возможныя раздѣленія большинства и меньшинства въ каждой, всѣ онѣ сводятся постоянно къ одному и тому же источнику,—къ недоумѣнію между формальною правдою и матеріальною, между буквальнымъ правомъ и рациональнымъ. Въ этихъ тщетныхъ поискахъ выхода, право наше имѣетъ шансы пробиться всю свою жизнь, какъ бѣла въ колесѣ, оставляя по себѣ развѣ лишь однѣ робкія пробы, одни задатки для разрѣшенія непосильной для него

самого задачи. Это распутье современнаго права похоже на то, какое ощущается и въ современномъ изящномъ искусствѣ, которое не знаетъ, куда ему склониться, къ образу, или къ идеѣ. Выходъ изъ этого колебанія или, пожалуй, равновѣсія обѣихъ противоположностей и здѣсь, и тамъ, конечно, одинъ: къ идеѣ, къ матеріальной правдѣ, къ рациональному праву; но этотъ выходъ требуетъ, очевидно, мѣховъ новыхъ, и отдаляетъ себя на столько же, на сколько и самая научность юриспруденціи.—Въ смыслѣ элемента, въ тѣсномъ смыслѣ культурнаго, право имѣетъ еще одинъ, на этотъ разъ, свой собственный, исключительно ему одному свойственный, фокусъ, который, по мѣрѣ историческаго движенія, также перемѣщается съ мѣста на мѣсто. Фокусомъ этимъ, дающимъ тонъ всему остальному праву, этимъ, такъ сказать, правомъ правъ служить, какъ это слѣдуетъ изъ всего предъидущаго, государственное сословное право. Къ нему въ государственныхъ формаціяхъ приспосаблиются какъ частное, такъ и международное право, а тѣмъ болѣе всякое иное государственное, не исключая и верховнаго. Движеніе такого-то права не можетъ не отражаться и на всей цѣлости его, на всѣхъ памятникахъ законодательныхъ и на всѣхъ способахъ примѣненія ихъ къ жизни. Когда движеніе это разсматривалось по содержанію права, мы нашли его текущимъ отъ аристократизма къ тимократизму и отъ этого послѣдняго къ демократизму; такимъ же точно остается это движеніе и по всѣмъ внѣшностямъ своимъ, во всей внѣшней своей исторіи. Въ одномъ случаѣ единственнымъ законодателемъ, хранителемъ, знатокомъ и стражемъ права есть аристократія; въ другомъ случаѣ всѣмъ этимъ становится тимократія; въ третьемъ—должна сдѣлаться демократія. Еще до появленія письменныхъ кодексовъ естественными хранителями обычая и преданія бывають или сильнѣйшіе, или старѣйшіе, или храбрѣйшіе люди, словомъ,—по тогдашнему лучшіе; съ появленіемъ же письменъ, высшіе, какъ духовные и такъ свѣтскіе, классы становятся еще болѣе естественными на то претендентами, какъ единственно грамотные. Отсюда все древнее право есть всегда монополія и даже просто тайна, мистерія духовныхъ и свѣтскихъ аристократій. Это-то обстоятельство и вело постоянно къ тѣмъ смутамъ, какими сопровождался всякій спросъ на письменные законы. Между тѣмъ, новое право очень рано уже попало изъ рукъ бароновъ и монаховъ въ руки легистовъ, и эти послѣдніе очень скоро стали одни и знатоками права, и хра-

нителями его, и примѣнителями, и, наконецъ, просто творцами, законодателями. Внѣшняя исторія совпадаетъ, слѣдовательно, съ внутреннею, и тѣмъ обѣ подкрѣпляютъ другъ друга.—Остается гражданственная характеристика той же исторіи, т. е. съ точки зрѣнія правовъ, насколько они могутъ обнаруживаться въ созданіи или приложеніи права. А могутъ они обнаруживаться скорѣе въ формальномъ правѣ, чѣмъ въ матеріальномъ, и при томъ скорѣе въ послѣдовательномъ, чѣмъ въ предварительномъ, т. е. скорѣе всего въ созданіи и примѣненіи правъ судебного и административнаго. Исполнители того и другого рода принуждены дѣйствовать, примѣнять право, проявлять волю, а слѣдовательно не могутъ не выдавать и нравы свои. И такъ, какіе же нравы ихъ обличены до сихъ поръ исторіею двухъ государственныхъ формацій? Исполненіе каждаго рода проходитъ свою особенную дорогу. Судебное исполненіе идетъ, можно сказать, отъ *мертвой* совѣсти къ *живой*. Административное подвигается отъ *произвольности* къ *законности*. По крайней мѣрѣ, въ первомъ отношеніи, судебномъ, чѣмъ древнѣе законодательство, тѣмъ пуще опутывается оно совѣсть судьи такими тенетами, въ которыхъ она дѣйствительно омерщвляется, перестаетъ дѣйствовать какъ живая, и если двигается, то почти автоматически. Въ этихъ случаяхъ законодатель, видимо не довѣряя своимъ исполнителямъ, ведетъ ихъ за руку на каждомъ шагѣ, научаетъ ихъ, какъ и чѣмъ должны они убѣждаться, и на сколько могутъ они убѣдиться въ каждомъ случаѣ, опредѣляетъ для нихъ, разъ навсегда, всѣ мотивы и всю мѣру какъ снисхожденія, такъ и самой строгости правосудія. Словомъ, это есть полное господство предустановленныхъ, узаконенныхъ теорій доказательствъ, и полное недовѣріе къ свободнымъ нравамъ своихъ судей. Судъ надъ І. Христомъ былъ затрудненъ нѣкоторое время только тѣмъ, что не могли найти другого свидѣтеля, который бы отъ слова до слова повторилъ показаніе перваго, безъ чего судъ не имѣлъ права убѣдиться. Напротивъ, чѣмъ судъ и его законодательство новѣе въ исторіи, тѣмъ горячѣе въ нихъ борьба между омерщвляемой совѣстью и свободною. Страхъ, что совѣсть можетъ приходить въ противорѣчіе съ писаннымъ закономъ, еще очень недавно внушала законодателямъ, какъ напри- мѣръ, Фридриху Великому, только мысль, по мѣрѣ возможности, предупреждать подобный скандалъ (что онъ и исполнилъ въ своемъ кодексѣ). Но въ проектѣ Наполеонова кодекса прямо предполага-

лось уже признавать судью въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже непосредственнымъ органомъ справедливости; хотя утвержденный кодексъ и выпустилъ это выраженіе, а замѣнилъ его лишь правомъ толкованія, въ случаѣ недостатка или неясности закона. Въ австрійскомъ кодексѣ таже идея принята подъ именемъ примѣненія судьей естественнаго права. Въ русскомъ кодексѣ существуетъ французская статья въ двухъ редакціяхъ, одной—судебной, и другой—общей или административной. Въ Англіи она замѣняется особою инстанціею справедливости, хотя въ свою очередь достаточно уже омерщвленной. Словомъ, повсюду въ наше время споръ между двумя совѣстями разрѣшается пока только взаимною сдѣлкою между обѣими; при чемъ пропорція этой сдѣлки, варьируясь отъ страны къ странѣ, можетъ служить однимъ изъ масштабовъ относительной культурности каждой. Вообще же говоря, пропорція эта въ уголовныхъ судилищахъ гораздо благопріятнѣе для живой совѣсти, чѣмъ въ гражданскихъ, такъ что гражданственность въ первыхъ учрежденіяхъ несравненно выше, чѣмъ во вторыхъ. Но такъ какъ даже и въ первыхъ узаконенная логика далеко еще не отошла въ вѣчность, и все еще предписываетъ, какія изъ доказательствъ, когда и какъ слѣдуетъ или не слѣдуетъ допускать; то и нельзя не предположить, что борьба эта займетъ всю исторію текущаго, тимократическаго права, и если склонится сколько нибудь въ пользу живой совѣсти и свободной логики, то развѣ только къ концу прогресса текущихъ культуръ. Дорога нравовъ административныхъ совершенно обратная. Тамъ начинается она, напротивъ, безусловнымъ довѣріемъ къ исполнителямъ и исполненію, чѣмъ и образуется та произвольность ихъ, которой такъ опасались всегда въ судѣ, и изъ за которой вѣзали тамъ исполнителя по рукамъ и ногамъ. Административные нравы древняго востока, да и самого Рима, не зачѣмъ демонстрировать: читатель довольно видѣлъ ихъ и на прежнихъ страницахъ. Самое отношеніе общественныхъ администрацій къ правительственнымъ также достаточно иллюстрируетъ ихъ. А потому довольно будетъ только перевести языкъ фактовъ на языкъ нравовъ. Если исторія администраціи дѣйствительно есть исторія тяжбы между обществомъ и государствомъ, то изъ за чего же они тяжутся, какъ не изъ-за произвола и законности! И если весь современный свѣтъ достигъ только до того, что успѣлъ отвести свое поле произволу и свое законности, и при томъ въ различныхъ и весьма неравномѣр-

ныхъ по странамъ границахъ; то, при тугости всякаго всемірнаго передвиженія, можно смѣло подумать, что темы этой достанетъ на всю жизнь нынѣшнихъ государствъ, и что безпрепятственное и широкое раскрытіе духа законности есть не ихъ удѣлъ.

Какъ бы то ни было, но изъ внѣшней или, лучше, общей исторіи законодательства достовѣрно, по крайней мѣрѣ, то, что и съ этой точки зрѣнія существуютъ, во всякомъ случаѣ, двѣ государственныя культуры, двѣ законодательныя формаціи, какъ и со всѣхъ прочихъ точекъ. Если же такъ, то возникаетъ вопросъ: гдѣ, когда и какъ произошелъ въ правѣ этотъ общій изломъ его отъ одной формаціи въ другую? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ стоитъ предъ исторіей вся цѣлостность римскаго права. Право это дѣйствительно начинается всѣми свойствами одной формаціи, предыдущей, и оканчивается дѣйствительно всѣми качествами другой, послѣдующей, такъ что такая его исторія блистательно освѣщаетъ собою, какъ обѣ эти формаціи, такъ и сама освѣщается ими обѣими. Прежде всего укажемъ въ этой исторіи перегибъ отъ религіозной закваски къ философской. У самой колыбели римскаго права стоитъ, какъ повторено не разъ, божественная нимфа, которая, какъ и вездѣ на востокѣ, вѣщаетъ чрезъ своего царя-пророка. Въ дошедшихъ до насъ слѣдахъ царскихъ законовъ право Рима еще положительно отождествляется съ самой вѣрой и съ культомъ: одинъ изъ этихъ законовъ не допускаетъ, напримѣръ, преступной женщины къ алтарю, другой воспрещаетъ извѣстныя яства на пирахъ, третій устанавливаетъ для побѣдителя спеціальныя обряды благочестія. Мысль о тождествѣ права съ культомъ долго еще исповѣдывается по римской исторіи даже тогда, когда тождество это уже фактически подрывалось. Когда въ трибутскихъ комиціяхъ хотѣли постановить законъ, впервые предложенный трибуномъ; одинъ изъ патриціевъ, со всею силою общепризнанной авторитетности, могъ еще воскликнуть: какое имѣете вы право дѣлать законы? вы не гадаете и не священнодѣйствуете въ вашихъ собраніяхъ: что же есть общаго у васъ со святиней, къ которой относится законъ? А между тѣмъ, кто же не знаетъ до какой степени въ послѣдствіи римскій законъ отдѣлился отъ святини, сдѣлался свѣтскимъ, мирскимъ. Съ характеромъ божественности вполне гармонировалъ и первоначальный характеръ священной неподвижности, неотмѣнности права. Царскіе законы, закономъ XII таблицъ вовсе отмѣнены не были.

Этотъ послѣдній законъ также никогда не отмѣнялся всѣми послѣдующими. Обаяніе неотмѣнности насильственно поддерживалось даже тогда, когда законодательство стало ежедневно мѣняться, и поддерживалось оно именно тѣмъ, что объ отмѣнѣ стараго закона никогда не упоминалось въ новомъ, что довольствовались только простымъ провозглашеніемъ этого послѣдняго и, слѣдовательно, лишь молчаливою отмѣною прежняго. Еще позднѣе прибѣгли къ новому средству для той-же цѣли, и при томъ положительному, а не отрицательному, которое съ тѣхъ поръ и наложило на это право свою новую печать. Вмѣсто того, чтобы отмѣнять древнія, освященные временемъ таблицы, или хотъ только умалчивать объ ихъ отмѣнѣ, всякій новый законъ старался. напротивъ, такъ или иначе, но приурочить себя къ старымъ, давая себѣ видъ неотразимаго послѣдствія тѣхъ, во чтобы-то ни стало. Отсюда-то и возникли впервые тѣ діалектическія хитрости и тонкости, которыя развились потомъ въ цѣлую систему, и наложили свой новый отпечатокъ на право. Часто слышится, при сравненіи Рима съ Греціей, утверждение, что римскій умъ крайне положителенъ, что онъ вовсе не философскій умъ, не діалектическій, не умозрительный, и что философіи римской совсѣмъ не имѣется. Но это похоже на то, какъ христіанинъ отрицаетъ религію въ Китаѣ, или единобожіе въ буддизмѣ, потому только, что они совсѣмъ не такіа, какъ у него самого. Подобно тому и римляне были философы, и даже очень тонкіе; и они создали цѣлую и обширную систему философіи, но только не созерцательной, а дѣятельной,—систему практическихъ, житейскихъ, правовыхъ нормъ. Римскіе *prudentes* были совершенная пара греческимъ *sophoi*. И, вмѣсто того, чтобы отрицать у нихъ философію, правильнѣе было бы говорить, что она у нихъ совсѣмъ другая, иная, чѣмъ у грековъ. Та была въ высшей степени абстрактная, эта—въ высшей степени конкретная; тѣ философствовали *en grand*, оптомъ, а эти—въ раздробъ, по мелочамъ. Но въ этой грошевой философіи римляне обнаружили нисколько не меньшую тонкость и гибкость діалектическаго ума своего, чѣмъ и сами греки въ своей. А этимъ они перекинули мостъ въ будущее, нашедшее въ немъ готовую тропу для настоящей, для абстрактной и грандіозной философіи права и для окончательнаго и рѣшительнаго претворенія его изъ теологическаго въ метафизическое. При двухъ такихъ системахъ, Римъ совмѣщаетъ въ себѣ и два метода ихъ. Ре-

дакція XII таблицъ всегда догматичная и всегда повелительная: *Patronus, siclienti fraudem fecerit, sacer esto; Si paterfilium ter venum duit, filius a patre liber esto; Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*. Мотивъ закона никогда не упоминается, и никто его не доискивается: довольно того, что законъ былъ угоденъ богамъ, какъ видно изъ жертвъ, изъ гаданій, изъ оракуловъ. Божественная воля должна быть исполнена, каковы бы ни были ея побужденія; да и могутъ ли быть извѣстны побужденія божественной воли! Съ теченіемъ времени, однакожъ, когда законъ сдѣлался очевиднымъ дѣломъ рукъ человѣческихъ, идея цѣли, намѣренія закона выступаетъ смѣлѣе и смѣлѣе, и получаетъ названіе *ratio legis*. А какъ только появилось новое понятіе о смыслѣ законовъ, въ противоположность прежнему о священной буквѣ ихъ, весь методъ законодательнаго творчества и законодательнаго примѣненія долженъ былъ испытать глубокое потрясеніе. Потрясеніе это, какъ методологическое, какъ создавшее весь новый завѣтъ права, заслуживаетъ особеннаго нашего вниманія. Задачей этого новаго завѣта, по необходимости, съ этихъ поръ, становится согласить каждый разъ духъ закона съ его буквою. Еще одинъ шагъ впередъ, — и задача расширяется: возникаетъ потребность согласить и всякія другія противоположности, напримѣръ, противорѣчія частей между собою или съ ихъ цѣлымъ, противорѣчіе настоящаго права съ прошедшимъ и т. п. Но какимъ образомъ сдѣлать это? Единственный готовый путь къ тому, при отсутствіи науки, есть діалектика, т. е. всевозможныя логическія ухищренія для сведенія концовъ съ концами. Таковъ именно и былъ возвѣщенный римлянами новый методъ юриспруденціи. Иалюбленными же римскими приѣмами этой діалектики сдѣлались четыре слѣдующія: аналогія, фикція, презумпція и сентенція. Самымъ гибкимъ и просторнымъ для мысли приѣмомъ оказалась аналогія или, точнѣе, система такъ сказать *quasi'атовъ*. По этому методу каждый разъ, какъ только фактъ вѣчно подвижной, вѣчно мѣняющейся жизни не укладывался въ готовые рамки закона, предпринималось что-нибудь одно изъ двухъ: или фактъ дотянуть до рамки или рамеу стянуть до факта. Такъ, пока законъ не знаетъ иныхъ обязательствъ, какъ контрактныя, въ жизни вдругъ попадаетъ такое юридическое отношеніе, гдѣ здравый смыслъ и живая человѣческая совѣсть указываютъ и право, и обязанность, не смотря на отсутствіе договора о томъ, — у римскаго

генія тотчасъ же является новое логическое построение, въ видѣ знаменитаго *quas-i-contractus*. Таковъ, напримѣръ, случай уплаты долга, по ошибкѣ, не тому лицу, какому слѣдовало: тутъ возвращеніе обязательно, какъ будто бы предшествовалъ договоръ о томъ. И вотъ путемъ этимъ возникаетъ цѣлый и длинный рядъ квази-контрактныхъ отношеній, какъ *in debiti solutio*, уплата недолжнаго, *negotiorum gestio*, веденіе дѣла безъ уполномочія, *communio bonorum*, владѣніе сообща безъ предварительнаго соглашенія, *tutela*, опека, *hereditatis aditio*, вступленіе въ наслѣдство и т. п. Но и это не все. Каждое изъ этихъ новыхъ отношеній надо еще подтянуть подъ какое-нибудь изъ старыхъ; и вотъ первое подводится подъ *mutuum*, заемъ, второе подъ *mandatum*, довѣренность, третье подъ *societas*, товарищество, четвертое опять подъ *mandatum*, и такъ до пятого, т. е. до тѣхъ поръ, пока всякая возможность натяжки исчезаетъ, и новое юридическое отношеніе остается безъ всякой парности съ какимъ либо старымъ. Всѣ виды стараго рода исчерпываются, начинается творчество совсѣмъ новаго рода. Сюда же относятся всѣ виды обязательствъ *quasi ex delicto*, якобы изъ преступленія. Тутъ же есть и квазіаты вещнаго права, какъ подлѣ каждаго *patrimonium* есть *quasi-patrimonium*, подлѣ *peculium castrense* есть *quasi-castrense*, рядомъ съ *possessio* имѣются *quasi-possessio*, и квазіаты формальнаго права, какъ, рядомъ съ *actio Serviana*, *actio quasi Serviana*, и т. п. Наконецъ, аналогия римская достигла, такъ сказать, до одушевленія, до олицетворенія всякой юридической сдѣлки, до аналогіи ея съ человѣческой личностью. Если греческіе мыслители раздвоили человѣка на двѣ консистенціи: душу и тѣло; то римскіе раздвоили такимъ же образомъ и всякое *negotium* на его *animus* и *corpus*. Гдѣ не доставало того или другого, тамъ не было и сдѣлки, а былъ только или трупъ ея безъ души или же одна душа безъ плоти. Вотъ до чего достигъ идеалъ соглашенія частныхъ. А достигнуто все это единственно посредствомъ системы квазіатовъ, посредствомъ обширной системы того, что въ просторѣчій называется натяжками, а въ наукѣ аналогією. Какъ бы ни были иногда subtilны эти натяжки, но, по большей части, онѣ были удачны, и составили собою весь базисъ всего римскаго развитія права. Однакожъ, и все напряженіе духа аналогичности не могло не оставить еще нѣкоторыхъ пробѣловъ, такъ что приходилось обращаться и къ другимъ діалектическимъ приемамъ, которые

были, впрочемъ, только новыми видами аналогизма. Появляется, напримѣръ, случай, гдѣ одною и тою же вещью, и при томъ недѣлимою, владѣютъ нѣсколько человѣкъ. Спрашивается, гдѣ тутъ субъектъ права, владѣлецъ, и гдѣ мѣра владѣнія для каждаго? Остается примирающій вымыселъ, что недѣлимое дѣлимо, какъ на-примѣръ, домъ, или, наоборотъ, что дѣлимое недѣлимо, какъ на-примѣръ, нѣсколько человѣкъ владѣльцевъ. Отсюда вымыселъ такъ называемой юридической личности, *persona moralis, mystica*; словомъ, отсюда юридическая фикція. Еще лучший образецъ фикціи и дѣйствительной мистичности ея представляетъ *haereditas jascens*, открывшееся наслѣдство, гдѣ до вступленія наслѣдника въ права свои продолжаетъ существовать личность покойника; по вступленіи же, наслѣдникъ есть наслѣдникомъ съ самой минуты смерти, такъ что одинъ и тотъ же промежутокъ времени принадлежитъ весь и къ праву одного, и къ праву другого. Впрочемъ, повторяемъ, приѣмъ этотъ не выходитъ изъ предѣловъ аналогіи, но только вмѣсто непосредственной, какъ квазіаты, употребляетъ аналогію посредственную, уподобленіе не въ собственномъ смыслѣ, а въ переносномъ, фигуральномъ. Словомъ, это юридическая метафора. Въ третьяго рода случаяхъ нельзя было обойтись и всѣмъ этимъ. Случалось, что вся такая игра понятіями совсѣмъ переставала быть возможною, когда, напримѣръ, нѣтъ и самыхъ понятій, которыми можно было бы играть, когда право совсѣмъ безмолвствуетъ. Римлянинъ не унывалъ и тутъ, и смѣло пускался въ предположенія, о чемъ право думало молча. Такъ, рѣдкому законодателю можетъ придти въ мысль опредѣлять условія положительныя, когда достаточно опредѣлены всѣ отрицательныя, какъ напримѣръ, опредѣлять законность рожденія, когда опредѣлены условія незаконности его. Молчалъ объ этомъ и римскій законъ. Но римскому уму мало молчанія; онъ хочетъ установить, что сказалъ бы законъ, еслибъ онъ заговорилъ. И вотъ готово истолкованіе, что *pater est quem nuptiæ demonstrant*, т. е. готовъ переводъ молчанія на языкъ, готова такъ называемая презумпція. Презумпція есть опять та же посредственная аналогія, а именно основанная на сравненіи умолчаннаго съ высказаннымъ. Наконецъ, выпія, хотя и безсильныя потуги римскаго генія усматриваются въ тѣхъ обобщеніяхъ положительнаго права во всей его цѣлости, какія онъ предпринималъ, и какія проложили узкую тропинку къ той аренѣ, на которой потомъ германо-романское право

принесло весь свой цвѣтъ и весь плодъ свой. Это такъ названныя выше сентенціи римскаго права, обратившіяся съ тѣхъ поръ и по нынѣ словно въ какія-то юридическія пословицы, quasi-аксіомы права. Это опять аналогіи, но только не частныя, не казуистическія, а всеобщія, аксіоматическія, разрабатывающія право не по частямъ, а обрабатывающія его въ цѣлое. Одиѣ изъ нихъ пробовали создать систему права, какъ напримѣръ: *omne jus vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones*; и на сколько она возможна на статической почвѣ, онѣ и достигали своей цѣли, такъ что ничего лучшаго и до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, не сдѣлано въ этомъ отношеніи. Какая бы то ни было, но связность, систематизація внесена въ теологическую разрозненность и фрагментарность. Другія попытки обобщеній, на той же статической почвѣ, состояли въ перекрестномъ пронизываніи этой системы разными красными нитями, въ принципахъ, такъ сказать, поперечныхъ, а не продольныхъ. Это самыя первыя попытки подражанія тому, что въ точныхъ наукахъ называется законами. Такими юридическими законами претендуютъ быть слѣдующія, напримѣръ, римскія обобщенія: *jus posterior derogat priori*; *qui tacet, consentit*; *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet*; *prior tempore potior jure*; *quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest* и проч. и проч. т. п.; также какъ и многочисленныя средневѣковыя подражанія этому приему. Какъ ни слаба, однакожь, вся эта система, какъ ни банальны всѣ ея обобщенія, которыхъ можно натворить тысячи (какъ, напримѣръ: право предполагать соотвѣтственную обязанность; никто не можетъ купить, если не продаютъ; объектъ права не бываетъ субъектомъ его, и т. п.); и какъ ни подвержены всѣ они, не смотря на всю банальность, исключеніямъ (что замѣчено уже и самымъ творцомъ ихъ, который признался въ томъ новою своею сентенціею, уничтожавшею всѣ прежнія: *omnis definitio in jure periculosa est*); но тѣмъ не менѣе и эта система, и эти сентенціи суть и до сихъ поръ все, что составляетъ науку права, все, что образуетъ единственно дѣйствительную обработку его, а не сырой матеріалъ. Могущество римской діалектики блистательно дало себя знать въ сооруженіи этого сырого матеріала, въ созданіи своего положительнаго законодательства; и не ея вина, если она сѣла на мель въ возведеніи науки, которымъ не могутъ похвалиться и потомки ея. Впрочемъ, діалектика

эта и тутъ сдѣлала все, что доступно было при ея условіяхъ, т. е. при наблюденіи одного только своего положительнаго права и при наблюденіи его исключительно статическомъ, а не динамическомъ. Имѣй римляне возможность сравнивать всѣ восточныя законодательства и сравнивать ихъ не въ пространствѣ, а во времени, они, конечно, совершили бы такія же чудеса и въ наукѣ, какъ въ своемъ правѣ положительномъ. Что касается художественной работы римскаго юриста, то она не хуже философской и методологической. Вся поэтичность, вся художественность римскаго ума словно ушла сюда изъ своей собственной области, и если тамъ произвела немного, то здѣсь создала почти все. Уже самая систематизація права указываетъ, что древній синтезъ царскихъ и децемвирскихъ законовъ, какимъ открылось право Рима, скоро разсѣялся, какъ туманъ, и скоро перешолъ въ анализъ; а анализъ, въ свою очередь, началъ выдѣлять не только право отъ смежныхъ съ нимъ элементовъ, но и еще болѣе смежные подъ-элементы въ самомъ правѣ. Отсюда, какъ бы ни были несовершенны римскія раздѣленія и подраздѣленія права на *jus divinum* и *humanum*, *jus gentium* и *jus inter gentes*, *jus civile* и *jus naturale*, *jus privatum* и *jus publicum*, и т. п.; но они были первыя, какія испробованы. При томъ же, многія изъ нихъ, хотя не всегда въ томъ же смыслѣ, остаются и до сихъ поръ категоріями, которыхъ ничто уже не можетъ поколебать, пока стоитъ міръ. Вмѣстѣ съ этимъ обозначеніемъ границъ, необходимо долженъ былъ точнѣе обозначиться и реальный, обязательный характеръ, отдѣляющій право отъ нравовъ. Но всего капитальнѣе, въ этомъ отношеніи, римское потрясеніе господства образности, обрядности, формализма, буквальности. Оно замѣчательно тѣмъ болѣе, что нигдѣ, быть можетъ, на самомъ востокѣ господство это не было столь безусловнымъ, какъ то, отъ котораго отправляется исторія римскаго права. Что нынѣ непредубѣжденному уму часто кажется простой прибауткой въ римскомъ правѣ, такъ что онъ долго ищетъ сущности дѣла гдѣ нибудь по сторонамъ, для римлянина и было то самой сущностью въ правѣ. Будетъ ли это семейное право (*personae*), или вещное (*res*), или же договорное (*actiones*), повсюду на первомъ планѣ символизмъ, фигуральность. Ни одно завѣщаніе, усыновленіе, эманципація, отпускъ на волю, никакой переходъ права собственности, никакое соглашеніе не могли состояться безъ цѣлаго наружнаго церемоніала, безъ цѣлой юридической

пантомимы. Самою всеобщей изъ нихъ была формула *сдѣлокъ per aes et libram*, съ вѣсами и съ мѣдью. Надо было, чтобы обѣ заинтересованныя стороны были непременно на лицо. Одна изъ нихъ являлась, на примѣръ, съ собственностью, которую имѣла отчуждать, положимъ съ работою; другая—со слитками мѣди, замѣнявшей монету. Ассистентомъ при этомъ долженъ былъ быть жрецъ, *libripens* (вѣсодержатель) и, сверхъ того, пять свидѣтелей. Когда все готово, стороны съ извѣстными тѣлодвиженіями, способными запечатлѣть событіе въ памяти, начинаютъ обмѣниваться извѣстными, точно установленными формулами выраженій. Это такъ называемая *stipulatio*. *Stipulator*, касаясь рукою передаваемого предмета, что и называлось *мансипаціо*, предлагаетъ свои условія въ формѣ вопросовъ пунктовъ; а *promissor*, дающій обѣщаніе, обязывающійся, утвердительно и въ тѣхъ же самыхъ словахъ отвѣчаетъ. Обѣщаетъ ли доставить мнѣ этого раба въ такомъ-то мѣстѣ, въ такое-то время, за такую-то цѣну; *spondes?*—*Spondeo*. Или же въ другихъ случаяхъ: *dabis?* *dabo*; *facies?* *faciam*. И эта *verborum solennitas* такъ строга, что стоитъ пропустить слово, переставить его, замѣнить другимъ однозначимымъ, на примѣръ *sic* вмѣсто *faciam*, или замедлить отвѣтомъ, чтобы всякая сдѣлка могла быть опровержена и признана недѣйствительною. Равно и дѣйствительность обязательства, настоящая *obligatio*, наступала лишь тогда, когда произнесена послѣдняя реплика стипуляціи и въ ней послѣднее слово. До тѣхъ же поръ никакая сдѣлка не могла быть дѣйствительною. Наконецъ, если исполненіе должно наступить немедленно, то вещь, съ помощью опять установленныхъ жестикюляцій, передается изъ рукъ въ руки, а *libripens* свѣшивая мѣдь и вручаетъ ее другой сторонѣ. За то же, если весь такой ритуаль продѣланъ безупречно, никакой уже споръ имѣть мѣста не въ состояніи, хотя бы онъ основывался на принужденіи, ошибкѣ, обманѣ. Коль скоро формы всѣ соблюдены, ни до чего остального нѣтъ дѣла. Обрядъ этотъ, въ различное время называвшійся то *пехум*, то *мансипаціо*, то *traditio per aes et libram*, былъ единственнымъ способомъ укрѣпленія правъ и обязанностей, и замѣнялъ собою теперешній нотаріатъ. Даже, если бы сами стороны захотѣли расторгнуть подобную вѣрностную сдѣлку, то это возможно не иначе, какъ посредствомъ обратной такой же процедуры, *пехи liberatio*, которая должна была совершиться также *per aes et libram*. Равнымъ образомъ, и въ случаѣ неисполне-

нѣ столь крѣпкой сдѣлки, должникъ присуждался къ исполненію ея вдвое, *in duplum*. То же самое и въ формальномъ правѣ, не только въ матеріальномъ. Самый древнѣйшій порядокъ римскаго судопроизводства, *legis actio sacramenti*, представляется въ слѣдующемъ видѣ. Предметъ спора непременно долженъ находиться въ судѣ: если это движимость, то она, по возможности, цѣлкою вносится въ судъ; если недвижимость, то — частица ея, комъ земли, камень отъ дома. Положимъ, что это есть рабъ. Истецъ подходитъ тогда къ судѣ съ прутомъ въ рукѣ, который означаетъ коше квирита, налагаетъ на раба руку и говоритъ: *hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse dico*; затѣмъ, со словами: *esse tibi vindictam imposui*, дотрогивается до раба прутомъ. Отвѣтчикъ, въ свою очередь, начинаетъ тѣ же самыя дѣйствія, сопровождая ихъ тою же мимикою и тѣми же формулами. Тогда преторъ возглашаетъ: *mittite ambo hominem!* и обѣ стороны отходятъ отъ раба. Затѣмъ истецъ, въ видѣ залога правильности иска, предлагаетъ извѣстную сумму денегъ, *sacramentum*, при новыхъ выраженіяхъ, обращенныхъ къ отвѣтчику; а отвѣтчикъ выражаетъ согласіе на принятіе судомъ залога. Преторъ принимаетъ залогъ, и только тогда начинается разбирательство по существу. Такая же обрядность наполняла и все государственное право и все международное, для чего стоитъ лишь ознакомиться съ процедурою основанія Рима или объявленія войны. А рядомъ съ этимъ формализмомъ проявленія воли не могъ не царить такой же формализмъ обнаруженія мысли. Когда децемвиръ Аппій Клавдій судилъ дѣло Виргиніи, родственницы ея, руководясь собственнымъ закономъ децемвировъ, предложили взять обвиняемую на поруки. Но Аппій отвѣчалъ, что законъ говоритъ о поручительствѣ отца, а не родственниковъ, и на этомъ основаніи отказалъ. Вотъ отецъ нашей казуистики. Гай рассказываетъ другой случай, какъ истецъ требовалъ вознагражденія за поврежденіе виноградныхъ лозъ его. Фактъ былъ несомнѣннымъ; но судья отказалъ въ вознагражденіи, ибо законъ говорилъ о поврежденіи деревьевъ, а не лозъ. Таковы были точки отсчета Рима. А между тѣмъ, уже изъ всего предыдущаго, въ особенности же изъ исторіи договора, ясно, какъ далеко потомъ Римъ оставилъ за собою такую точку исхода своего. Извѣстно, что онъ достигъ не только до гармоніи духа и тѣла въ сдѣлкахъ, но что онъ успѣлъ перейти и къ предпочтенію духа тѣлу, какъ напримѣръ,

въ своихъ консенсуальныхъ толкованіяхъ договоровъ, чего не видно больше ни у какого иного народа древности. И такъ, и въ художественномъ складѣ права Римъ дѣйствительно перетеръ и перемололъ его такъ, что изъ рукъ его оно вышло совсѣмъ въ иномъ видѣ, чѣмъ въ какомъ поступило въ эти руки. Нужно-ли распространяться о первобытномъ аристократизмѣ римскаго права, объ аристократизмѣ по самымъ его формамъ? Кто не знаетъ, что познаніе божескихъ и человѣческихъ законовъ было тамъ сначала исключительнымъ достояніемъ патриціата и жречества, чѣмъ, между прочимъ, и поставлены были въ тяжелое положеніе плебеи. Считалось аксіомою, что какъ нельзя быть хорошимъ жрецомъ, не изучивъ права, такъ и наоборотъ, нельзя быть правовѣдомъ, не зная культа. Жрецы долго были даже единственными юристами. Пока судъ сохранялъ сакраментальный характеръ, характеръ священнодѣйствія, правосудіе и не могло отправляться иначе, какъ чрезъ жреца. И въ самомъ дѣлѣ, какъ было рѣшить споръ о межевыхъ границахъ, если культъ термовъ и обрядъ проведенія межи неизвѣстенъ? Отсюда необходимость въ жрецахъ межевыхъ, *fratres agvales*, и во всѣхъ имъ подобныхъ. Извѣстно также, что одно изъ величайшихъ удобствъ положенія кліентовъ состояло въ томъ, что патроны обязаны были руководить ихъ въ судѣ и, вообще, въ дѣлахъ права; тогда какъ плебеи лишены были этой выгоды, оставались безпомощными въ каждомъ такомъ случаѣ, почему прежде всего и требовали общезвѣстныхъ законовъ. Но съ удовлетвореніемъ ихъ требованій, потомъ съ уравниеніемъ ихъ съ патриціями и наконецъ съ умноженіемъ образованныхъ отпущенниковъ, монопольное знаніе все больше и больше ускользало изъ рукъ аристократіи и, слѣдовательно, перерождалось и въ самомъ тѣснѣйшемъ культурномъ смыслѣ. Остается перерожденіе гражданственное. И гдѣ же, какъ не въ Римѣ, совершился и этотъ послѣдній кризисъ развивающагося права, кризисъ въ омерщвленіи судейской совѣсти? Конечно, несомнѣнъ онъ и въ Греціи потому уже, что всякое свободное устройство не могло не открыть большаго или меньшаго мѣста для свободной совѣсти; но въ Греціи событіе это не записало себя, не врѣзалось въ скрижали міра, какъ въ Римѣ, не оставило по себѣ такого памятника, какъ тамъ. А потому и переломъ правовыхъ нравовъ приходится вести все-таки изъ Рима. И дѣйствительно, только здѣсь мы встречаемся съ тѣмъ необыкновен-

нымъ примѣромъ, что преобразованія въ законодательствѣ, по крайней мѣрѣ, по частному праву, совершаются не столько законодателемъ, сколько самимъ примѣнителемъ права, судьей, не столько общими и рѣшительными преобразованіями перваго, сколько мелочною и незамѣтною практикою втораго. Только съ эпохи самоуправленій государственныхъ законодатель могъ предоставить судѣ довѣріе, какого не могъ допустить деспотическій востокъ; могъ уступить судѣ свое собственное мѣсто. И это довѣріе тотчасъ же принесло и плоды свои. Какимъ бы формализмомъ и буквальною ни началъ свое дѣло здѣшній судья, какую бы мертвенность совѣсти ни обнаружили Аппій Клавдій и судья Гая; но остается несомнѣннымъ, что самъ же судъ и началъ здѣсь оздоравливать и оживлять себя. Здоровый преторскій умъ рано уже сталъ выходить изъ усыпленія на буквѣ закона и плодомъ этого пробужденія скоро у него явилось знаменитое противопоставленіе *strictum jus* и *equitas*, *bona fides*, суда по закону и суда по совѣсти. Это новое геніальное сопоставленіе не могло не послужить новою вѣхою на столбовой дорогѣ исторіи, новымъ разрывомъ между божественнымъ правомъ и человѣческимъ, религіознымъ и философскимъ, догматическимъ и діалектическимъ, аристократическимъ и тимократическимъ, потому что оно дѣлало поворотъ отъ мертваго къ живому. А потомъ, когда примѣры такого живого суда накопились достаточно, тогда опять не законодатель, не власть, а только частное лицо, юрисконсультъ, стало возводить эти новые случаи въ гармонію какъ между собою, такъ и съ закономъ. А еще позднѣе, когда и этого рода работы достаточно популяризировались, другія такіе же частныя лица обращали ихъ въ частныя, неофициальныя сборники. И только послѣ всего этого брался уже самъ законодатель освящать всю эту частную обработку своимъ собственнымъ авторитетомъ, и издавалъ свои собственные официальные своды и кодексы, вѣковѣчнымъ вѣнцомъ которыхъ и остался навсегда *Corpus Juris* Юстиніана. Оттого-то чудо и удалось, что оно было дѣломъ не одного законодателя, а всего римскаго общества, и что законодатель умѣлъ только во-время прилагать печать свою къ этому дѣлу. И такъ, можно ли отказать Риму въ точкѣ поворота и на этомъ пути, когда мы, даже идя по проторенной уже дорогѣ, едва только въ послѣднее время постигаемъ приближаться туда, гдѣ онъ былъ давно: къ сопоставленію судебной практики и законодательства, *strictum*

jus и *aequitas*, живой судейской совѣсти и мертвой. Наконецъ самая идея административной законности и противопоставленія ея произволу не можетъ вести родъ свой ни откуда больше, какъ изъ Греціи и Рима. Районъ ея могъ быть слишкомъ ограниченнымъ, могъ ограничиваться однимъ столичнымъ городомъ и въ немъ одною сферою гражданъ; но первый примѣръ все-таки данъ, первый шагъ совершонъ. Одна обязательность отчета въ управленіи, хотя бы то и по окончаніи послѣдняго, все-таки не могла не связывать руки произволу. И потому не мудрено, если въ лучшія времена Рима мы встрѣчаемся съ настоящимъ героизмомъ духа законности, какъ напримѣръ, въ лицѣ консула, казнящаго собственнаго сына за ослушаніе. И такъ, изломъ отъ теологическаго права къ метафизическому осуществлялся нигдѣ больше, какъ въ Римѣ и осуществился онъ всѣми вышеозначенными путями. Только Риму принадлежить та неуывдаемая слава, что гражданское право, поступившее въ его руки въ томъ самомъ видѣ, какъ оно было до него повсюду, вышло изъ его рукъ такимъ, какимъ видимъ мы его у себя почти и до сихъ поръ, не смотря на два истекшія съ тѣхъ поръ тысячелѣтія.

Гдѣ же вокругъ насъ то другое, новое, подобное Риму, горнило, въ которомъ могло-бы, хоть со временемъ, такъ же перегорѣть и переплавиться и наше собственное право изъ его заматерѣлаго философскаго закала въ научный? Къ удивленію, ни въ одномъ углу всей нашей семьи народовъ нѣтъ до сихъ поръ ни малѣйшихъ признаковъ подобнаго напряженія, нѣтъ даже попытокъ и самыхъ претензій. Самые культурнѣйшія изъ нашихъ обществъ и наиболѣе вскормленные на римскомъ правѣ, давъ изъ себя философію права, тѣмъ только довели римскій идеалъ до его кульминаціонной точки, но на томъ и остановились. Хуже того, создавъ свою философію, въ настоящую минуту они успѣли уже и отречься отъ этого дѣтища своего; между тѣмъ, какъ замѣнить его чѣмъ-нибудь другимъ не нашлись. А какъ жизнь не стоитъ и не ждетъ, то всякій, кто не идетъ въ ней впередъ, непременно очутится позади. И дѣйствительно, привывши, съ высоты философіи права, подтрунивать надъ кропотливымъ и жалкимъ, съ ея точки, зрѣнія глоссаторствомъ, надъ схоластикою, съ ея юридическими контроверзами, надъ всѣми этими *repetitiones*, *consilia*, *decisiones*, *quaestiones*, *commentarii*, и подтрунивая надъ ними по инерціи и до сихъ поръ, къ чему же, однако, возвратилась сама она, эта такъ назыв-

ваемая наука права, и чѣмъ же, положи руку на сердце, должна считать она себя самое?.. Какъ бы ни снисходительно отвѣтила она себѣ на этотъ вопросъ, но ея настоящее отъ того не просвѣтитъ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ.

Понятіе этого права.—Взаимоотношеніе между нѣмъ, государственными правами и частными. — Международное право въ средѣ патріархальной. — Въ средѣ государственной: военное и мирное, дипломатическое и тактическое; вѣшняя исторія. — Международное право въ своей собственной средѣ.

Наименѣе вѣрно поставленное, по нашему пониманію, право есть международное. Во первыхъ, нѣкоторая неточность содержится уже и въ первомъ изъ этихъ двухъ терминовъ, въ эпитетѣ. „Международное“ предполагаетъ только отношеніе народовъ и, пожалуй, государствъ, но никакъ не отношенія племенъ, родовъ, семействъ. Т. е. всѣ публичныя отношенія, во времена патріархальности, такое наименованіе исключаетъ. Но эта неточность еще не значительна, и она исправляется такъ же легко, какъ и неточность названія государственнаго права. Стоитъ только подъ именемъ международного разумѣть междуобщественное или, пожалуй, вѣшнее публичное (въ противоположность внутреннему публичному),—и всякое недоразумѣніе устранено. Но гораздо большая фальшь заключается въ воззрѣніяхъ на другой терминъ названія, на „право“. Нѣкоторые юристы и, при томъ, настолько авторитетные, какъ Пухта или Савиньи, отрицаютъ въ нынѣшнихъ фазахъ международного права самый характеръ права, и считаютъ его скорѣе профанаціею всякой идеи права. Почему же? потому, говорятъ они, что здѣсь нѣтъ самаго существеннаго признака правъ, — принудительности, и потому что, при отсутствіи международной власти, международного суда, всякое подобное право остается чисто-факультативнымъ. Но такое отрицаніе обличаетъ только слишкомъ техническій и, смѣемъ сказать, мало научный взглядъ на предметъ. Оно обличаетъ слишкомъ тѣсное аналогированіе всякаго права съ однимъ государственнымъ и даже однимъ государственно-тимократическимъ. Съ этой точки зрѣнія надо было бы вычеркнуть изъ науки и всякое право патріархальное, потому что и оно, будучи всегда обычнымъ, также непринудительно, также факультативно всегда. Съ этой точки зрѣнія надо было бы отрицать также и все древне-государ-

ственное право, потому что оно, какъ мы видѣли, на цѣлую, быть можетъ, половину свою разбавлено нравственностью. Вообще, что въ патриархатахъ было правомъ, то въ аристократіяхъ было нравственностью, то стало чистымъ правомъ только теперь, у насъ, въ тимократіяхъ. Кроме того, оппоненты не замѣчаютъ, что и то право, которое признаютъ они дѣйствительнымъ, всегда возникаетъ изъ обычая, и всегда въ обычай же, въ нравъ возвращается. Состояніе общности есть естественный фазисъ всякаго права, и при томъ дважды: разъ, какъ фазисъ предшествующій принудительному, другой разъ, какъ послѣдующій за нимъ. Таково и взятое во всей своей совокупности право государственное: изъ обычнаго патриархальнаго оно всегда возрождается, а въ обычное международное всегда разрѣшается. Такъ что иного международного права, какъ обычное, какъ непринудительное, какъ факультативное, и быть никогда не можетъ, подобно тому, какъ не можетъ быть иного патриархальнаго. Пусть только представлятъ себѣ нѣсколько яснѣе свой идеалъ принудительнаго международного права, — и тотчасъ же увидятъ, что оно чистый миражъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько государствъ, положимъ, учредили у себя общую власть, общій судъ, общіе законы. Прежнія факультативныя отношенія ихъ стали теперь принудительными, общныя сдѣлались узаконенными. Что же вышло? вышло только большое государство. Въмѣсто новой международности, получилась только старая государственность, какъ и видимъ это на всѣхъ тѣхъ нѣмецкихъ государствахъ, которыя недавно учредили у себя общую власть, общій судъ, общій законъ, въ видѣ германской имперіи. Часть прежнихъ международныхъ, т. е. только обычныхъ, ихъ отношеній дѣйствительно обратилась въ принудительную, въ узаконенную; но другая часть, а именно отношенія къ другимъ, не германскимъ государствамъ, все-таки осталась на степени простой общности, на степени той же факультативной международности. И сколько бы ни стали увеличивать подобное соединеніе, послѣдствія будутъ все одни и тѣ же: часть международного права дѣйствительно отпадетъ, потому что обратится въ государственное; но другая его часть, по отношенію ко всѣмъ невошедшимъ въ соединеніе, останется прежнею международностью. Такимъ образомъ идеалъ Пухты и Савиньи, подобно горизонту, удаляется по мѣрѣ того, какъ къ нему приближаются. Остановиться на этомъ пути придется развѣ только тамъ, гдѣ не останется государствъ, и все человѣчество обра-

тится въ одно общество. Но ждать этого, для того, чтобы имѣть возможность провозгласить международное право, значило бы продать всю исторію его. Во вторыхъ, самая идея принудительности вовсе не такой надежный маякъ для распознаванія подлиннаго права отъ подложнаго, какимъ она кажется съ перваго взгляда. Взглядъ этотъ опять есть только необходимое послѣдствіе философской, а не научной точки зрѣнія и наблюденій только въ пространствахъ, а не во времени. Это опять есть лишь отождествленіе всякаго органа, всякой власти, всякаго принужденія, исключительно только съ государственными, какъ будто нивакихъ иныхъ никогда не было, нѣтъ и быть никогда не можетъ. Между тѣмъ въ дѣйствительности, какъ въ патріархальномъ, такъ и въ международномъ правѣ, есть и своя принудительность, и свои органы ея, и своя власть: въ первомъ случаѣ это есть власть и судъ отцовъ, стариковъ, мстителей; во второмъ этотъ судъ — война, эта власть — побѣдитель, эта принудительность — побѣда. Если же въ каждомъ изъ этихъ случаевъ организованы они не совсѣмъ такъ, какъ въ государственномъ правѣ; то, во первыхъ, все-таки организованы, а во вторыхъ, трудно было бы и ожидать, чтобы, при столь глубоко различныхъ областяхъ права, организаціи эти могли быть не различными. Примѣненіе, значить, обезпечено и здѣсь, но только не такъ развѣ регулярно, какъ въ государственномъ правѣ, а какъ-то экстренно, при удобномъ лишь случаѣ. Впрочемъ, если вспомнить, что не всякое правонарушеніе постижимо и для государственной регулярности, то всѣ эти различенія дѣлаются еще subtilius и еще ломче. Напротивъ, когда обычай окрѣпаетъ до того, что поддерживается всѣмъ общественнымъ мнѣніемъ, онъ оказывается прочнѣе и надежнѣе всякаго вліянія суда, всякой принудительности, всякой не-факультативности. Право, на примѣръ, плѣнника нашихъ временъ не быть изжареннымъ и съѣденнымъ не нарушается ни однимъ изъ европейскихъ народовъ, хотя оно и не обезпечивается ни однимъ изъ кодексовъ. Нѣтъ даже права тверже того, которое обратилось въ нравъ. Наконецъ, въ третьихъ, международное право отчасти имѣется и въ томъ тѣсномъ смыслѣ, въ какомъ его ожидаютъ. Въ каждомъ государственномъ законодательствѣ Европы помѣщены, на примѣръ, такіе законы, какъ о запрещеніи пиратства, о преслѣдованіи торгова невольниками, о морскихъ призахъ и т. п. Развѣ всѣ эти законы недостаточно обезпечены судомъ каждаго государства? и развѣ всѣ

они не перестали быть государственными и не сдѣлались международными? И такъ, международное право это есть во всѣхъ отношеніяхъ несомнѣнное право, и можетъ быть изучаемо какъ вполне таковое.

Мало того, между нимъ и государственнымъ правомъ есть такая же солидарность и взаимность, какъ между государственнымъ и частнымъ, которая въ свою очередь помогаетъ даже смѣшивать ихъ. Взаимозависимость эта состоитъ въ томъ, что одинъ разъ государственное право переходитъ въ международное, а другой разъ международное обращается въ государственное. Такъ, въ случаѣ, только что цитированномъ, гдѣ нѣсколько одинаковыхъ законовъ оказались въ каждомъ кодексѣ всей Европы, развѣ они не образовали собою законъ международный, хотя и охраняемый всѣми государственными властями Европы только порознь? Здѣсь государственное право обратилось, очевидно, въ международное. Другой, противоположный случай есть каждое увеличеніе объемовъ государствъ. Съ каждымъ такимъ увеличеніемъ, съ каждымъ воссоединеніемъ двухъ-трехъ меньшихъ государствъ въ одно большее, съ каждымъ завоеваніемъ или присоединеніемъ, часть бывшихъ международныхъ отношеній отходитъ въ область государственныхъ, для международнаго права теряется, а для государственнаго пріобрѣтается. И такъ, тутъ первое разрѣшается во второе. Такое же взаимное просачиваніе совершается и между правами частнымъ и международнымъ, какъ, напримѣръ, въ правѣ убѣжища, гдѣ международное проникаетъ въ частное, или какъ въ *droit d'aubaine*, гдѣ частное, а именно наследственное, право втирается въ международное. Этотъ взаимообмѣнъ обоого рода тѣмъ необходимѣе имѣть въ виду, что онъ облегчаетъ точность анализа, діагностики этого сбивчиваго права. Очевидно, напримѣръ, что, благодаря констатированію этого обмѣна, тотчасъ и само собою противопоставляется правовое содержаніе международнаго права правственному, наиболѣе юридическое — наиболѣе обычному, явное — скрытому. Правовымъ, юридическимъ содержаніемъ его будетъ то, которое, какія бы то ни было юридическія нормы, но нашло для себя, которое, такъ или иначе, но формулировано; нравственнымъ же, обычнымъ будетъ то, которое никакихъ нормъ и формулъ не знаетъ, и зависитъ единственно отъ состоянія нравовъ. Да и само правовое содержаніе даетъ различить въ себѣ два различныхъ текста: одинъ — тотъ, который вошелъ во всѣ частныя государственныя за-

конодательства и охраняется всѣми государствами порознь; другой же тотъ, который вошелъ только въ общее международное законодательство, въ трактатное, и дѣйствительно не охраняется ничѣмъ, кромѣ доброй воли государствъ и игры ихъ интересовъ и ихъ силы. Первое вошло въ состояніе узаконенности, принудительности; второе остается на степени факультативности, произвольности. Такимъ образомъ получаютъ три степени выработки этого права: узаконенное, факультативное и чисто обычное. Узаконенное есть право писанное и вмѣстѣ принудительное (въ частныхъ кодексахъ государствъ); факультативное — писанное, но не принудительное (въ трактатахъ); обычное — и не принудительное, и не писанное (въ нравахъ). Первое и третье достаточно укрѣплены, разъ — силою власти, другой разъ — властью привычекъ; второе же всегда шатко, всегда колеблется между тѣмъ и другимъ. Оно-то и составляетъ собою самый характерный видъ этого права. Другую подобную разницу порождаетъ другое взаимодѣйствіе всѣхъ извѣстныхъ исторіи правъ. Частное, государственное и международное право суть три концентрическіе сфероиды, изъ коихъ каждый послѣдующій обнимаетъ собою каждый изъ предыдущихъ. Какъ государственное видоизмѣняло собою частное, и само видоизмѣнялось имъ, такъ международное вліяетъ на оба предыдущія и само терпитъ ихъ вліяніе. Отсюда опять три категоріи этого права: частно-международное, т. е. гражданское и уголовное право иностранца, или иностранческое право; государственно-международное, или иноземельное, чужестранное, и наконецъ чисто-международное или обще-культурное. Въ этомъ смыслѣ самымъ характеристичнымъ изъ трехъ есть снова второе.

Въ патріархальной средѣ международное право находитъ свой живой и неизсякаемый родникъ въ двухъ повсемѣстныхъ тогдашнихъ обычаяхъ: обычай *личной мести* и обычай *гостепріимства*. Какъ ни противоположны и даже, повидимому, противорѣчивы эти двѣ склонности, но повсюдное существованіе ихъ неопровержимо. Онѣ указываютъ на коренную двойственность человѣческой природы, которой на столько же присущи инстинкты антипатіи, сколько и симпатіи. Если антипатическій инстинктъ калмыка доходитъ до того, что собака его собственнаго рода лучше для него, чѣмъ человѣкъ другого; то рядомъ съ этимъ идетъ и столь же рѣзко произнесшійся инстинктъ симпатическій: кибитка калмыцкая предлагаетъ

своему гостю не только яства и питье, не только ложе, но и самую хозяйку или дочь хозяина; оскорбленіе гостя мститса, какъ собственное оскорбленіе. Въ этихъ двухъ инстинктахъ два корня всего будущаго военнаго и всего будущаго мирнаго международнаго права. Но это корни только частнаго международнаго права; а есть два другіе и для публичнаго; таковы: семейная, *родовая месть* и *мѣна*. Родовая месть, гдѣ цѣлью является уже не одно личное отмщеніе врагу, но истребленіе всего вражескаго рода, если и не есть еще то, что составляетъ собственно войну, т. е. явленіе чисто-публичное; то, во всякомъ случаѣ, есть переходъ отъ мести къ войнѣ, гдѣ столько же одного характера, сколько и другого. Подобно тому и обычай мѣны имѣетъ свойство не столько частнаго, сколько публичнаго община, почему и отбывается всегда на границахъ родовъ и племенъ и въ присутствіи каждаго изъ нихъ во всей совокупности. Но эти двѣ пары обычаевъ на столько же служатъ, какъ мы раньше видѣли, источниками и частнаго, и государственнаго права, на сколько международнаго; а гдѣ же то русло ихъ, съ котораго эти источники принимаютъ характеръ вполне и явно международный? Такого русла не найдемъ нигдѣ, кромѣ, съ одной стороны, *мести племенной* и *народной*, а съ другой — племенныхъ и народныхъ *святотилищъ*. Святотилища и ихъ регулярныя ярмарки, эта мѣна періодическая, суть уже не что иное, какъ явная, очевидная международность мирная. Местъ же племенъ и народовъ утрачиваетъ понемногу характеръ возмездія и приобретаетъ отчасти характеръ завоеванія, почему и становится въ точномъ смыслѣ войною, русломъ военнаго международнаго права. Здѣсь-то, въ этой войнѣ, развертывается передъ нами весь духъ патріархатовъ. Духъ завоеванія еще не вступилъ во всѣ свои права, а духъ истребленія еще не выступилъ изъ нихъ, и изъ этой амальгамы слагается вся картина эпохи. Чингисханъ однажды спросилъ у своихъ воеводъ, какое счастье человѣческой жизни цѣнище всѣхъ прочихъ. Каждый отвѣчалъ ему по своему, но ни одинъ не попалъ въ тонъ. Нѣтъ, возразилъ ханъ, не бываетъ въ жизни большаго счастья, какъ гнать передъ собою непріятеля, топтать его лошадиными копытами, и, уставъ отъ крови и мести, отдыхать, насилуя его жонъ и дочерей. Тамерланъ, послѣ побѣды надъ Багдадомъ, приказалъ воздвигнуть пирамиду, сложенную изъ 90.000 отрубленныхъ человѣческихъ головъ. Въ Делѣ

тотъ же самый завоеватель казнилъ единовременно 100.000 плѣнниковъ. Чингисхандъ Гулагу, взявши столицу абассидовъ, велѣлъ послѣдняго калифа, Мостасема, растоптать конскими копытами. Суровую школу пришлось проходить человѣчеству по пути къ своему объединенію; но какъ бы то ни было, а только этому истребительному завоеванію или этому завоевательному истребленію оно обязано всѣми своими первыми изъ крупнѣйшихъ политическихъ цѣльныхъ. Только изъ этихъ цѣльныхъ и возникла, по большей части, новая, государственная форма быта. Такимъ образомъ, исторія патріархальной международнойности есть то же движеніе отъ семьи къ роду, отъ рода къ племени, отъ племени къ народу (личная месть, семейно-родовая, народно-племенная; личное гостепріимство, родовая мѣна, племенная ярмарка). Съ каждымъ изъ этихъ новыхъ толчковъ слагается и зрѣетъ не иная область права, какъ именно международная. А потому здѣсь-то и вся характеристика этого права въ патріархальной средѣ. Характеръ этотъ въ томъ, что оно, постоянно разростаясь, дѣлается поочередно, то междусемейнымъ, то междуродовымъ, то междуплеменнымъ, то, наконецъ, собственно международнымъ. Каждый разъ право это бываетъ самымъ универсальнымъ изъ правъ, и каждый же разъ растетъ и самая эта универсальность его; такъ что международное право есть всегда право наиболѣе космополитическое, наиболѣе вселенское. Если субъектомъ частнаго права есть всегда лицо, атомъ соціальности, а субъектомъ публичнаго всегда публика, т. е. какая-нибудь часть цѣлаго; то субъектъ международнаго права всегда и непремѣнно есть все цѣлое, семья, племя, государство. А потому хотя такой субъектъ постоянно остается однимъ и тѣмъ же, потому что это всегда есть общество во всей его цѣлости; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ такъ же постоянно и мѣняется, потому что самыя общества постоянно измѣняются по своимъ размѣрамъ. Съ каждымъ же изъ такихъ шаговъ не можетъ не расти и идея единства, всеобщности, одинаковости людей, а слѣдовательно, и идея международнаго права. Такимъ образомъ, степень сознанія этой универсальности, этотъ временный и мѣстный тахішм космополитизаціи, и образуютъ собою единственное содержаніе какъ права международнаго, такъ и его науки.

Въ государственной атмосферѣ такое сознаніе и такой тахішм восходятъ еще однимъ градусомъ выше, потому что международное право становится здѣсь междугосударственнымъ. Субъекты этого

права, хотя всегда одни и тѣ же (государства), но они все-таки мѣняются такъ же точно, какъ и прежніе, а именно объемомъ своимъ. Въ аристократическомъ государствѣ они были одни, въ тимократическомъ другіе, въ демократическомъ могутъ быть третьи, такъ что международный тахіитъ, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, всегда подвигался все дальше и дальше. Это-то движеніе отъ аристократической международной въ тимократическую и слѣдуетъ теперь разобрать подробнѣе. Мы разберемъ его, по обыкновенію, въ матеріальномъ правѣ и въ формальномъ; первое же—сначала въ отношеніи военнаго, а потомъ мирнаго права.

Для разбора военнаго права, не имѣя готовыхъ рамокъ, просимъ довольствоваться слѣдующими тремя: непріятельское право, боевое и побѣдное.—Непріятельскимъ правомъ названо тутъ частное право въ войнѣ. Субъектъ его есть частное лицо, личность непріятельская. Вопросъ его: какое частное лицо есть и не есть непріятель? Разрѣшается этотъ вопросъ въ двухъ извѣстныхъ до сихъ поръ типахъ государства весьма различно. Въ возрѣвѣніяхъ аристократическаго государства тянется еще патріархальный взглядъ на непріятеля. Между войскомъ и народомъ нѣтъ еще разницы, и потому непріателемъ есть здѣсь всякій безъ исключенія индивидуумъ во враждебномъ государствѣ. Отсюда не только на востокѣ, но и въ классическомъ государствѣ война есть борьба націй, а не армій. Китай, въ нынѣшней войнѣ съ Франціею, объявилъ цѣну каждому изъ живущихъ въ немъ французовъ. Евреи, по закону Моисея, не должны были давать пощады ни полу, ни возрасту, ни даже животнымъ своего непріятеля. У грековъ и римлянъ также нѣтъ разницы между воюющимъ и невоюющимъ непріателемъ. *Philippo regi «Macedonibusque» qui sub regno ejus essent,*—вотъ обычная формула и самыхъ объявленій войны. *Populus romanus cum populo Hermandulo «hominibusque» Hermandulis bellum jussit,*—вотъ обычное описаніе факта войны. Всякій встрѣчный въ непріятельской странѣ, все равно вооруженный или безоружный, туземецъ или иностранецъ, мужчина или женщина, взрослый или ребенокъ, все это непріятель. и военное право примѣнимо ко всѣмъ имъ и къ каждому, и притомъ какъ къ лицу ихъ, такъ и ко всякой ихъ собственности. Когда Архидамъ спартанскій не рѣшился опустошать собственные земли Перикла, то это оказалось такою неслыханностью и даже щекотливостью для владѣльца, что Периклъ поспѣшилъ обратить имѣніи

свои въ достояніе республики. Но не довольно и этого: какъ у грековъ, такъ и у римлянъ всякое третье общество, вовсе не принадлежащее ни къ той, ни къ другой изъ воюющихъ сторонъ, почитаться среднимъ и безучастнымъ не можетъ, если оно лежитъ въ районѣ ихъ операцій; оно непременно должно объявить себя въ пользу той или въ пользу другой, иначе будетъ рассматриваемо какъ врагъ обѣими. Римъ зналъ поддавшихся ему народовъ, *dediti*, зналъ данниковъ, *tributarii*, зналъ союзниковъ, *socii*, зналъ, наконецъ, непріятелей, *hostes*; но не зналъ ничего безразличнаго и равнодушнаго, не зналъ нейтральныхъ, не зналъ среднихъ. Если такъ было на сушѣ, на заселенномъ пространствѣ земнаго шара, то понятно, что на пустынномъ, необитаемомъ морѣ исчезало и самое понятіе о своихъ и чужихъ: тутъ всякій попадавшійся на встрѣчу, все равно чужой или свой, былъ третируемый за врага. Отсюда безпрепятственное и вошедшее въ регулярный обычай явленіе пиратства, этой морской войны всѣхъ и cadaго противъ всѣхъ и cadaго. Пиратство у тѣхъ древнихъ, которые перестали бояться моря, т. е. у финикянъ, грековъ, кароагенянъ не только сдѣлалось общепризнанною, нормальною профессіею, но снискало себѣ даже почоть, и вполне предпочиталось промышленности и торговлѣ, потому что требовало отваги, смѣлости. Уже во времена Солона фокееане, по причинѣ безплодія ихъ почвы, открыто занимались морскимъ разбоемъ и грабежомъ. Солонъ терпѣлъ правильно организованныя пиратскія товарищества даже въ Аоннахъ. Этруски были также извѣстные пираты. Римляне заключали съ кароагенянами даже договоръ о томъ, чтобъ тѣ не пиратствовали дальше мыса Пелорія. И если мы встрѣчаемся впервые съ реакціей противъ этого разбойническаго обычая, то только въ Римѣ и только во времена Помпея. Все это дѣлаетъ весьма ощутительною разницу между прошедшимъ непріятельскимъ правомъ и настоящимъ. Тамъ непріателемъ было все *общество*, со всѣмъ его достояніемъ; здѣсь имъ становится, какъ сейчасъ увидимъ, лишь все *правительство*, со всѣми его нравственными и матеріальными средствами. Средніе вѣка, которые повторяли, конечно, всю старину, и гдѣ геній тимократизма еще не сказывался ясно, нельзя брать въ расчетъ. Съ XVI же вѣка уже начинается мысль, что война есть брань государствъ, а не обществъ, распри правительствъ, а не гражданъ, что это тяжба вооруженныхъ армій, а не безоружныхъ населеній. А въ XVII столѣтіи, цѣлымъ рядомъ

трактатовъ, прямо уже санкціонируется положеніе, что частныя лица и имущества неприкосновенны въ войнѣ. Въ наше же время, по руководству Мартенса, основанному на практикѣ, а не на идеалахъ, и потому служащему, какъ говорятъ, классическою книгою у дипломатовъ, нѣтъ больше непріятеля, кромѣ того, кто борется съ оружіемъ въ рукахъ, и только до тѣхъ поръ, пока съ оружіемъ въ рукахъ. Такимъ образомъ женщины, дѣти, старики исполнѣ уже безопасны; мало того, свободны отъ опасности войны и всѣ вообще мирные жители. Обычай военный причисляетъ къ нимъ даже такія части армій, какъ квартирмейстеры, барабанщики, трубачи, а тѣмъ болѣе такую свиту армій, какъ маркитанты. Вся эта неприкосновенность частнаго лица въ войнѣ распространена теперь и на всякую частную собственность въ ней. Конечно, между всеобщимъ мнѣніемъ и обращеніемъ его во всеобщіе нравы есть еще промежутокъ; а потому даже въ 1870 году встрѣчаются еще нарушенія господствующихъ обычаевъ: французы изгоняютъ отъ себя всѣхъ нѣмцевъ, а нѣмцы донимаютъ французовъ реквизиціями. Но, во первыхъ, нарушенія и, при томъ, безнаказанныя, принужденъ иногда терпѣть и самый законъ, не только обычай, такъ что судъ не слишкомъ лучшее обезпеченіе, чѣмъ нравы и общественное мнѣніе; во вторыхъ же, и самыя нарушенія эти не могутъ идти ни въ какую параллель съ древнимъ военнымъ правомъ. Къ тому же, прочно сложившееся общественное мнѣніе порицаніемъ своимъ реагируетъ на эти исключенія, и все больше и больше вкореняетъ правило въ нравы. Еще замѣчательнѣе торжество новаго военного права на пространствѣ морей, этой нѣкогда привилегированной страны безправія. Мы говоримъ о такомъ нововведеніи международнаго права, какъ нейтралитетъ. Нейтральное право обязано воспитаніемъ своимъ именно морю, а не сушѣ. Только на морѣ, а не на сушѣ, оказалось сподручнымъ соединять силы нейтральныхъ державъ для покровительства непричастности ихъ къ войнѣ, чего нельзя сдѣлать на сушѣ, всегда пересѣкаемой воюющими сторонами, и безъ чего нѣтъ, однакожъ, и самаго права нейтральнаго. Инициатива этого покровительства принадлежитъ русскимъ государямъ, въ видѣ вызванныхъ ими двухъ вооруженныхъ нейтралитетовъ 1780 и 1800 годовъ. По идеѣ и по буквѣ ихъ, нейтральные корабли должны быть свободны въ своемъ каботажномъ плаваніи даже вдоль береговъ воюющихъ державъ; товаръ на нейтральномъ кораблѣ также свобо-

день (флагъ покрываетъ грузъ), кромѣ лишь одной военной контрабанды; блокада, чтобъ быть обязательною, должна быть дѣйствительною. Дольше всѣхъ противилась этому новаторству Англія; но въ 1856 году, на парижскомъ конгрессѣ, который закрѣпилъ всѣ эти правила и прибавилъ къ нимъ новое, что нейтральный грузъ свободенъ даже на непріятельскомъ кораблѣ (грузъ покрываетъ флагъ), и сама Англія пристала къ трактату, такъ что внѣ его остались только Испанія и Мексика. Соединенные же Штаты не присоединились только потому, что требовали уничтоженія и крейсерства, т. е. и военныхъ призовъ, на что Европа не согласилась. Другой не менѣе рѣшительный шагъ того же трактата есть торжественное порицаніе имъ каперства, въ которое переименовалось древнее пиратство и средневѣковое корсарство. Обычай этотъ позволялъ частнымъ лицамъ одной воюющей державы захватывать частные же корабли другой, и тѣмъ хотя ограничивалъ древнее пиратство, но принципъ его удерживалъ. Теперь осужденъ и самый принципъ; новому же остается только войти въ обычай. Что же касается еще дальнѣйшаго, демократическаго преобразованія непріятельскаго права; то очереднымъ усовершенствованіемъ его было - бы изъятіе изъ него и собственности государственной, имуществъ казны, и ограниченіе всего непріятельства лишь одними войсками, *арміями* обѣихъ сторонъ и лишь непосредственнымъ ихъ достояніемъ т. е. чисто-военными матеріальными средствами. — Не меньшая пережѣна пережита и боевымъ военнымъ правомъ. Боевое право обнимаетъ права въ самой битвѣ, т. е. права армій. Субъекты этого права суть непріятельскія арміи. И такъ, это есть публичное военное право. Индійская армія въ своихъ битвахъ съ войсками Александра Македонскаго употребляетъ, на примѣръ, отравленныя стрѣлы. Карфагеняне, для охраненія рынковъ своихъ, топятъ предательски всѣхъ приближающихся къ Сардиніи и къ Геркулесовымъ столбамъ. У грековъ допускается въ войнѣ и вѣроломство, и клятвопреступленіе, и безцѣльное опустошеніе земель и полей. Лѣса и сады вырубаются, сборъ съ полей сожигается въ жертву подземнымъ богамъ, скотъ и запасы истребляются, и вся страна обращается, по мѣрѣ возможности, въ пустыню. Царь спартанскій Клеоменъ говорилъ: всякое зло, причиненное непріятелю, всегда справедливо въ глазахъ и людей, и боговъ. Римляне, въ свою очередь, также находили, что, говоря выраженіемъ Муція Сцеволы, прекрасно умерщвлять врага. Если же отраву и

военное коварство римляне начинают считать недостойными средствами войны, то не по нравственнымъ побужденіямъ, а по своему предпочтенію всякаго открытаго и наглого насилія всякому малодушному и тайному. Это была не нравственная деликатность, а только сознаніе силы, не нуждающейся въ постороннихъ пособіяхъ. Душою же этого боеваго права оставался все тотъ же принципъ, что для военной цѣли всѣ средства хороши, что они хороши всѣ какъ качественно, т. е. независимо отъ нравственности, такъ и количественно, т. е. не смотря на то, противъ кого направлены. Въ томъ и въ другомъ случаѣ это средства *противообщественныя*, въ обоихъ смыслахъ слова, т. е. съ одной стороны нестѣсняющіяся никакой нравственностью, а съ другой — направленные противъ всего вообще непріятельскаго общества. Впервые принципъ этотъ началъ ограничиваться, и пренебреженіе къ коварству въ войнѣ стало носить дѣйствительно нравственную подкладку только въ средневѣковомъ рыцарствѣ. Здѣсь коварство и малодушіе отвергались точно во имя нравственнаго достоинства, во имя личнаго благородства. И преданіе это съ тѣхъ поръ и по нынѣ настолько вошло въ плоть и кровь новыхъ народовъ, что въ нынѣшнихъ европейскихъ войнахъ отравленіе колодцевъ, предательство, опустошеніе страны были бы злоупотребленіемъ почти безпримѣрнымъ. Употребленіе яда, потаенныхъ убійцъ, опѣнки головъ положительно вышли изъ практики, а насиліе женщинъ и дѣтей — даже изъ помину. Напротивъ, наше время можетъ похвалиться даже такими шагами въ гуманизациі войны, какъ женеvская конвенція 1864 года о неприкосновенности раненыхъ и врачебнаго персонала, какъ вторая женеvская 1868 года о распространеніи тѣхъ же правилъ на морскую войну, какъ петербургская конвенція 1868 года о проскрипціи разрывныхъ пуль, и, наконецъ, какъ брусельская попытка 1874 г., по иниціативѣ того же государя, о цѣломъ кодексѣ войны. Что же касается Сѣверной Америки, то она успѣла уже, для себя самой, и создать такой кодексъ въ знаменитой военной инструкціи президента Линкольна. Но да не забудетъ современникъ, что, не смотря на всѣ эти успѣхи военнаго режима, онъ продолжаетъ сохранять въ себѣ не одну изъ своихъ наслѣдственныхъ привычекъ. Таковы, напримѣръ, такъ называемыя военныя хитрости, и при томъ не въ смыслѣ однихъ техническихъ хитростей войны, а въ смыслѣ всякаго вообще обмана, если только онъ на-

правленъ противъ враждебной арміи и ея правительства. Перехватываніе военныхъ и правительственныхъ депешъ, подкупъ военачальниковъ, распространеніе лживыхъ слуховъ, всё эти и подобныя средства для цѣли считаются и до сихъ поръ дозволенными и нравственными на войнѣ. Мало того, считается дозволеннымъ и широко практикуется военное шпіонство, лазутчество. Во всякомъ случаѣ, при сравненіи съ древностью, оказывается, что безнравственныя средства для цѣли стѣснились, и что они хороши лишь до тѣхъ поръ, пока они суть *противоправительственныя*. Есть поэтому надежда, что еще одна формация государствъ можетъ ввести и еще одно подобное стѣсненіе военныхъ средствъ, а именно ограниченіе ихъ одними *противотехническими*, т. е. направленными единственно противъ армій и единственно въ техническомъ смыслѣ, въ смыслѣ хитростей чисто тактическихъ и чисто стратегическихъ. — Всего, однакожъ, явнѣе всё усилія морализаціи войны должны были проявиться въ исторіи права побѣднаго. Состояніе и движеніе этого права важнѣе всѣхъ другихъ и потому также, что оно есть наиболѣе международное изъ всѣхъ предъидущихъ. Оно наиболѣе международно потому, что субъекты его уже не однѣ арміи, но цѣлыя, стоящія за плечами ихъ, общества. Когда битвы кончены, когда наступаетъ вопросъ пользованія побѣдами; тутъ вступаетъ въ дѣло не война, а политика, не войско, а все его общество, какъ цѣлое, и, какъ цѣлое же, себя обнаруживаетъ. Побѣдное право наиболѣе международно и потому, что оно никогда не пробовало и не пробуетъ до сихъ поръ обращать себя въ государственное, въ искусственное, въ обезпечиваемое, и всегда держалось и держится на высотѣ чисто-обычнаго, естественнаго, самопроизвольнаго. Кодексъ войны еще недавно былъ предпринятъ; для кодекса же побѣды никогда не произнесено ни одного слова. И тутъ-то оказывается, что самыя способы побѣждать не такъ многозначительны въ исторіи, какъ способы употреблять побѣду. Патріархальный идеалъ этого пользованія, состоявшій въ поголовномъ *истребленіи* врага, удержался въ государственномъ бытѣ чуть-ли не у однихъ только евреевъ, при завоеваніи обѣтованной страны. Отъ нихъ, говоритъ тамошній законодатель объ амалекитянахъ и хананейскихъ племенахъ, да не оставите жива всякаго дыханія. Но у всѣхъ остальныхъ народовъ какъ востока, такъ и запада задача эта совсѣмъ уходитъ изъ ихъ политики, побѣда получаетъ нѣсколько иной смыслъ. Мѣсто истребленія

занимаетъ здѣсь *завоеваніе* и *покореніе*, первое — по отношенію къ землѣ, второе — по отношенію къ ея жителямъ. Завоеваніе обращаетъ завоеванную страну въ собственность завоевателя; покореніе обращаетъ покоренный народъ въ низшую касту у покорителя. Т. е. одно общество, всё и цѣликомъ, подчиняется другому, и при томъ или въ качествѣ одного сословія въ послѣднемъ, или же въ качествѣ провинціи его. На этомъ-то прочно вкоренившемся и широко распространенномъ обычаѣ и заложено было основаніе всѣхъ аристократическихъ государствъ. Всѣ такіе разряды людей, какъ чандала, паріи, судры, свинопасы, рыболовы, всегда означаютъ собою какихъ-нибудь побѣжденныхъ и покоренныхъ дравидійцевъ, кушитовъ, туранцевъ. Всѣ такіе, какъ брамины, вшатріи, халдеи, маги, пассаргады, всегда знаменуютъ собою какихъ-нибудь побѣдительныхъ арійцевъ или симитовъ. Пеласги, лавонцы, илоты, *dedititii*, *tributarii*, *сосіи* — опять одно; эллины, латиняне, римляне — опять другое. То же самое видимъ и въ мусульманской международной. Всѣ покоренные въ священной войнѣ, въ джигадѣ, дѣлаются зимми, или, по турецки, райа, т. е. людьми, лишающимися почти всѣхъ гражданскихъ правъ и, въ томъ числѣ, права быть воиномъ. Повсюду побѣдительность и знатность были такъ же неразлучны между собою, какъ побѣжденность и простонародность. Ничто такъ не питаетъ аристократію, какъ война, и никто не питаетъ войну такъ, какъ аристократія. Впрочемъ и основаніе всей новой государственности залегло не на иныхъ устояхъ. Во Франціи франки, налегшіе надъ галлами, въ Италіи и Испаніи герулы и готы надъ римлянами и иберами, въ Англіи нормандцы надъ саксами, въ Австріи и Германіи тевтоны надъ славянами, все это дѣла того же побѣднаго, т. е. завоевательнаго права. Вчерашній господинъ въ средѣ саксовъ становился сегодня рабомъ, и благороднѣйшая изъ саксонскихъ женщинъ — рабыней; а вчерашній деньщикъ нормандскаго воина дѣлался ихъ сеньйоромъ. И что слѣды всего этого не изгладились и до сихъ поръ, достаточно вспомнить изслѣдованія Амедея Тьерри. Говорятъ, будто бы русское государство основано не завоеваніемъ, а такъ называемымъ призваніемъ князей. Но въ такомъ случаѣ и ни одинъ германскій гелейтъ не былъ завоевателемъ, если только вождь его былъ выбранъ воинами добровольно. Разница въ русскомъ основаніи совсѣмъ не та; вся она только въ томъ, что здѣсь побѣдителями и завоевателями были не иноплеменники, а своеплеменники, что нов-

городцы и кривичи завоевывали тутъ сначала только вятичей, да полянъ, да древлянъ, т. е. только такихъ же славянъ какъ сами, и что только поэтому не могли относиться къ нимъ съ презрѣніемъ. Но основаніе и все дальнѣйшее нагроможденіе государства и до сего дня обязано одному только завоеванію. Тѣмъ не менѣе новая, тимократическая международность со временемъ перестаетъ быть аристократическою, и становится самой собою. Дѣло въ томъ, что, повторяя вновь и завоеванія, и покоренія, она повторяетъ ихъ по своему, на совершенно иныхъ началахъ. И это начало есть начало равноправныхъ общественныхъ народненій, или такъ называемыхъ *присоединеній*, т. е. приобщеній побѣжденнаго къ побѣдителю, какъ равнаго къ равному. Еще городскія вольныя общины среднихъ вѣковъ если завоевывали, то на основаніяхъ послѣдующей равноправности. Такъ образовался ганзейскій союзъ, союзъ ломбардскихъ городовъ, рейнскій союзъ. И этотъ чисто-тимократическій типъ завоевательности, повидимому, пустилъ глубокіе корни, и сталъ все больше и больше приносить плодъ. По крайней мѣрѣ, онъ повторяется и во всѣхъ большихъ государствахъ, по мѣрѣ подвиганія ихъ впередъ. Таковы всѣ завоеванія французскихъ королей. Таковы всѣ присоединенія габсбургскаго дома. Таково присоединеніе Шотландіи и Ирландіи къ Англіи, Литвы къ Польшѣ, Малоросіи къ Россіи. Таковы тѣмъ больше всѣ присоединенія новѣйшей исторіи и всего текущаго столѣтія, вплоть до присоединенія Эльзаса и Лотарингіи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ присоединяемая страна не обращается въ сословіе присоединяющей, а примыкаетъ всѣми своими сословіями къ соотвѣтственнымъ сословіямъ присоединяющей. Подчиняется, значить, не общество обществу, а только правительство правительству. Мало того, были случаи присоединеній даже съ высшими правами, чѣмъ какія имѣлъ самъ присоединяющій, напр. при завоеваніи Польши и Финляндіи Россіей. Въ самое же послѣднее время сдѣлано нѣсколько еще болѣе оригинальныхъ опытовъ. Это опыты преобразить завоеваніе не только въ присоединеніе какъ равнаго къ равному или какъ высшаго къ низшему, но еще и по формальному плебисциту побѣжденныхъ. Таковъ плебисцитъ Ниццы въ пользу присоединенія къ Франціи, плебисцитъ Ломбардо-Венеціи въ пользу Сардиніи и неудавшійся плебисцитъ Шлезвига въ пользу Даніи, вмѣсто Пруссіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ представлялось также всѣмъ недовольнымъ выселяться изъ завоеванной

страны въ теченіи извѣстнаго срока, какъ напримѣръ въ Эльзасѣ и Лотарингіи. Но кто же не увидать, что все это есть только бархатная перчатка на все той же желѣзной рукѣ войны. Во всѣхъ этихъ случаяхъ побѣдное право, право силы, участвовало если не явно, то тайно; во всѣхъ случаяхъ присоединялся не больший къ меньшему, и даже не равный къ равному, а меньшій къ большому, слабѣйшій къ сильнѣйшему; во всѣхъ случаяхъ у него было на умѣ, что лучше сдѣлать добровольно то, что иначе сдѣлается насильно. Такимъ образомъ до сихъ поръ не имѣется ручательствъ въ пользу той надежды, что въ будущихъ государствахъ нѣтъ никакого мѣста побѣдному праву. Весьма вѣроятно, что оно будетъ продолжать только маскироваться, что оно загримуется еще лучше, чѣмъ въ нынѣшніе международные плебисциты; но невѣроятно, чтобы оно вовсе сошло со сцены, спряталось за кулисы исторіи. Всѣ возможныя общественныя власти, всѣ возможныя инстанціи соціальныя, имѣютъ, при противоположеніи ихъ съ властью и инстанціей силы, ту прискорбную невыгоду, что всѣ онѣ допускаютъ перерѣшенія своихъ рѣшеній. Сила всегда способна перерѣшить ихъ. Никакая степень нравственности, никакая степень разумности ничѣмъ не гарантированы къ исполненію, пока на сторонѣ ихъ нѣтъ силы. Только при этой послѣдней санкціи онѣ дѣлаются окончательными и безапелляціонными. А потому при всякомъ состояніи культуры, какъ бы оно ни возвышалось своей нравственно-разумностью, изъ-за плечей ея должно выглядывать пугало силы, если не во всей своей жестокой реальности, то, по крайней мѣрѣ, въ своей угрожающей потенціальности. Вотъ почему крайне правдоподобно, что и всякое возможное въ будущемъ государство безъ побѣднаго права не обойдется и что право это простоятъ такъ же долго, какъ и самая государственность. Всѣ же метаморфозы съ нимъ должны ограничиваться чѣмъ нибудь подобныхъ всему предыдущему. Если патріархальная побѣда была истребленіемъ, аристократическая завоеваніемъ и покореніемъ, тимократическая присоединеніемъ; то демократическая не можетъ обѣщать ничего больше кромѣ *соллашенія*, договора побѣжденнаго съ побѣдителемъ, т. е. дѣйствительной системы плебисцитовъ. Другими словами, очередною метаморфозою побѣднаго права можетъ быть только та, гдѣ подчиняться одна другой послѣ побѣды будутъ только самия арміи, но не ихъ правительства и тѣмъ болѣе не общества ихъ. Патріархальная побѣдительность из-

глаживала побѣжденнаго съ лица земли; аристократическая топтала его подъ ноги себѣ; тимократическая удостоиваетъ ставить его рядомъ съ собою, въ одинъ уровень; демократическая же станетъ, быть можетъ, спрашивать его объ условіяхъ и даже предоставлять ихъ на его собственную волю. Вотъ и вся прогрессивность, доступная побѣдному праву демократій. — Таковъ чисто-международный элементъ права побѣды. Но есть въ немъ еще и государственный, и частный. Это тѣ непосредственные, чисто-военные способы пользоваться побѣдой, о которыхъ мы еще не говорили, и гдѣ субъектами права суть сражавшіяся арміи. Это опять сопоставленіе самихъ армій лицомъ къ лицу, но только не въ бою, какъ выше, а въ побѣдѣ. Другими словами, вопросъ идетъ объ отношеніяхъ побѣдителяго войска къ той части побѣжденнаго, которая осталась въ живыхъ, которая сдалась или попала въ плѣнъ. Въ этомъ отношеніи египетская, на примѣръ, побѣда весьма дорого обходилась плѣнникамъ. Плѣнненнаго царя или предводителя побѣжденной арміи она впрягала въ колесницу побѣдоноснаго фараона. Лучшимъ украшеніемъ этой колесницы была гирлянда изъ отрубленныхъ головъ знатнѣйшихъ непріятельскихъ воиновъ. Жены и дочери побѣжденнаго обращались въ наложницъ побѣдителя. Остальные плѣнные живьемъ приносились въ жертву богамъ до временъ самого Амазиса. У индійцевъ Будда, послѣ одного нападенія на родной его городъ, видѣлъ тѣла двухъ молодыхъ дѣвицъ изнасилованныхъ и потомъ обрубленныхъ по обѣимъ оконечностямъ. У ассирійцевъ плѣнники подвергаемы были разнообразнымъ истязаніямъ: имъ отрубались руки, ноги, вырывались языки, отрѣзывались носы, уши, какъ и до сихъ поръ свидѣлствуютъ о томъ надписи на ниневійскихъ памятникахъ. Одна изъ нихъ говоритъ, на примѣръ, отъ лица Салманассара: я казнилъ всѣхъ плѣнниковъ, отрѣзалъ имъ головы и соорудилъ изъ нихъ пирамиду. Я велѣлъ содрать кожи съ вождей бунта, и покрылъ стѣну этими кожами; нѣкоторые замурованы мною въ стѣнѣ, другіе распяты или посажены на колъ; я обезчестилъ ихъ женъ и дочерей. Дарій, послѣ побѣды надъ Вавилономъ, посадилъ на колъ 3000 знатнѣйшихъ вавилонянъ. Ксерксъ, послѣ побѣды при Фермопилахъ, отрѣзалъ голову Леонида и воткнулъ ее на шестъ, въ качествѣ трофея. Финикійцы выкалывали глаза своимъ плѣнникамъ, отрѣзывали пальцы рукъ и ногъ, беременнымъ женщинамъ разрывали животы, младенцевъ разбивали головою о камни. Человѣческія жертвоприноше-

нія вароагенянъ пуще всего цитались плѣнниками. Но, что еще удивительнѣе, такое плѣнническое право не видоизмѣнялось и въ Греціи. Жители Платей сдались въ пелопонезской войнѣ спартанцамъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы казнены были самые виновные, и лишь послѣ судебного изслѣдованія; но спартанцы обрушились на всѣхъ, и половину платейцевъ казнили, а другую продали въ рабство. Аѣиняне, побѣдивъ мелосцевъ, всѣхъ мужчинъ предали смерти, безъ изыятій, а въ рабство увели только женщинъ и дѣтей. Также было поступлено и съ сикіонцами, и съ митиленцами. Александръ Македонскій разрушилъ Оивы до основанія, а жителей, въ числѣ 3000, всѣхъ продалъ въ рабство. А то исключеніе, какое сдѣлано въ пользу дома Пиндара, оставленнаго не разрушеннымъ, казалось для древнихъ верхомъ гуманности, точно также, какъ и оставленіе Александромъ жизни и свободы дочерямъ Дарія. Римляне неистовствовали надъ побѣжденными по принципу, для внушенія ужаса. Неистовства эти производились не въ качествѣ военного разъяренія, а по данному напередъ военному сигналу, при чемъ солдаты, бросаясь впередъ, рубили все, что попадалось на встрѣчу, не исключая собакъ. Также точно, по сигналу, рѣзня и прекращалась, а начиналась другая составная часть побѣды—грабежъ. Грабежъ, въ свою очередь, былъ систематизированъ: во первыхъ, онъ прекращался также одновременно, какъ и начинался; во вторыхъ, онъ былъ строго общій а не частный, т. е. по окончаніи его, награбленная добыча дѣлилась безъ всякаго отношенія къ тому, кто и что изъ нея первый схватилъ. Все остальное достояніе врага, хотя и не ограбленное, римляне считали также своею безспорною собственностью, не исключая священныхъ вещей. Земли же побѣжденныхъ, т. е. вся территорія непріятельская обращалась въ *ager publicus*, часть котораго, а иногда и вся, предоставлялась въ пользованіе побѣжденному за особый налогъ, *vestigal*. Самая сдача непріятеля не всегда обезпечивала его отъ смерти, и триумфаторъ римскій не рѣдко дожидался въ капитоліи вѣсти о казни не только плѣнныхъ, но и сдавшихся. Цари и полководцы если не подвергались смертной казни, то обрекались на пожизненное заключеніе въ темницѣ. Помпей былъ только первымъ изъ римскихъ полководцевъ, который не воспользовался правомъ казнить побѣжденныхъ царей и военачальниковъ. Впрочемъ, отличіе между востокомъ и западомъ все-таки было: ни въ Греціи, ни въ Римѣ не слышно объ изуувченіяхъ плѣнниковъ; ихъ ждетъ или смерть, или рабство,

но не истязанія. Въ особенности же противны были для классиковъ ругательства надъ мертвыми тѣлами. Когда Мардоній палъ подъ Платеей, одинъ эгинецъ настаивалъ на томъ, чтобъ сдѣлать съ нимъ то же, что было сдѣлано съ Леонидомъ; но Павзаній отвѣчалъ ему: ты хочешь, чтобъ я, только что поднявши мое отечество, поспѣшилъ уронить его въ грязь. Наконецъ, въ видѣ рѣдкаго исключенія, пробивается здѣсь и зарождающійся обычай разбѣна плѣнныхъ и даже выкупа ихъ. Однакожъ всеобщій прогрессъ, въ сравненіи съ патриархальностью, состоялъ здѣсь только въ возможности сохраненія жизни и здоровья плѣнника. И былъ онъ послѣдствіемъ не идей гуманности, а простого расчета: выгоднѣе было приобрести лишнюю рабочую силу, цѣнность, которую можно продать, трудъ, который можно употребить въ работу, чѣмъ лишній трупъ или лишняго урода. Но рабство плѣнника было, во всякомъ случаѣ, неизбежно. Такое право признается и въ самомъ кодексѣ Юстиніана. Самое слово *servus* значить не что иное, какъ сохраненный для жизни плѣнникъ. Новая государственная формація начинала тѣмъ же, чѣмъ древняя оканчивала, и, пока проходила свою аристократическую стадію, не преминула повторить и всѣ военныя излишества древнихъ. Но уже и во времена Ричарда Львиное сердце и Филиппа Августа, пересылавшихся плѣнниками съ выколотыми глазами, излишества эти не оставались безъ протеста. Папа Александръ III издалъ въ 1179 году декретъ, которымъ упразднилось даже обращеніе плѣнниковъ въ рабство и продажа ихъ. Рыцарство, не меньше церкви, содѣйствовало гуманизации побѣды, и на этотъ разъ опять изъ побужденій нравственнаго свойства. Свидѣтельство тому та міровая новостъ, введенная рыцарскими нравами, по которой плѣнникъ могъ освобождаться иногда даже на одно честное слово не принимать дальнѣйшаго участія въ войнѣ. Правда, что и церковь, и рыцарство всѣ свои правила примѣняли односторонне. Церковь относилась къ католикамъ, не относя къ еретикамъ, а тѣмъ болѣе къ невѣрнымъ: напротивъ, *in morte pagani Christianus gloriatur*, говоритъ св. Бернардь. Рыцарство, примѣняя ихъ къ феодаламъ, не распространяло ихъ ни на горожанъ, ни на виллановъ. Тѣмъ не менѣе принципъ былъ провозглашенъ, и расширеніе его становилось лишь вопросомъ времени. И дѣйствительно, въ наши времена, всякое насиліе надъ положившимъ оружіе, кто бы онъ ни былъ, есть, по Мартенсу, международное злодѣяніе. Рабство плѣнниковъ и самый ихъ выкупъ за-

мѣнены разнѣннѣ ихъ. Грабежъ также переродился: въ продолженіи войны онъ замѣщенъ реквизиціями, по окончаніи—контрибуціею, которая, впрочемъ, также иногда распределяется между побѣдительнымъ войскомъ, въ видѣ наградъ, какъ сдѣлано было нѣмцами послѣ франко-прусской войны. Но въ другихъ странахъ и этотъ родъ расплаты за кровь не въ употребленіи.—Частное право побѣды явствуетъ изъ предъидущаго, а именно изъ раздѣла добычи. Если изъ плѣнничества образовалось общественное, публичное рабство, то изъ добычи произошло частное. Если изъ грабежа возникала государственная поземельная собственность, то изъ дѣлежа ея происходила частная. Въ новой культурѣ, пока она не переработала старыхъ режимовъ, а именно при основаніи государствъ, происхожденіе крѣпостной зависимости и поземельной собственности оставалось такимъ же самымъ. Но съ эскорпораціею грабежа и раздѣла добычи, источникъ происхожденія собственности существенно переродился: изъ военного онъ превратился въ мирный, въ торговый; связь же между обоими способами сохранилась въ наслѣдственномъ правѣ. И такъ, плѣнническое право аристократій было, въ однихъ случаяхъ—большимъ, въ другихъ—меньшимъ, но правомъ на личность и на собственность плѣнниковъ; въ тимократіяхъ личность и собственность ихъ сдѣлались неприкосновенными, и сохранилось только право на арестованіе плѣнныхъ, на временное лишеніе ихъ свободы: въ демократіяхъ такое теченіе этого права общаетъ совсѣмъ изсякнуть, обратившись развѣ въ самолишеніе свободы на время войны путемъ честнаго слова, даннаго плѣнникомъ побѣдителю.—Если суммировать всѣ эти эволюціи побѣднаго права, то увидимъ: что оно, во первыхъ, основывало до сихъ поръ государства; что оно, во вторыхъ, предрѣшало укладъ основанныхъ имъ государствъ, а именно предрѣшало въ нихъ организацію сословнаго права, т. е. центрального государственнаго права, права правъ; и что оно, въ третьихъ, управляло направленіемъ и самаго частнаго права, распредѣляя собою право собственности. Все это вмѣстѣ достаточно выявляетъ ту колоссальную роль, какую побѣдное право играло въ исторіи. Въ однихъ случаяхъ бывающее лишь послѣдствіемъ всѣхъ другихъ правъ, послѣдствіемъ игры ихъ между собою, въ этомъ случаѣ матеріальное военное право перемѣняетъ фронтъ и дѣлается причиною, источникомъ всѣхъ остальныхъ.

Другую половину матеріальнаго междунагоднаго права состав-

ляетъ мирное. Оно, въ свою очередь, бываетъ также троякимъ: или иностранческимъ, или профессиональнымъ, или политическимъ. Иностранческое есть частное международное право въ мирѣ (*jus gentium*, *jus peregrinum*). Право иностранца есть мирный антитезъ непріятельскаго права. Субъектъ этого права есть частное лицо, но не своего, а чужого общества, и не въ войнѣ, а въ мирѣ. Чѣмъ древнѣе общество, чѣмъ глубже взаимное международное отчужденіе, тѣмъ, казалось бы, право чужого человека не мыслимѣе. А, между тѣмъ, нѣтъ такой поры культуры, гдѣ бы нѣкоторыя права иностранца, хотя бы то самыя минимальныя, не встрѣчали всеобщаго, обычнаго признанія. Мы видѣли такими, даже въ патриархатахъ, права гостя. Государственность не остановилась на этомъ, но согрѣла унаслѣдованное зерно и развила его дальше. Развѣтіе это шло, по обыкновенію, крайне туго; положительные шаги его даютъ чувствовать себя только на очень большихъ разстояніяхъ; но все-таки даютъ. Самымъ первороднымъ иностранческимъ правомъ въ государствѣ было чуть-ли не право убѣжища, т. е. *уголовное* иностранческое право, а не гражданское. По крайней мѣрѣ, оно есть естественное послѣдствіе глубоко инкорпорированныхъ правъ гостя. Примѣры его извѣстны уже, начиная съ востока, на примѣръ, съ гостепрѣимства азіатскихъ царей, оказаннаго греческимъ и кароагенскимъ выходцамъ, Ѳемистоклу, Алкивиаду, Аннибалу. А до какой степени считалось оно священнымъ на древнемъ западѣ, видно изъ слѣдующаго характернаго эпизода. Пактіасъ, взбунтовавшій Сарды противъ персовъ, бѣжалъ въ Киме. Киръ потребовалъ выдачи. Кимейцы послали за совѣтомъ къ оракулу. Но когда оракулъ отвѣтилъ: выдать! они не посмѣли повѣрить и вторично отправили пословъ. Въ отвѣтъ на новое: да! они рѣшились выразить оракулу недоумѣніе свое. Тогда богъ отвѣчалъ: я говорю такъ затѣмъ, чтобы вы поскорѣе погибли всѣ до послѣдняго, если пришли совѣтоваться со мною о такомъ дѣлѣ. И Пактіасъ не былъ выданъ. Но такъ какъ и самый вѣрпкій обычай можетъ отъ времени до времени быть нарушеннымъ, то имѣется въ виду взгляды грековъ и на этотъ случай. Хіосцы выдали того же самаго Пактіаса, и при томъ исторгнувъ его для этого изъ храма, гдѣ онъ искалъ убѣжища. Но за то же Атарней, округъ полученный ими, какъ цѣна этой крови, остался на вѣки провлятымъ и бесплоднымъ. Во всѣхъ же прочихъ случаяхъ, ни гражданскихъ, ни пуб-

личныхъ правъ иностранца почти вовсе не существуетъ. Въ Китаѣ, Индіи, Египтѣ нѣтъ слѣдовъ даже допущенія иностранцевъ къ пребыванію между туземцами. Въ Іудеѣ такое пребываніе терпится лишь подъ условіемъ соблюденія заповѣдей Моисея, что равносильно перемѣнѣ религіи. У спартанцевъ даже по отношенію къ грекамъ введена Ликургомъ всенеласія, т. е. принципъ изгнанія ихъ изъ государства. Въ Аѳинахъ и въ Римѣ иностранецъ допускался къ пребыванію только подъ условіемъ представить по себѣ изъ числа гражданъ проксена, патрона. Но и положеніе допущеннаго, покровительствуемаго было не изъ завидныхъ. За преступленія иностранецъ наказывался помимо суда и слѣдствія; а когда рѣшались дать ему судъ, то заводили для того особыхъ судей: въ Аѳинахъ — въ лицѣ архонта полемарха, въ Римѣ — въ особой должности *pretor peregrinus*. Бракъ иностранца ни тѣмъ, ни другимъ законодательствомъ не признавался; *jus connubii*, *ἐγγαμία*, было для него недоступнымъ; и дѣти его были незаконнорожденными. Взаимное наслѣдованіе между иностранцемъ и туземцемъ немыслимо. Поземельнымъ собственникомъ иностранецъ быть не въ состояніи. Никакое обязательство между нимъ и туземцемъ не дѣйствительно: *contra hostem aeterna auctoritas*. О правѣ публичномъ и говорить нечего. Вмѣшательство иностранца въ народное собраніе въ Аѳинахъ, появленіе его въ цензорской люстраціи въ Римѣ были преступленіями, грозившими смертію. Въ храмы, къ алтарямъ иноземецъ не допускается ни въ какомъ случаѣ: онъ осквернилъ бы ихъ. Священный предметъ, къ которому онъ нечаянно прикоснулся, нуждается въ очищеніи. Римская вѣбра признавала святыней могилу раба, но не инородца. Что же касается допущенія ихъ до правъ гражданства, до натурализаціи; то это стало возможнымъ лишь на всей высотѣ древняго прогресса, да и то крайне рѣдко и трудно. Въ Аѳинахъ полагалась тайная подача голосовъ сперва о допущеніи самаго вопроса о возведеніи иностранца въ гражданство. Черезъ девять дней послѣ этого могли послѣдовать пренія по существу. Для рѣшенія вопроса надо было не менѣе 6.000 утвердительныхъ голосовъ. Рѣшеніе ихъ должно было получить утвержденіе со стороны буле. Но и послѣ всего этого стоило лишь первому встрѣчному произнести родъ рѣшительнаго *veto*, — и вся процедура становилась напрасною. Самая война объявлялась съ меньшими предосторожностями, чѣмъ этотъ актъ мира. Но здѣсь надо сдѣлать

великое исключеніе для греческаго міра самого въ себѣ. Міръ этотъ не впервые уже есть прообразованіемъ будущаго. Отношенія грековъ къ грекамъ были весьма отличны отъ отношеній ихъ къ варварамъ, такъ что въ первомъ смыслѣ они предвосхищаютъ не одну изъ нынѣшнихъ идей международной. Были города, которые предоставляли другъ другу право взаимныхъ браковъ, эпигамію. Были другіе съ такой же взаимностью въ правѣ поземельной собственности; это энтезисъ. Третьи связывались общею проксеніею, общимъ покровительствомъ гостей другъ друга. Четвертые знали исотелію, равенство въ налогахъ, или же ателію, свободу отъ нихъ. Нѣкоторые давали другъ другу проэдрію, право почетныхъ мѣстъ на празднествахъ. Наконецъ были и такіе, которымъ извѣстна была исполитія, т. е. полная взаимная натурализація. Римъ не зналъ себѣ равныхъ, а потому его иностранческое право никогда не восходило на эту высоту. Новая культура, дебутировавшая почти такъ же, какъ и древняя, весьма рано однакожь встрепенулась. Феодалы повсюду было присвоили себѣ право наслѣдства по иностранцѣ, *droit d'aubaine*. А въ Палатинатѣ, Помераніи, Лауэнбургѣ иностранецъ даже закрѣпощался, если прожилъ годъ и день; это такъ называемое *Wildfangsrecht*. Но церковь приняла уже путешествующихъ и странниковъ подъ свое авторитетное покровительство. Императоры, въ свою очередь, энергически боролись съ *droit d'aubaine*. Прямо же всего новыя права сказались въ городахъ. Сношенія съ иностранцами, и при томъ на равной ногѣ, для нихъ были вопросъ жизни и смерти: безъ этого нѣтъ ни векселя, ни банка, ни биржи. А потому, въ противоположность *Wildfangsrecht*, у горожанъ образовался отвѣтный обычай, дававшій, напротивъ, свободу всякому, прожившему среди нихъ годъ со днемъ. Другимъ городскимъ обычаемъ было учрежденіе консуловъ и консульскихъ судовъ, этой новой проксеніи для охраненія неприкосновенности иностранцевъ. Съ тѣхъ поръ иностранческое право пошло быстрѣе впередъ. *Wildfangsrecht* вымерло въ XVII столѣтіи. *Droit d'aubaine* отмѣнено повсюду къ 1814 году. А въ настоящее время иностранцы, и при томъ безъ раздѣленія ихъ на варваровъ и культурныхъ, пользуются повсюду какъ уголовною, такъ и гражданскою равноправностью съ туземцами. Личныя и семейныя права чужеземца опредѣляются мѣстомъ его подданства, *lex domicilii*. Вещное право — мѣстоположеніемъ собственности, *lex rei sitae*. Обязательственное — мѣстомъ совершенія

сдѣлки, *locus regit actum*. Уголовная подсудность зависитъ отъ мѣста совершенія преступленія, *forum delicti commissi*. Исключение составляютъ политическія преступленія, за которыя иностранецъ судится въ мѣстѣ убѣжища своего, и не выдается мѣсту подданства. Впрочемъ, высланнымъ изъ страны всякій иностранецъ можетъ быть и безъ суда, по произволу, по крайней мѣрѣ на континентѣ Европы. Наконецъ, и самая натурализація, т. е. усвоеніе иностранцу всѣхъ публичныхъ правъ чужого государства, если и терпитъ значительныя исключенія, и если обусловлена извѣстными гарантіями и формальностями, то, во всякомъ случаѣ, сдѣлалась легко доступною. А такой порядокъ нельзя не признать отошедшимъ на далекое разстояніе отъ древности. Если гражданинъ того или другого государства имѣетъ право сдѣлаться во всякую минуту гражданиномъ и каждаго другого; то это такой путь къ гражданству міра, или, по крайней мѣрѣ, гражданству извѣстной международной системы, какого и сами греки еще не прокладывали. И нѣтъ сомнѣнія, что въ формации демократической не будетъ больше надобности ни въ исключеніяхъ, ни въ гарантіяхъ, ни въ формальностяхъ для того, чтобы быть гражданиномъ міра или, по крайней мѣрѣ, культурнѣйшей изъ международныхъ системъ его. Каждый гражданинъ государства *eo ipso* долженъ быть уже и гражданиномъ международности. Короче, это есть иностранческое право и *уголовное, и гражданское, и государственное*. — Такою же глубокою пропастью раздѣлены и всѣ профессиональныя права прошедшаго, настоящаго и будущаго. Профессиональное право есть мирное публичное, противоположность боеваго. Субъектами этого права суть тѣ или другія профессіи общественныя, такія или иныя мирныя корпораціи иныхъ земель. Изъ числа экономическихъ больше всего нуждается въ международности профессія или корпорація торговая; а потому она раньше всѣхъ другихъ и усваиваетъ всеобщій характеръ. Будучи профессіей спеціально обмѣнивающей, она, такъ сказать, создана для связыванія всякихъ противоположностей. И дѣйствительно, уже въ патріархатахъ мы замѣтили ярмарки около святилищъ и мѣну на границахъ; въ государствахъ же онѣ скоро преобразились въ подвижную международную торговлю, а именно въ *караванную, въ сухопутную*. Есть намеки на такую торговлю даже между столь отчужденными отъ всего міра странами, какъ Китай и Индія. По крайней мѣрѣ, китайскій шолкъ издавна знакомъ и въ Индіи; да и самое имя Китая, перешедшее въ Европу, Хина, есть

индійское. Египтяне, до Псамметиха, также не знали иной торговли, кромѣ сухопутной. Развалины же персепольскихъ дворцовъ уже унижены изображеніями народовъ и ихъ произведеній. Но каково было восточное торговое право видно изъ того, что ни одинъ караванъ не отправлялся въ путь невооруженнымъ, и что размѣры каравана достигали иногда до 1.000 и даже до 2.000 человѣкъ, охранявшихъ своихъ верблюдовъ, эти настоящіе корабли континента. Съ другой стороны, затрудняло торговлю и неимѣніе общепонятнаго для всѣхъ языка. Но истинно международная стихія есть море, а не континентъ. Это есть и самая просторная, и самая всеобщая дорога между всѣми материками земнаго шара. А потому гораздо болѣе международною дѣлается торговля лишь тогда, когда она становится морскою, корабельною. Впервые такая торговля начинается въ исторіи только съ финикійцъ, карфагенянъ и грековъ, да и то принужденная ограничиваться лишь прибрежнымъ плаваніемъ. Здѣсь же впервые появилось и то подспорье, какое торговля нашла въ распространеніи греческаго, а потомъ латинскаго языка. Но право торговое, морское право, оставалось здѣсь еще меньше обезпеченнымъ, чѣмъ на континентѣ, какъ видно это уже изъ царствованія пиратства. Хотя море у римлянъ и считалось никому не принадлежащимъ, *res nullius*, но это далеко еще не означало свободы морей. Напротивъ, оно-то и было ареною наибольшаго беззаконія и безправія, если исключить какой-то *lex Rhodia*, неизвѣстно, впрочемъ, въ чемъ состоявшій. Дѣйствительно же международного полета достигаетъ торговля, а вмѣстѣ съ нею и торговое право, только въ нашей, въ текущей системѣ государствъ, гдѣ эти экономическія профессіи каждаго народа дѣйствительно сливаются въ одну и ту же всемірную профессію и, при томъ, достаточно гарантированную трактатами не только въ мирѣ, но даже въ войнѣ. Какъ сухопутная, такъ и морская торговля приобрѣли здѣсь небывалую подвижность. Одна, благодаря своимъ желѣзнымъ путямъ, другая, благодаря своему компасу, пару и винту, обѣ, благодаря своей биржѣ и своему торговому праву, произвели чудеса передвиженія и перемѣщенія дѣйностей. И если созданіе сухопутнаго, караваннаго торговаго права принадлежитъ во всякомъ случаѣ древности, то никто не можетъ оспаривать у новыхъ народовъ права *морского, корабельнаго*. Началось оно стараніями сперва только регулировать всеобщее право морской войны; и для этого полномочіе на корсарство, *lettre de*

marque, выдавалось лишь потерпѣвшему ущербъ на морѣ, и лишь для возмѣщенія этого ущерба. Двѣ страны были въ мирѣ, а двѣ профессіи ихъ въ войнѣ. Еще дальше эта профессиональная война стала допускаться только во время общей войны; при чемъ *lettres de marque* выдавались предпринимателямъ, называвшимся арматорами или каперами, которые должны были вести такую же войну съ непріятельскою торговлею, какую правительство вело съ государствомъ. Отъ этого рода корсаровъ требовался денежный залогъ для обезпеченія ихъ войны только съ непріятельскою торговлею; а для сужденія о дѣйствительной законности ихъ добычъ, ихъ призовъ, учреждаемы были въ ихъ отечествахъ призовые суды. Это послѣднее перерожденіе морского разбоя дожило до 1856 года, когда парижскою деклараціею, какъ мы видѣли, отнята и у него санкція права. Остается только разбой оффиціальныи, военное крейсерство, такъ что сухопутный идеалъ неприкосновенности частной собственности все еще не достигнуть на морѣ. Но онъ есть на столько логическое послѣдствіе всего предъидущаго, что стоитъ уже не за горами. Съ другой стороны, средневѣковыя притязанія отдѣльныхъ народовъ на присвоеніе отдѣльныхъ морей, Венеціи — на адриатическое море, Португаліи — на гвинейское, Испаніи — на тихій океанъ, Франціи — на балеарское море, Англіи — на всѣмывающія ее, всѣ эти претензіи постоянно встрѣчали дружный отпоръ какъ въ общественномъ мнѣніи, такъ и въ практикѣ всѣхъ прочихъ иноземныхъ державъ. Гуго Гроціи уже въ 1609 году доказываетъ неприсвоимость моря по самой его природѣ; а Бейнкерсгукъ въ 1702 окончательно устанавливаетъ международную догму свободы морей, проводя границу между моремъ присвоаемымъ и неприсвоаемымъ, т. е. закрытымъ или территоріальнымъ и открытымъ или океаническимъ. По этой догмѣ нѣтъ, относительно послѣдняго рода морей, не только права собственности, господскаго права, *dominium*, но даже и права власти, владѣльческаго права, *imperium*; а есть только, общее для всѣхъ и cadaго, право пользованія этою собственностью природы, *jus meae facultatis*. Каждый корабль на морѣ есть, въ свою очередь, полный хозяинъ стихіи, каждый состоитъ здѣсь подъ своимъ отечественнымъ правомъ, и разсматривается какъ оторванная, пловучая часть своей отечественной территоріи. *Jus meae facultatis* есть первый дѣйствительный законъ мирнаго публично-международнаго права, на сколько такіе законы способны выдер-

живать аналогію съ государственными. По крайней мѣрѣ, согласно съ такимъ правомъ, общепризнано нынѣ трактатами и другое, истекающее изъ него: полное право каждаго иноземнаго корабля и даже обязанность его преслѣдовать, по мѣрѣ возможности своей, всякое иноземное нарушеніе этого закона, какъ напримѣръ каперство или торговлю неграми, и тѣмъ, по мѣрѣ силъ, обезпечивать законъ судомъ, полиціей. Торговый флотъ и есть эта международная полиція. Каждая иноземность есть здѣсь судья для каждой другой, и именно въ лицѣ своей торговли. Что же предстоить будущему торговому праву, при такомъ ходѣ его въ прошедшемъ и въ настоящемъ? Судя по тому порядку стихій сообщенія, въ какомъ пользовалась ими до сихъ поръ торговля, и по тому приращенію подвижности, которымъ вся она живетъ, остается подумать, что ей не достаетъ еще только стихіи воздушной. Дѣйствительно, успѣхи воздухоплаванія могутъ проложить для торговли еще одинъ путь, еще одну сферу сообщеній и сдѣлать торговлю не только сухопутною, не только морскою, но и *воздушною*, не только караванною, не только корабельною, но также *аэростатною*. Если это удастся когда нибудь, то международность торговли достигнетъ максимальной своей, достигнетъ полной всемірности, потому что воздухъ вовсе уже не знаетъ границъ, даже и такихъ какъ у океана.— Всѣ эти движенія къ космополитизаціи обществъ еще явственнѣе въ слаганіи мірового политическаго права. Міровое политическое право есть то, гдѣ субъектами суть политическія цѣлыя, а не какія бы то ни было части ихъ. Это право въ миру соответствуетъ побѣдному въ войнѣ, потому что оно, какъ и то, и дѣйствительно международно, и исключительно обычно. Патріархальная *нетерпимость* политическихъ единицъ превращается въ государствѣ сперва въ изолированность, въ *отчужденіе*. Нетерпимость активная, напряженная, дѣлается пассивною. Типомъ этого состоянія общенародныхъ нравовъ и обычаевъ издревле былъ и остается до сихъ поръ Китай. Онъ поразителенъ тѣмъ, что, тогда какъ всѣ другіе современники его, не терпя мирныхъ сношеній съ другими народами и государствами, охотно по крайней мѣрѣ, увлекались во всѣ войны, онъ избѣгалъ даже и этихъ послѣднихъ, такъ что прослылъ самымъ мирнымъ изъ обитателей земного шара: до такой степени замкнутость его, его пассивная нетерпимость къ другимъ, была безусловна. Впрочемъ, недалеко отъ этого типа ушли и Индія, и

Египетъ. Извѣстно, какое имѣли они отвращеніе къ морю и къ мореплаванію, и какъ гнушались всего иноземнаго. Индусскія священныя книги говорятъ о чужихъ земляхъ всегда съ презрѣніемъ, и ставятъ ихъ не только ниже всѣхъ своихъ кастъ, но прямо ниже животныхъ. Египетская религія считаетъ иноземцевъ столь же нечистыми, какъ свинья, пастухъ и море. Евреямъ самъ Іегова приказываетъ не вступать съ моавитянами и аммонитянами ни въ какія сношенія, амалекитянь же и хананеевъ истребить въ конецъ. Впослѣдствіи же не было для іудеевъ ничего нечище, какъ самаряне. Да и вообще, они единственный избранный народъ, они народъ божій между всѣми другими. Финикіяне и кареагеняне противъ чужеземцевъ считали все позволительнымъ: ложь, обманъ, вѣроломство. Еще Гомеръ говоритъ о нихъ, какъ о хитрецахъ и обманщикахъ; позднѣе пресловутая *fides punica* вошла во всеобщую поговорку; а Цицеронъ прямо называетъ ихъ *falacissimus genus*. Самъ классическій западъ смотрѣлъ только на себя, какъ на людей, всѣ же остальные были для него варвары. Для грека и римлянина, и при томъ все равно просвѣщеннаго или невѣжды, варваръ на столько же ниже его, какъ рабъ ниже свободнаго или животное ниже раба. Такимъ образомъ, всякая страна была въ глазахъ всѣхъ другихъ какою-то международною парією, и всякая же сама себя считала лучше всѣхъ остальныхъ. Понятно, насколько такое воззрѣніе должно было питать войну, и не могло питать мира. Впрочемъ, нельзя не прибавить, что интенсивность такого воззрѣнія видимо ослабѣваетъ по мѣрѣ того, какъ отъ крайняго востока подвигается къ крайнему западу. Въ силу этого только ослабленія и возможны были всѣ тѣ международныя отношенія, какія изложены выше. Повидимому, подобные взгляды не слишкомъ уступили и въ современной международности. Христіане, не вспоминая даже о средневѣковомъ ихъ взглядѣ на иновѣрцевъ и въ особенности на евреевъ, и до сихъ поръ пренебрегаютъ и магометанъ, и буддистовъ, какъ невѣрныхъ. Магометане и христіанъ, и буддистовъ презираютъ, какъ гауровъ. Буддисты и мусульманъ, и христіанъ третируютъ, какъ вристанъ, какъ паріевъ. Наконецъ бѣлая раса въ Америкѣ, охотно усвоивая себѣ всевозможныя породы людей, положительно, однакожъ, гнушается черною. Но надо, при этомъ, не просмотрѣть, что внутри cadaго изъ этихъ круговъ взаимное признаніе національностей существуетъ несомнѣнно. Китаецъ не презираетъ ни японца, ни тибетца. Персъ

не питаетъ презрѣнія ни къ турку, ни къ индусу. Напротивъ, по основнымъ началамъ шеріата, всѣ мусульманскія государства образуютъ собою такъ называемый дар-уль-исламъ, т. е. общество правоверныхъ, для которыхъ только всѣ остальные народы стоятъ внѣ закона, но которые сами должны даже вести общую священную войну противъ гауровъ. Также точно и между христіанскими націями существуетъ и всегда существовало чувство *солидарности*, чувство взаимности, которое способно было даже въ средніе вѣка осуществлять такія предпріятія, какъ крестовые походы. И такъ, если бы и признать, что древнее международное чувство продолжаетъ существовать и до сихъ поръ, то нельзя въ тоже время не признать, что оно передвинуло всѣ предѣлы свои. Антипатическіе инстинкты сократились, а симпатическіе расширились. Они расширились съ государства на цѣлыя системы государствъ, и даже съ этихъ системъ тянутся на всю бѣлую расу, какъ въ Америкѣ. Это приводитъ къ заключенію, что въ настоящее время имѣются, во всякомъ случаѣ, три международныя системы, изъ которыхъ если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, каждая въ отдѣльности имѣетъ свое единство. Политически оно не выразилось ни въ одной, но церковно во всѣхъ: въ христіанствѣ — папствомъ, въ исламѣ — калифатствомъ, въ буддизмѣ — далай-ламствомъ, такъ что единственно дѣйствительною до сихъ поръ формою международности или организаціею ея была только церковность. Если же эту послѣднюю степень сродненія, солидарности, сравнить съ древнею, окажется, что тамъ не имѣлось и гѣни чего либо подобнаго. Греческій мірокъ, съ его замѣчательной степенью солидарности, не можетъ быть сравниваемъ, потому что онъ не представляетъ разныхъ національностей, какъ каждое изъ нынѣшнихъ международныхъ единствъ. Римскій, хотя обнимаетъ собою всѣ древнія національности, но не представляетъ международности, ибо онъ тотчасъ обращалъ ее въ государственность. Во всякомъ случаѣ, исторія направляется не только къ еще большей солидарности, но прямо-таки къ *единству* или, по крайней мѣрѣ, къ нѣсколькимъ единствамъ международнымъ. Если она не скоро еще придетъ къ одному единству, вмѣсто нѣсколькихъ, то въ демократіяхъ она можетъ легко придти, по крайней мѣрѣ, къ единствамъ политическимъ, вмѣсто одного церковнаго. — Если только что очерченные моменты космополитизаціи дѣйствительно общи каждый разъ всѣмъ подлежащимъ народамъ, то

они должны простираться и по публичному, и по частному изъ праву, въ видѣ обычаевъ, сопровождающихъ эти права. Такъ оно и есть, и такъ было въ древности. Въ древности такіе международные обычаи, которые служили бы дополненіемъ публичному праву, найдутся въ одной только Греціи. Тамошнія олимпійскія, немейскія, дельфійскія, истмійскія игры дѣйствительно суть дополненіе публичнаго права и дѣйствительно обычное, а между тѣмъ въполнѣ, повидимому, международнаго свойства, такъ какъ туда сходились греки изъ всѣхъ своихъ государствъ. Это, повидимому, настоящія международныя выставки нашихъ временъ, то художественныя, то промышленныя, то военныя. Но, какъ уже замѣчено, отъ этой одноплеменной международной очень далеко до разноплеменной, каковы всѣ нынѣшнія ея системы. А во вторыхъ, это единственный примѣръ среди всей древности, и именно потому что разноплеменные государства были еще неспособны къ такому общенію. Ничего подобнаго дѣйствительно и не видимъ между греками и персами, персами и египтянами, и т. д. Напротивъ, греки именно настаивали на томъ, чтобы какънибудь не сдѣлать эти свои выставки международными, и потому ревниво оберегали ихъ строгій эллинизмъ, допуская къ нимъ только родовитыхъ грековъ. Восточные же народы о подобныхъ сходкахъ между собою и вовсе не помышляли. У римлянъ имѣлись и игры, и ристалища, и публичные зрѣлища; но всѣ подобныя учрежденія были дѣломъ также обычая государственнаго, а не обычая международнаго. Имъ, повидимому, легче всего было сводить народы между собою; но они не сдѣлали ни одного предпріятія въ этомъ родѣ. Да и какъ сдѣлать? Это значило бы смѣшиваться съ варварами. Римляне сами питали еще такое чувство недовѣрія къ другимъ государствамъ, что международный мирный трактатъ послѣ войны они считали ни во что, если не было по немъ заложника, *obres*. При такихъ условіяхъ трудно додуматься до международныхъ зрѣлищъ. Еще меньше возможно было духу международной проникнуть въ частную жизнь каждаго древняго народа. Каждый изъ нихъ носилъ свой собственный національный костюмъ, каждый имѣлъ свою національную кухню, каждый строилъ свои жилища по своему, каждый держался своего національнаго этикета. Все это не имѣетъ никакой аналогіи съ публичными и частными обычаями, по крайней мѣрѣ, христіанской международной, гдѣ вся Европа и вся Америка чуть не

ежедневно сходятся то на всемірныя выставки, промышленныя, художественныя, научныя, то на конгрессы, статистическіе, антропологическіе, юридическіе, литературныя, желѣзнодорожныя, социалистическіе; гдѣ двѣ части свѣта имѣютъ одинъ общій для нихъ разговорный языкъ, имѣютъ одну и ту же привычку издавать и читать газеты, т. е. зпать каждый день, что совершилось вчера на всемъ свѣтѣ, имѣютъ и то, что составляетъ международное общественное мнѣніе; гдѣ всѣ народы христіанской культуры одѣваются какъ одинъ человекъ, держатся однѣхъ и тѣхъ же модъ, руководятся одною и тою же гастрономіею, однимъ и тѣмъ же планомъ квартиръ, однимъ и тѣмъ же этикетомъ, одними и тѣми же развлечениями. Только изъ такихъ мелкихъ и многочисленныхъ волоконъ, переплывшихъ всю частную и всю публичную жизнь государственныхъ обществъ, и могутъ когда нибудь, сами собою и безъ насилія, возникнуть соотвѣтственные чисто-международныя и чисто-политическіе обычаи объединенія. А пока такихъ нитей мало или недостаточно, никакія ухищренія ума не помогутъ обратить ту или другую международную систему въ государство, т. е. дать ей общее правительство. Это возможно до тѣхъ поръ только при посредствѣ насилія.

Международное формальное право такъ же однородно, какъ и формальное частное; т. е. оно бываетъ только послѣдовательное, исполнительное, но не бываетъ предварительнымъ, какъ въ государствахъ. Но, будучи одного рода, это формальное право, также какъ и судебное, является въ двухъ видахъ. Виды эти вполне аналогичны съ судебными, съ гражданскимъ и уголовнымъ: первому отвѣчаетъ здѣсь дипломатическое право (исполнительное или примѣнительное для мирнаго матеріальнаго права), второму — тактическое (исполнительное для матеріальнаго военнаго права). Въ довершеніе аналогіи, каждому изъ этихъ примѣнительныхъ правъ свойственно двойное разсмотрѣніе — разъ съ точки зрѣнія судоустройства, другой разъ — судопроизводства. Судоустройствомъ есть здѣсь организація дипломатическаго персонала и организація войска; судопроизводствомъ есть процедура дипломатіи и процедура войны или, что одно и то же, дипломатическое искусство и искусство военное. Право дипломатическое, какъ въ организаціи своей, такъ и въ процедурѣ, не новость ни для политической исторіи, ни для юридической. Что же касается тактическаго, то оно, какъ въ смыслѣ организаціи, такъ

и въ смыслѣ процедуры, составляетъ новый крупный недочетъ въ нынѣшней постановкѣ науки международного права. Оно исключается изъ нея совсѣмъ и, вѣроятно, на томъ основаніи, что его должна разсматривать военная наука. Но углы зрѣнія каждой науки различны даже при разсмотрѣніи одного и того же предмета: военная не компетентна руководить правовымъ изученіемъ войны, также точно, какъ правовая не способна вдаваться въ техническое ея изученіе. А потому каждая можетъ отмежевать себѣ свое собственное поле, какъ бы онѣ ни граничили одно съ другимъ. Это размежеваніе тѣмъ настоятельнѣе, что военная наука, также въ надеждѣ на правовую, и сама оставляетъ этотъ предметъ въ сторонѣ, вслѣдствіе чего онъ и вовсе утрачивается изъ изученія.

Дипломатія, этотъ органъ, соотвѣтствующій гражданскому суду въ частномъ правѣ и администраціи въ государственномъ, имѣла бытіе во всѣ времена, хотя и не имѣла долго никакой организаціи. Организаціи не было, но всегда были бродячіе элементы ея. Первичнымъ изъ такихъ элементовъ есть *герольдъ*, вѣстникъ, парламентаръ во время войны, съ зеленой вѣткой въ рукахъ, который попадаетъ даже у всѣхъ дикихъ народовъ и идетъ по всей патріархальности; такъ что дипломатія родилась изъ войны. Въ государственномъ бытѣ агенты международные появляются не только въ войнѣ, но и въ мирѣ; хотя всегда только въ качествѣ чрезвычайныхъ, временныхъ, отправляемыхъ отъ времени до времени, по мѣрѣ крайней надобности. Такіе *посланники* упоминаются и въ кодексѣ Ману, гдѣ содержатся и наставленія для нихъ. Таковы же они и на всемъ востокѣ, да и вообще во всей древности; т. е. дипломатическія нити между тѣлами народовъ, возникая поминутно, поминутно же и порывались, тѣмъ болѣе, что они вовсе не пользовались прочностью, безопасностью. Даже въ Греціи, спартанскій царь Агезилай говорилъ еще персидскому посланнику Фарнабазу: такъ какъ ты принадлежишь царю, то мы вправѣ сдѣлать вредъ ему въ лицѣ твоемъ. Даже въ Греціи, посланники Дарія, требовавшіе земли и воды, были брошены одинъ въ яму, а другой въ колодезь, чтобы тамъ искать земли и воды; хотя греки, одумавшись, и раскаялись въ этомъ. Въ Римѣ, этомъ по преимуществу правовомъ народѣ, не могли не исправиться такіе взгляды хотя нѣсколько. И точно, не переставая быть отрывочными, дипломатическія связки приобрѣли здѣсь, по крайней мѣрѣ, нѣкоторую проч-

ность, устойчивость. Римляне, съ ихъ необыкновеннымъ здравымъ смысломъ, не могли не сознать практической необходимости оградить особу чужого посла отъ опасностей, хотя бы то просто для того, чтобы оградить отъ нихъ и своего собственнаго. Поэтому, послы у нихъ суть уже священны и неприкосновенны, *sacrosancti*; они всегда возвращались домой благополучно, не смотря ни на какую щевотливость ихъ порученія; виновный въ ихъ оскорбленіи всегда выдавался головою обиженному народу. Кромѣ того, всякій посланникъ въ Римѣ пользовался неподсудностью мѣстнымъ властямъ, *jus domum revocandi*, а также свободою отъ всякихъ податей, не смотря на свое качество иностранца. Таково же было и положеніе заложниковъ, *obsides*, взятыхъ въ поруки мира. Пока мирныя условія исполнялись, они были *sacrosancti*, и только при нарушеніи ихъ платились жизнью своей. И такъ, международный персоналъ существовалъ уже, хотя и не сливался въ международный корпусъ. Только въ христіанской системѣ государствъ всѣ эти элементы отвердѣли, сдѣлались постоянными, связались между собою и образовали первую правительственно-международную ткань. Раньше всего появились папскіе легаты и городскія консульства. Церковь и города всегда здѣсь на челѣ движенія. За ними слѣдуютъ постоянныя свѣтскія посольства Людовика XI и Фердинанда Католика. Съ этихъ поръ посольства, какъ постоянныя учрежденія, появляются одно за другимъ при всѣхъ дворахъ, и складается то, что названо дипломатическимъ корпусомъ. Собственно говоря, это только ткани для такого корпуса, или, по крайней мѣрѣ, органы для него; но въ случаяхъ *конгрессовъ* правительственно-международныхъ, эти органы и дѣйствительно приближаются къ подобію корпуса. Первымъ примѣромъ такой дипломатической цѣльности былъ вестфальскій конгрессъ 1648 г. Слѣдовавшіе за нимъ утрехтскій, вѣнскій, ахенскій, лайбахскій, веронскій, парижскій и берлинскій окончательно закрѣпили эту тимократическую формулу международного единства Европы. Конгрессъ, и при томъ именно періодическій, а не непрерывный, есть, повидимому, та высшая международная организація, до которой способно было доработаться наше дипломатическое право, не обращая международности въ государственность. Нынѣшнее построеніе этой организаціи и нынѣшнія права ея суть слѣдующія. Іерархія дипломатическая состоитъ изъ четырехъ ступеней посольствъ: послы (*ambassadeurs*), посланники (*envoyés*), министры резиденты (*minist-*

res résidants) и повѣренные въ дѣлахъ (chargés d'affaires), и изъ трехъ степеней консульствъ: генеральный консулъ, консулъ и вице-консулъ. Роль посольствъ есть политическая, роль консульствъ—экономическая. Всѣ они пользуются правомъ такъ называемой экстерриториальности, вѣземельности. т. е. всегда предполагаются въ своемъ собственномъ отечествѣ, всегда внѣ мѣстныхъ законовъ и властей. Заложниковъ больше нѣтъ въ этомъ правѣ; вмѣсто нихъ берется иногда залогъ въ обезпеченіе трактатовъ. Самымъ же младенческимъ дѣтищемъ современной дипломатіи есть международный *третейскій судъ* или арбитражъ. Этому-то младенческому порожденію самой позднѣйшей дипломатіи и предстоитъ, повидимому, выживаніе впереди; если не въ самыхъ тимократіяхъ, то во всякомъ случаѣ въ средѣ демократій. Характеристично въ этомъ учрежденіи то, что оно не постоянно, а періодично, и безпрестанно перемѣщается, смотря по перемѣщенію довѣрія и по избранію сторонъ. Остается прибавить, что съ 1822 года въ обще-христіанской системѣ международности образовался расколъ. Съ этого года единству европейскому Америка противопоставила свое, американское, подъ именемъ доктрины Монро съ девизомъ: America for the americans. Наше первое правило, говоритъ президентъ Джефферсонъ, да будетъ—никогда не вмѣшиваться въ распри Европы; наше второе—никогда не терпѣть вмѣшательства Европы въ заатлантическія дѣла. Изреченія эти залегли съ тѣхъ поръ, какъ краеугольный камень американской политики. И такимъ образомъ христіанская международность, въ свою очередь, раздвоилась на европейскую и американскую. А вмѣстѣ съ такимъ раздвоеніемъ политики не могло не возникнуть и раздвоеніе соотвѣтственной организаціи: конгрессы, о которыхъ идетъ рѣчь, суть учрежденіе исключительно европейское, но не американское; Америка никогда въ нихъ не участвуетъ.

Процессуальная сторона дипломатическаго права всегда соотвѣтствовала организаціонной. По мѣрѣ усложненія организацій, усложняются и функціи. Самой простой изъ этихъ организацій, парламентарской, отвѣчала и самая простѣйшая изъ функцій: передача извѣстія, вѣстничество, *нотариатъ*. Это обязанность простаго гонца, вѣстника, нотариуса. Подать извѣстіе и получить отвѣтъ—весь долгъ его, и больше онъ ни на что не вправѣ. Это такое право, которое, возвышая въ самомъ сердцѣ войны, въ немъ же и оканчивается.

Иного рода функция посланническая. Кроме вручения известия и получения ответа, древний посланник снабжается еще известными полномочиями и инструкциями: он должен защищать интересы своего господина, действовать иногда на свой собственный страх и собственными средствами, для получения наилучшего ответа. Это уже не только герольд, но также повѣренный, не только нотариатъ, но также *адвокатура* своей страны. Равно и времена ее дѣятельности нѣсколько шире: она уже не сосредоточивается вся въ самомъ фактѣ войны, но выходитъ и за предѣлы ее, хотя и кружится только около: то передъ началомъ войны, то по окончаніи ее. Формальное объявленіе войны и формальное заключеніе мира,—вотъ тотъ прогрессъ, какимъ обязаны мы дипломатической процедурѣ древности, потому что внезапное, нечаянное нападеніе долго еще продолжало считаться самымъ лучшимъ. Когда же обычай этотъ сталъ приходить въ забвеніе, когда римляне стали прямо квалифицировать его, какъ разбой, *latrocinium*, дозволенный только противъ пиратовъ; тогда-то дипломатическая процедура расширилась, и обняла собою и объявленіе войны, и заключеніе мира. Персы объявляли войну, требуя отъ непріятеля воды и земли. Афиняне, чтобъ объявить войну, бросали овцу на непріятельскую землю. У римлянъ процедура эта была, по обыкновенію, длинная и сложная. Прежде всего посылался къ непріятелю вѣстникъ съ заявленіемъ римскихъ претензій. Стоя съ покрытою головою на непріятельской границѣ и призывая Юпитера въ свидѣтели своей правоты, герольдъ произносилъ известную формулу, *clavigatio* или *gegiu repetitio*, со включеніемъ римскихъ требованій. Если немедленнаго удовлетворенія не получалось, давался срокъ 33 дня на размышленіе и отвѣтъ. Если отвѣта и послѣ срока не было, или же былъ онъ неблагопріятенъ, новый посланникъ отправлялся опять на границу и, *jussu populi auctoritateque senatus*, дѣлалъ еще торжественнѣе, съ религиозными заклинаніями и бросая на непріятельскую землю копьѣ, окончательное объявленіе войны. Процедура эта со временемъ, конечно, сократилась, стала продѣлываться въ самомъ Римѣ, лишь бы только въ присутствіи хотя случайнаго иностранца, а наконецъ даже и безъ него. Все это требовало, безъ сомнѣнія, знакомства со всѣми этими формами; а потому и въ Греціи, и въ Римѣ имѣлись для этой цѣли особые жрецы, спендофоры и феціалы. Феціаль долженъ былъ быть непременно *pater patratus*, т. е. имѣющій

и отца, и дѣтей, чтобы достойно представлять собою и прошедшее, и настоящее, и будущее. Совокупность всѣхъ этихъ обычаевъ производства и называлась *jus fœciale*. Подобно тому, спендофоры и феціалы выступали на сцену и по окончаніи войны, при заключеніи мира. У грековъ нужно было при этомъ заколотъ козленка, такъ что фраза эта сдѣлалась равнозначительною выраженію: заключить миръ. И стоило при этомъ пропустить что-нибудь изъ обрядностей, чтобы весь мирный трактатъ обратился въ ничто. Наконецъ, тѣ же самые жрецы отправляли дипломатію и въ продолженіи самой войны: вызывали непріятельскихъ боговъ оставить свой городъ, производили очищеніе своихъ собственныхъ, побывавшихъ въ рукахъ врага, и т. п. Новое дипломатическое производство снова измѣнилось и въ количествѣ, и въ качествѣ. Оно не группируется больше у одного факта войны, но продолжается и въ промежуткахъ между войнами, въ мирѣ. Оно состоитъ не въ объявленіи только войны и въ заключеніи мира, но также, и главнымъ образомъ, въ предупрежденіи войны, въ охраненіи мира. Отсюда несравненное умноженіе трактатовъ, и при томъ трактатовъ не только военныхъ, но и чисто-мирныхъ, по преимуществу экономическихъ, словомъ — всѣхъ тѣхъ, которые образовали собою матеріальное иностранческое и торговое право, равно какъ непріятельское и боевое. Отсюда же и необходимость примѣненія ихъ почти на каждомъ шагѣ въ дѣйствительной жизни. Качественно современная дипломатія также наращаетъ отправленія свои. Если, при заключеніи всѣхъ упомянутыхъ договоровъ, она остается, по прежнему, лишь на степени международной адвокатуры, то, при заключеніи нѣкоторыхъ другихъ, она нѣсколько мѣняетъ свою роль. Такъ бываетъ именно тогда, когда она соединяется въ конгрессы. Съ перемѣной въ организаціи тотчасъ измѣняется и отправленіе. Конгрессы собираются обыкновенно послѣ войны. Однажды же, что всѣ державы сошлись вмѣстѣ въ такомъ случаѣ, естественное большинство симпатій ихъ склоняется въ пользу слабѣйшаго, а большинство антипатій — противъ сильнѣйшаго, какъ опаснаго для всѣхъ. Отсюда естественное стремленіе конгрессовъ умѣрить требовательность одной стороны и уступчивость другой. А какъ послѣ только что оконченной войны никакому побѣдителю не легко предпринимать новую и, быть можетъ, еще болѣе тяжкую, то такое уравновѣшивающее стремленіе и не оказывается рискованнымъ или безнадѣжнымъ. Словомъ, это есть вѣское, потому что въ удобную минуту

предпринятое, посредничество, *маклерство* между воевавшими сторонами. Другая функція того же рода, собственно такъ называемое посредничество, *médiation*, хотя также имѣетъ примѣры, какъ на примѣръ вѣнская конференція 1853 года, но не имѣетъ удачныхъ. Зависитъ это, вѣроятно, отъ того, что предпринимаются такіа посредничества передъ войною, т. е. въ неудобный моментъ, и что сверхъ того нѣтъ опасенія, что посредники и сами опровернутся на упорствующаго. Еще же новѣе та тенденція нынѣшней дипломатіи, какаа имѣла случай разрѣшиться уже нѣсколькими третейскими судами, *arbitrage*, и при томъ вполне удавшимися. Въ 1827 году споръ Англіи и Соединенныхъ Штатовъ, о границахъ владѣній, рѣшонъ нидерландскимъ королемъ. Въ 1858 и 1861 годахъ два спора Португаліи съ Англіей, о купеческихъ претензіяхъ, разрѣшены гамбургскимъ сенатомъ. Въ 1872 такимъ же образомъ оконченъ споръ о крейсерѣ Алабама женевскимъ третейскимъ судомъ изъ пяти арбитровъ, выбранныхъ сторонами изъ частныхъ лицъ. Въ 1874 году Мексика и Соединенные Штаты были судимы сэромъ Эдуардомъ Торнтономъ, по приговору котораго Мексика и уплатила 38 милліоновъ долларовъ. Тотъ, кто знаетъ, какъ трудно третейскій судъ дается даже въ дѣлахъ частнаго права, гдѣ по этому почти и не практикуется, не смотря на дозволеніе его всѣми законодательствами, тотъ съумѣетъ оцѣнить это усиліе и этотъ успѣхъ дипломатіи. Но надо замѣтить, что во всѣхъ этихъ и подобныхъ имъ случаяхъ всѣ недоразумѣнія были исключительно экономическія, а не политическія. Обстоятельство это, явственнѣе чѣмъ какое-либо изъ всѣхъ предыдущихъ, выдаетъ тенденцію дипломатіи: вырѣть со временемъ въ качество дѣйствительнаго суда, и при томъ именно въ качество *суда экономического* или, что одно и то же, гражданскаго, имущественнаго, но никакъ не уголовнаго, не политическаго.

Между тѣмъ, какъ дипломатическое право развѣ только отдаленнымъ идеаломъ себѣ ставить рано или поздно дѣйствительный судъ международный, и при томъ именно гражданскій, — уголовный судъ этого рода существуетъ уже испоконъ вѣковъ, и при томъ поглощая въ себѣ и самый гражданскій. Экономическіе интересы только на дняхъ начали уходить изъ него; политическіе же едва ли и уйдутъ изъ него когда-нибудь. Какъ въ частномъ правѣ гражданскій судъ когда-то вмѣщалъ въ себѣ и всю уголовную юстицію, такъ въ международномъ, на оборотъ, военный, политическій приговоръ

всегда до сихъ поръ скрывалъ въ себѣ и всѣ мирныя, экономическія рѣшенія. Побѣдитель всегда былъ тотъ верховный судья, къ которому всегда приспособлялась и сама дипломатія. Такимъ образомъ изъ двухъ формальныхъ правъ мирное всегда было подчиненнымъ, а военное — всегда господствующимъ. Дипломатическое право, даже на наибольшей высотѣ своего развитія, всегда разрѣшало лишь сравнительныя мелочи, подробности вопросовъ; самую же суть ихъ всѣхъ, какъ формальныхъ, такъ и матеріальныхъ, всегда предрѣшало, и при томъ безапелляціонно, право тактическое. Такое положеніе этого права во всей системѣ международныхъ правъ обязываетъ насъ и къ соответственному вниманію къ нему.

Всякая организація военныхъ силъ есть или организація родовъ войскъ или организація родовъ оружія. Въ первомъ смыслѣ есть двѣ главныя противоположности: кавалерія и артиллерія. Во второмъ смыслѣ также двѣ: рукопашное оружіе, прототипъ котораго палка, и метательное, прототипъ котораго камень въ рукѣ. Та и другая противоположность вмѣстѣ производятъ новую, третью: бой ближній, непосредственный, и бой дальній, посредственный. Единственный компромиссъ, существующій между всѣми ими, есть, во первыхъ, пѣхота, во вторыхъ, рукопашно-метательное оружіе, въ третьихъ, бой на разстояніи. Спрашивается теперь, есть ли какая-либо преемственность, очередь историческая, между этими учрежденіями тактического права. Весьма правдоподобно, что есть, и что, если обратиться прежде къ исторіи родовъ войскъ, то древнѣйшимъ изъ всѣхъ по развитію должна будетъ быть признана конница. Если свалки дикарей-охотниковъ и звѣролововъ происходятъ еще между толпами пѣшими; то первая искусственность, какая вносится сюда, есть именно посадка воина на коня, усиленіе перваго всею быстротою послѣдняго. Этотъ первичный прогрессъ войны состоитъ обыкновенно уже у номадовъ, изъ которыхъ не прибѣгаютъ къ нему только тѣ, которые не богаты конскими табунами. Всѣ же прочіе кочевники суть обыкновенно конные воины. Скивоу, на примѣръ, Геродотъ представляетъ всегда на конѣ, при чемъ они славятся искуснымъ наѣздничествомъ и стрѣльбою во всѣ стороны, какъ напередъ, такъ и назадъ. Парейнская конница знаменита такими же качествами по всей древней исторіи. Лидійская имѣла въ древности не меньшую репутацію. Въ Африкѣ такое же явленіе представляетъ кавалерія тамошнихъ кочевыхъ народовъ, подѣ

общимъ именемъ нумидійской. Въ древней Европѣ тоже повторяется въ конницахъ галльской, германской, британской, испанской. Кассивелланъ, предводитель британцевъ, при нашествіи Цезаря, выпустилъ свои безполезныя массы пѣхоты, и оставилъ при себѣ только всадниковъ. Въ средніе вѣка гунны, войны Чингисхана и Тамерлана, суть опять конные, а не пѣшіе. Всѣ они сидятъ на коняхъ какъ вкопанные, всѣ ѣдятъ, пьютъ и спятъ не слѣзая, всѣ отлично стрѣляютъ на скаку и во всѣ стороны. Аравитане являются пѣшими и вооруженными палицами только при Магометѣ; но скоро послѣ него ихъ главною боевою силою дѣлается конная. Въ такомъ видѣ конница переходитъ и въ земледѣльческій бытъ, въ осѣдлый, въ государственный. Но здѣсь она получаетъ новое свое развитіе и достигаетъ даже всей роскоши своего бытія въ многообразіи родовъ и видовъ своихъ. Если прежняя конница наследуется здѣсь, какъ простое преданіе; то къ ней скоро добавляются другія, такъ что прежняя получаетъ характеръ и названіе „естественной“. Между тѣмъ, къ этой естественной присовокупляется и даже заслоняетъ ее собою искусственная, „тяжолая“, т. е. гдѣ и конь, и всадникъ закованы всѣ въ желѣзо. Мало того, къ тяжолой конницѣ прибавляется еще тяжелѣйшій видъ— „военныя колесницы“. Наконецъ и это не все: вооружаются „слоны, верблюды, мулы“ и даже „ослы“. Вотъ полное развитіе конницы, произведенное всѣмъ древнимъ, государственнымъ востокомъ. Такъ, въ Китаѣ самый размѣръ владѣній во времена феодализма обозначался числомъ военныхъ колесницъ, какое могло быть выставлено ими. Говорилось: княжество въ 1.000 колесницъ, княжество въ 10.000 колесницъ. Герои санскритской риг-веды сражаются не иначе, какъ на колесницахъ. Во время завоеванія Индіи, Висвамित्रа слагаетъ гимнъ, которымъ умоляетъ рѣки не опрокидывать военныхъ колесницъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ же объясняетъ, что въ колесницы впрягалось по двѣ лошади; а вмѣсто того, чтобы сказать: бой начался, онъ постоянно говоритъ: колесницы устремились. Кпатрія, присягая на судѣ, клялся своими лошадьми, слонами, оружіемъ, какъ вайсія—своимъ золотомъ и хлѣбомъ. Даже тѣ индусы, которые въ составѣ персидскаго войска приходили въ Грецію, сражались или верхомъ или на колесницахъ. Въ Египтѣ употребленіе лошадей и колесницъ явственно съ XVII вѣка до Р. Х. Съ этихъ поръ фараоны представляются постоянно сражающимися на колесницахъ. Рамзеса II поэтъ рисуетъ вѣзавшимся на своей колесницѣ на столько въ ряды непріятеля,

что царь очутился окруженнымъ 2.500 непріятельскихъ колесницъ. Одна изъ достовѣрныхъ армій Сезостриса считается на ряду съ 60.000 пѣхотинцевъ, 24.000 конницы и 27.000 военныхъ колесницъ, и при томъ какъ главную боевую силу. Фараонъ Шешонкъ, въ походѣ противъ Ровоама, ведетъ 1.200 колесницъ и 60.000 всадниковъ. Войско, преслѣдовавшее ухидившихъ евреевъ, состояло исключительно изъ конницы и военныхъ колесницъ. У ассиріянъ, вавилонянъ, мидянъ, лучшимъ и главнымъ родомъ войскъ были конныя. У хананейскихъ народовъ употребленіе колесницъ было такъ велико, что Тутмозисъ III могъ отнять у нихъ 924 колесницы. Лидійская кавалерія, завосвавшая всю Малую Азію, была знаменита во всемъ свѣтѣ, и побѣда надъ нею Кира при Сардахъ разсматривалась какъ величайшая изъ побѣдъ. У самихъ персовъ, въ кавалеріи которыхъ употреблялись не только лошади, колесницы, верблюды, но также ослы и мулы, и все это въ перемежку, этотъ родъ войска хотя и представлялъ весьма странный видъ, считался однакожъ важнѣйшею и благороднѣйшею боевою силою. Киръ даже и началъ съ того, что къ своей естественной, пастушеской конницѣ присовокупилъ искусственную, тяжелую. Въ сраженіи съ Крезомъ при Сардахъ, лидійской конницѣ, составлявшей главную силу Креза, Киръ противопоставилъ свою на верблюдахъ: лошади, испуганныя видомъ и запахомъ этихъ животныхъ, бросились назадъ, — и сраженіе проиграно. На поляхъ Платен Мардоній дѣйствовалъ пуще всего своей кавалеріей, которую нѣсколько разъ пускалъ здѣсь въ страшныя атаки. При Граникѣ персидское войско, на 20.000 пѣхоты, имѣло тѣ же 20.000 конницы. Громадныя силы Артаксеркса противъ Кира младшаго состояли по большей части изъ кавалеріи. Въ ново-персидскомъ царствѣ Сассанидовъ, Артаксерксъ I вывелъ противъ Александра Севера 120.000 конницы, 1.000 военныхъ колесницъ и 700 слоновъ. Цвѣтъ военныхъ силъ Кареагена составляла также его легкая кавалерія, набиравшаяся изъ кочевыхъ племенъ Африки. Атака нумидійскихъ всадниковъ на ихъ неосѣдланныхъ лошадяхъ была, говорятъ, ужасна, тѣмъ болѣе, что если они обращались въ бѣгство, то это было только знакомъ новой, еще ужаснѣйшей атаки. Впрочемъ, это есть общее свойство всѣхъ естественныхъ конницъ: и скинской, и пареянской, и гуннской, и арабской, и казацкой. Другое такое же страшное средство атаки кареагениане слумѣли сдѣлать изъ слововъ: страшное если не по своей стремительности, то по силѣ натиска и сокружительности.

Міръ классическій начинается свою исторію тѣмъ же родомъ войскъ. Герои Гомера бьются исключительно на колесницахъ, и бой этотъ рѣшаетъ всякую битву. Каждый начальникъ въ гомерическомъ вѣкѣ имѣлъ свою боевую колесницу, при чемъ управление ею поручалось другому, обыкновенно молодому воину. Но съ этихъ поръ начинается уже явное отцвѣтаніе кавалеріи. По мѣрѣ движенія греческой исторіи впередъ, да и вообще по мѣрѣ движенія культуры изъ Азіи въ Европу, кавалерія все больше и больше вянеть, и принуждена видѣть, какъ подъ глазами у нея и на ея счетъ разцвѣтаетъ соперница ей. Правда, преданіе долго еще дѣйствуетъ на умы, и тяжелая кавалерія, какъ въ Греціи, такъ и въ Римѣ, продолжаетъ оставаться если не самымъ важнымъ, за то самымъ почетнымъ родомъ оружія, какъ *ἵπλος* у грековъ, *ἀγυρᾶ* у македонянъ и *equites*, *celeres* у римлянъ. Здѣсь служили только благороднѣйшіе и богатѣйшіе классы населеній. Но все это не спасаетъ ее. Не спасъ ее и другой *tour de force*, направленный къ самосохраненію ея. Къ мѣстной, къ тяжелой кавалеріи, катафрактамъ, присовокупляется теперь „легкая“, иностранная, акроболиты, и всегда изъ среды наименѣе культурныхъ народовъ: у грековъ изъ ессалийцевъ и этолійцевъ, у македонянъ изъ еракійцевъ, у римлянъ изъ всѣхъ варварскихъ народовъ. У Цезаря бываютъ всевозможныя конницы: и галльская, и германская, и испанская, и британская, и нумидійская, и лидійская, и при томъ по большей части подъ начальствомъ вождей изъ нихъ же. Вообще, варварскую, естественную конницу какъ греки, такъ и римляне стали предпочитать своимъ собственнымъ. Но такимъ образомъ древнее государство само только признало незамѣнимость варваровъ для этого рода войска. Наконецъ, что касается отношеній его къ пѣхотѣ, то въ классическомъ мірѣ они сильно измѣняются какъ количественно, такъ и качественно въ пользу пѣхоты. Александръ Македонскій, рядомъ съ 30.000 пѣхоты, ведетъ на Персію всего только 5.000 конницы. Октавіанъ при Акціумѣ на 80.000 пѣхоты имѣетъ не болѣе 12.000 конницы. Равнымъ образомъ и боевое первенство у грековъ и римлянъ отъ конницы положительно переходитъ къ пѣхотѣ. Впрочемъ, пока длится древность, кавалерія все-таки остается весьма активнымъ факторомъ битвъ, и атаки ея все-таки не рѣдко рѣшаютъ исходъ этихъ послѣднихъ. Совсѣмъ не то видится въ современномъ намъ тактическомъ правѣ. Отцвѣтаніе кавалеріи, начавшееся въ классицизмѣ, въ настоящее время близко

къ тому, чтобы перейти даже въ отживаніе. Кавалерія, не только количественно, но и качественно, окончательно ступевалась передъ пѣхотой. Атаки ея не только перестали рѣшать участь битвъ, но перестали даже употребляться въ нихъ, особенно же въ большихъ массахъ; и вся роль конницы ограничивается все больше и больше участіемъ ея въ войнѣ до и послѣ сраженій, но не въ сраженіяхъ. Пассивное положеніе это подало поводъ нѣкоторымъ военнымъ писателямъ дойти даже до полного отрицанія кавалеріи, что, впрочемъ, слишкомъ преждевременно. Не надо также забывать, что она и до сихъ поръ считается самою почетною изъ всѣхъ военныхъ службъ. Мы нарочно остановились такъ долго надъ этимъ родомъ войска, чтобы тверже установить точку отправленія, потому что когда первый шагъ извѣстенъ, всѣ другіе даются сами собою. И дѣйствительно, теперь уже изъ предыдущаго можно догадываться, что на смѣну конницы выйдетъ никакъ не артиллерія, а развѣ только *мхота*, какъ издавна приживавшаяся къ конницѣ. Въ самомъ дѣлѣ, пѣхота тѣмъ больше выступаетъ на сцену, чѣмъ ближе мы отъ Азіи къ Европѣ. Какъ вообще право начинаетъ изламываться со временъ Греціи и въ особенности съ Рима; такъ точно и тактическое право здѣсь же только начинаетъ реформироваться изъ кавалерійскаго въ пѣхотное. Одно начинаетъ отживать, другое—выживать. Если „естественная“ восточная пѣхота есть только служебная военная сила; то западная, греко-римская, становится искусственною, вполнѣ самостоятельною и равноправною съ конницею, а числомъ даже далеко превосходитъ ее. Всѣ завоеванія Александра Македонскаго и Цезаря обязаны греческой фалангѣ и римскому легіону гораздо больше, чѣмъ всѣмъ ихъ конницамъ. Но процессъ государственнаго развитія пѣхоты есть тотъ же, что и процессъ развитія конницы въ государствѣ, т. е. онъ также начинается съ тяжелыхъ формъ и также оканчивается легкими. Фаланга и легіонъ, царившіе въ классическомъ мірѣ, были пѣхотою именно „тяжелою“. Имѣлась при ней, какъ у грековъ, такъ и у римлянъ, и пѣхота легкая: псилы, велиты. Но она не имѣла, въ сравненіи съ тою, никакого боеваго значенія, равно какъ и соціальнаго. Въ войскахъ этого рода служили граждане только бѣднѣйшіе; числомъ эта пѣхота была крайне малочисленна, а стрѣлковъ въ ней хорошихъ было еще меньше; опредѣленнаго мѣста въ бою она не имѣла, какъ будто не знали, куда дѣвать ее; въ дѣлѣ она участвовала только въ качествѣ зачинщицы, но никогда рѣшительницы боя, и едва онъ раз-

горался, она исчезала съ своего мѣста и пряталась за тяжелую. Гораздо чаще рѣшали бой конныя атаки, но никогда атаки легкой пѣхоты. Да она и не производила, не могла даже производить атакъ. Не болѣе дѣйствительное зерно будущаго можно отыскивать и въ средней пѣхотѣ грековъ и римлянъ, въ пелтастахъ и цетратахъ. Хотя Ификратъ, основатель ея въ Греціи, и поразилъ весь греческій міръ побѣдой своихъ пелтастовъ надъ спартанскими гоплитами; но, во первыхъ, учрежденіе это было слишкомъ позднее въ древности, для того, чтобы въ ней же успѣть и развиться; а, во вторыхъ, пѣхота эта уже и потому плохое зерно ново-европейской пѣхоты, что носить, хотя бы то и облегченный, щитъ, пелту, чѣмъ она столько же приближается къ тяжелой пѣхотѣ, сколько наступательнымъ оружіемъ къ легкой. Единственная пора выживанія этой послѣдней найдется только въ исторіи новой Европы. Новоевропейская пѣхота не сразу, однакожь, осуществила этотъ моментъ историческаго развитія. Напротивъ, въ своей частной исторіи, новая Европа должна была пройти всѣ тѣ же перипетіи, какія прошолъ весь востокъ и весь западъ древности. Сперва новоевропейская пѣхота существовала не болѣе, какъ въ качествѣ естественной и служебной при той конницѣ германскихъ народовъ, какая вела родъ свой еще изъ древности. Потому, когда эта естественная конница повсюду въ средніе вѣка преобразилась въ тяжелую, въ рыцарскую, пѣхота при ней, хотя и продолжала влечить свое существованіе, и даже въ значительномъ количествѣ; но оставалась въ томъ же подчиненномъ положеніи, какъ и на древнемъ востокѣ, и безъ всякаго боеваго значенія. Набиралась она исключительно изъ виллановъ и была въ такомъ пренебреженіи, что никто не имѣлъ охоты даже командовать ею, и что, при исчисленіи военныхъ силъ, она не принималась даже въ расчетъ. Счетъ армій производился по знаменамъ, *bannières*, изъ 30 всадниковъ, и по копьямъ, *lance fournie*, изъ 5 всадниковъ, но не по массамъ пѣхотинцевъ, слѣдовавшихъ за ними. И только съ тѣхъ поръ, какъ англійская пѣхота, набираемая изъ среднихъ классовъ, въ XIV и XV столѣтіяхъ нѣсколько разъ разбила французскую рыцарскую конницу, и какъ вообще милиція, т. е. пѣхота городскихъ общинъ, въ особенности же швейцарская, дала въ тѣ же вѣка такіе же уроки австрійцамъ и бургундцамъ,—только съ этихъ поръ начинается поворотъ въ общественномъ мнѣніи противъ конницы и въ пользу пѣхоты. Однимъ изъ первыхъ провозвѣстниковъ этого поворота былъ прозорливый

Макиавелли, который, въ своемъ сочиненіи о военномъ искусствѣ, изданномъ въ 1521 году, уже не раздѣляетъ общаго предразсудка о преимуществахъ кавалеріи, и основною силою войскъ считаетъ, на-противъ, инфантерію. Тѣмъ не менѣе популяризоваться этому взгляду пришлось все таки довольно долго; и первыя постоянныя войска, заведенныя по примѣру Англіи и Швейцаріи, были все-таки конныя. Такова была армія Карла VII въ 1444 году. Это были жандармы, вооруженныя по рыцарски; и только впереди ихъ разбрасывались, по примѣру англичанъ, стрѣлки, но все еще также конныя. Даже, когда постоянныя арміи начали становиться пѣхотными, какъ у Карла Смѣлаго, герцога бургундскаго, армія котораго считалась первою въ Европѣ, пѣхота появляется все еще только въ видѣ тяжелой, а не легкой, въ видѣ древней, а не новой. Она все еще вся въ желѣзѣ: въ кирасахъ, набедренникахъ, желѣзныхъ перчаткахъ и каскахъ. Но вотъ наконецъ Густавъ-Адольфъ снимаетъ эти доспѣхи не только съ нея, но даже съ кавалеріи, облегчаетъ и ту, и другую, и такимъ образомъ полагаетъ окончательное основаніе той „легкой“ пѣхотѣ, какая дѣлается съ этихъ поръ властительницей судьбы въ новой Европѣ. Съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени вся исторія войны есть исторія легкой пѣхоты, которая окончательно смѣняетъ собою не только ту или другую кавалерію, но также и всякую иную пѣхоту. Легкая пѣхота, которая такъ тщетно искала пріютиться въ древности, нашла себѣ этотъ пріютъ только теперь, и сдѣлалась характеристическимъ войскомъ эпохи, наложивъ свой характеръ и на самую кавалерію, какъ прежде кавалерія налагала свой на пѣхоту. Нынѣ это единственная военная сила, которая активна, и которая господствуетъ надъ другими; всѣ же остальные болѣе или менѣе пассивны и только прилаживаются къ ней и ей служатъ. Такою мы видѣли кавалерію, по отношенію къ пѣхотѣ; такую же сейчасъ увидимъ и артиллерію. *Артиллерія* не только развивается, но даже и появляется позже всѣхъ другихъ родовъ оружія, т. е. не только конницы, но и пѣхоты. Осада городовъ на востокѣ составляла самое трудное изъ всѣхъ военныхъ предпріятій, именно по недостатку средствъ „естественной“ полиорцетики. Цѣль достигалась тутъ единственно путемъ замариванія жителей голодомъ и отводомъ отъ нихъ воды. Во времена Гомера также нѣтъ и помину ни о какихъ военныхъ машинахъ. Самыя первыя усовершенствованія самыхъ простыхъ

стѣнобитныхъ орудій принадлежать уже концу греческой исторіи, начиная съ Перикла; а значительное распространеніе и употребленіе ихъ—только концу римской. Но разъ что этотъ новый родъ войска появляется въ государствѣ, онъ, также какъ и прочіе два, является прежде всего въ своихъ „тяжолыхъ“ формахъ, а не легкихъ. Въ полѣ употреблялись древнія артиллерійскія орудія только Александромъ Македонскимъ да во времена римской имперіи, но и то весьма рѣдко. Исключительное же мѣсто ихъ было лишь при осадѣ городовъ. Такимъ образомъ, это артиллерія, во первыхъ, крѣпостная, а не полевая. Во вторыхъ же, это артиллерія такого тяжелаго калибра, что она была почти невозможна для употребленія. Такъ, напримѣръ, одинъ таранъ Веспасіана въ іудейской войнѣ требовалъ для перевозки его 150 паръ воловъ или 300 паръ лошадей, а для дѣйствія имъ онъ пуждался въ 1500 человекъхъ. Вслѣдствіе такой громадности своей, древняя артиллерія не могла быть даже возима за войсками: за ними слѣдовали только нѣкоторыя принадлежности ея, какъ тетивы, желѣзныя части; все же остальное, какъ станки, бревна и вообще деревянные части, устраивалось уже на мѣстѣ, по мѣрѣ надобности. Что же касается личнаго состава артиллеріи, то онъ не относился даже къ войскамъ: это были наемные люди, ремесленники, но не воины. Къ артиллеріи же должна быть причисляема и всякая морская служба, въ которой у древнихъ также служили только иностранцы, отпущенники, рабы, но не граждане. Въ такомъ видѣ артиллерія и морское дѣло дожили и до временъ тимократической Европы, и даже до изобрѣтенія въ ней артиллеріи огнестрѣльной. Бомбардирами, пушкарями были простые вилланы, рабочіе. Калибръ этой артиллеріи былъ первоначально такой тяжолый, что орудіе вѣсило до 14.000 фунтовъ, а снарядъ его до 2.000 фунтовъ. Густавъ Адольфъ, основатель новой пѣхоты, есть и такой же истинный основатель новой или „легкой“, полевой артиллеріи, которая одна только могла принять участіе въ полевой войнѣ. Облегчивъ свою пѣхоту и кавалерію, Густавъ облегчилъ и артиллерію до того, что легкость и быстрота движеній ея произвела тогда въ Германіи всеобщее изумленіе. Людовикъ XIV сталъ набирать бомбардировъ изъ солдатъ и, вообще, сдѣлалъ эту службу военною. Фридрихъ Великій раздѣлилъ ее на осадную и полевую, а эту послѣднюю подраздѣлилъ на конную и пѣшую. Въ войнахъ Наполеона I этотъ родъ войска возвысился на

столько, что нѣкоторые побѣды французскія приписывались уже по преимуществу ему. Въ войнѣ 1870 года самъ Наполеонъ III приписалъ побѣду надъ собою пруссаковъ по преимуществу ихъ артиллеріи. Но тѣмъ не менѣе и до сихъ поръ артиллерія держится у пруссаковъ въ черномъ тѣлѣ. Дворяне тамъ не желаютъ служить въ ней, и служатъ здѣсь преимущественно образованные бюргеры. Производства, общаго съ другими войсками, въ германской артиллеріи нѣтъ, такъ что артиллеристъ всегда остается артиллеристомъ, и на иную карьеру рассчитывать не можетъ. Словомъ, это все еще войско будущаго, а не настоящаго. Изъ этого обзора родовъ войскъ слѣдуетъ, между прочимъ, и то, что чѣмъ древнѣе родъ войскъ, тѣмъ онъ и почотнѣе, а чѣмъ новѣе, тѣмъ менѣе въ чести. Проходитъ значеніе военное, а социальное все еще держится, вслѣдствіе привычнаго предрасудка. И наоборотъ, приходитъ значеніе военное, а социальное все еще не завоевывается. Родовитость, древность происхожденія цѣнится и здѣсь: кавалерія древнѣе всѣхъ родовъ войскъ, а потому и почотнѣе до сихъ поръ; артиллерія новѣе всѣхъ, а потому и меньше всѣхъ въ почотѣ.—Параллельно съ такою исторіею войскъ, идетъ исторія и собственно такъ называемаго оружія, которая, однакожъ, не такъ тождественна съ тою, какъ можно было бы этого ожидать. Обѣ противоположности оружія существовали отъ вѣка, и отъ вѣка конкурировали между собою; но развитіемъ своимъ, своимъ военнымъ и социальнымъ значеніемъ, древнѣе всѣхъ *рукопашное*. Что касается естественныхъ, патриархальныхъ, номадныхъ конницъ, то однѣ изъ нихъ вооружаются въ особенности метательнымъ оружіемъ, какъ пареянская, другія—холоднымъ, какъ свиеская. Но какъ только конница переходитъ въ государство, какъ только становится она тяжолою,—вооруженіе ея совершенно измѣняется. Во первыхъ, является вооруженіе оборонительное: вмѣсто какой-нибудь лвиной шкуры на плечахъ всадника, этой единственной защиты отъ ударовъ, на немъ являются: шлемъ, латы, поножи, поручи, щитъ. Мало того, не только всадникъ, но закованъ въ желѣзо и самый конь его, имѣя на себѣ желѣзный чепракъ или попону; а иногда, въ добавокъ къ тому, есть у него еще и оружіе нападательное, желѣзный клыкъ на лбу, какъ у персовъ. Во вторыхъ, наступательнымъ оружіемъ становится безусловно холодное: мечъ, копье, и иногда дротикъ. Что же касается лука и пращи, то тяжолый кавалеристъ смотритъ на нихъ съ презрѣніемъ; и пре-

доставляет употреблять ихъ только легкой конницѣ. Подобнымъ же образомъ вооружаются и самыя колесницы: къ дышлу ихъ при-
дѣлывается копье, а къ осямъ — косы. И такъ довольно было бы
уже этого, чтобъ за холоднымъ оружіемъ, при режимѣ тяжелой
конницы, признать положительное господство надъ метательнымъ,
которымъ вооружалась легкая конница, также какъ и всякая
естественная пѣхота, ополченіе. Но дѣло въ томъ, что и это по-
слѣднее вооруженіе не всегда безусловно. Въ крайнихъ, напротивъ,
случаяхъ у грековъ снабжаются мечомъ и копьемъ и сами акроба-
листы, такъ что бѣлое оружіе, очевидно, преобладаетъ надъ мета-
тельнымъ, не только потому, что преобладаетъ тяжелая конница, но
даже и въ другихъ родахъ войскъ, въ случаѣ надобности. Съ пе-
ремѣною кавалерійскаго режима на пѣхотный, разница происходитъ
вовсе не такая радикальная, какъ съ виду кажется. Вооруженіе
тяжелой греко-римской пѣхоты остается совершенно то же, какъ и
вооруженіе всадника. Тотъ же мечъ, копье, дротиезъ и вообще на-
ступательное оружіе; тотъ же шлемъ, панцирь, набедренники, на-
ручники, щитъ, и вообще вооруженіе оборонительное. Словомъ, это
все тотъ же родъ войска, но только ссаженный съ коня, все та же
тяжелая кавалерія, но только сгѣшенная. Перемѣнился родъ войска,
но вовсе не перемѣнился родъ оружія. Мало того, не произошло
между родами его даже никакого новаго отношенія: рукопашное
оружіе царитъ надъ метательнымъ столь же безусловно, какъ и
прежде. Существованіе, при тяжелой пѣхотѣ, легкой также не измѣ-
няетъ этого отношенія, какъ не измѣняло и существованіе легкихъ
конницъ при тяжелыхъ. Во первыхъ, легкія пѣхоты были крайне
малочисленны; а во вторыхъ хорошихъ стрѣлковъ въ нихъ было
еще меньше. А потому хотя бы онѣ и никогда не перевооружались
по тяжелому, но относительное значеніе оружія явно само собою.
При господствѣ тяжелыхъ пѣхоты и конницы, при существованіи
среднихъ пѣхотъ и конницъ, приближающихся къ первымъ, ника-
кая легкая пѣхота и конница не могла перетянуть вѣсовъ въ пользу
своего оружія. Правда, что римляне не разъ уже на себѣ самихъ
испытывали, какія преимущества можетъ имѣть метательное оружіе,
если имъ умѣютъ пользоваться. Еще Наполеонъ I замѣчалъ, что
паряне всегда побѣждали римлянъ, и побѣждали своимъ лукомъ и
стрѣлой ихъ мечи и копья; побѣждали они тѣмъ, что не допускали
пользоваться послѣдними. Налетѣвъ на римлянъ и пустивъ въ нихъ

нѣсколько тучь стрѣлъ, они, при первомъ же движеніи римлянъ съ мечами впередъ, ускикивали назадъ, чтобы вновь возвратиться и вновь засыпать стрѣлами. Но въ томъ-то и дѣло, что умѣнья этого нигдѣ больше не было, и что обстоятельства не благопріятствовали ему сдѣлаться повсемѣстнымъ и популярнымъ. Обстоятельства эти нашлись только съ изобрѣтеніемъ пороха и съ усовершенствованіями огнестрѣльнаго оружія; а потому только съ этихъ же поръ и могла начаться дѣйствительная, сколько-нибудь серьезная и небезнадежная, тяжба метательнаго оружія съ рукопашнымъ. Но и въ новой исторіи тяжба эта задалась сначала вовсе не воцареніемъ новаго рода оружія, а развѣ только какимъ-нибудь уравниженіемъ его съ старымъ. Да и къ этому результату исторія шла довольно туго. Хотя тѣ англичане, которые въ столѣтней борьбѣ съ Франціей нѣсколько разъ побѣдили французскую кавалерію, были арбалетчики, т. е. стрѣлки изъ новаго лука; но тѣ швейцарцы, которые били австрійскихъ рыцарей, были мечники и копейщики. А потому хотя новая пѣхота и восторжествовала надъ кавалеріей, но метательное оружіе было еще далеко не только отъ торжества, но и отъ спора съ рукопашнымъ; совершенно также, какъ и въ древности. Изобрѣтеніе пороха и огнестрѣльнаго оружія также далеко не сразу преобразило войну. Сначала оно производило эффектъ только громомъ и дымомъ своимъ, а вовсе не дѣйствительностью огня. Но дѣло въ томъ, что изобрѣтеніе это гораздо больше поддавалось совершенствованіямъ, чѣмъ холодное оружіе, почти недопускающее никакого прогресса; и на этомъ-то и основались всѣ шансы новаго пѣхотнаго оружія. Прежде всего изобрѣтена была, повидимому, аркебуза, т. е. длинный желѣзный стволъ, который надо было класть на подсошку или вилку, чтобы выстрѣлить, а приводить въ дѣйствіе надо было фитилемъ. Такимъ образомъ появились аркебузьеры. Но рядомъ съ ними оставались и пикенеры, и притомъ въ большомъ числѣ. Такова-то и была армія Карла Смѣлаго. Когда изобрѣтенъ мушкетъ, т. е. аркебуза, зажигающаяся искрою, вмѣсто фитиля, при чемъ замокъ надо было заводить, явились мушкетеры, но все-таки рядомъ съ пикенерами. Еще дальше замокъ передѣлывается въ кремневой, въ огниво, *fusile*, что даетъ мѣсто фузилерамъ. Ружье на столько облегчается, что не требуетъ болѣе подставки. Изобрѣтаются ручныя гранаты, и заводятся для бросанія ихъ гре-

надеры. Изобрѣтается карабинъ, или нарѣзное ружье, дающее начало карабинернымъ ротамъ. Но и все это нисколько не даетъ еще ни перевѣса, ни даже равновѣсія новому оружію съ старымъ. У Густава Адольфа отношеніе обоихъ оружій, повидимому, совершенно реформируется: пикенеры относятся у него къ мушкетерамъ сперва какъ $1/2 : 1/2$, потомъ какъ $1/2 : 2/3$, и наконецъ какъ $0 : 1$, т. е. заводятся сплошные мушкетерскіе полки. Но вслѣдъ за тѣмъ изобрѣтается штыкъ и вновь занимаетъ мѣсто только что вытѣсненной пикой. Пикенеры упразднились; но за то каждый пѣхотинецъ сдѣлавъ въ одно и то же время и фузилеромъ, и пикенеромъ. Здѣсь, въ ружьѣ-штыкѣ, въ штыковомъ ружьѣ, эпоха, повидимому, нашла разрѣшеніе своей задачи, нашла свой идеаль примиренія между двумя оружіями; потому что въ этомъ двойственномъ приборѣ оба тысячелѣтніе соперника нашли не только равновѣсіе, но даже, такъ сказать, отождествленіе свое, свое единство. И дѣйствительно, всѣ войны двухъ послѣднихъ столѣтій рѣшались именно этимъ двойственнымъ оружіемъ; обоюдная природа его совершила всю ту военную эпопею этихъ столѣтій, которая именуется революціонными и наполеоновскими войнами; словомъ, оно сдѣлалось эмблемою эпохи. Ружье сдѣлалось такимъ же рѣшителемъ битвъ, какъ и штыкъ, а штыкъ такимъ же, какъ и ружье. И кому изъ нихъ больше обязаны всѣ побѣды этихъ вѣковъ, едва ли кто-нибудь возьметъ разрѣшить на себя. Не мудрено по этому, что такое фактическое перемѣщеніе прежнихъ отношеній, прежней пропорціи оружій, отразилось въ концѣ XVIII вѣка и въ теоріяхъ, гдѣ оно произвело двѣ партіи: одну за отживающее начало, за холодное оружіе, а другую — за выживающее, за огнестрѣльное. Одно уже существованіе такихъ школъ достаточно означало явное колебаніе въ прежнемъ отношеніи обоихъ родовъ оружія, и, по крайней мѣрѣ, наступившее между ними равновѣсіе. А потому мы и считаемъ возможнымъ назвать нашу эпоху эпохою *рукопашно-метательнаго* оружія. Это тѣмъ болѣе справедливо, что въ двухъ другихъ родахъ войска, кромѣ пѣхоты, роды оружія находятся въ совершенно такомъ же равновѣсіи: если конница остается при своемъ преимущественно бѣломъ оружіи, за то новый родъ войска, не участвовавшій въ сраженіяхъ древняго времени, артиллерія, дѣйствуетъ исключительно метательнымъ, и тѣмъ снова восстанавливаетъ равенство. Но какъ всякое равновѣсіе есть болѣе или менѣе скоропреходящій моментъ, то и равновѣсіе оружій едва-ли

не проходить на нашихъ глазахъ, при чемъ перевѣсъ начинается склоняться все болѣе и болѣе въ пользу ружья, а не птыка. Въ особенности же это надо сказать послѣ самыхъ послѣднихъ усовершенствованій ружья. Извѣстное еще въ 1820 году въ охотѣ пистонное ружье, въ 1840 году усвоено было западными государствами и въ арміяхъ. Къ 1853 году, т. е. къ крымской кампаніи, приняты въ тѣхъ же государствахъ винтовые наръзы въ стволѣ карабина, производіе винтовку или штуцеръ. Въ то же время и сферическая пуля замѣнена коническою, которая лучше сверлитъ воздухъ и тѣмъ способствуетъ дальности и силѣ полета. Ружейный огонь съ этихъ поръ становится дѣйствителенъ на такихъ разстояніяхъ, на какихъ переставалъ дѣйствовать даже картечный. Въ 1866 году дало знать о себѣ игольчатое ружье, т. е. наръзное, заряжающееся съ казенной части и производящее выстрѣлъ посредствомъ укола въ патронъ, чѣмъ приобрѣтена небывалая до тѣхъ поръ скорострѣльность оружія. Но и всѣ эти качества скорострѣльности, дальности и силы превзойдены въ 1870 году ружьемъ Шаспо, и сѣверо-американскими магазинными ружьями, а въ 1877 году системами Мартини и Пибоди. Вслѣдствіе всего этого, пуля приобрѣла такое значеніе, что она въ состояніи, какъ нѣкогда лукъ у пареня, не допускать до птыка, и тѣмъ вытѣснять его изъ практики. Въ войнѣ 1870 года, на мѣстахъ открытых, птыкъ не былъ употребленъ ни одного разу; и если находилъ себѣ мѣсто, то лишь при атакѣ мѣстныхъ предметовъ. Конечно, долго еще и самый ружейный огонь будетъ продолжать быть дѣйствительнымъ единственно лишь подъ окончательной угрозой птыка; но тѣмъ не менѣе дорога исторіи, направленіе дальнѣйшей борьбы въ ней двухъ оружій, отнынѣ достаточно уже обозначились. Эта дорога, это направленіе—въ пользу перевѣса метательнаго оружія надъ рукопашнымъ. Это и считаемъ мы вѣроятнымъ содержаніемъ остающейся исторіи тимократій. Полное же и безусловное господство *метательнаго* оружія, такое, какимъ было въ древности господство холоднаго, можетъ наступить только съ такимъ же господствомъ того рода войскъ, въ какомъ это оружіе исключительно, т. е. съ абсолютнымъ развитіемъ артиллеріи. Какъ исключительнымъ царствомъ меча былъ вѣкъ кавалеріи, такъ царствомъ метющаго оружія можетъ быть только эпоха артиллеріи. Въ древности она представляется въ слѣдующихъ своихъ зародышахъ: элепола, катапульты, баллиста, толленонъ, таранъ, онагръ, скорпіонъ. Возбуждавшія удив-

леніе древности элеполы изобрѣтены только при Димитріи Полиоркетѣ, откуда и самое прозваніе осаждателя городовъ. Его же времени принадлежить и галера въ 15 и 16 рядовъ весель. Лизимахъ, шедшій на него войною, возвратился назадъ, когда увидѣлъ эти элеполы и галеры. Катапульта была огромный лукъ съ толстой струною въ качествѣ тетивы, натягиваемой посредствомъ рукоятки; стрѣла этого лука вѣсила пять фунтовъ и снабжалась зажигательнымъ аппаратомъ. Катапульты метались большія копыя и пуки стрѣлъ. Баллиста былъ огромный пращъ, метавшій камни. Катапульта стрѣляла горизонтально, настильно, а баллиста навѣсно. Тѣ и другія дѣйствовали на разстояніи 300—800 шаговъ. Толленонъ былъ рычагъ съ крюкомъ на концѣ, захватывавшій людей и предметы. У римлянъ, сверхъ всего этого, употреблялся еще таранъ или баранъ, т. е. толстое и длинное бревно, окованное съ одного конца желѣзомъ, въ видѣ бараньей головы, и повѣшенное горизонтально на двухъ канатахъ противъ стѣны. Его раскачивали, и такимъ образомъ ударяли въ осаждаемую стѣну до тѣхъ поръ, пока не пробьютъ брешь. Онагры и скорпионы были, по всей вѣроятности, ручныя артиллерійскія орудія. Морской войны ни греки, ни римляне не любили, и военная служба на флотѣ была у нихъ не въ чести. А потому единственное механическое приспособленіе, какое тутъ встрѣчается есть желѣзный коботъ на носу корабля, въ видѣ птичьяго клюва, для того, чтобы разбѣжавшись ударить имъ въ бокъ корабля и пробить его. Были, правда, еще крючья для того, чтобъ притянуть корабль и потомъ сцѣпиться на абордажъ. Въ новыхъ обществахъ артиллерія появляется также позже двухъ другихъ родовъ оружія. Карлъ VIII былъ первый, кто потащилъ за собой въ неаполитанскій походъ 140 пушекъ, съ наемными при нихъ пушкарями, т. е. частными промышленниками, мастерами этого дѣла. Но какъ было слабо дѣйствіе этого новаго оружія, видно изъ того, что такой проницательный человекъ, какъ Макиавелли не предвидѣлъ у него никакой будущности и совѣтовалъ ограничиваться въ сраженіяхъ только однимъ артиллерійскимъ залпомъ. Монтанъ же шолъ еще дальше и полагалъ, что артиллерія скоро и вовсе выйдетъ изъ употребленія. Тѣмъ не менѣе самымъ первымъ примѣненіемъ пороха было примѣненіе его не къ ручному огнестрѣльному оружію, не къ пѣхотному, а именно къ артиллерійскому. Бомбарда и бомбардиръ появляются еще во второй половинѣ XIV столѣтія, т. е. раньше всѣхъ

аркебузъ и мушкетовъ. Она стрѣляетъ еще каменными ядрами, она вѣситъ еще отъ 2.000 до 14.000 фунтовъ, самые снаряды ея вѣсятъ отъ 437 фунтовъ до 2.000; но тѣмъ не менѣе основаніе положено. Въ первой половинѣ слѣдующаго XV столѣтія каменное ядро замѣняется уже чугуннымъ; и, сверхъ того, изобрѣтается кулеврина, съ ручнымъ станкомъ, или ручная бомбарда вѣсомъ отъ 50 и до 12 фунтовъ. Но отъ этой машины повело родъ свой не дальнѣйшее артиллерійское орудіе, а напротивъ, только пѣхотное, путемъ еще большаго облегченія ея въ мушкетъ, въ аркебузъ, въ ружьѣ и т. д. Собственно же артиллерійское развитіе продолжалось, напротивъ, лишь такъ названною пушкою, т. е. серединою между бомбардой и кулевриной, изобрѣтенною въ концѣ XV столѣтія. Бомбардира замѣнилъ пушкаръ, услугою котораго впервые и воспользовался Карлъ VIII. Но съ тѣхъ поръ, и до самаго настоящаго столѣтія, всякая изобрѣтательность въ производствѣ орудій прекратилась. Перемѣнялись размѣры, а вмѣстѣ съ тѣмъ и назначеніе различныхъ орудій; но типъ ихъ стоялъ на одномъ и томъ же уровнѣ. И такой застой здѣсь продолжался до самаго девятнадцатаго столѣтія. По изобрѣтеніи нарѣзнаго и скорострѣльнаго ручнаго оружія, возникло было даже опасеніе, что артиллерія можетъ сдѣлаться излишнею. Сомнѣніе Макиавелли и Монтаня ожило. Въ самомъ дѣлѣ, картечный огонь былъ до сихъ поръ дѣйствителенъ тамъ, гдѣ не доставалъ ружейный; теперь же стало оказываться, что ружейный дѣйствителенъ и тамъ, гдѣ слабъ картечный. Необходимо было орудію или догнать ружье или же потерять все свое значеніе. И вотъ оно стало догонять его, но ничѣмъ больше, какъ простымъ подражаніемъ ему. Прежде всего появилась нарѣзная пушка. Франція заряжала ее съ дула, Пруссія начала заряжать съ казны. Появилось и коническое ядро, вмѣсто сферическаго. Такимъ образомъ дальность и вѣрность полета снарядовъ была достигнута. Но за то картечное дѣйствіе не только не усиливалось, а даже ослабѣвало. Тогда придуманъ новый снарядъ, шрапнель,—и достоинство артиллерійскаго огня стало восстанавливаться. Не доставало развѣ лишь скорострѣльности; но изобрѣтеніе Наполеона III, митральеза, быть можетъ, помогаетъ и этому горю. Во всякомъ случаѣ артиллерія, хотя едва послѣвая слѣдовать за пѣхотой, но все-таки догоняетъ ее, обнаруживая тѣмъ, вопреки конницѣ, жизненность свою. — Соотвѣтственно этимъ двумъ исторіямъ войска и оружія, совершалась и исторія самаго боя. Вся

древность. была эпохою *ближняго боя*, непосредственнаго. Наше время есть время боя *на разстояніи*, но тѣмъ не менѣе иногда сближающагося или хотъ грозящаго сближеніемъ. Будущему остается осуществить бой исключительно *дальній*, всегда посредственный.— Если всѣ эти выводы сведемъ теперь въ одинъ общій для настоящаго времени, то окажется, что текущее въ настоящую минуту отношеніе всѣхъ трехъ родовъ войскъ, трехъ родовъ оружія и трехъ родовъ боя таково, что конница, холодное оружіе и ближній бой отживаютъ; пѣхота, рукопашно-метательное оружіе и бой на разстояніи выживаютъ во весь ростъ свой; а артиллерія, бомба и дальній бой приживаются. Конница, которая всегда была и всегда должна быть родомъ оружія сильнымъ лишь при нулѣ разстоянія и ничтожнымъ на разстояніи, рѣдко въ наше время до этого нуля допускается, и потому чаще обречена на ничтожество, чѣмъ на силу въ бою. Наоборотъ, артиллерія, всегда могущественная на разстояніи, слишкомъ пока ничтожна при нулѣ его. А потому и господство военное по необходимости остается за пѣхотой, которая равно внушительна какъ вблизи, такъ и издали. Кавалерія на мѣстѣ всегда ничтожна, и могущественна только при движеніи, при чемъ чѣмъ оно стремительнѣе, тѣмъ лучше; но до этого движенія рѣдко она нынче доходитъ. Артиллерія совершенно ничтожна въ движеніи, и дѣйствительна только на мѣстѣ; но за то на этомъ мѣстѣ своемъ она пока совершенно беззащитна противъ всякаго иного оружія. Пѣхота же хороша и въ движеніи, и на мѣстѣ. Кавалерія нуждается въ самой активной храбрости, артиллерія—только въ пассивной; пѣхота же и въ той, и въ другой. Но если отъ настоящаго тѣ же самыя посылки перенесемъ на будущее, то виды артиллеріи окажутся въ немъ богаче всѣхъ другихъ. Уже и въ самой пѣхотѣ, какъ мы видѣли, перевѣсъ начинаетъ склоняться въ пользу метательнаго ея вооруженія, а не холоднаго. И если этому вооруженію когда-нибудь суждено окончательно отвоевать пальму первенства у своего тысячелѣтнаго соперника; то этимъ роль артиллеріи, какъ исключительно и въ высшей степени метательнаго оружія, предрѣшена напередъ. Если бой, который постоянно до сихъ поръ стремился обращаться изъ ближняго въ дальній, когда-нибудь въ состояніи вполнѣ достигнуть этого историческаго своего идеала; то осуществить его опять некому, кромѣ артиллеріи. Артиллерія одна только имѣетъ своимъ идеаломъ довести

какъ метательность, такъ и дальнѣйшій до нихъ механическаго и пространственнаго максимумъ; порокою въ томъ есть наша армстронгова пушка, уже и нынѣ метаящая свои снаряды на семь верстъ. А потому и не мудрено, если въ будущность этого рода оружій всѣ теперь вѣрять. Тогда какъ на счетъ будущности конницы многіе сомнѣваются, здѣсь не сомнѣвается никто; и напротивъ, военные авторитеты скорѣе ожидаютъ отъ артиллеріи больше, чѣмъ меньше. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, будущность эта едва ли такъ близка, какъ можетъ это показаться. Артиллеріи придется еще очень и очень долго спорить съ пѣхотой, пока она окажется въ состояніи переспорить ее и сдѣлаться такимъ же центромъ другихъ двухъ оружій, какъ нынѣ пѣхота и нѣкогда конница. Одна уже необходимость знаній и обширнаго распространенія ихъ въ массѣ, не только для изобрѣтеній этого рода машинъ, но даже и для простого употребленія ихъ, отдаляетъ эту возможность на весьма неопредѣленное время, и, быть можетъ, на все время существованія тимократическихъ обществъ. Напротивъ того, демократіи почти съ необходимостью предполагаютъ какъ эти знанія и эти изобрѣтенія, такъ и достаточное распространеніе ихъ въ массахъ. Демократіи съ такой же необходимостью предполагаютъ и наибольшую гуманизацию войны, какъ мы видѣли это въ матеріальномъ тактическомъ правѣ; а все, что можетъ сдѣлать въ этомъ отношеніи тактическое формальное, есть только развести противниковъ на возможно большее разстояніе, отнимая тѣмъ у битвы ихъ страстность и ихъ ярость и, наконецъ, обратить войну въ бой не людьми, а машинами, такъ чтобъ подбиваніе машинъ, обезоруженіе войскъ могло быть равнозначительнымъ нынѣшнему избіенію людей и замѣнить собою послѣднее. Все, сказанное здѣсь о новой артиллеріи, надо отнести также и къ военно-морскому искусству съ его броненосцами и броненосными батареями, съ одной стороны, и его береговой артиллеріей и подводными средствами разрушенія—съ другой. Вообще же взрывчатые вещества сказали въ порошокъ, какъ оказывается, только первое, а не послѣднее свое слово. Здѣсь-то и вся будущность артиллеріи въ частности и военныхъ машинъ вообще. Если же ко всему этому присоединить еще возможность воздухоплаванія, то всякое соперничество съ артиллеріей прекращается.

Процессуальность этого формальнаго права рассмотримъ также съ обѣихъ точекъ зрѣнія, разъ—какъ техническую, другой разъ—

какъ обычно-правовую или право-обычную. Приблизившись сюда, мы достигли до такого изъ международныхъ правъ, которое покрываетъ собою всѣ другія международныя, не исключая и предъидущаго, и составляетъ вѣнецъ ихъ; достигли до такого, которое, по своему культурному значенію, оставляетъ далеко позади себя всѣ иныя формальныя права, т. е. и судебное, и законодательное, и административное; до такого, наконецъ, историческое значеніе котораго поднимается до одного уровня съ самыми существенными изъ всѣхъ матеріальныхъ правъ, каковы: въ частномъ правѣ—гражданское, а въ публичномъ—сословное. А потому и разсматривать такое право необходимо съ неменьшимъ, если не большимъ, предпочтеніемъ, чѣмъ съ какимъ разсматривались тѣ два. И такъ, что касается технически-тактическаго процесса, то мы разберемъ его отдѣльно въ военной политикѣ, въ стратегіи и въ собственно такъ называемой тактикѣ. Подъ политикой военной мы будемъ разумѣть, какъ и принято, искусство разыгрывать войну, подъ стратегіей—разыгрывать походъ, кампанію, подъ тактикой—разыгрывать битву, сраженіе. Еще же вѣрнѣе было бы сказать, что первое есть искусство постановки войны на сцену, второе — постановки кампаніи, третье—постановки битвы. Постановка гораздо больше во власти человѣческой воли, чѣмъ разыгрываніе: отъ режиссера зависитъ только *mise en scène*; все же остальное зависитъ уже отъ самихъ актеровъ, и не только актеровъ, но также отъ сцены, отъ декорацій, отъ выходовъ, отъ суфлера и наконецъ отъ самихъ зрителей, отъ публики, словомъ—отъ тысячи обстоятельствъ, которыхъ не въ состояніи предположить никакой режиссеръ и никакой авторъ пьесы. Совершенно достаточно, если политикъ съумѣетъ хорошо лишь поставить войну, полководецъ — хорошо поставить кампанію, генераль — хорошо поставить битву, потому что отъ этой постановки зависитъ, чтобъ онѣ и сами потомъ хорошо разыгрались. Поставивъ же ихъ въ дурныя условія, никакая геніальность потомъ не разыграетъ ихъ хорошо.—Начиная съ военной политики, всю исторію ея можно совмѣстить въ три слова: политика наступательная, нейтральная и оборонительная. Очевидность такого перерожденія военныхъ политикъ явственнѣе всего на жизни каждаго отдѣльнаго народа. Наступательная политика римской республики и оборонительная политика имперіи римской есть самый очевиднѣйшій изъ множества примѣровъ такой послѣдовательности этихъ двухъ

противоположностей. По срединѣ между ними стоитъ время гражданскихъ войнъ, когда нападеніе еще продолжается, какъ напримѣръ въ Азіи и въ Галліи, но когда начинается также и оборона, какъ отъ кимбровъ и тевтоновъ. На всей же вообще исторіи такая преемственность политикъ обнаруживается еще абсолютно. Если сравнить аристократическое государство съ тимократическимъ, то увидимъ, что въ первомъ случаѣ *наступательная* политика отождествляется съ самой прогрессивностью политическихъ тѣлъ, съ самой культурностью обществъ. Чѣмъ передовѣе народъ, тѣмъ онъ наступательнѣе, и, наоборотъ, чѣмъ наступательнѣе, тѣмъ передовѣе. Египетъ, Ассирія, Персія, Карфагенъ, Македонія, Римъ, всѣ они ровно на столько же двигатели прогресса, на сколько послѣдователи наступательной политики. Мало того, всѣ они до тѣхъ только поръ прогрессируютъ, пока наступаютъ, или, наоборотъ, наступаютъ только до тѣхъ поръ, пока прогрессируютъ. Политика обороны, преобладаніе духа самозащиты, знаменуютъ здѣсь только общества совершенно отсталыя, какъ напримѣръ патріархальный Китай. Но даже и множество малыхъ государствъ, если они прогрессивны, то непремѣнно исполнены духа воинственности: таковы всѣ государства Индіи, Финикіи, Греціи. Напротивъ того, въ современномъ намъ свѣтѣ прогрессивность уживается и съ наступательной политикой, какъ въ Европѣ, и съ оборонительной, какъ въ Америкѣ, такъ что это есть полный компромиссъ обѣихъ системъ. Да и сама наступательная политика, представляемая Европою, обнаруживаетъ и въ себѣ самой ту же обоюдность. Во первыхъ, здѣсь есть цѣлый поясъ весьма передовыхъ государствъ, но такъ называемыхъ, нейтральныхъ, т. е. обреченныхъ на всегдашнюю оборонительную политику, и неимѣющихъ ничего себѣ подобнаго въ древности; при чемъ на практикѣ этотъ поясъ еще длиннѣе, чѣмъ по теоріи, потому что къ нему можно относить и Бельгію, и Швейцарію, и Голландію, и Данію, и Швецію съ Норвегіей, и Португалію, и всѣ малыя и среднія державы Европы. Во вторыхъ же, и всѣ великія державы не избѣгаютъ дѣйствія того же перелома въ политикѣ. Идя, напримѣръ, отъ запада европейскаго материка къ его востоку, культурность и наступательность становятся даже обратно пропорціональны. Чѣмъ больше культурности, тѣмъ меньше наступательности, и, обратно, меньше культурности, больше наступательности. Наконецъ и самая наступательность въ современной политикѣ тамъ и

тогда, гдѣ и когда имѣетъ она мѣсто, совсѣмъ не такова, какою она была въ древности. Это политика скорѣе всегда готоваго наступленія, чѣмъ дѣйствительнаго наступанія, политика выжиданія, вооруженнаго мира, политика *нейтральности* между войною и миромъ. Такимъ образомъ одно начало военной политики у насъ не сошло еще со сцены, а другое начинаетъ уже восходить на нее, и тѣмъ оба образуютъ тотъ переходный моментъ, каковой составляетъ политику обоюдную, выжидательную, нейтральную. Отъ такой политики единственно возможный въ будущемъ переходъ остается только въ политику окончательно *оборонительную*, въ качествѣ неотъемлемаго признака всякаго передоваго общества, при чемъ наступательная должна будетъ остаться лишь для населеній отсталыхъ, далекихъ отъ представительства прогресса.—Другой технически-военный процессъ представляется стратегіею, системою кампаній или походовъ, какъ въ наступательной, такъ и въ оборонительной процедурѣ войны. Стратегическихъ системъ, судя по такъ называемому предмету ихъ дѣйствій, объекту операцій, можетъ быть и бываетъ три. Предметомъ военныхъ операцій въ каждой кампаніи можетъ поставляться, и поставляется обыкновенно: или какое нибудь укрѣпленное мѣсто, а тѣмъ болѣе столица страны, или занятіе какой либо позиціи на театрѣ войны или, наконецъ, поставленіе непріятельскаго войска въ невозможность дѣйствовать. Въ первомъ случаѣ стратегія можетъ быть названа крѣпостною, во второмъ позиціонною, въ третьемъ маневрною. И вотъ, быть можетъ, не будетъ ошибкой сказать, что въ такомъ же порядкѣ слѣдуютъ онѣ другъ за другомъ и въ исторіи всемірной культуры; если, конечно, разумѣть здѣсь вопросъ преобладанія системъ, а не исключительности или единственности, которой здѣсь быть не можетъ также, какъ и на всѣхъ предъидущихъ площадяхъ соціального исслѣдованія. Въ такомъ смыслѣ, въ смыслѣ выживанія той или другой системы надъ прочими, древнее государство характеризуется, надѣмся, стратегіей *крѣпостною*, осадною. Взять или отстоять крѣпость или столицу (что тогда обыкновенно одно и то же), какою нибудь Вавилонъ, Сузу, Персеполь, Мемфисъ, Аѳины, Спарту, Римъ,—вотъ самый древній и наиболѣе господствовавшій въ древнемъ мірѣ стратегическій идеалъ. Онъ носится передъ глазами у всякаго Кира, Камбиза, Дарія, Александра, Аннибала. Все прочее служитъ только средствомъ къ этой завѣтной цѣли: всѣ позиціи, всѣ маневры под-

чиняются ей, а не она имъ. Отсюда большинство древнихъ военныхъ дѣйствій потребляется на обложеніе городовъ, на осады крѣпостей, и только меньшинство ихъ—на полевныя битвы. Въ одной ассирійской надписи Салманассара говорится: въ мой одиннадцатый походъ (846 г.) я взялъ 87 городовъ въ странѣ Сангаръ и 100 городовъ Арами, опустошилъ ихъ и предалъ пламени. Мало того, даже полевая война походить тамъ на крѣпостную. Извѣстно, на примѣръ, что какъ ассиріяне, такъ и римляне не останавливались въ полѣ иначе, какъ укрѣпленными лагерями: они не понимали ни одной стоянки, ни одного ночлега, если не возвели вокругъ себя подобіе крѣпости. При всякой тактической встрѣчѣ, слѣдовательно, приходилось вновь и вновь все брать крѣпости. Такимъ образомъ и вся полевая война сама собою обращалась въ крѣпостную, въ осадную: явленіе, которое въ наши времена представляютъ только народы отжившіе, влечащіе послѣдніе дни своей оборонительной политики, какъ турки. Иной отпечатокъ лежитъ на новой, современной стратегіи. Правда, въ средніе вѣка и новая стратегія была такою же, какъ древняя, была повтореніемъ той, а именно такъ называемою кордонною стратегіею; но за то же она и не была самобытною. Даже Густавъ-Адольфъ употребляетъ еще всѣ усилія, чтобы набрать какъ можно больше укрѣпленныхъ мѣстъ. Но съ Наполеона I крѣпости уже явно ниспадають со своей стратегической высоты: ихъ часто обходятъ, оставляютъ въ сторонѣ. Въ наше же время самое существованіе крѣпостей сдѣлалось вопросомъ въ военной наукѣ, при чемъ многими вопросъ этотъ рѣшается вовсе не въ пользу крѣпостей. Конечно, онѣ все таки будутъ продолжать существовать, и не только въ наши времена, но, вѣроятно, и въ будущія; однакожъ самое поднятіе такого вопроса достаточно означаетъ, что пора крѣпостей, пора осадной стратегіи минуетъ, и что на ея мѣсто тѣснится какая либо другая. Эта другая и есть *позиционная*. Занятіе выгодной позиціи, будетъ ли то для обороны или для наступленія, какъ на примѣръ: господствующей мѣстности, узла дорогъ, желѣзныхъ путей сообщенія, коммуникаціонныхъ линій, т. е. сообщеній съ операціоннымъ базисомъ и т. п., — таковъ новый стратегическій идеалъ. Оба другіе не исчезаютъ предъ нимъ, конечно, но, во всякомъ случаѣ, обращаются на службу этому: крѣпости, какъ мы видѣли, остаются пассивными и подальше отъ театра войны; маневрированія же всѣ направляются къ достиженію

одной изъ вынеозначенныхъ цѣлей. Но въ концѣ военного искусства можетъ быть только первенство *маневрной* стратегіи надъ всѣми другими. Какъ въ древности, такъ и въ наши времена счастливо скомбинированный маневръ былъ и есть всегда признакомъ наивысшаго военного творчества; но потому-то, быть можетъ, онъ и не могъ до сихъ поръ сдѣлаться удѣломъ рутины, популяризоваться въ качествѣ обычной и господствующей системы. А, между тѣмъ, такой объектъ дѣйствій, какъ живая человѣческая сила, есть, конечно, объектъ высшей важности, чѣмъ всѣ мертвыя силы, будутъ ли то искусственныя, какъ крѣпости, или естественныя, какъ позиціи. И потому обращеніе всѣхъ военныхъ операцій исключительно на этотъ предметъ и преслѣдованіе его одного, помимо всѣхъ искусственныхъ и естественныхъ поддержекъ его, и не взирая на нихъ, есть также и наивысшая задача стратегіи. Высота этой задачи можетъ достигать даже до того, чтобы безъ боя поставить непріятеля въ невозможность дѣйствовать. Маневрная стратегія способна поставлать противника въ условія, совершенно невозможныя, при которыхъ дѣлается излишнею и всякая попытка испробовать счастье. Таково, напримѣръ, было наполеоновское окруженіе непріятеля превосходящими силами при Ульмѣ, въ 1805 году; таково же было его раздѣленіе противника на двое и отрѣзаніе отъ всѣхъ источниковъ его силъ при Маренго въ 1800 году; таково его же захожденіе въ тылъ союзникамъ, чтобы отвлечь ихъ отъ Парижа, въ 1814 г. Такая стратегія могла бы современемъ обратить войну въ подобіе шахматной игры, гдѣ участь битвъ рѣшалась бы одними ходами. Но если это когда-нибудь случится, то не раньше, конечно, абсолютныхъ демократій. По крайней мѣрѣ, таковъ именно тотъ конецъ войны, какой можетъ допускаться въ ней позитивнымъ мышленіемъ, равно далекимъ какъ отъ фантастическаго оптимизма, такъ и отъ тупого пессимизма.—Вмѣстѣ съ стратегическимъ, мѣняется каждый разъ и тактический процессъ войны. Тактика мѣняется, кромѣ того, двоякимъ образомъ, смотря по тому, разсматриваемъ ли мы ее на мѣстѣ, или въ движеніи. Разсматриваемая же на мѣстѣ она опять бываетъ двоякая, смотря по тому, касается ли она боевого цѣлаго или боевыхъ частей. Исторія боевого цѣлаго начинается построеніемъ войскъ въ продольной линіи или такъ называемою *линейною* тактикою. Число же въ ней линій, начинаясь въ свою очередь отъ нуля, переходитъ постоянно къ 1, къ 2 и къ 3. Въ патріархальномъ бытѣ

война не могла возникнуть ни изъ чего, кромѣ повальной и безпорядочной драки. А слѣдовательно и всякое построение войска должно было возникнуть изъ простой кучи, безъ всякихъ подраздѣленій оной ни вдоль, ни поперекъ. Отсюда и нуль линій въ этой тактикѣ. О томъ, что первымъ шагомъ изъ такой нулевой тактики было вытягиваніе всего войска въ одну линію, имѣется не такъ мало данныхъ, какъ можно было бы ожидать, судя по древности реформы. Въ священныхъ книгахъ евреевъ есть положительныя указанія на то, что они сражались, строясь въ одну линію. Если же такъ было у евреевъ, то такъ же, вѣроятно, было и у египтянъ, отъ которыхъ однихъ евреи скорѣе всего могли позаимствовать свой строй. Кромѣ того, есть въ этомъ отношеніи и дѣйствительный фактъ, засвидѣтельствованный Ксенофонтомъ, и при томъ въ самомъ концѣ исторіи востока: это—сраженіе при Оимбрѣ. Египтяне были построены здѣсь всѣ въ одну линію; лидійцы, союзники ихъ, вытянуты съ ними опять въ одну и ту же линію; такъ что образовалось крайне длинное боевое цѣлое. Извѣстна также и мысль такого построения, такого удлиненія боевой линіи: это—обхватить фланги противника. Впрочемъ, восточные народы еще и въ средніе вѣка строились иногда такимъ же образомъ, какъ на примѣръ турки, которые, сверхъ того, ради выпятаго охватыванія фланговъ непріятеля, загибали концы своей линіи впередъ, такъ что образовывали дугообразную линію, полумѣсяцъ. Да и вообще трудно предположить какой бы то ни было иной выходъ изъ безпорядочности и скученности, какъ этотъ. Въ такомъ состояніи велика уже и та реформа, если войско научается какъ-нибудь, но выровняться. А самое простое средство для этого есть прямолинейность и, во всякомъ случаѣ, однолинейность. Правда, Киръ, въ сраженіи съ Крезомъ, при той же Оимбрѣ, представляется отступившимъ отъ этого обычая. Но, во первыхъ, тутъ же объясняется и причина такого отступленія,—желаніе обезопасить свои фланги отъ охвата въ виду длинной линіи Креза; а во вторыхъ, примѣръ Кира не повторился потомъ въ теченіе всей остальной древности, потому что никогда больше не встрѣчается тамъ построение въ цѣлыхъ пять линій. Такое нововведеніе одно и само по себѣ достаточно говорить въ пользу гениальности Кира. Другой случай, построение Дарія при Иссъ, есть скорѣе скученіе войска по необходимости, чѣмъ преднамѣренное построение. Во всякомъ случаѣ, господствующимъ обычаемъ была однолинейность

войска, при чемъ того же правила держатся сначала и сами греки. И если какъ у нихъ, такъ и на востокъ начинаютъ появляться двѣ линіи, то лишь въ концу ихъ исторіи. Такъ при Леветрахъ, какъ у Эпаминонда, такъ и у Клеомброта, войска стоятъ уже въ двѣ линіи, первая изъ которыхъ состоитъ изъ всей конницы, а вторая изъ всей пѣхоты. При Граниѣ, какъ у Александра, такъ и у персовъ, опять по двѣ линіи и опять съ тѣмъ же распредѣленіемъ по нимъ кавалеріи и пѣхоты. При Арбеллахъ, или Гавгамелѣ, снова то же у обѣихъ сторонъ, при чемъ у Александра объясняется и цѣль двулинейности: задача второй линіи — обезопасеніе фланговъ и тыла отъ обхода. При Гидаспѣ и у Александра, и у Пора опять тѣ же двѣ линіи. Индійцы, по видимому, и въ этомъ отношеніи опередили весь востокъ. По крайней мѣрѣ, извѣстно, что всѣ вмѣстѣ побѣды надъ Даріемъ не стоили Александру такъ дорого, какъ одна его побѣда надъ Поромъ. Впрочемъ и весьма естественно, что такое ухищреніе тактики, какъ двулинейность, не могло даваться сразу: оно должно было быть послѣдствіемъ долгаго опыта, послѣдствіемъ множества уже испытанныхъ превратностей боя при построеніи въ одну линію, прямую или полукруглую. Съ другой стороны несомнѣнно, что третьей линіи не бывало еще и въ эти времена ни на востокъ, ни въ Греціи, ни у македонянъ. Отъ недостатка этой-то линіи и были такъ ужасны всѣ пораженія, наносимыя въ эти времена. Пораженная сторона, не имѣя никакого прикрытія себѣ, по необходимости обращалась всегда въ полное бѣгство; а поразившая, по той же самой причинѣ, всегда могла преслѣдовать по пятамъ, неотступно, и, при дѣйствіи холоднымъ оружіемъ, не дающимъ промаха, всегда могла истреблять преслѣдуемаго почти до-глаго. Нововведеніе третьей линіи усматривается впервые только у римлянъ. Оно-то и составляетъ отличительную черту ихъ тактики, сравнительно со всею предъидущею. А вмѣстѣ съ тѣмъ, оно же было и однимъ изъ залоговъ ихъ превосходства надъ врагами. Назначеніе же, какое дается у нихъ третьей линіи, есть именно назначеніе резерва, запаса на всякій случай. Собственно боевыми линіями у нихъ считались и въ бой вводились только двѣ первыя: третья же употреблялась, смотря по обстоятельствамъ. При благопріятномъ ходѣ боя, она выпускалась на врага для довершенія удара, при неблагопріятномъ—она служила для прикрытія отступленія своихъ. Во всякомъ случаѣ, она удерживалась на мѣстѣ до

наступленія рѣшительной минуты въ томъ или въ другомъ смыслѣ. Эти-то три линіи и суть тѣ *acies prima, secunda et tertia*, та знаменитая *acies triplex*, которая отождествилась съ тѣхъ поръ съ римскою тактикою. Разстояніе, какое допускалось между каждыми двумя линіями, было не меньше 100 шаговъ. Конница вовсе уже не составляетъ самостоятельной линіи, а приурочивается то къ той, то къ другой изъ пѣхотныхъ, и поставляется на обонхъ флангахъ ея. Замѣчательно при этомъ, что Аннибалъ, не смотря на эту грозную *acies triplex*, принужденъ былъ обходиться въ Италіи всего только одною линіею, и, оказавшись въ столь невыгодныхъ условіяхъ, все-таки могъ побѣждать. Онъ могъ кое-какъ набрать и себѣ три линіи только при Замѣ, гдѣ былъ побѣжденъ. Собственно же римскія войска всегда были трехлинейныя, а въ томъ числѣ и войска обѣихъ сторонъ въ такихъ междоусобныхъ сраженіяхъ, какъ при Фарсаль, при Мундѣ. Въ средніе вѣка, благодаря примѣру византійцевъ, европейскія арміи очень рано усваиваютъ трехлинейную систему, и даже очень рано переходятъ отъ нея къ четыремъ и къ пяти линіямъ, впервые здѣсь повторяя Кира. У византійцевъ въ первой линіи стоитъ обыкновенно тяжелая пѣхота, во второй—легкая, въ третьей—военныя машины, а въ четвертой—отборная конница и пѣхота. Вильгельмъ-Завоеватель сражался въ Англіи, имѣя въ первой линіи легкую пѣхоту, во второй—тяжелую, въ третьей—конницу, а въ четвертой держа засаду, которая и рѣшила его битву съ Гарольдомъ при Гастингсѣ. Въ англійской арміи расположеніе это получаетъ даже свой терминъ, *en herse*, т. е. бороною. Съ изобрѣтеніемъ огнестрѣльнаго оружія, артиллерія, дѣлаясь непрѣмѣнной составной частью полевыхъ армій, и будучи обыкновенно разбрасываема по всему ихъ фронту, тѣмъ самымъ уже привносила новую боевую линію, артиллерійскую. А потому если и говорится, что у Густава Адольфа, у Фридриха Великаго арміи располагались въ три линіи, то лишь потому, что въ числѣ ихъ не считается артиллерійская. Съ нею же и тутъ тактика оказывается четырехлинейною. Впрочемъ, есть у этихъ полководцевъ случаи многолинейности и помимо артиллерійской линіи. Такъ, при Лейпцигѣ у Густава было четыре линіи, не считая артиллерію. То же самое повторено Фридрихомъ при Цорндорфѣ. Такимъ образомъ и здѣсь, и тамъ, собственно говоря, имѣется уже пять линій. Вообще же, строй этотъ ведетъ свое начало отъ самого Густава Адольфа, строй

котораго былъ собственно двойной: по большей части трехъ или четырехлинейный, по меньшей части — пятилинейный. Разстояніе между каждымъ двумя линиями полагается здѣсь около 450 шаговъ. Конница, какъ и у римлянъ, ставится по большей части на флангахъ, а пѣхота въ центрѣ. Изъ всего предъидущаго видно, что число линій, постоянно увеличиваясь, должно было рано или поздно придти къ тому, что оно совсѣмъ перестанетъ считаться, и что заведется какой-нибудь другой, болѣе отличительный счетъ. Такъ оно дѣйствительно и случилось вслѣдъ за Фридрихомъ, въ революціонныхъ войнахъ Франціи. Изобрѣтеніе пороха, огнестрѣльное оружіе, увеличеніе армій сдѣлали то, что бой, въ сравненіи съ древнимъ, еще болѣе осложнился; случайности и непредвидѣнности его умножились до безконечности; а потому заявленная Римомъ потребность въ резервѣ росла и росла. Она выросла до того, что фронтъ воюющихъ сторонъ, все больше и больше суживаясь, сталъ равняться съ самой глубиной армій, безпрестанно увеличивавшейся сюда. Стала такимъ образомъ получаться не линейная, а какая-то другая тактика, которую успѣли окрестить не вполне еще свойственнымъ ей названіемъ *перпендикулярной*. Возникла она изъ такъ называемаго линейно-колоннаго построенія французовъ, т. е. такого, которое сочетаетъ въ себѣ и линіи, и колонны или дѣленія продольныя и поперечныя, единицы тонкія и глубокія. Въ настоящее же время эта тактика выражается тѣмъ, что въ ней придается значеніе не только боевымъ линіямъ, но и такъ называемымъ боевымъ участкамъ, т. е. не только горизонталямъ, но и перпендикуларамъ. При этой тактикѣ, каждый изъ участковъ, пересѣкая собою всѣ линіи, составляетъ и самъ по себѣ своего рода боевую единицу, какъ прежде составляли ее только линіи; такъ что это скорѣе перекрестная тактика, крестообразная, или, какъ ее называли въ средніе вѣка, *en herse*, чѣмъ собственно перпендикулярная. Вполнѣ перпендикулярною станетъ она лишь тогда, когда участки возобладаютъ надъ линіями; пока же они переплетаются съ линіями, какъ въ боронѣ, пока сосуществуютъ одновременно и равномѣрно, нѣтъ и настоящей перпендикулярности тактики. Во всякомъ случаѣ названіе, по видимому, имѣетъ оправдать себя въ близкомъ будущемъ, такъ какъ боевой участокъ получаетъ все большее и большее значеніе. Что же касается тактики гораздо болѣе отдаленнаго будущаго, на примѣръ, демократическаго, то она должна измѣниться еще радикаль-

нѣе, потому что тактика артиллеріи не можетъ быть тою же, что нѣмѣйшая пѣхотная или древняя кавалерійская. По всей вѣроятности, она будетъ основана не на такихъ или иныхъ линіяхъ, продолжныхъ или поперечныхъ, а скорѣе на точкахъ, на пунктахъ, будетъ, такъ сказать, *пунктурною*, потому что дѣятельность артиллеріи вся зависитъ отъ выбора мѣстъ для нея. — Разсматриваемая въ смыслѣ боевыхъ частей или единицъ, а не цѣлаго (но все еще на мѣстѣ, а не въ движеніи), исторія тактики представляетъ филиацію трехъ различныхъ построений каждой изъ тѣхъ линій, о которыхъ говорилось до сихъ поръ вообще. Самое раннее построеніе боевой линіи, т. е. построеніе ея тогда, когда она была единственною, есть, такъ называемый, *глубокий* строй. Начало его коренится еще въ тѣхъ патріархальныхъ кучахъ или толпахъ, съ какихъ ведетъ родъ свой каждый изъ элементовъ войны. Здѣсь боевыхъ частей еще вовсе нѣтъ, и есть только одно цѣлое, хотя безформенное, аморфное, которое если и приближается къ какой-либо формѣ, то развѣ лишь въ круглой. У грековъ осталось воспоминаніе о такомъ строѣ въ словѣ *пургосъ*, а у римлянъ въ названіяхъ *orbis* и *globus*. Подъ этими двумя терминами римляне сохраняли до позднѣйшихъ временъ своей исторіи два построенія, дѣйствительно подобныя кругу: разъ — пустому внутри, *orbis*, другой разъ — заполненному, *globus*. Первая форма употреблялась противъ превосходнаго числа непріятеля, окружившаго со всѣхъ сторонъ; вторая — противъ него же, съ цѣлью пробиться. Глубина строя коренится также и въ первоначальномъ преобладаніи коннаго войска надъ пѣшимъ. Всякое кавалерійское построеніе уже само по себѣ, естественно глубже всякаго пѣхотнаго, ибо лошадь равняется человѣку лишь по фронту, въ глубину же занимаетъ мѣсто трехъ человѣкъ. Понятно, что верблюжій или слоновій строй еще глубже. При неустроенности же своей, и всѣ эти кавалерійскія массы не могли быть иными, какъ болѣе или менѣе круглыми. Но въ своемъ естественномъ видѣ эта безформенная форма исчезаетъ весьма рано, раньше появленія государствъ; а исчезая, перерождается она прежде всего не въ иную фигуру, какъ въ треугольникъ. По крайней мѣрѣ, въ такомъ именно строѣ сражаются, напримѣръ, уже скинская или фракійская конница, которыя строились, сколько извѣстно, клиномъ, и при томъ именно не пустымъ, а полнымъ. Фессалійская и этолійская кавалерія строились даже двумя соединенными въ сво-

ихъ основаніяхъ клинѣми, такъ что вершина одного была обращена впередъ, а вершина другого назадъ, и вообще получалась фигура ромба. Германцы, которые сражались въ сомкнутихъ одинаковой широты и глубины массахъ, строились иногда, по Тациту, также въ видѣ клина. Въ государственной жизни древнихъ грековъ строй этотъ уцѣлѣлъ подъ именемъ эмболона и келемболона. Первый былъ однимъ треугольникомъ, и именно равнобедреннымъ; второй былъ двумя, и при томъ прямоугольными, которые соединились между собою своими острыми углами, почему и назывался такой строй клещами. При Гангамелѣ, даже, Александръ Македонскій правое свое крыло, назначенное къ атакѣ, построилъ клинообразно. У римлянъ также упоминается строй подъ именемъ сипеис. Франки принимаютъ передъ боемъ также эту форму. Предводитель ихъ Буделинъ сражается въ Италіи противъ Нардеса, при р. Казилинумѣ, выстроивъ пѣхоту, какъ называлось тогда, свинымъ рыломъ, сарит рогсіпум. Англосаксы защищаются противъ Вильгельма постоянно въ томъ же строю. А швейцарцы даже еще въ 1386 году, при Земпахъ, строятся въ этой фигурѣ противъ Леопольда австрійскаго. Но чѣмъ дальше въ новую исторію, тѣмъ больше такой строй забывается; а если имя его сохраняется даже у Фридриха, то совсѣмъ для другой вещи, а именно для боевого порядка, боевого движенія, а не боевого построенія на мѣстѣ. На сколько именно треугольниковъ раздѣлялась первобытная боевая линія, едва ли извѣстно; но можно предполагать, что не меньше трехъ, потому что раздѣленіе боевой линіи на средину и двѣ оконечности (центръ и два крыла) есть весьма древнее, извѣстно уже въ Иліадѣ. Гораздо новѣе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, гораздо долговѣчнѣе въ исторіи раздѣленіе боевой линіи на квадраты и вообще четырехугольники. Это построеніе усматривается, какъ господствующее, у всѣхъ государственныхъ народовъ древности. Оно есть обычное и у египтянъ, и у индійцевъ, и у персовъ. Первоначальная греческая фаланга есть также не что иное, какъ правильный квадратъ. Въ послѣдствіи же, съ увеличеніемъ фаланги и съ обращеніемъ ея въ продолговатый прямоугольникъ, квадратомъ въ ней осталась та составная ея часть, которая называлась синтагма или всенагія, и которая составляла крайнюю изъ самостоятельныхъ боевыхъ единицъ. У римлянъ такое построеніе извѣстно подъ именемъ *agmen quadratum*. А та часть легіона, которая была основною его единицею, манипула, имѣла также

одинакіе фронтъ и глубину, т. е. была также правильнымъ квадратомъ. Но три манипулы, составлявшія когортъ, дальнѣйшую самостоятельную единицу, образовали собою, конечно, узкій и длинный прямоугольникъ. Весь же легіонъ, слагавшійся изъ десяти когортъ, образовывалъ, слѣдовательно, если онъ вытянутъ въ одну линію, еще болѣе длинную фигуру. Въ новой исторіи, если не считать ея повторительныхъ стадій, фигура эта еще больше утоняется и удлинняется, такъ что и производитъ то, что названо *тонкимъ* строемъ. Формы планиметрическія утончаются здѣсь и удлинняются до того, что граничатъ почти съ лонгиметрическими, и прямоугольныя плоскости обращаются чуть не въ линіи въ тѣсномъ смыслѣ слова. Войска растагиваются до такой степени и такими тонкими нитями, что нити эти разрываются, наконецъ, на клочки, рассыпаются въ точки, такъ что это даетъ основаніе даже совсѣмъ новому, третьему строю, который въ наши времена и зарождается уже или даже зародился подъ именемъ *разсыпной*. Это—строй будущаго. Хотя колыбель его передъ нашими глазами, но жизнь его вся впереди, потому что это строй существенно артиллерійскій, а не пѣхотный. Но еще лучше, чѣмъ геометрическими фигурами, вся исторія эта обрисовывается арифметическими цифрами. Тѣ квадраты, на которые подраздѣлялась египетская боевая линія, имѣли такую широту и глубину, какая не повторилась никогда потомъ въ исторіи, а именно по 100 человекъ въ каждомъ измѣреніи. Т. е. каждая квадратная колонна египтянъ состоитъ изъ 100 шеренгъ и 100 рядовъ, чѣмъ и образуется колоссальный квадратъ въ 10,000 человекъ. Это и есть тактическая единица египтянъ, т. е. то военное тѣло ихъ, то тактическое подраздѣленіе, которое недробимо больше для дѣйствій, которое есть боевой индивидуумъ. Только оно способно къ самостоятельнымъ боевымъ дѣйствіямъ и только всегда вмѣстѣ, во всей своей совокупности. Не можетъ быть, конечно, чтобы вся эта масса не подраздѣлялась больше ни на какія новыя единицы; напротивъ, дѣленія эти должны были продолжаться на тысячи, сотни, десятки и вообще въ десятичномъ порядкѣ; но дѣло въ томъ, что всѣ эти единицы не имѣли боевой личности, не признавались способными дѣйствовать на свой рискъ и страхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и самыя разстоянія между всѣми этими несамостоятельными частями почти не существуютъ, или существуютъ только математически, а не физически. Нѣтъ между ними ни интерваловъ, промежутковъ по-

сторонамъ, ни дистанцій, промежутковъ назадъ и на-передъ. Это-то и есть тотъ шахматный глубокаго строя, какой знавала когда нибудь исторія. Тѣмъ не менѣе, однаковъ, съ этихъ поръ имѣются единицы все таки менѣе крупныя, чѣмъ тѣ, какими онѣ должны были быть при единственномъ подраздѣленіи на центръ и два крыла. Строю этому египтяне остались вѣрны во всю свою исторію. При Олимбріи, не смотря на всѣ совѣты Креза, они ни за что не хотѣли отступить отъ завѣта своихъ предковъ, и, мало того, всѣ 12 своихъ квадратовъ еще сдвинули и сомкнули, такъ что образовалось въ высшей степени неповоротливое, неспособное ни къ какому движенію тѣло. Не смотря на всю свою многочисленность, оно годилось стоять только на мѣстѣ и защищаться, но не двигаться и не нападать. Персидскія войска, какъ пѣшія, такъ и конныя, отличаются сначала такою же глубиною, при одной линіи. А когда имъ приходилось строиться, по недостатку мѣста, въ нѣсколько линій, какъ при Иссѣ, то глубина строя доходила до бессмысленности. Дарій могъ вытянуть здѣсь по фронту, какъ говорятъ, всего лишь 300 человекъ, такъ что въ глубину его армія простиралась въ 2,000 человекъ. Само собою разумѣется, что наибольшая часть всей этой массы должна была оказаться бездѣйствующею, совершенно напрасною, и годна была только на то, чтобы затруднять и смущать бѣгство, чтобы поставлять обильный матеріалъ для преслѣдованія. И дѣйствительно, изъ этихъ 600,000 человекъ дѣйствовать не пришлось и одной десятой ихъ части. Впрочемъ, такая безобразная глубина построения начинаетъ уменьшаться уже и на востокъ, какъ видно это и изъ приговора Креза, протестовавшаго противъ египетскихъ порядковъ, и собственную свою армію построившаго только въ 30 шеренгъ. Соответственно, съ тѣмъ должна была измѣниться у него и вообще крупность тактической единицы, равно какъ и разстоянія между ними. Въ Греціи фаланга начинается съ 25 человекъ по фронту и 25 въ глубину, что составляетъ тактическую единицу въ 625 человекъ. Но скоро этотъ строй распадается до квадрата въ 16 человекъ, который и составилъ собою историческую греческую фалангу въ 256 человекъ (считая съ начальниками). Наконецъ, въ средней и въ легкой пѣхотѣ утонченіе доходитъ даже до 8 человекъ въ глубину; но дальше этого оно никогда уже не пошло въ Греціи. Конница, строй которой, какъ замѣчено выше, естественно глубже пѣхотнаго, строится

у спартанцевъ въ 12 шеренгъ, что равняется тридцати шести пѣхотнымъ. У другихъ грековъ она не бываетъ. Впрочемъ глубже 8 шеренгъ, т. е. двадцати четырехъ пѣхотныхъ. Такъ афинскій иль, или квадратъ кавалерійскій, имѣлъ въ глубину только 8 всадниковъ. Эпаминондъ же и Александръ ниводятъ и эту глубину до 4 шеренгъ, что закрѣплено наконецъ и въ теоріи искусства Арріаномъ. Македонская фаланга, хотя и огромнѣе греческой, ибо въ 12.000 человекъ, но строй ея оставался греческій. Фаланга эта дѣлится на два крыла, отстоящія одно отъ другого на 40 шаговъ; крыло на двѣ малыхъ фаланги, съ интерваломъ въ 20 шаговъ; малая фаланга на двѣ мелархіи, съ соответственнымъ разстояніемъ между ними; мелархія на двѣ хиліархіи; хиліархія на двѣ пентекосіархіи; и наконецъ эта послѣдняя на двѣ синтагмы или ксепархіи, которыя и суть не что иное, какъ прежнія греческія фаланги, т. е. квадраты въ 256 человекъ, по 16 во фронтѣ и въ глубину. Разстояніи назадъ и напередъ въ македонской арміи, какъ и въ греческой, не полагается вовсе, ибо нормальнымъ строемъ считается все еще однолинейный, а двухлинейный только исключеніемъ. Римскій легіонъ еще больше отказывается отъ крупности и плотности тактическихъ единицъ. Напротивъ, вся задача его состоитъ именно въ возможно большей подвижности и разрѣженности строя. Крупныя подраздѣленія боевой линіи, какъ *acies media* (центр), *cogni dextrum* (правое крыло), *et sinistrum* (лѣвое), само собою разумѣется, остались. Но, вмѣстѣ съ этимъ, замѣчается въ продолженіи всей римской исторіи, во первыхъ, прогрессивное измелъченіе боевыхъ единицъ, во вторыхъ, утонченіе и удлиненіе ихъ, и въ третьихъ, разрѣженіе ихъ интервалами и дистанціями. Вслѣдствіе всего этого, въ лучшія времена республики боевою единицею является не только легіонъ, но также и каждая его манипула, которыхъ въ легіонѣ тридцать, и каждая изъ которыхъ равняется 140—120 человекамъ. Глубина и фронтъ этихъ единицъ приходятъ въ обратную пропорціональность, т. е. рядовъ становится больше, а шеренгъ меньше, и именно первыхъ 12, а вторыхъ только 10. Мало того, эта послѣдняя цифра ниспадаетъ даже до 5,—строй, тоньше котораго не знаетъ уже вся древность. Но самымъ характернымъ является здѣсь разрѣженіе тактическихъ единицъ между собою, и при томъ какъ въ стороны, такъ и назадъ или напередъ. Легіонъ, напримѣръ, никогда не сплотноется въ одну боевую линію, но всегда образуетъ ихъ три: въ

первой линіи десять манипулъ, называемых *hastati* (новобранцы), во второй—десять *principes* (обученные), въ третьей—десять *triarii* (ветераны); при чемъ линія отъ линіи отстоитъ на дистанціи въ 100 шаговъ (около 250 футовъ). Равнымъ образомъ и въ стороны, всѣ манипулы одной и той же линіи постоянно разведены между собою на извѣстные интервалы, которые, будучи сначала не больше греческихъ, постепенно увеличивались все больше и больше, такъ что дошли наконецъ до полного равенства съ самыми фронтами этихъ манипулъ. Фронтъ ихъ былъ 40 футовъ; 40 же футовъ сдѣлался и интервалъ. Вотъ это-то послѣднее свойство и становится наиболѣе характеристическимъ для римскаго тактическаго права. Интервалы эти были назначены для того, чтобы манипулы второй линіи какъ можно свободнѣе и скорѣе, безъ всякаго перестраиванія, могли проходить въ промежутки первой линіи. Прежде они могли сдѣлать это только посредствомъ вдвиганія, т. е. построения вдвое уже, теперь же шли прямо впередъ всѣмъ фронтомъ. Для этой же цѣли манипулы всякой послѣдующей линіи ставились не противъ манипулъ предыдущей, а только противъ интерваловъ между ними, въ такъ называемомъ шахматномъ или квинкунціальномъ порядкѣ. Этотъ *ordo quincuncialis*, приписываемый диктатору Фурію Камиллу и есть такой же перлъ созданія въ римскомъ тактическомъ правѣ, какъ въ римскомъ частномъ консенсуальный договоръ, а въ римскомъ публичномъ аристократическая республика. Въ конницѣ римской послѣднею боевою единицею есть турма въ 32 человѣка, а именно въ 8 рядовъ и 4 шеренги. Вотъ предѣлъ, до котораго достигъ Римъ въ дробленіи боевой линіи, въ утонченіи и разрѣженіи ея. Новое продленіе того же движенія возрождается съ Густава-Адольфа. Кромѣ подраздѣленія боевой линіи на центръ и крылья, а этихъ на бригады, бригады дѣлятся у него на полки силою въ 1100 человѣкъ, при чемъ самостоятельными единицами въ полку оказываются: для пикенеровъ 144 человѣка, а для мушкетеровъ 192 и даже 96 человѣкъ. Строятся всѣ эти части только въ 6 шеренгъ, а для стрѣльбы даже только въ 3 шеренги. Въ кавалеріи же, начавшись съ 4 шеренгъ, боевое построеніе шведовъ ниспадаетъ и до 3. Дистанціи между линіями опредѣляются безопасностью запасныхъ линій отъ огня, а интервалы — потребностью полного развернутаго фронта. Всѣ эти нововведенія популяризированы во Франціи Тюренномъ, послѣ котораго глубина строя низведена тамъ до 4, до 3,

и даже до 2 шеренгъ. Только для атаки холоднымъ оружіемъ, пѣхотныя шеренги вздвигаются. Отсюда до 1 шеренги оставался всего одинъ шагъ, который, какъ сейчасъ увидимъ, скоро и былъ исполненъ. Въ конницѣ также усвоенъ Франціею сперва шведскій строй въ 3 шеренги, а потомъ низведенъ и до 2. Изъ крупныхъ подраздѣленій добавлена во Франціи дивизія, а еще позже—корпусъ. Такия же построения приняты и въ Австріи, и въ Пруссіи, такъ что вся западная Европа, къ концу тридцатилѣтней войны, уже усвоила шведскій строй, а въ XVIII столѣтіи и подвинула его въ томъ же направленіи впередъ. Такое неодолимое стремленіе было, наконецъ, подмѣчено современниками его, вошло въ сознаніе ихъ, и породило двѣ противоположныя школы. Одна изъ нихъ (подъ главенствомъ Мениль-Дюрана), усматривая недостатки въ крайнемъ развитіи тонкаго строя, ратовала противъ него и въ пользу глубокаго; при чемъ Мениль-Дюранъ предлагалъ даже новый, свой собственный строй. Другая, останавливаясь на достоинствахъ тонкаго строя, ратовала за него противъ глубокаго. Исторія помирила обѣ партіи тѣмъ, что отказалась отъ исключительности какъ того, такъ и другого или, пожалуй, приняла ихъ оба вмѣстѣ, потому что разразилась возникновеніемъ новаго, третьяго, подъ именемъ разсыпного. Строй этотъ, какъ и все остальное въ обществѣ, не новостъ, конечно, въ исторіи. Онъ былъ извѣстенъ не только грекамъ и римлянамъ, въ ихъ легкой пѣхотѣ и конницѣ, но даже скизамъ, пареянамъ и всѣмъ вообще естественнымъ конницамъ и пѣхотамъ. Но совершенно нова въ исторіи та роль и то значеніе, какое разсыпной строй началъ приобретать только въ самой послѣдней эпохѣ исторіи, а именно съ сѣверо-американской войны за независимость. Народныя ополченія сѣверо-американскихъ колонистовъ не могли состязаться съ англійскими войсками въ сомкнутомъ строю. Но, будучи наполнены людьми, которые по самымъ промысламъ своимъ были охотники и намыли въ этихъ охотахъ пользоваться мѣстностью, ополченія эти старались противопоставить регулярнымъ войскамъ мѣткость, ловкость и проворство своихъ одиночныхъ стрѣлковъ. И точно, избѣгая дѣйствій въ массахъ и пользуясь лѣсистою и пересѣченною мѣстностью, стрѣлки разсыпались по полямъ битвъ и производили свой мѣткій огонь изъ-за различныхъ мѣстныхъ прикрытій. Система эта приносила постоянный успѣхъ въ войнѣ, и потому прочно укоренилась въ практикѣ. Подо-

ныя же причины во французскую революцію, призавшую въ оружію весь народъ, произвели то же самое и во Франціи. Новобранцы всегда рассыпались въ стрѣлки, а чтобъ поддержать въ нихъ бодрость и въ случаѣ надобности и подерѣпить ихъ, сзади за ними держались колонны регулярной пѣхоты. Это-то и есть линейно-колонный строй, который сопутствовалъ всѣмъ войны консульства и имперіи, и который, собственно говоря, есть совмѣщеніе всѣхъ трехъ типовъ строя: и глубокаго, и тонкаго, и рассыпного, но только подъ господствующимъ вліяніемъ тонкаго. Все это было до такой степени ново, что въ сорокалѣтній промежутокъ мира, слѣдовавшій за имперіей Наполеона, было выпущено изъ виду и забыто, пока въ крымскую войну западныя державы не напомнили о томъ. Съ тѣхъ поръ значеніе рассыпного строя растетъ и растетъ, и въ настоящую минуту исторія боевыхъ или тактическихъ единицъ представляется въ слѣдующемъ видѣ. Послѣднею боевою единицею бываетъ не только рота, но даже полурота, взводъ. Будучи послѣднею по степени своей дробности, она есть первая въ бою. Отъ ротъ, отъ полубатальоновъ, отъ батальоновъ высылаются впередъ стрѣлковыя цѣпи, которыя и составляютъ такимъ образомъ первѣйшую изъ нынѣшнихъ боевыхъ линій, одношереножную. Эта одна шеренга и есть послѣдняя степень тонкости, до какой только строй способенъ былъ дойти, такъ что на этой ступени своей ему и пришлось естественно перерождаться въ нѣчто другое, новое. Цѣпь эта залегаетъ шагахъ въ 400 отъ непріятельской. Стрѣлки цѣпи вольны сами себѣ избирать мѣсто, принимать такую или иную позу, высматривать то или другое прикрытіе, перебѣгать или переползать отъ одного изъ нихъ въ другому, выбирать себѣ любую цѣль, и т. п. Самостоятельность эта доходитъ иногда даже до инициативы въ атакѣ холоднымъ оружіемъ. Тѣ роты, отъ которыхъ цѣпь выслана, держатся сзади нея, но такъ близко, что всегда могутъ подерѣпить ее, напримѣръ, шагахъ въ 700 отъ цѣпи непріятельской или въ 300 отъ своей, чѣмъ и составляютъ вторую боевую линію, построенную обыкновенно, во избѣжаніе большой дѣйствительности огня, крайне тонко, а именно въ 2 шеренги, въ такъ называемомъ развернутомъ и, сверхъ того, въ разомкнутомъ строю, который почти приближаетъ ихъ къ рассыпному. Еще дальше, третья линія расположена въ ротныхъ колоннахъ. За нею опять линія въ колоннахъ полубатальонныхъ. И все это или лежитъ на землѣ, или стоитъ на одномъ колѣнѣ. На

только тамъ, гдѣ начинается безопасность отъ огня, являются болѣе крупныя колонны: батальоны и полки. А позади всего этого бережется общій резервъ всѣхъ боевыхъ линій, въ видѣ цѣлыхъ бригадъ и даже дивизій. Иногда чуть не цѣлыя сраженія проходятъ въ разсыпномъ бою стрѣлковыхъ цѣпей, такъ что на безпрестанное пополненіе ихъ расходуются цѣлые полки и даже бригады. Заднія колонны, при этомъ, то и дѣло развертываются и подвигаются впередъ, для того, чтобы разомкнуться и еще дальше подвинуться, пока не обратятся въ стрѣлковую цѣпь. Этимъ путемъ цѣлыя арміи растаиваютъ изъ глубокаго строя въ тонкій, и потомъ испаряются въ разсыпной. Это-то и называется господствомъ разсыпного строя, хотя въ сущности это только его зарожденіе. Этимъ путемъ онъ только пробирается въ жизнь. Господствовать же продолжаетъ тонкость, потому что глубина допускается только въ резервъ; всѣ же дѣйствительно боевыя линіи продолжаютъ быть развернутыми и даже разомкнутыми, продолжаютъ быть въ двѣ и даже въ одну шеренгу, какъ и сама цѣпь. Разстоянія здѣсь, т. е. собственно дистанціи между линій, опредѣляются, смотря по дальнобойности оружія противника. Что же касается разстояній въ стороны, то каждой боевой части назначается такое пространство, какое достаточно для перехода ея въ развернутый строй. Осматривая поле битвы въ обратномъ порядкѣ, увидимъ, что каждой крупной части арміи назначается участокъ позиціи, который она распредѣляетъ между своими непосредственными подраздѣленіями на новыя такіе же участки; эти послѣднія части дѣлаютъ тоже съ своими собственными подраздѣленіями или единицами; и такимъ образомъ отъ корпусовъ и дивизій, идя впередъ, дѣло доходитъ до ротъ и полуротъ, имѣющихъ каждая свой собственный участокъ нападенія и обороны. Это перекрестность участковъ съ линіями и сливетъ нынѣшнѣ названіемъ перпендикулярной тактики. Въ этой перекрестной тактикѣ чѣмъ ближе впередъ, къ непріятелю, тѣмъ больше боевыя единицы мельчаютъ; чѣмъ дальше отъ него, тѣмъ онѣ больше крупнѣютъ. Каждой изъ единицъ предоставляется въ подлежащемъ участкѣ большая или меньшая самостоятельность: а именно ей указываются свѣше только цѣли; средства же она должна изыскивать сама. Поэтому каждая же изъ нихъ можетъ располагаться по произволу или въ одну боевую линію или въ двѣ, такъ что число боевыхъ линій по участкамъ можетъ быть весьма раз-

нообразно. Что же касается размѣщенія этихъ линій однихъ за другими, то, вмѣсто шахматнаго, въ перекрестномъ боевомъ порядкѣ предпочитается такъ называемое уступное, террасообразное, т. е. не противъ внутреннихъ интерваловъ, а противъ внѣшнихъ. Весь этого рода строй находится еще въ младенчествѣ, но все ему общается большую будущность, потому что строй этотъ ведетъ къ самой послѣдней боевой единицѣ, — человѣку. — Переходя къ тактикѣ движенія, къ порядкамъ самаго боя, необходимо и ихъ разсмотрѣть въ двойномъ отношеніи: по боевымъ порядкамъ войскъ и боевымъ порядкамъ оружія. Первые суть порядки наступленія и атаки, вторые — порядки употребленія въ дѣло оружія. Въ первомъ смыслѣ, смотря по четыремъ гранямъ всякаго войска, фронту, двумъ флангамъ и тылу, возможны три типа атакъ: фронтальная, фланговая, тыльная. Не подлежитъ сомнѣнію, что самою древнѣйшею въ исторіи есть первая изъ нихъ, *фронтальная*, и что она же раньше всѣхъ другихъ и разработана исторіею во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Эта безхитростная, безъ всякихъ заднихъ мыслей, атака свойственна уже и всякой дракѣ, всякимъ кулачнымъ боямъ. А потому, съ выпрямленіемъ боевой кучи въ боевую линію, этотъ способъ атаки составляетъ уже простое преданіе. Двинуть всю и разомъ свою боевую линію на всю чужую, и совершенно параллельно къ ней, — вотъ все искусство первыхъ регулярныхъ или государственныхъ армій, и при томъ унаслѣдованное еще изъ патріархальной культуры. Оно свойственно всякому народу, выходящему изъ дикости. Гелимеръ, король вандалскій, встрѣтясь съ Велисаріемъ въ Африкѣ у Децама, нападаетъ одновременно на его центръ и на оба крыла его. И если древній государственный востокъ что нибудь прибавляетъ къ этому искусству, придумываетъ какія-нибудь ухищренія; то они ограничиваются или тѣмъ, чтобъ растянуть свою линію какъ можно длиннѣе непріятельской, или же тѣмъ, чтобъ построить ее полукругомъ противъ той. При безусловномъ въ это время господствѣ убѣжденія, что побѣждаетъ лишь тотъ, кто многочисленнѣе другого, никакой другой тактики и придумать съ этой точки зрѣнія невозможно. Остается, набравши какъ можно больше народу, и поставить его такъ, какъ можетъ становиться только большая масса противъ меньшей, т. е. или длиннѣе, или круглѣе. Въ обоихъ случаяхъ имѣется въ виду одно и то же: поскорѣе и поудобнѣе охватить врага съ обоихъ боковъ, а затѣмъ окружить его

и съ тыла. Второй изъ двухъ способовъ, серповидный, только приближаетъ къ той цѣли, какая имѣется въ виду и въ первомъ, ибо онъ совершаетъ уже до боя то, что предстояло бы совершить въ бою. Такимъ образомъ фронтальное наступленіе выявляетъ свой первый родъ—атаку параллельную, и ея первый искусственный видъ,—атаку дугообразную. Такою атакою рассчитывалъ одолѣть Кира и Крезъ въ сраженіи при Оимбриі. Она же извѣстна уже и такимъ народамъ, какъ средневѣковныя аравитяне и турки, у которыхъ эта атака сочеталась еще съ священной идеей полумѣсяца. Того же рода атаки весьма долго держатся и сами греки, прибавляя въ немъ лишь новыя виды. Такъ, напримѣръ, дуга весьма легко можетъ переходить на прагтикъ въ уголъ, въ ней вписанный; а потому весьма естественно, и самъ собою, прибавляется угловой видъ параллельной атаки. А между тѣмъ нечаянность эта ведетъ къ новой весьма важной спеціализаціи въ атакѣ. До сихъ поръ она бывала только сплошною, генеральною, направленною на всю линію (на центръ и на оба крыла); теперь же, при угловой атакѣ, она можетъ быть направляема только на оба крыла, оставляя пока въ покоѣ центръ. Такою была, напримѣръ, атака Мильціада при Мараѳонѣ, гдѣ, удерживая свой центръ на мѣстѣ, напалъ онъ на персовъ обоими своими крылами, для чего предварительно и усилилъ каждое изъ нихъ на счетъ центра. А коль скоро такой 'пріемъ извѣстенъ, ничего не стоитъ опрокинуть дугу или уголъ вершиною къ непріятелю: въ такомъ случаѣ опять получится новый видъ параллельной атаки, еще болѣе спеціальный, чѣмъ предъидущій. Предъидущій направлялъ атаку на оба крыла, на два пункта по фронту, этотъ устремляетъ ее на центръ, т. е. на единственный пунктъ во фронтѣ. Такою атаку и предпринялъ противъ Мильціада Датисъ при Мараѳонѣ; и она была тѣмъ опаснѣе, что тотъ, поведши совершенно обратную, ослабилъ для этого свой центръ. Но вотъ является Эпаминондъ,—и создается не новый только видъ въ родѣ, а новый родъ въ типѣ. Всѣмъ видамъ атаки параллельной противопоставляются отнынѣ виды атаки діагональной, или такъ называемаго косвеннаго боевого порядка. Это все еще атака фронтальная, типъ тотъ же; и даже та же спеціализація ея на одномъ изъ пунктовъ фронта, а именно на какомъ-нибудь крылѣ; но дѣло въ томъ, что она производится не параллельно, а косвенно, т. е. одно крыло и центръ оставляя на мѣстѣ, а другимъ, какъ радіусомъ, описывая дугу и

выдвигая его впередъ. Очевидно, что этотъ родъ атаки можетъ имѣть два вида: косвенный боевой порядокъ вправо, и косвенный боевой порядокъ влево, смотря по тому, на лѣвое или на правое крыло противника сосредоточивается атака. И Эпаминонду предоставлено было судьбой не только объявить этотъ новый родъ, но и разработать оба его вида: одинъ—въ битвѣ при Левктрахъ, другой—при Мантиней. Кромѣ того, косвенность эта можетъ быть или прямолинейною, или же уступною; заходящее вправо или влево войско можетъ заходить или прямою линіею, или же ломаною, въ видѣ ступеней лѣстницы, уступами. Въ послѣднемъ случаѣ одинъ отрядъ остается на мѣстѣ, внѣ всякаго боевого огня, другой нѣсколько выступаетъ впередъ противъ непріятеля, третій еще болѣе подвигается въ нему, еще болѣе и угрожая, такъ что противникъ не смѣетъ ни въ одномъ пунктѣ ослаблять своихъ силъ, ожидая нападенія повсюду; а между тѣмъ четвертый, нарочито усиленный отрядъ, одинъ только окончательно сближается съ врагомъ, и такимъ образомъ производитъ атаку на одинъ только пунктъ, которому другіе пособлять не могутъ, ожидая атаки противъ самихъ себя. Эти двѣ новыя, и еще болѣе остроумныя разновидности также успѣлъ обработать уже самъ Эпаминондъ, а именно: первую—при Мантиней, а вторую—при Левктрахъ, совершенно поразивши растерявшихся отъ этой невиданности спартанцевъ. Изобрѣтеніе это есть *chef-d'oeuvre* творческаго генія Греціи въ военномъ искусствѣ, дальше котораго никогда уже не пошла древность, не исключая и римской. Приемомъ этимъ жили съ тѣхъ поръ всѣ великіе полководцы. Со смертію Александра, напримѣръ, онъ забытъ былъ и въ самой Греціи и Македоніи. У карфагенянъ, кромѣ Аннибала, никто его не знаетъ. Сами римляне производятъ свои атаки параллельно, такъ что даже отъ Аннибала не научаются косвенной; и если она возникаетъ у нихъ, то уже только при Цезарѣ, выѣстъ съ нимъ, впрочемъ, и исчезая. Съ виду ничтожная, реформа эта имѣетъ величайшее военно-историческое значеніе. Она есть необыкновенно счастливая выдумка слабѣйшаго числомъ противъ сильнѣйшаго имъ; и счастливая потому, что рассчитана на цѣлостность, на органичность военного тѣла. Вслѣдствіе этой органичности своей, тѣло это способно все сполна почувствовать ударъ, наносимый одной его части, и способно все приходить въ разстройство отъ разстройства одной изъ частей. А разстроить изъ нихъ только одну и было великою задачей изобрѣтенія. Слабый противникъ приемомъ этимъ уравни-

валъ свои силы съ большими, а сильный значительно экономизировалъ ихъ, затрачивая для побѣды лишь крайній ихъ minimum. Поэтому-то гениальная идея Эпаминонда и прожила всю древность, и, создавъ тамъ величайшія военныя репутаціи, не пережила себя, какъ увидимъ, и въ новой исторіи. Но здѣсь надо оговориться, прежде чѣмъ продолжать. До сихъ поръ мы слѣдовали почти слѣпо мнѣніямъ специалистовъ военной науки, стараясь только возводить ихъ въ систему, которой они не имѣютъ. Но на этотъ разъ мы принуждены отступить отъ общепринятыхъ взглядовъ. Дѣло въ томъ, что, въ числѣ многихъ неустановившихся еще терминовъ военной науки, въ ней постоянно смѣшиваются даже такіе два, какъ крыло и флангъ. Крыло есть извѣстная часть фронта, т. е. одной и той же грани, тогда какъ флангъ есть совсѣмъ иная грань. Крыло есть часть лица арміи, флангъ же есть бокъ ея. А, между тѣмъ, такія различныя вещи постоянно смѣшиваются у военныхъ писателей, такъ что смѣшиваются, вслѣдствіе этого, и два совсѣмъ различные типа атаки. Атаку на крыло и атаку на флангъ безразлично называютъ фланговою, тогда какъ первая есть чисто фронтальная, и только послѣдняя есть фланговая. Правда, что первая легко переходитъ на дѣлѣ во вторую; но на дѣлѣ смѣшивается и все, чего нельзя смѣшивать въ теоріи. На дѣлѣ и фланговая атака легко переходитъ въ тыльную; но это еще не резонъ, чтобъ всѣ три атаки спутать въ одну и ту же. Какъ бы то ни было, но на этихъ страницахъ такое смѣшеніе не будетъ имѣть мѣста. А вслѣдствіе того и подъ косвеннымъ боевымъ порядкомъ здѣсь будетъ разумѣться лишь діагональная фронтальная атака, но никакъ не фланговая. Фланговая есть скорѣе перпендикулярный боевой порядокъ, а не косвенный. Безъ этого невозможно было бы провести (какъ дѣйствительно и не проводить его военная наука), и то глубокое, радикальное различіе, какое существуетъ между величайшимъ тактическимъ изобрѣтеніемъ древности и такимъ же изобрѣтеніемъ новыхъ вѣковъ. Какъ ни много новое военное искусство обязано Густаву-Адольфу, но въ тактикѣ атаки онъ держался самой простой изъ нихъ, никогда не измѣняя атакѣ фронтальной и даже простѣйшему изъ ея видовъ — параллельной атакѣ. Въ этомъ дѣлѣ преобразователемъ явился только Фридрихъ Великій. Чтобъ преобразование могло быть великимъ, оно не могло не связать себя съ Эпаминондовымъ, не могло не быть его продолженіемъ. И дѣйствительно, начиная съ примѣненія Эпаминондовой

атаки, съ восстановленія этого забытаго въ средніе вѣка наслѣдія древности, Фридрихъ оканчиваетъ обновленно тѣмъ, что развиваетъ ее дальше; развиваетъ не только въ новый видъ или родъ, но даже въ типъ новый. Но это развитіе было такъ естественно, оказывалось такимъ прямымъ, хотя и дальнѣйшимъ послѣдствіемъ косвеннаго боеваго порядка, что за Фридрихомъ утвердилась лишь репутація восстановителя древняго открытія, но не слава изобрѣтателя новаго, которая такъ вполне принадлежитъ ему. Въ самомъ дѣлѣ, хотя косвенная атака и начинается съ нападенія на крыло во фронтъ его, но естественное, при успѣхѣ, развитіе ея предполагаетъ, какъ это имѣло мѣсто и у Эпаминонда, атаку и во флангъ того же крыла, и, наконецъ, при еще большемъ успѣхѣ, и въ тылъ его. Это исходъ всякой возможной атаки. Но тутъ дѣло не въ томъ, чѣмъ атака кончается, а въ томъ, чѣмъ начинается она. А потому, если косвенный боевой порядокъ употребленъ не съ тѣмъ, чтобы напасть на одно изъ крылъ съ фронта его, а именно съ тѣмъ, чтобы начать нападеніе на него прямо съ фланга; то это уже не простой косвенный боевой порядокъ, а нѣчто совсѣмъ иное. Идеаль этого новаго порядка состоитъ въ томъ, чтобы весь фронтъ свой оставлять пока въ бездѣйствіи, составляя изъ него только угрозу; дѣйствовать же въ началѣ только однимъ фланговымъ усиленнымъ отрядомъ. А такова именно и была сущность того обновленія, какое внесено въ военное искусство Фридрихомъ. Для того, чтобы только восстановить косвенный боевой порядокъ, не было никакой надобности въ соединеніи съ нимъ обходныхъ движеній; а ими-то и славенъ былъ Фридрихъ. Для того, чтобы примѣнить косвенный боевой порядокъ съ фронта, не настояло Фридриху никакой надобности выстраиваться перпендикулярно къ позиціи противника и параллельно ея флангу; а этими-то построеніями Фридрихъ Великій и великъ. Для того, чтобы напасть, по Эпаминондовски, только на фронтъ крыла, не было Фридриху нужды вытягиваться дальше его и производить тѣ свои фланговыя движенія въ виду непріятеля, какими обезсмертилъ онъ свое имя. Если бъ Фридрихъ имѣлъ въ виду только косвенныя атаки на фронты крылъ, ему не зачѣмъ было бы усиливать тѣ отряды свои, которые обходили во флангъ, какъ это всегда у него дѣлалось. Если же все это суть дѣйствительныя черты той переменъ, какую онъ внесъ въ военное искусство, то это уже не переменъ, а цѣлый переворотъ; не восстановленіе

старого, а введеніе совершенно новаго. Это уже не новый только видъ косвеннаго рода атакъ и даже не новый только родъ фронтальнаго типа ихъ, разработывавшагося до сихъ поръ; а это типъ совсѣмъ новый, потому что это типъ дѣйствительно *фланговой* атаки. Сохраняя всѣ, исчисленныя ранѣе, выгоды косвеннаго порядка, какъ для слабыхъ, такъ и для сильныхъ, новостъ эта усугубляетъ ихъ тѣмъ, что еще разъединяетъ противника въ самомъ себѣ, принуждая его двонться, дѣлать два фронта. Есть случаи, когда Фридрихъ дѣйствительно органичивается лишь простымъ возстановленіемъ тактики Эпаминонда, какъ, напримѣръ, въ Силезской войнѣ, при Зоорѣ или въ Семилѣтней, при Коллинѣ. Но есть и другіе, гдѣ, какъ при Лейтенѣ, косвенный боевой порядокъ только предшествуетъ атакѣ; самая же атака начинается съ удара во флангъ, такъ что и самого противника заставляетъ перестраиваться перпендикулярно къ своей прежней боевой линіи. А между тѣмъ, обработавши этотъ безподобный приѣмъ въ его положительной, наступательной формѣ, и научивъ ему своихъ современниковъ, тотъ же Фридрихъ, при Росбахѣ, обрабатываетъ его и отрицательно, въ оборонительномъ смыслѣ, показывая своимъ недостойнымъ ученикамъ, какъ надо парализировать его собственные уроки. Все это очень хорошо сознавалъ и самъ Фридрихъ, когда въ инструкціи своимъ генераламъ рекомендовалъ имъ никогда не двигаться для атаки съ фронта, но всегда во флангъ. Подражатели же Фридриха, какъ изъ современниковъ его, такъ и изъ потомковъ, сперва вынулись изъ всѣхъ силъ во слѣдъ за нимъ, возвели систему его въ безусловный догматъ, за что не рѣдко и платились; а потомъ также безразсудно охладѣли къ ней, какъ увлекались безразсудно. Одинъ изъ противниковъ Фридриха, Даунъ, еще при жизни его, попробовалъ послѣдовать за нимъ. Такъ, при Гохенхернѣ, центромъ и однимъ крыломъ удерживая центръ и одно крыло Фридриха, другое свое крыло, составлявшее главную его силу, Даунъ повелъ противъ другаго крыла Фридриха, и построилъ его не параллельно атакуемому крылу, а перпендикулярно къ нему, т. е. параллельно къ флангу, а не къ фронту этого крыла. Слѣдовательно, это была атака чисто-фланговая, хотя и неудачная. Другое такое же подражаніе Фридриху предпринято было противъ него же, какъ упомянуто уже, при Росбахѣ, хотя и еще менѣе удачно. Изъ потомковъ Фридриха, прусскіе генералы: Рюхель, Тауэнцингъ, Гравертъ

слѣпо держались той же системы подъ Іеной. Учоный тактикъ Вейроттеръ, во имя фланговой атаки во чтобы то ни стало, заставилъ проиграть аустерлицкую битву. Въ другой разъ, тотъ-же авторитетъ и въ тѣхъ же видахъ, надолго испортилъ положеніе русскихъ въ 1812 году, примѣняя фланговой принципъ къ оборонительной войнѣ. Еще дороже обошлось это увлеченіе австрійцамъ. Битве въ семилѣтней войнѣ постоянно этимъ способомъ, они увѣровали въ него какъ въ единого истиннаго бога войны, и не отрезались отъ него и въ тѣхъ обстоятельствахъ, когда самъ Фридрихъ первый бы отрекся. И нужно было цѣлыхъ десять лѣтъ горькаго опыта войнъ съ Наполеономъ, чтобы они наконецъ извѣрились въ свою сватыню. Самому Наполеону рѣдко приходилось примѣнять фланговую атаку, какъ, напримѣръ, при Пирамидахъ, потому что ему чаще приходилось отражать ее, чѣмъ примѣнять самому. А потому, вслѣдъ за нимъ, наступило всеобщее разочарованіе въ этомъ вѣрованіи. Разочарованіе это выразилось и въ военныхъ теоріяхъ, которыя стали твердить теперь новое правило: кто обходитъ, тотъ самъ обойденъ. Но если въ неумѣлыхъ рукахъ всякое средство можетъ обратиться въ негодное, то руки искусныя легко и восстанавливаютъ его. А потому, послѣ сорокалѣтняго мира, оно вновь воспрянуло изъ забвенія, сопровождаясь только новою оговоркою: обходить такъ, чтобы самому не быть обойденнымъ. Въ войнѣ 1866 года обходное движеніе принца прусскаго и Герварта фонъ-Битенфельда подъ Кенигсгрецомъ вполнѣ увѣнчалось успѣхомъ и повело къ блистательной побѣдѣ. Въ войнѣ 1870 года только обходы или, точнѣе, обхваты фланговъ и дѣлали атаки удачными. Въ самой инструкціи, розданной пруссакамъ передъ этой войной, рекомендуется начальникамъ пользоваться всѣми возможными случаями для фланкированія непріятеля. Правда, все это было не со всѣмъ то, о чемъ идетъ рѣчь: все это были лишь фланговья подспорья для атакъ фронтальныхъ. А тамъ, гдѣ тактическое искусство въ упадкѣ или въ младенчествѣ, тамъ и всякія фланговья дѣйствія дѣлаются рѣдкостью. Такъ французы въ 1870 году, не смотря даже на близкій примѣръ нѣмцевъ, обходились постоянно незамысловатымъ приѣмомъ атакъ фронтальныхъ и всегда повторяемыхъ въ одномъ и томъ же направленіи. Того же приѣма держались въ 1878 году и русскіе. Какъ бы то ни было, но изъ всего предъидущаго явствуетъ, что фланговья движенія, такія или иныя, такъ или иначе,

но постоянно призовываютъ къ себѣ мысль цѣлой эпохи, что они, удачно или неудачно, но составляютъ душу ея, и что идеала текущей тактики искать болѣе негдѣ, какъ именно здѣсь. Да это иначе и быть не могло бы. Современные средства пораженія таковы, что атаки фронтальныя почти перестаютъ быть возможными, или, по крайней мѣрѣ, становятся слишкомъ дорогими. Чѣмъ дальше, тѣмъ это будетъ еще дѣйствительнѣе; а потому естественно, что всякая малѣйшая способность къ изобрѣтательности должна будетъ направляться сюда, т. е. къ способамъ обходиться безъ фронтальной атаки и, слѣдовательно, способамъ примѣнять фланговую. По этому намъ полагать, что тема Фридриха Великаго далеко еще не разыграна во всѣхъ своихъ варьяціяхъ, и что, напротивъ, она скорѣе ждетъ еще такихъ же своихъ виртуозовъ, какъ и тема Эпаминонда додалась въ Александрѣ, въ Аннибалѣ, въ Цезарѣ. Однажды же, какъ съ очевидностью уяснится дѣйствительное существованіе преимущества между фронтальнымъ и фланговымъ типомъ атакъ, — станетъ яснымъ и послѣдній членъ этой прогрессіи. За разработкою какъ фронтальной, такъ и фланговой тактики, не можетъ оставаться для будущаго ничего больше, какъ только *тыльная* атака. Атаки тыльныя не новость и въ далекомъ прошломъ, хотя онѣ и не могли до сихъ поръ сдѣлаться господствующею системою. Не говоря, конечно, о тѣхъ, въ какія развиваются всѣ другія, извѣстны тыльныя атаки и сами по себѣ, отдѣльны отъ общей. Ихъ очень счастливо употреблялъ Аннибалъ, какъ, напримеръ, при Требиніи и при Тразименѣ, хотя и въ очень грубомъ видѣ, въ видѣ засадъ. Конечно, это способъ нападенія крайне рискованный, подвергающій большой опасности и самаго нападающаго; конечно также, что это способъ крайне трудный, даже и въ его грубѣйшихъ формахъ, не только въ утонченныхъ, такъ что Фридрихъ прямо даже запрещалъ его своимъ генераламъ. Но все это объясняетъ только почему до сихъ поръ такой способъ не могъ изволироваться, сдѣлаться самостоятельнымъ; и все это нисколько не доказываетъ, что, при дальнѣйшемъ развитіи искусства, онъ останется на томъ же мѣстѣ. Напротивъ, чѣмъ онъ труднѣе, чѣмъ болѣе предполагаетъ искусства, тѣмъ вѣрнѣе дѣлается онъ и содержаніемъ будущаго. Отказаться отъ него навсегда, какъ отказывался Фридрихъ, изобрѣтательность военная не можетъ уже потому, что никакой другой способъ нападенія не обѣщаетъ и столько выгодъ, какъ этотъ. Ины

всѣ удобства и косвеннаго, и фланговаго нападенія, тыльное приобращаетъ еще ту выгоду, что заставляетъ противника дѣлать два совершенно противоположныхъ фронта, и тѣмъ ставить его положительно между двухъ огней. Во вторыхъ, оно направляетъ ударъ съ такой стороны, гдѣ онъ менѣе всего ожидается, и гдѣ позиція непріятельская менѣе всего бываетъ къ тому подготовлена. Но такъ какъ на простыя засады для этого, чѣмъ дальше, тѣмъ больше разсчитывать мудрено; то идеаломъ тыльнаго нападенія остается только то, чтобы не тайно, а явно, однимъ, наприимѣръ, маневрированіемъ, принудить противника волей-неволей принять бой съ тылу, противъ усиленнаго отряда, и при угрозѣ въ тоже время и флангу, и фронту. Въ стратегическомъ смыслѣ такая система атаки хорошо уже знакома исторіи: ее такъ блистательно обработалъ Наполеонъ (маренгская операція, ульмская). Наполеонъ тѣмъ именно и отличился между великими полководцами, что онъ былъ не столько тактикъ, сколько великій стратегъ. Но тактически-тыльная атака, вѣроятно, и долго еще не будетъ имѣть своего мастера, потому что это есть крайнее изъ возможныхъ изобрѣтеній военнаго генія, дальше котораго и идти некуда. Тѣмъ не менѣе возможность его, возможность вертѣть непріателемъ по своему произволу, путемъ маневрированій, уже и теперь достаточно доказана, хотя бы, наприимѣръ, тѣмъ же Фридрихомъ. При Цорндорфѣ, единственно своими маневрами, онъ трижды сряду принуждалъ своего противника, русскаго генерала Фермора, мѣнять свою позицію, такъ что этотъ послѣдній, начавши съ того, что стоялъ къ Пруссіи фронтомъ, а къ Россіи тыломъ, окончилъ тѣмъ, что сталъ тыломъ къ Пруссіи, а фронтомъ къ Россіи. Да и вообще для Фридриха было аксіомой, что самое малое движеніе одного изъ противниковъ всегда можетъ принудить другого къ большому. А если такъ, то не представляется невозможнымъ принуждать его и къ завѣдомому принятію атаки съ тыла. Во всякомъ случаѣ, это естественный вѣнецъ всего тактическаго искусства.— Наконецъ, о боевыхъ порядкахъ родовъ оружія приходится сказать немного. На востокѣ всякая битва начинается или колесницами или слонами, т. е. оружіемъ, приживающимся тамъ къ господствовавшей тяжелой кавалеріи. Назначеніе колесницъ и слоновъ есть прорвать линію непріятеля, образовать въ ней бреши. Когда это удалось, въ бреши эти устремляется *тяжелая конница*, т. е. оружіе выживающее, и рѣшаетъ побѣду. Когда побѣда рѣшена, пре-

слѣдованіе выпадаетъ на долю пѣхоты или, точнѣе, ополченія и естественной конницы, т. е. отживающаго оружія далекой патріархальности. На греко-римскомъ западѣ битву возбуждаютъ псымы и велиты, легкая пѣхота, т. е. родъ оружія, опять только приживающійся. Рѣшаетъ битву всегда *тяжолая пѣхота*, т. е. выживающій родъ. А преслѣдуетъ, по обыкновенію, тяжелая конница, т. е. снова оружіе отживающее. Въ наши времена готовится сражаніе приживающейся нынѣ артиллеріею, рѣшается выживающею *левою пѣхотою*, пожинается отживающею кавалеріею. Такимъ образомъ, въ рѣшеніи битвъ роды оружія слѣдуютъ въ томъ же порядкѣ, въ какомъ они и развиваются сами. Отсюда правдоподобность рѣшенія битвъ въ будущемъ одною *артиллеріею*.

Въ заключеніе всего тактическаго процесса, не бесполезно замѣтить, что и между самими: тактикою, стратегіею и военною политикою есть также своего рода преемственность. Конечно, нѣтъ случая, когда бы не было никакихъ признаковъ какой-нибудь изъ нихъ; но за то есть мѣстности и времена, гдѣ та или другая живетъ полнѣе всѣхъ прочихъ. Такъ изъ всего предъидущаго, полагаемъ, уже замѣтно, что въ древности такъ жила *тактика*, въ наши же времена живетъ такъ *стратегія*; откуда предположеніе, что въ будущемъ заживетъ такимъ образомъ военная *политика*. По крайней мѣрѣ, такой порядокъ ихъ послѣдовательности есть необходимый результатъ всего предъидущаго, и въ особенности результатъ безпрестанно развивающагося подготовительнаго періода боя и постоянно увеличивающагося разстоянія между сражающимися. Тактика начинается съ системы натиска; продолжаетъ она свою исторію подготовленіемъ боя перестрѣлкою; а въ наши времена въ этомъ подготовленіи состоитъ и весь почти бой, такъ что непосредственный натискъ берется развѣ лишь для послѣдней, рѣшительной минуты. Но есть уже стремленіе, и не рѣдко удачное, вовсе не допускать до этой минуты, и весь бой слагать изъ того, что прежде было лишь подготовленіемъ къ нему. Выѣстъ съ этимъ растетъ и роль подготовительнаго оружія, которымъ въ наше время есть артиллерія, и роль котораго вся въ будущемъ. Но если такое движеніе въ тактикѣ неопровержимо, то оно не можетъ продолжаться ничѣмъ больше, какъ перенесеніемъ центра тяжести изъ тактики вообще въ стратегію, какъ подготовительницу всей вообще тактики, и съ поля битвы на театръ войны вообще. Стратегія есть

еще болѣе подготовительное средство боя, чѣмъ. самая артиллерія, потому что она предрѣшаетъ судьбу не одной, а всѣхъ вообще частныхъ встрѣчъ. По той же самой причинѣ и изъ стратегіи всѣ тайны войны могутъ перенестись еще дальше назадъ, въ еще дальнѣйшій подготовительный періодъ, а именно въ военную политику, т. е. съ театра войны на театръ самой дипломатіи. И дѣйствительно, всѣ древніе полководцы были, чтобы ни говорилось о нихъ, по преимуществу, великіе тактики, равно какъ и самыя великія изобрѣтенія древности были также тактическія. Наоборотъ, новыя полководцы были по превосходству стратеги, и всѣ изобрѣтенія ихъ были скорѣе всего стратегическія. Хотя Густавъ Адольфъ и знаменитъ у насъ больше всего своими побѣдами при Лейпцигѣ и при Люценѣ; но ими обязанъ онъ не какой-либо новости въ тактикѣ, а именно только своей предварительной стратегіи, той стратегіи, которая заставляла его потратить столько времени на берегу моря, и той, которая столько разъ воздерживала его отъ рекомендованныхъ ему поспѣшныхъ встрѣчъ на полѣ битвы. Хотя Фридрихъ и дѣйствительно великъ своимъ тактическимъ изобрѣтеніемъ, до сихъ поръ не довольно признаннымъ; но онъ еще выше тѣмъ, чего никто у него не отымаетъ: грандіознымъ развитіемъ внутреннихъ операціонныхъ линій, при борьбѣ съ врагами съ трехъ сторонъ, т. е. подвигами чисто-стратегическими. Наконецъ, самъ Наполеонъ вовсе ничего не вносилъ новаго въ тактику, и если онъ поражалъ умы новизною, то лишь стратегическою. Въ немъ велики не столько Ульмъ, Маренго, Аустерлицъ, сколько стратегическая подготовка и того, и другого, и третьяго. Стратегіею былъ онъ великъ и тамъ, гдѣ былъ побѣждаемъ, какъ въ Саксоніи, въ 1813 году, или во Франціи, въ 1814. При томъ же, эти три полководца сосредоточили въ себѣ и всѣ три возможные типа стратегіи: Густавъ—осадную, Фридрихъ—позиціонную, а Наполеонъ — маневрную. Все это указываетъ на дѣйствительное преобладаніе у насъ стратегіи, а не тактики. Въ послѣдней франко-германской войнѣ стратегія и тактика, до сихъ поръ объединявшіяся въ одномъ и томъ же органѣ, теперь даже разобщились, при чемъ, отдѣлившись одна отъ другой, стратегія поставлена выше, въ лицѣ Мольте, а тактика ниже, въ лицѣ начальниковъ армій.

Исторія тактическаго права, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всего международнаго, окончена. Остается развѣ присвокупить внѣшнюю

исторію этого права, т. е. исторію его не въ самомъ себѣ, а по отношенію ко всей вообще культурѣ. Это тѣмъ необходимо, что безъ такой исторіи невозможно уразумѣть и закона международной побѣды. Технически-тактическое право есть все-таки право: оно болѣе или менѣе записано въ военныхъ кодексахъ, въ артикулахъ народовъ; между тѣмъ какъ побѣда есть явленіе обычно-тактическое, законы котораго не могли быть записываемы ни въ какомъ законодательствѣ. Этотъ-то чисто обычный и потому крайне международный законъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдній законъ всего тактического права, послѣдній законъ всего права международного, и вообще послѣдній законъ всего права и всей культуры, и остается намъ теперь констатировать. Судя ѿ ргіогі побѣда можетъ возникать изъ четырехъ различныхъ социальныхъ преимуществъ: 1) превосходства численнаго, 2) превосходства тѣлесныхъ силъ, 3) превосходства экономического и, наконецъ 4) умственного и нравственного превосходства. Эти четыре условія до того исконны, и такъ инстинктивно свойственны всѣмъ временамъ, что даже дикари предпочитаютъ выбирать своими вождями лицъ, соединяющихъ эти условія: большой ростъ, силу, свирѣпость и хитрость, какъ на примѣръ у бедуиновъ. Большимъ ростомъ, силою, яростью и хитростью брали и галлы, кимвры, тевтоны, нападавшіе на римлянъ. Съ теченіемъ времени перемѣняется только понятіе каждаго изъ этихъ четырехъ условій; но никогда не перемѣняется сущность ихъ, потому что она и перемѣниться не можетъ. Въ этихъ четырехъ средствъ нѣтъ никакого иного для побѣды, потому что двумъ врагамъ нечѣмъ больше ни соизмѣряться, ни превосходить другъ друга. И вотъ едва-ли кто-нибудь усомнится, что самыя первыя побѣды въ исторіи обязаны единственно первому изъ этихъ началъ,—началу *числа*. Это вполне достоверно уже потому, что въ первыя времена исторіи единственные существенныя различія между народами суть не умственные, не нравственные, и даже не физическія, не просто однѣ арифметическія, количественныя. Какому обществу случалось скопиться въ большемъ числѣ единицъ, то, конечно, бывало и сильнѣе другого, то имѣло и шансы побѣды надъ другимъ. меньшимъ. При равенствѣ всѣхъ другихъ условій, не-чему и побѣждать больше, какъ числу. Обычность этого факта въ патріархальной исторіи должна была быть такъ велика, что нисколько не удивительно то всеобщее мнѣніе древняго государственнаго востока,

по которому вся тайна войны состоитъ въ многочисленности армій. Такое мнѣніе весьма основательно выносится всякимъ государствомъ изъ всякаго предшествующаго ему патріархата. И мы видимъ, что востокъ во всю свою исторію не могъ разстаться съ этимъ убѣжденіемъ, такъ что первую заботою всякаго завоевателя всегда было тамъ набрать армію какъ можно многочисленнѣе, хотя бы это было самое безобразное ополченіе. Не думали о томъ, изъ кого набрать, какъ, обучены люди или нѣтъ, вооружены или безоружны, одинаково вооружены или разнообразно, на лошадяхъ или пѣшіе, въ порядкѣ идутъ или толпою,—лишь бы только числомъ было ихъ какъ можно больше. Таковы именно были даже тѣ позднѣйшія несмѣтныя ополченія персовъ, какія погнаны были на Грецію. Этихъ армій, главнымъ образомъ набранныхъ передъ самой войною и только на время войны, не умѣли даже считать иначе, какъ сбивши извѣстную часть ихъ въ кучу, и обвивъ ее извѣстнаго размѣра веревкой. Если веревка еще болталась, было, значить, меньше тысячи, и надо было впихивать еще нѣсколько кучъ; если же веревка натягивалась и сходилась концами, значить имѣлась въ рукахъ исконая единица. Съ другой стороны, здѣсь были люди, вооруженные единственно арканами, какъ сагатрійцы, были другіе, вооруженные просто палицами, какъ аравитяне, были третьи совсѣмъ нагіе и покрытые лишь звѣринными шкурами, какъ эѳіопляне, были четвертые, сражавшіеся на верблюдахъ, какъ бедуины. Понятно, что, при взаимности такого состоянія армій, никакой иной законъ побѣды дѣйствовать и не могъ, кромѣ патріархальнаго закона численности, закона забрасыванія однѣми шапками. Къ этому же направлена была и вся восточная тактика, которая состояла, какъ мы видѣли, въ томъ, чтобы свою боевую линію имѣть больше чужой, для того, чтобы сразу окружить врага со всѣхъ сторонъ и задушить его въ этомъ объятіи. Предубѣжденіе въ пользу численности было вкоренено не только на востокѣ, но даже долго въ Греціи, не смотря на то, что уже и въ виду восточныхъ народовъ были факты, неукладывавшіеся въ эту теорію, но которые тогда были еще слишкомъ рѣдки и малочисленны. Первымъ изъ такихъ фактовъ было завоеваніе Египта гиксами. Египетъ, обширная государственная страна, съ древней цивилизаціею, и во всякомъ случаѣ съ кастою воиновъ, которая насчитывала однихъ гермоэвианъ 160.000, при 250.000 келесирианъ, такъ внезапно покоряется дикимъ, кочевымъ

народомъ, который никакъ не могъ превосходить не только египтянъ, но даже одну военную касту своей численностью. Само собою разумъется, что еще меньше могъ онъ превосходить египтянъ умственно и нравственно, психически, культурой своей. А между тѣмъ покоренный остается въ неволѣ цѣлыя 200 лѣтъ, и освобождается не иначе, какъ на половину откупившись отъ своего завоевателя. Спрашивается, чѣмъ же онъ могъ побѣдить, если превосходство численностью тутъ не при чемъ? Одного такого факта было, конечно, слишкомъ недостаточно, чтобъ дѣлать изъ него выводы, какъ недостаточно было бы даже и теперь; тѣмъ болѣе, что фактъ этотъ слишкомъ древень, чтобъ быть яснымъ и очевиднымъ. Но вотъ другой, новѣе. Скискія орды, такія же дикія, какъ гиксы, набѣгаютъ на такое же издревле государственное и издревле цивилизованное общество, на Мидію, и, при Ціаксарѣ, также успѣваютъ завоевать ее, не смотря на всю отчаянность сопротивленія. Еще дальше, сами персы, которые, во времена Кира, едва выходили изъ пастушеской жизни, которые, въ числѣ своихъ кастъ, считали еще цѣлыхъ четыре пастушескихъ, номадныхъ, эти персы, впервые только устроенные для войны Киромъ, покоряютъ, однакожъ, одно за другимъ всѣ государства передней Азіи, изъ которыхъ каждое въ отдѣльности противопоставляетъ имъ не только гораздо большую численность войскъ, но и гораздо высшую культуру, какъ ассирійско-вавилонская, мидійская, лидійская, финикійская, египетская. Въ особенности же достоверно это противопоставленіе въ Лидіи, гдѣ Киръ долженъ былъ даже принять извѣстныя мѣры въ виду огромнаго численнаго превосходства противниковъ. Повсюду въ этихъ случаяхъ мы видимъ, съ одной стороны, весьма древнія государства побѣжденными, а весьма новыя общества побѣдителями. Тотъ же порядокъ вещей повторяется и при переходѣ изъ всей древней исторіи въ новую. Римляне очень долго сперва побѣждаютъ германцевъ: побѣждаетъ ихъ Марій, побѣждаетъ Цезарь. Но чѣмъ дальше въ имперію, тѣмъ чаще повторяется исторія Вара въ Тевтобургскомъ лѣсу, и наконецъ дѣло оканчивается тѣмъ, что полудикіе германскіе народы разбираютъ по частямъ всю западную римскую имперію. А ужъ она ли не въ состояніи была противопоставить варварамъ превосходство численное, будучи государствомъ въ 120.000.000? Она-ли не превосходила ихъ умственно, цивилизаціей, и нравственно, культурой! Восточная римская имперія

такая же древность, и такая же просвѣщенная, въ свою очередь падаетъ также подъ ударами чисто-варварскихъ народовъ: то гунновъ, то славянъ, то, наконецъ, турокъ. Аравитяне, едва выведенные изъ пустынь своихъ Магометомъ, едва вышедшіе изъ своего быта кочевниковъ, опять поработаютъ древнія государственныя общества, во всякомъ случаѣ гораздо болѣе ихъ просвѣщенныя, какъ, на примѣръ, Персія. Совершенно дикіе монголы завоевываютъ высокочивилизованный, въ сравненіи съ ними, Китай. (Случай завоеванія Руси можетъ быть относимъ въ категоріи численныхъ превосходствъ, такъ какъ каждое изъ раздѣленныхъ княжествъ русскихъ дѣйствительно было ничтожно въ сравненіи со всею ордою). Что же есть общаго во всѣхъ этихъ случаяхъ, и чѣмъ всё они объясняются? Во всѣхъ этихъ случаяхъ общаго есть то, что имѣется постоянно: съ одной стороны—древняя цивилизація, а съ другой—совершенно новое варварство, и что первыя, однаковы, побѣждаются вторыми. Безусловно обще въ этихъ случаяхъ то, что физически изжитое общество, не смотря ни на его численность, ни на его цивилизацію и культуру, неизмѣнно уступаетъ передъ всякимъ нежившимъ еще, но бодрымъ и свѣжимъ. А въ чемъ же эта бодрость и свѣжесть? ни больше и ни меньше, какъ въ простой свѣжести мускуловъ и нервовъ, въ выживаніи темпераментовъ, въ новости скрещиваній. Особенно явныя и многочисленныя тому доказательства имѣются о германскихъ народахъ, которые положительно представляются, во первыхъ, людьми огромнаго роста и громадной тѣлесной силы, а во вторыхъ, людьми большой выносливости и вообще энергіи нравственной. Сила и энергія—вотъ единственныя въ этихъ случаяхъ права на побѣду. Всѣ индивидуальныя свойства этого рода въ сложности своей, въ суммѣ, дѣйствительно способны развивать изъ себя громадную военную силу, такъ что, при равенствѣ всѣхъ другихъ условій, на примѣръ при одинаковомъ числѣ, она по необходимости должна оставаться побѣдительницей. Мало того, оказывается, что она можетъ оставаться побѣдительною даже при неравенствѣ цивилизацій и культуръ, если только высшая цивилизація и культура перестала уже сопровождаться физическою силою и энергіею представителей ея, т. е. если культурное общество отжило физиологически. Культурное неравенство способно тогда восполняться другимъ—или, численнымъ или энергическимъ. Не мудрено по этому, что, какъ арифметическая численность, такъ и физическая энергія заводять у себя и различныя, соотвѣтственныя имъ

тактики. Мы видѣли, что скиѣны, еракійцы, германцы подбирали себѣ военное построеніе, неповторяющееся потомъ въ культурной жизни: это—построеніе клиномъ, т. е. формою, которую принимаютъ даже физическія тѣла для вѣщей энергіи дѣйствія. Извѣстно также, что единственное военное обученіе, единственное подготовленіе такихъ народовъ къ войнѣ состоитъ исключительно въ охотѣ, какъ въ лучшемъ средствѣ для тѣлесныхъ упражненій каждаго индивидуума. Такая тактика, составляющая, послѣ завѣта численности, второй завѣтъ войны и побѣды, возведена въ теорію уже греками, при чемъ они довели спеціализацію тѣлесныхъ упражненій до гимнастики, а гимнастику до главнаго содержанія всѣхъ своихъ общенародныхъ игръ и всего своего воспитанія. То значеніе гимнастики, какое имѣла она у древнихъ, не могло основываться ни на чемъ больше, какъ на испытанномъ уже не разъ значеніи физической и нравственной энергіи въ войнѣ, и на всеобщемъ признаніи этого значенія. И такъ, въ концѣ концовъ, мы можемъ заключить, что другимъ и, при томъ, болѣе могущественнымъ закономъ побѣды есть законъ *энергіи*, законъ выживанія темпераментовъ. Еще позднѣе, а именно впервые въ исторіи Греціи, обнаруживается третій и четвертый побѣдный законъ. Какъ ни вѣрили греки въ свою гимнастику, въ значеніе тѣлеснаго развитія; но старое предубѣжденіе въ пользу численности въ войнѣ было такъ глубоко вкоренено въ греческихъ умахъ, а численное превосходство персовъ надъ ними было такъ громадно, что все это затмѣвало и самую вѣру въ энергію, которая выражалась господствомъ гимнастики. Наслѣдственный предразсудокъ былъ такъ могучъ, что когда греки побѣдили персовъ, они сами тому не рѣшались вѣрить, они считали это какимъ-то чудомъ, чѣмъ-то неестественнымъ и невѣроятнымъ. Въ своихъ поискахъ причины такой небывальщины, они не умѣли остановиться ни на чемъ больше, какъ на гипотезѣ дисциплины. Дисциплина въ войскахъ Греціи и отсутствіе ея въ персидскомъ войскѣ, — вотъ единственная тайна, какую находили греки въ своей неожиданной для нихъ побѣдѣ. И не мудрено: тайны эти останутся и до сихъ поръ тайнами. И, не смотря на многократное съ тѣхъ поръ повтореніе греческаго примѣра исторіею, военные историки и до сихъ поръ продолжаютъ объяснять ихъ всѣ тою же гипотезою дисциплины. Мы, съ своей стороны, противопоставляемъ ей другую, гипотезу культуры вообще, общаго превосходства одной культуры надъ другою, при равенствѣ физической силы и энергіи.

и при неравенствѣ, слѣдовательно, только числа. Въ примѣрѣ Персіи и Греціи побѣждаетъ, не смотря на число, не дисциплина, какъ полагали сами греки, а вся вообще высшая культура; а именно: съ одной стороны, культура экономическая, т. е. сравнительное богатство грековъ, промышленность ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вооруженіе греческое въ частности; съ другой стороны, культура нравственная, т. е. организація греческая, греческая политика, греческое право, тактика греческая (а въ томъ числѣ, конечно, и дисциплина, но только между прочимъ). Короче, самоуправляющаяся аристократія побѣждаетъ здѣсь аристократію иноуправляемую. А какъ всякая культура нерасторжимо связана съ подлежащею цивилизаціею, въ одну сторону, и подлежащею гражданственностью, въ другую, то и можно говорить, что въ разсматриваемомъ примѣрѣ побѣдила цивилизація, культура и гражданственность другую цивилизацію, культуру и гражданственность; и побѣдила именно, не смотря ни на численное превосходство, ни на равенство физическаго, племеннаго выживанія. Что численное преимущество персовъ было подавляющее, это не сомнѣнно, не смотря ни на какую критику цифръ. Мало также сомнителенъ и періодъ выживанія Персіи. Какъ ни эфемеренъ былъ вѣкъ этой восточной державы, но при Даріи, при своемъ третьемъ царѣ со временъ основанія, она была еще въ полномъ цвѣтѣ своемъ, а никакъ не въ періодѣ отживанія. И такъ иноуправляемая аристократія эта застигнута была самоуправляющеюся вовсе не въ періодѣ разложенія, а напротивъ скорѣе въ періодѣ слаганія своего, и потому если побѣждена, то побѣждена единственно и исключительно превосходствомъ культурнымъ. Самая быстрота персидскаго перелома отъ выживанія къ отживанію обусловливается и объясняется именно насильственностью удара. Опомнившись вѣдь отъ своей радости за успѣхъ въ оборонительной войнѣ, Греція ободрилась къ войнѣ поступательной, и внесла ее въ собственный домъ Персіи. Персія съ этихъ поръ не имѣла ни дня, ни часа для отдыха. Побѣды Конона и Аристиды не давали ей опомниться ни на минуту. Походъ Кира Младшаго противъ Артаксеркса обнаружилъ до осязательности всю бездну, раздѣлявшую обѣ культуры. Отступление 10.000 грековъ, подъ предводительствомъ Ксенофонта, популяризировало эту истину до такой степени, что уже Агезилай сталъ подумывать не о побѣдѣ только, а о сокрушеніи всего персидскаго могущества. Во времена же Александра Македонскаго мысль эта и эта вѣра сдѣлались всеоб-

щимъ убѣжденіемъ, сдѣлались общественнымъ мнѣніемъ всей Греціи, такъ что Александръ дѣйствовалъ почти навѣрняка. Наконецъ, надо же было Персіи найти себѣ и такого противника, какого нашла она въ этомъ военномъ геніи, и такіе громовые удары, какими онъ сокрушалъ ее. Словомъ, нѣтъ сомнѣнія, что безъ греческихъ и македонскихъ побѣдъ Персія могла бы существовать долго и долго, не меньше никакой восточной державы, не приходившей въ роковое столкновеніе съ высшей культурою. И если вѣкъ ея сократился такъ внезапно, то не иначе, какъ благодаря этому столь существенно неравному столкновенію. Смерть Персіи была положительно насильственная, а не естественная, тѣмъ болѣе что, когда гроза прошла, государство опять возстановилось и существуетъ до сихъ поръ. Такой же законъ, одиночно или въ помѣси съ другими, повторяется и въ средѣ самоуправленій древнихъ, каковы республики греко-македонскія, кареагенская и римская. Разница только та, что здѣсь мѣряются ихъ относительные аристократизмъ, тимократизмъ и демократизмъ. Греческія государства, во время подчиненія ихъ Риму, не говоря уже о полномъ физическомъ отживаніи ихъ, повсюду почти превратились изъ относительныхъ демократій въ относительныя олигархіи и даже иногда въ тираніи и монархіи; а потому когда Римъ побѣждалъ ихъ, то здѣсь его относительная демократія побѣждала не демократію же, а только уже относительную олигархію и даже просто тиранію и монархію. Также точно, и еще болѣе, въ Кареагенѣ относительная его тимократія, не смотря даже на полное ея выживаніе и, такъ сказать, на государственное ровесничество съ Римомъ, была однакожъ, въ концѣ концовъ побѣждена относительною демократіею, хотя обѣ и были самоуправляющіяся. Мало того, не было въ жизни Рима борьбы болѣе упорной, болѣе продолжительной, болѣе волебавшейся и больше всякой иной подвергшей испытанію судьбы самого Рима, какъ эта. Нужны были неимоверныя усилія для того, чтобъ вѣсы побѣды склонились наконецъ на одну сторону. А почему? потому что не было въ исторіи Рима, и такого равенства, такой близости культуръ, боровшихся между собою, какъ культура относительно тимократическая и относительно демократическая, при чемъ каждая была также и самоуправленіемъ. Чѣмъ ниже, чѣмъ несоизмѣримѣе культура, тѣмъ она легче, конечно, и побѣждается; чѣмъ ровнѣе, чѣмъ соизмѣримѣе, тѣмъ и побѣждается труднѣе. Войны однокультурныхъ народовъ

всегда болѣе или менѣе нерѣшительны; войны разнокультурныхъ всегда роковыя. У новыхъ народовъ вся ихъ борьба за существованіе носитъ тѣ же самые признаки. Иноуправленія и здѣсь одо-
лѣваются самоуправленіями; а въ томъ или въ другомъ изъ ино-
управлений относительныя аристократіи побѣждаются такими же
тимократіями, а тимократіи демократіями. Такъ, напри-
мѣръ, не было въ военной исторіи новаго міра иной великой борьбы между
иноуправленіемъ и самоуправленіемъ, какъ война Англіи и Сѣверо-
американскихъ Штатовъ, за независимость. Дважды возгоралась эта
борьба, и дважды торжествовало въ ней самоуправленіе надъ ино-
управленіемъ. Въ свою очередь, въ кругу иноуправляемыхъ
обществъ, т. е. въ Европѣ, между Англіею и Франціею ве-
лись въ средніе вѣка войны въ теченіи цѣлаго столѣтія; но
такъ какъ обѣ стороны были культурно равны, обѣ были иноупра-
вленіями и аристократіями, то и борьба ихъ не могла склониться
въ пользу ни той, ни другой стороны. Та-же нерѣшительность и
перемѣнчивость счастья сопровождала и всѣ войны континента въ
XVI и XVII в., пока не стало выясняться различіе ихъ культуръ, въ
пользу Франціи. Въ особенности яснымъ стало это превосходство
Франціи во времена ея революціи; а потому и военный геній скло-
нился тогда пуще всего къ ней. Во времена революціи одна только
Франція была на континентѣ тимократіей самоуправляющеюся, а
потому одна она и побѣждала всѣ другія, иноуправляемыя. При
встрѣчѣ съ Россіей, у Москвы, и съ Англіей, у Ватерлоо, она
споткнулась; но въ первомъ случаѣ она наткнулась на превосход-
ство племеннаго выживанія, а во второмъ на превосходство тимо-
кратизма и его степени самоуправления. Когда же стали яснѣе
обозначаться и всѣ континентальныя оттѣнки тимократизма и
конституціонализма; то первая же встрѣча тимократизма аристо-
кратическаго съ тимократизмомъ чистымъ, и конституціона-
лизма наполеоновскаго съ бисмарковскимъ, сдѣлалась для Фран-
ціи роковою. Испытаетъ-ли такую же судьбу эта германская
тимократія при встрѣчѣ ея съ русскою, съ демократическою,
особенно же, когда эта послѣдняя будетъ на столько же самоупра-
вляющеюся, и потомъ испытаетъ ли ее и русское самоуправленіе,
при встрѣчѣ его съ американскимъ,—въ этомъ вся загадка буду-
щаго. Еще же таинственнѣе вопросъ, воспрянетъ ли изъ забвенія
законъ энергичности, законъ новой расы, когда всѣ нынѣшнія аб-

солиютныя тимократіи должны будутъ уступить мѣсто свое демократіямъ абсолютнымъ. Какъ бы это ни случилось, но, согласно съ такимъ инстинктомъ культурности, шли и всѣ усовершенствованія тактическаго права, начиная съ Эпаминондова и оканчивая Фридриховскимъ, начиная съ холоднаго оружія и оканчивая метательнымъ. Всѣ они направляемы были къ тому, во первыхъ, чтобы съ меньшими силами можно было разбить большія (косвенный боевой порядокъ, фланговая атака), т. е. вопреки закону численности; и къ тому, во вторыхъ, чтобы личная физическая сила и энергія оставались ни при чемъ (метательное оружіе, артиллерія), т. е. чтобы можно было побѣждать вопреки закону качества, энергіи. Словомъ, они были направляемы совершенно въ пользу новаго, третьяго и самаго могущественнѣйшаго изъ законовъ, закона *культурности* и при томъ, сперва *экономической*, а потомъ *политической*. Таковы по нашему, три закона побѣдности, которыми, то отдѣльно, то вмѣстѣ, объясняются всѣ безъ исключенія побѣды, и чѣмъ онѣ общѣе, тѣмъ больше. Каждый изъ нихъ имѣетъ въ исторіи мѣсто преимущественнаго своего приложенія (число—въ патріархатахъ, сила и энергія—въ аристократіяхъ, экономическая культурность—въ тимократіяхъ, культурность политическая—въ демократіяхъ); но ни одинъ изъ нихъ нигдѣ и никогда не остается вовсе безъ дѣйствія. Каждый изъ нихъ можетъ, конечно, какъ и во всѣхъ остальныхъ наукахъ, производить пертурбацію въ каждомъ другомъ; но это нисколько не подрываетъ достоинства каждаго. Такъ, наприимѣръ, можно допустить, что, при борьбѣ за существованіе между такими обществами, какъ Китай и республика Сантъ-Марино, побѣда могла бы склониться въ пользу перваго, а не второй, т. е. единственно вслѣдствіе крайняго превосходства численнаго, и не смотря ни на какое превосходство культурности и энергичности. Равнымъ образомъ не трудно допустить и то, что одна энергія какихъ нибудь курдовъ или бедуиновъ въ состояніи сломить всю многочисленную и культурную азиатичность турокъ. Но за то противъ такихъ предположеній имѣются у исторіи такіе дѣйствительные факты, какъ, наприимѣръ, завоеваніе Кортесомъ и Пизарро Мексики и Перу. Т. е. въ каждомъ изъ двухъ случаевъ небольшая горсть европейцевъ оказывается способною бороться противъ цѣлыхъ царствъ, противъ всей безмѣрности превосходства въ числѣ и въ физическихъ силахъ, если только она одарена столь же безмѣрнымъ пре-

восходствомъ въ культуру. Также точно несоизмѣримость численная достаточна была у средневѣковой Швейцаріи и Австріи, или, еще болѣе, у Нидерландовъ и Испаніи;—и однакоже самоуправленіе первыхъ успѣло каждый разъ восторжествовать надъ иноуправленіемъ вторыхъ. А потому этотъ послѣдній законъ способенъ, значить, дѣйствовать не только при равенствѣ остальныхъ двухъ условий, но даже и при такихъ колоссальныхъ неравенствахъ въ нихъ, предѣлы которыхъ остается пока совершенно неизвѣстнымъ. Само собою разумѣется, что всѣ три превосходства вмѣстѣ составляютъ собою военную силу, абсолютно неодолимую ни для какихъ случайностей. Еще же лучший примѣръ культурной побѣды составляетъ естественное вымирание всѣхъ дикихъ племенъ предъ всѣми культурными. Какъ только крайности цивилизаціи, культуры и гражданственности сопоставляются гдѣ нибудь лицомъ въ лицу, то побѣда высшей крайности надъ низшею происходитъ каждый разъ даже безъ войны, путемъ одной мирной конкуренціи, одного стѣсненія въ средствахъ пропитанія, какъ дѣлается это съ краснокожими въ Америкѣ, съ папуасами въ Австраліи, съ неграми въ Африкѣ, съ инородцами въ Сибири. И единственный путь спасенія въ этихъ случаяхъ есть для дикарей лишь одно перерожденіе, какъ и происходитъ это иногда съ инородцами въ Россіи. Если же все это такъ, то исторія побѣды есть не что иное, какъ та же исторія цивилизаціи, культуры и гражданственности. Пока весь прогрессъ ихъ состоитъ лишь въ накопленіи все большихъ и большихъ обществъ, тѣмъ семья, т. е. пока длится періодъ патриархальности, до тѣхъ поръ длится и исключительное господство закона численности въ побѣдахъ; до тѣхъ поръ численность есть военная формула прогрессивности обществъ, единственная, какая тогда мыслима. Но съ тѣхъ поръ, какъ впервые достигнуты значительные размѣры обществъ и значительная продолжительность ихъ исторической жизни, впервые же даетъ почувствовать себя и новый факторъ, способный противопоставить себя прежнему: это—новость расъ въ противоположность съ древностью ихъ, свѣжесть ихъ въ сравненіи съ изжитостью; ихъ сила и энергія въ отношеніи къ разслабленію и апатіи, словомъ, меньшее число скрещиваній противъ большого, качество противъ количества. Энергія, потреблявшаяся въ теченіе тысячелѣтій, не можетъ оставаться такою активной, какъ та, которая едва почата. Что, напримѣръ, въ состояніи сдѣлать не только чис-

ленность, но даже и самая цивилизація, въ такомъ войскѣ, которое, какъ византійское, нуждалось въ устраиваніи рогаatokъ въ тылу своемъ для предупрежденія бѣгства, требовало клейменія новобранцевъ, для того, чтобъ остановить ихъ отъ побѣговъ, обязывало ихъ въ самой присягѣ на службу клятвою не обращаться въ бѣгство, наконецъ, принуждено было употреблять на своихъ сторожевыхъ аванпостахъ лучше собакъ, чѣмъ людей?.. Очевидно, что здѣсь могло быть спасеніемъ лишь пресущественіе самыхъ темпераментовъ. И дѣйствительно, этотъ законъ темпераментовъ есть, при такихъ условіяхъ, единственное средство обновленія общества, обновленія энергіи и движенія въ нихъ. А потому онъ и является новою военною формулою прогрессивности. Наконецъ съ тѣхъ поръ, какъ записана впервые такая глубокая разница культуръ, какъ самоуправленіе и иноуправленіе, съ тѣхъ же поръ явно выступает на сцену и третій факторъ побѣды, законъ культурности, развитія, который съ этихъ поръ и служить въ свою очередь третьимъ полноправнымъ представителемъ прогрессивности; отнынѣ она уже не столько въ числѣ и въ энергіи, сколько въ экономическомъ развитіи и въ превосходствѣ нравственномъ. Превосходство же это выражается съ тѣхъ поръ, съ одной стороны, иноуправленіями и самоуправленіями, а съ другой, аристократіями, тимократіями и демократіями; а потому какъ чередуются въ исторіи всѣ онѣ, также точно чередуются въ ней и побѣды ихъ другъ надъ другомъ. И такъ, исторія военной побѣды есть та же, что и исторія гражданской, т. е. побѣды въ развитіи, въ историческомъ прогрессѣ. Войско и война есть только тотъ спеціальнѣйшій органъ и та спеціальная функція, посредствомъ которыхъ одна культура, высшая, побѣждаетъ другую, низшую. Но этой формальной и явной побѣдѣ задолго всегда предшествуетъ тайная и существенная. Вотъ и вся тайна международной борьбы за существованіе: въ ней выживаетъ лучшій на счетъ худшаго.

Но что же такое еще такъ названная нами международность въ своей собственной средѣ? Изъ всего предъидущаго это сказывается само собою. Государственность всѣхъ трехъ порядковъ есть, конечно, тотъ главный фильтръ, свозъ который исторія прогоняетъ человѣчество, чтобы дистиллировать его для наилучшей жизни, къ какой только способно оно. И фильтрація эта состоитъ именно въ принудительности всего разнообразія государственныхъ правъ, въ насильственномъ инъорно-

рированіи ихъ въ нравы. Но, когда все разнообразіе это окажется исчерпаннымъ и все воплотится въ нравы, очевидно, что не останется мѣста и для самаго разнообразія государственностей. Тогда-то и наступитъ чередъ для международной безусловной, потому что настанетъ время для права въ полномъ смыслѣ универсальнаго, вселенскаго. Такимъ образомъ, международное право въ своей собственной средѣ есть, собственно говоря, отрицаніе всякой международной, потому что отрицаніе государствъ; такъ что если до тѣхъ поръ не захотятъ признавать его, то потомъ еще труднѣе будетъ это сдѣлать. Не надо, однакожъ, забывать, что рубежъ между государственностью и универсальностью долженъ быть такимъ же неопредѣленнымъ, какимъ былъ онъ, напримѣръ, между патриархальностью и государственностью. На этомъ рубежѣ должны попадаться такіе же амфибіи, какъ Китай, Мексика, Перу. Возможны, напримѣръ, организаціи общеконтинентальныя или общерасовыя, что нибудь въ родѣ государствъ-космополитій. И только тогда, когда пройдутъ и онѣ, наступитъ истинно-всемирное, общечеловѣческое право. И если позволительна въ настоящее время какая бы то ни было мысль о характеристикѣ такого права, то это развѣ лишь такими неопредѣленными терминами, какъ космополитизмъ, гуманизмъ, анархія, федерализмъ, вѣчный миръ и т. п. Одно только несомнительно, что такое право должно быть безусловно обычнымъ, абсолютно непринудительнымъ, факультативнымъ, тѣмъ оно и останется до конца вѣрнымъ международной природѣ своей. Это должно быть не право, а нравъ *).

Эстетика культуры.

Здѣсь предстоитъ изложить статику и динамику всѣхъ изложенныхъ выше культурныхъ движеній, т. е. объяснить ихъ гармонію между собою и ихъ мелодію. Но объясненія эти не могутъ на этотъ разъ назваться логикою культуры, потому что здѣсь они

*) Исторія культурнаго *возрожденія* (патріархальность), *прогресса* (государственность) и *застоя* (международность) окончена; и если жизни человѣчества суждено послѣ того продолжаться, то дагѣ возможна лишь исторія *регресса* культуры. А регрессъ этотъ, по нашей теоріи, долженъ состоять въ обратномъ прохожденіи всѣхъ предшествующихъ метаморфозъ, хотя, конечно, лишь въ аналогическомъ смыслѣ. Такъ регрессъ культуры предполагаетъ: опять возвращеніе отъ единого человѣчества къ какому либо подобію государствъ, національностей,

имѣютъ дѣло уже не съ идеями, какъ въ цивилизаціи, а съ образами. Учрежденія суть тѣже образы, но только въ творчествѣ социальномъ. Организациа, политика, право — суть воплощенія извѣстныхъ идеаловъ общежитія. А потому и всякая объяснительная теорія ихъ есть скорѣе эстетика культуры, чѣмъ логика. Эта социальная эстетика тѣмъ отличается отъ натуральной, что она комментируетъ творчество общественное, а не личное. Но на этотъ разъ вопросъ солидарности явленій представляется намъ чуть-ли не труднѣе самого вопроса послѣдовательности ихъ. Причины этой послѣдней очень не рѣдко явствуютъ уже изъ самого изложенія движеній, между тѣмъ, какъ взаимная связь ихъ всѣхъ между собою остается до сихъ поръ вполне проблематичною. Остается проблемой, чтобы такое множество и столь разнообразныхъ теченій всегда были чѣмъ нибудь и какъ нибудь между собою связаны, и при томъ въ каждой изъ своихъ послѣдовательныхъ фазъ. А потому этотъ вопросъ социальной гармоніи и выставляемъ мы здѣсь на первый планъ, подъ именемъ эстетики статической.

I.

Вся вообще культура, со всей вообще цивилизаціей, связывается посредствомъ своихъ методовъ. Въ патриархальной культурѣ единственнымъ методомъ есть первобытная индукція, интуитивная, которую Бэконъ называлъ индукціею *per enumerationem simplicem*. Спрашивается, есть ли что нибудь общаго между этимъ методомъ культуры и современнымъ ему фетишизмомъ цивилизаціи? Но что же такое оба эти явленія, какъ не функція и не продуктъ ея? Интуитивная индукція есть функція данной интеллигенціи, а фетишизмъ есть ея продуктъ; а потому они и связаны между собою такъ тѣсно, какъ только могутъ связываться психическія явленія. Связь эта повторяется безпрестанно и повсюду, гдѣ оказывается для нея мѣсто. Такъ, дѣти всегда индуктивны, и, въ то же время, всегда фе-

и возвращеніе въ нихъ отъ демократій къ тимократіямъ, а отъ этихъ къ аристократіямъ. Разнымъ образомъ *существованіе* предполагаетъ возвращеніе изъ подобія государственности въ подобіе патриархальности, съ ея самодержавіемъ родовъ, семействъ, и наконецъ съ монархизмомъ каждой отдѣльной личности, какъ во времена патриархальныя. Что же касается возможнаго за симъ *перерожденія*, то оно составляетъ собою предметъ скорѣе антропологій, чѣмъ исторіи, ибо есть не что иное, какъ физическое вырожденіе вида.

типины: индутисты, потому что начинают съ познанія предметовъ по одиночкѣ, съ перечисленія ихъ, съ изученія самыхъ названій; фетишны, потому что каждымъ изъ этихъ предметовъ поражаются, что въ особенности замѣтно на ярихъ, и каждый же одухотворяють, какъ видно изъ того, что они бьютъ порогъ, о который ушиблись. Подобная же взаимность существуетъ и въ тѣхъ классахъ обществъ, которые болѣе прочихъ простодушны, каковы низшіе классы. У нихъ умозаключеніе не въ ходу, и вся ихъ дѣятельность направляется исключительно опытомъ, эмпирически. А въ то же время никто такъ не предрасположонъ и въ суевѣріямъ, примѣтамъ, талисманамъ, какъ они. Наконецъ, всѣ классы всякаго народа, на первой зарѣ его развитія, всегда бываютъ и эмпирики, и фетишны.—Не меньше метода гармонируетъ съ фетишизмомъ и искусство патріархальное. Единственнымъ такимъ искусствомъ бываетъ тутъ пляска. При отсутствіи храмовъ, жертвъ, молитвъ, идоловъ, единственнымъ богослужебнымъ средствомъ остается та естественная мимика, какою человѣкъ сопровождаетъ и до сихъ поръ всѣ сильныя движенія души своей, свои радости и печали. Дѣти и нынче отъ радости прыгаютъ; всѣ свои живѣйшія чувства выражаютъ онѣ гораздо больше тѣлодвиженіями, чѣмъ словами, которыхъ имъ такъ еще не достаеъ. Наименѣе культурныя сословія, въ свою очередь, наиболѣе поддерживаютъ всѣ національныя пляски, дошедшія къ нимъ отъ предковъ. А предки эти непременно завѣщали всякому народу такую или иную, но непременно пляску, и непременно отъ временъ ихъ безусловнаго индутизма и фетишизма. Чѣмъ меньше языка у человѣка, тѣмъ больше нужна ему мимика. Откуда-то и ведутъ свой родъ въ позднѣйшія времена всѣ баядерки, всѣ дервиши, всѣ шаманы.—Синхронистическое съ фетишизмомъ, индутизмомъ и пляской, политическое искусство все исчерпывается творчествомъ общежитія семейнаго, фамилнаго. Эти первыя соціальныя единицы суть въ политикѣ то же, что въ религіи первыя божества, въ методѣ—первыя понятія, въ искусствѣ—первыя мимическіе образы. Міръ, усѣянный отдѣльными семьями или родами, между которыми нѣтъ еще никакой связи, представляетъ полное созвучіе съ міровоззрѣніемъ, усѣяннымъ отдѣльными божествами, не знающими еще никакой системы, и съ языками, которые усѣяны названіями предметовъ, не сведенными еще въ роды и въ виды. Отечество здѣсь у каж-

дой семьи также особое, какъ особенна и религія, и языкъ. Фетишизмъ есть религія существенно домашняя, какъ семья есть общество существенно фетишистское. Отсюда-то и происходитъ, что въ семьѣ, не смотря даже на степень культуры, очень долго держатся всѣ признаки фетишизма, какъ напримѣръ, домашніе боги, фамиліные бюсты и портреты, завѣтные преданія, священные амулеты, и т. п. — Съ такою организаціею плотно совпадаетъ и сопутствующая ей политика. Экономическая политика этихъ эпохъ есть только повтореніе фетишизма: что тамъ было познаніемъ, здѣсь становится дѣломъ, что тамъ предметъ обожанія, здѣсь предметъ эксплуатаціи. Охота, съ ея одомашненіемъ животныхъ, скотоводство, съ его пастбищами, земледѣліе, съ его металлами составляютъ естественную практическую параллель умственному ознакомленію съ природой: животной, растительной, минеральной. Каждая изъ этихъ параллелей естественно питаетъ другую, становясь поочередно то причиной, то слѣдствіемъ. Даже и теперь, если гдѣ-нибудь занятія эти перестали быть доходными или необходимыми профессіями, то они все еще составляютъ существенно домашнія, семейныя развлеченія общежитія, какъ охота, уженіе рыбы, комнатныя собаки, клѣтки съ птицами, цвѣтоводство, огородничество, садоводство и т. д. — Политика политическая этихъ временъ, т. е. бродячая, кочевая и неустойчивая осѣдая, есть такое неизбѣжное условіе всѣхъ предъидущихъ граней патріархальнаго быта, что, будетъ ли оно ихъ причиной или ихъ слѣдствіемъ, но разорвать ихъ положительно невозможно. Безъ кочевья, безъ бродячей жизни рѣшительно немыслимо въ эти времена никакое расширеніе умственнаго горизонта, никакое осѣдомленіе о разнообразіи природы. Передвиженіе съ мѣста на мѣсто есть въ эти эпохи единственное средство просвѣщенія, единственный путь накопленія опыта. Впослѣдствіи, въ государственной жизни, путешествіе все еще сохраняетъ это свое значеніе, но только уже сознательно и систематизируясь. А на сколько этотъ видъ кочевья сродненъ съ домашнею жизнью, мы видимъ и до сихъ поръ, какъ на переѣздахъ изъ городовъ въ села по временамъ года, такъ и на путешествіяхъ, предпринимаемыхъ въ качествѣ забавы, въ качествѣ развлеченія. — Наконецъ, право патріархальное едва ли даже нуждается въ какомъ-нибудь комментаріи. Могло ли оно быть инымъ, какъ исключительно домашнимъ и семейнымъ, когда вся организація была домашнею и семейною и вся политика такою же. Самое высшее даже развитіе этого права, т. е. до права наследственнаго, есть все-

таки простое послѣдствіе развитія семьи до рода. Правда, есть тутъ уже и собственно такъ называемое частное право, т. е. гражданское и уголовное; но и они отошли не далеко отъ общаго источника, — семьи. А именно вещное, съ его *res sese moventes*, есть простое послѣдствіе семьи, какъ вещи, какъ предмета собственности, а уголовное, съ его *jus vitae necisque*, послѣдствіе той же семьи, какъ личности, какъ предмета власти. — Судопроизводство этой формации, по состоянію современной ей цивилизаціи, было совершенно безпомощнымъ для открытія правды. Оно нуждалось бы въ разныхъ хитросплетеніяхъ дедуктивизма, для котораго вовсе еще нѣтъ почвы; а потому и оставалось одно средство — прибѣгать къ помощи сверхъестественной, къ суду Божію. Съ другой стороны, невозможность никакихъ углубленій въ вопросъ, никакихъ даже размышленій о немъ, неминуемо вела къ довольствованію однимъ голымъ фактомъ, помимо всякихъ анализовъ его: отсюда такъ названное нами вмѣненіе фیزیологическое, безъ малѣйшей задней мысли. — Роль публичнаго права играло здѣсь частное; но междупубличное существовало особо, а именно въ видѣ родовой мести и гостепріимства. Но что же такое эти два обычая, какъ не источники всего военнаго и всего мирнаго права, и источники именно семейные, домашніе. Местъ и гостепріимство до такой степени ингерентны семейному общежитію, что даже теперь, послѣ столькихъ эпохъ культуры, они находятъ здѣсь самое уютное для себя помѣщеніе. Ничто такъ не питаетъ мести, какъ нарушеніе семейныхъ интересовъ; ничто такъ не питаетъ гостепріимства, какъ опять тѣ же семейные интересы. Семейное оскорбленіе понятно и тамъ, гдѣ непонятно никакое другое, также какъ ревность понятна прежде всякаго иного чувства достоинства. Гостепріимство же и до сихъ поръ составляетъ тѣмъ болѣе вкорененный обычай, чѣмъ среда менѣе культурна: села гостепріимнѣе городовъ, простолюдины гостепріимнѣе вельможъ, Азія гостепріимнѣе Европы. Что же касается воздаянія, въ уголовномъ правосудіи, большимъ за меньшее, то оно есть прямое послѣдствіе характера мести, а не правосудія. Для мстительнаго чувства, для непосредственнаго гнѣва, долгъ, конечно, платежомъ красенъ, и соразмѣряется ни съ чѣмъ инымъ, какъ именнo со степенью возбужденности оскорбленнаго. Всякій гнѣвъ и до сихъ поръ бываетъ такимъ же каждый разъ, какъ онъ можетъ только ничѣмъ не сдерживаться, и каждый разъ, когда на его сторонѣ сила. — Такова статика патріар-

кальной формации культуры. Вои грани этой культуры слиты так тѣсно, что онѣ составляютъ собою дѣйствительное и неразрывное цѣлое.

Начало государственныхъ культуръ, а именно формация аристократическая, знаменуется прежде всего зарею дедуктивности. А дедуктивность культуры такая на этотъ разъ не съ религіею, не съ политизмомъ цивилизаціи (который продолжаетъ работу индукціи), а съ религіозною философіею и съ первыми проблесками математики. Дедукція и философія такія сестры, что устанавливать фамильное сходство ихъ нѣтъ никакой надобности. — Изыщное искусство этой культуры, напротивъ, все обусловлено современнымъ ему политизмомъ. Архитектура и скульптура суть совершенно необходимая потребность этихъ религій. Храмъ требовалъ водчества, идолъ требовалъ ваянія. Отсюда неотложное выживание пластины. Не говоримъ уже о тѣхъ связяхъ, какія простираются къ ней съ другого конца той же культуры, какія идутъ сюда отъ деспотизма и отъ аристократизма. Только деспотизмъ способенъ былъ стогнать цѣлыя поколѣнія на работы храмовъ и пирамидъ. Только аристократизмъ чувствуетъ потребность любоваться собою во всѣхъ своихъ общественныхъ положеніяхъ, и только для него бжести предковъ составляютъ часть его религіи. — Организация, повсюду принимавшая аристократическій складъ, принимала его также и безъ связи съ политическимъ мировоззрѣніемъ. Политизмъ есть тотъ же аристократизмъ, переведенный на языкъ мнелогіи, также точно, какъ аристократизмъ есть тотъ же политизмъ, сведенный съ неба на землю. Аристократія есть земное многобожіе, какъ многобожіе есть небесная аристократія. Аристократизмъ всегда и вездѣ политичесенъ даже внѣ формальнаго политизма: такъ въ средневѣковомъ монотеизмѣ онъ дакъ себя почувствовать обширною системою агіологіи. А политизмъ всегда и вездѣ аристократиченъ, даже внѣ формальныхъ аристократій: оттого-то средневѣковая агіологія и держалась до окончательнаго напора со стороны тимократіи, въ ея протестантизмѣ. — Экономическая политика такихъ организаций естественно предрасположена быть фзіократическою, быть сельско-хозяйственнымъ протекціонизмомъ. Однажды вознесши превыше всего аристократію, необходимо уже возвышать и естественный пьедесталъ ея — поземельную собственность. Аристократизмъ, даже попавши въ чужой вѣкъ, все таки пребываетъ въ интимности

съ этимъ протекціонизмомъ, какъ напимѣръ въ нынѣшней Англіи. Отсюда единственный источникъ обогащенія для него есть только природа: это единственно аристократическая производительная сила. Отсюда же и все натуральное хозяйство древнихъ. Отсюда также преобладаніе производства надъ воспроизводствомъ, сельскаго хозяйства надъ мануфактурой.—Что касается политики идеальной, то, при такомъ господствѣ вѣры, политика не могла вдохновляться ничѣмъ, кромѣ этой послѣдней, тѣмъ больше, что идея общественности не откуда было и черпать, какъ только отъ вѣры. Не только науки, но даже философіи общества еще не существовало; и наоборотъ существовавшая религія была какъ разъ религіею общества. А потому только она и могла давать тонъ обществу; только она могла снабжать его общественными идеалами, единственно популярными; только она могла направлять аристократическую политику. Съ другой стороны, всякая аристократія, по самой природѣ своей, религіозна; ибо обѣ онѣ, какъ аристократія, такъ и религія, основаны на вѣрѣ въ авторитеты. Одна есть авторитетъ духовный, другая — свѣтскій; оба они не могутъ не подсаивать другъ друга; и гдѣ нашелся одинъ изъ нихъ, туда необходимо просится и другой. Всякій легитимизмъ и до сихъ поръ продолжаетъ лнуть ко всякому клерикализму, какъ и наоборотъ, клерикализмъ къ легитимизму. Аристократія, которая разрываетъ съ вѣрою, сама на себя налагаетъ руки, какъ наложила, напимѣръ, французская въ теченіе прошедшаго столѣтія. Впрочемъ, разрывъ этотъ никогда и не бываетъ прочнымъ. Аристократія вольтеріанствующая всегда оканчивается шатобріанствующею. Если же такъ бываетъ даже съ относительными аристократіями, то во сколько же разъ должно было быть такъ съ безусловными, съ древними.—При такой организаціи и такой политикѣ, все право абсолютныхъ аристократій можно бы, кажется, предсказать напередъ: до такой степени онѣ строго логически предполагаютъ другъ друга. Можно ли было, напимѣръ, не разработаться въ аристократіяхъ праву наследственному, когда аристократизмъ только и живетъ, что наследственностью! Отсюда всѣ системы порядковъ и степеней родства, порядковъ и степеней наследованія; отсюда же и палладіумъ этого развитія—завѣщаніе. Или можно ли было въ здѣшнемъ вещномъ правѣ не развѣсть праву недвижимой собственности, когда все современное общество организовано на этой собственности, а вся политика экономическая—на земледѣ-

ли? Наконецъ, когда аристократію такъ хорошо устранивалъ самъ законъ, совмѣстимо ли было съ этимъ широкое примѣненіе договора? очевидно, что онъ могъ существовать лишь на столько, на сколько въ немъ нуждалась одна аристократія, одни поземельные собственники. Отсюда, во первыхъ, преобладаніе *status* надъ *contractus*, а во вторыхъ *contractus* знаетъ только *res mancipi*, только тѣ вещи, какія относятся къ недвижимой собственности.—Труднѣе объяснять статистику уголовнаго права, соотвѣтствующаго всей предъидущей обстановкѣ. Если признать, что характеристикю аристократическаго уголовнаго права есть система возмездія, то остается не довольно ясно, какими именно нитями сплетается эта система со всѣми остальными элементами того же строя. Можно ли, напримѣръ утверждать, что такая теорія по самой натурѣ своей аристократична? или политеистична? или дедутивна? или пластична? и т. п. Правда, древняя религія, и при томъ не только политеистическая, прямо возводитъ въ идеаль правосудія око за око. Правда также, что и самая философія эпохи не иначе понимаетъ справедливость, какъ въ смыслѣ воздаянія равнымъ за равное, или числа равнократно равнаго (пифагорейцы). Но дѣло въ томъ, что обѣ эти теоріи, и религіозная, и философская, были скорѣе послѣдствіями совершившагося факта, чѣмъ первообразною причиною его; а здѣсь желательно было бы узнать самую эту причину. Мы не умѣемъ въ этомъ случаѣ остановиться больше ни на чемъ, какъ на самомъ учрежденіи суда или судьи. Отдѣленіе лица мстителя отъ лица обиженнаго, уже одно и само по себѣ, прежде всякихъ теорій возмездія, непремѣнно должно было ослаблять мстительность, хотя бы то на одинъ градусъ. А такимъ градусомъ, послѣ возможно большаго воздаянія, и было воздаяніе равное. Устраняя непосредственное и страстное примѣненіе гнѣва, пропуская гнѣвъ сквозь призму посредничества третьяго лица, месть, по необходимости, выигрывала въ хладнокровіи. Если даже въ патриархатахъ струна эта различается уже смотря по тому, на мѣстѣ ли застигнуть преступникъ или нѣтъ, т. е. пылъ гнѣва успѣлъ остыть или нѣтъ; то на сколько же напряженіе этой струны опускается вслѣдствіе делегаціи гнѣва. А пророкамъ, философамъ, законодателямъ оставалось уже потомъ только сознать направленіе совершившихся фактовъ и формулировать его въ своихъ заповѣдяхъ, системахъ, кодексахъ.—Если система наказаній обусловила организацию суда.

то теорія доказательствъ — состояніемъ цивилизаціи. Фетишистская вѣра въ повсюдную сверхъестественность, въ легальность чуда для всякаго случая, начинаетъ колебаться. У политеиста есть уже философія и отчасти наука, а потому ему трудно уже оставаться при прежнихъ средствахъ распознаванія судебной истины. Но зато и изъ средствъ естественныхъ, человѣческихъ, ему оставалось пока только одно, самое наивное: ждать, пока преступникъ самъ себя обвинитъ, самъ откроетъ правду. И такъ надо, во что бы то ни стало, добиваться каждый разъ собственного его признанія. А какъ только эта идея возникла, — пытка, праведъ, вынужденіе признанія, напрашиваются сами собою. — Изъ числа государственныхъ правъ законодательное практикуется здѣсь непосредственно тѣмъ классомъ, какому принадлежитъ оно. Непосредственность эта, эта конкретность есть весьма естественное условіе для такого правящаго класса, который составляетъ въ обществѣ ничтожное меньшинство, и который всегда можетъ вмѣститься или въ монархической залѣ дивана или, по крайней мѣрѣ, на любой площади республиканской столицы. Не было, по этому, никакой надобности прибѣгать къ какимъ бы то ни было ухищреніямъ и косвеннымъ средствамъ для того, чтобы право жреца или гражданина могло упражняться. — Верховное право, въ качествѣ формальнаго, характеризуемо нами для аристократической среды, какъ синтетичное. Синтезъ власти и аристократизмъ ея едва-ли мыслимы другъ безъ друга. Чѣмъ меньшее число лицъ обладаетъ властью, тѣмъ, по необходимости, должна она быть и цѣльнѣе въ ихъ рукахъ, такъ что гдѣ ею владѣетъ одинъ, тамъ долженъ оказываться и величайшій синтезъ власти. Трудно разлагать ее на составныя части, пока она плотно еще сжата въ одной рукѣ. Правда, рука аристократіи самоуправляющейся не то, что рука деспота, и здѣсь уже можно было бы ожидать расплетанія этой интегральности. Да оно такъ было и въ самомъ дѣлѣ; съ этихъ поръ дѣйствительно впервые начинаются попытки разсортировки власти: но не легко же было сразу и разобраться въ ней, ориентироваться съ нею; не легко было напасть вдругъ на вѣрную классификацію. А потому анализъ власти, хотя поминутно и пробуетъ у древнихъ, но, какъ мы видѣли, постоянно неудачно. — Долговѣчность аристократическихъ монархій и эфемерность такихъ же республикъ, преобладаніе въ этой формаціи всякаго иноуправленія надъ всякимъ самоуправленіемъ и всякой

централизаціи надъ всякой децентрализаціей, все это обуславливается самою природою аристократической архитектуры обществъ. Аристократія остается вполнѣ вѣрна себѣ только въ союзѣ съ монархіей. Когда аристократія отрѣшается отъ монарха, она снимаетъ съ себя голову. Безъ него она лишается своей естественной вершины, своего естественнаго центра, остается безъ начала и безъ конца, и потому теряетъ всю цѣльность, всю устойчивость свою. А потерявъ ихъ, она не въ состояніи долго и конкурировать съ аристократіями монархическими, цѣльными, ни долго сопротивляться возвращенію къ нимъ. Всякое иноуправленіе, всякая централизація гораздо родственнѣе аристократизму, чѣмъ какое бы то ни было самоуправленіе или децентрализація. Аристократизмъ весь построенъ на системѣ неравенствъ, гдѣ каждый человѣкъ въ обществѣ имѣетъ свое особое мѣсто на общественной лѣстницѣ, и гдѣ нѣтъ почти ни одного человѣка вполнѣ равнаго другому. И если у такого общества отнимается послѣдняя его ступень, покрывающая собою всѣ другія и дающая всѣмъ имъ вѣсь, счетъ и мѣру, — принципъ распатывается, становится половинчатымъ, недосказаннымъ, какъ азбука, въ которой не рѣшаются произнести ни ея А, ни ея Z. Даже всякая относительная аристократія нуждается въ первомъ между нею, хотя бы это былъ *primus inter pares*. И всякая также, если разрывала когда-нибудь союзъ съ королемъ, то, во первыхъ, всегда на свою собственную голову, а во вторыхъ, и не надолго также. Напротивъ всѣ фрондировавшіе аристократіи всегда оканчивали болѣе ройялистскими, чѣмъ самъ король. — О должностномъ правѣ, которое въ аристократіяхъ, или точнѣе теократіяхъ, наследственно, распространяться нечего. Коренясь въ частномъ ихъ правѣ, наследственность не могла не продолжаться въ публичномъ. Помѣстичность, вѣчность, неподвижность всякихъ правъ есть самая душа аристократій, и всякая уступка ихъ въ этомъ есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, уступка и въ аристократизмъ. Впрочемъ, наследственность должностей есть такой *maximum*, такой *plus ultra* аристократизма, на которомъ онъ долго держаться даже не можетъ, какъ на всякой кульминаціонной точкѣ. А потому и самый аристократизмъ усвоиваетъ со временемъ, въ деспотіяхъ — систему назначеній, въ олигархіяхъ — систему избраній. — Въ правѣ подданическаго или, что то же, въ степеняхъ свободы, аристократизму извѣстна лишь свобода культурная, по той, вѣроятно, причинѣ, что главною забо-

той у аристократизма было отдѣлываться, по мѣрѣ возможности, отъ деспотизма, который одинъ успѣлъ тогда истощить всѣ свои излишества и злоупотребленія. Между тѣмъ, наоборотъ, аристократія, отождествлявшая себя съ церковью, и во всякомъ случаѣ, глубоко родственная съ религіею, никакъ уже не могла искать свободы отъ нея, и, слѣдовательно, свободы въ цивилизаціи.—Нужно ли послѣ всего этого говорить о сословномъ правѣ аристократій, какъ совмѣщающемся со всѣмъ остальнымъ порядкомъ вещей? Но оно и безъ того бьетъ ключомъ на каждомъ шагу, и кричитъ не только о своемъ совмѣщеніи, но о себѣ, какъ объ источникѣ всѣхъ этихъ совмѣщеній. Аристократизмъ сословнаго права и его подкладка, рабство, составляютъ собою всю ту ось древней культуры, на которую вся она наматывается, какъ въ иноуправленіяхъ, такъ и въ самоуправленіяхъ. Мы видѣли эту ось на каждомъ шагу до сихъ поръ, и не перестанемъ видѣть ее до конца этого обзора.—Административное право такихъ обществъ есть только вѣрное отраженіе этихъ обществъ въ самыхъ правительствахъ ихъ. Коль скоро все общество сосредоточено въ одну аристократію, какъ въ фокусъ, то вся аристократія тянется въ свою очередь въ правительство, какъ въ такой же фокусъ для нея самой. А правительство въ свой чередъ выстраивается въ еще строжайшую іерархію, по которой и тянется все въ новый фокусъ, въ верховную власть, въ деспота. Правда, въ республикахъ древнихъ этотъ центръ центровъ и фокусъ фокусовъ былъ на время устраненъ изъ всей остальной системы; но до какой степени это было насиліемъ надъ нею, искусственностью въ ней, она показала тѣмъ напряженіемъ къ восстановленію себя во всей полнотѣ, котораго и достигла въ каждомъ, безъ исключенія, случаѣ.—Наконецъ, боговдохновенность, догматизмъ и формализмъ всѣхъ этихъ законодательствъ вообще есть совмѣстное порожденіе и религіи, и искусства, и верховной власти, и аристократіи. Законодательства не могли не быть откровеніями тамъ, гдѣ сама власть была богомъ. Они не могли не быть догматичными, будучи повелѣніями самого божества. Они не могли не быть формальными, когда за нихъ брались жрецы и эвпатриды. Аристократія вездѣ и всегда церемоніальна, пристрастна въ формамъ; онѣ ей нужны также, какъ для религіи культъ. Поэтому правда аристократическая и правда формальная всегда были и будутъ синонимы.—Въ междугосударственномъ правѣ аристократической формации мы помѣтили, съ одной стороны, от-

чужденность государствъ, съ другой—преобладаніе военной политики надъ мирною. Національное отчужденіе, національная нетерпимость есть тотъ же самый духъ аристократизма, но только изъ внутреннихъ отношеній перенесенный на вѣшнія, съ междусословныхъ на международныя, гдѣ всякій народъ считаетъ себя, подобно высшему сословію, наилучшимъ, избраннѣйшимъ, а всѣхъ остальныхъ—паріями человѣчества, нечистыми. А отсюда и естественное отношеніе къ нимъ есть одно только,—война. Та и другая, отчужденность и война, суть также или прямыя послѣдствія, или же, быть можетъ, прямыя причины и существенно національнаго характера всѣхъ политенстическихъ религій. Гдѣ боги также прикрѣплены къ извѣстной территоріи, какъ люди, гдѣ у первыхъ то же самое отечество, что у вторыхъ,—тамъ не чуждаться иностранцевъ значило бы измѣнять богамъ своимъ. Гдѣ боги вмѣстѣ съ своими людьми воюють, побѣждаютъ, бываютъ побѣждаемы,—тамъ война есть высшее служеніе божеству, потому что распространеніе своей вѣры вмѣстѣ съ побѣдой. Равно и всякій исходъ войны можетъ быть тутъ лишь покореніемъ, лишь подчиненіемъ; иначе пришлось бы боговъ побѣжденнаго уравнивать съ богами самого побѣдителя, тогда какъ послѣдніе, очевидно, старше. Первые могутъ, и даже должны, быть допущены въ пантеонъ второго, но не иначе, какъ въ качествѣ меньшихъ боговъ, полубоговъ, героевъ; подобно тому, какъ и сами побѣжденные могутъ, и даже должны, быть допущены въ государство побѣдителей, но не иначе, какъ въ качествѣ низшихъ кастъ и сословій. Впрочемъ, война вросается въ аристократическую почву столькими корнями, что всѣ ихъ даже перечислять нельзя въ такомъ бѣгломъ обзорѣ, какъ этотъ. Такъ единственнымъ средствомъ государственнаго обогащенія при этой почвѣ есть только приращеніе территоріи, приобрѣтеніе новыхъ земельныхъ пространствъ, чего безъ войны сдѣлать невозможно. Единственнымъ средствомъ частнаго, личнаго обогащенія каждаго аристократа есть опять-таки только увеличеніе поземельныхъ участковъ каждаго, для чего снова нужна война. Наконецъ, войною созданная, войною питаемая, аристократія естественно проникается насквозь воинственнымъ духомъ, преданіями воинственными, такъ что начинаетъ любить войну и ради самой войны, ради процесса ея. Во всѣхъ мѣстахъ и во всѣ времена аристократія бывала классомъ, существенно воинственнымъ, а война — занятіемъ, существенно аристократиче-

скимъ.— Въ формальномъ между-аристократическомъ правѣ если и возможны по этому какія либо мирныя, дипломатическія связи, то развѣ только временныя, вынужденныя необходимостью, и, по минованіи оной, постоянно обрывающіяся. Онѣ здѣсь только терпимы отъ времени до времени, но не покровительствуемы, подобно неравнымъ бракамъ между кастами и сословіями. Въ формальномъ военномъ правѣ лучше всѣхъ, конечно, тотъ, кто наступаетъ, а не тотъ кто обороняется. Международную честь и славу приносить, съ аристократической точки зрѣнія, лишь политика наступательная, а не оборонительная. Стратегія этихъ аристократій поневолѣ будетъ крѣпостная, осадная, потому что это суть аристократіи муниципальныя, городскія, гдѣ каждый городъ, если не есть, то былъ когда нибудь особымъ государствомъ, самостоятельною крѣпостью. Въ между-аристократичной тактикѣ, войсками, арміями съ обѣихъ сторонъ будутъ только аристократія, высшія касты. А въ средѣ самыхъ кастъ и сословій военныхъ почотиѣ будутъ тѣ, которые знатиѣ, богаче, образованиѣ, словомъ, всадники, кавалерія. Кавалерія будетъ и потому первенствующею, что, при господствѣ наступательной политики, она представляетъ собою наибольшую силу разгона и натиска, а слѣдовательно и наиболѣе наступательный родъ войска. Родомъ оружія, господствующимъ въ этихъ условіяхъ, будетъ конечно, только кавалерійское, т. е. холодное. А коль скоро мечъ и копьѣ—господа на полѣ битвы, то и построеніе войскъ должно быть, съ одной стороны, линейное, съ другой—глубокое, потому что длиннымъ копьемъ можно доставать до врага даже изъ шестой шеренги. Когда же и всѣ первыя шесть полягутъ, нужны другія, третьи шесть и т. д. Наконецъ, нѣтъ аристократической добродѣтели выше храбрости, лѣзущей прямо въ глаза опасностямъ; а съ другой стороны, нѣтъ меньшаго военного опыта какъ у аристократій; поэтому и атака здѣсь естественна только безхитростная, только фронтальная. Такимъ образомъ, куда бы мы ни обращали взглядъ свой въ этой культурѣ, повсюду секретнымъ ключомъ къ ней оказывается все одинъ и тотъ же. Аристократизмъ есть этотъ единственный ключъ къ эстетикѣ всей этой культуры.

Эстетика культуры тимократической отърывается тою обобщенностью методовъ, гдѣ индукція и дедукція совмѣщаются, гдѣ первая хотя и преобладаетъ, но обходиться безъ второй не можетъ. Говорить о солидарности такой культуры съ соотвѣтственною цивили-

лизацією (т. е. естественными науками) значило бы повторять избитую истину. Какъ эта методологія предполагаетъ науку природы, такъ наука природы предполагаетъ обратно эту методологію. — Въ сферѣ изящнаго искусства сосуществуютъ съ ними, сначала, живопись, а позднѣе — музыка. Какъ у методовъ тѣсна связь съ наукой, такъ у искусствъ — съ религіей. Изъ числа религій монотеизмъ впервые сдѣлалъ своимъ содержаніемъ духъ человѣческій; а потому и искусство впервые же стало субъективнымъ, динамическимъ. Кромѣ того, монотеизмъ и прямо, непосредственно требовалъ для себя, съ одной стороны, живописи — для иконъ, съ другой музыки — для богослуженія. — Вся же организація тимократическихкихъ обществъ, политика и право выдають величайшее сродство свое съ современной имъ философіей. У древнихъ источникомъ соціальныхъ идей была религія, потому что это была религія общества; у новыхъ такимъ источникомъ стала философія, потому что это есть философія общества же. Религіозныя идеи этого рода, во первыхъ, перестали имѣть то обаяніе, какое имѣли въ древности и въ средніе вѣка, а во вторыхъ, оказались и слишкомъ поверхностными въ смыслѣ изученія общества; научныя же идеи объ обществѣ еще не успѣли; и такъ пришлось удовлетворяться идеями философскими. Съ перваго взгляда такое утвержденіе можетъ показаться парадоксальнымъ; но это только потому, что подъ философіей разумѣется обыкновенно лишь школьная, лишь всеобщая философія. Впрочемъ, и эта послѣдняя вовсе не обличаетъ парадоксальности: достаточно указать на соціальную философію Вико, Гердера, Гегеля. Еще же безапелляционнѣе подкрѣпляется такое утвержденіе всѣми частными философіями: юридическою, экономическою, политическою, военною и т. д. Философія права, начиная съ Гроція и Пуффендорфа, философія богатства, начиная съ Адама-Смита, философія государства, начиная съ Монтескье и Руссо, философія войны, начиная съ Генриха Ллойда, всѣ эти частныя и мелкіе каналы, на которые рассыпалась общая философія и которыми разнеслась по всему соціальному тѣлу до его послѣднихъ изгибовъ, всѣ они съ неопровержимостью свидѣтельствуютъ о томъ родникѣ, изъ котораго почерпаются всѣ соціальныя идеи и идеалы нашего времени. Всѣ эти, какъ крупныя, такъ и дробныя пути создали въ концѣ концовъ ту философію житейскую, практическую, ежедневную, безъ которой мыдохнуть не можемъ; создали тотъ складъ мышленія, то текущее нынѣ міре-

воззрѣніе, изъ котораго слагается вся наша умственная и нравственная атмосфера, и изъ которой намъ такъ же трудно вырваться, какъ и изъ физической. Всѣ наши цивилисты, криминалисты, публицисты, дипломаты, всѣ экономисты, социалисты, коммунисты, всѣ монархисты, республиканцы, конституціонисты, династы, всѣ консерваторы и либералы, радикалы и обскуранты, всѣ стратеги и тактики, всѣ они суть столько же маленькихъ философовъ и философій, въ которыхъ прежняя грандіозная философія размѣнялась на мѣдые гроши, но за то пребывающіе въ ежедневномъ обращеніи, и въ высшей степени популярны въ умахъ. И пусть не говорятъ, что, размѣнявшись такимъ образомъ, всѣ они переродились и по самому духу своему, что изъ дедутистовъ стали, наприимѣръ, индустистами, изъ метафизиковъ—позитивистами. Нисколько. Переродиться не значитъ еще переродиться. Переродились они лишь на столько, чтобъ метафизическіе круги мысленія сзуть, сдѣлать спеціальнѣе; самая же сущность метафизичности—абсолютизированіе той или другой идеи въ этомъ кружкѣ, осталась при нихъ цѣлкомъ. Каждая изъ этихъ узенькихъ школъ такъ же, какъ нѣкогда и каждая изъ грандіозныхъ, приписываетъ истину себѣ, и отрицаетъ ее у всѣхъ другихъ. Каждая изъ нихъ имѣетъ свой маленькій абсолютъ, свою миниатюрную сущность, идею идей, съ точки зрѣнія которой и разрушаетъ всѣ представляющіеся ей вопросы. Для монархистовъ такимъ абсолютомъ служитъ иноуправленіе, для республиканцевъ—самоуправленіе, для конституціонистовъ—компромиссы между тѣмъ и другимъ, для династовъ—та или другая фамилія. Для экономистовъ такимъ абсолютомъ есть капиталъ, для социалистовъ—трудъ. Для цивилистовъ одного направленія абсолютна буква закона и договора, для другого—духъ ихъ. Криминалистъ одной школы стремится къ ослабленію вѣнненія, криминалистъ другой—къ отягченію его. Для одного дипломата абсолютъ есть трактатъ, для другого—совершившійся фактъ; одинъ изъ нихъ безусловный поборникъ войны, другой—мира. У либерала абсолютизировано движеніе, реформа во что бы то ни стало; у консерватора—покой, во что бы то ни стало застой, и пр. и пр. И между всѣми ими та же самая непримиримость, та же невозможность ни въ чемъ сговориться, какъ и между спиритуалистами и матеріалистами, между сенсуалистами и раціоналистами, и т. д. Предъ этой-то фалангою измельченныхъ метафизиковъ никнетъ нынѣ всякая популярность патеровъ и монаховъ, и

все направленіе жизни и дѣятельности дается только первыми, а не вторыми. Послѣдніе, напротивъ, только, по мѣрѣ силъ, противодействуютъ тѣмъ; господами же положенія оказываются безусловно первыя, эти люди, которые вовсе и не думаютъ, что они философы, и которые подчасъ даже вооружены противъ философіи. Вооружаясь противъ цѣльной, универсальной философіи, они дѣлаютъ это лишь во имя дробной и специальной, подобно тому, какъ реформація, бунтуясь противъ папства и епископата, тѣмъ только ратовала за патеровъ, за рядовое священство. Но какъ послѣдняя оставалась все-таки религіей, такъ первая остается все-таки философіей. Отсюда — то и всѣ тѣ ходкіе философскіе афоризмы, которые снуютъ теперь въ общежитіи, какъ сновали нѣкогда догматы, изъ которыхъ смѣло все выводится, и къ которымъ смѣло сводится все, которыми можно все доказать и все опровергнуть; какъ, напр.: государство есть договоръ, государство есть заговоръ, нація есть среднее сословіе, нація есть четвертое сословіе, капиталъ есть накопленный трудъ, капиталъ есть эксплуатація труда, собственность есть основа общежитія, собственность есть кража и т. п.; или: свободная церковь въ свободномъ государствѣ, король царствуетъ, но не управляетъ, если хочешь мира, будь готовъ къ войнѣ, кто обходитъ, самъ обойденъ; и проч. и проч. т. п. Впрочемъ, средніе классы и всегда предрасположены къ философичности, точно также какъ высшіе — къ религіозности. Это замѣчалось уже и въ древности. Въ Индіи, въ Египтѣ, въ Персіи войны, которыхъ, сравнительно съ жрецами, можно разсматривать какъ средній классъ, всегда были въ оппозиціи съ жрецами. Оппозиція же жречеству не могла обходиться безъ того, чтобъ не задѣвать и самую религію. И дѣйствительно, если религіозный протестантизмъ имѣлъ свое мѣсто и въ древности, то это именно въ индійской кастѣ воиновъ, въ буддизмѣ. А всякій религіозный протестантизмъ и есть первый фазисъ философствованія. Вся философія греческая родилась, какъ извѣстно, въ колоніяхъ, а не въ метрополіи, т. е. въ средѣ отбросковъ греческаго общества, а не въ самомъ цвѣту его. Всѣ средневѣковыя ереси находили себѣ мѣсто постоянно въ городахъ, а не въ рыцарскихъ замкахъ. Всѣ ересearchи выходили постоянно изъ людей средняго сословія. Наконецъ и въ каждомъ обществѣ, взятомъ изолированно, высшіе его классы гораздо дольше хранятъ набожность, средніе же гораздо скорѣе ударяются въ критику. Са-

мое положеніе среднихъ классовъ между аристократіею и демократіею, при чемъ отъ послѣдней они отстали, а къ первой не пристали, предрасполагаетъ ихъ къ зависти, къ соперничеству съ аристократіею, а слѣдовательно и ко всевозможной критикѣ какъ самой аристократіи, такъ и всѣхъ условій ея. Отсюда опять и опять смѣна стимуловъ религіозныхъ философскими. Словомъ, какъ аристократизмъ всегда чувствуетъ интимность къ клерикализму и ультрамонтанству, такъ бюргерство, буржуазія — къ протестантизму, къ диссидентству, къ раціонализму. — Въ частности, переходя къ организаціи тимократій, увидимъ, что организація эта есть почти сколокъ съ самой философіи. Какъ тамъ, такъ и здѣсь нѣтъ ничего разъ навсегда принятаго, святаго, какъ было въ религіи или въ аристократіи, ничего неподвижнаго и непреступнаго. Напротивъ, какъ тамъ, такъ и здѣсь все постоянно возводится во святыню, и все же вслѣдъ за тѣмъ разоблачается. Какъ тамъ возникаютъ и никнутъ школы, съ ихъ новыми каждый разъ абсолютами, такъ здѣсь то и дѣло восходятъ и нисходятъ общественные классы съ ихъ новыми каждый разъ принципами. Въ самомъ дѣлѣ, что такое тимократія? и дѣйствительно-ли это есть господство какаго бы то ни было одного цѣльнаго класса? Ничуть не бывало. Выраженіе средніе классы хорошо лишь для краткости; въ сущности же здѣсь нѣтъ ни какаго однороднаго класса; но они то и дѣло смѣняются одинъ другимъ. Есть, на примѣръ, въ тимократическихъ обществахъ и аристократія; но съ нею весьма рано уже входитъ въ общеніе высшая буржуазія. Едва эта успѣваетъ облагородиться, примкнуть, повидимому, совсѣмъ къ аристократіи, какъ ей начинаетъ напоминать о дѣйствительности средняя буржуазія. Но вотъ обѣ буржуазіи, признавши себя чѣмъ-то совсѣмъ инымъ, чѣмъ дворянство и, одна-кожъ, чѣмъ-то весьма дѣйствительнымъ и безъ дворянства, видятъ уже подлѣ себя новое народженіе, — мелкую буржуазію, опять перестраивающую общество болѣе или менѣе по новому. Не успѣли всѣ онѣ сплотиться порядочно и оріентироваться, — какъ о-бокъ ихъ оказывается уже новый претендентъ на мѣсто за столомъ, и на этотъ разъ уже чисто-демократическій. Такимъ образомъ, абсолютнаго класса здѣсь нѣтъ никакого; но всѣ и каждый дѣлаются на время абсолютными, точь въ точь какъ организаціи философскія. Но какъ философія отъ религіи отстала, а къ наукѣ не пристала, такъ и тимократія есть все то, что отстало отъ ари-

стократіи, не приставъ еще къ демократіи. И въ этомъ-то лишь смыслъ тимократіи есть господство среднихъ классовъ; среднихъ потому только, что исключаются лишь самыя послѣднія крайности.— Въ такомъ же точно смыслѣ экономическая политика этихъ организацій есть меркантилизмъ, капитализмъ, мануфактуризмъ. Т. е. она исключаетъ только крайности какъ фізіократіи, натурального хозяйства, такъ и социализма, хозяйства кредитнаго, и вмѣщаетъ въ себя все, что можно помѣстить между обоихъ полюсовъ. А такая политика вполне и совпадаетъ съ такою организаціею. Политика политическая вдохновляется у тимократій правомъ, духомъ законности, справедливостью. Съ перваго взгляда двѣ такія политики, какъ промышленная и правовая, двѣ такія разновидности, какъ фабрикантъ и легистъ, очень плохо вяжутся между собою, но тѣмъ не менѣе между ними царствуетъ глубочайшая круговая порука. Законодательство, судъ, администрація сдѣлались въ тимократіяхъ дѣломъ не только специалистовъ, экспертовъ, но и всякаго буржуа, дѣломъ обширнаго класса среди населеній. Каждый промышленникъ попадаетъ отъ времени до времени то въ меры, то въ бургомистры, то въ альдерманы, то въ присяжные, то въ депутаты, каждому изъ нихъ, какъ и любому юристу, приходится то прилагать законъ, то даже дѣлать его. Изготовление и примѣненіе закона перестало быть цеховымъ, сдѣлалось на столько же популярнымъ, какъ движимая собственность, какъ мануфактурное издѣліе; а потому оно и пошло съ этими послѣдними рука объ руку, поневоѣ сродняя тѣмъ и оба класса, и оба ихъ издѣлія. Промышленникъ всегда нуждается позанимствоваться у легиста, какъ легистъ еще чаще нуждается въ промышленникѣ. Но и это не все. До сихъ поръ они оставались все таки, по крайней мѣрѣ, разными профессіями, разными производствами, разными продуктами. Но есть между ними профессіи, есть производства, есть издѣлія, которыя оказываются ровно на столько же промышленными, на сколько и легистическими: это—адвокатура и журналистика. Въ адвокатѣ—промышленникъ и юристъ, въ редакторѣ—промышленникъ и публицистъ сливаются въ одну и ту-же профессію; политика экономическая и политика политическая перестаютъ раздѣляться, товаръ и идея отождествляются. Мало того, этотъ классъ людей, какъ цѣльнѣе всякаго другого выражающій всю эпоху, чаще всякаго другого и всплываетъ наружу, и достигаетъ всей высоты положеній. Мистеръ Джемсъ

Гордонъ Беннетъ, собственникъ New-York Herald'a, и адвокатъ Гриви, президентъ французской республики,—вотъ лучшія и нагляднѣйшія знаменія времени. Да и вообще всѣ государственные люди, всѣ министры выходятъ гораздо чаще изъ обоюдныхъ профессій, чѣмъ изъ одностороннихъ промышленниковъ или одностороннихъ литераторовъ. А потому-то и не мудрено, если политика права отгѣснила прежнюю, аристократическую политику вѣры, и сама стала на ея мѣсто. Въ Турціи, въ Россіи можно еще увлекать массы въ движеніе и политикою вѣры; но въ остальной Европѣ, а тѣмъ болѣе на новомъ континентѣ, это уже полный анахронизмъ.—А изъ такихъ двухъ политикъ само собою истекаетъ и все ихъ право. Въ гражданскомъ, напримѣръ, правѣ если что нибудь обязано жизнью тимократіямъ, то уже никакъ не семейное право: ему онѣ, очевидно, предпочтутъ вещное, также точно, какъ достояніе предпочитается у нихъ породѣ. И дѣйствительно, семейное право здѣсь почти экскорпорируется изъ кодексовъ, а инкорпорируется по преимуществу лишь вещное. А въ вещномъ, въ свою очередь, будетъ излюблено ими право движимой собственности, какъ то, на которомъ держатся всѣ средніе классы. Вмѣстѣ же съ тѣмъ, въ договорномъ, съ одной стороны, должны расплодиться договоры о движимости, а съ другой—договорныя отношенія вообще, такъ что *contractus* долженъ уравниваться со *status*.—Если гражданское право истокомъ своимъ имѣетъ матеріальную, промышленную политику, то уголовное беретъ начало въ идеальной, въ легизмѣ. Для духа законности, для идеала справедливости не столько важно карать энергически, сколько карать неизмѣнно, неукоснительно: отсюда новый уголовный органъ тимократій, сыскная, слѣдственная часть и прокуратура, дабы ни одно изъ преступленій не укрылось. Кромѣ того, въ новыхъ обществахъ государственное право возобладало надъ частнымъ; множество преступленій и въ особенности проступковъ, судившихся въ Римѣ или судомъ гражданскимъ, или семейно, или административно, теперь судятся государствомъ, его уголовнымъ судомъ; оттого и все уголовное право стало казаться государственнымъ. Наконецъ уголовная организація измѣнилась и въ смыслѣ самой магистратуры: короннаго судью замѣнилъ присяжный. Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ условій новой организаціи суда были и новыя функціи ея, а въ результатѣ ихъ и воздаяніе меньшимъ за большее. Новая и еще болѣе отдаленная

делегация чувства мести не могла не отразиться и новымъ, еще болѣе рѣшительнымъ ослабленіемъ его. Лучше пусть будетъ наказаніе слабо, думаетъ тимократія, но лишь бы ни одно преступленіе не осталось безнаказаннымъ. А коль скоро такъ, то интенсивность наказанія и не могла стать иною, какъ обратно пропорціональною съ экстенсивностью его. Не говоримъ уже о томъ объясненіи, какое лежитъ въ идеалахъ христіанства, и по которымъ лучше освободить десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго.—Теорія формальныхъ доказательствъ и теорія косвенныхъ уликъ суть прямой плодъ философіи общества, догадавшейся, наконецъ, что можно обходиться и безъ признанія преступника, а слѣдовательно безъ пытки и праведья.—Но настоящая палма первенства тимократій предъ аристократіями лежитъ въ нашемъ публичномъ правѣ, созданномъ тутъ почти цѣликомъ. Частное право въ весьма значительной степени разработано и древностью; публичное же есть произведеніе новыхъ временъ. Самое понятіе этого права предполагаетъ наличность публицистики, наличность философіи общества; а потому раньше, чѣмъ состоялось то и другое, не могло выживать и государственное право. При томъ же древнее государство было на половину патріархатъ, на половину государство (какъ будущее имѣетъ быть на половину космополитіей); чистымъ же государствомъ, вполнѣ государствомъ, пришлось быть только второй его формации. Частное право перестало тутъ слишкомъ реагировать на публичное; напротивъ, публичное стало воздѣйствовать на него, и во всякомъ случаѣ оказалось господствующимъ, а потому и плодъ отѣчалъ этому цвѣту.—Въ частности, говоря о правѣ законодательномъ, трудно удивляться системѣ представительства въ немъ: при такомъ многочисленномъ законодателѣ, какъ всѣ среднія сословія, непосредственное законодательство почти вовсе немыслимо, немыслимо въ его прежнемъ, конкретномъ видѣ.—Государственная власть, съ ея раздѣленіемъ на элементы, на первостихіи, и съ подраздѣленіемъ родовъ ея на виды и даже подвиды, это *chef d'oeuvre* тимократическаго творчества въ публичномъ правѣ, находится въ полной симпатіи со всѣмъ остальнымъ такимъ творчествомъ. Эта власть, химически анализируемая и разлагаемая, развѣ это не та-же религія, рассыпающаяся на безчисленное множество исповѣданій, сектъ, толковъ? развѣ это не та-же философія, размѣнивающаяся на мелкія, другъ отъ друга независимыя школы и почти теряющія

изъ виду не только общую мать, но и одна другую? развѣ это не та-же наука, распавшаяся на столько и столь отдаленныхъ одна отъ другой специальностей, что нуженъ почти особый трудъ для того, чтобъ припоминать имъ всѣмъ о ихъ общемъ происхожденіи?... Словомъ, развѣ этотъ процессъ, идущій въ культурѣ, не тотъ же самый, что идетъ и въ параллельной цивилизаціи?—Что же касается новой пропорціональности въ тимократіяхъ между иноуправленіемъ и самоуправленіемъ, то превосходство ихъ въ этомъ отношеніи надъ аристократіями въ высшей степени естественно. Во первыхъ, тимократія далеко не такъ родственна съ царственностью, какъ аристократія: тамъ родство ихъ считается и по знатности и по богатству; здѣсь же оно можетъ считаться только по богатству. А потому тимократизмъ безъ монарха вовсе не такой уродъ, какъ аристократизмъ. Тимократизмъ находитъ себѣ естественное начало и естественный конецъ и безъ того,—въ любомъ богачѣ, въ любомъ банкирѣ, въ миллионерѣ. Во вторыхъ же, тимократизмъ всегда, даже въ своихъ относительныхъ проявленіяхъ, былъ гораздо способнѣе къ самоуправленію, чѣмъ аристократизмъ, какъ доказали это Финикія и Карфагенъ, давшіе міру примѣръ государственнаго самоуправленія гораздо раньше и Греціи и Рима. Т. е. первый же разъ, какъ случились малѣйшія условія тимократическаго строя въ государствѣ, тотчасъ же они дали изъ себя и республиканизмъ или, по крайней мѣрѣ, конституціонализмъ, какъ въ городахъ Финикіи. Мало того, онъ и продержался здѣсь гораздо дольше, чѣмъ держалось гдѣ-нибудь аристократическое самоуправленіе. Напротявъ того, монархія тимократическая естественно теряетъ въ живучести, по сравненію съ аристократическою. Въ тимократіи монархизмъ чувствуетъ себя не совсѣмъ въ своей тарелкѣ. Онъ долженъ здѣсь болѣе или менѣе игнорировать въ себѣ то самое, отъ чего, однако жъ, онъ еще не отрекся:—свойства аристократизма. Онъ живучъ здѣсь на столько, на сколько именно способенъ къ этому игнорированію, на сколько способенъ поступиться аристократическими прерогативами. Но чѣмъ больше онъ поступаетъ ими, чѣмъ лучше приспособляется къ тимократіи, тѣмъ больше онъ растериваетъ монархическія свойства, больше становится королемъ-гражданиномъ, и близится къ республикѣ. А такое оживленіе одной формы въ тимократіяхъ и такое омерщвленіе другой и производитъ перемѣщеніе въ относительной устойчивости и неустойчивости обѣихъ.— Про должностное

право этой формации немного надо говорить. Вытѣсненіе всякой наследственности и всякой продажности должностей и широкое распространение избирательнаго права находятся въ тѣсномъ союзѣ со всѣмъ тимократическимъ строемъ. Избирательность эта есть только новое отраженіе той безповойной подвижности, какую представляютъ собою: и движимая собственность этого класса, самая неустойчивая изъ всѣхъ, и его промышленность, безпрестанно созидаящая и разрушающая состоянія, и его философія, мѣняющая свои абсолюты, какъ перчатки, и его собственные подклассы, набѣгающіе, какъ волны, одинъ на другой. А между тѣмъ, не смотря на кажущуюся прихотливость свою, избирательная система отлично, однакожъ, служить службу свою интересамъ среднихъ слоевъ населенія. Имъ надо властвовать и, въ то же время, не показывать этого; имъ надо быть среднимъ сословіемъ, но, однакожъ, играя роль народа: и вотъ они никого не стѣсняютъ въ правѣ выбора, предоставляютъ выбирать всѣхъ и каждого; а между тѣмъ этотъ свободный выборъ направляется вовсе не мимо тимократіи, напротивъ, онъ падаетъ на нее съ такой систематичностью, какъ если бы она была наследственна. — Подданныческое право тимократій или, что то же, мѣра свободы въ нихъ, въ особенности указываетъ на солидарность тимократіи съ философіей. Только религія знать не хочетъ ничего, кромѣ прозелита, и всѣхъ людей дѣлитъ на вѣрныхъ и невѣрныхъ, отлучая послѣднихъ, какъ отверженцевъ. Философія же вовсе не знаетъ ни ортодоксіи, ни гетеродоксіи; противорѣчіе не только не оскорбляетъ, но питаетъ ее; для нея всѣ ея школы равно ортодоксальны, и еретиковъ у нея нѣтъ. Отсюда вполне естественна свобода совѣсти, мысли, слова, совершенно невозможная при культурѣ, основанной на вѣрѣ. Съ другой стороны, какъ въ древности самымъ страшнымъ пугаломъ для свободы былъ деспотизмъ, такъ здѣсь стала имъ церковь, папство. А потому тимократическое развитіе свободы клонилось и этимъ путемъ все къ той же свободѣ въ цивилизаціи. — Чтобы показать, что сословное право среднихъ классовъ гармонируетъ со всѣми остальными, надо было бы повторить все предыдущее, но только въ обратномъ порядкѣ. А потому ограничимся только замѣчаніемъ, что средніе классы обществъ, которые равно далеки отъ крайностей, какъ аристократизма, такъ и демократизма, естественно протягиваютъ руку и всему, что, также какъ и они, представляетъ какое нибудь новое перепутье, какой нибудь новый ком-

промисль. Все это будетъ съ-родни имъ. Оттого-то эти классы и влекутся не столько къ религіи и наукъ, сколько къ философіи, не столько къ индуктивности или дедуктивности, сколько къ совмѣщенію ихъ, не столько къ пластикѣ или тоникѣ, сколько къ двумъ перепутьямъ между ними (живописи и музыкѣ), не столько къ деспотіи или къ диктатурѣ, сколько къ конституціи, не столько къ городской или космополитической республикѣ, сколько къ національной, не столько къ конкретному или абстрактному законодательству, сколько къ представительному, не столько къ наслѣдственному или жеребьевому должностному праву, сколько къ избирательному, не столько къ бюрократіи или къ земству, сколько къ балансируванію между ними, и проч. и проч. А пролетаріатъ, пауперизмъ есть такой же неразлучный спутникъ тимократій, какъ рабство у аристократій: богатство совсѣмъ и произойти не могло бы, еслибъ оно не производило бѣдности, точно также, какъ и самая бѣдность только и мыслима, что при богатствѣ. — Административное право тимократическое есть настоящая пляска по канату, туго натянутому между правительственною администраціею и общественною, между централизаціею и децентрализаціею, между иноуправленіемъ и самоуправленіемъ. Аристократическая центроостремительность ослаблена; но и демократическая центробѣжность не вошла въ достаточную силу; а потому обѣ онѣ и балансируютъ, какъ все въ тимократизмѣ. — Такимъ же точно колоссальнымъ компромиссомъ есть тимократическое право и по своимъ общимъ признакамъ. Такъ, напри- мѣръ, не будучи ни догматичнымъ, ни доказательнымъ, оно постоянно, однакожъ, является, по крайней мѣрѣ, мотивируемымъ. Такъ, не сдѣлавшись еще закономъ въполнѣ свѣтскимъ, оно не продолжаетъ, однакожъ, оставаться и духовнымъ, боговдохновеннымъ. Такъ оно вѣчно шатается изъ стороны въ сторону между формою права и его содержаніемъ, вѣчно не склоняясь ни на ту, ни на другую сторону, и т. п. — Дипломатическое право на столько же свойственно тимократизму, какъ и само торговое. Дипломатія есть та же международная биржа, тотъ же аппаратъ повышения и понижения курсовъ, учота кредитовъ, но только переставленный изъ фондовъ экономическихъ въ политическіе. Тамъ помѣщается балансъ торговый, здѣсь — балансъ политическаго равновѣсія, такъ что приставленные сюда Бисмарки, вовсе не шута, суть международные маклера. Оттого-то въ древнемъ обществѣ дипломатія и не могла развиваться, а разви-

лась только въ новомъ. Дипломатія, имѣя главной задачей своей выторговывать, употребляетъ для того и средства такія же, какъ въ торговлѣ: запросъ, лукавство, подмѣнъ, фальсификацію. Фердинандъ-Католикъ въ отвѣтъ на упрекъ, что онъ однажды обманулъ французскаго короля, съ жаромъ восклицаетъ: какъ, однажды! я обманулъ его десять разъ! Петръ Великій, при заключеніи Ништадтскаго мира, приказываетъ требовать всей Финляндіи, не для того, чтобы въ самомъ дѣлѣ получить ее, а только для того, какъ онъ говорилъ, чтобы было что уступить.— Наконецъ, тактическое право представляетъ еще одинъ великій компромиссъ; это—между наступательною войною и оборонительною, между осадною и маневрною, между рукопашнымъ оружіемъ и метательнымъ, между кавалеріею и артиллеріею, между глубокимъ строемъ и разсыпнымъ, между линейностью и пунктирностью, между фронтальною атакою и тыльною и т. д., чѣмъ и сродняетъ себя кровно съ тимократіею. Да и вообще новая война изъ, такъ сказать, поземельной, все болѣе и болѣе превращается въ промышленную, ища не завоеваній, а колоній, факторій, рынковъ, путей сообщенія. Изъ, такъ сказать, недвижимой войны она все больше становится подвижною, охотно возмѣщая завоеванія контрибуціями. Изъ войны героической она превращается въ механическую, нуждаясь не столько въ храбрости, въ героизмѣ, сколько въ вооруженіи, обученіи и богатствѣ. А всѣмъ этимъ опять и опять она, какъ нельзя больше, подлаживается къ духу среднихъ общественныхъ классовъ.

Хотя эстетика тимократіи этимъ окончена, но мы не посѣпшимъ разстаться съ нею. Пониманіе своей эпохи слишкомъ дорого для современника, для того чтобы не остановиться надъ нею больше, чѣмъ надъ всѣмъ прошедшемъ и всѣмъ будущимъ. А потому обозрѣвши тимократизмъ въ его частностяхъ, не мѣшаетъ еще свести въ немъ концы съ концами. Что такое въ самомъ дѣлѣ весь этотъ нашъ тимократизмъ въ своемъ итогѣ? и не есть ли это въ самомъ дѣлѣ какой-то колоссальный соціологическій компромиссъ въ исторіи? Все здѣсь, какъ мы видѣли, дѣйствительно колеблется между тѣхъ или иныхъ крайностей, не давая почти предпочтенія ни той, ни другой изъ нихъ. Цивилизаціей этого двуличнаго режима есть философія, т. е. въ свою очередь чистѣйшая сдѣлка между религіею и наукою, незнающая устойчивости ни догматовъ и суевѣрій одной, ни аксіомъ и теоремъ другой, и знающая только вѣчно воз-

никающіе и вѣчно пропадающіе тезисы и антитезисы. Она не знаетъ, собственно говоря, ни истины, ни лжи, а знаетъ только мнѣніе, только волненіе между двумя берегами. Возьмемъ ли религію тимократій, — и здѣсь окажется тотъ же компромиссъ, потому что религія эта окажется слишкомъ философскою для вѣры и слишкомъ религіозною для философіи. Самая наука тимократическая, и та садится между двухъ стульевъ. Для явленій одного порядка, матеріальнаго, физическаго, она есть; для явленій другого, нравственнаго, духовнаго, ея нѣтъ. Въ первомъ смыслѣ существуетъ величайшій позитивизмъ, невозможно ни малѣйшее суевѣріе; во второмъ существуетъ величайшій мистицизмъ, невозможность никакой позитивности. Такимъ образомъ и наука тимократическая есть только на половину наукой, на другую же половину она та же вѣра. Во всей культурѣ тимократіи опять тоже метаніе изъ угла въ уголъ. Методъ ея отчасти индуктивный, отчасти же дедуктивный; и оба они только все больше и больше уравниваются между собою. Излюбленное искусство ея есть именно то, которое пропадаетъ въ ту же минуту, какъ воспроизводится, — искусство звуковъ, это море тоновъ, то и дѣло переливающихся какъ волны, эта безконечная зыбь акустическихъ волнъ, подобная зыби идей въ философіи. А что такое сообщенная обществу тимократизмомъ организація, что такое этотъ конституціонизмъ, эта монархія съ отвѣтственнымъ министерствомъ, какъ не очевидная сдѣлка между иноуправленіемъ и самоуправленіемъ. Какъ философія, рядомъ съ прежнимъ божествомъ религіи, поставляетъ свой абсолютъ, такъ конституція, на-ряду съ прежнимъ деспотомъ монархіи, поставляетъ своего перваго министра, также измѣнчиваго, какъ философскій абсолютъ или музыкальный звукъ. Обѣ политики этихъ организацій суть новая музыка, новый океанъ скорѣе варьаций, чѣмъ темъ. Политика промышленная, устраняя такихъ явныхъ распорядителей, такіа ясныя темы, какъ земледѣліе и торговля, вся тѣмъ только и занята, чтобы постоянно крушить тѣ промыслы, тѣ издѣлія, тѣ состоянія, какія только что возносила на самый верхъ. Еще болѣе хамелеонская есть политика справедливости, всегда гибкая, неуловимая, вьющаяся какъ змѣя, и сегодня всегда не та, что вчера, подобно адвокату или газетѣ. Справедливость эта совершенно то же, что и параллельная ей промышленность, которая предлагаетъ, по мѣрѣ спроса, то одно, то другое, то про, то contra. Всемирный Times потому

именно и всеміренъ, что, во имя одной и той же справедливости, сегодня стоитъ за выговъ, а завтра за тори, и что каждый разъ отлично знаетъ, въ какой часъ полуночи переменить ногу. Частное право этой формаціи выносить на верхъ ту самую собственность, самое названіе которой есть движимость, и то самое вмѣненіе, которое волнуется вмѣстѣ съ переливами общественнаго мнѣнія. А гдѣ слѣдуетъ отыскивать верховную власть этой амфибіи? въ центрѣ ли ея, въ монархѣ? но онъ царствуетъ, и не управляетъ; на периферіи ли, въ народѣ? но онъ только избираетъ, и ничего не говоритъ; въ отвѣтственномъ ли министерствѣ? но его вѣчно тор-мозать палаты; въ палатахъ ли? но ихъ передергиваетъ то король, то народъ... И кто же послѣ всего этого скажетъ, гдѣ наша верховная власть. Вездѣ и нигдѣ. Сегодня, или въ одномъ обществѣ, она поближе къ монарху, какъ въ австрійскомъ императорѣ; завтра, или въ другомъ обществѣ, поближе къ министру, какъ въ Бисмаркѣ; тамъ опять поближе къ палатамъ, какъ въ Лондонѣ; здѣсь—поближе къ избирателю, какъ въ Вашингтонѣ. Въ явной монархіи король, въ явной республикѣ народъ,—вотъ неоспоримыя два верховенства; но тимократія умѣла изъ народа сдѣлать только великаго избирателя, огромный механическій приборъ для изготовленія верховной власти; а изъ монарха она сдѣлала куклу, манекенъ, которымъ такъ и щеголяетъ въ своей англійской королевѣ. Сюда же относятся и всѣ эти волненія между мѣрой божественности и человѣчности власти, между монархизмомъ и республиканизмомъ ея, между холопствомъ и гражданствомъ, между системой назначеній и системой выборовъ, между вѣковой администраціею и земскою, между центральною и мѣстной, которое составляетъ все ежедневное содержаніе нашей жизни, нашихъ надеждъ и опасеній. Но всего, быть можетъ, трагичнѣе въ этомъ смыслѣ положеніе нашей судебной власти, съ ея лоттерейной юстиціею, гдѣ никто не можетъ знать напередъ, правъ онъ или виноватъ. Судьба ея—вѣчно биться, какъ рыба объ ледъ, между буквами и духомъ, между формами и сущностью, между законными доказательствами и незаконными, между вмѣненіемъ и помилованіемъ, между правдою формальною и матеріальною, между мертвой совѣстью и живою. Все, что въ одной изъ инстанцій обвинено по одному изъ двухъ основаній, можетъ быть оправдано въ другой, по другому. И на всѣхъ этихъ путяхъ своихъ она то и дѣло хотѣла бы отречься отъ прежнихъ

боговъ своихъ, но не можетъ или не умѣетъ; то и дѣло хотѣла бы послужить новымъ богамъ, но робѣетъ и не рѣшается. Самая война и дипломатія наши суть продолженіе все той же исполинской нерѣшительности принциповъ, потому что это вѣчный приливъ и отливъ то дипломатическаго права, то консульскаго, то вмѣшательства, то невмѣшательства, то посредства конгрессовъ, то непосредственности сторонъ, то политическаго равновѣсія, то политической гегемоніи, и т. п.; потому что это вѣчная нерѣшительность между оборонительной политикой и наступательной, разрѣшающаяся лишь вѣчнымъ вооруженнымъ миромъ; потому что это постоянная середина между холоднымъ оружіемъ и огнестрѣльнымъ, между кавалеріей и артиллеріей, между глубокимъ строемъ и разсыпнымъ, между линейною тактикою и перпендикулярною, между фронтальною атакой и тыльной. Наконецъ что же такое и само, дающее тонъ всей этой вультурѣ, среднее сословіе, какъ не тотъ же компромиссъ между аристократическою натурою и демократическою. Не будучи ни тѣмъ, ни другимъ, ни павой, ни вороной, оно есть въ то же время отчисти и тѣмъ, и другимъ, ибо заимствуетъ замашки отъ обѣихъ. Словомъ, тимократія всегда вѣрна себѣ, всегда одна и та же: и на поляхъ битвъ, и въ залахъ дворцовъ, и на парламентскихъ скамьяхъ, и за прилавкомъ рынка, и на профессорской кафедрѣ, и на проповѣдническомъ амвонѣ, и у адвокатскаго пюпитра, и за редакторскимъ бюро. Вездѣ и всегда она двусмысленна, фальшива, лукава, обоюдоостра, вездѣ и всегда въ маскѣ. Оба крайніе общественные класса идутъ къ своимъ дѣламъ или нагло или, по крайней мѣрѣ, отерты; тимократія же подходитъ къ своимъ съ юридическимъ лицемѣріемъ, съ личиною Тартюфа, съ легальными фальсификаціями, съ дутыми, какъ ея золото, правами. Пораженный этимъ зрѣлищемъ амфибіи, О. Контъ, а вслѣдъ за нимъ и многіе другіе, провозгласили все это переходящимъ состояніемъ минуты, изъ котораго надо во что бы то ни стало выйти. Но, увы! то, что имъ казалось мимолетнымъ и случайнымъ, составляетъ, какъ оказывается, самую натуру всего того поволабнія обществъ, которымъ живетъ теперь человѣчество, такъ что выйти изъ нея значило бы выйти изъ самой формаціи, нынѣ текущей. Вся эта неопредѣленность идеаловъ, неувѣренность въ сегодняшнемъ днѣ, незнаніе, какой программы держаться, все это есть только самое естество тимократическаго слада жизни, которое, какъ ни гони его въ дверь, летитъ опять въ окно. Какіе тутъ прочные

идеалы, твердыя программы, всепримиряющія теоріи, когда весь геній эпохи въ томъ именно и состоитъ, чтобы какъ можно чаще и скорѣе мѣнять ихъ всѣ и каждую, и когда состояніе прехожденія ихъ всѣхъ есть единственно твердый и всепоглощающій идеалъ. Все это есть, конечно, непривлекательная, отталкивающая сторона тимократизма; но за то же она не единственная. Есть у этого Януса и другое лицо, о которомъ надо помнить также хорошо, какъ и о первомъ. Лицо это—буря, кипятокъ прогресса. Здѣсь, какъ въ кипящемъ котлѣ, элементы его то и дѣло то выносятся на поверхность, то осѣдаютъ на дно, чтобы снова всплыть и снова потонуть. Здѣсь, какъ въ водоворотѣ, встрѣчаются и бурлятъ самыя противоположныя теченія, работаютъ самыя разнообразныя принципы, образуя тѣмъ совершенный вихрь и хаосъ. Если этотъ вихрь не представляетъ ни аристократической, ни демократической устойчивости, ясности, простоты положеній, то никакая аристократія и демократія не въ состояніи обнаруживать такой силы подвижности, столько энергіи стремленія, такъ много способности прогрессированія. Аристократія есть только истокъ теченія, демократія—только устье его; самое же движеніе, самая ширь и глубь его только въ руслѣ, въ тимократіи. Ничего прочнаго и долговременнаго тимократизмъ дѣйствительно не созидаетъ; но въ своихъ ежедневныхъ созиданіяхъ и крушеніяхъ онъ выявляетъ всю колоссальность творческихъ силъ человѣчества. Аристократизмъ и демократизмъ суть режимы самодовольные, довольные себѣ; тимократизмъ же ничѣмъ и никогда не доволенъ, онъ вѣчно ищетъ, вѣчно мечется, никогда не успокаиваясь. Поставленный между двухъ огней, онъ, безъ своей двуличности, не въ силахъ былъ бы и проламинировать между этой Сциллой и этой Харибдой своей. Это есть то историческое горнило, гдѣ родъ человѣческій долженъ перегорѣть и переплавиться изъ одного культурнаго закала въ другой, совершенно противоположный. И онъ дѣйствительно перегорааетъ и переплавляется не по днямъ, а по часамъ, съ каждымъ днемъ что-нибудь выигрывая у аристократизма, и что-нибудь проигрывая демократизму.

Эстетика демократій, послѣ всего предъидущаго, понятна сама собою. Выживание здѣсь дедуктивизма надъ индуктивизмомъ предполагается тою массою точекъ отправления для него, какая общается къ тому времени не только естественными, но и общественными науками, а отчасти даже и психологическими.—Поэзія вообще, и

драма въ особенности, никогда не имѣла для себя такой почвы, какую можетъ найти, съ одной стороны, во всеобщей доступности умственныхъ наслажденій, съ другой—въ господствѣ интеллигенціи, и съ третьей—въ интересѣ и вкусѣ психологическихъ знаній, какъ очередныхъ послѣ социальныхъ.—Демократическая структура обществъ, даже относительная, всегда возможна была лишь по мѣрѣ распредѣленія въ нихъ знаній и нравственности. А потому максимальное ихъ распредѣленіе общаетъ и такой же максимальный, т. е. абсолютный демократизмъ. Всѣ относительныя демократіи, какъ среди перваго, такъ и среди втораго поколѣнія государствъ, всегда имѣли это таинство для себя условіемъ, *sine qua non* самаго демократизма. „Ни читать, ни плавать“ было для афинянина чѣмъ-то непонятнымъ въ гражданинѣ. Ни одно поселеніе въ Соединенныхъ Штатахъ не заводится, пока не построена школа. Ни одна также изъ извѣстныхъ до нынѣ организацій, кромѣ относительно демократическихъ, не въ состояніи была формировать такія личности, такое счастливое сочетаніе знаній и добродѣтели, какія даны, напримѣръ, въ Периклѣ или Вашингтонѣ.—Экономическая политика, основанная на трудѣ, какъ выживающей производительной силѣ, натуральна для демократій уже потому, что правящій классъ здѣсь (интеллигенція) есть представитель труда. Хотя же интеллигенція представляетъ только трудъ нервный; но и мускульный имѣетъ при ней всѣ шансы на почтеніе уже потому, что онъ трудъ, и что борьба между ними есть борьба равныхъ между собою. Доказательство тому примѣръ Аѳинъ, которыя въ минуту крайняго развитія своей демократіи терпѣли, наконецъ, въ гражданинѣ занятіе ремесломъ. Впрочемъ, всякое малѣйшее демократическое движеніе всегда солидарно съ идеей труда. Извѣстенъ, напримѣръ, девизъ французскихъ рабочихъ: *vivre en travaillant ou mourir en combattant*. Менѣе извѣстенъ болѣе категорическій лозунгъ американскихъ: трудъ создалъ эту республику, трудъ же и долженъ управлять ею. А если такъ, если дѣятельнѣйшею изъ производительныхъ силъ станетъ трудъ, то и распредѣленіе продуктовъ, совершаемое теперь подѣ квитанцію капитала, станетъ совершаться лишь по мѣрѣ предьявленія труда, или, что одно и то же тогда, по мѣрѣ кредита. Отсюда хозяйство кредитное гдѣ богатствомъ есть не размѣръ накопленнаго капитала, а только размѣръ накопленнаго довѣрія: тотъ всѣхъ богаче, кто пользуется наибольшимъ довѣріемъ. Съ своей стороны, такое водвореніе кредита ве-

деть въ небывалому развитію и положенію въ обществѣ торговли. Торговля уже и теперь нуждается въ гораздо болѣе общихъ и широкихъ соображеніяхъ и свѣдѣніяхъ, чѣмъ всякая иная промышленность; тогда же, при существованіи общественныхъ наукъ, она положительно должна приурочиться въ интеллигенціи обществъ. — Что въ экономической политикѣ трудъ, то въ политической — наука, общее мнѣніе, нравы. Какъ наука не можетъ быть въ антагонизмъ съ трудомъ, такъ и трудъ не можетъ быть врагомъ науки. Если такая экономическая политика возносить торговлю, какъ органъ распредѣленія матеріальныхъ благъ; то корреспондирующая ей идеальная политика ведетъ къ выживанію профессіи педагогической, какъ распредѣлительницы благъ умственныхъ и нравственныхъ. Намекъ на это мы видимъ даже въ Греціи, въ общественномъ положеніи ея философовъ и софистовъ. — Выживание изъ числа вещныхъ правъ авторскаго и изобрѣтательскаго есть неотразимое послѣдствіе положенія интеллигенціи; какъ и наоборотъ, положеніе интеллигенціи есть, въ свою очередь, послѣдствіе этой новой собственности, этого новаго источника обогащенія. Но доживаніе наслѣдственнаго и завѣщательнаго права, при такомъ порядкѣ вещей, весьма сомнительно: оно стояло бы въ явномъ противорѣчій съ системой распредѣленія по труду и по кредиту. Въ особенности же первое изъ нихъ мало гармонируетъ съ абсолютнымъ демократизмомъ; тогда какъ второе можетъ держаться, по крайней мѣрѣ, въ авторской собственности, которое весьма не рѣдко нуждается въ компетентномъ наслѣдникѣ. — Уголовное право, въ смыслѣ воздаянія, или совсѣмъ несовмѣстимо съ развитіемъ соціальныхъ наукъ, или же, если совмѣстимо, то развѣ въ видѣ не слѣдствій, а изслѣдованій преступныхъ событій, и не суда надъ ними и приговора, а экспертизы и заключенія. — Тѣмъ не менѣе демократическая версія суда все-таки имѣетъ мѣсто, а тѣмъ болѣе въ смыслѣ суда гражданскаго. Но этотъ судъ можетъ имѣть лишь научный характеръ; а потому онъ исключаетъ всякія юридическія таинства и обрядности, онъ предполагаетъ всевозможные способы доказательствъ, онъ удовлетворяется только свободнымъ убѣжденіемъ, только живою совѣстью, только матеріальною истиною. — Законодательная власть отчасти дѣлается излишнею при условіяхъ абсолютной демократіи, отчасти же совершенно преобразуется при нихъ. Излишнею она дѣлается вездѣ, гдѣ на мѣсто ея станетъ наука и, вмѣсто закона искусственнаго, по-

ставить свой законъ естественный. Хотя же и послѣ этого все-таки останутся, конечно, такія отношенія, которыхъ научный законъ не предрѣшаетъ; но и изъ нихъ добрая половина должна будетъ быть предрѣшена договоромъ, если не закономъ. И такъ, для законодательства остается только то поле, на которомъ не дѣйствуетъ ни наука, ни договоръ, т. е., по всей вѣроятности, самые незначительные случаи общежитія. А потому и для разрѣшенія ихъ достаточно простаго общественнаго мнѣнія, помимо всякихъ особыхъ аппаратовъ *ad hoc*. Во всякомъ случаѣ, принципъ большинства и меньшинства вовсе не демократическій принципъ: противъ него протестовали не разъ даже самыя относительныя и скромныя демократіи. Такъ на-примѣръ польская республика наставляла на принципъ единогласія. И какъ ни несчастливо было у нея его примѣненіе, но она даже погибла отъ своего *liberum veto*, т. е. отъ слишкомъ преждевременной высоты своего идеала. Такъ сербская оппозиція имѣетъ право на свою особую скупшину. Такъ русскій міръ тоже не знаетъ иныхъ рѣшеній; какъ единогласныя,—принципъ, проникшій даже и въ сенатъ Петра Великаго. Впрочемъ, даже и среди чистой тимо-кратіи раздаются уже голоса противъ режима большинства и меньшинства; при чемъ большинство представляется, какъ на-примѣръ Миллю, своего рода аристократіей и тиранніей надъ меньшинствомъ. А потому въ абсолютныхъ демократіяхъ, во всякомъ случаѣ, ужъ неужѣстны тѣ счетные приборы, тѣ громоздкіе механизмы для вычисления общественнаго мнѣнія, какіе такъ популярны теперь, подъ именемъ парламентовъ. — Верховною властью этихъ обществъ можетъ быть, наконецъ, дѣйствительно только самъ народъ; здѣсь уже нельзя растеряться въ поискахъ за этой властью: тутъ она также очевидна, какъ въ аристократической деспотіи. Конечно, монархическія демократіи даютъ еще мѣсто двойственности; но республики демократическія не даютъ уже никакого. Во всякомъ случаѣ, при излишествѣ законодательной власти, при возможности экспертизъ точной науки, при господствѣ договорныхъ отношеній, при контролѣ компетентнаго общественнаго мнѣнія, при упраздненіи уголовной юстиціи, при ослабленіи центральной бюрократіи, потребность власти сильно ослабляется, а та власть, которая и за всѣмъ тѣмъ все-таки остается, становится крайне пассивною. Если же нѣтъ никакой надобности въ энергичности ея, то нѣтъ также нужды и въ сосредоточеніи ея; а потому она и можетъ быть распредѣлена на возможно

большее число органовъ, тѣмъ болѣе, что анализъ ея достигаетъ здѣсь до послѣдней точности. — Должностное право такой среды понятнѣе всякаго другаго: оно, очевидно, жеребьевое, очередное, такъ какъ нѣтъ почти никого неспособнаго къ такой власти. Если это на минуту возможно было даже въ аристократической формаци, если возможно это для нѣкоторыхъ учреждений и въ тимократической; то въ демократической естественно всегда и для большей части учреждений. Остатки избирательности могутъ еще уцѣлѣть, въ особенности же въ диктатурахъ и для высшихъ должностей; но что касается остатковъ наслѣдственности, то они едва ли мыслимы даже и въ этихъ послѣднихъ условіяхъ. При точности социальныхъ знаній, управленіе обществомъ немыслимо безъ нихъ; а какъ знанія не передаются наслѣдственно, какъ передавался инстинктъ управленія, то и самыя высшія должности не могутъ оставаться наслѣдственными. Правда, кромѣ знаній, для этой цѣли можетъ требоваться еще нравственность, которая въ индивидуумахъ не всегда одинакова при одинаковыхъ знаніяхъ. Но для регулированія должностей въ этомъ отношеніи достаточно остатковъ избирательнаго права, и нѣтъ нужды прибѣгать къ наслѣдственному, тѣмъ болѣе, что оно не передаетъ и нравственныхъ качествъ, кромѣ самыхъ элементарныхъ. — Состояніе подданническаго права есть естественный антитезъ верховнаго и должностнаго. Если нѣтъ ни наслѣдственности, ни избирательности властей, если нѣтъ ни централизаціи іерархической, ни территориальной, если нѣтъ ни божественности, ни богопомазанности власти; то весьма естественно, что и подданническое право слагается совсѣмъ иначе и не можетъ стѣсняться ни деспотизмомъ свѣтскимъ, ни деспотизмомъ духовнымъ. Но какъ здѣсь такимъ же страшилищемъ, какъ они, является лишь общественное мнѣніе; то понятно, что и свобода должна развиваться, по преимуществу, въ сторону гражданственности. — Но всего любопытнѣе вопросъ о правѣ сословномъ, при наличности всѣхъ данныхъ абсолютнаго демократизма. Невозможность ни кастъ, ни сословій, ни самыхъ классовъ понятна сама собою. Остается возможность различія людей лишь по ихъ профессіямъ. Но это различіе также не исключаетъ возможности бездны между людьми, какъ, на примѣръ, бездна между интеллектуальными профессіями и ручными. Наконецъ, если бы и эта разница была сглажена посредствомъ параллельности обѣихъ профессій въ каждомъ индивидуумѣ; то все-

таки останется разни́ца между ними по способностямъ, по дарованіямъ. Способности эти все еще будутъ вгонять однихъ индивидуумовъ по преимуществу въ интеллектуальныя занятія, а другихъ — въ механическія и тѣмъ совидать новыхъ привилегированныхъ и новыхъ обойденныхъ судьбою. Само собою разумѣется, что необходима въ такомъ случаѣ новая борьба, борьба за уравненіе самыхъ способностей человѣческихъ; но достигнетъ ли она когда нибудь цѣли своей, — въ этомъ послѣдній вопросъ исторіи прогресса. И какъ бы ни казался смѣлымъ отвѣтъ утвердительный; но онъ весьма и весьма правдоподобенъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ умственныя и нравственныя различія людей не зависятъ главнымъ образомъ отъ различія въ ихъ общественномъ положеніи? Тѣ самыя повальныя различія, какія извѣстны въ качествѣ кастическихъ и сословныхъ, развѣ они происходили не отъ условій социальныхъ? Правда, что и въ средѣ одной и той же касты всегда были возможны, хотя и меньшія, однакожъ весьма значительныя различія между личностями; но сглаживаніе и этихъ различій не недоступно для педагогій и гигиены. По крайней мѣрѣ, предъ глазами у насъ тотъ поучительный фактъ, что даже условный демократизмъ, какъ сѣверо-американскій, производитъ, однакожъ, явленія, аналогичныя съ ожидаемымъ. Сто лѣтъ уже стоитъ республика, — и ни одного выдающагося дарованія въ ней еще нѣтъ; напротивъ, средній уровень интеллигенціи допускаетъ здѣсь лишь самыя незначительныя, въ сравненіи съ европейскими, колебанія вверхъ и внизъ. Такимъ образомъ, безусловное въ свое время равенство людей, т. е. умственное и нравственное, перестаетъ быть мечтою. Мечтою было когда-то и упраздненіе рабства; мечтою есть теперь устраненіе пауперизма; также точно нѣтъ ничего фантастическаго и въ искорененіи вулгарности въ обществахъ. — Верхъ административной децентрализаціи есть одно изъ тѣхъ свойствъ демократизма, которыя неотъемлемы отъ него всего болѣе. Централизованная демократія также мало воображима, какъ децентрализованная деспотія. Это было бы нѣчто въ родѣ иноуправляемаго самоуправленія, т. е. логическая бессмыслица. — Все же вообще право становится, по необходимости, и свѣтскимъ, и существеннымъ и доказательнымъ тамъ, гдѣ есть для него точная наука. — Международная система демократій, неспособная еще достигъ до общечеловѣчности, но достигающая до общекультурности, т. е. федерацій по культурамъ, обусловливается мно-

жестомъ иныхъ современныхъ ей факторовъ, какъ, напримѣръ, космополитическимъ гражданствомъ, пассивностью центральной власти, развитіемъ децентрализации, безусловнымъ мѣстнымъ самоуправленіемъ, и т. п.; такъ что гдѣ имѣютъ мѣсто всѣ эти, не можетъ не имѣть его и та. Кромѣ того, наука, на господствѣ которой демократизмъ залегаетъ, не знаетъ ни сектъ, ни школъ, какъ знали ихъ религія и философія; она никогда не бывала даже и до сихъ поръ національною, какъ тѣ, а всегда была и есть общечеловѣческою, или, по крайней мѣрѣ, общекультурною. А потому и вся держащаяся на ней система государствъ должна дышать тѣмъ же духомъ. Разъ, что предположена такая система государствъ, необходимо допустить и военную политику только оборонительную, потому что необходимо предположить не столько борьбу высшихъ культуръ между собою, сколько защиту высшихъ культуръ отъ низшихъ. Преимущественнымъ оружіемъ такой политики, само собою разумѣется, дѣлается артиллерія, съ одной стороны, какъ родъ оружія наименѣе наступательный, съ другой—какъ наиболѣе питающійся наукой. Изобрѣтеніе, напримѣръ, воздухоплаванія, неспособное существенно видоизмѣнить ни пѣхоту, ни кавалерію, — артиллерію можетъ перевернуть вверхъ дномъ, давая ей возможность обратиться въ самолетчайшую. Тогда-то и тактика можетъ обратиться въ настоящую пунетирную, и строй въ дѣйствительный разсыпной, и атака въ тыльную.

2

Эстетика динамическая, т. е. психологія послѣдовательности культурныхъ явленій, не рѣдко явственна уже изъ самого изложенія прогрессій, а потому здѣсь мы будемъ останавливаться надъ тѣми только случаями, гдѣ явственность эта недостаточна.

Такъ, въ исторіи метода одно изложеніе ея само по себѣ ничего еще не говоритъ о томъ, напримѣръ, почему вся эта прогрессія начинается съ развитія индукціи, а не дедукціи? почему, наоборотъ, продолжается она развитіемъ дедукціи? и почему завершается разнообразнымъ сочетаніемъ обоихъ методовъ. Между тѣмъ, психологическою причиною явленія есть, по всей вѣроятности, то свойство души, по которому впечатлѣніе предшествуетъ рефлексу. Индукція есть послѣдствіе системы Впечатлѣній; дедукція — послѣдствіе системы рефлексовъ. Индукція, въ системахъ религій, собирала впечатлѣнія человѣческаго рода; а дедукція, въ системахъ фи-

лософій, накопила его рефлексы. Когда же тотъ и другой матеріалъ накопился въ достаточномъ количествѣ, тогда сталъ возможнымъ третій процессъ, научный,—сравненіе впечатлѣній съ рефлексами, повѣрка однихъ другими, и окончательный выводъ о тѣхъ и о другихъ. Но и здѣсь, при этомъ соединеніи обоихъ методовъ, а именно въ самомъ началѣ его, въ естествознаніи, львиная часть работы выпадаетъ на долю индукціи, а не дедукціи, потому что предстоитъ провѣрять не столько рефлексы, сколько самыя впечатлѣнія. Естествознаніе дѣлаетъ сначала не что иное, какъ провѣрку всѣхъ религіозныхъ впечатлѣній природы, а именно въ своемъ наблюденіи и опытѣ; и только потомъ уже, въ выводахъ своихъ, провѣряетъ всѣ рефлексы философіи. Такъ провѣрены имъ всѣ впечатлѣнія и рефлексы, начиная отъ теллурическихъ и сабенстическихъ, которыя профильтрованы въ астрономіи, физикѣ, химіи и естественной исторіи, и оканчивая антропоморфическими, которыя процѣживаетъ нынче физиологія. Далѣе въ нашемъ обобщеніи слѣдуетъ равновѣсіе обоихъ методовъ, сопутствующее социологіи. Но откуда же требуется эта переимѣна пропорцій? и развѣ обществознанію не предстоитъ такая же провѣрка впечатлѣній общества и рефлексовъ по нимъ, а именно впечатлѣній политизма и рефлексовъ философіи исторіи? Конечно, предстоитъ; но дѣло въ томъ, что, при этой повѣркѣ, обществознаніе можетъ пользоваться результатами естествознанія; а пользоваться ими значить расширять контингентъ своей дедукціи, а не своей индукціи, и тѣмъ уравнивать оба приѣма. Съ другой стороны, кромѣ условій естественныхъ и общественныхъ, въ социологіи входятъ и условія психологическія. Эти послѣднія условія, пока нѣтъ соотвѣтственной науки, могутъ быть изучаемы лишь эмпирически, т. е. посредствомъ примѣненія собственной логики и психологіи каждаго наблюдателя. А примѣнять ихъ значить опять дѣйствовать дедуктивно. И такъ, равновѣсіе методовъ вынуждается въ социологіи обѣими этими нуждами ея. Индукціи отводится въ ней лишь поле чисто-общественныхъ явленій; явленія же естественныя и душевныя составляютъ арену дедукціи. Послѣ всего этого дальнѣйшій перевѣсъ дедуктивности надъ индуктивностью, предстоящій въ біографической психологіи, понятенъ самъ собою. Хотя эта психологія, въ свою очередь, должна будетъ провѣрять всѣ впечатлѣнія всѣхъ монотеизмовъ и всѣ рефлексы философіи человѣка; но въдѣ

и самая повѣрка ихъ возможна отчасти спекулятивная, по-мимо наблюденія. Въ виду этой заключительной сферы знаній будутъ имѣться аксіомы не только естественныя, но также и соціальныя; накопленіе точекъ отправленія для дедукціи будетъ, слѣдовательно, такъ велико, что она станетъ удобопримѣнима на каждомъ шагѣ; а отсюда и рѣшительный перевѣсъ ея надъ дѣятельностью индукціи. Кромѣ того, въ этому времени успѣютъ исчерпаться и самыя задачи прежнихъ, болѣе или менѣе индуктивныхъ знаній, такъ что и въ нихъ самихъ не останется мѣста ничему, кромѣ примѣненія накопленныхъ прежде, кромѣ раціональнаго искусства, т. е. изобрѣтеній натуральныхъ и соціальныхъ, кромѣ, слѣдовательно, опять-таки дедукціи. Этими двумя путями царство ея и обезпечивается въ концу исторіи прогресса.

Преимственность изящныхъ искусствъ есть преимственность Подражаній міровому творчеству. Но легче всего подражать внѣшнему міру, а труднѣе всего внутреннему: отсюда сперва подражаніе природѣ, потомъ обществу, и наконецъ личности. Самое низменное изъ этихъ подражаній, пляска, есть воспроизведенное сказаніе и прыганіе животныхъ, при всякомъ возбужденіи. А изъ чисто-изящныхъ искусствъ первымъ въ ряду ихъ идетъ статическое, пластика, потому что это есть подражаніе внѣшней природѣ: зодчество—подражаніе горѣ, ущелью, лѣсу, небу, землѣ; ваеніе—подражаніе растенію, животному, внѣшнему человѣку. Пластика не воспроизводитъ, и не можетъ воспроизводить ничего, кромѣ предметовъ объективной природы. Иное дѣло искусство динамическое, тоника, и переходъ къ нему, живопись. Живопись есть на половину пластика, на половину—тоника: пластика—въ пейзажной живописи, тоника—въ исторической. Въ первой воспроизводится только внѣшній міръ, во второй задѣвается и внутренній, хотя все еще только во внѣшнихъ его формахъ, сквозь которыя онъ едва сквозитъ. Это такой же компромиссъ между двухъ искусствъ, какъ общество—между двухъ природъ, внѣшней и внутренней. Наконецъ, съ тоникой искусство вступаетъ, если не исключительно, то преимущественно, въ міръ человѣческой души. Музыка, какъ подражаніе внѣшней природѣ, совершенно ничтожна, потому что это лишь звукоподражательная музыка. Та же, которая такъ могущественна въ мірѣ, есть лишь воспроизведеніе настроеній и чувствъ человѣческаго духа. Драматическая музыка способна достигать до выразительности почти

поэзіи, выразительности самаго слова человѣческаго. Наконецъ, поэзія соединяетъ въ себѣ способности всѣхъ искусствъ, а по преимуществу воспроизводитъ, конечно, міръ человѣческаго духа. Въ описаніи подражаетъ она природѣ; въ повѣствованіи—обществу; въ изображеніи—человѣку. Мало того, изобразительная поэзія опять перебираетъ всѣ по порядку предметы подражанія. Хотя постояннымъ предметомъ воспроизведеній ея всегда остается человѣкъ; но содержаніемъ эпоса есть человѣкъ въ природѣ, въ его отношеніяхъ къ естеству, подъ видомъ божества, или къ божеству, подъ видомъ естества; въ лирикѣ этимъ содержаніемъ есть человѣкъ самъ въ себѣ, въ своихъ радостяхъ и печаляхъ; въ драмѣ—это человѣкъ общества, въ его отношеніяхъ съ другими людьми. Впрочемъ, такой порядокъ развитія искусствъ имѣетъ и другую причину: это—наибольшая простота и общность архитектуры и наибольшая сложность и специальность поэзіи. Вслѣдствіе своей простоты и общности, первобытная архитектура чревата всѣми другими искусствами, которыя со временемъ только отдѣляются отъ нея, какъ дѣти отъ матери. Первый возведенный на землѣ храмъ знаетъ уже если не колонны, то столбы и подпоры, знаетъ какіе бы то ни было рельефы, а слѣдовательно и точку отправленія для скульптуры. Ему извѣстны также если не краски, то какое нибудь различіе естественныхъ цвѣтовъ: отсюда будущая живопись. Наконецъ, въ стѣнахъ же храма начинаютъ свою жизнь и пѣсня, гимнъ, псаломъ, т. е. музыка и поэзія. Аксессуаръ, принадлежность чужого бытія, становится потомъ бытіемъ особымъ, новымъ,—и въ этомъ все родословіе искусства.

Нужно ли говорить, на сколько естественна преемственность такихъ организацій, какъ патріархатъ, государство, космополитія? или какъ въ государствахъ аристократія, тимократія, демократія? Вѣдь это простая арифметическая постепенность ряда общественныхъ величинъ, начиная отъ самой малой (семья), продолжая средней (государство) и оканчивая самой великой (человѣческій родъ). А въ нихъ опять та же числительная постепенность семьи, рода, племени, народа; или же постепенность государства, управляемаго нѣкоторыми (аристократія), многими (тимократія), всѣми (демократія). Словомъ, послѣдовательность организацій есть такая постепенность общественныхъ наращений, гдѣ наращеніе это происходитъ чуть не по единицѣ, т. е. по идеалу чисто арифметической про-

грессіи. Впрочемъ, есть у этой эволюціи и другое, столь же коренное основаніе: это—элементарная закваска каждой изъ упомянутыхъ общественныхъ величинъ. Первою изъ такихъ заквасокъ есть обыкновенно чисто-физическая: такова въ бытѣ матриархальномъ физическая Сила, право сильнаго. Въ семейно-родовомъ бытѣ закваска эта перерождается въ старѣйшинство, въ родственное старшинство, въ право старшаго, словомъ, въ силу Возраста. Возрастъ даетъ слишкомъ естественное преимущество въ физической силѣ; а потому, долго основываясь только на ней, современемъ онъ и самъ по себѣ становится силой. Этотъ новый элементъ есть все еще физическаго свойства; но это уже не простая сила мускуловъ, а только сила лѣтъ, долготы жизни, природнаго старшинства. Въ народѣ—племени опять новое перерожденіе, опять все еще физическое, но опять основанное уже не на возрастѣ, а на превосходствѣ Крови, на породѣ. Старѣйшинство того или другого рода между другими и долгое пребываніе его у власти порождаетъ такъ называемые лучшіе роды и худшіе, порождаетъ благородность, породистость, знатность,—закваска, съ которою патриархатъ и передѣлывается въ государство. Здѣсь опять едва намѣченный тамъ принципъ Породистости разцвѣтаетъ теперь во всей роскоши своего бытія, производя столько степеней благородства и худородства, что изъ нихъ изводятся всѣ учрежденія, вся политика, все право. Отсюда государство аристократическое. Но достоинство происхожденія, превосходства крови, неизмѣнно сопровождается въ обществахъ другимъ, достоинствомъ Богатства, такъ что оба современемъ отождествляются и всякая знатность означаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и богатство, а всякое богатство предполагаетъ знатность. Отсюда естественность перехода изъ аристократій въ тимократіи, какъ только найдется какойнибудь самостоятельный источникъ обогащенія, помимо генеалогическаго. Наконецъ, богатство, въ свою очередь, сопровождается въ обществахъ Интеллигентностью, и послѣдняя весьма долго держится исключительно при первомъ, такъ что богатство и знаніе снова отождествляются. А потому, какъ только найденъ способъ приобрѣтать знанія независимо отъ богатства,—готовъ и переходъ отъ тимократій въ демократіи. Другими словами, это есть смѣна одного другимъ различныхъ человѣческихъ превосходствъ: физическаго, физиологическаго, экономическаго и наконецъ психологическаго; при чемъ вмѣстѣ съ каждой смѣною глубоко измѣняется и весь строй социальный, возвышаются

одна надъ другою соціальныя организаціи. А въ иномъ порядкѣ, какъ это, такое измѣненіе и возвышеніе едва ли и могло бы идти. Сила, родство, возрастъ и порода суть самыя низшіе принципы превосходства между людьми, потому что они общи имъ со всѣми остальными животными. Это еще факторы обще-зоологическіе. Богатство есть источникъ различій и превосходствъ уже исключительно человѣческій, но за то все еще матеріальный. Знаніе же есть не только факторъ исключительно человѣческій, но при томъ идеальный, высшій всѣхъ другихъ человѣческихъ. Не очевидно ли послѣ этого, что въ иномъ порядкѣ эволюція органичности была бы немислима, потому что она предполагала бы труднѣйшія и сложнѣйшія организаціи раньше легчайшихъ и простѣйшихъ. Конечно, каждый изъ очередныхъ режимовъ можетъ то отставать немного, то немного забѣгать впередъ; но дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ послѣдующихъ не можетъ выживать раньше ни одного изъ предыдущихъ. Нѣтъ въ исторіи случая, гдѣ бы господство знаній предшествовало господству богатства, или это послѣднее предупредило силу происхождения, или знатность опередила бы старѣйшинство, или старѣйшинство—физическую силу.—Но почему же это длинное движеніе постоянно двойственно: разъ монархично, другой разъ—республиканично? Всякая общественная сила и всякое основанное на ней учрежденіе общественное одарены такимъ же инстинктомъ Самосохраненія, какъ и все живое на землѣ. Ни одна изъ этихъ силъ, ни одно изъ этихъ учреждений не носитъ въ самомъ себѣ ни потребности, ни способности самообузданія, самовоздержанія; напротивъ, всѣ они несутъ въ себѣ только самую энергическую склонность къ самораспространенію во всѣ стороны, къ саморазвитію, къ жизни, какъ можно больше и лучше. Если это обузданіе, это ограниченіе и существуетъ для каждой силы; то всегда не иначе, какъ только извнѣ, а не изнутри, только со стороны другихъ такихъ же силъ. А потому и каждая изъ тѣхъ основныхъ заквасокъ общегитія, какія намѣчены выше, постоянно испытывала то же напряженіе къ самому полному бытію. И если напряженіе это чѣмъ-нибудь ограничивалось по временамъ; то только извнѣ, со стороны, отъ другихъ такихъ же напряженій. Отсюда и два состоянія каждой изъ основныхъ соціальныхъ силъ: разъ—ограниченное, сдержанное, другой разъ—на всей волѣ, безъ удержа. Одно изъ нихъ есть для нея иноуправленіе, другое —

самоуправленіе. А потому оба эти состоянія и правильно чередуются между собою въ исторіи развитія всякой новой силы. Въ патріархатахъ такую судьбу испытываетъ сила, родство, возрастъ; въ первомъ поколѣніи государствъ—порода; во второмъ—богатство; въ третьемъ—знаніе.

Въ ряду политикъ древнѣе всѣхъ политика охоты, звѣриной и рыбной ловли, потому что политикѣ эту люди унаслѣдовали прямо отъ всѣхъ Животныхъ, у которыхъ она ограничивается тѣмъ же и до сихъ поръ. Вся же остальная экономическая политика наращавалась на эту даже сама собою, тѣмъ болѣе что нѣкоторые изъ прочихъ животныхъ и въ этомъ случаѣ предупреждаютъ человѣка. Такъ, у муравьевъ есть и охота, и скотоводство, и земледѣліе, и при томъ слѣдующія другъ за другомъ въ этомъ же порядкѣ. *Formica fusca* есть охотничье племя; *Iasius flavus* содержитъ стада и табуны тлей; муравьи-жнецы воздѣлываютъ и собираютъ муравьиный рясъ. Такъ и человѣкъ, въ ежедневной борьбѣ съ дикими животными, если она бывала успѣшна, достигалъ двоякаго результата: однихъ изъ этихъ животныхъ, неукротимыхъ и непримиримыхъ, онъ истреблялъ, и тѣмъ освобождалъ сцену для своей собственной дѣятельности; другихъ же, болѣе кроткихъ и податливыхъ, онъ приручалъ, одомашнивалъ, и тѣмъ изъ соперниковъ дѣлалъ ихъ сподвижниками своими. А коль скоро это случилось, то прямой интересъ человѣка требовалъ разведенія подобныхъ животныхъ,—и вотъ готовъ неизсякаемый источникъ политики скотоводства. Но стада, въ свою очередь, нуждаются въ пропитаніи, и, какъ травоядные, въ пропитаніи именно растительномъ. Отсюда необходимое ознакомленіе съ жизнью травъ и почвъ, одомашненіе дикихъ растений, культивированіе дикихъ почвъ. Такимъ образомъ зарождается и новая политика,—земледѣльческая. Слѣдовательно, три патріархальныя политики находятся между собою въ преемственности, совершенно обратной съ преемственностью природы. По логикѣ этой послѣдней, по естественной исторіи міра, минеральная жизнь предваряетъ растительную, а растительная животную; но не въ такомъ же порядкѣ совершалось и самое изученіе этихъ жизней: зоологія древнѣе ботаники, а ботаника—минералогія. Равнымъ образомъ и первобытное патріархальное изученіе тѣхъ же явленій шло, какъ оказывается, въ обратномъ порядкѣ. Психологическою причиною этой обратности нельзя не счесть то обстоятельство, что первобытный человѣкъ и самъ былъ не что иное, какъ

дикое животное, что онъ ни съ чѣмъ въ мірѣ не чувствовалъ столько сродства, какъ съ животнымъ царствомъ, что онъ ни съ чѣмъ такъ часто не приходилъ въ соприкосновеніе, и, вслѣдствіе всего этого, ни съ чѣмъ не могъ такъ хорошо ознакомиться въ самомъ началѣ своего историческаго поприща. Только міръ животныхъ ввелъ его въ болѣе тѣсное общеніе и съ міромъ растительнымъ, какъ потомъ растительный съ минеральнымъ. Другими словами, дикій человѣкъ понималъ предметы тѣмъ легче, чѣмъ больше они сходились съ нимъ самимъ, и тѣмъ труднѣе, чѣмъ болѣе они различались отъ него. А что касается, въ частности, минералогической политики, которая, начавшись издѣліями изъ камня, продолжаетъ бронзою и оканчивается желѣзомъ, то она зависитъ, очевидно, отъ легкости или трудности добыванія: камень очень часто лежитъ на поверхности земли, тогда какъ желѣзо надо искать въ нѣдрахъ ея. Изъ трехъ же государственныхъ политикъ—торговая, очевидно, не могла предшествовать мануфактурной, ни мануфактурная земледѣльческой уже потому, что безъ предварительнаго производства нѣтъ и воспроизводства, безъ добывающей промышленности нѣтъ обрабатывающей, равно какъ безъ той и другой нѣтъ промышленности обмѣнивающей. А потому динамическое выживаніе каждой шло въ той же очереди, въ какой совершается и статическій процессъ ихъ.—Идеальная политика человѣчества начинается также въ политикѣ животныхъ, въ бродячемъ бытѣ. Здѣсь идеаль только пріютъ: логовище, пещера, нора, дупло, шалашь, словомъ мѣсто, гдѣ укрыться отъ непогоды, отъ врага. Кочеваніе, хотя есть уже упорядоченіе бродячества, но все еще такое, какое не безпримѣрно и у животныхъ, изъ которыхъ многія измѣняютъ свой образъ жизни и свои жилища, смотря по временамъ года. Но тутъ идеаломъ становится уже сообщество, пребываніе среди своихъ, жизнь кучей. Только оскѣдность, однакожъ, только прикрѣпленіе къ территоріи, отерываетъ собственно Человѣческую политику, потому что даетъ мѣсто понятію родины, отечества и затѣмъ всей остальной людскости. А прикрѣпленіе это есть естественный конецъ все болѣе и болѣе правильныхъ кочеваній. Такимъ образомъ двигатели патріархальной политики суть постоянно внѣшніе: домъ, становище, территорія; двигатели же государственной суть, напротивъ, внутренніе: вѣра, право, нравы. Коль скоро родина, отечество нашлось, первымъ изъ идеаловъ нравственныхъ способна быть только вѣра. Никакой порядокъ идей не

бываетъ столь общедоступнымъ и могущественнымъ, какъ религіозный: это мы видимъ и до сихъ поръ на всякихъ низшихъ слояхъ всякаго осѣдлаго народа. Только этою уздою способны сдерживаться и этими браздами направляться всѣ малокультурные умы и сердца. Когда же, подъ эгидою закона религіознаго, успѣваетъ пустить корни въ умахъ и сердцахъ законъ свѣтскій, когда мало по малу онъ приобрѣтаетъ свойства святости и помимо духовнаго авторитета; тогда начинается возможность естественнаго перехода отъ политики религіозной къ правовой. Но тенденція всякаго права состоитъ не въ чомъ иномъ, какъ въ обращеніи его въ нравъ; а потому, по мѣрѣ этого обращенія, и самые нравы, наконецъ, приобрѣтаютъ своего рода святость, заимствованную отъ права, и вслѣдствіе того, въ свою очередь, получаютъ возможность стать двигателемъ политики. Таиннымъ образомъ динамическое выживаніе каждаго изъ этихъ трехъ стимуловъ происходитъ опять въ той же самой постепенности, въ какой распредѣляются они, какъ моменты статическаго процесса, т. е. точно также, какъ это имѣло мѣсто и въ политикѣ экономической.

Вся система человѣческихъ правъ и обязанностей изводится изъ домашняго права, потому что оно есть право общеживотное, зоологическое, въ какомъ смыслѣ и совершенно правильно называть его обрядовымъ. Ни у животнаго, ни у дикаря не можетъ быть никакой иной формулы права, кромѣ Мимической. А содержаніемъ этихъ формулъ ни у того, ни у другого не можетъ быть ничто, кромѣ порядка сношеній между особями, т. е. манеръ обхожденія, словомъ—этикета. Вся же послѣдующая прогрессія частнаго права есть только истеченіе изъ этого, потому что гражданское право есть тотъ же этикетъ, тѣ же приличія по отношеніямъ къ семьѣ и къ собственности, а уголовное—этикетъ по отношеніямъ къ личности. Что въ домашнемъ правѣ было соединено, то здѣсь разъединилось и распалось на двое.

Исторія отношеній по собственности есть самая загадочная, съ психологической точки зрѣнія. Отчего эта исторія должна была начаться непремѣнно такимъ предметомъ собственности, какъ самъ человѣкъ?.. отчего должна была она продолжаться обращеніемъ въ собственность всей остальной природы?.. отчего далѣе слѣдуютъ произведенія рукъ человѣческихъ, какъ предметъ собственности?.. и, наконецъ, самый производитель этихъ произведеній, трудъ человѣческій?.. Съ точки зрѣнія соціальныхъ причинъ это достаточно

понятно. Бродячій и кочевой собственникъ не могъ начать съ подчиненія какой-либо иной собственности, кромѣ себѣ подобной, не исключая и животныхъ; потому что только такая собственность могла быть столь же бродячею и кочевою, какъ онъ самъ, и передвигаться за нимъ съ мѣста на мѣсто. Но какой психологическій мотивъ могъ содѣйствовать такому воззрѣнію, безъ чего оно не могло бы и состояться? Не есть ли это понятіе о побѣжденномъ и побѣдителѣ, о прирученномъ и приручителѣ, которое впервые только могло заронить идею власти надъ чѣмъ-нибудь другимъ и, слѣдовательно, идею собственности? Сознаніе силы своей, чувство своего превосходства не могло первоначально воспитаться нигдѣ, какъ только въ борьбѣ съ людьми и съ звѣрями; а потому не вслѣдствіе ли этого на нихъ же только распространилось и первое понятіе власти, собственности? Если это дѣйствительно такъ, то дальнѣйшая исторія направлялась бы уже однѣми степенями причины, потому что самая причина оставалась бы одна и та же,—аппетитъ Присвоенія, распространяемый только съ предмета на предметъ, и при томъ именно съ наиболѣе объективныхъ на наиболѣе субъективные. Что же касается движенія, общаго всему гражданскому праву, отъ *status* къ *contractus*; то ничто не можетъ быть натуральнѣе, какъ движеніе отъ Принудительности гражданскихъ отношеній къ Произвольности ихъ.

Гораздо явственнѣе психическій мотивъ уголовного права. Едва ли есть другое изъ великихъ историческихъ учреждений, психическое основаніе котораго было бы такъ несомнѣнно, какъ основаніе этого. Все уголовное право основано единственно и исключительно на чувствѣ Мести, столь понятномъ всѣмъ и каждому, и только перерождаемомъ отъ времени до времени. Мало того, самое это перерожденіе есть не что иное, какъ простое періодическое ослабленіе чувства, и ослабленіе, между прочимъ, путемъ все болѣе и болѣе отдаленныхъ делегацій его. Такимъ образомъ, изъ этого примѣра мы видимъ, что на одномъ изъ пороковъ человѣческой природы воссоздано одно изъ великихъ соціальныхъ учреждений и, при томъ, именно направленное къ обузданію порочности этой природы. Исторія, въ этомъ случаѣ, какъ бы выбиваетъ клинъ клиномъ, и то качество человѣческой души, которое въ индивидуальныхъ своихъ проявленіяхъ слыветъ порокомъ,—въ его коллективномъ обнаруженіи дѣлаетъ она если не добродѣтью, то, во всякомъ случаѣ, могу-

пщественнымъ стимуломъ прогресса. Послѣдовательность же прилагательныхъ теорій (устрашенія, исправленія, предупрежденія) носить на себѣ слѣды всякой развивающейся педагогій. Политическая педагогія, также какъ и домашняя, разсчитываетъ прежде всего на Страхъ, и имъ однимъ только дѣйствуетъ; потомъ уже она обращается къ Снисхожденію, къ участию, чтобы окончательно завершить Любовью.

Исторія судебнаго права носитъ явные слѣды прогрессирующаго Разумѣнія человѣческаго. Пытка и правевъ, очевидно, разумѣе суда божія; формальныя доказательства разумѣе пытки и правевъ; свободное убѣжденіе рачіональнѣе всего предъидущаго. Что же касается тѣхъ постоянно новыхъ делегацій судебной власти, которыя все больше и больше отдаляютъ судью отъ подсудимаго; то подобную эволюцію можетъ производить, между прочимъ, и самое ослабленіе мстительныхъ инстинктовъ въ человѣчествѣ.

Изъ числа государственныхъ правъ—законодательное, по существу своему, идетъ объ руку съ сословнымъ (гдѣ и будетъ разсмотрѣно), по формѣ же, подвигается изъ конкретнаго въ абстрактное. Это движеніе, вполнѣ аналогичное съ движеніемъ судебного, т. е. движеніемъ отъ непосредственности къ посредственности, управляется и столь же аналогичною причиною. Тамъ эта прогрессивная посредственность суда идетъ во слѣдъ прогрессивному ослабленію чувства мести; здѣсь эта прогрессирующая абстрактность законодательствъ слѣдуетъ по стопамъ растущаго Самосознанія государства. Понятно, что потребность мести и степень этого самосознанія должны быть обратно пропорціональны.

Эволюція верховнаго права, представляющая обратную пропорціональность монархической верховности съ республиканскою, управляется не столько прогрессомъ чувства или разумѣнія, сколько особенностями человѣческой Воли. Въ силу этихъ особенностей, повелѣвать несравненно труднѣе, чѣмъ повиноваться. А въ силу новой и еще болѣе замѣчательной особенности, повелѣвать собою несравненно труднѣе, чѣмъ другими. Отсюда необыкновенная легкость возникновенія монархическихъ обществъ и необыкновенная трудность организаціи республиканскихъ. Отсюда же и долговременная прочность и устойчивость первыхъ, въ сравненіи съ эфемерностью вторыхъ. Для монархическаго образа правленія вполнѣ достаточно, ятось огромное большинство волей, слагаю-

щихъ общество, способно было только повиноваться, выдрессировано было только къ покорности, какъ въ раздробь, такъ и оптомъ. Для малѣйшаго же опыта республики необходимо, чтобъ нашлись люди, способные не только повиноваться, но и повелѣвать, не только повелѣвать, но и самими собою. Можно ли сравнивать двѣ такія задачи! Въ монархіи достаточно одной исполнительности въ гражданахъ; а контроль надъ нею найдется и внѣ ихъ. Въ республикѣ же, кромѣ той же исполнительности, нужна имъ еще и способность контролировать ее, т. е. способность самоконтролированія. Въ монархизмѣ единство дѣйствій всего общества обезпечено уже естественнымъ единствомъ личности повелителя; въ республикѣ же, гдѣ правящая личность коллективна, корпорація эта уже не владеетъ никакимъ напередъ готовымъ единствомъ и цѣльностью, столь свойственными индивидууму, по самой природѣ своей недѣлимому. Здѣсь единство и цѣльность не получаются сами собою, безъ вѣдома дѣйствителя; но, напротивъ, для каждаго такого объединенія и интегрированія, потребуется каждый разъ цѣлая масса усилій, соглашеній, уступокъ, претензій, словомъ — тѣмъ противоположныхъ интересовъ и необходимость согласить, примирить ихъ всѣ, чтобъ получилось дѣйствіе. На сколько все это дается не легко, каждый знаетъ изъ собственнаго своего опыта, изъ опыта, напримѣръ, любого любительскаго спектакля, гдѣ предстоитъ всегда побѣдить столько препятствій, чтобъ онъ благополучно состоялся. Согласить же, безъ авторитетнаго приказанія, безъ внѣшней принудительности, нѣсколько сотъ, нѣсколько тысячъ, нѣсколько милліоновъ волей, интересовъ, страстей—есть такая трудность, что вовсе не удивительно, если всякій опытъ республики составляетъ величайшее торжество человечности. А если всякій такой опытъ неимоверно труденъ, даже какъ однократный; то что же сказать о поддерживаніи его въ теченіи цѣлыхъ годовъ, десятилѣтій, столѣтій!.. Очевидно, что задача будетъ каждый разъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ число волей, подлежащихъ соглашенію, больше, и тѣмъ періодъ испытанія ихъ продолжительнѣе. Оттого-то маленькія республики гораздо возможнѣе, чѣмъ большія, и кратковременныя гораздо доступнѣе, чѣмъ продолжительныя. Оттого также всѣ патріархальныя опыты самоуправленій, хотя они и древнѣе такихъ же опытовъ иноуправленій, постоянно однакожь уступаютъ предъ послѣдними, пока не исчезнутъ почти совсѣмъ предъ ними. Оттого и всѣ аристократическія рес-

публики были или крайне миниатюрны, какъ греческія, или крайне недолговѣчны, какъ римская. Между тѣмъ, монархіи какъ того, такъ и другого рода достигали размѣровъ Китая и римской имперіи, и выстаивали по цѣлымъ тысячелѣтіямъ. Но оттого-то также тимократическая пропорція тѣхъ же опытовъ дѣлается значительно ровнѣе. И оттого также надежда на полное выживаніе самоуправленій надъ иноуправленіями можетъ быть относима только къ наибольшей цивилизаціи умовъ, къ наилучшей культурности учреждений и къ наивысшей гражданственности характеровъ, т. е. къ поволѣнію безусловнаго демократизма. Терпимость къ чужимъ мнѣніямъ, интересамъ, вождельніямъ, способность къ уступкамъ съ своей стороны, возможность охотныхъ компромиссовъ между собственнымъ счастьемъ и счастьемъ другого—суть вовсе не такія обычные вещи, какъ притязанія на лучший образъ правленія. Къ послѣднимъ всегда способны всѣ и каждый, къ первымъ всегда очень немногіе.

Въ должностномъ правѣ чередованіе наслѣдственнаго, избирательнаго и жеребьеваго не представляетъ ничего очевидно естественнаго ни съ какой точки зрѣнія: не только съ психической, но даже съ соціологической, и если представляетъ, то развѣ только съ натуралистической. Между тѣмъ, точка отправленія всей этой эволюціи, наслѣдственность, играетъ въ исторіи громадную роль, и пользуется такою распространенностью въ обществѣ, что появляется въ немъ не менѣе, какъ, по крайней мѣрѣ, въ пяти совершенно различныхъ видахъ. Такова, во первыхъ, наслѣдственность семейная и вещная (въ гражданскомъ правѣ), во вторыхъ, наслѣдственность мести (уголовное право), въ третьихъ, наслѣдственность верховной власти и вообще должностей (должностное право), въ четвертыхъ, наслѣдственность политическихъ правъ и обязанностей (сословное право и подданническое), и, въ пятыхъ, наслѣдственность націй и плѣлыхъ формацій обществъ (или международная). Дольше всѣхъ держится и будетъ, конечно, держаться въ исторіи послѣдняя, потому что безъ этой наслѣдственности прервалась бы вся нить прогресса и самая даже возможность продолженія человѣческаго рода. Эта расовая наслѣдственность одна до сихъ поръ сбѣдляетъ во едино все человѣчество, такъ что другого единства оно пока и не знаетъ. Наоборотъ, меньше всего держится въ исторіи наслѣдственность уголовная, такъ что ее знаетъ только патриархатъ, но ни го-

сударство муниципальное, ни государство національное уже не знают. Изъ остальныхъ трехъ видовъ должностная наслѣдственность живетъ только въ аристократіяхъ; гражданская и сословная—и въ аристократіяхъ, и въ тимократіяхъ; а подданическая и, быть можетъ, отчасти верховная—въ аристократіяхъ, тимократіяхъ и демократіяхъ. Такая широта распространенія режима по обществу и такая прочность вѣдренія его въ немъ вынуждаютъ, конечно, самое внимательное отношеніе науки къ подобному фактору. Очевиднѣ всего разъясняется онъ съ фیزیологической точки зрѣнія. Исторія человѣка всегда начинается тамъ, гдѣ останавливается исторія природы. Современная же біологія научаетъ насъ, что наслѣдственность есть единственный во всей органической природѣ способъ передачи изъ рода въ родъ прибрѣтенныхъ каждымъ поколѣніемъ приспособленій къ окружающей средѣ. Въ человѣчествѣ всѣ эти приспособленія суть первоначально не что иное, какъ социальныя инстинкты; а потому и всякая первоначальная передача, увѣковѣченіе ихъ, не могли состояться иначе, какъ при посредствѣ наслѣдственности. Отсюда, съ одной стороны, такое повсемѣстное въ правѣ господство наслѣдственности, а съ другой—такое медленное и постепенное эскорпированіе ея изъ него. Отсюда же сравнительная легкость эскорпированія одного рода наслѣдственностей и крайняя трудность и даже невозможность эскорпированія другихъ родовъ. Не будь, напримѣръ, наслѣдственности семейной—семья и родъ, эти органическія клѣточки общезитія, распались бы и разложили бы все тѣло: весь фундаментъ социальности обратились бы въ простой мусоръ. Не будь наслѣдственно подданство, гражданство страны,—не было бы національностей, землячества, соотечественности, и весь этотъ цементъ семейныхъ кирпичей также растерся бы въ пыль. Не будь, наконецъ, преимущественности крови и преданій отъ народа къ народу, отъ одной исторической формации къ другой,—и каждое поколѣніе народовъ должно было бы начинать съизнова, обречено было бы на работу Даная. Напротивъ того, продолжайся также прочно и долго иныя наслѣдственности,—и общества, вѣсто того, чтобы все больше и больше связываться, только больше и больше разсыпались бы на свои составныя части. Еслибъ родовая мечь, напримѣръ, увѣковѣчилась навсегда или хоть очень на долго,—очевидно, что всѣ попытки спаять общество, въ то же время поминутно и распаивались бы. Будь не-

искоренима наслѣдственность должностей, — между управляющими и управляемыми, между правительствомъ и обществомъ легла бы стѣна, разобщающая ихъ на вѣки. Безъ возможности истребить наслѣдственность кастичную, сословную, — такія же непроходимыя стѣны оставались бы между самими управляемыми, между частями одного и того же общественнаго тѣла. И такъ, исторія поддерживаетъ и увѣковѣчиваетъ всякую такую наслѣдственность, которая способна обобщать людей, которая социальна; наоборотъ она вытѣсняетъ всѣ тѣ наслѣдственности, которыя разобщаютъ людей, которыя антисоциальны. Такимъ образомъ, на одну половину человѣческой родъ крѣпко держится завѣта всей органической природы, и постоянно остается подъ ферулой ея; на другую же половину онъ, по мѣрѣ возможности, исторгаетъ себя изъ подъ нея. Но не одинъ біологическій законъ дѣйствуетъ въ этомъ направленіи; къ такому же результату приводятъ и причины социологическія. Такъ, напримѣръ, право гражданское обыкновенно гораздо устойчивѣе во всякомъ обществѣ, чѣмъ уголовное: послѣднее можетъ перемѣниться десять разъ прежде, чѣмъ первое успѣетъ измѣниться однажды. Одно касается слишкомъ исключительныхъ случаевъ, другое — слишкомъ нормальныхъ, ежедневныхъ, опутывающихъ своей сѣткою всю жизнь всѣхъ и каждого. Также точно и все вообще частное право гораздо устойчивѣе всего вообще государственнаго: государственныя формы мѣняются, въ буквальномъ смыслѣ слова, ежедневно; формы же частнаго права только отъ времени до времени, и часто остаются непоколебимы среди полнаго крушенія самыхъ основныхъ государственныхъ правъ. Еще далѣе, въ государственномъ правѣ несравненно прочнѣе общественное: правительства могутъ лопаться, какъ мыльные пузыри, тогда какъ общества могутъ оставаться нетронутыми. Наконецъ, международное право еще менѣе устойчиво, чѣмъ всѣ предъидущія, до того, что въ немъ законъ вовсе почти немислимъ, и все зависитъ отъ нравовъ и отъ настроеній минуты. Но и тутъ мирное международное право все таки тверже военнаго, и дипломатическое менѣе подвижно, чѣмъ тактическое. Война постоянно перекачивается, какъ громъ и, съ каждымъ перекатомъ своимъ, мѣняетъ и соответственное право; тогда какъ миръ, подобно тишинѣ, только мало по малу накопляетъ то электричество, которое разрывается войною. Война мгновенно разглашаетъ по всему свѣту то, что миръ скоп-

лялъ цѣлые годы. Такимъ образомъ, чѣмъ право частнѣе, тѣмъ оно и солиднѣе; а чѣмъ общѣе, публичнѣе, тѣмъ эфемернѣе. Это-то социологическое условіе и производитъ пертурбацію въ прежнемъ, физиологическомъ, гдѣ оно то поддерживаетъ наслѣдственность, то подрываетъ ее. Въ гражданскомъ правѣ оно поддерживаетъ ее больше, чѣмъ въ уголовномъ; въ общественномъ (сословное, подданическое) больше, чѣмъ въ правительственномъ (должностное, верховное); въ мирномъ (иностраническое) болѣе, чѣмъ въ военномъ (непріятельское). Въ заключеніе, обращаясь къ психологическимъ причинамъ того же явленія, нельзя не признать, что онѣ способствуютъ тому же самому распредѣленію наслѣдственности по правамъ и эпохамъ. Пока не имѣется въ виду не только социальныхъ знаній (наука), но и мнѣній социальныхъ (философія), спрашивается, что же могло царить въ мірѣ и управлять имъ, какъ не простой социальный Инстинктъ (чутье, вѣра)? Пока инстинктъ этотъ не могъ пріобрѣтаться по произволу, пока онъ могъ только прирождаться, наслѣдоваться, понятно, что онъ и провозносился тѣмъ явственнѣе, чѣмъ глубже былъ прирожденъ, чѣмъ давнѣе былъ унаслѣдованъ. Ни одна отдѣльная жизнь не могла бы въ этомъ отношеніи соперничать съ завѣтомъ и преданіемъ, накопившимся въ теченіи нѣсколькихъ поколѣній. Безъ этого накопленія всякое самостоятельное приспособленіе той или другой особи пропадало бы для потомства безслѣдно, какъ бы оно ни было удачнымъ. Словомъ, наслѣдственность, при этихъ условіяхъ, была единственною гарантіею непрерывности преданія, богатства опыта, чуткости инстинкта. Аристократическіе дома, говоритъ Боркъ, суть публичные кладовыя, живые архивы конституцій; тамъ люди идутъ искать и понимать духъ учреждений не изъ пергаментовъ, а изъ живыхъ устъ, умовъ и характеровъ. Морисъ Блокъ считаетъ наслѣдственные классы также предрасположенными къ изученію и пониманію искусства правленія; и это-то свойство, говоритъ онъ, позволяетъ какому-нибудь Питту быть министромъ, а великимъ министромъ, на 23-мъ году отъ рожденія. Если же все это справедливо отчасти даже теперь, то что же сказать о тѣхъ временахъ, когда не имѣлось еще ни общественной философіи, ни даже просто письменности, и когда, вмѣсто всякихъ пергаментовъ, единственнымъ средствомъ воспользоваться чужимъ опытомъ было лишь устное семейное преданіе. Очевидно, что, при такомъ условіи, чѣмъ обширнѣе власть или должность, тѣмъ неиз-

бѣжитъ для нея и запасъ преданій или, что тоже, длинная линія наслѣдственности. Поэтому-то наслѣдственность въ высшихъ должностяхъ и держится гораздо крѣпче, чѣмъ въ низшихъ; а наслѣдственность въ самой высшей изъ нихъ, въ верховной должности, не только переживаетъ всякую иную въ должностномъ правѣ, но уживается въ немъ даже съ противоположными принципами, съ избирательнымъ и съ очереднымъ. Очевидно также, что, по мѣрѣ накопленія социальныхъ знаній и даже мнѣній социальныхъ, инстинктъ, а вмѣстѣ съ нимъ и роль наслѣдственности, должны все больше и больше терять значеніе. Такимъ образомъ, тремя изложенными причинами объясняется не только вообще законъ наслѣдственности, но отчасти и всѣ его варьяціи въ исторіи. Однажды же установивши, что такова именно была точка отправленія должностного права, и что иною она быть не могла, — преимущество всѣхъ послѣдующихъ оправдать уже гораздо легче. Такъ, когда долгое господство наслѣдственности (или суррогата ея — продажи должностей) достаточно распространили въ извѣстномъ классѣ общества инстинкты управленія, — представляется возможность дѣлать нѣкоторую перетасовку въ порядкѣ наслѣдственности, возможность употреблять сыновей не зависимо отъ должностей ихъ отцовъ. Съ другой стороны, всякій развивающійся деспотизмъ не можетъ не стѣсняться обычаемъ наслѣдственныхъ должностей, связывающимъ ему руки, и радъ отъ него отдѣлаться, при всякой малѣйшей возможности. Этими двумя путями и вызывается система назначенія тѣмъ легче, что для низшихъ должностей она извѣстна испоконъ вѣка. Въ свою очередь назначеніе само собою прокладываетъ дорогу избранію. Какъ только назначающая власть окажется коллективною, а не единоличною, у нея нѣтъ уже другого средства назначать, какъ только избирать. Этотъ послѣдній способъ извѣстенъ и тамъ, гдѣ меньше всего можно его ожидать, какъ, напримѣръ, въ Египтѣ, при каждой вакантности престола. Этой общественной причинѣ содѣйствуетъ и другая, психическая. Когда правительственный инстинктъ достаточно популяризованъ въ обществѣ, то вмѣстѣ съ тѣмъ онъ испытываетъ и другую метаморфозу, качественную: изъ безотчетнаго онъ превращается въ болѣе или менѣе сознательный и потому болѣе или менѣе мотивируемый; изъ инстинкта превращается онъ въ Мнѣніе, т. е. въ такой инстинктъ, который способенъ такъ или иначе, но доказывать себя, оправдывать себя логикой. Вслѣдствіе этого, важнымъ

становится не то уже, есть инстинктъ или вѣтъ его, а только то, лучше или хуже онъ умѣетъ поддержать себя. Отсюда же и новая профессія въ обществѣ, — софистовъ, риторовъ, ораторовъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ и новый шансъ избирательности предъ наслѣдственностью и предъ назначеніемъ. Наконецъ, каждый разъ, когда умѣнье или своровка управлять считается достаточно пропагандированною въ обществѣ, будетъ ли то въ силу популяризаціи мнѣній или же знаній, — всѣ прежніе способы замѣщенія должностей оазываются излишними предосторожностями, и въ то же время должны казаться, съ одной стороны, щекотливыми для всѣхъ, не попавшихъ въ должности, съ другой — отяготительными для всѣхъ попавшихъ. Отсюда начинается выживать идеаль очереди и жребія. Если этотъ идеаль могъ найти мѣсто даже въ такомъ условномъ демократизмѣ, какъ аѳинскій, то въ безусловномъ ничто, кромѣ него, не можетъ увѣнчать всю историческую эволюцію должностнаго права. Когда искусство управленія есть предметъ положительныхъ Знаній, т. е. того, что доступно всѣмъ и каждому, — всякій иной режимъ замѣщенія должностей отжилъ свой вѣкъ. Вотъ приблизительно та цѣпь причинъ, на которую наизываются одна за другой всѣ историческія системы должностнаго права. Что же касается той преемственности, какую образуютъ: вѣчность и потомственность, пожизненность, долгосрочность, краткосрочность, эфемерность должностей, то она понятна сама собою. Вѣчность и потомственность — естественный спутникъ наслѣдственности и продажи; эфемерность — очереди и жребія, а всѣ остальные — присущи назначенію и избранію.

Сословное право, эта ось всего настоящаго трактата, обязываетъ насъ и въ этомъ случаѣ въ возможно обстоятельному отчету о причинахъ эволюціи этого права. А потому мы не ограничимся на этотъ разъ однѣми причинами психологическими, но напомнимъ также на фізіологическія и соціологическія. — Изъ числа первыхъ самая повелительная роль принадлежитъ закону борьбы за существованіе. По этому закону, всякое усиленіе какого-нибудь одного вида бытія возможно только на счетъ ослабленія другихъ такихъ же видовъ. Всѣ виды могли бы пребывать въ равномъ изобиліи и жить равно роскошно лишь въ томъ случаѣ, если бы средства природы были неисчерпаемы; но такъ какъ они ограничены, то необходима борьба за нихъ; а гдѣ борьба, тамъ и побѣда, тамъ выживаніе одного на счетъ другого, тамъ сильный и слабый. Отсюда и исторія всей обще-

ственности начинается не иначе, какъ правомъ сильнаго, и при томъ сильнаго въ смыслѣ исторіи природы, т. е. въ чисто-физическомъ смыслѣ. Если же вслѣдъ за этимъ общественная исторія начинаетъ расходиться съ естественною, то единственно въ томъ, что начинаютъ расходиться понятія о силѣ и слабости. Въ природѣ эта сила и эта слабость остаются на вѣки вѣковъ лишь физическими; въ обществѣ же, напротивъ, онѣ то и дѣло мѣняють свою фізіономію. Здѣсь чисто-физическое преимущество, съ теченіемъ времени, осложняется множествомъ другихъ различныхъ, какъ, напримѣръ, преимуществомъ родственнымъ, возрастнымъ, породнымъ, экономическимъ, умственнымъ, нравственнымъ. Но, хотя съ каждымъ изъ этихъ осложненийъ борьба за существованіе значительно переначивается, хотя все больше и больше теряетъ она тождество съ борьбою въ природѣ, однакожъ все-таки не прекращается ни на минуту. Вся разница оказывается въ томъ, что социальная борьба постоянно восходитъ съ одной своей ступени, низшей, на другую, высшую, а именно съ растительно-животной на все болѣе и болѣе человѣчную: борьба очеловѣчивается, облагораживается; побѣда принадлежитъ сильнѣйшему человѣчески, т. е. лучшему. Гдѣ прежде выживалъ физически сильнѣйшій, старшій по силѣ мускуловъ, тамъ начинаетъ выживать старшій по родству, по возрасту, по породѣ, по богатству, по интеллигенціи; но какъ первый выживалъ надъ слабѣйшими, такъ эти выживаютъ надъ младшими, надъ молодыми, надъ простолюдинами, надъ бѣдными, надъ невѣждами. И если жизнь на счетъ другихъ прекращается, то развѣ лишь въ концѣ исторіи прогресса и въ качествѣ послѣдняго идеала ея. А вслѣдствіе этого общество никогда и не поступаетъ впередъ всѣмъ своимъ тѣломъ, не поступаетъ развернутымъ фронтомъ; но всегда имѣетъ впереди себя какой-либо руководящій авангардъ сильнѣйшихъ, за которымъ слѣдуетъ какой-нибудь центръ менѣе сильныхъ и наконецъ какой-либо аррьергардъ самыхъ слабыхъ. Въ древности этимъ авангардомъ была знать, теперь имъ есть буржуазія, въ будущемъ можетъ стать интеллигенція.—Къ тому же результату влекутъ и причины социологическія. Но чтобъ объяснить ихъ, необходимо дать себѣ окончательный отчетъ о всѣхъ тѣхъ основныхъ силахъ или стихіяхъ общественности, о которыхъ упоминалось до сихъ поръ лишь мимоходомъ. Одною изъ такихъ первостихій, первоэлементовъ общежитія, есть сила физическая. Она всегда была и остается до сихъ поръ однимъ изъ

колоссальнѣйшихъ факторовъ исторіи. Истину эту подтверждаетъ не только существованіе войска и войны, но, еще болѣе, существованіе низшихъ классовъ и ихъ возстаній. Въ войскѣ и въ войнѣ физическая сила значительно осложняется другими; въ толпѣ же и въ междоусобицѣ она является голою и тѣмъ не менѣе все-таки дѣйствительною и могущественною. Мало того, это есть сила самая гибкая, самая богатая по своей способности къ перерожденіямъ въ обществѣ. Такъ, напримеръ, разъ она перерождается здѣсь въ силу родства, другой разъ въ силу возраста, третій—въ силу родовитости. Каждый изъ этихъ факторовъ остается, очевидно, физическимъ; а между тѣмъ въ послѣднемъ изъ нихъ едва можно узнать его прародителя. Совершенно противоположную обонечность составляетъ сила психическая: умъ, знаніе, добродѣтель. Какъ бы ни казались они мало пока значительными въ исторіи, и только ожидающими еще своей роли впереди, но это лишь въ смыслѣ знанія научнаго, въ смыслѣ добродѣтели безусловной. Какъ условное же знаніе, какъ условная добродѣтель, они также вѣчны, какъ и сама физическая сила. Если ихъ нѣтъ въ качествѣ науки, то они на лицо въ качествѣ философіи, въ качествѣ мнѣній; если нѣтъ и въ этомъ видѣ, то есть въ видѣ вѣры, въ видѣ инстинктовъ. Если ихъ нѣтъ въ качествѣ добродѣтелей общечеловѣческихъ, космополитическихъ, то они имѣются какъ національныя, патріотическія; если нѣтъ и въ этомъ смыслѣ, то они есть въ смыслѣ добродѣтелей военныхъ, аристократическихъ, сословныхъ, семейныхъ, и вообще какихъ-либо специальныхъ и относительныхъ. Между физикою и психикою, этими двумя полярными стихіями соціальности, помѣщается еще одна промежуточная: богатство. Эта общественная сила составляетъ очевидную посредницу между двумя первыми. Съ физической силой она аналогична потому, что первоначально изъ нея же и происходитъ, хотя впоследствии можетъ проходить и отъ труда, отъ предпріимчивости, отъ находчивости; съ психической тождественна она потому, что первоначально сама ее производитъ, а именно путемъ досуга, путемъ созерцательной дѣятельности и путемъ независимости. Богатство отчасти матеріально, вещественно, какъ первая; отчасти же идеально, духовно, какъ вторая. А могущество богатства въ обществѣ такъ же чувствительно во всѣ времена и во всѣхъ мѣстахъ, какъ и могущество тѣхъ двухъ. Вотъ краткій, но полный перечень самыхъ существенныхъ рычаговъ общежитія. Каждому изъ этихъ

рычаговъ непремѣнно принадлежитъ извѣстная доля значенія въ обществѣ, такъ что безъ нихъ нѣтъ возможности никакого общественнаго вліянія, а наоборотъ при нихъ нѣтъ возможности избѣжать этого вліянія. Чѣмъ больше такихъ рычаговъ скопляется въ одномъ и томъ же пунктѣ, тѣмъ могущественнѣе и вліяніе этого пункта на все общество. На этомъ и основано преобладаніе того или иного сословнаго права. Каждому изъ сословій принадлежитъ въ какой-нибудь степени какая-нибудь изъ силъ; но не каждому дано обладать, непосредственно или посредственно, всѣми ими и въ высшей степени. Если же это послѣднее случилось, то вліяніе обращается въ формальную власть. Власть общественная есть не что иное, какъ сосредоточеніе всѣхъ выше перечисленныхъ вліяній; а общественное вліяніе есть не что иное, какъ обладаніе хотя бы то одною, не только нѣсколькими, изъ числа соціальныхъ силъ. Власть есть оформленное вліяніе, какъ вліяніе есть безформенная власть. Самое же скопленіе всѣхъ силъ можетъ совершаться около любой изъ нихъ. Въ одномъ случаѣ, напримѣръ, физическая сила можетъ притянуть къ себѣ и силу богатства, и силу психическую; въ другомъ психическая сила можетъ повлечь за собою обладаніе и богатствомъ, и физическою силою; въ третьемъ — богатство способно увлечь за собою и силу знаній, и силу физическую. Послѣ этого введенія, остается теперь рассмотретьъ, какимъ же образомъ всѣ эти силы распредѣляются по исторіи и распредѣляютъ по ней и вліяніе, и власть: т. е. какая изъ нихъ и когда выживаетъ, сосредоточивая вокругъ себя всѣ иныя наличныя, какая и когда производитъ такое или иное сословное право. Въ началѣ всей этой эволюціи стоитъ, безъ сомнѣнія, физическая сила. Періодъ матриархальный, вѣкъ агаміи и анархіи, есть время безусловнаго выживанія кулачнаго права. Ему здѣсь принадлежитъ и все возможное наличное тогда богатство, каково богатство въ пищѣ, въ питьѣ, въ женщинахъ, въ плѣнникахъ, и все возможное наличное превосходство нравственное, какова отвaga, лютость, кровожадность. Не надо, впрочемъ, думать, что съ вѣкомъ агаміи проходитъ и вѣкъ физической силы; нѣтъ, она остается на вѣки неизмѣннымъ факторомъ въ исторіи. Но разнообразится вся послѣдующая исторія только тѣмъ, что этотъ первоисточникъ всѣхъ будущихъ силъ безпрестанно подпадаетъ подъ власть то того, то другого изъ своихъ же собственныхъ порожденій. Впервые такое подпаденіе осуществляется въ

семеино-родовомъ періодѣ. Семейно-родовой бытъ первоначально живетъ исключительно тою же голою физическою силою. Если мужъ властвуетъ надъ женой, отецъ надъ дѣтьми, господинъ надъ рабами, то первоначально не въ силу иного превосходства, какъ чисто-физическаго: превосходства мужчины надъ женщиной, взрослого надъ ребенкомъ, побѣдителя надъ побѣжденнымъ. Но дѣло въ томъ, что постоянное совпаденіе физическихъ преимуществъ съ родствомъ, съ качествомъ домовладыки, современемъ отождествляетъ оба фактора, силу и родственное старшинство, такъ что, путемъ долгой привычки въ этому отождествленію, родственное старшинство мало по малу и само по себѣ уже начинаетъ получать значеніе, значеніе самостоятельное, независимое отъ физической силы. Долго, правда, обезсилѣвшіе старики все еще выбрасываются, предаются смерти; но оканчивается всегда и вездѣ тѣмъ, что безсиліе физическое не лишаетъ ихъ почота, тѣмъ больше, что оно вознаграждается преимуществомъ нравственнымъ, превосходствомъ опыта и совѣта. Такимъ образомъ, первое изъ перерожденій физической силы образуетъ собою и первую изъ величайшихъ метаморфозъ исторіи. А при этой метаморфозѣ, сосредоточивающей власть въ рукахъ домовладыкъ, въ ихъ же рукахъ сосредоточивается и вся физическая сила дома, вся мускульная сила дѣтей и рабовъ. Такимъ образомъ физическая сила природы, породивъ изъ себя первую общественную, родство, тотчасъ же и сама поступаетъ въ ея распоряженіе, и тѣмъ нѣсколько себя возвышаетъ, сравнительно съ своимъ естественнымъ состояніемъ въ природѣ. Но привычка уважать своихъ стариковъ рано или поздно ведетъ и къ уваженію чужихъ, такъ что современемъ силою становится не только родственное старшинство, но и вообще старшинство возраста, старость. Если патріархальный бытъ впервые даетъ мѣсто родству, то фратріархальный впервые предоставляетъ его старости. Отсюда новое перерожденіе, а вмѣстѣ съ нимъ и новое поступленіе голой физической силы и силы родства во власть старѣйшинъ общества. Въ концѣ этого періода ферментируется новое и столь же радикальное перерожденіе. Изъ числа многихъ родовъ, входящихъ въ составъ племени, непременно должны оказаться, при такихъ понятіяхъ эпохи, одни—старшими другіе—младшими. Старѣйшимъ родамъ непременно должно принадлежать вліяніе и власть. А чѣмъ дольше остаются они у власти, тѣмъ почотнѣе становится и всякая принадлежность къ нимъ, всякое

происхождение отъ нихъ. Появляется такимъ образомъ понятіе родовитости, понятіе о бѣлой и черной кости, о лучшихъ людяхъ и худшихъ, словомъ о старшинствѣ междуродовомъ, о старѣйшинствѣ по предкамъ. Къ этому старшинству поступаютъ теперь и всѣ наличныя силы общества: въ распоряженіе его переходитъ изъ рукъ стариковъ какъ вся чисто-физическая сила племени, такъ и всѣ права старѣйшихъ по родству, и всѣ права старости. Родовитость есть послѣдняя форма, какою физическій факторъ принимаетъ на себя въ своемъ социальномъ раскрытіи. А вмѣстѣ съ тѣмъ это и послѣдняя метаморфоза, какою испытываетъ всякій патріархатъ. Патріархальная исторія вся такимъ образомъ основана, подобно естественной, на развитіи одной физической силы, но за то во всѣхъ ея социальныхъ варьяціяхъ. Чѣмъ патріархальность ованчиваетъ, тѣмъ государственность начинается. Первая окончила аристократіею естественною, вторая начинается искусственною аристократіею. Пока родовитость остается естественною, основанною на преимуществѣ родственности, до тѣхъ поръ она представляетъ лишь почву, годную для аристократизма, но не самый аристократизмъ. Какъ онъ сазался въ своемъ высшемъ историческомъ развитіи. Какъ продуктъ самооплодотворенія, аристократизмъ отливается только въ китайскую или еврейскую форму. А чтобы онъ отлился въ индійскую и вообще абсолютную форму, для этого нужно, чтобы къ фیزیологической его причинѣ присоединилась еще этнологическая: на готовую патріархальную почву его должно упасть еще государственное зерно. И этимъ зерномъ бываетъ всегда завоеваніе, завоеваніе безъ истребленія. Въ завоеваніи факторъ внѣшній, превосходство побѣдителя надъ побѣжденнымъ, презрѣніе сильнаго къ слабому, падая на внутренній, на хорошо подготовленное понятіе о черной и бѣлой кости, соединяетъ свое дѣйствіе съ дѣйствіемъ этого послѣдняго; и оба вмѣстѣ, одинъ сверху, другой снизу, созидаютъ, наконецъ, то великое учрежденіе, которое и есть абсолютный аристократизмъ, созидаютъ аристократизмъ государственный или государство аристократическое. Безъ этого совпаденія обоихъ дѣятелей нѣтъ безусловнаго аристократизма, и всякій недостатокъ того или другого изъ нихъ производитъ только аристократію половинчатую, относительную. Безъ этнологической подкладки нѣтъ прочной ни кастичности, ни сословности. Всѣ, какъ древнія, такъ и новыя, наиболѣе дѣйствительныя аристократіи были соединеніемъ естественныхъ аристократій съ

искусственными, внѣшнихъ съ внутренними, самопроизвольныхъ съ насильственными. Въ Индіи самымъ древнимъ ея населеніемъ было черное, малайское, которое и до сихъ поръ живетъ въ горахъ, оттѣсненное туда побѣдителями. И вотъ одно изъ его племенъ, пагаріи, и дало свое имя самой низшей изъ кастъ, паріямъ. Другое населеніе, насѣвшее на это, было туранское, желтое. Третьимъ вселенникомъ являются кушиты, темноцвѣтные, но жившіе уже въ селлахъ и городахъ. Одно изъ кушитскихъ племенъ, сидры, опять оставляетъ свое имя одной изъ кастъ, судрамъ. И только четвертымъ наслоеніемъ было уже бѣлое, арійское, образовавшее всѣ верхнія касты. Вотъ настоящій типъ, идеалъ сословности, кастичности: каждый слой—иной языкъ, иная вѣра, иная раса, и даже цвѣтъ иной. Аристократія египетская также отличается отъ остального населенія самымъ цвѣтомъ кожи своей. Халдеи, завоевавъ семитовъ, опять сохраняютъ свой собственный туранскій языкъ, который и употребляютъ между собою до конца своей исторіи. Японцы каждого сословія говорятъ снова своимъ особымъ языкомъ: самуран (дворяне) и якунины (служилые люди) говорятъ не такъ, какъ купцы или работники; а языкъ этихъ послѣднихъ существенно разнится отъ языка крестьянъ. Вслѣдствіе этого, одинъ и тотъ же японецъ долженъ говорить различно, смотря по тому, къ кому онъ обращается. Иранцы тоже не смѣшивали себя съ побѣжденными туранцами и языкъ маговъ былъ совсѣмъ иной, чѣмъ языкъ простого народа. У грековъ таково же было отношеніе эллиновъ въ пеласгамъ. Между тѣмъ, еврейская аристократія, не имѣвшая этнологической подкладки, была и наименѣе аристократическою. Тоже и въ новомъ мірѣ. Всѣ западныя аристократіи Европы, какъ завоевательныя, совсѣмъ не похожи на всѣ славянскія, какъ продуктъ самооплодотворенія. Польская аристократія больше всѣхъ славянскихъ успѣла скопировать западную; но, не смотря на то, ввела въ нее такой колоритъ (*liberum veto*), который обличилъ и всю имитацию. Во всякомъ случаѣ, какъ въ той, такъ и въ другой аристократіи центромъ спеціальнаго притяженія, служить единственно и исключительно знатность. Въ руки ея въ обоихъ случаяхъ прежде всего поступаетъ прародительница всѣхъ силъ, сила физическая всего государства, съ всѣми ея превращеніями: родственнымъ, возрастнымъ и междуродовымъ. Имѣя же все это въ рукахъ, искусственная аристократія, раньше или позже, но нагромождаетъ у себя такое количество собственно-

сти, что оно становится новою соціальною силою, подъ именемъ богатства. Въ завоевательной аристократіи оно наращается на нее вдругъ, путемъ насилія и ограбленія побѣжденныхъ; въ самородной—путемъ пожалованія, расплаты за службу, постепенно. Богатство же, произвѣдая независимость цѣлыхъ классовъ отъ матеріальныхъ потребностей, и въ то же время досугъ, открываетъ дорогу пробужденію потребностей нравственныхъ, которыя рано или поздно и наращаютъ на богатство новую силу, силу знаній. Въ этомъ и состоитъ сущность всей аристократической формаціи въ исторіи. Повсюду въ ней центромъ, въ которому тяготеютъ всѣ общественныя привилегіи, есть не что иное, какъ порода, кровь, благородство, происхожденіе, и ничто больше. Ни чистая физическая сила, ни богатство, ни просвѣщенность, ни всѣ три вмѣстѣ, не приносятъ здѣсь знатности; знатность же, напротивъ, непремѣнно сулитъ и физическое могущество, и богатство, и образованіе. Всѣми этими корнями режимъ происхожденія и вращается такъ въ землѣ, что выворотить его оттуда нѣтъ, повидимому, никакой возможности. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, съ какимъ оружіемъ въ рукахъ низость происхожденія, бѣдность, невѣжество, могли бы предпринять походъ противъ благородства, богатства, просвѣщенности?... Или въ расчетѣ на одну свою численность, на одну силу мускуловъ своихъ? Но противъ этой силы всегда будетъ противопоставлена другая такая же, и при томъ организованная, вооруженная, дисциплинированная, а не дезорганичная... Потому-то хотя низшіе классы и обладаютъ, сравнительно съ высшими, наибольшею физическою силою въ ея естественномъ видѣ; но сила эта всегда оказывается мертвою, инертною, неспособною произвести никакой общественной работы. И классы эти или пребываютъ въ нѣмомъ оцѣпенѣніи и отупѣніи, какъ это случилось на пространствахъ всего древняго востока, или же, если иногда и выходятъ изъ него, какъ было въ Греціи и Римѣ, то только для того, чтобы упасть въ еще худшее. Всѣ рабскія возстанія въ Спартѣ и въ Римѣ, всѣ крестьянскія войны въ Европѣ всегда оставались тщетными, пока на сторону ихъ не сложилась какая-либо иная сила, кромѣ ихъ собственной, голой физической. И такъ, стороны эти слишкомъ не равны, борьба между ними едва-ли мыслима, и вывернуть изъ общежитія такой вѣковой дубъ, какъ аристократія, нѣтъ, повидимому, никакой возможности. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, выкорчеваніе это, какъ оно ни трудно, но рано

или поздно дается и не может не даться. Кому же и какъ? Не низшимъ, а среднимъ классамъ и слѣдующими двумя способами. Первый изъ нихъ состоитъ въ томъ, что, когда гнетъ господствующаго класса почувствованъ какою-либо частью населенія слишкомъ болѣзненно; то часть эта готова бываетъ бѣжать отъ него съ родины, куда глаза глядятъ, и искать лучшей доли гдѣ нибудь на чужбинѣ. Это—колонизація, путь безсилія, пассивный путь. Онъ состоитъ не въ томъ, чтобы аристократію выдернуть изъ почвы или отъ расшатать ее въ ней; а только въ томъ, чтобы недовольные ею могли выдернуть, по крайней мѣрѣ, себя самихъ изъ-подъ нея и убѣжать прочь. На мѣстахъ же новаго ихъ поселенія ненавистный режимъ не имѣетъ уже никакихъ шансовъ привиться; и такимъ образомъ заводится, вмѣсто него, какой-нибудь иной, новый. А этимъ новымъ бываетъ обыкновенно, и можетъ быть, по причинамъ ниже изъясняемымъ, только тимократизмъ. Другой путь, гораздо болѣе активный, есть накопленіе, подлѣ аристократіи и безъ бѣгства отъ нея, какой-либо изъ числа общественныхъ силъ, къ которой могли бы потомъ пристроиться и другія. Но какой же? Знатности, въ сторонѣ отъ аристократіи и подъ ея режимомъ, накоплять невозможно. Накопить просвѣщенность, при бѣдности и рабствѣ, также немыслимо. А между тѣмъ, есть сила, скопленію которой внѣ аристократіи аристократія сама же покровительствуетъ: это—большее или меньшее обогащеніе той промышленностью, которую аристократія терпитъ ради собственныхъ своихъ польвъ. Правда, въ первомъ поколѣніи государствъ какъ эта промышленность, такъ и создаваемое ею новое богатство, едва только еще ферментируются, и не имѣютъ возможности стать на ноги. Но за то во второмъ ростокъ этотъ прорастаетъ землю, поднимается надъ нею и приноситъ первый плодъ свой. Соперничество въ богатствѣ—вотъ тотъ единственный способъ, которымъ аристократія впервые подрывается, и подрывается на своей собственной почвѣ и въ самыхъ корняхъ своихъ. Колонизація есть только отступленіе передъ нею, оборона; наступательную же войну ей объявляетъ только обогащеніе на мѣстѣ, и при томъ обогащеніе, основанное не на военномъ грабѣжѣ и не на гражданской службѣ, а на другомъ, совсѣмъ новомъ источникѣ. Богатство же, на чемъ бы оно ни основалось, рано или поздно ведетъ, какъ сказано, и къ накопленію знаній тамъ же, гдѣ накопилось богатство; и такимъ образомъ противъ аристо-

кратіи соединяются двѣ уже силы, такъ что не достаетъ только третьей. Но третья, благородство, въ силу могущественнаго вліянія первыхъ двухъ, сама уже въ такихъ обстоятельствахъ просится туда же, льнетъ къ нимъ, навязывается имъ, то въ видѣ жалованнаго дворянства, то въ видѣ разжалованныхъ въ средній классъ младшихъ сыновей исконнаго дворянства. Такимъ образомъ внѣ аристократіи совокупаются всѣ три социальныя могущества, которыя послѣ этого и не долго ждутъ, чтобъ получить участіе во власти, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ обладаніи первымъ источникомъ всѣхъ силъ, голою физическою. Аристократія вся и цѣликомъ перерождена тогда въ тимократію. Тѣми же самыми двумя способами бываетъ подкопана потомъ и сама тимократія: разъ—пассивнымъ, колонизаціями, другой разъ—активнымъ, возвышеніемъ низшихъ классовъ. Всякая колонизація изъ тимократій, по необходимости, демократизируетъ тимократическій принципъ. А всякое возвышеніе низшихъ сословій, по необходимости, заводитъ совсѣмъ новый, на этотъ разъ чисто-демократическій принципъ. Но разница въ томъ, что демократія начинается съ другого конца. Ей нельзя пуститься въ путь ни съ приобрѣтенія благородства, ни съ добыванія богатства, ни даже съ завладѣнія тою физическою силою, которой она такой естественный представитель. Какъ аристократія, сосредоточивъ въ себѣ все благородство, ревниво оберегала его отъ вторженія въ него среднихъ классовъ; такъ точно тимократія, скопивъ въ себѣ всѣ богатства, весьма неохотно допускаетъ къ нимъ низшіе классы. Врываться въ нее этимъ послѣднимъ путемъ также не легко, какъ не легко было когда-то метойку пробираться въ граждане, путемъ облагороженія себя. Тутъ нуженъ опять только такой путь, гдѣ бы демократія не только не встрѣчала ревнивой оппозиціи со стороны властвующихъ классовъ, но гдѣ она могла бы рассчитывать даже на ихъ содѣйствіе, на ихъ небрежное, но все таки покровительство. Нужна тутъ только такая дорога, на которой демократія была бы угодна самой тимократіи, гдѣ послѣдняя не могла бы противодействовать, безъ вреда для самой себя. А если такъ, то этотъ путь есть знаніе и ничто, кромѣ знанія. Это единственный толчокъ, съ котораго можетъ начинаться карьера демократіи. Отъ невѣжества демократіи жутко приходится не ей одной; отъ него страдаетъ, и больно страдаетъ, и самъ тимократизмъ. Все для него святое, все, самое близкое

его сердцу, какъ свобода мысли и слова, свобода сходовъ, личная неприкосновенность, твердость конституцій и т. п., все это невѣжествомъ массы всегда поставлено на карту, всегда подъ Дамокловымъ мечомъ. Уже и въ наши времена всѣ тимократіи спохватываются, что необходимо для нихъ сколько нибудь заинтересовать въ своихъ благахъ массы, безъ чего и имъ самимъ нѣтъ спасенія. А чтобъ заинтересовать ихъ, нѣтъ иного средства, какъ просвѣтить ихъ. Въ Америкѣ это сдѣлалось символомъ вѣры, азбукой всякой государственной мудрости. Къ счастью, образование въ тимократіяхъ, сравнительно съ древними аристократіями, значительно подешевѣло, сдѣлалось общедоступнымъ, такъ что первоначальное можетъ уже и теперь обращаться въ даровое. Правда, современные тимократіи этимъ только minimum'омъ и ограничиваются для массъ; среднее же и высшее образование онѣ весьма тщательно оберегаютъ отъ наплыва бѣдняковъ и даже намѣренно стараются вздорожить его. Но дѣло въ томъ, что и этотъ minimum способенъ заронять въ массы вкусъ къ образованію, съ которымъ онѣ и сами уже станутъ искать его. А это исканіе въ теченіи столѣтій можетъ и должно окончиться тѣмъ, что и все вообще образованіе съ низу до верху окажется даровымъ. Мало того, оно все можетъ сдѣлаться также и обязательнымъ, какъ случилось это кое-гдѣ уже съ первоначальнымъ. А при такихъ условіяхъ нѣтъ уже надобности въ богатствѣ для того, чтобы просвѣтиться. Остается, правда, надобность въ досугѣ, безъ котораго не-возможно ни воспользоваться даровымъ обученіемъ, ни сдѣлать его обязательнымъ. Но если даже современные фабричныя законодательства рѣшаются требовать досуга для дѣтей на фабрикахъ, то будущія могутъ оказаться и нѣсколько щедрѣе. Наконецъ, знаніе есть единственная изъ силъ, которая отвѣчаетъ самымъ объемамъ демократій. Благородство крайне эгоистично: отъ малѣйшаго распространенія своего на большее число лицъ оно тотчасъ же блекнетъ, падаетъ въ цѣнности, принимая и самыя древнія изъ благородствъ. По этому-то оно такъ и ограждаетъ себя отъ вторженія *homines novi*. Богатство, если и не теряетъ отъ умноженія себя, то, во всякомъ случаѣ, знаетъ для себя предѣлъ, его же не преjdeши, и за которымъ богатство обращается въ достатокъ, а достатокъ въ самую бѣдность. Знаніе же отъ распредѣленія его на массы, отъ позаймствованій, не только ничего не теряетъ, какъ благородство, но, подобно огню, еще выигры-

вать; знаніе не знаетъ также и никакого предѣла своему распростра-
 ненію, подобнаго предѣлу богатства, и за которымъ все оно обращалось
 бы опять въ общее невѣжество. А потому никакая обширность класса
 не препятствуетъ свободному распространенію въ немъ этой силы. И
 такъ, обученіе, школа, книга есть дѣйствительно тотъ конецъ аriad-
 нинной нити, за который демократіамъ всего сподручнѣе схватиться,
 чтобы выйти изъ своего лабиринта на свѣтъ божій. Однажды же, что
 это случилось, демократіи имѣютъ всѣ шансы не только сравняться,
 но превзойти всѣ иные классы силою знанія: это общается имъ
 уже одною ихъ численностью. А превзошедши знаніемъ, онѣ полу-
 чаютъ въ немъ такую точку опоры, къ которой не замедлитъ при-
 кнуть и богатство или, по крайней мѣрѣ, достатокъ, довольство. Бо-
 гатство же и знаніе вмѣстѣ волей-неволей облагораживаютъ своихъ
 представителей; и такимъ образомъ на сторонѣ ихъ оказываются
 и всѣ три государственныя силы, все государственное вліяніе. Еще
 одинъ шагъ впередъ,—и вліяніе обращается во власть, въ распоря-
 женіе всѣми патріархальными силами и, во главѣ ихъ, протцемъ
 ихъ всѣхъ, ихъ началомъ и концомъ—силою физическою. И такъ,
 авангардъ опять всегда есть, но только каждый разъ новый. Сила
 и слабость опять всегда необходимы, но только каждый разъ въ иномъ
 смыслѣ. Выживание однихъ на счетъ другихъ снова неизбежна,
 хотя каждый разъ и въ новомъ видѣ. Таковы, полагаемъ, социоло-
 гическія причины великой эволюціи сословнаго права.—Но и ими
 не могли ограничиться всѣ причины этой прогрессіи; имъ непре-
 мѣнно должны были помогать еще стимулы психологическіе, безъ
 чего оказались бы безсильными и тѣ. Каковы же эти стимулы? Ка-
 кое именно изъ психическихъ побужденій такъ неизмѣнно способ-
 ствуетъ развитію сословнаго права въ томъ же самомъ направленіи?
 Не что иное, конечно, какъ чувство Зависти, какъ желаніе себѣ
 счастья, но крайней мѣрѣ, равнаго со всѣми другими. Благодаря
 этому чувству, какъ только одинъ кто-нибудь успѣлъ выдѣлиться
 вонъ изъ ряду, этого уже достаточно, чтобы всѣ остальные пожелали
 не отстать отъ него. Благодаря этому чувству, пока на землѣ оста-
 нется хоть одно изъ неравенствъ, хоть одно изъ превосходствъ, че-
 ловѣкъ не успокоится никогда. Ничтожный въ каждомъ индивиду-
 альномъ случаѣ, импульсъ этотъ становится неизмѣримымъ въ суммѣ
 своей. Безъ всякаго предварительнаго соглашенія, безъ уговора,
 родъ человѣческій дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи, въ потокахъ

тысячелѣтій, съ такимъ единодушіемъ, что оно образуетъ въ исторіи хотя и бессознательную, но колоссальную движущую силу. Единство положеній всегда образуетъ въ немъ и единство дѣйствій, помимо всякой организаціи. Одинаковая вездѣ и всегда, по всѣмъ временамъ и мѣстностямъ, сила эта представляетъ собою такое необоримое напряженіе, что оно способно было бы достигнуть всей цѣли своей однимъ прыжкомъ, если бы физическія и соціологическія причины тому не препятствовали. Препятствія эти замедляютъ, умѣряютъ стремленіе, дѣлаютъ его равномернѣе, строятъ его эшелонами, но никогда не истребляя и даже не ослабляя его. Препятствія эти только приневоливаютъ выжидать, пока то или другое изъ нихъ устранится, смѣнится благопріятнымъ обстоятельствомъ; но какъ только это случилось,—инстинктъ человѣческій вступаетъ въ свои права и, пользуясь случаемъ, подвигается на шагъ, на два впередъ. Долба, такимъ образомъ, незамѣтно, какъ капля воды, онъ и съ своей стороны оканчиваетъ тѣмъ, что продалбливаетъ цѣлыя горы междусловныя. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вся исторія аристократій состоитъ не въ томъ, что всѣ низшіе ряды этого авангарда борются въ нихъ поочередно со всѣми высшими, съ цѣлью сравняться съ ними, и успокоиваются только тогда, когда этого достигли?.. Развѣ исторія среднихъ классовъ не вся въ томъ, чтобы выбиться изъ подъ давленія высшихъ, поравняться съ ними и, наконецъ, превзойти ихъ?.. Развѣ не таковъ же, наконецъ, и безмолвный идеалъ всѣхъ демократій?.. Хотя въ низшихъ классахъ больше и чаще, чѣмъ въ какихъ нибудь другихъ, бываютъ дѣйствительны тѣ физическія и соціологическія препятствія, которыя способны, казалось бы, задавить всѣ естественныя инстинкты человѣческой души; но довольно малѣйшаго ослабленія гнета, чтобы они снова проснулись и воспрянули. Древнее рабство было таково, что могло бы, кажется, искоренить всякія претензіи на человѣческое достоинство; но, какъ извѣстно, и оно не въ состояніи было достигнуть этого,—и человѣкъ, даже въ этомъ положеніи, не лишался способности ни завидовать, ни роптать, ни желать. Эта нескоро-нимаемая изъ сердецъ нетерпимость во всякому превосходству, во всякой привилегіи, будучи въ каждой отдѣльной личности порокомъ,—во всемъ видѣ возвышается на степень если не добродѣтели, то, по крайней мѣрѣ, могущественнѣйшаго двигателя исторіи. Безъ всеобщей претензіи на равное человѣческое достоинство ничего не

сдѣлали бы и всѣ тѣ причины прогрессіи, какія указаны прежде; безъ претензіи этой не было бы и самой прогрессіи междусловной.

Право подданическое представляетъ двойной рядъ движеній: отъ холопства къ гражданству и отъ гражданства муниципальнаго къ космополитическому. Взаимный генезисъ холопства, подданничества и гражданства составляетъ собою простое движеніе отъ состоянія вещности къ состоянію человѣчности. Взаимный генезисъ гражданства: муниципальнаго, національнаго и космополитическаго, есть движеніе отъ наименьшей человѣчности къ наибольшей. Такимъ образомъ вся эволюція составляетъ процессъ постепеннаго Вочеловѣченія человѣка. Такой процессъ не нуждается въ доказательствахъ своей психологической естественности; но нельзя того же сказать объ исторіи равенства и свободы, этихъ прямыхъ послѣдствій сословнаго и подданическаго права.

Свобода и равенство, собственно говоря, суть одно и тоже, суть двѣ стороны одной и той же медали. Равенство есть сторона количественная, свобода—сторона качественная. Равенство отвѣчаетъ на вопросъ: кто именно свободенъ, сколько ихъ всѣхъ? свобода отвѣчаетъ на вопросъ: какъ именно равны они, въ чемъ? Согласно съ этимъ, равенство аристократическое, т. е. древнее, было равенствомъ меньшинства; тимократическое или новое есть равенство большей или меньшей половины общества; а демократическое должно быть равенствомъ всѣхъ и каждого. Съ другой стороны, свобода аристократическая была лишь культурною, тимократическая стала культурною и цивилизаціонною, а демократическая должна быть и культурною, и цивилизаціонною, и гражданственною. И такъ, почему же именно послѣдовательность эта была такою, а не иною. Прежде всего надо замѣтить, что такіе термины, какъ меньшинство, половина, цѣлое, употребляются, конечно, единственно для краткости: въ сущности же они означаютъ прогрессію чисто-арифметическую, гдѣ возрастаніе происходитъ въ буквальный смыслъ слова по единицамъ. Меньшинство, половина, цѣлое, обозначаютъ только великія вѣхи этой прогрессіи, а не самую прогрессію. И такъ, вопросъ нашъ переходитъ въ другой: почему возрастаніе равенства и свободы происходитъ по единицамъ? До сихъ поръ мы видѣли могущественное дѣйствіе того, что составляетъ единство въ людяхъ, дѣйствіе свойственныхъ имъ всеобщихъ инстинктовъ, равносильное полнѣй-

шему соглашенію людей между собою. Теперь намъ приходится посчитаться съ другимъ, совсѣмъ противоположнымъ человѣческимъ свойствомъ,—съ безграничнымъ Разнообразіемъ человѣческихъ личностей. Сколь ни всеобщи и ни энергичны такіе инстинкты, какъ голодъ, жажда, половой инстинктъ, самосохраненіе, эгоизмъ и, въ томъ числѣ, мимика, месть, зависть, потребность равнаго человѣческаго достоинства; но разнообразіе человѣческое еще поразительнѣе, потому что это есть все разнообразіе умовъ, дарованій, образовъ мыслей, чувствъ, характеровъ; разнообразіе идей, идеаловъ, убѣжденій, вкусовъ, побужденій, энергіи, настойчивости, и т. п.; разнообразіе, наконецъ, безчисленныхъ сочетаній всего этого между собою. А между тѣмъ, однѣ физическія и социальныя причины не могутъ еще производить ни одного историческаго факта, пока къ нимъ не присоединится причина психологическая, личное усиліе одной или нѣсколькихъ волей. А вслѣдствіе этого, какъ бы ни были разнообразны естественныя и общественныя препятствія, представляющіяся тому или иному всеобщему инстинкту, или, наоборотъ, какъ бы ни были однообразны благопріятныя обстоятельства того или другого рода,—всякая отдѣльная особь отнесется къ нимъ непремѣнно иначе, чѣмъ всякая другая. Для нѣкоторыхъ самыя препятствія окажутся преодолимыми, для нѣкоторыхъ другихъ самыя благопріятности окажутся бесполезными. Тѣмъ и другимъ способомъ и произведется величайшее разнообразіе послѣдствій. Даже тогда, когда уравниеніе людей совершается, повидимому, вовсе не по одиночѣ, а огромными массами, какъ, напримѣръ, при иныхъ правительственныхъ реформахъ, (реформація, какъ освобожденіе совѣсти, эманципація крестьянъ и негровъ, какъ освобожденіе воли), и тогда каждая отдѣльная личность воспользуется этимъ оптовымъ освобожденіемъ и уравниеніемъ лишь въ своей собственной, особой мѣрѣ, и, слѣдовательно, все-таки по одиночѣ. Вотъ эта-то поодиночность и съ своей стороны содѣйствуетъ тому, чтобы движеніе скачками, прыжками, обратить въ невозможное, какъ обращали его и нѣкоторыя другія причины. Невозможность же прыжковъ и образуетъ правильную ариѳметическую прогрессію въ уравниеніи и освобожденіи людей.—Гораздо загадочнѣе качественная прогрессія этого освобожденія и уравниенія. Идя отъ свободы и равенства лишь культурныхъ къ культурнымъ и цивилизаціоннымъ, а отъ этихъ двухъ ко всѣмъ тремъ: культурнымъ, цивилизаціоннымъ и гражданствен-

нымъ, прогрессія эта представляется странною и даже извращенною, въ сравненіи со статическимъ процессомъ того же рода. Статически онъ начинается съ цивилизаціи, и только продолжаетъ культурою, а не на оборотъ. Станнымъ кажется, почему бы аристократическая свобода должна была быть только политическою, культурною? почему тимократическая получаетъ вкусъ и къ теоретической, интеллектуальной свободѣ? почему демократическая, сверхъ всего этого, способна и къ свободѣ нравовъ? Вотъ вопросы, отвѣтъ на которые не дается такъ легко, какъ въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ. И единственный отвѣтъ, какой мы считаемъ возможнымъ привести здѣсь, есть развѣ только слѣдующій. Свобода есть не что иное, какъ освобожденіе отъ того или другого Авторитета, до тѣхъ поръ тяготившаго надъ людьми. Авторитеты бываютъ и могутъ быть троякіе: цивилизаціонные, культурные, гражданственные. Самымъ вѣскимъ изъ первыхъ есть церковь, изъ вторыхъ—правительство, изъ третьихъ—общественное мнѣніе. Церковь есть авторитетъ духовный: правительство—свѣтскій, мірской; а общественное мнѣніе есть самое основаніе, самый корень всѣхъ авторитетовъ. Такъ вотъ не здѣсь ли надо искать и самый порядокъ освобожденія отъ нихъ, по мѣрѣ большей или меньшей легкости и трудности. Свѣтскій авторитетъ есть авторитетъ внѣшній, онъ объективнѣе всякаго другого, онъ легче поэтому понимается, живѣе чувствуется и, слѣдовательно, скорѣе долженъ и потрясаться; между тѣмъ, какъ авторитетъ духовный есть внутренний, субъективный, который не только низвергнуть, но даже сознать и почувствовать гораздо труднѣе. Если же такъ, то послѣднимъ изъ всѣхъ освобожденій должна быть свобода отъ общественнаго мнѣнія, какъ самаго субъективнаго и самаго неотразимаго изъ всѣхъ людскихъ авторитетовъ. По крайней мѣрѣ. никакого лучшаго объясненія этой эволюціи въ виду у насъ не имѣется.

Какъ въ должностномъ правѣ наслѣдственность, такъ въ административномъ централизація и децентрализація, есть явленіе, гораздо шире распространенное въ обществѣ, чѣмъ самое то право, къ которому его приурочиваютъ. Можно сказать, что централизація и децентрализація имѣютъ мѣсто во всѣхъ почти правахъ и что въ административномъ онѣ только выступаютъ нагляднѣе, рельефнѣе. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ идетъ дѣло о центрахъ, такъ сказать, физическихъ, невидимыхъ, здѣсь же—о геометрическомъ, очевидномъ. Такъ, напримѣръ, въ сословномъ правѣ, что такое аристо-

кратія и демократія, какъ не централизація и децентрализація всего общества? Въ должностномъ правѣ, что такое самая наслѣдствен-ность, какъ не возможно большая централизація этого права, а очередь и жребій—какъ не возможно большая децентрализація его? Что такое, въ верховномъ правѣ, монархія, если не централизація власти, и республика—если не децентрализація ея? Что такое самый синтезъ и анализъ власти, какъ не новая ея централизація и децентрализація?.. Тѣмъ не менѣе изучать это явленіе, все-таки, удобнѣе всего въ правѣ административномъ, гдѣ оно всего явственнѣе. А потому здѣсь только уиѣстнѣе всего и вопросъ: какъ и почему всякая централизація рано или поздно разрѣшается децентрализаціей? Всякое сосредоточеніе администраціи уже само въ себѣ заключаетъ сѣбя разсредоточенія ея. Одно только развѣ сосредоточеніе семейной власти въ рукахъ отца можетъ оставаться болѣе или менѣе абсолютнымъ. Но стоитъ только обществу чуть-чуть увеличиться въ объемѣ,—и чистота централизаціи уже пропадаетъ, потому что становится необходимою какая бы то ни было, но делегація власти. Въ родѣ такую бываетъ делегація отъ родоначальника къ отцамъ семействъ; въ племени—отъ князя къ родоначальникамъ, и т. д. Какъ ни кажется безусловнымъ деспотизмъ древняго востока, но онъ тѣмъ условнѣе, чѣмъ общество объемистѣе. И обусловливается онъ именно своей же собственной іерархіей, т. е. цѣлымъ рядомъ своихъ делегацій. Іерархія есть первый протестъ противъ чистоты деспотическаго идеала, первое признаніе физической его невозможности. Она первая и сама по себѣ открываетъ дорогу отъ центра къ периферіи. И какъ бы ни были при этомъ ослабляемы, ограничиваемы въ пользу центра всѣ ряды іерархической лѣстницы, какъ бы ни была велика зависимость всякаго низшаго ряда отъ всякаго высшаго, а всѣхъ вмѣстѣ отъ вершины; но всѣ они въ совокупности своей, такъ или иначе, а уже оттягиваютъ всю дѣйствительную власть отъ центра къ периферіи. Они оттягиваютъ ее потому, что власть тѣмъ дѣйствительнѣе, чѣмъ она непосредственнѣе; а таковою въ іерархіи она бываетъ по мѣрѣ приближенія къ периферіи, а не къ центру. У центра, въ этомъ случаѣ, остается лишь власть все болѣе и болѣе посредственная, т. е. все менѣе и менѣе дѣйствительная. За нимъ остается, такъ сказать, лишь право на великіе и торжественные акты власти, вся же будничная, ежедневная практика ея ускользаетъ у него изъ рукъ. При

немъ остается скорѣе вся идея власти, чѣмъ самая власть. Фикція централизаціи поддерживается, правда, еще правомъ контроля, остающимся въ центрѣ, правомъ, которое отъ времени до времени и дѣйствительно реализуется. Но и самый этотъ контроль, по мѣрѣ той же самой объемистости обществъ, становится подобно непосредственному проявленію власти, все болѣе и болѣе физически недостижимымъ, такъ что въ концѣ концовъ онъ обращается въ простую иллюзію центральной власти, въ одно идеальное самоутѣшеніе ея. Вслѣдствіе всего этого, самый отчаянный деспотизмъ есть только самая всемогущая бюрократія, гдѣ деспотъ довольствуется только идеальной возможностью для себя проявить власть, когда и какъ ему вздумается, но гдѣ регулярно и ежечасно проявляетъ ее только одна его іерархія. Если онъ имѣетъ надъ нею власть формальную то она имѣетъ надъ нимъ нравственную, такъ какъ онъ видитъ и слышитъ только ея глазами и ушами. А чѣмъ больше растетъ объемъ общества, чѣмъ многочисленнѣе становятся инстанціи іерархіи, чѣмъ пуще низшіе отъ нихъ удалены отъ высшихъ самими разстояніями, пространствомъ; тѣмъ и власть ихъ становится независимѣе, и наружная централизація все болѣе и болѣе обращается въ скрытную децентрализацію. До сихъ поръ, впрочемъ, если это и есть децентрализація, то лишь іерархическая, зарождающаяся внутри самой бюрократіи. Но дальнѣйшее дѣйствіе той же причины доводитъ ее до совсѣмъ противоположной администраціи, возникающей снизу, а не сверху,—до земства. А именно: есть такіа мелкія и, въ то же время, многочисленныя функціи общезжитія, что ввѣрить ихъ всѣ и каждую особымъ органамъ бюрократіи невозможно ни при какомъ объемѣ государствъ: таковы, напримѣръ, управленія селъ. Чтобъ довести и сюда, до этого дна обществъ, представителей все той же верхней, коренной администраціи, необходимъ или слишкомъ малый объемъ государства или же слишкомъ непомѣрное, китайское развитіе бюрократіи. А потому, въ большинствѣ случаевъ, органъ отъ короны, по волѣ самой же короны, замѣщается для такихъ функцій органомъ отъ земли. Это и есть началомъ децентрализаціи въ въ тѣсномъ смыслѣ слова, потому что есть началомъ другой, новой администраціи, выходящей на встрѣчу предыдущей и съ противоположнаго конца. Впослѣдствіи, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, эта новая администрація начинаетъ отвоевывать отъ прежней и нѣкоторыя иныя, высшія функціи; она можетъ, вслѣдствіе

этого, наращаться, какъ и та, инстанціями, но только вверхъ, а не внизъ; и такимъ образомъ мало по малу вступаетъ въ формальную тяжбу съ тою. А тяжба эта, однажды начавшись, можетъ и должна разрѣшаться сперва равновѣсіемъ обѣихъ сторонъ, а потомъ и перерѣсомъ новой надъ старою. Такимъ образомъ самая безусловная централизація психологически уже заключаетъ въ себѣ причины такой же безусловной децентрализаціи въ будущемъ, вслѣдствіе самой Ограниченности человѣческихъ силъ.

Въ международномъ правѣ замѣчательны въ особенности мотивы военнаго права. Такъ, напримѣръ, развитіе родовъ оружія отъ кавалеріи къ артиллеріи, а не какъ-нибудь иначе, обнаруживаетъ движеніе отъ живыхъ силъ природы къ мертвымъ, отъ животнаго къ машинѣ. Съ точки зрѣнія социальныхъ причинъ естественность такого движенія очевидна: вся промышленность движется тѣмъ же путемъ. Начиная съ приводовъ, въ которыхъ движущею силою есть животное, она оканчивается такими, въ которые впрягается то вѣтеръ, то вода, то паръ, то электричество. Но какой изъ всеобщихъ психическихъ мотивовъ долженъ содѣйствовать тому же направленію движенія? Полагаемъ, что чувство самосохраненія и ничто больше. Сначала оно старается усилить человѣка то всею силою слона, то всею быстротою лошади, то всею выносливостію верблюда, и тѣмъ производить кавалерію. Потомъ оно же изобрѣтаетъ племъ, латы, щитъ и тѣмъ образуетъ тяжелую пѣхоту. Наконецъ, оно и просто прибѣгаетъ къ стѣннбнтымъ и инымъ машинамъ, гдѣ человѣческая сила и храбрость пробуетъ замѣнить себя чистыми механизмами. Во всякомъ случаѣ, военная наука признаетъ, что поприщемъ самой активной храбрости есть только кавалерія; артиллерія же есть мѣсто лишь храбрости пассивной. Впрочемъ, не только исторія оружія, но также и самого искусства военнаго наводитъ на ту же мысль. Искусство это, въ качествѣ тактическаго, представляетъ слѣдующую прогрессію: рукопашный бой, бой на разстояніи и отдаленный бой. Но какому же интересу человѣческому соотвѣтствуетъ такая исторія тактики, какъ не самому задушевному, хотя, быть можетъ, и самому затаенному желанію всѣхъ и каждаго отдалять отъ себя, по мѣрѣ возможности, опасность, а не приближать ее. Въ самомъ дѣлѣ, сначала вся тактика состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ простой силѣ натиска и непосредственной сшибки, въ силѣ разгона, разбѣга, размаха, и слѣдующаго за тѣмъ столкновенія, т. е. въ качествахъ,

своиственныхъ и всякому физическому тѣлу, ударяющемуся въ другое. Какія-нибудь военныя хитрости, морскія лавированія, сухопутныя маневрированія не знаютъ еще тутъ мѣста. Но такія условія боя требуютъ отъ человѣка самой беззащитной и недумавшей храбрости. Тѣмъ не менѣе типъ непосредственныхъ боевыхъ столкновений держится лишь до тѣхъ поръ, пока обойтись безъ него невозможно. При всякой же первой къ тому возможности, за нее хватаются обѣими руками, и охотно обходятъ прежнія условія. Такъ, напримѣръ, и древніе знали уже систему подготовленія натиска перестрѣлкой; уже у нихъ съчѣ холоднымъ оружіемъ предшествовали тучи стрѣлъ и дротиковъ. У огнестрѣльных же народовъ такое подготовленіе боя обратилось, собственно говоря, въ самый бой; а натискъ и непосредственная съчка холоднымъ оружіемъ взошли на степень лишь завершительнаго момента боя и, при томъ, такого, безъ котораго иногда и вовсе обходятся. Мудрено ли поэтому, что артиллеріи, можетъ быть, удастся и окончательно разводить противниковъ на такія разстоянія, съ которыхъ сходиться въ непосредственную сшибку и совсѣмъ невозможно. И такъ, сколько бы война ни служила сценой и выставкой человѣческой храбрости, но она же обличаетъ и тайную подкладку ея. Всей своей совокупностью, исторіею своею, она согласуется вовсе не съ этимъ свойствомъ человѣческой души, а развѣ только съ совершенно противоположнымъ,—съ Трусостью. По крайней мѣрѣ, къ тому же подозрѣнію приводитъ не только исторія оружія и боя, но также всей тактики, всей стратегіи, всей политики военной. Если вся тактическая война стремится превратиться въ стратегическую, если лавированія и маневрированія не только не презираются, но высоко цѣнятся; то что же это такое, какъ не новое развитіе подготовительныхъ дѣйствій на счетъ рѣшительныхъ? что это, какъ не новое отдаленіе боя на дистанціи, для тактики недоступныя, потому что это есть удаленіе его съ поля битвы на театръ войны. Потомъ стремленіе и самой стратегіи отнести центръ тяжести войны еще дальше назадъ, въ политику, т. е. съ театра войны на театръ дипломатіи, развѣ снова не оправдываетъ все одну и ту-же заднюю мысль человѣчества, одно и то же затаенное чувство его. Наконецъ, движеніе и самой политики отъ наступательной къ оборонительной развѣ не есть движеніе отъ преобладавшей храбрости къ начинающей преобладать трусости, отъ готовности самопожертвованія къ предпочтенію самосохраненія.

Конечно, наступательная политика объясняется еще избытком жизненности, энергичности, а оборонительная—ослабленіемъ той и другой; но это-то ослабленіе какъ нельзя больше совпадаетъ и съ усиленнымъ инстинктомъ самосохраненія. Словомъ, чувство, которое въ индивидуальныхъ своихъ проявленіяхъ третируется, какъ одинъ изъ величайшихъ пороковъ, въ коллективномъ своемъ видѣ опять фигурируетъ, подобно мести или зависти, если не въ качествѣ добродѣтели, то, по крайней мѣрѣ, одного изъ величайшихъ двигателей прогресса. Такимъ образомъ, въ экономіи человѣческой природы ничто не пропадаетъ и все ея зло, какъ и все добро, подобно мертвымъ и живымъ силамъ физической природы, имѣетъ безразлично свой удѣлъ въ исторіи, свое мѣсто въ общей работѣ человѣческаго рода.

Остается законъ побѣды. Но если этотъ законъ есть только соединеніе всѣхъ предыдущихъ или, по крайней мѣрѣ, отраженіе ихъ всѣхъ; то новыхъ причинъ его нечего и искать, а остается указывать лишь совпаденіе его со всею цивилизаціею и всею культурою. А что же такое законъ числа, какъ не отраженіе цивилизаціи математической? законъ энергіи—какъ не отраженіе физико-химической цивилизаціи? законъ экономической культуры—какъ не рефлексъ всего прикладнаго естествознанія? законъ политической культурности—какъ не отблескъ всего предстоящаго обществознанія? Или что такое законъ числа, если не воспроизведеніе патріархальности, гдѣ численное наращеніе обществъ составляетъ весь вопросъ общежитія; законъ силы и энергіи—воспроизведеніе аристократизма, который весь основанъ на преимуществахъ породистости; законъ экономіи—воспроизведеніе тимократизма, какъ поглощаемаго интересами богатства; и наконецъ законъ политики — естественное воспроизведеніе демократизма, имѣющаго превознести выше всего умственные и нравственные различія... Впрочемъ, и сами по себѣ, независимо отъ цивилизаціи и остальной культуры, законы эти не могли бы идти въ иномъ порядкѣ постепенности, какъ этотъ. Всякое умственное и нравственное развитіе строится только на физическомъ и физиологическомъ, а не наоборотъ. Не только въ человѣчествѣ, но и въ любомъ народѣ, въ любомъ индивидуумѣ необходимо прежде развить его физическую и физиологическую природу, чѣмъ развивать умственную и нравственную. Преждевременное развитіе этихъ послѣднихъ всегда грозитъ даже ослабленіемъ первыхъ и смертію организма. А въ такомъ случаѣ пока всѣ расы одинаково свѣжи и не

изжиты, а вмѣстѣ съ тѣмъ одинаково невѣжественны, нѣтъ мѣста и дѣйствию иного социальнаго фактора, какъ число. Но какъ только, путемъ долгой исторіи, явилась противоположность древнихъ расъ и новыхъ, культурныхъ и некультурныхъ, первыя до тѣхъ только поръ имѣютъ шансы предъ вторыми, пока ихъ умственное и нравственное превосходство идетъ не на счетъ физическаго и физиологическаго. Но какъ только это случилось,—настаетъ одно изъ двухъ: или невозможность продолжать дальнѣйшее движеніе или же смѣна формаций, при помощи новыхъ расъ. Совершенно новыя расы, безъ помѣси ихъ со старыми, принуждены были бы начинать исторію съ начала; а старыя расы не могли бы обновиться безъ вліянія въ нихъ новой крови, безъ пресуществленія ихъ перваго вещества посредствомъ новыхъ скрещиваній. Сліяніе это повышаетъ однихъ, но понижаетъ другихъ, отчего и происходитъ обыкновенно, при перемѣнѣ формаций, задержка въ прогрессѣ; но за то впослѣдствіи движеніе только вѣрнѣе обезпечено. Въ одной же и той же формации, т. е. при большемъ или меньшемъ равенствѣ условій числа и энергій, нечему больше выступать наружу, какъ разницамъ экономической и политической культуры. Сознаніе первой половины этой истины на лицо уже и въ наши времена, какъ наиболѣе доступное для нашей тимократической формации. Уже и въ наши времена стоитъ только изобрѣсть новое оружіе, чтобы всѣ тотчасъ же поспѣшили перевооружаться. Уже и въ наши времена снуется афоризмъ, что побѣждаетъ тотъ, кто богаче, у кого выше промышленность. Со временемъ же поймется и вторая половина истины; такъ что въ новой формации она будетъ уже такою аксіомою, какъ до сихъ поръ число, энергія, богатство.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ.

Гражданственность есть осуществленіе идеаловъ культуры въ фактахъ общежитія. Здѣсь снова будетъ слѣдиться исторія однихъ только продуктовъ гражданственности: правовъ, обычаевъ, преданій. Исторія же функций (инкорпорация и эскорпорация) и исторія органа (гражданство) опускаются.

П Р А В Ы.

Апатичность, мистицизмъ, утонченъ, позитивизмъ.—Женщина, какъ органъ гражданственности.—Женщина-волшебница, красавица, мученица, интеллигентка.—Сладогостіе, сластолюбіе, пьянство.—Родовенная любовь, патриотизмъ, гуманизмъ.—Лютость и презрѣніе жизни, храбрость и подвижничество, предприимчивость и гражданское мужество, самообладаніе и терпимость.—Правы свободы.—Правы равенства.—Честь и вѣжливость.

Отъ права прямой переходъ къ правамъ, тѣмъ болѣе, что послѣднее изъ правъ, международное, и самое, по большей части, не что иное, какъ система дѣйствующихъ правовъ. Но въ какомъ порядкѣ, по какимъ категоріямъ, подъ какою классификаціе разсматривать этотъ новый элементъ общественности? Исторія его составляетъ собою такой еще непечатый уголъ, что здѣсь нѣтъ, даже въ чисто фактическомъ отношеніи, никакихъ готовыхъ рубрикъ, какъ были готовы онѣ въ сборникахъ фактовъ по цивилизаціи и по культурѣ. А между тѣмъ нравы и обычаи общества составляютъ собою самый неколебимый и безъукоризненный масштабъ высоты общежитія, такъ что нѣтъ никакой возможности исключать ихъ изъ соображеній науки. По этому, хотя настоящій очеркъ гражданственности и не можетъ быть инымъ, какъ крайне блѣднымъ; но, во

имѣя цѣлостности представленія объ исторіи, какъ науцѣ, онъ все-таки долженъ быть предпринять, хотя бы то въ качествѣ лишь одной программы. И такъ мы испробуемъ классификацію нравовъ на интеллектуальныя и моральныя. Классификація эта основывается на томъ соображеніи, что нравы суть не что иное, какъ привычки воли, а привычки эти могутъ проявляться то въ склонностяхъ ума, то въ склонностяхъ чувства. Въ первомъ случаѣ являются навыки умственные, во второмъ—нравственные. Мы начнемъ съ первыхъ.

Всѣ проявленія нравовъ отыскиваются уже въ жизни животныхъ. Мало того, элементы каждаго почти изъ человѣческихъ нравовъ можно встрѣтить въ томъ или другомъ животномъ, даже въ высшемъ развитіи чѣмъ у человѣка, какъ, на примѣръ, преданность—въ собацѣ, гордость—въ орлѣ, храбрость во львѣ, и т. п. Разница только въ томъ, что тамъ, у животныхъ, каждый изъ такихъ нравовъ болѣе или менѣе обособляется, исключаетъ, или, по крайней мѣрѣ, поглощаетъ всѣ другіе; человѣкъ же способенъ къ универсализаціи нравовъ, къ совмѣщенію въ себѣ всего того, что въ животныхъ раздѣлено между всѣми видами. То же, что о животныхъ, надо сказать о дикаряхъ. Между дикарями можно встрѣтить не только всѣ пороки, но также и всѣ добродѣтели, свойственныя самымъ цивилизованнымъ и культивированнымъ душамъ. Такъ, на примѣръ, негры, по отзывамъ наибольшихъ знатоковъ племени, весьма сострадательны, вѣрны своимъ обѣщаніямъ, правдивы, честны (само собою разумѣется, по отношенію къ своимъ, а не чужимъ). Правдивость, кротость и честность папуасовъ восточнаго архипелага идетъ рядомъ съ совершеннымъ ихъ звѣрствомъ въ своихъ нападеніяхъ. Трудолюбіе, доброжелательность, гостепріимство эскимосовъ уживается съ низостью ихъ тамъ, гдѣ нечего ни ожидать, ни бояться. Караибы добродушны, скромны, честны до педантизма, хотя и мучать плѣнниковъ ножомъ, огнемъ и краснымъ перцемъ, жарятъ ихъ и съѣдаютъ. Супружеская вѣрность веддасовъ превосходитъ, говорятъ, европейскую. Сѣверо-американскіе индѣйцы вѣрны данному слову, гостепріимны и кротки, хотя также легко впадаютъ въ бѣшенство, въ иступленіе, въ предательство. Ново-каледонцы до сихъ поръ сохраняютъ безусловную трезвость: до сношеній съ европейцами они совсѣмъ не знали опьяняющихъ напитковъ, а узнавши ихъ, не стали употреблять ихъ. О древнихъ варварскихъ жителяхъ Кадикса древніе говорятъ, что всѣ торгующіе съ ними свободно

вѣряють имъ всякое свое достояніе, и никогда еще не имѣли повода раскаяться: вѣрность ихъ въ этомъ отношеніи простиралась до готовности подвергнуть жизнь свою опасности. И такъ, дѣло исторіи вовсе не въ томъ, чтобы изобрѣтать новыя добродѣтели или новыя пороки, а только въ томъ, чтобы изъ числа имѣющихся и всѣхъ готовыхъ въ человѣческой природѣ благопріятствовать развитію однихъ и не благопріятствовать развитію другихъ. Начинается же эта исторія, конечно, безусловнымъ преобладаніемъ въ человѣческомъ родѣ пороковъ надъ добродѣтелями. А въ томъ числѣ первое мѣсто принадлежитъ, конечно, преобладанію пороковъ ума.

Наиболѣе древнимъ, потому что современнымъ естественному быту людей, есть, конечно, оцѣпненіе ума, косность его, отсутствіе самого любопытства, *апатичность*. Здѣсь умъ дѣйствуетъ лишь на столько же, на сколько у любого четвероногого, т. е. единственно для самозащиты и удовлетворенія первыхъ потребностей. Когда то и другое сдѣлано, вопросовъ больше нѣтъ, и шевелить умъ больше нечему. Кузь, при его посѣщеніи тасманійцевъ, былъ пораженъ тѣмъ недостаткомъ любопытства, какое обнаруживали туземцы въ виду новыхъ людей и новыхъ предметовъ. Нѣкоторые изъ нихъ даже не интересовались взглянуть на прибывшій корабль. Дикаря часто утомляютъ даже распросы, такъ что отвѣты его становятся безсвязны, взглядъ блуждающимъ, и обнаруживается потребность сна отъ утомленія, какъ это случилось съ негромъ, при распросахъ Бертонъ. Правда, фетишизмъ, созданіе языка и индукція чрезъ перечисленіе скоро становятся доступны патріархальному строю; но все это свидѣтельствуетъ скорѣе объ активности памяти, чѣмъ ума. Умъ же, и въ особенности сколько нибудь теоретическій, начинаетъ приходить въ движеніе развѣ лишь въ послѣднихъ стадіяхъ такого быта, въ такъ названной нами фратріархальности. Но за то же эта дѣятельность ума вся затрачивается на ту тьму предрассудковъ, которую потомъ приходится раздѣлывать въ теченіе всей дальнѣйшей исторіи.—Въ жизни государственной активность человѣческаго ума раскрывается во всемъ своемъ блескѣ. Но тѣмъ не менѣе и тутъ обезсиливаетъ ее извѣстные умственные навыки. Въ аристократическомъ государствѣ болѣе всеобщимъ, распространеннѣйшимъ и потому характеристичнѣйшимъ изъ навыковъ этого рода есть суетвѣріе, *мистицизмъ*. Подъ этимъ именемъ надо разумѣть такое состояніе человѣческаго ума, при которомъ вѣры въ немъ больше

чѣмъ философін, а философін больше, чѣмъ науки. А такое состояніе есть удѣлъ его очень долго. Не только на всѣхъ степеняхъ патріархальнаго быта, но и у всѣхъ древнихъ народовъ, склонность эта еще положительно преобладаетъ надъ всѣми другими возможными. Вѣра въ знахарство, въ колдовство, въ заклинанія, въ насиланіе болѣзней, въ сновидѣнія и т. п., которая въ патріархальныхъ обществахъ составляетъ вѣру въ собственномъ смыслѣ слова, въ первыхъ государствахъ міра если перестаетъ быть религіей, то остается въ качествѣ могущественнаго суевѣрія. Извѣстно, напримеръ, что нѣкоторые сновидѣнія и толкованія ихъ восходили на степень политическихъ событій, получали историческое значеніе какъ сонъ библейскаго фараона, Астіага, Креза, Камбиза и др. У ассирійцевъ и вавилонянъ суевѣрія замѣняли всю медицину, которой не было тутъ даже въ самомъ эмпирическомъ ея смыслѣ. Больного выносили на улицу, и каждый прохожій могъ давать совѣты, изъ числа которыхъ дѣйствительными считались только заклинанія или наговоры, такъ какъ болѣзнь считалась вселеніемъ злаго духа. На одной изъ надписей сохранилось и до сихъ поръ одно изъ такихъ заклинаній: гилька, гилька, беша, беша! употреблявшееся даже въ средніе вѣка и тѣмъ охотнѣе, что смыслъ словъ былъ уже утраченъ. Съ другой стороны, ни одинъ ассирійскій царь не предпринималъ ничего важнаго, не посоветовавшись напередъ съ своимъ астрологомъ. Что же касается такихъ явленій, какъ солнечныя затмѣнія, кометы и т. п., то они рѣшали иногда судьбу битвъ: до такой степени были относимы они къ волѣ боговъ и къ системѣ предзнаменованій. Въ индульской литературѣ громко и постоянно признается возможность поднятія человека въ воздухъ и паренія тамъ: стоитъ только достигнуть высшей степени аскетизма. У самихъ евреевъ пророкъ Исаія палъ жертвою своей оппозиціи противъ волшебства, гаданій, некромантіи: царь Манасія, раздраженный его настойчивостью, велѣлъ распилить его между двумя досками. Но еще поразительнѣе, что даже у классическихъ народовъ эта доля суевѣрія едва-ли убавилась, и притомъ, не исключая никакихъ классовъ общества, никакихъ эпохъ и никакихъ представителей ихъ. Такъ, въ походѣ спартанцы не должны были выходить раньше полнолунія, а афиняне—прежде седьмого дня мѣсяца. Такъ передъ битвою одно лицо у Эврипида говоритъ: боги, сражающіеся съ нами, стоятъ тѣхъ, что противъ насъ сражаются! Обитатели Эгины никогда не выступали въ походъ, не за-

хвативъ съ собою статуи своихъ героевъ Эвевидовъ. Спартанцы забирали съ собою изваянія своихъ Тиндаридовъ. Чтобы взять городъ, надо было, по классическому пониманію, прежде всего выманить оттуда боговъ его. Троя не была бы взята, еслибъ Улиссъ и Діомедъ не похитили статую Паллады, прокравшись ночью въ ея святилище. У римлянъ существовалъ для этого даже особый обрядъ, исполнявшійся феціалами, и особая формула выкликанія: „о, все-сильный покровитель этого города! молюсь тебѣ, кланяюсь и заклинаю: покинь этотъ городъ, оставь эти храмы и эти священные мѣста, и переселились въ Римъ, ко мнѣ и къ моимъ. Да будетъ нашъ городъ, наши храмы и наши священные мѣста тебѣ любезнѣе и милѣе; прими насъ подъ свою защиту, а мы, если примешь, воздвигнемъ тебѣ славный храмъ!“ вмѣсто выкликанія полезно было, и даже было вѣрнѣе, украсть боговъ, если только это возможно. Въ свою очередь Солонъ, прежде наказанія эгинцевъ, сѣумѣлъ подкупить боговъ ихъ жертвами, такъ что они сами повинили островъ на произволъ судьбы. Въ виду всего этого, боги иногда приковывались цѣпями къ стѣнамъ храма. А римляне, съ той же цѣлью таили имена своихъ боговъ, чтобы никто не зналъ, подъ каемъ именемъ надо выкликать ихъ. Но вотъ предстоитъ битва; спартанцы, напримѣръ, стоятъ боевымъ строемъ подъ Платеей; на головахъ уже вѣнки, флейщики уже играютъ, и царь позади стана уже закалываетъ жертвенное животное. Какъ вдругъ недобрыя предзнаменованія! Въ смущеніи царь мѣняетъ жертвы одну за другою. Персидская конница уже стрѣляетъ, уже люди падаютъ подъ стрѣлами; но спартанцы стоятъ какъ вкопанные, щиты у ногъ, не смѣя обороняться. Наконецъ сзади послышался шумный восторгъ, предзнаменованія удались,—и тогда только дается сигналъ къ битвѣ. То же и въ римскомъ станѣ. Къ консулу подводятъ жертвенное животное, которому онъ наноситъ ударъ сѣкирою. Гаруспексы начинаютъ разсматривать внутренности и стараются обнаружить волю боговъ. Если предзнаменованія благоприятны, дается знакъ къ битвѣ; но если нѣтъ, то никакая сила соображеній и необходимости не заставитъ вступить въ бой. Самая тактика римлянъ состоитъ, между прочимъ, въ томъ, чтобы ихъ невозможно было принудить къ бою, когда день неблагоприятенъ: для этого римскій станъ поминутно окапываетъ себя. Но всего, быть можетъ, характернѣе въ этомъ отношеніи афинская экспедиція въ Сидилію, экспедиція самаго просвѣщеннаго народа

древности и въ самую просвѣщенную изъ эпохъ его. Съ одной стороны, Никій объявляетъ народу, что прорицанія неблагоприятны для похода; съ другой, прорицатели Алкивіада говорятъ совсѣмъ другое. Народъ въ недоумѣніи. Въ это время являются странники изъ Египта; они тамъ вопрошали знаменитаго Юпитера Аммонскаго, и узнали отъ него, что аеиняне захватятъ всѣхъ сиракузянъ. Народъ рѣшился. Но у самаго Никія нѣтъ какъ нѣтъ надежды, тѣмъ болѣе, что, въ довершеніе всего предъидущаго, вороны попортили одну изъ статуй Паллады, какой-то человѣкъ изувѣчилъ себя у алтара, наконецъ выступленіе въ походъ приходится въ тяжелый день. Никій убѣжденъ, что война будетъ несчастна, и теряетъ всякую рѣшимость на что-нибудь. Извѣстный всегда за военачальника смѣлаго, предприимчиваго, даже отважнаго, теперь онъ весь одна осторожность, одна нерѣшимость. И что же, походъ, какъ извѣстно, дѣйствительно не удался, и надо возвращаться назадъ. Возвратиться пока еще можно, море пока еще свободно; но надо же, какъ на бѣду, случиться лунному затмѣнію... Скорѣе къ прорицателю! А тутъ оказывается, что необходимо переждать, и переждать не менѣе, какъ трижды девять дней. И вотъ Никій дѣйствительно ждетъ, дѣйствительно теряетъ самое драгоценное время. А, между тѣмъ, въ эти трижды девять дней враги успѣваютъ запереть ему выходъ изъ гавани и кончаютъ полнымъ истребленіемъ его флота. Что же аеиняне? они нашли, что Никій взялъ съ собою неспособнаго прорицателя: онъ долженъ былъ знать, что для войска отступающаго лунное затмѣніе совсѣмъ не то, что для наступающаго; тутъ оно скорѣе добрый знакъ, чѣмъ худой. Исторія обыкновенно умалчиваетъ всѣ подобныя причины событій, а между тѣмъ не очевидно ли, на сколько онѣ освѣщали бы ихъ. Такова же предрасудочность и на каждомъ шагѣ внутренней государственной жизни. Въ Римѣ предстоитъ избраніе консула. Ночь передъ этимъ днемъ председатель коміцій проводитъ подъ открытымъ небомъ. Устремивъ въ него взоры, онъ наблюдаетъ небесныя знаменія, а между тѣмъ произноситъ поочередно имена кандидатовъ. На слѣдующій день онъ объявляетъ и всѣ имена, и всѣ знаменія, сопровождавшія каждое; по этимъ даннымъ народъ и направляетъ свой выборъ. Подобное тому же происходитъ и съ засѣданіями народныхъ собраний. Неудачныя жертвоприношенія всегда имѣютъ послѣдствіемъ отсрочку ихъ. Въ критическіе же дни они и безъ того никогда

не назначаются. Сохрани Богъ также, если въ комиціяхъ случилась съ кѣмъ нибудь падающая болѣзнь,—засѣданіе тотчасъ прерывается; если поднялась буря, раздался громъ, сверкнула молнія,—опять бѣда; пришли дурныя вѣсти,—снова надо отложить всѣ дѣла. Наконецъ, всякое должностное лицо Греціи и Рима, вслѣдствіе соединенія тамъ обѣихъ аристократій, духовной и свѣтской, есть вмѣстѣ и чиновникъ, и жрецъ. А потому и всякое отправленіе должности сопровождается также жертвоприношеніями, гаданіями, примѣтами, и въ случаѣ дурныхъ примѣтъ прекращается. Въ седьмой же день метагитіона (августа), въ двадцатый день боэдроміона (сентябрь) и безъ того ни одинъ начальникъ не приметъ ни одного просителя, судья не будетъ судить, жрецъ не станетъ совершать богослуженія. Если такова роль суевѣрія во всей публичной жизни, то что же сказать о частной, домашней! Греки и римляне были религіозны совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, какъ слово это понимается теперь. Безъ преувеличенія можно сказать, что на исполненіе обрядности и предразсудковъ у cadaго грека и римлянина уходила ровно половина жизни. Какъ уходя изъ дома, такъ и возвращаясь домой, каждый изъ нихъ долженъ сотворить молитву. Каждый обѣдъ или ужинъ у нихъ есть не просто обѣдъ или ужинъ, а священнодѣйствіе, потому что непременно долженъ сопровождаться возліаніемъ на очагъ, жертвою домашнимъ богамъ. Всякое рожденіе, признаніе этого рожденія отцомъ, вступленіе въ родъ, во фратрію или курию, въ филу или трибу, въ гражданство, всякое возложеніе тоги, женитьба, годовщины всего этого, все это сопровождается жертвами, обрядами, молитвами. Праздники то домашніе, то родовые, то фратрій, то филъ, то городовъ—опять новые поводы въ тому же. Сборъ жатвы, стрижка винограда, снятіе плодовъ—опять столько же богослуженій. Рядомъ же со всѣмъ этимъ тянется еще длиннѣйшая вереница примѣтъ и повѣрій. Ни одинъ грекъ и римлянинъ не выйдетъ изъ дому, не оглянувши напередъ, нѣтъ ли гдѣ-либо зловѣщей птицы. Всѣ свои поступки онъ постоянно соображаетъ не только съ дѣйствительными причинами вещей, но также со снами, со слухами, съ примѣтами, съ предвѣщаніями. Молва о кровавомъ дождѣ гдѣ-то, о заговорившемъ бычѣ наполняетъ весь городъ ужасомъ, и онъ спѣшитъ въ заклинаніямъ, къ очищеніямъ. Выйти изъ дому не правою ногою весьма опасно; стричь волосы можно только въ полнолуніе; выходить со двора безъ ладони совершенно немислимо. Стѣны дома

надо покрывать священными надписями, во избѣжаніе пожара. Противъ каждой болѣзни имѣются на-готовѣ заговоры, которые надо произнести 27 разъ, чтобы подѣйствовали, и при этомъ надо плевать по сторонамъ. Если имѣется сильное желаніе, то, чтобы оно непремѣнно исполнилось, надо написать его на табличку и положить къ подножію статуи. Въ несчастные дни, *dies nefasti*, совсѣмъ ничего не надо предпринимать: ни жениться, ни судиться, ни отправляться въ путешествіе. 18 и 19 день каждаго мѣсяца суть одни изъ такихъ. Но самый критическій день есть день плинтерій, когда изваяніе главнаго божества Аѣинъ все закутывается въ трауръ. Въ этотъ-то ужасный день и былъ предпринятъ походъ Никія. Напротивъ, въ день панаѣинейскаго праздника съ богини снимается всякое покрывало и носится торжественно по городу. Чиханіе, звонъ въ ушахъ—ясные знаки, что надо воздержаться отъ задуманнаго предпріятія. Обязательное греческое восклицаніе при чиханіи *Zeo σωσον* (богъ помочи) дошло и до насъ. Падающая звѣзда, заяцъ перебѣжавшій дорогу, дрожаніе рѣсницъ, все это предвѣщанія то къ добру, то къ худу. Встрѣча съ егнухою, съ обезьяной, змѣей, ласточкой, сукой со щенками,—также всѣмъ понятны примѣты. Вредное вліяніе грома и молніи надо предотвращать шипѣніемъ и свистомъ. Пугались, если въ домъ забѣжала черная собака, или если мышь прогрызла мѣшокъ съ солью. Надѣвать на себя платье, обувъ нужно не иначе, какъ начиная съ правой половины тѣла; нечаянная ошибка грозила бѣдою. Но всего хуже, если неожиданно встрѣчалась прядущая женщина, или хотя бы то несущая веретено: это навѣрно парка, навѣрно смерть. И все это были не повѣрья одного простонародья, не достояніе невѣжества, а принадлежность самыхъ возвышенныхъ умовъ и дарованій. Оемистоклъ исполнился рѣшительной надежды на побѣду, когда подлѣ него кто-то чихнулъ съ правой стороны. Геродотъ весь полонъ сновидѣніями и ихъ толкованіями. Случайное чиханіе при вопросѣ объ избраніи вождемъ Ксенофонта рѣшило самый выборъ. Для Фукидида солнечное затмѣніе и землетрясеніе суть зловѣщіе знаки. Лукіанъ сообщаетъ повѣрье о магическихъ кольцахъ, выдѣлываемыхъ изъ желѣза съ висѣлицъ, о заколдованныхъ домахъ съ привидѣніями, о статуяхъ, сходящихъ съ своего пьедестала, о невидимой рукѣ, сбѣвающей вора, о метлѣ или шестѣ, ходящемъ какъ человекъ иносящемъ воду. Самая философія если и затрогивала вѣру въ сновидѣнія, то лишь крайне осторожно.

А говоря о вѣдѣствѣхъ, Стильпонъ, учитель стойка Зенона, замѣчаетъ, что о подобныхъ предметахъ не говорятъ на улицѣ. Платонъ также знаетъ, что философіи грозила-бы опасность, если бы она рѣшилась затрогивать понятія, освященные всеобщимъ вѣрованіемъ, и потому оракулы, напримѣръ, поименованы у него въ числѣ неприкосновенныхъ для критики учреждений. Въ Римѣ, передъ вступленіемъ Аннибала въ Италію, огненные камни падали съ неба, на солнцѣ и на лунѣ видѣлись знаменія, изъ храмовъ раздавались голоса, жнецамъ попадались кровавые колосья, на изображеніяхъ боговъ выступала кровь. Тиберій Гракхъ, въ день своей смерти, былъ сопровождается самыми дурными предзнаменованіями: священные куры не хотѣли ѣсть, въ шлемѣ Гракха двѣ змѣи высидѣли яйца; выходя изъ дому, онъ спотыкнулся на порогъ; идучи дорогой, замѣтилъ двухъ вороновъ. Все это не могло, наконецъ, не остановить какъ его, такъ и его единомышленниковъ, и дѣйствительно остановило; но возраженіе мудреца Блоссія изъ Кумъ ободрило ихъ и не позволило поддаться слабости. Оказалось, однако-жъ, что напрасно, и что они сдѣлали бы мудрѣе, если бы не послушались мудреца. Цицеронъ предупрежденъ былъ о своемъ несчастіи цѣлою стаею вороновъ. Самъ Цезарь развѣ не былъ останавливаемъ сновидѣніемъ Кальпурніи, и развѣ не далъ уже приказанія объ отсрочкѣ засѣданія сената, пока Децимъ Брутъ коварно не подтрусилъ надъ этимъ. Овидій искренно вѣрить, что задѣтъ ногою за порогъ, при выходѣ изъ дома — весьма плохой знакъ. Августъ и Агриппа смѣло обращаются къ астрологу Теогену, чтобы знать судьбу свою. Неоплатоническій философъ Ямблихъ однажды во время молитвы поднялся на 10 локтей отъ земли. Что же касается женщинъ, то, рядомъ съ туалетомъ и съ культами Цибеллы, Ювеналъ не вмѣняетъ римской женщинѣ ничего такъ, какъ ея страсть обращаться къ гадателямъ и тратиться на нихъ. Числа Тразилла, астролога Тиберіева, не выпускаются женщиной изъ рукъ. Нужно-ли ей съѣздить за какою нибудь милю отъ города,—она не поѣдетъ, не посовѣтовавшись съ книгою. Скоро-ли умереть мать, сестра, дядя, переживетъ-ли ее любовникъ или она его, все это предметы непрестанныхъ загадываній. Впрочемъ, довольно вспомнить всѣ древнія біографіи для того, чтобы видѣть, до какой степени всѣ онѣ легендарны. Словомъ, астрологія, магія, кабала, некромантія, всѣ такъ называемыя тайныя науки были тогда предметомъ такого

же безусловнаго довѣрія, какъ теперь физика или химія. — Въ настоящемъ поколѣннн государствъ всѣ подобныя склонности ума пережиты уже въ среднн вѣка; въ настоящую же, чисто-тимократическую эпоху всѣ онѣ отжили свое время, и если попадаютъ въ культурныхъ классахъ, то развѣ лишь въ видѣ переживаннй и даже оживаннй, какъ напр., спиритизмъ. Вѣра въ чудеса физической природы совершенно подорвана; и подрывъ этотъ выразился формально и всесторонне въ такъ называемомъ скептицизмѣ. Возвѣщенный устами Лютера въ религн, въ философію онъ перенесенъ Декартомъ, а въ науку Бэкономъ, и съ тѣхъ поръ насытилъ собою всю культуру, растворилъ собою всю гражданственность. Скептицизмъ въ томъ именно и состоитъ, что преобладающей системы знаннй для него вовсе нѣтъ, что онъ предполагаетъ вѣры столько же, какъ философіи, а философіи столько же, какъ науки. Благодаря дѣйствию естественной науки, никто уже нынѣ не припишетъ голода, моровой язвы—наводженію злого духа, или войны—грѣхамъ, или побѣды—воетѣ. Никто теперь не повѣритъ паренію въ воздухѣ никакого подвижника. Но зато у этого отрицательнаго скептицизма есть и своя положительная сторона. Сомнѣваясь во всемъ, что не подтверждается наукой, онъ внесъ тотъ же духъ изъ природы и въ общество. Въ обществѣ же наукой ничто еще не подтверждено, какъ ничто и не отвергнуто; а потому здѣсь и открылся полный просторъ мистицизму, при скептицизмѣ. Изгнанный изъ природы, онъ весь теперь бросился въ общество, и зажилъ здѣсь на полной своей волѣ, подъ именемъ *утопизма*. Вѣра въ пареніе естественное смѣнилось такой же вѣрой въ любое паренье общественное. Будучи же лишь естественнымъ послѣдствіемъ скептицизма, утопизмъ также услѣлъ уже пронестись по всѣмъ сферамъ нашего общежитія. Впервые возвѣщенъ онъ въ религн—Штореомъ, Карлштадтомъ, Мюнцеромъ и Іоанномъ Лейденскимъ. Потомъ, въ философіи сказался онъ давшею ему свое имя „Утопнй“ Мура, „Солнечнымъ Царствомъ“ Кампанеллы, „Общаніемъ“ Гаррингтона, „Трибуномъ“ Гракха Бабефа, системою С. Симона, „Икаріемъ“ Каба, фаланстеромъ Фурье, позитивною религнй Конта и т. п. Въ наукѣ исторической, юридической, экономической и вообще общественной, онъ скazyвается двумя, идущими параллельно, хотя и совершенно противоположными, крайними школами. изъ которыхъ каждая не знаетъ никакихъ предѣловъ преобразенн общества, будетъ-ли то впередъ или назадъ, въ духѣ идеаловъ от-

даленнаго будущаго или же идеаловъ давно-прошедшаго. Древніе не знали ни радикализма, ни обскурантизма: обѣ эти партіи суть достояніе только новыхъ временъ, точно также, какъ и утопическій фанатизмъ, по которому тѣмъ непрактичнѣе партія, тѣмъ она и страстнѣе. Этотъ духъ утопизма давно проникъ и въ самую культуру, гдѣ онъ раньше всего получилъ даже царственную и перво-священническую санкцію: съ одной стороны—въ проектѣ христіанской республики Генриха IV, съ другой—въ проектѣ іезуитскаго ордена. Еще же грандіознѣйшимъ практическимъ раскрытіемъ его была первая французская революція, съ ея размахами къ упраздненію религіи, лѣтосчисленія, календаря, формъ языка, модъ и т. п. Въ настоящее время на немъ основаны: институтъ международнаго права въ Брюсселѣ, Лондонская международная ассоціація сторонниковъ вѣчнаго мира, интернаціональный союзъ рабочихъ и т. п. Съ 1870 года особенно посчастливилось почти во всѣхъ парламентахъ Европы утопія вѣчнаго мира: въ 1873 году сэръ Генри Ричардъ внесъ ее въ англійскій парламентъ, а профессоръ Манчини въ итальянскій. Въ 1874 году сенаторъ Сомнеръ пропагандировалъ ее въ вашингтонскомъ конгрессѣ, а Швеція и Голландія въ своихъ законодательныхъ учрежденіяхъ. Въ 1875 г. за всѣми ими послѣдовала и Бельгія; а въ 1883 году Швейцарія предложила Сѣверо-Американскимъ Штатамъ: всѣ ихъ распри между собою рѣшать не иначе, какъ третейскимъ судомъ. Но верхъ всѣхъ этихъ и подобныхъ пареній можно найти только въ засѣданіяхъ конгресса международной ассоціаціи рабочихъ. Съ 7 по 19 сентября, напримѣръ, 1874 года тамъ очень серьезно и съ жаромъ разсуждали о слѣдующихъ предметахъ. Должно ли рабочее сословіе только смѣнить собою буржуазію, или же предстоить пересоздать общество совсѣмъ на новыхъ основаніяхъ? т. е. быть ли, по прежнему, государству, но лишь рабочему, или же анархіи? При чемъ англійскіе и германскіе утописты и тутъ сдержаннѣе: они довольствуются рабочимъ государствомъ; бельгійцы колеблются; Италія же, Испанія и Юра рѣшительно за анархію. Далѣе спрашивалось: стоитъ ли рабочимъ принимать участіе въ дѣятельности государства, если тѣмъ они только протягиваютъ вредное существованіе его? Спрашивалось, нужны ли рабочимъ законы, чиновники, проценты, барыши, ренты. Спрашивалось, что поставить на мѣстѣ религіи, политики, войны, собственности, семьи, конкуренціи?.. Но и посреди этого замѣ-

чательнѣ всего было опасеніе г. Матайва (Mathaiwe) изъ Люттиха, который очень озабоченъ былъ тѣмъ, что переворотъ можетъ наступить прежде, чѣмъ они успѣютъ условиться о программѣ дѣйствій на этотъ случай, и потому крайне сожалѣлъ, что вопросъ объ общественныхъ службахъ остался въ эту сессію неразсмотрѣннымъ. Что такое это все, какъ не чистая поэзія жизни?.. какъ не аберація ума и сердца, которые собственную свою торопливость и нетерпѣливость принимаютъ за торопливость грядущихъ событій, за нетерпѣливость исторіи. А между тѣмъ на ней, на этой поэзіи будущаго, основано и все вообще существованіе всѣхъ нашихъ крайнихъ политическихъ партій, какъ радикальныхъ, такъ и обскурантныхъ. Вслѣдствіе этого и вся гражданственность наша пресыщена духомъ мечтательности. Какое бы наилучшее состояніе общества ни представилось чьей-нибудь фантазіи, и при томъ все равно, по идеаламъ прошедшаго или будущаго, оно почитается уже и достижимымъ немедленно, въ 24 часа. Сперва это доказывали фанатики заднихъ идеаловъ, какъ Жакъ Клеманъ, Равальекъ, Балтазаръ Жераръ, Гюй Фоксъ, Анкарстремъ, Шарлота Кордэ, Жоржъ Кадудаль и имъ подобные. Въ наши времена доказываетъ это еще многочислѣннѣйшій рядъ фанатиковъ передовыхъ. Отсюда тотъ духъ революціонности, та безпрестанная игра въ гитанскіе шаги, тотъ фанатизмъ политическій, среди которыхъ живемъ мы; тогда какъ сдвинуть общество съ мѣста есть трудъ только столѣтій, почему дѣйствительная исторія и ползетъ только черепашинымъ шагомъ, примѣтнымъ лишь на разстояніи вѣковъ и тысячелѣтій. Во всѣхъ этихъ случаяхъ безмолвно подразумѣвается, что общества и правительства не подчинены никакимъ естественнымъ законамъ, ничѣмъ не стѣснены въ своей способности къ метаморфозамъ, что все тутъ зависитъ отъ доброй воли правителей, которымъ стоитъ только искренно пожелать,—и всякое пресуществленіе общества, въ ту или другую сторону, и на сколько угодно, можетъ состояться; другими словами, что съ обществомъ возможны всѣ тѣ чудотворенія, какія перестали быть возможными съ природою. Съ другой стороны, во всѣхъ этихъ случаяхъ подразумѣвается также, что всякое общество обосновано такъ шатко, что довольно малѣйшаго прикосновенія къ нему пальцемъ, малѣйшаго дуновенія вѣтра, чтобы оно и вышло уже изъ равновѣсія, чтобы запаталось. Стоитъ какому-либо принцу Жерому расклеить по улицамъ свой манифестъ, или

Луизѣ Мишель родать свои прокламаціи, чтобы уже и вся партія ихъ исполнилась розовыхъ для себя ожиданій и надеждъ. Мало того, не только сами они, но струхнетъ и само министерство, за-суетится, станетъ принимать мѣры, вносить законопроекты, въ полной увѣренности, что иначе все текущее состояніе общества можетъ дѣйствительно перевернуться вверхъ дномъ. Глаза завязаны у обѣихъ сторонъ, и потому обѣ онѣ и играютъ въ жмурки. Рѣчь, листокъ, фраза въ этой игрѣ съ обѣихъ сторонъ считаются всемогущими. А съ общества, въ свою очередь, тотъ же самый взглядъ переносится и на личность. Всякая личность, также какъ и всякое общество, предполагается также неустойчивою и также способною ко всевозможнымъ метаморфозамъ, лишь бы только сама она хорошенько захотѣла того и достаточно напрягла волю свою къ тому, ибо воля предполагается независимою ни отъ чего, кромѣ собственнаго хотѣнія или нехотѣнія. На этомъ предположеніи основаны всѣ наши системы вмѣненія: педагогическія, юридическія, каноническія и т. д. Предполагается, что всякій можетъ начать вѣрить, мыслить, чувствовать, дѣйствовать на-казавъ, по данному распоряженію, и если не дѣлаетъ этого, то единственно потому, что упрямится. Къ вѣщей же обрисовкѣ всего этого утопизма надо присовокупить, что онъ, считая волю независимою ни отъ какихъ обстоятельствъ, въ то же время допускаетъ, однакожъ, исключеніе для двухъ: для награды и наказаній; награды суть такое обстоятельство, которое можетъ влечь волю къ добру, а наказанія—такое, которое можетъ отвлекать ее отъ зла. Казалось бы, сдѣлавъ это единственное исключеніе въ пользу обстоятельствъ, вліяющихъ на волю, надо было бы допустить ихъ уже цѣлыя тысячи; но тѣмъ-то и поразителенъ утопизмъ, что онъ этого-то шага ни за что и не дѣлаетъ. На такой-то сѣтѣ противорѣчій и построены всѣ наши юстиціи: педагогическая, уголовная, церковная, административная и т. д. Въ довершеніе такихъ взглядовъ на общество и на личность, утопизмъ имѣетъ свой взглядъ и на ихъ взаимныя отношенія. Онъ постоянно предполагаетъ, что общество ничто, а личность все; что не общество производитъ и формируетъ личности, а личность формируетъ общества. На этомъ политическомъ суевѣріи основался и весь тотъ типъ исторій, который повсюду преподается юношеству и который состоитъ изъ біографій правителей. А на этомъ типѣ исторій основаны, въ свою очередь, всѣ тѣ покушенія противъ личностей

правителей, которыми такъ кипитъ вся тимократическая, вся утопическая эпоха. На этомъ же основано и вообще всякое требованіе чудесъ отъ личности, какъ существа, независимаго отъ условій общества. Но нигдѣ, быть можетъ, ни даже въ идеалахъ международной ассоціаціи рабочихъ, утопичность не проявилась такъ рѣзко, какъ въ идеалахъ объ отношеніяхъ половъ между собою. Раздѣленіе полового труда въ исторіи представляется больше, чѣмъ что другое, произвольнымъ, а потому просторъ для утопій открывается обширный. И просторомъ этимъ не усомнятся пользоваться даже такіе умы, какъ Д. С. Милль. Онъ прямо высказался за безусловное сравненіе половъ, за равный голосъ ихъ въ политикѣ, за доступъ ихъ ко всѣмъ государственнымъ должностямъ. Впрочемъ, это была и не новость уже въ его время. С. Симонъ еще раньше требуетъ равенства половъ, какъ онъ выражается, въ храмѣ, въ государствѣ, въ семействѣ. Да и онъ не первый въ этомъ дѣлѣ. Равенства требовала уже дѣвица Гурне, другъ Монтеня. А еще прежде нея Вальтеръ Постель пропагандировалъ ту же идею то въ Парижѣ, то въ Венеціи, то въ Падуѣ. Впрочемъ, и все это были еще только компримиссы. Корнелій же Агриппа раньше ихъ всѣхъ, въ 1509 году, издалъ уже трактатъ, въ которомъ сразу и безъ церемоній толковалъ не о равенствѣ только, а даже о превосходствѣ женщинъ надъ мужчинами; такъ что, по мѣрѣ слабости просвѣщенія вѣка, утопія вовсе не убывала, а только прибывала. Тотъ же Постель предпринималъ соединить всѣхъ людей однимъ вѣрованіемъ и одной властью. Наконецъ, и всѣ эти теоріи превзойдены были фактическимъ опытомъ, практикой, и при томъ въ эпоху еще болѣе мрачную. Въ VIII столѣтіи Власта, подруга Любуши, чешской королевы, по смерти ея, задумала основать государство на господствѣ женщинъ надъ мужчинами. Идею свою она поддержала цѣлою арміею изъ женщинъ, съ которою и укрѣпилась на горной мѣстности. Отсюда она набрасывалась на окружающія равнины и предавала ихъ разоренію. Такимъ образомъ цѣлыхъ восемь лѣтъ она была ужасомъ Чехин, не хотѣла слышать никакихъ мирныхъ предложеній короля Пржемыслава, и издала уже кодексъ, освящавшій во всѣхъ отношеніяхъ привилегіи женщинъ надъ мужчинами, пока укрѣпленія ея не были взяты приступомъ, амазонки ея истреблены и сама она погибла въ битвѣ. Вотъ утопія, которая не превзойдена потомъ ни однимъ изъ теоретическихъ послѣдователей Власты. Послѣ нея не-

доставало только задаться еще уравненіемъ физическихъ организацій женщины и мужчины; но если до этого идеала не дошли, то потому, что онъ требовалъ бы чуда въ естественной, а не общественной природы. Все это вмѣстѣ показываетъ, что свобода мечтательности въ политикѣ есть такая же господствующая теперь сноровка ума, какою былъ когда-то мистицизмъ, и что отъ нея не спасаетъ ни культурность страны, ни культурность вѣка или класса, ни даровитость лица, какъ не спасали онъ когда-то отъ мистицизма. Мало того, не спасаетъ отъ нихъ даже и полъ, потому что сами женщины гораздо меньше о себѣ мечтаютъ, чѣмъ мужчины о нихъ. Екатерина Тео задумываетъ собственную религію; но о политическихъ правахъ въ ней нѣтъ и помину. Олимпія де Гужъ основываетъ общество свободныхъ женщинъ, даетъ имъ особый костюмъ; но не претендуетъ на особые политическія права. Надо-ли добавлять, что нынѣшнія общества едва-ли уже и спасутся когда-нибудь отъ этого навыка своего мышленія. Это возможно только при такихъ же условіяхъ, какія прогнали мистицизмъ; а условія эти еще далеко впереди.—Условія эти суть: научности соціальной, по крайней мѣрѣ, столько же, какъ нынѣ естественной; научности вообще больше, чѣмъ философичности; а философичности больше, чѣмъ религіозности. И потому третья и послѣдняя складка человѣческаго ума, *позитивизмъ*, можетъ быть удѣломъ только третьяго поколѣнія государственныхъ обществъ. Только при ихъ условіяхъ нѣтъ мѣста ни мистицизму, ни утопизму.

Навыки сердца гораздо разнообразнѣе, чѣмъ привычки ума. А потому и ихъ въ свою очередь приходится рассортировать какъ-нибудь. Здѣсь мы должны воспользоваться существованіемъ въ языкѣ трехъ терминовъ этого рода: чувственность, чувство и сверхчувственность; первый терминъ относится къ физическому сознанію, второй — къ физико-психическому, третій — къ чисто-психическому. Начнемъ съ нравовъ чувственности.

На челѣ исторіи чувственныхъ нравовъ стоитъ вопросъ объ исторіи половъ, исторіи женщины, чуть ли не самый трудный во всей гражданственности. Въ другихъ случаяхъ очевидны, по крайней мѣрѣ, пути изслѣдованія, какіе должны быть приняты; здѣсь же неизвѣстно, что именно подлежитъ наблюденію: массы ли, которыя, собственно говоря, почти не дѣйствовали въ исторіи, или же выдающіяся особи, которыя хотя и дѣйствовали въ исторіи, но далеко

не составляютъ всего своего пола. Чтобы меньше рисковать, приходится допустить оба приема. Но и этимъ не кончается затрудненіе. Мало знать, что наблюдать; надо еще знать, какъ, въ какомъ направленіи. Дѣятельность женщины, сфера этой дѣятельности, была совсѣмъ не та, что у мужчины; а потому надо прежде опредѣлить, какая это сфера. Тогда только можно будетъ знать, въ какой сферѣ и наблюдать, будетъ-ли то массы, будетъ-ли то личности. Словомъ, надо отдать себѣ отчетъ объ историческомъ раздѣленіи труда между полами, чтобы знать, какой именно трудъ слѣдить въ женской исторіи и не сбиваться на трудъ мужской. Наконецъ, можетъ быть, никакого раздѣленія труда между полами и не было. А чтобы вѣрнѣе опредѣлить все это, гораздо лучше спрашивать сперва не о томъ, что женщина до сихъ поръ дѣлала, а о томъ, чего до сихъ поръ не дѣлала она. И такъ, посмотримъ прежде всего, участвовала-ли она въ творествѣ цивилизаціи? Въ исторіи религіи не осталось намъ ни одного женскаго имени: не было ни одной основательницы религіи. Были между ними цари, кушцы, плотники, но женщинъ не было. Екатерина Тео попробовала было основать свою религію во время французской революціи, но она не удалась. Не было также между ними ни одного ересearchа, ни одной основательницы сколько-нибудь значительной секты. Попадались здѣсь бюргеры, мѣщане, крестьяне, солдаты; но не попадалась женщина. Наконецъ, не врѣзала своего имени въ исторію и ни одна проповѣдница, какъ ораторъ: единственное исключеніе есть Деввора, пророчица. Въ творествѣ философскомъ опять тоже: ни одной школы, основанной женщиною, ни одной системы, связанной съ женскимъ именемъ, не существуетъ. Если какая-нибудь Елисавета, принцесса палатинская, и была ученицей Декарта, если ради философіи отказалась отъ брака съ польскимъ королемъ, и если Декартъ самъ признавалъ ее единственнымъ знатокомъ своей системы; то этимъ все и оканчивалось для философіи. Въ исторіи наукъ снова то же: ни однимъ научнымъ открытіемъ женщинѣ мы не обязаны. Если какая-нибудь Гипатія александрійская или Марія Агнеси болонская, Софи Жерменъ, Соммервилъ хорошо знали математику и могли быть профессорами ея; то это доказываетъ только способность усвоенія, а не творчества, да и то въ видѣ диковины, а не обычнаго явленія. Если какая-нибудь Христина шведская слыла своимъ страстнымъ поклоненіемъ наукѣ, литературѣ, искусствамъ, то это означало одинъ только вкусъ ея, ко-

торымъ все и ограничилось. Если дѣвица Лезардьеръ имѣла вкусъ къ историческимъ занятіямъ и задумала даже пополнить пробѣлъ Монтескье о духѣ французскихъ законовъ, если написала для того четыре тома, которые поразили въ свое время не женской глубиной и солидностью; то Монтескье читается теперь все-таки безъ своего дополненія, о которомъ никто ничего и не знаетъ. Словомъ, творческій геній цивилизаціи не принадлежалъ до сихъ поръ женщинамъ, и ни одного активнаго женскаго имени въ этой сферѣ исторіи не знаетъ. Обратимся къ творчеству культурному. Въ методологіи женщина совсѣмъ не участвовала, а тѣмъ болѣе не вносила ничего новаго или оригинальнаго. Въ художествѣ, въ искусствѣ, всего больше можно искать женскаго творчества, во первыхъ, потому что это есть эстетичность, столь, повидному, свойственная женщинамъ, а во вторыхъ, и потому, что здѣсь женщина хотъ изрѣдка, но принимала очевидное участіе. Архитектуру, скульптуру, живопись, надо, впрочемъ, сразу исключить; но можно оставить для изслѣдованія музыку и поэзію. Древняя музыка не могла себя увѣковѣчить, она не оставила намъ и мужскихъ именъ, знаменитость которыхъ мы могли бы провѣрить; а потому женскихъ и искать тутъ нечего. Но въ новой музыкѣ искать ихъ можно, тѣмъ болѣе, что новое воспитаніе женщинъ долго почти одною только музыкой и ограничивалось. И что же? не смотря на гораздо менѣе поголовное музыкальное воспитаніе, мужчина все-таки и въ этомъ случаѣ превзошелъ женщину. Были и есть между ними блестящіе виртуозы, исполнительницы, но ни одного великаго композитора, ни одного творца, ни одного музыкальнаго генія. Да и между самими виртуозами первое мѣсто все-таки принадлежало мужчинамъ. Гораздо возможнѣе отыскивать его въ поэзіи, гдѣ больше всего было опытовъ и попытокъ женскаго творчества, начиная съ самой Сафо. Но хотя Сафо считается самою славною изъ поэтессъ, хотя она считалась у грековъ даже десятою музою; но мы должны вѣрить имъ на слово, ибо отъ творчества Сафо ничего не осталось, кромѣ имени. При томъ, французы считали и свою Сюдери то второю Сафо, то десятою музою. Коринна, другая знаменитость того же рода, есть соперница Пиндара, пять разъ побѣдившая его на играхъ; но мы довольно знаемъ изъ исторіи Фрины, чѣмъ женщина могла побѣждать у грековъ и помимо правосудія. Во всякомъ случаѣ, провѣрить это преданіе теперь невозможно. То же надо сказать и о римской поэтессѣ

временъ Домиціана, Сульпиціи. Остаются новыя писательницы и поэтессы. Изъ нихъ многія въ свое время и дѣйствительно пользовались славой, и даже большою, не меньшей, чѣмъ Сафо, Коринна и Сульпиція. Но кто же теперь знаетъ имена, напримѣръ, Христины пизанской, знаменитой поэтессы XV вѣка, или г-жи Дезульеръ, одной изъ литературныхъ славъ временъ Людовика XIV, или Маріи Робинсонъ, прозванной англійскою Сафо, или Анны Радклифъ, еще такъ недавно плѣнявшей своими пугающими романами и т. д. Мнѣ пока забыты имена Севинье, Жанлисъ, Сталь, Жоржъ-Зандъ, равно какъ и нѣкоторыя еще позднѣйшія; но и всѣ онѣ едва ли переживутъ свое столѣтіе. По крайней мѣрѣ, помня еще всѣ эти имена, свѣтъ давно уже забылъ ихъ произведенія. Кто, напримѣръ, подверждаетъ существованіе 80 знаменитыхъ сочиненій г-жи Жанлисъ? Кто перепечатываетъ теперь письма г-жи Севинье, напечатанныя когда-то сто разъ? Кто слышитъ теперь разговоръ г-жи Сталь, которымъ она, по признанію собственныхъ ея біографовъ, блистала гораздо больше, чѣмъ сочиненіями? Во всякомъ случаѣ, геніальности, и даже просто оригинальнаго творчества, и здѣсь нѣтъ ни слѣда. Шумъ же, всегда поднимаемый всякимъ мало мальски не бездарнымъ произведеніемъ женскимъ, легко объясняется самой неожиданностью явленія, подкупающею къ снисходительности. Такъ въ дѣтяхъ поражаются всякимъ неожиданно мѣткимъ словомъ ихъ. Короче, одиѣ только актрисы были такія, которыя дѣйствительно не уступали по даровитости актерамъ; но пѣвицъ и танцовщицъ такихъ было еще больше, что, однакожь, не можетъ еще составить репутацію творчества и геніальности. И такъ поэзія, не больше чѣмъ и музыка, блистаетъ женскими талантами; а искусство вообще не больше, чѣмъ методъ и цивилизація. Говорятъ, что женщина не получала образованія, равнаго съ мужчиною, а потому, конечно, не могла до сихъ поръ и творить ни въ цивилизаціи, ни въ культурѣ. Но не получали образованія также и рабы, однакожь, и они выбивались иногда въ люди, если былъ талантъ, какъ напр., поэтъ Эзопъ, комикъ Теренцій, баснописецъ Федръ, философъ Эпиктетъ и другіе. Остается, впрочемъ, еще политика въ культурѣ, а виѣстѣ съ тѣмъ и самое надежное, по видимому, поле для того, чтобы отстаивать женское творчество. Дѣйствительно, если между женщинами-государями и не было геніальной, которая произвела бы поворотъ въ исторіи своего общества, то были, такъ сказать, талантливыя. Не говоря

уже о Семирамидахъ, Зиновіяхъ Пальмирскихъ и т. п., обыкновенно указываютъ въ этихъ случаяхъ на Елисавету англійскую и на Екатерину II русскую. Но быть великимъ государемъ гораздо легче, чѣмъ великимъ человекомъ, не только для женщинъ, но и для мужчинъ. Для этого надо имѣть только хорошіе инстинкты, а остальное можетъ быть сдѣлано и чужими руками. Во всякомъ случаѣ, на этотъ разъ, ставится въ заслугу женщинъ только то, что въ двухъ случаяхъ она оказалась не ниже средняго мужскаго уровня; но экземпляровъ высшаго порядка исторія женщины все-таки не представляетъ и между государынями. Если ихъ окружали большимъ ореоломъ за всякую малѣйшую удачу, то именно потому, что она была неожиданна отъ нихъ. Неожиданность эту свидѣлствуютъ всѣ законы о престолонаслѣдіи. Не говоримъ уже о томъ, что отъ двухъ-трехъ экземпляровъ нѣтъ никакой возможности заключать о качествахъ всего пола. Сами эмансипаторы нашли бы несправедливымъ переносить на весь полъ всѣ свойства этихъ двухъ женщинъ. Но если, такимъ образомъ, во всей цивилизаціи и во всей культурѣ не представляется женскихъ личностей высшаго порядка, то, быть можетъ, за то массы женскія были чѣмъ-нибудь активны въ этихъ двухъ сферахъ? Но политическихъ агитацій или пропагандъ женщина до сихъ поръ не производила, также какъ не производила и новаторствъ. Профессіи художественскія, хотя бы изъ самыхъ заурядныхъ, въ этомъ полѣ неизвѣстны. Методическія профессіи не чужды ему, въ качествѣ преподавательницъ элементарнаго образованія; мало того, Америка отдаетъ въ этомъ отношеніи даже предпочтеніе учительницъ предъ учителемъ, такъ что съ этой особенностью надо считаться, и мы зачтемъ ее женщинамъ, но въ своемъ мѣстѣ. Классъ ученыхъ никогда между женщинами не существовалъ, и только въ самые послѣдніе годы пробуетъ набираться. Послѣдовательницъ той или другой философской школы, по крайней мѣрѣ, сознательныхъ, также не было. Единственнымъ исключеніемъ остается то, что были между женщинами жрицы и, вообще, что въ нѣкоторыхъ религіозныхъ движеніяхъ женщины принимали весьма видное и почетное участіе, какъ, напримѣръ, Аейша, жена Магомета. Но это, во первыхъ, относится не столько къ религіи, сколько къ церкви, не къ творчеству, а именно къ рутинѣ; а во вторыхъ, объ этомъ мы будемъ говорить особо и подробно въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь же приходится заключить, что какъ бы то ни было,

но не цивилизація и не культура составляли до сихъ поръ историческую роль женщины, и что не здѣсь надобно искать ея удѣлъ въ раздѣленіи труда съ мужчиной, если только вообще онъ имѣлъ мѣсто. Цивилизація и культура испещрены, какъ мы видѣли, исключительно мужскими именами; а женскія суть и случайность тамъ, и рѣдкость. Совсѣмъ другое увидимъ мы, если переступимъ въ границы гражданственности. Великихъ именъ, и даже просто именъ женскихъ, правда, не встрѣтимъ и тутъ; но тутъ не встрѣчается и никакихъ мужскихъ именъ, тутъ героевъ нѣтъ вовсе, потому что героями здѣсь суть только массы, только само гражданство. И вотъ, между этими-то героями, первое мѣсто на этотъ разъ принадлежитъ уже массамъ не мужскимъ, а женскимъ. Кто въ теченіи всѣхъ истекшихъ тысячелѣтій прививалъ челоуѣчеству и продолжаетъ прививать до сихъ поръ его нравы, его обычаи, его преданія, какъ не эти безличныя и забытыя массы матерей, женъ, сестеръ, няней, кормилицъ, и куда надо причислить и упомянутыхъ выше преподавательницъ? Не школы, не гимназіи, не лицей, не академіи, не портики, не университеты, словомъ не философы и профессоры вперяли юношамъ и дѣтамъ всѣхъ временъ ихъ характеры (они могли имъ сообщать лишь идеи, передавать лишь цивилизацію и культуру), и даже не отцы семействъ (къ нимъ дѣти поступаютъ, когда характеръ ихъ уже готовъ), а единственно только женщины той же семьи. Вотъ гдѣ настоящее ихъ творчество, если только здѣсь мѣсто этому имени: всякая гражданственность наша и вся наша гражданственность есть почти цѣликомъ дѣло рукъ женскихъ. Она тѣмъ болѣе ихъ дѣло, что и впоследствии, когда юноша становится мужемъ, его нравы и обычаи весьма много зависятъ отъ идеаловъ этого рода у окружающихъ его женщинъ. Прежде онѣ вліяли на него, какъ матери, сестры, няни, гувернантки; теперь—какъ жены, какъ гетеры, какъ матроны, какъ дамы. По всѣмъ свойствамъ своего ума и своего сердца, до сихъ поръ вышедшимъ наружу, женщина была настоящимъ сосудомъ гражданственности, естественною хранильницею однажды приобрѣтенныхъ нравовъ, обычаевъ, преданій. Что проникало въ женщину, то несомнѣнно прошло въ обществѣ всѣ стадіи инкорпорированія; такъ что, по состоянію женской гражданственности, всегда можно безошибочно заключать о состояніи мѣстной цивилизаціи и культуры. Съ другой стороны, никто не въ состояніи такъ воспри-

нимать, такъ проводить въ кровь и плоть надлежащую цивилизацію и культуру, какъ женщина; нигдѣ воспринятые права, усвоенные обычаи, затверженные преданія такъ не крѣпки, какъ въ ней; и никто отъ нихъ не отдѣляется съ такимъ трудомъ, какъ она. Никто, наконецъ, не въ состояніи такъ впитывать ихъ въ новыя поколѣнія, потому что они всасываются вмѣстѣ съ молокомъ матери. Такъ, напримѣръ, вспоминая объ установленной уже нами преимущественности умственныхъ нравовъ, кто, какъ не женщина, могъ бы такъ сохранять и поддерживать въ мірѣ наклонности мистицизма? Кто способнѣе ея къ предразсудкамъ, къ предчувствіямъ, къ предъугадываніямъ? Далѣе, самый утопизмъ могъ-ли бы прививаться къ мужчинѣ безъ усвоенія женщиной наклонности къ фантастическому, къ мечтательности, къ иллюзіямъ? Удивительнѣе, казалось бы, ожидать когда-нибудь отъ женщинъ поддержки позитивизму; но это удивительно только для теперешней женщины. Когда же мѣста для иллюзій не останется, когда виды на будущее станутъ поддаваться болѣе точному расчету, словомъ, когда позитивизмъ приобрететъ такое значеніе, какъ нѣкогда суевѣріе, а нынѣ утопизмъ; тогда и позитивность, какъ и всякая другая рутина, найдетъ себѣ наилучшую носительницу въ женщинѣ. Правда, все это приобрѣло женщинѣ репутацію силы, въ высшей степени консервативной, а не либеральной; но тѣмъ не менѣе репутацію силы, чего ни на какомъ другомъ пути она не снискала, репутацію такого же общественнаго устоя, какимъ бываютъ еще развѣ только низшіе классы населеній. Какъ бы то ни было, впрочемъ, но раздѣленіе труда, какое исторіею проведено до сихъ поръ между полами, и которое, какъ оказывается, дѣйствительно проведено, было именно таково, что цивилизація и культура отмежована почти исключительно мужчинѣ, а гражданственность исключительно женщинѣ. Мужчинѣ отдана исторіею вся активная дѣятельность въ обществѣ, все творчество; женщинѣ — вся пассивная, все воспріятіе этого творчества, все усвоеніе, вся инкорпорація и эскорпорація идей и правъ. Женщинѣ, слѣдовательно, обязаны не только всѣ продукты гражданственности, но ей же принадлежатъ и всѣ ея функціи, равно какъ она же есть и главный изъ двухъ органовъ всей этой гражданственности (потому что другой органъ есть весь мужской полъ). Всякую цивилизацію и всякую культуру женщина слѣзшитъ тотчасъ же претворить въ гражданственность. Если къ жен-

щинѣ достигаетъ какой-нибудь законъ науки или идея философіи, они немедленно превращаются въ ней въ вѣру; а эта послѣдняя и разражается суевѣрьями, повѣрьями. Если къ женщинѣ достигъ какой-нибудь проектъ культуры, она тотчасъ же перевариваетъ его въ художественный идеаль; а этотъ послѣдній и разрѣшается энтузіазмомъ, утопій, мечтательностью. Если же до женщины дошелъ готовый уже нравъ, обычай или преданіе, то она цѣпляется за нихъ обѣими руками, и въ позитивномъ отношеніи къ нимъ никому не уступить. Если же такъ, если именно таково историческое раздѣленіе труда между полами, послѣдовавшее впредь до иного, новаго соглашенія, то мы знаемъ теперь, въ чемъ именно надо наблюдать исторію женщины, исторію какъ выдѣлявшихся лицъ этого пола, такъ и всей массы его. Мы должны мѣрять эту исторію во-все не мѣркой цивилизаціи и культуры (это мѣрка мужской исторіи), а только мѣркой гражданственности.

Ограничившись этою почвою, писать исторію женщины значить слѣдить развитіе ея, какъ органа гражданственности, по всѣмъ историческимъ формаціямъ, начиная съ патріархальной. Патріархальная формація никакихъ женскихъ именъ не оставила и не могла оставить; но она завѣщала намъ нѣкоторыя гуртовыя преданія о своей женщинѣ. Ничто не повторяется такъ постоянно въ патріархальныхъ легендахъ, какъ представленіе о женщинѣ-волшебницѣ. Колдовство, знахарство, гадальчество, ворожба, отравленіе—составляютъ постоянную тему разсказовъ о женщинѣ этихъ временъ и постоянную женскую профессію въ тогдашнемъ обществѣ. По шаманскимъ, на примѣръ, вѣрованіямъ, женщина есть существо нечистое и лишонное души, пребывающее въ сношеніи со всѣми другими нечистыми тварями. Въ мнѣніяхъ представленіяхъ грековъ и римлянъ женщина опять фигурируетъ въ этой роли. Геката, адская богиня, есть богиня колдовства и волшебства. Медея есть знаменитая волшебница, умѣвшая молодить людей. Предсказательницами будущаго суть обыкновенно піиіи. Кассандра, дочь Пріама и Гекубы, когда Аполлонъ влюбился въ нее, не проситъ его ни о чемъ больше, какъ о дарѣ пророчества. Вообще, въ глубокой древности своей греки вѣрили въ способность женщинъ останавливать теченіе солнца, сводить луну на землю, возбуждать и укрощать бури, вызывать тѣни умершихъ и низводить живыхъ въ царство мертвыхъ. Позднѣе самъ законъ позволялъ волшебницамъ отправлять свое ремесло явно, лишь бы

не „злоупотреблять“ имъ. У римлянъ предвозвѣстницами суть ихъ многочисленныя сивиллы: эритрейская, сардская, самосская, кумейская, персидская или халдейская, либійская, фригійская, геллеспонтская, дельфійская, тибурская, киммерійская, троянская. Деифора, сивилла кумейская, провожала Энея по аду. Неизмѣнной спутницей знаменитаго Марія въ его походахъ была сирійская вѣщунья Мареа. У кельтовъ подобная роль отводится друидессамъ, которыя отлично гадали по внутренностямъ животныхъ, и были провозвѣстницами будущаго. У первобытныхъ германцевъ тѣмъ же знамениты ихъ вѣщія женщины, изъ числа которыхъ оставила свое имя исторіи славная Веледа, имѣвшая, во времена Веспасіана, огромное политическое вліяніе въ Германіи. У славянъ извѣстны также ихъ вѣдьмы, вѣдуньи, кудесницы, ворожен. Такое всеобщее явленіе не могло основываться ни на чемъ больше, какъ на столь же всеобщемъ преобладаніи у женщинъ инстинкта, въ сравненіи съ мужчиною, и происходящей отсюда способности предчувствій, свойственной многимъ животнымъ еще больше, чѣмъ человѣку. А, между тѣмъ, это всеобщее подозрѣніе сверхъестественной силы въ женщинѣ снабжало ее оружіемъ для борьбы за существованіе, которое было ей такъ необходимо и которымъ она не могла не воспользоваться. Лишняя всякой иной силы, въ сравненіи съ мужчиною, и физической, и умственной, она должна была инстинктивно и обѣими руками схватиться за эту, добровольно предоставляемую ей, сверхъестественную силу. Такимъ образомъ, обѣ стороны, оба пола имѣли достаточный поводъ закрѣплять однажды сложившійся предразсудокъ, хотя бы онъ былъ только предразсудокъ и больше ничего. Съ тѣхъ поръ онъ пронесся чрезъ всю исторію и достигъ и до насъ. Въ древнемъ государствѣ онъ сказался Девворою-пророчицею, пророчицею Анною, пиеіями, сивиллами. У новыхъ народовъ—прежде всего вѣрою въ фей-волшебницъ. Великія средневѣковыя фамиліи и даже города и страны имѣли каждая свою фею-покровительницу. Изображаются онѣ то молодыми, прекрасными и изящно одѣтыми, то старыми, безобразными и въ лохмотьяхъ. Но, во всякомъ случаѣ, это существа съ сверхчеловѣческою властью, и вооруженны магическимъ жезломъ, символомъ этой власти. Средневѣковая вѣра въ вѣдьмъ и колдуній также хорошо извѣстна. Кромѣ того, кто предсказалъ парижанамъ, что Аттила не тронетъ ихъ города, какъ не святая Женевьева, покровительница Парижа! Кто спасъ Францію отъ

англичанъ, какъ не Жанна д'Аркъ, инстинкты которой были дѣйствительно поразительны, ибо она хорошо предчувствовала и когда ей слѣдовало начать свою роль, и когда слѣдовало окончить, чтобы кончить для себя благополучно. Въ XIV столѣтіи весьма были популярны откровенія св. Екатерины Сіенской, въ которыхъ она рассказывала о своихъ разговорахъ съ Предвѣчнымъ. Въ XVI столѣтіи такихъ же видѣній или галлюцинацій сподобилась св. Бригитта, пророчества которой были изданы особою книгою. Въ томъ же столѣтіи воображала себя пророчицей и Елисавета Бартонъ, казненная Генрихомъ VIII. Въ XVII вѣкѣ Марія д'Агреда, испанка, описала и напечатала всѣ свои видѣнія. Въ XVIII вѣкѣ Екатерина Тео считала себя сперва то матерью божьею, то новою Евою, а потомъ, когда учреждена была религія разума, начала свои предсказанія, нашедшія ей не мало прозелитовъ. Наконецъ въ нашемъ столѣтіи, хотя и безъ религіозной подкладки, извѣстна была своимъ искусствомъ гаданія дѣвица Ленорманъ, которая во времена первой имперіи и реставраціи положительно была осаждаема самыми высокопоставленными лицами, не исключая императрицы Жозефины. А извѣстная своимъ мистицизмомъ и своими добродѣтелями баронесса Крюденеръ предсказала Александру I возвращеніе Наполеона съ Эльбы и новое его паденіе. Всѣ эти и подобныя явленія можно осмыслить именно только тѣмъ, что Бокль называетъ преимуществомъ дедутивнаго мышленія у женщины, и что еще вѣрнѣе называть преимуществомъ у нея просто инстинктовъ. Какъ бы то ни было, но какое-то подобное свойство утверждено за женщиной всею ея исторіею, начиная отъ самой патріархальности. И это-то свойство, будучи, съ одной стороны, единственнымъ патріархальнымъ способомъ приспособленія женщины къ окружающей средѣ, съ другой—было въ то же время первымъ и единственнымъ тогда для нея путемъ инкорпораціи современной цивилизаціи и культуры въ гражданственность, т. е. путемъ инкорпорированія и распространенія суевѣрій и мистицизма.—Вторичная историческая формація привноситъ съ собою нѣчто другое, о чемъ въ патріархальности нѣтъ еще и помину. Мало того, если тамъ обращается вниманіе на этого рода женскія свойства, то развѣ лишь на безобразіе. Вѣдьмы, колдуньи всегда представляются и старыми, и уродливыми, чѣмъ и наводятъ еще болѣе ужасъ. Горгоны, напримѣръ, суть именно женщины-чудовища, имѣющія втроемъ одинъ глазъ, но такой, отъ

взгляда котораго чоловікъ каменѣлъ. Въ аристократическомъ же поколѣніи общество вырабатывается, напротивъ, культъ женской красоты, и женщину-волшебницу смѣняетъ здѣсь женщина-*красавица*. Сверхъестественная сила женщины ослабляется; за то укрѣпляется естественная, эстетическая. Отнынѣ у женщины есть новое, и чуть ли не болѣе могущественное, оружіе, какъ для борьбы за существованіе, такъ и для вліянія на общество, для направленія его нравовъ, обычаевъ, преданій. Уже востокъ издревле преклоняется предъ красою. Семирамида обязана престоломъ своимъ не уму своему, а только своей красотѣ. Библейская Сусанна и Иродіада красотой своей прокрадываются уже къ вліянію на политику. Въ Еленѣ, женѣ Менелая, приводящей въ движеніе всю Грецію и всю Троаду, олицетворена самая высшая идеализація красоты и ея общественнаго вліянія. А въ лидійской царицѣ Омфалѣ, заставившей прясть самого Геркулеса, воплощено все личное вліяніе красоты. Клеопатра египетская тѣмъ же путемъ подчиняетъ современныхъ ей властителей міра. Аспазія аѳинская раздѣляетъ съ Перикломъ все направленіе аѳинской политики, не говоря уже о направленіи искусствъ, общежитія, нравовъ, увеселеній. Адвокатъ Фрины, злоупотребляя красотой своей кліентки, парализируетъ самое правосудіе геліастовъ. Агриппина, мать Нерона, Мессалина, жена Клавдія, Мессалина младшая, жена Нерона, вертѣли римскими императорами по произволу. Θεодора, Ирина дѣлали тоже съ императорами Византіи. Аристократическій періодъ новыхъ обществъ представляетъ тоже явленіе. Въ средневѣковомъ, рыцарскомъ обществѣ, которому присвоиваютъ обыкновенно почтеніе къ женщинѣ, дѣйствительнымъ было не только почтеніе, но даже поклоненіе красотѣ. Да и позже того, въ новой исторіи, рыцарскій режимъ, съ его распушенной красотой, по прежнему продолжался. Какъ власть, такъ и интеллигенція если подпадали женскому вліянію, то единственно вліянію красоты. Правда, въ этихъ случаяхъ всегда говорится рядомъ объ умѣ и красотѣ. Но первый безъ второй у женщины никогда не замѣчается; а при второй онъ всегда признается вдвое. Агнеса Сорель, Розамунда Клиффордъ, Діана Пуатье, Маргарита де-Конти, дѣвица Лавальеръ, маркиза Монтеспанъ, герцогиня де-Фонтанжъ, маркиза Ментенонъ, маркиза Помпадуръ, герцогиня Шатору, графиня Дюбарри, все это властительницы властителей земныхъ, не будучи ни ихъ матерями, ни женами. Другой

рядъ красавицъ эксплуатировалъ свою власть надъ интеллигенціей. Аспазія, Цитерида, маркиза Рамбулье, Маріонъ Делормъ, Нинонъ де-Ланкло, г-жа Тансенъ, г-жа Жоффренъ, маркиза Дюдеффанъ, дѣвица Леспинасъ, г-жа Рекамье и всѣ ихъ подражательницы, какъ Елисавета Монтэгю, лэди Уортли Монтэгю, мистриссъ Вези, мистриссъ Трель и др., все это свѣтила литературныхъ салоновъ и кружковъ, притягательные центры для умовъ, славъ, талантовъ. Всѣмъ имъ приписывается, конечно, кромѣ красоты и умъ, но подразумѣвается тутъ умъ, конечно, лишь свѣтскій, не больше; и во всякомъ случаѣ привлекаетъ не онъ, а онъ только не отталкиваетъ. Словомъ, красота сдѣлалась у женщины тѣмъ, чѣмъ у мужчины бываетъ власть, геній, слава, богатство. Она покрывала собою въ женщинѣ все: и недостатокъ ума, какъ въ герцогинѣ де-Фонтанжъ, и недостатокъ цѣломудрія, какъ въ графинѣ Дюбарри, и даже то, что аристократизмъ меньше всего способенъ прощать, — недостатокъ происхожденія: герцогиня Дюбарри была прежде не только проституткой, но и модистею; маркиза Помпадуръ была дочь мясника; дѣвица Леспинасъ была незаконнорожденная; Жоффренъ — дочь камердинера; императрица Теодора — танцовщица и куртизанка; и т. д. Все такое осложненіе главного органа гражданственности, усиливая его собственное значеніе, не могло не усиливать и значенія всѣхъ его инкорпораций и экспорпораций. — Но рядомъ съ этимъ завѣтомъ древности, новое государство, и при томъ съ самаго своего начала, несетъ въ себѣ и новую закваску, которая начинаетъ вполнѣ выражать только вмѣстѣ съ самымъ тимократизмомъ. Еще вслѣдъ за основаніемъ новой религіи появилось среди женщинъ движеніе, какого никогда не было прежде. Изъ восточнаго гарема, изъ классическаго гинекея онѣ вдругъ появляются на площади, изъ частной жизни неожиданно показываются въ публичной, и въ ней выступаютъ впервые не съ колдовствомъ и даже не съ красотой, а съ какою-то новою силою, силою любви, преданности, терпѣнія, словомъ, добродѣтели и героизма: это женщины-мученицы. Языческую красавицу начинаетъ если не смѣнять, то восполнять христіанская великомученица. До сихъ поръ, если красота посылалась женщинѣ, то она почти навѣрное сопровождалась разнузданностью страстей. Какъ колдовство предполагало наружное безобразіе, такъ красота почти ручалась за нравственное; и потому всѣ классическія олицетворенія злобы,

мстительности, коварства, жестокости всегда избирали для себя образъ женщины. Таковы: Немезида, Мегера, Фурии, Эриннии, Эвмениды, Парки, Ехидна, Геката, Гидра лернейская, Химера беллерофонская, Пандора, и проч. и проч. Теперь же въ женскомъ образѣ начинаетъ изображаться не дьяволъ, а напротивъ ангелъ. Ни востокъ, ни классическій міръ до этихъ поръ вовсе не знали также, со стороны женщинъ, никакой способности къ политическому протесту, никакой способности къ страданію за истину, за идею, за вѣру. И вотъ, однакожъ, зрѣлище это развертывается во очю и во всей широтѣ своей. Агаты, Агнесы, Фелициты, Перпетуи, Моники идутъ одна за другой непрерывно, чтобы кровью и смертью своею засвидѣтельствовать свою вѣру. Имъ вырѣзываютъ груди, катаютъ ихъ по стеклу, по горячимъ угольямъ, рвутъ щипцами ихъ тѣло, пилятъ его, обливаютъ его смолою и зажигаютъ,—а онѣ поютъ пѣсни и славятъ своего Бога. Въ этихъ слабахъ тѣлахъ появляется неслыханная до-нынѣ душевная сила. И если катакомбы римскія вымощены чьими-либо костями больше, то скорѣе женскими, чѣмъ мужскими. Мученицъ считается больше, чѣмъ мучениковъ. Кромѣ того, нѣтъ ни одной христіанской страны, гдѣ бы введеніе христіанства обошлось безъ женской инициативы: во Франціи это Клотильда—жена Кловиса, въ Англіи—жены Этельберта и Эдвина, въ Чехіи—Любуша, въ Польшѣ—Домбровка, въ Литвѣ—Ядвига, въ Россіи—Ольга, на Кавказѣ—Нина. Вотъ та новая конкуренція, въ которой женщина дѣйствительно опять превзошла мужчину, какъ и въ волшебствѣ, и въ красотѣ. И сколько бы съ тѣхъ поръ ни продолжала царить въ мірѣ красота, но о-бокъ съ нею никогда не терялся изъ виду и страдальческій идеалъ великомученицы. Онъ носился предъ глазами не одной изъ христіанокъ какъ среднихъ вѣковъ, такъ и новой исторіи. Правда, имена ихъ, благодаря романическому типу нашей исторіи, гораздо менѣе пока популярны, чѣмъ имена королевскихъ метресъ и фаворитокъ; но какъ типъ этой исторіи, такъ и судьба этихъ именъ, въ счастію, не вѣчны. Такъ, жена Генриха I Птицелова, Матильда, была истинная христіанка не словомъ только, а дѣломъ, со всей любовью къ добру и къ ближнему. Другая Маргарита, королева англійская, жена Генриха I, подавала на тронѣ примѣръ такой совокупности добродѣтелей, какая рѣдка и въ частной жизни. У народа не оставалось для нея иного имени, какъ добрая королева. Королева Шот-

ландская Маргарита, жена Малькольма III, не смотря на то, что была красавицей своего времени, и не смотря на все свое влияние на короля, не пользовалась имъ ни для чего, кромѣ добра и облегченія участи народа. Такова же была четвертая Маргарита, жена Людовика IX. Луиза Лафайетъ, придворная дама, фрейлина, внушивши горячую страсть королю своему Людовику XIII, и сама раздѣляя ее, умѣла, однакожь, не пойти по протоптанной дорогѣ, устоять противъ величайшаго изъ соблазновъ, и заключилась въ монастырь, гдѣ и умерла черезъ 30 лѣтъ. Марія Терезія, жена Людовика XIV, была мученицей на престолѣ и переносила свои страданія съ такой же кротостью, какъ тѣ несли на вострахъ. Викторія, дочь Людовика XV, среди растлѣннаго двора, гдѣ добродѣтель была мѣщанствомъ и порокомъ, и лишь порокъ добродѣтели и благородствомъ, сумѣла сохранить себя чистою и непричастною всей окружавшей ее грязи. Луиза, жена Леопольда I, короля бельгійскаго, изумляла все общество неисчерпаемостью своей любви къ добру и милосердію. Анна Биже Мартъ, французженка нашего столѣтія, присутствуя при нескончаемыхъ войнахъ Наполеона, посвятила всю свою жизнь на облегченіе несчастій войны, и при томъ не различая ни своихъ, ни чужихъ, ни націй, ни вѣръ. Всѣ такія и подобныя свойства самаго активнаго органа гражданственности, само собой разумѣется, должны были инкорпорировать въ эту гражданственность совсѣмъ иного рода нравы, обычаи и преданія, и совсѣмъ иначе, чѣмъ какія и какъ могли вѣдѣряться волшебницами и красавицами. Отъ одиночныхъ примѣровъ переходя къ массамъ, и къ общимъ характеристикамъ, нельзя не признать, что филантропія все больше и больше обращается въ дамскую моду и можетъ окончить тѣмъ, что составить, наконецъ, серьезное дѣло жизни для многихъ изъ нихъ. Съ другой стороны, по мѣрѣ того, какъ тимократизмъ наступаетъ на ногу аристократизму, вмѣстѣ съ тѣмъ, и нравственность выигрываетъ шагъ надъ красотою. Такъ, если французская женщина едва-ли уже когда-нибудь вступить на эту дорогу, то германская, англійская, голландская и скандинавская несомнѣнно уже вступили на нее, какъ доказывается это сравненіемъ домашней и вообще частной жизни всѣхъ этихъ странъ. Впрочемъ, послѣдняя изъ перечисленныхъ выше историческихъ красавицъ Франціи, г-жа Рекамье, жена банкира, не смотря на всю свою несравненную и очень долговѣчную красоту, не смотря на то, что постоянно

была окружена избранными поклонниками и обожателями, довольствовалась, однакожъ, тѣмъ, чтобы только нравиться имъ всѣмъ; и этимъ, такъ сказать, поставила себя по срединѣ между отживающимъ режимомъ и выживающимъ. Какъ бы то ни было, но, во всякомъ случаѣ, открыто новое женское оружіе, какъ для борьбы за существованіе, такъ и для инкорпораций и экскорпораций въ гражданственность. А на сколько оно не ниже обоихъ прежнихъ, говорить о томъ нѣтъ надобности.— Тѣмъ не менѣе, однакожъ, тогда какъ одно изъ нихъ отживаетъ, а другое выживаетъ, къ нимъ спѣшить уже приживаться третье, хотя бы то и во имя отдаленнаго будущаго. Какъ ни много утопичнаго примѣшивается къ вопросу о такъ называемой эманципациі женщинъ, но въ немъ есть и своя доля истины. Эта истина—образованіе женщины. Никогда еще не было такого общаго порыва къ образованію между женщинами, какъ на нашихъ глазахъ. Были, какъ мы видѣли выше, одиночные случаи просвѣщенности и даже учености женской; но напряженія массъ въ эту сторону не бывало. Напротивъ, самая женственность предполагала крайнюю ограниченность знаній. А потому противоположное движеніе нельзя не счесть также знаменательнымъ, какъ и всѣ предыдущія, обозначавшія собою новыя эпохи. Но какая же цѣль этого увлеченія идеаломъ знанія? Сами эманципаторы и эманципируемыя полагаютъ, что оно должно будетъ пойти на творчество въ цивилизациі и въ культурѣ. Излагаемая же теорія думаетъ, что оно имѣетъ быть обращено только на подъемъ гражданственности. Тѣ полагаютъ, что знаніе должно повести къ упраздненію прежняго раздѣленія полового труда; эта полагаетъ, что оно должно повести лишь къ продолженію и завершенію его. Теорія эта думаетъ, что лучше для женщины сдѣлаться полной хозяйкой въ своемъ собственномъ историческомъ хозяйствѣ, хотя и скромномъ, чѣмъ идти въ прихлебательницы чужого, хотя и болѣе богатаго. Самая нравственность и добродѣтель женская мало гарантирована полуобразованіемъ; а потому полное, по мѣрѣ способностей, образованіе необходимо уже для довершенія даже христіанскаго, тимократическаго типа женщины. Если онъ плохо до сихъ поръ выживаетъ надъ языческимъ типомъ красоты, то, быть можетъ, между прочимъ, и потому, что у него нѣтъ естественнаго союзника, умственнаго развитія. Съ другой же стороны, ни фетишистскій типъ женщины-колдуньи, ни языческій—женщины-красавицы, ни даже христіанскій типъ нравственной женщины ничѣмъ

не измѣняли того основнаго свойства женственности, которое названо выше консервативностью. Если опасенъ крайній перевѣсъ двигателя въ машинѣ, то не менѣе опасенъ такой же перевѣсъ тормазы. До сихъ поръ двигателемъ этимъ въ обществахъ были ихъ высшіе культурные классы; тормазомъ же было все остальное населеніе, всѣ низшіе классы, т. е. огромное большинство всякаго общества. Мало того, къ тому же самому тормазу присоединялась и въ высшихъ классахъ вся ихъ женская половина, что, конечно, было выгодно для устоя, но не для движенія. Перевести всю эту половину вдругъ на сторону двигателя было бы также рискованнымъ; да вся она и не можетъ перейти никогда, ибо каждый высшій классъ и въ самомъ себѣ еще подраздѣляется на маховое колесо и модераторъ, въ видѣ либерализма и консерватизма. Такимъ же образомъ раздѣлится, конечно, и женская интеллигенція. Но если какая бы то ни было часть женской интеллигенціи отступится отъ своего традиціоннаго, поголовнаго до нынѣ консерватизма, доходившаго иногда даже до экстаза, до фанатизма, какъ въ Шарлотѣ Кордъ; то и это уже не можетъ остаться нечувствительнымъ на вѣсахъ общественной борьбы, не грозя въ то же время и устойчивости ихъ. Вотъ въ чемъ настоящая теорія полагаетъ все историческое достоинство и всю возможную заслугу женскаго образованія и женской эманципаціи въ этомъ смыслѣ. Впрочемъ, пока солнышко взойдетъ, роса очи выѣстъ. А потому и тѣ зерна женскаго образованія, при посѣвѣ которыхъ мы присутствуемъ, принесутъ плодъ свой лишь въ отдаленныхъ поволеніяхъ. Полное же осуществленіе новаго, четвертаго женскаго типа, женщины - *интеллигентки* есть, по всей вѣроятности, удѣлъ только такого же новаго поколѣнія обществъ, когда то, что было когда-то волюнтаризмомъ, разрѣшится, быть можетъ, дѣйствительнымъ превосходствомъ женской дедуктивности. Этимъ путемъ и раздѣленіе труда не смѣшается, какъ оно смѣшалось бы при утопичной эманципаціи, а только, напротивъ, разовьется еще больше. И такъ вотъ, по нашему, то поле и та дорога, какія проходитъ женщина въ своей исторической жизни. Поле это — гражданственность, дорога эта — четыре колоссальныя ступени: чувствость, эстетичность, гуманизмъ и дедуктивность. Здѣсь, и только здѣсь, оказалось и засвидѣтельствовало исторически, временемъ и пространствомъ, гдѣ женская соціальная сила, въ чемъ женскія средства борьбы за существованіе, каковы женскія орудія воздѣйствія на міръ, въ которыхъ

не могъ бы съ ними конкурировать мужчина. Во всѣхъ же прочихъ случаяхъ конкуренція эта не имѣла бы никакой почвы въ прошедшемъ и никакихъ шансовъ на будущее, была бы рискованною, и только отвлекала бы на безнадежную борьбу тотъ запасъ энергіи и силы, который отнимался бы у борьбы посильной и вполне обеспеченной къ побѣдѣ. Само собою разумѣется, что каждая изъ означенныхъ четырехъ силъ предполагаетъ и соотвѣтственную ей слабость: крайняя догадливость предполагаетъ на другомъ концѣ такую же тупость; красота, изящество, ведутъ за собою крайности безобразія и неуклюжести; ангельская доброта и кротость находятъ себѣ антитезу въ сатанинской злобѣ и жестокости, а цѣломудріе — въ самомъ разнузданномъ распутствѣ; быстрота пониманія не исключаетъ крайней иллогичности мышленія. Средній, статистическій мужчина во всѣхъ этихъ случаяхъ держится на среднихъ терминахъ; женщина же, по большей части, не знаетъ середины ни въ добрѣ, ни въ злѣ, легче ударяется въ одну изъ крайностей, и въ нихъ всегда перешеголяетъ крайняго мужчину. Иродіада, требующая въ награду за пляску головы Іоанна Крестителя, Аталія, вырѣзывающая все племя Давида, Ксантипа, обратившаяся въ нарицательное имя сварливости, Туллія, переѣзжающая черезъ трупъ отца, Фульвія, искалывающая булавами языкъ Цицерона въ мертвой головѣ его, Агриппина, раздражающая сына своего къ похоти съ нею, Локуста, отравительница по профессіи, Мессалина, не знающая даже мужскаго стыда и жалости, Θεодора, излишествамъ которой нѣтъ счету, Ирина, ослѣпляющая роднаго сына, лишь бы сохранить за собой вліяніе на него, Лукреція Борджіа, развратъ и злодѣянія которой вошли въ пословицу, Екатерина Медичи, изувѣрство которой придумало Вареоломеевскую ночь, все это экземпляры, съ которыми трудно тягаться мужчинамъ. Что же касается болѣе или менѣе общаго типа, то римскую, на примѣръ, матрону Ювеналь описываетъ, по отношенію ко всѣмъ ей подвластнымъ, какъ настоящую тигрицу. Бываютъ такіа, говоритъ онъ, что держатъ при себѣ постоянныхъ палачей. И въ то время, какъ она занята туалетомъ, бѣлится, румянится, любитъся платьемъ, — рабыню или раба ея стегаютъ плетью передъ ея глазами. Отъ туалета она переходитъ къ дневнымъ новостямъ; но въ то же время не забываетъ подтвердить, чтобъ продолжали сѣчь. Когда же, наконецъ, и сами палачи устанутъ, кричитъ разгнѣванно: вонъ! За малѣйшую оплошность въ

растесываніи босы, горничной рабынь грозить испараніе лица или груди, прокалываніе насквозь ладони нарочно для того имѣющеюся длинною иглою, и т. п. Но съ тѣхъ поръ какъ доказано, что женщина способна также и ко всѣмъ противоположнымъ крайностямъ, идеаль ея исторіи указывается самъ собою, и указывается вполне достижимый для ея природы. Идеаль же Власти и Корнелія Агриппы едва ли принадлежитъ къ числу такихъ.

Послѣ этого отступленія и очерка исторіи главнаго изъ двухъ органовъ гражданственности, возвращаясь къ самымъ продуктамъ этой гражданственности, а именно моральнымъ, и изъ нихъ прежде всего чувственнымъ, станемъ продолжать ихъ исторію. Патриархальная гражданственность бываетъ обыкновенно совмѣщеніемъ всѣхъ безъ исключенія пороковъ *чувственности* и безусловнаго преобладанія ихъ надъ случайными и вынужденными добродѣтелями этого рода. Сладострастіе, обжорство, пьянство у дикихъ племенъ тѣмъ страстнѣе, чѣмъ менѣе могутъ они удовлетворяться періодически, регулярно. Когда эскимось не въ состояніи болѣе ѣсть собственными силами, онъ заставляетъ жену свою пихать ему въ ротъ куски пищи пальцемъ. Обѣвшись внезапно прибывшею пищею, дикари иногда долго лежатъ въ оцѣпенѣніи и спячѣ, какъ нѣкоторые животныя. Добывши случайно женщину, они иногда эксплуатируютъ её на-смерть. Допавшись неожиданно до опьяняющаго вещества, они не оставляютъ его, пока не истощатъ до конца. Путешественникъ Симпсонъ позвалъ однажды къ себѣ въ Якутскѣ двухъ мѣстныхъ ѣдоковъ, и поставилъ передъ ними два пуда вареной говядины и пудъ растопленнаго масла. Черезъ два часа ничего этого не стало. Но дня три или четыре потомъ гости эти пролежали въ какомъ-то оцѣпенѣніи, какъ змѣи, ничего не ѣвши и не пивши, и только перекашиваясь съ боку на бокъ. Опьяняющія вещества умѣютъ находить почти всѣ дикари: у негровъ это есть просяное пиво, у арабовъ — пальмовое вино, у татаръ — кумысъ, у камчадаловъ — настой мухомора, и т. п. Если же его у нихъ не было, то, при сношеніяхъ съ европейцами, они готовы все отдать за ромъ, за виски, за водку. А какой лакомый кусокъ женщина, это мы видѣли уже неоднократно на этихъ страницахъ. Исключеній нѣтъ ни для пола, ни для возраста. Женское распутство, при удобномъ случаѣ, иногда даже превосходитъ мужское. Въ Патанѣ (въ Индіи) похотливость женщины такъ велика, что мужчины защищаются отъ

нея особаго рода приборомъ. Въ небольшихъ гвинейскихъ государствахъ Африки женщина, встрѣтивъ наединѣ мужчину, пристаётъ къ нему съ угрозами, что иначе пожалуется своему мужу. По ночамъ онѣ тихонько подкрадываются къ спящимъ мужчинамъ, раздражаютъ ихъ и потомъ грозятъ закричать, какъ на насиліе, если будутъ отвергнуты. Впрочемъ, воздержаніе въ пищѣ и въ напиткахъ бываетъ удѣломъ женщины уже и здѣсь, хотя и невольнымъ, принудительнымъ, потому что мужчины оставляютъ имъ только объѣдки и отброски свои. Тѣмъ не менѣе всѣ эти три общеживотныя потребности: голодъ, жажда, половое влеченіе, какъ ни мало и какъ ни трудно онѣ одолимы, но съ теченіемъ времени и онѣ все-таки начинаютъ претерпѣвать перемѣну. Дѣло въ томъ что съ теченіемъ времени удовлетвореніе ихъ упорядочивается, и, вслѣдствіе одного уже этого, умѣряется. Сверхъ того, въ государственныхъ формаціяхъ происходитъ еще нѣчто подобное, во первыхъ, специализаціи чувственныхъ пороковъ по эпохамъ обществъ и по классамъ населеній, а во вторыхъ, нѣчто подобное также специализаціи добродѣтелей и пороковъ по поламъ.— Въ смыслѣ сказанной специализаціи по классамъ населеній аристократическая гражданственность усвоиваетъ себѣ, по видимому, порокъ *сладострастія* предпочтительно предъ всѣми другими. Самое уже упорядоченіе этой потребности является здѣсь не иначе, какъ въ формѣ многоженства, которое одно и само по себѣ представляетъ крайній просторъ инстинкту, гдѣ единственнымъ предѣломъ есть лишь физическая возможность. Но, кромѣ того, удовлетвореніе этому инстинкту возводится здѣсь еще въ родъ священнодѣйствія, жертвы богамъ, и въдобавокъ изощряется посредствомъ различныхъ искусственныхъ приѣмовъ и учреждений. Полигамія составляетъ собою тѣмъ большее царство страстей, что, при тогдашнемъ складѣ жизни, нѣтъ и никакихъ иныхъ развлеченій, кромѣ этихъ, никакой частной жизни, кромѣ гаремной. Отсюда половая страстность такова, что одна изъ статей витайскаго уложенія гласитъ такъ: найти въ пустынномъ мѣстѣ сокровище, которымъ можно овладѣть, слышать голосъ врага своего, который погибнетъ, если не подашь ему помощи, и встрѣтить въ уединеніи прекрасную женщину одною—вотъ камни преткновенія для человѣка. Въ свою очередь законъ Ману, описывая ежедневное поведеніе царя, указываетъ ему въ теченіе дня нѣсколько разъ общеніе съ жонами въ разныхъ видахъ. По-

утру, занявшись дѣлами, онъ принимаетъ, вслѣдъ за полднейной трапезой, ванну, при чемъ прислуживаютъ ему жены его. Послѣ обѣда жены же, тщательно надзираемыя и которыхъ одежда и все убранство предварительно изслѣдованы, да придутъ обмахивать властителя вѣерами и возливать на него воду и благовопія. Послѣ этого царь да удалится во внутренніе покои и да развлечется тамъ съ женами на-единѣ. Послѣ вечернихъ занятій, каковы смотры словновъ, колесницъ, воиновъ, онъ принимаетъ вечернюю трапезу, во время которой увеселяется музыкальной игрою и пляскою жонъ. Наконецъ, насладившись всѣмъ этимъ, онъ отправляется въ опочивальню. Рамзесъ II, фараонъ египетскій, далъ такое развитіе своему гарему, которое представлялось небывалымъ и для тѣхъ временъ. Онъ имѣлъ отъ него 170 человѣкъ дѣтей, при чемъ одну изъ дочерей своихъ, Бентъ-Анатъ, взялъ себѣ въ жены, т. е. помѣстилъ въ тотъ же гаремъ. Развитіе гарема у царя Соломона также общеизвѣстно. А отецъ его Давидъ обольщаетъ жену Уриі, его же самого измѣннически губить. Одинъ изъ сыновей Давида Аммонъ насилуетъ свою родную сестру Тамару, за что, впрочемъ, братъ Авессаломъ и убиваетъ его. Однако всего этого мало, нуженъ еще публичный и опять освященный развратъ. А потому въ Индіи, при храмахъ, имѣются баядерки, профессія которыхъ возведена въ священнослужительскую. При богослуженіяхъ онѣ дѣйствительно служатъ, но въ видѣ танцовщицъ, которыхъ танецъ при томъ же есть величайшій историческій канканъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ же отправляютъ и просто профессіи храмовыхъ проституткоу. Символъ мужчины, лингамъ, возведенъ въ Индіи въ особое божество, которому воздвигаютъ храмы, поставляются жрецы, устраиваются празднества. Въ церемоніяхъ религіозныхъ публично носится похабное изображеніе лингама. Въ Вавилоніи храмъ богини Милитты есть такое мѣсто, чрезъ которое, хотя однажды въ жизни, должна пройти всякая безъ исключенія женщина, принося тамъ въ жертву богинѣ стыдливость свою, при чемъ плата за нее обращается въ доходъ жрецовъ и храма. Что у вавилонянъ Милитта, то самое у финикянъ Астартъ, у персовъ Миера, съ ихъ храмовою проституціею. Что у индійцевъ лингамъ, то здѣсь вефилъ. Ни одинъ сиропиникійскій храмъ не обходится безъ изображеній его у самаго входа. Какъ у египтянъ два обелиска у вратъ, такъ здѣсь необходимы два каменныхъ, всегда монолитныхъ цилиндра со скуфьей наверху. У арабовъ они и до сихъ поръ стоятъ на своихъ

мѣстахъ и называются мугазиллами. Подобное же значеніе у египтянъ имѣлъ годовой праздникъ брака солнца съ землею, Озириса и Изиды, сопровождавшійся невѣроятнымъ распутствомъ. У евреевъ пророкъ Варухъ гремитъ противъ языческаго сниманія съ боговъ золота и серебра для удовлетворенія наложницъ и противъ возвращенія его богамъ, когда оно наскучило прелестницамъ. Онъ негодуетъ также на женщинъ, связанныхъ нечестивыми обѣтами, символъ которыхъ носимая этими женщинами лента, и сидящихъ на перекресткахъ, возжигаая для своихъ потребителей еиміамъ. Но и всего этого не довольно; необходимы еще различныя извращенія чувственности. Исторія сохранила преданіе объ одной египтянкѣ, совершившей публично, на рынкѣ, содомію съ возломъ; о блудницѣ, изъ доходовъ ремесла своего, воздвигшей пирамиду; о коллегіи египетскихъ жрецовъ, отправлявшей въ честь боговъ пайдерастію. Когда персы завоевали Іонію, они набирали въ ней красивыхъ мальчиковъ и кастрировали ихъ. Съ Вавилоніи и Ассиріи царю персидскому представлялось ежегодно по 500 оскотенныхъ мальчиковъ, въ видѣ подати: до такой степени это стало непремѣннымъ условіемъ утонченности разврата. Наконецъ, еврейскіе Содомъ и Гоморра дали ему даже имя свое, также какъ другому пороку далъ свое имя Онанъ. Съ бигаміей, т. е. у грековъ и римлянъ, радіусъ этихъ нравовъ нѣсколько сокращается уже по той причинѣ, что исчезаетъ гаремъ; но зато изощреніе и утонченіе наслажденій чуть ли не превосходитъ восточныя. Разница только въ томъ, что греки и самому пороку умѣли придать иногда изящество. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, греки даютъ свое имя пайдерастіи и создаютъ совсѣмъ новый родъ любви лесбосскую любовь (между дѣвочками). Въ Фивахъ и на островѣ Критѣ законъ даже предписываетъ пайдерастію, какъ во избѣжаніе размноженія, такъ и въ видахъ смягченія будто бы мужскихъ нравовъ. Что же касается естественной любви, то Греція заводитъ особыя школы для обученія искусству любить. Одною изъ замѣчательнѣйшихъ была такая школа на островѣ Лесбосѣ, гдѣ обучали всѣмъ пикантностямъ страсти, но также музыкѣ и поэзіи, и откуда выходили извѣстнѣйшія гетеры, между которыми фигурируетъ, между прочимъ, и поэтесса Сафо. Впервые, однакожъ, промыселъ гетеризма окружонъ блескомъ лишь со временъ Аспазіи, которая умѣла привлечь къ себѣ все лучшее общество Аѣинъ. По примѣру ея и другія начали усвоивать себѣ ея образованіе и изящество ея обращенія. Общества ея мало по малу стали

искать даже скромныя женщины, и находили его не безъ пользы для себя. За нею послѣдовалъ цѣлый рядъ Лансъ, Фринъ, Мирринъ, Теоридъ и т. д., которыя прежній, исключительно плотской позывъ, такъ сказать, одухотворяли вокругъ себя. Священный характеръ страстей, однакожъ, все еще не утрачивается: въ Коринѣ были гетеры, посвященныя богинѣ Афродитѣ, такъ называемыя гьеродулы, которыя часть доходовъ своихъ отдавали на храмъ, въ видѣ религіознаго приношенія. Весь культъ Пріапа, съ его безстыдными празднествами, былъ не что иное, какъ повтореніе культа лингама и вефила, гдѣ эстетическая Греція не спаслась и отъ такихъ религіозныхъ процессій, какъ въ Индіи, при чемъ самыя знатныя и молодыя женщины носили изображеніе фаллоса. Римская исторія этихъ нравовъ хотя и открывается Люкреціей и Виргиніей, жертвами того же сладострастія царскаго и аристократическаго; но за то съ самаго начала не безъ протеста и при томъ такого, какъ изгнаніе царей и уничтоженіе децемвировъ. И долго потомъ нравы римскіе хранили невиданную въ древности чистоту и строгость. Если ростовщикъ Папирій, державшій у себя въ оковахъ молодаго должника Клавдія, изнасиловалъ его, если скоро потомъ Плавтій повторилъ то же надъ Ветуриемъ; то это были случаи болѣе или менѣе исключительные и не составлявшіе общаго и распространеннаго нрава, а тѣмъ болѣе уважняемаго и властью, и общественнымъ мнѣніемъ. Но историческая среда взяла свое: ознакомленіе съ гражданственностью востока и Греціи скоро внесло растлѣніе и сюда. Начинается и здѣсь эпоха Лидій, Лалагъ, Неэръ, Мирталій, Фринъ, Левконой, Тиндаридъ, Баринъ, Пирръ, Хлой, Глицеръ, Цинаръ и т. д. Мужчина же низводитъ за собой въ этотъ омутъ и самую женщину, — и матроны римскія начинаютъ открыто держать при себѣ кастрированныхъ рабовъ для того, чтобы длить свои удовольствія по произволу. Ювеналъ констатируетъ также существованіе матронъ, ставившихся служительницами похабнаго культа Цибеллы, и расточавшихъ богатства свои на его презрѣнныхъ жрецовъ. Наконецъ, никогда еще, быть можетъ, порокъ не былъ такъ откровененъ, такъ не обнажалъ себя и не носился съ собою, какъ это случилось при грубомъ римскомъ нравѣ. У Овидія вся реальность любви смѣло представляется въ самыхъ грубыхъ и элементарныхъ ея формахъ. Цинизмъ поэта былъ бы недопустимымъ теперь не только въ поэзіи, но и въ самой плоской прозѣ жизни. Любав-

няя элегія его къ Кориннѣ, его Лекарство отъ любви и, въ особен-
ности, Наука любви—суть произведенія, читать которыя даже самъ
авторъ не всѣмъ совѣтуетъ, которыя представляютъ самую полную
и наглую апотеозу чувственности, и которыя, не смотря на всю
легкость современныхъ имъ нравовъ, могли все-таки послужить для
власти предлогомъ къ изгнанію поэта. Но Овидій, по крайней мѣрѣ,
кровный аристократъ, нотонокъ древняго всадническаго рода; Го-
рацій же либертинъ, сынъ отпущенника, извѣстный своей умѣрен-
ностью въ страстяхъ, однакожъ, и тотъ не могъ плыть противъ
теченія, и тотъ откровенно признается: *ragabilem amo Venere*
facilemque, и воспѣваетъ цѣлый ихъ рядъ. Мало того, воспѣвая, онъ
вовсе не замѣчаетъ того бездушнаго, чисто плотскаго своего отноше-
нія къ этимъ венерамъ, когда говоритъ, напримѣръ, о когда-то лю-
бимой имъ Ликѣ: „Лика! услышали меня боги, услышали: ты уста-
рѣла! Но и старухой, безстыдница, ты петь да играть, какъ прежде,
хотѣла-бъ. Знай же, ни Косса пурпурная твань, ни самоцвѣтъ
какъ бы онъ ни былъ свѣтелъ, лѣтъ тебѣ тѣхъ не воротятъ, что
разъ день мимолетный въ таблицахъ отмѣтилъ. Гдѣ же, Киприда,
гдѣ свѣжестъ лица? гдѣ красотою обложенное тѣло? Что же отъ
той-то, отъ той, нѣгой дышавшей, въ тебѣ уцѣлѣло? той, что похи-
тила сердце мое, сердце, плѣненное юной Цинарой? Только Цинары
коротокъ былъ вѣкъ; Ликой же, этой вороною старой, ровъ доро-
жить, и ее охранять чуть не на вѣчные годы собрался, чтобъ, глядя
на нее, молодежь хохотала, что отъ свѣтильника только копоть
осталась“. Этотъ-то тонъ отношенія къ женщинамъ и подалъ осно-
вательный поводъ къ тому мнѣнію, что древность не знала любви
въ ея идеальномъ смыслѣ, и что она понимала въ ней одну только
чувственность. Вся эта характеристика аристократической граждан-
ственности, если не на столько же, то, во всякомъ случаѣ, отчасти
относится и ко всякому аристократизму относительному. Конечно,
моногамія еще больше затруднила разгулъ чувственности, чѣмъ би-
гамія, но и среди нея аристократизмъ остается вѣренъ себѣ. Хри-
стіанскіе короли очень долго еще не довольствуются женою, и вовсе
не скрываютъ этого, давая совершенно официальное положеніе
своимъ наложницамъ, въ чемъ, по мѣрѣ силъ, подражаетъ имъ и
каждая аристократія. Распущенность нравовъ, по разсказу Шло-
сера о прошедшемъ столѣтіи, уже сама по себѣ считалась призна-
комъ аристократизма, какъ и наоборотъ, было явнымъ мѣщанствомъ

довольствоваться одной своей женою или однимъ мужемъ своимъ. Было даже неприлично пригласить къ придворному столу мужа дамы и не пригласить любовника ея. Приличіе также требовало чтобы въ будуаръ аристократки не дозволялось проникать ея мужу, и чтобы доступъ туда былъ открытъ только любовнику. Чѣмъ мельче былъ дворъ или аристократія, тѣмъ больше они тянулись за большими и особенно за французскимъ дворомъ и аристократіей. Какой нибудь Карлъ Виртембергскій вырывалъ у себя цѣлыя озера въ горахъ, чтобы загнать туда стадо оленей на потѣху гостямъ. Въ полночь вдругъ у него загорались огни по лѣсамъ, выходили изъ гротовъ феи, фавны, сатиры, и начинался сладострастный балетъ, вслѣдъ за которымъ нисходила на землю такъ называемая афинская ночь. Но какъ бы все это ни уподоблялось Афинамъ и Риму, а произошла и громадная разниа. Во первыхъ, вся неестественная свита древняго сладострастія удаляется, и остается одно естественное. Во вторыхъ, религіозная санкція его также отлетаетъ прочь. Въ третьихъ, наружное его оказательство и цинизмъ этого оказательства не находятъ себѣ ни поэтовъ, ни общественнаго мнѣнія. А въ довершеніе всего и самая половая любовь, подѣ влияніемъ христіанства и въ особенности рыцарства, дѣйствительно преобразуется, въ сравненіи съ древнею, присоединивъ къ плотскому элементу духовный, платоническій, но платоническій въ новомъ, а не древнемъ смыслѣ. А посредствомъ всего этого, чистая, абсолютно-аристократическая чувственность и отжила свой золотой вѣкъ.—Въ гражданственности тимократической этотъ нравъ держится еще меньше, сколько бы ни тянулась она за аристократическою. Среднія сословія и въ древности не участвовали въ этой оргіи эпохи. Нынѣ же, подѣ дѣйствіемъ только что указанныхъ причинъ, они еще меньше въ состояніи возродить ее. Выше уже было указано, что семейная жизнь чисто тимократическихъ или, что то же, протестантскихъ обществъ, совсѣмъ иная, чѣмъ аристократическихъ и католическихъ. Недавно также было приведено замѣчаніе, что и сама аристократія считаетъ добрыя семейные нравы мѣщанствомъ. А потому можно больше не останавливаться на этомъ. Но если тимократизмъ свободенъ отъ одного изъ плотскихъ пороковъ, то онъ не чуждъ другого. И вѣроятно же всего, что этотъ специфическій его порокъ есть *сластолюбіе*. Аристократизму оно мало свойственно. Овидій, Байронъ, Кольриджъ не могли выносить даже вида жующей

женщины. За себя же Байронъ ничего такъ не боялся, какъ потолстѣть. И дѣйствительно, ни отъ востока, ни отъ Греціи не достигло до насъ извѣстій о какомъ нибудь грандіозномъ развитіи чувственныхъ вкусовъ этого порядка. Напротивъ, азіянцы даже прямо славятся своей умѣренностью въ пищѣ и питъѣ. Если же извѣстія о неумѣренности достигаютъ до насъ, то только изъ Рима, да и то, по свидѣтельству Шлоссера, лишь отъ самаго конца древней исторіи, т. е. отъ имперіи. Здѣсь и въ это время кулинарное искусство дѣйствительно заняло уже почетное мѣсто. А Маркъ Аппицій, при Августѣ, дѣйствительно уже приобрѣлъ всемірную извѣстность своей гастрономической тонкостью и обжорствомъ. Тѣмъ не менѣе нравъ этотъ былъ еще слишкомъ мало популяренъ сначала, такъ что тотъ же Гораций, который такъ равнодушенъ къ аристократическому пороку, надъ этимъ слегка подсмѣивается, и трунить надъ тѣмъ, кто кухню возводитъ въ науку. „Если къ тебѣ, говоритъ онъ, неожиданно гость вдругъ явился на ужинъ; то, чтобы курица мягче была и нѣжнѣй, живую ее окуни въ молодое фалернское преже. Лучшій грибокъ—луговой, а другимъ довѣрять ненадежно“. Скоро, однакожъ, новый вкусъ приобретаетъ другіе размѣры и силу, когда начинаютъ, напримѣръ, принимать рвотное, лишь бы можно было лишній разъ поѣсть, и когда, по крайней мѣрѣ, у самыхъ богатыхъ людей онъ приобретаетъ право гражданства не меньше, чѣмъ прежняя страсть. Тогда-то выступаетъ съ своимъ быкомъ Ювеналь. Онъ клеймитъ того богача, который пожираетъ такое количество блюдъ, что и одного изъ нихъ было бы достаточно, чтобы проѣсть все отцовское наслѣдство; клеймитъ ту глотку, которая пропускаетъ въ себя столько яствъ, что ихъ достало-бы на угощеніе цѣлой толпы. Впрочемъ, прибавляетъ онъ, возмездіе не долго заставляетъ себя ждать, когда, весь раздутый отъ яствъ, и неся въ желудкѣ неуспѣваго еще свариться павлина, обжора раздѣвается и садится въ ванну. Вотъ, гдѣ источникъ столькихъ нечаянныхъ концовъ, и причина, что столько наслѣдодателей уходятъ отъ насъ безъ завѣщаній. О томъ же, въ какое важное дѣло жизни стали возводиться сѣбѣстные вопросы, онъ сообщаетъ въ разсказѣ о рыбѣ Домиціана. Рыба, подаренная ему, такъ велика, что нельзя было найти для нея блюда. Поэтому созывается сенатъ въ экстраординарное засѣданіе, и ему предлагается на обсужденіе вопросъ: неужели разрѣзать рыбу на части? Послѣ

недолгих преній сенать рѣшаетъ, чтобы ни за что въ міръ не подвергать ее такому позору, а поспѣшить отыскать Прометея, который бы создалъ сосудъ, достойный вмѣстить это туловище. По рѣшеніи дѣла сенать распускается, а встревоженную публику, подумавшую было о вторженіи варваровъ, успокоиваютъ извѣстіемъ, что дѣло шло о рыбѣ, а не о варварахъ. Вкусъ, крайнимъ раздраженіемъ его, скоро, однакожъ, до того притупляется, что приходится щеголять блюдами уже не ради вкуса, а единственно ради рѣдкости и дороговизны. И вотъ подаются то пѣвчія птицы, то соловьиные язычки, то вино съ распушенными въ немъ жемчужинами и т. п.;—и Ювеналь восклицаетъ, что потомкамъ не осталось уже добавлять ничего къ развращенію нравовъ. И въ самомъ дѣлѣ, сластолюбіе не допускаетъ столько разнообразія и изысканности, какъ сладострастіе, такъ что если можетъ продолжаться систематически, то развѣ въ смыслѣ количественнаго, а не качественного. Въ такомъ именно видѣ и досталось оно нынѣ на долю буржуазіи, бюргерства, купечества, мѣщанства. Въ аристократическихъ классахъ оно удерживаетъ и теперь свой древній, аристократическій пошибъ гастрономическаго изощренія; но въ классахъ среднихъ оно господствуетъ въ своемъ примитивномъ видѣ. Отсюда типъ разѣвшагося и ожирѣвшаго буржуа, свойственный по преимуществу тѣмъ же тимократическо-протестантскимъ странамъ, которымъ такъ мало извѣстны излишества сладострастія. Отсюда же и два типа современной кухни: легкой, но пикантной (французскій) и тѣжелый, но сытный (нѣмецко-англійскій).—Еще характеристичнѣе исторія *пльмства*. Пили, конечно, и древніе, аристократическіе народы, хотя далеко не всѣ; пьютъ также и новыя, тимократическіе; а все-таки это страсть наиболѣе демократическая. Она демократична уже и потому, что проще всѣхъ прочихъ, ибо допускаетъ гораздо меньше какъ разнообразія, такъ и изощреній. Застольныя пиршества грековъ и римлянъ всегда сопровождались виномъ; но замѣчательно, что всегда смѣшаннымъ по-поламъ съ водою, и во всякомъ случаѣ, разбавленнымъ какъ-нибудь иначе. Пить цѣльное вино значило, по пословицѣ: пить какъ Сивъ. „Съ вѣрѣшкимъ фалернскимъ предъ пищею смѣшивай медъ афидій!“ говоритъ Гораций. А у нѣкоторыхъ еще болѣе южныхъ народовъ, какъ карфагеняне, индусы, арабы, вино и вовсе было запрещено. По законамъ Ману, употребленіе спиртныхъ напитковъ есть уголовное преступленіе, и при

томъ равное убійству брамина. Тотъ же запретъ свойственъ, какъ извѣстно, и большей части востока. И такъ, древній міръ никакъ не спеціалистъ этихъ нравовъ. И если пьянство въ немъ брало свое, то именно лишь въ низшихъ классахъ населенія: оно было дѣломъ рабовъ, а не гражданъ. Рабовъ нарочно даже поили, какъ на примѣръ, у спартанцевъ, для того именно, чтобы на нихъ показать молодымъ гражданамъ, какъ отвратителенъ этотъ порокъ. Тимократическіе народы выпиваютъ, быть можетъ, больше, чѣмъ какіе-либо другіе; но пьянства у нихъ все-таки нѣтъ, а есть лишь постоянное, но умѣренное возбужденіе себя. Англія, на примѣръ, выпиваетъ гораздо больше, чѣмъ Россія, а между тѣмъ пьянства такого не знаетъ. Къ тому же и популярнѣйшіе хмѣльные напитки тимократій принадлежать къ числу наименѣе дѣйствительныхъ, потому что это суть пиво, портеръ, вино. Но всѣхъ дѣйствительнѣе въ этомъ отношеніи, какъ въ древнемъ, такъ и новомъ мірѣ, есть только нововведеніе русское—спиртъ, водка. Къ тому же и вся исторія Россіи представляетъ, съ самаго своего начала, преобладаніе въ ней именно этого рода чувственности. Руси есть веселіе пити. Главные герои и богатыри здѣшнихъ легендъ то и дѣло осушаютъ чары зелена вина въ полтретя ведра. Въ самомъ началѣ исторіи стоитъ также и центръ всего этого героизма—красное солнышко Владиміръ. Съ тѣхъ поръ пьянство не переставало быть преобладающимъ развлеченіемъ всѣхъ классовъ народа до самыхъ послѣднихъ временъ, когда оно стало ограничиваться лишь чистою демократією, просто-народьемъ. Классамъ этимъ и нигдѣ, и никогда не свойственны были ни излишества сладострастія, ни излишества сластолюбія; кромѣ того, и самые опьяняющіе напитки нигдѣ не были такъ доступны имъ по своей цѣнѣ. А потому здѣсь же сосредоточились впервые и всѣ излишества порока. Какъ сосредоточенное сластолюбіе ведетъ свою исторію только съ Рима, такъ сосредоточенное пьянство ведетъ ее лишь съ Россіи. Неужели же слѣдуетъ отсюда заключить, что не только относительный, но и будущій абсолютный демократизмъ не уберется отъ этого рода излишествъ?..

Не рѣшаясь отвѣчать на этотъ вопросъ, мы прослѣдимъ лучше другую сторону тѣхъ же плотскихъ нравовъ; прослѣдимъ то, что названо выше дифференціаціей этихъ нравовъ по поламъ. Протестъ противъ плотугодія вообще, если не такъ же древенъ, какъ міръ, то, по крайней мѣрѣ, какъ государство. Какъ только началъ спе-

ціалізировацца первыі изъ фізічныхъ пороковъ, мы уже встрѣчаемъ и первую реакцію противъ всѣхъ ихъ вообще. Въ Індіи она выразилась отшельничествомъ старыхъ браминовъ, съ цѣлю именно умерщвленія похотей плоти. Но здѣсь эта протестація слишкомъ мало еще распространена. Въ Греціи и Римѣ хотя не было протеста религіознаго, но былъ философскій и, при томъ, нѣсколько болѣе уже распространенный, чѣмъ аскетизмъ, потому что это школы циниковъ и стоиковъ. Но никогда подобный идеалъ не достигалъ ни такого напряженія, ни такого распространенія, какъ въ новомъ монотеизмѣ. Этотъ послѣдній, съ самаго своего начала, задался идеей борьбы духа съ плотью. Начиная съ отшельничества египетскаго, борьба эта потянулась чрезъ всѣ средніе вѣка, и по всѣмъ странамъ выставляла длинные ряды столпниковъ, молчальниковъ, затворниковъ, схимниковъ и всякаго рода аскетовъ и анахоретовъ, не говоря уже о простыхъ монашескихъ орденахъ всевозможныхъ обѣтовъ. А всѣ эти обѣты, не смотря на все ихъ разнообразіе, постоянно были направлены въ пользу цѣломудрія, поста и трезвости, т. е. воздержанія именно отъ всѣхъ тѣхъ грѣховъ, исторія которыхъ только что описана. Дѣло дошло до того, что нѣкоторые изъ этихъ обѣтовъ, а именно обѣтъ борьбы съ самымъ распространеннымъ до тѣхъ поръ порокомъ, навязанъ было не только черному, но и всему бѣлому духовенству, подъ видомъ безбрачія. Такимъ образомъ цѣлое и обширное сословіе всѣхъ обществъ призвано было на борьбу съ окружающимъ грѣхомъ и борьбу безъ всякихъ компромиссовъ. Въ другой половинѣ церкви, въ восточной, тому же духовенству вмѣнено въ обязанность если не безбрачіе, то единобрачіе въ самомъ тѣсномъ смыслѣ, т. е. единожды на всю жизнь. Наконецъ всему остальному, свѣтскому обществу вмѣнена неразрывность всякаго однажды состоявшагося брака. Никогда еще во всей исторіи идеализмъ и спиритуализмъ не достигали такого полета, превзошедшаго всякія возможности человѣческой природы: изъ существа на половину тѣлеснаго, на половину духовнаго, хотѣлось сознать исключительно духовное. Здѣсь, быть можетъ, болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь, засвидѣтельствована та беззавѣтность той метафизичности нашей цивилизаціи, той революціонности нашей культуры, и того утопизма нашей гражданственности, которые столько разъ уже удостовѣряются въ этой книгѣ. Всѣ инныя притязанія, когда-нибудь заявленныя въ сторіи, блѣднѣютъ и меркнутъ предъ этой леген-

дарной попыткой, во что бы то ни стало, превратить человека въ ангела, создать новый видъ въ природѣ. И что же? Неужели весь этотъ напряженный и всеобъемлющій порывъ въ высоту пропалъ совершенно безслѣдно для міра? Конечно, гонимая въ дверь, природа то и дѣло возвращалась въ окно; но при этомъ возвращеніи она нѣчто и утрачивала. Какъ во всякомъ утопизмѣ, такъ и въ этомъ, оказалась небольшая, но своя доля и истины, и блага. И оказалась она именно на исторіи женщины. Если 'мужчина, въ теченіи своей исторіи, только мѣнялъ свои страсти однѣ на другія; то женщина довела ихъ всѣ, по крайней мѣрѣ, до ихъ minimum'a. Содѣйствовали этому, конечно, и многія другія обстоятельства; но христіанство закрѣпило ихъ всѣ. Уже съ самаго начала исторіи, во времена дикости, женщина, какъ мы видѣли недавно, была вынуждаема къ умѣренности въ пищѣ и питьѣ. Позднѣе, въ пастушеской жизни, когда продовольственные запасы стали и изобильнѣе, и регулярнѣе, ей все-таки предоставлялась лишь худшая и меньшая пища. Если даже цари этихъ временъ, цари - пастыри, не отличались ничѣмъ отъ другихъ смертныхъ, какъ привилегіями въ родѣ двойной и лучшей порціи; то не иначе, конечно, осуществлялись и привилегіи мужчинъ предъ женщинами. Въ бытѣ земледѣльческомъ и въ первомъ государственномъ, когда такія привилегіи переставали имѣть свой *raison d'être*, оставалась, однакожъ, обособленность женщинъ отъ мужчинъ. Женщины никогда не участвовали въ пиршествахъ, не имѣли, слѣдовательно, постоянныхъ случаевъ раздражать и возбуждать естественные аппетиты ни виномъ, ни компаніей. Въ классическомъ мірѣ во всему этому присовокупились требованія изящества и приличія. А по мужскому взгляду на то и другое, женщинѣ уже приличествовала умѣренность въ пищѣ и питьѣ. Въ Греціи онѣ еще не участвовали въ мужскихъ собраніяхъ; въ Римѣ же, гдѣ онѣ сидѣли рядомъ съ мужчинами за столами, Овидій уже замѣчаетъ, что для женщины пить еще хуже, чѣмъ ѣсть. Да и по самому древнему римскому закону, квиритъ имѣлъ право жизни и смерти надъ своей женою между прочимъ и тогда, если бы она оказалась преступившею трезвость. Въ новыхъ обществахъ мужчины держатся того же самаго взгляда, что Овидій: Байронъ и Кольриджъ, какъ уже сказано, не могли выносить вида жующей женщины. И такъ, тысячелѣтніе навыки, волей-неволей, но достаточно подготовили почву для христіанскаго идеала воздержанія только въ женщинѣ,

а не въ мужчинѣ. Что было до сихъ поръ привычкою необходимости, освятилось теперь характеромъ произвольности; матеріальныя побужденія дополнились идеальными,—и нравъ пріобрѣлъ такую устойчивость, какую только онъ можетъ имѣть. Въ самомъ дѣлѣ, пьянство и прожорство женщинъ, какъ повальный порокъ, совсѣмъ неизвѣстны ни въ какой странѣ, ни въ какомъ сословіи, не исключая простаго народа: женщины повсюду и всегда трезвѣе мужчинъ и воздержнѣе ихъ въ пищѣ. Остается вопросъ о женскомъ сладострастіи. На этотъ разъ исторія начинается не такъ счастливо для женщинъ. На страницахъ этой книги не разъ уже отмѣчена патріархальная разнузданность въ этомъ отношеніи столько же и женщинъ, какъ мужчинъ. И дѣйствительно, весь почти патріархальный періодъ бываетъ вовсе не въкомъ цѣломудрія женскаго. Но съ тѣхъ поръ, какъ обычай многоженства закрѣпляется, а средства стеречь своихъ жонъ умножаются,—цѣломудріе ихъ волей-неволей втѣсняется въ нравы. Восточные законы не знаютъ большаго семейнаго преступленія какъ прелюбодѣяніе, и щедро расточаютъ за него наказанія; они не знаютъ также большей добродѣтели семейной, какъ вѣрность жонъ и даже вдовъ, за что и расточаются всевозможныя награды. А потому гаремныя измѣны становятся все больше и больше рѣдкими. Наконецъ простая изысканность удовольствія мужчинъ слишкомъ дорого цѣнить женскую дѣвственность, такъ что мало по-малу и сама женщина привыкаетъ смотрѣть на нее, какъ на высшую цѣнность свою. Въ бигамическихъ странахъ всѣ эти причины усиливаются начинающимися нравственными отношеніями между женой и мужемъ, между хозяйкой и хозяиномъ, а именно тѣмъ довѣріемъ, какое начинаетъ оказываться женщинѣ посредствомъ замѣны серала гинекеемъ и евнуха родственницами. А въ то же время и самый надзоръ за женщиной, огражденіе ея отъ соблазна, становятся деликатнѣе, потому что они отправляются въ видѣ системы приличій. Афинской благородной женщинѣ неприлично, напримѣръ, выходить со двора иначе, какъ развѣ на религиозную процессію; ночью же выйти не въ колесницѣ, не въ носилкахъ, или безъ факела—было верхъ неприличія. Въ Римѣ возрастаютъ какъ это довѣріе и деликатность, такъ и эти послѣдствія ихъ такимъ образомъ, что цѣломудріе жонъ становится тамъ, въ лучшія времена республики, внѣ сомнѣній и при томъ становится, такъ сказать, свободнымъ. Женщины выходятъ изъ дому, сидятъ рядомъ съ мужчи-

нами и, при томъ, не только въ домашнихъ пиршествахъ, но и въ публичныхъ увеселеніяхъ и, однакожъ, нравственность отъ этого не проигрываетъ. Въ феодализмѣ привходитъ въ эти отношенія полный идеализмъ преданности, элементъ страстной симпатіи, симпатіи психической, а не одной физической, и тѣмъ еще вѣрнѣе обезпечиваетъ чистоту нравовъ, и во всякомъ случаѣ возводитъ ее въ независимый отъ обычая идеалъ. Дѣло доходитъ до того, что подъ именемъ любви начинаютъ быть извѣстны отношенія даже исключительно духовныя: примѣры любви въ одно время и вѣчной, и безкорыстной, какъ у Данта или Петрарки, вовсе не рѣдкость. На эту-то такъ хорошо подготовленную почву падаетъ всей своей авторитетностью еще и положительный идеалъ религіозный. Что было раньше болѣе или менѣе принудительнымъ, становится опять самопроизвольнымъ; что было исключительно плотскимъ, дѣлается еще разъ духовнымъ; что было, по высшей мѣрѣ, эстетическимъ, становится также и религіозно-нравственнымъ. Такимъ образомъ, женщина и оказывается повсюду и всегда, начиная со временъ государства, дѣвственнѣе и цѣломудреннѣе мужчины. Та исторія сладострастія, какая изложена выше, какъ будто смѣшивала оба пола; но когда мы присмотримся къ ней, то увидимъ, что она остается исключительно мужскою, а не женскою, и что женщина, даже фаворитка, всегда бывала и дѣвственнѣе, и цѣломудреннѣе своего мужчины. Всѣ же экземпляры собственно женской разнузданности никогда не восходили до всеобщаго порядка вещей, какъ у мужчинъ; да и не могли восходить уже потому, что для этого всѣмъ женщинамъ надо было-бы быть красивыми изъ красивыхъ, т. е. меньшинствомъ изъ меньшинства. Исключенія не дѣлаетъ никакая эпоха и никакое сословіе: въ каждой и каждомъ изъ нихъ цѣломудренность въ женщинѣ превосходитъ деморализацію въ ней, а общая женская цѣломудренность превосходитъ общую мужскую. Если же такъ, то вся всемірная борьба духа съ плотью увѣнчалась до сихъ поръ побѣдою лишь на женщинѣ, или, по крайней мѣрѣ, здѣсь только побѣда духа дошла до своего maximum'a. Если же за женщиной мы должны признать превосходство и въ *цѣломудріи*, и въ *постѣ*, и въ *трезвости*; то ей принадлежать до сихъ поръ всѣ безъ исключенія чувственные добродѣтели. Страница эта обыкновенно проглядывается въ женской исторіи; а между тѣмъ добродѣтели эти, какъ и все физическое, составляютъ наилучшій утокъ и

основу для всѣхъ дальнѣйшихъ, составляютъ вѣрнѣйшій залогъ всѣхъ послѣдующихъ и высшихъ. Тогда какъ весь міръ изнемогалъ подъ гнетомъ той или иной чувственности, единственное существо на землѣ, свободное отъ упрека въ томъ, и несшее совсѣмъ иное знамя, была одна только женщина. Служеніе это было съ ея стороны отчасти подневольнымъ; но въ исторіи нѣтъ и ничего вполне произвольнаго; данная же непроизвольность обращается въ пользу женщинѣ, а не мужчинѣ. Къ тому же исторія христіанскаго мученичества показала, что женщина способна была усваивать высокіе нравственные идеалы и исполнѣ самопроизвольно. Такъ или иначе, но подобныя привычки на столько привились къ ея полу, что обратились ему въ другую природу, такъ что стыдливость, скромность, деликатность, воздержность и все аналогичное съ ними, едва-ли уже когда-нибудь перестанетъ быть и именоваться женственностью. Да и что было-бы съ мужчиной, если бы это случилось! Что случилось бы съ человѣческимъ родомъ, если бы главный органъ его гражданственности не стоялъ впереди него, по крайней мѣрѣ, въ этомъ отношеніи; если бы онъ воспитывалъ мужчинъ въ ихъ собственномъ духѣ; если бы онъ не полагалъ собою никакой реакціи самымъ энергическимъ и самымъ непреклоннымъ ихъ инстинктамъ!.. Между тѣмъ, при продолженіи этой реакціи, при ея постоянствѣ и систематичности, нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что рано или поздно и мужской полъ будетъ доведенъ до того же *minimum*'а физическихъ страстей, до какого теперь достигла лишь женщина. Какъ сперва мужчина гналъ ее до этой высоты, такъ потомъ сама она гонитъ туда же его.

Терминъ чувства открываетъ наибоширѣйшую область гражданственности, потому что здѣсь все: любовь и ненависть, гнѣвъ и кротость, мстительность и великодушіе, доброта и злоба, эгоизмъ и туизмъ, самосохраненіе и самоотверженіе, храбрость и трусость, гордость и смиреніе, достоинство и низость, благородство и подлость, твердость и слабость, и т. д. и т. д. Но не имѣя никакой возможности даже слегка коснуться всей этой области, мы избираемъ изъ нея только исторію эгоизма и самоотверженія.

Эгоизмъ, послѣ плотскихъ страстей, составляетъ самый непреклонный инстинктъ человѣческой природы. А потому любопытнѣе всего прослѣдить, какимъ образомъ можетъ онъ поступаться собою, уступать противоположнымъ чувствамъ, и мало по малу даже почти перерождаться въ нихъ. Безусловному, ничѣмъ не ограниченному

эгоизму мужчины принадлежит только одинъ изъ историческихъ моментовъ — агамическій періодъ. Съ популяризацией же брака, семьи, хотя эгоизмъ этотъ и остается все тѣмъ же могущественнѣйшимъ изъ стимуловъ человѣческой дѣятельности, но при этомъ нѣсколько расширяется, а именно: съ себя на своихъ, съ одной личности на нѣсколько. Брачный дикарь защищаетъ не только себя, но и свое, т. е. между прочимъ, и даже прежде всего, свою женщину. Женщина же, уже по самой природѣ своей, уже и въ агамическомъ періодѣ, заботится до поры до времени о ребенкѣ своемъ. Это перемѣщеніе эгоизма съ себя самого на кого-либо другого и составляетъ первое и самое прочное ограниченіе эгоизма въ тѣсномъ смыслѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и первое основаніе всѣхъ социальныхъ чувствъ — родственную любовь. Но въ свою очередь и эта первая любовь есть и остается навсегда самою эгоистическою изъ всѣхъ: мать любить свое дитя не потому, что оно лучше другихъ, а потому, что оно свое. Само собою разумѣется, что чувство это, на этой степени, пребываетъ лишь въ самомъ грубомъ изъ своихъ видовъ въ видѣ простаго долга питанія, кормленія; также точно какъ любовь половая, любовь мужа къ женѣ, дѣйствуетъ здѣсь лишь въ видѣ плотугодія. Въ родовомъ періодѣ становится необходимымъ новое расширение или, пожалуй, самоограниченіе эгоизма, въ видѣ любви всѣхъ родственниковъ и всѣхъ свойственниковъ. И такъ какъ періодъ этотъ составляетъ собою характеристическій центръ всей патріархальной формации; то и всю патріархальную область симпатій нельзя квалифицировать иначе, какъ *родственной любовью*. Это единственный тогда районъ возможной симпатіи къ другимъ. Все остальное, что внѣ этого, весь міръ есть предметъ безусловной антипатіи, ненависти. При этомъ величайшими образцами этой любви суть всегда почти женщины. Деянира, жена Гerkулеса, умерщвляетъ себя съ отчаянія, что была причиной смерти мужа. Андромаха выставляется идеаломъ преданной жены. Пенелопа изображается образцомъ вѣрности мужу, отсутствующему 20 лѣтъ. Альцеста, жена Адмета, налагаетъ на себя руки, когда оракулъ сказалъ, что мужъ выздоровѣетъ лишь тогда, если кто-нибудь за него пожертвуетъ жизнью. Наконецъ общій фактъ самосожженія жонъ на могилахъ мужей служить лучшей иллюстраціей гражданственности этихъ временъ. Сюда же относятся всѣ подобные типы женщины-матери, женщины-дочери, женщины-сестры. Ниобея, гордая

своими 7 сыновьями и 7 дочерьми, окаменѣваетъ, когда потеряла ихъ всѣхъ. Антигона и Ифигенія фигурируютъ, какъ идеалъ дочери. Антигона и Исмена, гибнущія за исполненіе долга къ брату, суть героини-сестры. Электра, спасающая брата и мстящая за отца, есть и то, и другое вмѣстѣ. Въ Китаѣ же, какъ читатель припомнить, нѣтъ и понинѣ высшей добродѣтели, какъ семейная преданность, такъ что за любовь жены или сына воздвигаются тамъ общественные памятники. Впрочемъ, героизмъ этотъ вовсе не исчезаетъ вмѣстѣ съ патріархальностью. Напротивъ, только зародившись здѣсь, онъ таетъ потомъ чрезъ всю исторію: то въ образѣ Лукреціи или Агриппины старшей, какъ жонъ, то въ образѣ Корнеліи, какъ матери Гракховъ, то въ образѣ Юліи, какъ дочери Цезаря. Въ новой исторіи тотъ же типъ возобновляется Маргаритою, женою Малькольма III, которая послѣ смерти мужа и сына въ одной и той же битвѣ переживаетъ ихъ лишь только тремя днями страданій; Маргаритою, женою Людовика IX, которая по смерти мужа заключается въ монастырь; Жанною Кастильскою которая отъ измѣны мужа лишается разсудка и черезъ 30 лѣтъ умираетъ въ безуміи; Маріей-Антуанетой, женою Людовика XVI, не отстающей отъ мужа ни въ одной изъ его опасностей, не исключая эшафота; Елисаветой, сестрой короля, которая не превзойдена въ преданности брату и самой женою его, и пр. и пр. Наоборотъ, образъ мужа, гибнущаго за жену, отца — за дѣтей, сына — за мать, брата — за сестру вовсе не популяренъ въ исторіи, не только позднѣйшей, но даже патріархальной. Мужчина въ семьѣ могъ самопосвящать себя, или бывать посвященнымъ, развѣ только въ пользу отца, какъ и случилось это съ Исаакомъ. Весь этотъ складъ нравовъ въ теченіи племеннаго или народнаго быта достигаетъ только наивысшаго развитія, пока не возрождаетъ изъ себя, во времена государственности, новой формы любви и преданности, на этотъ разъ уже болѣе мужской, чѣмъ женской. Правда, уже фратріархальный бытъ осложняетъ родственное чувство чувствомъ землячества; но созрѣваетъ оно въ совершенно новую связь людей только въ государствѣ. Въ государственномъ бытѣ эта новая связь общежитія есть чувство *патріотизма*. Оно, быть можетъ, меньше интенсивно, но за то болѣе экстенсивно: районъ антипатій и ненавистей оно суживаетъ, а кругъ преданностей и сочувствія расширяетъ. Впрочемъ, патріотизмъ допускаетъ весьма разнообразныя варьяціи, смотря по орга-

низаціямъ государствъ. Въ аристократическихъ и, при томъ, деспотическихъ государствахъ онъ почти неразличимъ еще съ патриархальнымъ правомъ того же рода. Здѣсь патриотизмъ воспроизводитъ собою типъ того же Исаака, только съ тою разницею, что отецъ здѣсь не естественный, а фиветивный, царь. Моментъ этотъ документальнѣе всего засвидѣтельствованъ исторіею въ Египтѣ. Въ книгѣ Фта-Готепа (изъ временъ пятой династіи), въ этомъ кодексѣ морали и обычаевъ египетскихъ, въ основаніи всего общежитія полагается не иная семейная любовь, какъ сыновняя. Но дѣло въ томъ, что она вслѣдъ за симъ распространяется съ отца естественнаго на отца народа. Вознагражденіемъ за эту добродѣтель сулитъ, съ одной стороны, долготѣіе, съ другой—милость фараона. Такимъ образомъ, преданность своему отцу и своей семьѣ, роду, нечувствительно осложняется преданностью всеобщему отцу и семьѣ его или династіи. Самые живые образы этого династическаго патриотизма ни откуда не достигли до насъ въ такомъ изобиліи, какъ изъ Персіи и Мидіи. Превкасепъ, по приказанію Камбиза, убиваетъ Смердиса; когда же появившійся потомъ лже-Смердисъ требуетъ признанія себя за истиннаго, Превкасепъ восходитъ на башню, обличаетъ самозванца и бросается на землю. Еще колоритнѣе военачальникъ Даріа Зопиръ. Онъ обрѣзываетъ себѣ носъ и уши, истязаетъ тѣло свое плетми, обрѣзываетъ волосы и въ такомъ видѣ отправляется въ осажденный Вавилонъ играть тамъ роль перебѣжчика, что ему и удастся, и благодаря чему Вавилонъ взятъ. Ксерксъ, переѣзжая Геллеспонтъ въ лодкѣ, застигнуть бурю; кормчій, видя необходимость облегчить лодку, говорить: вотъ время показать, кто любитъ царя, — и нѣсколько человекъ бросаются въ воду. Астіагъ, желая проучить Гарпага за ослушаніе, велѣлъ зарѣзать ребенка Гарпагова и въ искрошенномъ видѣ подать его за столомъ отцу. Когда Гарпагъ съѣлъ блюдо, царь велитъ показать ему сырые остатки въ корзинѣ, и спрашиваетъ, знаетъ ли онъ, какую дичь ѣлъ? Знаю, отвѣчалъ отецъ; но что угодно царю, всегда пріятно подданному. И такъ появляется въ мірѣ преданность, которая начинаетъ пересиливать семейную. Но, для полноты этихъ образовъ необходимо добавить одну черту въ этомъ патриотизмѣ, характеристическую для обѣихъ сторонъ. Когда Зопиръ достигъ обманомъ довѣрія въ Вавилонѣ, то, получивъ предводительство войскомъ, онъ не тотчасъ же передался Дарію, но предварительно, по уговору съ нимъ, изрубилъ одинъ персидскій отрядъ въ 1.000 человекъ, подставленный ему Даріемъ; потомъ, въ другой вы-

лазеѣ, истребилъ 2.000 своихъ соотечественниковъ; наконецъ, въ третій — 4.000; и только послѣ того предался со всѣмъ войскомъ. Другими словами, патріотизмъ сосредоточивался исключительно въ особѣ царя или его рода, и только такъ именно понимался какъ сверху, такъ и снизу. По этому, Дарій, держа однажды въ рукѣ гранатовое яблоко, спросилъ, что желательно было бы видѣть такъ размножающимся, какъ оно. И послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ отвѣтовъ, самъ отвѣчалъ: Зопировъ! Этотъ духъ самопожертвенія не своей семьѣ, а чужой, духъ самоподчиненія ея видамъ и интересамъ, и составляетъ весь патріотизмъ всего древняго востока. Не всегда, однако, онъ удерживается во всей чистотѣ своей и искренности. Въ рецидивныхъ монархіяхъ аристократической полосы, да и при всякомъ иномъ вырожденіи этого режима, этотъ искренній духъ мученичества во имя монарха и династіи исчезаетъ, и если воспроизводится, то лишь героизмомъ раболѣпства. Жизнью жертвовать тутъ перестаютъ для деспота, но продолжаютъ жертвовать всѣми другими благами жизни, въ обмѣнъ на нѣкоторыя иныя. Ювеналь, наприимѣръ, издѣваясь надъ раболѣпствомъ своей эпохи, говорить: побѣдимъ же туда, пока трупъ врага цезарева еще на берегу, и станемъ топтать его, бездыханный, ногами. Но надо, чтобъ рабы наши видѣли это: иначе могутъ сказать, что мы ничего этого не дѣлали, и повлекутъ насъ къ суду. Таковъ же вырождавшійся періодъ и новыхъ монархій: истинной преданности не было, а замѣнялася она безграничнымъ раболѣпствомъ. Даже при маленькихъ нѣмецкихъ дворахъ, гдѣ благоволеніе могло давать наименьше, дворянство, по словамъ Шлоссера, и чѣмъ знатнѣе, тѣмъ больше, стремилось все въ придворную службу. А однажды попавши туда, все счастье свое полагало оно въ мѣрѣ приближенія своего къ особѣ фюрста. Предложеніе ему, ради этой цѣли, собственныхъ жонъ и дочерей было зауряднымъ, и дѣлалось предметомъ соперничества и тщеславія. Когда же кто-то, продолжаетъ историкъ, заикнулся однажды объ отечествѣ; то одинъ изъ этихъ фюрстовъ, Карлъ Виртембергскій, пародируя Людовика XIV, сказалъ: я—вамъ отечество! Но спрашивается, въ чемъ, при этомъ строѣ общества, состоитъ патріотизмъ самихъ правителей государствъ. Надо думать, что однажды опредѣлившись для одной стороны, онъ не можетъ уже иначе опредѣляться для другой. Ниже увидимъ мы, что это такъ и есть, и что въ данномъ случаѣ оба патріотизма дѣйствительно сов-

падаютъ, и патріотизмъ властителей помѣщается тамъ же, гдѣ и патріотизмъ подвластныхъ, т. е. въ собственной фамиліи первыхъ. Самосохраненіе династій есть для деспотическаго монарха его высшій патріотическій долгъ, высшая гражданская обязанность. И дѣйствительно, во имя этого самосохраненія приносятся величайшія жертвы. Ни одинъ низверженный властитель не задумывался въ такихъ странахъ навести на свое отечество иностранное войско, и предать свою отчизну всѣмъ ужасамъ войны. Такъ поступали всѣ, кто могъ, начиная отъ Гиппія, продолжая Тарквиніемъ Гордымъ и оканчивая всѣми англійскими и французскими претендентами. Мало того, въ жертву этому самосохраненію приносятся постоянно даже члены собственныхъ семей каждаго претендента. Камбизъ, испугавшись сна, въ которомъ онъ видѣлъ брата Смердиса сидящимъ на престолѣ, приказываетъ умертвить его. Артаксерсъ III Охъ, чтобы утвердить себя на престолѣ, не задумывается вырѣзать всю царскую фамилію. Соломонъ казнитъ своего роднаго брата, въ качествѣ соперника по престолу. Въ царствѣ израильскомъ Іауъ перерѣзалъ 70 сыновей царя Ахава. Въ Іудеѣ Аталія, мать царя Охозіи, чтобы по смерти его царствовать самой, истребляетъ своихъ собственныхъ внуковъ. Антипатръ Македонскій умерщвляетъ собственную мать Θεσσαλονику. Вообще, этотъ списокъ можно было бы увеличивать по произволу, въ особенности изъ римской и византійской исторіи, гдѣ престолъ чуть-ли не каждаго императора обливается кровью сверстниковъ, а также и изъ исторіи іоркскаго и ланкастерскаго домовъ въ Англіи. Въ этихъ случаяхъ кажется иногда, что даже самую династію свою деспотъ готовъ приносить въ жертву себѣ; но это лишь кажется. У монарха нѣтъ высшей заботы, какъ забота о своемъ наслѣдникѣ, и если онъ истребляетъ однихъ, то всегда въ пользу другихъ. Съ другой стороны, случаи личнаго отреченія отъ престола, какъ вольнаго, такъ и невольнаго, имѣются въ достаточномъ количествѣ; но случаевъ отреченія за всю династію нѣтъ, и всякое изъ нихъ совершается не иначе, какъ именно въ пользу династіи. А потому, какъ съ точки зрѣнія подвластныхъ, такъ и съ точки зрѣнія самой власти, разсматриваемая нами первая форма патріотизма оказывается дѣйствительно не иною, какъ „династическою“. Совершенно другой типъ патріотизма представляется при первыхъ же государственныхъ опытахъ республики. Мѣсто одной знатной фамиліи,

какъ предмета самопожертвованій, заступають здѣсь всѣ такія фамиліи вмѣстѣ, т. е. аристократія, какъ тотъ классъ общества, съ которымъ все оно теперь отождествляется. Какъ на востокѣ всякій патріотизмъ направляется къ царю и царскому семейству, такъ въ классическихъ республикахъ — къ аристократіямъ ихъ. Что тамъ было благоволеніемъ, фаворитизмомъ, то здѣсь становится популярностью, почотомъ. Ею-то увлекаются всѣ эти Кодры, Леониды, Юніи Бруты, Деції Муссы, Марки Курціи, Куріи Дентаты, Манліи Торкваты, Муціи Спеволы, словомъ, герои Греціи и Рима, когда говорятъ, что они обрекають себя въ жертву адскимъ богамъ, или несутъ свою жизнь на алтарь отечества. Отечествомъ есть теперь аристократія, какъ прежде была династія. И дѣйствительно, стоило только Манлію Капитолійскому измѣнить своему сословію, чтобъ изъ героя вдругъ стать злодѣемъ и быть сброшеннымъ съ Тарпейской скалы. Какъ бы то ни было, но это, во всякомъ случаѣ, нѣсколько высшій типъ патріотизма уже потому, что любовь къ одной фамиліи замѣнена любовью ко многимъ, къ извѣстной части всего общества. Тѣмъ не менѣе, съ другой стороны, патріотизмъ самой этой части общества, аристократіи, остается, по прежнему, исключительно само-сохраненіемъ ея. А при этомъ самосохраненіи, аристократія, въ свою очередь, не задумывается ни надъ какими жертвами въ пользу свою. По этому всякій другой классъ, а не рѣдко и все вообще общество, охотно топчется подъ ноги властителей, также какъ и въ монархіяхъ. Таково, напримѣръ, положеніе общества, когда огромная масса аристократіи обѣднѣваетъ. Она непременно должна быть сыта, и при томъ сыта на чужой счетъ;—и вотъ начинается насыщеніе. Въ Аѳинахъ, во время дороговизны, гражданамъ раздается хлѣбъ изъ казны, т. е. на счетъ всего остального общества. Въ Римѣ, кромѣ хлѣба, раздавалось такимъ образомъ масло, соль, мясо, плата за квартиры, входъ въ бани и т. п. При Августѣ одѣлялось этимъ путемъ отъ 200 до 300.000 человѣкъ, что стоило каждый разъ не менѣе 6 милліоновъ талеровъ, т. е. превосходило содержаніе любого изъ династическихъ деспотовъ. Но въ особенности новый патріотизмъ обнаруживаетъ свою слабую сторону, когда онъ, подобно прежнему, начинаетъ вырождаться. Мѣсто естественной популярности занимаетъ тогда искусственнымъ заискиваніемъ; а заискиваніе обращается, наконецъ, въ прямой подкупъ. Каждый кандидатъ на должность набираетъ себѣ благопріятелей, *favitores*, какъ

между равными себѣ, такъ и между низшими и высшими. Отсюда такъ называемые въ Римѣ *salutatores*, *deductores*, *sectatores*, *suffragatores* и т. п. А сверхъ всѣхъ этихъ личныхъ отношеній начинается еще и *captatio benevolentiae* вообще у всѣхъ, безъ изъятія, гражданъ. Для этого необходимы *nomenclatio*, *blanditia*, *assiduitas*, *benignitas*. Надо, по мѣрѣ возможности, разузнать наибольшее число лицъ по именамъ, чтобъ, при встрѣчѣ, привѣтствовать ихъ по имени. Но какъ это довольно трудно, то особый рабъ, нарочно къ тому обученный, идетъ сзади и подсказываетъ имена встрѣчныхъ. Всю же вообще публику приходилось подкупать то выкупомъ плѣнныхъ, то выкупомъ должниковъ, то украшеніемъ города и, пуще всего, даровыми играми и зрѣлищами. Наконецъ все это завершилось обращеніемъ къ простымъ *distributores*, которые просто приторговывали голоса и раздавали за нихъ деньги. Т. е. то, что въ монархіи приобрѣталось угодиничествомъ лицу, здѣсь приобрѣтается угодиничествомъ классу; что тамъ бываетъ подкупомъ одного изъ его фаворитовъ, тутъ—подкупъ многихъ. Какъ бы то ни было, но изъ сравненія обоихъ патріотизмовъ обнаруживается, что наиболѣе существенною разницею ихъ есть то, что одинъ изъ нихъ есть сосредоточенный, а другой—разсѣянный, одинъ—фамильный, а другой—„сословный“. Коль скоро точка отправленія данной прогрессіи достаточно установлена, всѣ остальные ея стадіи становятся ясными сами собою. Такъ, на примѣръ, очевидно, что по мѣрѣ того, какъ монархизмъ перерождается изъ аристократическаго въ тимократическій, а изъ этого въ демократическій, вмѣстѣ съ нимъ долженъ преобразоваться и самый патріотизмъ. И дѣйствительно, въ тимократическомъ монархизмѣ патріотизмъ становится такимъ же двусмысленнымъ, какъ и все въ этой организаціи: по формѣ онъ остается здѣсь династическимъ, какъ и въ прежней монархіи; по существу же становится сословнымъ, какъ прежде только въ республикахъ. Таковъ, на примѣръ, патріотизмъ первыхъ министровъ Англіи. По этому отъ патріотизма диктатурнаго можно ожидать полного совпаденія съ республиканскимъ. Что же касается республиканскаго патріотизма, то онъ, очевидно, растетъ вмѣстѣ съ ростомъ господствующаго класса, такъ что чѣмъ этотъ классъ обширнѣе, тѣмъ и самый патріотизмъ полнѣе, потому что направленъ въ пользу большаго числа ближнихъ. Въ результатѣ же всего, слѣдовательно, получается, что патріотизмъ фамильный, династическій,

которымъ исторія государствъ открывается, оканчивается патріотизмомъ всесословнымъ, общественнымъ, или точнѣе всеобщественнымъ. Послѣ этого остаются однѣ антипатіи международныя. Когда же и онѣ будутъ превзойдены международными симпатіями, тогда патріотизму мѣста больше нѣтъ, и онъ смѣняется *гуманизмомъ*. Вотъ путь, какимъ первобытный эгоизмъ, самъ собою, своимъ собственнымъ развитіемъ, переплавляется до того, что сближается съ самоотверженіемъ. Съ каждымъ своимъ расширеніемъ, эгоизмъ въ то-же время и ограничиваетъ себя этимъ самымъ расширеніемъ. Личный эгоизмъ ограничиваетъ себя родственнымъ, родственныи—династическимъ, династическій—тѣмъ или другимъ сословнымъ, пока не ограничится общечеловѣческимъ.

Но гораздо прежде, чѣмъ гуманизмъ такимъ образомъ вырабатывается, самоотверженіе все-таки было не безызвѣстно, и имѣло свою собственную исторію. Уже съ самаго начала исторіи, рядомъ съ самымъ непереработаннымъ еще эгоизмомъ, безпрестанно, однакожъ, попадались, и при томъ не одиночно, акты такого самоотверженія, что оно никакъ не можетъ быть признано только производнымъ въ человѣческой натурѣ. А потому настоящий разрядъ фактовъ еще любопытнѣе предыдущаго. Какъ же распредѣлились эти поразительные факты по исторіи? Самою древнѣйшею и элементарною формою этой человѣческой способности была та-же, какая имѣется у животныхъ: это—свирѣпость, разъяреніе, *лютость*, въ которыхъ человѣкъ самъ себя не помнитъ. Всепоглощающій эгоизмъ и самосохраненіе, казалось бы, должны вести только къ избѣганію опасностей, къ трусости и, по высшей мѣрѣ, къ смѣлости лишь въ самооборонѣ; а между тѣмъ, куда только ни проникаетъ глазъ исторіи, вездѣ уже видѣнъ человѣкъ, прямо нападающій, какъ на звѣрей, такъ и на себѣ подобныхъ, и вступающій съ ними въ остревненную борьбу на жизнь и на смерть, т. е. съ забвеніемъ всякаго чувства самосохраненія и всякой опасности. Забвеніе это не могло возникнуть ни изъ патріотизма, ни изъ семейной любви, потому что оно предшествовало и тому, и другому, и, слѣдовательно, было также первообразнымъ, какъ и самый эгоизмъ. Мало того, это самозабвеніе даже тѣмъ рѣшительнѣе, чѣмъ гражданственность ниже, чѣмъ нравы диче и животнѣе, чѣмъ жизнь человѣческая цѣнится дешевле; такъ что, собственно говоря, это есть даже не самоотверженіе, а только простое *пресртіе из жизни*. Это эпоха такъ называв-

шагоса, напрімѣръ у скандинавовъ, берсеркерства, т. е. такого воинственнаго неистовства, которое не позволяетъ отличать даже друга отъ недруга. Одержимый этимъ бѣшенствомъ берсеркеръ, перебивъ напрімѣръ всѣхъ товарищей по ладѣ въ морѣ, приста- валъ къ какому-нибудь пустынному мѣсту, и въ безпамятствѣ про- должалъ рубиться съ утесами, деревьями, съ волнами. На все это смотрѣли, какъ на наитіе свыше. Съ другой стороны, современный намъ человѣкъ только съ трудомъ можетъ составить себѣ пред- ставленіе о той ничтожной цѣнѣ, какую дикарь придаетъ своей жизни. Когда мы читаемъ съ ужасомъ извѣстія о тѣхъ изувѣче- ніяхъ, которымъ подвергался плѣнный, мы забываемъ, что увѣчимый поетъ въ это время пѣсни въ насмѣшку врагамъ, какъ напрімѣръ сѣверо-американскій индѣецъ. Когда мы ужасаемся надъ удушеніемъ стариковъ и старухъ, мы не помнимъ, что самі-то они идутъ на смерть добровольно и даже весело, какъ напр. та старуха фид- жіанка, свидѣтелемъ смерти которой былъ путешественникъ Гентъ. Когда мы недоумѣваемъ надъ жертвоприношеніемъ не только плѣнниковъ, не только рабовъ, но даже своихъ собственныхъ зем- ляковъ, то мы опять не думаемъ, чтобъ сами они могли считать для себя почотомъ послужить въ пищу своему вождю, какъ считаетъ это фиджіецъ. Вотъ то воинственное бѣшенство и то исполнѣ беззавѣтное, исполнѣ самоотверженное пренебреженіе къ жизни, которыя не нахо- дятъ себѣ повторенія въ позднѣйшей исторіи, и которыя возможны только въ самой ранней. А чѣмъ дальше въ этой ранней исторіи, тѣмъ качества эти пуще распространяются естественнымъ путемъ подбора. Всѣ слабыя, трусливыя, цѣнящія жизнь племена гибнутъ, а всѣ крѣпкія, свирѣпыя до самозабвенности выживаютъ, и такимъ образомъ совершается подборъ однихъ только послѣднихъ. Однажды же, что такой подборъ состоялся, онъ передаетъ соотвѣтственный нравъ или обычай путемъ наслѣдственности, и тѣмъ увѣковѣчиваетъ его въ потомствѣ. Отсюда и оказывается, что, при основаніи госу- дарствъ, нравъ этотъ повсюду уже готовъ.—Въ аристократическомъ государствѣ, все равно монархическомъ или республиканскомъ, спо- собность самопожертвованія попадаетъ въ двухъ главныхъ формахъ. Первою изъ нихъ, и важнѣйшею, есть та, какая завѣщана издревле, хотя и озаренная уже нѣкоторой долей сознательности: *храбрость*. Храбрость отличается отъ лютости, отъ ярости тѣмъ, что не сопро- вождается презрѣніемъ жизни, что она есть лютость, не смотря на лю-

бовъ къ жизни, и что, вслѣдствіе этого, есть свирѣлость сознательная. Эта новая форма всѣхъ рисковъ, всѣхъ пренебреженій опасности, произвела то, что нѣтъ въ аристократическомъ пониманіи болѣе популярной добродѣтели, какъ военное самозабвеніе и болѣе общепонятнаго порока, какъ военная трусость. Вся древность наполнена сплошь прославленіемъ храбрости и посрамленіемъ трусости. Въ ассирійско-вавилонскихъ надписяхъ, гдѣ царямъ приписываются всевозможныя совершенства души и тѣла, первое мѣсто занимаютъ между ними всегда сила и храбрость. „Въ одной изъ охотъ моего величества (говоритъ одна надпись) я поймалъ льва за хвостъ и моею булавою роздробилъ ему черепъ.“ А чтобъ это могло оказываться истиной, — лъвамъ царской охоты подпиливали зубы, обрѣзывали когти и опаивали ихъ одуряющимъ напиткомъ. По законамъ Ману, раджа индійскій долженъ имѣть осмотрительность цапли, быстроту волка, благоразуміе зайца, но выше всего храбрость льва. И дѣйствительно, восточный царь считаетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ всегда самому предводительствовать своимъ войскомъ: понятія царь и главнокомандующій всегда отождествляются. Если же царю свойственно быть храбрымъ, то тѣмъ больше это безусловный долгъ каждаго воина; и здѣсь онъ доходитъ иногда опять до изступленія, до безпамятства. Ливійцы города Ксанона, послѣ отчаяннаго сопротивленія осадившимъ ихъ персамъ, видя безсиліе свое противъ нихъ, дѣлаютъ огромный костеръ, сожигаютъ на немъ жонъ, дѣтей, сокровища свои, чтобы не достались они непріятелю, и потомъ въ послѣдней вылазкѣ погибаютъ всѣ до послѣдняго. Сдачи, капитуляціи суть здѣсь еще трусость. То-же самое сдѣлали въ Иберіи, во вторую пуническую войну, жители города Сагунта. Спартанецъ, вернувшійся изъ Термопилъ живымъ, не могъ вынести жизни, и принужденъ былъ повѣситься. Допускалось одно только возвращеніе съ битвы: со щитомъ или на щитѣ! правило, которое и вперялось дѣтямъ прежде всего матерями. Кинегиръ, преслѣдуя персовъ послѣ маравонской побѣды, схватился за борть уходившей галеры руками; когда же обѣ ихъ отрубили, онъ попробовалъ вцѣпиться зубами. Муцій Сцевола, даже безъ возбужденія пыломъ битвы, протягиваетъ руку и жаритъ ее на огнѣ. Вообще у грековъ ἀρρητή, а у римлянъ *virtus* означало и храбрость, и добродѣтель: до такой степени оба понятія отождествлялись. Но кромѣ этой формы забвенія эгоизма, извѣстна древнему міру и другая

хотя въ меньшей степени: это—*подвижничество*. Храбрость была свѣтскою формою героизма; аскетизмъ, цинизмъ, стоицизмъ — духовною. Первая распространена была гораздо больше, вторая—гораздо меньше; но, во всякомъ случаѣ, существовала и тѣмъ прокладывала дорогу новымъ видамъ самоотреченія. Какъ воинъ подвергалъ себя лишеніямъ и изуродованіямъ во имя воинской чести, такъ отшельникъ— во имя спасенія души, философъ—во имя принципа, во имя нравственной идеи. Отъ патріархальнаго же презрѣнія къ жизни, подвижничество отличается также, какъ храбрость отъ ярости: сознательностью, преднамѣренностью, нарочитостью.— Въ тимократическомъ словѣ общество обѣ эти формы уцѣлѣли; но въ немъ прибавляются и двѣ совершенно новыя, и при томъ не безъ видоизмѣненія также прежнихъ. Въ этихъ обществахъ есть уже понятіе о такъ называемой бесполезной храбрости; есть также понятіе и о бесполезной тратѣ людей. Съ другой стороны, развитие вооруженія, дисциплины и тактики, предоставляя все больше и больше мѣста искусству, оставляетъ его все меньше и меньше для личной храбрости, а тѣмъ менѣе для необдуманной, для беззавѣтной. Равнымъ образомъ, и самое подвижничество, въ которомъ новыя общества, въ теченіи своего аристократическаго періода, даже превзошли было древнихъ,—съ инаугураціею тимократизма превращается все больше и больше въ простую умѣренность образа жизни, и изъ героизма дѣлается простой порядочностью. Въ чистомъ тимократизмѣ, т. е. протестантскомъ, подвижничество даже запрещено, потому что монастыри закрыты; но за то тамъ водворяется, и гораздо шире, регулярность жизни. И такъ обѣ старыя добродѣтели потерпѣли въ интенсивности, но выиграли въ экстенсивности. Новыя же добродѣтели этого рода, которымъ древность не могла дать мѣста или, по крайней мѣрѣ, столько мѣста въ жизни, суть уже не свѣтская и духовная, а только экономическая и политическая. Экономическою есть небывалая до сихъ поръ *предпримчивость*. Духъ риска, отваги, смѣлости переносится съ военной почвы на мирную: на открытія и изобрѣтенія, на смѣлыя торговныя и промышленныя предпріятія, на еще болѣе смѣлыя научныя экспедиціи и изысканія, на самоотверженные опыты и наблюденія, на колоссальныя техническія задачи и вообще на борьбу мирную, а не военную. Съ Колумба и Васко де Гамы подвижничество этого рода не только не прекращается, но умножается съ каждымъ днемъ до

самаго Франклина и Ливингстона, т. е. до попытокъ одолѣть тайны сѣвернаго полюса и пустынь Африки, попытокъ, настойчиво возобновляемыхъ, не смотря на всѣ неудачи. Политическою добродѣтелью, наиболѣе распространенною здѣсь, есть *гражданское мужество*. Духъ подвижничества, переносясь изъ религіи въ политику, изъ пустыни на площадь, объявляетъ себя здѣсь еще болѣе распространеннымъ героизмомъ, чѣмъ тамъ. Если предприимчивость рискуетъ по преимуществу капиталами, достояніемъ, собственностью; то мужество рискуетъ всѣми благами нравственными. Религіозныя и гражданскія боренія съ конца среднихъ вѣковъ и по нынѣ оставили по себѣ и не перестаютъ оставлять такой длинный мартирологъ мучениковъ свободы совѣсти, свободы знанія, свободы жизни, такой безконечный рядъ борцовъ за истину, за право, начиная съ Абельярда и кончая какимъ нибудь Куно Фишеромъ, что напоминать ихъ нѣтъ даже надобности ни одному читателю. — Труднѣе установить то новое развѣтвленіе этихъ добродѣтелей, какого можно ожидать отъ демократическаго склада гражданственности. Военная храбрость тамъ должна еще болѣе ступеваться предъ успѣхами военнаго искусства. Подвижничество должно и совсѣмъ упраздниться предъ успѣхами знаній. Предприимчивость же и мужество должны приспособиться къ новой атмосферѣ и почвѣ. А что же должна произвести эта почва новаго и оригинальнаго? Не предрѣшая этого вопроса этики гражданственности, и отвѣчая на него лишь съ точки зрѣнія уже существующихъ нынѣ зародышей будущаго, можно сказать слѣдующее. Единственными добродѣтелями, которыя аналогичны съ предъидущими, и развитію которыхъ до сихъ поръ не благопріятствовали обстоятельства, но зачатки которыхъ достаточно замѣтны уже и теперь, представляются намъ: съ одной стороны—личное *самообладаніе*, съ другой *терпимость*. Духа самообладанія болѣе всего не достаетъ современнымъ бореніямъ, которыя то и дѣло увлекаются до фанатизма; но тѣмъ не менѣе признаки этого духа уже встрѣчаются, и встрѣчаются въ такомъ явномъ образцѣ, какъ англійскій. Тамъ не только парламентскія, но даже уличныя борьбы демонстраціями такъ мало увлекаются въ крайности, такъ много обнаруживаютъ самообладанія, что съ виду могутъ показаться забавою, игрою, а не страстнымъ дѣломъ. А въ то же время нравъ этотъ такъ мало распространенъ внѣ Англіи, что его не замѣчается даже въ Соединен-

ныхъ Штатахъ Америки. А потому популярности этого права можно ждать только отъ будущаго. Если же такъ, то оборотною стороною его должна быть въ свое время терпимость. Толерантность, уваженіе къ другимъ, снисходительность къ чужимъ мнѣніямъ и дѣйствіямъ, которая такъ мало свойственна духу радикализма, утопизма, фанатизма, составляетъ необходимую подкладку обладанія своими собственными мнѣніями и дѣйствіями, необходимое послѣдствіе самосознанія и самосовершенствованія. Словомъ, пора Демосееновъ и Франклиновъ, воюющихъ больше всего съ самими собою,— вотъ исторически оправдываемый идеалъ будущаго. Во всякомъ случаѣ, только при этомъ условіи, самоотверженные права способны сдѣлаться такими же естественными и всеобщими, какъ и права самосохраненія. Безъ систематическаго навыка къ самообладанію нѣтъ никакой возможности и систематическаго самопожертвованія, терпимости. Этимъ и окончимъ мы всю область эстетическаго чувства. Гуманизмъ, съ одной стороны, самообладаніе и толерантность, съ другой, слагаютъ собою все то великое чаяніе, какое слыветъ на человѣческомъ языкѣ братствомъ.

Къ сверхчувственнымъ правамъ мы отнесли тѣ, которые граничатъ съ идеями разума, т. е. чувство истины или вѣру, чувство красоты или вкусъ, и чувство добра или совѣсть. Но изъ нихъ исторію вѣры и исторію вкуса мы опускаемъ, ограничиваясь одною исторіею совѣсти. Въ свою очередь, эта послѣдняя, т. е. чувство добра и зла, чувство правды и неправды, выражается больше всего въ нравахъ равенства и нравахъ свободы. Въ отдѣлѣ культуры мы слѣдили свободу и равенство по учрежденіямъ; здѣсь остается дополнить исторію ихъ по нравамъ.

Степени свободы, т. е. отношенія подвластныхъ къ власти, могутъ быть изучаемы различными путями. Мы избираемъ одинъ изъ нихъ: отношенія подданныхъ къ верховной власти; а изъ нихъ опять только отношенія этикета. Въ этомъ смыслѣ древній востокъ представляетъ намъ въ изобиліи явленія слѣдующаго порядка. Въ Мидіи, еще со временъ Дейока, если кто осмѣливался плюнуть и даже улыбнуться въ присутствіи царя, не рѣдко платился за это жизнью своею. Прексаспъ, вѣрный слуга Камбиза, убійца Смердиса, рѣшился однажды доложить царю о томъ, что говорятъ о немъ персы. Камбизъ убилъ за то сына его своими руками. Въ Египтѣ рожденіе Аписа и радость о томъ жрецовъ совпали съ неудачнымъ

походомъ Камбиза. За это неприличіе Камбизъ велѣлъ пересѣчь всѣхъ жрецовъ. Въ другой разъ за ошибки въ этикетѣ тотъ же царь посадилъ, по тогдашнему и теперешнему выраженію на востокѣ, 12 деревьевъ, т. е. зарылъ по шею въ землю 12 своихъ вельможъ. Киръ младшій отсѣкъ двумъ сатрапамъ головы за то, что они поклонились ему, не спрятавши рукъ въ рукава, какъ требовало приличіе. Лидійскій богачъ Питіасъ, роскошно угостившій Ксеркса на походѣ его въ Грецію, позволилъ себѣ попросить милости—оставить ему одного изъ сыновей его; Ксерксъ велѣлъ его оставить, но разрубленнымъ на-двое. Діонисій, тиранъ Сиракузскій, казнилъ Марсіа за сонъ, въ которомъ тотъ видѣлъ тирана убиваемымъ: еслибъ-де не думалъ объ этомъ, то и не приснилось-бы. Когда Филиппъ Македонскій ѣлъ что нибудь горькое или кислое, придворный его Клеизофъ и самъ подражалъ тѣмъ гримасамъ, какія дѣлалъ царь. Когда же у царя выбить былъ правый глазъ въ сраженіи, тотъ же придворный являлся вездѣ и самъ съ повязкою на правомъ глазѣ. При дворѣ Александра Македонскаго вошло во всеобщую моду держать голову нѣсколько на-бокъ, потому что у царя былъ природный недостатокъ этого рода. Въ римской имперіи почиталось оскорбленіемъ величества несходство императорскихъ статуй съ оригиналами. Уже, при самомъ зарожденіи имперіи, Гораций, хотя и далеко не придворный человѣкъ, начинаетъ однакожь напѣвать Августу, что онъ любимый сынъ боговъ. „Про скиновъ, про паревъ и знать мы не хотимъ; никто суроваго германца не боится: вѣдь цезарь между насъ, могучъ и невредимъ,—такъ кто-жъ иберца устрашится“. Лъстивость же Овидія далеко оставляетъ за собой и это. Возвратить-ли, въ своемъ лицемѣріи, Августъ Сенату кажущееся управленіе провинціями, какъ Овидій возводитъ уже это въ небывалое величіе. Умеръ-ли Августъ, такіе же стансы готовы его наслѣднику. Приплюнуть-ли ему статую того или иного императора, — поэтъ просто теряется въ изъясненіяхъ восторга: отнынѣ онъ не изгнанникъ, онъ житель столицы, — онъ можетъ созерцать лицъ цезаря. Но какъ же счастливы тѣ, кому дано лицезрѣть не изображеніе, а самую дѣйствительность! Есть у него, наконецъ, цѣлыя поэмы, какъ Скорби и Понтійскія письма, почти сплошь переполненныя самоуниженіемъ и низкопоклонствомъ. Историкъ Кремуцій Кордъ поплатился изгнаніемъ за свою фразу: послѣдній римлянинъ. Древній обычай римскій запрещалъ казнить

дѣвицъ; Тиберій, чтобы обойти это препятствіе, приказывалъ въ такихъ случаяхъ палачу прежде изнасиловать, а потомъ казнить. Въ честь доносчиковъ Тиберій воздвигалъ статуи и назначалъ имъ триумфы. Когда же имперія пустила свои корни еще глубже, какъ при Ювеналѣ, сатирикъ рисуетъ намъ уже какъ всеобщій и признанный принципъ, что только потворствомъ порокамъ сильныхъ и можно было выходить въ люди, и что одно только подобоострастіе ограждаетъ отъ несчастій. Одинъ изъ героев его своимъ подобоострастіемъ и подкупамъ своими успѣваетъ покрывать всѣ преступления свои и даже судебные по нимъ приговоры, продолжая въ своей мнимой ссылкѣ вутить и роскошествовать, тогда какъ его обличители принуждены побѣду свою оплакивать горькими слезами. Другой такой же герой, Криспъ, человѣкъ умный, и нравственный, но который видитъ всю тщету мужества плыть противъ теченія, оканчиваетъ тѣмъ, что перестаетъ быть гражданиномъ и, только благодаря этому, проживаетъ долгіе годы и остается цѣлымъ. Въ Византіи, за всякое обсужденіе мѣръ императора или его назначеній на должности, судили, какъ за святотатство. Наконецъ, со всѣмъ въ иную пору и въ иномъ мѣстѣ, Монтескье, рисуя образъ царедворца, говоритъ: низость безъ гордости, желаніе обогатиться безъ труда, месть, измѣна, вѣроломство изъ выгоды, презрѣніе къ долгу гражданина, чувство страха предъ добродѣтелями государя, расчетъ исключительно на его слабости, обращеніе въ смѣшное всего честнаго и нравственнаго, — вотъ отличительныя качества царедворцевъ во всѣ времена и во всѣхъ мѣстахъ. Списокъ этотъ могъ-бы быть удлинняемымъ по произволу, если-бы надо было доказывать, а не намекать только. Нигдѣ, быть можетъ, такъ не бросается въ глаза разница между государственнымъ иноуправленіемъ и самоуправленіемъ, какъ именно въ этихъ нравахъ. Чтобы убѣдиться, достаточно обратиться къ греческой комедіи и въ особенности къ Аристофану. Послѣ Перикла первенцемъ республики сдѣлался Клеонъ, разбогатѣвшій отъ кожевеннаго завода и пріобрѣтшій популярность тѣмъ, что накрылъ въ Пилосѣ спартанцевъ, предварительно заманенныхъ уже въ засаду начальникомъ флота Демосеемомъ. И вотъ Аристофанъ направляетъ на него стрѣлы въ своихъ Всадникахъ. Правда, не нашлось ни одного живописца, который-бы взялся сдѣлать для сцены маску Клеона, ни актера, который-бы пожелалъ взять роль его; но Аристофанъ сыгралъ ее самъ, вы-

мазавъ лицо себѣ винными дрожжами, что, по его мнѣнію, вполне воспроизводило красную и обрюзглую физиономію героя. Главныя дѣйствующія лица въ пьесѣ: Демось съ горы Пникса, полуглухой старикашка, богачъ, но въ дыравыхъ сандаляхъ (народное собраніе); пафлагонскій рабъ его, кожевникъ, который, замѣтивъ, что старикъ рохля, пустился во всѣ плутни (Клеонъ); и первый попавшійся подъ руку колбасникъ. Колбаснику этому Никій и Демосеенъ вбиваютъ въ голову претензію соперничать съ пафлагонцемъ. Замѣтивши робость и нерѣшительность, они предполагаютъ, что въ колбасникѣ есть какія-нибудь хорошія качества, и что, слѣдовательно, онъ вовсе не годенъ къ власти. Но въ концѣ концовъ, убѣдившись въ полномъ его невѣжествѣ, опьяняютъ его виномъ и надеждой, и онъ поддается искушенію. При первомъ же удобномъ случаѣ, пьяный колбасникъ вступаетъ въ состязаніе съ пафлагонцемъ, который тотчасъ же влечетъ его въ буле, въ сенатъ аѳинскій. Но колбасникъ слышалъ, что сенаторы большіе охотники до анчоусовъ; а потому на всю обвинительную рѣчь противника онъ отвѣчаетъ простымъ извѣщеніемъ, что въ Аѳины прибылъ свѣжій грузъ анчоусовъ. Сенатъ приходитъ въ волненіе. Напрасно кожевникъ старается возстановить вниманіе сенаторовъ: колбасникъ раздаетъ имъ приправу къ анчоусамъ, чеснокъ и кориандру, — и дѣло его выиграно, лишь бы поскорѣе кончить. Довольный, что купилъ сенаторовъ за одинъ оболъ, претендентъ ободряется и вступаетъ въ новое состязаніе уже предъ самимъ Демосомъ, — разиней на Пниксѣ. Пафлагонецъ спѣшитъ поднести господину зайца; но, пока онъ отвернулся въ сторону за корзиной, колбасникъ схватываетъ зайца и подноситъ Демосу отъ себя. Старикъ весьма тронутъ подаркомъ. Но Клеонъ кричитъ: что ты сдѣлалъ, плутъ? — Да то-же, что и ты, отвѣчаетъ колбасникъ: укралъ спартанцевъ у Демосеена! Демось приходитъ въ окончательный восторгъ, и отнынѣ поручаетъ водить себя за носъ колбаснику; а кожевнику велитъ передать ему свой перстень, знакъ власти. Въ другой комедіи, *Лягушки*, подвергнуто такой же злой каррикатурѣ и все небесное устройство. Словомъ, Аристофанъ затрогивалъ въ своихъ комедіяхъ все, что считалъ грекъ святымъ, и аѳинскій демось только хохоталъ надъ этимъ до упаду. Но хохоть этотъ тотчасъ прекратился. Какъ только Аѳинами овладѣла олигархія четырехсотъ: комедія въ такомъ видѣ была запрещена, и больше никогда уже не возрождалась въ этомъ видѣ. Въ Римѣ, хотя вольностей допускалось гораздо

меньше, чѣмъ въ Аѳинахъ, но все-таки нашолся комикъ, который въ одной изъ комедій своихъ, не смотря на законъ о пасквиляхъ, подъ который подводилась всякая личная критика, все-таки рѣшился продернуть родъ Метелловъ, постоянно попадавшій въ консулы, не смотря на полную бездарность. Но обиженные вельможи добились здѣсь заключенія Невія въ тюрьму; а такъ какъ онъ не унимался и тамъ, продолжая и изъ тюрьмы громить оптиматовъ, то его подвергли даже изгнанію. Спрашивается, однакожъ, можетъ ли быть поразительнѣе какая-нибудь противоположность между древнимъ востокомъ и древнимъ западомъ, какъ эти нравы свободы!—Въ новомъ слоѣ государствъ бездна эта между ними значительно засыпается; но разница все-таки продолжаетъ оставаться и оставаться въ томъ же направленіи. Всякій европеецъ, пріѣзжій въ Сѣверную Америку, бываетъ обыкновенно пораженъ не чѣмъ инымъ, какъ именно нравами. Учрежденія иногда совершенно тѣ же, что и въ Европѣ; но нравы во всякомъ случаѣ иные. Тѣмъ же самымъ, наоборотъ, поражаетъ и всякій американецъ, не исключая дипломатовъ, пріѣзжающій въ Европу. Нравы его, не смотря на всю европейскую вѣжливость, все-таки не могутъ не шокировать европейца, а тѣмъ больше придворнаго.—И подобная разница, въ какой бы то ни было мѣрѣ, не можетъ не донестись и въ послѣдній слой государствъ, въ демократическій. Не говоримъ уже о томъ, что каждое изъ двухъ предъидущихъ наслоеній не могло не стѣснять свободу въ пользу двухъ господствовавшихъ въ нихъ классовъ, налагая повелительное молчаніе на самые жизненные интересы остальныхъ, такъ что только въ демократіяхъ не на кого больше налагать молчаніе. И такъ *рабство*, *полу-свобода* и *свобода*—вотъ порядокъ историческаго развитія совѣсти въ монархіяхъ. Свобода для *аристократіи*, для *тимократіи*, для *демократіи*—вотъ прогрессія ея въ республикахъ. А сообразно съ этимъ распредѣляются, конечно, и всѣ другіе, относящіеся сюда нравы, какъ лѣсть, подобострастіе, низкопоклонство, раболѣпство, лукавство, лживость и т. д., съ одной стороны; правдивость, прямота, откровенность, личное достоинство и т. п., съ другой.

Также точно и въ системахъ равенства, кромѣ признаковъ юридическихъ, культурныхъ, есть и гражданственные, обычные. По юридическимъ, напримѣръ, всѣ члены господствующаго класса равны, по крайней мѣрѣ, между собою. По обычнымъ же, это далеко не

такъ; неравенство есть и въ самомъ равенствѣ. На востокѣ равныхъ между собою почти вовсе нѣтъ. Тамъ всякій членъ самой аристократіи есть деспотъ въ одну сторону, внизъ, и холопъ въ другую, вверхъ; въ одномъ направленіи идетъ у него спѣсь, въ другомъ—самоуниженіе, такъ что все равенство пріютилось здѣсь развѣ лишь на одной и той же ступени государственной іерархіи, т. е. въ самыхъ тѣсныхъ рядахъ людей. Классическіе нравы значительно ослабляютъ это неравенство равныхъ; у нихъ для этого употребляются даже такіа героическія средства, какъ остракизмъ въ Аѣнахъ или петализмъ въ Сиракузахъ. Но менѣе крупныя разницы все-таки остаются и подлежать изгнанію не могутъ. А эти разницы достигаютъ до того, что между совершенно равноправными гражданами нарождается цѣлый классъ такъ называемыхъ *паразитовъ*, прихлебателей. Одни изъ нихъ посвящали себя профессіи расквашивовъ, балагуровъ, для чего запасались всегда анекдотами и остротами: ихъ приглашали къ обѣдамъ, для увеселенія гостей, какъ въ средніе вѣка шутовъ. Другіе устремляли всю свою изобрѣтательность исключительно на лести въ глаза. Третьи не брезгали исполненіемъ никакихъ порученій своихъ милостивцевъ, ниже сводничествомъ. Въ Римѣ этотъ нравственный видъ неравенства выразился еще гаже, потому что вмѣсто приживальства—простымъ попрошайствомъ, попрошайствомъ на улицахъ. Тутъ вовсе было не рѣдкостью встрѣтить на улицѣ гражданина, съ рабомъ позади. выпрашивающаго у другихъ подачку, и, получивъ таковую, отсылающаго ее съ рабомъ домой. Это такъ называемая *sportula*. При этомъ проситель не всегда даже бѣденъ; но предлогъ у него и безъ того всегда найдется: то надобно дочь выдать замужъ, то устроить землицу, то мать пристроить, и т. п. Римскіе писатели даже не видѣли въ этомъ ничего дурного, совѣтуя въ этихъ случаяхъ только скромность и приличіе, и мотивируя ими даже лучшіе шансы на успѣхъ. Вотъ это неравенство въ самомъ равенствѣ, неравенство гражданственное въ равенствѣ культурномъ. Въ нашихъ обществахъ подобныя нравы уже совершенно немислимы, не только въ республикахъ, но даже въ монархіяхъ. Попрошайство, скоморошество, прихлебательство, конечно, остаются; но они уже не отливаются въ такіа унизительныя формы. А въ Соединенныхъ Штатахъ особенно даже настаивается на томъ, что всякій гражданинъ, всякій ремесленникъ вправѣ позать руку президенту.—знаменитое *handshaking*. Чувство

личнаго достоинства до того тамъ щекотливо, что сапожникъ, входя къ иностранцу снимать мѣрку съ него, пуще всего боится, какъ бы его не сочли ниже себя, и потому, по разсказу Диккенса, не снимаетъ съ себя шляпы. А потомъ, принужденный посадить заказчика, чтобъ снять мѣрку, спѣшитъ рядомъ съѣсть и самъ, и только въ этомъ уже положеніи начинаетъ снимать мѣрку. Если такой же шагъ отдѣлать и демократическія общества отъ тимократическихъ, то идеаль равенства можетъ дойти до дѣйствительной, реальной нивелировки личностей и положеній.—Но всего популярнѣе: въ аристократіяхъ—разность происхожденія, въ тимократіяхъ—разница въ богатствѣ, въ демократіяхъ—различіе въ образованіи. Греки, не смотря на весь свой относительный демократизмъ, никогда и не думали отдѣлываться отъ обаянія знатности. Всѣ герои этой аристократической демократіи тщательно возводятся въ біографіяхъ къ ихъ знаменитымъ предкамъ, не исключая ни Перикла, ни Алеввіада. Аристофанъ, какъ мы недавно видѣли, чуть ли не въ главный порокъ Клеону ставитъ то, что онъ *кожевникъ*. Этотъ аристократическій взглядъ довелъ самого Аристотеля до идеи, что все различіе между людьми обусловливается рожденіемъ ихъ. У римлянъ сколько разъ плебейство ни сравнивалось съ патриціатомъ, а оно опять возрождалось подъ новыми формами и именами. Похороны каждаго гражданина ничѣмъ не могли такъ блеснуть, какъ количествомъ изваяній знаменитыхъ предковъ. Овидій всегда съ высокоуміемъ смотритъ на всякаго выбившагося изъ грязи, на *homo novus*, и пренаивно удивляется, какъ Коринна могла предпочесть ему одного изъ такихъ господъ. Въ новой исторіи, ни въ одной странѣ подобныя привычки не въѣлись такъ глубоко, какъ въ аристократической, не смотря ни на какой республиканизмъ Франціи. Всякій намекъ на простое происхожденіе человѣка или, какъ это говорится, на дурное, на низкое происхожденіе почитается тамъ и до сихъ поръ щекотливымъ; такъ что слово буржуа, не смотря на господство буржуазнаго режима, звучитъ обидно. На чувствахъ этихъ не рѣдко основана тамъ даже спекуляція. Торговка Тьеръ или уличная пѣвица Гамбетта составляютъ такую струну, на которой политическіе противники государственныхъ людей не брезгаютъ играть, и играютъ не безъ успѣха. Всѣ безъ изыатія путешественники удивляются также тому пристрастію французовъ къ ленточкѣ почотнаго легіона, каковаго они ни встрѣчали даже въ монархіяхъ. Эдмондо де-Амичисъ,

приводя обильныя доказательства подобныхъ страстишекъ, говорить, что нѣтъ литературы, болѣе влюбленной въ гербы и титулы, нѣтъ интеллигенціи, болѣе проникнутой аристократической спѣсью, какъ во Франціи. Поль-де-Кокъ, на 74-мъ году жизни, на цѣлыхъ двадцати страницахъ доказываетъ, какъ онъ равнодушенъ къ тому, что не получилъ почетнаго легіона. Чисто же тимократическіе народы гораздо чувствительнѣе къ хорошимъ состояніямъ, чѣмъ къ хорошему происхожденію, или хорошей декораціи. А Сѣверная Америка и совсѣмъ отдѣлалась отъ этихъ послѣднихъ, предпочитая имъ скорѣе свою *pork-aristocracy* и ей подобныя. За то тамъ злоупотребляетъ своимъ вѣсомъ богатство, и всѣ гражданственныя преимущества и различія основываетъ на разнообразіи цифръ его. Какой-нибудь желѣзнодорожный царь Вандербильтъ есть цѣлая политическая партія въ странѣ, съ которой принуждены считаться и законодательство, и правительство. Не обойдется, конечно, безъ того же и демократическій принципъ, принципъ большей или меньшей просвѣщенности, распредѣляя по этой мѣркѣ и свое вниманіе, и свое пренебреженіе. Сообразно вѣсѣмъ этимъ стимуламъ и распредѣляются, и окрашиваются, по мѣстностямъ и временамъ, опять такіе нравы, какъ, съ одной стороны, высокомеріе, тщеславіе, спѣсь, а съ другой — униженность, робость, лицемеріе; въ одномъ случаѣ наглость, нахальство, дерзость, грубость, въ другомъ — скромность, снисходительность, привѣтливость, и пр. и пр. Такъ сіаемецъ поголовно представляется трусливымъ, равнодушнымъ къ обидѣ, омерзительно пресмыкающимся предъ высшими и жестокимъ съ низшими; тогда какъ простые маори Новой Зеландіи исполнены такого чувства достоинства, что оно бросается въ глаза въ ихъ осанкѣ, въ ихъ поступи, въ ихъ соколиномъ взглядѣ.

Но вопросъ о сверхчувственныхъ нравахъ невозможно оставить, не сказавши ни слова объ одномъ заключительномъ проявленіи этихъ нравовъ: о чести и вѣжливости. Это слишкомъ популярныя въ обществѣ привычки, для того чтобы о нихъ забыть. Говорить же о нихъ обѣихъ значить, собственно говоря, слѣдить лишь понятіе о чувствѣ чести, потому что вѣжливость и ея развитіе есть только неотступное послѣдствіе развитія первой, идущее всегда по слѣдамъ той. И такъ, чѣмъ же разнится честь (и ея спутница вѣжливость) по тѣмъ великимъ историческимъ эпо-

хамъ, по которымъ разнится между собою все, безъ исключенія. Нѣкоторые писатели до такой степени поражены разницею этого чувства въ наши времена и въ древнія, что чуть не приписываютъ первымъ самое изобрѣтеніе этого чувства. Тѣмъ не менѣе оно также исконно въ человѣкѣ, какъ и все прочее человѣческое. Мы упоминали уже, что г. Миклухо-Маклай, на своемъ берегу въ Новой Гвинее, присутствовалъ однажды лично при производствѣ поединка между двумя папуасами. Одинъ изъ нихъ, старикъ, былъ оскорбленъ другимъ, молодымъ, въ правѣ исключительной собственности на жену, и вслѣдствіе этого потребовалъ поединка. Поединокъ состоялся въ виду всего населенія и происходилъ на копьяхъ. Старикъ бросалъ свое копье въ противника первымъ; но онъ до такой степени былъ раздраженъ и взволнованъ чувствомъ мести, что руки у него дрожали, и онъ промахнулся. Когда это случилось, молодой не захотѣлъ пользоваться своимъ преимуществомъ, и бросилъ копье свое на-земь. И такъ, мы видимъ здѣсь не только то же чувство, но и тотъ же самый способъ удовлетворенія его, какой существуетъ у насъ. Мало того, видимъ при этомъ и такое благородство, такое великодушіе, какого очень часто не встрѣчаемъ у себя. И такъ, если есть разница, то только въ степени пропаганды, степени популяризаціи чувства. Въ этомъ смыслѣ, который, впрочемъ, одинъ только и имѣетъ значеніе для исторіи, во времена патріархальныхъ чувство чести популяризовано, конечно, гораздо меньше, чѣмъ когда бы то ни было позже. А сверхъ того, оно тутъ далеко не такъ специализовано отъ другихъ, какъ это дѣлается впоследствии. Трудно доказать, что у папуаса дѣйствовало тутъ именно оно, а не простое, напримѣръ, сознаніе нарушеннаго права собственности: вѣдь за покражу вещи онъ могъ бы сдѣлать то же самое, что сдѣлалъ и за оскорбленіе, ибо много суда нѣтъ, какъ самосудъ. Къ тому же въ языкахъ этого періода даже не существуетъ слово честь: оно поглощается въ общемъ понятіи ущербъ. И такъ здѣсь чувство чести можетъ быть только смѣшаннымъ съ другимъ, *синтетичнымъ*.—Въ древней государственности оно повсюду уже обособляется, но и тутъ далеко еще не въ томъ смыслѣ, въ какомъ разумѣется оно теперь. Слово честь повсюду уже существуетъ, но совершенно не въ томъ значеніи, въ какомъ нынѣ. Греческое *τιμή* и *αἰσχύνη* или римское *homoies* означали не честь и безчестіе, а почести и лишенія ихъ. Конечно, оскорблялись и древніе; но восточный человѣкъ

оскорблялся за своего царя, за первосвященника, за боговъ своихъ, а классическій—за свою должность, за свое общественное положеніе, за качество отца семейства, мужа, но не за себя лично. Воинъ, ударяющій Христа по ланитѣ, ударяетъ, говоря: такъ ли отвѣчаютъ первосвященнику! Миллонъ, поймавъ Саллюстія въ прелюбодѣянніи съ своей женой, пожаловался на него въ судъ, который и наказалъ виновнаго лишеніемъ чести. Можно открыть въ древности, такъ сказать, профессиональную честь, но нельзя открыть общечеловѣческой. Тамъ есть оскорбленіе воина, гражданина, свободного лица, но нѣтъ оскорбленія человѣка. Когда Киръ взялъ въ плѣнъ сына Массагетской царицы, то связанный юноша чувствовалъ себя такъ поруганнымъ, что пустился на хитрость, чтобы его развязали на минуту; какъ только же былъ онъ развязанъ, вонзилъ себѣ мечъ въ грудь. Лучше погибнуть, чѣмъ изъ царевича превратиться въ раба. Когда у воинственнаго и храбраго японца вырываютъ саблю его, онъ такъ обезчещенъ, что распарываетъ себѣ животъ. Но рядомъ съ этимъ извѣстно, что предъ саламинскою битвою, когда Эврибидъ поднялъ палку наThemistocles, Themistocles отвѣчалъ: „бей, но только послушайся“. Демосѣенъ, получивъ въ театрѣ пощечину отъ Мидіаса, обошелся даже безъ жалобы въ судъ, удовлетворившись денежнымъ вознагражденіемъ. И хотя Эсхилъ и трунилъ, что Демосѣенъ сдѣлалъ изъ своего лица помѣстье, съ котораго наживается; но этимъ вызывалъ со стороны Демосѣена только такую же брань, въ качествѣ какой и самъ произносилъ свою насмѣшку. Вообще же неприкосновенность личности была въ Аѳинахъ такъ же мало понятна, какъ и свобода совѣсти; и какого-нибудь безтактнаго оратора полиція безъ церемоній стаскивала съ каѳедры за шиворотъ. Въ Римѣ Цицеронъ въ полномъ засѣданіи сената ругаетъ Антонія и упрекаетъ, что онъ въ пьяномъ видѣ бѣгалъ по улицѣ голымъ. Отвѣчая на это, другой сенаторъ коритъ самого Цицерона тѣмъ, что у него отвратительныя ноги, для чего-де и носитъ онъ длинную тогу. Лукіанъ такъ изображаетъ одинъ свадебный обѣдъ у богатаго и образованнаго аѳинянина. Во первыхъ, неприглашенный къ обѣду стоикъ присылаетъ за то дерзкое письмо хозяину, доказывая, что это забвеніе не могло быть случайнымъ, ибо философъ нарочно въ этотъ день дважды повстрѣчался и раскланился съ амфитріономъ. Онъ предваряетъ также, чтобы не пробовали смягчить его негодованіе присылкой дичи или другого чего на домъ, такъ какъ приказано

ничего не принимать. Во вторыхъ, по поводу этого обстоятельства, затѣвается споръ и между самими приглашенными философами, оканчивающійся всеобщей руганью и плесканіемъ вина въ лицо другъ другу. Все это, очевидно, очень плохо укладывается въ современные понятія о чести и вѣжливости. А между тѣмъ такъ называемая аттическая вѣжливость была знаменита по всей древности. Но въ томъ-то дѣло, что и самая вѣжливость, подобно чести, понималась совсѣмъ въ другомъ смыслѣ. Она значила *urbanitas*, т. е. скорѣе свѣтскость, чѣмъ вѣжливость. Она учила какъ носить плащъ, какія допускать манеры, какъ произносить слова, чтобы не нарушить чувство изящнаго, а не какъ вести себя, чтобы не нарушать чувства своего и чужого достоинства. Словомъ это были честь и вѣжливость *официальныя*, общественныя. — Новые народы выдѣляютъ новый оттѣнокъ въ этихъ чувствахъ. Въ этомъ пониманіи самое, напротивъ, лишеніе всей гражданской, всей общественной чести вовсе иногда не лишаетъ еще чести по новому о ней понятію, а именно, когда дѣяніе или преступленіе не безнравственно, какъ напримѣръ, чисто политическое. И наоборотъ, нѣкоторые поступки, вовсе не представляющіе преступленія, и часто даже составляющіе заслугу предъ обществомъ, безвозвратно, однакожъ, лишаютъ чести, какъ напримѣръ, шпионство, ремесло доносчика. Изъ военной и гражданской чести, слѣдовательно, обратилась просто въ человѣческую, изъ правовой въ нравственную, изъ общественной въ *личную*. Вотъ и вся разница новой чести отъ древней. Кромѣ того, этотъ оттѣнокъ чувства выросъ и въ своей напряженности, при которой одно иногда слово оскорбительное ставить на карту двѣ жизни. Демосѣеновскій способъ удовлетворенія чести оставленъ нынче только низшимъ, не культурнымъ классамъ; миловонскимъ способомъ удовлетворяются лишь нѣкоторые изъ среднихъ классовъ; для высшихъ же и для интеллигенціи, законодатель не рѣшается даже поспѣвать за напряженностью ихъ чувства, такъ что, вслѣдствіе этого, приводитъ ихъ назадъ, къ самоуправству, къ которому и долженъ потомъ по неволѣ относиться толерантно. А вмѣстѣ со всѣмъ этимъ и самая вѣжливость приобрѣла смыслъ дѣйствительнаго уваженія къ чужой личности, уже по одному тому, что неуваженіе можетъ откликнуться слишкомъ дорого; такъ что вѣжливость соразмѣряется не только съ почестями, но и съ чувствомъ чести каждаго. — Тѣмъ не менѣе однакожъ, едва ли это есть

последній фазисъ перерожденія чувства. Нельзя скрывать отъ себя, что въ фазисѣ этомъ честь понимается по преимуществу тѣлесно, какъ физическая неприкосновенность особы. Такъ напримѣръ, самой тяжелой тѣнью, налагаемой на честь, есть въ этомъ фазисѣ ударъ по лицу, хотя бы то наносимый стумаспешшимъ. Еще же нагляднѣе колоритъ этотъ видѣнъ въ понятіи о женской чести. Кромѣ того, въ нынѣшнихъ понятіяхъ этого рода всегда предполагается, что честь человѣка больше всего можетъ быть нарушена другимъ лицомъ, а не имъ самимъ,—что, безъ сомнѣнія, слишкомъ мало отвѣчаетъ и истинѣ, и справедливости, и вообще достоинству общественной жизни. А потому возможно и еще одно, дальнѣйшее специализированіе чувства, въ смыслѣ по преимуществу *нравственнаго*, а не физическаго достоинства личности, зависящаго отъ нея самой, а не отъ другихъ, субъективнаго, а не объективнаго. Въ этомъ смыслѣ высшимъ оскорбленіемъ имѣетъ быть посягательство на нравственное достоинство человѣка со стороны другихъ и измѣна ему съ собственной стороны. Такого фазиса и нельзя не ожидать отъ будущей исторіи.

О Б Ы Ч А И.

Классификація.—Отношеніе обычая къ праву.—Отношеніе его къ преданію.—Отношеніе къ эпохамъ.—Количественное развитіе.—Качественное: тиранничность обычая, уставность, модность, эксцентричность.

Обычаи чуть ли не болѣе еще разнообразны, чѣмъ самые нравы. Есть, напримѣръ, обычаи, относящіеся исключительно къ цивилизаціи, гдѣ сѣдалищемъ ихъ есть именно не наука и не философія, а религія. Всякій религіозный культъ есть не что иное, какъ цѣлая и обширная система церковныхъ обычаевъ. Есть обычаи, принадлежащіе исключительно культурѣ, гдѣ они гнѣздятся не въ методѣ и не въ художествѣ, а въ правѣ. Всякая, напримѣръ, система судопроизводства, администраціи, законодательства составляетъ своего рода культъ, судебный, административный, законодательный ритуаль. Есть, наконецъ, обычаи чисто-гражданственныя, которые испещряютъ всю домашнюю жизнь, и которые относятся къ нравамъ такъ же точно, какъ обрядъ къ догмату или юридическая формула къ закону. Эти послѣдніе, домашніе обычаи, и сами по себѣ весьма разнообразны. Такъ, напримѣръ, бываютъ домашніе обычаи междуна-

родные, изъ которыхъ слагается весь дипломатическій этикетъ. Другіе составляютъ категорію обычаевъ придворныхъ. Третьи суть обычаи сословные. Четвертые—профессіональные, какъ торговые, адвокатскіе, сценическіе и т. п. И наконецъ, есть домашніе обычаи частной жизни. Эти, въ свою очередь, многочисленнѣе и разнообразнѣе всѣхъ предыдущихъ, потому что въ нихъ можно насчитать, по крайней мѣрѣ, три обширныхъ категорій: во первыхъ, матеріальныя, каковы всѣ, касающіеся пищи, питья, одежды, жилищъ; во вторыхъ, церемоніальныя, т. е. всѣ, которые оформливаютъ каждое изъ людскихъ отношеній; и въ третьихъ, идеальныя, или такіе, которые замѣняютъ языкъ для выраженія идей. Мы здѣсь не беремся разсматривать не только всѣ эти виды, но даже какой бы то ни было одинъ изъ нихъ; а ограничимся только общою характеристикою всѣхъ вообще обычаевъ въ нѣсколькихъ различныхъ отношеніяхъ и, прежде всего, по отношенію къ правамъ.

Обычаи обыкновенно смѣшиваются съ правами; да и не мудрено: только оба они вмѣстѣ составляютъ цѣлое. Но въ этомъ цѣломъ все-таки нельзя не различать форму отъ содержанія, образъ отъ идеи. Содержаніемъ, идеею есть всегда нравъ; образомъ, формою—обычай. Это аллегорія нравовъ, это символика гражданственности. Но еще болѣе существенное для исторіи отличіе ихъ состоитъ въ томъ, что нравы изображаютъ собою только настоящее, обычаи же—и прошедшее. Всякій новый нравъ непремѣнно вытѣсняетъ собою всякій прежній, становится на его мѣсто, такъ что прежняго не остается больше. Всякій же новый обычай имѣетъ способность уживаться съ прежними, не вытѣсня ихъ, такъ что по обычаямъ можно изучать не только текущее состояніе общества, но также и давно минувшее. Духъ этого минувшаго весьма часто совсѣмъ отлетѣлъ, или переродился до неузнаваемости, а форма осталась прежнею. Переживанія вездѣ въ исторіи суть не рѣдкость, но тутъ они становятся явленіемъ нормальнымъ, такъ что гражданственность обычная кипитъ ими. Къ числу наиболѣе распространенныхъ переживаній этого рода относится, напримѣръ, умыканіе невѣстъ. Соотвѣтственный этому обычаю нравъ часто давнымъ давно уже вытравленъ изъ общегітія, а обрядъ его продолжаетъ держаться цѣлыми тысячелѣтія. Сперва онъ обращается изъ главнаго во второстепенный, изъ сущности дѣла—въ одну форму его, какъ это есть, напримѣръ, на полуостровѣ Малаккѣ или у калмыковъ,

гдѣ сговоръ завершается тѣмъ, что женихъ начинаетъ ловить не-вѣсту, она убѣгаетъ отъ него, а родственники продѣлываютъ подобіе сопротивленія умыканію. Потомъ обычай теряетъ и этотъ смыслъ сопутствующаго обряда, обращается въ простую игру, забаву, какъ это случилось въ русской игрѣ въ горѣлки; а все-таки остается, и все-таки напоминаетъ о ветхой древности. Къ такому же разряду переживаній принадлежатъ: и наши шарады,—этотъ остатокъ первобытныхъ іероглифическихъ письменъ, и дѣтская игра въ лукъ и стрѣлы,—осадокъ первобытнаго вооруженія, и женскій обычай ношенія серегъ въ ушахъ, и множество другихъ. Прокалываніе ушей было однимъ изъ тѣхъ изувѣченій, какими побѣдитель помѣчалъ своихъ плѣнныхъ. Долгая практика этого обычая сдѣлала то, что проколотое ухо, серьга въ немъ, стали признакомъ рабства. Въ книгѣ Исхода говорится, что если рабъ на седьмой годъ свой откажется воспользоваться юбилейной свободой, то господинъ пусть поставитъ его къ двери и проколеть ему ухо шиломъ, дабы остался рабомъ вѣчно. Бурмазы прокалываютъ себѣ уши всѣ, безъ исключенія, въ знакъ подданства своего. На современномъ намъ востокѣ проколотое ухо означаетъ или принадлежность лица другому, или же, по крайней мѣрѣ, посвященіе его кому-нибудь. А отсюда одинъ шагъ до того, чтобы и жена прокалывала себѣ уши, въ знакъ посвященія себя мужу. Словомъ, тщательное изученіе обычаевъ давняго общества всегда можетъ дать возможность слегка очертить всю его исторію, чего никакъ не даютъ нравы. Умѣя читать обычай, можно прочесть всю вышеизложенную исторію, начиная съ самой патріархальности.

По отношенію къ преданіямъ, система обычаевъ опять получаетъ свое новое значеніе. Не говоря уже о томъ, что преданіе имѣетъ въ виду главнымъ образомъ будущее, а не прошедшее (какъ обычай), и не настоящее (какъ нравъ), есть своего рода и аналогія между ними. Аналогія эта въ томъ, что обычай, до поры до времени, цѣликомъ замѣняетъ собою изустное преданіе, а впослѣдствіи всегда значительно дополняетъ его, такъ что является вслѣдствіе этого обоимъ. Чтобы передавать что-либо изъ устъ въ уста, отъ поколѣнія къ поколѣнію, необходимо уже извѣстное сознаніе извѣстныхъ принциповъ, тогда какъ передача ихъ путемъ обычая производится и безсознательно. Кромѣ того, преданіе въ мелкихъ племенахъ, каковы всѣ первобытныя, не имѣетъ никакихъ шансовъ прочности

и долговѣчности, всегда рискуя вымереть вмѣстѣ съ племенемъ; равно также не имѣетъ никакихъ удобствъ и для распространенія, даже между современниками, не только между потомками, вслѣдствіе безчисленной разницы языковъ и нарѣчій. Мимика же есть единственный универсальный языкъ, который всегда былъ и всегда останется общепонятнымъ. Къ чему, напримѣръ, тутъ слова, если одинъ изъ двухъ боровшихся воиновъ слагаетъ свое оружіе предъ другимъ? Очевидно и безъ словъ, что одинъ изъ нихъ побѣжденный, все равно, будутъ ли это два негра, или же два императора нашего времени. Если Наполеонъ III отдаетъ Вильгельму свою шпагу, то и дикіе бразильцы, прося мира, полагаютъ на землю свои луи и стрѣлы, и каффы, сдаваясь другому, ломаютъ предъ нимъ копья свои. Если древніе персы требовали отъ грековъ воды и земли, если и сами аэиняне, передъ наступленіемъ на нихъ Клеомена, посылали землю и воду въ Персію; то ту же самую роль играетъ корзина съ землею и у дикарей Фиджи; то такое же значеніе имѣла горсть земли и у шотландскихъ вассаловъ и сюзереновъ; то такой же смыслъ имѣли и тѣ каменные обломки съ четырехъ вершинъ горы Тали, какіе недавно еще были привезены въ Англію однимъ индійскимъ посольствомъ. Когда же различныя племена сходятся на границахъ своихъ, оставляя далеко за собою оружіе свое, и неся въ рукахъ только предметы ихъ избытка, каждое изъ нихъ понимаетъ, что вопросъ идетъ объ обмѣнѣ, а не о войнѣ. Этотъ образный языкъ доходить иногда до того, что пробуетъ выразить не только идею, но даже цѣлый періодъ мыслей, какъ напримѣръ, въ томъ отвѣтѣ, какой прислали скины Дарію, и который состоялъ изъ мыши, птицы, лягушки и стрѣлы. Если же такъ, то, будучи оболочкой нравовъ, и въ то же время будучи суррогатомъ преданій, обычай становится такимъ образомъ центральнымъ элементомъ всей гражданственности, смыкающимъ оба края ея.

Тѣмъ не менѣе, однакожь, отражая въ себѣ и прошедшее (въ качествѣ переживаній), и будущее (какъ замѣна преданій), обычай способенъ иногда обрисовывать и настоящее. Есть такой разрядъ обычаевъ, который не подверженъ переживаніямъ; и этотъ-то разрядъ составляетъ одну изъ лучшихъ картинъ cadaго настоящаго, каждой эпохи. Въ этомъ своемъ отношеніи къ эпохамъ гражданственности, языкъ обычая неподражаемъ. Если мы узнаемъ, наприимѣръ, что въ комнатѣ владѣтельной особы весь полъ ея вымощенъ

человѣческими черенами, развѣ можно усомниться, изъ какой стадіи гражданственности достигаетъ до насъ такой паркетъ въ домѣ? И точно, мы у короля дагомейцевъ, а никакъ не у какого бы то ни было деспота востока. Напротивъ, если дворецъ владѣтельной особы наполненъ евнухами, если сераль отдѣленъ отъ гарема, и сотни красавицъ стерегутся тамъ для удовольствія хозяина,—мы, очевидно, никакъ не у дикаго племени въ гостяхъ. Но вотъ молодья и прекрасныя женщины, вовсе не живущія въ гаремахъ, появляются въ публичной религіозной процессіи, для того чтобы, въ ряду винограда, смоквъ и другихъ плодовъ, фигурировать, нисколько не нарушая тѣмъ своей стыдливости, какъ фаллофоры... Или вотъ другая благородная матрона то же самое изображеніе, сдѣланное въ миниатюрѣ, носить на шеѣ, въ видѣ украшенія, въ видѣ медальона... Развѣ не достаточно этого, чтобы безапелляціонно рѣшить, что мы въ эпохѣ чувственности, хотя бы то и эстетической. Еще дальше, красивая женщина не только участвуетъ въ ежедневной жизни мужчинъ, но принимаетъ участіе въ публичныхъ военныхъ играхъ ихъ, и при томъ, какъ царица этихъ игръ, раздающая побѣдныя вѣнки. Можно ли подумать, что мы на олімпійскихъ играхъ или играхъ цирка, а не единственно на турнирѣ. Наконецъ, передъ нами глава государства, въ день новаго года, у порога своей пріемной залы, встрѣчаетъ входящихъ съ поздравленіемъ, будучи обязанъ каждому изъ нихъ пожать руку... Возможенъ ли подобный обрядъ въ какомъ бы то ни было иномъ монархическомъ или республиканскомъ, древнемъ или новомъ дворцѣ, кромѣ бѣлаго дома! Всѣ эти обычаи совершенно неперемѣстимы: другіе можно позанимствовать и во всякую иную обстановку, этихъ же нельзя. Всѣ они также неспособны къ переживанію, такъ что они смѣло и вѣрно воспроизводятъ только свою собственную эпоху и страну, только свое настоящее. И они обличаютъ свою гражданственность тѣмъ лучше, что обличаютъ ее наглядно, дѣлаютъ ее нескрываемою для глазъ и понятною, безъ всякаго углубленія въ нее и изученія. При достаточномъ изученіи всего этого разряда обычаевъ, каждое изъ малѣйшихъ проявленій его способно служить для соціолога тѣмъ же, чѣмъ служить для зоолога зубъ животнаго: по немъ онъ въ состояніи опредѣлить приблизительно всю остальную организацію и всю ту эпоху, къ какой принадлежитъ она.

Теперь остается характеризовать обычность въ самой себѣ, въ

ея историческомъ движеніи. Мы сдѣлаемъ это сперва въ количественномъ, а потомъ въ качественномъ отношеніи. Количество обычности или обрядности чѣмъ дальше назадъ въ исторію, тѣмъ поразительнѣе. Религія тутъ почти вся состоитъ лишь изъ внѣшняго богопочтенія. На Сандвичевыхъ островахъ, кто произведетъ малѣйшій шумъ въ священный день табу, тотъ ни больше, ни меньше, какъ казнится смертію. У перуанцевъ важнѣйшимъ изъ грѣховныхъ дѣйствій почиталась небрежность въ служеніи духамъ, такъ что большая часть жизни каждаго уходила на обряды умиловленія покойниковъ. Другой добродѣтели не знаетъ и религія Египта. Рамзесъ, моля у Аммона помощи въ битвѣ, мотивируетъ эту помощь тѣмъ, что онъ принесъ богу великое множество жертвъ въ своей жизни. Въ браминизмѣ прямо проповѣдуется, что строгое соблюденіе церковныхъ правилъ важнѣе всякой добродѣтели. Воды Ганга, напримѣръ, имѣютъ такую священную и таинственную силу, что всякій, умирающій на берегу рѣки, тѣмъ самымъ уже избавляется отъ переселеній души своей. По этому изъ самыхъ отдаленныхъ областей стекаются сюда урны съ прахомъ умершихъ, и бросаются въ волны. У грековъ и римлянъ религіозныя процессіи тянутся по цѣлымъ днямъ; всякое общественное или частное предпріятіе сопровождается жертвами и гаданіями; всякому обѣду или ужину предшествуютъ возліянія. Впервые нравственный элементъ вносится въ религію древнимъ монотеизмомъ; но и въ самомъ монотеизмѣ пропорція обряда къ догмату слишкомъ еще неравномѣрна, и послѣдній весьма часто загромаждается первымъ. Таковы всѣ обрядности каждаго субботняго дня у евреевъ, обрядности пищи и питья, посуды, одежды, жилища и т. п. Буддизмъ, въ своемъ загромажденіи формой, совсѣмъ не знаетъ ничего, кромѣ обряда, такъ что главнымъ дѣломъ вѣрующаго есть несчетное повтореніе каждый день молитвы: омъ мани падме гумъ! которая для этого и навертывается на колесо, вращаемое какъ можно скорѣе. Въ исламизмѣ обрѣзаніе, омовенія, воздержаніе отъ извѣстной пищи и питья, и т. п. составляютъ не меньшую обязанность, чѣмъ война за вѣру. Въ самомъ христіанствѣ, въ началѣ его, культъ совсѣмъ поглощаетъ и догматъ, и нравственность. Правила святаго Колумбана назначаютъ, напримѣръ, годичное наказаніе тому, кто уничтожитъ просфору, полугодное — кто допуститъ насѣкомыхъ съѣсть ее, двадцатипятидневное, кто дастъ ей зацвѣсть, и

т. п. А кто не произнесетъ въ своемъ мѣстѣ амен, забудетъ перекрестить ложку передъ ѣдой, тотъ долженъ подвергнуть себя отъ 6 до 12 ударовъ плетью. Истинный христіанинъ, говоритъ св. Ремигій, есть тотъ, кто часто ходитъ въ церковь, приносить ей посильные дары, не вкушаетъ отъ плодовъ земныхъ, не посвятивъ части ихъ Господу, кто часто повторяетъ *credo* и *pater noster*. Да и вообще система постовъ, говѣній, пилигримствъ ко святымъ мѣстамъ и пр. далеко заслоняетъ собою всю теоретическую систему. Между тѣмъ, съ теченіемъ времени, такое отношеніе внѣшняго богопочтенія къ внутреннему непременно испытываетъ перемѣну. Даже въ буддизмѣ однажды уже пробовалась реформація этого рода. Въ исламизмѣ она осуществилась расколомъ шиитовъ, которые отвергли изъ религіи все преданіе, сунну, и все, что въ ней было на немъ основано. Въ христіанствѣ реформація начала именно съ протестантизма противъ обрядности, которую и отмѣнила на цѣлую половину, если не больше. Дальнѣйшее развитіе протестантизма въ томъ именно и состояло, что онъ все больше совлекалъ съ себя одежду ритуализма, стараясь все больше и больше извлечь изъ подъ нея самый смыслъ и духъ религіи. Этимъ путемъ многія секты пришли къ тому, что религіею ихъ сдѣлалась одна система догматовъ и даже одна система нравственности. Но связь и отождествленіе религіи съ культомъ были такъ велики, что подобное состояніе вѣрованій не охотно даже признается за религію. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, внутренній смыслъ христіанства не перестаетъ въ нихъ раскрываться, и проникаетъ даже туда, гдѣ религія дѣйствительно исчезаетъ, какъ напримѣръ, въ сенъ-симонизмъ и всѣ народившія имъ школы утопистовъ. Такое же точно явленіе мы видѣли, когда излагали исторію права, съ тою только разницею, что здѣсь и до сихъ поръ еще не наступило время такихъ юридическихъ сектъ или школъ, которыя бы считали возможнымъ очищеніе права отъ обрядности. Но если далеко еще до этого очищенія, то уменьшеніе и ослабленіе формализма все-таки состоялось, и все-таки продолжаетъ отъ времени до времени подвигаться впередъ. Но самыя лучшіе и полные образчики этого движенія можно услѣдить только въ гражданственности, только въ обычностяхъ домашней жизни. У древнихъ пантомима составляла особое и цѣлое искусство, въ которомъ у грековъ прославились mimoграфы Софронъ и Ксенаρχъ, и которое въ Римѣ оспаривало пальму первенства у

самой драмы и комедіи. Оно не только составляло лучшее изъ общественныхъ развлеченій, на ряду съ играми гладіаторовъ, но употреблялось даже при погребальныхъ церемоніяхъ, гдѣ, посредствомъ жестикуляцій, старались воспроизводить всю жизнь покойника. Во времена Цицерона, актеръ Росцій дошелъ до того, что, при помощи однихъ тѣлодвиженій и игры лица, могъ воспроизводить предъ зрителями любую рѣчь знаменитаго оратора. Во время Августа, актеры Пиладъ и Баѳилъ, трагикъ и комикъ, вызвали двѣ обширныя партіи, пиладистовъ и баѳилистовъ, на которыя раздѣлилась вся публика, какъ въ послѣдствіи бывало это съ играми цирка. Между тѣмъ, теперь отъ всего этого не осталось иного слѣда, какъ нашъ блѣдный балетъ. Впрочемъ, для цѣли нашей полезнѣе прослѣдить какой-нибудь одинъ изъ обычаевъ, но по всей исторіи и болѣе или менѣе подробно. Избираемъ для этого общій всевозможнымъ народамъ и у всѣхъ наиболѣе популярный въ ежедневной жизни, — систему привѣтствій, и прослѣдимъ ее, главнымъ образомъ, по прекрасному труду Герберта Спенсера: Обрядовое Правительство. Нѣтъ болѣе ежедневнаго и всеобщаго факта общегитія, какъ встрѣча и прощаніе людей между собою: ими покрываются всякія другія, всевозможныя сношенія людей. А потому здѣсь-то и легче всего провѣрять историческую тенденцію обычности. Англійскій социологъ начинаетъ этотъ генезисъ съ нравовъ и обычаевъ собаки. Она не можетъ говорить при встрѣчѣ, но все, что ей нужно, высказываетъ мимикой. Ожидая наказанія и вообще боясь превосходства въ силѣ, она съ визгомъ ползетъ по землѣ къ ногамъ господина, чтобы тѣмъ, по возможности, умиловать его. Такой же образъ дѣйствій употребляетъ она и въ сношеніяхъ съ себѣ подобными. Кому не случалось видѣть, какъ маленькая болонка, въ виду приближающагося бульдога или ньюфаундлендской собаки, бросается спиною на землю, и лежитъ вверхъ ногами, т. е. произвольно и напередъ принимаетъ то самое положеніе, какое было бы послѣдствіемъ окончательнаго пораженія въ борьбѣ. Она этимъ говоритъ: я побѣждена, я въ твоей власти, пощади меня! и нѣтъ сомнѣнія, что этимъ она и дѣйствительно располагаетъ большую собаку въ свою пользу. Спрашивается, далеко ли отъ этого тотъ родъ привѣтствованія, который употребляется въ племени Батокъ, и который состоитъ въ томъ, что люди бросаются спиною на земь и, переватываясь съ боку на бокъ, уда-

ряютъ себя руками по бедрамъ? Въ Тонга-Табу туземцы, при встрѣчѣ съ вождемъ своимъ, падаютъ лицомъ на землю, и ногу вождя ставятъ себѣ на шею. Въ Дагомеѣ высшіе сановники падаютъ предъ королемъ на бокъ и такъ лежатъ во все время разговора; а если нужно приближаться къ королю, ползутъ по землѣ по змѣиному. Сокращенный видъ этого лежанія составляетъ лежаніе на четверенькахъ, при чемъ приближаются тогда не ползкомъ, а передвигаясь на колѣняхъ, отчего кожа этихъ сочлененій дѣлается такою же, какъ на подошвахъ. Жоны зулусскаго короля не могутъ ни стоять, ни ходить передъ нимъ иначе, какъ на колѣняхъ. У малагазовъ всѣ жоны, выползая на встрѣчу мужьямъ на четверенькахъ, начинаютъ, сверхъ того, лизать ноги имъ; то же дѣлаютъ и рабы съ господами своими. Когда житель Борго обращается къ своему вождю, то онъ припадаетъ къ землѣ всѣмъ тѣломъ; но, вмѣсто лизанія ногъ, только цѣлуетъ прахъ отъ ногъ, такъ что пожалуй есть вѣроятное сокращеніе лизанія. Въ Полинезіи привѣтствіе старшимъ ограничивается только припаданіемъ къ ногамъ ихъ; такъ на Сандвичевыхъ островахъ привѣтствовалъ Кука самъ вождь. Въ Сіамѣ всякій низшій тоже припадаетъ къ ногамъ всякаго высшаго. А сколько употребляется на все это времени лучше всего видно изъ примѣра эскимосовъ и аракуанцевъ, у которыхъ правила приѣма гостей выработаны до такой степени, что разспросы при этомъ, поздравленія, освѣдомленія, соболѣзнованія требуютъ, для отчетливаго исполненія ихъ, отъ 10 до 15 минутъ. И только послѣ этого уже приступается къ дѣлу и къ разговору по существу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, значеніе всей этой церемонности цѣнится такъ высоко, что на островѣ Тонга, напримѣръ, существуетъ вѣрованіе, что всякій промахъ въ ней ведетъ за собой какое-нибудь большое несчастье для человѣка. Въ патриархальномъ государствѣ вся эта система возводится до величайшей точности, во всѣхъ ея подробностяхъ. Въ Китаѣ, напримѣръ, точно различается девять видовъ поклона. При первомъ изъ нихъ становятся на колѣни и трижды наклоняются челомъ къ землѣ, а при каждомъ наклоненіи трижды ударяютъ лбомъ о землю: такъ привѣтствуютъ богдыхана. Равно и онъ самъ, при вступленіи своемъ на престолъ, такъ поклоняется предъ алтаремъ своего предшественника. При второмъ поклонѣ наклоняются лбомъ только дважды, но продолжая стучать имъ все-таки по трижды. При третьемъ, одно только по-

клоненіе съ однимъ же троекратнымъ стучавіемъ. Въ четвертомъ поклонѣ наклоняются одинъ разъ, и одинъ же разъ ударяють лбомъ. Въ пятомъ только колѣнопреклоняются, безъ наклоненія головы и безъ стучанія лбомъ. Въ шестомъ—только попытка колѣнопреклоненія или колѣнопреклоненіе на ходу. Въ седьмомъ — наклоненіе лишь всего корпуса впередъ, со сжатыми на груди руками. Въ восьмомъ — сжатіе на груди рукъ и опущеніе внизъ только глазъ. Въ девятомъ — сжатіе рукъ, съ поднятіемъ ихъ передъ грудью. Японцы сокращаютъ колѣнопреклоненіе своимъ особымъ способомъ: они сгибають одно колѣно на столько, чтобы кистью руки достать до земли и коснуться ея. Мексиканцы и перуанцы производили то же сокращеніе, присѣдая на корточки. Въ государствѣ аристократическо-монархическомъ объемъ привѣтствій уже сокращается во всей своей цѣлости. Только въ Индіи употребляется девятикратное поклоненіе, какъ въ Китаѣ. Во всѣхъ же прочихъ земляхъ оно замѣняется однократнымъ паденіемъ ницъ. Навуходоносоръ палъ на лице свое и поклонился Даніилу. Мемфивосфей палъ на лицо и поклонился Давиду. Менагемъ Самарійскій, явившись къ Сеннахериму, упалъ и поцаловалъ ему ноги. Женищина, подошедшая ко Христу съ благовоініями, сперва облобызала ноги его. Въ Аравіи, въ Персіи, въ Турціи и до сихъ поръ практикуется цалованіе ногъ шейку, шаху, султану. Царь виетнскій палъ ницъ передъ римскимъ сенатомъ. Но съ переходомъ на древній западъ и эта степень уничиженія исчезаетъ или, по крайней мѣрѣ, остается лишь для боговъ. Вы, говоритъ Ксенофонтъ своимъ соратникамъ: преклоняете колѣна ваши только предъ богами, а не предъ деспотами. Римляне цалуютъ руки и ноги также лишь статуямъ боговъ. Впрочемъ, и это не есть положительная необходимость: греки молятся и стоя, но лишь съ протягиваніемъ обѣихъ рукъ. Богамъ олимпійскимъ они протягивають ихъ вверхъ, морскимъ—горизонтально, подземнымъ—внизъ. Во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ древніе республиканцы довольствуются рукопожатіями, привѣтствіями словесными, названіемъ по имени, придачею къ нему титуловъ и т. п. А римскій посолъ Попилій Лена не хотѣлъ подавать даже и руки царю Антиоху Эпифану, пока не получилъ отвѣта на требованіе сената. Въ новой монархической Европѣ аристократическій ея періодъ обнаруживался почти такъ же, какъ и въ древней монархіи. Сервы колѣнопреклонялись предъ сеньорами, вассалы предъ

сюзеренами, бароны предъ королями. Въ церквахъ же католики и до сихъ поръ распространяются всѣмъ тѣломъ по землѣ, откидывая обѣ руки въ стороны, что называется у нихъ лежать крестомъ; равно также и до сихъ поръ цалуютъ они туфлю папѣ. Ближайшимъ же родоначальникомъ современнаго этикета былъ Филиппъ Добрый, герцогъ бургундскій. Имѣя все могущество короля, но не имѣя титула его, онъ рѣшилъ восполнить этотъ недостатокъ избыткомъ церемоніала придворнаго. Марія бургундская перенесла его систему въ Австрію, откуда, путемъ новыхъ браковъ, перешла она и во Францію, и въ Испанію. Испанія стала съ тѣхъ поръ классическою страной этикета, жертвою котораго и палъ Филиппъ III. Онъ велѣлъ маркизу Побару гасить огонь подлѣ себя; но маркизъ не смѣлъ этого сдѣлать, такъ какъ это былъ долгъ герцога Узеда, и пошелъ искать этого. Между тѣмъ, пока Узда поспѣлъ, король былъ обожженъ, заболѣлъ отъ обжога и умеръ. Что касается системы привѣтствій въ этомъ этикетѣ, то, на примѣръ, въ XV столѣтіи, герцогиня Изабелла бургонская, дѣлая визитъ королевѣ, три раза еще становится на колѣни, по мѣрѣ приближенія къ ней. Позднѣе слѣдуетъ, однакожъ, опусканіе лишь на одно колѣно, какъ дѣлаетъ это и по нынѣ англійскій лордъ предъ своимъ королемъ. Еще далѣе у одного пола является реверансъ, книксенъ, какъ намекъ на желаніе колѣнопреклониться, при чемъ чѣмъ онъ глубже, тѣмъ и почтительнѣе; а у другого пола—расшаркиваніе ногами съ болѣе или менѣе глубокимъ наклоненіемъ всего туловища или одной головы. Впослѣдствіи и все это сокращается до одного наклоненія головы и даже до простаго кивка ею. Самый кивокъ, наконецъ, восполняется только обнаженіемъ головы, а иногда даже лишь одною попыткою на это, т. е. прикосновеніемъ руки къ шляпѣ и даже, наконецъ, только движеніемъ руки по этому направленію; пока у квакеровъ не исчезаютъ и самыя эти попытки, а все привѣтствіе ограничивается одними словами. Изъ этого генезиса привѣтствій, какъ и изъ всего предъидущаго, можно заключить съ достаточнымъ основаніемъ, что историческій прогрессъ обычаевъ состоитъ никакъ не въ количественномъ прогрессированіи ихъ, и что, совершенно напротивъ, онъ состоитъ здѣсь только именно въ регрессѣ. Всѣ обрядности, всѣ формальности, по мѣрѣ всеобщаго развитія, не развиваются, а, напротивъ, только стремятся отпадать и уступаютъ свое мѣсто языку, слову.

Другое развитіе обрядности, качественное, есть опять скорѣе регрессивное, чѣмъ прогрессивное. Въ этомъ смыслѣ на самой зарѣ исторіи нѣтъ ничего святаго, кромѣ обычая. Обычай есть здѣсь и религіею, и закономъ, и преданіемъ. Разсѣянные скопища австралійцевъ, не знающія еще ничего священнаго, ни закона, ни власти, ни сословныхъ различій, знаютъ однакожъ цѣлый рядъ обрядовъ и церемоній, которымъ безусловно подчиняются всѣ. Тасманійцы имѣютъ вполне опредѣленные и навсегда неизмѣнныя условія процедуры мира и процедуры войны, которыя соблюдаются религіозно. Равно и проказы, по заключеніи мира, непременно обмѣниваются поясами съ врагомъ; и эти пояса служатъ для нихъ и лучшей ратификаціей, и лучшимъ документомъ мирнаго трактата. Объ этихъ временахъ въ особенности можно сказать, что *usus tyrannus est*. А потому эту стадію развитія мы и назовемъ *тиранничностью* обычая. Въ немъ здѣсь вся цивилизація, вся культура, вся гражданственность; въ немъ же и вся сила, вся власть надъ умами. Эта власть и сила сохраняется не только въ патріархатахъ, но и въ государствахъ патріархальныхъ; хотя здѣсь обычай уже выдѣляется въ особый общественный элементъ, перестаетъ быть такимъ синтетичнымъ. Въ Китаѣ остается и по нынѣ цѣлое министерство церемоній, Ли-пу, подраздѣляющееся на три департамента: первый заводитъ церемоніалами умиловительнымъ, похвалительнымъ, собогдѣновательнымъ, гостепріимнымъ и военнымъ; второй вѣдаетъ ношеніе одеждъ, употребленіе лошадей и экипажей, составъ свитъ, ношеніе знаговъ, формы изустныхъ и письменныхъ сношеній; третій распоряжается церемоніями поклоненія духамъ. Какъ система поклоновъ, такъ и всѣ иные домашніе обычая установлены разъ навсегда и во всѣхъ отношеніяхъ. Величина визитныхъ карточекъ, продолжительность визитовъ, способы угощеній, форма и матерія одеждъ, величина и фасадъ домовъ, все это предустановлено напередъ, и все соразмѣрено съ каждымъ соціальнымъ положеніемъ, начиная отъ обитателей столицы и первыхъ ея мандариновъ, и оканчивая деревней и послѣднимъ ея земледѣльцемъ. А вмѣстѣ съ этимъ всякое несоблюденіе установленныхъ обычаевъ считается равносильнымъ мятежу и отрицанію власти. Такое же министерство тибутію, имѣется и въ Японіи; при чемъ несоблюденіе обычая грозитъ, какъ и въ Китаѣ, иногда смертной казнью.—Но въ аристократической государственности это могущество обычности уже

ослабляется. Обычай все еще предписывается, все еще есть дѣло закона, устава; но преслѣдованіи за нарушеніе или несоблюденіе его становятся не такъ интенсивны. Все еще остаются и органы надзора за исполненіемъ, которые на востокѣ сливуться подъ именемъ государевыхъ очей и ушей; но смотрѣть начинаютъ они сквозь пальцы. Въ Греціи и Римѣ домашняя жизнь тоже состоитъ подъ цензурой. Если благородная афинянка вышла со двора не такъ, какъ повелѣваетъ обычай, хотя бы то и не писанный уже; то ей грозитъ денежный штрафъ и выставка имени ея въ публичномъ гуляньи. Также и въ Римѣ сепзор тогитъ можетъ налагать наказаніе за всякое нарушеніе призванныхъ всѣми приличій. Такое состояніе общности можно назвать *уставнымъ*, *установленнымъ*. Оно не предоставляетъ еще ничего свободному произволу, или очень мало; хотя и потеряло уже всю свою деспотическую обязательность. Изъ тяжкаго преступленія, подвергавшаго жизнь опасности, нарушеніе обычая дѣлается полицейскимъ проступкомъ; но оно все-таки остается предметомъ и права, а не однихъ нравовъ.—Нынѣшнія общества отрываются отъ древнихъ двумя весьма волоритными чертами. Во первыхъ, вся домашняя жизнь вовсе выходитъ изъ-подъ предписаній уставовъ, высвобождается изъ-подъ контроля полиціи, и вся цѣликомъ предоставляется надзору лишь общественнаго мнѣнія. Во вторыхъ же, что еще болѣе замѣчательно, обычай пріобрѣтаетъ какую-то, до сихъ поръ вовсе несвойственную ему, неустойчивость, подвижность. Въ древности, оставаясь больше или меньше *уставнымъ*, *вѣстѣмъ* съ тѣмъ, онъ оставался и болѣе или менѣе *неподвижнымъ*. Костюмъ, напримѣръ, древнихъ народовъ остается почти безъ измѣненій по каждой отдѣльной исторіи: все тѣ же хитоны, тунники, палліумы, тоги. Между тѣмъ, нынѣ деспотичною въ этомъ отношеніи стала только мода, которая, съ своей стороны, требуетъ какъ можно болѣе измѣнчивости во всевозможныхъ домашнихъ обычаяхъ, будетъ-ли то въ костюмахъ, или же въ убранствѣ домовъ, или въ пицѣ и питьѣ, или въ способахъ обхожденія, или въ системахъ гостепримства и пр. и пр. Въ теченіи однихъ среднихъ вѣковъ, какъ покрой платья, такъ и фасонъ домовъ и всѣ другія наружныя свойства обществитія мѣнялись уже нѣсколько разъ. Со временъ же XVIII вѣка этотъ духъ переизмѣнчивости вошелъ въ плоть и кровь домашнего обществитія и сдѣлался принципомъ его, условіемъ его изящества. Намъ до такой степени скоро наскучаетъ одинъ и тотъ же фасонъ платья, одинъ

и тотъ же способъ меблировки, однѣ и тѣ же формы сношеній и и т. д., что поставщики наши едва успѣваютъ поспѣвать за этой прихотливостью и капризностью вкусовъ. Такой принципъ нельзя иначе назвать, какъ *моднымъ* обычаемъ, который на столько же отличенъ отъ уставнаго, какъ тотъ отъ тиранническаго.—Чѣмъ же весь этотъ калейдоскопъ обычности долженъ разрѣшиться въ будущемъ? Совершенно невозможно допустить, чтобы онъ разрѣшился возвращеніемъ къ прежней устойчивости и неподвижности. Чѣмъ большимъ становится разнообразіе личностей, ихъ вкусовъ, потребностей, удобствъ, способовъ удовлетворенія нуждъ, тѣмъ меньше мыслимо единообразіе обычая, не только уставнаго, но даже и моднаго. Мода есть тотъ же законъ, и такъ же ограждаемый наказаніемъ: разница только въ томъ, что и законъ, и наказаніе налагаются общественнымъ мнѣніемъ. А потому надо думать, что, съ развитіемъ личности и чувства свободы, умоленъ и самая повелительность моды, такъ что обычай станетъ диктоваться не столько ею, сколько собственными потребностями каждаго. По крайней мѣрѣ, такъ оно случается уже и нынѣ тамъ, гдѣ развитіе лица достигло высшей степени, какъ, напримѣръ, въ Англіи, столь богатой эксцентриками. А если допустить въ будущемъ значительное развитіе подобной своеобразности и независимости отъ моды; то и получится новая стадія обычности,—обычность *эксцентрическая* или своеобразность. Во всякомъ случаѣ обычность и на этотъ разъ направляется отъ своего *maximum* къ своему *minimum*.

ПРЕДАНІЯ.

Физиологическое преданіе.—Соціологическое: международное, народное, домашнее, или: литература, школа, семья.

Преданіе, въ обширномъ смыслѣ слова, двояко: разъ оно есть передача идей между предками и потомками, а другой разъ—между современниками. Хотя средства и способы всякой передачи, по большей части, обоюдны, т. е. одинаковы для той и для другой цѣли; но есть между ними и односторонніе. Языкъ, литература, школа—обоюдны. Но кровная связь, происхожденіе одного лица отъ другаго, есть средство только одностороннее, а именно лишь потомственное; равно телеграфъ или телефонъ суть также средства одностороннія, а именно лишь современныя. Впрочемъ, это дѣленіе имѣетъ лишь

общесоціологическое значеніе, но не частное историческое. Въ этомъ послѣднемъ, динамическомъ смыслѣ гораздо важнѣе подраздѣленіе преданій на преданія между поколѣніями народовъ, т. е. отъ одной формаціи ихъ въ другой, и преданія между поколѣніями лицъ въ одномъ и томъ же народѣ, т. е. отъ отцовъ къ дѣтямъ. Эти двѣ категоріи мы и рассмотримъ.

Всѣ народы міра связаны между собою прежде всего самой кровью своею. Самый послѣдній, такъ сказать, новорожденный и даже новорождаемый народъ Соединенныхъ Штатовъ есть плоть отъ плоти и кость отъ костей всѣхъ европейскихъ и даже нѣкоторыхъ азіатскихъ, африканскихъ и американскихъ племенъ. Это настоящая этнологическая лабораторія новаго времени, гдѣ вырабатывается племя, еще не имѣвшее себѣ подобія по количеству и разнообразію ингрѣдіентовъ. Изъ бѣлаго и чернаго человѣка вырабатывается тамъ мулатъ; изъ бѣлаго и краснаго—метисъ; изъ чернаго и краснаго—замбъ; а изъ всякой помѣси европейцевъ между собою—креоль. Мулаты съ бѣлыми производятъ мориска, мориски съ бѣлыми—квартерона; черные съ мулатами даютъ кабра или гриффа, мулаты между собою—касса. А вмѣстѣ со всѣми этими физическими помѣсями необходимо передаются и всѣ предрасположенія психическія, такъ что столь разнообразныхъ предрасположеній и темпераментовъ еще никогда исторія не закладывала въ одну и ту же націю. Въ свою очередь, Европа, эта праматерь нарождаемой націи, также кровно связана съ своими собственными предшественниками. Самое молодое изъ ея племенъ, славянское, скрещивается съ болѣе старымъ, германскимъ, цѣлой полосой народностей, расположенныхъ между тѣмъ и другимъ. Чехія, Силезія, Померанія, самая Пруссія суть на-половину славянскія, на-половину нѣмецкія народности. Съ своей стороны, германское племя также кровно сопряжено съ предшествовавшимъ ему латинскимъ въ Галліи, въ Испаніи, въ Италіи. Латинское заимствуетъ свою кровь и отъ греческаго (пеласги, великая Греція), и отъ троянскаго (Альба-Лонга, Эней). Греки восприняли въ себя кровь всѣхъ восточныхъ народовъ: египетскаго, финикійскаго, мало-азійскаго посредствомъ колонизацій изъ этихъ странъ. Самые египтяне связаны чрезъ Мероэ съ Индією, Цѣпь порывается, повидимому, только между Индією и Китаемъ. но и здѣсь, вѣроятно, скорѣе по недостатку свѣдѣній нашихъ, чѣмъ связи. По крайней мѣрѣ, самое имя Китая, Хина, перешедшее въ

Европу, есть индійское. Торговые дороги между двумя странами также существовали: одна сухопутная — через Бактрию, другая водяная — по Гангу. Отъ Китая Индія получала шолкъ, кожи, такъ что брамины щеголяли въ шолковыхъ рясахъ. Наконецъ между обѣими странами существовалъ, какъ существуетъ и теперь, такой мостъ, какъ Индо-Китай, Кокхинина, Анамъ, который есть очевидный продуктъ двухъ цивилизацій, двухъ культуръ, двухъ гражданственностей. И такъ все государственное человѣчество сцѣплено одною и тою же генетическою цѣпью, которая служитъ физиологическою основою всякаго иного единства, всякой иной наслѣдственности. Оставляя, однакожъ, этотъ способъ преданій вѣдѣнію антропологін, здѣсь мы ограничимся только чисто-политическимъ, какимъ есть языкъ, слово.

Международная связь отъ предковъ въ потомству состоитъ въ литературахъ народовъ. Литературные архивы составляютъ настоящей умственный цементъ между всѣми историческими формациями, не исключая и патріархальной. Эта послѣдняя полагаетъ даже самое начало всѣмъ этимъ связямъ, потому что созидаетъ языки. Охота и рыбная ловля могли еще и предшествовать образованію языковъ; но скотоводство, а тѣмъ болѣе земледѣліе, хотя бы то самое зачаточное, немислимы уже безъ извѣстнаго запаса наблюденій, примѣтъ, воспоминаній, завѣтовъ, которые могли состояться только при помощи слова. Вообще происхожденіе языковъ считается современнымъ возникновенію религіозныхъ представленій. Слова, во время ихъ рожденія, суть не простыя имена предметовъ, какъ теперь, но живые образы; подобно тому, какъ и самые предметы ими называемые, суть тогда не объекты лишь словъ, но одушевленные и олицетворенныя существа. Въѣкъ фетишизма есть вмѣстѣ съ тѣмъ и въѣкъ языка. Но это въѣкъ языковъ только такъ называемыхъ моносиллабическихъ, и такъ называемыхъ составительныхъ. Въ *моносиллабическихъ* слова то же, что въ другихъ языкахъ корни словъ; здѣсь нѣтъ также возможности обозначать отношенія между словами; тѣмъ меньше еще способны слова измѣняться для этого. Вмѣсто того и другого, большую роль играетъ здѣсь удареніе въ предложеніи. Такой языкъ уцѣлѣваетъ даже въ нѣкоторыхъ патріархальныхъ государствахъ, какъ Китай, Сіамъ, Анамъ, Бирма, Тибетъ, и даже уцѣлѣлъ въ древнемъ Египтѣ. Вообще китайскій уголъ свѣта стоитъ первымъ и здѣсь, въ гражданственности, какъ стоялъ такимъ же

въ культурѣ и въ цивилизаціи. *Составительные языки*—одинъ шагъ впередъ противъ первыхъ. Здѣсь имѣются уже частицы для показанія отношеній между словами, и поставляются онѣ то впереди словъ (префиксъ), то позади ихъ (суффиксъ), то въ серединѣ (инфиксъ). Таковы, на примѣръ, всѣ туранскіе языки, т. е. монгольскій, манджурскій, дравидійскій, турецко-татарскій и финскій. Таковы же языки: японскій, малайскіе, полинезійскіе, африканскіе, американскіе.—Эпоха первой государственности представляетъ также двѣ отмѣны, составляющія двѣ послѣдовательныя ступени развитія человѣческой рѣчи. Это суть двѣ группы такъ называемыхъ гибкихъ, *флективныхъ* языковъ, т. е. способныхъ измѣнять самый корень слова для показанія отношеній его къ другимъ, не утрачивая въ тоже время и предъидущихъ средствъ для той же цѣли. Кромѣ того, обѣ эти группы отличаются отъ обѣихъ прежнихъ и тѣмъ еще, что въ тѣхъ преобладалъ именной характеръ, т. е. существительно-прилагательный, здѣсь же преобладаетъ глагольный. Первую изъ этихъ двухъ группъ составляютъ языки семитическіе: халдейскій, еврейскій, арабскій; вторую—индо-европейскіе: санскритскій, персидскій, греческій и римскій. Первая изъ двухъ группъ опять менѣе развита, чѣмъ вторая, ибо, по свидѣтельству Ренана, способна только къ простымъ предложеніямъ, тогда какъ вторая выноситъ и самый полный періодъ.—Языки второй государственной формации принадлежатъ къ тому же семейству, что и греческо-римскій, и составляютъ они три значительно различныя группы: романскую, германскую и славянскую. Отличаются всѣ эти группы отъ прежнихъ и превосходятъ ихъ, повидимому, не столько грамматически, сколько *лексически*: богатствомъ матеріальнымъ, а не формальнымъ, количествомъ словъ, а не формъ. Между собою же крайнія группы отличны сравнительнымъ развитіемъ *глагольности* въ славянской группѣ, благодаря внесенію видовъ въ глаголы и свободного образованія предложныхъ глаголовъ. Средняя же, германская, составляетъ переходную между ними группу.—Какія измѣненія предстоятъ или, по крайней мѣрѣ, возможны для будущихъ языковъ, объ этомъ надо заключать по всему предъидущему. Морфологическія измѣненія, по признанію лингвистовъ, исчерпываются флективностью. Дальше этого немислимы, по ихъ мнѣнію, никакія столь же существенныя видоизмѣненія. И такъ, остается только развитіе содержанія, матеріала языковъ. Съ другой стороны непрерывное умноженіе наукъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, умножаетъ и число общихъ для всѣхъ языковъ терминовъ, т. е. обобщаетъ означенный выше матеріалъ. Такимъ образомъ тѣмъ и другимъ путемъ мы подвигаемся къ идеалу, который почему-то считается фантастическимъ, къ идеалу если не *всемирнаго*, то общаго для многихъ націй языка, языка расоваго, континентальнаго, или, быть можетъ, языка, такъ сказать, культурнаго.—Другую условность всей системы преданій составляютъ способы увѣковѣченія произведеній языка. Древнѣйшій изъ этихъ способовъ, патриархальный, есть *изустность* преданія. Здѣсь сказка, пѣсня, пословица, правило могутъ быть переданы изъ поколѣнія въ поколѣніе только словесно, изъ устъ въ уста: никакихъ искусственныхъ средствъ для того еще нѣтъ, кромѣ одного ритма.—Въ государствахъ аристократическомъ (равно какъ и во всѣхъ государствахъ-народахъ) такое искусство уже имѣется. Многіе народы приписываютъ себѣ изобрѣтеніе этого искусства, и весьма можетъ быть, что всѣ они и правы, ибо попытки такого искусства встрѣчаются даже у дикарей. Раньше всего появляются повсюду счетные знаки, бирки, Квиппосы, т. е. разноцвѣтные шнуры съ узлами на нихъ для счета, найдены еще у перуанцевъ, при открытіи ихъ. Они также извѣстны съ самой глубокой древности и китайцамъ. Но не только бирки, а и попытки изображенія самыхъ словъ не чужды самымъ первобытнымъ степенямъ гражданственности. Краснокожій индѣецъ, для того, чтобы передать мысль свою иноземцу, начинаетъ рисовать самые предметы своей мысли. Вотъ обще-человѣческій источникъ всякаго идеографизма, всякаго образнаго письма, гіероглифовъ. Другую попытку того же рода представляетъ сокращеніе нарисованной фигуры въ символическій знакъ ея: это символизмъ. Еще дальше значокъ этотъ начинаетъ составлять собою не все имя предмета, а только начальный слогъ его, а еще позднѣе и одинъ начальный звукъ его, гласный или согласный: это—фонетизмъ. Такимъ образомъ получается во всякомъ случаѣ *письменность*. Бѣмъ бы и гдѣ бы ни было все это изобрѣтено, но право гражданства въ мірѣ письменность получаетъ въ первичной государственной формаціи: египтянамъ принадлежитъ по преимуществу первый изъ ея фазисовъ, идеографическій; китайцы остаются и до сихъ поръ при второмъ, символическомъ; а третій, фонетическій, звуковой, азбучный приписывается обыкновенно финикиянамъ. По крайней мѣрѣ, древнѣйшій изъ всѣхъ до нынѣ открытыхъ памятниковъ такой письменности есть дѣйстви-

тельно финикійскій, а именно сидонскій; между тѣмъ, какъ всѣ открываемые ассирійско-вавилонскіе памятники представляютъ еще смѣсь пословныхъ и слоговыхъ знаковъ. Какъ бы то ни было, но аристократическое преданіе есть повсюду уже письменное; и понятно, какое огромное преимущество получаетъ оно въ сравненіи съ прежнимъ, съ изустнымъ.—Тимократическое преданіе дѣлаетъ еще одинъ, столь же рѣшительный шагъ впередъ въ этомъ искусствѣ. Этотъ шагъ—*печатъ*. Печатный способъ преданія охраняетъ оное какъ отъ порчи, такъ и отъ совершенной утраты, которымъ подверглось такъ много преданій древняго міра. Благодаря печати, потомкамъ нашимъ наше наслѣдство достанется въ гораздо лучшемъ и полнѣйшемъ видѣ, чѣмъ въ какомъ сами мы получили богатства нашихъ предковъ. Фаустъ и Гуттенбергъ создали тимократизму такой памятникъ, который можетъ поспорить со всѣми другими, до сихъ поръ здѣсь помѣщенными.—Остается вопросъ: остановится-ли на этомъ усовершенствованіе системы преданій? Многія изобрѣтенія, уже и теперь существующія, отвѣчаютъ, что нѣтъ, не остановится. Въ самомъ дѣлѣ, телеграфъ, стенографія, телефонъ, фонографъ и т. п. показываютъ даже какое-то особенное напряженіе изобрѣтательности въ этомъ направленіи. Правда, все это суть новыя средства лишь для преданія въ пространствѣ, а не во времени; что же касается усовершенствованій послѣдняго рода, то, кромѣ скоропечатной машины и механическаго набора, ничто болѣе до сихъ поръ и не пробовано. Да трудно даже и представить себѣ, можно ли чѣмъ-нибудь превзойти печать въ дѣлѣ увѣковѣченія человѣческаго слова. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, для будущаго остается одна изъ двухъ задачъ, если не обѣ: или создать, какъ сказано выше, всеобщій языкъ, или же придумать такіе же всемірныя письмена, которыя были бы понятны всѣмъ, не смотря на различіе языковъ. Въ послѣднемъ случаѣ надо было бы ожидать чего-либо въ родѣ живописи мысли. Въ томъ и другомъ случаѣ послѣдствіе было бы одно и тоже: система *всемірнаго* преданія. Достигнется-ли когда-нибудь этотъ завѣтный идеалъ человѣчества, или нѣтъ; но онъ постоянно стоялъ и стоитъ у него передъ глазами, и постоянно восполняется въ исторіи то ролью греческаго языка и греческихъ письменъ въ древности, то ролью латинскаго въ средніе вѣка, то ролью арабскаго въ мусульманскомъ мірѣ, то ролью французскаго въ христіанскомъ.

Другимъ органомъ преданія, народнымъ, отправляющимъ эту передачу отъ поколѣнія къ поколѣнію, есть школа, педагогія. Исторически педагогія всегда распадалась на матеріальную и формальную, т. е. на изученіе дѣйствительныхъ предметовъ знанія, и, кромѣ того, изученіе самихъ средствъ познаванія. Въ такъ называемыя до-историческія времена все изученіе матеріальное ограничивалось усвоеніемъ дѣйствующихъ *обычаевъ*, а все формальное — усвоеніемъ существующихъ *словъ*. — На востокѣ этимъ матеріальнымъ содержаніемъ школы была *религія*, какъ единственное матеріальное знаніе, а формальнымъ — *отечественный языкъ*, какъ единственное средство преданія. Въ Индіи, напримѣръ, единственнымъ предметомъ изученія были веды, пониманіе которыхъ немислимо было безъ грамматики, которая и достигла здѣсь такой степени совершенства, что поразила нашихъ оріенталистовъ, когда была открыта. Въ Персіи то же мѣсто принадлежало Зенда-вестѣ, въ Іудеѣ — библии, въ Египтѣ — священнымъ книгамъ Таота и изученію гіероглифовъ. Въ пророческихъ училищахъ евреевъ все обученіе состояло въ толкованіи истиннаго смысла книгъ Моисея. Въ греческихъ гимназіяхъ, палестрахъ, портикахъ, лицейхъ, академіяхъ, матеріальное содержаніе сильно измѣняется: оно слагается здѣсь изъ *философіи* и *искусства*. Философія составляетъ, впрочемъ, лишь высшее образованіе; наиболѣе же всеобщее состоитъ изъ гимнастики, музыки и поэзіи. Гомеръ въ греческомъ образованіи былъ то же, что священное писаніе въ восточномъ. Что же касается формальной педагогіи, то школа ограничивалась, по прежнему, только роднымъ языкомъ; но чувствуется уже потребность и въ нѣкоторыхъ чужихъ, безъ которыхъ были бы невозможны тѣ путешествія, которыя такъ любилъ предпринимать любовзательный грекъ. Если Геродотъ разговаривалъ съ египетскими жрецами и персидскими магами, то зналъ ихъ языкъ или онъ, или переводчикъ его. Темистоклъ положительно говорилъ по-персидски. Римское же образованіе положительно уже ставитъ на первомъ планѣ формальный предметъ — *греческій языкъ*. Что же касается матеріальнаго, то оно не могло быть инымъ, чѣмъ у грековъ, съ тою разницей, что по преимуществу налегало на искусство ораторское, на реторику. — Новые народы основываютъ свое образованіе и свою школу не на религіи, которая въ нѣкоторыхъ странахъ вовсе устраниена изъ курса, и не на искусствѣ, которое все предоставлено домашнему образованію, и даже не на фи-

лософіи, которая нигдѣ не составляетъ предмета общаго образованія: а по преимуществу на наукѣ, а именно на *математикѣ* и *естествознаніи*. Формальное же образованіе основано безусловно на древнихъ *классическихъ языкахъ*, греческомъ и въ особенности латинскомъ, и при томъ почти предпочтительно предъ языкомъ отечественнымъ. — Изъ этого видно, что предметомъ матеріальнымъ всегда былъ тотъ элементъ цивилизаціи, развитіе котораго имѣлось на лицѣ, а формальнымъ тотъ языкъ, который служилъ для той или иной эпохи непосредственнымъ органомъ преданія. Отсюда становится естественнымъ выводъ о будущемъ. Лозунгомъ школы будущаго должно быть, съ одной стороны, *обществознание*, съ другой — изученіе *ново-европейскихъ языковъ*.

Третьимъ и послѣднимъ органомъ преданія, семейнымъ, есть домъ, семья. Это есть органъ преданій не столько умственныхъ, сколько нравственныхъ, не образованія, а воспитанія. Здѣсь передаются отъ поколѣнія къ поколѣнію не столько идеи, сколько нравы. Идеи, здѣсь усвоенныя, легко могутъ быть впослѣдствіи и дополняемы, и исправляемы школою; но разъ усвоенныя здѣсь нравы уже очень трудно поддаются не только исправленію, но даже дополненію. А такъ какъ ежедневный семейный бытъ состоитъ подъ исключительнымъ руководствомъ женщины; то отсюда и открывается вся перспектива этого будничнаго могущества ея. Можно сказать безъ преувеличенія, что нравы и обычаи общества, что самый выборъ первѣйшихъ преданій его, безусловно зависятъ отъ его женщинъ. Сознаніе это или не проникло еще достаточно ни въ тотъ, ни въ другой полъ, или же ни тѣмъ, ни другимъ достаточно не оцѣнено, если оба они могутъ говорить о какомъ-то иномъ женскомъ вопросѣ. Всякій иной будетъ или вопросомъ рабочимъ, или вопросомъ педагогическимъ, но никакъ не женскимъ. Единственно дѣйствительный женскій вопросъ предрѣшонъ уже дважды: и природою, и исторіею; и физиологіею, и социологіею; предрѣшонъ, слѣдовательно, такъ, что перерѣшать его теперь уже поадно, ибо пришлось бы измѣнять и самое физиологическое раздѣленіе полового труда, какъ подвладѣу и базисъ всякаго иного. Также точно и наоборотъ: невозможно вырвать изъ подъ рукъ женщины всю гражданственность общества, развѣ-бы человечество перестало размножаться. До тѣхъ же поръ въ концѣ всякаго, какъ социологическаго, такъ и историческаго процесса, волей-неволей, но на стражѣ будетъ

стоять женщина. Роль ея въ этихъ отношеніяхъ подобна роли жреца. Общественный организмъ равно хорошо приводится въ движеніе, съ какого бы конца его ни раздражали: съ цивилизаціоннаго или гражданственнаго. Жрецъ и женщина одинаково въ этомъ отношеніи всемогущи: одинъ, закладывая всѣ наши идеи, другая обосновывая всѣ наши нравы, обычаи, преданія. Но никогда она еще не относилась къ этому сознательно и произвольно. Патріархальная, она была не больше, какъ *самкой* въ домѣ, восточная — *рабыней*, классическая — *нянькой*, европейская — *хозяйкой*; но никогда еще не была она *гражданкой* въ своемъ домѣ. Теперь она хочетъ быть гражданкой въ государствѣ; но долго придется ожидать, когда она будетъ въ состояніи сдѣлаться ею хотя бы то въ семьѣ.

Оканчивая этимъ всю исторію преданій, можно подвергнуться упреку, что она, вопреки собственному плану автора, ограничивается лишь органами традиціонности, ни слова не говоря о самыхъ продуктахъ ихъ. Но исторію этихъ продуктовъ служить вся настоящая книга, такъ что здѣсь надо было бы начинать ее съ начала, чтобы изложить исторію преданій по существу *).

Этика гражданственности.

Эта социальная этика тѣмъ отличается отъ натуральной, что должна объяснять общественныя условія нравственности и характеровъ.

1.

На этотъ разъ начнемъ нашу статью съ конца гражданственности, съ преданій, чтобы, достигши до нравовъ, естественно перейти къ культурѣ, а отъ нея и къ цивилизаціи. Семья, школа, литература находятся въ общеніи непрерывномъ, и ежедневно вліяютъ другъ на друга. Между семьей, на примѣръ, и школой всегда стоитъ такой живой и такой чувствительный проводникъ, какъ дитя для одной и ученикъ для другой. Кромѣ того, родители первого, такъ

*) Регрессивная исторія гражданственности предполагаетъ возвращеніе, по аналогическимъ ступенямъ, къ безусловной свободѣ и безусловному равенству дикаго быта, но не вслѣдствіе всеобщаго безправія и всеобщей безнравственности, а вслѣдствіе всеобщей правомѣрности и вкоренившихся инстинктовъ нравственности. Вырожденіе же общаетъ всеобщій упадокъ и той, и другой. Перерожденіе — прекращеніе всей исторіи обихъ.

или иначе, но дѣйствуютъ на воспитателей второго, а эти обратно на тѣхъ. Равнымъ образомъ школа, какъ бы она ни старалась изолировать себя отъ литературы, будетъ непременно, съ одной стороны, питаться ею, а съ другой — питать ее самое. Наконецъ семья и литература не могутъ быть разгорожены уже потому, что безъ потребителей въ первой не было бы производителей и во второй. Весьма распространенъ упрекъ, что французское общество XVIII вѣка развращено было пагубной литературой. Но съ такимъ же точно основаніемъ можно было бы доказывать, что французская литература XVIII вѣка была развращена пагубнымъ настроеніемъ общества; мало того, она была развращаема и самою правительственною школою, ибо между французскою школою, не исключая академій, и французскою литературою шло непрерывный обмѣнъ. Въ подобныхъ упрекахъ всегда предполагается, что между всѣми элементами общественности существуетъ полное разобщеніе, и что каждый изъ нихъ независимъ отъ всѣхъ другихъ и вліять на всѣ другіе не можетъ, (кромѣ, впрочемъ, того, который надо въ этомъ обвинить). — Въ системѣ обычая такое же полное созвучіе живетъ между количествомъ общности и ея качествомъ. Чѣмъ больше въ ходу формы и чѣмъ онѣ разнообразнѣе, тѣмъ и царятъ онѣ въ обществѣ безусловнѣе. Напротивъ, чѣмъ меньше ихъ становится, тѣмъ больше подрывается ихъ обаяніе; или, пожалуй, наоборотъ, чѣмъ больше подрывается это обаяніе, тѣмъ становится ихъ меньше. А подобный процессъ ничѣмъ больше и не можетъ разрѣшиться, какъ наименьшимъ количествомъ обрядности, и наибольшей своеобычностью ея. — Менѣе было бы удивительно, еслибы существовали противорѣчія между умственными сноровками и нравственными. На индивидуумахъ видѣнъ очень нерѣдко полный разладъ между этими двумя нравами, какъ, на примѣръ, на философѣ и канцлерѣ Бэконѣ. Но чѣмъ наблюдаемая группа индивидуумовъ крупнѣе, тѣмъ подобный разладъ все рѣже и рѣже. На сословіяхъ, на примѣръ, онъ еще возможнѣе; на цѣлыхъ же народахъ — едва-ли. А въ человечествѣ, какъ цѣломъ, онъ уже совершенно непримѣренъ. Здѣсь, если формація выше или ниже другой въ умственныхъ нравахъ, то непременно выше или ниже ея и въ моральныхъ. А потому нисколько не удивительно, если апатичность ума сопровождается всѣми пороками чувственности, и обратно. Союзъ этотъ можно наблюдать когда угодно на всѣхъ индивидуумахъ, чувственно

пресыщенных и истощенных. Не удивительно также и то, если, при такой апатичности мужского ума, женская инстинктивность настолько поражает его, что онъ возводитъ её въ колдовство, въ волшебство. Если даже нынче женщина превосходитъ мужчину предчувствіями, чутьемъ; то что же должно было быть, когда она была еще ближе къ природѣ. Если даже теперь женщина сначала опережаетъ мужчину въ способности къ усвоенію знаній; то насколько же должна была она опережать его тогда! Въ свою очередь, когда мы возьмемъ всю группу моральныхъ нравовъ, то въ ней чувственные нравы, эстетическіе и сверхчувственные до такой степени обусловлены одни другими, что, по состоянію каждаго, можно напередъ опредѣлить состояніе двухъ остальныхъ. А именно чувственные и сверхчувственные пропорціалны всегда обратно. Гдѣ царятъ всѣ чувственные пороки, тамъ нечего уже искать ни свободы, ни равенства, ни чести, ни самоотверженія. Гдѣ сколько нибудь отвоевали почву эти, тамъ она отвоевана непремѣнно на счетъ тѣхъ. Съ своей стороны, эстетическіе нравы однимъ своимъ краемъ, эгоистическими наклонностями, примыкаютъ къ чувственности, другимъ, туистическими движеніями—къ сверхчувственности. Поэтому въ нихъ существуетъ такой же антагонизмъ между степенями эгоизма и самоотверженія. Чѣмъ могущественнѣе дѣйствуетъ первый, тѣмъ слабѣе второе, и наоборотъ.—Наконецъ, взявши гражданственность во всей ея цѣлости, и сравнивая между собою всѣ три области ея: преданіе, обычай, нравъ, найдемъ еще болѣе наглядную солидарность, чѣмъ вся предъидущая. Даже въ отдѣльномъ индивидуумѣ мысль или чувство съ большимъ трудомъ расходится съ жестомъ и словомъ: подобное расхожденіе есть даже признакъ ненормальности индивидуума. Въ героѣ же исторіи подобный разладъ права, обычая и преданія совершенно невозможенъ. Но эта солидарность ихъ всѣхъ трехъ не всегда одинакова: въ однихъ случаяхъ она опять прямая, въ другихъ—опять обратная. Такъ все вообще преданіе и весь вообще обычай рѣшительно обратно пропорціалны. Чѣмъ больше мимики, формъ, тѣлодвиженій, обрядности, тѣмъ меньше и литературы, и языка, и школы, и семьи. А чѣмъ больше семьи, школы, языка, литературы, тѣмъ меньше ритуала, формализма, пантомимы. Такое же точно отношеніе существуетъ между обычаемъ и нравомъ. Сперва обычай подавляетъ собою нравы (какъ подавляетъ и преданіе); но, по мѣрѣ того, какъ чувства развиваются, они, вмѣстѣ

съ тѣмъ, и обособляются отъ обычаевъ, подъ именемъ нравовъ, такъ что между тѣмъ и другимъ возникаетъ разница. Еще дальше, нравамъ суждено разростаться, а обычаямъ въ такой же степени глотнуть. Такимъ же образомъ обычай сдавливается съ обѣихъ сторонъ и преданіемъ, и правомъ, и потому осужденъ, повидимому, на неминуемое вымирание. Наоборотъ, пропорціональность между нравами и преданіями есть вполне прямая, а не обратная. Чѣмъ больше развиты нравы, тѣмъ богаче литературы, тѣмъ гибче языки, тѣмъ полнѣе школа, тѣмъ животворнѣе семья. И, обратно, чѣмъ больше развиты всѣ средства преданія, тѣмъ нравы человѣческіе достойнѣе. Словомъ, все, что въ гражданственности объективно, развивается на счетъ всего, что есть въ ней субъективнаго, и *vice versa*. Въ началѣ этой борьбы торжество принадлежитъ объективности, въ концѣ — субъективности.

Но еще гуще становятся краски солидарности, когда мы переходимъ къ союзу всей гражданственности со всею вообще культурою. Такъ, напримѣръ, можетъ ли быть связь тѣснѣе и нагляднѣе, какъ существующая между нравами, съ одной стороны, и организаціей общества, политикой ихъ и правомъ, съ другой? Развѣ сладострастіе не есть чисто аристократическій порокъ, порокъ извѣстной общественной организаціи?.. Только при одной этой организаціи имѣются всѣ данныя для широкаго примѣненія этого рода чувственности, а именно: богатство, праздность, развитіе вкуса, просторъ въ выборѣ красоты и т. п. Одну изъ этихъ причинъ призналъ самъ пѣвецъ сладострастія, Овидій. Когда онъ задался вопросомъ о лекарствахъ отъ любви, онъ не нашолъ ничего другого, какъ избавленіе отъ праздности. Отсутствие физическаго труда, ослабляя систему мускульную, крайне раздражаетъ нервную; а раздраженіе это и разрѣшается, съ одной стороны, созерцаніемъ, мышленіемъ, а съ другой — похотью. Для всѣхъ другихъ классовъ и основанныхъ на нихъ общественныхъ организацій такое удовольствіе слишкомъ дорого, слишкомъ много требуетъ для себя времени, слишкомъ много отнимаетъ у производительнаго труда, слишкомъ много предполагаетъ эстетической подготовки, слишкомъ мало представляетъ выбора и т. п. По этому оно и нашло себѣ почву по преимуществу лишь въ аристократіяхъ. Распредѣленію этому содѣйствуетъ самая статистика половъ. Женщинъ и теперь нѣсколько меньше, чѣмъ мужчинъ, а въ тѣ времена, когда дѣвочекъ убивали преимущественно

предъ мальчижами, отношеніе это было и еще невыгоднѣе. Поэтому всякое сгущеніе женщинъ въ одномъ изъ социальныхъ классовъ тѣмъ пуще только разрѣжало ихъ во всѣхъ остальныхъ. А сгущеніе это и есть не что иное какъ радикальнѣйшій изъ аристократизмовъ, потому что оно есть одна изъ самыхъ основныхъ привилегій одного класса надъ всѣми другими. Полигамія существенно аристократична, какъ аристократія существенно полигамична. Поэтому же, съ упаданіемъ всякаго аристократическаго строя, непременно ослабляется и полигамизмъ, и половая раздражительность. Наконецъ, если аристократическое развитіе вкуса, если чувство красоты предполагаетъ наклонность въ злоупотребленію любовью; то, въ свою очередь, она сама вызываетъ развитіе вкуса и чувство красоты. Изъ всѣхъ страстей плотугодія ни одна не воспитываетъ собою чувствъ изящнаго: оба порока чревоугодія не носятъ въ себѣ ни малѣйшаго зерна эстетическихъ движеній; между тѣмъ, половая любовь есть самая родина эстетики. Прежде чѣмъ развиться какою нибудь эстетическою философіею, или какинъ нибудь искусствомъ эстетическимъ, или даже какою либо иною природою, вкусъ скорѣе всего развивался женскою красотою, этой эстетикой самой жизни. Отсюда и все эстетическое развитіе человѣчества ведетъ свое начало отъ эпохи аристократической, а въ ней, въ свою очередь, оно неразрывно съ красотою женщины. Не только восточные деспоты развлекаютъ себя музыкой, пѣніемъ и пляскою красавицъ, но и классическій аристократъ не знаетъ званаго пиршества, безъ танцовщицъ, пѣвицъ и арфистокъ. А сладострастная пантомима, оставляющая далеко позади себя всѣ нынѣшніе банканы, парадировала на всемъ пространствѣ отъ Ганга до Тибра, отъ баядерки до римскаго архимима. Словомъ, нѣтъ болѣе вѣрной взаимности, какъ аристократизмъ, сладострастіе, эстетика, увеселеніе и т. д.—За то же развѣ сластолюбіе не есть специфическій порокъ тимократіи? и, при томъ, въ самомъ грубомъ своемъ видѣ: объяденія, а не изысканности? Изысканность, пикантность, гастрономизмъ, привносится сюда только аристократическими вкусами, которыми заимствуются развѣ лишь высшіе ряды тимократій. Вся же масса тимократіи довольствуется только обиліемъ и сытностью яствъ, безъ всякой аристократической приправы ихъ. Состоя вся изъ выходцевъ отъ низшихъ сословій, масса эта естественно накидывается, при первой открывшейся возможности, на то, въ чемъ чувствовался прежде самый

жгучій недостатокъ,—на достаточное питаніе организма, и при этомъ естественно ударяется въ злоупотребленіе, въ излишество. Съ другой стороны, послѣ усиленнаго труда и постояннаго движенія, попавъ въ положеніе усиленнаго отдыха и постояннаго покоя, масса эта предрасположена къ утучненію, подобно гусю, посаженному въ мѣшокъ. По крайней мѣрѣ, связь этого положенія съ этимъ послѣдствіемъ всегда замѣчалась. Когда средневѣковые города поднимались изъ своего ничтожества и стали жить припѣваючи, и когда населеніе ихъ стало распадаться на два противоположные класса; то классами этими были жирные и худые. Эмиль Золя, устами одного изъ своихъ героевъ, также дѣлитъ буржуазію на жирную и худую.—Наконецъ, развѣ пьянство не есть привилегированный порокъ демократизма, какъ удовольствіе самое дешовое, самое удободоступное какъ для самыхъ бѣднѣйшихъ, такъ и для наименѣе досужныхъ. А между тѣмъ, кромѣ своей доступности, оно несетъ съ собою еще и ту нервную возбуждательность, въ которой такъ нуждается всякій избытокъ мускульнаго труда. Хмѣльные напитки слывутъ даже подъ именемъ нервного питанія.—Такимъ же образомъ продуктами организацій суть и чувства родства, и всѣ степени патріотическаго чувства, и чувство гуманизма. Храбрость и подвижничество суть такой же плодъ политики, а не организаціи, а именно политики войны и вѣры. Предпріимчивость и гражданское мужество суть дѣти другой политики, промышленной и правовой. Самообладаніе и терпимость могутъ быть ожидаемы естественно лишь отъ политики знаній и труда. Въ особенности же свобода и равенство (нравственныя) суть очевидное дополненіе свободы и равенства юридическихъ, и, слѣдовательно, суть произведенія права. Можно ли, на примѣръ, усомниться, что чувство свободы гораздо свойственнѣе всякому моменту самоуправленія, чѣмъ какому бы то ни было изъ моментовъ иноуправленія. Можно ли недоумѣвать, гдѣ привольнѣе зрѣтъ чувствамъ равенства: въ аристократіяхъ, въ тимократіяхъ, или въ демократіяхъ! Конечно, на всякую почву можетъ быть пересаживаемо всякое растеніе; но за то-же оно можетъ и вырасти здѣсь уродливо и даже совсѣмъ загдохнуть. Такъ и для пышнаго разцвѣта всякаго права необходима родная ему почва. Потому-то никогда еще въ деспотической обстановкѣ не разводились характеры свободные; напротивъ, выпрямляясь въ одну сторону, гнутся въ другую—въ этомъ весь завѣтъ деспотій. Никогда также въ обста-

новѣй аристократической не воспитывалось уваженіе къ труду; напротивъ, лѣнь и праздность дѣлались своего рода признаками аристократизма. Наконецъ, честь и вѣжливость, этотъ крайній осадокъ всѣхъ остальныхъ чувствъ, всего я и ты человѣческаго, есть вмѣстѣ съ тѣмъ постулатъ и всѣхъ вообще условій культуры, какъ организаціонныхъ, такъ и политическихъ, и правовыхъ. Только всѣ вмѣстѣ слагаютъ они какъ нашъ эгоизмъ, такъ и нашъ туизмъ.—Но здѣсь мы должны еще одинъ разъ, и послѣдній, сдѣлать отступленіе въ экономическую организацію, политику и право. Дѣло въ томъ, что гражданинъ, самыя первыя потребности котораго не обезпечены и не удовлетворены, никогда не можетъ возвыситься, помимо того, до потребностей высшихъ и ихъ обезпеченія и удовлетворенія. Кромѣ того, онъ всегда будетъ пребывать въ зависимости, и притомъ по самымъ насущнымъ своимъ интересамъ, какъ отъ власти, такъ и отъ остальныхъ гражданъ; и по этому онъ никогда не въ состояніи слѣдовать прямымъ внушеніямъ совѣсти, долга, чести, достоинства, иначе, какъ развѣ подъ условіемъ героизма и мученичества. Вслѣдствіе этого, вопросъ матеріальнаго, экономическаго обезпеченія всегда былъ, есть и будетъ однимъ изъ величайшихъ вопросовъ не только культуры, но и гражданственности. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, не слѣдуетъ преувеличивать гражданственныхъ послѣдствій этого культурнаго условія. Въ этомъ отношеніи не надо забывать урокъ, данный публицистамъ своего времени Наполеономъ I. Собираясь издавать свой знаменитый кодексъ, съ его созидательной силой мелкой собственности, либеральные юристы Франціи были въ восторгѣ, что они обезпечиваютъ матеріально чуть не каждому французу, и тѣмъ открываютъ ему путь ко всѣмъ высшимъ благамъ жизни. Между тѣмъ, гениальный деспотъ, и съ своей стороны, крайне охотно санкціонировалъ тотъ же кодексъ, но только совсѣмъ въ другихъ видахъ и по инымъ мотивамъ, о которыхъ онъ предпочелъ промолчать. Отерылъ онъ ихъ только впослѣдствіи, и лишь на ухо брату своему; такъ что когда юристы узнали это откровеніе, имъ оставалось только раскрыть рты отъ изумленія. Наполеонъ умѣлъ увидѣть другую сторону медали и узнать послѣдствія, какихъ юристы не предвидѣли. Онъ зналъ, какъ, по характеристическому выраженію его, кодексъ этотъ займется постояннымъ рассыпаніемъ всего, что однажды сколочено, какъ всякое состояніе будетъ онъ перетирать въ пыль, подобно жернову, и, словомъ, какъ онъ зай-

метъ руки и умы неотложнымъ для нихъ дѣломъ, устраняя ихъ отъ дѣлъ высшаго порядка и укрѣпляя тѣмъ власть. Наполеонъ охотно уступалъ Франціи такое частное право, воплнѣ увѣренный, что имъ онъ обезпечиваетъ свое публичное. И обстоятельства не преминули подтвердить его прозорѣніе. Правы были юристы, но правъ и Наполеонъ. Къ чувствамъ независимости, къ свободнымъ правамъ, способна вести только крупная собственность, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ ведетъ она и къ массѣ пороковъ, первый изъ коихъ—свобода лишь немногихъ; мелкая же собственность, хотя обнимаетъ и многихъ, но она въ силахъ только спасать ихъ отъ голодной смерти, а не открывать имъ эру свободы и равенства. Мало того, при всякомъ удобномъ случаѣ, она подставитъ еще ногу и той свободѣ, какая имѣлась уже на лицо. Если одинъ міръ (древній) погибъ отъ крупной собственности; то другой (новый) также хорошо можетъ погибнуть отъ мелкой. И хотя оба эти опыта были неизбежны, чтобы придти къ третьему, къ достатку, къ среднимъ состояніямъ, равно исключаящимъ какъ провлятіе, именуемое бѣдностью, такъ и другое, называемое богатствомъ; но разгадка міровой задачи лежитъ только здѣсь, только въ устраненіи обѣихъ крайностей, и, слѣдовательно, только далеко отъ нашихъ временъ. А потому сколько бы культура ни разводила по землѣ мелкую собственность, но гражданственность выиграетъ отъ этого еще немного: ея дѣйствительный выигрышъ лишь цифра среднихъ состояній. Господство же среднихъ состояній мыслимо лишь при господствѣ авторской собственности, которое, въ свою очередь, предполагаетъ, съ одной стороны, сдачу всего ручного труда машинамъ, съ другой — всеобщее и даровое образованіе, съ третьей — обширную интеллигенцію, и т. д., словомъ, предполагаетъ всѣ условія послѣдняго, демократическаго поколѣнія государствъ.

Наконецъ гражданственность всѣми своими нитями сплетена также и со всѣй вообще цивилизаціей. Ея апатичность есть синонимъ отсутствія всякой цивилизаціи; ея мистицизмъ есть эхо тамошней религіи; утопизмъ ея есть слѣдъ отъ тамошней философіи; ея позитивизмъ—есть результатъ тамошней научности. Ея женщина волшебница—отродье фетишизма; ея женщина красавица—отпрыскъ политеизма; ея женщина мученица—цвѣтъ монотеизма. Всѣ чувственные нравы суть послѣдкі религіи, философіи и науки природы: всѣ эгоистическіе и туистическіе—такія же послѣдствія рели-

гін, філософії и науки общества; а нравы сверхчувственные — прямой результат религії, філософії и науки чело́вѣка. Всякая педагогія гражданственности есть вѣрное охвостье какой-нибудь стадіи цивилизаціи: патріархальная — влечется за обычаемъ; древняя — плетется за религіей и філософіей; новая — за естественной наукою; будущая — за наукой общественной. Навоинець, самый обычай, это отовсюду гонимое чадѣ гражданственности, своею тиранничностью отражаетъ полный нуль цивилизаціи; своею неподвижною уставностью отражаетъ въ себѣ духъ религії; своей капризной и вѣчно мѣняющейся модою пародируетъ філософію и ея школы; своей эксцентричностью подражаетъ научной условности. Если бы въ заключеніе надо было указать тѣсную солидарность гражданственности одновременно и съ культурой, и съ цивилизаціей, то лучшаго образца для того не найдемъ, какъ наше массонство. Массонство есть, конечно, продуктъ нашей гражданственности, нашихъ нравовъ; а между тѣмъ оно все и цѣликомъ закованѣно на современной ему цивилизаціи и современной культурѣ. Что въ цивилизаціи было монотеизмомъ, религіей, идеей, то здѣсь стало простой привычкой ума, который безъ понятій о бытіи бога и безсмертіи души сдѣлался почти немислимымъ. Что въ культурѣ было международностью, закономъ, правомъ, то здѣсь сдѣлалось привычкой сердца, которое безъ идеала любви къ ближнему, безъ чувства братства, становится непонятнымъ. Массонство тѣмъ вѣрнѣе своей культурѣ и своей цивилизаціи, что оно отвѣчаетъ не только положительнымъ, а также отрицательнымъ сторонамъ ихъ. Въ массонскій орденъ допускаются только монотеисты, каковы бы они ни были; но туда не можетъ проникать ни политеистъ, ни атеистъ, такъ что вселенскости все таки нѣтъ. Въ массонскомъ орденѣ фигурируютъ только фрави, люди культурные, приобщенные къ современной цивилизаціи, только аристократы и тимократы; но тамъ нѣтъ мѣста блузнику, простолюдину, такъ что абсолютнаго демократизма опять-таки нѣтъ.

2.

Гражданственность есть не что иное, какъ инкорпорированіе данной цивилизаціи и культуры въ плоть и кровь общества. Это дѣятельность пассивная, а не активная; творчества тутъ, собственно говоря, нѣтъ, по крайней мѣрѣ пока рѣчь идетъ о нравахъ, о привычкахъ. Нравы не созидаются гражданствомъ, а только воплощаются имъ.

На это указывает самая сущность и классификація ихъ. Интеллектуальные нравы суть привычки, производимыя извѣстной цивилизаціею; моральные нравы—привычки, образуемыя соотвѣтственной культурой. А потому и оправдывать динамическую послѣдовательность, преемственность всѣхъ этихъ привычекъ значило бы, по большей части, повторять оправданія, однажды уже приведенныя въ логику цивилизаціи и въ эстетикѣ культуры. Одно только сдѣлаемъ мы исключеніе: демонстрируемъ развитіе сверхчувственныхъ нравовъ; потому что здѣсь не придется намъ повторяться. Прогрессія первая изъ этихъ нравовъ представляется храбростью, предприимчивостью и самообладаніемъ. Храбрость была послѣдствіемъ, сперва борьбы со звѣрями (охоты), потомъ—борьбы съ людьми (войны). Другими словами, она была послѣдствіемъ, сперва, антагонизма между животнаго, а потомъ междучеловѣческаго. Предприимчивость есть такое же послѣдствіе боренія, но уже не внѣшняго, а внутренняго, не военнаго, а мирнаго, короче, послѣдствіе конкуренціи. Самообладаніе есть снова послѣдствіе борьбы, но только уже не объективной, а субъективной, не въ обществѣ, а въ самомъ индивидуумѣ. Общимъ въ этомъ ряду представляется то условіе, что борьба и героизмъ идутъ, такъ сказать, концентрическими кругами, отъ большихъ къ меньшимъ, отъ внѣшнихъ къ внутреннимъ, отъ объективныхъ къ субъективнымъ. Другой рядъ нравовъ есть: подвижничество, гражданское мужество, терпимость. Подвижничество есть не что иное, какъ борьба съ своею плотью, слѣдовательно съ физической природой. Гражданское мужество есть борьба съ обществомъ или, по крайней мѣрѣ, съ властью въ немъ. Толерантность есть борьба и побѣда надъ самимъ собою и при томъ по отношенію къ другимъ. Т. е. опять тѣ же концентрическіе круги, и тотъ же переносъ борьбы съ одной почвы, обширнѣйшей, на другую, тѣснѣйшую: съ фізіологической на соціологическую, съ соціологической на психологическую.—Другимъ изъ сверхчувственныхъ нравовъ есть нравъ чести и вѣжливости. Но исторія ихъ обѣихъ такова же, какъ и предыдущихъ. Какъ честь, такъ и вѣжливость, подвигаясь отъ синтетичныхъ въ оффиціальныя, изъ оффиціальныхъ въ личныя, и отъ личныхъ въ нравственныя, повторяютъ опять ту же исторію концентрическихъ круговъ, изъ которыхъ каждый послѣдующій есть болѣе и болѣе внутренний, а каждый предыдущій все болѣе и болѣе внѣшній. Такимъ образомъ исторія сверхчувственныхъ нравовъ воссоздаетъ предъ

нами исторію всей Біологіи, которая поступает также отъ фізіологіи къ психологіи.

Но честь есть лишь на-половину созданіе гражданственности. Если же эта послѣдняя гдѣ-нибудь производительна цѣликомъ, если ей принадлежитъ гдѣ-нибудь творчество исключительное; то это въ обычаяхъ и въ преданіяхъ. Здѣсь нравы облачаютъ себя въ извѣстную оболочку, которую сами же должны и создать для себя,—въ образъ, въ слово; а потому здѣсь же только возможно самобытное творчество съ ихъ стороны. По этой причинѣ, если послѣдовательность гражданственности нуждается въ объясненіяхъ, то именно по отношенію къ обычаямъ и къ органамъ преданій. Постоянное уменьшеніе количества общности психологически объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что все виѣшнее въ человѣкѣ рано или поздно непременно уступаетъ всему внутреннему. Тянущійся по всей исторіи колоссальный процессъ борьбы духа съ плотью, субъективизма съ объективизмомъ, душевнаго съ тѣлеснымъ, не могъ не отразиться и въ творчествѣ гражданственномъ. Но здѣсь духъ, субъективизмъ, душевность, представлены нравами и преданіями, а тѣлесность, объективизмъ, плоть—одними обычаями; по этому судьба обычаевъ и оказывается такою же, какая у всего, что имъ родственно. Въ частности же это объясняется натурою языка жестовъ. Многіе дикари, которымъ не достаётъ словъ, перестаютъ понимать другъ друга въ темнотѣ: до такой степени языкъ жестовъ оказывается здѣсь вспомогательнымъ. Въ учебныхъ заведеніяхъ для глухонѣмыхъ говорящій никогда такъ скоро и такъ хорошо не научается говорить жестами, какъ глухонѣмой. Они же только и самые лучшіе изобрѣтатели и обогатители своего языка. Другими словами: языкъ и мимика суть антитезы, такъ что чѣмъ больше одного, тѣмъ меньше другого. Вотъ и другая причина, почему исторія языка всебогатѣетъ, а исторія обычая все оскудѣваетъ.—Качественный же прогрессъ обычая отъ тиранничности къ эксцентричности можно комментировать такимъ же процессомъ души отъ рефлексивности къ сознательности. Первоначальный обычай есть не что иное, какъ общественный рефлексъ, также инстинктивный, также бессознательный, какъ и любое тѣлодвиженіе въ отдѣльной особи, подъ вліяніемъ извѣстнаго раздраженія; но по этому самому онъ и не можетъ быть инымъ, какъ безусловно повелительнымъ, недопускающимъ никакихъ отступленій. Отступленія возможны только при сознательныхъ движеніяхъ; бессознательныя же

вовсе не знают их. За то и наоборот: сознательность, въ свою очередь, совсѣмъ не терпитъ движеній рефлексивныхъ, но каждое изъ нихъ задерживаетъ и прощѣживаетъ сквозь призму цѣлесообразности. Отсюда необходимымъ послѣдствіемъ такого состоянія общества есть эксцентричность, своеобычность каждой особи въ немъ. Рефлексы всѣ одинаковы и всеобщы; произвольныя же движенія крайне разнообразны и индивидуальны. Короче, между тиранническимъ обычаемъ и эксцентричнымъ такая же разница, какъ между конвульсивнымъ движеніемъ и размѣреннымъ, рассчитаннымъ. Задержка же тиранническаго обычая и переработка его въ своеобычность производится сначала уставнымъ обычаемъ, а потомъ моднымъ, которые такимъ образомъ и играютъ роль задерживающихъ или, вѣрнѣе, задержанныхъ движеній. Такимъ образомъ человечество есть своего рода громадное тѣло, громадный сотворяемый организмъ, гдѣ дѣйствуютъ иногда не только такіе же, но тѣ же законы, что и въ тѣлѣ индивидуальномъ, что въ организмѣ уже сотворенномъ. Исторія обычая повторяетъ предъ нами исторію Организмовъ.

Устанавливаемая нами преемственность въ системѣ преданій не менѣе естественна и психологична. Высшей степени своего творчества гражданство достигаетъ въ созданіи языка. Честь эту никто съ нимъ не раздѣляетъ: ни власть, ни даже интеллигенція; ни культура, ни даже цивилизація. Онѣ даже не охраняютъ языка, какъ охраняли обычай, ни религіею, ни уголовнымъ преслѣдованіемъ. Языкѣ гораздо прежде обычая, испованъ вѣка, и разъ навсегда, предоставляется весь и цѣликомъ произволу общественнаго мнѣнія, модѣ. Впослѣдствіи ученые, конечно, добавляють сюда и свои капли, но это капли въ морѣ. Самое же море есть дѣло рукъ безвѣстнаго и безыменнаго гражданства. А. до какой степени исторія этого гражданства въ этомъ случаѣ аналогична съ психологіей каждаго ребенка—это доходитъ почти до тождества. Извѣстно, что всякое дитя начинается не инымъ языкомъ, какъ моносиллабическимъ: имена отца и матери всегда односложны. Другими словами, дитя говоритъ сначала только корнями. При этомъ, единственнымъ средствомъ извернуться ему, чтобъ дать понять себя, остается то же, что и у диваря: удареніе, выкрикъ на томъ или другомъ словѣ, жестъ. Впослѣдствіи дитя переходитъ къ частицамъ, показывающимъ отношенія словъ между собою, т. е. начинаетъ говорить языкомъ составительнымъ. Но въ языкѣ этомъ все еще преобладаетъ имен-

ной характеръ, существительно-прилагательный. Но вотъ дѣти научаются измѣнять и корни словъ для показанія отношеній между ними, начинаютъ пользоваться не только именами, но даже глаголами и всѣми измѣненіями ихъ, словомъ, заговариваютъ языкомъ флективнымъ. Однакожъ и тутъ не все. Сперва они говорили только предложеніями, теперь же рѣчь ихъ становится способна и къ цѣлымъ періодамъ. И такъ, языкъ отрока сложился вполне; что же прибавить сюда языкъ юноши? Ничего больше, какъ въ готовые формы вольетъ новое содержаніе, увеличить запасъ, матеріалъ своего языка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и весь кругозоръ мышленія, что и совершается посредствомъ приобщенія къ современной цивилизаціи, культурѣ и гражданственности. Съ другой стороны, до сихъ поръ онъ не могъ избѣжать особенностей въ своемъ личномъ языкѣ, провинціализмовъ; съ этихъ же поръ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше онъ начинаетъ говорить такъ называемымъ литературнымъ языкомъ его общества, чѣмъ и воспроизводится въ его личной жизни наиболѣе всеобщій языкъ. Языкъ мужа есть всегда уже языкъ литературный. Такимъ образомъ, исторія человѣчества похожа иногда на исторію индивидуума, на жизнь особи. Исторія преданій воспроизводитъ предъ нами Біографію.

Обычаемъ и языкомъ творческая роль гражданства истощается вся, и оно впадаетъ опять въ одну лишь пассивную инкорпорацію и эскорпорацію цивилизаціи и культуры. А именно, въ школьномъ преданіи оно слѣдуетъ по пятамъ цивилизаціи, въ семейномъ—по слѣдамъ культуры; и потому ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ въ особыхъ комментаріяхъ не нуждается.

Говоря же вообще о гражданственности, нельзя не замѣтить, что она вся запечатлѣвается печатью культуры, подобно тому, какъ сама культура носитъ на себѣ печать подлежащей цивилизаціи. Въ культурѣ всѣ великія перемѣны происходятъ отъ того, вдохновляется ли она идеями религіи, или же философіи, или науки. Всѣ радикальныя измѣненія въ гражданственности совершаются смотря по тому, какіе идеалы культуры воплощаетъ она: аристократическіе, тимократическіе или демократическіе.

ПСИХОЛОГІЯ ІСТОРІИ.

Подъ этимъ общимъ названіемъ помѣщается здѣсь все, что не могло найти мѣста ни въ логикѣ, ни въ эстетикѣ, ни въ этикѣ, но что, тѣмъ не менѣе, принадлежитъ имъ всѣмъ вмѣстѣ. Всѣ такія общности снова, однаковъ, распадаются на динамическія и статическія.

1.

Первымъ изъ всеобщихъ динамическихъ условій, равно свойственныхъ и цивилизаціи, и культурѣ, и гражданственности, есть, конечно, свойство Движенія, и при томъ движенія къ лучшему, т. е. прогресса, совершенствованія. Вопросы, которые при этомъ любилъ задавать себѣ философія исторіи, какъ на примѣръ, есть-ли прогрессъ движеніе непрерывное или же перемежающееся? круговое или поступательное? одностороннее или всестороннее? и т. п., всѣ такіе вопросы, съ точки зрѣнія предъидущаго изложенія, разрѣшаются теперь весьма просто. Если имѣть въ виду лишь одни абсолютные моменты исторіи, то прогрессъ ея есть постоянный, непрерывный; если же принять во вниманіе и моменты относительные, то прогрессъ окажется, напротивъ, безпрестанно прерываемымъ, перемежающимся, и прерываемымъ именно на все время относительныхъ моментовъ. Также точно, если взять въ соображеніе двѣ, три, четыре послѣдовательныя метаморфозы, но не всѣ безъ исключенія, то рядъ ихъ представится прямолинейнымъ, стремящимся постоянно впередъ; но коль скоро есть возможность представить себѣ ихъ всѣ, — движеніе непременно покажется круговымъ, возвращающимся назадъ, къ своей исходной точкѣ, или, по крайней мѣрѣ, къ подобію ея. Наконецъ, чѣмъ меньшія части цѣлаго станемъ мы сравнивать, на примѣръ отдѣльныя общества, тѣмъ прогрессъ ихъ будетъ одностороннимъ; но, при сравненіи цѣлыхъ поколѣній обществъ, сравнительный прогрессъ ихъ будетъ тѣмъ универсальнѣе, чѣмъ сравниваемые поколѣнія полнѣе. Ко всему этому надо присоватькупить еще, на основаніи всего видѣннаго въ этой книгѣ, что то движеніе въ природѣ, которое именуется историческимъ прогрессомъ, есть еще крайне неравномѣрное. Однѣ части всеобщаго цѣлаго движутся быстрѣе и становятся передовыми, другія — гораздо мед-

леннѣе и оказываются отсталыми. Вслѣдствіе этого, на какомъ бы моментѣ ни застигали мы это движеніе,—всегда въ немъ встрѣтятся и передовые зародыши будущаго, и отсталые слѣды прошедшаго, и вполне современные симптомы настоящаго.

Отъ этихъ наиболѣе общихъ понятій о прогрессѣ переходя въ болѣе частнымъ, прежде всего встрѣчаемся съ вопросомъ о значеніи народовъ въ человѣчествѣ. Въ этомъ отношеніи мы убѣждаемся съ очевидностью, что родъ человѣческій, какъ и всякій другой зоологическій родъ, живетъ только своими Видами, только смѣною однихъ изъ нихъ другими, только перерожденіемъ однихъ въ другіе. Человѣчество есть, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, чистѣйшій абстрактъ, и живетъ оно пока только своими народами, только ихъ смѣною и перерожденіемъ ихъ другъ въ друга. Безъ этой постоянной смѣны, безъ этого поминутнаго обновленія человѣчества, и самое движеніе въ немъ или вовсе не могло бы осуществиться, или крайне замедлялось бы, или же остановилось бы слишкомъ скоро. Но если каждое новое поколѣніе народовъ принимаетъ отъ каждаго предъидущаго весь запасъ его опыта, и если, пріобщивъ къ нему опытъ всей собственной жизни своей, опять передаетъ ихъ оба будущему; то сумма, такимъ образомъ накопляемая, способна приращаться несравненно больше и скорѣе, чѣмъ безъ подобной передачи. Никакой старый и изжитой факторъ не могъ-бы дѣйствовать съ энергіею и производительностью новаго и свѣжаго. Новыя религіи, на примѣръ, никогда не могли пустить глубочайшихъ корней въ старыхъ народахъ: буддійская—у индусовъ, магометанская—у египтянъ, христіанская—у римлянъ; и каждый разъ онѣ требовали для себя мѣховъ новыхъ: христіанство—германскихъ народовъ, буддизмъ—тибетцевъ, магометанство—татаръ, турокъ, персовъ. Новость территорій, почвъ, климатовъ, произведеній природы, новостъ эпохи, сосѣдей, всей обстановки, среди которой приходится жить и дѣйствовать, новостъ самого фактора,—самого дѣятеля, его расы, его характера, его силъ и способностей, наконецъ, новостъ и самыхъ задачъ, потребностей, идеаловъ,—все это образуетъ такого могущественнаго двигателя, что лучшій для того распорядокъ и придумать было бы трудно, если бы надо было придумывать. Словомъ, новыя расы, новыя народы, суть такой же резервъ для человѣчества, каковымъ для народа служатъ его новыя, нетронутыя еще исторіей сословія. Самые же виды эти, въ свою очередь, тѣмъ продолжительнѣе, чѣмъ

они распространены. Всякая обширная національность имѣть всѣ шансы просуществовать гораздо дольше, чѣмъ всякая мелкая. Таковы, напримѣръ, индусская, китайская въ сравненіи съ греческою, съ финикійскою. Тѣмъ не менѣе, однакожь, какъ это распространеніе, такъ и эта продолжительность имѣютъ свой роковой максимумъ, достигши котораго, и нѣкоторое время просуществовавъ въ изобиліи, расплеменившись на чужой счетъ, и заглушивъ много другихъ жизней, видъ начинаетъ вырождаться и роковымъ образомъ клонится къ упадку. Такова и была судьба всѣхъ и каждого изъ извѣстныхъ исторіи народовъ; и ни одинъ еще не могъ отождествить себя съ человѣчествомъ, т. е. быть вѣчнымъ, хоть на столько, какъ оно само. Все это, вѣрное въ приложеніи къ народамъ, еще вѣрнѣе по отношенію ко всѣмъ ихъ учрежденіямъ. Всякое изъ нихъ рано или поздно вырождается и смѣняется новымъ. Исторія представляетъ по этому зрѣлище, гдѣ все валится одно за другимъ, и гдѣ каждая предъидущая смерть служитъ источникомъ каждой послѣдующей жизни.

Тѣмъ не менѣе, не смотря на этотъ періодическій перерывъ развитія, все оно, всѣ эти смерти и всѣ жизни, непрерывно сплелены одной и той же красной нитью, проходящею по всей исторіи. Нить эта есть Преемственность, наследственность, преданіе. Въ силу этой наследственности, никакое новое явленіе не можетъ возникнуть въ исторіи, не состоя въ связи ни съ какимъ старымъ. Всякое настоящее должно имѣть предковъ, найти корни себѣ въ прошедшемъ, и только при этомъ условіи можетъ имѣть потомковъ, можетъ рассчитывать на будущее. Безъ преемственности нѣтъ въ исторіи прочной устойчивости, и всякое зданіе, не основанное на ней, строится на пескѣ, бываетъ лишь воздушнымъ замкомъ. Всякое явленіе, чтобы втѣсниться въ цѣпь прогресса, должно оказаться похожимъ на римскаго *pater patratus*, т. е. имѣть въ живыхъ и отца, и сына.

Но этими немногими чертами и ограничивается все сходство естественно-историческаго закона съ общественно-историческимъ. Дальнѣйшія же условія соціального прогресса суть свои особыя. Первымъ изъ такихъ различій есть пропорція, тамъ и здѣсь, физическаго элемента съ психическимъ. Въ естественномъ законѣ дѣйствуетъ по преимуществу первый, въ общественномъ же—преимущественно второй. Отсюда нескончаемое различіе обоихъ прогрес-

совъ. То, что въ зоологическомъ прогрессѣ составляетъ конецъ, въ соціологическомъ есть лишь начало, точка отправленія всякаго движенія. Самое же движеніе здѣсь состоитъ, какъ мы постоянно видѣли на всѣхъ его дорогахъ, въ стремленіи отъ Физическаго къ Психическому: отъ тѣлеснаго къ духовному, отъ инстинктивнаго къ разумному, отъ объективнаго къ субъективному, отъ неподвижнаго къ подвижному, отъ внѣшняго къ внутреннему, отъ непосредственнаго къ посредственному, отъ матеріальнаго къ спиритуальному, отъ конкретнаго къ абстрактному; словомъ, отъ животнаго къ человѣческому. Животность находится въ непрерывной борьбѣ съ человѣчностью, и каждый малѣйшій шагъ въ побѣдѣ второй надъ первой есть то, что называется прогрессомъ. Религіозный, напримѣръ, прогрессъ начинается религіей природы, а оканчивается религіей человѣка. Философскій идетъ отъ философіи природы опять къ философіи человѣка. Научный, отправляясь отъ наукъ той же природы, подвигается къ наукамъ того же человѣка. Методъ, начинаясь конкретнымъ, индуктивнымъ, движется по направленію къ абстрактному, дедуктивному. Художество, выходя изъ пластики, переходитъ къ тоникѣ. Учрежденія, зарождаясь въ зоологической семьѣ, начинаясь патріархатомъ, оканчиваютъ соціологической космополитіей, единствомъ всего рода. Собственность, начинаясь овеществленіемъ духовнаго (самодвижущейся собственностью), достигаетъ до одухотворенія вещественности (до собственности движущей). Наказаніе, отправляясь отъ животной мести, направляется къ божественному всепрощенію. Власть, исходя изъ конкретнаго сосредоточенія, перерождается въ абстрактное разсредоточеніе. Должностное право, возникая изъ неподвижной наследственности, разрѣшается въ высшей степени подвижнымъ жребіемъ, очередью. Разряды людей въ обществѣ, будучи сначала закрѣплены кастичною непроходимостью, въ концѣ концовъ безпрестанно, напротивъ, перемѣшиваются профессиональнымъ обмѣномъ. Физическій принципъ силы, родства, возраста, происхожденія, породы, различающій людей въ началѣ исторіи, смѣняется въ концѣ ея психическимъ принципомъ образованія. Войско, образуясь изъ кавалеріи, изъ живой силы людей и животныхъ, преобразуется въ артиллерію, въ мертвую силу машинъ и физическихъ факторовъ. Оружіе изъ непосредственнаго рукопашнаго перерождается въ посредственное метательное. Нравы изъ чувственныхъ переходятъ въ сверхчувствен-

ные. Чувство чести изъ объективнаго становится субъективнымъ. Обычай отъ непреложнаго, отъ уставнаго, переходитъ къ произвольному, эксцентрическому. Преданіе, начавши съ непосредственнаго, съ изустнаго, оканчиваетъ посредственнымъ, печатнымъ. И во всѣхъ этихъ случаяхъ успѣхъ, побѣда въ борьбѣ за существованіе принадлежитъ постоянно высшимъ видамъ надъ низшими, болѣе разумнымъ надъ менѣе разумными.

Другое чисто-соціологическое свойство этой борьбы и этого прогресса есть постоянное существованіе промежуточнаго звена, точки перелома, словомъ, Кризиса отъ одной крайности къ другой. Перерожденіе всякой начальной противоположности во всякую конечную обуславливается каждый разъ переходнымъ состояніемъ, гдѣ столько предъидущаго, сколько и послѣдующаго. Между фетишизмомъ и монотеизмомъ такую роль играетъ обоюдный политеизмъ. Между философскими пантеизмомъ и атеизмомъ стоитъ переходный теизмъ. По срединѣ между наукой природы и наукой человѣка становится наука общества. Между индуктивностью и дедуктивностью посредствуетъ комбинація ихъ обѣихъ. Переходъ отъ архитектуры и скульптуры къ поэзіи составляетъ живопись и музыка, первая, больше примыкая къ пластикѣ, вторая—больше къ тоникѣ. Между патріархатомъ и космополитіей помѣщается государство. Переходъ отъ аристократіи въ демократію совершается только чрезъ тимократію. На дорогѣ отъ самодвижущейся собственности къ движущей, перепутье составляетъ недвижимая и движимая. Между системами безусловнаго вѣрненія и безусловнаго невѣрненія поселяется система помилованій. Отъ непосредственнаго законодательства къ посредственному ведетъ представительное. Среди синтетической власти и аналитической учреждается раздѣленіе властей. Изъ наследственности должностей въ жеребьевой порядокъ направляетъ избирательность. Между холопомъ и гражданиномъ фигурируетъ подданный. Компромиссъ между кастой и профессіей образуетъ сословность. Примиреніе коннаго войска съ машиннымъ составляетъ пѣхота. Переработка рукопашнаго оружія въ метательное происходитъ при посредствѣ рукопашно-метательнаго. Сдѣлка между фронтальной атакой и тыльной полагается въ фланговую. Промежутокъ между чувственными правами и сверхчувственными заполняютъ эстетическіе. Точку безразличія между уставнымъ обычаемъ и произвольнымъ образуетъ мода. Равновѣсіе изустнаго преданія и пе-

чатнаго лежитъ въ письменномъ. Такимъ образомъ, безъ сдѣлки противоположностей, безъ постепенности перерожденія, нѣтъ перехода изъ одной въ другую. Постепенность эта усиливается до того, что въ нѣкоторыхъ прогрессіяхъ самые полюсы ихъ, начальный и конечный, явно распадаются каждый на нѣсколько новыхъ моментовъ; въ другихъ же распадается такимъ образомъ кризисъ; а въ третьихъ и то, и другое. Во всякомъ случаѣ, самыхъ главныхъ метаморфозъ всегда три: матеріальная (начало), эстетическая (кризисъ) и спиритуальная (конецъ каждой эволюціи).

Но процессъ самыхъ этихъ метаморфозъ не всегда одинаковъ. Напротивъ, типы прогресса весьма различны. Самымъ нагляднымъ изъ нихъ и очевиднымъ есть тотъ типъ, который можно назвать Приращеніемъ одной противоположности въ другой, не исключая и самой посредствующей метаморфозы. Въ этомъ типѣ прежняя противоположность не исчезаетъ въ новой, и даже не покрывается ею; но обѣ остаются въ своемъ собственномъ видѣ, и во всей силѣ своей, и только прирастаютъ другъ къ другу, не исключая и посредствующей между ними. Таково именно движеніе прежде всего въ наукѣ, гдѣ математика не устраняется естествознаніемъ, естествознаніе обществознаніемъ, обществознаніе — человѣковѣдѣніемъ; но всѣ уживаются дружно, не становясь одно на мѣсто другого, а только одно къ другому приростая. Таковъ же типъ прогресса въ методѣ, въ искусствѣ, въ объектахъ собственности, въ преданіяхъ. Въ другихъ же случаяхъ новая противоположность совсѣмъ исключаетъ старую, поглощаетъ ее собою, такъ что тутъ происходитъ уже не приращеніе, а полное Превращеніе. Таково движеніе въ философіи, гдѣ всякій теизмъ совершенно отрицаетъ всякую совмѣстность съ собою пантеизма, и самъ становится на его мѣсто, не допуская существованія перваго не только съ собой, но даже подъ собой; и гдѣ также точно относится и къ самому теизму потомъ атеизмъ. Подобный же типъ движенія имѣетъ мѣсто между синтетическою властью и аналитическою, а также между наслѣдственнымъ и завѣщательнымъ правомъ: каждая послѣдующая метаморфоза живетъ, и можетъ жить, только на счетъ каждой предыдущей и только во вредъ ей. Также точно всякій *status* исключаетъ всякій *contractus* и обратно, вромѣ той промежуточной стадіи, гдѣ они совмѣщаются нарочито. Наслѣдственность стремится истребить вовсе и избирательность, и жеребьевой порядокъ; ту же тенденцію имѣетъ и каждая изъ двухъ по-

слѣднихъ системъ, коль скоро онѣ начинаютъ овладѣвать почвой. Подданный совсѣмъ подавляетъ въ себѣ холопа и никакъ не совмѣстимъ съ нимъ, также точно, какъ и гражданинъ въ отношеніи подданнаго. Сословіе упраздняетъ касту, классъ упраздняетъ сословіе, профессія уничтожаетъ классы. Выживание наступательной политики немислимо вмѣстѣ съ выживаніемъ оборонительной, развѣ лишь въ переходномъ состояніи отъ одной къ другой, т. е. именно для того, чтобы одной изъ нихъ выжить надъ другою. Чувственные нравы несовмѣстимы съ сверхчувственными, и одни изъ нихъ всегда должны уступить предъ другими. Уставный обычай не можетъ быть терпимъ при модѣ; мода нетерпима при своеобразности. Женщина-самка исключаетъ женщину-гражданку, какъ эта послѣдняя—первую. Другими словами, это типъ прогресса военный, въ сравненіи съ предыдущимъ, мирнымъ. Въ томъ типѣ всякое новое выживаніе уживается со всякимъ старымъ и даже усиливается отъ него, какъ и его усиливаетъ собою. Въ этомъ же типѣ всякое обновленіе можетъ жить только на счетъ разрушенія и только на мѣстѣ его. Совмѣстностью же съ нимъ оно не усиливается, а только ослабляется, равно какъ не усиливаетъ и противника, а развѣ только ослабляетъ и его. Но бываетъ и третій случай, такъ сказать, военно-мирный, гдѣ прежняя метаморфоза не исчезаетъ предъ новою, а только заслоняется, покрывается ею: это всѣ тѣ случаи, гдѣ происходитъ не приращеніе и не превращеніе, а лишь Нарощеніе. На прежнюю форму наращается здѣсь новая, оставляя и ту жить подъ собою. Таковъ типъ развитія въ религіи. Политеизмъ далеко не устраняетъ и не вытравляетъ фетишизма, но только ложится сверхъ него, оставляя его таиться подъ собою; также точно поступаетъ и монотеизмъ съ политеизмомъ. То же наблюдается при смѣнѣ патріархатовъ государствами: государство не вытравляетъ прежняго режима, а только отсылаетъ его на задній планъ, и покрываетъ его собою. Также точно дѣйствуетъ тимократизмъ по отношенію къ аристократизму, а демократизмъ въ отношеніи тимократизма. Политика права не сживаетъ со свѣта политики вѣры, но только умѣряетъ и подавляетъ ее собою, какъ политика общественнаго мнѣнія не дѣлаетъ невозможною политику права. То же надо сказать о фізіократизмѣ и меркантилизмѣ и кредитизмѣ. Устрашеніе также не истребляетъ возмездія, исправленіе не отрывается отъ устрашенія, предупрежденіе не отмѣняетъ исправленія. Бюрократизмъ никогда не поглощаетъ

всего духа земства, а земство никогда не изводитъ до-тла бюрократизма; но каждый принципъ только настигается на другой, и держать его подъ сукномъ. Кавалерія остается жить и при пѣхотѣ, а пѣхота—при артиллеріи, только теряя каждая нѣкоторую часть жизненности своей, своего боевого значенія. Общественная честь не уходитъ прочь при личной, а только осложняется ею, какъ и личная при наступленіи чисто-субъективной. Новый обычай не вытѣсняетъ прежняго, а только налегаетъ на него. Религіозная педагогія не уступаетъ все свое мѣсто философской и художественной, а эта научной; но каждая только притаивается подъ спудомъ, при наступленіи новой. Вотъ три главные типа прогресса, которые допускаютъ много еще второстепенныхъ; но каждый изъ нихъ будетъ примыкать или къ первому, или ко второму, или къ третьему. Первый, судя по главному образцу его, можетъ быть характеризованъ какъ научный, второй—какъ философскій, третій—какъ религіозный.

Кромѣ типовъ метаморфозъ есть еще обще-динамическіе моменты каждой изъ нихъ. Такихъ моментовъ необходимо принять, какъ мы видѣли, по крайней мѣрѣ, пять, если не шесть. Первымъ изъ нихъ бываетъ Вживаніе новаго элемента въ общую жизнь, когда онъ впервые только показывается на исторической сценѣ. Вторымъ есть Приживаніе, гдѣ вжившійся элементъ ищетъ себѣ покровителей, къ которымъ пристраивается. Третій—это полное Выживаніе, когда элементъ заживаетъ самотѣйной жизнью, и самъ уже можетъ покровительствовать другимъ или же гнать ихъ. Четвертый есть періодъ Отживанія, когда бывшая сила становится слабостью, когда враги пересиливаютъ ее. Пятый періодъ—Переживаніе, когда отжившій элементъ еле держится, въ видѣ развалины. Но сюда надо прибавить, хотя и не обычный, не нормальный періодъ, однакожъ, весьма не рѣдко повторяющійся въ исторіи,—періодъ Оживанія, гдѣ совершенно уже забытый элементъ вдругъ и неожиданно появляется, какъ вставшій изъ гроба. Такое появленіе всегда, впрочемъ, лишь эфемерно и, подобно призраку или привидѣнію, скоро исчезаетъ. Къ такимъ оживаніямъ принадлежитъ, на примѣръ, приношеніе человѣческихъ жертвъ въ Римѣ послѣ пораженія при Каннахъ, или людоедство въ Парижѣ во время осады его Генрихомъ IV, или кровавость во времена французской революціи. Каждый разъ въ такомъ случаѣ возникаютъ на время какія-либо давно отжившія условія общежитія, и, вслѣдствіе этого, вызываютъ и отжившія явленія:

панический страхъ ведетъ къ чрезвычайнымъ умиловленіямъ боговъ, голодъ—къ людоедству, ежедневная война, междоусобіе, постоянная гильотина—къ кровожадности. Все же вышеизложенное вмѣстѣ ведетъ къ неизбѣжному выводу о крайней постепенности всѣхъ общественныхъ метаморфозъ. Только постепенныя и мелочныя наращенія, приращенія, превращенія бываютъ и прочны, и долговѣчны. Всѣ же внезапныя и слишкомъ крупныя всегда эфемерны и хрупки, подобно имперіямъ Александра Македонскаго и Наполеона. Истина эта равно игнорируется и даже презирается какъ революціонерами, такъ и миссіонерами. И для тѣхъ, и для другихъ ничего не значитъ перескочить нѣсколько цивилизацій или нѣсколько культуръ. Они увѣрены, что каждая изъ нихъ способна воспринять всякую другую, и что ничего очереднаго тутъ нѣтъ. Оттого-то одомашненные бразильцы такъ часто и такъ охотно возвращаются въ лѣса. Оттого-то воспитанный англичанами австраліецъ такъ нерѣдко бѣжитъ къ своимъ дикарямъ. Оттого-то обращенные въ христіанство и въ конституцію сандвичи не могутъ, однакожъ, завести брака. Хуже того: парагвайскіе индѣйцы были доведены іезуитами до такого благоустройства, что оно поражало всѣхъ; но что же вышло? они сдѣлались рѣшительно бесплодны. И фактъ подобной бесплодности наблюдается у многихъ дикарей, внезапно охваченныхъ цивилизаціею. Такъ ребенокъ, слишкомъ рано и неожиданно развившійся, теряетъ не только свои физическія силы, но иногда и самую жизнь свою.

Наконецъ, примѣняя все вышесказанное къ текущему динамическому моменту исторіи, увидимъ, что человѣчество, какъ Дантъ предъ своей поэмой, стоитъ теперь какъ разъ на половинѣ пути общечеловѣческой жизни. Сзади за нами остались религія и философія природы, впереди предстоятъ философія человѣка и большая часть науки. Позади насъ патріархальность и аристократическая государственность, впереди—государственность демократическая и космополитизмъ. Назадъ у насъ нравы родства и патріотизма династическаго, впереди патріотизмы сословные и гуманизмъ. Во всѣхъ отношеніяхъ пройдено столько, сколько остается пройти. А изъ этого слѣдуетъ, что настоящая эпоха представляетъ собою не какой-либо частный кризисъ, есть не какая-либо относительно критическая метаморфоза, а составляетъ собою абсолютный критическій моментъ всей вообще жизни человѣчества, составляетъ кризисъ всей исторіи, все-

историческій кризисъ. Не здѣсь-ли причина тѣхъ небывалыхъ социальныхъ бурь, того всеобщаго тумана идей, идеаловъ и проектовъ, той всеобщей распатанности и неустановленности, которыя мы переживаемъ и, вѣроятно, долго еще осуждены переживать. Въ самомъ дѣлѣ, если мы дѣйствительно находимся въ томъ самомъ мѣстѣ прогресса, о которомъ говоримъ; то это значитъ, что вся наша цивилизація состоитъ подъ властью не столько религій и науки, сколько философій, и не столько философій природы или человѣка, сколько философій общества. Съ другой стороны, если философія эта успѣла уже просочиться въ культуру и произвела тимократію, если она успѣла насытить собою и самую гражданственность, образовавши въ ней привычки скептицизма и утопизма; то послѣдствія такого порядка вещей понятны сами собою. Философія не даетъ ничего прочнаго, неизбѣжнаго, какъ религія или наука, а напротивъ, тѣмъ именно и отличается отъ нихъ, что то и дѣло мѣняетъ свои принципы. Но если такого же духа исполнена вся культура и вся гражданственность, то отъ нихъ ничего и ожидать больше невозможно, какъ только бурь, какъ только тумана, какъ только вѣчной выби всего возникающаго и ничего не исчезающаго. Въ такомъ случаѣ это, повторяемъ вновь и вновь, вовсе не переходное состояніе общества, а напротивъ вполнѣ нормальное для такой эпохи, гдѣ царить призваны философія, тимократія и утопизмъ. Чистота принадлежитъ только крайнимъ принципамъ, каковы наприимѣръ вѣра и наука, аристократія и демократія, мистицизмъ и позитивизмъ. Если же мы попали въ средній между ними, то это значитъ, что мы очутились среди хаоса, въ которомъ нѣтъ почти никакой возможности отличить заходящія начала отъ восходящихъ, а то и другое отъ стоящаго надъ горизонтомъ. Что такое философія, какъ не пѣстрая смѣсь вѣры и знанія? Что такое тимократія, какъ не такая же пестрота аристократизма и демократизма? Что такое скептицизмъ, какъ не отчасти мистицизмъ, отчасти позитивизмъ? Кто услѣдитъ, положимъ, въ исторіи Франціи, когда именно была она чисто-тимократичною? До революціи она такъ запружена развалинами феодализма, что невозможно и говорить о чистотѣ тимократіи. Въ нынѣшней республикѣ она уже полна идеалами относительной демократіи; и такъ это опять не чистый тимократизмъ. Что же, ужъ не чистые-ли тимократы Наполеонъ I и III? Нисколько. Напротивъ, первый образуетъ лишь диктатурный переломъ отъ аристократизма

къ тимократизму, а второй—такой же переходъ отъ тимократизма въ демократизму. Но гдѣ же этотъ неуловимый тимократизмъ? или въ реставраціи и въ февральской республикѣ? Ничуть: первая была еще слишкомъ аристократична для этого, а вторая—слишкомъ уже демократична для того. И такъ остается одна іюльская монархія, одинъ періодъ въ 18 лѣтъ, который можетъ быть принятъ за чисто-тимократическій, на сколько чистота эта мыслима въ такой странѣ, какъ Франція. Въ такомъ огромномъ политическомъ тѣлѣ, съ его многотысячелѣтной жизнью, чистый критическій моментъ обнимаетъ собою не больше одного поколѣнія. Слѣдовательно, переходные режимы, если и бываютъ чистыми, то лишь въ теченіи одного историческаго мгновенія; все же, что предшествуетъ ему и что слѣдуетъ за нимъ, всегда есть большій или меньшій хаосъ, смотря по количеству въ немъ всего предъидущаго и всего послѣдующаго. А такъ какъ абсолютная философія, абсолютная тимократія и абсолютный скептицизмъ, стоя всѣ въ самомъ центрѣ исторіи, имѣютъ по цѣлой половинѣ ея и сзади, и спереди; то отсюда и происходитъ необходимость всемірно-историческаго хаоса, гдѣ осады религіи и философіи природы могутъ соприкоснуться съ начатками философіи и науки человѣка, гдѣ остатки патріархальности и аристократизма могутъ смѣшаться съ зародышами демократизма и космополитизма, и гдѣ осколки мистицизма могутъ перепутаться съ сѣменами позитивизма. Вотъ причина того водоворота вѣрованій, мнѣній, надеждъ, ожиданій, того вихря и кипятка всевозможныхъ началъ, среди какаго живемъ мы, и въ которомъ такъ трудно ориентироваться нашимъ обществамъ.

2.

Что въ динамической психологіи есть движеніе, прогрессъ, то въ статической Порядокъ, стройность, согласіе частей между собою и съ цѣлымъ. Какъ прогрессъ есть результатъ борьбы за существованіе во времени, такъ порядокъ — результатъ той же борьбы въ пространствѣ. А самая эта борьба состоитъ здѣсь въ спорѣ не за преемственность, а за совмѣстность. Если тамъ идеаломъ былъ *pater patratus*, то здѣсь могъ бы имъ быть *frater fratratius*, братъ, имѣющій и сестеръ, и братьевъ. Дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ этихъ совмѣстниковъ, изъ этихъ братьевъ и сестеръ, никогда не находитъ мѣры для себя въ себѣ самомъ. Каждый изъ общественныхъ элементовъ, всякое изъ социальныхъ явленій, всегда и вездѣ

стремится непремѣнно расширяться до послѣдней своей возможности, до своего *plus ultra*, и насчетъ всѣхъ остальныхъ, не обращая никакого вниманія на такія же самыя вожелѣнія всѣхъ прочихъ. И если какое нибудь изъ этихъ стремленій когда нибудь и гдѣ нибудь находитъ себѣ предѣлъ, то не иначе, какъ развѣ извнѣ, но никогда не изнутри. Такъ религія, напримѣръ, никогда не начертываетъ себѣ тѣхъ границъ своего вліянія, которыхъ сама не хотѣла бы переступать. Напротивъ, она охотно усиливается и на счетъ философіи, и на счетъ науки; мало того, не довольствуясь областью цивилизаціи, она, при первой возможности, раскидывается и на всю культуру, стремясь всю ее обратить въ церковную; наконецъ, завладѣвъ и этою, устремляется сдѣлать то же и со всею гражданственностью, обративъ ее всю, по мѣрѣ возможности, въ набожность, въ обрядъ, въ легенду. И если на пути этомъ встрѣчается какая нибудь неожиданная остановка; то это непремѣнно лишь въ силу какой нибудь оппозиціи извнѣ: или отъ философіи, или отъ науки, или отъ правительства, или отъ гражданства, а иногда и отъ всѣхъ вмѣстѣ. Таковую же тенденцію имѣетъ и всякое право. Такъ, напримѣръ, монархическое право, пользуясь своими благопріятными обстоятельствами въ Китаѣ, беретъ въ свои руки не только искусства и методы, не только всю культуру, но также и всю цивилизацію, и всю гражданственность. Оно начальствуетъ здѣсь надъ душами умершихъ, возводя ихъ со ступени на ступень. Оно ставитъ здѣсь памятники за супружескую любовь, за сыновнюю преданность, за родительское воспитаніе, словомъ, за добрые нравы. Оно устанавливаетъ методы изслѣдованій, образцы искусствъ и художествъ. Наконецъ, то же повторяется и со всякой стихіею гражданственности. Сладострастіе, напримѣръ, встрѣчая благопріятную почву, проникаетъ въ самую религію, какъ въ финикійскомъ, вавилонскомъ или индійскомъ храмѣ, вторгается въ культуру, въ право, какъ напримѣръ въ полигаміи, прокрадывается въ моды, въ обычаи, какъ въ украшеніяхъ римскихъ женщинъ. Словомъ, это есть несмолкаемая борьба всѣхъ и cadaго изъ соціальныхъ факторовъ противъ всѣхъ и cadaго, и при томъ борьба на жизнь и на смерть. Мѣра же побѣды, которая однимъ сохраняетъ жизнь, а другимъ несетъ смерть, и есть то, что называется порядкомъ.

Въ порядкѣ этомъ всегда имѣется своего рода средоточіе, центръ

всей системы порядка. И этимъ центромъ ея всегда есть то начало, которое въ данную минуту выживаетъ надъ другими. Стоитъ только распознать это начало, и вся система его, всё ея пропорціи, тотчасъ же стануть ясны. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, оно само производитъ для себя Подборъ родственныхъ ему началъ, такъ же выживающихъ, какъ оно само, а съ другой, и всё чуждѣе, т. е. приживающіяся и отживающія, видятъ необходимость волей-неволей Приспособляться къ нему. Изъ этихъ двухъ противоположныхъ усилій и возникаетъ та обыкновенная гармонія всякой современности, какую мы старались показывать въ частныхъ статистикахъ.

Но эти двѣ различныя причины порядка и гармоніи бываютъ также источникомъ и дисгармоніи, безпорядка. А именно, только всё добровольно подобранные элементы, т. е. всё равно выживающіе, составляютъ истинныхъ друзей, Союзниковъ между собою; всё же по-неволѣ приспособляющіеся къ нимъ, какъ изъ одного, такъ и изъ другого лагеря, образуютъ собою легіонъ тайныхъ Враговъ ихъ. Легіонъ этотъ подраздѣляется на двѣ арміи: одну—отсталую, побѣдою надъ которой выжившее начало и воцарилось, другую же—передовую, держаніемъ которой въ страхѣ начало это и поддерживаетъ свое царствованіе. По этому всякое историческое пространство совершенно похоже на поле битвы послѣ сраженія: одни тамъ совсѣмъ умираютъ, другіе влечатся ранеными, третьи здоровы и бодры, но сдаются на капитуляцію, четвертые же видятъ необходимость сложить оружіе, даже не употребивъ его. Надъ всѣмъ же этимъ царитъ обзрѣвающій поле битвы побѣдитель. Умирающіе и раненные борются дальше не въ состояніи, и потому должны по-неволѣ преклонить себя на милость побѣдителя; сдающіеся на капитуляцію и вовсе не участвовавшіе въ борьбѣ, должны до поры до времени скрыть свои чувства и, по мѣрѣ силъ, приноравливаться къ триумфатору.

Этимъ исчерпываются всё тѣ свойства, которыя общи порядку социальному съ естественнымъ. Начинаются тѣ, которыя свойственны одному первому. Самымъ необходимымъ изъ нихъ есть послѣдствие только что обрисованнаго поля битвы. Все, что на немъ отжило и пережило себя или эпоху, дѣлается основаніемъ одной изъ Парцій социальнаго порядка, или ретроградской, или обскурантной. Все, что на немъ приживается или вживается, даетъ жизнь другой общественной Партіи, или либераламъ, или радикаламъ. А то, что въ эту минуту есть выживающимъ, производитъ третью политическую армію—

консерваторовъ. Безъ игры этихъ двухъ крайностей между собою, безъ такого или иного уравнивоживанія ихъ консервативною серединою, нѣтъ и не можетъ быть никакого соціального порядка, никакой общественной гармоніи.

Другимъ такимъ же всеобщимъ условіемъ солидарности всѣхъ современныхъ между собою явленій общежитія есть Взаимопрониканіе ихъ всѣхъ и каждого другъ другомъ. Не сосѣднія только, не тождественныя лишь и аналогическія явленія общежитія заимствуются другъ у друга свойствами, но всѣ вообще, какъ бы ни казались они разнородными и разнохарактерными. Психическія явленія всѣ оказываются сосѣдними между собою. По этому возможны самыя неожиданныя, повидимому, сопряженія. Такъ, на примѣръ, нравы могутъ быть то религіозными, то научными; религія можетъ быть то нравственною, то безнравственною; право можетъ быть то философскимъ, то обычнымъ; искусство можетъ быть методическимъ и традиционнымъ; традиція, преданіе можетъ быть художественнымъ, методичнымъ; либерализмъ бываетъ консервативнымъ; консерватизмъ—либеральнымъ, и т. д. Отсюда крайняя цѣпкость и неразрывность каждого даннаго состоянія общества.

Какъ ни много понятія статичности примѣнимы въ явленіямъ соціальности, но Динамическія понятія настолько въ ней преобладаютъ, что проникаютъ и въ самую статику. Такъ, на примѣръ, хотя цивилизація, культура и гражданственность вездѣ и всегда сосуществуютъ, но никогда не ровесныя. Чтобы идея цивилизаціи успѣла такъ или иначе культивироваться, необходимъ извѣстный и довольно продолжительный промежутокъ времени. Такой же промежутокъ нуженъ и для того, чтобы система, идеаль или законъ культуры успѣли инкорпорироваться въ нравы, въ гражданственность. Перемѣна въ идеяхъ всегда предшествуетъ переѣнамъ въ учрежденіяхъ, а эти послѣднія—переѣны нравовъ. Реформація, на примѣръ, т. е. переворотъ въ католицизмѣ, задолго предупреждаетъ собою революцію,—переворотъ въ феодализмѣ; а революція, идеалы 1789 года, и до сихъ поръ еще ждутъ осуществленія своего въ нравахъ. А потому никакое сосуществованіе, никакая совмѣстность этихъ трехъ функцій никогда не бываетъ вполне логичною и вполне аналогичною, потому что гражданственность всегда нѣсколько отстаетъ отъ культуры, и, слѣдовательно, соответствуетъ другой, нѣсколько прежней культурѣ, а не современной, также точно, какъ и культура въ отношеніи цивилиза-

ція. Цивілізація въ авангардѣ, культура посрединѣ, гражданственность въ арьергардѣ,—вотъ чего требуетъ и самый порядокъ, не только прогрессъ.

Примѣняя все сказанное къ текущей современности, и помня, что она занимаетъ центральное положеніе на всей стадіи прогресса, мы можемъ оцѣнить всю выгоду и всю невыгоду такого положенія для наблюдателя. Невыгода состоитъ въ томъ, что ни въ какой другой эпохѣ невозможно, какъ неоднократно замѣчено уже, такое стеченіе такого множества такихъ разнородныхъ элементовъ и всевозможныхъ метаморфозъ ихъ, какъ здѣсь. Наблюденіе, слѣдовательно, крайне затруднено взвѣшиваніемъ и оцѣнкой того, что здѣсь является выживающимъ, что отживающимъ, что приживающимся, и всегда легко можетъ принять одно за другое. А между тѣмъ къ этой динамической трудности приходится еще и статическая: взвѣшиваніе и оцѣнка опереженій и запаздываній цивилизаціонныхъ, культурныхъ и гражданственныхъ. Не усматривая, на примѣръ, въ текущей цивилизаціи особеннаго разгара теоретической философіи, всегда можно подумать, что вѣкъ ея миновалъ вмѣстѣ съ Гегелемъ, и по этому отрицать всякій философскій характеръ эпохи. Между тѣмъ, если онъ миновалъ въ цивилизаціи, то это-то и значить, что онъ имѣлъ все время для того, чтобы, если не инкорпорироваться въ гражданственность, то, по крайней мѣрѣ, культивироваться въ культуру, а быть можетъ и то, и другое. Коль скоро же такъ, то культура наша должна быть вполне философскою и вѣкъ философіи далеко не миновалъ, а только переселился. Мало того, переселившись въ культуру, онъ долженъ еще позже переселиться въ гражданственность, такъ что вѣкъ философіи опять не только не миновалъ, но и не можетъ еще миновать скоро. Отсюда всѣ тѣ ежедневныя недоразумѣнія всякой политической прессы, всякой трибуны, всякой каеэдри о томъ, что мы такое: мистики, утописты или позитивисты, и гдѣ мистики, и гдѣ утописты, и гдѣ позитивисты, т. е. въ цивилизаціи-ли, въ культурѣ-ли, въ гражданственности-ли. Такимъ образомъ, сибуръ этотъ и со статической точки зрѣнія становится для подобной эпохи также обязательнымъ, на столько же натурой ея, на сколько онъ казался такимъ съ динамической. Но есть, повторяемъ, есть въ этомъ хаосѣ и своя выгода для наблюденія. Здѣсь, въ этой непримѣтной точкѣ всей линіи движенія, всей орбиты исторіи, столпилось столько лучей съ обонхъ концовъ ея, что точка эта стала, такъ сказать, все-

мірнимъ фокусомъ исторіи. Благодаря этому обстоятельству, наблюдатель такой счастливой точки въ состояніи освоиться съ началами всякихъ временъ и эпохъ. Ему становится не вполнѣ чуждымъ и непонятнымъ какъ все, чѣмъ когда нибудь жилъ міръ, такъ и все, чѣмъ онъ въ состояніи еще жить когда нибудь. Сюда не могли не донестись хотя самомалѣйшіе осколки самой незапамятной древности; и здѣсь же не могутъ не ферментироваться и не носиться въ воздухѣ хотя бы то самые микроскопическіе зародыши безмѣрно отдаленнаго будущаго. А потому наблюдатель больше, чѣмъ когда нибудь прежде или послѣ, въ состояніи здѣсь жить жизнью цѣлаго міра, ощущать всѣ его радости и печали, понимать всѣ его завѣты и чаянія. А такая возможность есть, между прочимъ, и лучшая почва для основанія соціальной науки.

3.

Но все это есть до сихъ поръ только общая исторія и цивилизаціи, и культуры, и гражданственности; но еще не психологія этой исторіи. Это—динамика и статика всей вообще исторіи, а не психологія ея. Чтобы получить послѣднюю, надо психологически объяснить эту статистику и эту динамику.

Изъ числа динамическихъ явленій всеобщее движеніе отъ всего физическаго ко всему психическому объясняется, конечно, двойственностью Природы человѣка. Умѣя приближаться въ однихъ случаяхъ къ звѣрю, въ другихъ—къ ангелу, природа эта обнаруживаетъ въ себѣ двѣ очевидныя противоположности, борьба коихъ и составляетъ все содержаніе исторіи, а побѣда одной противоположности, высшей, надъ другою, низшею—весь прогрессъ исторіи.—Процессъ этого прогресса есть троякій, потому что трояка жизнь души человѣческой. Въ Умѣ, элементарная способность котораго память, вся главная дѣятельность, весь процессъ жизни состоитъ въ накопленіи впечатлѣній, т. е. приращеніи ихъ одного къ другому. Въ Чувствѣ типическій процессъ перемѣнъ есть превращеніе одного въ другое: любви въ ненависть, доброты въ злобу, удовольствія въ страданіе, и каждый разъ съ истребленіемъ предыдущаго и исключительнымъ водвореніемъ послѣдующаго. Образцомъ же всѣхъ Волевыхъ перемѣнъ въ душѣ есть нарощеніе однихъ желаній на другія, при которомъ новыя могутъ только покрывать старыя, только подавлять ихъ, но не истребляя ихъ, а напротивъ давая имъ возможность даже воспринять по удовлетвореніи первыхъ. Отсюда и типъ

всѣхъ общественныхъ метаморфозъ есть тройственный потому, что одинъ изъ нихъ умственный, другой—чувствовательный, а третій—волевой, нравственный.—Динамическіе моменты каждаго изъ этихъ трехъ процессовъ таковы потому, что они отражаютъ въ себѣ Ростъ личной человѣческой души, гдѣ идеи, чувства и пожеланія начинаются всегда съ микроскопическихъ, чтобы обратиться мало по малу въ фанатизмъ, въ страсть, въ героизмъ, чтобы завладѣть на время всею душою, пока не наступитъ усталость, апатія.

Изъ числа обще-статическихъ явленій феноменъ партіозности находитъ себѣ основаніе въ другихъ условіяхъ нашей психичности. Духъ, душа, психизмъ есть не только по преимуществу, но почти исключительно, явленіе Времени, а не пространства. Въ явленіяхъ же времени основною и всеобщю темою есть только контрастъ прошедшаго и будущаго, съ компромиссомъ ихъ въ видѣ настоящаго. Отсюда: либерализмъ, радикализмъ, какъ языкъ будущаго, ретроградство, обскурантизмъ, какъ языкъ прошедшаго, и консерватизмъ, какъ выраженіе настоящаго.—Таковыми же свойствами психичности объясняются и всѣ взаимопроницанія всѣхъ социальныхъ явленій. Плотность, непроницаемость есть естественное свойство только тѣлъ, но не ихъ качествъ, только пространственности, но не временности. Качества же тѣлъ, Силы, всегда совмѣстимы между собою, не исключая и силъ физическихъ, такъ что въ одно время и въ одномъ мѣстѣ могутъ сосуществовать и электричество, и тяготѣніе, и теплота. Также точно мысль совмѣстима съ чувствомъ, чувство съ дѣйствіемъ, ни сколько не вытѣсняя другъ друга, а напротивъ другъ друга проникая и насыщая. То пространство, которое заполняется человѣческимъ тѣломъ, и которое не можетъ быть занято никакимъ другимъ физическимъ предметомъ, — психически наполняется до такой степени, что наполненію этому нѣтъ даже предѣла. Отъ того и въ обществѣ, въ организмѣ социальномъ, вся безчисленность и все разнообразіе его настроеній, движеній, стремленій перекрещиваются до такой степени, что нѣтъ тамъ мѣста или момента, гдѣ бы нельзя было застать ихъ всѣхъ. И если не теряется возможность распознавать преобладающія движенія; то лишь потому, что одними изъ нихъ нейтрализуются другія. Оттого-то также вся цивилизація проникаетъ во всю культуру: и въ методъ, и въ искусство, и въ право, дѣлая ихъ поочередно то религіозными, то философскими, то научными; а вся культура просачивается во всю гражданственность,

дѣлая въ ней и нравы, и обычаи, и преданія то аристократическими, то тимократическими, то демократическими.—Наконецъ отъ того же характера психичности зависитъ и преобладаніе въ обществѣ динамизма надъ статизмомъ. Статичность, въ собственномъ смыслѣ слова, въ смыслѣ дѣйствительнаго и полнаго равновѣсія силъ или элементовъ, здѣсь совершенно даже не мыслима. Ея нѣтъ даже въ смерти, не только въ жизни. Безъ побѣды, безъ преобладанія, безъ Перевѣса чего либо одного надъ другимъ—нѣтъ здѣсь ни гармоніи, ни порядка. Отъ того-то, не смотря на всеобщее взаимопроницаніе всего и всѣмъ, все таки остается возможность проведенія границъ, раздѣленія, различенія.

Въ заключеніе, какъ идея прогресса, такъ и идея порядка тонуть, въ свою очередь, въ еще болѣе общемъ и обширномъ представленіи,—въ идеѣ правильности, законмѣрности всей общественной жизни и исторіи. А вмѣстѣ съ этимъ и всѣ, до сихъ поръ сдѣланныя, психическія объясненія должны потонуть въ одномъ, еще болѣе общемъ и обширномъ. Другими словами, мы приходимъ въ послѣднему вопросу всякой общественной психологіи, къ вопросу, который столько разъ уже былъ перетрясаемъ то религіею, то философіею, то поэзіею, но который до сихъ поръ остается открытымъ и который не можетъ быть обойденъ и наукою. Это—нреловутый вопросъ объ отношеніи между волею и не-волею, Свободою и Необходимостью, произвольностью и предопредѣленіемъ, спасеніемъ и благодатью. Если все въ исторіи совершается дѣйствительно съ такою или подобною правильностью, какъ та, которую мы старались отразить здѣсь; то спрашивается, откуда же происходитъ она? кто или что производитъ ее? Есть ли это разумное провидѣніе или же бессмысленный случай? роковая судьба или чей либо произволъ? свободная воля человѣка или же простое стеченіе обстоятельствъ?... И потомъ опять, если это свободная воля; то откуда же въ ней такая машинальная правильность, какъ и тамъ, гдѣ нѣтъ ни воли, ни свободы,—въ мертвой природѣ? А если это лишь стеченіе обстоятельствъ; то откуда же въ немъ такая разумность, откуда эта логичность, которой нѣтъ въ мертвой природѣ?... Отвѣтъ, какой усвоиваетъ эта книга, есть тотъ же, который данъ уже Миллемъ въ его Логикѣ. По нашему, исторія говоритъ именно то, что Миллю подсказала теорія. Исторія рѣшаетъ вопросъ ни въ пользу свободы, ни въ пользу необходимости. Она показываетъ, что свобода и необходимость вовсе не такъ несомвѣстны, какъ это каза-

лось. Въ самомъ дѣлѣ, разбирая любой изъ процессовъ историческаго развитія, каждый разъ увидимъ, что оба элемента въ немъ смѣшаны. Возьмемъ, напримѣръ, исторію сословнаго права. Съ одной стороны, аристократія, вслѣдствіе разныхъ естественныхъ и общественныхъ причинъ, уже сама въ себѣ, помимо всякой воли и намѣренія, зарождаетъ тимократію, а тимократія—демократію, словно въ процессѣ дѣтороженія, гдѣ не участвуетъ воля ни родителей, ни рождаемаго. И такъ, съ этой точки зрѣнія, историческое развитіе совершенно произвольно. Но, въ то же время, нельзя проглядѣть въ этихъ смѣнахъ и участіе человѣческой воли, которое обнаруживается, съ одной стороны, такою массою усилій, такими морями крови разныхъ илютовъ, тетовъ, плебеевъ, рабовъ, горожанъ, пролетаріевъ, а съ другой—такимъ же намѣреннымъ и произвольнымъ противодействіемъ имъ разныхъ спартіатовъ, эвпатридовъ, патриціевъ, господъ, феодаловъ, капиталистовъ. И такъ, съ этой точки зрѣнія историческое движеніе совершенно произвольно и преднамѣренно. Такимъ же точно образомъ архитектура, съ одной точки зрѣнія, сама въ себѣ, по условіямъ самого искусства, зарождаетъ скульптуру и живопись, или скульптура и живопись сами собою-зарождаются въ архитектурѣ; но въ то же время въ рожденіи этомъ участвуетъ и сознательная воля архитекторовъ, скульпторовъ, живописцевъ. Само собою разумѣется, что необходимость безпрестанно превращается въ волю, а воля въ необходимость. Всякое новое внѣшнее условіе новымъ способомъ возбуждаетъ волю и сознаніе; а всякое новое усиліе воли и сознанія, однажды совершившись, образуютъ новое внѣшнее обстоятельство для всѣхъ будущихъ волей и сознаній. Изобрѣтеніе компаса устремляетъ людей на открытія; а прорытіе суэзскаго или панамскаго перешейка производитъ новое географическое обстоятельство. Словомъ, во всякомъ цивилизаціонномъ, культурномъ, гражданственномъ движеніи на-половину участвуетъ свободный произволъ, а на другую половину—благопріятныя ему обстоятельства; такъ что если одного изъ этихъ условій нѣтъ, то нѣтъ и самаго движенія. Обстоятельства, напримѣръ, 1613 года въ Россіи крайне благопріятствовали договору общества съ властью; но не достало условій на это,—и договоръ не состоялся. Обстоятельства 1783 года въ Сѣверной Америкѣ крайне благопріятствовали учрежденію тамъ королевской власти и династіи Вашингтона; но съ ними не совпало условія воли и сознанія,—и фактъ снова не состоялся. Наоборотъ

сколько разъ илоты и рабы проявляли непрѣмѣнную волю выйти изъ своего положенія; но окружающія условія постоянно не благопріятствовали этимъ усиліямъ,—и изъ нихъ ничего не выходило, и всѣ они пропадали даромъ, какъ будто вовсе не бывали. А пришли другія обстоятельства,—и рабство исчезло незамѣтно и безъ бою. Сколько разъ съ реформаціи и съ революціи крестьяне, рабочіе, пролетаріи напрягали и напрягаютъ до сихъ поръ волю свою существенно видоизмѣнить бытъ свой; но изъ всѣхъ этихъ попытокъ не выходитъ пока ничего, и не выходитъ единственно вслѣдствіе неблагоприятствованія обстоятельствъ. А придутъ эти обстоятельства, и пролетаріатъ исчезнетъ незамѣтно и безъ бою. На этой-то несознанной до сихъ поръ истинѣ давно уже, однакожъ, основано все эмпирическое искусство политики. Искусство это, какъ извѣстно, состоитъ вовсе не въ томъ, чтобы какъ можно крѣпче напрягать волю, чтобы валить напроломъ, не смотря ни на какія обстоятельства; а напротивъ, именно только въ томъ, чтобы умѣть выжидать обстоятельствъ, и чтобы впредь до наступленія ихъ умѣть, напротивъ, сдерживать всѣ попытки воли. Если французскіе короли или московскіе князья успѣли такъ удачно собрать понемногу всѣ клочки своихъ территорій въ одно; то этимъ обязаны они только тому, что умѣли сидѣть у моря и ждать погоды. Пока обстоятельства были для нихъ неудобны, они складывали руки и словно совсѣмъ забывали о своей *idée fixe*; но какъ только такое обстоятельство подвертывалось, они умѣли не прозѣвать его, присоединяли къ нему усилія воли,—и дѣло оказывалось въ шляпѣ. Просмотрѣть благопріятныя обстоятельства, ложно оцѣнить ихъ, не умѣть воспользоваться ими—это и по теперешнему пониманію, по пониманію того искусства, которое предшествуетъ всякой наукѣ, составляетъ уже общепризнанный недостатокъ политическаго умѣнья. Такимъ образомъ, вмѣсто несомнѣстимости обоихъ историческихъ факторовъ, утверждаемой теоріею, практика давнымъ-давно уже признала, напротивъ, только нерасторжимость ихъ обоихъ, такъ что остается только возвести это признаніе въ теорію.

Но таково состояніе политическаго искусства только въ отношеніи соціальной статистики, въ отношеніи условій гармоніи, порядка. Только тутъ достаточно уже чувствуется, что безъ совпаденія условій необходимости съ условіями свободы нѣтъ политической удачи, нѣтъ соціальной гармоніи, нѣтъ соціальнаго порядка, нѣтъ настоящаго. Но со-

всѣмъ иное положеніе практики по отношенію къ динамикѣ соціальной, по отношенію къ причинамъ и слѣдствіямъ, къ прошедшему и будущему. Всѣ статическіе вопросы несравненно проще и легче всѣхъ динамическихъ; а потому эмпирическое искусство и успѣло предупредить тутъ науку: умѣнье опередило знанія. Но всѣ вопросы динамики таковы, что тутъ одного чутья, инстинкта, сноровки, умѣнья, бессознательнаго творчества—еще мало; а потому оно и не могло до сихъ поръ ничѣмъ пособить знанію, теоріи, наукѣ. Напротивъ, какъ большинство всѣхъ политическихъ удачъ принадлежало до сихъ поръ только статическому искусству, такъ всѣ неудачи политическія падаютъ именно на недостатокъ искусства динамическаго, т. е. искусства распознавать и предпознавать причины и слѣдствія, прошедшее и будущее. На этотъ разъ эмпирическая политика только и замѣчательна, что своими промахами. Она то и дѣло, что принимала причину за слѣдствіе или слѣдствіе за причину, прошедшее за будущее или будущее за прошедшее. Она поминутно ожидала отъ той или иной причины такихъ слѣдствій, какихъ та дать не могла; и поминутно не ожидала тѣхъ, какія дѣйствительно послѣдовали. Она постоянно растеривалась и оттого, что одинакая причина, смотря по мѣстамъ и временамъ, производила различныя послѣдствія; а разныя причины давали не рѣдко одинъ и тотъ же результатъ. Такъ, изгоняя мавровъ и евреевъ изъ Испаніи, гугенотовъ изъ Франціи, политика имѣла въ виду торжество христіанства, правовѣрія; между тѣмъ, торжество это не достигнуто, а достигнуто только упадокъ промышленности. Такъ колоссальное движеніе крестовыхъ походовъ только того и не достигло, что имѣлось у него въ виду,—освобожденія гроба Господня; а все, что достигнуто имъ, никогда и въ голову не приходило политикамъ, направлявшимъ движеніе. Такъ одинъ и тотъ же феодальный режимъ, наблюдаемый во Франціи, производитъ одно послѣдствіе,—образцовую централизацию; наблюдаемый же въ Германіи даетъ совсѣмъ другое, — образцовый партикуляризмъ. Такъ въ Римѣ Тарквиній Гордый вызываетъ протестъ противъ монархіи и обращеніе ея въ республику недостатками своего правленія и характера; а въ Афинахъ тотъ же самый результатъ получается вслѣдствіе великихъ достоинствъ Кодра. Во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ ошибка всегда происходила отъ непониманія того общаго склада текущихъ потребностей и текущихъ воль, который образуется, какъ осадокъ

всей суммы прошедшаго и единственная почва всей суммы будущаго, и который образуетъ собою всю ту среду настоящаго, въ которой приходится дѣйствовать, и которая способна преломлять, направлять по-своему каждое мѣропріятіе въ ней. Вотъ это-то ощущеніе всей текущей среды, всего направленія прошедшаго и всѣхъ предрасположеній будущаго и не могло даваться эмпирикѣ такъ легко, какъ далось ей понятіе о согласованіи воли съ обстоятельствами. Чѣмъ частнѣе это согласованіе, т. е. чѣмъ мельче движеніе воли и уже районъ обстоятельствъ, тѣмъ легче оно и удавалось политикѣ. Но чѣмъ движеніе обширнѣе, общѣе, чѣмъ предпріятіе грандіознѣе, тѣмъ политика безсильнѣе и слѣбнѣе, потому что не хватаетъ у нея столь же обширнаго и общаго кругозора. Она хорошо видитъ только подъ носомъ, гдѣ можно разсматривать невооруженнымъ глазомъ; но какъ только надо оглядѣться вокругъ, оглянуться назадъ и напередъ,—простое зрѣніе уже измѣняется ей, и она дѣйствуетъ на-угадъ, въ потѣмкахъ.

Такимъ отношеніемъ воли и необходимости обусловливается и самый типъ нашей науки, совершенно отличный отъ типа всѣхъ предыдущихъ наукъ. Для нея мало одного наблюденія такихъ или иныхъ правильностей, тѣхъ или иныхъ законосообразностей, какъ въ другихъ наукахъ. Нѣтъ, тутъ надо еще каждый разъ доказать, съ одной стороны, необходимость такой правильности, а съ другой—свободно-разумность ея. Всевозможныя необходимости, всевозможныя стеченія обстоятельствъ остаются въ исторіи праздными, пока они не подхвачены свободноразумною волею; а какъ скоро они утилизированы ею, они уже заимствуютъ отъ нея кажущуюся разумность, которой не имѣли въ природѣ, внѣ исторіи. Всѣ усилія свободы, всѣ ухищренія разума остаются въ исторіи недействительными, пропащими, пока они не достигнуты благосклоннымъ стеченіемъ обстоятельствъ; а какъ только достигнуты имъ, они уже приобрѣтаютъ видъ механическихъ, машинальныхъ. Одна половина воли и обстоятельствъ пропадаетъ для исторіи, какъ *nulle et non avenue*; другая остается въ ней, какъ *la bien venue*. Отсюда и всякая повѣсть объ этомъ остаткѣ не надежна, пока она не сопровождается признаками и необходимости ея, и свободы, условіями и механичности, и разумности.



П Р И Л О Ж Е Н І Е

(имѣетъ быть издано особо).

ВАЖНЫЯ ОПЕЧАТКИ.

| <i>Стран.</i> | <i>Строка.</i> | <i>Напечатано:</i> | <i>Слѣдуетъ:</i> |
|---------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 59 | 17 снизу | теплоту, | теплоту. |
| 70 | 5 " | пизагорійской | пизагорейской |
| 88 | 7 сверху | Фалесѣ | Фалесѣ |
| 102 | 1 " | то | то, |
| 148 | 19 " | Второй, | Второй |
| 179 | 15 сверху | ожидають | ожидаются |
| 180 | 13 " | средоточію | сосредоточенію |
| 185 | 6 " | стубу | лубу |
| 190 | 2 " | полигамія | полигинія |
| 209 | 13 снизу | Онондала | Онондага |
| 255 | 2 " | и беззаконій | и противъ беззаконій |
| 297 | 7 сверху | организациі | организаций |
| 335 | 14 снизу | anapocis | anapocismus, |
| — | 11 " | генетическій | генетическій |
| 360 | 8 " | θῆμιαι | θῆμιαι |
| 361 | 7 сверху | Теодориховъ | Теодериховъ |
| 374 | 7 снизу | dī | dīu |
| 375 | 5 " | κληρωταί ἀρχαί | κληρωταί ἀρχαί |
| 380 | 8 " | Пирмѣ | Термѣ |
| 421 | 11 сверху | считается | считаются |
| 439 | 18 снизу | городская такъ если не сельская | если не сельская такъ городская |
| 544 | 13 сверху | ксенархія | ксенархія |
| 564 | 4 снизу | всѣ | все |
| 604 | 2 " | рефлексовъ | Рефлексовъ |
| 606 | 2 сверху | Въ виду | Въ виду у |
| — | 17 " | потому | потомъ |
| 625 | 10 снизу | дасть | даетъ |
| 663 | 1 сверху | надлежащую | подлежащую |
| 713 | 10 снизу | осталась | все остается |
| 752 | 4 " | права | права |
| — | 6 " | права | права |
| 766 | 9 сверху | политическихъ | политическихъ |
| 767 | 1 снизу | стеченіемъ; | стеченіемъ обстоятельствъ; |





